



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

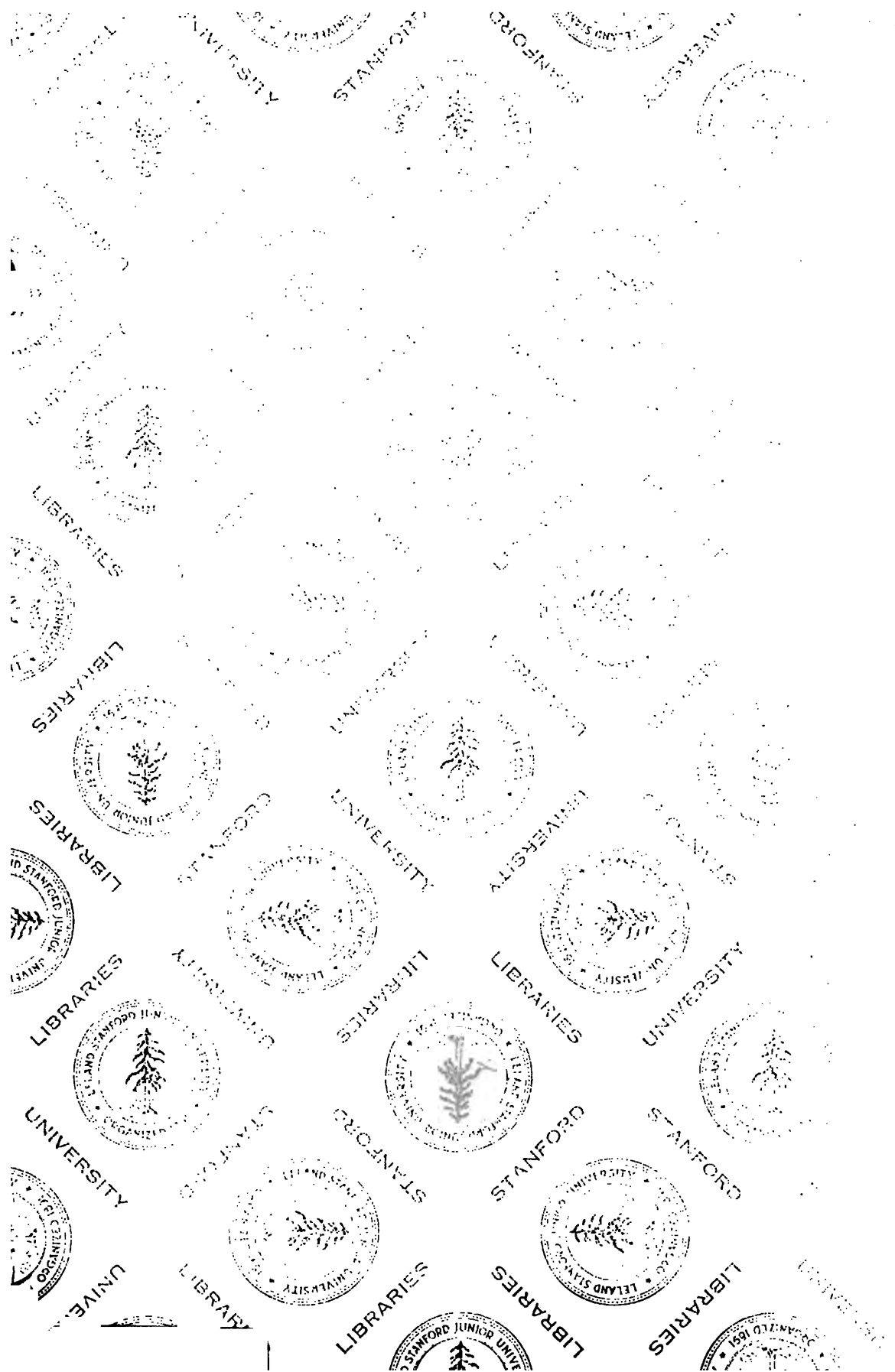
Мы также просим Вас о следующем.

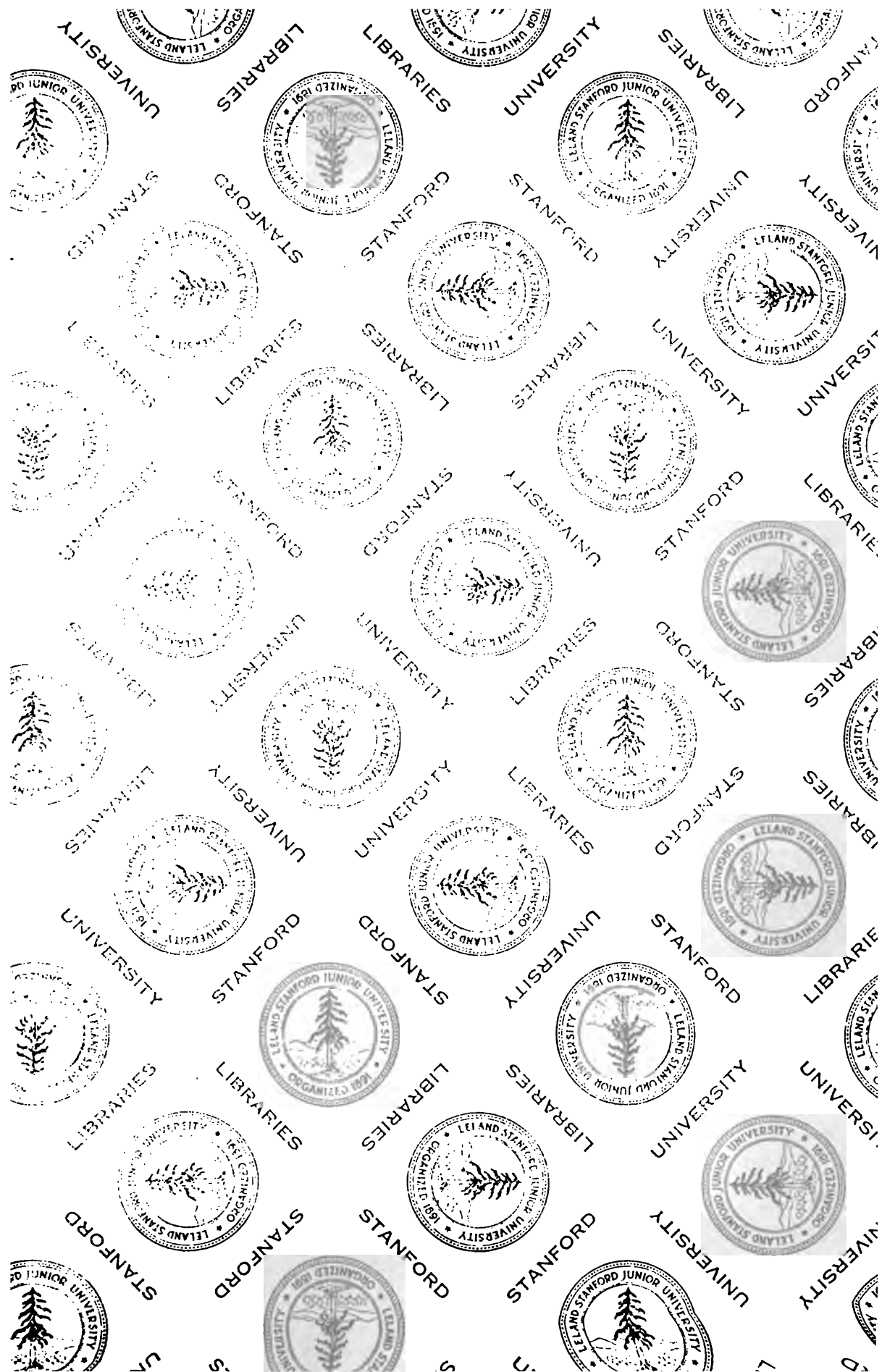
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>











ИСТОРИЯ
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЪ
ОЧЕРКАХЪ и БИОГРАФІЯХЪ

ВОЗНІКНОВІЕ

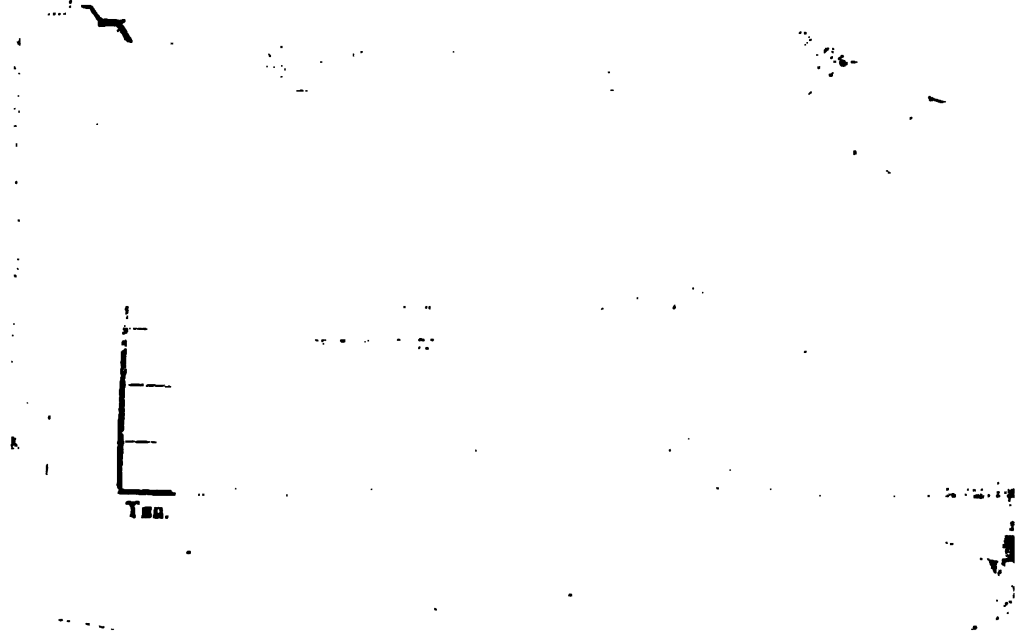
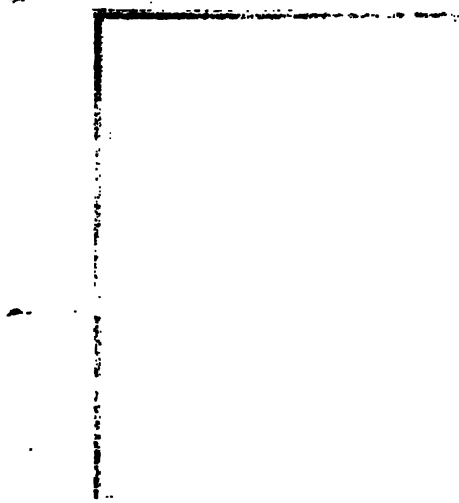
Ш. ПОЛЕВОГО

ТРЕТЬЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ, ИЗДАНИЕ.

САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ.

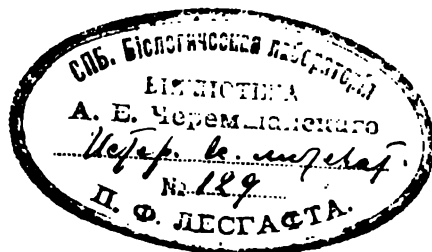
Типографія (важная) А. М. Колосова. У Обуховскаго моста, д. № 93.

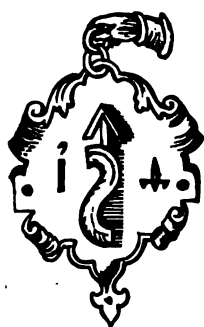
1878.



ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВЪ ОЧЕРКАХЪ И БИОГРАФІЯХЪ.





Роговой, Р.Н.

891.709

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВЪ ОЧЕРКАХЪ И БЮГРАФІЯХЪ.

ОСЧЕНЕНІЕ

П. ПОЛЕВОГО.

Исторія писателей есть существенная часть исторіи Словесности.

МИТРОПОЛИТЪ ЕВГЕНІЙ.

ТРЕТЬЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ, ИЗДАНИЕ.

САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ.

1878.

Ке

Доволено цензурою. С.-Петербургъ, 19 Декабря 1877 г.

PG 2950

A 2 P 58

1878

Типографіе (бывшій) А. М. Метельникъ (у Обуховскаго моста, д. № 93).

ПОСВЯЩАЕТСЯ

дорогой для меня

ПАМЯТИ

Николая Александровича

ПАСТУХОВА.



Figure 1. Relationship between the number of fish (N) and the number of fish per unit area (D). The curve shows that the number of fish per unit area increases as the total number of fish increases, but at a decreasing rate.

The data in Figure 1 were obtained from a series of experiments in which the number of fish was varied and the number of fish per unit area was measured. The results show that the number of fish per unit area increases as the total number of fish increases, but at a decreasing rate.

Имя покойнаго Николая Александровича Пастухова тѣсно связано въ моемъ сознаніи со всею исторіею моего настоящаго труда. Ему хотѣлъ я посвятить первое изданіе моей книги, при самомъ появленіи ея въ свѣтъ (въ ноябрѣ 1871 г.); но тогда онъ рѣшительно воспротивился моему намѣренію: онъ почти испугался его...

Смерть Николая Александровича не только налагаетъ на меня нравственную обязанность, но и даетъ мнѣ полное право сказать, что моя Исторія Литературы обязана ему своимъ появленіемъ въ свѣтъ. Ровно восемь лѣтъ тому назадъ, когда планъ моего труда въполнѣ сложился и созрѣлъ въ головѣ моей, Николай Александровичъ не только доставилъ мнѣ средства для печатанія моей книги, но и вообще принялъ такое дружеское, горячее участіе въ выполненіи всего моего труда, такъ внимательно и сочувственно относился ко всѣмъ его частностямъ, что и тяжкое мое бремя показалось мнѣ легкимъ... И надо было видѣть, какъ добродушно радовался онъ успѣху моей книги, какъ ревниво слѣдилъ за ея быстрымъ ходомъ, какъ волновался, выжидая отзывовъ печати!...

Да, мы оба были тогда сильны и молоды, оба такъ полны энергіи и прекрасныхъ надеждъ на будущее! Кто-бы могъ предполагать, что третье изданіе Исторіи Литературы, такъ быстро послѣдовавшее за первымъ, уже будетъ посвящено памяти Николая Александровича?...

И что же? Въ то время, когда я допечатывалъ послѣдніе листы этой книги, Николай Александровичъ, постепенно угасая подъ гнетомъ тяжкаго недуга, доживалъ послѣдніе дни своей чистой, прекрасной жизни. 1-го Декабря его уже не стало... Все это произошло такъ быстро, такъ неожиданно!... Даже и теперь, надъ свѣжею, едва закрывшеюся могилою, его стыдливо-скромный образъ, какъ живой, возникаетъ передъ мною во всей полнотѣ своихъ высокихъ, неоцѣнимыхъ нравственныхъ достоинствъ... Но я — увы! — могу обратиться къ нему только съ однимъ, послѣднимъ, скорбнымъ привѣтомъ:

Миръ праху твоему, добрый другъ! добрый, и прекрасный человѣкъ!

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Третье изданіе „Исторіи Русской Литературы“ существенно отличается отъ двухъ предшествовавшихъ и по внѣшности, и по внутреннему содержанію. Внесеніе цѣлой массы новыхъ рисунковъ и нѣкоторыя другія добавленія и нововведенія прежде всего вынудили меня къ исключенію изъ книги всѣхъ произведеній новаго періода русской литературы (отъ Петра I и до настоящаго времени).¹⁾ Внесеніе одной новой главы въ древній періодъ, переработка и дополненіе другихъ главъ новыми фактами вызваны были появленіемъ новыхъ изсѣдованій по частнымъ вопросамъ Исторіи Русской Литературы.

Года полтора тому назадъ, когда я сталъ готовиться къ третьему изданію моей книги, мнѣ пришли въ голову нѣкоторыя, существенно-необходимыя измѣненія и дополненія къ ея плану. Въ числѣ такихъ дополненій, на первомъ мѣстѣ явилось желаніе внести въ книгу нѣсколько новыхъ біографій важнѣйшихъ представителей нашей духовной и ученой литературы. Недостатокъ ихъ чувствуется въ моей книги, и многіе справедливо укоряли меня нѣсколько одностороннимъ ограниченіемъ историко-литературной области въ новомъ періодѣ. Я принялся за собраніе матерьяловъ, заказалъ и отчасти даже изготавилъ портреты тѣхъ дѣятелей, которыхъ біографіи должны были войти въ составъ новаго изданія Литературы; но быстрый ходъ книги вынудилъ меня поспѣшить печатаньемъ третьяго изданія и ограничиться лишь самыми необходимыми перемѣнами и обновленіями фактической стороны книги. Переработкѣ подверглись главы — I, III, VIII, IX (почти вся написанная за-ново), XV, XVI, XVII, XVIII (въ приложеніи), XXII, XXX (внесена вновь-написанная біографія Капниста). Сверхъ того, глава XIII (исторія книгопечатанія въ Россіи) написана специально для этого изданія и внесена въ него, какъ существенно-важное дополненіе въ связи съ тѣми измѣненіями во внѣшности книги, на которыя я обращаю вниманіе читателей.

Измѣненія эти, главнѣйшимъ образомъ, предназначены на то, чтобы ознакомить читателей съ своеобразною внѣшностью произведеній

¹⁾ Эти образцы, вмѣстѣ съ необходимыми поясненіями и примѣчаніями къ нимъ, составили цѣлую книгу, которая, подъ общимъ заглавіемъ «Опытъ Русск. Исторической Хрестоматіи» выйдетъ въ свѣтъ въ концѣ января 1878 г.

нашей древней рукописной литературы и наших старопечатныхъ книгъ. Съ этою цѣлью каждая глава первыхъ трехъ періодовъ начинается заголовкомъ и буквою, заимствованными изъ древнихъ памятниковъ нашей письменности и заканчивается линеечкой, составленной изъ мотивовъ того же матерьяла; на томъ же основаніи, всѣ главы четвертаго и пятаго періода начинаются заголовкомъ и буквой, заимствованными изъ старопечатныхъ книгъ русскихъ, и заканчиваются линеечками, представляющими первые образцы типографскаго искусства на Руси.

Рядомъ съ этими украшеніями, я внесъ въ мою книгу болѣе сорока автографовъ, которыя являются живымъ дополненіемъ къ характеристикѣ нашихъ литературныхъ дѣятелей, начиная отъ XVI вѣка, отъ Макаріевъ и Никоновъ, до — Пушкина, Гоголя, Гончарова и Тургенева.

Всего въ нынѣшнемъ изданіи внесено мною болѣе ста новыхъ рисунковъ: портретовъ, видовъ, автографовъ и украшеній.

Въ заключеніе предисловія долгомъ считаю изъяснить мою живѣйшую признательность всѣмъ, оказавшимъ мнѣ дѣятельную помощь при собираніи матерьяла для третьяго изданія моей книги, а именно: В. А. Дашкову, П. Я. Дашкову, П. А. Ефремову, Е. Е. Замысловскому, М. Н. Островскому, Г-жѣ Селивановской, О. Л. Штаденъ, П. М. Третьякову, С. Н. Шубинскому, И. С. Панову и В. П. Бушера.

17 Дек. 1877.
СПб.

П. Полевой.



ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

ОТЪ НАЧАЛА ПИСЬМЕННОСТИ ДО ТАТАРЩИНЫ.

I.

Братья-первоучители. — Болгарское вліяніе. — Кириллица и глаголица. — Письменный матеріалъ и писцы. — Древнѣйшіе памятники русской письменности.



Въ концѣ X-го вѣка, на Руси, при содѣйствіи великаго князя кіевскаго, Владимира, — вполнѣдствіи прозваннаго Равноапостольнымъ, — введено было христіанство, и вся Русь была крещена, прибывшимъ въ Россію изъ Византіи, греческимъ духовенствомъ. Вмѣстѣ съ духовенствомъ прибыли зодчіе для постройки первыхъ храмовъ христіанскихъ въ новоокрещенной землѣ, живописцы для написанія первыхъ иконъ, и другіе искусные мастера и художники, которымъ предстояло снабдить церкви наши необходимою утварью и благолѣпными украшеніями. Образцы иконъ, облачений и утвари церковной, по которымъ надлежало работать этимъ мастерамъ и художникамъ, принесены были духовенствомъ изъ Византіи; но драгоцѣннѣе всего, принесеннаго ими, были книги Св. Писанія и церковныя, писанныя не на греческомъ и латинскомъ языкахъ, чуждыхъ русскому народу въ то отдаленное время, а

на языкъ родственнаго ему славянскаго племени. Такимъ образомъ, древней Руси выпало на долю великое счастье: съ первыхъ-же дней по введеніи христіанства, предки наши слышали слово Божіе, слышали пѣніе и чтеніе въ церкви на языкъ вполне доступномъ ихъ пониманію. Вотъ почему, вмѣстѣ со введеніемъ у насъ на Руси христіанства, положены были и первыя прочныя основы нашей грамотности и письменности, которыя и у насъ, какъ во всѣхъ странахъ міра, были первыми шагами на пути просвѣщенія и развитія литературы.

Но откуда же явились у греческихъ проповѣдниковъ эти книги Св. Писанія, переведенныя на славянскій языкъ, родственныя нашему русскому? Кому, именно, и по какому поводу вздумалось потрудиться надъ этимъ благодѣтельнымъ для насъ переводомъ книгъ Св. Писанія и книгъ церковныхъ? Что это былъ за языкъ, и ко-

торому изъ племенъ славянскихъ, былъ еще живущихъ, онъ принадлежалъ? Какіе памятники письменные сохранились намъ отъ той отдаленной эпохи? Вотъ вопросы, которые представляются намъ сами собою, и которые мы попытаемся разрѣшить прежде, нежели приступимъ къ описанію древнѣйшаго періода русской литературы.

Книги Св. Писанія были впервые переведены не для потребностей новоокрещеннаго русскаго народа, а для моравянъ— другого, небольшого племени славянскаго. Оно крещено было почти за двѣсти лѣтъ до введенія христіанства въ Россію, но крещено было германскими проповѣдниками, которые принесли съ собою и книги, писанныя на непонятномъ для моравянъ языкѣ латинскомъ. Почти пятьдесятъ лѣтъ слушали моравяне Св. Писаніе и богослуженіе на латинскомъ языкѣ, и христіанство не имѣло между ними никакого успѣха: нравы оставались, по прежнему, грубыми; грамотность не развивалась и язычество не ослабѣвало въ народѣ, который нѣмецкіе проповѣдники считали, однако-же, окрещеннымъ. Моравскіе князья, видя, что народъ не въ состояніи усвоить себѣ даже и самыхъ первыхъ истинъ христіанскаго ученія на языкѣ ему чуждомъ и непонятномъ,— обратились къ византійскому императору Михаилу съ просьбою прислать имъ такихъ проповѣдниковъ, которые-бы въ состояніи были истолковывать моравянамъ Св. Писаніе на языкѣ славянскомъ. Такое обращеніе ихъ къ Византіи было весьма естественно потому, что во владѣніяхъ византійскаго императора многія мѣстности заселены были славянами, а потому и можно было предполагать, что между духовенствомъ греческимъ должны будутъ найтись многіе люди, коротко знакомые съ языкомъ славянскихъ племенъ, обитавшихъ въ предѣлахъ, или близко къ предѣламъ обширной имперіи византійской. Предположеніе это и оказалось совершенно вѣрнымъ: въ отвѣтъ на просьбу моравскаго князя Ростислава о присылкѣ проповѣдниковъ, знающихъ славянскій языкъ, императоръ Михаилъ отправилъ въ Моравію двухъ ученыхъ монаховъ, братьевъ Кирилла и Меѳодія, и съ ними нѣсколько другихъ духовныхъ лицъ. Это было въ 863 году.

Выборъ императора палъ на этихъ ученыхъ братьевъ потому, что ему лично были извѣстны ихъ подвиги на поприщѣ распространенія христіанства между различными племенами, и ихъ глубокое знаніе языка славянскаго. Кириллъ и Меѳодій были сыновья греческаго вельможи Льва, и происходили изъ Солуни, главнаго города Македонской провинціи, окруженнаго славянскими колоніями. Меѳодій, старшій братъ (род.?, ум. 885 г.), сначала служилъ въ военной службѣ, затѣмъ былъ правителемъ одной области, въ которой много было славянскихъ поселеній, потомъ постригся въ монахи, въ одномъ изъ монастырей на горѣ Олимпѣ. Младшій братъ, Кириллъ (прежде поступленія въ духовное званіе онъ назывался Константиномъ, род. 827 г., ум. 869), покровительствуемый однимъ изъ родственниковъ своихъ, получилъ блестящее образованіе при византійскомъ дворѣ, вмѣстѣ съ императоромъ Михаиломъ, при чемъ ему пришлось быть, по философін, математическимъ наукамъ и словесности, ученикомъ знаменитаго Фотія (впослѣдствіи патріарха). Но ни блескъ двора, ни тѣ почести, которыхъ могъ добиться молодой Константинъ,—ни что не привлекало его; онъ предпочелъ поступить въ духовное званіе и принялъ мѣсто бібліотекаря при храмѣ Св. Софіи; но потомъ искалъ уединенія, — удалялся даже въ монастырь,—и только по настоянію друзей возвратился въ столицу и принялъ должность учителя философін и званіе философа. Прозваніе философа тѣсно слилось съ его именемъ и на вѣки сохранилось за нимъ въ потомствѣ. На двадцать четвертомъ году отъ роду, Кириллъ съ жаромъ предавался трудному дѣлу проповѣди христіанской. Сначала пришлось ему защищать христіанство противъ магометанства, быстро распространявшагося въ малоазійскихъ владѣніяхъ Византіи; а потомъ—въ Крыму, между хазарами,— бороться съ магометанствомъ и іудействомъ. При всѣхъ этихъ странствованіяхъ, братъ Меѳодій былъ неразлученъ съ Кирилломъ и ревностно раздѣлялъ съ нимъ подвиги на пользу вѣры.

Должно предполагать, что ученые братья еще съ дѣтства были знакомы съ языкомъ славянъ, заселявшихъ, какъ мы уже сказали выше, многія мѣстности въ предѣлахъ византійской имперіи. Эти славяне, жившіе

въ Византіи, и другія родственныя имъ славянскія племена, жившія ближе къ Дунаю, въ предѣлахъ Болгаріи, — давно уже нуждались въ томъ, чтобы и книги богослужебныя, и Св. Писаніе были переведены на ихъ языкъ, потому-что они точно такъ-же не понимали проповѣди христіанской на греческомъ языкѣ, какъ мораване — на латинскомъ. Многіе изъ нихъ, вслѣдствіе этого, даже и по принятіи крещенія, вновь возвращались къ язычеству. Желая доставить имъ возможность усвоить Слово Божіе на родномъ языкѣ, Кириллъ, прежде всего, занялся изобрѣтеніемъ такой азбуки, которая-бы способна была передать вполне все разнообразіе звуковъ славянской рѣчи. Преданіе гласитъ, что азбука изобрѣтена была Кирилломъ еще около 855 года. Образцомъ чертанія буквъ послужила ему азбука греческая; а такъ-какъ онъ зналъ много языковъ, то для такнхъ славянскихъ звуковъ, которыми нѣтъ соответствующихъ въ языкѣ греческомъ, онъ заимствовалъ чертанія буквъ изъ азбукъ еврейской, армянской и коптской. Для нѣкоторыхъ звуковъ, напр., для носовыхъ, изобрѣлъ даже и самостоятельныя чертанія. Всѣхъ буквъ въ этой азбукѣ было 38. Послѣ изобрѣтенія азбуки, Кириллъ, при помощи брата Меѳодія, перевелъ съ греческаго на славянский языкъ необходимыя для богослуженія книги, и такимъ образомъ, еще ранѣе того времени, когда братья Кириллъ и Меѳодій были призваны въ Моравію, ими уже сдѣланы были первые опыты переводовъ съ греческаго на славянский языкъ при помощи новоизобрѣтенной Кирилломъ азбуки, и богослуженіе на славянскомъ языкѣ уже введено было въ употребленіе между славянами византійскими, а отсюда, вѣроятно, оно было перенесено и къ болгарскимъ славянамъ, которые крестились около 861 г. Преданіе гласитъ, что сначала принялъ крещеніе отъ св. Меѳодія болгарскій князь Борисъ, а потомъ и весь народъ.

Но главная дѣятельность братьевъ-проповѣдниковъ относится къ періоду послѣ 862 года, т. е. ко времени пребыванія ихъ въ Моравіи. Здѣсь, въ теченіи четырехъ съ половиною лѣтъ, трудились братья надъ переводомъ книгъ Св. Писанія, учили славянъ

своей новой грамотѣ, боролись и противъ языческихъ суевѣрій, и противъ нѣмецкаго духовенства, которое очень непріязненно смотрѣло на быстрые успѣхи славянской проповѣди. „И рады были славяне“, говоритъ древній лѣтописецъ нашъ—„такъ-какъ они слышали величіе Божіе на своемъ языкѣ“. Нѣмецкое-же духовенство, опасаясь утратить всякое значеніе въ Моравіи по мѣрѣ распространенія славянскаго богослуженія, стало посылать жалобу за жалобой въ Римъ, къ папѣ Николаю I, доказывая, будто проповѣдывать Слово Божіе можно только на трехъ языкахъ — еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ, „такъ-какъ надпись на крестѣ Спасителя была начертана Пилатомъ только на этихъ трехъ языкахъ“. Около того времени, Церковь Западная находилась въ постоянно непріязненныхъ отношеніяхъ къ Церкви Восточной (вскорѣ послѣ того онѣ и окончательно раздѣлились), а потому папа Николай I охотно принялъ жалобы и клеветы нѣмецкаго духовенства на братьевъ-первоучителей и ихъ славянскую проповѣдь. Они были призваны въ ту страну, гдѣ, уже почти пятьдесятъ лѣтъ сряду, нѣмецкое духовенство тщетно старалось основать на проповѣди христіанской свое матеріальное могущество, и гдѣ имъ удалось сразу получить громадное значеніе: понятно, что папа сталъ опасаться ослабленія римскаго вліянія на Моравію, и потому потребовалъ ихъ къ себѣ, на судъ. Кириллъ и Меѳодій, надѣясь и тамъ отстоять свое правое дѣло и доказать необходимость богослуженія на славянскомъ языкѣ, отправились въ Римъ. Но они уже не застали папы Николая I въ живыхъ. Наслѣдовавшій ему — папа Адріанъ II принялъ ихъ ласково, дозволилъ продолжать проповѣдь и богослуженіе на языкѣ славянскомъ, и даже посвятилъ Меѳодія въ санъ епископа паннонскаго ¹⁾, послѣ чего Меѳодій возвратился въ Моравію; а братъ его, Кириллъ, изнуренный тяжкими трудами послѣднихъ лѣтъ, остался въ одномъ изъ монастырей близъ Рима, вскоре заболѣлъ и умеръ, въ 869 году.

Меѳодій пережилъ брата на шестнадцать лѣтъ, и въ теченіе всего времени своей жизни не переставалъ бороться съ нѣмецкимъ

¹⁾ Подъ именемъ Панноніи извѣстна была Моравія и часть Венгріи.

въ то время страна, занимавшая часть нынѣшней

ВЪКРѢМАННО- РАВНСАНІСКОУ ЧЕННИКОМЪ СКОНМЪ·ВЪ СТАВЪОТЪМЪ РЪТЪВЪХЪ·НГЛА

Изъ Остромирова Евангелія, писаннаго уставомъ, въ половинѣ XI вѣка.

духовенствомъ, распространяя богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Неисчислимы всѣ тѣ гоненія и страданія (цѣлыхъ 2½ года онъ, между прочимъ, провелъ въ тюрьмѣ), которыя онъ претерпѣлъ за свое святое дѣло. Но св. Мееодій не покидалъ столь успѣшно начатаго имъ дѣла проповѣди въ земляхъ славянскихъ, и неослабно распространялъ его все дальше и шире: около 871 г. онъ крестилъ чешскаго князя Боривоя, и ввелъ въ Чехію славянское богослуженіе, а ученики Мееодія пробрались и далѣе — въ Силезію и Польшу. Однако-же, подъ конецъ жизни, Мееодию пришлось быть свидѣтелемъ явнаго торжества враждебнаго ему нѣмецкаго духовенства: папа Іоаннъ VIII, преемникъ Адріана II, запретилъ богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Не смотря на то, что Мееодию удалось склонить папу къ отмятнію этого запрещенія, черезъ годъ послѣ смерти Мееодія, въ 886 году, всѣ ученики братьевъ-первоучителей (Климентъ, Наумъ, Савва, Ангеларъ и Гораздъ) и всѣ сторонники ихъ (въ томъ числѣ двѣсти священ-

никовъ) были изгнаны изъ Моравіи и нашли себѣ убѣжище въ Болгаріи.

Здѣсь-то, въ особенности въ правленіе просвѣщеннаго царя Симеона, правившаго Болгаріей съ 892 г. по 927, письменность славянская сдѣлала большіе успѣхи: на славянскій языкъ переведено было множество книгъ не только церковныхъ и духовнаго содержанія, но и научныхъ, и количество рукописей, писанныхъ кирилловской азбукой, возрасло до весьма значительной цифры. Здѣсь-то нашли себѣ убѣжище отъ неистовыхъ преслѣдованій и грамота, и богослуженіе славянское, и здѣсь-же сохранились они на благо и великую пользу нашему русскому просвѣщенію, на славу безорыстнымъ, святымъ трудамъ братьевъ-первоучителей, которыхъ благодарное потомство наименовало „апостолами славянскими“. Память о нихъ доселѣ живетъ и вѣчно будетъ жить во всемъ славянскомъ мірѣ.

Выше сказано было нами, что послѣ изобрѣтенія азбуки славянской Кирилломъ, братья-первоучители тотчасъ же перевели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	<p> ПЯЭУЯ·ХНѢШХМЭ ЯБЖЗХ ХБЖПЯШХ·Х ЯШДКЗУУЯ ЖКДХХ ПРХХ ХРХХ ХДЗХГ РДЗУЯ Э ЯМКОД РЯ ПМД· РХХХ ХД ПДПХРХ ДДКХХХ РХПХРХ ПХ·ХПРКШКШЭ Ж РД ДПХХГ ЯХХ·ЗЯ УЯ ЯХРПЖЧХ РХПХ· ДРК ЖДЗУЯ·УРХП </p>	<p> (посла гдѣ ангела 1) (с)воего. изети же 2) ѿ роуки Иродови и 3) ѿ всякаго чаѣниѣ 4) люди Иудѣискихъ. 5) иссго е ѿ Матѣѣ. 6) вѣно врѣѣ 7) приде Исѣ 8) в страни 9) Кесарне Филипо.. 10) вни. и вѣпрашаше оуч.. 11) иѣѣ своихъ глѣ. ко 12) го глѣтъ чѣн бити 13) сѣа чсѣго. Они же реше. Ови Ивѣа кр- стиѣла. Ови Ил(ню). </p>
---	---	---

Изъ второй половины Реймского Евангелія, писанной глаголицею (въ концѣ X и началѣ XI в.)

**Чтеніе, буква въ букву,
глаголическаго текста
(сербо-хорватскаго).**

важѣйшія богослужебныя книги на славянскій языкъ, и что богослуженіе на славянскомъ языкѣ распространилось сначала между славянами, обитавшими въ предѣлахъ византійской имперіи, а потомъ перешло къ славянамъ, жившимъ въ Болгаріи. Языкъ, на который Св. Писаніе было переведено братьями-первоучителями, былъ, вѣроятно, народнымъ языкомъ племенъ славянскихъ, жившихъ между Балканами и Дунаемъ. Если и въ настоящее время между языками племенъ славянскихъ сохранилось еще такъ

много сходства, что соплеменники наши принадлежащие къ различнымъ отраслямъ общей славянской семьи, могутъ понимать другъ друга,—то слѣдуетъ предположить, что за 1000 лѣтъ до нашего времени это сходство между языками племенъ славянскихъ было еще сильнѣе; а потому нѣтъ ничего мудренаго въ томъ, что переводъ Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ, надъ которыми потрудились братья-первоучители, долженъ былъ сдѣлаться драгоценнымъ достояніемъ всѣхъ славянскихъ племенъ, и, въ то

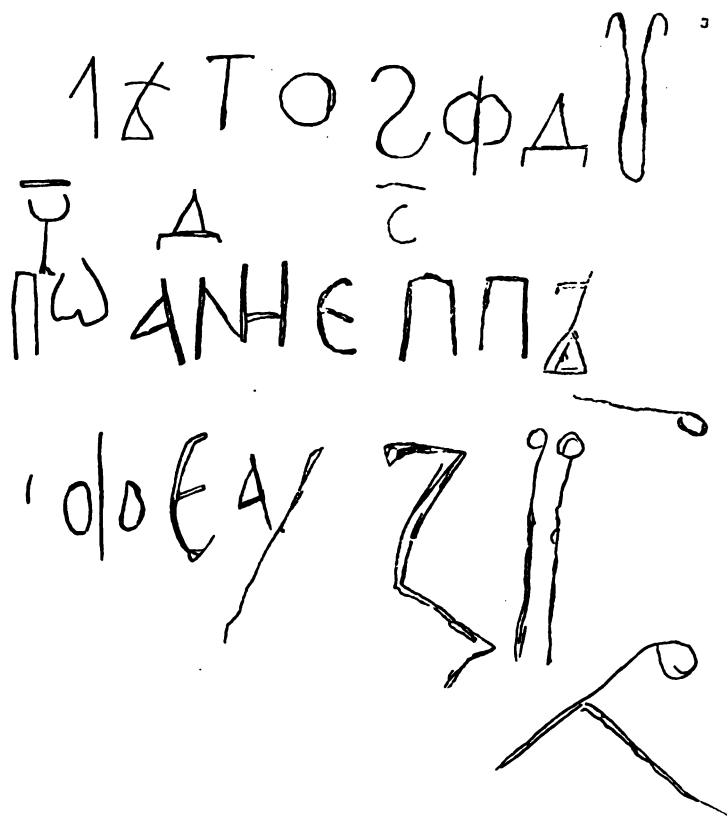
время, оказаться вполне доступным пониманию каждого на самых противоположных концах славянского мира: под Балканами и в Моравии, в Болгарии и на Руси. Но так-как грамота, изобретенная Кириллом, больше всего привилась в Болгарии, так-как здесь-же, при царь Симеонѣ, больше всего было написано и переведено книг на языкѣ славянскій, то языку, сохранившемуся в древних списках Св. Писания, съ течениемъ времени стали придавать название языка древне-болгарскаго. Относительно этого названия должно замѣтить, что подъ словомъ болгарскій языкъ здѣсь не слѣдуетъ разумѣть — языкъ болгаръ, а только — языкъ славянъ, жившихъ в Болгарии. Сами болгаре вовсе не принадлежали къ семьѣ славянскихъ племенъ: болгаре, по происхождению, принадлежали къ урало-алтайской чуди, были воинственнымъ и храбрымъ народомъ, обитавшимъ въ степяхъ юго-восточной Россіи, между Дономъ и Волгою. Въ VII столѣтіи племя это раздѣлилось: одна часть его двинулась на сѣверъ и осѣла по берегамъ Камы, впадающей въ Волгу; другая — двинулась на западъ и въ концѣ VII вѣка явилась на Дунаѣ. Здѣсь болгаре покорили себѣ значительную часть придунайскихъ славянскихъ племенъ. Но славяне были образованнѣе и искуснѣе болгаръ въ земледѣліи и ремеслахъ, и не болѣе, какъ въ теченіе двухъ вѣковъ успѣли такъ сильно воздѣйствовать на пришлую горсть воинственныхъ побѣдителей своихъ, что тѣ и нравы свои оставили, и языкъ позабыли, и совершенно слились съ славянами, передавъ имъ только свое имя.

Когда-же переводы Св. Писания и богослужебныхъ книгъ изъ Болгарии и Греціи перенесены были къ намъ, на Русь, то языкъ, которымъ они были написаны, получилъ у насъ название „церковно-славянскаго“, потому-что значительно отличался отъ народнаго русскаго языка, и первоначально явился исключительно языкомъ церкви. Впрочемъ, такъ-какъ въ древнѣйшемъ періодѣ нашей литературы большая часть писателей принадлежала къ сословию духовному, то изъ смѣси языка церковно-славянскаго съ древне-русскимъ языкомъ, которымъ въ то время говорили наши предки, мало-по-малу образовался языкъ литературный, или книж-

ный, которымъ и стали излагать мысли письменно.

Упомянувъ о языкѣ, на которомъ сохранились до нашего времени древнѣйшіе памятники славянской письменности, пояснимъ вмѣстѣ съ тѣмъ, почему именно въ разныхъ случаяхъ прилагаются ему разные названія, мы должны еще обратить вниманіе и на самыя письма, которыхъ изобрѣтеніе приписывается св. Кириллу. Азбука, которою у насъ и до настоящаго времени печатаютъ церковныя книги, очень похожая на письмо нашихъ древнѣйшихъ памятниковъ, въ славянскомъ мѣрѣ носитъ названіе „кириллицы“. Подобною-же кириллицею прежде писались книги у насъ на Руси, в Болгаріи и всей восточной части славянскаго міра. Кириллицею эта азбука названа въ отличіе отъ другой азбуки славянской, которая, если и не была изобрѣтена ранѣе кириллицы, то, вѣроятно, скорѣ послѣ нея, и съ течениемъ времени, приобрѣла довольно важное значеніе въ югозападномъ углу славянскихъ земель. Азбука эта, гораздо болѣе кириллицы запутанная въ очертаніяхъ своихъ, получила издревле названіе глаголицы. Чтобы яснѣе опредѣлить разницу между обѣими азбуками по начертанію, приводимъ здѣсь два отрывка изъ древнихъ рукописей, писанныхъ „кириллицею“ и „глаголицею“, (см. на стр. 4-й и 5-й). Не мѣшаетъ замѣтить, что доселѣ извѣстные древнѣйшіе памятники письменности какъ кирилловской, такъ и глаголической, восходятъ почти къ одному и тому же періоду: такъ называемая, Иверская глаголическая грамота относится къ 982 году, а надгробная надпись въ Пригѣпѣ (въ Македоніи), писанная кириллицею, относится къ 996 году.

Христіанствомъ просвѣтила насъ Греція, но введенію у насъ книжнаго ученія и началу письменности русскою—Греція могла способствовать только при посредствѣ сосѣднихъ намъ болгарскихъ славянъ, у которыхъ особенно сильно развита была письменность именно около того времени, когда принято было христіанство въ Россіи (т. е. въ концѣ IX и началѣ X в.). Отъ нихъ-то и перешло къ намъ въ Россію множество книгъ, писанныхъ кириллицею, и съ того времени кириллица вошла у насъ въ употребленіе, а свойственныя ей очертанія



Древнѣйшая надгробная надпись (996 г.), писанная кириллицею.

буквъ удержались въ русскомъ письмѣ до начала XVIII вѣка, т. е. въ теченіе девяти вѣковъ. Кириллицею до XVI вѣка писались наши книги; кириллицею-же стали и печатать ихъ въ XVI вѣкѣ. Только уже при Петрѣ Великомъ явилась та, несходная съ кириллицею, форма нашихъ печатныхъ буквъ, которою теперь печатаются у насъ книги и которая получила названіе гражданской азбуки (въ отличіе отъ кирилловской, удержавшейся въ нашихъ церковныхъ книгахъ).

Однако-же, въ теченіе девяти вѣковъ своего существованія въ Россіи, кириллица, въ очертаніи своихъ буквъ, много разъ потерпѣла значительныя измѣненія. Древнѣйшія рукописи, писанныя до XIV вѣка, отличаются замѣчательною красотою, отчетливостію и

крупностію своего почерка. Каждая буква въ этомъ почеркѣ ставится отдѣльно, безъ всякой связи съ ближайшими буквами. Начальныя буквы и заглавія книгъ разрисовываются красною краскою, а иногда даже украшаются разноцвѣтными вычурными узорами; иногда имъ придаютъ форму цвѣтовъ, птицъ или звѣрей; иногда покрываютъ ихъ позолотой. Этотъ древнѣйшій почеркъ нашихъ рукописей называется уставомъ или уставнымъ почеркомъ.

Въ концѣ XIV вѣка является у насъ другой почеркъ, покруглѣе и помельче устава, хотя и довольно еще близкій къ нему по очертаніямъ буквъ — это полууставъ, которымъ писали преимущественно въ XV и XVI столѣтіяхъ. Наконецъ, съ XVII столѣтія, вслѣдствіе сильно разившейся потребности въ дѣловой

перепискѣ, начинаетъ преобладать скоропись (существовавшая и за долго до этого времени), отличающаяся неправильностью и некрасивостью очертаній буквъ, тѣсно-сбитыхъ, снабженныхъ множествомъ значковъ и совершенно излишнихъ фигурныхъ добавокъ къ буквамъ. Сверхъ того, надписи на вещахъ и на стѣнахъ зданій, гдѣ иногда нужно было много словъ умѣстить на небольшомъ пространствѣ, писались особымъ способомъ — вязью. Вязью называлось такое искусное сплетеніе и сопоставленіе буквъ, при которомъ немногими очертаніями можно было многое написать (соединяя нѣсколько буквъ въ одну общую фигуру) и, сверхъ того, составить изъ буквъ очень причудливый и красивый узоръ.

Говоря о древнерусскомъ письмѣ, нельзя упустить изъ виду и того, что наши предки, въ началѣ письменности нашей, писали не такъ, какъ мы теперь пишемъ. Имъ были вовсе неизвѣстны тѣ облегченные способы, которые находятъ теперь въ распоряженіи каждого грамотнаго человѣка. Писали они, вмѣсто перьевъ, тростями (калами), которыя привозились изъ Греціи; вмѣсто бумаги нынѣшней, изготовляемой изъ тряпокъ, употребляли пергаментъ, особый письменный матеріалъ, выдѣлывавшійся изъ свиной или телячьей кожи и тоже привозившійся съ далекаго Востока. Немного позже, вмѣсто пергамента, стали употреблять бомбицину, бумагу изъ хлопка, правда, толстую и плотную, но далеко не въ такой степени удобную для письма и не на столько дешевую, какъ самая лучшая, самая дорогая нынѣшняя бумага.

Трудность самаго писанія и дороговизна письменнаго матеріала способствовали, съ одной стороны, тому, что каждая писанная книга дѣлилась очень высоко и очень немногимъ была доступна; а съ другой стороны, на трудную работу писанія, изготовленія рукописей, смотрѣли, какъ на дѣло важное, требующее и большихъ свѣдѣній, и даже особой помощи свыше. Къ писанію книгъ приступали съ благоговѣніемъ и молитвою; написанную книгу заканчивали благодареніемъ Всевышнему, обращеніемъ къ читателю съ просьбою о снисхожденіи, и часто даже подробнымъ обозначеніемъ года, мѣсяца, дня, въ который дѣло написанія было окончено. Къ этому обозначенію времени нѣкоторые писцы прибавляли даже замѣтку о томъ историческомъ событіи, со временемъ котораго

совпадали начало или конецъ труда. Иные даже подробно обозначали, сколько именно времени была писана та или другая книга, такъ-какъ списыванье книгъ было дѣломъ весьма медленнымъ и труднымъ. Любопытнымъ и замѣчательнымъ образцомъ подобныхъ приписокъ къ древнимъ рукописямъ можетъ служить извѣстная памятная записка дьякона Григорія, помѣщенная въ концѣ знаменитой рукописи Евангелія, писанной имъ для Новгородскаго посадника, Остромира:

„Слава тебѣ, Господи, цесарю небесный, такъ какъ ты сподобилъ меня написать это евангеліе. Почалъ я его писать въ лѣто 6564-ое, а окончилъ его въ лѣто 6565. Написалъ-же евангеліе это рабу Божию, нареченному во крещеніи Іосифъ, а мірски Остромиръ, родственнику Изяслава-князя... который тогда держалъ обѣ власти—и отца своего Ярослава, и брата своего Володимира; самъ-же Изяславъ-князь правилъ столъ отца своего, Ярослава, въ Киевѣ, а столъ брата своего поручилъ править своему родственнику, Остромиру, въ Новгородѣ. Я, Григорій дьяконъ, написалъ это Евангеліе... началъ же его писать мѣсяца октября 20-го... а окончилъ мѣсяца мая въ 12-ое число.“

Въ концѣ одного изъ списковъ нашей древней лѣтописи находимъ другого рода приписку, живо рисующую намъ то настроеніе, въ которомъ долженъ былъ находиться писатель по окончаніи своего, вѣроятно, продолжительнаго и усидчиваго труда: „какъ радуется женихъ, при видѣ невесты своей“, — восклицаетъ писатель — „такъ радуется писецъ, видя послѣдній листъ; какъ радуется купецъ полученію барыша или кормичъ—прибытію въ пристань, или странникъ—возвращенію въ отечество, такъ точно радуется и писатель книги окончанію своего труда“.

Въ другихъ древнихъ рукописяхъ встрѣчаются приписки переписчиковъ, въ которыхъ они выражаютъ надежду на спасеніе за свой трудъ (такъ-какъ дѣло списыванья книгъ считалось дѣломъ богоугоднымъ), или просятъ читателя вспоминать ихъ въ молитвахъ. Съ тою-же цѣлью, люди мало грамотные нанимали другихъ, чтобы списать ту или другую книгу, и отдавали ее въ даръ церкви или монастырю, какъ вкладъ за свое спасеніе или на поминъ души родителей.

На основаніи этого взгляда, всякій писецъ

(а тѣмъ богѣ скорописецъ, т.-е., обладавшій способностью писать скоро, особенно искусный въ писаніи) долженъ былъ пользоваться большимъ уваженіемъ, и переписываніе книгъ считалось занятіемъ до такой степени почтеннымъ, что первѣйшія духовныя лица, а изъ свѣтскихъ — князья и княгини, посвящали досуги свои этому занятію. Даже и самое переплетаніе рукописныхъ книгъ имѣло значеніе занятія важнаго и почтеннаго, такъ-какъ только переплести рукописи могъ только человѣкъ грамотный, знакомый съ содержаніемъ переплетаемаго имъ сочиненія. О св. Θεодосіи Печерскомъ сохранилось между прочимъ извѣстіе, что въ кельѣ его постоянно происходило переписыванье и переплетаніе книгъ: инокъ Иларіонъ ихъ списывалъ, самъ Θεодосій прядъ нитки для переплета книгъ, а старецъ Никонъ переплеталъ рукописи. При этихъ условіяхъ книги, конечно, и цѣнились весьма дорого; такъ напр., мы знаемъ, что кн. Владиміръ Васильковичъ Волинскій за одинъ молитвенникъ заплатилъ восемь гривенъ кунъ (богѣ 11 р. с. на наши деньги). Неудивительно, что при такой дороговизнѣ книгъ, на нихъ смотрѣли, какъ на существеннѣйшую часть достоянія, хранили ихъ въ крѣпкихъ кладовыхъ, вмѣстѣ съ кунами, паволоками и драгоценными сосудами, и передавали изъ рода въ родъ, какъ наиболѣе цѣнную часть наслѣдства; неудивительно и то, что книголюбцы не жалѣли денегъ на переплеты книгъ, и не только старались дать книгамъ переплеты прочные, вѣковые, но даже снабжали эти переплеты дорогими застежками, и часто покрывали серебряной, вызолоченной оправой, усаженной жемчугомъ и дорогими камнями, украшенной золотыми крестами и финифтяными изображеніями святыхъ. Такъ напр., подъ 1288 г., въ Волинской лѣтописи подробно исчисляются книги, которыми Владиміръ Васильевичъ снабдилъ различныя церкви на Волини. При этомъ, подробно описываются драгоценныя переплеты, которыми эти книги были украшены, и о многихъ изъ числа ихъ говорится, что онѣ писаны были самимъ княземъ и княгинею (женою его) Ольгою Романовною. Наибольшее уваженіе къ книгѣ, выразившееся, съ одной стороны, въ этомъ стремленіи къ украшенію ея внѣшности, — съ другой стороны, выразилось въ извѣстномъ памятникѣ

ХП вѣка, однимъ изъ вопросовъ черноризца Кирика къ св. Нифонту, епископу новгородскому. Испрашивая у епископа разрѣшенія многихъ, весьма важныхъ вопросовъ вѣры и церковной обрядности, черноризецъ задаетъ ему и такой вопросъ: „Нѣтъ-ли грѣха — ходить по грамотѣ, которая изрѣзана и брошена, но на которой еще видны слова?“....

Уже въ XI вѣкѣ любовь къ чтенію развилась въ русскомъ обществѣ весьма значительно, какъ можно судить по отзыву о книгахъ одного современника: „велика бываетъ польза отъ ученія книжнаго“, — говоритъ онъ; „изъ книгъ учимся путямъ покаянія, въ словахъ книжныхъ обрѣтаемъ мудрость и воздержаніе: это—рѣки, напоющія вселенную, это—исходища мудрости; въ книгахъ неисчетная глубина, ими утѣшаемся въ печали, онѣ—узды воздержанію“.

Книголюбіе побуждало многихъ даже къ посылкѣ писцовъ въ сосѣднія страны, въ Грецію, Болгарію и на Аѳоны, — для списыванія книгъ и перенесенія на нашу русскую почву всего, что способно было служить полезною пищею духовною. Первые писцы, явившіеся у насъ въ Кіевѣ и Новгородѣ, были, по всѣмъ вѣроятіямъ, славяне болгарскіе; однако-же вскорѣ образовались у насъ и свои превосходные писцы; такъ, отъ половины XI вѣка, намъ сохранился до настоящаго времени вышепомянутый списокъ Евангелія, писанный діакономъ Григоріемъ для новгородскаго посадника Остромира, въ 1056—1057 г., великолѣпная пергаменная рукопись, писанная крупнымъ уставомъ, украшенная раззолоченными заглавіями, фигурными начальными буквами и четырьмя большими изображеніями Евангелистовъ. Остромирово Евангеліе, которое, въ настоящее время, хранится въ Императорской Публичной Библіотекѣ въ С.-Петербургѣ, представляетъ собою древнѣйшій памятникъ для новгородской письменности, и всѣ славяне съ благоговѣніемъ смотрятъ на него, какъ на драгоценный образецъ письменнаго искусства нашихъ предковъ, тѣмъ болѣе, что ни одному изъ славянскихъ племенъ не удалось сохранить подобнаго сокровища отъ своей рукописной старины. Въ Остромировомъ Евангеліи помѣщены Евангельскія чтенія: 1, въ главные дни пасхальнаго года, отъ свѣтлаго воскресенья до послѣдней заутрени великаго поста; 2, въ праздники отъ 1-го сентября до

последняго числа августа; 3, особы евангельскія чтенія. Текстъ этихъ чтеній въ Остромировомъ Евангеліи можно считать почти вполнѣ вѣрнымъ подлинному древнему переводу, надъ которымъ трудились братья-первоучители. Во второй части Остромирова Евангелія, передъ чтеніями евангельскими, написаны календарныя замѣтки, древнѣйшія изъ доселѣ извѣстныхъ замѣтокъ этого рода.

Важно Остромирово Евангеліе и потому что представляетъ „древній славянскій языкъ почти въ ненарушенномъ древнѣйшемъ его строѣ; самыя даже отклоненія отъ требованій этого строя замѣчательны, указывая на особенности двухъ нарѣчій: одного южнаго, за-Дунайскаго, и другаго — сѣвернаго, рус-

скаго, что для насъ особенно важно. Наконецъ важно Остромирово Евангеліе, какъ древнѣйшая изъ доселѣ открытыхъ рукописей русскихъ, отмѣченныхъ годомъ“¹⁾.

Любуясь изящною, прекрасно сохранившеюся внѣшностью этого драгоценнаго памятника, невольно задумываешься надъ дивною его судьбою: восемьсотъ лѣтъ протекли незамѣтно для этой книги, уцѣлѣвшей отъ первоначальнаго скуднаго запаса русской письменности и какъ-бы для того избѣгнувшей пожаровъ, погромовъ и раззореній всякаго рода, дабы и нынѣ еще служить намъ живымъ краснорѣчивымъ памятникомъ той отдаленной эпохи, когда земля Русская только еще начинала просвѣщаться первыми лучами истины и благодати.



¹⁾ Академика И. Срезневскаго. Древніе памятники русскаго письма и языка. Стр. 14—15.



II.

Первые шаги грамотности.— Первые опыты литературные.— Лука Жидята.— Иларионъ.— Обзоръ твореній Осодосія Петерскаго, Никифора и Кирилла Туровскаго.



Послѣ введенія христіанства Владиміромъ на Руси, видимъ уже заботы его и сыновей его о повсемѣстномъ распространеніи грамотности. Несмотря на то, что изъ Греціи и Болгаріи прибыло къ намъ много духовенства, его, по мѣрѣ распространенія христіанства въ обширныхъ областяхъ Руси южной и сѣверной, оказывалось недостаточно. Къ тому-же, духовенство видѣло въ грамотности единственное средство къ усиленію вліянія христіанства въ новообращенной странѣ, а потому и побудило Владиміра озаботиться учрежденіемъ училищъ въ Кіевѣ. Изъ древнихъ лѣтописей нашихъ знаемъ мы, что Владиміръ и дѣйствительно велѣлъ отбирать дѣтей у лучшихъ гражданъ кіевскихъ, и отдавать ихъ въ ученье по церквамъ, при которыхъ священники и причтъ образовали училища. Сынъ Владиміра Равноапостольнаго, Ярославъ I, прозванный Мудрымъ, учредилъ такіа-же училища въ Новѣ-

городѣ: по его повелѣнію, собрано было у священниковъ и важнѣйшихъ гражданъ новгородскихъ до 300 дѣтей для обученія грамотѣ. И самъ Ярославъ замѣчательно преданъ былъ дѣлу ученія: читалъ книги ночью и днемъ, собиралъ около себя поновъ и монаховъ и поощрялъ ихъ къ переводу греческихъ книгъ на славянскій языкъ. По его желанію, многія книги были писцами переписаны, другія куплены самимъ княземъ, который положилъ основаніе древнѣйшему изъ нашихъ книгохранилищъ, сложивъ книги эти при новгородскомъ софійскомъ соборѣ. Древній лѣтописецъ нашъ, жившій въ концѣ XI и началѣ XII вѣка, вспоминая о трудахъ Ярослава и Владиміра на пользу распространенія грамотности въ новообращенной странѣ, не даромъ говорилъ: „подобно тому, какъ еслибы кто-нибудь распахалъ землю, а другой посѣялъ, а иные стали-бы пожинать и ѣсть пищу обильную, —

такъ и князь Владиміръ распахалъ и умягчилъ сердца людей, просвѣтивши ихъ крещеніемъ; сынъ его, Ярославъ, посылалъ ихъ книжными словами, а мы теперь пожинаемъ, принимая книжное ученіе“.

Распространеніе грамотности шло, конечно, не всюду равномерно; но почва для грамотности оказалась удобною: объ этомъ всего легче судить по тому, что уже въ первой половинѣ XI вѣка начинаютъ у насъ появляться первые литературные опыты, и опыты эти принадлежать чисто русскимъ лю-

въ видѣ болгарскихъ переводовъ и передѣлокъ. Не слѣдуетъ упускать изъ виду и того, что болгаре и греки, приходившіе къ намъ на Русь, въ первое время по принятіи нами христіанства, большею частью, принадлежали къ сословію духовному; что школы устранивались преимущественно при церквахъ и учителями въ нихъ являлись духовныя-же лица; что главною цѣлью распространенія грамотности въ этомъ древнѣйшемъ періодѣ являлось стремленіе дать народу грамотныхъ пастырей церкви. Вслѣд-



Древній соборъ Св. Софіи въ Новгородѣ.

дямъ, воспитавшимся на русской почвѣ. Само собою разумѣется, что самостоятельными эти первые литературные опыты быть не могли: они могли проявиться только въ видѣ подражаній тѣмъ образцамъ, которые представляла намъ литература византійская, потому, что и новая вѣра, и образованіе были принесены къ намъ изъ Византіи. А такъ-какъ Византія дѣйствовала на насъ и непосредственно, и чрезъ посредство болгарскихъ славянъ, то и образцы византійской литературы заходили къ намъ на Русь въ двухъ видахъ: или въ видѣ греческихъ подлинниковъ, или

стvie этого, преимущественно грамотнымъ сословіемъ въ древней Руси должно было явиться духовенство и монашество и, подъ вліяніемъ этого сословія, наиболѣе значенія должна была пріобрѣсти литература духовная, для которой образцы и почерпались изъ Византіи. На томъ же основаніи, и къ самой литературѣ свѣтской и къ всему образованію въ древней Руси привился характеръ строго-религіозный.

Первые опыты нашихъ русскихъ литературныхъ дѣятелей, принадлежавшихъ къ духовенству, состояли изъ поученій, пропо-

вѣдѣй и посланій, въ которыхъ духовенство обращалось къ пастырь своей, истолковывая ей важнѣйшія стороны христіанской религіи, опровергая ложныя толкованія различныхъ догматовъ, порицая въ народѣ приверженность къ языческимъ обычаямъ и къ нѣкоторымъ порокамъ. Всѣ эти поученія, проповѣди и посланія вызываемы были, по видимому, двумя главными побужденіями: съ одной стороны, желаніемъ просвѣтить народъ и князей, и дать имъ правильное понятіе объ обязанностяхъ христіанина; а съ другой — желаніемъ защитить такъ успѣшно распространенное въ Россіи православіе отъ вліянія католичества и іудейства, какъ именно такихъ двухъ началъ, которыя всего легче могли въ то время дѣйствовать на юную, еще не окрѣпшую въ новой религіи, паству русскую.

Первыми, по времени, авторами русскими являются въ нашей литературѣ Иларіонъ, митрополитъ кіевскій (съ 1051 года), и Лука Жидята, поставленный епископомъ новгородскимъ въ 1036 году. Отъ каждаго изъ нихъ сохранилось до нашего времени по одному поученію. Отъ Луки Жидаты дошло до насъ „Почуеніе къ братіи“, чрезвычайно замѣчательное по законизму языка и простотѣ своего содержанія. Видно, что Лукѣ приходилось имѣть дѣло съ паствою, состоявшею изъ людей, недавно обращенныхъ въ христіанство и вовсе незнакомыхъ даже съ наиболѣе важными истинами христіанскими, потому, что все „Почуеніе къ братіи“ представляетъ собою простое переложеніе заповѣдей и напоминаніе о важнѣйшихъ обязанностяхъ христіанина по отношенію къ Богу, къ себѣ самому и къ ближнимъ. Приводимъ здѣсь этотъ драгоценный памятникъ русской литературы XI вѣка цѣликомъ:

„Вотъ, братія, прежде всего, эту заповѣдь должны мы, всѣ христіане, держать: вѣровать во единого Бога, въ Троицѣ славимаго, въ Отца и Сына, и Св. Духа, какъ научили Апостолы, утвердили св. Отцы. Вѣруйте воскресенію, жизни вѣчной, мукѣ грѣшникамъ вѣчной. Не гнѣвайтесь въ церковь ходитъ, къ заутрени и къ обѣднѣ, и къ вечернѣ, и въ своей клѣтѣ прежде Богу поклонись, а потомъ уже ложись спать. Въ церкви стойте со страхомъ Божиимъ, не разговаривайте, не думайте ни о чемъ другомъ, но молитесь Бога всею мыслию, да отпустить

Онъ вамъ грѣхи. Любовь имѣйте со всякимъ человекомъ и больше съ братьями, и пусть не будетъ у васъ одно на сердцѣ, а другое на устахъ; не рой брату яму, чтобы тебя Богъ не ввергнулъ въ худшую. Терпите обиды, не платите зломъ за зло; другъ друга хвалите, и Богъ васъ похвалитъ. Не ссорь другихъ, чтобы не назвали тебя сыномъ дьявола; помирн — да будешь сынъ Богу. Не осуждай брата и мысленно, помняая свои грѣхи, — да и тебя Богъ не осудитъ. Помните и милуйте странныхъ, убогихъ, заточенныхъ въ темницы, и къ своимъ сиротамъ (т. е. рабамъ) будьте милостивы. Игрищъ бѣсовскихъ вамъ, братія, не прилично творить, также — говорить срамныя слова, сердиться ежедневно; не презирай другихъ, не смѣйся ни надъ кѣмъ, въ напасти терпи, имѣя упованіе на Бога. Не будьте буйны, горды; помните, что, можешь быть, завтра будете смрадъ, гной, черви. Будьте смиренны и кротки: у гордаго въ сердцѣ дьяволъ сидитъ и Божіе Слово не прильнетъ къ нему. Почитайте стараго человека и родителей своихъ, не клянитесь Божиимъ именемъ, и другого не заклиняйте и не проклиняйте. Судите по правдѣ, взятковъ не берите, денегъ въ ростъ не давайте, Бога бойтесь, князя чтите. Рабы, повинуйтесь сначала Богу, потомъ господамъ своимъ, чтите отъ всего сердца іерея Божія, чтите и слугъ церковныхъ. Не убей, не украдь, не лги, живымъ свидѣтелемъ не будь, не враждуй, не завидуй, не клеветни; не пей не - во - время, и всегда пейте съ умѣренностью, а не до пьянства; не будь гнѣвливъ, дерзковъ; съ радующимися радуйся, съ печальными будь печаленъ; не ѣшьте нечистаго, святые дни чтите, Богъ же мира со всѣми вами. Аминь“.

Отъ Иларіона дошло до насъ „Слово о законѣ, данномъ чрезъ Моисея, и о благодати и истинѣ, происшедшей черезъ Іисуса Христа“. Въ этомъ поученіи мы видимъ полнѣйшую противоположность только-что приведенному нами поученію новгородскаго епископа, Луки Жидаты. „Слово о законѣ“ выказываетъ въ Иларіонѣ человека, способнаго къ ясному изложенію своихъ мыслей даже и тогда, когда онъ касался довольно запутанныхъ и спорныхъ вопросовъ, притомъ знакомаго съ произведеніями византийскихъ проповѣдниковъ, отъ которыхъ онъ заимствовалъ внѣшнюю форму своего „Сло-

ва". Видно, что и тѣ, для которыхъ проповѣдникъ предназначилъ свое „Слово“, были тоже люди начитанные и способные оцѣнить разсужденіе Иларіоново; онъ и самъ говоритъ, что писалъ „не къ невѣдущимъ людямъ, но къ насытившимся сладости книжной“. Содержание „Слова“ заключается въ указаніи противоположности христіанства іудейству, и превосходства благодати Христовой, Новаго Завѣта, передъ закономъ, даннымъ черезъ Моисея. Указывая на преимущества христіанства, Иларіонъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, изясняетъ, что принятіе христіанства было величайшимъ счастьемъ для Руси; потомъ сравниваетъ Русь языческую съ Русью христіанскою. „Мы уже не зовемся болѣе идолослужителями“, говоритъ онъ, „но христіанами; мы болѣе уже не безнадежны, но уповаемъ въ жизнь вѣчную; не строимъ болѣе капищъ, а создаемъ церкви Христовы; не закалаетъ другъ друга, но Христосъ закалается за насъ и дробится въ жертву Богу и Отцу“. Послѣ этого сравненія, Иларіонъ заканчиваетъ свое „Слово“ восторженною похвалою Владиміру Равноапостольному, просвѣтившему Русь крещеніемъ. Одною изъ побудительныхъ причинъ къ написанію „Слова о благодати“ было, конечно, желаніе противоудѣствовать распространенію на Руси іудейства, которое и въ это время, и въ послѣдствіи, какъ мы далѣе увидимъ, много разъ порывалось къ намъ проникнуть и у насъ водвориться.

Третій писатель нашъ, также принадлежавшій XI столѣтію, былъ игуменъ Кіево-печерскаго монастыря — Θεодосій. Онъ избранъ былъ въ игумены въ 1062 году, а за тридцать лѣтъ передъ тѣмъ поступилъ въ этотъ-же монастырь, когда онъ еще только основывался, и первые отшельники только еще начинали собираться около преподобнаго Антонія, поселившагося въ пещерѣ, выкопанной Иларіономъ на берегу Днѣпра, на высокой горѣ, поросшей лѣсомъ. Сюда любилъ уединяться Иларіонъ, когда еще былъ священникомъ въ Берестовѣ, селѣ князя Ярослава I; здѣсь поселился Антоній, послѣ долгаго пребыванія въ монастыряхъ греческихъ, на Аѳонской горѣ; сюда-же, вмѣстѣ съ небольшою, но избранною братією, привлеченный слухами о святости жизни Антонія, явился и Θεодосій. И мало-помалу образовался и явился здѣсь слав-

ный въ послѣдствіи Кіево-печерскій монастырь, которому суждено было сдѣлаться однимъ изъ важнѣйшихъ разсадниковъ просвѣщенія и литературы въ древней Руси. Въ числѣ иноковъ и настоятелей Кіево-печерскаго монастыря, видимъ мы замѣчательнѣйшихъ дѣятелей древней Руси; въ стѣнахъ его видимъ кипучую, неутомимую дѣятельность просвѣщеннѣйшихъ людей того времени. Здѣсь воспитываются лучшіе проповѣдники наши; здѣсь составляются житія святыхъ, ведутся лѣтописи; отсюда, черезъ просвѣщенныхъ пастырей и епископовъ, проливается свѣтъ грамотности во всѣ концы тогдашняго русскаго міра; отсюда-же выходить и ревностнѣйшіе проповѣдники слова Божія, безстрашно стремящіеся въ лѣса и пустыни распространять вѣру Христову между язычниками...

Мы почти ничего не знаемъ о жизни двухъ вышепомянутыхъ первыхъ писателей нашихъ; что-же касается третьяго, Θεодосія, — отъ котораго дошло до насъ „посланіе къ великому князю Изяславу о латинской вѣрѣ“, десять краткихъ поученій къ инокамъ кіево-печерскимъ и одно обширное поученіе къ народу, — то подробности его жизни, поразившія современниковъ, были съ величайшимъ тщаніемъ собраны иноками кіево-печерскими и записаны другимъ замѣчательнѣйшимъ писателемъ конца XI и начала XII вѣка — Несторомъ. Несторъ оставилъ намъ „житіе Θεодосія“, и мы, далѣе, приведемъ важнѣйшіе отрывки изъ этого, въ высшей степени любопытнаго памятника; потому-то и не будемъ мы здѣсь вдаваться въ подробности біографіи Θεодосія, а только укажемъ на важнѣйшія черты его характера, на сколько онъ выражается въ его сочиненіяхъ и проявляется въ частностяхъ его жизни. Θεодосій является намъ однимъ изъ самыхъ крупныхъ и наиболѣе опредѣленныхъ типовъ въ древнѣйшемъ періодѣ нашей литературы. Въ Θεодосіи видимъ мы богатую, энергическую и могучую русскую натуру, на которую успѣло сильно подѣйствовать христіанство. Съ самаго дѣтства, онъ уже создаетъ себѣ высокое понятіе о назначеніи человека-христіанина, и всю жизнь свою стремится къ тому, чтобы не только осуществить это назначеніе въ себѣ самомъ, но и другихъ увлечь примѣромъ по тому же пути къ нравственному совершенствованію. Эта послѣд-

ная черта—желаніе дѣйствовать примѣромъ и не ограничиваться только поученіями, но постоянно примѣнять къ жизни все, въ нихъ высказываемое,—выказываетъ намъ Θεодосіа съ особенною привлекательною стороною. „Любовь къ Богу можетъ быть выражена только дѣлами, а не словами“, говоритъ Θεодосій въ своемъ словѣ „о терпѣніи и любви“, и постоянно, въ теченіи всей своей жизни, старается проводить ту-же самую мысль на практикѣ. Самъ постоянно занятый, онъ требовалъ, чтобы и братія работали неутомимо; заботился о томъ, чтобы всѣ, подобно ему, не придавали никакого значенія мірскимъ благамъ, а все-бы приносили на жертву ближнему своему. „Мы должны отъ трудовъ своихъ кормить убогихъ и странниковъ“,—говоритъ Θεодосій въ словѣ „о терпѣніи и милостыни“, — „а не пребывать въ праздности, переходя изъ кельи въ келью“. И по его слову, монастырь Кіево-печерскій неустанно заботился о нуждавшихся не только въ пищѣ матеріальной: братія, по удачному выраженію одного нашего ученаго, „готовили имъ пищу и другого рода: изъ монастыря выходили и расходились по лицу земли русской книги“. Кто былъ поученъ, тотъ или списывалъ, или даже переводилъ ихъ; другіе сшивали листы и переплетали. Всѣ трудились—и Θεодосій болѣе всѣхъ, не зная покоя ни днемъ, ни ночью: часто случалось, что онъ, въ ночное время, когда вся братія заснетъ, тайкомъ выходилъ изъ монастыря, уходилъ въ Кіевъ, и тамъ половину ночи проводилъ у городскихъ воротъ въ горячихъ спорахъ съ іудеями, стараясь убѣдить ихъ въ превосходствѣ православія надъ іудействомъ. Борьбу съ іудействомъ и католичествомъ, и притомъ борьбу ожесточенную, непримиримую, Θεодосій считалъ одною изъ первѣйшихъ обязанностей своихъ, — гѣмъ болѣе, что, подобно многимъ своимъ современникамъ, имѣлъ несомнѣннѣе вѣрное понятіе о католическомъ вѣроисповѣданіи, какъ это видно изъ его посланія къ князю Изяславу, въ которомъ онъ старается разъяснить князю важнѣйшія отличія католицизма отъ православія. Но ревность на пользу распространенія православія не ослѣпляетъ его, не заставляетъ его забывать о той дѣятельной христіанской любви, которую онъ старался внушить братіи по отношенію къ ближнимъ: въ бѣдѣ, въ нуждѣ

Θеодосій повелѣваетъ помогать и католикамъ наравнѣ съ православными, хоть и воспрещаетъ православнымъ ѣсть съ ними изъ одного блюда.

Строгій и взыскательный къ себѣ самому, Θεодосій не оказывалъ снисхожденія никому, и не терпѣлъ никакой неправды: такъ, напримѣръ, въ то время, когда любимецъ его, благочестивый Изяславъ, князь кіевскій, былъ свергнутъ съ великокняжескаго престола братомъ своимъ Святославомъ, — Θεодосій открыто укоряетъ Святослава въ беззаконіи, и даже не хотѣлъ поминать его въ церкви за службой и продолжалъ поминать, по прежнему Изяслава. Ни гнѣвъ Святослава, ни угрозы—ни что не могло заставить Θεодосія отступить отъ своего взгляда, и онъ остался вѣренъ ему до конца.

Такая дѣятельность и твердость Θεодосія должны были повліять чрезвычайно сильно на окружавшую его братію и народъ, и по тому самому личность Θεодосія, какъ наиболѣе крупная въ ряду нашихъ проповѣдниковъ XI вѣка, особенно живо и вѣрно сохранилась въ народной памяти. Народъ и братія должны были несомнѣнно понимать его простую проповѣдь, въ которой онъ обращалъ свой проникательный, практический взглядъ на самыя существенныя стороны современной жизни русской, заботясь объ искорененіи важнѣйшихъ недостатковъ и объ утвержденіи во всѣхъ правильнаго пониманія обязанностей христіанина. Тѣ сильныя, энергически начертанные образы, въ которые облачалъ онъ свою рѣчь, не могли не быть доступны и вразумительны большинству его слушателей. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ поученій своихъ, Θεодосій особенно горячо возстаетъ противъ пьянства, сильно распространеннаго въ народѣ, сравниваетъ пьянаго съ бѣсноватымъ, и говоритъ: „бѣсноватый страдаетъ по неволѣ и можетъ удостоиться жизни вѣчной, а пьяный страдаетъ по собственной волѣ и будетъ преданъ на вѣчную муку; къ бѣсноватому прійдетъ іерей, сотворитъ надъ нимъ молитву и прогонитъ бѣса, а надъ пьянымъ, хотя-бы сошлись іерей всей земли и сотворили молитву, — то все-же не прогнали-бы отъ него бѣса самовольнаго пьянства“.... „Помните“, прибавляетъ Θεодосій въ другомъ поученіи своемъ, „что бѣсы радуются нашему пьянству, и, радуясь, приносятъ

дьяволу жертву пьянственную отъ пьяницы; дьяволъ-же говоритъ: „меня никогда не радуютъ столько жертвы измичниковъ, сколько веселитъ и радуетъ меня пьянство христіанъ, ибо пьяницы всегда способны дѣлать все, чего я захочу“.... „всѣ пьяные — мнѣ принадлежать, а трезвые — Богу“... И посылаетъ дьяволъ бѣсовъ, говоритъ: „идите, поучайте христіанъ пьянству и повинновенію моей волѣ“. Въ другомъ поученіи, укоряя братію въ нерадѣніи къ слову Божию и къ исполненію обязанностей, Феодосій весьма удачно сравниваетъ иноковъ съ воинами и говоритъ: „когда надъ спящею ратью затрубить труба воинская, никто изъ воиновъ не станетъ спать: а Христову-то воину прилично-ли глѣниться? Вѣдь воины-то изъ пустой и преходящей славы позабываютъ и женъ, и дѣтей, и мѣны. Что говорю я — мѣны: они даже и голову свою ни во что не ставятъ, лишь бы мнѣ не посрамиться. А между тѣмъ они сами смертны, и слава ихъ кончается съ жизнью. Съ нами-же не то будетъ: если стершимъ, борясь съ нашими супостатами, и одолѣмъ, то удостоимся вѣчной славы и несказанной чести“.

Вслѣдъ за Феодосіемъ Печерскимъ, нельзя не упомянуть, въ числѣ нашихъ проповѣдниковъ, о Никифорѣ, который былъ по происхожденію грекъ, получилъ воспитаніе въ Византіи и поставленъ былъ митрополитомъ кіевскимъ въ началѣ XII в. (отъ 1104—1121), и еще о Кириллѣ, епископѣ туровскомъ, жившемъ въ концѣ XII вѣка (онъ умеръ около 1182 г.). Несмотря на то, что грамотность успѣла сдѣлать большіе успѣхи въ теченіе XI столѣтія, что, вслѣдствіе сильно разившейся страсти къ чтенію, образованіе также должно было значительно подвинуться впередъ, мы все-же видимъ, что въ началѣ XII вѣка проповѣдь русская не измѣняетъ своего характера, и слѣдуетъ тому-же самому направленію, которымъ она шла и въ XI вѣкѣ, — измѣняется только внѣшняя форма ея. Отъ митрополита Никифора дошли до насъ два посланія; оба они писаны имъ для знаменитаго современника—Владимира Мономаха. Одно изъ этихъ посланій было отвѣтомъ на запросъ князя „почему отвергнуты были латины отъ святой, соборной и православной церкви?“ Митрополитъ, въ своемъ посланіи, весьма точно исчисляетъ тѣ 20 пунктовъ, на основаніи

которыхъ произошло, по его мнѣнію, разединеніе Западной и Восточной Церкви. Гораздо болѣе любопытно для насъ другое посланіе митрополита Никифора къ Мономаху—„о постѣ“,—не только по тѣмъ отношеніямъ митрополита къ великому князю, какія высказываются въ этомъ памятникѣ, но и по внѣшней, чрезвычайно замкнсловатой формѣ изложенія мыслей. Посланіе, какъ видно, написано по поводу великаго поста, во время котораго, по замѣчанію Никифора, самый уставъ церковный повелѣваетъ и князямъ говорить нѣчто полезное. На этомъ основаніи, онъ говоритъ вообще о пользѣ поста, и, обращаясь къ Мономаху, прибавляетъ, что такому князю, какъ Мономахъ, не нужно говорить въ похвалу поста, такъ-какъ онъ въ благочестіи воспитанъ и постомъ воздвоенъ, и всѣ, видя его воздержаніе во время поста, могутъ только изумляться ему. „Что скажу я такому князю“, продолжаетъ проповѣдникъ, „который, болѣею частью, снитъ на сырой землѣ, избѣгаетъ дома своего, отвергаетъ свѣтлое платье, по лѣсамъ ходитъ въ одеждѣ сиротинской (рабской, простой), и только по нуждѣ, входя въ городъ, надѣваетъ на себя одежду востелинскую? Что говорить такому князю, который другимъ любить готовить обѣды обильныя, а самъ служить гостямъ, работаетъ своими руками, и подаваніе котораго доходитъ даже до подалей; другіе насыщаются и упиваются, а князь сидитъ и смотритъ только, какъ другіе ѣдятъ и пьютъ, довольствуясь самъ малою пищею и водою: — такъ угождаетъ онъ своимъ подданнымъ, сидитъ и смотритъ, какъ рабы его упиваются. Руки его ко всѣмъ простерты, никогда не прячетъ онъ своихъ сокровищъ, никогда не считаетъ золота или серебра, но все раздаетъ, а между тѣмъ казна его никогда не бываетъ пуста?“

Начертать эту прекрасную характеристику Мономаха, Никифоръ находитъ, что съ такимъ княземъ о постѣ говорить нечего, и предпочитаетъ побесѣдовать съ нимъ „о самомъ источникѣ, изъ котораго происходитъ въ людяхъ всякое добро и всякое зло“. Послѣ этого, проповѣдникъ объясняетъ князю, что въ душѣ человѣческой есть три главныя стремленія: словесное (разумъ), яростное (чувство) и желанное (воля). У этихъ трехъ главныхъ силъ души человѣческой есть, по выраженію Никифора, и особые слуги,

черезъ которыхъ онѣ дѣйствуютъ. „Какъ ты, князь, сидя на своемъ престолѣ, дѣйствуешь черезъ своихъ воеводъ и слугъ по всей твоей странѣ: такъ и душа дѣйствуетъ по всему тѣлу черезъ пять слугъ своихъ, т.-е. черезъ пять чувствъ“. Слѣдуетъ перечисленіе пяти чувствъ, и, между ними, Никифоръ особенное вниманіе обращаетъ на слухъ и зрѣніе, при чемъ и отдаетъ преимущество послѣднему, такъ-какъ оно насъ не можетъ обманывать, а черезъ слухъ очень часто можетъ доходить до насъ многое невѣрное; на этомъ-то свойствѣ слуха Никифоръ и сосредоточиваетъ все свое вниманіе, желая, по видимому, внушить Мономаху, что онъ часто склоненъ бываетъ слушать ложные доносы. „Кажется мнѣ, князь мой“, говорить по этому поводу проповѣдникъ, „что, не будучи въ состояніи видѣть всего самъ, своими глазами,—ты слушаешь другихъ и въ отверстый слухъ твой входитъ стрѣла; такъ подумай объ этомъ, князь мой, изслѣдуя внимательнѣе, подумай объ изгнанныхъ тобою, осужденныхъ, прѣзрѣнныхъ, вспомни обо всѣхъ, кто на кого сказалъ что-нибудь, кто кого оклеветалъ, самъ разсуди таковыхъ, всѣхъ помани и отпусти, да и тебѣ отпустится, отдай, да и тебѣ отдастся“. Въ заключеніе своего слова, Никифоръ прибавляетъ, какъ-бы въ утѣшеніе князю: „не опечался, князь, словомъ моимъ, не подумай, что кто-нибудь пришелъ ко мнѣ съ жалобой, и потому я написалъ это тебѣ. Нѣтъ! такъ, просто пишу я тебѣ для напоминанія, такъ-какъ въ немъ нуждаются владыки земные; многими пользуются они, но за то и многими искушеніямъ подвержены“.

Запутанное и вычурное построеніе этого поученія, весьма замѣчательнаго по содержанію, тѣ сравненія, къ которымъ прибѣгаетъ авторъ для поясненія своей мысли, и отдаленная, искусственная связь, какую видимъ мы между началомъ „слова“ и послѣднимъ выводомъ изъ него, — все это указываетъ намъ въ проповѣдникѣ человека, который старался подражать современнымъ образцамъ византійскаго духовнаго краснорѣчія, страдавшаго полнѣйшимъ отсутствіемъ простоты въ развитіи мысли и большою искусственностью въ изложеніи. Эта искусственность особенно поражаетъ насъ при сравненіи проповѣди Никифора съ простымъ поученіемъ Л. Жидаты и

съ энергическими, сжатыми, ясными проповѣдями Θεодосія. Замѣтно, однако-же, что, по мѣрѣ того, какъ духовенство болѣе и болѣе знакомилось съ образцами византійскаго духовнаго краснорѣчія, въ немъ болѣе и болѣе пробуждалась страсть къ подражанію этимъ образцамъ, совершенно несвойственнымъ той почвѣ, на которой древнимъ проповѣдникамъ нашимъ приходилось дѣйствовать. Это стремленіе къ подражанію византійскимъ проповѣдникамъ высказывается особенно ясно и рѣзко въ твореніяхъ Кирилла, епископа Туровскаго. Онъ былъ епископомъ туровскимъ въ концѣ XII в., между 1171—1182 г. Отъ него дошло до насъ девять словъ къ народу, три слова къ монахамъ, молитвы и каноны. Проповѣди къ народу сказаны были въ теченіе воскресныхъ дней, начиная отъ вербной недѣли и до троицна дня. Современники Кирилла Туровскаго, пораженные разнообразіемъ и блескомъ его краснорѣчія, сравнивали его съ Златоустомъ и называли „вторымъ златословеснымъ учителемъ“. И, дѣйствительно, поученія Кирилла чрезвычайно богаты весьма замѣчательными, поэтическими образами и уподобленіями; но за то онъ такъ часто придаетъ самымъ яснымъ событіямъ смыслъ иносказательный, символическій, такъ часто заставляетъ своихъ слушателей видѣть значеніе пророческое, прообразовательное въ самыхъ подробностяхъ, заимствованныхъ имъ изъ Св. Писанія,—что даже и наиболѣе образованные изъ тѣхъ слушателей, къ которымъ Кириллъ Туровскій обращался въ проповѣдяхъ своихъ, должны были, вѣроятно, многое въ нихъ непонимать. Съ постояннымъ приѣмомъ изложенія въ проповѣдяхъ Кирилла Туровскаго насъ всего легче могутъ ознакомить слѣдующіе отрывки изъ нихъ:

„Сегодня“ — такъ говоритъ проповѣдникъ въ своемъ словѣ на Вербное Воскресенье — „Христосъ отъ Визаніи входитъ въ Іерусалимъ, возсѣвъ на жребя осла, да совершится пророчество Захаріино. Уразумѣвая пророчество это, станемъ веселиться;.... жребя — вѣровавшіе язычники, которыхъ посланные Христомъ Апостолы отрѣшили отъ лести дьявольской... Апостолы на жребя ризы возложили, на которыя сѣлъ Христосъ. Здѣсь видимъ обнаруженіе преславной тайны: ризы — это христіанскія добродѣтели Апосто-

ловъ, которые своимъ ученіемъ устроили благовѣрныхъ людей въ престолъ Божій и вмѣстилище Св. Духу. Нынѣ народы постигаютъ Господу, по пути, одни — ризы свои, а другіе — вѣтви древесныя; добрый, правый путь міродержателямъ и всѣмъ вельможамъ Христосъ показалъ: пославши этотъ путь милостынею и незлобіемъ, безъ труда входятъ они въ царство небесное; ломающіе-же вѣтви древесныя суть простые люди и грѣшники, которые сокрушеннымъ сердцемъ и умиленіемъ душевнымъ, постомъ и молитвами свой путь равняютъ и къ Богу приходятъ. — Часто случается, что такое-же точно символическое значеніе пламенная фантазія Кириллова придаетъ и самымъ обыкновеннымъ явленіямъ природы, пользуясь ими, какъ средствомъ для внесенія въ проповѣдь свою образовъ и примѣровъ, которые, по его мнѣнію, должны были служить слушателямъ къ ближайшему истолкованію глубокаго смысла различныхъ событій Св. Писанія, по поводу воспоминанія которыхъ онъ говорилъ свои проповѣди. Такъ, напримѣръ, въ словѣ на Ѧомино Воскресеніе онъ говоритъ:

„Нынѣ весна красуется, оживляя земную природу; вѣтры, тихо вѣя, подаютъ плодамъ обиліе, и земля, сѣмена питая, зеленую траву рождаетъ. Весна есть красная вѣра Христова, которая крещеніемъ возрождаетъ чело-вѣческую природу; вѣтры — помыслы грѣхотвореній, которые, претворившись покаяніемъ въ добродѣтель, приносятъ душеполезные плоды; земля-же нашей природы, принявъ въ себя Слово Божіе, какъ сѣмя, и боля постоянно страхомъ Божиимъ, рождаетъ духъ спасенія. Нынѣ новорожденные агнцы и юнцы скачутъ быстро, и весело возвращаются къ матерямъ своимъ, а пастухи на свирѣляхъ съ веселіемъ хвалятъ Христа: агнцы — это кроткіе люди изъ язычниковъ, а юнцы — кумирслужители невѣрныхъ странъ, которые, Христовымъ вочеловѣченіемъ и Апостольскимъ ученіемъ, и чудесами, къ св. Церкви возвратившись, сосутъ млеко ученія; а учителя Христова стада, о всѣхъ моляся, Христа Бога славятъ, собравшаго всѣхъ волковъ и агнцевъ въ одно стадо. Нынѣ древа лѣторосли испускаютъ, а цвѣты — благоуханіе, и вотъ, уже въ садахъ слышится сладкій запахъ, и дѣлатели, съ надеждою трудясь, плододавца Христа призываютъ; прежде были мы, какъ древа дубравныя, неимѣю-

щія плодовъ; а нынѣ Христова вѣра привилась къ нашему невѣрію, и, держась корня Іесеева, испуская добродѣтели, какъ цвѣты, ожидаемъ райскаго пакибытія о Христѣ, и святители, трудясь о церкви, ожидаютъ отъ Христа награды. Нынѣ оратаи слова, словесныхъ воловъ къ духовному ярму приводя, и крестное рало въ мысленныхъ браздахъ погружая, и проводя бразду покаянія, всыпая въ нее сѣмя духовное, веселятся надеждами будущихъ благъ“. Многія изъ словъ Кирилла Туровскаго напоминаютъ намъ церковныя пѣсни и стихиры, которыя и доселѣ еще поются и читаются въ нашей Церкви. Самъ проповѣдникъ, окончивъ свою проповѣдь на Вербное Воскресеніе, восклицаетъ: „сокративши слово, пѣснями, какъ цвѣтами, Святую Церковь увѣнчаемъ и украсимъ праздникомъ, и вознесемъ славословіе Богу, и возвеличаемъ Христа, Спасителя нашего“. Одна изъ проповѣдей Кирилла туровскаго — „Слово на Вознесеніе“ — представляетъ собою почти дословное повтореніе и распространеніе церковныхъ пѣснопѣній, сопровождающихъ празднованіе этого дня. По справедливому замѣчанію одного русскаго ученаго, такіа слова, вмѣстѣ съ самыми пѣснопѣніями церкви, не могли не дѣйствовать на воображеніе воспріимчивыхъ людей изъ народа; подъ вліяніемъ ихъ, развивался совершенно новый родъ народной поэзіи, — такъ называемые, духовные стихи. Особенное вліяніе на образованіе ихъ должны были имѣть такіа слова, предметъ которыхъ, выходя за точные предѣлы Св. Писанія, давалъ большой просторъ религіозной фантазіи проповѣдника. А такіа отступленія отъ разсказа Св. Писанія мы встрѣчаемъ у Кирилла туровскаго нерѣдко и воображеніе его помогаетъ ему иногда въ дополненіи разсказа Евангельскаго цѣлыми разговорами, которые ведутъ между собой выводимыя имъ въ проповѣди лица.

Отступая отъ буквального изложенія текста Св. Писанія, ради витѣвстыхъ историческихъ украшеній, Кириллъ, однакоже, весьма охотно прибѣгалъ къ одной изъ наиболѣе употребительныхъ формъ изложеній въ Св. Писанія — къ притчѣ. Одно изъ его „словъ“, именно „Слово о душѣ и тѣлѣ чело-вѣческомъ“, изложено въ видѣ притчи о хромцѣ и слѣпцѣ. Содержаніе притчи черезъ чуръ сложно и замысловато: въ ней

той простоты и очевидности вывода, ю отличаются притчи Евангельскія. я сущность заключается въ слѣдую- „Нѣкій домовитый человѣкъ, насадилъ адникъ, оградилъ его стѣною, а въ устроилъ ворота, но не затворилъ ихъ, дилъ при нихъ сторожами хромого и о. въ той надеждѣ, что сами они не ахъ будутъ покуситься на ограбленіе виноградника, и что ихъ бдительности достаточно, чтобы уберечь виноградъ отъ постороннихъ. Но хозяинъ ошибся ихъ расчетахъ: стражи, посаженные въ ворота стоворились между собою; і посадилъ на себя хромого, который ѣ ему путь въ виноградникъ, и они, ѣ образомъ, ухитрились похитить изъ всю жатву“. Авторъ истолковываетъ іе притчи такъ: „домовитый хозяинъ, івшій виноградникъ—Богъ, насадившій ѣ Востокъ и поручившій храненіе его ѣку; хромой привратникъ—тѣло чело- ѣое, а слѣпой — душа человѣка“. Еще ѣю запутанностью отличается одно изъ сочиненій Кирилла Туровскаго объ ѣкой жизни, извѣстное подъ общимъ

названіемъ: „Притчи о человѣдѣ бѣлориздѣ“. Въ послѣдующіе вѣка, къ сочиненіямъ Ки- рилла Туровскаго духовное и грамотное со- словіе наше относилось съ особеннымъ ува- женіемъ, тщательно собирало ихъ и перепи- сывало; но, сравнивая ихъ съ произведеніями остальныхъ русскихъ духовныхъ ораторовъ, жившихъ и до Кирилла, и послѣ него, грамот- ные предки наши находили ихъ до такой сте- пени непохожими на остальные памятники нашего духовнаго краснорѣчія, что, принимая творенія Кирилла Туровскаго за переводъ съ греческаго, нѣкоторыя изъ словъ его припи- сывали одноименнымъ ему отцамъ Церкви: — то Кириллу Философу, то Кириллу ми- трополиту. Вообще говоря, если мы срав- нимъ всѣ извѣстныя намъ сочиненія Кири- ла Туровскаго не только съ современною ему русскою литературою, поученій и про- повѣдей, но и съ духовною литературою двухъ послѣдующихъ вѣковъ на Руси, мы должны будемъ признать, что Кириллъ пред- ставляетъ собою замѣчательный и лучший образецъ сильнаго вліянія, оказаннаго лите- ратурою византійскою на развитіе нашей литературы и образованности.





III.

Изборники.—Монастырская литература.—Житія святыхъ и лѣтопись.—Несторъ.



бычнымъ слѣдствіемъ распространія христіанства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и грамотности, у всѣхъ народовъ историческихъ бывало то, что народъ начиналъ яснѣе сознать свою жизнь, и, подѣ влияніемъ тѣхъ, которымъ удалось внести въ эту жизнь новыя духовныя начала, въ немъ возбуждалась потребность отмѣчать и записывать всѣ явленія своей жизни, которыя дѣйствительно были почему-нибудь замѣчательны или казались замѣчательными, сообразно понятіямъ современниковъ. Точно то-же самое видимъ мы и въ древней Руси. Византія просвѣщаетъ насъ христіанствомъ и полагаетъ первыя основы нашей грамотности на общедоступномъ народномъ языкѣ; она-же даетъ намъ не только азбуку и книги богослужебныя: она вноситъ къ намъ уже большой запасъ сочиненій, пересаженныхъ съ византійской почвы литературной на древне-болгарскую, и, такимъ образомъ, вмѣстѣ съ образцами искусства своего, даритъ насъ образцами литературы. Въ числѣ того литературнаго матерьяла, который перенесенъ былъ къ намъ на Русь съ византійско-болгарской почвы, видимъ мы, прежде всего, Псалтирь, Евангеліе и Апостолъ (дѣянія апостольскія и

послания), и притомъ не только какъ книги богослужебныя, но какъ любимое и общераспространенное чтеніе. Особенно распространены были Псалтири, Евангелія и Апостолы съ толкованіями. Толкованія на пророковъ, переведенныя въ Болгаріи, списаны были въ Россіи уже въ первой половинѣ XI вѣка. Рядомъ съ св. Писаніемъ, въ первыя же времена распространія христіанства въ Россіи, являются и нѣкоторыя писанія отцевъ и учителей Церкви: св. Кирилла іерусалимскаго, Василія Великаго, Григорія Богослова, Теодора Студита, Ефрема Сирина, Іоанна Дамаскина. Дороговизна и рѣдкость книгъ вынуждала къ тому, что далеко не всѣ могли пользоваться болѣе или менѣе полными собраніями сочиненій Отцевъ Церкви и довольствовались отрывками изъ нихъ, выписками. Отсюда — цѣлая масса занесенныхъ и постоянно подновляемыхъ и пополняемыхъ у насъ на Руси изборниковъ отеческихъ сочиненій, подѣ различными названіями: Златоструевъ, Измарагдовъ, Златыхъ цѣпей, Златыхъ матицъ и Пчель. Большая часть этихъ сборниковъ состоитъ изъ поученій и толкованій на различныя мѣста св. Писанія; но въ нѣкоторыхъ, какъ

напримѣръ, въ Шестодневѣ Іоанна, экзарха болгарскаго, и въ Златой матицѣ встрѣчаются и статьи о разныхъ предметахъ и явленіяхъ природы, а въ Пчелахъ — отдѣльныя выписки по чисто нравственнымъ предметамъ и различнымъ вопросамъ житейской мудрости. Кромѣ этихъ сборниковъ, также очень рано, при самомъ началѣ письменности, появляются на Руси и патерики (отечники — т. е. сборники житій св. Отцевъ), и сочиненія чисто историческаго содержанія — хроники и хронографы византийскіе. Наши поученія, посланія и проповѣди, естест-

Выше уже видѣли мы, что первыми писателями нашими явились лица духовныя; что они-же явились и первыми распространителями грамотности и просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ. Хотя мы увидимъ далѣе, что въ числѣ свѣтскихъ лицъ — князей, княгинь, дружинниковъ, окружавшихъ князя — являлись охотники собирать и читать книги, однако же преобладающимъ по грамотности, преимущественно грамотнымъ сословіемъ, въ теченіе всего древнѣйшаго періода нашей литературы является все-же одно духовенство и монашество. Монастыри, и въ этотъ древ-



«Пишущій монахъ» — рисунокъ, приложенный къ списку древней лѣтописи.

венно, получаютъ свое начало отъ подобныхъ же произведеній литературы византийской, и всѣ остальные роды древне-русской литературы могли исходить только изъ этого же самаго источника, только на этой почвѣ могли основываться, примѣняясь однако-же къ современнымъ русскимъ потребностямъ, понятіямъ и взглядамъ. Благочестивые предки наши, читая греческіе лѣтописи и патерики, конечно, должны были изъ нихъ почерпнуть первое побужденіе къ тому, чтобы создать нѣчто подобное и у насъ на Руси, гдѣ передъ ихъ глазами совершалась жизнь яркая, разнообразная, богатая подвигами мужества и благочестія, достойными изумленія.

нѣйшій періодъ (XI, XII вв.), и въ гораздо болѣе поздній (XIV, XV и XVI вв.) являются у насъ главными разсадниками просвѣщенія и книжнаго ученія, и даже, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, главными складами, изъ которыхъ распространялись по лицу земли русской, переписываемыя монахами, книги. Отдѣленные отъ мірской суеты и заботъ стѣнами монастырской ограды, огражденные ею-же и отъ внѣшнихъ опасностей, монахи, болѣе чѣмъ кто-либо другой, имѣли возможности и досуга для занятій письменностью и литературою. Здѣсь-то, въ стѣнахъ монастырей, суждено было одновременно зародиться и нашимъ русскимъ патерикамъ,

и писали русские летописи так-как монахи. из его свободной и безмятежной среды представляли почти столько-же удобства къ наблюдению за внутренней жизнью монастыря, сколько и къ наблюдению хода внѣшнихъ событий. Отверженныя имъ его стѣны. „При тогдашней покоемъ духовныхъ, въ *свѣдѣніи монаховъ*“—говоритъ нашъ русский историкъ — „они имѣли возможность знать *современныя событія* во всей ихъ подробности и *приобрѣтать* отъ вѣрныхъ людей свѣдѣнія о *событіяхъ* отдаленныхъ. Въ монастыряхъ приходилъ князь, прежде всего, сообщать о *занимаемыхъ предпріятіяхъ*: духовныя лица *отправлялись* обыкновенно посланниками, слѣдовательно, имъ лучше другихъ было извѣстны ходъ переговоровъ; должно думать, что духовныя лица, какъ верные грамотеи, были и верными дѣльцами, верными секретарями нашихъ древнихъ князей. Принимали также, что въ затруднительныхъ обстоятельствахъ князья обыкновенно прибѣгали къ *свѣдѣніямъ* духовенства: прибавимъ, наконецъ, что духовныя лица имѣли возможность знать также очень хорошо самыя подробности походовъ, ибо сопровождали войска, и, будучи сторонними наблюдателями и вѣстѣ приближенными людьми къ князьямъ, могли сообщать о военныхъ дѣйствіяхъ болѣе вѣрныя свѣдѣнія, нежели сами ратные люди, находившіеся въ дѣлѣ.“ Весьма понятно, что, при такомъ важномъ значеніи въ современномъ обществѣ, духовныя лица, и преимущественно монахи, должны были уже очень рано начать записывать краткія, отрывочныя замѣтки о происходившихъ передъ ними событіяхъ историческихъ или свѣдѣнія о современныхъ имъ лицахъ, или, наконецъ, преданія и рассказы старыхъ людей объ отдаленномъ прошломъ русской земли. Предполагаютъ даже, что, первоначально, такіа краткія, отрывочныя замѣтки записывались духовенствомъ на поляхъ „пасхальныхъ таблицъ“, т. е. небольшихъ кусковъ пергамента, на которыхъ за нѣсколько лѣтъ впередъ бывали расчитаны и отлѣчены тѣ дни, въ какіе праздникъ Пасхи долженъ былъ выпасть въ томъ или другомъ году. Такія пасхальныя таблицы, по обычаю того времени, рассылались въ извѣстные сроки по церквамъ и монастырямъ, и духовенство — въ этотъ періодъ страшной дороговизны на всѣ письменныя принадлежности — должно было

весьма естественно набѣсти на мысль о пополненіи пробѣловъ пергамена пасхальными таблицами своими близкими поутками, равно относившимися и къ исторической жизни той или другой мѣстности, и къ внутренней жизни того или другого монастыря. Монахи начинали въ этихъ пробѣлахъ, противъ крѣпкого года, и о происходившей во время его войнѣ князей съ иноземниками, и о странствованіи надеждъ на свѣтъ или бурѣ, оустоявшихъ окрестности обители, и о кровавой „хвостатой змѣѣ“ (кометѣ), появившейся на горизонтѣ, и о подвигахъ благочестія, совершенныхъ во славу Божию однимъ изъ братьевъ, и о враждѣ „постоянной дымомъ“ между князьями, и о чудесахъ мѣстной иконы. Съ такою-же точно простотой, противъ нѣкоторыхъ годовъ, тотъ-же монахъ выставлялъ слова: „была тишина“ (т. е. ни войны, ни усобицы не было), или даже еще короче и яснѣе: — „ничего не было“ (въ смыслѣ: не случилось ничего замѣчательнаго). Но эти первоначальныя и краткія историческія записи не дошли до насъ въ ихъ простѣйшемъ видѣ. По мѣрѣ того, какъ, съ одной стороны, завѣсь ихъ стала увеличиваться, а съ другой — грамотность и образование стали распространяться все болѣе и болѣе въ средѣ нашего духовенства и монашества, явились и такіе люди, которые уже не стали довольствоваться краткими замѣтками на пасхальныхъ таблицахъ, а захотѣли создать нѣчто болѣе цѣлое, болѣе полное, вѣроятно, принявъ за образецъ хроники византийскія. И вотъ, изъ отрывочныхъ сказаній, замѣтокъ, записей, изъ свѣдѣній, начерченныхъ у византийскихъ хронистовъ или заимствованныхъ прямо изъ устъ очевидцевъ, мало-по-малу создались тѣ летописныя своды наши, которые почти одновременно зародились на разныхъ концахъ древней Руси, въ тѣхъ мѣстахъ ея, которыя были болѣе другихъ богаты историческою жизнью: въ Кіевѣ и Новѣгородѣ, въ Черниговѣ, въ Ростовѣ, на Волынѣ.

Преданіе называетъ инокъ кіево-печерскаго монастыря, Нестора, (жившаго въ XI вѣкѣ и въ началѣ XII) „древнѣйшимъ летописцемъ русскимъ“, однимъ изъ первыхъ составителей нашего летописнаго свода, столь драгоценнаго для потомства, извѣстнаго подъ общимъ заглавіемъ: „Се повѣсти временныхъ лѣтъ, откуда есть пошла рус-

ская земля, кто въ Киевѣ нача первѣе княжити, и откуда русская земля стала естъ“. Все, что извѣстно намъ о Несторѣ, ограничивается очень скудными свѣдѣніями о его пребываніи въ киево-печерской обители. Достоверно знаемъ только то, что 17 лѣтнимъ юношей пришелъ онъ, въ 1073 г., въ монастырь, (слѣдовательно, родился около 1056—1057 г.), гдѣ и былъ постриженъ игуменомъ Стефаномъ, а потомъ поставленъ въ дьяконы. Знаемъ также, что въ 1091 году ему поручено было, вмѣстѣ съ двумя другими иноками, отыскать мощи св. Θεодосія печерскаго, что и было имъ исполнено. Подробное изученіе „Повѣсти временныхъ лѣтъ“ привело однако-же новѣйшихъ ученыхъ нашихъ къ тому, несомнѣнному, выводу, что Несторъ не былъ ея авторомъ, точно такъ-же, какъ не былъ авторомъ ея и Сильвестръ-игумень, котораго имя попадаетъ на многихъ древнѣйшихъ спискахъ этого памятника. „Но имя составителя и не важно..“ замѣчаетъ одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей — „гораздо важнѣе то обстоятельство, что сводъ этотъ, дошедшій до насъ въ спискѣ XIV вѣка, естъ въ дѣйствительности памятникъ XII вѣка, и что, разбирая его по частямъ, мы встрѣчаемъ материалы еще болѣе древніе“. Очевидно, что составитель свода много собралъ свѣдѣній отъ современниковъ-очевидцевъ, изъ которыхъ даже и называетъ двоихъ по именамъ: одинъ — Гюрята Роговичъ, новгородецъ, — вѣроятно, торговый человекъ, сообщившій ему свѣдѣнія о дальнемъ сѣверѣ Россіи, о Печорѣ, Югрѣ; другой — 90-лѣтній старецъ Янъ (умершій въ 1106 г.), сынъ Вышаты, Ярославова воеводы, внукъ посадника новгородскаго, Остромира, впоследствии бывшій и самъ воеводою и важнымъ лицомъ при князьяхъ, состоявшій въ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ къ самому Θεодосію Печерскому. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что и въ средѣ самой братіи киево-печерскаго монастыря много было людей, отъ которыхъ такъ-же, какъ отъ Яна и Гюряты, дошли до гѣтописца свѣдѣнія о разныхъ концахъ Руси, о бытѣ племенъ, обитавшихъ близъ предѣловъ ея, о распространеніи христіанства въ различныхъ областяхъ русскихъ и т. п. Намъ извѣстно, что между братією киево-печерскою, въ разное время, успѣли перебивать люди всѣхъ сословій и всѣхъ состояній; были рускіе

и иноплеменики, были люди, много странствовавшіе и много выдавшіе на своемъ вѣку. Тутъ видимъ и Варлаама — сына боярина, и Ефрема — княжескаго конюшаго, и богатаго купца изъ Торопца — Исаакія Затворника, и Арефу — родомъ изъ дальняго Полоцка, и Ефрема (впоследствии, епископа переяславскаго), — грека родомъ, и Моисея — венгерца, долго жившаго въ плѣну у польскаго короля Болеслава, и Никона Сухого — находившагося долго въ плѣну у половцевъ и потому, вѣроятно, близко знакомаго съ ихъ нравами и обычаями, и, наконецъ, Іеремію Прозорливаго, который былъ очевидцемъ крещенія русской земли при Владимірѣ Равноапостольномъ. Преданія о нихъ не вымирали въ стѣнахъ киево-печерской обители, и очень рано послужили основой для отдѣльныхъ сказаній, которыми и пользовался составитель древнѣйшаго свода. Такъ, въ разсказѣ объ ослѣпленіи Василька Ростиславича, какой-то Василій разсказываетъ, какъ князь Давидъ Игоревичъ, державшій у себя въ плѣну Василька, посылалъ его съ порученіемъ къ этому князю; этотъ разсказъ составляетъ отдѣльное сказаніе, подобное сказанію о убіеніи Бориса и Глѣба, быть можетъ заимствованному изъ житія. Ясно, что у насъ рано начали записываться подробности событій, поразившихъ современниковъ, и черты жизни лицъ, прославившихся своею святостью. Такому же отдѣльному сказанію могло принадлежать и заглавіе, нынѣ приписываемое всему своду: „Се повѣсти временныхъ лѣтъ“ и проч. Эта первоначальная повѣсть, составленная изъ источниковъ иноземныхъ и изъ мѣстныхъ преданій, вѣроятно, доходила до начала княженія Олега въ Киевѣ, и была писана безъ годовъ, что тоже можетъ служить признакомъ ея первоначальной отдѣльности. Другимъ источникомъ послужили для нея краткія погодныя записи происшествій, которыя непремѣнно должны были существовать, ибо иначе откуда-бы знали гѣтописецъ годы смерти князей, походовъ, небесныхъ явленій и т. п. Между этими записями естъ и такія, достоверность которыхъ и теперь еще можетъ быть провѣрена, напр., упоминаніе о явленіи кометы въ 911 г. Такія записи велись по крайней мѣрѣ съ того времени, какъ Олегъ сѣлъ въ Киевѣ, велись по годамъ княженій, и потомъ этотъ счетъ

переложень былъ составителемъ свода на счетъ годовъ отъ сотворенія міра¹⁾).

Кромѣ этихъ источниковъ, составитель пользовался уже и многими другими. Къ числу такихъ источниковъ слѣдуетъ отнести, во-первыхъ, византійскія хроники, изъ которыхъ онъ заимствуетъ свѣдѣнія о событіяхъ въ Византіи, современныхъ событіямъ на Руси; во-вторыхъ — отдѣльными житія болгарскія и собственно-русскія; напр., житіе Кирилла и Меѳодія, древнія житія св. Ольги, св. Владимира, св. Бориса и Глѣба. Наконецъ, онъ пользовался, при составленіи своей лѣтописи, и особаго рода сборниками, которыми была чрезвычайно богата литература византійская и которые назывались палеями²⁾. Палеи заключали въ себѣ сокращенное изложеніе событій ветхо-завѣтной исторіи, въ связи съ толкованіями отцевъ Церкви и съ различными объясненіями, добавленіями, распространеніями противъ того, что извѣстно намъ изъ Св. Писанія. При объясненіи библейскихъ сказаній Палеи не рѣдко помѣщаетъ много разсужденій о силахъ и явленіяхъ природы, а также и много апокрифическихъ (отвергаемыхъ церковью) сказаній и даже цѣлыя повѣсти (напр. о Китоврасѣ). Палеи являлись иногда въ началѣ византійскихъ хроникъ, въ видѣ вступленія къ нимъ, такъ-что, послѣ изложенія событій ветхо-завѣтной исторіи, авторъ хроники прямо переходилъ къ изложенію событій собственно византійскихъ. Кромѣ этого, замѣтно знакомство и съ нѣкоторыми другими произведеніями византійской литературы (напр., со „сказаніемъ о послѣднихъ временахъ“, которое приписываютъ Меѳодію Патарскому), и въ особенности — обширная начитанность въ Св. Писаніи. Лѣтописецъ постоянно почерпаетъ отсюда подтвержденія своимъ выводамъ и заключеніямъ, и выписываетъ мѣста, на которыя опирается, какъ на основаніе своихъ воззрѣній на событіе и тѣхъ нравовъ, какія онъ изъ него извлекаетъ. Эта-же начитанность въ Св. Писаніи и то глубоко-религіозное настроеніе, которымъ отличается вся древне-русская образованность, налагаютъ особую печать и на произведеніе лѣтописца, который объяс-

няетъ себѣ всѣ явленія историческія не иначе, какъ съ точки зрѣнія исключительно-религіозной и монашеской. Все дурное и злое, по мнѣнію лѣтописца, совершается по винушенію бѣсовъ и „соблазненію“ дьявола, точно такъ-же, какъ все доброе можетъ совершаться только при особой помощи свыше; всѣ бѣдствія, какъ-то: нашествіе иноземниковъ, голодъ, моръ и пр., насылаются на насъ „по гнѣву Божию“. Многія, не совсѣмъ обыкновенныя, явленія природы, по его мнѣнію, слѣдуетъ принимать за „знаменья“, посылаемыя намъ свыше“ и рѣдко предвѣщающія что-либо хорошее. „Знаменья на небѣ“, говоритъ онъ, „или въ звѣздахъ, или въ солнцѣ, или въ птицахъ, или въ другомъ чемъ, — не къ добру бывають; такіа знаменья предвѣщаютъ дурное: начало войны, либо голодъ, либо смерть“. Признавая силу и значеніе, которое бѣсы могутъ имѣть въ жизни человѣка, лѣтописецъ вѣритъ и въ силу колдовства (волхвованія), и въ доказательство того, что многое „отъ колдовства обывается“, приводитъ иногда на страницахъ своей лѣтописи тѣ сказанія и вымыслы, которыми часто наполнялись, въ то отдаленное время, не только наши лѣтописи, но и хроники Византіи, и хроники всей остальной Европы.

„Повѣсть временныхъ лѣтъ“ начинается съ небольшого вступленія, въ которомъ, подражая византійскимъ хронографамъ, намъ лѣтописецъ, прежде всего, рассказываетъ намъ, какъ Симъ, Хамъ и Афетъ — сыновья Ноевы — раздѣлили между собою землю послѣ потопа. Вслѣдъ за подробнымъ перечисленіемъ странъ и народовъ древняго міра, лѣтописецъ замѣчаетъ, что, когда послѣ столпотворенія вавилонскаго Богъ раздѣлилъ всѣ народы на 72 языка, то племя Афетово заняло западъ и сѣверныя страны; отъ этого Афетова племени производятъ онъ и славянъ, и затѣмъ уже переходитъ къ описанію ихъ жизни, сначала на берегахъ Дуная, а потомъ къ расселенію ихъ по рѣкамъ и землямъ въ направленіи къ сѣверовостоку до Ильмена, Оки и притоковъ Днѣпра. При этомъ онъ описываетъ обычаи и нравы различныхъ племенъ славянскихъ; потомъ говоритъ подробно о просвѣщеніи Мо-

¹⁾ «Русская Исторія Вестужева-Румина», стр. 23 — 25. ²⁾ Палеи — отъ греч. слова: палеосъ — древній, ветхій.

равии христианствомъ, и съ 862 года, съ призванія варяговъ изъ за-моря ильменскими славянами, уже ведетъ подробную лѣтопись всѣмъ замѣчательнымъ событіямъ, бывшимъ на Руси до его времени и въ его время, и доводитъ ее почти до конца княженія Святополка Изяславича, заканчивая свой рассказъ 1110 годомъ. Весь древнѣйшій періодъ нашей исторіи, до начала XI столѣтія, излагается въ видѣ отдѣльныхъ, округленныхъ и законченныхъ небольшихъ рассказъ

какіе будутъ приведены нами въ концѣ этой главы, легко будетъ замѣтить эти отѣнки въ изложеніи событій у нашего древняго лѣтописца.

Вообще, „Повѣсть временныхъ лѣтъ“ является намъ, — по очень вѣрному замѣчанію историка Соловьева, — образцомъ лѣтописца всероссійскаго, т. е. посвященнаго интересамъ всей тогдашней Руси, между тѣмъ-какъ первоначально были, вѣроятно, только мѣстные лѣтописи, которыя и огра-



Кіево-печерскій монастырь.

цевъ. Вѣроятно, лѣтописецъ и помѣщалъ ихъ на страницы своего произведенія почти въ томъ видѣ, въ какомъ почерпалъ ихъ изъ устъ народа, въ памяти котораго они были живы и получили эту простую форму. Съ начала XI столѣтія рассказъ становится подробнѣе и обстоятельнѣе: видно, что лѣтописецъ здѣсь уже могъ руководиться рассказами современниковъ и очевидцевъ. Въ тѣхъ разнообразныхъ отрывкахъ изъ „Повѣсти временныхъ лѣтъ“ и другихъ лѣтописей русскихъ,

начивались одними мѣстными событіями, какъ Новгородская — новгородскими, и Ростовская — ростовскими. При составленіи позднѣйшихъ сводовъ лѣтописныхъ, „Повѣсть временныхъ лѣтъ“ служила, по-видимому, образцомъ для всѣхъ составителей, и почти цѣликомъ вносились во всѣ лѣтописи, писанныя послѣ 1110 года, гдѣ-бы онѣ ни писались—въ Кіевѣ, Черниговѣ, Полоцкѣ, въ Суздаль, на Волыни или въ Новгородѣ. Но изъ этого еще не слѣдуетъ заключать, что-

бы въ дѣтствѣ писавшіяся на различныхъ языкахъ Россіи, были совершенно сходны между собой по изложенію. Каждая лѣтопись, напротивъ того, носитъ на себѣ особый отпечатокъ, и совершенно соотвѣтствуетъ по способу изложенія, той мѣстности и тому населенію, среди котораго она зародилась. Вотъ что говорить объ этомъ историкъ нашъ, Соловьевъ:

„До насъ, отъ описываемаго времени (отъ XII столѣтія), дошли двѣ лѣтописи сѣверныя — Новгородская и Суздальская, и двѣ южныя — Кіевская (съ явными вставками изъ Черниговской, Полоцкой и вѣроятно, изъ другихъ лѣтописей) и Волынская. Новгородская лѣтопись отличается краткостью, сухостью разсказа; такое изложеніе происходитъ, во-первыхъ, отъ бѣдности содержанія: Новгородская лѣтопись есть лѣтопись событій одного города, одной волости; съ другой стороны, нельзя не замѣтить и вліянія народнаго характера, ибо въ рѣчахъ новгородскихъ людей, внесенныхъ въ лѣтопись, замѣчаемъ также необыкновенную краткость и силу; какъ видно, новгородцы не любили разлагольствовать, они не любили даже договаривать своей рѣчи и однако хорошо понимаютъ другъ друга: можно сказать, что дѣло служить у нихъ окончаніемъ рѣчи; таково знаменитая рѣчь Твердислава: „тому есмь радъ, оже вины моея нѣту; а вы, братья, въ посадничествѣ и въ князехъ“. Разсказъ южнаго лѣтописца, на оборотъ, отличается обиліемъ подробностей, живостью, образностью, можно сказать — художественностью; преимущественно Волынская лѣтопись отличается особеннымъ поэтическимъ складомъ рѣчи: нельзя не замѣтить здѣсь вліянія южной природы, характера южнаго народонаселенія; можно сказать, что новгородская лѣтопись относится къ южнымъ — Кіевской и Волынской — какъ поученіе Луки Нидяты относится къ словамъ Кирилла Туровскаго. Что же касается до разсказа суздальскаго лѣтописца, то онъ сухъ, не имѣя силы новгородской рѣчи, и вмѣстѣ многоглаголивъ безъ художественности рѣчи южной; можно сказать, что южныя лѣтописи — Кіевская и Волынская — относятся къ Сѣверной и Суздальской, какъ „Слово о полку Игоревѣ“ относится къ „сказанію о Мамаевомъ побоищѣ“.

Нестору приписывается не одна „Поѣсть временныхъ лѣтъ“ — онъ извѣстенъ, какъ несомнѣнный авторъ нѣкоторыхъ житій Святыхъ. Онъ не былъ первымъ и древнѣйшимъ авторомъ этого рода произведеній у насъ на Руси, потому, что и до него, вѣроятно, уже были написаны нѣкоторыя житія Святыхъ, напр., Св. Владиміра и Св. Ольги. Несомнѣнно однако-же, что Несторъ былъ однимъ изъ первыхъ и главнѣйшихъ собирателей того драгоценнаго матеріала преданій и свѣдѣній о святыхъ подвижникахъ русскихъ, изъ котораго впоследствии, при помощи другихъ труженниковъ, образовались наши русскіе матеріки (отечники) или сборники житій. Происхожденіе этого рода сборниковъ, и то значеніе, которое они съ теченіемъ времени приобрѣли въ древне-русской жизни, тѣсно связаны съ значеніемъ въ древней Руси монастырей вообще и, въ особенности, монастыря кіево-печерскаго, о которомъ мы должны будемъ сказать здѣсь, нѣсколько словъ, необходимыхъ для пополненія свѣдѣній о древнѣйшемъ періодѣ нашей литературы.

Выше (на стр. 21-й и 22-й) мы уже говорили о значеніи монастырей, какъ центровъ, изъ которыхъ сильными лучами расходилось книжное ученіе во всѣ стороны земли русской. Но нельзя не замѣтить, что не всѣ монастыри русскіе пользовались у насъ, въ древнѣйшемъ періодѣ нашей исторіи, одинаковымъ значеніемъ. Кіево-печерскій монастырь, основанный гораздо позже многихъ другихъ, въ княженіе Изяслава Ярославича, — въ короткое время возвысился надъ всѣми остальными монастырями русскими и, подъ вліяніемъ различныхъ благоприятныхъ условій, явился замѣчательнымъ расадникомъ просвѣщенія на древне-русской почвѣ. Къ числу благоприятныхъ условій, способствовавшихъ возвышенію его, слѣдуетъ, конечно, отнести прежде всего то, что кіево-печерскій монастырь былъ основанъ не греческими выходцами, а русскими людьми, въ средѣ которыхъ христіанство успѣло уже на столько укорениться, что они почувствовали потребность и въ устройствѣ монастыря, который-бы не походилъ на остальные монастыри, уже существовавшіе на Руси. И дѣйствительно, изъ небольшого собранія пещеръ, въ которыхъ, около отшельника Антонія, сошлись съ разныхъ концовъ

земли русской подобные ему отшельники, жаждавшіе духовных подвиговъ и уединенія, — образовалась обитель Печерская, затмившая всѣ монастыри того времени суровостью и простотою быта своихъ иноковъ и — что еще важнѣе — ихъ ревностною, усердною дѣятельностью на пользу распространенія свѣта Христова ученія и свѣта книжной мудрости по лицу русской земли. Быстроу возвышенію кіево-печерской обители среди другихъ обителей русскихъ, конечно, должно было много способствовать то направление, какое, въ стѣнахъ новой обители, было придано иноческой жизни энергическою личностью Феодосія Печерскаго. Намъ уже пришлось, въ одной изъ предыдущихъ главъ, очертить вкратцѣ его способъ дѣйствій въ этомъ отношеніи, и упомянуть о замѣчательной практической мудрости, на основаніи которой Феодосій старался дѣйствовать на братію не только словомъ, а, преимущественно, дѣломъ и примѣромъ. Долговременное и дѣятельное нгуменство Феодосія не могло остаться безъ вліянія на дальнѣйшую судьбу кіево-печерскаго монастыря, который сталъ собирать въ стѣнахъ своихъ лучшія силы русскія и обращать ихъ на дѣло духовнаго и умственнаго просвѣщенія народа. Сюда стекались князья, бояре и простолюдины, убѣгая раздоровъ и опасностей современной жизни, и отсюда выходили во всѣ концы земли русской „воины Христовы“, сильные волею, готовые трудиться и жертвовать своею жизнью, гордые происхожденіемъ своимъ отъ одной общей, воспитавшей ихъ, матери — обители Печерской.

Изъ кіево-печерскаго монастыря вышли первые наши миссіонеры: Леонтій, распространившій христіанство въ Ростовѣ, и Кукуша, замученный вятичами. Отсюда-же, какъ изъ главнаго разсадника древне-русскаго просвѣщенія, вышла и большая часть русскихъ владыкъ, правившихъ паствою русскою, въ разныхъ концахъ нашего отечества, до татарщины: въ концѣ XII вѣка уже насчитывали до 50-ти русскихъ епископовъ, происходившихъ изъ монастыря кіево-печерскаго. И гдѣ-бы ни являлись иноки кіево-печерскіе, какой-бы дѣятельности они себя ни посвящали, какого-бы значенія ни достигали они въ современномъ обществѣ, — они постоянно поддерживали сношенія съ

обителью печерскою, и счастливейшимъ временемъ своей жизни считали тѣ годы, которые проведены были ими въ стѣнахъ ея, среди постоянныхъ трудовъ и вдали отъ житейскихъ волненій. Эта теплая, искренняя привязанность къ обители кіево-печерской и, вмѣстѣ съ тѣмъ, гордое сознаніе высокаго значенія ея, прекрасно высказываются въ одномъ изъ памятниковъ начала XIII вѣка, въ посланіи Симона, одного изъ бывшихъ иноковъ печерскаго монастыря, возведеннаго вполсѣдствіи въ санъ епископа владимірскаго, къ другому иноку, Поликарпу, который, вслѣдствіе побужденій честолюбія, добивался епископства.

„Ты хочешь быть епископомъ?“, пишетъ Симонъ Поликарпу; „хорошо; но... подумай, такъ-ли ты, какимъ слѣдуетъ быть епископу!.. Совершенство состоитъ не въ томъ, чтобы быть славиму ото всѣхъ, но въ томъ, чтобы исправить житіе свое и сохранить себя въ чистотѣ. Отъ того-то изъ печерскаго монастыря такъ много епископовъ поставлено было во всю русскую землю: если считать всѣхъ, до меня, грѣшнаго, то будетъ около пятидесяти. Разсуди же теперь, какова слава этого монастыря — и будь доволенъ тихимъ и безмятежнымъ житіемъ, къ которому Господь привелъ тебя. И-бы съ радостью оставилъ епископство и сталъ работать нгуму; но самъ знаешь, что меня удерживаетъ: всѣ знаютъ, что у меня, грѣшнаго епископа Симона, соборная церковь — красота всему Владиміру, а другая, суздальская церковь, которую самъ построилъ; сколько у нихъ городовъ и селъ, и десятину собираютъ по всей той землѣ, и всѣмъ этимъ владѣетъ наша худость. Но передъ Богомъ скажу тебѣ: всю эту славу и власть счелъ-бы я за ничто, если-бы мнѣ хотя хворостиною пришлось торчать за воротами Печерскаго монастыря или хотя соромъ валяться въ немъ и быть попираему людьми“.

Весьма естественно, что при такомъ значеніи печерскаго монастыря въ средѣ русскаго общества XI и XII вѣковъ, при той привязанности къ обители, которая жила во всѣхъ инокахъ печерскихъ, — въ нихъ очень рано должно было пробудиться желаніе прославить ее, собравъ всѣ преданія о жившихъ въ ней и воспитанныхъ ею подвижникахъ, и передавши память о нихъ отдален-

ному потомству. На основаніи этого побужденія, уже Несторъ сталъ собирать преданія о бывшихъ до него замѣчательныхъ подвижникахъ. Собирая свѣдѣнія о нихъ, могъ-ли Несторъ не собрать свѣдѣній о Оеодосіи, который скончался не за долго до пришествія Нестора въ монастырь кіево-печерскій? Еще такъ живы были воспоминанія о Оеодосіи, еще такъ полна была ими обитель; еще даже былъ живъ и келарь Оеодосія, инокъ Оеодоръ, слышавшій отъ матери Оеодосія обо всѣхъ подробностяхъ его жизни до монашества и передавшій эти подробности Нестору. Житіе Оеодосія было уже не первымъ опытомъ Нестора въ этомъ родѣ литературномъ; до него онъ успѣлъ написать, также сохранившееся намъ, „житіе Бориса и Глѣба“. О „житіи Бориса и Глѣба“ писалъ не одинъ Несторъ: и до него оно уже было сочинено какимъ-то монахомъ Іаковомъ. Замѣтно, что печальная судьба князей-братцевъ, глубоко проникнутыхъ чувствомъ христіанскаго смиренія и братолюбія, сильно поразила умы современниковъ, особенно въ тотъ періодъ, когда братолюбіе было далеко необыденнымъ явленіемъ въ княжеской и дружинной средѣ. Послѣ Нестора, надъ собираніемъ матеріаловъ для патерика болѣе всего трудился Симонъ, о которомъ мы упоминали выше; въ концѣ своего посланія къ Поликарпу, онъ сообщаетъ весьма любопытное „Сказаніе о построеніи кіево-печерскаго монастыря“ и под-

тверждаетъ всѣ нравственныя размышленія свои разсказами о жизни и подвигахъ печерскихъ угодниковъ. Поликарпъ, который, по внушенію Симона, рѣшился отказаться отъ своихъ притязаній на епископство и остался въ печерскомъ монастырѣ простымъ инокомъ, впоследствии, по предложенію архимандрита Акиндина, въ посланіи къ нему, также изложилъ житія многихъ печерскихъ угодниковъ, отчасти на основаніи разсказовъ, слышанныхъ имъ отъ Симона, отчасти вѣроятно, и на основаніи другихъ преданій. Сверхъ того, Поликарпъ говоритъ, что при изображеніи житій подражалъ древнимъ патерикамъ, т. е., вѣроятно, византійскимъ образцамъ ихъ. Впоследствии, это основаніе, данное патерику Несторомъ въ концѣ XI и началѣ XII вѣка, Симономъ и Поликарпомъ, въ началѣ XIII вѣка, расширенное и увеличенное, — много разъ передѣлывалось и дополнялось новыми статьями и житіями. Заносились сюда даже и такіе статьи, которыя къ житіямъ отношенія не имѣли, напримѣръ: сказаніе о крещеніи славянъ, о томъ, какъ Св. Писаніе было переведено на ихъ языкъ и т. п. Въ этомъ передѣланномъ и много разъ дополненномъ видѣ, патерикъ печерскій сдѣлался на всѣ послѣдующіе вѣка любимымъ чтеніемъ благочестивыхъ людей русскихъ, которые много разъ почерпали въ немъ бодрость и силу для перенесенія тяжелыхъ условій своей исторической жизни въ ея древнѣйшемъ и среднемъ періодѣ.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ТРЕТЬЕЙ.

1) ОТРЫВКИ ИЗЪ НЕСТОРОВА «ЖИТІЯ ОЕОДОСІЯ, ИГУМЕНА ПЕЧЕРСКАГО».

Родители Оеодосія. — Дѣтство его.

Есть городъ Василевъ, отстоящій отъ столичнаго города Кіева на 50 поприщъ. Въ немъ жили родители святого, просвѣщенные христіанскою вѣрою и украшенные всякимъ благочестіемъ. Здѣсь родилось у нихъ блаженное дитя. Въ осьмой день, по обыкновенію христіанскому, принесли они дитя свое къ іерею Божію для нареченія имени дитяти. Пресвитеръ, видя сердечными очами, что

сей отрокъ измлада хочетъ отдать себя на служеніе Богу, называетъ его Оеодосіемъ. Потомъ, по исполненіи сорока дней дитяти, просвѣтили его крещеніемъ. Отрокъ росъ, будучи воспитываемъ своими родителями. Благодать Божія была съ нимъ и Духъ Святыи измлада вселился въ него.

Родители блаженнаго, по повелѣнію отца, или лучше сказать, по вогѣ Божіей, пере-

селились въ другой городъ, именемъ Курскъ.... Возрастая плотью, душею увлекаясь къ любви Божіей, онъ каждый день ходилъ въ церковь Божію, со всѣмъ вниманіемъ слушая божественныя книги. Къ тому-же, онъ никогда не приближался къ играющимъ дѣтамъ, какъ обыкновенно дѣлаютъ другія дѣти, но гнушался ихъ играми. Одежду носилъ худую и покрытую заплатами, и когда родители его принуждали одѣться въ

чистую одежду и идти играть съ дѣтьми, то онъ не слушалъ ихъ, но лучше желалъ быть подобнымъ убогому. При этомъ онъ просилъ родителей отдать его къ какому либо учителю для обученія его чтенію божественныхъ книгъ, что и было исполнено ими, и весьма скоро изучилъ онъ преподаваемую ему науку, такъ - что всѣ дивились разуму дитяти и скорому его обученію.

Отрочество Θεодосія. — Намѣреніе посѣтить Іерусалимъ. — Труды его. — Отношеніе къ матери.

Θеодосію было тринадцать лѣтъ въ то время, (когда) скончался отецъ его. Съ этого времени, онъ еще усерднѣе началъ трудиться, такъ-что даже съ рабами своими ходилъ на село и работалъ со всякимъ смиреніемъ. Мать-же оставляла его дома и не приказывала ему этого дѣлать; просила также его одѣваться въ хорошую одежду и въ ней ходить на игры со сверстниками своими, и говорила, что „такъ (бѣдно и неопратно) ходя, онъ подвергается безчестію и себя, и своихъ родственниковъ“. Когда-же онъ не повиновался ей въ этомъ, то она часто въ гнѣвъ и запальчивости была его, ибо была и здорова, и сильна, какъ мужчина, такъ-что, если-бы кто, не видя ее, услышалъ разговоръ ея, то считалъ-бы ее за мужчину. Благородный-же юноша размышлялъ, какъ и какимъ образомъ спастись ему? Потомъ, услышавъ о святыхъ мѣстахъ, гдѣ Господь нашъ жилъ во плоти, пожелалъ идти туда и поклониться имъ. Послѣ того, какъ онъ уже много разъ молился объ этомъ, пришли въ тотъ городъ странники; увидѣвъ ихъ, божественный юноша обрадовался, и съ любовью привѣтствовалъ ихъ; потомъ спросилъ ихъ: откуда они и куда идутъ? Когда-же они сказали, что отъ святыхъ мѣстъ и, „если Богу угодно, уже собираемся возвратиться“; то святой просилъ ихъ, чтобы они взяли и его съ собою и позволили ему быть ихъ спутникомъ. Они обѣщались взять его съ собою и довести до святыхъ мѣстъ. Услышавъ объ этомъ, Θεодосій очень обрадовался и возвратился домой. Когда-же странники, собираясь въ путь, извѣстили юношу о своемъ отшествіи, онъ, вставъ ночью, тайно вышелъ изъ своего дома, не взявъ съ собою

ничего, кромѣ одежды, въ которой ходилъ, да и та была худая. Такимъ образомъ, онъ отправился вмѣстѣ со странниками на поклоненіе святымъ мѣстамъ.

Но благій Богъ не допустилъ удалиться изъ страны этой тому, кого онъ еще отъ рожденія назначилъ быть въ сей странѣ пастыремъ словесныхъ овецъ, чтобы, по отшествіи пастыря, не опустѣла пасть, благословенная Богомъ, не возрасли-бы на ней терніи и волчцы, и не разсѣялось бы стадо. Спусти три дня, мать Θεодосія узнала, что онъ ушелъ со странниками, и взявъ съ собою одного только сына, который былъ моложе Θεодосія, пустилась въ погоню за нимъ. Послѣ продолжительнаго преслѣдованія, они догнали его, и мать, схвативъ его въ ярости и сильнымъ гнѣвъ за волосы, повалила его на землю и ногами стала топтать его. Побранивъ странниковъ, возвратилась она въ домъ свой, ведя связаннаго святого, словно какого-нибудь злодѣя. Она была въ такомъ гнѣвѣ, что пришедши домой, била сына, пока тотъ не изнемогъ; послѣ этого, ввела его въ отдѣльную горницу, и въ ней, привязавъ его и затворивъ, оставила. Благенный юноша все это терпѣлъ съ радостью и за все это благодарилъ Бога въ молитвѣ къ Нему. Черезъ два дня, мать, пришедши къ нему, отвязала его и позволила вкусить пищи; но, все еще будучи сильно разгнѣвана, заковала ноги его въ желѣза и въ нихъ повелѣла ему ходить, наблюдая, чтобы онъ опять отъ нея не ушелъ; такъ онъ ходилъ довольно долгое время. Потомъ, смилостившись надъ нимъ, она начала съ просьбою уговаривать его, чтобы онъ отъ нея не уходилъ, такъ-какъ она любила его болѣе всѣхъ

и потому не могла безъ него быть. Когда-же онъ далъ ей обѣщаніе не уходить отъ нея, то она сняла желѣза съ ногъ его, давъ ему полную волю дѣлать все, что ему вздумается. Блаженный-же Θεодосій снова обратился къ первому подвигу и ежедневно ходилъ въ Церковь Божію. Замѣтивъ, что часто не бываетъ литургіи потому, что нѣкому печь для совершенія ея просфоры, онъ сильно сожалѣлъ объ этомъ и рѣшился, по своему смиренію, самъ посвятить себя на это дѣло; такъ онъ и исполнилъ. Онъ началъ печь просфоры и продавать ихъ, и какаѣ бывала отъ этого прибыли, ту отдавалъ нищимъ; а на вырученныя деньги опять покупалъ жито, мололъ его своими руками и снова приготовлялъ просфоры. Это происходило по волѣ Божіей, да приносятся въ церковь Божію чистыя просфоры отъ непорочнаго и чистаго отрока. Такъ поступалъ онъ два года или болѣе. Всѣ сверстники его издѣвались надъ нимъ и насмѣхались за такое занятіе, по внушенію врага (т.-е. дьявола). Блаженный же все это переносилъ съ радостью и молчаніемъ.

Властелинъ того города, видѣвъ такое смиреніе и покорность въ отрокѣ, сильно полюбилъ его и повелѣлъ ему быть при своей церкви, далъ ему чистую одежду, чтобы онъ ходилъ въ ней. Блаженный ходилъ въ ней нѣсколько дней, какъ-бы пося на некоторую тяжесть; потомъ снялъ ее и отдалъ нищимъ, самъ одѣлся въ рубище и въ немъ ходилъ. Властелинъ же, увидя,

что онъ такъ ходитъ, опять далъ ему одежду лучше прежней, прося его ходить въ ней. Θεодосій же, снявъ и эту, отдалъ; и такимъ образомъ онъ поступалъ нѣсколько разъ. Увидѣвъ это, властелинъ еще болѣе сталъ любить отрока, удивляясь его смиренію.

Послѣ сего блаженный Θεодосій, пришедъ къ одному кузнецу, заказалъ ему сдѣлать желѣзные цѣпи; потомъ, взявъ ихъ, препоясался ими и такимъ образомъ ходилъ. Желѣзо, будучи узко, вѣдалось въ тѣло его; но онъ такъ былъ покоенъ, какъ бы никакой боли вовсе и не чувствовалъ. По прошествіи многихъ дней, при наступленіи дня праздничнаго, мать его стала приказывать ему одѣться въ чистую одежду для услуженія; ибо въ этотъ день всѣ знатные города обѣдали у властелина, а блаженному Θεодосію повелѣно было предстоять и служить: потому-то мать и побуждала его одѣться въ чистую одежду; отчасти же и потому, что уже слышала, что онъ сдѣлалъ съ собою. Когда же онъ одѣлся въ чистую одежду и въ простотѣ сердечной не остерегался матери, она увидѣла на рубашкѣ его кровь отъ вѣшагося желѣза, и распалилась на него гнѣвомъ: въ запальчивости разорвала она на немъ рубашку, била его и сорвала съ него желѣзные цѣпи. Блаженный отрокъ, какъ будто ничего худого съ нимъ не случилось, одѣлся, пошелъ скромно и служилъ гостямъ спокойно.

Удаленіе въ Кіевъ. — Поселеніе въ пещерѣ. — Постриженіе матери.

Спустя нѣсколько времени, услышалъ онъ сказанное во св. Евангеліи: „аще кто не оставитъ отца и мать, вслѣдъ Мене не идетъ, нѣсть Мене достоинъ“. Слыша это, Θεодосій воспламенился божественною любовью, и исполняясь ревностью по Богѣ, разсуждалъ, какъ и гдѣ постричься ему и скрыться отъ матери. Мать Θεодосія (тѣмъ временемъ) отлучилась на село на нѣсколько дней. Блаженный обрадовался тому, помолился Богу, тайно вышелъ изъ дому, не имѣя при себѣ ничего, кромѣ одежды и немного хлѣба для немощи тѣлесной, и такимъ образомъ устремился къ городу Кіеву,

такъ какъ слышалъ о находящихся тамъ монастыряхъ. Не зная же дороги, молился Богу, какъ бы найти попутчиковъ въ желаемомъ пути. И вотъ, по устроенію божественному, ѣхали тѣмъ путемъ купцы съ тяжелыми возами. Блаженный, узнавъ, что они ѣдутъ въ тотъ же городъ, прославилъ Бога и шелъ вдалекѣ, не показываясь имъ. Такимъ образомъ, шедши въ продолженіи трехъ недѣль, достигъ онъ выше сказаннаго города. По приходѣ своемъ, обошелъ онъ всѣ монастыри, желая быть монахомъ и просилъ иноковъ, чтобы приняли его. Они же, видѣвъ простаго отрока, одѣтаго въ ху-

для одежды, не хотѣли принять его. Это было такъ по изволенію Божию, что-бы приведенъ онъ былъ на то мѣсто, которое еще отъ юности было ему назначено Богомъ.

Услышавъ о блаженномъ Антоніи, живущемъ въ пещерѣ, Θεодосій окрылатѣлъ духомъ и поспѣшно пришелъ къ преподобному Антонію и, увидѣвъ его, палъ и поклонился ему, прося его со слезами, чтобы позволилъ ему остаться здѣсь (въ пещерѣ у Антонія). Антоній же повелѣлъ великому Никону, пресвитеру и опытному черноризцу, постричь его. Никонъ, взявъ блаженнаго Θεодосія, постригъ его и облекъ въ монашескую одежду.

Мать Θεодосія, долго искавъ сына въ своемъ городѣ и окрестныхъ городахъ и не найдя его, плакала по немъ, ударяя себя въ грудь, какъ по мертвомъ. И заповѣдано было по всей странѣ той, что если кто гдѣ увидитъ такого-то отрока, пришолъ бы и сказалъ матери его, а за извѣстіе получить награду. И вотъ, прибывшіе изъ Кіева сказали ей: „четыре года тому назадъ видѣли мы сына твоего въ нашемъ городѣ; онъ ходилъ и изъявлялъ желаніе постричься въ какомъ-либо монастырѣ“. Услышавъ это, мать его не полѣнилась идти туда; нисколько не медля, не боясь и долгаго пути, отправилась она въ помынутый городъ, отыскивать сына. Прийдя въ городъ (Кіевъ), обходила всѣ монастыри, отыскивая Θεодосія. Наконецъ сказали ей, что онъ находится въ пещерѣ у преподобнаго Антонія. Она отправилась и туда, чтобы найти его. И вотъ она хитростью вызываетъ къ себѣ старца: „скажите“, — говорила она, — „преподобному, чтобы онъ вышелъ ко мнѣ: я пришла издалека, чтобы бесѣдовать съ нимъ и поклониться его святости; пусть благословитъ меня“. Возвѣстили старцу о ней и онъ къ ней вышелъ. Она, увидавъ его, поклонилась ему. Потомъ, когда они сѣли, то она начала бесѣдовать съ нимъ о многомъ, и наконецъ открыла, для чего она пришла. „Прошу тебя, отче“, говорила она, „скажи, гдѣ находится сынъ мой? Я сильно сокрушаюсь о немъ, не зная, живъ ли онъ?“ Старецъ же, будучи простъ, и не зная хитрости ея, сказалъ ей: „сынъ твой здѣсь; не сокрушайся о немъ; онъ живъ“. Она сказала ему: „отъ чего же я не вижу его? Я прошла долгій путь и пришла въ этотъ городъ съ тѣмъ только, чтобы видѣть сына сво-

его и потомъ возвратиться въ свой городъ“. Старецъ сказалъ ей: „если хочешь видѣть его, то иди сегодня домой, а я пойду и уговорю его; иначе онъ ни съ кѣмъ не желаетъ видѣться“. Услышавъ это, она ушла съ надеждою увидѣть сына на слѣдующій день.

Преподобный Антоній, пришедъ въ пещеру, извѣстилъ обо всемъ этомъ блаженнаго Θεодосія и тотъ сильно скорбѣлъ, что не можетъ утѣниться отъ матери. На другой день пришла мать Θεодосія. Старецъ много уговаривалъ блаженнаго, чтобы онъ вышелъ повидаться съ матерью; но тотъ не хотѣлъ выйти. Тогда старецъ сказалъ матери: „много просилъ я его, чтобы вышелъ къ тебѣ, но онъ не хочетъ“. Тогда она уже не со смиреніемъ стала говорить старцу, а кричать на него съ гнѣвомъ: „меня обидѣли ты, старецъ! взялъ сына моего, скрылъ его въ пещерѣ и не хочешь мнѣ показать его; выведи мнѣ, старецъ, сына моего, чтобы я его увидѣла. Я жива не буду, коли не увижу сына моего. Покажи мнѣ сына моего, иначе умру отъ скорби:—сама себя погублю передъ дверьми этой пещеры, если не покажешь мнѣ его!“ Тогда Антоній въ сильной скорби вошелъ въ пещеру и просилъ блаженнаго выйти къ матери. Θεодосій, не желая послушаться старца, вышелъ къ ней. Она же, увидѣвъ сына своего въ такомъ изнеможеніи, ибо лицо его измѣнилось отъ трудовъ и воздержанія, обняла его и горько заплакала; потомъ, нѣсколько утѣшившись, сѣла и начала уговаривать Христова слугу такъ: „иди, сынъ мой, въ свой домъ, и дѣлай въ домѣ своемъ, но волѣ своей все, что необходимо для тебя и для спасенія души; только не разлучайся со мною. Когда совершишь погребеніе надъ тѣломъ моимъ, тогда возвратись въ эту пещеру, по своему желанію: вѣдь я безъ тебя жить не могу“. Блаженный же сказалъ ей: „матушка, если хочешь видѣть меня каждый день, то иди и постригись въ одномъ изъ кіевскихъ женскихъ монастырей; тогда, приходя сюда, ты будешь видѣть меня; къ тому же приобрѣтешь и спасеніе души своей. Если же ты не сдѣлаешь этого, то—истину говорю тебѣ—не увидишь лица моего“. Она не хотѣла и слушать его... а блаженный Θεодосій прилежно молился Богу о спасеніи матери своей...

Въ одинъ день пришла къ нему мать его, и сказала: „дитя мое, я готова исполнить

то, что ты приказываешь: не возвращусь я болѣе въ свой городъ; но, какъ угодно Богу, пойду въ женскій монастырь, постригусь въ немъ и тамъ проведу остальные дни мои; изъ твоей бесѣды поняла я, какъ ничтоженъ этотъ маловременный свѣтъ“.

Блаженный очень этому обрадовался и сказалъ о томъ великому Антонію. Антоній вышелъ къ ней, много наставлялъ ее полезному для души и возвѣстилъ о ней княгинѣ; а княгиня приняла мать Θεодосіеву въ Кіевскій женскій монастырь св. Николая.

Притѣры смиренія Θεодосія во время его игуменства.

Въ одинъ день, передъ наступленіемъ праздника Св. Богородицы, когда не было въ монастырѣ воды, келарь Θεодоръ пошелъ и сказалъ блаженному Θεодосію (который былъ тогда уже игуменомъ), что нѣкому принести воды. Блаженный тотчасъ всталъ и началъ носить воду изъ колодца. Одинъ изъ братіи увидѣлъ, что онъ носитъ воду, тотчасъ пошелъ и извѣстилъ нѣкоторыхъ изъ братіи. Они поспѣшно прибѣжали и съ избыткомъ наносили воды.

Въ другой разъ, когда не было заготовлено дровъ, необходимыхъ для варенія пищи, то келарь Θεодоръ пошелъ къ блаженному Θεодосію и сказалъ: „прикажи кому-нибудь, кто свободенъ изъ братіи, наносить дровъ“. Блаженный же сказалъ: „а вотъ я свободенъ, пойду и наносу“. Затѣмъ приказалъ братіи идти въ трапезу, потому что было уже время обѣда, а самъ началъ топоромъ рубить дрова. По окончаніи трапезы братія вышли и увидѣли, что преподобный игуменъ ихъ рубить дрова и такъ трудится; тогда каждый взялъ топоръ, и столько дровъ заготовили, что ихъ стало на долгое время. Много разъ, когда великій Никонъ (бывшій игуменомъ Печерскаго монастыря до Θεодосія) сидѣлъ и переплеталъ книги, блаженный Θεодосій садился около него и пралъ питки, необходимыя для этого издѣлія. Таковы были смиреніе, простота (и трудолюбіе его)! Никому не случалось видѣть, чтобы онъ лежалъ на ребрахъ; одежда его состояла изъ жесткой волосяной рубашки, надѣтой прямо на тѣло; сверху ея была другая свитка и то весьма худая; и ту носилъ онъ, чтобы не видна была на немъ власница. По причинѣ этой худой одежды многіе несмысленные насмѣхались надъ нимъ,

а блаженный съ радостью принималъ такую укоризну.

Однажды Θεодосій, по нѣкоторому дѣлу, пошелъ къ христіолюбивому князю Изяславу, который далеко жилъ отъ города; тамъ пробылъ онъ до вечера. Христіолюбецъ Изяславъ, желая дать преподобному время уснуть, повелѣлъ отвезти его до монастыря на возу. Во время пути, тотъ, что везъ Θεодосія, видя на немъ такую одежду, почелъ его за одного изъ бѣдняковъ и сказалъ ему: „черноризецъ! ты всякій день свободенъ, а я живу въ трудахъ, и вотъ не могу ѣхать на конѣ; пусти меня лечь въ возгѣ, а ты можешь сѣсть на коня“. Блаженный смиренно всталъ, сѣлъ на коня, а тотъ легъ на возу. Такъ преподобный и продолжалъ путь, радуясь и прославляя Бога. Когда дремота начинала одолевать его, онъ слѣзалъ съ коня и шелъ пѣшкомъ; когда же утомился то опять садился на коня. Когда взошла заря и вельможи, ѣхавшіе къ князю, стали встрѣчаться на пути, то, издали узнавая блаженнаго, сходили съ коня и кланялись ему. Тогда преподобный сказалъ отроку: „сынъ мой, ужъ разсвѣло, сядь на коня своего“. Тотъ, видя, что всѣ Θεодосію кланяются, смутился и ужаснулся, всталъ съ воза, сѣлъ на коня, а преподобный Θεодосій сѣлъ на телегу. Всѣ бояре, встрѣчаясь, кланялись ему, а вознику его еще сильнѣе тревожилъ страхъ. Когда же они пріѣхали въ монастырь и вся братія, вышедъ, поклонившись Θεодосію до земли, то отрокъ ужаснулся еще болѣе. „Кто это такой“, думалъ онъ, „что всѣ ему кланяются?“ Преподобный же взялъ его за руку, повелъ въ трапезу и велѣлъ дать ему ѣсть и пить, сколько хочетъ, послѣ того наградилъ его деньгами и отпустилъ.

Отношенія Θεодосія къ великому князю Святославу Ярославичу.

Произошло (около того времени) смятеніе между тремя князьями-братьями; (двое) возстали на одного старшаго, истинно христолюбиваго Изяслава, который и былъ ими изгнанъ изъ столичнаго города ¹⁾. Вступивши въ городъ, князья послали за блаженнымъ отцемъ нашимъ, Θεодосіемъ, прося его прійти къ нимъ на обѣдъ. Преподобный-же, исполненный Духа Святаго, узнавъ о несправедливомъ изгнаніи христолюбца, отвѣтствовалъ имъ словами Святаго Писанія: „не пойду на трапезу Іезавелину и не вкушу той пищи, которая исполнена крови и убійства“. Сказавъ это и много другого укоризненнаго, онъ отпустилъ посланнаго и приказалъ ему передать пославшимъ его князьямъ все сказанное имъ..

(Вскорѣ послѣ того) одинъ изъ братьевъ (Святославъ Черниговскій) взошелъ на престолъ брата и отца своего, а другой (Всеволодъ) возвратился въ свою область (Переяславъ). Тогда преподобный отецъ нашъ, Θεодосій, началъ обличать Святослава въ несправедливости его поступка, въ незаконномъ восшествіи на престолъ и въ изгнаніи старшаго брата. Иногда обличалъ онъ его, посылая на письмѣ къ нему посланія, а иногда въ присутствіи вельможъ, приходившихъ къ нему, приказывая передавать слова свои Святославу. Впослѣдствіи написалъ онъ къ нему весьма обширное посланіе, гдѣ такъ обличалъ его: „Гласъ крови брата твоего вопіетъ на тебя къ Богу, подобно Авелевой на Каина“, (затѣмъ) приводилъ въ примѣръ многихъ другихъ древнихъ гонителей, братоубійцъ и ненавистниковъ и притчами объяснялъ его поступокъ. Святославъ, прочитавъ его посланіе, сильно разгнѣвался на него, какъ левъ возрыкалъ на преподобнаго и бросилъ его посланіе на землю; и отъ этого пронесся слухъ, будто блаженный будетъ осужденъ на заточеніе. Тогда вся братія, пораженная скорбью, молила блаженнаго оставить обличеніе князя. Многие бояре приходили къ нему съ извѣстіемъ о княжескомъ гнѣвѣ на него и просили его не противить-

ся князю: они говорили: „онъ хочетъ послать тебя въ заточеніе“. Θεодосій-же, слыша о заточеніи, возрадовался духомъ и сказалъ имъ: „братія, я тому весьма радъ, потому-что для меня нѣтъ ничего лучше въ жизни. Чего страшиться мнѣ? Потери-ли богатства? Или можетъ печалить меня разлука съ дѣтьми и селами? Ничего подобнаго мы не принесли въ сей міръ: нагими родились, нагими слѣдуетъ намъ и выйти изъ сего міра; а потому я готовъ и на заточеніе, и на смерть“. Съ того времени еще сильнѣе началъ онъ укорять Святослава за ненависть къ брату. Князь-же, хотя и сильно разгнѣвался на блаженнаго, однако не дерзнулъ нанести ему ни малѣйшаго оскорбленія, такъ-какъ онъ видѣлъ въ Θεодосіѣ мужа праведнаго.

(Видя, что угрозы и обличеніе не дѣйствуютъ на князя), Θεодосій рѣшился помириться и кроткими увѣщаніями склонить его въ пользу брата. На этомъ основаніи онъ примирился съ Святославомъ, который уже давно искалъ съ нимъ случая побесѣдовать и очень обрадовался, когда св. Θεодосій позволилъ ему прійдти на свиданіе съ нимъ въ монастырь. Послѣ того они стали часто видѣться, хотя Θεодосій продолжалъ по прежнему, во время службы, на эктении, вспоминать Изяслава, какъ стольнаго князя и старшаго изъ всѣхъ князей, и хотя при каждомъ удобномъ случаѣ онъ напоминалъ Святославу о его несправедливости къ брату. Въ житіи разсказываются слѣдующіе замѣчательные эпизоды изъ этого періода отношеній Θεодосія къ Святославу):

Много разъ, когда возвѣщали князю о приходѣ блаженнаго, онъ съ радостью встрѣчалъ его передъ дверьми дома, и такимъ образомъ входилъ съ нимъ въ домъ. Однажды, находясь въ веселомъ расположеніи духа, князь говоритъ преподобному: „Отче! Истину тебѣ говорю, что еслибы возвѣстили мнѣ, что всталъ изъ мертвыхъ отецъ мой, то я-бы не радовался этому такъ, какъ твоему приходу; и не боялся-бы его, не смущался-бы такъ, какъ передъ твоею преподоб-

¹⁾ Это событіе произошло 22 марта, 1073 года.

ною душою". Блаженный-же сказать въ отвѣтъ ему: „если такъ боишься меня, то исполни мое желаніе—возврати брата своего на престолъ, врученный ему благовѣрнымъ отцемъ его". На это князь промолчалъ, ибо не могъ ничего отвѣтить...

(Въ другой разъ, случилось, что) Теодосій пришелъ князю и, вошедъ въ комнату, гдѣ князь находился, сѣлъ; и вотъ, увидѣлъ онъ многихъ играющихъ и веселящихся, какъ обыкновенно бываетъ передъ княземъ: одни

играли на гусляхъ, другіе на органахъ, третьи пѣли пѣсни. Блаженный-же сидѣлъ близъ князя и поникъ головою долу. И потомъ, немного приподнявъ голову, сказалъ князю: „такъ-ли будетъ на томъ свѣтъ"? Князь-же, умилившись словами блаженного и (даже) нѣсколько прослезившись, приказалъ играющимъ прекратить игру. Съ того времени, когда начинали они играть предъ княземъ, а князь слышалъ о приходѣ блаженного, то приказывалъ имъ прекращать игру.

II) ОТРЫВКИ ИЗЪ ПОВѢСТИ ВРЕМЯННЫХЪ ЛѢТЪ ПО ЛАВРЕНТЬЕВСКОМУ СПИСКУ XIV ВѢКА.

Смерть Олега.

Въ лѣто 6420 (912). Послалъ Олегъ мужей своихъ водворить миръ и установить условія мира между Греками и Русскими.¹⁾ — И зажилъ Олегъ въ мирѣ со всѣми странами, княжа въ Кіевѣ. И наступила осень, и вспомнилъ Олегъ коня своего, котораго поставилъ кормить на покое и на котораго не садился. Ибо прежде (за долго до этого времени) спрашивалъ онъ волхвовъ-кудесниковъ: „отъ чего предстоитъ мнѣ умереть?" И сказалъ ему одинъ кудесникъ: „князь! ты умрешь отъ того самаго коня, котораго ты любишь и на которомъ ѣдишь". Олегъ-же подумалъ и сказалъ: „никогда не сяду на коня того, и даже не увижу его болѣе"; — и велѣлъ кормить его и не водить къ себѣ, и нѣсколько лѣтъ такъ прошло; между тѣмъ онъ и на грековъ ходилъ, и въ Кіевъ вернулся, и оставался тамъ четыре года; на пятый вспомнилъ онъ о конѣ своемъ, отъ ко-

торого, по словамъ волхвовъ, надлежало умереть Олегу, и призвалъ старшаго надъ конюхами, говоря: „гдѣ конь мой, котораго я поставилъ кормить и беречь?" Тотъ сказалъ: „онъ издохъ". Олегъ посмѣялся и попрекнулъ кудесника, говоря: „не правду говорить волхвы, — все это ложь; вотъ, я коня издохъ, а я все живъ". И приказалъ осѣлать себѣ коня: „дай-посмотрю на его кости". И пріѣхалъ на мѣсто, гдѣ лежали его обнаженные кости и черепъ; и слѣзъ съ коня, посмѣялся и сказалъ: „ужъ не отъ этого-ли черепа мнѣ смерть приключится?" — и наступилъ на черепъ ногою и выполезла оттуда змѣя, и ужалила его въ ногу, и онъ, разболѣвшись отъ этого, умеръ. И много оплакивали его всѣ люди, и понесли его (тѣло) и погребли на горѣ, которая называется Шенковицей: могила его видна и по нынѣ и слыветъ Олеговой могилой.

Мщаніе Ольги.

Въ лѣто 6453 (945). Древляне убили Игоря и дружину его, ибо ихъ было немного. И погребенъ былъ Игорь; и могила его у города Искоростена, въ древлянской землѣ, есть и до сего дня. А Ольга была (тогда) въ Кіевѣ

въ съ сыномъ своимъ, дитятею Святославомъ, и съ кормильцемъ его, Асмудомъ, воевода-же былъ Свѣнелдъ: онъ-же и отецъ Мистиспнѣ. И сказали Древляне: „вотъ, мы князя русскаго убили; возьмемъ жену его Ольгу за

¹⁾ За этимъ слѣдуетъ приведенный дословно договоръ Русскихъ съ Греками.

нашего князя Мала; возьмемъ и Святослава, и поступимъ съ нимъ, какъ намъ вздумается". И послали Древляне лучшихъ мужей, числомъ 20, въ ладѣ къ Ольгѣ, и пристали они въ ладѣ подъ Боричевымъ. — И сказали Ольгѣ, что пришли Древляне, и позвала ихъ Ольга къ себѣ — „добрые, молъ, гости пришли“; и сказали Древляне: „пришли, княгиня“. И сказала имъ Ольга: „говорите-же, зачѣмъ вы пришли сюда?“ Сказали Древляне: „послала насъ древлянская земля, говоря такъ: мужа твоего мы убили, ибо мужъ твой, словно волкъ, все расхищаетъ и грабитъ, а наши князья добрые — наша древлянская земля благоденствуетъ подъ властью ихъ; такъ выходитъ-же за князя нашего, Мала“; князю-то древлянскаго Маломъ звали. Сказала имъ Ольга: „люба мнѣ ваша рѣчь: мнѣ вѣдъ ужъ мужа своего не воскресить; но я хочу завтра оказать вамъ почестъ передъ людьми своимъ; а нынче ступайте въ лодью свою и лягте въ лодѣ, величаясь; я-же завтра пошлю за вами, а вы скажите: „не поѣдемъ на коняхъ, и пѣшкомъ не поѣдемъ, а понесите-ка вы насъ въ лодѣ; и взнесутъ васъ (на гору) въ лодѣ“. Такъ и отпустила ихъ въ лодью. Ольга-же велѣла выкопать большую и глубокую яму на дворѣ терема, за городомъ. И на другое утро, Ольга, сидя въ теремѣ, послала за гостями и пришли къ нимъ (люди Ольгины), говоря: „зоветь васъ Ольга на великую честь“. Они же сказали: „не поѣдемъ ни на коняхъ, ни на возахъ, ни пѣшкомъ не поѣдемъ, а понесите-ка вы насъ въ лодѣ“. Кіевляне-же сказали: „поневогѣ понесемъ: нашъ князь убитъ, а княгиня наша хочетъ за вашего князя выйти“ — и понесли ихъ въ лодѣ. А тѣ сидѣли и гордились; и принесли ихъ на дворъ къ Ольгѣ, и, принеся, бросили въ яму вмѣстѣ съ лодьей. Наклонилась Ольга (надъ ямой) и сказала имъ: „хороша-ли вамъ честь?“ Они-же отвѣчали: „хуже Игоревой смер-

ти“, — и приказала засыпать ихъ живыми, и засыпали ихъ.

Послала Ольга къ Древлянамъ и сказала имъ: „если вы меня просите право, то пришлите знатныхъ мужей (меня сватать), дабы я съ великою честью могла прийти за вашего князя (за мужъ); а то и не пустять меня Кіевляне“. Услышавъ это, Древляне собрали лучшихъ мужей, которые правили древлянскою землею, и послали за Ольгою. Когда-же Древляне пришли, Ольга повелѣла истопить баню, и сказала такъ: „какъ вымоетесь, такъ придите ко мнѣ“. Истопили имъ избу, и влѣзли въ нее Древляне, начали мыться; и заперли ту избу, и (Ольга) повелѣла зажечь ее отъ дверей, — такъ всѣ въ ней и сгорѣли.

И послала (Ольга) къ Древлянамъ, говоря такъ: „вотъ, я ужъ иду къ вамъ; приготовьте же много меду въ томъ городѣ, въ которомъ вы убили мужа моего, дабы я могла поплакать надъ гробомъ его, и сотворить мужу своему тризну“. Тѣ-же, услышавъ это, свезли очень много медовъ, и взварили ихъ. Ольга-же, взявъ съ собою небольшую дружину, на легкѣ пустилась въ путь, и пришла ко гробу мужа своего, и плакала по немъ; и приказала людямъ своимъ насыпать высокую могилу; и когда ее насыпали, то приказала на ней тризну справлять (по мужѣ своему). Затѣмъ Древляне сѣли пить, и Ольга повелѣла своимъ отрокамъ служить передъ ними. Древляне сказали Ольгѣ: „гдѣ-же та дружина наша, которую мы послали за тобою?“ Она же отвѣчала: „идутъ вслѣдъ за мною съ дружиною мужа моего“. Когда-же Древляне упились, она повелѣла отрокамъ своимъ пить въ честь ихъ, а сама отошла въ сторону, и приказала рубить Древлянъ. И порубили ихъ 5000, а Ольга возвратилась въ Кіевъ, и приготовила войско противъ остальныхъ Древлянъ.

Печенѣжскій набѣгъ.

Въ лѣто 6476 (968 г.) пришли Печенѣги впервые на русскую землю, а Святославъ былъ въ Переяславцѣ; и затворилась Ольга въ городѣ со своими внуками, Ярославомъ и Олегомъ, и Владиміромъ — въ городѣ Кіе-

въ. И обступили враги городъ въ большихъ силахъ и въ безчисленномъ множествѣ (стали) около города: нельзя было ни изъ города выйти, ни вѣсть послать; стали люди изнемогать отъ голода и отъ недостатка

воды. Собрались жители той стороны Днѣпра въ лодьяхъ и стояли по ту сторону, и нельзя было ни одному изъ нихъ войти въ Кіевъ, ни изъ города выйти къ нимъ. Вступили люди въ городъ и сказали: „нѣтъ-ли кого-нибудь, кто-бы могъ пробраться на ту сторону и сказать имъ; если кто поутру не приступитъ (на помощь намъ къ Кіеву), то намъ предстоитъ передаться Печенѣгамъ“. И сказалъ одинъ отрокъ: „я перейду“; и сказали ему: „иди“. Онъ и вышелъ изъ города съ уздою въ рукѣ, и сталъ между Печенѣгами бѣгать, говоря: „не видѣли кто (моего) коня?“ — онъ умѣлъ говорить по-печенѣжски — и тѣ сочли его за своего. Когда-же онъ приблизился къ рѣкѣ, то сбросилъ съ себя одежду, бросился въ Днѣпръ и побрѣлъ; увидѣвъ это, Печенѣги бросились вслѣдъ за нимъ и стали въ него стрѣлять, и ничего не могли ему сдѣлать. А тѣ, что были на другой сторонѣ, увидѣвъ, все это, поплыли на встрѣчу отроку въ лодкѣ, и взяли его въ лодку и привезли къ дружинѣ; и онъ сказалъ имъ: „если завтра не подступите къ городу, то люди хотятъ передаться Печенѣгамъ“. Воевода-же ихъ, именемъ Прѣтичъ, сказалъ: „подступимъ завтра въ лодкахъ и, пробившись въ городъ, увеземъ на этотъ берегъ княгиню и обоимъ княжичей; если же этого не сдѣлаемъ, Святославъ насъ погубитъ“. На слѣдующій день, сѣли они въ лодку передъ разсвѣтомъ и громко затрубили, а люди въ городѣ откликнулись имъ; Печенѣги-же подумали, что князь пришелъ, побѣжали въ разныя стороны отъ

города; и вышла (изъ города) Ольга съ внуками и съ людьми своими въ лодкѣ. Видя же это, князь печенѣжскій возвратился одинъ къ воеводѣ Прѣтичу и сказалъ: „кто это пришелъ?“ И тотъ отвѣчалъ ему; „ладья съ той стороны“. И сказалъ князь печенѣжскій: „а ты-то ужъ не самъ-ли князь?“ Тотъ-же отвѣчалъ: „я принадлежу къ дружинѣ его, и пришелъ съ передовымъ отрядомъ, а за мною идетъ полкъ съ самимъ, и въ немъ безчисленное множество людей“. Это все говорилъ онъ только ради угрозы. И сказалъ князь печенѣжскій Прѣтичу: „будь мнѣ другъ“, а тотъ ему на это: „пусть будетъ такъ“. И подали они другъ другу руки, и печенѣжскій князь отдалъ (въ даръ) Прѣтичу своего коня, саблю и стрѣлы, а тотъ ему—броню, щитъ и мечъ. Отступили печенѣги отъ города, и нельзя было кони напоить: — на Лыбеди (рѣкѣ) стояли Печенѣги. И послали Кіевляне къ Святославу, говоря: „ты, князь, чужой земли нищешь и чужую землю оберегаешь, а своей не бережешь — едва-едва не взяли насъ Печенѣги, и мать твою, и дѣтей твоихъ; если не пойдешь, и не оборонишь насъ, если дашь насъ взять снова, то ужъ видно не жаль тебѣ ни отчины своей, ни старой матери, ни дѣтей твоихъ“. Услышавъ это, Святославъ тотчасъ сѣлъ на коня съ дружиною своею, и пришелъ къ Кіеву, цѣловалъ мать свою и дѣтей своихъ, сокрушался о томъ, что произошло отъ Печенѣговъ, и собралъ онъ войско, прогналъ Печенѣговъ въ степь и во дворился миръ.

Единоборство Мстислава Владиміровича съ Редедомъ.

Въ лѣто 6530 (1022). Ярославъ пришелъ къ Берестью. Въ то же время Мстиславъ былъ въ Тмуторакани и пошелъ на Касоговъ. Касожскій князь, Редедъ, услышавъ объ этомъ, выступилъ противъ него, и когда оба полка стали другъ противъ друга, Редедъ и сказалъ Мстиславу: „изъ за чего намъ губить нашу дружину? Лучше намъ самимъ сойтись и побороться; и если ты одолѣешь, то возьмешь и мое имѣнье, и жену мою, и дѣтей моихъ, и землю мою; если-же я одолѣю, то возьму все твое“. И сказалъ Мстиславъ: „пусть будетъ такъ“. И сказалъ Ре-

дедъ Мстиславу: „не оружіемъ битися будемъ, а борьбою (бороться)“. И схватились они крѣпко бороться, и послѣ того, какъ они уже долго боролись, Мстиславъ сталъ изнемогать, ибо Редедъ былъ высокъ ростомъ и силенъ; и сказалъ Мстиславъ: „о, пречистая Богородица! помоги мнѣ: ужъ если я одолѣю этого, то церковь во имя Твое построю“. И, сказавъ это, ударилъ Редеду о землю, выхватилъ ножъ и зарѣзалъ его; потомъ пошелъ въ землю его, взялъ все имѣнье его, жену и дѣтей его, и дань наложилъ на Касоговъ. И

прийдя въ Тмуторокань, заложилъ церковь во имя св. Богородицы, и построилъ ее,

и стоитъ та церковь донныѣ въ Тмуторакани.

Битва при Лиственѣ.

Въ лѣто 6532 (1023). Мстиславъ пошелъ на Ярослава, съ Казарами и съ Касогами. Въ лѣто 6532 (1024). Въ то время, какъ Ярославъ былъ въ Новгородѣ, пришелъ Мстиславъ къ Киеву изъ Тмуторокани и не принявъ его Кіевляне; онъ же пошелъ и сѣлъ на столѣ въ Черниговѣ, такъ-какъ Ярославъ все еще находился въ Новгородѣ. Въ то же лѣто поднялись волхвы въ Суздали, стали избивать старыхъ людей по дьяволову наущенію и бѣсованью, говоря, будто они скрываютъ въ себѣ урожай. Былъ по всей той сторонѣ великій мѣтежъ и голодъ; пошли по Волгѣ всѣ люди въ болгарскую землю, и привезли (оттуда) съ собою жито: только тѣмъ и жили. Услышавъ же о волхвахъ, Ярославъ пришелъ къ Суздали; переловивъ волхвовъ, онъ разогналъ ихъ, а другихъ казнилъ, сказавъ такъ: „Богъ по грѣхамъ наказываетъ каждую землю голодомъ или морозомъ, или вѣдромъ, или иною карою, а человекъ ничего не можетъ знать“. И возвратился (изъ Суздали) Ярославъ, пришелъ къ Новгороду и послалъ за море за Варягами; и пришелъ Якунь съ Варягами, и былъ тотъ Якунь прекрасенъ, и плащъ на немъ былъ вытканъ изъ золота. И пришелъ онъ къ Ярославу; пошелъ Ярославъ съ Якуномъ на Мстислава, а Мстиславъ, услышавъ объ этомъ, выступилъ противъ нихъ къ Листве-

ну. Мстиславъ съ вечера изготовилъ къ бою свою дружину, и поставилъ Сѣверянъ (въ серединѣ) какъ разъ противъ Варяговъ (Ярославовыхъ), а самъ сталъ со своею дружиною по крыламъ (войска). И когда наступила ночь, стало темно, (пошелъ) дождь, (загремѣлъ) громъ, (заблестала) молнія. И пошли другъ противъ друга Ярославъ и Мстиславъ, и сошлись (находившіеся) въ серединѣ войска, Сѣверяне съ Варягами, и Варяги изъ всѣхъ силъ рубились съ Сѣверянами, а Мстиславъ напалъ со своею дружиною, и началъ рубить Варяговъ, и сѣча была сильна; когда освѣщала молнія (поле битвы), оружіе блистало, — была и гроза велика, и сѣча сильна и страшна. Ярославъ же, увидавъ, что его побѣждаютъ, побѣждалъ съ Якуномъ, княземъ варяжскимъ, и Якунь тутъ потерялъ и плащъ свой золотой; пришелъ Ярославъ въ Новгородъ, а Якунь ушелъ за море. Мстиславъ же, на разсвѣтѣ на другой день увидѣлъ, что лежатъ убитые изъ числа его Сѣверянъ и изъ Варяговъ Ярославовыхъ, и сказалъ: „кто этому не порадуется? вотъ лежитъ Сѣверянинъ, а вотъ Варягъ, а дружина своя цѣла“. И послалъ Мстиславъ за Ярославомъ, говоря: „сидись въ своемъ Кіевѣ, — ты вѣдь старшій братъ, а моею пусть будетъ эта сторона (Днѣпра)“.

III) отрывокъ изъ южно-русской лѣтописи, случайно занесенный въ лѣтопись кіевскую по лаврентьевскому списку.

Ослѣпленіе Василька.

Въ лѣто 6605 (1097). Пришли Святополкъ, Владиміръ, Давидъ Игоревичъ, и Василько Ростиславичъ, и Давидъ Святославичъ, и братья его Олегъ, и собрались на сѣздѣ въ Любечѣ, для устроения мира, и говорили между собою такъ: „за что губимъ мы русскую землю, сами на себя устроили усобицы? А Половцы несутъ розно, разрываютъ нашу землю, и рады

тому, что мы между собою воюемъ; соединимся-же нынѣ въ одно сердце, и будемъ оберегать русскую землю, и пусть каждый держитъ свою отчину: Святополкъ — Кіевъ, Изяславову отчину, Владиміръ — Всеволодову, Давидъ, Олегъ и Ярославъ — Святославову; а тѣ, кому роздалъ города Всеволодъ, пусть также держатъ ихъ: Давидъ — Влади-

миръ, а изъ Ростиславичей, Володаръ — Перемышль, а Василько — Теремовъ. И на томъ цѣловали крестъ, „что если кто отнынѣ на кого поднимется, противъ того будемъ мы всѣ, и этотъ честной крестъ“: всѣ сказали: „пусть будетъ на того крестъ честный и вся русская земля“, и перецѣловавшись, пошли во-свояси. И пришелъ Святополкъ съ Давидомъ къ Киеву, и всѣ люди были рады; одинъ только дьяволъ опечаленъ былъ этою общеою любовью, и влѣзъ сатана въ сердце нѣкоторымъ мужамъ, и стали говорить Давиду Игоревичу, „что Владиміръ сговорился съ Василькомъ противъ тебя и Святополка“. Давидъ повѣрилъ живымъ словамъ, и сталъ наговаривать (Святополку) на Василька, говоря: „кто убилъ твоего брата. Ярополка? А нынче замышляетъ и противъ тебя, и противъ меня, и съ Владиміромъ сговорился; позаботься о своей головѣ“. Святополкъ-же смутился умомъ, и говорилъ себѣ: „правда-ли это, или ложь?“ И самъ не могъ рѣшить; и сказалъ потомъ Давиду: „если ты справедливо говоришь, то пусть Богъ тебѣ будетъ свидѣтелемъ; а если изъ зависти говоришь, то Богъ противъ тебя будетъ“. Стало жалко Святополку и брата своего, и себя, и началъ онъ раздумывать: „а что, коли это правда?“ И повѣрилъ онъ Давиду, и предельтилъ Давидъ Святополка, и начали думать о Василькѣ; а Василько и Владиміръ этого не знали. И сталъ говорить Давидъ: „коли мы не захватимъ Василька, то ни тебѣ не княжить въ Киевѣ, ни мнѣ во Владиміръ“. И Святополкъ его послушался. И пришелъ Василько 4-го ноября, и переправился на Выдобицѣ, и пошелъ поклониться въ монастырь къ Св. Михаилу, и тамъ поужиналъ, а обозъ свой поставилъ на Рудицѣ, и когда уже стемнѣлось, пришелъ къ себѣ въ обозъ. По утру-же прислалъ къ нему Святополкъ, говоря: „не ходи отъ иманнинъ монаховъ“. Василько-же отговаривался, говоря: „я не могу медлить; дома ожидается война“. И прислалъ къ нему Давидъ говоря: „не ходи, братъ, не ослушивайся старшаго брата; но и того Василько не захотѣлъ послушать. И сказалъ Давидъ Святополку: „видишь-ли, онъ и знать тебя не хочетъ, даже и въ твоей волости; а какъ уѣдетъ въ свою волость, такъ и увидишь, что займетъ твои города, Туровъ и Пинскъ, и прочіе города твои. — тогда вотъ и помянешь меня; а по моему, такъ, позвавъ Кіевлянъ, и захвативъ его, отдайте

его мнѣ“. И послушалъ его Святополкъ, и послалъ за Василькомъ, говоря: „если ужъ ты не хочешь остаться до иманнинъ монаховъ, то приди нынче, поцѣлуй меня, и всѣ вмѣстѣ побудемъ съ Давидомъ“. Василько обѣщался прійти, не зная того, что замышляетъ противъ него Давидъ. Когда-же Василько, сѣвъ на коня, поѣхалъ, то встрѣтилъ его дѣтскій, и сказалъ ему: „не ходи, князь, тебѣ хотять захватить“. И не послушалъ его Василько, подумавъ: „какъ-же это хотять меня захватить? А они-же мнѣ крестъ цѣловали, говоря: кто противъ кого помыслитъ, противъ того и крестъ, и мы всѣ“. И подумавъ, перекрестился и сказалъ: „пусть будетъ воля Господня“. И съ немногими изъ дружины пріѣхалъ онъ на княжескій дворъ; Святополкъ вышелъ ему на встрѣчу, и вошли они въ домъ, и Давидъ пришелъ, и они сѣли. И сталъ говорить Святополкъ: „останься съ нами на праздники“. И сказалъ Василько: „не могу остаться, братъ; я ужъ и обозъ свой послалъ впередъ“. Давидъ-же сидѣлъ, словно нѣмой; и сказалъ Святополкъ: „завтракай же съ нами, братъ“. И обѣщался Василько завтракать. И сказалъ Святополкъ: „вы здѣсь посидите, а я пойду, распоряжусь,“ — и вышелъ, а Давидъ съ Василькомъ остался сидѣть. И началъ Василько говорить съ Давидомъ, а Давидъ и голоса не подаетъ, и не слушаетъ его: такъ былъ онъ встревоженъ и занятъ своимъ замысломъ. И, немного посидѣвъ, Давидъ сказалъ: „гдѣ-же братъ мой?“ Ему сказали: „стоитъ въ сѣняхъ“. И Давидъ, вставши, сказалъ: „я за нимъ схожу, а ты, братъ, посиди“. И вышелъ вонъ. И какъ только вышелъ Давидъ, такъ и заперли Василька, 5-го ноября, и оковали его въ двои оковы, и приставили къ нему на ночь стражу. Поутру-же Святополкъ созвалъ бояръ, Кіевлянъ, и передалъ имъ то, что слышалъ отъ Давида, что, молъ, „брата твоего онъ убилъ, и противъ тебя сговорился съ Владиміромъ, и хотять убить тебя и занять твой городъ“. И сказали бояре и люди: „тебѣ, князь, слѣдуетъ оберегать свою голову; и если правду сказалъ Давидъ, то пусть Василько будетъ наказанъ; если же неправду (сказалъ Давидъ), то пусть Богъ его накажетъ, и пусть онъ отвѣтитъ за это передъ Богомъ“. И узнали обо всемъ этомъ игумены, и стали просить Святополка о Василькѣ; и сказалъ имъ Святополкъ: „вотъ вамъ Давидъ (его про-

сите)“. Давидъ-же, узнавъ это, сталъ научать, чтобы Василько былъ ослѣпленъ: „если-же этого не сдѣлаешь, а отпустишь его, то ни тебѣ не княжить, ни мнѣ“. Святполкъ же хотѣлъ отпустить его; но Давидъ не хотѣлъ, опасаясь его. И въ ту-же ночь отправили его въ Бѣгородъ, небольшой городокъ, верстахъ въ 10 отъ Кіева, и привезли его туда на повозкѣ, закованнаго, и ссадили съ повозки, и ввели въ небольшую избу. И когда Василько въ избѣ сѣлъ, то увидѣлъ Торчина, который точилъ ножъ, и понялъ, что его хотѣтъ ослѣпить, и возопилъ къ Богу съ великимъ стenanіемъ и плачемъ. И вотъ, вошли, посланные Святполкомъ и Давидомъ, Сповидъ Изчевичъ, конюхъ Святполковъ, и Дмитрій, конюхъ Давидовъ, и стали разстилать коверъ, и разостлавъ, схватили Василька и хотѣли повалить его; и крѣпко боролся онъ съ ними, и не могли его повалить; и вотъ, пришли другіе, повалили его, и связали, и, снявши доску съ печи, положили ему на грудь, и сѣли съ обѣихъ сторонъ. Сповидъ Изчевичъ и Дмитрій, и не могли его удержать, и пристушило двое другихъ, и сняли другую доску съ печи, и сѣли на нее, и придавили его такъ, что грудь у него затрещала. И подошелъ Торчинъ, именемъ Берендій, овчаръ Святполковъ, держа въ рукѣ ножъ, и хотѣлъ ударить его въ глазъ, и промахнулся, и перерѣзалъ ему лице, и рана эта видна у Василька и нынѣ; и потомъ ударилъ его въ глазъ, и вырвалъ одинъ зрачекъ, а потомъ въ другой глазъ, и вырвалъ другой зрачекъ;— тогда Василько сталъ какъ-бы мертвъ. И взяли его на коврѣ, вложили, какъ мертвца, на повозку, и повезли во Владиміръ. И когда везли его, то остановились съ нимъ за Здвиженскимъ мостомъ, на торговой площади, и сняли съ него кровавую сорочку и дали ее выстирать попадѣ; попадѣ же, вымывши сорочку, надѣла ее на князя, между тѣмъ, какъ везшіе его обѣдали, и начала попадѣ плакать надъ нимъ, какъ надъ мертвымъ. И онъ услышалъ плачь и сказалъ: „гдѣ это я?“ Они же сказали: „въ городѣ Здвиженъ“. И онъ спросилъ воды, и тѣ дали ему, и когда онъ испилъ воды, то очнулся, и опомнился, и, пошупавъ сорочку свою, сказалъ: „зачѣмъ вы съ меня сняли ее? Пусть бы я въ той сорочкѣ умеръ и сталъ передъ Богомъ“. Когда же они отобѣдали, то повезли его поспѣшно, хотѣ и по груди, такъ-какъ

тогда былъ мѣсяцъ грудень, иначе сказать ноябрь, и пришли съ нимъ къ Владиміру въ 6-й день. Съ нимъ вмѣстѣ пришелъ и Давидъ, словно какой-нибудь уловъ удювивъ, и посадили Васильку въ дворѣ Вакѣевѣ, и при ставили къ нему 30 человекъ стражи и 2-хъ отроковъ княжескихъ, Улана и Колчко.

Владиміръ-же (Мономахъ), услышавъ, что Васильку былъ взятъ и ослѣпленъ, ужаснулся и, заплакавъ, сказалъ: „этого не бывало еще въ русской землѣ ни при дѣдахъ нашихъ, ни при отцахъ нашихъ, такого зла, чтобы кто ввергъ въ насъ ножъ“. И тутъ послалъ онъ къ Давиду и къ Олегу Святославичамъ, говоря: „ступайте къ Городцу, чтобы намъ исправить это зло, которое нынѣ произошло въ русской землѣ, и въ нашей братіи; если этого не исправимъ, то еще большее зло проявится между нами, и начнетъ закалывать братъ брата, и погибнетъ земля русская, и враги наши, Половцы, прійдутъ и возьмутъ землю русскую“.

Услышавъ объ этомъ, Давидъ и Олегъ были очень опечалены, и плакали, говора: „этого еще въ нашемъ родѣ не бывало“—и вотъ, собрали воиновъ, и пришли ко Владиміру. И между тѣмъ, какъ Владиміръ (съ войскомъ) стоялъ въ бору, онъ и Давидъ, и Олегъ послали мужей своихъ сказать Святполку: „зачѣмъ сотворилъ ты это зло въ русской землѣ и ввергъ въ насъ ножъ? Зачѣмъ ослѣпилъ брата своего? Если-бы онъ былъ виноватъ въ чемъ-нибудь предъ тобою, то ты-бы долженъ былъ уличить его передъ нами, и, укоривъ его, наказалъ бы его, а теперь объяви вину его, коли ужъ ты ему это сдѣлалъ“. И сказалъ Святполкъ, что вотъ повѣдалъ мнѣ Давидъ Игоревичъ, что Васильку убилъ брата твоего, Ярополка, и тебя тоже хотѣлъ убить и захватить твою волость—Туровъ и Пиньскъ, и Берестье, и Погорину, а и покланисъ онъ съ Владиміромъ, чтобы съѣсть Владиміру въ Кіевѣ, а Васильку—во Владиміръ; а я не могу же не беречь своей головы, и притомъ же не я его ослѣпилъ, а Давидъ, и даже увелъ его къ себѣ“. И сказали посланные Владиміровы, Давидовы и Олеговы: „не отговаривайся тѣмъ, что Давидъ его ослѣпилъ: не въ Давидовомъ городѣ взялъ онъ и ослѣпленъ, а въ твоёмъ“; и послѣ того, какъ это было сказано, они разошлись. Поутру же, когда они хотѣли переправиться черезъ Днѣпръ, на Святполка, тотъ хотѣлъ бѣжать

изъ Киева: и не позволили ему бѣжать Кіевляне; но отправили вдову Всеволодову и митрополита Николу къ Владиміру, говоря: „умолиемъ тебя, князь, и братьевъ твоихъ, не губите русской земли; вѣдь если затѣете войну между собою, то поганые станутъ радоваться, и захватятъ землю нашу, которую стяжали отцы и дѣды, съ великимъ трудомъ и мужествомъ борясь за русскую землю, и прискивая нинихъ земель: а вы хотите погубить русскую землю“. Вдова Всеволодова и митрополитъ пришли къ Владиміру, и умоляли его, и передали ему мольбу Кіевлянъ о томъ, чтобы не нарушать мира, оберегать и сохранять землю русскую, и коли воевать, то ужъ съ погаными. Услышавъ это, Владиміръ расплакался и сказалъ: „и точно, что отцы наши и дѣды сохранили землю русскую, а мы хотимъ погубить ее“, и склонился на мольбы княгини, ибо почиталъ ее какъ мать, ради своего отца, такъ какъ онъ очень былъ любимъ отцемъ своимъ, и при жизни его, и по смерти ни въ чемъ не ослушивался его: потому-то и ея (княгини) послушался, какъ матери, и митрополита, изъ уваженія къ его святительскому сану. Владиміръ такой-то и былъ снисходительный: любилъ и митрополитовъ, и епископовъ, и игуменовъ, особенно любилъ чернецовъ и черницъ, и приходившихъ къ нему питать и поить, какъ мать—дѣтей своихъ; и если видѣлъ, что кто-нибудь шумитъ или дѣлаетъ что зазорное, то не осуждалъ, но все любовью старался уладить. Но мы возвратимся къ своему (разсказу). Княгиня, побывавши у Владиміра, вернулась въ Кіевъ и передала всѣ рѣчи Святополку и Кіевлянамъ, что будетъ миръ. И стали они между собою пересылать мужей и помирились на томъ, что сказали Святополку: „такъ какъ это Давидово коварство; то иди же и ты, Святополкъ, на Давида, и либо захвати его, либо прогони“. Святополкъ на это согласился, и цѣловали на томъ между собою крестъ, помирившись.

Василько же между тѣмъ оставался во Владимірѣ, на вышесказанномъ мѣстѣ, и когда приблизился великій постъ, и я тутъ-же былъ во Владимірѣ, однажды ночью прислать за мною князь Давидъ. И пришелъ я къ нему, и сидѣла около него дружина его, и посадилъ онъ меня, и сказалъ мнѣ: „Василько вотъ что говорилъ сегодня ночью Улану и Колчѣ: слышу я, что идетъ Владиміръ и Свя-

тополкъ на Давида; кабы послушалъ меня Давидъ, то я бы послалъ мужа своего къ Владиміру (упросилъ-бы его) воротиться; а ужъ зналъ-бы, что сказать ему, и онъ бы не пошелъ (на Давида). Такъ вотъ, Василь, шлю тебя, иди къ Васильку, своему тезкѣ, съ этими отроками, и скажи ему такъ: если ты хочешь послать своего мужа, и Владиміръ точно воротится, то я тебѣ отдамъ любой изъ моихъ городовъ: либо Всеволожь, либо Шеполь, либо Перемишль“. Я же пошелъ къ Васильку, и передалъ ему всѣ рѣчи Давидовы. Онъ-же сказалъ: „я этого не говорилъ; но надѣюсь на Бога, и пошлю (къ Владиміру), дабы не проливали изъ за меня крови; но мнѣ это странно: — дать мнѣ свой городъ, а что же мой-то Теремовъ, моя волость?“. Обращаясь ко мнѣ, онъ сказалъ: „иди къ Давиду и скажи ему: пусть пришлетъ мнѣ Кульмѣя, такъ я пошлю къ Владиміру“. И не послушалъ его Давидъ, и вторично послалъ меня, сказать: „идѣть Кульмѣя“. И сказалъ мнѣ Василько: „посиди немного со мною“, и велѣлъ слугѣ своему выйти вонъ, и оставшись со мною (наединѣ), началъ мнѣ говорить: „слышу я, что Давидъ хочетъ выдать меня Ляхамъ: видно мало еще онъ насытился крови моей, и теперь хочетъ болѣе насытиться, выдавая меня имъ: а вѣдь Ляхамъ много зла сдѣлать, и хотѣлъ еще сдѣлать, и мстить за русскую землю. Если и выдастъ онъ меня Ляхамъ, то я не боюсь смерти; но вотъ что скажу тебѣ: поистинѣ все это Богъ напустилъ на меня за мое высокомеріе, потому, какъ пришла ко мнѣ вѣсть, что идутъ ко мнѣ Берендичи, и Печенѣги, и Торки, а я сказалъ самъ себѣ: какъ будутъ у меня Берендичи, Печенѣги да Торки, тогда скажу брату своему Володарю и Давиду: „дайте мнѣ младшую свою дружину, а сами пейте и веселитесь“. И помыслилъ я такъ: зимой наступлю на ляхскую землю, и на гѣто захвачу землю ляхскую, и отомщу за русскую землю; и послѣ этого хотѣлъ перехватить Болгаръ дунайскихъ и поселить ихъ у себя; а потомъ хотѣлъ проситься у Святополка и у Владиміра идти на Половцевъ, дабы или славы себѣ добыть, или голову свою сложить за русскую землю. Другого помышления въ сердцѣ моемъ не было ни противъ Святополка, ни противъ Давида, и вотъ Богомъ влечусь и Его пришествіемъ, что ничего злого не умышлять противъ братьевъ своихъ; но Богъ низ-

ложить меня и смирить за мое высокомеріе". Послѣ этого, когда приближалась Пасха, Давидъ пошелъ (съ войскомъ), думая захватить Василькову волость; и встрѣтилъ его Володаръ, братъ Васильковъ, у Божьска, и не смѣлъ Давидъ выступить противъ Василькова брата Володаря, и затворился въ Божьскѣ, а Володаръ осадилъ его въ городѣ. И сталъ говорить Володаръ: „какъ-же это ты сдѣлалъ зло и еще не каешься? Опомнись-же, сколько уже зла ты надѣлалъ"? Давидъ-же сталъ сваливать вину на Святополка, говоря: „развѣ это я сдѣлалъ? Или въ моемъ городѣ это случилось? Я и самъ-то опасался, чтобы меня самого не схватили, и со мною-бы того же не сдѣлали: по неволѣ долженъ я былъ участвовать въ умыслѣ ихъ и поступать по ихъ волѣ". И сказалъ Володаръ: „Богъ тому свидѣтель; а нынѣ отпусти брата моего, и я съ тобой помирюсь". И обрадовался Давидъ, послалъ за Василькомъ, и, приведя его, передалъ Володарю, и помирились они, и разошлись. И сѣлъ Василько въ Теребовлѣ, а Давидъ ушелъ во Владимірь.

Когда же наступила весна, пришелъ Володаръ съ Василькомъ на Давида, и пришли къ Всеволожю, а Давидъ затворился во Владимірь. Они же, какъ стали около Всеволожа, такъ и взяли городъ копьемъ и зажгли его; и побѣждали люди отъ огня, и повелѣлъ Василько всѣхъ рубить, и отмстилъ на людяхъ невинныхъ, и пролилъ невинную кровь. Затѣмъ же пришли къ Владимірю, и затворился Давидъ во Владимірь, и тѣ обступили городъ, и послали сказать Владимірцамъ: „мы оба пришли ни противъ вашего города воевать, ни противъ васъ, но противъ враговъ своихъ, Туряка и Лазаря, и Василя, ибо они-то и надумали Давида, и ихъ-то послушалъ Давидъ и сотворилъ это зло; и если вы хотите за нихъ биться, такъ вотъ мы готовы; а не то выдайте намъ враговъ нашихъ". Горожане же, услышавъ это, созвали вѣче, и сказали Давиду: „выдай этихъ мужей, не станемъ биться за нихъ, а за тебя можемъ биться; если же нѣтъ, то отворимъ ворота городскія, и промышляй тогда самъ о себѣ". И по неволѣ приходилось ихъ выдать. И сказалъ Давидъ: „нѣтъ ихъ здѣсь", ибо (уже прежде того) послалъ ихъ въ Лучьскъ; и между тѣмъ какъ тѣ пошли къ Лучьску, Турякъ бѣжалъ въ Кіевъ, а Лазарь и Василько возвратились въ Турійскъ. И услышали люди,

что они въ Турійскѣ, и крикнули на Давида: „выдай тѣхъ, кого отъ тебя требуютъ; если же не выдашь, то передадимся". Давидъ же послалъ, привелъ Василя и Лазаря, и выдалъ ихъ; и помирились они въ воскресенье, а на другой день, на зарѣ, Васильковичи повѣсили Василя и Лазаря, и, разстрѣлявъ ихъ стрѣлами, удалились отъ города. Это уже второе мщеніе сотворилъ (Василько), которое бы творить не слѣдовало, дабы Богъ былъ за него мстителемъ, — на Бога слѣдоваго возложить мщеніе свое..... Когда же (князья) удалились отъ города, (горожане) повѣшенныхъ сняли и погребли ихъ.

Такъ какъ Святополкъ общался прогнать Давида, то онъ и пошелъ къ Берестью, къ Ляхамъ; услышавъ объ этомъ, и Давидъ пошелъ въ Ляхи, къ Владиславу, искать помощи. Ляхи же общались ему помогать, и, взявъ у него 50 гривенъ золота, сказали: „пойди съ нами къ Берестью, насъ вотъ зоветъ Святополкъ на сеймъ, тамъ и помиримъ тебя со Святополкомъ". И послушалъ ихъ Давидъ, пошелъ къ Берестью съ Владиславомъ. И сталъ Святополкъ въ городѣ, а Ляхи на Бугѣ, и сговорился Святополкъ съ Ляхами, и далъ большіе дары имъ (чтобы не стояли за Давида); и сказалъ Владиславъ Давиду: „не слушаетъ меня Святополкъ; уходи къ себѣ". И пришелъ Давидъ во Владимірь, и Святополкъ, посоветовавшись съ Ляхами, пошелъ къ Пинску и послалъ за войскомъ. Прийдя къ Дорогобужу, дождался онъ тутъ своего войска, и пошелъ къ городу на Давида, и Давидъ затворился въ городѣ, ожидая помощи отъ Ляховъ, ибо тѣ ему сказали: „вотъ какъ придутъ на тебя Русскіе князья, то мы тебѣ и поможемъ", — и солгали ему, забирая золото и у Давида, и у Святополка. Святополкъ же обступилъ городъ и стоялъ около города 7 недѣль; и началъ Давидъ умолять его: „отпусти меня изъ города". Святополкъ же общался ему, и цѣловали на томъ между собою крестъ, и вышелъ онъ изъ города, и пришелъ въ Червень; а Святополкъ вошелъ въ городъ въ великую субботу; а Давидъ бѣжалъ въ Ляхи.

Святополкъ же, прогнавъ Давида, началъ замышлять противъ Володаря и Василька, говоря: „что и это вѣдь тоже волость отца моего и брата" — и пошелъ противъ нихъ. Услышавъ это, Володаръ и Василько пошли противъ него, взявъ съ собою тотъ крестъ,

который онъ имъ цѣловалъ на томъ, что „я, моль, пришелъ на Давида, а съ вами хочу имѣть миръ и любовь“. И преступилъ Святополкъ то крестное цѣлованіе, надѣясь на множество воиновъ своихъ. И встрѣтились они на полѣ, на Рожни; и когда обѣ (стороны) исполнились, Василько поднялъ крестъ, говоря: „не этотъ-ли крестъ ты цѣловалъ? И вотъ сначала отнял у меня зракъ очей моихъ, а нынче хочешь и душу отнять; пусть же будетъ между нами этотъ крестъ“. И по-

томъ они разошлись (чтобы приготовиться) къ бою, и сошлись полки, и многіе благочестивые люди видѣли крестъ, явственно возвышавшійся надъ Васильковыми воинами. Когда же битва завязалась большая и многіе стали падать съ обѣихъ сторонъ, и увидѣвъ Святополкъ какъ люта битва, то побѣжалъ, и приближалъ къ Владимиру; Володаръ же и Василько, побѣдивши, стали тутъ же, говоря: „довольно намъ того, что мы станемъ на своей межѣ“, — и не пошли никуда болѣе.

IV) отрывокъ южно русской лѣтописи по ипатьевскому списку (конца XIV в. или начала XV).

Половецкій пѣвецъ.

Въ лѣто 6709 (1202 г.). (Романъ) устремился на поганыхъ, словно левъ, сердитъ же былъ, словно рысь, и губилъ (ихъ), словно крокодилъ, а землю ихъ орломъ перелеталъ (изъ конца въ конецъ), и храбръ былъ, какъ туръ. Соревновалъ онъ дѣду своему Мономаху, погубившему поганыхъ Измаилътиныхъ, называемыхъ Половцами, изгнавшему Отрока въ Обезы (Абхазію) за Желѣзные ворота, между тѣмъ какъ Сырчанъ, оставшись у Дона, обернулся рыбкою; въ то время Владимиръ Мономахъ шилъ золотымъ шлемомъ изъ Дона, захвативъ всю землю ихъ и загнавъ окаянныхъ Агарянъ. По смерти же Владимира, такъ какъ у Сырчана остался всего одинъ пѣвецъ, Оревъ, то онъ послалъ

его въ Обезы, сказать: „Владимиръ умеръ, такъ воротись же, братъ, пойди въ свою землю“. (Ореву же сказалъ Сырчанъ): „передай ему мои слова, да пой же ему пѣсни половецкія; если же тебя не захочетъ (последовать), дай ему понюхать травы, которая зовется евнанъ“. Такъ какъ тотъ (Отрокъ, братъ Сырчана) не захотѣлъ ни воротиться, ни последовать (Орева - пѣвца), то (Оревъ) далъ ему (понюхать той) травы; когда Отрокъ понюхалъ, то заплакалъ и сказалъ: „ужъ лучше на своей землѣ костью лечь, нежели на чужой славнымъ быть“. И пришелъ обратно въ свою землю, и отъ него-то родился Кончанъ, (тотъ самый) что снесъ Сулу, пѣшкомъ идучи, и котелъ неся на плечахъ.

V) изъ новгородской лѣтописи, по списку XIV в.

Мстиславъ Удалый. Липицкая битва. Твердиславъ.

Въ лѣто 6723 (1212 г.). Пошелъ князь Мстиславъ¹⁾ по своей волѣ къ Киеву, и созвалъ вѣче на Ярославовомъ дворѣ, и сказалъ Новгородцамъ: „у меня дѣла въ Руси, и вы вольны въ князьяхъ“. Въ то же лѣто Новгородцы, много гадавши, послали за Ярославомъ за Всеволодовичемъ, за Юрьевымъ внукомъ, Юрія Ивановича посадника и Якуна тысяцкаго, и старѣйшихъ кунцевъ десять

человѣкъ; и вошелъ кн. Ярославъ въ Новгородъ, и встрѣтилъ его архіепископъ Антонъ съ Новгородцами. Въ то же лѣто князь Ярославъ захватилъ Якуна Зуболомича, а потомъ послалъ за Оомомъ Доброшничемъ новоторжскимъ посадникомъ, и, оковавъ, посадилъ обонхъ въ заточеніе въ Твери; и по грѣхамъ нашимъ, (теодоръ Лазутиничъ, и Шворъ Новоторжичъ обнесли (передъ кня-

¹⁾ Здѣсь идетъ рѣчь о Мстиславѣ Удаломъ, сынѣ Мстислава Храбраго.

земь) Якуна Намнѣжича тысяцкаго; князь же Ярославъ созвалъ вѣче на Ярославовѣмъ дворѣ, пошли на Якуновѣ дворѣ, и разграбили (дворѣ), и жену его взяли, а Якунѣ на другой день пошелъ съ посадникомъ къ князю, и князь приказалъ схватить сына его, Христофора, въ 21-й день мая. Тогда же, на Соборѣ (всѣхъ святыхъ), Прусы (т. е. жители Прусскаго конпа) убили Оветрота и сына его Луготу, и мертвыхъ бросили ихъ на греблю; князь же на это пожаловался Новгородцамъ. Въ то же лѣто пошелъ князь Ярославъ на Торжокъ, взявъ съ собою Твердислава Михайловича, Никифора Полюда, Обмыслава, Семена, Ольксу и многихъ бояръ, и, одаривъ ихъ, прислалъ ихъ въ Новгородъ; а самъ сидѣлъ все въ Торжкѣ. Въ ту же осень много зла сдѣлалось: морозъ побилъ весь хлѣбъ по волости; а въ Торжкѣ все цѣло было, и захватилъ князь все въ Торжкѣ, и не пустилъ въ городъ (т. е. въ Новгородъ) ни вола (съ хлѣбомъ); и послали за княземъ Семена Борисовича, Вячеслава Климатича, Зубца Якуна, и тѣхъ онѣ захватилъ, и всѣхъ кого ни посылали, всѣхъ захватывалъ. А въ Новѣгородѣ очень было плохо: кады ржи покупали по десяти гривень, а овса по три гривны, а рѣпы возъ по 2 гривны, люди ѣли сосновую кору, и листья липовыя, и мохъ.... О, горе тогда было, братья! Дѣтей своихъ отдавали задаромъ, и поставили скудельницу, и наметали ее полною (трупою). О горе было! и по торгу валялись трупы, и по улицамъ трупы, и по полю трупы, — псы не успѣвали поѣдать человѣческіе трупы!... Новгородцы же, оставшіеся въ живыхъ, послали Юрія Иванковича посадника, и Степана Твердиславича, и другихъ мужей за княземъ; онѣ и тѣхъ захватилъ, а въ Новгородъ прислалъ Ивора и Чапоноса, вывелъ оттуда къ себѣ свою княгиню, дочь Мстислава (Удалаго). Послѣ этого послали къ нему Мануила Ягольчевича, съ послѣднимъ словомъ: „пойди въ свою отчину къ Св. Софіи; если же не хочешь пойти, то извѣсти насъ“, — Ярославъ же и тѣхъ не отпустилъ, а гостей новгородскихъ всѣхъ забралъ, и былъ въ Новѣгородѣ вопль и печаль.

Тогда же, Мстиславъ Мстиславичъ, услышавъ про эту бѣду, вѣхалъ въ Новгородъ въ 11-й день февраля, и захватилъ Хоту Григорьевича, намѣстника Ярославова,

и перековалъ всѣхъ дворнягъ; и вѣхалъ на Ярославовѣ дворѣ и цѣловалъ честный крестъ, а Новгородцы—ему цѣловали, чтобы (быть) съ нимъ вмѣстѣ и на жизнь, и на смерть: „либо взыщу мужей новгородскихъ и волости (новгородскія — сказалъ Мстиславъ), — либо голову положу за Новгородъ“... И послалъ кн. Мстиславъ съ Новгородцами, къ Ярославу, въ Торжокъ, по па Юрія (изъ церкви) св. Іоанна на Торговищѣ, и своего мужа съ нимъ отправилъ. „Сынъ мой“, (велѣлъ сказать Мстиславъ Ярославу): „клянись тебѣ; мужа моего и гостей отпусти, а самъ съ Торжка пойдѣ, а со мной примирись“. Князю же Ярославу было это нелюбю, онѣ отпустилъ по па безъ мира, а Новгородцевъ созвалъ на поле, за Торжкомъ, въ мясопустную субботу, всѣхъ мужей и купцевъ, и, перековавъ, похваталъ ихъ всѣхъ, послалъ по своимъ городамъ, а товары ихъ и коней роздалъ; а всѣхъ Новгородцевъ было тамъ болѣе 2000. — (Когда же) вѣсть о томъ пришла въ Новгородъ.... Князь Мстиславъ собралъ вѣче на Ярославовѣ дворѣ: „пойдемъ“, сказалъ онѣ, „поищемъ мужей своихъ, вашей братіи и волости своей; да не будетъ Новый Торгъ Новгородомъ, ни Новгородъ—Торжкомъ, а гдѣ Св. Софія, тутъ и Новгороду (быть); а и въ многомъ Богъ, и въ маломъ—Богъ и правда.

Въ лѣто 6724 (1216), мѣсяца марта въ 1-й день во вторникъ послѣ чистой недѣли, пошелъ князь Мстиславъ на зятя своего Ярослава съ Новгородцами, а въ четвергъ побѣжали къ Ярославу преступники кресту, которые цѣловали крестъ честный къ Мстиславу со всѣми Новгородцами, въ томъ, чтобы всѣмъ быть за одно: Владиславъ Завидичъ, Гаврила Игоревичъ, Юрій Алексиничъ, Гаврилецъ Милатиничъ, и съ женами, и съ дѣтьми. Мстиславъ же пошелъ Селигеромъ, и вошелъ въ свою волость, и сказалъ Новгородцамъ: „идите въ зажитіе, только головъ не захватывайте“; — пошли и запались кормомъ, и для себя, и для коней. — Ярославъ же пошелъ отъ Торжка, захвативъ съ собою старѣйшихъ мужей Новгородскихъ, и молодыхъ по выбору, а новоторжцевъ всѣхъ, и пришелъ къ Переяславу, и скопилъ волость свою всю, а Юрій свою, Владиміръ — также, и Святославъ — также, и вышелъ (Ярославъ) изъ Переяслава съ полками, и съ Новгородцами, и съ Ново-

торжцами, даже страшно и дивно было смотреть, братья! Пошли сыновья на отца, братъ на брата, рабъ на господина, господинъ на рабовъ! И сталъ Ярославъ и Юрій съ братьями на рѣкѣ Кѣ; Мстиславъ же и Константинъ, и два Владиміра, съ Новгородцами стали на рѣкѣ Липицѣ. И увидѣли они стоявшіе передъ ними полки и послали Ларіона сотскаго къ Юрію (сказать): „кланяемся тебѣ, нѣтъ у насъ съ тобою обиды, съ Ярославомъ у насъ обида“. Отвѣчалъ князь Юрій: „мы съ Ярославомъ братья“. И послали къ Ярославу сказать: „отпусти мужей нашихъ Новгородцевъ и Новоторжцевъ, возврати Волокъ, который захватилъ отъ нашей же Новгородской волости, помирись съ нами и крестъ намъ цѣлуй, а крови не будемъ проливать“. Отвѣчалъ (Ярославъ): „мира не хотимъ, а мужи (ваши) у меня; а вы видно далеко зашли - вышли какъ рыбы на сушу“. И сказалъ Ларіонъ ту рѣчь (князю Мстиславу и Новгородцамъ), и сказали Новгородцы: „князь, не хотимъ мы вымирать на коняхъ, но какъ отцы наши бились пѣшіе на Кулячскѣ (такъ и мы будемъ теперь биться)“; князь-же Мстиславъ былъ этому радъ. Новгородцы-же, спѣшившись и сбросивъ съ себя одежду, устремились (въ битву) босые, покидавъ съ себя сапоги; а Мстиславъ, вслѣдъ за ними, побѣхалъ на коняхъ. И сошлось войско новгородское съ Ярославовымъ войскомъ, и такъ, Божьею силою и помощью св. Софіи, одолѣлъ Мстиславъ, а Ярославъ и войско его обратилось въ бѣгство; Юрій-же стоялъ вмѣстѣ съ Константиномъ, и — увидѣвъ, что Ярославово войско побѣждало, мѣсяца апрѣля въ 21-е (число), на день св. Тимофея и Θεодора и Александры Царицы — не устоялъ. О, велика (была) побѣда, братья! Однихъ убитыхъ и связанныхъ такое множество, что и пересчитать трудно! — О, великъ, братья, промыслъ Божій! Въ той битвѣ воиновъ Юрьевыхъ и Ярославовыхъ пало безъ числа, а Новгородцевъ убили въ схваткѣ: — Дмитрія Псковитина, да Антона котельника, да Ивана Прибышнинича; а въ загонѣ, Ивана Попова, Семена Петриловича, терскаго данника. Пришелъ Мстиславъ въ Новгородъ, и радъ былъ владыка и всѣ Новгородцы. Тогда отняли посадничество у Юрія у Иванковича, и отдали Твердиславу Михалковичу. Въ лѣто 6726 (1218). Разнесся ложный

слухъ по городу, будто Твердиславъ выдалъ князю Матея (Душильевича). И звонили на той сторонѣ у св. Николы всю ночь, а въ Неревскомъ концѣ у 40 святыхъ, тоже скопля людей на Твердислава; а на слѣдующій день пустилъ князь Матея, предвидя голку (бунтъ) и мятежъ въ городѣ. И пошли съ той стороны всѣ, даже до дѣтей, въ бранияхъ, словно на войну, и Неревляне тоже; а Загородцы не пристали ни къ тѣмъ, ни къ другимъ. Твердиславъ-же, взглянувъ на св. Софію, сказалъ: „коли я виноватъ въ чемъ, такъ пусть я здѣсь-же и умру; а коли я правъ, такъ ты и оправдай меня. Господи!... И пошелъ съ Людинымъ концемъ и съ Прусами; и была сѣча у городскихъ воротъ, и побѣжали на ту сторону (Волхова). а другіе ночью и мостъ разломали; и переправились съ той стороны (граждане) на лодкахъ и пошли (на городъ, на кремль) силою. О, великое чудо проявилъ окаянный дьяволъ! Когда-бы слѣдовало имъ воевать съ погаными, тогда они начали биться между собою, и убили мужа съ прускаго конца, и на другомъ концѣ одного, а съ той стороны Ивана Душильевича, брата Матеева. а въ Неревскомъ концѣ Коснатина Прокшыннича и другихъ еще 6 человекъ; а раненыхъ много было съ обѣихъ сторонъ; случилось-же это мѣсяца генваря въ 27-е (число) на день св. Іоанна Златоустаго. И такъ вѣча длились цѣлую недѣлю; но дьяволъ былъ погранъ Богомъ и св. Софіею, и крестъ возвеличенъ: братья сошлись вмѣстѣ единодушно, и крестъ цѣловали; князь-же Святославъ прислалъ своего тысяцкаго на вѣче сказать: „не могу быть съ Твердиславомъ, и отнимаю отъ него посадничество“. Новгородцы сказали; „а въ чемъ-же его вина“? Онъ-же отвѣчалъ: „безъ вины“. Сказалъ Твердиславъ: „я радъ тому, что вины моей нѣтъ; а вы, братья, (вольны) и въ посадничествѣ и въ князьяхъ“. Новгородцы же отвѣчали: „князь, если нѣтъ его вины, то вѣдъ ты-же намъ крестъ цѣловалъ, что безъ вины никого оставлять не будешь; а тебѣ мы кланяемся, а это нашъ посадникъ; и этому мы не поддадимся“; и водворилось спокойствіе.

Въ лѣто 6725 (1220). Пришелъ князь Всеволодъ изъ Смоленска въ Торжокъ; дьяволъ-же не желая добра христіанскому роду, вмѣстѣ со злыми людьми, вложилъ князю грѣхъ въ

и, гнѣвъ на Твердислава, а безъ вины; шелъ въ Новгородъ, и поднялъ весь, замышляя убить Твердислава, а яславъ былъ боленъ, и пошелъ князь юдъ съ Городища, со всѣмъ дворомъ, окрутившись въ броню словно воепель, и прѣѣхалъ на Ярославовъ дворъ; лись Новгородцы къ нему, въ оружіи, ли полкомъ на княжескомъ дворѣ. яславъ-же былъ боленъ, и вывели его екахъ къ Борису и Глѣбу, и собрались него Прусы, и Людинъ конецъ, и Зацы, и стали около него полкомъ, расившись 5-ю отрядами; князь-же, увирады ихъ (и понявъ, что) они хотятъю постоять за себя, и не поѣхалъ на

нихъ, но прислалъ владыку Митрофана со всякими добрыми вѣстями; и свелъ ихъ владыка снова въ любовь, и крестъ цѣловали и князь, и Твердиславъ; такъ Богомъ и Св. Софією крестъ былъ возвеличенъ, и дьяволъ погранъ, а братья всѣ были за одно. Твердиславъ-же, помирившись съ княземъ, отказался отъ посадничества, такъ какъ былъ боленъ; и дали посадничество Иванку Дмитровичу; а (Твердиславъ) проболѣлъ семь недѣль, и разболѣлся еще больше, и утаившись отъ жены и дѣтей и всей братіи отправился къ св. Богородицѣ въ Аржашъ монастырь, и постригся тамъ въ 8 день февраля; тогда-же и жена его постриглась въ другомъ монастырѣ у св. Варвары.





IV.

Успѣхи образованности на Руси. Религіозное направленіе образованія. Первые попытки создать литературу свѣтскую: поученіе Мономаха и посланіе Данила Заточника.



Мы уже видѣли, что христіанство, принявшееся въ Россіи такъ легко, послужило, вмѣстѣ съ тѣмъ, источникомъ просвѣщенія для Россіи и дало первый толчокъ къ введенію у насъ грамотности. Грамотность нашла себѣ въ началѣ много благоприятныхъ условій къ распространенію. Къ числу этихъ условій, конечно, слѣдуетъ отнести постоянныя сношенія съ Византіей и тѣсныя связи наши съ Польшей и Венгріей, черезъ которыя къ намъ проникалъ не только латинскій языкъ, но даже и отголоски историческихъ событій, волновавшихъ Европу. А такъ какъ распространеніе грамотности шло рука-объ-руку съ распространеніемъ христіанства, то грамотность считалась необходимою для всякаго ревностнаго христіанина, потому что чтеніе книгъ могло утвердить его въ вѣрѣ и благочестіи. Отсюда, конечно, рождался взглядъ на грамотность и образованность, не какъ на средство для общаго развитія умственныхъ и душевныхъ способностей человека, а только, какъ на средство къ удовлетворенію потребностей благочестія. Вотъ почему грамотные

предки наши XI и XII столѣтія, собирая около себя довольно значительныя книгохранилища, читая и переписывая книги или переводя ихъ съ греческаго, исключительно ограничивались областью книгъ религіозныхъ и духовно-нравственныхъ и даже всему тому, что не имѣло прямого отношенія къ религіи, старались придать оттѣнокъ религіозный — все стремились поставить въ ту прямую, непосредственную зависимость отъ религіи, въ какую они ставили и первѣйшую изъ потребностей человека: — стремленіе къ грамотности, къ образованію. Эта сторона древне-русской жизни высказывается чрезвычайно рѣзко въ тѣхъ свѣдѣніяхъ, какія сохранились намъ у древнихъ летописцевъ нашихъ о первыхъ шагахъ просвѣщенія въ Россіи.

Сыновья и внуки Ярослава Мудраго изслѣдовали отъ него любовь къ распространенію грамотности и къ собиранію книгъ. Сынъ Ярослава, Святославъ, собралъ много книгъ, которыми „наполнилъ кѣѣти свои“¹⁾. Другой сынъ его, Всеволодъ, былъ извѣстенъ, какъ образованнѣйшій человекъ своего вре-

¹⁾ Изъ этихъ книгъ до нашего времени уцѣлѣли два сборника статей различнаго содержанія, извѣстные подъ названіемъ: «Изборникъ Святослава». См. выше, упоминаніе о нихъ на стр. 20—21.

ни; по свидѣтельству, сохраненному лѣто-
 ѡ, онъ зналъ пять языковъ, въ числѣ
 торыхъ, вѣроятно, должно разумѣть и гре-
 жій. Внуку Ярослава и сынъ Всеволода,
 монахъ, какъ видно изъ дошедшаго до
 ѡ сочиненія его, тоже отличался обшир-
 о религиозною начитанностью. Внуку Мо-
 аха, великій князь Михаилъ Юрьевичъ,
 греки и латины говорилъ ихъ язы-
 мъ, яко русскій. О Романѣ Ростисла-
 вѣ Смоленскомъ лѣтописецъ рассказыва-
 , что онъ прилагалъ особенную заботу къ
 ченію духовенства, и всѣ усилія устрем-
 гъ на устройство училищъ, въ которыхъ,
 кду прочимъ, нанятые имъ учителя обу-
 ии и греческому, и латинскому языку; на
 , издержалъ онъ все свое имѣніе, такъ
 о его, по смерти, не на что было и похор-
 нить и благодарные Смольняне погре-
 и его на свой счетъ. О Ярославѣ Вла-
 мировичѣ Галицкомъ говорится, что онъ
 лгъ иностранные языки и такъ много про-
 гъ книгъ, что могъ даже самъ „настав-
 ть правой вѣрѣ“, попуждалъ духовен-
 ю учить мирянъ, и опредѣлялъ монаховъ
 ителями въ училища, которыя содержа-
 сь на счетъ монастырскихъ доходовъ. ()
 инстантивъ Всеволодовичъ также говоритъ
 тописецъ, что онъ всѣхъ „умудрялъ ду-
 вными бесѣдами“, потому что часто и
 лжежно читалъ книги, которыхъ собралъ
 оло себя множество: однихъ греческихъ
 игъ было у него болѣе тысячи, изъ кото-
 ихъ большую часть онъ самъ купилъ, а нѣ-
 торую часть получилъ въ даръ отъ па-
 іарховъ. При дворѣ его даже постоян-
 жили приглашенные имъ изъ Греціи уче-
 ле греки. Но въ особенности характери-
 ющими то отдаленное время являются из-
 стія, сохранившіяся намъ о двухъ замѣча-
 льныхъ людяхъ XII-го столѣтія: Николаѣ
 ятославичѣ, князѣ черниговскомъ и Ев-
 осиніи Полоцкой, дочери князя полоцка-
 Георгія.

Николай Святоша, внукъ того Святослава
 рославича, который „наполнилъ клѣти свои
 игами“, отличался также, какъ и дѣдъ
 о, замѣчательною страстью къ книжному
 ѡвѣю и къ собиранію книгъ. Въ самомъ
 чалѣ XII вѣка, слѣдуя призванію своему,
 гъ постригся въ монахи въ киевонечер-
 охъ монастырь и свое богатое собраніе
 игъ принесть въ даръ обители, въ которой

явился однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ и сми-
 реннѣйшихъ иноковъ. Онъ исполнялъ на-
 равнѣ съ остальною братією всѣ обязанно-
 сти и несъ на себѣ всѣ труды простого мо-
 наха: такъ онъ былъ привратникомъ мона-
 стырскимъ, рубилъ дрова и носилъ воду, го-
 товилъ кушанье на братію; а казну свою
 онъ употреблялъ на украшеніе храма и на
 пополненіе своего книгохранилища.

Евфросинія Полоцкая, до поступленія сво-
 его въ монастырь носившая имя Предисла-
 вы, постригшись очень молодою, съ разрѣ-
 шенія епископа поселилась въ небольшой
 кельѣ, пристроенной къ Софійскому собору
 полоцкому, и вполне посвятила себя духов-
 ной дѣятельности; она занялась здѣсь спи-
 сываньемъ священныхъ книгъ, которыя от-
 давала въ продажу, а деньги, вырученные
 отъ продажи ихъ, раздавала нищимъ. Въ
 глубокой старости, Евфросинія совершила
 еще и другой подвигъ благочестія — отпра-
 вилась въ Св. Землю на поклоненіе Гробу
 Господню, подобно многимъ другимъ совре-
 менникамъ своимъ, такъ какъ въ это время
 путешествія русскихъ людей въ Св. Землю
 были явленіемъ очень обыкновеннымъ, и
 одинъ изъ современниковъ Евфросиніи, игу-
 менъ Даніилъ, оставившій намъ описаніе
 своего хожденія въ Іерусалимъ, говоритъ,
 что, одновременно съ нимъ, въ Іерусалимѣ
 было много киевлянъ и новгородцевъ. Не мѣ-
 шаешь замѣтить кстати, что, кромѣ хожденій
 въ Св. Землю для поклоненія Гробу Господ-
 ню, другою постоянною цѣлью путешествій
 русскихъ людей, въ теченіи всего древнѣй-
 шаго періода нашей исторіи—было хожденіе
 въ Грецію и на Аѳонъ, гдѣ русскіе иноки
 жилали по нѣскольку лѣтъ сряду, изучая
 уставы монастырскіе, переводя и списывая
 книги. Греческіе монастыри — Студійскій
 (Теодора Студита) и Іоанна Предтечи, слу-
 жили постоянными мѣстопробываніями рус-
 скихъ странниковъ.

Изъ всего вышеуказаннаго не трудно вы-
 яснить себѣ до какой степени сильно было
 въ XI и XII вв., религиозное вліяніе на умы
 образованнѣйшихъ русскихъ людей, до ка-
 кой степени главною, преобладающею цѣлью
 образованія и грамотности являлось жела-
 ніе утвердиться въ вѣрѣ и просвѣтитъ свой
 умъ съ точки зрѣнія исключительно рели-
 гіозной. Понятно, что, вслѣдствіе такого
 преобладающаго вліянія, свѣтская литерату-

ра не могла широко развиться въ русскую обществѣ XI и XII вѣка, и что первые попытки свѣтской литературы должны были неизбежно носить на себѣ отпечатокъ сильнаго вліянія религіознаго. Такъ однимъ изъ первыхъ памятниковъ нашей свѣтской литературы является „Поученіе Владиміра Мономаха“, написанное имъ для дѣтей, но образу поученій духовенства къ паствѣ. Такого рода поученія, подъ названіемъ „наставленій отца къ сыну“ или „наказанія отца дѣтямъ“ являлись всюду—и у насъ, и въ Греціи, и на Западѣ—первыми попытками свѣтской литературы, когда она начинала отдѣляться отъ литературы духовной, но еще ничего не могла создать самостоятельнаго, а только подражала тѣмъ образцамъ, какіе представлялись ей въ литературѣ духовной. Въ одномъ изъ двухъ „Изборниковъ Святослава“ (1076 г.), составленномъ изъ статей религіозно-нравственнаго содержанія, даже и находимъ одинъ изъ образцовъ подобнаго рода поученій, а именно „Поученіе дѣтямъ Ксенофонта и Теодора“, которое могло быть извѣстно Владиміру Мономаху и, слѣдовательно, до нѣкоторой степени, могло послужить образцомъ для внѣшней формы его поученій. Мономахъ,—одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, и притомъ проникательный и мудрый правитель, подавляющій своею величавою личностью всѣхъ современныхъ ему князей,—очевидно, не могъ не углубляться въ размышленія о томъ тягостномъ положеніи, въ которомъ находилось русское общество его времени. Его тревожила и мысль объ участи Русской земли, которую онъ такъ любилъ и за которую столько понесъ трудовъ и, ближайшимъ образомъ, участь собственныхъ дѣтей его, которымъ суждено было, послѣ его смерти, править землею, терзаемою и сокрушаемою усобицами. При этомъ, Владиміръ Мономахъ не могъ не сознавать и того, какъ важно было его собственное значеніе для современниковъ и какъ много было имъ сдѣлано для дорогаго отечества, которое было столь многимъ обязано его мужеству и неутомимой дѣятельности. Стоить припомнить хотя бы только то, что сдѣлано было Владиміромъ на защиту Русской земли отъ нашествія дикихъ степныхъ ордъ: онъ самъ говоритъ о себѣ, что въ теченіе 13-ти лѣтъ ему пришлось со-

вернуть 83 большихъ похода, а меньшихъ онъ и не припомнить; что въ теченіе того же времени онъ заключилъ девятнадцать мировъ съ половецкими князьями, лучшихъ князей ихъ заключилъ и потомъ выпустилъ изъ оковъ 109, да побилъ болѣе 200. Сознаніе необходимости такой неутомимой службы землѣ Русской побудило его написать поученіе дѣтямъ, въ которомъ онъ указываетъ имъ на себя, какъ на живой примѣръ, вовсе не изъ желанія похвалять себя, а потому что онъ, какъ практическій русскій человекъ, не могъ не сознавать того, что примѣръ лучше всего способенъ подѣйствовать на людей.

Самое поученіе Мономаха, которое мы даже приведемъ цѣликомъ, рисуетъ намъ очень живо и понятія передоваго русскаго дѣятеля въ XII вѣкѣ, и образъ мыслей его, и образъ жизни князя. Особенно пріятно должно поражать каждого въ этомъ поученіи то, что Мономахъ, человекъ энергическій и неутомимо-дѣятельный, является такимъ же точно и въ своемъ благочестіи, которое, подобно Теодосію Печерскому, онъ не ограничиваетъ однимъ внѣшнимъ исполненіемъ обрядовъ и молитвами, но ставитъ въ обязанность каждому вѣрующему дѣятельность христіанскую—дѣла милосердія и любви. Точно также не могутъ не удивлять даже и въ настоящее время понятія Мономаха объ отношеніи къ ближнимъ и особенно къ тѣмъ, которые по общественному положенію своему поставлены ниже насъ. Въ заключеніе, прежде нежели перейдемъ къ изложенію самаго поученія Мономахова, отмѣтимъ одну черту древняго нашего княжескаго быта, которая можетъ въ настоящее время показаться не совсѣмъ понятною. Мономахъ, рассказывая дѣтямъ о своей неутомимой дѣятельности на защиту Русской земли отъ иноплеменниковъ, радостъ съ походами на Половцевъ, указываетъ и на свои „ловы“, т. е. на охоты, какъ на рядъ замѣчательныхъ подвиговъ. Одинъ изъ нашихъ ученыхъ совершенно вѣрно замѣчаетъ по этому поводу, что „охота была тогда не праздною забавою, не тратою времени, а дѣйствительно спасительнымъ подвигомъ. Она поражала не мирныхъ, безвредныхъ животныхъ, а свирѣпыхъ, или же доставляла полезныхъ животныхъ человеку. Можно представить, какіе множества дикихъ

звѣрей наполнены были тогда непроходимые лѣса и обширныя степи русскія“. Очевидно, что охота вызывалась необходимостью, и что, потому самому, Мономахъ, много разъ подвергавшій опасности жизнь, совершая „ловы свои“, могъ смѣло поставить ихъ въ число подвиговъ. Переходимъ къ самому поученію.

Въ самомъ началѣ его, Мономахъ объявляетъ о поводѣ, по которому написалъ свое поученіе. Едва только успѣли окончиться усобицы съ однимъ изъ князей русскихъ, едва удалось ему примирить князей на общемъ съѣздѣ, какъ на пути своемъ въ Ростовскую область, — по его собственному выраженію „на далечи пути, на саняхъ съѣдъ“ (т.-е. во время зимняго перехода по Волгѣ, въ 1099 г.), онъ уже былъ встрѣченъ посольствомъ отъ двоюродныхъ братьевъ своихъ, которые звали его вмѣстѣ съ собою воевать Ростиславичей Галицкихъ, отказывавшихся отъ исполненія общаго княжескаго приговора, положеннаго на съѣздѣ. Двоюродные братья велѣли сказать Мономаху: „ступай скорѣе къ намъ, прогонимъ Ростиславичей и власть у нихъ отнимемъ; если же не пойдешь съ нами, то мы сами по себѣ, а ты самъ по себѣ“. Мономахъ велѣлъ передать имъ: „сердитесь, сколько хотите, не могу съ вами идти и преступитъ крестное цѣлованіе“. Угроза братьевъ, разединившись съ нимъ, сильно опечалила Мономаха; въ этой печали онъ разогнулъ Псалтирь и попалъ на мѣсто: „вскую печалуюсь, душе? Вскую смущаешъ мя?“ Нельзя не обратить особеннаго вниманія на то весьма важное и любопытное обстоятельство, что у Владиміра Мономаха, даже и „на далечи пути, на саняхъ“ была захвачена книга, любимая книга благочестиваго древне-русскаго читателя, — что онъ въ книгѣ искалъ себѣ утѣшенія! ¹⁾ Утѣшенный псалмомъ, Мономахъ рѣшился написать поученіе дѣтямъ, въ которомъ главною мыслью является стремленіе оградить ихъ отъ возможности свращенія съ пути истиннаго для чего онъ и даетъ имъ рядъ нравственныхъ правилъ и наставленій о томъ, какъ

именно слѣдуетъ жить христіанину, въ особенности увѣщевая полагаться на Бога, который не дастъ погибнуть человѣку, творящему волю Его.

„Дьяволъ, врагъ нашъ“, — такъ пишетъ Мономахъ въ началѣ своего поученія — „побѣждается тремя добрыми дѣлами: покаяніемъ, слезами и милостынею. Бога ради, не дѣнитесь, дѣти мои, не забывайте этихъ трехъ дѣлъ; вѣдь они не тяжки: — это не то, что отшельничество, или чернечество, или голодъ, какъ терпятъ нѣкоторые добродѣтельные люди; а (между тѣмъ) такимъ малымъ дѣломъ можете вы получить милость Божию... Послушайте же меня и если не все (изъ того, чему я насъ поучаю) примете, то (хоть) половину. Просите Бога о прощеніи грѣховъ со слезами, и не только въ церкви дѣлайте это... но и ложась спать. Не забывайте ни одну ночь класть земные поклоны, если можете; если же занеможете, то хоть трижды поклонитесь: этими ночными поклонами и пѣніемъ, человѣкъ побѣждаетъ дьявола и получаетъ прощеніе дневныхъ грѣховъ своихъ. Даже и на конѣ сидя, если ни съ кѣмъ не разговариваете, то чѣмъ думать бездѣлницу, (лучше) повторяйте постоянно въ умѣ: „Господи помилуй!“ если ужъ другихъ молитвъ не знаете: — эта молитва лучше всѣхъ. Богъ же всего не забываетъ убогихъ, и сколько можете, по силѣ, кормите ихъ; больше другихъ подавайте сиротѣ, и сами оправдывайте вдовъ, не позволяя сильнымъ погубить человѣка. Ни правяго, ни виноватаго (ни сами) не убивайте, (ни другимъ) не приказывайте убивать. Въ разговорѣ — чтобы вы ни говорили: доброе или злое — не клянитесь Богомъ, не креститесь: нѣтъ въ этомъ никакой нужды; когда придется вамъ цѣловать крестъ (по отношенію) къ братьѣ или къ другому кому, то цѣлуйте подумавши, можете ли сдержатъ клятву, и, поцѣловавши, остерегайтесь, какъ бы не погубить души своей, преступивъ крестное цѣлованіе). Съ любовью принимайте благословеніе отъ епископовъ, поповъ и игуменовъ, не устраняйтесь отъ нихъ, по силѣ любите и снабжайте ихъ: пусть молятся за

¹⁾ Какъ Вл. Мономахъ заглядывалъ въ псалтирь, ища утѣшенія въ скорби, такъ другія современники его заглядывали въ ту же книгу, загадывая о будущемъ; какъ тотъ, такъ и другой фактъ, съ разныхъ сторонъ, но одинаково свидѣтельствуютъ о большой распространенности этой книги и о важности ея значенія въ средѣ русскихъ грамотныхъ людей XI—XII вв.

насъ Богу. Пуще всего не имѣйте гордости въ сердцѣ и умѣ, но скажемъ такъ:—всѣ мы смертны—нынѣ живы, а завтра во гробѣ; и все то, что Ты, Господи, далъ намъ, — не наше, а Твое, порученное намъ, на малое число дней“. Въ землю же ничего не зарывайте: это большой грѣхъ. Старыхъ чти, какъ отца; молодыхъ, какъ братьевъ. Въ домѣ своемъ не лѣнитесь; но за всѣмъ присматривайте сами; не надѣйтесь ни на тиун¹⁾, ни на отрока²⁾, чтобы гости не посмѣялись надъ домомъ вашимъ, ни надъ обѣдомъ. Вышедши на войну, также не лѣнитесь; не надѣйтесь на воеводу; питью, ѣдѣ, снанию не предавайтесь въ излишествѣ, сторожей сами наряжайте; когда же всѣмъ распорядитесь, ложитесь и сами между воиновъ, но вставайте рано; оружія же съ себя не снимайте, — въ поспѣхахъ, не разглядѣвши (ночью), человѣкъ часто погибаетъ отъ лѣности своей. Остерегайтесь лжи и пьянства: въ этихъ порокахъ душа и тѣло погибаетъ. Если случится вамъ ѣхать куда, по своимъ дѣламъ, то не давайте отрокамъ обижать жителей, ни своихъ, ни чужихъ, чтобы послѣ васъ не проклинали. На дорогѣ или гдѣ остановитесь, напоите, накормите нищаго; особенно же чтите гостя, откуда бы онъ къ вамъ ни пришелъ,—простой-ли, знатный-ли человѣкъ, или посолъ; если не можете одарить его чѣмъ инымъ, то угостите хорошенько:—странствуя, они-то и разносятъ добрую или худую славу о человѣкѣ. Больного навѣстите и къ мертвому ступайте, потому что всѣ мы смертны; и никого не пропустите мимо себя, неопривѣтствовавши: всякому скажите доброе слово. Жень своихъ любите, но не давайте имъ надъ собою власти. Что знаете добраго, того не забывайте, а чего еще не знаете, тому учитесь; не лѣнитесь ни на что доброе. Прежде всего (не лѣнитесь по отношенію) къ церкви: солнце не должно застать васъ на постели. Такъ дѣлалъ блаженной памяти отецъ мой и всѣ добрые люди: за утренней воздавалъ хвалу Богу; когда потомъ видѣлъ восходящее солнце, прославлялъ Бога съ радостью (приведены слова молитвы). (Затѣмъ слѣдуетъ) сѣсть думать (т.-е. совѣ-

щаться) съ дружиною, или людей разбирать судомъ, или на ловъ отправиться, или (по другому дѣлу) ѣхать, или лечь спать: спать въ полдень присуждено отъ Бога — ибо искони почиваетъ въ это время и звѣрь, и птица, и человѣкъ. А вотъ теперь разскажу вамъ, дѣти мои, о трудахъ моихъ, и о моихъ походахъ и ловахъ, въ теченіи 13 лѣтъ.

(Затѣмъ, перечисляются походы и опасности, которымъ подвергался Владиміръ Мономахъ во время своихъ охотъ). И Богъ сохранилъ меня невредимаго, хотя я и съ коня много разъ падалъ, и голову себѣ разбилъ дважды, и руки, и ноги не разъ повреждалъ себѣ, не пада ни головы своей, ни жизни. И то, что слѣдовало бы сдѣлать моему отроку, то дѣлалъ я самъ, и на войнѣ, и во время лововъ, ночью и днемъ, на зноѣ и холоду, не давая себѣ покоя, не обращая вниманія ни на посадниковъ, ни на биричей³⁾, дѣлалъ самъ все необходимое, соблюдая порядокъ и въ дому своемъ, и ловчими завѣдывая самъ, и конюхами, и о соколахъ, и о ястребахъ (прилагая заботу). Въ то же время и простаго человѣка, и убогой вдовицы не давалъ въ обиду сильнымъ, и за церковнымъ порядкомъ и службами успѣвалъ присматривать самъ. Не подумайте, дѣти мои, или другой кто, читая это, чтобы я хвалилъ себя или выставлялъ смѣлость свою; я только восхваляю Бога и прославляю Его милость за то, что онъ меня грѣшнаго и худаго, въ теченіи столькихъ лѣтъ уберегъ отъ смерти, и сотворилъ меня не лѣнивымъ, и годнымъ на всѣ человѣческія дѣла. Желаю только того, чтобы, прочитавши эту грамотку, вы бы устремились на всѣ добрыя дѣла, прославляя Бога и святыхъ Его. Не бойтесь, дѣти, смерти, ни на войнѣ, ни отъ звѣря, но, съ помощію Божіею, смѣло дѣлайте свое дѣло, какъ надлежитъ мужчинамъ. Коли не будетъ на то воли Божіей, то, подобно мнѣ, никто изъ васъ не можетъ погибнуть ни отъ воды, ни на войнѣ, ни отъ звѣря; а ежели отъ Бога будетъ (назначена вамъ) смерть, то ни отецъ, ни мать, ни братья не въ силахъ будутъ васъ отъ нея избавить“.

¹⁾ Тиунъ—управитель. ²⁾ Отрокъ—слуга. ³⁾ Биричъ — лицо, облеченное властью исполнительною; иногда биричи бывали глашатаями

Выше мы уже упоминали о замѣчательной начитанности Мономаха, которая видна изъ его „Поученія“, хотя мы и выпустили изъ этого памятника всѣ общія мѣста, занимаемыя имъ изъ книгъ Св. Писанія и Отцевъ Церкви, служащія доказательствомъ этой начитанности, оставивъ только самую сущность, наиболѣе рисующую намъ понятія одного изъ знаменитѣйшихъ русскихъ дѣятелей XII вѣка. Не слѣдуетъ, однакоже, разумѣть подъ этой начитанностью — начитанность въ новѣйшемъ значеніи этого слова. Книгъ было не много въ обращеніи; книги были дороги; навѣкъ къ быстрому чтенію не могъ быть значителенъ, да притомъ же и досугъ читателя-мирянина (хотя бы и князя) былъ далеко не настолько обширенъ и обезпеченъ, чтобы онъ могъ предаваться чтенію разнообразному и многостороннему „Читать книгу“ — по понятіямъ нашихъ предковъ XI—XII вѣка и даже гораздо болѣе поздняго времени — значило тоже, что „изучать“ книгу; прочесть книгу — значило перечесть ее много и много разъ, съ начала до конца и съ конца до начала, до полной возможности изустнаго, на память, цитированія отдѣльных мѣстъ и цѣлыхъ страницъ. Выборъ и кругъ чтенія даже и наиболѣе образованныхъ, наиболѣе состоятельныхъ людей былъ чрезвычайно ограниченъ: не слѣдуетъ забывать, что и самое Св. Писаніе въ ту пору еще не было доступно русскому читателю въ полномъ своемъ составѣ, ибо многія изъ книгъ Ветхаго Завета еще не были переведены съ греческаго на русскій языкъ и не были собраны въ общіе своды. Но за то въ число книгъ, занесенныхъ къ намъ очень рано изъ Византіи были тѣ изборники, о которыхъ мы уже упоминали выше (см. стр. 20—21), и которые, рядомъ съ поученіями и толкованіями Св. Писанія, заключали въ себѣ порядочный запасъ другого, чисто-литературнаго и отчасти даже научнаго матеріала — запасъ, болѣе, чѣмъ удовлетворительный, если принять въ соображеніе потребности и понятія современнаго русскаго читателя. Такъ напр. въ Шестодневѣ Іоанна, Экзарха болгарскаго, русскій читатель находилъ мѣста, заимствованныя изъ греческихъ философовъ Платона и Аристотеля, указанія на Фалеса, Парменида и Демокрита, а при объясненіи Моисеева сказанія о сотвореніи

міра — подробныя разсужденія о четырехъ основныхъ стихіяхъ міра (согласно современному научному воззрѣнію). Въ „Златой Матицѣ“ — тотъ-же читатель встрѣчалъ статью о кругахъ земномъ, лунномъ и солнечномъ, о звѣздахъ и планетахъ; въ „Изборникѣ Святослава“ (1073 г.) — рядомъ съ поученіемъ о злой женѣ — сказаніе Епифанія о 12 камняхъ въ одеждѣ первосвященника, діалектическіе и риторическіе отрывки и краткій лѣтописецъ событій отъ временъ императора Августа до временъ Константина. Но болѣе всего живыми и полезными для образованія русскихъ читателей являлись въ числѣ изборниковъ такъ называемыя „Пчелы“. „Пчелы“ представляли собою чрезвычайно пеструю смѣсь преимущественно краткихъ изреченій, заимствованныхъ изъ Св. Писанія, изъ Отцевъ Церкви и изъ древнихъ классическихъ писателей. Изреченія эти касались самыхъ разнообразныхъ предметовъ нравственныхъ, и въ смыслѣ отвлеченной философской морали, и въ примѣненіи къ различнымъ случаямъ обыденной жизни. Изреченія въ „Пчелахъ“ собирались въ отдѣльныя главы, по предметамъ, напр. такъ: — „о мудрости“, „о чистотѣ и цѣломудріи“, „о мужествѣ и крѣпости“ — „о дружбѣ и братолюбіи“, „о власти и княженіи“ и т. д. Изъ книгъ Св. Писанія, конечно, наиболѣе удобными для подобнаго рода выписокъ оказывались такіа книги какъ „Притчи“, „Екклесіастъ“ и кн. премудрости, сына Сирахова; а изъ древнихъ писателей составители „Пчелъ“ почерпали широко и обильно, безъ особаго плана и соображеній, одинаково охотно заимствуя изреченія изъ Эврипида и Плутарха, изъ Катона и Платона, изъ Эпикура и Менандра. Принимая въ соображеніи именно эту отрывочность и разнообразіе содержанія Пчелъ, которыя являлись единственнымъ образцомъ чтенія назидательнаго, и въ то-же время занимательнаго и легкаго, мы понимаемъ, почему Пчелы такъ нравились нашимъ читателямъ XI и XII вѣка, и почему распространялись въ такомъ множествѣ списковъ. Мало того: переписчики вѣроятно уже очень рано стали вносить въ основную редакцію Пчелъ плоды русской народной мудрости — пословицы и притчи — точно также, какъ и наоборотъ: всѣ изреченія, входившія въ составъ Пчелъ, сами легко обращались въ

пословицы. Отъ такого рода работы былъ не труденъ переходъ и къ труду болѣе самостоятельному—къ подражанію приемамъ „Пчелы“, къ воспроизведеніямъ въ томъ-же легкомъ и назидательномъ родѣ, къ примѣненію книжной морали, сообразно съ обстоятельствами. И дѣйствительно, отъ XII вѣка дошло къ намъ именно такое произведеніе. „Посланіе Даниїла Заточника“¹⁾, почти сплошь составленное изъ выписокъ, заимствованныхъ большею частью изъ „Притчей Соломоновыхъ“ и книги „Премудрости Иисуса сына Сирахова“. Выписки эти очень ловко сопоставлены въ „Посланіи Даниїла Заточника“ съ русскими пословицами, съ намеками на современные историческія обстоятельства и на событія, имѣющія интересъ чисто авто-біографическій.

Изъ самаго произведенія нѣтъ возможности догадаться о томъ, кто былъ Даниїлъ, ни даже о томъ, къ кому именно обращается онъ въ своемъ умиловительномъ посланіи. Изъ этого посланія видно только то, что какой-то Даниїлъ, человекъ, по видимому, еще не старый, неизвѣстно какого происхожденія и званія, состоялъ сначала въ близкихъ отношеніяхъ къ одному изъ современныхъ ему князей, но потомъ прогнѣвалъ князя, и былъ, по его велѣнію, заточенъ на озерѣ Лаче (въ нынѣшней Олонецкой губерніи). Даниїлъ Заточникъ, нигдѣ въ посланіи своемъ, не проговаривается о томъ, за какую именно вину онъ былъ посланъ княземъ въ заточенье; однако-же, по рѣзкимъ выходкамъ его противъ женщинъ и приближенныхъ къ князю бояръ, можно предполагать, что онъ приписывалъ свое несчастіе ихъ наговорамъ. Ученые наши думаютъ, что князь, упоминаемый въ посланіи Даниїла, есть или Юрій Владиміровичъ Долгорукій, сынъ Мономаха, или Ярославъ Владиміровичъ, правнукъ Мономаха. Незвѣстно также и то обстоятельство, удалось ли Даниїлу доставить посланіе свое въ руки князя и имъ заслужить себѣ помилованіе, хотя и видно, что посланіе Даниїла очень понравилось русскимъ грамотнымъ людямъ кудреватостью своего слога, и, въ послѣдующіе вѣка, много разъ переписывалось, передѣлывалось или даже примѣнялось къ подобнымъ же обстоятельствамъ.

Въ самомъ началѣ своего посланія, а также и въ концѣ его, Даниїлъ выражаетъ довольно ясно высокое мнѣніе о своемъ умѣ и мудрости, почерпнутой имъ изъ книгъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, съ особенною злобою и пренебреженіемъ высказывается онъ противъ людей глупыхъ и неразумныхъ, которымъ, очевидно, противопоставляетъ себя, стараясь, однакоже, всему произведенію своему придать форму иносказательную, изложить его въ видѣ цѣлаго ряда притчей.

„Вострубимъ, братія, какъ бы въ златокованныя трубы, въ разумъ ума своего, и начнемъ бить въ серебряныя органы, и возвѣмъ мудрости свои“—такъ начинается свое „Посланіе“ Даниїлъ Заточникъ. „Не возри на меня, князь господинъ“, продолжаетъ онъ, обращаясь къ князю, „какъ волкъ на агнеца; возри на меня, господинъ мой, какъ мать на младенца. Взгляни, господинъ, на небесныхъ птицъ, которыя не орутъ, не сѣютъ, и въ житницы не собираютъ, а надѣются на милость Божію: такъ точно и мы, князь господинъ“, желаемъ твоей милости; потому, господинъ, кому — Боголюбово, а мнѣ — горе лютое; кому — Лачь-озеро, а мнѣ — сидящему при немъ — плачь горькій; кому — Новгородъ; а у меня — угли опали (т. е. у жилья). Потому то и изываю къ тебѣ, князь господинъ, одолѣваемый нищетою, помилуй меня, не дай мнѣ вспахаться, какъ Адаму въ раю. Избавь меня отъ этой нищеты, какъ серну отъ тещи, какъ птицу отъ западни, какъ утку отъ коптей носящагося надъ ней ястреба, какъ овцу отъ пасти львиной. Я, князь-господинъ, словно дерево придорожное: многіе порубаютъ его и мечутъ въ огонь; такъ точно и меня всѣ обижаютъ, такъ какъ я огражденъ страхомъ твоего гнѣва. Въ печали человекъ утѣшиться не то же-ли, что жадущаго, въ знойный день, напоить студеною водою? И птица вѣдь радуется веснѣ, какъ младенецъ матери, — такъ и я, князь, радуюсь твоей милости; ибо какъ весна украшаетъ землю цвѣтами, такъ и ты, князь-господинъ, оживляешь всѣхъ своею милостью, и сиротъ, и вдовъ, угнетаемыхъ вельможами. Но въ то время, какъ ты будешь наслаждаться многими кушаньями, то вспомни, что я ѣмъ одинъ сухой хлѣбъ, а когда ста-

¹⁾ Заточникъ — т. е. заточенный, заключенный, посаженный въ заточеніе.

нешь пить сладкое питье, то вспомни, что я принужденъ пить одну теплую воду, въ которую вѣтромъ нанесло всякій соръ. Когда же ляжешь на мягкія перны, подь собою одѣяло, то вспомни, что я здѣсь лежу подь однимъ платомъ, и умираю отъ стужи, и что дождевыя капли, словно стрѣлы, пронизываютъ меня (холодомъ) до самого сердца. Князь щедрый, какъ рѣка съ пологими берегами, текущая сѣвостъ дубравы, и наполняющая не только людей, но и скотъ, и всѣхъ звѣрей; а князь скупой не тоже ли, что рѣка, текущая между высокими каменистыми берегами: нельзя никому ни пить, ни коня напоить¹⁾.

За этими напominаніями князю о бѣдственномъ своемъ положеніи, въ „Посланіи“ Данила, слѣдуетъ цѣлый рядъ сравненій богатаго несмысленнаго человѣка съ убогимъ, но мудрымъ, которому конечно Даниилъ и отдаетъ предпочтеніе. За этими сравненіями видимъ въ Посланіи множество самыхъ рѣзкихъ выходовъ противъ женщинъ и противъ злыхъ бояръ, окружающихъ князя. Даниилъ очень ловко и уклончиво старается на нихъ свалить вину въ томъ злѣ, которое иногда дѣлаютъ князья людямъ, и только намекаетъ на то, что князю настолько же не слѣдуетъ слушаться ихъ, насколько и жены своей. „Не море топить корабли“, — замѣчаетъ по этому поводу Даниилъ, — „но вѣтры; и не огонь раскаляетъ желѣзо, а вздыманіе мѣховъ: такъ точно и князь не самъ впадаетъ во многія дурныя дѣла, а думцы (со-вѣтники) его въ нихъ вводятъ. Вѣдь съ добрымъ-то думцею князь додумается до высокаго престола, а съ злымъ думцею можетъ даже и малаго престола лишиться“.

Посланіе заканчивается слѣдующимъ обращеніемъ къ князю, которому Даниилъ старается поставить на видъ свои достоинства: „Господи мой! Не зриай на мою внѣшность, а внутрь меня загляни: я скуденъ одѣяніемъ, но обилёнъ разумомъ; юнъ лѣтами, но старъ смысломъ; мысль моя подобна орлу, парящему въ воздухѣ. Поставь сосуды скудельничьи подь влагу, каплящую съ языка моего, дабы уста мои надѣлили тебя словами, боже сладкими, нежели самый медъ... Я не ходилъ за море, не учился у философовъ, но уподобился пчелѣ, принадлежащей къ различнымъ цвѣтамъ и собираю-

щей съ нихъ медвяный сотъ; такъ точно и я, изъ многихъ книгъ, собирая разумъ и словесную сладость, собралъ (все это), какъ воду морскую въ мѣхъ (собирають), и не отъ своего разума (все это написалъ), а по Божьему промыслу“.

Вліаніе, оказанное Пчелами на автора, Посланія едва-ли можетъ быть отрицаемо. А что подобныя вліанія, подобныя сопоставленія книжнаго матеріала съ современною жизнью, подобныя внесенія чертъ современнаго быта даже въ поученія — были возможны уже и въ то отдаленное время, въ этомъ насъ убѣждаютъ факты, хотя и отдѣльные и разрозненные, но вѣроятно не единичные. Такъ напр., въ одномъ изъ сборниковъ, (составленныхъ до 1200 г.) современныхъ Посланію, заключающемъ въ себѣ произведенія Іоанна Златоустаго, Василія Великаго, Ефрема Сирина и т. д., находимъ между прочимъ часть слова „о богатомъ и убогомъ“, въ которой, очевидно, въ описаніе обстановки и быта богача внесены современные русскія черты XII вѣка.

.... „Богато жилъ онъ на землѣ“ — называется въ этомъ словѣ о богатѣ — „ходилъ въ багрецѣ и въ паволокахъ; кони его были тучны; ѣздилъ онъ на иноходцахъ... въ сѣдлахъ позложенныхъ; а впереди его шли многіе рабы, съ золотыми гривнами на шеѣ, а другіе — позади, въ монистахъ и обручачъ — и шествовалъ онъ въ великой славѣ. И за объѣдомъ его велика была служба: сосуды, окованные серебромъ и золотомъ, кушаній много, и различныхъ — тетери и гуси, журавля и рябчики, голуби и куры, зайцы и олени, вепри и дичина всякая. И многіе работали и трудились въ поту лица надъ приготовленіемъ кушаній... И многіе носили блюда на перстахъ, а другіе (стоя за столомъ) съ боязнью обмахивали сидящихъ... А на столѣ стояли и чаши великія серебряныя позолоченныя, и кубки, и котлы, и питія многія, медъ и квасъ, вино, медъ чистый и пряный... А питія обносились подь звуки гусель и свирѣлей. И веселія за столомъ было у него много: кругомъ него ласкатели и празднословцы, и смѣхословцы — плясанія и мерзости, вопли и пѣсни. А вотъ ужъ и постель ему послана; легъ онъ на перны паволочитыя¹⁾, и не можетъ уснуть — а друзья-

¹⁾ Сшитыя изъ паволоковъ, т. е. дорогихъ матерій.

то его и ноги ему гладят, и по лядвямъ его похлопываютъ, и плечи ему чешутъ; одни на гудкахъ передъ нимъ играютъ, а другіе сказки ему сказываютъ“...

Живыя черты русской современности ярко выступаютъ здѣсь на общемъ фонѣ картинъ, заимствованной, можетъ быть, изъ византий-

скаго быта, и указываютъ на то, что въ концѣ XI и началѣ XII вѣка уже начала у насъ проявляться та живая, непосредственная связь между отвлеченнымъ содержаніемъ книги и дѣйствительностью, — связь, на которую у всѣхъ народовъ историческихъ опираются зачатки свѣтской, мірской литературы.





V.

Свѣтская литература въ XI вѣкѣ. — Слово о полку Игоревѣ, какъ памятникъ дружиннаго эноса.



Большое преобладаніе религіознаго направленія въ русской литературѣ XI и XII столѣтія не помѣшало появленію, въ началѣ XII вѣка, весьма замѣчательныхъ попытокъ созданія свѣтской литературы. Хотя попытки эти основываются еще на подражаніи тѣмъ литературнымъ формамъ, которыя были заимствованы нашими духовными писателями изъ Византіи; хотя и въ самомъ духѣ одного изъ этихъ памятниковъ (Поученіе Вл. Мономаха) замѣтно сильное и непосредственное вліяніе духовной литературы, однако же для насъ уже очень важенъ тотъ фактъ, что и Мономахъ, авторъ „Поученія“, и Даніилъ Заточникъ, авторъ извѣстнаго „Слова“, оба были міряне, не принадлежавшіе къ духовному сословію ¹⁾. Изъ этого видно, что въ обществѣ (т.-е. въ верхнихъ грамотныхъ слояхъ его) пробуждалось уже сознаніе частныхъ потребностей отдѣльной личности и цѣлаго сословія, немѣющее ничего общаго съ нѣсколько-отвлеченными стремленіями литературы духовной. Духовенство, въ литературѣ, болѣе занималось общими сторонами человѣческими, или же исключительно-религіозными, догматиче-

скими вопросами; оно отвергало все земное и, увлекаясь идеальными стремленіями къ христіанскому совершенствованію, мало способно было вникать въ потребности современнаго русскаго общества. А между тѣмъ, въ концѣ XI и началѣ XII вѣка жизнь общественная стала уже очень громко заявлять о своихъ потребностяхъ, стала открыто выказывать свои несовершенства,—и въ двухъ первыхъ попыткахъ нашей свѣтской литературы, въ „Поученіи Мономаха“ и въ „Словѣ“ Заточника, мы уже сталкиваемся съ живымъ, опредѣленнымъ и практическимъ пониманіемъ потребностей современнаго общества, съ вѣрнымъ опредѣленіемъ его недостатковъ и даже съ весьма ѣдкимъ порицаніемъ ихъ. Но какъ же складывалась эта современная жизнь? Какіе интересы преобладали въ ней? Какіе пороки и достоинства современнаго русскаго человѣка особенно должны были сосредоточивать на себѣ вниманіе людей развитыхъ и грамотныхъ, стоявшихъ во главѣ общества?

Въ этомъ періодѣ нашей исторической жизни, которому такъ мѣтко придано было наименованіе удѣльно-вѣчеваго, мы видимъ

¹⁾ Одна изъ древнихъ лѣтописей нашихъ, въ началѣ XIII вѣка, упоминаетъ еще о какомъ-то „премудромъ книжникѣ Тимофѣ“, родомъ изъ Кіева, который въ видѣ притчей, излагалъ нападки свои на Бенедикта, воеводу короля галицкаго Андрея, мучившаго бояръ и гражданъ.

два главных элемента общественной жизни: съ одной стороны — князя и окружающую его дружину, съ другой — массу народа. Значение обоих этих элементов, конечно, не может быть ни въ какомъ случаѣ названо равносильнымъ, равнозначущимъ. Масса народа, — неразвитая, на половину еще преданная язычеству, погруженная, какъ и всегда, въ обыденные интересы и заботы своего незатѣйливаго существованія, сильно страдавшая отъ княжескихъ междоусобій и неурядицъ — была конечно мало способна относиться сознательно къ своей жизни или задаваться какими бы то ни было идеальными стремленіями. Масса эта была исключительно предана заботамъ объ охранѣ своего простаго, трудового быта отъ опасностей, грозившихъ ему отовсюду: въ минуты отдыха и досуга фантазія въ средѣ ея не могла подняться выше общаго уровня сказокъ, завѣщанныхъ ей стародавними, исконными преданіями, до разныхъ пѣсенъ о богатыряхъ, въ которыхъ съ восторгомъ и почтеніемъ говорилось о чудовищныхъ проявленіяхъ силы физической, о дальнихъ странствованіяхъ богатырей и ихъ нескончаемой борьбѣ съ иноплемениками. Не богатъ былъ запасъ поэтическихъ образовъ въ этой массѣ, и тотъ вѣкъ насилія, вѣкъ преобладанія силъ матеріальныхъ надъ нравственными, долженъ былъ и въ пѣсняхъ массы народной выражаться стремленіемъ только къ двумъ идеаламъ: — проявленію громадной силы и охраненію ограниченнаго благосостоянія, заключавшагося въ удовлетвореніи немногихъ и грубыхъ потребностей.

Не таково было нравственное и матеріальное положеніе дружины въ тотъ же удѣльно-вѣчевой періодъ. Ей жилось весело и привольно при князьяхъ, которые ее кормили и одѣвали, дѣлили съ нею свое имущество и власть, добычу и славу воинскую. „Дружина“ — говоритъ г. Соловьевъ — „неусаживается въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, и сохраняетъ характеръ военнаго братства. Князь — старшій товарищъ (среди дружины), старшій братъ, а не повелитель; онъ не таится отъ дружины, и дружина знаетъ всякую его думу; онъ ничего не падитъ для дружины, — ни ѣды, ни питья; ничего не копить себѣ, — все раздѣляетъ дружинѣ; а не хорошъ князь, думаетъ свою думу врозь отъ дружины, скупъ князь или завелъ любимца,

— дружинники покидаютъ его: имъ легко это дѣлать; они не связаны съ областю, гдѣ править покинутый ими князь; они — русскіе, а русская земля велика и князей въ ней много; каждый изъ нихъ съ радостью приметъ добраго воина“.

Свободная въ выборѣ князей, въ переходѣ отъ одного князя къ другому, дружина и въ войнѣ, и въ мирѣ, являлась для князя необходимой посредницей въ его отношеніяхъ къ массѣ народа, а съ другой стороны она была близка и къ духовенству — этому образованнѣйшему изъ сословій нашей древней Руси, которое такъ часто набирало „воиновъ христовыхъ“ изъ дружинной среды. Такое, во многихъ отношеніяхъ выгодное, положеніе дружины дѣлало ее передовымъ и важнѣйшимъ сословіемъ въ средѣ древне-русскаго общества, и давало ей полную возможность относиться сознательно и правильно къ явленіямъ совершавшейся передъ ея глазами современной жизни. Можно смѣло утверждать, что дружина болѣе способно была понимать и оцѣнивать эту дѣйствительность, нежели даже само духовенство, болѣе дружины образованное, но за то и болѣе способное увлекаться идеалами, чуждыми русской жизни и русской дѣйствительности, выработанными и воспитанными на почвѣ византійской. Лучшіе люди дружиннаго слоя, напротивъ того, искали себѣ идеаловъ въ русской дѣйствительности и конечно должны были находить ихъ не въ массѣ народа, котораго съ собой не ровняли, не въ духовенствѣ, которое ставили выше обыденной дѣйствительности, по его назначенію, а въ своей же, дружинной и княжеской средѣ. Любопытнымъ образчикомъ подобныхъ идеаловъ дружины служить относящаяся къ началу XIII вѣка приписка, помѣщенная въ Софійскомъ временникѣ, и изъ него переписанная въ Воскресенскую лѣтопись:

„Молю васъ, стадо Христово“, — пишетъ авторъ этой замѣчательной приписки — „разумно приклоните слухъ вашъ, (и услышите), каковы были древніе князи и мужи ихъ (т. е. дружинники), и какъ обороняли Русскую землю и иныя страны поборыми. Тѣ-то князья не собирали много имѣнія, не возлагали (лишнихъ, чрезвѣрныхъ) вѣрь и продажъ на людей; но только правую виру собирали, и ту отдавали дружинѣ на ору-

жие, и дружина ихъ кормилась, воюя инныя страны, сражаясь и восклицая: „Братья, потягнемъ за своего князя и за Русскую землю“. Не говорю (дружина): „мало мнѣ, князь, 200 гривенъ“. Не возлагали (дружинники) на своихъ женъ золотыхъ обручей, но жены ихъ ходили въ серебрѣ. Такъ-то и расплодили Русскую землю. Постѣ же за нашу непокорность Богъ навелъ на насъ поганыхъ, и забрали они у насъ и скоть, и села, и нѣвня наши, а мы все не можемъ отстать отъ своихъ дурныхъ привычекъ“.

Несомнѣнно, что въ то самое время, когда духовенство и монахи создавали свою монашескую литературу и въ ней прославляли „воиновъ христовыхъ“, принявшихъ на себя тяжкій трудъ борьбы съ міромъ, среди поста, лишеній и молитвъ—въ то самое время, пѣвцы, вышедшіе изъ дружинной среды, при дворахъ князей воспѣвали чисто-мірскіе подвиги князей и дружинниковъ, восхваляя удалъ и молодечество, и впервые рѣшались энергически и съ полнымъ сознаниемъ высказывать дѣятельную любовь къ родинѣ, къ русской землѣ, или сокрушаться о постигающихъ ее бѣдствіяхъ и страданіяхъ. И между тѣмъ какъ монахи-лѣтописецъ, передавая темную и кровавую повѣсть княжескихъ усобицъ, искалъ объясненія имъ только въ томъ вліяніи, которое исконный врагъ человека, дьяволъ, оказывалъ на взаимныя отношенія князей — пѣвцы дружинные богѣ правильно старались пояснить тѣ-же усобицы недостаткомъ любви къ родинѣ, предпочтеніемъ личныхъ интересовъ общимъ интересамъ всей земли русской и окружали блестящимъ ореоломъ имена всѣхъ князей, проливавшихъ кровь только „поганскую“ не во вредъ, а во спасеніе русской землѣ, во избавленіе ея отъ иноплемениковъ.

Въ высшей степени важнымъ памятникомъ этого сознательнаго и правильнаго отношенія дружины къ русской дѣйствительности XII вѣка осталось намъ извѣстное „Слово о полку (т. е. о походѣ) Игоревѣ“—одна изъ многихъ пѣсень, сложенныхъ дружинными пѣвцами въ честь князей, представляющихъ собою высшее олицетвореніе всѣхъ лучшихъ стремленій дружины. Въ

этомъ памятникѣ воспѣтъ небольшой и при томъ несчастливо-окончившійся походъ Игоря, князя сѣверскаго, противъ Половцевъ. Восторженное описаніе этого незначительнаго военнаго предпріятія можетъ быть доступно только тому, кто понимаетъ значеніе Половцевъ въ нашей до-татарской Руси, а потому мы и считаемъ долгомъ своимъ представить здѣсь читателямъ краткій обзоръ главнѣйшихъ движеній русской земли противъ Половцевъ.

Лѣтописи сохранили намъ воспоминаніе о множествѣ большихъ и малыхъ кочевыхъ народовъ, которые, поочередно вступая въ борьбу съ Русью и разбиваясь о нее, исчезали безслѣдно. Обширныя луговые степи нашего юга давали пріютъ хищнымъ ордамъ этихъ кочевниковъ, которымъ привольно жилось въ нихъ, среди безчисленныхъ табуновъ и стадъ своихъ. Отсюда-то, пользуясь усобицами нашихъ разрозненныхъ областей, стремительно налетали кочевники на беззащитные города и села, грабили все, что ни попадалось имъ на пути, уводили въ плѣнъ людей, истребляли огнемъ и мечемъ то, чего нельзя было захватить съ собою. Во второй половинѣ XI вѣка, въ степяхъ нашихъ являются Половцы, на мѣсто прежнихъ Печенѣговъ и Торковъ. Тяжелою грозвою тихо тяготятъ ихъ нестройныя, но страшныя орды надъ приднѣпровскою Русью въ теченіе почти двухъ вѣковъ, вплоть до татарскаго погрома, который мы въ состояніи были перевести, можетъ быть, только потому, что уже были долгимъ и горькимъ опытомъ пріучены къ нескончаемой борьбѣ съ иноплемениками. Вотъ какъ описываетъ лаврентьевская лѣтопись одинъ изъ первыхъ половецкихъ набѣговъ (въ 1093 году).

„Лукавые измаильяне ¹⁾ пожигали села и гумна, и многія церкви запалили огнемъ. (И вотъ уже) однихъ ведутъ въ плѣнъ, другіе трепещутъ, видя убиваемыхъ близкихъ, третьи умираютъ отъ голода и водной жажды; а тѣхъ (вонъ) вяжутъ и пятами пихаютъ и на землю валяютъ... Города всѣ опустѣли, села опустѣли; перейдя поля, гдѣ прежде паслись стада коней, овецъ и воловъ, видимъ все тоще, видимъ и нивы, поросшія лѣсомъ и обратившіяся въ жилище звѣрей... Много

¹⁾ Измаильянами и Агарянами лѣтописцы наши называютъ Половцевъ; впоследствии тѣ-же названія переносятъ на Татаръ.

воевали Половцы и возвратились къ Торчскому, и люди въ городѣ стали изнемогать отъ голода и передались ратнымъ; Половцы же, взявъ городъ, запалили его огнемъ, подѣлили людей и повели ихъ въ вежи свои къ сердобоямъ и сродникамъ своимъ. Много тутъ было христіанъ страждущихъ, опечаленныхъ, мучимыхъ, востенѣющихъ отъ холода и жажды, и несчастій; по незнакомой имъ сторонѣ, съ распаленнымъ языкомъ, шли они нагіе и босые, и ноги ихъ еще исколоты были терніемъ. Со слезами отвѣчали они другъ другу, говоря: „я родомъ изъ такого-то города“, а другіе: „я изъ такой-то деревни“; и такъ спрашиваютъ другъ друга со слезами, рассказывая кто откуда происходитъ, и вздыхая, и очи возводя на небо къ Всевышнему, которому извѣстно все тайное“.

И дѣйствительно, первые набѣги Половцевъ были рядомъ оглушительныхъ ударовъ, рядомъ побѣдъ надъ русскими князьями, которыхъ и самая бѣда не могла примирить для дружнаго отпора кочевникамъ. Только уже въ 1095 году, въ первый разъ, русскіе князья (Святополкъ и Владиміръ Мономахъ) сами пускаются въ походъ противъ Половцевъ, достигаютъ ихъ вежей, жгутъ ихъ и угоняютъ стада половецкія. Не даромъ лѣтописецъ съ особенною признательностью вспоминаетъ о трудахъ Мономаха на защиту Русской земли отъ иноплеменниковъ. „Владиміръ самъ собою постоялъ на Дону“—говоритъ лѣтописецъ— „и много поту утеръ за землю русскую“. Вслѣдъ за этимъ походомъ 1065 года, мы видимъ уже цѣлый рядъ другихъ, болѣе или менѣе важныхъ, движеній русской земли противъ Половцевъ. Изъ нихъ особенно замѣчательнъ, по историческому значенію своему, походъ Святослава Всеволодовича, въ которомъ, по свидѣтельству лѣтописи, участвовали всѣ князья русскіе и взято было въ плѣнъ 7,000 Половцевъ (между прочимъ 417 князей). Вообще, въ XII вѣкѣ, походы русскихъ князей противъ Половцевъ дѣлаются уже вполне народными движеніями, которыми постоянно руководятъ два главныхъ стремленія: сознаніе необходимости борьбы противъ общаго врага, и съ другой стороны — жажда славы, молодечество, удалъ. Оба эти стремленія ясно выражаются и въ лѣтописныхъ рассказахъ о походахъ князей на Половцевъ, и въ самомъ

„Словѣ о полку Игоревѣ“. Вотъ какъ, на примѣръ, рассказывается въ Ипатьевской лѣтописи о сборахъ Мстислава Изяславича съ братьей въ походъ на Половцевъ:

„Вложилъ Богъ въ сердце Мстиславу Изяславичу мысль благую о русской землѣ, такъ какъ онъ хотѣлъ ей добра всѣмъ сердцемъ; и созвалъ онъ братьевъ своихъ и началъ съ ними совѣщаться, и сказалъ такъ: „братья! пожалѣйте о русской землѣ и о своей отчизнѣ и дѣдинѣ; вѣдь (Половцы-то) всякое лѣто увозятъ христіанъ въ свои вежи, а намъ клятвы даютъ, и всегда ихъ переступаютъ... А хорошо бы было намъ, братья, положась на Божію помощь и на молитву Святой Богородицы, поискать путей отцовскихъ и дѣдовскихъ (въ землю половецкую) и себѣ чести“. И угодна была рѣчь его прежде Богу, и всѣмъ братьямъ, и дружинѣ ихъ. И сказали ему всѣ братья: „Богъ да поможетъ тебѣ, братъ, такъ какъ онъ вложилъ тебѣ такую мысль въ сердце; а намъ дай Богъ сложить головы свои за христіанъ и за русскую землю и быть причтенными къ лику мучениковъ“.

При такомъ взглядѣ на Половцевъ, какъ на общаго врага всей Руси, и на походы противъ нихъ, какъ на дѣло похвальное и достославное, должно, конечно, предположить, что каждый подобный, частный или общій походъ становился тѣмъ, на основаніи которой слагались дружинными пѣвцами пѣсни въ честь князей, совершавшихъ эти походы; чѣмъ удалѣе былъ походъ, тѣмъ труднѣе участвовавшимъ въ походѣ князьямъ „добыть себѣ честь и хвалу“ — тѣмъ болѣе было повода для пѣвцовъ воспѣть этотъ походъ, и передать его памяти потомства. Вотъ почему и небольшой, неудачно, несчастливо-окончившійся походъ Игоря Сѣверскаго былъ также воспѣтъ, какъ и многіе другіе, подобные же подвиги ратные, и можетъ быть даже заслужилъ преимущественнаго вниманія со стороны пѣвца, какъ попытка особенно замѣчательная по своей удали и молодечеству. „Эта пѣснь — одинъ живой голосъ изъ пестрой свѣтской жизни древней Киевской Руси, дошедшей до насъ, и вотъ почему она занимаетъ такое удивительное мѣсто посреди другихъ памятниковъ письменности этой эпохи, болѣею частью исходящихъ изъ другой среды. Вся литература, изъ которой она только отрывается, по-

гибла, и конечно, ея полудязыческій характеръ, не допускавшій ея въ монастырскія книгохранилища, былъ главной причиной ея гибели, хотя, разсматривая лѣтописи, мы видимъ въ числѣ источниковъ лѣтописца во многихъ мѣстахъ и эти свѣтскія сказанія, сквозь общій монастырскій лакъ, который на нихъ наводилъ нѣкогда въ своемъ пересказѣ¹⁾.

Дѣйствительно, кругъ понятій пѣвца, сложившаго „Сл. о п. Иг.“, представляетъ замѣчательную двоявѣрную смѣсь языческихъ



Графъ А. И. Мусинъ-Пушкинъ.

вѣрованій съ христіанскими воззрѣніями: Богъ кажетъ Игорю путь изъ земли Половецкой въ землю рускую; Игорь, по возвращеніи изъ плѣна, ѣдетъ въ Кіевъ на поклоненіе къ Св. Богородицѣ Пирогощей; Половцы называются погаными, въ отличіе отъ православныхъ Русскихъ; и тутъ-же пѣвецъ Боянъ именуется Велесовымъ внукомъ, вѣтры — Стрибожьими внуками; русскій народъ, — Дажьбожьимъ внукомъ; упоминаются и другія мифическія, темныя существа, какъ напр. Троянъ, Дивъ и т. д. Но, смотря на эту смѣсь понятій христіанскихъ съ языческими, совершенство

внутренней и вѣшной стороны „Слова о п. Иг.“ поражаетъ насъ, и твердо заставляетъ вѣрить въ то, что и до него несомнѣнно были другія, подобныя ему произведенія: ни одна литература не можетъ представить такого прекраснаго памятника безъ предшествующаго ему ряда подобныхъ же памятниковъ, способствовавшихъ развитію рода. Отвергать возможность существованія подобныхъ памятниковъ только потому, что они не дошли до насъ — невозможно; къ тому-же, самъ пѣвецъ, сложившій пѣсню о походѣ Игоря Святославича, упоминаетъ объ одномъ изъ предшественниковъ своихъ — пѣвцѣ Боянѣ — и даже перечисляетъ тѣхъ князей, которыхъ Боянъ воспѣвалъ въ своихъ пѣсняхъ.

По какому-то особенно счастливому случаю, драгоценное для насъ „Слово о полку Игоревѣ“ сохранилось до нашего времени: оно было открыто извѣстнымъ любителемъ наукъ и просвѣщенія екатерининскаго времени, графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ, въ 1795 году. Графъ отыскалъ этотъ замѣчательный памятникъ въ своей обширной библіотекѣ, въ сборникѣ, купленномъ отъ Іоанна, архимандрита Спасо-Ярославскаго монастыря. Къ сожалѣнію, сборникъ этотъ, вмѣстѣ со всею библіотекою графа Мусина-Пушкина, сгорѣлъ во время московскаго пожара 1812 г. Но до этого времени „Слово“ уже успѣли два раза издать, и многіе знатоки нашей древней палеографіи²⁾ успѣли его видѣть; по свидѣтельству ихъ „Слово о полку Игоревѣ“ писано было почеркомъ, который можно было отнести къ началу XV вѣка или къ концу XIV. Первое изданіе „Слова“ было выдано въ свѣтъ самимъ Мусинымъ-Пушкинымъ, въ 1800 году, подъ заглавіемъ: „Ироническая пѣснь о походѣ на Половцевъ удѣльнаго князя Новгорода-Сѣверскаго, Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходѣ XII столѣтія, съ переложеніемъ на употребляемое нынѣ нарѣчіе“. Съ тѣхъ поръ много разъ было оно издаваемо и переводимо, и множество самыхъ противорѣчивыхъ толковъ было возбуждено въ нашемъ ученомъ мірѣ появленіемъ въ печати этого замѣча-

¹⁾ А. Н. Майковъ, въ предисловіи къ своему переводу „Слова о п. Игоревѣ“. ²⁾ Бантышъ-Каменскій, Ермоловъ, Карамзинъ, Тиховскій и Волгитъ.

тельного памятника. Нашлись люди, восторженно приветствовавшие „Слово о полку Игоревѣ“, даже рѣшавшіеся сравнивать его съ произведеніями Гомера и съ пѣснями шотландскаго барда Оссіана, столь громко прославленнаго литературной критикой начала нынѣшняго столѣтія въ Европѣ. Но ученая критика сначала отнеслась было къ „Слову“ съ величайшимъ недоумѣніемъ; изъ среды ученыхъ слышались даже голоса, открыто обвинявшіе графа Мусина-Пушкина въ подлогѣ. Время сомнѣній только тогда миновало, когда изученіе древне-русскаго языка подвинулось у насъ на столько, что по сравненію „Слова“ съ языкомъ другихъ памятниковъ, въ немъ нельзя было не при-

знать памятника, современнаго тѣмъ событіямъ, которыя въ немъ описываются, хотя и значительно искаженнаго позднѣйшими переписчиками.

Не много лѣтъ тому назадъ, покойнымъ академикомъ Пекарскимъ, былъ изданъ отысканный имъ въ бумагахъ Екатерины новый списокъ „Слова о полку Игоревѣ“, сдѣланный графомъ же для Императрицы; но этотъ списокъ не представляетъ никакихъ особенно значительныхъ отнѣтъ противъ того, который уже былъ изданъ графомъ въ 1800 году.

Приводимъ здѣсь этотъ памятникъ цѣлкомъ въ новѣйшемъ и прекрасномъ переводѣ извѣстнаго нашего поэта А. Н. Майкова.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ПЯТОЙ.

1) ИЗЪ «ПОВѢСТИ ВРЕМЯННЫХЪ ЛѢТЪ» ПО ЛАВРЕНТЬЕВСКОМУ СПИСКУ.

Первый походъ князей на Половцевъ.

Въ лѣто 6611 (1103 г.) Богъ вложилъ благую мысль въ сердце русскимъ князьямъ, Святополку и Владиміру (Мономаху), и они, въ Долобскѣ, сошлись для совѣщанія на общую думу; и сѣли, Святополкъ со своею дружиною, и Владиміръ со своею, въ одномъ патрѣ. И начала разсуждать и говорить дружина Святополкова, „что не ладно нынѣ, весною, хотимъ идти (на Половцевъ); этимъ мы можемъ сгубить и смердовъ, и пашню ихъ“. И сказалъ Владиміръ: „днвлюсь я, дружина, что вы лошадей жалѣете, на которыхъ смердъ пашеть; а отчего же вамъ не приходитъ въ голову, подумайте вы о томъ, что какъ начнетъ смердъ пахать, и придетъ Половецъ и убьетъ его стрѣлою, а лошадь его захватитъ, и потомъ поѣдетъ въ село его, возьметъ жену его и дѣтей, и все имѣнье? Лошади вамъ жалко? а самаго его развѣ не жалъ?“ И дружина Святополкова ничего не могла отвѣчать ему на это, и сказалъ Святополкъ: „вотъ я и готовъ уже“, и всталъ (при этихъ словахъ); и сказалъ ему Владиміръ. „ты этимъ, братъ, великую пользу приносишь землѣ русскою“.

И послали къ Олегу и Давыду, говоря: „ступайте на Половцевъ, чтобы намъ либо въ живыхъ быть, либо умереть“. И послушалъ ихъ Давыдъ, а Олегъ не хотѣлъ этого сдѣлать, отозвался: „мнѣ нездоровится“. Владиміръ же поцѣловалъ брата своего, и пошелъ къ Переяславию, и за нимъ Святославъ, и Давыдъ Святославичъ, и Давыдъ Всеславичъ, и Мстиславъ, внучъ Игоревъ, и Вячеславъ Ярополковичъ, и Ярополкъ Владиміровичъ. И пошли они на коняхъ и въ лодяхъ, и дошли пониже пороговъ и стали въ протолчахъ на островѣ Хортицѣ; и тамъ опять сѣли на коней и пѣшіе вышли изъ лодій, и шли степью 4 дня, и пришли въ Сутѣнь. Половцы же, услышавъ, что идутъ Русскіе, собрались въ безчисленномъ множествѣ и стали совѣщаться: и сказалъ Урусоба: „будемъ просить мира у Русскихъ, такъ какъ они теперь будутъ крѣпко биться съ нами, ибо мы много зла сдѣлали русскою землѣ“. И сказали тѣ, что были помолже Урусобы: „если ты Русскихъ боишься, такъ мы-то не боимся; вѣдь коли мы этихъ-то перебьемъ, то пойдемъ въ ихъ землю и

заберемъ города ихъ, — и кто же избавитъ ихъ отъ насъ? А русскіе князья и воины всѣ Богу молились, и обѣты давали Богу и Матери Божьей, кто кутьею, кто милостынею убогимъ, кто вкладами въ монастыри. И въ то время, какъ они такимъ образомъ молились, нашли на нихъ Половцы, и выслали съ передовымъ полкомъ Алтуноу, который славился между ними мужествомъ; русскіе князья также отъ себя выслали свой сторожевой полкъ, и подстерегъ русскій сторожевой полкъ Алтуноу, и обступилъ его, и убить былъ Алтуноу со всѣми своими, и ни одинъ не ускользнулъ — всѣхъ избили. И пошли на Русскихъ полки (половецкіе) словно гѣса, и конца имъ не было видно; и Русскіе противъ нихъ выступили. И Великій Богъ навелъ великій ужасъ на Половцевъ, и напалъ на нихъ страхъ и трепетъ отъ лица русскихъ воиновъ, и сами они словно дремали, и у коней ихъ не было быстроты въ ногахъ; а наши весело ударили на нихъ, гѣшіе и конные. Половцы же, видя какъ Русскіе устремились на нихъ, недопустивъ ихъ до себя, обратились въ бѣгство; а наши погнались за ними, избивая ихъ. Въ 4-й день апрѣля мѣсяца Богъ сотворилъ намъ великое спасеніе, и даровалъ намъ великую побѣду надъ врагами. И тутъ, въ битвѣ, убито было 20 князей половецкихъ: Урусобу, Ечія, Арсланопу, Ки-

танопу, Кумана, Асуна, Куртка, Ченегрену, Сурьбаря и проч. князей ихъ (убили), а Белдюзя взяли въ плѣнъ. Послѣ побѣды надъ врагами, братья сѣли отдыхать. Привели Белдюзя къ Святославу, и началъ Белдюзь давать за себя золото и серебро, коней и скотъ; Святославъ же послалъ его къ Владимиру. И когда онъ пришелъ къ Владимиру, то Владимиръ началъ его спрашивать: „ты развѣ не знаешь, что вы намъ присягали? Много разъ присягали вы, и все-таки воевали Русскую землю; зачѣмъ же ты не говорилъ своимъ сыновьямъ и своему роду, чтобы они не переступали клятвы и не проливали крови христіанской? Пусть же и твоя кровь падетъ на главу твою“. И повелѣлъ его убить, и его изрубили на части. И потомъ сошлись всѣ братья, и сказалъ Владимиръ: „возрадуемся и возвеселимся въ нынѣшній день, созданный Господомъ; ибо Господъ избавилъ насъ отъ нашихъ враговъ, и покорилъ враговъ нашихъ, сокрушилъ главы змѣевы, и отдалъ пишу ихъ русскимъ“. (Такъ говорилъ онъ), потому что Русскіе забрали тогда скотъ и овецъ, и коней, и верблюдовъ половецкихъ, и вежи ихъ со всѣмъ достаткомъ и челядью ихъ, и захватили Печенѣговъ и Торковъ съ ихъ вежами. И вотъ возвратились они на Русь съ множествомъ плѣнныхъ, и съ великою славой и побѣдою.

II) отрывокъ южнорусской лѣтописи по ипатьевскому списку (конца XIV в. или начала XV).

Погодъ Игоря Сѣверскаго на Половцевъ.

Въ лѣто 6693 (1185) князь Святославъ послалъ Романа Нѣдзловича, съ Берендѣями, на поганыхъ Половцевъ; Божіею помощію взяли половецкія вежи, много плѣнныхъ и коней, въ 21-й день апрѣля мѣсяца на самый великій день (Свѣтлое Христово Воскресенье)...

Въ то же время Игорь Святославичъ, Ольговъ внукъ, поѣхалъ изъ Новгорода (Сѣверскаго) въ 23 день апрѣля, во вторникъ, взявъ съ собою брата Всеволода изъ Трубчевска, и Святослава Ольговича, племянника своего изъ Рязанска, и Владимира, сына своего изъ Путивля, и у Ярослава испросилъ себѣ въ

помощь Ольстина Олексича, Прохорова внука, съ черниговскими Коуями; и такъ шли они тихо, собиравъ свою дружину; кони у нихъ были очень тучны (и потому не могли идти быстро). И въ то время, какъ они шли къ рѣкѣ Донцу, подъ вечеръ, Игорь взглянулъ на небо, и видя солнце, стоящее подобно мѣсяцу, сказалъ боярамъ своимъ и дружинѣ своей: „видите-ли вы это знаменіе!“ Они посмотрѣли и увидѣли всѣ, и поникли головами, и сказали: „князь, не на добро намъ это знаменіе!“ Игорь же сказалъ: „братья и дружина! тайны Божіей никто не знаетъ, а знаменіе точно также, какъ и весь

міръ, отъ Бога сотворено; что Богъ сотворить на добро или на зло намъ, то все увидимъ“. И сказавъ это, переправился онъ въ бродъ черезъ Донецъ, и такъ пришелъ къ Осколу и ждалъ два дня брата своего Всеволода, который шелъ инымъ путемъ изъ Курска; и оттуда вмѣстѣ пошли къ Сальницѣ; тутъ къ нимъ и разъѣзды тѣ прѣхали, которыхъ посылали ловить языка, и сказали прѣхавъ: „видѣлись мы съ ратными людьми (непріятельскими), и нашли ихъ наготовѣ; такъ ужъ вы или побѣждайте на нихъ поскорѣе, или домой возвратитесь, потому не время намъ теперь (нападать)“. Игорь же сталъ говорить со своими братьями: „коли мы, не бившись, возвратимся, то срамъ намъ будетъ хуже смерти; (пусть будетъ) какъ намъ Богъ дастъ!“ И такъ подумавши, ѣхали они всю ночь, и на другой день, когда настала пятница, въ обѣденное время встрѣтили полки половецкіе; тѣ изготовились къ бою противъ нихъ, вежи свои оставили за собою, а сами, собравшись отъ мала до велика, стояли по ту сторону рѣки Сюрлія. И Русскіе устроили шесть полковъ: Игоревъ полкъ по срединѣ, а по правую руку полкъ брата его Всеволода; а по лѣвую—племянника его Святослава; напередъ его сынъ Володимѣрь и другой полкъ Ярославовъ, тѣ Коуи, что были съ Ольстиномъ; а третій полкъ, также напередъ, стрѣльцы, которые были выбраны изъ (отрядовъ) всѣхъ князей; такъ-то устроили полки свои. И сказалъ Игорь къ братьямъ своимъ: „братья! этого мы искали, ударимъ же дружно“; и такъ пошли на непріятеля, положивъ свое упованіе на Бога, и когда подошли къ рѣкѣ Сюрлію, то выѣхали изъ половецкихъ полковъ стрѣльцы, пустили по стрѣлѣ на Русскихъ и уснакали, тогда какъ Русскимъ еще не удалось и перебраться черезъ рѣку Сюрлію; (побѣждали вслѣдъ за первыми) и тѣ половецкія силы, которыя стояли далеко отъ рѣки. Святославъ же Ольговичъ, Володимѣрь Игоревичъ и Ольстинъ съ Коуями, и стрѣльцы погнались за ними, а Игорь и Всеволодъ полегоньку пошли вслѣдъ, не распущая своего полка, между тѣмъ какъ тѣ Русскіе, что впереди были, били Половцевъ, ловили; Половцы же пробѣжали вежи, и Русскіе, дойдя до вежей, обогатились плѣнниками, иные даже и ночью только уже вернулись къ полкамъ своимъ съ плѣнниками.

И когда (послѣ того) Половцы всѣ (вновь) собрались, Игорь сказалъ братьямъ своимъ и мужамъ: „вотъ Богъ силою своею возложитъ на враговъ нашихъ побѣду, а на насъ честь и славу; видѣли мы много полковъ половецкихъ, а тутъ ужъ чуть-ли не всѣ они собрались? нынче же ночью побѣдемъ, а кто завтра побѣдетъ, вслѣдъ за нами, то если и всѣ побѣдутъ, однако же одни лучшіе изъ всадниковъ нашихъ переберутся; а саминто намъ какъ Богъ дастъ“. И сказалъ Святославъ Ольговичъ мужамъ своимъ: „я далеко гонялся за Половцами, кони мои изнемогли: коли я нынче побѣду, то мнѣ придется остаться на дорогѣ“, — и Всеволодъ поддержалъ его также въ томъ, чтобы тутъ же остановиться. И сказалъ Игорь: „не дивно, братья, и умереть разумѣя“ — и остановились тутъ.

На разсвѣтѣ же, въ Субботу, начали наступать полки половецкіе, словно гѣса; недоумѣвали князья русскіе, кому на который изъ нихъ нападать, ибо ихъ было безчисленное множество. И сказалъ Игорь: „мы должны были ожидать, что на насъ соберется вся земля (половецкая): Кончакъ и Козубурновичъ и Токсобичъ, Колобичъ, и Етебичъ и Терьтробичъ“. Послѣ этого всѣ сѣшались, ибо хотѣли, сражаясь, пробиться къ рѣкѣ Донцу; они говорили (между собою): „ежели побѣдимъ, и уйдемъ сами, а черныхъ людей оставимъ, то передъ Богомъ будетъ намъ грѣшно уйти, предавши ихъ; нѣтъ! или умремъ, или живы будемъ, не сходя съ мѣста“. И сказавъ это, всѣ сошли съ коней, и ударили на врага; и такъ по Божьему попущенію, раненъ былъ Игорь въ руку и не могъ владѣть лѣвою рукою своею, и весь полкъ его былъ (этимъ) опечаленъ, и воеводу того полка взяли въ плѣнъ, послѣ того какъ онъ раненъ былъ въ переднихъ рядахъ. И такъ, крѣпко бились они весь тотъ день до вечера, и многіе были ранены и убиты въ числѣ Русскихъ; настала ночь субботы, а битва все продолжалась; на разсвѣтѣ, въ Воскресенье, дрогнули Коуи и побѣжали. Игорь въ то время былъ на конѣ, такъ какъ онъ былъ раненъ, и поскакалъ къ полку ихъ, думая возвратитъ его къ остальнымъ полкамъ; но, сообразивъ, что далеко уклонился отъ своихъ, снялъ съ себя шлемъ и опять погналъ назадъ къ полкамъ (Русскимъ), для того, чтобы, узнавъ

князя, и они воротились (т. е. Ковуи); никто такъ и не воротился, кромѣ Михаила Юрьевича, который воротился, узнавъ князя; добрые (воины) однако же не смутились вмѣстѣ съ Ковуями, развѣ только не многіе изъ простыхъ и пзъ слугъ боярскихъ; добрые же (воины) всѣ бились пѣшіе—и посреди ихъ Всеволодъ показалъ не мало мужества. И какъ приблизился Игорь къ полкамъ своимъ, то (Половцы) перерѣзали ему дорогу и тутъ онъ былъ взятъ на разстояніи одного перестрѣла отъ полка своего. И въ то время, какъ Игоря держали, онъ видѣлъ, какъ братъ его крѣпко боролся (съ врагами), и просилъ душъ своей смерти, дабы не увидѣть паденія брата своего; Всеволодъ же до того бился, что и оружіе невыдержало въ его рукѣ, и бились (воины его), идучи вокругъ озера. И такъ, въ день Св. Воскресенья, Господь навелъ на насъ гнѣвъ свой, радость смѣнилъ плачемъ и веселье печалью, на рѣкѣ на Каялѣ.

(За этимъ слѣдуетъ въ лѣтописи описаніе того впечатлѣнія, которое произвели на Русскихъ слухи о гибели русскаго войска и о плѣненіи князей; послѣ того разсказывается о набѣгѣ Половцевъ на русскія княжества и потомъ говорится о пребываніи Игоря въ плѣну у Половцевъ). Игорь же Святославичъ въ то время (т. е. послѣ половецкаго побѣга) былъ у Половцевъ и говорилъ: „я вполнѣ заслуживалъ того пораженія, которое понесъ по повелѣнію Твоему, Владыко Господи, и не поганская дерзость надломилъ силу рабовъ Твоихъ; не жалю я о томъ, что за все злое, сдѣланное мною, принялъ всю ту нужду, которую пришлось принять“. Половцы же, какъ бы стыдѣсь воеводства его, не дѣлали ему ничего дурнаго, но поставили къ нему 15 сторожей изъ сыновъ своихъ, да господичей 5, а всѣхъ-то 20; однако же давали ему волю ѣздить, гдѣ хочетъ, и съ ястребами охотиться. А своихъ слугъ съ нимъ ѣздило 5 или 6; и тѣ сторожа (Половцы) слушали Игоря и почетъ ему оказывали, и куда кого онъ посылалъ, безъ возраженія исполняли повелѣніе имъ. Пона же привелъ онъ себя изъ Руси, со святою службою: ибо не звалъ онъ Божьяго промысла, и полагалъ, что ему тамъ прійдется долго быть. Но Господь избавилъ его за молитву христіанъ, такъ какъ многіе о немъ жалѣли и проливали за него слезы. Въ то время, какъ онъ

былъ у Половцевъ, тамъ нашелся мужъ, родомъ Половчинъ, именемъ Лаворъ: тому пришла въ голову благая мысль, и сказалъ онъ: „пойду съ тобою въ Русь“. Игорь же сначала не повѣрилъ ему; онъ помышлялъ о томъ, чтобы бѣжать въ Русь, захвативъ съ собою мужей своихъ, и говорилъ: „я тогда ради славы не бѣжалъ отъ дружины, и нынѣ не пойду безславнымъ путемъ“. Съ нимъ же былъ (въ плѣну) сынъ тысяцкаго и конюшій его, и тѣ понуждали его и говорили: „пойди, князь, въ русскую землю, если Богу угодно будетъ избавить тебя“, и все не удавалось ему найти такого времени, какое ему было потребно. Половцы же, какъ мы уже выше говорили, возвратились отъ Переяславля (изъ набѣга); и сказали Игорю его думцы: „ты въ себѣ держишь мысль высокую и негодную Господу; ты ищешь случая взять съ собою одного изъ мужей своихъ и съ нимъ бѣжать; а почему же не подумаешь о томъ, что прійдутъ Половцы съ воймъ, и, какъ мы слышали, изобьютъ всѣхъ васъ князей и всѣхъ Русскихъ? Тогда не будетъ тебѣ ни славы, ни жизни“. Князь же Игорь принялъ къ сердцу совѣтъ ихъ, сталъ тревожиться о пріѣздѣ ихъ (Половцевъ) и (въ тоже время) искалъ случая къ побѣгу. нельзя было ему бѣжать ни днемъ, ни ночью, такъ какъ сторожа (постоянно) стерегли его; время для побѣга нашелъ онъ на закатѣ солнца. И послалъ Игорь къ Лавру своего конюшаго, сказать: „перейди на ту сторону Тора, съ конемъ въ поводу“—онъ съ нимъ уговорился бѣжать въ Русь. Во то время Половцы напились кумыса, и дѣло было вечеромъ: пришелъ конюшій и сказалъ князю, что ждетъ его Лаворъ. И вотъ князь всталъ въ страхъ и трепетъ, и поклонился образу Божію и кресту честному, говоря: „Господи, сердцевидецъ! спасешь ли меня, Ты Владыко, недостойнаго“ — и взявъ съ собою крестъ, и икону, и поднявъ стѣну (шатра), выгѣзъ вонъ. Между тѣмъ сторожа его играли и веселились, и считали князя снѣпимъ. Князь же пришелъ къ рѣкѣ и перешелъ ее въ бродъ, и сѣлъ на коня: п такъ прошли они чрезъ всѣ вѣжи. Это избавленіе (отъ плѣна) Господь сотворилъ въ пятокъ, вечеромъ. И шелъ князь пѣшкомъ 11 дней до города Донца, а оттогда пошелъ въ свой Новгородъ (Сѣверскій)—и всѣ обрадовались ему; изъ Новгорода пошли къ брату Ярославу

въ Черниговѣ, прося, чтобы онъ помогъ ему на Посемѣ; Ярославъ же обрадовался ему и обѣщалъ дать ему помощь; Игорь же от-

туда поѣхалъ къ Кіеву, къ великому князю Святославу, и радъ былъ ему Святославъ, а также Рюрикъ, свать его.

Слово о полку Игоревѣ.

Въ переводѣ А. Н. Майкова.

Не начать-ли нашу пѣснь, о братья,
Со сказаній о старинныхъ браняхъ,—
Пѣснь о храброй Игоревой рати
И о немъ, о сынѣ Святославѣ,
И воспитъ ихъ, какъ поется нынѣ,
Не гоняясь мыслью за Бояномъ!

Пѣснь слагая, онъ, бывало, Вѣщій,
Выстрой вѣшкой по лѣсу носился
Сърымъ волкомъ въ чистомъ полѣ рыскалъ,
Что орелъ ширялъ подъ облаками!
Какъ вспомнить брани стародавни,
Да на стаю лебедей и пустить
Десятъ быстрыхъ соколовъ въ догонку;
И какую первую настигнетъ,
Для него и пѣсню пой та лебедь,—
Пѣсню пой о старомъ Ярославѣ-ль,
О Мстиславѣ-ль, что въ бою зарѣзалъ,
Поборовъ, Касожскаго Редедю,
Аль о славномъ о Романѣ Красномъ...
Но не десять соколовъ то было;
Десятъ онъ перстовъ пускалъ на струны,
И князьямъ, подъ вѣщими перстами,
Рокотали славу сами струны!..

Поведемъ же, братія, сказанье
Отъ временъ Владиміровыхъ древнихъ,
Доведемъ до Игоревой брани,
Какъ онъ думу крѣпкую задумалъ,
Наострилъ отвагой храброй сердце,
Раскалился славнымъ ратнымъ духомъ
И за землю русскую дружины
Въ степь повелъ на хановъ половецкихъ.
* У Донца былъ Игорь, только видить—
Словно тьмой полки его прикрыты,
И возвращалъ на свѣтлое онъ солнце—
* Видить: солнце—что двурогій мѣсяцъ,
* А въ рогахъ былъ словно угаъ горящій;
* Въ темномъ небѣ звѣзды просіяли;
* У людей въ глазахъ повелѣло.
* «Не добра ждать» говорятъ въ дружинѣ.
* Старики поникли головами:
* «Быть убитымъ намъ или плѣненнымъ».

Князь же Игорь: «Братья и дружина,
«Лучше быть убиту, чѣмъ плѣнену!

* «Но кому пророчится погибель—
* «Кто узнаеть—намъ или поганымъ?»

«А посадемъ на коней на борзыхъ,
«Да хоть позримъ синяго-то Дону!»
Не послушалъ знаменья онъ Солнца,
Распалился вглянулъ на Донъ великій!
«Преломить копье свое», онъ кликнулъ,
«Видѣть съ вами, Русичи, хочу я,
«На концѣ невѣдомаго поля!
«Хоть за то-бъ и голову сложить,
«А испить шелокомъ Дону—любо!»

О Боянъ, о вѣщій пѣснотворецъ,
Соловей время давно минувшихъ!
Ахъ, тебѣ-бъ пѣвцомъ быть этой рати!
Лишь скача по мысленному древу,
Возносясь умомъ подъ снѣмъ тучи,
Съ древней славой новую свивая,
Въ путь Трояновъ ичась чрезъ доль на горы ¹⁾,
Воспѣвать бы Игореву славу!

То не буря соколовъ помчала,
И не станъ галчьи побѣждали
Чрезъ поля-луга на Донъ великій...
Ахъ, тебѣ-бъ пѣть, о внукъ Велесовъ!...

За Сулой-рукою да ржутъ кони,
Звонъ звенить во Кіевѣ во стольномъ,
Въ Новѣградѣ затрубили трубы;
Вѣютъ стяги ²⁾ красные въ Путивлѣ...
Поджидаетъ Игорь мила брата;
А пришелъ и Всеволодъ, и молвить:
«Игорь братъ, единъ ты свѣтъ мой сѣмъ!»
«Святослави мы сыны, два брата!
«Ты сѣдлай коней своихъ ретивыхъ,
«А мои осѣдланы ужъ въ Курскѣ!
«И мои Курияне-ль не смышлены!
«Повиты подъ бранною трубою,
«Поваросли подъ шлемомъ и кольчугою,
«Со конца копья они вскормлены!
«Всѣ пути нѣтъ свѣдомы, овраги!
«Луки тутъ, тулы отворены,

¹⁾ Троянъ—духъ тьмы; воплощеніе ночнаго мрака и тумановъ. ²⁾ Стягъ—знамя.

ыли крѣпко отточены,
 чутъ, словно волюи въ полѣ,
 ести, а для князя славы!...»
 илъ князь Игорь во златъ стремень,
 и двинулись за княземъ.
 ѣ ихъ тьмою заступало:
 ла—та взыла, застонала,
 жетъ птицъ поразбудила.
 оянки свистъ пошелъ звѣринный.
 цыявшись по древу,
 нвъ закиивать, подавая
 всю незнаемую землю,
 за Волгу и Поморье,
 ь и Суражское море,
 мванъ Тмутороканскій!
 нѣзакими путями
 тымъ поганымъ, и отвсюду
 ь ихъ скрипъ пошелъ,— ты скажешь:
 жуганные крики.
 утъ на Донъ великій держить,
 жъ бѣду ужъ чуютъ птицы
 слѣдомъ за полками:
 ки по крутымъ оврагамъ,
 , словно бурю клнчутъ;
 щиты лисицы брешутъ,
 ювѣщимъ клеткомъ, словно
 ь звѣрье зовутъ на кости...
 въ степь зашла ты, Русь, далеко!
 давно переступила!..
 дѣветъ. Вѣлъ разсвѣтъ проглянулъ,
 гуманъ понесся снѣгъ;
 улъ щекоть соловьиный,
 оръ по кустамъ проснулся...
 'усь, съ багряними щитами,
 строемъ изрядилась къ бою,
 и, а для князя славы.
 токъ-то было, съ позараня,
 храбрые поганыхъ!
 насыпавшись что стрѣлы,
 дѣвъ помчали половецкихъ,
 паволокъ и злата,
 и всякихъ узорочій,
 и юртъ такую силу,
 въ грязяхъ жостили ниш.
 итѣ храброй отдалъ Игорь,
 татъ одинъ себѣ оставилъ,
 татъ, серебрянное древко,
 олкой, съ бѣлою хорутвюю.
 ѣ храброе гнѣздо Олега.
 дное, залетѣло!

«Не родились, знай, мы на обиду
 «Ни тебѣ, быстръ соколъ, пестерь кречетъ,
 «Ни тебѣ, золъ воронъ—Половчанинъ»...

А ужъ Гзакъ несется сѣрымъ волкомъ
 И Кончакъ за Гзакомъ нитъ на встрѣчу...

И въ другой день, полосой кровавой,
 Повѣщаютъ день кровавый зори...
 Идутъ тучи черныя отъ моря,
 Тьмою заткить хотятъ четыре солнца...').

Синія въ нихъ молніи трепещутъ...
 Выть то грому, дождичку пролиться,
 Калеными вылитъ стрѣлами!
 Поломаться копьямъ о кольчуги.

Потупиться саблямъ о шеломи!

О шеломи Половчанъ поганыхъ!

А ужъ въ степь зашла ты, Русь, далеко!
 Перевалъ давно переступила!..

Чу! Стрибожьи чада понеслися,
 Вѣютъ вѣтры, ужъ наносятъ стрѣлы,
 На полки ихъ Игоревы сыплютъ...
 Помутились, пожелтели рѣки,
 Загудѣло поле, пылъ поднялся,
 И сквозь пыли ужъ знамена плещутъ...

Ото всѣхъ сторонъ враги подходятъ,
 И отъ Дона, и отъ синя моря,
 Обступаютъ нашихъ отовсюду!

Отовсюду бѣсовы изчады

Понеслися съ гиканьемъ и крикомъ:

Молча, Русь, отпоръ кругомъ готова,

Подняла щиты свои багряны.

Ярый туръ ты, Всеволодъ, стоишь ты

Впереди съ Курианами своими!

Прищешь стрѣлами на вражьи вон,

О шеломи ихъ гремишь мечами!

Гдѣ ты, буй-туръ, ни поскачешь въ битвѣ,

Золотымъ посѣчивая шлемомъ,—

Тамъ валятся головы поганыхъ,

Тамъ трещатъ аварскіе шеломи

Вкругъ тебя отъ сабель молодецкихъ!

Не считаетъ ранъ ужъ онъ на тѣлѣ!

Да ему о ранахъ-ли тутъ помнить,

Коль забылъ онъ и Черниговъ славный,

Отчій столъ, честны пиры княжіе

И своей красавицы книгини,

Той-ли свѣтлой Глѣбовны, утѣхи,

Милый ликъ и ласковый обычай!

Были вѣки темнаго Трояна,

Ярослава годы миновали;

Были брани храбраго Олега...

Тотъ Олегъ мечомъ ковалъ крамолу,

е. четверо князей, участвовавшихъ въ походѣ.

Съял стрѣлы по замлѣ по русской...
 Затрубили онъ сборъ въ Тмуторокани:
 Слышалъ трубы Всеволодъ великій,
 И съ утра въ Черниговѣ Владимиръ
 Самъ въ стѣнахъ закладывалъ ворота..
 Но Бориса ополчила слава
 И на смертный одръ его сложила
 На зеленомъ полѣ у Канина..
 Палъ младъ князь, палъ храбрый Вячеславичъ,
 За его-жъ за Ольгову обиду!
 И съ того зеленого же поля,
 На своихъ угорюхъ ниходящихъ,
 Ярополкъ увезъ и отче тѣло
 Ко святой Софіи въ стольный Кіевъ.
 И тогда-жъ, въ тѣ злые дни Олега,
 Съялось крамолой и растилось
 На Руси отъ внуковъ Гориславны;
 Погибла жизньъ Дажьбожьихъ внуковъ,
 Сворачивались вѣки человѣковъ..
 Въ дни тѣ рѣдко ратанъ за плугомъ
 На Руси покрикивали въ полѣ;
 Только враны каркали на трупахъ.
 Галки рѣчь вели между собою.
 Далеко почуя мертвечину.

Такъ въ тѣ брани, такъ въ тѣ рати было,
 Но такой, какъ Игоревъ битва,
 На Руси не выдаю отъ вѣка!

Отъ зари до вечера, день цѣлый,
 Съ вечера до свѣта рѣютъ стрѣлы,
 Гремятъ остры сабли о шеломи,
 Съ трескомъ копыа ложатся булатны,
 Среди невѣдомаго поля,
 Въ самомъ сердцѣ Половецкой стени!
 Подъ копытомъ черное все поле
 Было сплошь засѣяно костями,
 Было кровью алою полито,
 И взмошелъ посѣвъ по Руси горемъ!..

Что шумить-звенить передъ зарею?
 Скачетъ Игорь полкъ поворотити...
 Жалко брата... Третій день ужъ бьются!
 Третій день къ полудню ужъ подходитъ:
 Тутъ и стяги Игоревы пали!
 Стяги пали, тутъ и оба брата
 На Каляхъ быстрой разлучились..
 Ужъ у храбрыхъ Русичей не стало
 Тутъ вина кроваваго для пира.
 Попили сватовъ и костями
 Полегли за отческую землю!
 Въ полѣ травы съ жалости поникли,
 Деревя съ печали преклонились..
 Невеселый часъ насталъ, о братья!
 Ужъ пустыня скрыла поле боя,
 Гдѣ легла Дажьбожьего внука сила—

Но надъ ней стоитъ ея обида...
 Приняла Обида образъ дѣвы,
 И ступила на землю Трояну,
 Распустила крылья лебедины
 И крылами плещучи у Дона,
 Въ синемъ морѣ плеще, гонимъ гласомъ
 О годахъ счастливыхъ поминала:

«Отъ уособицъ княжикъ—гибель Руси!
 «Братья спорять: то мое и это!
 «Золъ раздоръ изъ малыхъ словъ заводять,
 «На себя куютъ крамолу сами,
 «А на Русь съ побѣдами приходятъ
 «Отовсюду вороги лихѣ!

«Залетѣлъ далече, ясный соколъ,
 «Загнавъ птицъ ко синю морю,—
 «А полка ужъ Игоревъ нѣту!
 «На всю Русь поднялся вой поминковъ,
 «Поскочила скорбь отъ веси къ веси,
 «И, мужей зова на тризну, нечетъ
 «Имъ смолой пылающіе роги..
 «Жены плачутъ, слезно причитаютъ:
 «Ужъ ни мыслью мыслямъ намъ не смыслитъ!
 «Ужъ ни душой ладъ своихъ не сдумать!
 «Ни очами намъ на нихъ не глянуть,
 «Златомъ, серебромъ намъ уже не закинуть!

«Стонетъ Кіевъ, тужить градъ Черниговъ.
 «Широко печаль течетъ по Руси;
 «А князья поютъ себѣ крамолу,
 «А враги съ побѣдой въ селахъ рыщутъ,
 «Собираютъ дань по бѣлкѣ съ дыму..
 «А все храбрый Всеволодъ да Игорь!
 «То они зло лихо разбудили:
 «Усыпиль было его могучій
 «Святославъ, князь Кіевскій великій...
 «Былъ грозой для хановъ половецкихъ!
 «Наступилъ на землю ихъ полками,
 «Притопталъ ихъ холмы и овраги,
 «Возмутилъ ихъ рѣки и озера,
 «Ивсушилъ потоки и болота!
 «А того поганого Кобыя,
 «Изъ полковъ желѣзныхъ половецкихъ.
 «Словно вихрь, исторгъ изъ лукоморья—
 «И упалъ Кобыя въ стольный Кіевъ,
 «Въ золотую гривню къ Святославу..
 «Нѣмцы, Греки и Венеціане,
 «И Морава хвалятъ Святослава,
 «И корятъ всѣ Игоря, смѣются,
 «Что на днѣ Каляхъ половецкой
 «Погрузилъ онъ русскую рать-силу,
 «Рѣку Русскихъ золотомъ засыпалъ,
 «Да на ней же самъ съ сѣдла златаго
 «На сѣдло кощія пересажень».

ихъ затворены ворота.
на Руси веселье.
изъ приснился Святославу.
нѣ», онъ сказывалъ боярамъ,—
на кипарисномъ ложѣ,
, здѣсь въ Киевѣ, вы чернымъ
въ вечера покровомъ;
и нѣ виномъ иѣшали зелье;
и хъ половецкихъ туловъ ¹⁾
жемчугъ сыпали на лоно;
ой ухаживаютъ, смотрятъ,—
-жъ золотомъ словно
а повыскачили брусъ;
и прокаркали у Пльиска,
прежде дебрь была Кисая,
и, стан черныхъ врановъ,
нескѣтной тучей къ морю»...
и князіе бояре:
ой, княже, полонило горе!
стола два сокола слетѣли,
испить шелономъ Дону,
себѣ Тматорокани.
Половцы и нѣ крылья,
опутали въ желѣза!
день внезапно тьма настала!
и красныя померкли,
и багряные погасли,
оба тьмой поволоклися
смыхъ безднахъ погрузились,
и ханамъ половецкимъ,
гѣсацы, два свѣта
и съ храбрымъ Святославомъ!
Тьма нашъ Свѣтъ покрыва,
и нѣ Половцы по Руси,
ты пардусовы гнѣзда!
на славу поднялася,
и ударила на волю,
и нѣ повергнулся на землю,
дѣвы готскія запѣли
побрежью синя моря,
позваниваютъ русскимъ,
и нѣ Вусовы побѣды
и нѣ мѣсть за Шарукана... ²⁾
и-ль, княже, тутъ дружинѣ!
и тогда, въ отвѣтъ боярамъ,
и нѣ устъ златое слово,
лезамъ облитое:
дѣтки, Всеволодъ мой, Игорь!
¹⁾ мои вы дорогіе!

«Не въ пору искать пошли вы славы
«И громить мечами вражью землю!
«Ни побѣдой, ни пролитой кровью
«Для себя не добыли вы чести!
«Да сердца то ваши удалы
«На огнѣ искованы на лютомъ,
«Во отвѣтъ буйной закалены!
«Что теперь вы, дѣти, сотворили
«Съ сѣдиной серебряной моею?
«Нѣтъ со мной ужъ брата Ярослава!
«Онъ-ли, сильный, онъ-ли, многоратный.
«Со своей черниговской дружиной,
«Съ удалцами, съ Татры и Ревути,
«Со всего карпатскаго угоря...
«Тѣ—съ ножами, безъ щитовъ, лишь клинкомъ,
«Только звономъ въ прадѣдную славу,
«Побѣждаютъ полчища и рати...
«Вы-жъ возмнили: сами одолѣте!
«Всю сорвете, что въ будущемъ есть, славу,
«Да и ту, что добыли ужъ дѣды!..
«Старику-бъ помолодѣть не диво!
«Вѣсть гнѣздо соколъ и птица возбиваетъ,
«Своего гнѣзда не дастъ въ обиду,
«Да бѣда—въ князьяхъ и нѣтъ помощи!
«Все пошло со старостью подъ гору!..
«Крикъ въ Ромнахъ подъ саблей половецкой!
«Володиміръ ранами изъязвленъ,
«Стонетъ, тужитъ Глѣбовичъ удалой..
«Что-жъ ты, княже, Всеволодъ Великій!
«И не въ мысль тебѣ перелетѣти,
«Идалека поблѣсти столъ отѣи
«Могъ бы Волгу веслами разбрызгать,
«Могъ бы Донъ шеломами растерпаты!
«Будь ты здѣсь, да Половцевъ толпою
«Продавали-бъ; дѣвка—по ногатѣ,
«Смердъ-кощей по рѣзани пошесть-бы!
«Вѣдь стрѣлять и по суку ты можешь—
«У тебя на то живыя стрѣлы—
«Двое братьевъ, Глѣбовичей храбрыхъ!
«Ты, буй Рюрикъ, ты Давидъ удалый!
«Вы-ль съ дружиной по златые племени
«Во крови не плавали во вражеской?
«Ваши-ль рати не рычатъ по степи,
«Словно туры, равные саблѣй!
«Ой, вступите въ золотое стремя,
«Раскалите гнѣвомъ за обиду
«Вы за землю русскую родную,
«За живыя Игоревы раны!
«Остромыслъ ты вѣщій, Ярославс...

и—колчанамъ для стрѣлъ. ²⁾ Вусъ и Шаруканъ—половецкіе ханы. ³⁾ Они были двоюродные
гослава Киевскаго; но онъ, какъ старѣйшій, былъ и нѣ «въ отца нѣсто».

«Высоко на золотомъ престолѣ
 «Воссѣдаешь въ Галичѣ ты крѣпкомъ!
 «Подперъ ты своей жалѣнной ратью,
 «Что стѣной, карпатскія угоря,
 «Заградилъ для короля дорогу,
 «Затворилъ ворота на Дунаѣ,
 «Черезъ тучи сыпля горы каменной
 «И судя до самаго Дуная!
 «И текутъ отъ твоего престола
 «По землямъ на супротивныхъ грозны...
 «Отворяешь въ Киевѣ ворота,
 «Мечешь стрѣлы за земли въ салтановъ!..
 «Ахъ, стрѣляя въ поганого кощя,
 «Разгроми Кончака за обиду,
 «Встань за землю русскую родную,
 «За живыхъ Игоревы раны!..
 «Ты, Романъ, съ сонми Мстиславомъ вѣрнымъ?
 «Слѣло мысль стремить вашъ укъ на подвигъ!
 «Ты, могучій, въ замислахъ высоко
 «Возлетаешь, что соколъ ширяя
 «На вѣтрахъ, надъ вѣрною добычей...
 «Грудь у васъ, нѣ-подъ латинскихъ шлемовъ
 «Вся покрыта кольчатою сѣткою!
 «Передъ вами трепетали земли,
 «Потрясались хиновскія страны,
 «Деремела-жъ, Половцы съ Литвою
 «И Ятвяги палицы бросали
 «И во прахъ кидались передъ вами!
 «Свѣтъ, о князь, отъ Игоря уходитъ!
 «Не на благо листъ сипадаетъ съ древа!
 «По Роси, Сулѣ прагъ грады дѣлится,
 «А полку ужъ Игорева нѣту!
 «Донъ зоветъ, Романъ, тебя на подвигъ,
 «Всѣхъ князей сываетъ на побѣду,
 «А одни лишь Ольговичи вяли
 «И на брань, по зву его, dospѣли..
 «Ингваръ, Всеволодъ, и вы, три брата,
 «Вы, три сына храбраго Мстислава,
 «Не худа гнѣзда итенцы крылаты:
 «Отчинъ вы мечомъ не добывали—
 «Гдѣ же ваши шлемы золотые?
 «Аль ужъ нѣтъ щитовъ и ляхскихъ палицъ?
 «Заградите острыми стрѣлами
 «Ворота на Русь съ широкой степи!
 «Потрудитесь, князи, въ полѣ ратномъ,
 «Всѣ за землю русскую родную,
 «За живыхъ Игоревы раны!..
 «Ужъ не той серебряной струею
 «Потекла Сула къ Переяславу,
 «И Двина пошла уже болотомъ,
 «Винущена врагомъ, подъ грозный Полоцкъ!
 «Услыхалъ и Полоцкъ крикъ поганыхъ!
 «Изяславъ булатными мечами

«Позвонилъ одинъ о вражьи шлемы,
 «Да разбилъ лишь дѣдовскую славу—
 «Самъ сраженъ литовскими мечами
 «И изрубленъ на травѣ кровавой,
 «Подъ щитами красными своими!
 «И на томъ одрѣ на смертной лежа
 «Самъ сказалъ: «Вороньими крылами
 «Приодѣлъ ты, князь, свою дружину,
 «Полизать звѣрми ея далъ крови!»
 «И одинъ, безъ брата Брячислава,
 «Безъ другаго Всеволода-брата,
 «Изронилъ жемчужную онъ душу,
 «Изронилъ, одинъ, нѣ храбра тѣла,
 «Сквозь свое златое ожерелье!..
 «И поникло въ отчинѣ веселье,
 «Въ Городѣ трубать печально трубы...
 «Всѣ вы, внуки грознаго Всеслава,
 «Опустите ваши красны стаци,
 «И въ ножны мечи свои вложите:
 «Вы нѣ дѣдней выскочили славы!
 «Наводитъ на отчій край поганыхъ!
 «Съ давнихъ дней, не лучше половецкихъ,
 «Таковы жъ насилья были Руси
 «И отъ васъ, и вашего Всеслава!
 «Любъ ему былъ Киевъ, что дѣвица:
 «О него онъ жеребій и кинулъ,
 «Перегуля на сѣдлѣ, пончался,
 «Да лишь древкомъ копія доткнулся
 «До его престола золотого!
 «Въ ночь утекъ оттуда лютымъ звѣремъ,
 «Синей иглой изъ Вѣлграда подыался,
 «Утромъ билъ ужъ стѣны въ Новѣградѣ,
 «Ярослава славу порушая...
 «Проскочилъ оттуда сѣрымъ волкомъ,
 «Отъ Дудутовъ на рѣку Нѣмигу...
 «Не спомни-то стелють на Нѣмигѣ,
 «Человѣчьи головы кидаютъ!
 «Не дѣпами молотятъ, мечами!
 «Жизнь на токъ кладуть и вѣють душу,
 «Вѣють душу храбрую отъ тѣла!
 «Охъ, не житомъ сѣяны, костями
 «Берега кровавые Нѣмиги,
 «Все своими русскими костями!..
 «Князь Всеславъ суды судилъ княжие,
 «Раздавалъ князьямъ столы и грады,
 «По ночамъ же рыскалъ сѣрымъ волкомъ,
 «Поспѣвалъ въ Тмуторокань къ разсвѣту,
 «Ясну Солнцу путь перебѣгая...
 «Позвонять заутреню, бывало,
 «Для него у полоцкой Софіи —
 «Онъ же звонъ изъ Киева все слышалъ..
 «А хотъ былъ и съ вѣщею душою,
 «Хотъ умѣлъ обертываться звѣремъ,

Иды терпѣль такъ не мало!
и сѣль Воинъ приѣзжу:
еръ-гораздъ, вертись хоть птицей,
ты Вожьего не минешь!..
онать намъ всей землею русской,
ней вспоминая давнихъ,
я прежнее ихъ время!
я жъ вѣдъ было пригвоздити
къ ко Киевскимъ высокимъ
Владимира на вѣки!
къ пошли его знамена
оно машутъ бунчуками,
пья пѣть пошелъ по рѣкамъ!
лышнѣ Ярославнѣ голосъ...
землѣ незнаемой, кукушкой
а кукуетъ, плачетъ:
укушечкой къ Дунаю,
бранъ рукавъ въ Каялъ,
ровавы раны князю,
къ его могучемъ тѣлѣ...
на въ Путивлѣ раннимъ-рано
стоитъ и причитаетъ:
вѣрило! что ты, господине,
вѣнешъ, что на легкихъ крыльяхъ
стрѣлы въ храбрыхъ боевъ лады!
ахъ, подъ облаки бы вѣялъ,
къ кораблики лелѣялъ,
ишь, вѣнешъ—развиваешь
къ траву мое веселье...
на въ Путивлѣ раннимъ-рано
стоитъ и причитаетъ:
Днѣпръ мой, Днѣпръ ты мой, Славутичъ!
и прошелъ ты половецкой,
къ ты каменные горы!
и лелѣялъ Святослава,
и Кобыковой носилъ ихъ...
и ко мнѣ мою ты ладу.
и съ слезъ не слать къ нему съ тобою
ишь зарямъ на сине море!..
ишь ужъ она въ Путивлѣ
стоитъ и причитаетъ:
о, тресвѣтлое ты Солнце,
и всѣхъ красно, тепло ты Солнце!
ты, Солнце, съ Неба устремило
лучъ на лады храбрыхъ боевъ!
ихъ томишь въ безводномъ полѣ,
и гнешь не смоченные луки,
ишь кожаные тулы...»

оре приснуло къ полночи,
гашъ, идутъ смерчи морскіе:
Югъ князь-Игорю дорогу
и далекой половецкой

къ золотому отчему престолу.

Погасаютъ сумерки сквозь тучи...

Игорь спитъ, не спитъ, крылатой мыслью

Мѣрить поле ко Донцу отъ Дона.

За рѣкой Овлуръ къ полночи свищетъ,

По коня онъ свищетъ, повѣщаетъ:

«Выходи, князь Игорь, изъ полова.»

Вѣтеръ воетъ, проносясь по степи

И шатаетъ вежи половецки;

Шелестить-шуршитъ ковыль высокий,

И шумитъ-гудитъ земля сырая...

Горностаемъ скокъ въ тростинки князь Игорь,

Что бѣлъ гоголь по водѣ ныряетъ,

На быстра добра коня садится;

По лугамъ Донца, что волкъ несется;

Что соколъ летитъ въ сырыхъ туманахъ,

Лебедей, гусей себѣ стрѣляетъ

На обѣдъ, на завтракъ и на ужинъ.

Что соколъ летитъ князь свѣтлый Игорь,

Что сѣръ волкъ Овлуръ за нимъ несется,

Студену росу съ травы страдая.

Ужъ лихихъ коней давно загнали.

Вранъ не каркнетъ, галчій стихнулъ говоръ

И сорочья стрекота не слышно.

Только дятлы ползаютъ по вѣтвямъ,

Дятлы тектомъ путь къ рѣкѣ казуютъ,

Соловьи свистъ зори повѣщаетъ...

Говоритъ Донецъ: «Охъ, князь ты Игорь!

«Величанья жъ ты себѣ да добылъ,

«А Кончаку всякаго проклятья,

«Русской всей землѣ свѣтла веселья!»

Отвѣчалъ Донцу князь свѣтлый Игорь:

«Донче, Донче, ты ли, тихострунный!

«И тебѣ, да будетъ величанье,

«Что меня ты на волнахъ лелѣялъ,

«Зелену траву мнѣ стлалъ въ постелю

«На своемъ серебряномъ побережьи;

«Теплой мглой на меня ты вѣялъ,

«Подъ темной зеленою раkitой;

«Сѣрой уткой сторожилъ на руслѣ,

«На струяхъ, вѣтрахъ—чиркомъ да чайкой...

«Вотъ Ступна, о Донче, не такая!

«Какъ пожреть-попить ручьи чужіе,

«По кустамъ, по доламъ разольется!...

«Ростислава-юношу пожрала,

«Унесла его во Днѣпръ глубокий,

«Во темныхъ брегахъ похоронила .

«Плачетъ мать по юношѣ, по князю,

«Приуныли съ жалости цвѣточки,

«Деревя съ печали приклонились...»

Не сороки—чу!—застрекотали:

Вдуть Гвакъ съ Кончакомъ въ злу погоню.

Молвить Гзакъ Кончаку на погони:
 «Коль соколъ къ гнѣзду летить, урвался,
 «Ужъ млада соколика не пустить.
 «А поставимъ друга въ чистомъ полѣ,
 «Разстрѣляемъ стрѣлами златыми.»

И въ отвѣтъ Кончакъ ко люту Гзаку:
 «Коль соколъ къ гнѣзду летить, урвался,
 «Сокольца опутаешъ потуже
 «Крѣпкой цѣпью—красною дѣвицей».

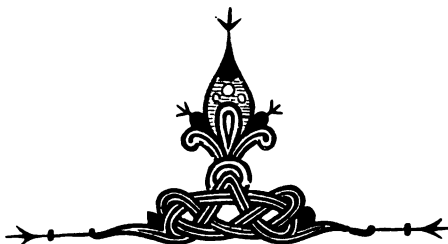
Гзакъ въ отвѣтъ Кончаку слово молвить:
 «Коль опутать красною дѣвицей,
 «Не видать ни сокольца младаго,
 «Не видать ни красной намъ дѣвицы:
 «А ихъ дѣтки бить почнутъ насъ въ полѣ,
 «Здѣсь же, въ нашемъ полѣ половецкомъ.»

Стародавнихъ былей пѣснотворецъ,
 Ярославъ пѣвшій и Олега,
 Такъ-то въ пѣснѣ пѣлъ про Святослава:
 «Тяжело главѣ безъ плечъ могучихъ,

«Горе тѣлу безъ главы разумной.»
 И землѣ такъ горько было Русской
 Безъ удача Игоря, безъ князя.
 Ахъ на небѣ солнце засвѣтило:
 Игорь-князь въ землѣ ужъ скачетъ Русской.
 На Дунаѣ дѣвицы заплѣли;
 Черезъ море пѣснь отдавалась въ Кіевъ.
 Игорь ѣдетъ, на Боричевъ держать,
 Ко святой иконѣ Пирогощей.
 Въ селахъ радость, въ городахъ веселье;
 Всѣ князей поютъ и величаютъ
 Перво—старшихъ, а за ними—младшихъ.
 Воспоемъ и мы: свѣтъ-Игорь—слава!
 Буй-туръ-свѣту-Всеволоду—слава!
 Володимиръ Игоревичъ—слава!
 Святославу Ольговичу—слава!
 Вамъ на здравье, князи и дружина,
 Христіанъ поборцы на поганыхъ!
 Слава князьямъ и дружинѣ!

Аминь.

А. М а й ко в ъ.





VI.

татарщина. — Выгодное положеніе духовенства. — Проповѣди; лѣтописи, сборники. — Переводы съ греческаго. — Свѣдѣнія о природѣ. — Споры „о раѣ земной“.



Второе бѣдствіе постигло Русь в первой половинѣ XIII в., и нанесъ сокрушительные, оглушающіе удары древнерусскому общественному строю, почти въ мѣгнѣе уничтожило зачатки древне-русскаго образованія, надолго превративъ лучшія и населеннѣйшія мѣста нашего отечества въ пустыни, и уничтоживъ возможность того спокойнаго и мирнаго досуга, который имѣлъ такое громадное значеніе въ исторіи образованности каждаго народа. Изъ предшествовавшихъ главъ мы уже видѣли, что первые шаги, какіе сдѣланы были образованностью на русской почвѣ, были довольно удачны, что почва для образованности оказалась удобною, что грамотность — эта первая ступень ея — легко проникла во всѣ слои общества и, распредѣляясь довольно равномерно по сословіямъ, одинаково возбуждала любовь къ чтенію, собиранію, переписыванію книгъ и въ духовенствѣ,

и въ князьяхъ, и въ окружавшей ихъ дружинѣ. Главнымъ центромъ книжности и грамотности до-татарщины являлся Кіевъ во главѣ юго-западной Руси. Значеніе Кіева продолжало возрастать даже и тогда, когда историческая жизнь древней Руси стала уклоняться отъ этого центра, съ одной стороны, болѣе къ юго-западу, съ другой — далеко на сѣверо-востокъ. Однимъ изъ важнѣйшихъ послѣдствій эпохи татарскаго владычества слѣдуетъ конечно считать то, что русская историческая жизнь окончательно собралась и сплотилась на сѣверо-востокѣ, около новаго центра — Москвы, а центръ древне-русской жизни и образованности — Кіевъ, былъ окончательно покинутъ и потерялъ всякое значеніе. Такая перемѣна направленія русской исторической жизни, совершившаяся совершенно органически подъ тяжкимъ гнетомъ татарщины и внесенныхъ ею началъ, конечно должна была

въ первое время отозваться очень тяжело на всѣхъ проявленіяхъ умственной и нравственной жизни народа. П несмотря на то, что это сосредоточеніе жизни русской на сѣверо-востокъ имѣло громадныя послѣдствія историческія, нельзя отрицать того несомнѣннаго факта, что собственно на образованность нашу и литературу оно, временно, оказало вліяніе пагубное и задержало ее на много вѣковъ въ періодѣ младенчества. И на сколько древній удѣльно-вѣчевой укладъ, съ его пестрою и привольною жизнью, съ его частыми усобицами и удалыми походами князей противъ Половцевъ, съ его шумною городскою жизнью, развивавшеюся подъ благодѣйственнымъ небомъ юго-запада Руси, способенъ былъ благоприятно повліять на развитіе фантазіи, на распространеніе образованности вглубь и вширь — на столько же суровый климатъ сѣверо-востока и суровыя условія быта, сначала подъ татарскимъ игомъ, а потомъ подъ желѣзнымъ скипетромъ возникавшей и поглощавшей удѣлы Москвы, и должны были тягостно подѣйствовать на творческую силу фантазіи Русскаго человѣка, и мало способствовать развитію въ немъ стремленія къ книжному ученію и къ чтенію книгъ. Не до школъ и не до книгъ было ему, когда всѣ лучшія силы его поглощались инстинктомъ самосохраненія! Да къ тому же, въ общемъ погромѣ городовъ и областей, тяжкій ударъ нанесенъ былъ нашему образованію и со стороны его матеріальныхъ средствъ: — безвозвратно погибли десятки библиотекъ, хранившихся въ стѣнахъ церквей и монастырей, и лишь въ немногихъ мѣстахъ, и притомъ наименѣе богатыхъ книгами, уцѣлѣли остатки нашихъ начальныхъ книгохранилищъ. Слѣдовательно, книга, и до татарщины бывшая у насъ дорогою, сдѣлалась, во время ея, почти сокровищемъ, и насъ одновременно постигли двѣ бѣды: — у насъ отняты были и всѣ условія, при которыхъ образованіе и книжное ученіе могутъ развиваться успѣшно, и въ то же время уничтожены тѣ книжные запасы, которые накоплены были въ разныхъ мѣстахъ Руси трудами, любовью и усиліями цѣлыхъ поколѣній.

Нельзя упустить изъ виду и того, что когда во время и послѣ татарщины политиче-

ское тяготѣніе стало собирать Русскую землю около Москвы, направленіе и характеръ древне-русской жизни значительно измѣнились. Она перестала течь прежнею широкою и привольною волною, и видимо стала устанавливаться въ опредѣленныхъ берегахъ. И это переходное состояніе, переживаемое обществомъ, не могло не проявиться рѣзкими чертами. Лучшимъ силамъ общества на долго суждено было затрачиваться въ борьбѣ за безопасность и независимость личную, сначала отбиваясь отъ алчныхъ татаръ, потомъ противоборствуя властолюбивой Москвѣ, опиравшейся на татарскую власть и силу. Нравы грубыли; суровый и мрачный отбѣнокъ замѣтно ложился на всѣ произведенія духа, а постоянная „привычка руководствоваться инстинктомъ самосохраненія вела къ господству всякаго рода матеріальныхъ побужденій надъ нравственными“.¹⁾ Общество русское переживало тотъ тяжкій періодъ бѣдствій, когда по словамъ историка, „имущества гражданъ прятались въ церквахъ, какъ мѣстахъ наиболѣе, хоть и не всегда, безопасныхъ; а сокровища нравственныя имѣли нужду также въ безопасныхъ убѣжищахъ — въ пустыняхъ, въ монастыряхъ“.

При такихъ условіяхъ, конечно, всякіе зачатки свѣтской литературы должны были исчезнуть и на долго исчезнуть, и не только занятіямъ литературнымъ, но даже и самой грамотности оказалось возможно продолжать свое существованіе только внутри монастырской ограды, только въ средѣ монашества и подъ защитою Церкви.

И дѣйствительно, если Церковь русская и до татарщины была однимъ изъ главныхъ проводниковъ византійской образованности въ древне-русскомъ обществѣ, то во время татарщины ей уже положительно выпало на долю важное значеніе единственной хранительницы тѣхъ зачатковъ просвѣщенія, какіе успѣли проявиться на нашей общественной почвѣ до XIII вѣка. Такое положеніе должна была занять Церковь русская подъ татарскимъ владычествомъ отчасти уже потому, что ей одной удалось сильно подѣйствовать на умы дикихъ кочевниковъ, нахлынувшихъ отовсюду на Русь. Ихъ не могла привлечь и поразить картина осѣдлаго, гражданственнаго быта, который застали они на Руси;

¹⁾ Соловьевъ. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ.

ихъ оружія и быстрое завоеваніе шей части русскихъ владѣній не способъ былъ даже внушать имъ и уваженія къ жденнымъ. Но суевѣрное воображеніе дикой орды было сильно поражено карю религіознаго быта древней Руси: много благолѣпно украшенныхъ храмовъ и тыхъ монастырей, блескъ и стройность нней обрядовой стороны богослуженія, дѣленность и однообразіе религіозныхъ еденій массы—все это должно было не- зинко дѣйствовать на воображеніе кочевъ, стоявшаго въ религіозномъ развитіи мъ на степени жалкаго фетишизма боль- части младенчествующихъ народовъ. По- у видно, что не оружія побѣжденныхъ Русскихъ, не ихъ нравственнаго и ум- наго превосходства бояться могуществен- ханы, а только союза ихъ съ тѣмъ не- истиннымъ Монголу христіанскимъ Богомъ, раго онъ неспособенъ былъ постигнуть момъ, и тѣмъ болѣе склоненъ былъ боять- Грозной являлась имъ рать воиновъ хри- мыхъ, облеченная во власницы и рясы, сто всякихъ доспѣховъ, съ крестомъ и педіемъ въ рукахъ, вмѣсто всякаго ору- ... И вотъ почему еще въ самомъ нача- татарщины, какъ только опредѣлились шенія побѣдителей къ побѣжденнымъ, ъ была наложена на всѣ сословія, кромѣ ьвенства: — духовенству же былъ данъ ькъ, свидѣтельствующій объ освобожде- его отъ дани и о тѣхъ льготахъ, которы- каны татарскіе, очевидно, стараются за- нить, расположить въ свою пользу рус- : духовенство. Въ этомъ ярлыкѣ ханы щались къ своимъ баскакамъ и князьямъ, цикамъ и всякаго рода чиновникамъ та- рскимъ съ объявленіемъ, что они дали жа- нныя грамоты русскимъ митрополитамъ ему духовенству, бѣлому и черному, дабы правымъ сердцемъ, безъ печали, или Бога за него и за все его племя, агословляли ихъ: не надобна съ нихъ ькая дань, никакая пошлина; никто не ьтъ занимать церковныхъ земель, водъ, ьницъ и другихъ угодій; никто не смѣетъ ъ на работу церковныхъ людей; и—что о замѣчательнѣе и многознаменатель- для исторіи русскаго просвѣщенія и ратуры — „никто не смѣетъ взять, ьрать, испортить иконъ, книгъ и акихъ другихъ богослужебныхъ

вещей“, чтобы духовные не проклинали хана, но въ покоѣ за него молились; кто вѣру ихъ похулить, наругается надъ нею, тотъ безъ всякаго извиненія умретъ злою смертью. Точно также угрожается смертною казнью и всякому баскаку или другому чиновнику татарскому, которому бы вздумалось взять какую-либо дань или пошлину съ духовенства.

Въ то время, когда, благодаря вышеука- заннымъ условіямъ, духовенство, въ періодъ тяжелаго для всей Руси татарскаго ига, ста- новилось, благодаря вышеуказаннымъ усло- віямъ, въ такое исключительно-выгодное по- ложеніе, другія историческія условія, о ко- торыхъ вовсе не мѣсто было-бы здѣсь упоминать, способствовали совершенію въ удѣльно-вѣчевомъ укладѣ древней Руси того переворота, который выразился въ постепенномъ объединеніи всей земли рус- ской около новаго, сѣверо-восточнаго цент- ра ея — около Москвы. Важность этого по- литическаго центра, конечно, должна была вскорѣ привлечь на свою сторону и тѣ луч- шія силы духовныя и умственные, которыя весьма естественно должны были сосре- доточиваться и успѣшнѣе всего развиваться въ духовенствѣ, какъ въ привилегированной, нравственно и матеріально-обеспеченной сре- дѣ. Вслѣдствіе этого Москва, съ теченіемъ времени, стала не только важнымъ политич- ескимъ и религіознымъ центромъ (послѣ перенесенія въ нее митрополіи), но и цент- ромъ дѣятельности литературной. Не вда- ваясь однако-же въ изложеніе историче- скихъ подробностей того періода, въ тече- ніе котораго Москва, вспомоцествуемая Церковью, возвышалась и стягивала около себя русскія области, мы, въ нынѣшней гла- вѣ, постараемся обозрѣть все, что, въ тече- ніе этого тягостнаго и скуднаго умственною дѣятельностью періода, внесено было нова- го въ нашу литературу.

Первое впечатлѣніе ужаса, наведеннаго на русскую землю страшнымъ татарскимъ погромомъ, еще не успѣло пройти и сгла- диться, какъ духовенство уже стало поль- зоваться имъ, какъ средствомъ, для дости- женія своихъ религіозныхъ цѣлей. Подобию тому, какъ еще и самъ древній мо- нахъ-лѣтописецъ указывалъ намъ на раз- личныя бѣдствія, а между прочимъ также и нашествія иноплемениковъ, какъ на тяж-

кое наказаніе за грѣхи и невѣріе, за пристрастіе къ языческимъ обычаямъ и нетвердость въ вѣрѣ — и проповѣдники наши во второй половинѣ XIII вѣка, тотчасъ послѣ нашествія татарскаго, точно также указываютъ на него своей паствѣ, какъ на тяжкое наказаніе, ниспосланное Богомъ за грѣхи наши, какъ на кару, которая должна образумить cadaго и заставить глубже заглянуть въ себя, понудить разстаться со всѣми грѣхами своими и беззаконіями, изъ опасенія еще большихъ бѣдствій, ожидающихъ русскую землю въ будущемъ, если бы она не покалалась и не отстала отъ „поганскихъ обычаевъ“. Тѣмъ поученій въ паствѣ, слѣдовательно, и въ XIII вѣкѣ, и въ XIV, остается та же самая; даже и приемы проповѣдниковъ—указанія на бѣдствія настоящія и на возможность будущихъ, съ цѣлью исправленія паствы—остались тѣ же; нѣсколько измѣнились только духъ проповѣдей, подъ вліяніемъ тяжелой, кровавой современности, и потому же самому въ нѣкоторыя изъ числа ихъ внесены были довольно яркія картины, какъ видно, списанныя съ только что пережитой дѣйствительности. Особенно богаты такими картинами поученія владимірскаго епископа Серапіона, котораго лѣтопись называетъ „зѣло учительнымъ и сильнымъ въ божественномъ писаніи“, и о которомъ намъ достовѣрно извѣстно только то, что въ 1274 году, онъ, изъ архимандритовъ киево-печерскаго монастыря, поставленъ былъ въ епископы владимірскіе, а въ слѣдующемъ 1275 году, скончался. Въ одномъ изъ тѣхъ семи словъ, обращенныхъ къ паствѣ, которыхъ дошли до насъ, Серапіонъ, по поводу, землетрясенія, бывшаго во Владимірѣ, указываетъ, согласно понятіямъ своего времени, на вѣщее значеніе всякихъ бѣдствій постигающихъ Русь, и посылаемыхъ на нее Богомъ за грѣхи. Въ числѣ бѣдствій упомянуто и татарское нашествіе.

„Вы слышали, братія“, — такъ говоритъ онъ въ этомъ поученіи — „какъ самъ Господь говоритъ въ евангеліи, что и въ послѣдніе годы (существованія міра) будутъ знаменія въ солнцѣ и въ лунѣ, и въ звѣздахъ, и землетрясенія, и голодъ въ разныхъ мѣстахъ; и вотъ, тогда сказанное Господомъ нашимъ сбылось нынѣ при послѣднихъ дѣ-

дахъ. Сколько разъ видѣли мы, какъ солнце затмѣвалось, и луна померкала, и звѣзды измѣняли (теченіе свое); нынѣ же пришлось намъ быть очевидцами и землетрясенія. Земля,—по повелѣнію Божию, съ самаго начала утвержденная и неподвижная,—нынѣ движется, колеблемая нашими грѣхами, и не можетъ болѣе стерпѣть на себѣ нашего беззаконія. Мы не послушали евангелія, не послушали апостола, не послушали пророковъ, не послушали свѣтлыхъ великихъ — Василія (Великаго) и Григорія Богослова, и Іоанна Златоустаго и другихъ св. святителей... И вотъ уже Богъ не устами къ намъ говорить, но дѣлами хочетъ насъ наставить... Землю потрясаетъ и колеблетъ, и хочетъ страхнуть съ нея многія наши беззаконія и грѣхи, какъ листья съ дерева. Если кто скажетъ мнѣ, что и прежде этого были также потрясенія земли, то я скажу: да; но вспомните же, что потомъ съ нами было — и голодъ, и моры, и войны многія! И мы все же не покалялись, пока по Божьему попущенію не пришелъ на насъ народъ немилостивый, и не опустошилъ земли нашей, не поплѣнилъ городовъ нашихъ, не разорилъ святыхъ церквей, не погубилъ нашихъ отцевъ и братьевъ, не наругался надъ нашими матерями и сестрами“...

Въ другомъ поученіи своемъ, повторяя почти ту же мысль, Серапіонъ рисуетъ картину татарскаго нашествія и владычества еще болѣе живыми, еще болѣе мрачными чертами: „(Богъ), видя, что наши беззаконія умножились, видя, что мы отвергли его заповѣди... навелъ на насъ народъ немилостивый, народъ лютый, народъ нещадящій юной красоты, старческой немощи и дѣтскаго возраста. Мы навлекли на себя гнѣвъ Бога нашего... (и вотъ) разрушены были божественныя церкви, осквернены священные сосуды, потоптана святыня, святители стали жертвою меча, тѣла преподобныхъ монаховъ выброшены на сѣдненіе птицамъ; кровь отцевъ и братій нашихъ, словно вода обильная, наполнила землю; крѣпость князей, воеводъ нашихъ, исчезла; храбрые наши, исполнившись страха, бѣжали; множество дѣтей и братій нашихъ были отведены въ плѣнъ; села наши поросли лядиною ¹⁾ и величіе наше смирилось, красота наша погиб-

¹⁾ Лядина—небольшой лѣсокъ, вырастающій на запущенной пашнѣ.

за, богатство наше досталось на долю других, трудъ нашъ наследовали поганые, земля наша стала достояніемъ иноплемениковъ; а мы сами стали предметомъ поношенія для сосѣднихъ земель и посмѣшищемъ для враговъ нашихъ. И все это потому, что, какъ дождь съ неба, свели на себя гнѣвъ Господень“.

Почти то же самое повторяетъ и митрополитъ кievскій Кириллъ II (1243 — 1280), поставившій Серапіона въ епископы владимірскіе, въ своемъ „Правилѣ“ (составленномъ на соборѣ 1274 г. во Владимірѣ), которымъ онъ старался установить однообразіе въ богослуженіи, устранить нѣкоторые неустройства и безпорядки, вкравшіеся въ Церковь, въ горестную эпоху первыхъ лѣтъ татарскаго владычества, и наконецъ—искоренить нѣкоторые языческіе обычаи, еще весьма распространенные въ народѣ, преимущественно на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ. Предлагая „Правило“ свое для установленія церковнаго и народнаго благочестія, митрополитъ Кириллъ указываетъ также всѣмъ вѣрующимъ на татарскій погромъ и понесенныя Русью бѣдствія только какъ на кару, постигшую наше отечество за грѣхи и за отступленіе отъ церковныхъ обычаевъ. Въ высшей степени интересно и характеристическою чертою современной проповѣди является еще то, что въ ней, рядомъ съ указаніями на татарское нашествіе, какъ на кару, ниспосланную Руси Богомъ за грѣхи, является впервые и напоминаніе о близости кончины міра и втораго пришествія. Весьма определенное напоминаніе объ этомъ встрѣчаемъ въ одномъ изъ многихъ, дошедшихъ до насъ, поученій этого времени (Слово на соборѣ Архистратига Михаила), которое приписывается тому же митрополиту Кириллу. Въ началѣ поученія своего, проповѣдникъ говоритъ о сотвореніи небесныхъ силъ, о паденіи сатаны, о сущности души человѣческой; затѣмъ излагаетъ вкратцѣ исторію ветхаго и новаго завѣта, и подробно излагаетъ то, что ожидаетъ душу человѣческую, по разлученіи съ тѣломъ, описываетъ такъ называемыя митарства и т. д. Въ особенный укоръ современному обществу ставятся: срамословіе, пляски на пирахъ, вечерахъ, игрищахъ, басыни (?), всякія позорныя

игры, плесканіе ручное, скаканіе ногами, вѣра въ ворожьбу, во встрѣчу, въ чиханье, и другіе мелкіе предрасудки. За указаніемъ современныхъ пороковъ слѣдуетъ наставленіе духовенству, въ которомъ проповѣдникъ говоритъ: „если вы исполните всѣ завѣты (т.-е. не нарушите заповѣдей Божіихъ и не будете участвовать въ вышеисчисленныхъ беззаконіяхъ), то Бога возвеселите, ангеловъ удивите, молитва ваша будетъ услышана отъ Бога, земля наша облегчится отъ иновѣрнаго ига бесерменскаго, милость Божія во всѣхъ странахъ земли русской умножится, пагубы и порчи плодамъ и скотамъ перестанутъ, гнѣвъ Божій утихнетъ, народы всей русской земли въ тишинѣ и безмолвіи проживутъ и милость Божію получать въ нынѣшнемъ вѣкѣ, особенно же въ будущемъ“. И послѣ всѣхъ этихъ увѣщаній, проповѣдникъ все же заканчиваетъ слово свое грознымъ указаніемъ на близость кончины міра, дабы напомнить о необходимости покаянія: „уже видимо кончипа міра приближилась“,— говоритъ онъ — „и урокъ ¹⁾ житію нашему приспѣлъ, и лѣта сокращаются, — сбылось уже все сказанное Господомъ: возстанетъ бо языкъ на языкъ и т. д. Говорятъ, что по прошествіи семи тысячъ лѣтъ пришествіе Христово будетъ“. То же самое, хотя и менѣе определенное указаніе на бѣдствія, тяготящія надъ Русью, какъ на возвѣщающія наступленіе послѣдняго времени, мы видѣли выше, въ началѣ одной изъ проповѣдей Серапіона, и гораздо ранѣе, въ началѣ XIII вѣка, въ „Словѣ о небесныхъ силахъ и чего ради созданъ бысть человекъ и о исходѣ души“, приписываютъ Авраамію, игумену Смоленскому (ум. 1221). Въ этомъ словѣ высказывается мысль, что „человѣкъ былъ созданъ Богомъ въ восполненіе падшихъ ангеловъ“, и что „міру суждено существовать не менѣе 7,000 лѣтъ“. „Въ послѣдніе эти три года седьмой тысячѣ Архангелы Михаилъ и Гавріилъ вострубить въ трубы и созовутъ на судъ всю вселенную“.

И такъ, за исключеніемъ весьма немногихъ, вновь прибавившихся чертъ, исключительно принадлежащихъ эпохѣ татарщины, мы видимъ, что общій характеръ русской проповѣди и въ концѣ XIII-го вѣка остался тотъ

¹⁾ Урокъ — т.-е. урочное, положенное, предназначенное время.

же, что былъ въ XI и XII столѣтіи. Та же основа, тѣ же приемы изложенія, тѣ же подробныя исчисленія всего, что заслуживаетъ порицанія въ общественныхъ нравахъ, и та же мораль въ концѣ проповѣди. Мало того, и въ это время, и въ теченіе двухъ послѣдующихъ вѣковъ, вѣроятно сохранилось и то рѣзкое различіе между простотою сѣверно-русской проповѣди и витиеватостію проповѣди южно-русской, какъ мы можемъ видѣть изъ дошедшей до насъ проповѣди новгородскаго владыки Симеона псковичамъ, живо напоминающей намъ приведенное выше поученіе древнѣйшаго изъ русскихъ проповѣдниковъ, Луки Жидята: „Благородные и христіановѣ честные мужи псковичи! Сами знаете, что кто честь воздастъ святителю, то честь эта самому Христу приходитъ, и воздающій принимаетъ отъ него награду сторицею. И вы, дѣти, честь воздавайте своему святителю и отцамъ своимъ духовнымъ со всякимъ покорствомъ и любовью, ни въ чемъ не испытывая ихъ и непрекословя имъ; на себя смотрите, самихъ себя укоряйте и судите, свои грѣхи оплакивайте; чужаго не покижайте, бѣдамъ братіи своей не радуйтесь, не мудрствуйте о себѣ и не гордитесь, но со смиреніемъ повинуйтесь своимъ отцамъ духовнымъ. Церковь Божію не обижайте, въ дѣла церковныя не вступайтесь; не вступайтесь и въ земли, и въ воды, въ суды и печать, и во всѣ пошлины церковныя, потому что всякому надобно гнѣва Божія бояться, милость Его призывать, грѣхи свои оплакивать и чужаго не брать“. Если добавить къ этимъ поученіямъ нѣсколько другихъ, исключительно посвященныхъ искорененію языческихъ обрядовъ и обычаевъ все еще сохранившихся въ народѣ грубыхъ суевѣрій, несовмѣстныхъ съ христіанствомъ, то мы почти исчерпаемъ весь запасъ важнѣйшихъ тѣмъ, входившихъ въ составъ литературной дѣятельности образованнѣйшихъ составителей нашего общества въ обозрѣваемый періодъ. Въ числѣ послѣдняго разряда поученій, замѣчательны четвертое поученіе Серапіона, въ которомъ онъ возстаетъ противъ суевѣрія народа, который приписываетъ голодъ, нѣсколько лѣтъ сряду постигшій суздальскую землю, наговорамъ волшебниковъ и волшебницъ, и пятое поученіе его „о маловѣріи“, въ которомъ порицаетъ онъ дру-

гой современный обычай—запрещеніе погребать удушенныхъ и утопленниковъ, которыхъ многіе даже отрывши изъ могилъ, указывали на ихъ погребеніе, какъ на причину различныхъ народныхъ бѣдствій. Третье поученіе, относящееся къ тому же времени, драгоцѣнное по многочисленнымъ и чрезвычайно важнымъ указаніямъ на языческіе обычаи и суевѣрные обряды, принадлежитъ неизвѣстному автору и сохранилось намъ подъ заглавіемъ: „Слово нѣкоего Христолюбца и ревнителя по правой вѣрѣ“.

Изъ всего вышесказаннаго, а равно и изъ тѣхъ образцовъ духовной литературы XIII в., какіе были нами здѣсь приведены, мы видимъ, что, не смотря на большое загробленіе общественныхъ нравовъ, произведенное эпохою татарщины, задержавшей на долго и развитіе у насъ свѣтской литературы, и развитіе образованности—быть духовенства и его литературная дѣятельность не измѣнились ни мало подъ татарскимъ игомъ. И между тѣмъ какъ въ XIII и XIV вѣкѣ мы не встрѣчаемъ никакихъ извѣстій объ училищахъ и распространеніи грамотности въ народѣ, между тѣмъ какъ не видимъ нигдѣ въ лѣтописи извѣстій объ образованности князей и бояръ (о Димитріи Донскомъ прямо говорится, что онъ не былъ хорошо изученъ книгамъ; о Василии Темномъ,—что онъ былъ не книженъ и не грамотенъ)—въ духовенствѣ, благодаря исключительно-благопріятнымъ условіямъ, въ которыя оно было поставлено, сохраняется прежняя любовь къ книжному ученію, къ собиранію и переписыванію книгъ, къ составленію сборниковъ, къ пересажденію греческихъ произведеній на русскую почву. Лѣтописи сохранили намъ, кромѣ свѣдѣній о дѣятеляхъ, намъ извѣстныхъ по дошедшимъ до насъ произведеніямъ, много и другихъ именъ мужей зѣло книжныхъ и учительныхъ, которыхъ сочиненія не дошли до насъ. Такъ напр., намъ остались совершенно неизвѣстными сочиненія Кирилла, епископа ростовскаго (1231—1262) и Симеона, епископа тверскаго (ум. 1289), и Авраамія, игумена смоленскаго, хотя свѣдѣнія, сохранявшіяся о преподобномъ Аврааміи въ его житіи, представляютъ намъ его человекомъ во многихъ отношеніяхъ весьма замѣчательнымъ. Въ этомъ житіи, составленномъ ученикомъ Авраамія, Ефремомъ, Ав-

раамій является намъ горячимъ и краснорѣчивымъ проповѣдникомъ, котораго стекались слушать всѣ граждане города; онъ умѣлъ такъ вразумительно и ясно истолковывать своей паствѣ Св. Писаніе, что его одинаково понимали люди всѣхъ сословій и всѣхъ возрастовъ. Въ то же время занимался онъ и живописью, въ которой любимымъ сюжетомъ его было изображеніе страшнаго суда и странствованій души по мытарствамъ. Въ связи съ этимъ исключительно мистическимъ направленіемъ, выразившимся и въ живописныхъ произведеніяхъ Авраамія, стоитъ, вѣроятно, и въведенное на него современнымъ духовенствомъ обвиненіе въ томъ, что онъ „читаетъ еретическія глубинныя книги“ — обвиненіе, вынудившее его даже искать спасенія отъ преслѣдованій въ бѣгствѣ. Само собою разумѣется, что чѣмъ далѣе углубляемся мы въ XIII вѣкъ, тѣмъ болѣе замѣчаемъ, что дѣятельность литературная сосредоточивается исключительно въ средѣ монастырской, отдѣленной отъ мірскихъ тревожныхъ толпами стѣнами монастырской ограды и защищенной отъ бѣдствій татарщины милостивыми рыцарями могущественныхъ хановъ. Монастырская литература, не прекращаясь, продолжаетъ свое существованіе и въ монастыряхъ сѣверо-восточной Руси, въ томъ же видѣ, въ какомъ она зачалась въ монастыряхъ Руси юго-западной. Житіе и лѣтописи являются и здѣсь главными литературными родами, надъ которыми въ тишинѣ и уединеніи трудятся авторы-монахи. Житія, извѣстныя уже и прежде, старательно переписываются; накапливается матеріалъ и для написанія новыхъ, сѣверно-русскихъ житій, которыми такъ богата оказалась наша литература XV вѣка. Продолжаются по прежнему, и лѣтописи, почти всюду, гдѣ онѣ велись прежде. Сверхъ того, ведутся лѣтописи новыя въ Твери и въ Ростовѣ; а около половины XIV вѣка начинается, наконецъ, и лѣтопись великаго княжества московскаго, въ которой даваемо было мѣсто событіямъ и не московскимъ, но подробнѣе и тщательнѣе заносимы были событія собственно московскія. Однакоже, тягостная эпоха татарщины и новыя историческія условія быта въ сѣверо-восточной Руси наложили свою особую печать на эту новую сѣверную, монастырскую лѣтопись Г. Соловьевъ прекрасно характеризуетъ эту лѣ-

топись въ своей исторіи. Въ лѣтописи сѣверной — говоритъ онъ — „нѣтъ болѣе живой драматической формы разсказа, въ какой историкъ привыкъ къ южной лѣтописи; въ сѣверной лѣтописи дѣйствующія лица дѣйствуютъ молча: воюють, мирятся, но ни сами не скажутъ, ни лѣтописецъ отъ себя не прибавитъ, за что воюють, вслѣдствіе чего мирятся; въ городѣ, на дворѣ княжескомъ ничего не слышно, все тихо; всѣ сидятъ, запершись, и думаютъ думу про себя; отворяются двери, выходятъ люди на сцену, дѣлаютъ что нибудь, но дѣлаютъ молча. Конечно, здѣсь выражается характеръ эпохи, характеръ цѣлаго народонаселенія, котораго дѣйствующія лица являются представителями: лѣтописецъ не могъ выдумывать рѣчей, которыхъ онъ не слыхалъ; но съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что самъ лѣтописецъ не разговорчивъ, ибо въ его характерѣ отражается также характеръ эпохи, характеръ цѣлаго народонаселенія; какъ современникъ онъ зналъ подробности любопытнаго явленія и, однако, записалъ только, что „много нѣчто нестроенія бысть“.

Кромѣ веденія лѣтописей, кромѣ собиранія матеріаловъ по составленію сѣверно-русскаго патерика, въ стѣнахъ монастырей продолжали, по прежнему, переписывать оригинальныя русскія и переводныя съ греческаго произведенія предшествовавшихъ вѣковъ XI, XII и XIII. Такъ отъ XIV столѣтія дошли до насъ два замѣчательныхъ сборника поученій и другихъ статей: „Памсіевскій“ и „Златая Цѣпь“. Нельзя не обратить вниманія на нѣкоторые произведенія XIV вѣка, особенно характерно отражающія на себя состояніе умовъ въ современномъ обществѣ. Такъ, напримѣръ, нельзя не отмѣтить одного перевода съ греческаго, который въ такой степени обратилъ на себя вниманіе грамотныхъ современниковъ, что даже въ лѣтописи, подъ 1384 годомъ, находимъ упоминаніе о немъ. То было одно изъ многихъ поэтическихъ твореній византійскаго писателя Георгія Писиды (жившаго въ VII в.), подъ заглавіемъ „Мірозданіе“. На русскій языкъ оно переведено было какимъ-то Дмитріемъ Зографомъ или Зографомъ (т. е. живописцемъ) и озаглавлено такъ: „Похвала Богу о сотвореніи всякой твари“. Въ произведеніи этомъ описываются „шесть дней творенія“ — одна изъ любимѣйшихъ

тѣмъ у византийскихъ духовныхъ поэтовъ. Русскихъ грамотныхъ людей, повидимому, интересовали въ подобныхъ произведеніяхъ, именно тѣ свѣдѣнія о природѣ, которыя можно было почерпнуть изъ нихъ. Такія свѣдѣнія о природѣ, хоть и въ формѣ весьма скудныхъ, отрывочныхъ замѣтокъ, перемежающихся съ разными суевѣріями византийскаго же происхожденія, и прежде XIV в. уже заносились въ кругъ чтенія русскихъ грамотѣвъ. Такъ, уже выше (на стр.) упоминали мы о томъ, что еще въ „Изборникѣ Святославовомъ“ 1073 г. встрѣчаемъ свѣдѣнія о чудодѣйственной силѣ камней, о составѣ человѣческаго тѣла изъ четырехъ стихій: огня, воздуха, земли и воды, о соотношеніи между здоровьемъ человѣка и различными мѣсяцами года. Болѣе правильныя въ научномъ отношеніи свѣдѣнія реальныя занесены были на Русь въ твореніяхъ Іоанна, Экзарха болгарскаго, которыя также очень рано явились у насъ (вѣроятно въ XI же или въ концѣ XII вѣка). Примѣру Іоанна, Экзарха болгарскаго (сообщавшаго въ своемъ „Шестодневѣ“ или толкованіяхъ на шестидневное твореніе выписки изъ Аристотеля и отцевъ церкви, въ подтвержденіе своихъ собственныхъ объясненій) послѣдовалъ у насъ на Руси, въ XIV вѣкѣ, Св. Кирилль, знаменитый основатель и игуменъ кирилло-бѣлозерской обители (род. 1337; ум. 1427). Въ числѣ его сочиненій, о которыхъ намъ еще придется говорить далѣе, сохранились и два составленные имъ сборника, которые содержатъ въ себѣ различныя выписки изъ отцевъ церкви—о церковномъ благочиніи, пустынничествѣ и другихъ религіозныхъ предметахъ—свидѣтельствующіе о замѣчательной начитанности св. Кирилла. Въ одномъ изъ этихъ сборниковъ, онъ, между прочимъ, пересказывая народныя суевѣрія, старается обличить ихъ, и употребляетъ при этомъ замѣчательно вѣрный приемъ:—рядомъ съ обличеніями своими онъ помѣщаетъ и научныя объясненія явленій природы, заимствованныя имъ изъ сочиненій знаменитаго греческаго врача, Галлена (живш. въ II в. по Р. Хр.): объ устроеніи земли, о раз-

стояніи земли отъ неба, моряхъ, облакахъ, землетрясеніяхъ, громѣ, молніи и т. д. Но всѣ эти свѣдѣнія, — скудныя и отрывочныя. Большею частью невѣрныя уже и въ самомъ источникѣ, изъ котораго они были заимствованы, и еще болѣе сдѣлавшіяся невѣрными вслѣдствіе неискущества переводчиковъ, — конечно не въ состояніи были поднять уровень образованія даже и въ тѣсномъ кругѣ русскихъ грамотныхъ людей XIV столѣтія. Намъ сохранился отъ половины того-же вѣка памятникъ въ высшей степени замѣчательный уже потому, что отчетливо и ясно очерчиваетъ намъ тотъ кругъ понятій о природѣ, и ту степень религіозно-нравственнаго развитія, на которой стояли въ это время лучшіе люди русской интеллигенціи, высшіе представители духовнаго, слѣдовательно наиболѣе грамотнаго и развитаго сословія. Памятникъ этотъ — знаменитое посланіе новгородскаго архіепископа Василия къ тверскому епископу Θεодору „О земномъ раѣ“. Посланіе это было написано по поводу споровъ, возбуждавшихся въ средѣ тверскаго духовенства о томъ: „удѣлѣтъ-ли еще на землѣ земной рай, насажденный Богомъ для Адама, или уже не существуетъ болѣе рай земной, а только мысленный“? Архіепископъ Василій (былъ возведенъ въ санъ архіепископа въ 1330; умеръ въ 1352), прозванный Калѣкой (можетъ быть вслѣдствіе своихъ странствованій въ Святую землю, такъ какъ странники эти часто носили названіе каликъ или калѣкъ—перехожихъ)—человѣкъ, повидимому, бывалый и много видѣвшій на своемъ вѣку—сильно возмущается въ своемъ посланіи противъ мнѣнія епископа Θεодора и другихъ тверичей, будто рай на землѣ не сохранился болѣе. Различными доводами старается онъ при этомъ доказывать, что на востокѣ несомнѣнно сохранился насажденный Богомъ для Адама „земной рай“, а на западѣ — адъ. Въ числѣ доводовъ своихъ приводитъ онъ между прочимъ и рассказы новгородскихъ путешественниковъ. Памятникъ этотъ важенъ въ историко-литературномъ отношеніи, и мы его цѣлкомъ приводимъ здѣсь.

Посланіе архієпископа новгородскаго Василя ко владыкѣ тверскому Феодору.

илій, милостію Божією архієпископъ юдскій, священному епископу Феодорскому, брату о Господѣ.

родать и миръ отъ Бога Отца Вседеря твоему священству и всему священному собору, игуменамъ, іереямъ и дѣтямъ. Такъ какъ смиреніе наше и святоборъ священный, игумены и іерей, и о томъ, что учинилось у васъ въ Твѣомежду васъ, людей Божіихъ, поспѣмъ и по совѣту діавола и лихихъ лю- (мы слышали о распрѣ, бывшей у по поводу того честного рая) — а и тѣ много дней въ изысканіи исправбожественнаго закона, и вотъ пишу мбо мы, братъ, должны, по Божію поію, другъ другу каяться о божественписаніяхъ, переданныхъ намъ отъ св. мовъ и великихъ святителей; и какъ а. аностолы безпрестанно посмляли другъ посланія, такъ и намъ слѣдуютъ: мы поставлены на ихъ мѣсто — въ чему призванъ, тотъ пусть въ томъ бываетъ.

шамъ я, братъ, что ты повѣствуешь: въ которомъ былъ Адамъ, не сущесбогъ; ну а мы, братъ, не слыжали, чтобы онъ уничтожился, и въ пинигдѣ не нашли о томъ святомъ раѣ; ъ мы знаемъ изъ святаго Писанія, что насадилъ рай на востокѣ, въ Эдемѣ, мѣ въ него человека и заповѣдалъ жазавъ: „если соблюдеши слово мое, деши живъ; если же не соблюдеши его, умрешъ смертію и да виидеши въ ту млю, отъ которой ты взятъ“. Онъ же человекъ) преступилъ заповѣдь Бо: былъ изгнанъ изъ рая, и горько оплаъ его, восклицая: „о рай пресвѣтлѣй, еня насажденный и затворенный изъмы! Помоли того, кто сотворилъ тебя а создалъ, дабы мнѣ еще пришлось иться отъ цвѣтовъ твоихъ“. Тогда скаюму Спасъ: „не хочу погубить созданМною, а только спасти и привести въ ный разумъ“; — и общалъ ему, что ще разъ войдетъ въ рай... Въ Пареминенуются и 4 рѣки, идущія изъ рая: „Нилъ, Фисонъ, Евфратъ съ востока.

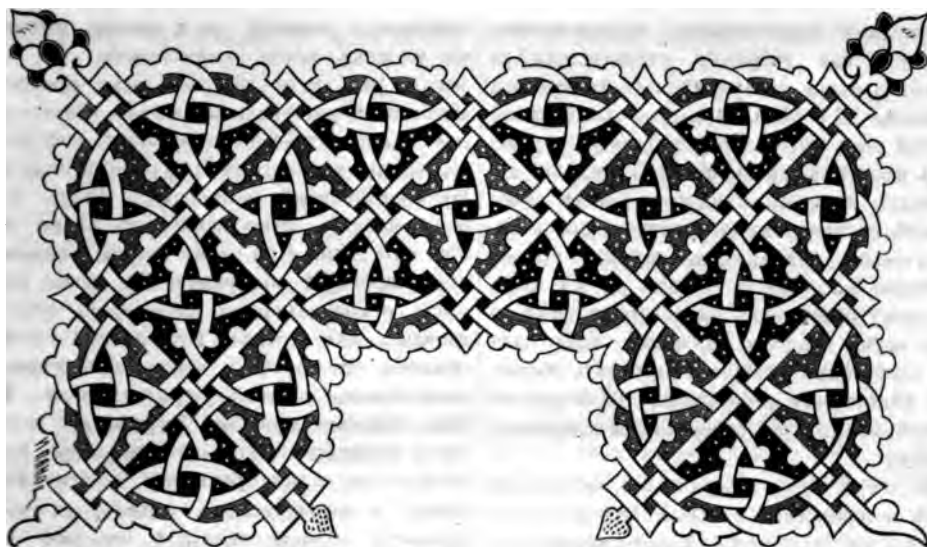
Нилъ же подъ Египтомъ, ловять въ немъ силлоди (?), течетъ съ высокихъ горъ, которыя (простираются) отъ земли и до неба, а мѣсто то непроходимо для людей, а на верху его Рихмане живутъ. А вотъ же, братъ, въ Прологѣ, для всѣхъ очевидно, въ чудесахъ св. Архангела Михаила, что онъ, взявъ праведнаго Еноха, посадилъ его въ честномъ раю; да вотъ и Илія святой въ раю же сидитъ, — находилъ его тамъ и Агапій святой, и часть хлѣба (у него) взялъ; а св. Макарій жилъ даже за 20 поприщъ отъ св. рая; и Евфросинъ святой былъ въ раю и три яблока принесть изъ рая и далъ игумену своему Василю, и отъ нихъ даже было много исцѣленій. И теперь, братъ, тебѣ представляется (рай) мысленнымъ! — но все мысленное представляется видѣніемъ; а то, что Христосъ сказалъ въ евангеліи о второмъ пришествіи — и то вы ужъ не называете ли мысленнымъ? Тѣмъ, которые будутъ по правую руку отъ Него, Онъ скажетъ: „прійдите, благословенные Отцемъ Моимъ, наслѣдуйте царствіе, приготовленное вамъ прежде сотворенія міра“; а тѣмъ, что будутъ по лѣвую руку отъ Него скажетъ: „отойдите отъ Меня, проклятые. въ вѣчный огонь, приготовленный діаволу и его ангеламъ; „не вамъ“ — скажетъ — „приготовилъ Я тѣ мученія, по діаволу и его ангеламъ“. О тѣхъ двухъ мѣстахъ Іоаннъ Златоустъ сказалъ: „насадилъ Богъ рай на востокѣ, а на западѣ приготовилъ мученія; такъ точно, какъ во дворѣ царскомъ утѣхи и веселье, а внѣ двора — темница“. А вотъ что говоритъ священномученикъ Патрикій: „два мѣста приготовлены (Богомъ) одно исполнено благъ, а другое — тьмы и огня“. Но не дозволено Богомъ, братъ мой, чтобы люди могли видѣть святой рай, а муки и доселѣ (еще можно видѣть) на западѣ; многіе изъ дѣтей моихъ Новгородцевъ тому свидѣтелями: на дышущемъ море (видѣнъ) червь неусыпающій, (слышенъ) скрежетъ зубовъ и (течетъ) рѣка молненная Моргъ; видно даже, какъ вода входитъ въ препсподию и вторично выходитъ изъ нея три раза на день. И если всѣ тѣ мѣста мученій не пропали, то скажи мнѣ, братъ,

какъ бы могло исчезнуть это святое мѣсто (т.-е. рай), въ которомъ Пречистая Богородица и множество святыхъ (пребываютъ), которые, по воскресеніи Господнемъ, явились многимъ въ Іерусалимѣ, и потомъ снова возвратились въ рай? Ибо имъ было сказано: „пламенное оружіе уже не охраняетъ болѣе эдемскихъ воротъ; ибо пришелъ мой Спасъ, восклицая къ вѣрнымъ: входите снова въ рай!“ А вотъ еще, братъ, въ Блаженнѣ сказано: „врагъ, ради древесной свѣди (т.-е. плода), Адама вывелъ изъ рая, а Христосъ крестомъ ввелъ въ него разбойника“. Когда же приближалось представленіе Владычицы нашей Богородицы, ангелъ, въ образѣ воробья, принесъ ей вѣтвь изъ рая, указывая этимъ, гдѣ ей (надлежитъ) быть; а ежели рай мысленный, то зачѣмъ же эту вѣтвь принесъ ей ангелъ, а не мысленную? Ту вѣтвь и апостолы видѣли, и множество невѣрныхъ жидовъ. Ни одно изъ дѣлъ Божіихъ, братъ мой, не можетъ быть тлѣнно; всѣ дѣла Божіи — нетлѣнны. И собственными глазами видѣлъ, братъ, что вотъ какъ затворилъ своими руками Христосъ городскія ворота (въ Іерусалимѣ), идучи на добровольное мученіе, такъ ихъ и до сихъ поръ отворить не могутъ; а какъ Христосъ постился надъ Іорданомъ, такъ я своими глазами (и нынѣ) видѣлъ его постницу, и тѣ сто финиковыхъ деревьевъ, которыя Христосъ насадилъ, и до нынѣ стоятъ недвижими, не погибли, не погнили. Или, можетъ быть, ты, братъ, думаешь про себя: коли Богъ на востокѣ насадилъ рай, такъ какъ же это въ Іерусалимѣ отыскалось тѣло Адамово? Такъ развѣ же ты не знаешь, братъ, службу ангельскую, какъ скоро они ее совершаютъ: служатъ Богу безъ произнесенія рѣчей, во мгновенія ока переносятся черезъ всю землю и перелетаютъ черезъ всѣ небеса? Богу возможно Адама единымъ словомъ изъ рая перенести въ Іерусалимъ. Такъ Херувиму повелѣлъ онъ охранять эдемскія ворота, а когда Адамъ воскресъ, то повелѣлъ ему вступить въ рай, и множеству святыхъ виѣстѣ съ нимъ — и

слово, и исполненіе у него быстро слѣдуютъ одно за другимъ.

А то мѣсто св. рая находилъ и Моисей Новгородецъ съ сыномъ своимъ Яковомъ; всѣхъ ихъ было три юны, и одна изъ нихъ погибла послѣ долгихъ блужданій; а двѣ другія потомъ долго носило вѣтромъ и принесло къ высокимъ горамъ. И видѣли они, что на той горѣ чудной лазурью написанъ Деисусъ удивительно громадный по размѣру, какъ бы не человѣческими руками сотворенный, но Божьей благодатью; и свѣтъ въ томъ мѣстѣ былъ самосіянный, такой, что человѣку и не пересказать: и долго оставались они на томъ мѣстѣ, а солнца не видѣли, хотя свѣтъ былъ и сильный, болѣе сильный, нежели свѣтъ солнца; а на тѣхъ горахъ слышны были многія ликованія и веселые голоса. И повелѣли они одному изъ друзей своихъ взойти по шеглѣ (бревну съ зарубками) на ту гору, дабы посмотрѣть, что это за свѣтъ, и откуда несутся эти ликующіе голоса; и когда онъ взошелъ на ту гору, то всплеснулъ руками и засмѣялся, и побѣждалъ отъ друзей своихъ по направленію къ голосу. Они же очень тому удивились, и послали другаго, наказавъ ему, чтобы онъ къ нимъ возвратился и сказалъ, что тамъ такое на горѣ; но и тотъ сдѣлалъ тоже самое: и не думалъ возвратиться къ нимъ, а съ великою радостью побѣждалъ отъ нихъ прочь. Тогда они перепугались, и начали раздумывать про себя, говоря: „если бы даже и смерть приключилась, а все же намъ слѣдовало бы видѣть свѣтлость этого мѣста“ — и послали третьяго на гору, привязавъ его за ногу веревкой; и тотъ также хотѣлъ сдѣлать (какъ первые два), радостно всплеснулъ руками и побѣждалъ, забывъ въ радости о веревкѣ на ногѣ своей; а они и сдернули его веревкой, и онъ оказался мертвымъ. Тогда они побѣжали (на лодьяхъ своихъ) обратно; не дано имъ было болѣе видѣть ту неизреченную свѣтлость, ни слышать тамошняго веселія и ликованія; а тѣхъ мужей, братъ мой, еще и понынѣ дѣти и внучата живутъ въ добромъ здоровьѣ.





VII.

Лѣтописныя повѣсти и сказанія. — Задонщина.



авѣ нежели мы перейдемъ къ о-
зору нѣкоторыхъ литературныхъ
родовъ, получившихъ преимущест-
венное развитіе въ XIV вѣкѣ, намъ необхо-
димо будетъ сказать нѣсколько словъ объ
особомъ значеніи монастырей на нашемъ
русскомъ сѣверо-востоцѣ.

Тамъ, около новаго центра русской поли-
тической жизни, являются и новыя центры
жизни духовной и умственной. Какъ около
Кіева явился столь замѣчательный въ исто-
ріи нашего просвѣщенія и литературы мо-
настырь кіево-печерскій, воспитавшій въ
стѣнахъ своихъ Феодосія, Нестора, Поли-
карпа и Серапіона, такъ и около молодой,
еще не окрѣпшей, Москвы явился монастырь
Троицкій, основанный св. Сергіемъ. Изъ
него-то, какъ изъ центра, сильными лучами,
во всѣ стороны, разошлись колоніи сподвиж-
никовъ и учениковъ св. Сергія, основавшихъ

множество новыхъ монастырей по всему ли-
цу земли русской. Не вдаваясь въ подроб-
ности исторіи нашихъ монастырей, мы дол-
жны однакоже замѣтить, что монастыри на-
ши на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ Руси имѣли
нѣсколько особый, отдѣльный отъ южно-рус-
скихъ монастырей характеръ. Среди непро-
ходимыхъ болотъ и пустынь, среди дрему-
щихъ лѣсовъ, они почти всюду являлись про-
водниками цивилизаціи и новыхъ началъ
жизни гражданской. Вотъ почему, вѣ-
роятно, уже очень рано монастыри приобрѣ-
гаютъ у насъ важное значеніе политиче-
ское, и духовные дѣятели, стоящіе во главѣ
ихъ, вскорѣ начинаютъ оказывать немало-
важное вліяніе на общій ходъ жизни госу-
дарственной. Уже со второй половины XIV
вѣка, св. Сергій и подобные ему подвиж-
ники начинаютъ вступаться въ междоузя-
жескіе раздоры, являются смиренными при-

мирителями необузданных политических страстей или твердыми увещателями къ борьбѣ противъ татаръ. Отсюда-то, начиная съ конца XIV вѣка, является даже цѣлый особый родъ литературы духовной — проповѣдь политическая, въ видѣ посланій духовныхъ лицъ къ князьямъ. Этотъ родъ, вмѣстѣ съ проповѣдью обличительной и полемической, направленной противъ ересей, особенно развивается у насъ въ XV вѣкѣ, и потому будетъ еще разсмотрѣнъ нами въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, такъ какъ эту главу намъ придется посвятить обзорѣ нѣкоторыхъ любопытныхъ особенностей нашей литературы, современной татарскому періоду.

Въ числѣ этихъ особенностей, въ литературѣ исторической являются сказанія объ отдѣльных лицахъ историческихъ и объ отдѣльных событіяхъ, которые обращали на себя преимущественное вниманіе современниковъ по важности своего значенія или поражали ихъ воображеніе какими нибудь чудесными, необычайными обстоятельствами. Сказанія написаны, по большей части, современниками, очевидцами и участниками въ описываемыхъ событіяхъ. Они сохраняютъ драгоцѣнныя для исторіи подробности событій и не менѣе драгоцѣнныя воззрѣнія. Къ такимъ сказаніямъ принадлежатъ многие рассказы первоначальной лѣтописи, преимущественно сказанія о Борисѣ и Глѣбѣ, объ осѣпленіи Василька ⁴⁾. Последующія лѣтописи представляли также много отдѣльных сказаній: напр., сказаніе объ убіеніи Андрея Боголюбскаго, о распрѣ его братьевъ съ племянниками, о походѣ Игоря на Половцевъ, о Липицкой битвѣ, о битвѣ при Калкѣ, о нашествіи Батые и т. д. Сказанія эти, впрочемъ, не только вставлялись въ лѣтописи, но появлялись въ видѣ отдѣльных статей и въ сборникахъ, подъ различными названіями: повѣданій, повѣстей, сказаній и словъ. Особенно возросло число этихъ сказаній послѣ татарскаго погрома. Главною тѣмою и главными сюжетами всѣхъ этихъ произведеній являлись на сѣверо-востокѣ отношенія къ ордѣ и борьба съ татарами; на сѣверо-западѣ — борьба Новгородъ и Пскова съ нѣмцами, Литвою и шведами. Не только самая форма этихъ от-

дѣльных сказаній, но и способъ изложенія въ нихъ — очень замѣчательны: они являются уже чисто-литературными произведеніями, въ которыхъ выражается сознательное желаніе извѣстнымъ образомъ освѣтить, восхвалить, украсить цѣлымъ рядомъ подробностей извѣстный историческій фактъ или рядъ фактовъ, относящихся къ жизни извѣстнаго лица. При этомъ авторы сказаній явно заботятся объ украшеніи своего разсказа, о преувеличеніи качествъ въ описываемыхъ ими герояхъ: вотъ почему самыя сказанія эти получили совершенно вѣрное наименованіе сказаній украшенныхъ. Въ нихъ дѣйствительно все украшено: и событія украшены сверхъестественными подробностями, и лица украшены такими качествами и добродѣтелями, какими, въ совокупности, едва-ли обладалъ кто-либо изъ смертныхъ. Вотъ, напримѣръ, какъ сочинитель „сказанія о великомъ князѣ Александрѣ Невскомъ“, современникъ и приближенный ему человекъ, слышавшій отъ него самаго разсказъ о Невской битвѣ, описываетъ своего героя. Въ началѣ сказанія онъ говоритъ, что собирается разсказывать „о великомъ князѣ нашемъ Александрѣ Ярославичѣ, объ умномъ, кроткомъ, и смилосердномъ, и храбромъ соименникѣ царя Александра македонскаго, подобномъ крѣпости и храбростію царю Алевхису (Ахиллосу)“. Затѣмъ, подкрѣпивъ „грубымъ умъ свой и слабыя силы молитвою къ Пресвятой Богородицѣ“, авторъ разсказываетъ о происхожденіи Александра Невскаго отъ благочестивыхъ и боголюбивыхъ родителей и такъ описываетъ его внѣшность: „ростомъ онъ былъ больше всѣхъ другихъ людей, голосъ его раздавался въ народѣ, какъ труба, а лице у него было, какъ у Іосифа Прекраснаго, а сила его равнялась половинѣ силъ Самсоновыхъ; и далъ ему Богъ Соломонову премудрость, а храбрость римскаго царя Еуспасьяна (Веспасіана)“. Это сравненіе лицъ историческихъ русскихъ, по чертамъ лица и характера, съ лицами библейскими или съ героями классической древности (на сколько она, по отрывкамъ западныхъ сказаній, была извѣстна русскимъ книжникамъ) чрезвычайно ослабляетъ литературное достоинство сказаній и придаетъ имъ блѣдность и без-

⁴⁾ Вестужевъ-Рюминъ, Русская Исторія, Ч. I, 37 — 38.

жизненность, напоминающую намъ множество подобныхъ же произведеній западной средневѣковой литературы, также написанныхъ монахами книжниками, далекими отъ волненій дѣйствительной жизни, исключительно преданными изученію св. писанія и немногихъ другихъ книгъ своего небольшого монастырскаго книгохранилища: изъ него они и видятъ себя вынужденными переработать образы для своего поэтическаго вдохновенія, такъ какъ жизнь внѣ-монастыр-

ходъ Магнуса, сначала грозившій большою опасностью новгородцамъ и православію, не удался; и на родинѣ Магнуса ожидали неудачи и бѣдствія: онъ вовлеченъ былъ въ междоусобную войну со своими сыновьями, потомъ свергнутъ вельможами съ престола и, послѣ пятилѣтняго томленія въ плѣну, скончался въ Норвегіи, въ 1374 г. Эта историческая основа, вѣроятно, поразила трагическою стороною дѣйствительности современныхъ новгородскихъ книжниковъ,



Троице-Сергіевская лавра близъ Москвы.

ская для нихъ не существуетъ, а та, — среди которой они живутъ въ стѣнахъ своей обители, — можетъ настроить ихъ воображеніе только на одинъ религіозно-нравственный ладъ.

Любопытнѣйшимъ изъ этихъ сѣверо-западныхъ украшенныхъ сказаній нашихъ является конечно—Рукописаніе Магнуша, короля свѣйскаго. Основую ему послужилъ дѣйствительный историческій фактъ. Шведскій король, Магнусъ Эриксоу, предпринималъ крестовый походъ противъ Новгорода; по-

которымъ, конечно, при ихъ постоянныхъ торговыхъ сношеніяхъ съ Швеціею, стали вскорѣ извѣстны всѣ обстоятельства жизни нѣкогда грознаго для нихъ Магнуса, и побудила одного изъ нихъ къ составленію „Рукописанія Магнуша“. Въ немъ, въ формѣ русскихъ записокъ, Магнусъ рассказываетъ всю свою жизнь и бѣдствія, постигшія его будто бы за то, что онъ преступилъ противъ Новгорода крестное цѣлованіе, и даетъ совѣты дѣтямъ своимъ, чтобы они не воевали съ Новгородомъ, если не хотятъ под-

вергнуться такимъ же бѣдамъ и напастьмъ.

„Я, Магнустъ, король шведскій, нареченный во св. крещеніи Григорій, отходя отъ свѣта сего, пишу рукописаніе при жизни своей, и приказываю своимъ дѣтямъ, своей братьѣ и всей землѣ шведской: не наступайте на Русь на крестномъ цѣлованіи, потому что намъ не удастся“. (За этимъ слѣдуетъ перечисленіе всѣхъ неудачныхъ шведскихъ походовъ на Русь, начиная отъ Биргера, сражавшагося съ Александромъ Невскимъ, до самаго Магнуса). „Послѣ похода моего“, — продолжаетъ Магнустъ, — „нашла на нашу землю шведскую погибель, потопъ, моръ, голодъ и междоусобная война. У меня самого отнялъ Богъ умъ, и просидѣлъ я цѣлый годъ задѣланъ въ палатѣ, прикованный на цѣпи; потомъ пріѣхалъ сынъ мой изъ Мурманской (Норвежской) земли, вынулъ меня изъ палаты и повелъ въ свою землю мурманскую. Но и на дорогѣ опять поднялась буря, потопила корабли и людей моихъ, самого меня вѣтеръ носилъ три дня и три ночи, наконецъ принесъ подѣ монастырь св. Спаса, въ Полную рѣку; здѣсь монахи сняли меня съ доски, внесли въ монастырь, постригли въ чернецы и схиму, послѣ чего и живу я три дня и три ночи; а все это меня Богъ наказалъ за мое высокоуміе, что наступалъ я на Русь вопреки крестному цѣлованію. Теперь приказываю своимъ дѣтямъ и братьямъ: не наступайте на Русь на крестномъ цѣлованіи; а кто наступитъ, на того Богъ, и огонь, и вода, которыми я былъ казненъ; а все это сотворилъ мнѣ Богъ къ моему спасенію“.

Первая изъ только-что упомянутыхъ нами повѣстей принадлежитъ XIII вѣку; вторая—XIV. Къ XIII же вѣку относятся „Рязанское сказаніе о нашествіи Батмъ“ и сказаніе „объ убіеніи Михаила Черниговскаго и боярина его Θεодора въ ордѣ отъ Батмъ“; сказаніе „о благовѣрномъ князѣ Довмонтѣ и о храбрости его“. Къ XIV вѣку, въ теченіе котораго этотъ литературный родъ особенно укоренился и развился у насъ, относятся, — кромѣ „Магнушева рукописанія“, — „сказаніе объ убіеніи кн. Михаила Тверскаго въ ордѣ отъ Узбека“, „о взятіи и разореніи Москвы Тохтамышемъ“, „повѣсть о спасеніи Москвы отъ Тамерлана“, „слово о томъ, какъ бился Витовтъ съ Темиръ-Кутлуемъ“, „слово о житіи и преставленіи Дмитрія Донскаго“;

наконецъ—цѣлый рядъ сказаній „о Мамаевомъ побойщѣ“.

Изъ этого простаго перечисленія видно, что главный интересъ всѣхъ повѣстей и сказаній, сохранившихся намъ отъ XIII и XIV вѣка, вращается около одной главной основы — татарскаго ига и борьбы противъ татаръ. Этотъ живой интересъ придалъ нѣкоторымъ изъ однообразныхъ и риторически-напыщенныхъ сказаній, повѣстей и словъ, живы краски поэтическаго одушевленія. Такимъ одушевленіемъ особенно отличается „Рязанское сказаніе о нашествіи Батмъ“, которое мы передадимъ здѣсь вкратцѣ, а въ добавленіи къ главѣ сообщимъ тоже самое сказаніе въ поэтическомъ пересказѣ Л. Мея.

„Пришелъ за грѣхи наши безбожный царь Батмъ на русскую землю съ множествомъ войска татарскаго, и сталъ на рѣкѣ Воронежѣ, и послалъ къ князю Юрію Игоревичу Рязанскому пословъ, требуя десятины отъ всего: и отъ князей, и отъ людей, и отъ коней“. Такъ начинается русское сказаніе, тѣсно связанное съ другимъ сказаніемъ „о перенесеніи чудотворнаго образа Николи Зарайскаго изъ Корсуна въ Рязань“. Затѣмъ описываются совѣщанія князей, которые рѣшаютъ отправить къ Батмю молодаго князя Θεодора Юрьевича съ дарами и просьбамъ, не воевать рязанской земли. Князь Θεодоръ ласково былъ принять Батмемъ, который взялъ отъ него и дари... но тутъ одинъ рязанскій бояринъ — измѣнникъ — шепнулъ хану, что у Θεодора жена — красавица; Батмъ потребовалъ, чтобы Θεодоръ показалъ ему жену; на это тотъ улыбнулся и отвѣчалъ ему: „когда насъ одолѣешь, тогда и женами нашими владѣть будешь“. Батмъ приказалъ убить Θεодора и сопровождавшихъ его князей и бросить тѣла ихъ звѣрямъ и птицамъ на растерзаніе. Одинъ изъ пѣстуновъ князя, именемъ Аполонница, успѣлъ скрыть на кѣ которое время тѣло возлюбленнаго имъ питомца и поспѣшилъ съ вѣстью о смерти его къ благовѣрной княгинѣ Евпраксіи, женѣ Θεодора Юрьевича. Блаженная княгиня Евпраксія стояла на стѣнѣ своего высокаго терема и держала на рукахъ сына своего Ивана, когда къ ней пришелъ Аполонница съ горестною вѣстью о мученической кончинѣ супруга ея; и вотъ, едва услышала она эту вѣсть, какъ вмѣстѣ съ сыномъ бросилась внизъ съ высокой стѣны и убилась до смер-

ти. — Тогда князь Юрій Игоревичъ Рязанскій, съ другими сосѣдними князьями, выступилъ на встрѣчу полчищамъ татарскимъ, и произошла съча ужасная: „одному приходилось“ — по выраженію сказанія — „биться съ тысячами, а двоимъ — съ тьмами“. Первый палъ въ битвѣ братъ Юрія, Давидъ Игоревичъ. Увидѣвъ это, Юрій въ горести воскликнулъ: „братія моя милая, дружина ласковая, узорочье и воспитаніе рязанское, мужайтесь и крѣпитесь; братъ нашъ Давидъ прежде насъ испилъ чашу, — и мы ли ее не выпьемъ!“ Удалцы же и рѣзвцы рязанскіе такъ крѣпко бились, что даже земля подъ ними стонала и Батыевы полки пришли въ смятеніе. Однако же несмѣтное множество полковъ одолѣло горсть храбрыхъ ни одинъ не ушелъ: „всѣ равно пали и испили единую общую чашу смерти, всѣ полегли тамъ вмѣстѣ“. Одинъ только Олегъ Игоревичъ, по прозванію Красный, взялъ былъ, израненный, въ плѣнъ Батыемъ, но и тотъ пріѣлъ вѣнецъ мученическій, ибо началъ укорять Батыя, называя его безбожнымъ и врагомъ христіанства, и тотъ повелѣлъ изрубить его въ куски. Вслѣдъ за битвою, полчища татарскія осадили Рязань, взяли ее послѣ долгой и храброй обороны, и сравняли съ землею. Тогда вдругъ, съ небольшою горстью избѣгавшихъ гибели рязанцевъ является мститель своихъ соотчичей одинъ изъ великожъ рязанскихъ, по имени Евпатій Коловратъ. Со стороны Чернигова, гдѣ онъ собиралъ подать для своего князя, этотъ удалецъ внезапно ударяетъ на татарскія полчища и начинаетъ избивать ихъ нещадно. Татары понять не могутъ, откуда явился этотъ исполинъ со своею богатырскою дружиною? Самъ царь Батый затрепеталъ и тревожно спрашиваетъ приведенныхъ къ нему плѣнниковъ, изъ дружины Евпатія, кто они, какой вѣры, и къ чему столько зла творятъ татарамъ? И они отвѣчали: „мы всѣ вѣры христіанской, а рабы великаго князя Юрія Игоревича, отъ полка Евпатія Коловрата, посланы всѣ отъ кн. Юрія Игоревича Рязанскаго почтить тебя, сильнаго царя, и честно проводить, и честь тебѣ должную воздать; не подвигися на насъ, царь, что мы не успѣваемъ наливать чашъ на великую силу татарскую“. Тогда Батый высылаетъ противъ Евпатія шурина своего Таврула, который хвалится тѣмъ, что привезетъ къ Батыю Евпа-

тія живьемъ. Но едва съѣхались они съ Евпатіемъ, какъ тотъ разсѣкъ его на-попы, до самаго сѣдла... Также точно побилъ и изрубилъ онъ много и другихъ знатныхъ татаръ, пока они не навели на него множество сарней съ снарядами (?) и тутъ только едва его одолѣли, и принесли его тѣло къ Батыю. И подивился Батый богатырскому тѣлу Евпатія, и сказалъ: „братъ Евпатій, гораздо ты меня употчивалъ съ малою своею дружиною, да много и побилъ знаменитыхъ богатырей сильной орды; если бы ты у меня, царя, служилъ, то я бы тебя противъ сердца своего держалъ“. И повелѣлъ царь Батый отдать тѣло Евпатіево остальной его дружинѣ, которая поймана была на побоищѣ еще живая, и повелѣлъ ихъ отпустить съ тѣломъ (Евпатія) и ничѣмъ имъ не вредить“.

Въ концѣ этого замѣчательнаго сказанія прибавленъ „плачь князя Игоря Игоревича о братѣ, побѣжденной отъ нечестиваго царя Батыя“. Такого рода „плачи“ присоединялись къ очень многимъ изъ повѣстей и сказаній, не только излагающихъ горестныя событія въ родѣ только что упомянутаго „Рязанскаго взятія“, но даже и радостныя (такія, напримѣръ, какъ побѣда надъ Мамаемъ), однако же сопряженные съ большими потерями и гибелью многихъ храбрыхъ. Вслѣдствіе этого, нѣкоторые повѣсти наши носятъ названіе умильныхъ повѣстей или сказаній, т.-е. трогательныхъ, возбуждающихъ жалость.

Важнѣйшее мѣсто, въ числѣ другихъ повѣстей и сказаній XIV вѣка, несомнѣнно принадлежитъ сказаніямъ о Мамаевомъ побоищѣ. Это важное событіе историческое не могло не найти себѣ отголоска въ сердцахъ современниковъ.

И сколько голосовъ должны были во всѣхъ концахъ Руси откликнуться радостною пѣсней на слухъ о побѣдѣ надъ погаными, о томъ, что первое дружное усиліе еще разрозненной земли русской увѣнчалось успѣхомъ, превосходившимъ всякое ожиданіе. Побѣда, одержанная Дмитріемъ Донскимъ надъ татарами на Куликовомъ полѣ (1380 г.), должна была, вслѣдствіе этого, послужить основой множеству произведеній и въ народной, устной литературѣ, и въ книжной литературѣ сказаній и повѣданій, заносившихся въ сборники и лѣтописи. Сочувствіе къ великому событію выразилось въ этихъ

произведенияхъ не только страшною ненавистью къ отступникамъ отъ общаго дѣла, но и стремленіемъ различныхъ городовъ и областей къ громкому заявленію о своемъ участіи въ событіи, о своихъ усилахъ, способствовавшихъ одержанію побѣды надъ татарами. Это стремленіе проявилось въ произведеніяхъ, касающихся Куликовской битвы, въ видѣ отдѣльных эпизодовъ, которыми, въ разныхъ концахъ Руси, украшалось общее сказаніе о „Задонщинѣ“¹⁾ великаго князя господина Дмитрія Ивановича и брата его Владимира Андреевича.

Въ одномъ пересказѣ этого сказанія, въ которомъ сильнѣе другихъ отразилось вліяніе народной фантазіи, весь успѣхъ битвы приписывается хитрости одного изъ русскихъ вождей—Воынца—устроившаго засаду вмѣстѣ съ братомъ великаго князя Владиміромъ Андреевичемъ. Воынецъ и рисуется въ этомъ пересказѣ такими чертами, которыя весьма ясно напоминаютъ намъ нѣкоторыехъ героевъ нашей народной поэзіи, являющихся въ былинахъ. Такъ, напримѣръ, передъ битвою, онъ выходитъ на поле между двумя войсками и по различнымъ призывамъ, которыя ему удастся наблюдать, предсказываетъ, что побѣда останется на сторонѣ русскаго воинства. Въ другихъ пересказахъ сказанія, очевидно монастырскихъ, особенное вниманіе обращено на то участіе, которое въ самомъ разгарѣ битвы принимало „небесное воинство“, поражавшее татаръ, а также и на видѣніе стража-разбойника Оомы Хаберцеева, которое должно было служить знаменіемъ побѣды христіанъ. Несмотря на то, что подобные эпизоды довольно рѣзко отличаютъ народныя сказанія „о Мамаевомъ побоищѣ“ отъ сказаній книжныхъ,—тѣ и другія сказанія не составляютъ двухъ рѣзко-отдѣльныхъ родовъ, потому что и книжныя сказанія, какъ видно, пополнялись съ самаго начала чертами произведеній народной фантазіи, и народныя, поздно записанныя, искажались болѣе или менѣе значительными книжными добавленіями.

Чрезвычайно любопытною чертою всѣхъ сказаній о Куликовской битвѣ, преимущественно книжныхъ, является замѣчательное сходство ихъ, по складу и языку, съ знаменитымъ памятникомъ XII вѣка—со словомъ

ополку Игоревѣ. Замѣтно, что это произведеніе было извѣстно авторамъ сказаній о Куликовской битвѣ, почиталось ими образцовымъ, и потому побуждало ихъ къ подражанію—надо сказать правду—весьма не искусному. Это особенно ярко выясняется изъ сравненія „плача Ярославны“ съ однообразнымъ и многословнымъ прощальнымъ плачемъ супруги Дмитрія, княгини Евдокии, или—еще болѣе—изъ сравненія превосходнаго описанія Буриятъ, воиновъ Ярѣ-Тура Всеволода, „повитыхъ подъ трубами, вскормленныхъ съ конца коня“—съ описаніемъ воиновъ Владимира Андреевича въ „Сказаніи“, гдѣ этотъ князь говоритъ, что „воеводы у насъ вельми крѣпки, а русскіе удалцы свѣдоми, имѣютъ подъ собою боры кони, и доспѣхи имѣютъ вельми тверды, щиты червленныя, конья злеченны, сабли булатныя.“ и т. д.

Одинъ изъ древнѣйшихъ списковъ, въ которыхъ сохранилось наше сказаніе „о Задонщинѣ“, приписывая это сказаніе какому-то боярину Софонію, вспоминаетъ, между прочимъ, и про Бояна, „въ городѣ Киевѣ горадна гудца“, прославлявшаго древнихъ князей. Затѣмъ авторъ приглашаетъ всѣхъ послушать пѣснь въ хвалу великаго князя Дмитрія Ивановича и брата его Владимира Андреевича; послѣ этого авторъ обращается къ жаворонку и соловью, которымъ предлагаетъ воспѣть славу великаго князя Дмитрія, и описываются сборы войска въ разныхъ мѣстахъ Руси; очень хорошо представлены эти сборы въ Новѣгородѣ: „Звонять колокола вѣчевые въ Новѣгородѣ; стоятъ мужи-Новгородцы у св. Софіи, и говорятъ таково жалобно: „ужъ нагъ, братья, къ великому князю Дмитрію Ивановичу на помощь не поспѣтъ“. Тогда словно орлы слетѣлись со всей полуночной страны: то не орлы слетѣлись—выѣхали посадники изъ великаго Нова-города, съ семью тысячами войска, къ великому князю Дмитрію Ивановичу и брату его, князю Владиміру Андреевичу“.

И вотъ, словно грозныя тучи, идутъ всюду на русскую землю полчища поганыхъ и вся природа грозитъ имъ гибелью въ своихъ знаменяхъ. Однако же первыя стычки русскихъ съ татарами неудачны: много хри-

¹⁾ Задонщина—т.-е. походъ за Донъ.

стіанъ гибнеть, а побѣда все на сторонѣ поганныхъ. Тогда горько всплакались о своихъ мужахъ боярми московскія; а Микулина жена даже обратилась къ Дону съ молебью, говоря: „Донъ, Донъ, быстрый Донъ, ты прошель землю Половецкую, пробилъ берега харалужные: прилегъ моего Микулу Васильевича“. Въ субботу же, на рождество св. Богородицы, „изрубилъ христіане поганые поля на полѣ Куликовѣ, на рѣкѣ Напрядѣ“. При описаніи самой битвы рассказываетъ о томъ, какъ Владиміръ Андреевичъ просить у брата помощи: „татары“ — говорить онъ—„храбрую дружину у насъ истеряли, а въ трупѣ человѣчи борзые кони и скочить не могутъ, а въ крови бродятъ по колѣно“. Тогда взмолился и самъ князь великій къ своимъ боярамъ: „Братья бояре и воеводы, и дѣти боярскія, вотъ гдѣ найдете вы ваши сладкіе московскіе мѣды и добудете себѣ великія мѣста и женамъ своимъ“. Всгдѣ затѣмъ вражье войско смято дружнымъ ударомъ Русскихъ: Татары бѣгутъ, „скрежеща зубами и раздирая лица свои“, въ злобѣ и отчаяніи. Мамай ищетъ убѣжища въ „Хаеестѣ градѣ и сноситъ насмѣшки жителей его: „не бываеъ тебѣ, поганый Мамай“—говорятъ они—„въ Батыя-царя; пришелъ ты на Русь съ девятью ордами и семидесятью князьями, а нынѣ бѣжишь самъ-девать въ Лукоморье. Нешто тебя князья русскіе гораздо употчивали? Ни князей съ тобой нѣтъ, ни воеводъ; нешто ты гораздо упили у быстрого Дона на полѣ Куликовѣ, на травѣ-ковыгѣ? А на русской землѣ въ то же время всѣ веселятся и радуются, хотя трупы христіанъ лежатъ у Дона великаго, и Донъ три дня кровью течетъ. Великій князь Дмитрій Ивановичъ считаетъ убитыхъ и трогательно прощается съ ними, говоря: „Здѣсь суждено было вамъ пасть, на этомъ мѣстѣ межъ Дономъ и Днѣпромъ, на полѣ Куликовѣ, на рѣкѣ Напрядѣ! Здѣсь положили вы головы за святыя церкви, за землю русскую, за вѣру христіанскую. Простите мнѣ, братья, и благословите насъ; а вамъ всѣмъ вѣнецъ (предназначенъ) въ будущемъ вѣкѣ“.

Хотя этотъ рядъ сказаній о битвѣ куликовской и подвигахъ великаго князя Дмитрія Ивановича представляетъ собою произведеніе большею частью незамѣчательныя въ литературномъ отношеніи; хотя по срав-

ненію съ памятникомъ XII вѣка, въ которомъ воспѣвался незначительный походъ князя сѣверскаго на половцевъ, всѣ эти сказанія являются блѣдными и беззвѣтными подражаніями, часто повторяющими буквально цѣлыя фразы Слова о Полку Игоревѣ—однако же эти сказанія важны по духу своему, какъ выраженія того общаго стремленія, которое одушевляло всѣхъ русскихъ людей, въ концѣ XIV столѣтія. Впервые пробудилось у нихъ около того времени сознание своей силы, сознание возможности бороться съ ненавистными и страшными врагами Руси, въ теченіе полутора вѣка угнетавшими ее своимъ тягостнымъ игомъ. Сознание того, что борьба съ татарами необходима и неизбежна, начало богѣе и богѣе вкореняться въ русскомъ обществѣ и прекрасно выразилось въ одной изъ нашихъ лѣтописей конца XV вѣка, въ которой лѣтописецъ, негодуя на бояръ, совѣтовавшихъ Іоанну III мириться съ Ахматомъ, восклицаетъ:

„О храбрые, мужественные сынове русскіе, потщитесь сохранить свое отечество, русскую землю, отъ поганныхъ; не пощадите своихъ головъ, да и не узрять очи ваши плѣненія и грабленія святыхъ церквей и домовъ вашихъ, и убіенія дѣтей вашихъ и поруганія женъ и дочерей вашихъ. Многія великія и славныя земли пострадали отъ турокъ, какъ на примѣръ греки и Болгаре, и Трапезонъ, и Аморія, и арбаносы, и хорваты, и Каера, и иныя многія земли, которыя не выступили противъ врага мужественно; и погибли тѣ народы, и отечество свое изгубили, и землю, и государство, и скитаются по чужимъ странамъ, по истинѣ, какъ бѣдные странники, достойные вполнѣ и плача, и слезъ—и всѣ поносятъ ихъ и оплевываютъ ихъ, какъ немужественныхъ!... Пощади, Господи, насъ православныхъ христіанъ отъ такого бѣдствія, по молитвамъ Богородицы и всѣхъ Святыхъ. Аминь“.

Эти слова лѣтописца, современника Іоанна III, при которомъ совершилось окончательное избавленіе Руси отъ татарскаго ига, были только послѣднимъ отголоскомъ того стремленія къ борьбѣ съ врагами отечества, которому первоначальнымъ выраженіемъ послужило сказаніе о куликовской битвѣ, какъ о первой одержанной надъ ними достославной побѣдѣ.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ ГЛАВѢ СЕДЬМОЙ.

Нѣсія про боярина Евпатія Коловрата ¹⁾.

Въ изложеніи Л. Мея.

На святой Руси былъ и была,
Только былъ-еще давно поросла...
Охъ — вы, зорышки-зоря!
Не одинъ годъ въ поднебесѣхъ вы зажигаесться,
Не въ первой въ синей морѣ купаетесь:
Посвѣтите съ поднебесья, красныя,
На бывалые дни, на ненастные!...
Вы, курганы, курганы сѣдые!
Насыпные курганы, степные
Вы надъ кѣмъ, подгорюпившись, стонете,
Чѣмъ вы бѣлыми кости хороните?
Расскажите, какъ русскую силу
Клала русская удалъ въ могилу?...

I.

Къ городу — Рязани
Батать трое сани,
Сани розвальныя —
Дуги росписныя:
Вожжи на отлетѣ;
Кони на разлетѣ;
Колокольчикъ плачеть —
За версту маячить.
Первые-то сани —
Все-то поѣзжане,
Все-то сѣверяне, —
Въ рукавицахъ новыхъ,
Въ охабняхъ бобровыхъ.
А вторыя санки —
Все-то поѣзжанки,
Все-то сѣверянки,
Въ шапочкахъ горлатныхъ
Въ жемчугахъ окатныхъ.
А что третьи сани
Къ городу Рязани
Подкатили сами
Всѣми полозани,
Подлетѣли птицей
Съ красной царь-дѣвицей,
Съ греческой царевной —
Душей Емпраксіевой.
У рязанскаго князя, у Юрія Ингоревича,

Во его терему новорубленомъ,
Свѣтлымъ свадебнымъ пирѣ, ликованіи:
Сына старшаго, княжича Федора,
Повѣнчалъ онъ, съ царевной Емпраксіей,
И добромъ своимъ княжескимъ кланялся;
А добро-то накоплено изстари:
Похвалила-бы сваха досужая,
Въ полуглазъ погляди, мимо-идучи.
Во полу-столѣ, во полу-ниру,
Молодыхъ гости чествовать учили,
На вѣчное нѣсто ихъ глядячи,
Да смѣшки про себя затѣваячи:
Словно столбный-бы князь ихъ не жалуетъ —
Горькій медъ имъ изъ погреба выкатилъ,
А не свадебный!... — „Имъ подсластятъ-бы!“
А кому подсластитъ-то?... Ужъ вѣдомо:
Молодымъ..

Молодые встанутъ и цѣлуются.
И румянцемъ они, что ни разъ, чередуются, —
Будто солнышко съ зорькой вечернею
И гостямъ и хозяину весело;
Чарка съ чаркой у нихъ обгоняются,
То и знай — черезъ край наливаются.
Только нѣтъ веселѣй поѣзжаннина;
И смѣшливѣй нѣтъ, и рѣчиствѣ
Супротивъ княжецецаго тысяцкаго, —
Аванасія Прокшича Неадины.
А съ лица не пригожъ онъ и нѣмолодъ:
Голова у него, что ладонь, вся-то лысая,
Борода у него клиномъ, рыжая.
А глаза, — что у волка, — лукавые,
Врозь глядять — такъ вотъ и бѣгаютъ.
Былъ онъ княжескимъ душою въ Черниговѣ,
Да теперь, за царевной Емпраксіей.
Перебрался въ Рязань къ князю Юрію,
Цѣлымъ домоу со всею боярскою челядью.
И на смѣну ему Юрій Ингоревичъ
Отпустилъ что ни лучшихъ дружинниковъ,
И боярина съ нимъ Евпатія
Коловрата, рязанскаго витязя, —
Князя Федора брата крестоваго.
Отсидѣли столы гости званые;
Поѣзжане свой поѣздъ управили,

¹⁾ Это поэтический пересказъ того рязанскаго сказанія, о которомъ мы упоминали выше, на стр. 84—85.

князь Феодоръ съ княгиней,
ненаглядной молодухой,
родичамъ въ поясъ откинулся,
въ соборѣ Заступницѣ
въ нѣтъ стольнаго города
дѣлъ...

На горѣ на обрывистой,
и Осетромъ, надъ малуниной,
еретъ князь-Феодора Юрьича.
тучей кругомъ понавѣсилася
дубами и соснами,
горы, перебрался и за рѣку,
бродъ перешелъ, и раскинулся
дню далѣ, не объѣздя...
князь съ молодою княгиней
что на вѣткѣ прилюбчивой
губъ съ голубкою ласковой.
къ-то ласкала княгиня Евпраксія,
рѣдко любила милого хозяина,
въ про такую любовь не подобрано.
съ себя — всѣмъ красавица:
ю бровью, и поступью,
и щекой, и рѣчами привѣтными:
дѣ, по десятому мѣсяцу —
а первенца-княжича...
его на Ивана-Крестителя
и Иваномъ, а прозвали постникомъ,
что ни въ середу княжичъ, ни въ
пятницу
грудь у матери...

Феодоръ-князь
на великой на радости,
авленный храмъ Николая Святителя,
а Курсунскаго, вкладу внесъ
золотой своей княжеской...

II.

книжъ лѣсамъ и по пустошамъ
подъ осень недоброе.
насть тамъ — мѣрево, аль — зѣрево?
асть тебѣ къ небу, съ полуночи,
столбъ сполыней бѣломорскою;
якветъ кто-то, калякаетъ...
якъ топоръ — ровно звякаетъ...
мѣ и быть, коль не лѣшему?
и ни конному тамъ, и ни пѣшему...
разсмыльных — вернулись.
„насъ впередъ не посылывать,
жѣ не ждать: со полуночи
навидались — наслышались,
и насъ святые угодики!...
пайте — что почивается?
отъ Батия безбожнаго

Есть на русскую землю нашествіе.
Слышь: стрѣлой громоносною — молнійной,
Спалъ онъ къ намъ, а отколѣ — незнаемо...
Саранча агарянъ съ нимъ безсчетная:
Такъ про это и знайте — и вѣдайте“...

III.

Было сказано... Слѣдомъ и прибыли
Два ордынца съ женой-чародѣйницей,
Все-жъ къ великому князю рязанскому,
И къ другимъ князьямъ — пронскимъ и муromскимъ...
„Такъ и быть: десятиной намъ кланяйтесь
Съ животомъ, со скотомъ и со прочаго“.
Снесся князь съ Володимиромъ-городомъ
И съ другими; да, знать, уже въ тѣ-поры.
Гнѣвъ Господень казнилъ Русь безъ милости:
Отступились со страхомъ и тренетомъ...
Ну, тогда старый князь князя Феодора
Повѣщаетъ, что „вотъ-могъ безвременье...
Побѣдай ты, съ великимъ моленіемъ,
И съ дарами, къ нему, нечестивому...
Вей челомъ, чтобы свернулъ онъ съ Воронежа,
Не въ рязанскую землю, а въ русскую...
О хозяйкѣ твоей озаботишься...“
Феодоръ-князь и поѣхалъ...

IV.

И вотъ что случилось: —
Ѣхалъ Нѣздила Прокшичъ съ князь-Феодоромъ,
И съ ними рязанскіе вѣршники, шестеро,
Въ станѣ Ватмевъ... Проѣхали островомъ
Подгороднымъ; проѣхали далѣ
Островами другими немѣренными,
И ужъ дѣло-то было къ полуночи...
Все — соснякъ, березнякъ, да осинникъ...
промежъ листьвы
Издадека имъ стало посвѣчивать...
Ѣдутъ по лѣсу, на свѣтъ — прогалина:
Лугъ и рѣчка; за рѣчкой раскинуты,
Сплошь и рядомъ шатры полосатые —
Станъ, — и станъ неогладный... Кишмя-кишитъ
Люди не люди — нѣтъ на нихъ образа Божія,
А какое-то племя проклятое,
Какъ звѣрье окаянное якобы...
Кто въ гуни просмоленной, кто въ панцирѣ,
Кто въ верблюжью шкуру закутался...
Узкоглазые всѣ и скуластые,
А лицо словно въ вѣшникахъ крашено
Шумъ и гамъ! Всѣ лепечутъ по своему;
Гдѣ заржетъ жеребецъ остроноженный,
Гдѣ верблюдъ всю пастыю проравкаетъ...
Тутъ кобылу доять; тамъ махланну
Пожираютъ, что волки несмытые;

А другіе ковшами да чашками,
Тянутъ что-то такое похвѣльное
И хохочутъ, другъ друга подталкивая. .
Вдоль по рѣчкѣ топливо навалено,
И пылаютъ костры неугасные...
Сторожа въ камышахъ притаились...
Обоклинули князя и съ Нѣздилой;
Отозвались они и поѣхали,
Черезъ весь станъ, къ намету Батыеву;
Вспоилилась орда не крещеная:
Сотенъ съ пять побѣждало у стремени. .
Князь съ бояриномъ ѣдутъ—не морщатся—
Межъ кибитокъ распряженныхъ войлочныхъ;
Стремленной Ополоница сердится,
А другіе дружинные вершники
Только крѣстятся, въ сторону сплевывая:
На Руси этой нечисти съ роду невидано. .
Закраснѣлась и ставка Батыева:
Вагрецовы ткани натануты
Вкругъ столпа, весь-какъ-есть, золоченнаго.
Одалъ ставки, а кто и при пологѣ,
Стали цѣлой гурьбой улусники—
Всѣ въ колчугахъ и въ шлемахъ, съ ковыль травой;
За плечами колчаны; за поясомъ
Заткнутъ ножъ, закаленный съ отравой,
На одинъ только взмахъ и подшептанный.

Князя въ ставку впустили и съ Нѣздилой.
Ханъ сидитъ на коврѣ; ноги скрещены;
На плечахъ у него пестрый распашенъ,
А на темени самомъ скуфейка парчевая.
По бокамъ, знатъ, великожи ордынскіе,
Всѣ въ такихъ-же скуфейкахъ и распашняхъ...
Сталъ челомъ бить ему, нечестивому,
Федоръ князь, а покудова Нѣздила
Подмигнувъ одному изъ приспѣшниковъ
И отвелъ его въ сторону.

Молить князь:

«Не войи-де, царь, нашей ты волости,
А войи, что иное и прочее:
Съ насъ и взять-то прійдется по малости,
А что загода вотъ—мы поминками
Кой какими тебѣ поклонились».
Ханъ подумалъ-подумалъ и вымолвилъ:
«Подожди-ка: я вотъ посоветуюсь...
Види вонъ ты на время на малое—
Позову...»

Вышелъ Федоръ-князь—позвали...

Говорить ему ханъ: соглашайся
И поминки прійму, только знаешь-ли?
Мало ихъ...» (толпачами взаимными
Были Нѣздила съ тѣмъ-же ордынцемъ подмиг-
нутымъ:)
«Мало ихъ», говорить князю Федору

Царь Батый, «а, коль хочешь уладиться,—
Дай красы мнѣ княгинини выдѣти.»
Помертвѣлъ Федоръ князь съ перва-на-перво,
А потомъ, какъ зардѣется:

«Нѣтъ-могъ,—ханъ!

Христіанамъ къ тебѣ, нечестивому,
Женъ ужъ намъ не водить; а твою возметь,
Ну, владѣй всѣмъ, коль только достанется!»
Разъярился тутъ Ханъ, крикнуть батырямъ:
«Разнимите ножами противника на части!»
И розняли. .

Потомъ и на вершниковъ,
Словно лютые звѣри накинутахъ:
Всѣхъ — въ куски; лишь одинъ стремленной Опо-
лоница
Изъ поганого ошута выбрался...
А боярина Нѣздилы палецъ не тронули...

У.

Загорѣлось утро по лѣтнему,
Загорѣлось сначала на куполѣ,
А потомъ перешло на верхушки древесныя,
А потомъ поползло по землѣ, словно крадучись,
Гдѣ жемчужники, гдѣ и алмазники
У росистой травы отбираючи.
Куманика перловымъ обсыпалась бисеромъ;
Подорѣшникъ всей бѣлою шапкой своей намо-
бучился

И поднялъ повалежныя листья натужившись;
Съ Осетра валить паръ, словно съ камени—
Значить: будетъ день бани опарена...
У Николи Корсунскаго къ ранней обѣдѣ ударил...
И княгиня проснулася подъ колоколь...
Къ колыбели птенца своего припадаючи
Цѣловала его, миловала и пѣствовала,
И на красное солнышко вынесла,
На подборъ теремной, на свѣтлосочный.
Вотъ стоитъ она съ нимъ, смотритъ на поле,
На лѣсъ — на рѣку, смотритъ такъ пристально
На дорогу бѣгущую подъ гору.
Смотритъ... пыль по дорогѣ поднялася...
Скачетъ кто-то, и конь весь обильменный...
Ближе глянула, анъ Ополоница—
Не пригѣтнѣлъ княгини-бѣ, да крикнула:
Осадилъ жеребца, задыхается,...
А княгиня Евпраксія спрашиваетъ:
—«Гдѣ-же князь мой, сожителъ мой ласковый?»
Замоталъ головой Ополоница:
—«Не спросилъ-бы, не было-бъ сказано.
Благовѣрный твой князь Федоръ Юрьевичъ,
Красоты твоей ради неслыханной,
Убѣенъ отъ цара, отъ Батыя неистоваго!»

убожила княгиня Евпраксія,
къ чадо прижала любовное,
иъ кнѣстѣ съ подбора и ринулась
о мать-землю, и тутъ *заразилася* до
смерти...

—то кнѣсто *Заразомъ* прозвалосѣ,
то на немъ заразилася
къ чадоиъ княгиня Евпраксія.

VI.

ромя Батый, царь неистовый,
ѣ поднялъ всю свою силу безбожную,
ѣ прямо къ стоальному городу;
мѣ его вся дружина разанская встрѣтила,
впереди: самъ великій князь,
мидѣ, и князь Глѣбѣ, и князь Всево-
лодѣ—

ую чашу съ татарами роспили.
бѣ разанскіе витязи,
ночь было: по стѣ татариновѣ
юсъ на каждую руку могучую...
изрубили они тѣмъ несмѣтнѣю,
утомились-увалялись,
ли удалныя головы,
ѣ, билися, всѣ до единого,
Юрій легъ вѣстѣ съ послѣдними,
вою землю и отчину,
и свой столѣ, и княженіе...
бѣжалъ потомъ царь Батый поле бранное,
линулъ онъ на падалъ татарскую,—
нился гнѣва и ярости,
ѣ всѣ предѣлы разанскіе
грабить, и рѣзать безъ милости
отъ стараго даже до малаго,
ѣ боронить было не кому. .
гули орды поганныя
скую землю изгономъ неслыханнымъ,
ронскѣ, Ижеславецѣ и Вѣлгородѣ,
изрубили безъ жалости,
на Разанѣ... Сутокъ съ четверо
съ отъ нихъ горожане разанскіе;
тѣмъ сутки ордынцы проклятые
роломы кремлевской стѣны и сквозь полыни
и и въ церковь соборную;—
или княгиню великую,
и ея и съ княгинями прочими,
священниковѣ, иноковѣ;
ожѣи, дворы монастырскіе—
ли; городѣ предали пламени;
мечетѣ все живущее,—
иосѣ по слову Батыеву:
нидѣ, ни старца въ живыхъ не осталось...

Плакать нѣ кому было и нѣ-по-комѣ...
Все богатство разанское было разграблено...
И свалило къ Коломнѣ ордынское полчище.

VII.

Отъ Коломны ордынцы пошли прямо къ Суздалью;
Станѣ разбили на Сити-рѣкѣ, ради отдыха
И дѣлечки добычею русскою.
Ханѣ позволятъ на совѣтъ къ себѣ Нѣздилу
(А ужъ тотъ и въ конецъ отатарился;
Нѣтъ отлики отъ прочихъ улусниковъ).
Порѣшили: ждѣть князя великаго суздальскаго,
Положить всю дружину на мѣстѣ, гдѣ ступятся,
А потомъ и пойти къ Володимѣру
И другимъ городамъ — на разгромъ на неслы-
шанный,
На грабежъ и рѣзаніе безошаднѣю.

VIII.

Хоженемъ пошло поле окрестное
И сырѣ-борѣ зашатался вотъ-словно подѣ бурей ..
Налетѣла-лъ она, многокрылая,
Или сила иная на ставки татарскія,
Только ломаются ставки и валяются,
Только стоять поднялся вдоль по стану ордынскому
Загрѣмѣли мечи о шеломы каленные;
Затрещали и копыя, и бердыши:
Отъ брони и колчугѣ искры сыплются;
Полилася рѣкой кровь горячая...
Варомъ такъ и варить всю орду нечестивую:
Рубятъ, колютъ и бьютъ—кто?—невѣдомо.
Тутъ ордынцы совѣщѣи обезпачили,
Точно пьяные, или безумные.
Кто ничкомъ лежитъ—мертвымъ прикинулся,
Кто бѣжитъ вонъ изъ стана — коней ловить;
А и кони по полю шархнулись—
Ржутъ и носятся тоже въ безпачетствѣ.
Тутъ все стадо реветъ—всполошилося;
Тамъ ордынки развылились волчицами;
Здѣсь костеръ развели, да не во время:
Два намѣта сосѣдніе вспыхнули.
А наѣзжая сила неурная
Вьетъ и рубить, и колетъ безъ усталы,—
Слышно только, что русскіе витязи,
А нельзя половить ни единого...
Вбѣять батыри въ страхъ и ужасъ:
— «Мертвецы, мертвецы встали русскіе,
«Встали съ поля рязанцы убитые!»
Самъ Батый убоился... А Нѣздилу
Ужъ у хана въ шатрѣ.
«Только взять-бы какого: развѣдаемъ—

Мертвецы, или люди живые наѣхали?»
 Говорить онъ, а дрожь-то немалая
 Самого пронимаетъ затѣмъ, что все близятся
 Стоя и вопли къ намету Батыеву,
 Все бѣгутъ въ перепугѣ улусники,
 Отъ невидимой силы невѣдомой...
 — «Повели, Ханъ, костры запалить скоро-на-скоро
 И трубить громче въ трубы звончатая,
 Чтобы всѣ твои батыри слышали;
 Да пошли скорѣе за шურიномъ
 Хоздовруломъ!» — Батыю совѣтуетъ Нѣздила.
 Ханъ послушался: трубы призывныя грянули,
 И зарей заиграло въ поднебесьѣ зарево.
 Въ пору въ самую; близко отъ ставки Батыевой
 Пронеслася толпа русскихъ витязей,
 Прогоняя татарву поганую
 И топча подъ копытами конскими;
 Да въ догонку ей стрѣлы, что ливень, посыпались,—
 И упали съ коней на-земь пятеро.
 Подбѣжали ордынцы къ нимъ, подняли
 И къ Батыю свели Ханъ ихъ спрашиваесть:
 «Вы какой земли, вѣры какой, что невѣдомо,
 Почему мнѣ великое зло причиняете?»
 И отвѣтъ ему держать рязанскіе витязи:
 — «Христіанской мы вѣры, дружинники
 Князь-Юрья рязанскаго, полку Евпатія
 Коловрата; почтѣть тебя посланы—
 Проводить, какъ подобаетъ великому». —
 Удивился Батый ихъ отвѣту и мудрости,
 И послалъ на Евпатія шурина,
 И полки съ нимъ татарскіе многіе:
 Хоздоврулъ похвалялся: «живѣе возмю,
 За сѣдломъ приведу къ тебѣ русскаго вѣтизя». —
 А ему подговаривалъ Нѣздила.
 — «За сѣдломъ!... Приведешь его къ Хану у стре-
 мени».

И поѣхали оба на встрѣчу Евпатію...
 А заря поднималась на небѣ
 И ступились полки... у Евпатія
 Всей дружины-то было-ль двѣ тысячи—
 Вся послѣдняя сила рязанская—
 А ордынцы шли черною тучею:
 Не окинуть и взглядомъ, не то-чтобъ довѣдаться—
 Сколько ихъ?.. Впереди Хоздоврулъ барсомъ но-
 сится.
 Молодецъ былъ и батырь: коня необгоннѣе
 И вѣрнѣе копья у ордынцевъ и не было.
 И ступили полки... На Евпатія
 Налетѣлъ Хоздоврулъ, только нѣ въ пору:
 Исполнить былъ Евпатій отъ младости силою—
 И мечемъ раскроилъ Хоздоврула онъ на-полю
 До сѣдла, такъ-что всѣ, и свои, и противники
 Отшатнулись со страхомъ и трепетомъ...

Рать ордынская дрогнула, тѣлѣ дала,
 А всѣхъ прежде свернулъ было Нѣздила.
 Да коня подъ устцы ухватилъ Ополонница.
 Только глянулъ бодрнѣ Евпатій на Нѣздилу
 Распалился душой молодецкою
 И съ сѣдла его сорвалъ. А Нѣздила
 Сталъ молить его слезнымиъ коленіемъ:
 «Отпусти хоть мнѣ душу-то на покаяніе!»
 Отвѣчаетъ Евпатій: — «Невиненъ ты—
 Мать сырая земля въ томъ виновница,
 Что носила такое чудовище:
 Пусть и пьетъ за то кровь твою гнусную...
 Ты попомни княгиню Есипраксію
 И колѣй, старый пѣсь, непокаянно!»

Тутъ взмахнулъ надъ шелономъ онъ Нѣздилу
 И разбилъ его о землю въ дребезги;
 Самъ-же кинулся вслѣдъ за ордынцами
 И погналъ ихъ до самой ставки Батыевой.

Огорчился Батый и разгѣвался,
 Какъ узналъ, что Евпатій убилъ его шурина,
 И велѣлъ навести на Евпатія
 Онъ пороки, орудія тѣ стѣнобитныя...
 И убили тогда крѣпкокурокаго,
 Дерзосердаго вѣтизя; тѣло-же
 Принесли передъ очи Батыевы.
 Наумился и Ханъ, и улусники
 Красотѣ его, силѣ и крѣпости.
 И почтилъ Ханъ усопшаго вѣтизя:
 Отдалъ тѣло рязанскимъ дружинникамъ
 И самихъ отпустилъ ихъ, приколывши:
 «Погребите вы батыря вашего—съ честію,
 По законамъ своимъ и обычаямъ,
 Чтобы и внуки могли его поклоняться».

IX.

По землѣ Игорь-князь изъ Чернигова
 Прибылъ въ отчину, въ землю рязанскую,
 И заплакалъ слезами горючими,
 Какъ взглянулъ на пожарище стольнаго города.
 Подо льдомъ и подъ снѣгомъ померзлые,
 На травѣ-ковылѣ обнажены, терзаемы
 И звѣрами, и птицами хищными,
 Безъ креста и могилы, лежали убитые
 Воеводы рязанскіе, вѣтизя,
 И семейные князя, и сродники,
 И все множество люда рязанскаго:
 Всѣ одну чашу смертную выпили.
 Повелѣлъ погребать ихъ князь Игорь немедленно:
 Повелѣлъ іереи съвятить храмы Божіи
 И очистить весь городъ; а самъ онъ съ Воронена.
 Тѣло князя Оедора Юрьича
 Перенесъ къ Чудотворцу Корсунскому,

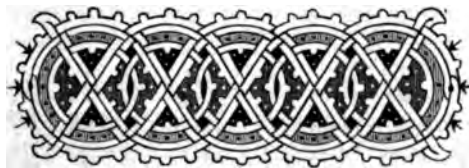
И княгиня Евпраксія, съ сыномъ ихъ княжичемъ,
Скоронилъ въ одно мѣсто, и три креста каменныхъ,
Надъ могилкой поставилъ. Съ тѣхъ поръ прозы-
вается

Николай Чудотворецъ—Зараскинъ свитатель,
Потому-что на мѣстѣ на томъ заразилася,
Вѣсть съ сыномъ княгини Евпраксія.

Гдѣ честная могила Еспатія—
Знаютъ ясныя зори съ курганами,
Знала старая пѣсня про витязя,
Да и ту унесло вѣтромъ-вихоремъ.

Охъ ты, батюшка городъ-Зарайскъ новосталенный!
На крутой на горѣ ты красуешься,
На Осетрѣ на рѣку ты любишься,
И глядишься въ нее веселѣхонекъ,
Словно правду не знаешь-ни-вѣдаешь—
Гдѣ ты выросъ, надъ чѣмъ могилами?
Знать—гора и крута да забывчива,
Знать—рѣка и быстра—да измѣнчива,
А правдива запѣвка старинная:
«На святой Руси былъ и была,
Только быльемъ давно поросла!»

Л. Мей.





VIII.

XV вѣкъ. — Проповѣдь политическая. — Вассіанъ, архіепископъ ростовскій. — Политическое направленіе духовной литературы: — Іосифъ волоцкой и Нилъ сорокій.



Въ VI-й главѣ упоминали мы о тѣхъ особыхъ условіяхъ историческихъ, которыя, даже во время татарскаго ига, страшнаго и бѣдственнаго для всѣхъ, способствовали возвышенію духовенства русскаго надъ всѣми остальными сословіями. Мы упоминали и о томъ, что матеріальная сторона быта нашего высшаго духовенства и монашества являлась, вслѣдствіе обезпеченія со стороны тѣхъ же историческихъ условій, на столько удовлетворительною, на столько спокойною, что лица, принадлежавшія къ высшему духовенству и монашеству, могли посвящать свои досуги книжному ученію и занятіямъ литературнымъ, и если не способствовали распространенію образованія въ массѣ, то, по крайней мѣрѣ, сѣмѣли поддерживать его въ своей средѣ на извѣстномъ уровнѣ. Этотъ уровень былъ невысокъ; немногіе, наиболѣе образованные изъ среды духовенства и монашества, находили возможность подняться выше его и расширять, разнообразить кругъ свѣдѣній своихъ, удовлетворяя жаждѣ знанія, потребности просвѣтить себя... Что же касается до остальной, громадной массы низшаго духовенства, то оно, наравнѣ со всѣми другими сословіями, и со всею массою народа, при полнѣйшемъ отсутствіи школъ и средствъ къ просвѣщенію, коснѣло въ самомъ грубомъ и печальномъ невѣжествѣ. Вслѣдствіе такого ненормальнаго распредѣленія просвѣщенія

между различными слоями общества и массою народа, мы видимъ въ исторіи просвѣщенія и литературы XV столѣтія замѣчательно противоположныя явленія. Съ одной стороны — рядъ произведеній, свидѣтельствующихъ о вѣрномъ пониманіи дѣйствительности, о знаніяхъ и начитанности авторовъ не только въ Св. Писаніи и твореніяхъ Отцевъ церкви, но даже и о нѣкоторомъ знакомствѣ ихъ съ классическою литературой; этотъ рядъ произведеній заканчивается несомнѣнно-замѣчательнымъ богословскимъ трактатомъ: — „Просвѣтителемъ“ Іосифа Волоцкаго, направленнымъ противъ ереси жидовствующихъ. Съ другой стороны — видимъ рядъ явленій общественныхъ, свидѣтельствующихъ о глубокомъ невѣжествѣ даже въ верхнихъ слояхъ общества, полнѣйшую безграмотность ближайшихъ къ народу слоевъ духовенства, полнѣйшее безсиліе его противъ заражающихся на Руси ересей, и, что всего хуже — равнодушіе къ дѣлу просвѣщенія.

Духовная литература наша въ XV столѣтіи, — подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ важныхъ историческихъ событій и нѣкоторыхъ новыхъ религіозныхъ и общественныхъ вопросовъ, обратившихъ на себя преимущественное вниманіе духовенства, какъ сословія наиболѣе просвѣщеннаго, — весьма определенно выражается въ двухъ главныхъ отдѣлахъ: въ проповѣди политической и об-

щественной (послания къ князьямъ и частнымъ лицамъ), и въ литературѣ полемической, направленной противъ ересей. Сверхъ того, конечно, прежнимъ путемъ своимъ продолжала идти литература монастырская: въ стѣнахъ монастырей велась лѣтопись, переводили съ греческаго и продолжали составлять сборники, собирали свѣдѣнія о житіи и чудесахъ мѣстно-чтимыхъ подвижниковъ свѣрной Руси; но и въ этомъ отдѣлѣ монастырской литературы замѣтно въ XV вѣкѣ также нѣкоторое движеніе впередъ, такъ какъ являются попытки литературнаго изложенія древнѣйшихъ преданій и сказаній о святыхъ, являются даже авторы, исключительно посвящающіе себя обработкѣ этого литературнаго рода, приобретающіе, подобно Симону и Поликарпу, громкую извѣстность именно этою стороною своей литературной дѣятельности.

Въ кругу событій политическихъ вниманіе передовыхъ дѣятелей изъ среды духовенства было обращено, конечно, на раздоры между князьями и на отношенія къ Татарамъ, могущество которыхъ было уже не страшно Руси, но еще не разрушено, не уничтожено въ конецъ, какъ оно было необходимо для полнаго спокойствія нашего отечества. Просвѣщеннѣйшіе, передовые представители духовнаго сословія (которое, къ чести своей, никогда не увлекалось, подобно западному духовенству, исключительно эгоистическими стремленіями къ обособленію, къ выдѣленію себя изъ народной среды) постоянно употребляли всѣ свои усилія на то, чтобы, съ одной стороны, сохранить миръ и цѣлость, неразрозненность Русской земли, въ которыхъ они и видѣли единственное спасеніе ея; а съ другой—направить всѣ силы этой единой, сильной Руси противъ все еще грозныхъ остатковъ ордынскихъ. Въ ряду такого рода политическихъ и общественныхъ проповѣдей первое, по времени, мѣсто принадлежить посланіямъ св. Кирилла, знаменитаго основателя монастыря на Бѣлѣозерѣ. Мы уже выше упоминали о другихъ трудахъ этого замѣчательнаго подвижника, возбуждавшаго въ такой степени уваженіе къ себѣ современниковъ и ближайшаго потомства, что въ свидѣтели клятвъ княжескихъ, во время послѣднихъ между-княжескихъ усобицъ, имя его, какъ имя одного изъ покровителей сѣверо-восточной Руси, призы-

валось вмѣстѣ съ именемъ св. Сергія. Впослѣдствіи, намъ еще не разъ придется упоминать объ основанной св. Кирилломъ обители бѣлѣозерской, какъ о такой, которой, послѣ монастыря св. Сергія, предстояло имѣть болѣе другихъ значенія и въ гражданской, и въ литературной исторіи нашей древней Руси. На самой грани XIV и XV вв. встрѣчаемъ мы посланіе св. Кирилла къ великому князю Василию Дмитріевичу, писанное въ 1400 году, по поводу его раздоровъ съ Суздальскими князьями. „Чѣмъ болѣе святые приближаются къ Богу любовью, тѣмъ болѣе видятъ себя грѣшными“—такъ обращается Кириллъ въ этомъ посланіи къ князю—; „ты, господинъ, приобретаешь себѣ великое спасеніе и пользу душевную тѣмъ своимъ смиреніемъ, что посылаешь ко мнѣ грѣшному, нищему, страстному и недостойному съ просьбою помолиться за тебя... И, грѣшный, съ братією своею, радъ, сколько силы будетъ молить Бога о тебѣ, нашему господинъ; ты же самъ, Бога ради, будь внимателенъ къ себѣ и ко всему княженію твоему. Если въ кораблѣ гребецъ ошибется, то малый вредъ причинить плавающимъ; если же ошибется кормчій, то всему кораблю причинить пагубу: такъ если кто нибудь изъ бояръ согрѣшитъ, то повредить этимъ одному себѣ; если же самъ князь, то причиняетъ вредъ всѣмъ людямъ. Возненавидь же, господинъ, все то, что влечетъ тебя на грѣхъ, бойся Бога, истиннаго Царя, и будешь блаженъ. Слышалъ я, господинъ князь великій, что большая смута (происходитъ) между тобою и сродниками твоими князьями Суздальскими. Ты, господинъ, свою правду сказываешь, а они свою, и черезъ это между христіанами происходитъ великое кровопролитіе. Такъ посмотри, господинъ, повнимательнѣе, въ чемъ будетъ ихъ правда передъ тобою, и, по своему смиренію, уступи имъ: въ чемъ же будетъ твоя правда передъ ними, такъ ты за себя стой по правдѣ. Если же они станутъ тебѣ бить челомъ, то, Бога ради, пожалуй ихъ по ихъ мѣрѣ, ибо слышалъ я, что они до сихъ поръ были у тебя въ нуждѣ, и отъ того начали враждовать. Такъ Бога ради, господинъ, покажи къ нимъ свою любовь и жалованье, чтобы они не погибли, скитаясь въ татарскихъ странахъ.“ Кромѣ этого посланія къ великому князю Василию Дмитріевичу до насъ дошли и еще

два посланія св. Кирилла къ братьямъ великаго князя: одно, къ князю Андрею Дмитриевичу Можайскому, въ удѣлѣ котораго находился и самый монастырь Кирилловъ; другое—къ князю Юрію Дмитриевичу Звенигородскому, утѣшительное, по поводу болѣзни его княгини. Первое исполнено указаній на тѣ недостатки общественнаго строя, отъ которыхъ особенно страдалъ народъ въ отчинѣ князя Юрія; къ указаніямъ прибав-

„что давно желаешь видѣться со мною; то, ради Бога, не пріѣзжай ко мнѣ: если же поѣдешь ко мнѣ, то на меня придетъ искушеніе, и, покинувъ монастырь, уйду, куда Богъ укажетъ. Вы думаете, что я здѣсь добръ и святъ, а на дѣлѣ выходитъ, что я всѣхъ людей окаляниѣ и грѣшиѣ. Ты, господинъ князь Юрій, не осердись на меня за это: слышу, что божественное писаніе самъ въ конецъ разумѣешь, читаешь, и



Видъ Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря.

лено нѣсколько наставленій о томъ, какъ слѣдуетъ поступать князю, „какъ властелину въ отчинѣ своей, отъ Бога поставленному унимать людей своихъ отъ лихаго обычая“. Последнее, утѣшительное посланіе къ князю Юрію Звенигородскому, особенно любопытно по слѣдующему заключенію, чрезвычайно живо характеризующему личность Кирилла и взглядъ современнаго инокъ на отношенія къ князю, повидимому, весьма дружественныя: „писалъ ты, господинъ князь Юрій,—такъ доканчиваетъ свое посланіе Кирилл—

знаешь, какой намъ вредъ приходитъ отъ похвалы человѣческой, особенно намъ страстнымъ. Да и то, господинъ, разсуди: твоей вотчины въ нашей сторонѣ нѣтъ, и если ты поѣдешь сюда, то всѣ станутъ говорить: „только для Кирилла поѣхалъ.“ Былъ здѣсь братъ твой, князь Андрей, но (это другое дѣло): здѣсь его вотчина, и намъ нельзя было ему, нашему господину, челомъ не ударить“.

Гораздо еще болѣе важными по своему историческому значенію являются двѣ дру-

политическія проповѣди, относящіяся къ ѣку. Онѣ обѣ были вызваны однимъ важнѣйшимъ событіемъ политической исторіи Руси въ правленіи Іоанна III—ательнымъ сверженіемъ ига татарскаго (180 г.). Нерѣшительность дѣйствій Іоанна противъ хана Ахмата, опасеніе бѣдствій, какія она могла навлечь на эту землю, и наконецъ, отчасти, чувственная гордость, которой бы тя было уступить давнему и вѣстному врагу народному—все это побудило митрополита Геронтія, вмѣстѣ съ имъ духовенствомъ обратиться къ Іоанну „соборнымъ посланіемъ“, въ которомъ указывалось на необходимость борьбы татарами и на то, что самому Іоанну нѣтъ стоять во главѣ войска, для одушевленія его. Но это „соборное посланіе духовенства на Угру (13 ноября 1480)“ не вою надлежащаго дѣйствія. Іоаннъ медлился, и даже сталъ вести съ Ахматомъ переговоры о мирѣ. Тогда архіепископъ Ростовскій Вассіанъ, духовникъ Іоанна и близкое ему, довѣренное лицо, пишетъ къ нему отъ себя лично другое посланіе, написанное съ замѣчательнымъ искусствомъ и весьма положительною убѣдительностью доводовъ. Стараясь подѣйствовать нерѣшительность Іоанна, Вассіанъ идетъ въ ходъ и религіозную, и свѣтскую личность свою, старается возбудить въ Іоаннѣ гордость и мужество, и текстами св. Писанія, и приговорами изъ отечественной исторіи, и даже изреченіями классической поэзіи. Въ заключеніе посланія, Вассіанъ тонко разбиваетъ вѣроятно сильно возмущавшіе на Іоанна доводы партіи, называвшей на необходимости примиренія с татарами.

„Государь великій,“ — такъ начиняетъ Вассіанъ свое посланіе—„надлежитъ намъ вамъ, а вамъ—насъ слушать; и мы, я дерзнулъ написать къ твоему величеству, такъ какъ хочу нѣчто вспомнить божественнаго Писанія, на сколько вразумилъ меня на крѣпость и утвержденье твоей державы... Дошли до насъ слухи въ то время, когда уже бесермечный Ахматъ приближается и погубляетъ христианство и въ особенности похваляется имъ и на твое отечество, ты передъ нимъ еси и молишь его о мирѣ, и къ нему

посылаешь, а онъ все также дышетъ гнѣвомъ и твоего моленія не слушаетъ, но хочетъ до конца раззорить христианство... Прослышали мы и о томъ, что прежніе твои развратники не перестаютъ шептать тебѣ въ уши льстивыя слова и совѣтуютъ тебѣ не противиться супостатамъ, но отступить и предать на разхищеніе волкамъ словесное стадо Христовыхъ овецъ... Умоляю тебя, не слушай ты такого совѣта ихъ... Вѣдь что же совѣтуютъ тебѣ эти льстивые и лжеименитые, почитающіе себя христианами? Да только то, чтобы побросавъ щиты свои и ни мало не сопротивляясь этимъ океаннымъ сыроядцамъ, предать и христианство, и свое отечество, ты бы вмѣстѣ съ ними, какъ бѣглецъ, скитался по инымъ странамъ. Помысли же, велемудрый государь! отъ какой славы и въ какое безчестіе сводятъ они твое величество, послѣ того, какъ такое множество народа погибло и столько церквей Божіихъ было разорено и осквернено. И кто же будетъ на столько каменосердеченъ, что не всплачется объ этой гибели? Убойся же и ты, о, пастырь! не отъ твоихъ ли рукъ взыщетъ Богъ кровь погибшихъ?... И куда же хочешь ты бѣжать, или гдѣ воцариться, погубивъ врученное тебѣ отъ Бога стадо?... И вотъ теперь, когда, какъ слышно, безбожный Агаряскій народъ приблизился къ странамъ нашимъ, къ отечеству; уже полѣзли на насъ и многіе смежныя съ нашимъ отечествомъ страны и на насъ движется—выходи же скорѣе ему на встрѣчу, взявъ на помощь Бога и пречистую Богородицу, нашего христианства Помощницу и Заступницу, и всѣхъ святыхъ, и прими за образецъ себѣ прежде бывшихъ твоихъ прародителей великихъ князей: они не только Русскую землю обороняли отъ поганыхъ, но даже и другія страны завоевывали, хоть бы напр. Игорь, или Святославъ, или Владиміръ, которые брали дань съ Греческихъ царей; а потомъ и Владиміръ Мономахъ,—какъ и когда онъ бился съ океанными Половцами за Русскую землю; да и многіе другіе, которые тебѣ болѣе насъ извѣстны. Также и достойный похвалъ великій князь Дмитрій, твой прародитель, каково мужество и храбрость показалъ за Дономъ надъ тѣми же сыроядцами океанными? Самъ даже впереди всѣхъ бился, не щадя своей жизни ради избавленія христианъ... Не усомнился онъ и не испугался множества Татаръ, не воро-

тился назадъ, не сказать себѣ самому: у меня жена и дѣти, и богатства много; если даже и захватятъ мою землю, то я поселюсь гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ; нѣтъ! съ увѣренностью устремился онъ на подвигъ и выѣхалъ напередъ, и лицомъ къ лицу сталъ противъ окаяннаго разумнаго волка Мамаю, усиливаясь исхитить изъ устъ его словесное стадо Христовыхъ овецъ—потому-то и всемилостивый Богъ... послалъ ему скорую помощь, и ангеловъ, и св. мучениковъ, чтобы они помогали ему на супротивныхъ.—Если же ты на это скажешь, что мы еще отъ прародителей нашихъ клятвою обязаны не поднимать руки и не возставать противъ царя (т. е. хана); то послушай же, боголюбивый царь! если клятва эта бываетъ по нуждѣ, то намъ повелѣно прощать такіа клятвы и разрѣшать, и мы—святѣйшій митрополитъ и весь боголюбивый соборъ—ихъ прощаемъ и разрѣшаемъ, и благословляемъ тебя противъ него, не какъ противъ царя, но какъ противъ разбойника, хищника и боготорца; лучше тебѣ солгать да остаться въ живыхъ, нежели держаться истинны и погибнуть, пустивъ тѣхъ (т. е. татаръ) въ землю на разрушеніе и истребленіе всему христіанству, на запустѣніе и оскверненіе святымъ церквамъ; не слѣдуетъ тебѣ уподобляться окаянному Ироду, который не хотѣлъ клятвы преступить, (предполагается: неправильно-одной), и погибъ“.

Рядомъ съ проповѣдью политическою должна была, вслѣдствіе особыхъ и важныхъ историческихъ условій жизни XV вѣка, развиться и другая отрасль проповѣдей — полемическая. Правда, что и до того времени, проповѣдь полемическая существовала у насъ въ видѣ нѣсколькихъ отдѣльных произведеній, направленныхъ различными нашими духовными лицами противъ нѣкоторыхъ подробностей обрядовой стороны латинства, а также и въ видѣ постоянныхъ поученій и проповѣдей противъ упорно державшихся у насъ на Руси языческихъ обычаевъ, несогласныхъ съ христіанскими вѣрованіями и воззрѣніями; но всѣ эти произведенія представляются намъ слабыми опытами, скорѣе поучительнаго, нежели полемическаго характера, и притомъ вызванными чисто-внѣшнею потребностью утвержденія въ паствѣ однообразныхъ религіозныхъ обычаевъ или поясненія раз-

ницы между обычаями нашей церкви и церкви западной. Напротивъ того, появленіе ересей въ самой средѣ Церкви Русской (сначала ереси стригольниковъ, въ концѣ XIV вѣка, а потомъ ереси жидовствующихъ, въ концѣ XV вѣка) пробудило къ дѣятельности новыя силы, вызвало къ борьбѣ энергическихъ и сильныхъ защитниковъ цѣлости и единства преданій Восточной Церкви. Сначала, въ борьбѣ противъ ереси стригольниковъ, проявившейся во Псковѣ, принялъ горячее участіе митрополитъ Фотій (1410—1431), родомъ грекъ, написавшій по этому поводу нѣсколько посланій псковичамъ. Но гораздо болѣе важною и плодотворною въ историко-литературномъ отношеніи явилась дѣятельность Геннадія, архіепископа новгородскаго (1435—1504) противъ ереси жидовствующихъ, когда она не только распространилась въ Новгородѣ и Псковѣ, но даже пашла себѣ приверженцевъ и послѣдователей въ кружкѣ людей, приближенныхъ къ Іоанну III, въ самой семьѣ государя, даже въ лицѣ митрополита Зосимы, обязаннаго своимъ поставленіемъ въ митрополиты вліятельнѣйшимъ представителямъ ереси жидовствующихъ. Къ борьбѣ съ жидовствующими Геннадій привлекъ между прочимъ, одного изъ замѣчательнѣйшихъ по уму и образованности представителей духовнаго сословія на Руси XV столѣтія. То былъ извѣстный своею религіозностью и строгой жизнью основатель и игуменъ волоколамскаго монастыря, Іосифъ Санинъ (р. 1440—1515), болѣе извѣстный подъ именемъ Іосифа Волоцкаго. Іосифъ Волоцкой провелъ всю свою молодость въ боровскомъ монастырѣ, на югѣ отъ Москвы, подъ руководствомъ игумена Пафнутія Боровскаго, прославленнаго святостію своей жизни и поддерживавшаго въ обители своей строгія правила иноческой жизни, введенныя въ нашихъ сѣверо-восточныхъ монастыряхъ св. Сергіемъ и св. Кирилломъ. „Строгъ былъ искусъ, которому подвергался Іосифъ въ Пафнутіевскомъ монастырѣ“, — замѣчаетъ историкъ — „но это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые не утомляются никакими трудами, никакими лишениями, не останавливаются никакими препятствіями при достиженіи цѣли. По смерти Пафнутія Іосифъ, по его указанію избранный въ игумены, не хотѣлъ уже довольствоваться ус-

тавомъ монастырскимъ, введеннымъ при Пафнутіи: — онъ хотѣлъ ввести уставъ строжайшій. Большинство братіи на это не согласилось; тогда Іосифъ ушелъ изъ Пафнутіева монастыря, посѣтилъ другія обители, присматривался къ ихъ быту и обычаямъ, и наконецъ рѣшился основать свой собственный монастырь въ дѣсахъ Волоколамскихъ, съ самымъ строгимъ общежительнымъ уставомъ. До какой степени Іосифъ былъ силенъ волею и неустойчивъ въ исполненіи предпринятаго имъ, — это доказывается тѣмъ, что, запретивъ женщинамъ входить въ монастырь и всякое сношеніе съ братіей, онъ и самъ отказался отъ свиданія съ престарѣлою матерью своею. Свои мысли о значеніи иночества, о достоинствѣ монашеской жизни, Іосифъ выразилъ въ сочиненіи подъ заглавіемъ: „Сказаніе о св. отцахъ монастырей русскихъ“. Здѣсь, рассказывая о знаменитѣйшихъ подвижникахъ русскихъ, приводитъ въ примѣръ современному монашеству и св. Сергія, и св. Кирилла, онъ настаиваетъ на необходимости суровыхъ мѣръ для поддержанія строгости и чистоты иноческой жизни. Только при помощи неутомимой и замѣчательной энергіи этого инока, — на столько же отличавагося глубокимъ разумѣніемъ Св. Писанія и твореній Отцевъ Церкви, на сколько и тонкимъ политическимъ тактомъ и практическимъ пониманіемъ жизни, — быстрые успѣхи ереси жидовствующихъ были приостановлены, митрополитъ Зосима вынужденъ сложить съ себя санъ митрополитическій, а самое ученіе и важнѣйшіе представители его подверглись на Соборѣ 1504 года строгому осужденію. Памятникомъ этой знаменитой борьбы Іосифа противъ ереси жидовствующихъ осталось его замѣчательное сочиненіе, известное подъ общимъ названіемъ „Просвѣтитель“, заключающее въ себѣ 16 словъ, направленныхъ противъ еретиковъ и вполнѣдствіи собранныхъ въ одно цѣлое. Эти слова Іосифа Волоцкаго представляютъ собою одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ нашей духовной литературѣ древнѣйшаго періода: — въ каждомъ изъ этихъ словъ Іосифъ является опытнымъ богословомъ, который всякую мысль свою умѣетъ подтвердить текстами, заимствованными изъ Св. Писанія и Отцевъ Церкви, умѣетъ и доказывать ее, и пояснить разнообразными сравне-

ніями и доводами. Свойственныя Іосифу суровость и строгость въ правилахъ жизни и благочестія, особенно ярко проявились въ борьбѣ Іосифа съ ересью жидовствующихъ, представители которой, по настоянію его, преданы были казни или подверглись ссылкѣ и заточенію. Іосифъ, съ нѣкоторымъ самодовольствомъ и полнѣйшимъ спокойствіемъ, говоритъ о томъ, что „державный повелѣлъ всѣхъ отвергшихся Христа и по жидовски мудрствующихъ—однихъ огню предать, другимъ языки рѣзать и наказывать ихъ другими способами“.

Но изъ этого фанатическаго и жестокаго отношенія къ еретикамъ, конечно, еще не слѣдуетъ дѣлать окончательнаго и неблагоприятнаго вывода относительно характера Іосифа Волоцкаго, какъ человѣка, и тѣмъ болѣе, какъ лица духовнаго. Лучшимъ доказательствомъ того, что Іосифъ, строгій къ себѣ и къ другимъ монашествующимъ, умѣлъ отличать частную жизнь и дѣятельность отъ дѣятельности общественной, можетъ служить его же посланіе къ одному вельможѣ, „о милованьи рабовъ“. Въ этомъ посланіи, тотъ же суровый инокъ волоколамскій, который такъ настоятельно требовалъ казни еретикамъ, не менѣе настойчиво указываетъ одному изъ приближенныхъ къ Государю вельможѣ на необходимость снисхожденія и мягкости въ обращеніи съ домочадцами; онъ увѣщаетъ его не только быть милосерднымъ по отношенію къ нимъ, но и заботиться объ удовлетвореніи важнѣйшихъ нуждъ ихъ. „Богъ на тебѣ свою милость показалъ и государь тебѣ пожаловалъ“—говоритъ Іосифъ въ этомъ посланіи къ вельможѣ, — „такъ и тебѣ надлежитъ твоихъ слугъ пожаловать“.

Высоко-замѣчательная по энергіи и уму личность Іосифа Волоцкаго, естественно, не могла быть личностью единичною. Среда, которая воспитала и выдѣлила изъ себя грознаго противника ереси жидовствующихъ, должна было заключать въ себѣ много силъ нравственныхъ, много жизненности. Монастыри оказывались единственными центрами, въ которыхъ находили себѣ просторъ и пищу умственные и нравственные силы русскихъ людей въ то печальное время—и мы, къ крайнему изумленію, видимъ, что уже въ современномъ Іосифу монашествѣ, эти силы не принимаютъ никакого нибудь исклю-

онъ, поучившись немного, да и просится прочь, ужъ не хочетъ учиться; а иной п учиться, да не усердно, и потому живетъ долго. Вотъ такіе-то меня и бранятъ; а мнѣ что же дѣлать? Не могу, не учивши, ихъ поставить. Для того-то я и былъ челомъ государю, чтобъ велѣлъ училища устроить: его разумомъ и грозой, а твоимъ (митрополита Симона) благословеніемъ это дѣло исправится, и ты бы, господинъ отецъ нашъ, государей нашихъ великихъ князей просилъ, чтобъ велѣли училища устроить; а мой совѣтъ таковъ, что учить въ училищѣ сперва азбукѣ, а потомъ псалтири съ слѣдованіемъ накрѣпко:—когда это выучать, то могутъ читать всякія книги. А вотъ мужики, невѣжды, учать ребятъ, такъ только рѣчь имъ портить: прежде выучать вечерню, и за эту мастеру принесутъ кашу, да гривну денегъ; за заутреню тоже, или еще и больше, за часы особенно, да подарки еще несетъ кромѣ условной платы; а отъ мастера отойдетъ—ничего не умѣетъ, только бредетъ по книгѣ, о церковномъ же порядкѣ понятія не имѣетъ. Если государь прикажетъ учить и цѣну назначить, что брать за ученіе, то учащимся будетъ легко, а противиться никто не посмѣетъ; да чтобы и поповъ ставленныхъ велѣлъ учить, потому что нерадѣнье въ землю (нашу) вошло. Вотъ теперь у меня побѣжали четверо ставленниковъ—Максимко, да Куземко, да Аванасъко, да Емельяно мѣсяникъ: этотъ и съ недѣлю не поучился—побѣжалъ; православны ли такіе будутъ? По мнѣ такихъ нельзя ставить въ попы; о нихъ Богъ сказалъ чрезъ пророка: „ты разумъ мой отверже, азъ же отрину тебѣ, да не будешь мнѣ слуга“.

Другимъ важнымъ слѣдствіемъ борьбы съ жидовствующими явилось первое полное собраніе книгъ св. писанія на славянскомъ языкѣ, составленное при томъ же архіепископѣ новгородскомъ Геннадіѣ, въ 1498 году, и сохранившееся до нашего времени подъ названіемъ „Синодальнаго списка Библии“. До этого времени въ нашей письменности не было полного собранія всѣхъ каноническихъ книгъ св. писанія; потребность въ такомъ полномъ собраніи не чувствовалась нашимъ духовенствомъ, благодаря печальному положенію нашего просвѣщенія, до тѣхъ поръ, пока ожесточенная полемика съ жидовствующими не вынудила наше ду-

ховенство озаботиться собраніемъ всѣхъ книгъ св. писанія въ одинъ общій сводъ, тѣмъ болѣе, что жидовствующіе весьма часто почерпали доводы въ подтвержденіе своего ученія именно изъ тѣхъ книгъ, которые не находились подъ руками у Геннадія и другихъ искоренителей ереси. Это неудобство побудило Геннадія не только собрать воедино всѣ разрозненные списки отдѣльныхъ библейскихъ книгъ, но даже и пополнить кругъ ихъ новыми переводами тѣхъ книгъ, которыя не дошли до насъ въ древнихъ славянскихъ переводахъ, совершенныхъ братьями первоучителями. Въ списокъ библии, составленный Геннадіемъ, вошелъ весь новый заветъ, а въ число книгъ стараго завета внесено было нѣсколько книгъ, вновь переведенныхъ съ латинскаго печатнаго перевода библии, извѣстнаго подъ названіемъ „Вульгаты“, такъ какъ не нашлось людей, достаточно знакомыхъ съ греческимъ языкомъ, дабы предпринять переводъ тѣхъ же книгъ съ греческаго текста. Въ числѣ сотрудниковъ Геннадія въ этомъ обширномъ и многозначительномъ трудѣ упоминаютъ доминиканца Веніамина, родомъ славянина (прибывшаго въ Россію въ 1490 году, съ братомъ великой княгини Софьи), который перевелъ Маккавейскія книги, и Дмитрія Герасимова, состоявшаго переводникомъ въ посольскомъ приказѣ, побывавшаго съ разными порученіями въ Швецію, Данію, Пруссію, въ Вѣнѣ и Римѣ. Онъ переводилъ для Геннадія, кромѣ библейскихъ книгъ, нѣкоторыя сочиненія, нужныя для полемики съ жидовствующими, и служившія на западѣ для обличенія іудеевъ.

Дмитрій Герасимовъ принадлежалъ къ тѣмъ замѣчательнымъ дѣтелямъ своего времени, которые были представителями новаго направленія въ жизни московскаго государства въ концѣ XV в. и въ первой половинѣ XVI ст. Не будучи людьми родовитыми и потому не занимая высшихъ должностей въ государствѣ и не пользуясь внѣшнимъ почетомъ, эти дѣтели имѣли главное вліяніе при дворѣ Василия III, были первыми дѣльцами своего времени. Нѣкоторые изъ этихъ дѣльцовъ выдавались не только своими дарованіями, но и рѣдкими, по своему времени знаніями. Таковыми были: Григорій Истома, Власій и Дмитрій Герасимовъ. Они носили скромное названіе гонцовъ или толмачей.

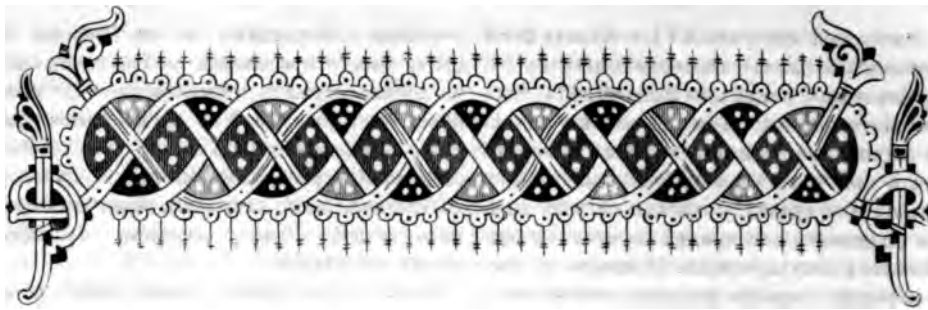
вѣстный историкъ XVI в. Павелъ Іовій юмскій, близко познакомившись съ Димовымъ, когда тому было 60 лѣтъ, такъ иется о немъ: „Дмитрій хорошо владѣтинскимъ языкомъ, ибо еще въ юныхъ получилъ первое образованіе свое въ пѣ и отправлялъ нѣсколько разъ важность посланника во многихъ хрижкихъ государствахъ. Показать на опыность свою къ пользѣ отечества и зную дѣятельность при дворахъ королевскаго и датскаго и у великаго ма прусскаго, онъ въ недавнемъ времени отправленъ посломъ ко двору имперера Максимилиана, гдѣ, окруженный людьякаго рода, и обращаясь безпрестанно ругу общества образованнаго, удобно очистить правильный и гибкій умъ свой сего, что еще оставалось въ немъ гру. Дмитрій, веселый и остроумный, какъ ить о немъ Іовій, былъ человѣкомъ нымъ въ дѣлахъ государственныхъ и

особенно свѣдующимъ въ св. Писаніи. Во время своего пребыванія въ Римѣ, онъ охотно ходилъ слушать торжественное служеніе папы, былъ въ сенатѣ во время приѣма папскаго кард. Кампеджіо (возвр. изъ посольства въ Венгрію), осматривалъ св. храмы, и, по словамъ Іовія, любовался остатками древняго величія Рима и жалкими остатками прежнихъ зданій“.

Въ 1525 г. въ Вѣнѣ ученый Фабръ, по повелѣнію эрцгерцога Фердинанда, записывалъ извѣстія о Московіи со словъ русскихъ пословъ. Въ этомъ же году и въ началѣ 1526 г., въ Римѣ Іовій, по желанію архіепископа консентійскаго Іоанна Руфа, составлялъ описаніе Московіи по рассказамъ того-же Дмитрія Герасимова, посланнаго великимъ княземъ Васиціемъ III къ папѣ Клименту VII.

Такимъ образомъ на долю скромнаго сотрудника Геннадіева выпала обязанность сообщенія первыхъ свѣдѣній о Россіи просвѣщеннѣйшимъ изъ современныхъ европейцевъ.





IX.

Монастырская литература на сѣверо-востокѣ Руси. — Житія и духовныя сказанія. — Авторы и собиратели житій; ихъ воззрѣнія и способъ изложенія матерьяла.



ѣ литературныя явленія, которыя въ XV вѣкѣ выразились рядомъ духовныхъ и религіозно-нравственныхъ произведеній литературы, въ видѣ новыхъ литературныхъ родовъ, вызванныхъ къ жизни новыми историческими условіями быта древней Руси—были уже разсмотрѣны нами въ предыдущей главѣ. Въ то же самое время, когда проповѣдь наша принимала политическое направленіе, вынуждая духовенство заявлять о своемъ участіи къ чисто-мірскимъ дѣламъ и къ интересамъ дорогой отчизны, ереси и другіе живые современные вопросы, занимавшіе духовенство и монашество, вызвали образованнѣйшихъ представителей нашего духовенства къ весьма оживленной полемикѣ. Эта въ высшей степени замѣчательная полемика ясно опредѣляетъ намъ границы того круга фактовъ и понятій, изъ котораго почерпала свои идеалы наиболѣе развитая и образованная часть современнаго общества. Идеалы эти должны были найти себѣ еще болѣе полное выраженіе въ другой отрасли нашей монастырской литературы—въ житіяхъ.

Древнѣйшими памятниками житійнаго рода на сѣверо-востокѣ Руси являются образчики ростовской письменности: житія ростовскихъ святыхъ Исаи (ум. 1090), Леонтія, Авраамія, Игнатія, Петра царевича Ордынскаго и столпника переяславскаго Никиты. Въ основу этихъ древнихъ попытокъ по писанію житій легли несомнѣнно мѣстные легенды, составившіяся вскорѣ послѣ смерти или обрѣтенія мощей того или другого святаго и долго переходившія изъ устъ въ уста въ народѣ. „Поздній писатель только записалъ готовую основу, прибавивъ къ ней свои книжныя разсужденія, ничего практическаго не дающія историку“. ¹⁾ Нельзя не замѣтить, сверхъ того, что „книжныя разсужденія“ писателя, въ значительной степени, могли не принадлежать ему лично, а явиться только заимствованіями изъ патерика „печерскаго“ или подобныхъ ему образцовъ византійскихъ.

Совсѣмъ иной характеръ имѣютъ тѣ житія—біографіи, которыя въ XIII и XIV вв. составлены были современниками или, по крайней мѣрѣ, сословъ современниковъ описы-

¹⁾ Ключевскій, 51.

важнаго въ житіи лица. Сюда относятся: житіе Авраамія, написанное въ Смоленскѣ, Варлаама и Аркадія — въ Новгородѣ, Александра Невского — во Владимірѣ, кн. Михаила Тверского — въ Твери, и митрополита Петра — въ Ростовѣ. Эта небольшая группа житій „не только представляет образцы сѣверно-русской агіографіи въ ея первоначальномъ видѣ, но и наглядно описываетъ собою кругъ древнѣйшихъ средоточій книжнаго просвѣщенія на сѣверѣ“ ¹⁾. Во всѣхъ житіяхъ этой группы встрѣчаемъ много любопытнѣйшихъ историческихъ данныхъ для исторіи быта и образованности, описываемой въ нихъ эпохи, знакомимся, отчасти, и съ самою личностью ихъ авторовъ, и съ источниками ихъ литературной образованности. Такъ, напримѣръ, изъ житія Авраамія Смоленскаго узнаемъ, что въ развитіи книжнаго образованія Смоленскъ занималъ въ ряду городовъ русскихъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Письменность, какъ оказывается, была сильно развита въ смоленскихъ монастыряхъ въ концѣ XII вѣка. Изъ книго-хранилища подгороднаго Семицкаго монастыря Авраамій бралъ для прочтенія житія восточныхъ святыхъ Антонія, Саввы и др., а также и житіе Феодосія печерскаго, и сочиненія Златоуста, Ефрема Сирина и даже нѣкоторые апокрифическія книги. Игуменъ монастыря, обладавшаго богатымъ книго-хранилищемъ, представляется въ житіи на столько начитаннымъ человѣкомъ, что при немъ никто не дерзалъ „отъ книгъ мѣшати“. Самъ Авраамій не ограничивается однимъ только чтеніемъ: онъ собираетъ около себя писцовъ, съ помощью которыхъ составляетъ и переписываетъ новые сборники, внося въ нихъ наиболѣе важное изъ своего обширнаго чтенія. Весьма начитаннымъ оказывается и самъ авторъ житія Аврааміева, инокъ Ефремъ, сопровождающій свое изложеніе ссылками на житія восточныя, на сочиненія Іоанна Златоуста, приводящій для сравненія со своимъ рассказомъ двѣ повѣсти изъ сборника „Златая Цѣпь“. Мало того въ самомъ изложеніи своемъ, онъ выказываетъ знакомство съ общими приемами изложенія житій: въ нѣкоторыхъ частностяхъ житія Аврааміева, авторъ явно подражаетъ Несторову житію Феодосія, и, съ другой стороны, ума-

чиваетъ обо многихъ, несомнѣнно извѣстныхъ ему, (какъ современнику) подробностяхъ только потому, что авторы житій вообще проходятъ эти подробности молчаніемъ.

Уже и въ древнѣйшихъ изъ числа сѣверно-русскихъ житій, видимъ уже подражанія византійскимъ и юго-славянскимъ образцамъ. Въ нихъ, кромѣ того, замѣтно уже зарожденіе условныхъ біографическихъ чертъ и приемовъ, изъ которыхъ въ позднѣйшее время составила реторика житій, какъ особаго литературнаго рода. Отличительною чертою наиболѣе древнихъ сѣверно-русскихъ житій, сравнительно съ позднѣйшими, является только то, что всѣ они имѣютъ въ основѣ своей фактическое содержаніе и сухо, сжато передавая его, не обращаютъ его въ матерьялъ для церковной проповѣди или нравственно-реторическаго разсужденія. Многія изъ нихъ имѣютъ видъ „памяти“ о святомъ, или проложной записки, предназначенной для церковнаго обихода, для прочтенія въ церкви, въ день празднества святаго, въ назиданіе набожнымъ слушателямъ.

Когда, къ концу XIV вѣка, возникшія на сѣверо-востокѣ Руси обители достигли высокаго значенія и стали оказывать важное вліяніе на историческія судьбы нашего отечества, въ монашествѣ должно было явиться весьма естественное стремленіе къ написанію житій тѣхъ новыхъ сѣверно-русскихъ подвижниковъ, которые, жизнью и дѣятельностью своею, заслужили глубоко-почтительнаго, благодарнаго воспоминанія въ потомствѣ. Такъ, прежде всѣхъ другихъ, должны были, конечно, явиться житія такихъ славныхъ дѣятелей, какъ св. Сергій, Петръ Митрополитъ, Алексій Митрополитъ, Пафнутій Боровскій, Стефанъ Пермскій. Вслѣдъ за этими житіями, послѣ того, какъ они уже приобрѣли нѣкоторую извѣстность, много разъ были и переписываемы, и передѣлываемы въ разныхъ концахъ Руси, должны были явиться житія менѣе крупныхъ, менѣе замѣчательныхъ подвижниковъ, пользовавшихся не столь обширною, всероссійскою извѣстностію — житія такъ-называемыхъ „мѣстно-чтимыхъ“ святыхъ. Мало по малу, въ каждомъ монастырѣ, образовалась своя небольшая литература житій, въ которыхъ на первомъ планѣ являлась личность

¹⁾ Ключевскій, 52.

основателя обители, и около нея группировались остальные личности болѣе или менѣе замѣчательныхъ сподвижниковъ его.

Съ конца XIV в. литература сѣвернорусскихъ житій, сильно разростаясь и развиваясь, въ то же время замѣтно принимаетъ иное направление. Съ юга усиливается въ сѣверной Руси наплывъ славянскихъ оригинальныхъ произведений и переводовъ, послужившихъ образцами и пособиями для изложенія житій въ новомъ направленіи; съ другой стороны, вслѣдъ за письменными памятниками юга появляются и пришедшие оттуда литературные дѣятели, которые даютъ нашей литературѣ первые опыты новаго, искусственнаго изложенія житій. Полагаютъ, что въ этомъ случаѣ наиболѣе значительное вліяніе на переработку житій должны были оказать церковно-поучительныя произведенія, и въ числѣ ихъ преимущественно похвальные слова и поученія на праздники святыхъ. Подъ вліяніемъ указанныхъ похвальныхъ словъ святыхъ, та молитва или краткая похвала, которой иногда заканчивался рассказъ въ древнѣйшихъ сѣвернорусскихъ житіяхъ, стала отдѣляться отъ него въ позднѣйшихъ и мало по малу принимать форму особой, иногда очень длинной статьи; вслѣдствіе этого измѣнялся и характеръ изложенія житій, въ которыхъ фактическая сторона болѣе и болѣе отодвигалась на задній планъ и уступала мѣсто ораторскому прославленію святаго.

Первыми писателями, которымъ удалось дать образцы новаго направленія въ жизнеописаніяхъ русскихъ святыхъ, были: сербы Кипріянь и Пахомій Логофеть; рядомъ съ ними является и русскій инокъ Елифаній.

Кипріянь оставилъ намъ довольно странное житіе митрополита Петра, которое, по его собственному выраженію, онъ взялся писать „елико отъ сказателя слышалъ“, но, въ сущности, трудъ его не былъ вполнѣ оригинальнымъ, такъ какъ въ основу его было положено гораздо ранѣе явившееся „житіе Петра митрополита“, написанное епископомъ ростовскимъ, Прохоромъ—простой и сухой рассказъ, важный, однакоже, какъ рассказъ современника. Кипріянь написалъ „житіе Петра“, какъ предполагаютъ, между 1397 и 1404 гг., т. е. въ то время, когда онъ успокоился отъ пережитыхъ имъ волненій и смутъ и могъ предаться въ подмосковскомъ митро-

полчьемъ селѣ Голенищевѣ своимъ любимымъ книжнымъ занятіямъ. Все, пережитое Кипріяномъ въ Россіи, въ значительной степени сближало событія его тревожной жизни съ жизнью Петра митрополита, прошедшаго черезъ тѣ же церковныя смуты: — вотъ почему, въ житіи Петра, Кипріянь, высказывая свое мнѣніе о его дѣяніяхъ, особенно выставлялъ нѣкоторыя изъ нихъ, какъ бы желая объяснить и оправдать въ глазахъ современниковъ нѣкоторыя изъ своихъ собственныхъ дѣйствій. Съ этой-то именно стороны личнаго авторства и какъ выраженіе отношенія послѣдующихъ поколѣній къ великому московскому святителю, сочиненіе Кипріяна и представляется любопытнымъ и важнымъ явленіемъ въ ряду нашихъ житій конца XIV и начала XV в.

Гораздо болѣе важными въ историко-литературномъ отношеніи представляются намъ труды Елифанія, инока Троице-Сергіева монастыря, писавшаго житія свои около того же времени, когда Кипріянь составлялъ „житіе Петра“.

Талантливый писатель и замѣчательный представитель русскаго книжнаго образованія въ началѣ XV вѣка, Елифаній перешелъ въ память потомства съ прозваніемъ Премудраго. Происхожденіе его неизвѣстно. Его перу принадлежатъ два житія: его учителя, Сергія Гадонежскаго и его друга, Стефана Пермскаго. Изъ Елифаніева житія Св. Сергія видно, что епископъ Стефанъ, въ поѣздахъ своихъ изъ Перми въ Москву, обыкновенно по пути заѣзжалъ къ Сергію, въ его монастырь. Здѣсь Стефанъ, будущій биографъ пермскаго просвѣтителя, слушалъ его рассказы о Перми и его трудахъ на поприщѣ обращенія этого новаго края къ христіанству. Въ похвалѣ, которой Елифаній заканчиваетъ житіе Стефана, онъ сѣтуетъ, что не присутствовалъ при его кончинѣ, что болѣе уже не увидится съ нимъ, и при этомъ обращается къ святому съ слѣдующими трогательными словами: „помню, ты очень любилъ меня; при жизни твоей я досаждалъ тебѣ, препирался съ тобой о какомъ-нибудь событіи, о словѣ, о стихѣ писанія или о строкѣ“. Ясно, что онъ писалъ, какъ очевидецъ, и это составляетъ важнѣйшую сторону его трудовъ. Съ другой стороны, и его труды служатъ важнымъ свидѣтельствомъ для ближайшаго ознакомленія насъ съ тѣмъ уровнемъ

образования. на котором стояли лучшие представители нашей образованности начала XV вѣка. Елифаній провелъ большую часть своей жизни въ двухъ монастыряхъ — ростовскомъ монастырѣ Григорія Богослова и въ Троице-Сергіевомъ — особенно богатыхъ средствами для книжнаго образования. Тексты, которыми иснещены оба написанныя имъ житія, указываютъ на близкое знакомство съ Св. Писаніемъ; по другимъ ссылкамъ въ тѣхъ-же житіяхъ видимъ, что Елифаній читалъ хронографы, папею, дѣйствію, нательникъ и другіе церковно-историческіе источники, „что, сверхъ того, онъ знакомъ и съ сочиненіями черноризца Хробра (о письменѣхъ). Въ житіи Сергія онъ высказываетъ обширное знакомство съ восточными житіями, и даже съ недавно оконченными трудомъ Кипріяна. Кромѣ того, способъ изложенія и самый языкъ Елифанія указываютъ на обширную начитанность въ литературѣ церковнаго краснорѣчія. Вотъ почему написанныя имъ житія хотя и богаты фактами, но фактическое содержаніе житія уже подавляется витійствомъ, нарушающимъ всякую связь и единство между частями. Этимъ объясняется слабое распространеніе его трудовъ въ древне-русской письменности.

Напротивъ того, творенія Пахомія Логофета, писателя гораздо менѣе талантливаго, охотно читались въ древней Руси и послужили главными образцами для позднѣйшихъ изложеній сѣверно-русскихъ житій. Нѣкоторыя подробности его біографіи очень любимы для характеристики его весьма обширной и плодотворной литературной дѣятельности. Пахомій былъ родомъ Сербъ; но никакихъ свѣдѣній о его жизни до пріѣзда въ Россію мы не имѣемъ. Достоверно извѣстно только то, что явился онъ въ Россію до 1440 г., ибо въ этомъ же году мы уже видимъ его усердно трудящимся въ Троице-Сергіевомъ монастырѣ. Здѣсь, въ теченіе своего девятинадцатилѣтняго пребыванія (1440—1459) онъ неутомимо пишетъ и составляетъ праздничныя службы святымъ, слагаетъ въ честь имъ каноны, описываетъ открытія мощей и чудеса, передѣлываетъ старыя житія, то пополняя, то сглаживая ихъ — наконецъ, на досугъ и, какъ бы между дѣломъ, списываетъ для монастырской бібліотеки цѣлый рядъ книгъ. Все это неутомимый Сербъ выпол-

няетъ, преимущественно, по заказу и порученію митрополита и другихъ высшихъ представителей современнаго духовенства. Усиленность, съ которою работаетъ Пахомій, его умѣнье угодить всѣмъ и каждому ровнымъ и гладкимъ изложеніемъ того матеріала, который представлялся ему для обработки — приобрятаютъ ему наконецъ большую литературную извѣстность. На Пахомія стараются возложить новыя работы, привлекаютъ его къ новымъ трудамъ. Такъ въ 1459 г. получаетъ онъ отъ Новгородскаго архіепископа Іоны приглашеніе пріѣхать въ Новгородъ и заняться тамъ написаніемъ житій мѣстныхъ новгородскихъ угодниковъ и составленіемъ каноновъ для церковнаго празднованія ихъ памяти. Въ Новгородѣ остается Пахомій почти три года, и, точно также, какъ и въ Сергіевой обители, составляетъ житія, похвальные слова святымъ и слагаетъ имъ каноны, за что архіепископъ Іона и вознаграждаетъ искуснаго Серба-писателя „множествомъ золота, серебра и соболей“. Въ 1462 году онъ опять возвращается въ Москву и, по порученію великаго князя Василія Васильевича и митрополита Теодосія, ѣдетъ въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь, дабы на мѣстѣ собрать свѣдѣнія о жизни св. Кирилла Десять лѣтъ спустя (въ 1472 г.), мы снова видимъ его въ Москвѣ, и снова трудящимся надъ составленіемъ житій собственно московскихъ мѣстныхъ угодниковъ. Вообще говоря, намъ сохранилось отъ Пахомія 18 каноновъ, нѣсколько похвальныхъ словъ святымъ, 6 отдѣльныхъ сказаній и 10 житій; но едва-ли можно съ полною достоверностью сказать, что эта масса сочиненій представляетъ собою все то, что было въ теченіи долгой и трудолюбивой жизни написано „искуснымъ въ книжныхъ сложеніяхъ“ Сербомъ. Въ поясненіи обилія литературной дѣятельности Пахомія слѣдуетъ однакоже замѣтить, что труды его, по большей части, не были вовсе оригинальными: онъ только перерабатывалъ или за ново излагалъ то, что уже было написано до него. Ему удалось довольно искусно ввести въ церковную практику (въ формѣ службы, похвальнаго слова или житія) и въ составъ душеполезнаго чтенія значительную долю запаса русскихъ церковныхъ воспоминаній, накопившихся къ половинѣ XV вѣка. Онъ первый прямо установилъ постоянные, однообразные приемы въ

изложеніи жизнеописанія святаго, и далѣй рядъ образцовъ того ровнаго, нѣсколь-
ко холоднаго и монотоннаго склада, которому
было легко подражать даже при весьма огра-
ниченной степени начитанности и таланта.

Подъ непосредственнымъ вліяніемъ идей
централизаціи, преобладавшихъ на Руси XVI
вѣка явилась отважная и замѣчательная по-
пытка централизаціи въ области древне-рус-
ской письменности, которая привела къ со-
ставленію колоссальнаго сборника житій свя-
тыхъ, извѣстнаго подъ названіемъ „Четь-
ихъ-Миней“. Составителемъ сборника яви-
лся одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ
дѣятелей XVI вѣка—архіепископъ новгород-
скій, Макарій, впоследствии бывшій митро-
политомъ (съ 1542 г.). Къ сожалѣнію, намъ
почти неизвѣстно біографія этого образова-
ннѣйшаго челоуѣка своего времени, отлича-
вшагося громадною начитанностью, не щадив-
шаго ни трудовъ, ни матеріальныхъ пожерт-
вованій на выполненіе задуманнаго имъ дѣ-
ла. Мы знаемъ о немъ только то, что онъ
происходилъ изъ среды монашества обители
Пафнутія Боровскаго, что онъ горячо лю-
билъ старину и древность, и заботился о со-
храненіи и подновленіи ея памятниковъ. Но
намъ остаются совершенно неизвѣстными тѣ
побужденія, на основаніи которыхъ, около
1529—1530 г., онъ озабочился собраніемъ
всѣхъ важнѣйшихъ житій и составленіемъ
изъ нихъ общаго свода, который долженъ
былъ заключать въ себѣ „всѣ книги что-
мья, какія обрѣтались въ русской
землѣ“. Этотъ сводъ, въ которомъ матери-
алъ для чтенія распредѣленъ, по числу мѣ-
сяцевъ года, въ двѣнадцать большихъ кни-
гахъ, получилъ названіе „Четьихъ-Миней“,
или мѣсячныхъ чтеній, ибо весь разно-
образный матеріалъ, вошедшій въ составъ
этого сборника, расположенъ на основаніи
последовательности церковнаго календаря,
а писанія отцевъ и учителей Церкви въ Ми-
неяхъ и помѣщены даже подъ тѣми числа-
ми мѣсяцевъ, когда совершается ихъ па-
мять. Попытка Макарія собрать во едино
всѣ книги чтомья была приведена имъ
въ исполненіе самымъ блистательнымъ обра-
зомъ: въ его сводъ вошли, кромѣ краткихъ
и пространныхъ житій святыхъ, торжествен-
ныя и похвальные слова на праздники и
памяти святыхъ, книги св. Писанія съ тол-
кованіями, творенія св. отцевъ, учителей и

писателей церковныхъ, патерики іерусали-
скіе, египетскіе, синайскіе, пелерскіе и скит-
скіе. Рядомъ съ этими произведеніями подъ
видомъ житій святыхъ явились въ Четьихъ-
Минейхъ и легенды или духовныя ска-
занія святыхъ, въ которыхъ истинныя со-
бытія смѣшаны съ народными преданіями и
факты историческіе украшены вымыслами
народной фантазіи. Изъ подобныхъ произве-
деній особенно замѣчательны: Ростовская ле-
генда о Петрѣ царевичѣ Ордынскомъ, Смо-
ленская легенда о св. Меркуріи съ Муром-
скою легендою о Марѣ и Маріи, и о князѣ
Петрѣ и супругѣ его Февроніи. Переписка
всего свода была окончена къ 1552 году.
Надъ составленіемъ этого свода Макарій
трудился около 20 лѣтъ и успѣлъ внести
въ него 1,300 житій. При составленіи сво-
его обширнаго свода, Макарій изъ многихъ
рукописей одного житія выбиралъ лучшія,
по его мнѣнію; другія житія приказывалъ
исправлять по отношенію къ слогу или от-
тѣнкамъ языка, на которомъ иногда замѣ-
ны были слѣды первоначальной болгарской
или сербской редакціи; третья, наконецъ,
Макарій приказывалъ совсѣмъ переделывать
и писать вновь. Такъ, напримѣръ, бояринъ
Василій Тучковъ, по желанію Макарія, вновь
написалъ житіе Михаила Клопскаго, „за-
тѣмъ, что прежнее было очень просто напи-
сано“. Это свѣдѣніе о причинѣ, побудившей
къ написанію житія, прекрасно характери-
зуетъ самый способъ изложенія житій, во-
шедшихъ въ составъ громаднаго сборника,
составленнаго Макаріемъ. Способъ изложе-
нія этихъ произведеній вообще отличается
напыщенностью, искусственностью и полнымъ
отсутствіемъ той простоты, которая служитъ
однимъ изъ лучшихъ украшеній святаго и
немногосложнаго разсказа житій въ ихъ дре-
внихъ, первоначальныхъ редакціяхъ. Во мно-
гихъ отношеніяхъ, однако же, любопытно и
поучительно то вступленіе, которое, только
что упомянутый нами авторъ житія св. Ми-
хаила Клопскаго предпосылаетъ своему со-
чиненію, стараясь пояснить читателямъ зна-
ченіе подобнаго рода произведеній, въ срав-
неніи съ величавыми отголосками классиче-
скаго эпоса, дошедшаго до нашихъ вре-
менъ въ болѣе или менѣе полныхъ отрывкахъ:
„Слышалъ я нѣкогда“,—пишетъ благоче-
стивый авторъ житія св. Михаила Клопска-
го—„какъ читали книгу о развороченіи Трои-

ой книгѣ сплетены многія похвалы Эд-
га отъ Омира и Овидія. Ради одной
улыбчивой храбрости, память о нихъ
нилась такъ долговременно. Хотя
десѣ былъ храбръ, но онъ погруженъ
въ глубину нечестія и тварь почиталъ
Творца. Также Ахиллъ и сыны троян-
скаго Пріама, будучи эллины, похваля-
лись эллины и удостоились соблазнитель-
ства. Во сколько же богѣ должны мы
любить и почитать святыхъ и преображен-
ныхъ чудотворцевъ, которые одер-
зали великую побѣду надъ врагами и
шли отъ Бога столь великую благодать,
е только люди, но и ангелы почитаютъ
вѣтъ ихъ. Мы-ли, послѣ этого, оставимъ
удеса вѣтъ, не проповѣдуя о нихъ? „
ичайно любопытно то, что многолѣтніе
атурные труды Макарія, впоследствии,
онъ уже былъ митрополитомъ, напли
живой отголосокъ на знаменитыхъ со-
ѣ 1547 и 1549 года, на которыхъ утвер-
и была канонизация новыхъ святыхъ
ихъ. По мысли царя Ивана Василье-
и по благословенію „боголюбивѣйшаго
шолита Макарія всея Русіи“, епархі-
е архіерей, послѣ собора 1547 г., про-
и въ своихъ епархіяхъ обыскъ о вели-
новыхъ чудотворцахъ, собрали „житія,
и и чудеса ихъ“, пользуясь указанія-
истыхъ жителей „въ градахъ, и въ се-
и въ монастыряхъ, и въ пустыняхъ“.
ѣ, въ 1549 г. они явились въ Москву

съ собраннымъ ими матеріаломъ, который
здѣсь соборно свидѣтельствовали и ввели въ
составъ церковнаго писанія и чтенія, уста-
новивъ по этимъ житіямъ и канонамъ форму
празднованія памяти новымъ чудотворцамъ
При этомъ, одинъ изъ нашихъ ученыхъ изслѣ-
дователей, рассмотрѣвши списки святыхъ ка-
нонизированныхъ на обоихъ соборахъ, пришелъ
къ чрезвычайно любопытному выводу, что на
составленіе этихъ списковъ важное влияние
оказано было собственно литературою житій,
съ одной стороны, а съ другой—личнымъ уча-
стіемъ митрополита Макарія. Съ одной сто-
роны, установленіе празднованія извѣстному
святому обуславливалось существованіемъ
житія и канона, которые можно было пѣть и
читать въ день его памяти; съ другой сто-
роны—двѣ трети списка святыхъ канонизи-
рованныхъ составлялись по мысли „самого ми-
трополита, руководителя собора, подъ влияні-
емъ его личнаго отношенія къ памяти нѣко-
торыхъ святыхъ и его знакомства съ литера-
турой житій“¹⁾. И дѣйствительно, въ списки
святыхъ, канонизованныхъ соборами, не во-
шли именно тѣ, которыхъ житія оказывались
менѣе распространенными, а потому не во-
шли въ составъ обширнаго сборника митро-
полита Макарія, и, по всѣмъ вѣроятіямъ,
остались ему неизвѣстны. Въ этомъ фактѣ
нельзя не видѣть очень важнаго свидѣтель-
ства той живой связи, которая въ половинѣ
XVI вѣка уже начала устанавливаться меж-
ду литературою и общественною жизнью.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВЪ ДЕВЯТОЙ.

ЖИТІЯ И ДУХОВНЫЯ СКАЗАНІЯ О СВЯТЫХЪ.

Житіе Петра, Царевича Ордынскаго.

ископъ Ростовскій Кириллъ, во время
ванія своего въ ордѣ, рассказывалъ
Беркаю о томъ, какъ Леонтія кре-
ростовскую землю; племянникъ хана,
вишій его, плѣнился христіанствомъ,
илъ все богатство отца своего и вмѣ-
и епископомъ ушелъ изъ орды въ Ро-
Тамъ богослуженіе въ храмѣ Пре-

святой Богородицы, гдѣ на лѣвомъ клиросѣ
пѣли тогда по гречески, на правомъ — по
русски, поразило татарскаго царевича. Онъ
молилъ Кирилла, чтобы тотъ окрестилъ его.

„По прибытіи царевича Петра изъ орды
въ Ростовъ, епископъ Кириллъ вскорѣ по-
меръ (въ 1262 г.). Ему наслѣдовалъ вла-
дыка Игнатій, при князѣ Борисѣ Василье-

вичъ Ростовскомъ. Не оставляя своихъ парскихъ потѣхъ, однажды царевичъ Петръ охотился ловчими птицами, вдоль ростовскаго озера и, утомившись охотою, къ вечеру заснулъ на берегу его. Тогда явились ему два свѣтлыхъ мужа. Когда царевичъ, въ ужасѣ, палъ предъ ними, они, взявъ его за руку, говорили ему: „друже Петре! Не бойся! Мы посланы къ тебѣ отъ Бога, въ котораго ты увѣровалъ и окрестился, и посланы для того, чтобы укрѣпить родъ твой и племя, и внуковъ твоихъ до скончанія міра“. Потомъ дали они царевичу два мѣшка: въ одномъ золото, а въ другомъ серебро—и велѣли вымѣнять ему въ городѣ три иконы: одну Св. Богородицы съ младенцемъ, другую Св. Дмитрія и третью Николы Чудотворца... Потомъ велѣли они царевичу, съ вымѣненными иконами, явиться къ епископу и сказать отъ имени первоверховныхъ апостоловъ, чтобы онъ соорудилъ имъ церковь при озерѣ, гдѣ царевичъ спалъ. Въ ту же ночь являлись они и самому епископу, съ тѣмъ же повелѣніемъ о сооруженіи церкви; и когда, на другой день, епископъ Игнатій бесѣдовалъ о томъ съ княземъ ростовскимъ, приходитъ къ нимъ царевичъ съ вымѣненными иконами, которыя сіяли, какъ солнце, и повѣдалъ имъ о своемъ видѣніи. Князь и епископъ, поклонившись иконамъ, много удивлялись, какъ могъ царевичъ вымѣнять такіа на торгу, потому что въ городѣ не было иконописцевъ; видѣли также, что царевичъ былъ молодъ и отъ иновѣрныхъ. Но когда Петръ разрѣшилъ ихъ недоумѣніе ¹⁾, епископъ пѣлъ иконамъ молебны и, отправившись на указанное мѣсто при озерѣ, заложилъ храмъ апостоламъ Петру и Павлу. Когда храмъ былъ готовъ и царевичъ Петръ поставилъ въ немъ вымѣненные три иконы, тогда князь ростовскій, выѣстъ съ нимъ возвращаясь отъ храма и сядя на коня, глумясь сказалъ царевичу: „владыка тебѣ церковь устроилъ, а я мѣста не дамъ: что тогда будешь дѣлать?“ Петръ отвѣчалъ: „Княже! повелѣніемъ Св. Апостоловъ, я куплю у тебя (столько), сколько благодать твоя отлучитъ отъ земли этой“... Князь же, видѣвъ мѣшки Петровы въ епископѣ, помолчалъ немного, потомъ сказалъ: „Петре! вопрошу тебя: данъ-ли за

мою землю столько, сколько ты далъ за иконы? Дашь-ли девять литръ серебра, а десятую золота?“ Петръ сказалъ: „Св. Апостолы говорили мнѣ: что владыка Игнатій повелитъ, то и сотвори: потому спрошу его самого“. Тогда владыка, на вопросъ царевича, благословилъ его и сказалъ: „Господи изрекъ своими святыми устами: просащему у тебя дай, и ты, чадо, не пощади родителей имѣнія, дай князю, сколько онъ хочетъ“. Петръ, вѣруя словамъ владыки, поклонился ему до земли; пошелъ къ князю и сказалъ ему: „да будетъ, княже, воля св. Апостоловъ и твоя!“ Тогда князь велѣлъ извлечь вервь отъ воды и до воротъ, и затѣмъ отъ воротъ до угла, а отъ угла возлѣ озера: мѣсто это велико. Послѣ того Петръ сказалъ: „повели, княже, ровъ копать, какъ въ ордѣ бываетъ, чтобы не погибло то мѣсто“. Такъ и сдѣлали: выкопали ровъ, который видѣнъ и донинѣ; а Петръ началъ отъ воды класть деньги по одиночкѣ, вынимая изъ мѣшковъ—девять литръ серебромъ и десятую золота; и наполнили возы Петровыми казнами... такъ что кони едва тронули ихъ съ мѣста. Князь же и владыка, видѣвши множество выложеннаго серебра и золота, а мѣшки все также полны, дивились великому чуду.

Спустя нѣкоторое время, однажды князь и владыка говорили между собою о царевичѣ Петрѣ: „если этотъ мужъ царскаго племени уйдетъ въ орду, будетъ не ладно нашему городу“;—а Петръ былъ ростомъ великъ и лицомъ красивъ. И потомъ оба они говорили ему: „Петре! хочешь-ли мы выдадимъ за тебя невѣсту?“ Петръ же прослезился и отвѣчалъ князю и владыкѣ: „я возлюбилъ вашу вѣру и пришелъ къ вамъ: да будетъ воля Господня и ваша!“ Князь взялъ ему отъ великихъ вельможъ невѣсту; а владыка вѣнчалъ Петра и устроилъ ему церковь и освятилъ ее по заповѣди святыхъ апостоловъ.

Князь всегда бралъ Петра на парскую утѣху около озера: ястребами, кречетами и прочими утѣхами тѣшилъ его, дабы въ немѣ вѣрѣ утвердился. Однажды, во время охоты, сказалъ ему князь: „велию благодать обрѣлъ ты передъ Богомъ и граду нашему! Писано есть: „что воедамъ Господомъ о

¹⁾ Т. е. пояснилъ имъ, что онъ крещеный.

всѣхъ, яже воздасть намъ; — прими же, господине Петре, малую эту землю отъ нашей отчины и воды отъ этого озера: я тебѣ напишу грамоты“. И отвѣчалъ ему царевичъ: „я, княже, отъ отца и матери не умѣю землею владѣть; а грамоты эти для чего?“ — „Все это я тебѣ сдѣлаю“ — говорилъ князь: „а грамоты для того, чтобы послѣ насъ мои дѣти, внуки и правнуки не отняли твоихъ земель у твоихъ дѣтей и внучат“. Петръ принялъ предложеніе, а князь велѣлъ передъ владыкою писать грамоты: множество земель, отъ озера, воды и лѣса, которыя и донныя были уряжены Петру.

Орда была тогда тиха много лѣтъ, и князь такъ любилъ Петра, что и хлѣба безъ него не ѣлъ, и при владыкѣ побратался съ нимъ въ церкви. И прозвался Петръ братомъ князя: и народились у него сыновья; и спустя малое время померъ владыко Игнатій, померъ и князь ростовскій, а дѣти его звали Петра дядею и до старости. И много лѣтъ въ благоденствіи пожилъ царевичъ Петръ и преставился въ глубокой старости, въ монашескомъ чинѣ. И положили его у св. Петра и Павла, у его уснаища; и отъ того времени установился тамъ монастырь.

Внуки-же стараго ростовскаго князя забыли Петра и добродѣтель его, начали отнимать дуга и украинны земли у Петровыхъ дѣтей. Тогда сынъ Петровъ пошелъ въ орду, сказался внукомъ брата царева; и возрадовались дядя его многими дарами, и испросили ему у цари послѣ. Царевъ посолъ пришелъ въ Ростовъ и рассмотрѣлъ грамоты Петра и стараго князя; и положены были тогда рубежи землямъ по грамотамъ стараго князя, а Петрова сына посолъ оправилъ, и грамоту ему далъ съ золотою печатью.

Когда посолъ воротился въ орду, молодые князья ростовскіе стали говорить между собою и съ боярами: „слышали мы, что родители наши звали Петра дядею, и что дѣдъ нашъ много у него серебра взялъ и братался съ нимъ въ церкви; а вѣдь это родъ татарскій, а кость не наша: что это намъ за племя? Серебра же намъ не оставили ни дѣдъ, ни родители наши!“ Такъ говорили они, а не искали чудотвореній святыхъ апостоловъ и забыли любовь своихъ родителей; жили такъ много лѣтъ, заирая Петровыхъ дѣтей, за то, что тѣ въ ордѣ выше ихъ честь принимали.

И народились у сына Петрова, у Лазаря, сыновья и дочери. Одинъ изъ внуковъ Петровыхъ, именемъ Юрій, навикши отъ родителей своихъ честь творить святой Господѣ Богородицѣ въ Ростовѣ, возлагалъ на нее гривны златыя, и учреждалъ пированія владыкамъ и всему клиросу и собору, въ праздникъ апостоловъ Петра и Павла, творя ежегодно памяти по родителямъ.

И ловили рыбы ловцы Петровы гораздо больше, чѣмъ ловцы городскіе. Петровы ловцы — въ шутку закинуть сѣти и вытаскать множество рыбы; городскіе же, сколько ни трудятся, все понапрасну. И стали эти послѣдніе говорить князю: „господине княже! если Петровы ловцы не перестанутъ ловить, то все озеро наше опустѣетъ: всю рыбу по-выловятъ.“ Тогда-то правнукъ стараго князя ростовскаго стали говорить Юрію: „слышали мы, что дѣдъ вашъ грамоты у прародителей нашихъ на мѣсто монастыря вашего взялъ, и рубежи земли его, а озеро наше: на него грамоты не было взято: потому запрещаемъ вашимъ ловцамъ ловить въ этомъ озерѣ.“ Слышавъ то, внукъ Петровъ Юрій пошелъ въ орду и сказался правнукомъ брата царева. Дяди же многими почестями его почтили и дарами многими, и посла у цари испросили ему. И пришелъ посолъ татарскій въ Ростовъ и сѣлъ при озерѣ у святыхъ апостоловъ Петра и Павла. И былъ страхъ ростовскимъ князьямъ отъ царева посла. И сталъ онъ ихъ судить со внуками Петровыми. Юрій положилъ передъ нимъ грамоты; и посолъ, возрѣвъ на грамоты, сказалъ: „положены-ли грамоты на эту куплю? Ваша-ли вода? Есть-ли подъ нею земля? И можете-ли снять воду отъ земли той?“ И отвѣтили ростовскіе князья: „такъ, господине! положены эти грамоты, а земля подъ водою есть, а вода, господине, наша отчина, а снять ее съ земли не можемъ“. Тогда сказалъ посолъ царевъ: „если не можете снять воду отъ земли, то почто своею называете? А сотвореніе есть вышняго Бога на службу и на пищу всѣмъ человѣкамъ и скотамъ.“ И присудилъ царевъ посолъ по землѣ и воду внукамъ Петровымъ: какъ есть купля землямъ, такъ и водамъ; далъ Юрію грамоту съ золотою печатью и ушелъ въ орду; князья-же ростовскіе перестали Юрію творить зло и утѣшились на многія лѣта.

И возросъ правнукъ Петровъ, у Юрія сынъ,

Игнатій. Прилучилось слѣдующее. Пришелъ Ахмыль-царь на русскую землю и пожегъ городъ Ярославль; оттуда направился со всею своею силою на Ростовъ. Устрашилась вся земля, а князья ростовскіе бѣжали; бѣжалъ и владыка Прохоръ. Но Игнатій, съ обнаженнымъ мечемъ погнавшись за владыкою, сказалъ ему: „если не пойдешь со мною противъ Ахмыла, то убью тебя! Это наше племя, и сродники!“ И послушалъ его владыка: со всѣмъ клиросомъ, въ ризахъ, съ крестами и хоругвями, пошелъ противъ Ахмыла, а Игнатій съ гражданами передъ крестами. Взялъ онъ тѣшь царскую — соколовъ и кречетовъ, и дорогія шубы, и цвѣтныя портища, и питья различныя и, будучи край поля и озера, сталъ на колѣни передъ Ахмыломъ и сказалъ ему древняго брата царевымъ племенемъ: „а это“—говоритъ онъ—„село царево и твое, господине! А куля прадѣда нашего, гдѣ чудеса творились, господине!“ И страшно было видѣть рать Ахмылову вооруженну. Тогда Ахмыль сказалъ: „ты тѣшь подаешь; а это кто въ бѣлыхъ ризахъ, и что это за хоругви? Или биться съ нами хотять?“ Игнатій отвѣчалъ: „это богомольцы царево и твои, да благословятъ тебя, а носятъ они божницу по закону нашему, господине!“

Въ то самое время у города Ярославля былъ въ тяжкомъ недугѣ сынъ Ахмыловъ, и возили его на возилахъ. Ахмыль велѣлъ привезти его да благословятъ его. Владыка Про-

хоръ со всѣмъ клиросомъ, молился Богу, пѣлъ чудотворцамъ молебны и, освятивъ воду, далъ испить больному царевичу и благословилъ его крестомъ,—и тотчасъ же сталъ здоровъ сынъ Ахмыловъ. Самъ же Ахмыль возрадовался, сошелъ съ коня передъ крестами и воздвѣвъ руки на небо, сказалъ: „благословенъ вышній Господь, возложившій мнѣ въ сердце придти сюда! Праведенъ еси ты, господине епископе Прохоре! Ибо молитва твоя воскресила сына моего. Благословенъ и ты, Игнатіе! Ты уберегъ людей своихъ и спасъ этотъ городъ; ты — наше племя, царева кость. И если будетъ тебѣ здѣсь обидно, не гнѣйся, дойди до насъ!“ Сказавъ это, далъ онъ 40 литръ серебра владыкѣ и 30 его клиросу; а самъ взялъ отъ Игнатія царскую тѣшь, цѣловалъ его и, поклонившись владыкѣ, сѣлъ на коня и поѣхалъ въ орду, во свояси. Игнатій же, проводивъ Ахмыла съ честію, возвратился вмѣстѣ съ владыкою и съ гражданами въ великой радости; и, пѣвши молебны, прославляли они Бога и всѣхъ святыхъ чудотворцевъ“.

„Дай же, Господи, утѣху почитающимъ и пишущимъ древнихъ родителей дѣяній, здѣ и въ будущемъ вѣцѣ покой! А Петрову бы сему роду соблюденіе и умноженіе живота и неоскуденіе до старости и безпечаліе, и вѣчная ихъ память до скончанія міра, о Христѣ Исусѣ Господѣ нашемъ, ему же слава во вѣки аминь“.

Муромское сказаніе о князѣ Петрѣ и сурругѣ его Февроніи.

Въ Муромѣ княжилъ князь Павелъ. И вселилъ дьяволъ непріязненнаго летучаго змія къ женѣ его ⁽¹⁾. Змій являлся къ ней какъ былъ естествомъ своимъ, другимъ же людямъ казался своими мечтами, какъ бы самъ князь сидѣлъ съ женою своею. И тѣми мечтами много лѣтъ прошло;... но она не таяла (того, что съ ней происходитъ) и повѣдала князю все, приключившееся ей. Тогда князь сказалъ: „мысли, жена, и недоумѣваю, что сдѣлать непріязни той. Не знаю, какъ убить змія. Узнай отъ него сама лестию; тогда освободишься, и отъ суда Божія, и въ нынѣшнемъ вѣкѣ (отъ змія)“.

Когда прилетѣлъ по обыкновенію змій къ княгинѣ, она спросила его, ласкаясь: „ты знаешь многое: знаешь-ли кончину свою?“—

Онъ же, непріязнивый прелестникъ, прельщенъ былъ добрымъ прельщеніемъ вѣрной жены и, не скрывая отъ нея тайны, сказалъ: „смерть моя — отъ Петрова плеча, отъ Агрикова меча“. Княгиня передала эту тайну своему мужу, а онъ младшему брату, Петру. Князь Петръ, услышавъ, что смерть змію приключится отъ витязя, называемаго его именемъ, не сомнѣвался, что этотъ подвигъ предназначенъ совершить ему самому. По указанію чудеснаго, явившагося ему юноши находить онъ Агриковъ мечъ въ деркми женскаго монастыря Воздвиженія Животворящаго Креста, въ алтарной стѣнѣ, между камнями, въ скважинѣ. Послѣ того онъ вокалъ, какъ бы убить змія. Разъ, по обычаю, приходитъ онъ на поклонъ къ своему брату,

а отъ него, нигдѣ не медля, къ невѣстѣ и, къ своему крайнему удивленію, нашелъ брата уже съ нею. Воротившись назадъ, онъ удостовѣрился, что съ женою князя былъ его непріязненный двойникъ. Тогда Петръ взялъ Агриковъ мечъ и отправился къ княгинѣ. Только что ударилъ онъ нечистаго мечемъ, какъ змій явился своимъ естествомъ, началъ трепетаться и издохъ, окропивъ князя Петра своею кровью. Оттого князь оступилъ и покрывся язвами, и пришла на него тяжкая болѣзнь. Долго лѣчился онъ у врачей, но исцѣленія не получалъ; и услышавъ, что въ предѣлахъ рязанскихъ много искусныхъ врачей, велѣлъ себя туда везти.

Когда онъ прибылъ туда, одинъ изъ его юношей отправился въ весь, нарицаемую Ласково, и подошелъ къ воротамъ одного дома, и вошелъ въ него, никого не встрѣтивъ. Наконецъ вступаетъ въ хоромину и видитъ чудное видѣніе: сидитъ какая-то дѣвица и точетъ красна, а передъ нею скачетъ заяцъ. И проговорила дѣвица: „не хорошо быть дому безъ ушей, а храму безъ очей. „Юноша же, не понявъ этихъ словъ, спросилъ дѣвицу: „гдѣ хозяйнѣ этого дома?“ Она же отвѣтствовала: „отецъ и мать моя пошли взаемъ плакать, братъ же мой пошелъ черезъ ноги въ нави зрѣти“¹⁾). Юноша опять не понялъ, что она говоритъ, и двинулся, видя и слыша дѣла, подобныя чуду; и сказалъ дѣвицѣ: „вошелъ я, увидѣлъ тебя за работою, а передъ тобой скачущаго зайца, и слышалъ изъ устъ твоихъ какія-то странныя рѣчи, и не понимаю, что говоришь ты. Первое сказала ты: не хорошо быть дому безъ ушей, а храму безъ очей; про отца твоего и мать сказала ты, что пошли взаемъ плакать; о братѣ же, что пошелъ черезъ ноги въ нави зрѣти; и ни одного слова не понимаю“. Тогда она отвѣтствовала: „какъ же ты не понимаешь? Пришелъ ты въ этотъ домъ, и въ хоромину мою вошелъ, и увидѣлъ меня сидящую въ простотѣ. Если бы въ дому нашемъ былъ пестъ и, почуявъ, какъ ты подходяшь къ дому, залаялъ-бы на тебя, то не увидалъ бы ты меня сидящую въ простотѣ—это дому уши. А еслибы въ хранили

моей былъ мальчикъ, то, увидѣвъ, что ты сюда входишь, сказалъ бы мнѣ: это храму очи. А сказала я тебѣ про отца моего и мать, что пошли взаемъ плакать: такъ они пошли на погребеніе мертваго, и тамъ плачутъ; когда по нихъ по самимъ придетъ смерть, другіе по нихъ станутъ плакать: это заимодавный плачь. А про своего брата сказала потому, что онъ и отецъ мой древолазцы: въ лѣсу съ дерева медъ собираютъ. Братъ мой и отправился на такое дѣло. А лѣзучи вверхъ на дерево, черезъ ноги къ землѣ (приходится) смотрѣть, думая, чтобы неурваться съ высоты: — и кто урвется, погибнетъ; потому и сказала, что пошелъ черезъ ноги въ нави зрѣть“.

Эта дѣвушка была сама Февронія. Юноша повѣдалъ ей о болѣзни князя и спросилъ, не знаетъ-ли она врачей, по имени, и гдѣ живутъ? А она: „еслибы кто потребовалъ князя твоего себѣ, то могъ бы уврачевать“ Юноша, отъ имени болящаго, общалъ за исцѣленіе большую награду и просилъ указать жилище врача. „Приведи сюда князя“—сказала дѣвица,—„и если онъ будетъ мягкосердъ и смирененъ въ отвѣтахъ, будетъ здоровъ“. Князя привезли въ весь, гдѣ жила Февронія. Въ отвѣтъ послу, отправленному къ ней за врачомъ, она сказала: „я сама уврачую князя, но имѣнія отъ него не требую. Вотъ мое условіе: если не буду его супругою, то не стану его лѣчить“. Отрокъ передалъ князю отвѣтъ. А князь, пренебрегая словами ея и помысливъ о томъ, какъ князю взять себѣ въ жены дочь древолазца, черезъ посланнаго велѣлъ ей сказать обманомъ: „пусть уврачуется; я женюсь на ней“. Тогда Февронія, взявъ малый сосудецъ, почерпнула некоей кисляди, дунула на нее, и сказала: „да учредятъ князю вашему баню, и вотъ этимъ помажутъ по его тѣлу, гдѣ струны и язвы; а одинъ струпъ оставьте не помазанъ: и выздоровѣетъ“. Когда къ князю принесли это снадобье, онъ велѣлъ приготовить баню, а дѣвицу вздумалъ искусить въ отвѣтахъ, дѣйствительно-ли (она) такъ премудра, какъ онъ слышалъ объ ней отъ своего юноши. Для того послалъ къ ней князь съ однимъ изъ

¹⁾ См. стр. 112. По народному повѣрью, къ нѣкоторымъ женщинамъ летаютъ зѣли и, рассыпаясь надъ домомъ, принимаютъ на себя вѣшность одного изъ домашнихъ: мужа, брата и т. д. ²⁾ Въ нави—собств. въ могилу, а также — въ преисподнюю. Нава у древнихъ славянъ означало и лодку, и могилу, что указываетъ на древній обрядъ похоронъ въ лодкѣ.

своихъ слугъ одно повѣсмо льну, сказавъ: „дѣвица эта хочетъ быть моею супругою ради своей мудрости: если она точно премудра, пусть учинить мнѣ, отъ этого повѣсма льну, сорочку и полотенце, въ то время, пока буду въ банѣ“. Когда же слуга принесъ Февроніи это порученіе, она сказала ему: „взлѣзь на печь, возьми съ градъ полѣнце и снеси сюда“. Слуга исполнилъ ея приказанье; она же, отмиравъ пидью, велѣла полѣна отсѣчь. Слуга отсѣкъ. Тогда она сказала: „возьми этотъ отрубокъ и отдай своему князю“, сказавъ: „пока я это повѣсмо очешу, пусть приготовить мнѣ князь изъ этого отрубка станокъ и все строеніе, чѣмъ сотку для него полотно“. Получивъ отвѣтъ, князь велѣлъ ей сказать, что изъ такого малаго деревца и въ такой короткій срокъ нельзя исполнить ея порученія; такъ и Февронія тѣмъ же отвѣчала князю и объ его порученіи.

И подивился князь ея мудрости и, пошедши въ баню, исполнилъ все, какъ она велѣла и совсѣмъ исцѣлился: все тѣло его стало гладко; остался только одинъ струпт, который не былъ помазанъ. И дивился князь скорому исцѣленію, но не хотѣлъ на Февроніи жениться, отечества ея ради; и послалъ къ ней дары; она же даровъ не приняла. Но только что онъ отѣхалъ въ свою отчину, съ того же самаго дня отъ оставленнаго имъ струпа, стали расходиться по всему его тѣлу другіе, и сталъ онъ также острупленъ многими струпами и язвами, какъ и прежде; и опять воротился за исцѣленіемъ отъ дѣвицы. И такъ приспѣлъ въ ея весь, со стыдомъ послалъ къ ней, прося врачеванья. Она же, ни мало не держа гнѣва, сказала: „если будетъ мнѣ супружникъ, да будетъ уврачеванъ“. Тогда князь съ твердостью далъ ей слово, и отъ того же врачеванья исцѣлился, и взялъ ее себѣ въ супруги. И такимъ образомъ стала Февронія княгинею. И пришли они въ отчину свою, въ градъ Муромъ, и жили во всякомъ благочестіи, ничтоже отъ Божіихъ заповѣдей оставляюще.

По малыхъ же дняхъ князь Павелъ померъ, и на мѣсто его сталъ самодержедъ города Муромъ братъ его Петръ. Но княгини его Февроніи бояре не любили, женъ ради своихъ, потому что она стала княгинею не отечества ея ради, Богу же прославляющую, добраго ради житія ея.

Однажды пришли къ нему бояре и говорятъ: „мы хотимъ всѣ праведно служить тебѣ, но княгини Февроніи не хотимъ, да государствуетъ женами нашими. И если хочешь самодержецъ быть, да будетъ тебѣ другая княгиня. Февронія же пусть возьметъ себѣ богатства довольно, и идетъ, куда хочетъ“. Князь же, не имѣя обычая предаваться ярости отъ чего бы то ни было, со смиреніемъ отвѣчалъ боярамъ: „пусть скажутъ объ этомъ самой Февроніи: пусть услышимъ мы, что она скажетъ“. Тогда бояре неистовые, исполнившись безстыдія, умыслили сдѣлать пиръ; и когда были навеселѣ (стали говорить): „госпожа княгиня Февронія! весь городъ и бояре тебѣ говорятъ: дай намъ чего мы у тебя попросимъ!“ А она: возьмите, что просите“. Тогда всѣ они единогласно воскликнули: „всѣ мы князя Петра хотимъ, да самодержавствуетъ надъ нами; тебѣ же жены наши не хотять, да господствуешь надъ нами. Возьми богатства довольно и иди куда хочешь“. Февронія отвѣчала: „что просите, будетъ вамъ; только и вы дайте мнѣ, чего у васъ попрошу“. Бояре съ клятвою обѣщали ей дать, чего попроситъ. Тогда Февронія сказала: „ничего иного не прошу у васъ, только супруга своего, князя Петра“. Они же отвѣтствовали: „какъ хочетъ самъ князь“; потому что врагъ вложилъ имъ помысль, поставить себѣ иного самодержца, если не будетъ у нихъ князя Петра; и каждый изъ бояръ держалъ себѣ на умѣ, чтобы самому быть на мѣстѣ князя. И блаженный князь Петръ сотворилъ по заповѣдямъ: власть свою ни во что вѣнчалъ, и отправился изъ города, вмѣстѣ со своею супругою. Злостивые бояре дали имъ на рѣкѣ суда, потому что подъ городомъ тѣмъ протекала рѣка, именуемая Ока. И поплыли они въ судахъ.

На другой день утромъ, только что стали прислужники складывать въ суда поклажу, изъ города Муромъ пришли вельможи, съ вѣстіемъ, что въ Муромѣ происходитъ великое кровопролитіе, по причинѣ споровъ между боярами, кому изъ нихъ княжить; потому, для прекращенія общаго бѣдствія, посланные, отъ имени всего города, прося у князя прощенія, умоляли его воротиться и княжить надъ Муромомъ.

Князь Петръ, никогда ни держа гнѣва, воротился вмѣстѣ съ своею супругою и въ

ствовали они оба, заботясь о благѣ своего города.

Когда пришло время ихъ смѣрти, просили они Бога, чтобъ преставленіе ихъ было въ одинъ и тотъ же часъ; и сотворили совѣтъ, да будутъ положены въ одномъ гробѣ, раздѣленномъ перегородкою. И оба въ одно время облеклись въ монашескія ризы. Князь Петръ въ иноческомъ чинѣ нареченъ былъ Давидомъ, а Февронія—Евфросиніею.

Однажды Февронія работала воздухи въ соборный храмъ Пречистыя Богородицы, вышивая на нихъ лики святыхъ. Князь Петръ присылаетъ къ ней сказать, что онъ уже отходитъ отъ жизни. Февронія проситъ его подождать, когда кончитъ воздухи. Онъ присылаетъ къ ней въ другой разъ; наконецъ—въ третій. Тогда Февронія, не дошивъ на воздухахъ только ризы одного святаго, лицо же его нашивъ, оставила работу. Воткнула иглу въ воздухи, привертѣла ее ниткою, которою шила, и послала къ князю Петру, уведомить его о преставленіи купномъ¹⁾.

Неразумные же люди, какъ при жизни ихъ возмущались, такъ и по честномъ ихъ преставленіи. Презрѣвъ ихъ завѣщаніе, бояре положили тѣла ихъ въ разные гробы, говоря, что въ монашескомъ образѣ не подобаетъ власть князя и княгиню въ одномъ гробѣ. И такъ князя Петра положили въ особомъ гробѣ, внутри города, въ соборномъ храмѣ Богородицы, а Февронію за городомъ, въ женскомъ монастырѣ, въ церкви Воздвиженія Честнаго и Житворящаго Креста (гдѣ былъ найденъ Агриковъ мечъ); общій же гробъ, который князь и княгиня, еще при жизни своей, велѣли вытесать изъ одного камня, бояре велѣли оставить пустымъ въ томъ же соборномъ храмѣ. Но на другой день особные гроба очутились пусты, и оба тѣла лежали въ общемъ гробѣ. Ихъ опять разлучили, и опять на другой день оба тѣла были вмѣстѣ. Но потомъ ужъ никто не осмѣлился прикоснуться къ тѣмъ святымъ тѣламъ, которыя такъ и остались въ одномъ гробѣ.



¹⁾ 25 іюня 1228 года.



X.

Свѣтская литература: повѣсти и сказки. — Восточное и византийско-славянское влияние. — Влияніе западное. — Пересажденію южнорусскихъ сказаній на русскую почву.



укописи, сохранившіяся намъ отъ XV вѣка, уже много заключаютъ въ себѣ „повѣстей и сказокъ“, самаго разнообразнаго содержанія, слѣдовательно такихъ произведеній, которыя принадлежатъ къ чисто-свѣтской литературѣ, не имѣютъ ничего общаго съ литературой духовной и тѣми родами ея (поучительнымъ и историческимъ), какіе уже были разсмотрѣны нами въ предыдущихъ главахъ. Самая внѣшность этихъ рукописей XV вѣка — тщательное письмо, красивыя заставки и вычурно разрисованныя заглавныя буквы ихъ — все указываетъ прямо на значительную популярность ихъ между грамотными людьми русскими; а замѣчательное количество списковъ одного и того же произведенія этой литературы повѣстей и сказокъ и, сверхъ того, упоминаніе встрѣчающихся въ ней лицъ и подробностей разсказа въ произведеніяхъ нашихъ книжниковъ, за долго до XV вѣка, свидѣтельствуетъ о томъ, что эта литература въ XV вѣкѣ была уже не новостью для нашихъ грамотныхъ предковъ. Отличительною чертою всѣхъ произведеній этой литературы повѣстей и сказокъ является прежде всего то, что ни одна изъ нихъ не принадлежитъ русской почвѣ и въ содержаніи своемъ не

представляетъ ничего общаго съ русскою національною жизнью, ничего общаго съ русскою народною литературой и тѣмъ богатымъ запасомъ преданій, который для нея послужилъ основой. Всѣ повѣсти и сказки, появляющіяся въ рукописяхъ нашихъ XV и XVI столѣтія, вплоть до XVII вѣка, представляютъ собою рядъ переводовъ и передѣлокъ литературныхъ, принадлежащихъ довольно разнообразнымъ источникамъ, и при томъ довольно рано проникнувшихъ въ нашу литературу. Только уже въ XVII вѣкѣ, какъ мы увидимъ далѣе, являются у насъ на Руси первыя попытки создать свою, самостоятельную повѣсть, основанную на сюжетахъ заимствованныхъ изъ нашей собственной, народной русской жизни.

Есть основаніе думать, что первыя произведенія свѣтской литературы, при посредствѣ болгарской и сербской письменности, были занесены къ намъ на Русь въ началѣ XIII и даже въ XII вѣкѣ, т.-е. тогда, какъ грамотность утвердилась и распространилась у насъ на столько, что любовь къ чтенію стала способствовать развитію, среди людей грамотныхъ, потребности въ чтеніи разнообразномъ. Такимъ образомъ, вѣроятно, проникли къ намъ, въ видѣ южно-славянскихъ

пересказовъ, средне-вѣковыя сказанія объ Александрѣ Македонскомъ и Троянской войнѣ. Нѣкоторые отдѣльные эпизоды громаднаго круга сказаній объ Александрѣ Македонскомъ, его походахъ и подвигахъ—этого обильнаго источника, изъ котораго почерпали всѣ литературы и западной, и восточной Европы—были извѣстны уже и Нестору; точно также и въ моленіи Данила Заточника, рядомъ съ Соломоновой мудростью, упоминается объ Александровой храбрости, которая, вѣроятно, потому и могла быть упомянута этимъ книжникомъ, въ общемъ внищательномъ смыслѣ, что самыя сказанія объ Александрѣ, въ видѣ различныхъ пересказовъ и сокращеній, и въ то время уже были извѣстны русскимъ грамотѣямъ. Рядомъ съ классическими преданіями объ Александрѣ Македонскомъ и Троянской войнѣ, при посредствѣ письменности сербской и болгарской, переходили къ намъ, въ ранній періодъ до XIV—XV в., и сказочныя произведенія азіатскаго востока (съ которыми Византія стояла въ такихъ тѣсныхъ сношеніяхъ) въ родѣ отрывковъ индійскаго животнаго эпоса, заимствованныхъ изъ Калилы и Димны ¹⁾, или же сказокъ, извлеченныхъ изъ обширнѣйшаго арабскаго сборника, извѣстнаго подъ названіемъ „Тысячи и Одной ночи“. Изъ этого сборника, несомнѣнно, была заимствована одна изъ древнѣйшихъ повѣстей русскихъ,—„повѣсть о Синагрипѣ, царѣ Адоровѣ и Наливскіихъ страны“ или „Слово объ Акирѣ Премудромъ“, съ содержаніемъ котораго мы долгомъ считаемъ здѣсь же познакомить читателей, такъ какъ оно представляетъ намъ, вѣроятно, древнѣйшій образецъ повѣсти, пересаженной на русскую почву ²⁾.

Главнымъ героемъ повѣсти является нѣкто „Акиръ Премудрый“ — вельможа царя Сенеграфа, правящаго землей Алевницкой и Анизорской. Акиръ всѣмъ обладалъ—и богатствомъ, и мудростью, и славой, и высокимъ почетомъ въ государствѣ. Недоставало ему только дѣтей и онъ пламенно молился Богу о томъ, чтобы Богъ даровалъ ему наследника. Свыше, однакоже, было указано

ему, чтобы „въ сына мѣсто“ взялъ онъ къ себѣ сына сестры своей, Анадана. Премудрый Акиръ исполнилъ волю неба и воспиталъ Анадана, какъ родное дитя, научилъ его всякой премудрости „земной и небесной, словно сосудъ наполнилъ жемчугомъ многоцѣннымъ“ и ввелъ его въ милость у царя Сенеграфа. За все это Анаданъ заплатилъ Акиру самою черною неблагодарностью, обвинилъ его передъ царемъ въ измѣнѣ и такъ умѣлъ вооружить Сенеграфа противъ своего благодѣтеля, что тотъ не пустилъ Акира къ себѣ на глаза и велѣлъ своему конюшему, Анбугилу, предать его злой смерти. Однакоже Анбугиль, обязанный Акиру, вмѣсто него казнилъ преступника Сутура, а самого Акира спасъ отъ смерти, посадивъ его на Сутурово мѣсто, въ темницу.

Всѣ оплакивали Акира, а Сенеграфъ-царь отдалъ все имѣніе и дворъ Акировъ неблагодарному Анадану. Тутъ вдругъ является отъ восточнаго царя, „Фараона Египецкаго“, грозный посолъ Елтега, и предлагаетъ Сенеграфу отгадать „загадки Фараоновы“, а если не отгадаетъ—грозится полонить всю землю Сенеграфову и поработить весь народъ его. Сенеграфъ обѣщаетъ дать полцарства тому, кто избавитъ его отъ такой напасти; но никто изъ вельможъ его, ни самъ Анаданъ, не въ силахъ разрѣшить „Фараоновыхъ загадокъ“. Тогда Анбугиль рѣшается сообщить царю о томъ, что Акиръ Премудрый не казненъ, по царскому велѣнію, а сидитъ въ темницѣ. Обрадованный царь Сенеграфъ спѣшитъ въ темницу и находитъ Акира, окованнаго желѣзомъ по колѣни, „и обросшаго волосами съ головы и до земли, а бородою—до самаго пояса, а брови и голова у него — словно кирпичемъ крыты“. Акиръ приказываетъ налкамъ прогнать Елтегу, посла Фараонова, и самъ отправляется въ Египетъ, во главѣ блестящаго посольства. Тамъ изумляетъ онъ всѣхъ своею изобрѣтательностью и хитростью и вынуждаетъ царя Фараона признать себя побѣжденнымъ въ мудрости и платить тяжкую дань Сенеграфу. Въ вознагражденіе за эту услугу, Акиръ, вмѣсто великихъ даровъ, требуетъ

¹⁾ Арабская передѣлка индійскаго сборника сказокъ о животныхъ, извѣстнаго подъ названіемъ Гиптопадесы. ²⁾ При этомъ нельзя не упомянуть и того знаменательнаго факта, что „повѣсть о Синагрипѣ“ была уже отыскана Мусинимъ-Пушкинымъ, въ томъ самомъ сборникѣ, съ котораго издано имъ было „Слово о п. Игоревѣ“.

отъ царя Сенеграфа, чтобы тотъ выдалъ ему сына его Анадана, что царь и исполнилъ по желанію его. Акирь же приковалъ Анадана цѣпями въ самыхъ городскихъ воротахъ и положилъ рядомъ съ ними три мѣдныхъ прута. И ударилъ его самъ Акирь трижды, приговаривая такъ: „не рожденъ, такъ и не сынъ, не купленъ — такъ и не холопъ“; и приказалъ онъ всѣмъ гражданамъ алевизкимъ и анизорскимъ, всѣмъ, кто пройдетъ черезъ тѣ городскія ворота, точно также бить и позорить Анадана всякій день, а смерти не предавать. Анаданъ же черезъ нѣсколько дней умеръ и тѣло его было брошено псамъ на съѣденіе. А самъ Акирь началъ по прежнему служить царю Сенеграфу и продолжалъ собирать многотную дань съ египетскаго царства.

Тѣмъ же самымъ, византійско-славянскимъ путемъ переходили къ намъ на Русь и такія смѣшанные сказанія, какъ „исторія о Варлаамѣ и Іосафатѣ“, въ которыхъ правоученія, навѣянные христіанскими воззрѣніями, выражались въ видѣ цѣлаго ряда притчей и отдѣльных сказаній, довольно неловко вставленныхъ въ рамку незамысловатой повѣсти. Содержаніе этой повѣсти замѣчательно просто: мудрый пустынный Варлаамъ обращаетъ въ христіанство индійскаго царевича Іосафа, не смотря на всѣ гоненія со стороны жестокаго отца его, Авенира. Варлаамъ является къ царевичу подъ видомъ купца, продающаго драгоцѣнный камень, и объясняетъ Іосафу, что камень этотъ изображаетъ царство небесное, котораго всего легче достигнуть уединеніемъ и молитвою. Несмотря на всю эту немногосложность содержанія, повѣсть должна была нравиться неприхотливымъ русскимъ читателямъ не только по тому правоучительному тону, который совершенно совпадалъ съ преобладавшимъ въ литературѣ поучительнымъ направленіемъ, но еще и по множеству притчей, аллегорій и сравненій, которыми былъ обставленъ простой сюжетъ ея. Вообще, нельзя не замѣтить, что притча и загадка, какъ доказательство или какъ проявленіе мудрости (отчасти, вѣроятно, и подъ влияніемъ библейскихъ книгъ, заключающихъ въ себѣ загадки и притчи), чрезвычайно нравились большинству читающихъ въ теченіе всего періода среднихъ вѣковъ, не только у насъ,

но и на западѣ; вслѣдствіе этого, имя Соломона, какъ символъ величайшей мудрости, уже въ самомъ началѣ среднихъ вѣковъ, явилось во главѣ цѣлаго ряда сказаній, почти исключительно состоявшихъ въ изложеніи нескончаемыхъ состязаній этого мудреца съ другими, осмѣливавшимися хвалиться передъ нимъ своею мудростью или знаніями. Преданія о Соломонѣ, перемѣшавшись съ различными апокрифическими сказаніями и отчасти съ народными сказками, перешли во множествѣ на русскую почву и съ юга, и съ запада, и способствовали тому, чтобы и у насъ, какъ и на западѣ, мудрость Соломонова, въ средѣ книжниковъ нашихъ, стала такимъ же нарицательнымъ обозначеніемъ извѣстныхъ личныхъ свойствъ, какъ и храбрость Александра.

Сверхъ этихъ сказаній и повѣстей, являвшихся на нашей почвѣ литературной при посредствѣ южно-славянскихъ переводовъ и передѣлокъ съ византійскаго текста, вслѣдствіи, въ видѣ непосредственныхъ переводовъ съ греческаго, стали являться на Руси и нѣкоторые изъ немногихъ византійскихъ рыцарскихъ романовъ, въ которыхъ выразилась борьба запада съ востокомъ, борьба міра греко-латинскаго съ народами, завоевавшими Палестину; къ числу такихъ произведеній принадлежитъ, напримѣръ, прекрасная повѣсть „о дѣяніи Девгеніевѣ“, содержаніе которой мы передадимъ здѣсь вкратцѣ, чтобы ознакомить читателей и съ этимъ особымъ видомъ древне-русской повѣсти.

Въ этой повѣсти разсказывается о томъ, какъ сарапинскій или аравитскій царь, Амиръ, влюбился въ дочь одной набожной вдовы царскаго рода въ землѣ греческой онъ собралъ войско, пошелъ воевать землю греческую и, похитивъ ту дѣвушку, скрылся. Вдова посылаетъ трехъ сыновей своихъ въ погоню за похитителемъ: „идите“ — сказала она — „нагоните Амира-царя и отбейте у него сестру свою, или сами тамъ за нее головы положите“. Братья снарядились и устремились вслѣдъ похитителю, „словно ястребы златокрылатые“. На границѣ земли аравитской встрѣтились они со стражей Амира и начали убивать ее, „какъ добрые косцы траву косить“. Пріѣхавши потомъ въ станъ царя Амира, братья подняли на копы царскій шатеръ, и Амиръ предложилъ

ить бросить жребій—кому изъ нихъ троиxъ достанется битися съ нимъ за сестру; жребій былъ брошенъ трижды, и трижды выпадалъ на долю младшаго брата. Амиръ былъ имъ побужденъ на поединкъ, но изъявилъ согласіе принять истинную вѣру, если братья отдадутъ за него сестру свою замужъ. Братья спросили ее, какъ она жила у царя Амира; та рассказала имъ о его почтительномъ обхожденіи съ нею и прибавила, что если Амиръ согласенъ креститься, то имъ нечего искать зятя лучше его, потому онъ „и славою славенъ, и мудростью мудръ, и силою силенъ, и богатствомъ богатъ“. Братья согласились на бракъ Амира съ сестрою, а царь Амиръ, отказавшись отъ своего царства и захвативъ съ собою несчетныя сокровища, переселился въ греческую землю, гдѣ и женился на греческой дѣвушкѣ. Черезъ нѣсколько времени у Амира родился сынъ, и прозванъ былъ Акритомъ; въ крещеніи же дали ему имя „прекрасный Девгеній“. Онъ росъ не по днямъ, а по часамъ; по тринадцатому году сталъ онъ упражняться въ воинскихъ потѣхахъ, а самъ былъ весьма красивъ собою, лице у него было какъ свѣтъ бѣлое, румянецъ (въ щекахъ), словно маковъ цвѣтъ, волосы — словно золото, а глаза — большіе, словно чаши“. Однажды, когда отецъ, Амиръ, выѣхалъ съ сыномъ на охоту, Девгеній изумилъ его и всѣхъ спутниковъ своей неустрашимостью въ борьбѣ съ дикими звѣрями; тутъ же удалось ему убить четырехглаваго змѣя; и съ тѣхъ поръ сталъ онъ помышлять о ратныхъ подвигахъ. Однимъ изъ первыхъ подвиговъ его является борьба съ нѣкимъ богатыремъ Филипатомъ и побѣда не только надъ нимъ, но и надъ его воинственною дочерью Максиміаной, послѣ того, какъ онъ не поддался на ихъ хитрости и имъ не удалось вѣроломно завлечь къ себѣ молодаго витязя. Побужденный Девгеніемъ Филипатъ открываетъ ему, что есть на свѣтѣ витязь и храбрѣе, и сильнѣе Девгенія — какой-то Стратигъ, и у того Стратига четыре богатыря-сына и дочь Стратиговна, одаренная, сверхъ красоты, мужествомъ и храбростью, свойственными мужчине. Эта красавица — по словамъ Филипата — отвергла уже многихъ королей и князей, которые тщетно добивались руки ея. За такое извѣстіе Девгеній обѣщаетъ отпустить Филипата

на свободу; но ему хотѣлось сперва убѣдиться въ справедливости его словъ. Съ этой цѣлью, онъ сдаетъ Филипата подъ надзоръ отцу своему, а Максиміану — матери, и, несмотря на всѣ увѣщанія Амира, отправляется искать новыхъ подвиговъ. Поездка оканчивается полнымъ торжествомъ Девгенія надъ Стратигомъ и его сыновьями; Девгеній женится на Стратиговнѣ, получаетъ громадныя богатства за ней въ приданое и съ торжествомъ возвращается домой.

Есть нѣкоторое основаніе предположить, что сказанія, подобныя только что упомянутому нами „дѣянію Девгеніеву“, стали заноситься къ намъ на Русь именно въ то время, когда письменность южно-славянская перестала быть для нашей литературы посредствующимъ звѣномъ, связывавшимъ ее съ литературою византийскою. Это должно было произойти именно около того времени, когда пала политическая независимость южно-славянскихъ государствъ, т. е. около половины XIV вѣка. Около того же времени, непосредственными сношеніями наши съ западомъ, черезъ Псковъ и Новгородъ, а потомъ черезъ Литву и Польшу, до такой степени усилились и на столько сдѣлались частыми, что къ намъ стали прямо съ запада проникать нѣкоторыя произведенія средневѣковой рыцарской романтической литературы, а также и множество мелкихъ отдѣльных произведеній, принадлежащихъ обширнымъ сборникамъ новеллъ и сказокъ, многочисленными обработками которыхъ литература европейская особенно обогатилась именно въ теченіе XIV и XV вв.

На первый взглядъ каждому можетъ показаться очень страннымъ то обстоятельство, что такіа разнородныя сказанія, въ видѣ переводовъ и сокращенныхъ передѣлокъ проникавшія къ намъ въ теченіе трехъ или четырехъ столѣтій съ разныхъ сторонъ, находившія себѣ читателей и переписчиковъ, могли все же не побудить ни одного изъ нихъ къ воспроизведенію подобнаго же литературнаго рода на основаніи своихъ собственныхъ литературныхъ преданій. Разрѣшая этотъ вопросъ, нельзя не напомнить прежде всего о томъ, что тяжкое татарское иго положило рѣзкую грань между древнѣйшимъ періодомъ нашей литературы, и дальнѣйшею ея исторіею. Народныя начала, которыя только было начали выказываться

въ первыхъ проявленіяхъ свѣтской литературы нашей и въ дружинномъ эпосѣ XII в., были вдругъ подавлены страшнымъ погромомъ татарскимъ, надолго пріостановившимъ на Руси всякую возможность нравственной и умственной жизни, а потому и литературной самостоятельности, всякое стремленіе къ просвѣщенію, къ развитію литературы, даже къ простой грамотности. Время татарскаго владычества отозвалось замѣтнымъ усыпленіемъ и застоємъ, продолжавшимся въ теченіе трехъ послѣдующихъ вѣковъ; къ тому же, въ это самое время, какъ мы уже упоминали выше, грамотность сдѣлалась почти исключительнымъ достояніемъ одного духовнаго сословія, а оно менѣе всего способно было внести въ литературу начала народныя, во первыхъ, потому что слѣпо преклонялось передъ всѣмъ, что исходило изъ Византіи; а во вторыхъ, и потому еще, что ко всему народному относилось оно не только съ недо-вѣріемъ, но даже съ отвращеніемъ, какъ къ такому жизненному началу, которое носило на себѣ слѣды язычества, слѣды старинны нечистой, не просвѣщенной христіан-ствомъ. Нельзя, впрочемъ, отрицать того факта, что были попытки создать и самостоятельную повѣсть русскую, по образцу занесенныхъ къ намъ подобныхъ же произведеній греко-славянскаго и западнаго міра. Попытки эти выражались не въ видѣ сюжетовъ, прямо заимствованныхъ изъ народной жизни, но въ видѣ сюжетовъ, которые въ обработкѣ оной были сближены съ народною жизнью и съ тѣми образами, которыми народъ особенно дорожитъ въ своей поэзіи. Только одинъ изъ подобныхъ первыхъ опытовъ русской повѣсти принадлежить русскому автору и потому имѣетъ для насъ особый интересъ; она извѣстна подъ названіемъ „Слова о купцѣ Басаргѣ“ и разсказывается въ ней исторія киевскаго гостя Басарги и его сына, прозваннаго Борзосмысломъ и Мудросмысломъ, которую мы приводимъ въ концѣ этой главы. Всѣ другія, относящіяся къ этому же отдѣлу повѣсти, но сюжету своему, были чуждаго происхожденія, но на русской литературной почвѣ получили нѣкоторую новую обстановку и поставлены были въ такія условія, при которыхъ содержаніе ихъ должно было казаться особенно понятнымъ и

привлекательнымъ для русскихъ читателей. Сюда относятся, напримѣръ, „сказанія о вавилонскомъ царствіи“, „о судахъ Соломоновыхъ“, „о Соломонѣ и Китоврасѣ“—царь-волшебникъ, который днемъ правилъ въ образѣ человека надъ людьми, а ночью обочивался въ Китовраса, и правилъ надъ звѣрьми.

Но всѣмъ этимъ попыткамъ создать нѣчто самостоятельное въ повѣствовательномъ родѣ и притомъ основанное на народныхъ началахъ, конечно, должна была сильно препятствовать та легкость заимствования съ почвы византійской, которая доставляла полнѣйшую возможность удовлетворенія потребности грамотныхъ русскихъ людей въ разнообразномъ и занимательномъ чтеніи. Этимъ путемъ заимствования, при посредствѣ южно-славянскихъ литературъ, было тѣмъ болѣе легко угодить читателямъ, что Византія доставляла намъ и могла доставлять только такіа повѣствованія и поэтическія сказанія, которыми нѣмецкіе ученые дали весьма мѣткое названіе странствующихъ сказаній. При самомъ отдаленномъ и разнообразномъ происхожденіи, съ востока и запада, изъ Индіи и Греціи, они, по отношенію къ содержанію своему, носили на себѣ такой колоритъ общедоступности, такъ легко поддавались всевозможнымъ видоизмѣненіямъ, сокращеніямъ и дополненіямъ, сообразно мѣстнымъ условіямъ быта и уровню образованности, господствовавшимъ въ той или другой странѣ, что въ самое короткое время эти сказанія пріобрѣтали себѣ громадную извѣстность и свободно переносились съ одного конца Европы на другой, не затрудняясь на пути своемъ никакими гранями, никакими различіями національностей, общественнаго строя и религіи. Весьма естественно могло, слѣдовательно, произойти то, что при множествѣ тягостныхъ условій, замедлявшихъ или даже подавлявшихъ у насъ всякую возможность развитія народной литературы на основаніи самобытныхъ началъ русскихъ,—эта легкая переводная, общедоступная и занимательная по содержанію, литература прижилась очень по вкусу грамотнымъ предкамъ нашимъ, стала удовлетворять ихъ незатѣйливымъ потребностямъ и даже, до нѣкоторой степени, способствовала тому, чтобы въ нихъ еще долго не пробудился вкусъ къ по-

добной же литературѣ національной. Книжки наши, заимствуя цѣликомъ сюжеты къ литературѣ иностранныхъ, довольствовались только тѣмъ, что мѣстами подправляли ихъ и примѣняли къ русскимъ нравамъ, перемѣняли и обезображивали собственныя имена дѣйствующихъ лицъ, да тамъ и слѣмъ вставляли, словно жемчужинки въ оправу, то русскую пословицу, то народную загадку, то какое-нибудь сравненіе,

прямо взятое изъ простонароднаго быта. Собственно же говоря, легкая повѣсть, основанная на сюжетѣ, заимствованномъ изъ русскаго быта, является у насъ не ранѣе XVII столѣтія, да и тогда еще составляетъ у насъ явленіе исключительное, единичное, а не результатъ цѣлаго направленія, вызваннаго любовью къ своему, родному, домашнему, или разумнымъ предпочтеніемъ этого роднаго чужому.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВЪ ДЕСЯТОЙ.

ПОВѢСТИ И СКАЗКИ.

Повѣсть о Басаргѣ купцѣ.

Въ городѣ Киевѣ былъ купецъ именемъ Дмитрій Басарга, и случилось ему нѣкогда отплыть отъ города Киева въ корабль, по морю, на куплю, и взялъ онъ съ собою для утѣшенія сына своего Мудросмысла. (Такъ звали его сына потому, что разумомъ былъ онъ силенъ не по лѣтамъ). И взялъ онъ съ собою немало рабовъ; и (едва только) отплылъ отъ берега по морю, какъ поднялся вѣтеръ, корабль стало носить по морю, отбило всѣ снасти—и такъ носило его по морю на кораблѣ 30 дней. И купецъ Дмитрій поднималъ руки къ небу и сталъ молиться и плакать, вѣстѣ съ дѣтищемъ своимъ Мудросмысломъ и съ отроками. И внезапно примчалю его вѣтромъ къ великому и богатому городу, въ которомъ жилъ царь невѣрный, а жители того города были христіане. Обрадовался купецъ и повернулъ корабль къ берегу, къ пристани того города и увидѣлъ на пристани того города 330 кораблей, и узналъ, что та земля богата и купцы въ ней торгуютъ многіе, приставаа къ тому городу. Пошелъ онъ съ корабля въ городъ и встрѣтился съ Дмитріемъ купцомъ гражданинъ того города и сказалъ ему, Дмитрію: „какой ты вѣрм?“ И сказалъ Дмитрій: „я — христіанинъ, вѣрую въ Отца и Сына и св. Духа, и въ св. Троицу, единосущную и нераздѣльную“. И сказалъ ему гражданинъ: „ты съ нами одной вѣрм, только за наши согрѣшенія Богъ намъ далъ короля законопреступ-

ника и намъ христіанамъ гонителя, и приводить онъ насъ и насильствуетъ къ своей вѣрѣ поганой. Тѣмъ купцамъ, которые хотятъ въ его царствѣ торговать, онъ загадываетъ три мудрыя загадки, и кто отгадаетъ—тотъ торгуетъ въ царствѣ невозбранно всякими товарами; а кто не отгадаетъ — тѣхъ принуждаетъ къ своей поганой вѣрѣ, и кто въ его поганую вѣру учнетъ вѣровать — тѣмъ (тоже) даетъ торговать, и изъ царства своего отпускаетъ съ честью; а если кто трехъ его загадокъ не отгадаетъ, и въ вѣру его не преклонится, тѣхъ корабельниковъ онъ посылаетъ мечемъ и въ темницу сажаетъ, и нѣтъ въ темницѣ сидитъ 330 корабельниковъ, да (вотъ) ужъ и гражданамъ-то царь воспрещаетъ для нихъ печь хлѣба — хочетъ, что бы съ голоду перемерли“. Услышавъ это отъ гражданъ, купецъ Дмитрій, скоро возвратившись на корабль, увидѣлъ на немъ царевыхъ стражей, ибо таково было уложеніе царя въ томъ царствѣ: какъ придетъ корабль изъ которой нибудь страны, такъ царь и повелитъ сторожамъ своимъ стеречь и корабль, и корабельника, чтобы не уплыли. Купецъ же Дмитрій, видя на кораблѣ своемъ царевыхъ сторожей и взявъ на немъ многіе дары, пошелъ къ царю, которому имя было Несміянь. И явился предъ царя, сказалъ: „царь Несміянь! я гражданинъ города Киева, купчишко Дмитрій Басарга, и вотъ я тебѣ челомъ бью, чтобы ты, государь-царь, дары принять и

торговать въ своемъ царствѣ позволилъ всякимъ товарами. „Царь же сказалъ: „купецъ Дмитрій! приходи ко мнѣ обѣдать, а дары я отъ тебя приму“. Спустя нѣкоторое время Дмитрій пришелъ къ царю обѣдать и послѣ обѣда спросилъ его царь: „купецъ! какой ты вѣры?“ Купецъ же сказалъ: „я — вѣры христіанской, города Кіева гражданинъ, купчишко Дмитрій, вѣрую въ единого Бога Отца и Сына и св. Духа“. И сказалъ ему царь: „я полагаю, что ты со мною одной вѣры, и хотѣлъ было дать тебѣ волю торговать въ своемъ царствѣ, и хотѣлъ было отпустить тебя изъ своего царства съ великою почестью, и съ дарами и съ проводниками, а ты вотъ говоришь мнѣ, что ты — вѣры христіанской; такъ вотъ и отгадай же мнѣ, купецъ, три загадки: первая—много-ли, мало-ли всего отъ востока и до запада? Вторая—чего десятая часть днемъ во всемъ мірѣ убываетъ, а ночью—прибываетъ? Третья—что есть то, чтобы не смѣлся поганый надъ христіанами? Скажи мнѣ, а если отгадаешь, повелю тебѣ торговать въ своемъ царствѣ всякими товарами, и даръ отъ тебя приму; а если не отгадаешь, то покни свою вѣру и перейди въ мою, и я тебѣ воздамъ великую честь. Если же загадокъ моихъ не отгадаешь, ни въ вѣру мою не захочешь перейти, то пусть же будетъ тебѣ, купцу, вѣдомо: голову тебѣ отрублю, а товаръ твой велю взять въ свою царскую казну“. Купецъ же Дмитрій долго стоялъ, поникнувъ головою, не зная, что и отвѣтить царю. „Государь мой!“ сказалъ онъ (наконецъ), „дай мнѣ сроку на пять дней“,—и далъ ему царь. Купецъ же Дмитрій поклонился царю и пошелъ на корабль свой съ великимъ плачемъ и рыданіемъ, ожидая отъ царя смерти, богѣ же оплакивая сына своего Мудросмысла, съ которымъ ему предстояло разлучиться и погибнуть. И оставилъ ребенокъ игру свою, и скоро пришелъ къ отцу своему Дмитрію и сказалъ: „отчего же это, отецъ, я вижу тебя столь печальнымъ? Или тебѣ въ этомъ царствѣ приключилась какая нибудь немочь?“ И сказалъ Дмитрій сыну: „дита мое возлюбленное! тѣшишься ты дѣтскими играми, а у меня, отца твоего, — великая печаль (на сердцѣ), и не вѣдаешь ты, что приближается къ тебѣ время разлуки со мною, а къ моей головѣ—царевъ мечъ: царь рѣшилъ, что я долженъ или умереть, или

отречься отъ христіанской вѣры и присоединиться къ царевой вѣрѣ!“ Сказало (тогда) дитя Мудросмыслъ къ отцу своему Дмитрію: „расскажи мнѣ, отецъ, что тебѣ царь говорилъ? И помолись Создателю нашему Творцу, единому славимому Богу нашему, Иисусу Христу и пречистой Его Матери. И если расскажешь мнѣ, я помогу тебѣ силою сего таго Бога нашего и пречистой Богоматери, и избавить тебя Богъ отъ царева меча, и со мною, возлюбленнымъ сыномъ не разлучишься, и отъ христіанской вѣры не отступишь, и къ поганой вѣрѣ не будешь приневоленъ. Если же мнѣ, сыну своему, не скажешь, то примешь отъ царя смерть, и меня, неповиннаго, погубишь“. И, услышавъ отъ сына своего такіа рѣчи, Дмитрій сказалъ: „вотъ изъ-за чего я печалюсь и плачу;—велѣлъ мнѣ царь три загадки отгадать, и никто ихъ не отгадалъ, и 330 купцовъ сидятъ за тѣми загадками въ темницѣ.. И попросилъ я у царя сроку на пять дней и въ шестой день велѣлъ мнѣ царь передъ собою стать и загадки отгадать; а я человекъ не смысленный, царевыхъ загадокъ отгадать не смыслю. И сказалъ ему сынъ его: „скажи мнѣ, отецъ, царевы загадки“. И сказалъ ему отецъ загадки, и дитя посмѣялося царевымъ загадкамъ и отцову рыданью, и сказало отцу своему: „прости меня, отецъ, посмѣялся я глупости этого поганнаго царя и твоему простому рыданію; отнынѣ, отецъ, перестань печалиться и рыдать, и коли не можешь утолить печали, я тебѣ, отецъ, помогу: предоставь волѣ Божьей печаль свою и помолись съ вѣрою, чтобы Богъ насъ избавилъ отъ этой печали и царевой страсти, и не удастся поганымъ посмѣяться надъ христіанами, и я его царевы загадки отгадаю“. И взялося дитя за игрушки свои, и начало играть и веселиться пуще прежняго. Купецъ же Дмитрій не повѣрилъ сыну, такъ какъ разумъ у него былъ еще дѣтскій; всѣ пять дней плакалъ онъ горько и недоумѣвалъ, какъ отвѣчать. Когда же разсвѣло на шестой день, призвалъ отецъ сына и сказалъ ему: „дита мое милое, Мудросмыслъ, уже къ головѣ моей приближается царевъ мечъ и я внутренно предчувствую разлуку съ тобою, такъ какъ уже насталъ день, до котораго я у царя выпросился!“ Отрокъ же засмѣялся и сказалъ: „прости меня, государь, виновать“. И по-

велѣлъ отрокъ отцу своему идти передъ царя смѣло, повелѣлъ и себя взять съ собою, и еще одного раба: „пусть будетъ воля Господня!“ (сказалъ онъ). И пошелъ съ отцомъ своимъ къ царю, и сталъ предъ царя, и сказалъ царь: „купецъ! насталъ день, о которомъ ты просилъ меня; теперь отгадай мои загадки!“ И сказалъ купцовъ сынъ, Мудросмыслъ: „царь Несміяны! не подобаетъ тебѣ мудрствовать загадками, какъ дѣти въ играхъ или женщины на вечеринкахъ, да еще состарѣвшіеся заставлятъ отгадывать: это женская и дѣтская потѣха, и я тебѣ загадки отгадаю; дай мнѣ, царь, напиться!“ И сказалъ царь дитяти: „отойди прочь, глупецъ, пока я тебя не заколю мечемъ; не тебѣ повелѣваю отгадывать, но этому купцу“. И сказалъ дитя царю: „я любимый сынъ этого купца; а тебѣ за отца загадки отгадаю, потому онъ старъ, а сѣдины уважать слѣдуетъ; гдѣ ему отгадать, что дѣти въ играхъ и женщины на вечеринкахъ загадываютъ! А коли я не отгадаю, то пускай же будетъ твой мечъ на виноватаго“. Царь повелѣлъ налить золотую чашу меду и далъ купцу Дмитрію. Дмитрій же, испивъ чашу, хотѣлъ было отдать ее царю, и сказалъ Мудросмыслъ отцу своему: „отецъ, не отдавай царю далія; царю дающе не должно отъ рукъ отходить“. Отецъ же, послушавъ своего сына, спряталъ чашу за пазуху; царь же наливъ вторую чашу, далъ дитяти; дитя же, выпивъ чашу, (также спрятало ее за пазуху); и сказалъ царь дитяти: „скажу тебѣ женскую и дѣтскую потѣху, отвѣчай мнѣ:—много-ли, мало-ли всего отъ востока и до запада?“ И сказалъ дитя: „ни много, ни мало—день да ночь; ибо солнце, вставъ на сѣверѣ, обходитъ кругъ небесный отъ востока до запада, и въ одинъ день и одну ночь приходитъ отъ сѣвера къ югу. Вотъ тебѣ, царь, отгадка моя.“ Царь же дивился умному его отвѣту и, наливъ чашу, далъ купцу и сыну, и рабу ихъ, и (потомъ) сказалъ дитяти: „Мудросмыслъ! вторую загадку отгадаешь мнѣ завтра, а нынче повеселимся“—и почтилъ царь купца, и сына его, и раба ихъ, и отпустилъ ихъ на корабль съ миромъ.

Поутру же царь повелѣлъ собраться на его царскій дворъ всѣмъ князьямъ и боярамъ, посмотреть на предивное чудо, какъ осмыслитѣльный ребенокъ царевы загадки отга-

дываетъ. И возсѣлъ царь на престолѣ своемъ и пришелъ купецъ Дмитрій съ сыномъ своимъ и съ рабомъ, и сталъ передъ царемъ, и поклонились они всѣ трое равно, до земли, и сказалъ царь Мудросмыслу: „отрокъ разумный! отгадывай мнѣ вторую загадку:—чего десятая часть днемъ во всемъ мірѣ убываетъ, а ночью прибываетъ?“ И сказалъ дитя: „днемъ отъ солнца во всемъ мірѣ убываетъ десятая часть изъ моря, и изъ рѣкъ, и изъ озеръ; а ночью десятая часть въ нихъ же прибываетъ изъ глубины моря—окиана.“ Царь разъярился на умный отвѣтъ его и, немного помолчавъ, сказалъ купцу, сыну его и рабу ихъ: „третью загадку ты мнѣ завтра отгадаешь, а теперь—ступайте!“ И пошли на корабль съ миромъ, и созвалъ поутру царь князей и бояръ, и сказалъ: „Какъ бы мнѣ не посрамиться передъ отрокомъ,—вѣдь вотъ какой ребенокъ, а загадки мои отгадываетъ? Такъ вотъ, какъ придетъ онъ и отгадаетъ третью загадку, и мы крикнемъ въ одинъ голосъ „умный отрокъ“,—тогда хватайте его, и рубите головы купцу и сыну его, и рабу ихъ.“ И въ ту самую пору пришелъ третій разъ купецъ, и сынъ его, и рабъ ихъ, и сталъ у престола царя и поклонились они всѣ равно, до земли, и сказалъ царь: „мудрый и умный отрокъ! отгадывай третью загадку, чтобы не смѣялся поганый надъ христіанами?“ И сказалъ ребенокъ: „великій царь Несміяны! ты высоко сидишь на престолѣ своемъ: а я отрокъ малый и малоумный, и хотя я твою загадку отгадаю, ты все же меня малоумнаго погубишь своими руками и мечемъ; а ты, царь, сойди съ престола, ради множества народа, чтобы моя отгадка для всѣхъ была ясна, и пусти меня на престолъ, и дай мнѣ новое одѣяніе, и мечъ и жезлъ—и я твою загадку отгадаю всѣмъ на удивленіе.“ И слыша тѣ слова мудраго отрока, царь впалъ въ неразуміе, и сошелъ съ престола, и пустилъ дитя на престолъ и далъ ему свой мечъ, жезлъ и одѣяніе. Дитя же, сѣвъ на престолѣ царскомъ, (вдругъ) вскричало громкимъ голосомъ: „князья и бояре, и всѣ вы—мужи и жены, вдовичи и отроки, и всякаго возраста люди! Въ какого Бога хотите вѣровать?“ И возопили всѣ люди единогласно, какъ бы едиными устами: „хотимъ вѣровать въ Отца и Сына и св. Духа!“ Дитя же, взявъ мечъ, отсѣкло

голову царю и сказала: „вотъ тебѣ и третья отгадка; — не смѣйся, поганый, христіанамъ!“ И началась великая голка (мятежъ) въ людяхъ и во всемъ томъ городѣ, и сказало дитя народу: „велите помолчать“, — и замолкли всѣ люди, и сказало дитя мудрое и разумное: „князья и бояре, и всѣ люди-граждане! кого вы себѣ царемъ своимъ поставите?“ И всѣ люди единогласно закричали дитяти: „ты, государь нашъ, избавилъ насъ отъ этаго гонителя и мучителя, ты и будь намъ царемъ!“ И сказало дитя: „коли вздумали надъ всѣмъ царствомъ избрать меня царемъ и государемъ, то сдѣлалось это Божиимъ промысломъ, а не вашимъ изволеніемъ! Кабы не Господь предалъ (миѣ) этого гонителя и губителя христіанъ, то какъ бы могъ я дерзнуть на столь сильнаго царя? Я бы и взглянуть-то не смѣлъ на такое величество и гордость! Возвеличимъ Господа нашего Иисуса Христа, который даровалъ намъ побѣду на враговъ, и избавилъ насъ отъ бѣды, отъ его поганой вѣры и законпреступленія“.

И повелѣлъ царь корабельниковъ привести, всѣхъ 330 купцовъ разныхъ царствъ, которые находились въ заточеніи, въ темницѣ. И удивился царь, глядя на нихъ: лица ихъ были, какъ земля, а волосы ихъ отросли до земли и покрывали имъ ноги, и все тѣло ихъ словно кожарами было объѣдено, и платье на тѣлѣ ихъ истлѣло отъ ветхости. И прослезился царь при видѣ ихъ, вспомнивъ, какъ и ему, и отцу его грозила смерть отъ царя Несміяна, и возвратилъ имъ ихъ имущество, и отпустилъ каждого изъ нихъ на родину; купцы же пошли на корабли свои, и потомъ каждый изъ нихъ (поплывъ) во свояси, славя Бога. И повелѣлъ царь темничнымъ сторожамъ снять замки и освободить сидѣвшихъ въ темницахъ и одѣлать

ихъ щедрою милостынею. И сказалъ царь отцу своему Дмитрію: „отецъ мой! насъ Богъ избавилъ отъ напрасной смерти; уйми же, отецъ, слезы умиленія за избавленіе душъ нашихъ, и помолися о мирѣ всего міра, чтобы намъ Господь подалъ на всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ побѣду и одолѣніе и возвысилъ нашу десницу!“ — И нарядилъ царь гонцевъ по всѣмъ государствамъ, и далъ имъ грамоты, (а въ тѣхъ грамотахъ было написано), чтобы со всѣхъ царствъ ѣхали купцы на корабляхъ со всякими товарами, да и торговали бы ими въ царствѣ (Мудросмысла) безъ всякаго запрета. И отпустилъ царь отца своего, и повелѣлъ привести мать свою и сродичей своихъ немедленно. И отецъ его Дмитрій сѣлъ на корабль свой, поплывъ по морю и, приплывъ въ свою землю, подѣ городъ Кіевъ, разсказалъ женѣ своей и сродичамъ объ избавленіи своемъ отъ смерти и обо всемъ случившемся съ нимъ по порядку, и о томъ, какъ смилъ его Мудросмыслъ Дмитріевичъ править царствомъ своимъ; мать же его обрадовалась. И собралъ Дмитрій весь свой родъ, и пришли они въ царство сына своего, славя Бога; и пришелъ (отецъ) въ царство сына своего и сталъ у пристани. И сказали граждане царю, что пришелъ на кораблѣ отецъ его и мать, и устроилъ имъ царь встрѣчу великую и почетную. И начало приходить множество купцовъ со многихъ царствъ и изъ многихъ городовъ, со всякими товарами, и разбогатѣло царство всякими узорочьями, золотомъ и серебромъ, и началъ царь Мудросмыслъ царствовать благостію Божьею безъ всякаго мятежа, и было царствование его славно и многолѣтно, и передалъ онъ царство дѣтямъ своимъ, и увидѣлъ сыновъ сыновей своихъ. Богу нашему слава, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Соломонъ и Китоврасъ.

(Повѣсть начинается съ разсказа о томъ, что былъ въ Іерусалимѣ царь Соломонъ, а въ городѣ Лукордѣ царствовалъ царь Китоврасъ; обычай же у того царя былъ такой: днемъ царствуетъ надъ людьми, а ночью оборачивается звѣремъ Китоврасомъ и царствуетъ надъ звѣрями; а по родству былъ онъ братъ царю Соломону. И прослышалъ

тотъ царь Китоврасъ, что у Соломона есть жена красавица, и отправилъ къ нему нѣкоего волхва, въ видѣ купца, съ товарами, и съ непремѣннымъ повелѣніемъ похитить жену Соломонову. Волхвъ такъ и выполнилъ повелѣніе Китоврасово. Тогда Соломонъ собралъ войско, пошелъ въ землю Китовраса-царя и, приблизясь къ предѣламъ

его царства, сдѣлалъ съ войскомъ такой уговоръ: „Какъ заиграю я въ рожокъ, такъ вы приготовьтесь идти мнѣ на помощь; какъ заиграю въ другой разъ, такъ вы поѣзжайте ко мнѣ и станьте въ засадѣ; какъ въ третій разъ заиграю, такъ поспѣшайте ко мнѣ.“)

И пришло Соломонъ въ царство Китоврасово, какъ прохожій старецъ милостивно собирать, и пришелъ въ садъ, гдѣ черпаютъ воду Китоврасу царю, и вышла дѣвка по воду въ садъ съ золотымъ кубкомъ, и сказала Соломонъ: „дай же мнѣ, дѣвица, изъ этого кубка напиться.“ И сказала ему дѣвка: „какъ ты, старецъ, хочешь пить изъ царскаго кубка; если кто увидитъ, и скажетъ царю — онъ велитъ за то насъ обоихъ казнить.“ — Соломонъ сказалъ: „дай же, дѣвка, напиться: никто у васъ этого не увидитъ“ — и далъ ей за это колечко, и она дала ему напиться и, пошла дѣвка съ водою, радуясь, и сказала своей госпожѣ такъ: „я нашла его на пути!“ И вотъ увидѣла у нея то колечко Соломонова жена, а Китоврасова царица, и узнала въ томъ кольцо свое обручальное, и сказала: „скажи, кто тебѣ далъ это кольцо?“ — Сказала дѣвка: „далъ мнѣ, госпожа, старецъ захожій.“ — А та сказала: „не старецъ онъ, а мужъ мой Соломонъ.“ И скоро разослала она многихъ людей своихъ по городу и повелѣла сыскать старца; тѣ, сыскавъ старца, привели его къ ней. Она же увидѣвъ его, сказала ему: „Соломонъ, ты зачѣмъ сюда пришелъ?“ И сказалъ Соломонъ: „пришелъ я по твою голову.“ — И сказала ему его жена: „самъ ты Соломонъ, пришелъ по смерть свою и будешь повѣшенъ.“ И скоро послала Соломонова жена на поле людей своихъ за Китоврасомъ: „скажите Китоврасу такъ: — (повелѣла она) — „пришелъ ко мнѣ другъ, а твой, господинъ, недругъ“. Китоврасъ же скоро поѣхалъ ко двору своему и увидѣлъ Соломона у себя на царскомъ дворѣ, и сказалъ ему Китоврасъ: „ты, Соломонъ, зачѣмъ пришелъ ко мнѣ?“ И сказалъ Соломонъ: „пришелъ я къ тебѣ для того (чтобы спросить), за что ты украдъ жену мою?“ — И сказалъ ему Китоврасъ: — „али ты у меня, Соломонъ, хочешь украсть свою жену? У меня тебѣ не видать жены своей, а тебѣ отъ меня живу не быть.“ И повелѣлъ царь Китоврасъ Соломона скоро повѣсить, и Со-

ломонъ передъ царемъ Китоврасомъ началъ плакать, и сказалъ: „вѣдь ты братъ (мнѣ), Китоврасъ; я былъ тебѣ братомъ и царствовалъ во Иерусалимѣ; повели же мнѣ дать царскую смерть, вели меня повѣсить съ почетомъ и вели тутъ вывезти много питій и яствъ, и ступай за мною самъ, и съ царицей своей, и вели быть всѣмъ людямъ градскимъ (по поводу) такой моей казни, и вели имъ пить и ѣсть, и меня царя Соломона поминать.“ Китоврасъ же послушалъ царя Соломона, да такъ и сдѣлалъ; и повелѣлъ Соломона вести на висѣлицу. И тогда привели Соломона къ висѣлицѣ и увидѣлъ Соломонъ на висѣлицѣ льняную петлю, и сказалъ Китоврасу: „ты мнѣ — братъ, Китоврасъ; а и неужели у тебя, во всемъ царствѣ твоемъ, не стало шелку? Пошли и вели купить краснаго, да желтаго, и свить двѣ петли шелковыя, одну — красную, а другую желтую, и я тогда въ любую петлю кинуся.“ Китоврасъ же повелѣлъ шелку купить краснаго да желтаго, и свить петлю изъ краснаго, а другую изъ желтаго. И сказалъ ему Соломонъ: „ты мнѣ — братъ, Китоврасъ, вели же мнѣ поиграть въ малый рожокъ передъ послѣднимъ концомъ.“ Китоврасъ же повелѣлъ ему, Соломону, играть въ рожокъ, и услышало войско Соломоново, и стало вооружаться. И какъ привели Соломона къ висѣлицѣ, то сказали Соломону немилостивые палачи: „иди, Соломонъ, на висѣлицу.“ И Соломонъ пошелъ, и ступилъ на первую ступень, и сказалъ Соломонъ Китоврасу: „братъ Китоврасъ, дозвожь мнѣ еще поиграть въ малый рожокъ.“ — и царь Соломонъ заигралъ въ рожокъ, и въ тѣ поры Китоврасъ и все войско Китоврасово задумались; и услышало Соломоново войско и подошло близко и укрылось въ тайномъ мѣстѣ. И сказали Соломону немилостивые мастера: „царь Соломонъ, что ты мѣшкаешь?“ И Соломонъ пошелъ по лѣстницѣ и вскопчилъ на верхнюю перекладину висѣлицы, а лѣстницу прочь оттолкнулъ, и началъ играть въ свой рожокъ. И борзо прискакало Соломоново войско къ нему, и повелѣлъ Соломонъ всѣхъ побивать, — и побѣжали тѣ городскіе люди, а царя Китовраса и жену, царицу, поймали и привели предъ царя Соломона. И сказалъ Соломонъ: „братъ Китоврасъ, ты мнѣ готовилъ висѣлицу и двѣ петли шелковыя, и хотѣлъ меня повѣсить не по винѣ

моей, но по своему закосялому сердцу, и за то самъ попался ко мнѣ въ руки, какъ агненокъ въ когти волку, и терни въ рукахъ моихъ: не бывать тебѣ живому.“ И повелѣлъ царь Соломонъ повѣсить ихъ обоихъ—Китовраса въ красную петлю, а жену его, царицу — въ желтую петлю, а волхва ихъ въ льняную петлю; и повелѣлъ въ го-

родѣ и остальныхъ людей всѣхъ побить, а царство Китоврасово огнемъ выпалить. А самъ царь Соломонъ пошелъ въ Іерусалимъ городъ, прославляя Св. Троицу, что невѣрнаго царя побилъ, а царство его погасилъ и огнемъ погасилъ.

Богу нашему слава и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь





Апокрифическія сказанія и ихъ вліяніе на литературу народную: духовныя
стихи и духовныя пѣсни.



ыше, говоря о житіяхъ святыхъ, какъ о такомъ гурномъ родѣ, который получилъ особую извѣстность и распространеніе въ XV в., мы не имѣли возможности упомянуть рядъ другаго рода произведений, были на столько же любимы и грамотныхъ предковъ нашихъ, и насъ; и хотя произведенія эти шли подъ названіемъ книгъ апокрифическихъ, отреченныхъ или ложно большей части, не заключали въ себѣ ничего общаго съ религіей и нравственною, однако же ихъ заглавія, а до нѣкоторой степени и самое содержаніе, носили такую обманчивую внѣшность религіи и благочестія, что любители книжности собирали ихъ, переписывали и съ такимъ же точно рвеніемъ, какъ и св. писанія, творенія св. отцовъ и житія прославленныхъ нашихъ святыхъ.

Въ христіанская, съ первыхъ вѣковъ существованія, озабочилась о томъ, чтобы опредѣлить кругъ чтенія хри-

стіанина; желая оградить его отъ вымысловъ и ухищреній разныхъ еретиковъ, которые поддѣлывались подъ тонъ и духъ св. писанія, составляли ложныя книги ветхаго и новаго завета, Церковь признала правильными, дѣйствительно принадлежащими къ св. писанію лишь очень немногія книги, которымъ и дала названіе каноническихъ. Что же касается той громадной массы произведений, которая, въ первые же вѣка христіанства, сложена была на основаніи св. писанія, и служила лишь богѣ или менѣе ложнымъ истолкованіемъ и развитіемъ содержанія его, часто основаннымъ на одномъ только вымыслѣ, то Церковь положительнo отвергла ее всю безъ исключенія, и всѣмъ книгамъ, въ которыя занесены были принадлежащія къ ней произведенія, дала названіе апокрифическихъ (отъ греческаго слова: апокрыпто — утаиваю, скрываю, затемняю).

Апокрифическія книги, рядомъ съ книгами каноническими (т. е. признанными Церковью), занесены были изъ Греціи въ Болгарію и даже переведены на болгарскій

языкъ. Отсюда-то, вмѣстѣ съ христіанствомъ, очень рано перешли онѣ и въ Россію; уже Несторъ заноситъ въ лѣтописи свою нѣкоторыя апокрифическія сказанія, вѣроятно, почерпнутыя имъ изъ Пален. Но перешли къ намъ уже не одни только апокрифы, основанныя на лицахъ и событіяхъ, ново-завѣтной или ветхо-завѣтной исторіи, а и множество другихъ книгъ, получившихъ свое начало отъ смѣшенія вѣрованій классическаго язычества съ народными суевѣріями среднихъ вѣковъ. При томъ грубомъ невѣжествѣ, среди котораго, въ началѣ среднихъ вѣковъ, коснѣла не только масса народа, но и большинство низшаго духовенства и монашества, суевѣрія и предрасудки массы должны были приобретать важное значеніе даже и въ глазахъ людей грамотныхъ; въ нихъ очень часто старались они отыскать истолкованіе многому, непонятному для нихъ въ природѣ и въ окружающей ихъ дѣйствительности, а съ другой стороны — на основаніи тѣхъ же суевѣрій и предрасудковъ, того же стремленія предполагать во всемъ тайный, скрытый смыслъ — придавали важное значеніе самымъ обыкновеннымъ явленіямъ и предметамъ. На этомъ основаніи, митрополитъ Кипріанъ (въ XIV в.), перечисляя въ статьѣ своей „о книгахъ истинныхъ и ложныхъ“ различныя апокрифическія сказанія, и предостерегая людей благочестивыхъ и богобоязненныхъ отъ общенія съ этой опасной и лживой литературой, рядомъ ставитъ въ своемъ спискѣ ложныхъ книгъ и такія произведенія, какъ Адамовъ завѣтъ, Сиѡова молитва, Завѣтъ двѣнадцати патриарховъ, Хожденіе Богородицы по мукамъ, Евангеліе отъ Варнавы, Евангеліе отъ Ѳомы и т. д. — и такія, какъ Острономія, Землемѣріе, Чаровникъ, Громникъ, Сносудецъ (истолкователь сновъ), Путникъ (истолкователь различныхъ встрѣчъ), Звѣздочетецъ (руководство къ гаданію по звѣздамъ), хотя, въ сущности, между тѣми и другими очень мало общаго по внутреннему смыслу и значенію. Первые изъ вышесчисленныхъ апокрифовъ относятся къ исторіи библейской; вторыя же служатъ только выраженіемъ неудовлетворенной любознательности человека, стремящейся истолковать себѣ непонятное въ природѣ и дѣйствительности, и

пополняющей вымыслами фантазіи пробѣлы знанія и недостатокъ въ положительныхъ научныхъ свѣдѣніяхъ. Понятно однако же, почему, какъ тотъ, такъ и другой изъ выше-помянутыхъ отдѣловъ нашей отреченной или апокрифической литературы пользовались одинаковою популярностью между грамотными предками нашими: — при ограниченномъ количествѣ книгъ, находившихся въ постоянномъ обращеніи, при однообразіи большинства ихъ, разнообразныя по содержанію произведенія отреченной литературы замѣняли грамотнымъ людямъ легкое чтеніе, давая нѣкоторую свободу фантазіи ихъ, а иногда и удовлетворяя любознательности ихъ разрѣшеніемъ такихъ вопросовъ, которые оказывались неразрѣшимыми никакимъ инымъ путемъ. Вотъ почему, въ XIV столѣтіи, въ то время, когда церкви часто нуждались въ богослужебныхъ книгахъ и терпѣли недостатокъ въ спискахъ св. писанія, въ обращеніи между грамотными людьми, по свѣдѣтельству митрополита Кипріана, много было толстыхъ сборниковъ „исполненныхъ басенъ, худыхъ номоканонцы, лживыя молитвы и т. д.“. Впрочемъ, мы, конечно, не можемъ обвинять грамотныхъ предковъ нашихъ за пристрастіе ихъ къ отреченной литературѣ съ такою же строгостью, съ какою ихъ въ этомъ обвиняли современные пастыри церкви: — не слѣдуетъ забывать, что, только въ самомъ концѣ XV вѣка, просвѣщенными усиліями Геннадія и силою тягостныхъ обстоятельствъ историческихъ, вызвано было духовенство къ составленію полнаго свода каноническихъ книгъ св. писанія ветхаго и новаго завѣта, и слѣдовательно, только съ этого времени вышнѣ очевидною стала для всѣхъ та грань, которую Церковь старалась положить между книгами, признаваемыми ею за истинныя и всею обширною областью литературы апокрифической.

Съ теченіемъ времени, однакоже, по мѣрѣ того какъ число грамотныхъ прибывало, а кругъ общественнаго образованія не расширялся и самое образованіе продолжало быть исключительно собственностью одного духовнаго сословія (да и въ этомъ сословіи, какъ мы видѣли выше, оно стояло на весьма низкомъ уровнѣ), потребность въ книгахъ для чтенія много способствовала

размноженію у насъ апокрифическихъ сочиненій и быстрому успѣху отреченной литературы. Къ сочиненіямъ апокрифическимъ, перенесеннымъ съ греческаго востока, при посредствѣ Болгаріи, къ намъ на Русь, вмѣстѣ съ христіанствомъ, стали впоследствии присоединяться апокрифическія сказанія запада, переводившіяся съ латинскаго языка, проникшія къ намъ черезъ Литву и Польшу; мало того, каждый вѣкъ, сообразно тому, какіе интересы болѣе занимали его, вносилъ въ апокрифическую литературу свои вклады, развивалъ преимущественно ту или другую тѣму ея, сосредоточивалъ свое вниманіе на томъ или другомъ отдѣлѣ ея, заносилъ въ кругъ ея произведеній черты современныхъ вѣрованій и воззрѣній. Такъ на примѣръ, XIV вѣкъ, въ теченіи котораго даже и просвѣщеннѣйшіе пастыри нашей были заняты вопросами о кончинѣ міра (всѣ съ трепетомъ ожидали пришествія Христова въ 1492 году, которымъ, по численію церковному, оканчивалась седьмая тысяча лѣтъ отъ сотворенія міра), развилъ преимущественно апокрифическія сказанія о раѣ и адѣ и, мрачно настроивая воображеніе современниковъ, способствовалъ тому, чтобы они съ особеннымъ увлеченіемъ и любопытствомъ читали и переписывали произведенія, подобныя „хожденію Богородицы по мукамъ“. Напротивъ того, XV и XVI вѣкъ, въ теченіи которыхъ, различными путями, при помощи самыхъ разнообразныхъ условій, на Русь болѣе и болѣе стали проникать западныя сказанія, наша апокрифическая литература пополнилась множествомъ занимательныхъ разсказовъ о Соломонѣ и его премудрости, а эти разсказы стали уже обличать апокрифъ съ другимъ литературнымъ родомъ, съ свѣтскою повѣстью, о которой мы будемъ говорить въ слѣдующей главѣ. Наконецъ, въ тѣ же вѣка, несомнѣнно должно было явиться много и такихъ произведеній отреченной литературы, которыя принадлежали русской почвѣ и должны были болѣе или менѣе самостоятельно развиваться на ней, подъ непосредственнымъ вліяніемъ всей массы апокрифическихъ произведеній, уже такъ рано занимавшихся съ запада и съ востока. Судя по тому, съ какою строгостью относятся къ произведеніямъ апокрифической литера-

туры просвѣщеннѣйшіе люди русскіе XVI столѣтія въ Стоглавѣ (книгѣ, излагающей постановленія такъ называемаго столглаваго собора 1551 года) и въ Домостроѣ (поучительномъ сочиненіи, излагающемъ, какъ именно слѣдуетъ вести себя и содержать въ порядкѣ домъ)—этихъ драгоценнѣйшихъ памятниковъ русской старины—мы должны полагать, что значеніе апокрифической литературы было довольно важно у насъ, и вліяніе, оказываемое ею, выражалось въ жизни на столько рѣзко, что возбуждало справедливыя опасенія со стороны духовенства. Еще и въ началѣ XVIII столѣтія вліяніе это было замѣтно и довольно сильно, какъ мы увидимъ далѣе. Для исторіи литературы нашей особенно важенъ тотъ фактъ, что подъ сильнымъ вліяніемъ литературы апокрифической, проникавшей по мѣрѣ распространенія грамотности довольно глубоко въ массу народа, — а народу она была довольно близка по духу своему и по множеству занесенныхъ въ нее чисто народныхъ суевѣрій и предразсудковъ, — въ массѣ вырабатывался особый родъ произведеній устной народной поэзіи, а именно, такъ называемыя духовныя пѣсни или духовные стихи.

Народная фантазія особенно полно высказалась въ двухъ главныхъ родахъ произведеній своей безыскусственной поэзіи: — въ пѣснѣ и сказкѣ. Пѣсня, съ теченіемъ времени, видоизмѣнялась, переходя, отъ формы первоначальнаго религіознаго гимна въ честь божества и его подвиговъ, къ формѣ былинны, описывавшей подвиги богатыря-витазя, и наконецъ — къ простой исторической пѣснѣ. Дѣйствительность историческая, очевидно, оказывала свое благотворное дѣйствіе на фантазію народа и постепенно, все болѣе и болѣе придавала правды и естественности тѣмъ героямъ, которыхъ народъ старался возвести въ идеалъ. Съ другой стороны, кромѣ исторической дѣйствительности, сильное вліяніе на фантазію народа должно было оказывать и христіанство, по мѣрѣ того, какъ оно усвоивалось массою народа и вытѣсняло древнюю, языческую основу его вѣрованій, видоизмѣняя ее подъ вліяніемъ новыхъ христіанскихъ воззрѣній и образовъ. Эта замѣна языческихъ воззрѣній — христіанскими совершалась у насъ чрезвычай-

но медленно, и чрезъ пять или шесть вѣковъ по принятіи христіанства на Руси, благодаря тому, что образованность распространялась туго и медленно, христіанскіи идеи еще далеко неполниѣ успѣли овладѣть массою и вытѣснить изъ сознанія ея всѣ стародавнія, языческія вѣрованія. Но борьба двухъ религій, одной отживающей и гонимой, и другой, торжествующей и вступающей въ права свои — нашла себѣ отголосокъ въ народной поэзіи. Явился цѣлый рядъ пѣсень особаго, новаго содержанія, въ которыхъ двоевѣріе высказалось самымъ пестрымъ и страннымъ смѣшеніемъ языческихъ понятій съ понятіями христіанскими. Въ одной изъ такихъ пѣсень разсказывается напрімѣръ, „о сотвореніи міра“ (Стихъ о Голубиной книгѣ) совсѣмъ не такъ, какъ повѣствуетъ о томъ св. писаніе, и хотя вся пѣсня представляется въ видѣ разговора между пророкомъ Давидомъ и Владиміромъ княземъ, однако же въ каждомъ словѣ ея, сквозь эту внѣшнюю христіанскую обстановку, проглядываетъ древняя, языческая основа преданія о міроздавніи и происхожденіи человѣка, очень сходнаго у многихъ народовъ индо-европейскаго племени. Въ другой, подобной же пѣснѣ, св. Георгій представляется въ образѣ „святорусскаго могучаго богатыря Егорія храбраго“, объѣзжающаго землю русскую и устанавливающаго въ ней новые, гражданственныя порядки среди „лѣсовъ дремучихъ и горъ толкучихъ“. Горы передъ нимъ разступаются, лѣса даютъ ему дорогу прямоѣзжую; стада змѣй расползаются и стада волковъ рыскающихъ разбѣгаются въ стороны отъ пути его и, по его слову и велѣнію, принимаютъ ѣсть только повелѣнное, установленное. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ духовное сословіе у насъ начинаетъ болѣе и болѣе разрастаться, пополняясь постояннымъ приливомъ новыхъ дѣятелей изъ массы народа; по мѣрѣ того, какъ въ духовное сословіе наше проникаютъ все болѣе и болѣе идеалы, заимствуемые имъ, при посредствѣ южно-славянскихъ литературъ, съ литературной почвы византійскаго востока и латинскаго запада—этотъ новый видъ пѣсни, и пѣсня духовная, начинаетъ замѣтно развиваться и почти исключительно подчиняться вліянію книжному. Въ кругъ сюже-

товъ духовной пѣсни входятъ всѣ элементы, свойственныя литературѣ духовной и преимущественно — монастырской: — отвлеченность идеаловъ, отреченіе отъ мірскаго, воспѣваніе подвиговъ благочестія и прославленіе святыхъ подвижниковъ. Отсюда явилось множество пѣсень о святыхъ и о разныхъ благочестивыхъ мужахъ въ связи съ событіями, описываемыми въ св. писаніи ветхаго и новаго завета: объ Алексѣ Божьемъ человѣкѣ, объ Алексаѣ, объ Иосафѣ царевичѣ, о крестной смерти Спасителя и о Воскресеніи. Сюда же въ послѣдствіи примѣшались, подъ вліяніемъ западно-европейскихъ средневѣковыхъ преданій, а также и подъ непосредственнымъ вліяніемъ произведеній апокрифической (отреченной) литературы, новыя сюжеты, въ родѣ „Плача Адамова“, пѣсни „о разставаніи души съ тѣломъ“, „о мытарствахъ“, „о Пятицахъ“, „о женѣ Аллилуевой“. Нѣкоторые изъ числа апокрифовъ даже цѣлкомъ перелгались въ пѣсни, какъ напр. „Сонъ Богородицы“.

Вообще, если принимать въ соображеніе большую часть сюжетовъ этихъ духовныхъ пѣсень, нельзя не убѣдиться въ томъ, что основной матеріалъ для нихъ почерпнулся изъ литературы письменной, а слѣдовательно и авторами этихъ пѣсень не могли быть люди неграмотные и пѣвцы народные. Вѣроятно и у насъ на Руси, точно также какъ на западѣ, духовныя пѣсни сложились первоначально монахами, по монастырямъ, а отсюда уже, разными, болѣе или менѣе сложными путями, проникали въ массу народа, при помощи особаго, привилегированнаго класса пѣвцовъ. Распространителями духовныхъ пѣсень являлись, вѣроятно, по преимуществу тѣ странники, тѣ калики-перехожіе, которые, первоначально, — въ періодъ обще-европейскаго броженія, выразившагося крестовыми походами, — уходили изъ Руси цѣлыми ватагами на поклоненіе гробу Господню, въ Іерусалимъ, въ послѣдствіи, когда, съ паденіемъ византійской имперіи, значительно увеличилось трудности путешествія въ Палестину, а въ то же время и у насъ на Руси появились въ важнѣйшихъ пунктахъ развитія политической жизни свои, мѣстно-чтимыя святини, тѣ же ватаги странниковъ или калики-перехожихъ стали бродить по Руси, въ

города въ городъ, изъ монастыря въ монастырь всюду находя себѣ радушный пріемъ. Къ толпамъ странниковъ, посѣщавшихъ святини русскія изъ дѣйствительнаго религіознаго рвенія, или по обѣту, конечно примѣшивались и такіе люди, которые, не имѣя своего угла, посвящали себя бродяжничеству и весь свой вѣкъ проводили подъ гостепріимнымъ кровомъ монастырей и на церковной паперти. Здѣсь-то, находясь въ частыхъ и тѣсныхъ сношеніяхъ съ грамотнымъ духовенствомъ и монашествомъ, эти вѣчные странники вслушивались въ рассказы о подвигахъ мѣстно-чтимаго святого, въ чтеніе житій, или въ пѣніе духовныхъ пѣсенъ, сложенныхъ монахами, обогащали память свою обильнымъ запасомъ религіозно-поэтическаго матеріала, и на основаніи его, въ свою очередь, слагали пѣсни духовныя, которые и разносили потомъ во всѣ концы православной Руси. Но даже и въ этихъ подражаніяхъ, духовная пѣснь сохранила свой первоначальный характеръ и несомнѣнные слѣды своего происхожденія отъ литературы письменной, книжной, иногда даже и слѣды личнаго творчества авторовъ-грамотѣевъ: и до сихъ поръ, пѣсни эти, распѣваемые слѣпцами и нищими внутри Россіи, подъ названіемъ „духовныхъ стиховъ“, значительно разнятся и по языку и по духу, и по размѣру своему отъ остальныхъ произведеній народной поэзіи.

Когда же духовная пѣснь, вышенаказаннымъ путемъ, стала переходить въ массу народа, то народъ, конечно, не замедлилъ видоизмѣнить ее по своему и до нѣкоторой степени даже примѣнилъ ее къ своимъ личнымъ потребностямъ. Какъ духовенство наше не всегда умѣло различить книги истинныя отъ ложныхъ, и часто въ число книгъ каноническихъ вносило произведенія отреченной литературы, придавая имъ важное религіозное значеніе: — такъ точно и народъ, усвоивъ себѣ духовную пѣсню, очень часто сталъ смѣшивать ее съ пѣсней церковною, и придавать ей значеніе религіозное, хотя въ основѣ ея перѣдко являлось преданіе, отвергаемое Церковью, или даже суевѣріе. Изъ этого возрѣнія народнаго на духовную пѣсню вѣроятно и произошелъ обычай пѣть „духовные стихи“ во время постовъ и праздни-

ковъ, и вообще въ тѣ дни, когда почему-либо неприличнымъ казалось пѣніе мірскихъ пѣсенъ.

Переходя въ народъ изъ устъ въ уста, духовная пѣсня, конечно, должна была еще болѣе увеличиться въ своемъ объемѣ, вслѣдствіи того, что къ вышеупомянутымъ нами разнообразнымъ сюжетамъ ея прибавились еще и другіе, новыя, стоявшіе въ тѣсной связи съ жизнью народной и съ нравственными возрѣніями народа на добро и зло, счастье и несчастье, богатство и бѣдность. Такъ напримѣръ, конечно уже послѣ того, какъ духовная пѣснь перешла въ народъ и была усвоена пѣвцами изъ народа, могли явиться въ числѣ образцовъ ея такія произведенія, какъ „стихъ о богатомъ и Лазарѣ“, въ которомъ, на основаніи извѣстной евангельской притчи, идеализируется бытъ и значеніе нищенствующей братіи, въ средѣ которой духовная пѣснь, вѣроятно, и получила наибольшее свое развитіе. Должно полагать, что подъ вліяніемъ тѣхъ же условій народной жизни появился и другой, замѣчательный, по своимъ поэтическимъ достоинствамъ, стихъ „о Вознесеніи Христовомъ“, въ которомъ рассказывается, какъ Христосъ, собираясь вознестись на небо, прощался съ нищею братіею, которая горько плакала, говоря ему: „батюшка нашъ! царь небесный! на кого ты насъ покидаешь? Кто будетъ насъ поить-кормить, отъ темной ночи укрывать?“ И отвѣчалъ имъ Христосъ, царь небесный:

«Не плачь, моя меньшая братія,
Дамъ я вамъ гору золотую,
Дамъ я вамъ рѣку медвяную,
Оставляю вамъ сады-винограды,
Оставляю вамъ яблони кудрявы,
Дамъ я вамъ манну небесну.
Умѣйте горою владѣти,
Промежду собой раздѣляти:
Будете вы сыты, да пьяны,
Будете обуты и одѣты,
Будете тепломъ вы обогрѣты,
И отъ темной ночи приукрѣты».

Слыша это, Іоаннъ Златоустъ обращается ко Христу и проситъ оставить иное, бѣгле прочное наслѣдіе, которое бы никто не могъ отнять у нищей братіи:

«Не давай (говорить онъ) нищииъ гору крутую,
Что крутую гору, золотую:
Не съумишь имъ горою владати,
Не съумишь имъ золотыя поверстати,
И прошежду собой раздѣляти:
Зазнають гору князи и бояре,
Зазнають гору пастыри и власти,
Зазнають гору торговые люди,
Отоймутъ у нихъ гору крутую,
Отоймутъ у нихъ гору золотую,
По себѣ они гору раздѣлять,
По князьямъ золотую разверстають.

Да нищииъ братьямъ не допустять;
Да нечѣмъ будетъ нищииъ питатися,
Да нечѣмъ имъ будетъ приодѣтися,
И отъ темныхъ ночи приукрытися.
Дай-же ты нищииъ-убогимъ
Имя твое святое.
Будуть нищииъ по міру ходити,
Тебя Христа величати,
Въ каждый часъ прославляти;
Будуть они сыты и довольны,
Обуты будутъ и одѣты,
И отъ темной ночи приукрыты.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВЪ ОДИННАДЦАТОЙ.

Хожденіе Богородицы по нуканъ.

Захотѣла св. Богородица молиться Господу Богу нашему на горѣ Елеонской. „Во имя Отца и Сына и св. Духа, пусть сойдетъ архангелъ Михаилъ, пусть повѣдастъ мнѣ о мукѣ небесной и земной“. И сошелъ архангелъ Михаилъ и 400 ангеловъ съ нимъ: 100 отъ востока, 100 отъ запада, 100 отъ полудня, 100 отъ полуночи... Богородица, желая видѣть, какъ души мучатся, сказала Михаилу архистратигу: „сколько есть мукъ, гдѣ мучится родъ христіанскій?“ И сказалъ ей архистратигъ: „нельзя и рассказать о тѣхъ мукѣхъ“. Сказала ему Благодатная: „покажи мнѣ ихъ на небеси и на земли“.

Тогда повелѣлъ архистратигъ явиться ангеламъ отъ полудня, и открылся адъ, и увидѣла она мучащихся въ аду, и много тутъ было женщинъ и мужчинъ, и великъ былъ вопль ихъ. И спросила Благодатная архистратига: „кто эти люди?“—И сказалъ архистратигъ: „это тѣ, что не вѣровали въ Отца и Сына и св. Духа, но забыли Бога, и вѣровали въ тварь, которую Богъ сотворилъ намъ на работу; и солнце, и землю, и воду, и звѣрей, и гадовъ — все это называли они богами; и изъ камня себѣ создали боговъ—Трояна, Хорса, Велеса, Перуна... потому-то здѣсь такъ и мучатся“...

И увидѣла на другомъ мѣстѣ тьму великую, и сказала св. Богородица: „что это за тьма, и кто тѣ (люди), которые въ ней пребываютъ?“—И сказалъ архистратигъ: „мно-

гія души пребываютъ въ этомъ мѣстѣ“. И сказала св. Богородица: „пусть отыметъ тьма эта, дабы я могла видѣть и ту муку“. И отвѣчали ангелы, стерегущіе муку: „намъ поручено, чтобы они не видѣли свѣта, пока не явится Сынъ Твой благій, болѣе шести солнцевъ свѣтлый“, — и опечалилась св. Богородица, и возвела очи къ ангеламъ и, возрѣвъ на невидимый престолъ Отца Своего, сказала: „во имя Отца и Сына, и св. Духа, пусть разсѣется эта тьма, дабы я могла видѣть и эту муку“. И разсѣялась эта тьма и бжебесъ явилось, и тутъ пребывало множество народу, мужчинъ и женщинъ, и много воплей (было слышно), и исходилъ (оттуда) великій крикъ. И увидѣвъ ихъ, пресв. Богородица сказала имъ, слезно плача: „что вы совершили, бѣдные, окаянные, недостойные, какъ вы сюда попали?“ И не было отъ нихъ ни голоса, ни отвѣта, и сказали ангелы, стерегущіе ихъ: „почему вы не отвѣчаете?“ Сказали мучащіеся: „о Благодатная, отъ вѣка не видали мы свѣта, (потому и) не можемъ взглянуть вверхъ“. И, взглянувъ на нихъ, св. Богородица горько заплакала, видя ихъ мученія; и сказали они:.... „какъ это ты, пресвятая Богородица, посѣтила насъ бѣдныхъ?“ Тогда сказала св. Богородица къ архистратигу Михаилу: „въ чемъ ихъ согрѣшеніе?“—И сказалъ Михаилъ: „это тѣ, которые не вѣровали въ Отца и Сына и св. Духа, ни въ тебя, св. Богородица, не хотѣли проповѣдать

имени твоего, (и того), что родился отъ тебя нашъ (Господь) Иисусъ Христосъ, принявъ (на себя) смерть и освятивъ землю крещеніемъ, — вотъ почему они въ томъ мѣстѣ мучатся“. И опять прослезилась св. Богородица и сказала имъ: „зачѣмъ дали вы (себя) соблазнить, или не знаете, что все созданное почитаетъ имя Мое?“

(Какъ только) сказала это св. Богородица, на нихъ снова опустилась тьма. Сказалъ ей архистратигъ: „куда хочешь, Благодатная, чтобы мы пошли съ тобою: на полдень или на полночь?“ И сказала Богородица: „пойдемъ на полдень“. Тогда обратились херувимы и серафимы и 400 ангеловъ, повели Богородицу на полдень, гдѣ жгла огненная рѣка, и было тутъ множество мужчинъ и женщинъ, были тутъ погруженные въ нее—одни до пояса, другіе до пазухи, третьи по шею, а иные и съ головою. И увидѣвъ (это), св. Богородица возопила громкимъ голосомъ, и спросила архистратига: „кто—эти, что погружены въ огонь до пояса?“ — „это тѣ, которые подверглись клятвѣ отцовъ и матерей своихъ: за то здѣсь и мучатся, что были прокляты“... И опять спросила Богородица: „а кто же тѣ, что въ огнѣ стоятъ по шею?“ — И сказалъ ей архистратигъ: „это тѣ, что ѣли человѣческое мясо, за то такъ и мучаются“... Сказала св. Богородица: „а тѣ, что и съ головою погружены въ огненную рѣку, тѣ — кто?“ — И сказалъ архангелъ: „это тѣ, Господжа, которые, держа (въ рукахъ) честный крестъ, кланутся лжами... не вѣдая, какая мука ихъ ожидаетъ; потому-то такъ и мучатся“.

И увидѣла св. Богородица человѣка, повѣшеннаго за ноги, и черви ѣли его; и спросила она ангела: „кто этотъ? Какой грѣхъ сотворилъ онъ?“ — И сказалъ ей архистратигъ: „это тотъ, который лихву бралъ на свое золото и серебро; за то на вѣки и мучится“.

И увидѣла она женщину, повѣшенную за зубы, и различныя змѣи исходили изъ устъ ея, и ее же пожирали. И увидѣвъ то, пресвятая спросила ангела: „что это за женщина, и въ чемъ ея грѣхъ?“ — И отвѣчалъ архистратигъ: „это та, что ходила по ближнимъ своимъ и сосѣдямъ, подслушивала, что они говорятъ и, слагая неприязненные слова, возбуждала между ними ссоры:—потому такъ и мучится“. И сказала св. Богородица:

„хорошо было бы человѣку тому вовсе не рождаться на свѣтъ“.

И сказалъ ей Михаилъ: „ты еще, св. Богородица, не видала великихъ мукъ“. — И сказала святая архистратигу: „пойдемъ и походимъ, дабы видѣть всѣ муки“. И сказалъ Михаилъ: „куда хочешь (идти), Благодатная?“ И сказала Святая: „на полночь“. И обратились херувимы и серафимы, и 400 ангеловъ и повели Благодатную на полночь; и представилось имъ тамъ облако огненное, а посреди его кровати, раскаленные, какъ огонь, и на тѣхъ кроватяхъ лежало множество мужчинъ и женщинъ. И, увидѣвъ ихъ, Святая, и вздохнувъ, сказала архистратигу: „кто эти, и въ чемъ согрѣшили?“ — И сказалъ архистратигъ: „это тѣ, Господжа, которые въ свѣтлое Христово воскресеніе на заутреню не встаютъ, но лѣжятся, и лежатъ, словно мертвые,—за то такъ и мучатся“... — И сказала св. Богородица: „ну а если кто не можетъ встать, тому вѣняется ли во грѣхъ?“ — И сказалъ Михаилъ: „послушай, Святая, если у кого (въ эту ночь) домъ загорится съ четырехъ угловъ, и охваченъ будетъ огнемъ, и сгоритъ (жившій въ домѣ), не могши встать — такому не вѣняется во грѣхъ“.

И увидѣла на другомъ мѣстѣ столы огненные и на нихъ множество народа, мужчинъ и женщинъ, (лежали) сгорая, и спросила архистратига (о нихъ) Святая, (и отвѣчалъ онъ): „это тѣ, что поповъ не чтутъ — за то мучатся“.

И увидѣла св. Богородица дерево желѣзное, имѣющее отрасли и вѣтви желѣзныя, и на вершинѣхъ тѣхъ вѣтвей были крючья желѣзныя, и множество мужчинъ и женщинъ было на тѣхъ крючьяхъ повѣшено за языки. И, увидѣвъ то, прослезилась Святая и спросила Михаила: „кто эти и въ чемъ ихъ согрѣшеніе?“ — И сказалъ архистратигъ: „и это тоже клеветники, корившіе и разлучавшіе брата отъ брата и мужей отъ женъ;... и еще скажу тебѣ о нихъ: — когда кто хотѣлъ креститься и покаяться въ грѣхахъ своихъ, эти отговаривали и не поучали спасенію,—изъ-за того-то и мучатся вѣчно“.

И увидѣла Святая въ другомъ мѣстѣ человѣка, висающаго за ногти, и кровь текла (изъ подъ ногтей его) обильно, и языкъ его связывало огненное пламя, не могъ онъ ни вздохнуть, ни произнести: „Господи, помози“.

луй". И при видѣ его, пресв. Богородица сказала: „Господи, помилуй“ трижды, и сотворила молитву. И пришелъ къ ней ангелъ, заправлявшій муками, чтобы развязать языкъ тому мужу. И спросила Святая: „кто этотъ бѣдный человѣкъ, который терпитъ такую муку?“—И сказалъ ангелъ: „это икономъ и церковнослужитель, нетворившій воли Божьей, но продававшій сосуды (церковные), имущество церковное, и говорившій: „кто для церкви трудится, тотъ отъ церкви и питается — за то и мучится здѣсь“. — И сказала Святая: „какъ онъ поступалъ, такъ и воздается ему“. И ангелъ вновь связалъ ему языкъ.

И увидѣла Святая человѣка, котораго (обвинялъ) трехглавый змѣй:—одна глава была обращена къ очамъ, а другая къ устамъ сего мужа. И сказалъ архистратигъ: „вотъ бѣдный человѣкъ — нѣтъ ему отдыха отъ этого змѣя“;... это, Госпожа, тотъ который прочиталъ св. книги и евангеліе, а самъ не послушалъ (того, что въ нихъ написано); людей-то учить, а самъ не творить воли Божьей, (поступалъ) беззаконно“. Прослезилась пречистая Богородица и сказала: „о, тяжко грѣшникамъ!... Лучше бы имъ и не родиться на свѣтъ! И сказалъ ей Михаилъ: „изъ за чего ты плачешь, Святая? Не видѣла еще ты великихъ мукъ“. И сказала Пресвятая: „поведи меня, (пусть увижу) всѣ муки“. И сказалъ ей Михаилъ: „куда хочешь, Благодатная—на востокъ-ли, или на западъ, или въ рай, на правую руку или, на лѣвую руку, гдѣ и есть великія муки?“ И сказала Пресвятая: „пойдемъ на лѣвую сторону“. Обратились херувимы, серафимы и 400 ангеловъ, повели Пресвятую отъ востока на лѣвую сторону; и (тамъ) надъ рѣкою висѣла мрачная тьма, а въ той рѣкѣ лежало множество мужей и женъ, и клокотали они словно въ котлѣ, и словно морскія волны обрушались на грѣшниковъ; и когда поднимались волны, и глубоко погружались среди нихъ (въ бездну) грѣшники, то не могли произнести: „праведный судья, помилуй насъ“. (И въ то же время) не усypяющіе черви поѣдали (грѣшниковъ) и слышался (изъ бездны) скрежетъ зубовъ. И увидѣли Пресвятую ангелы, стерегущіе (грѣшниковъ), и воскликнули всѣ въ одинъ голосъ, говоря: „святъ, святъ, святъ еси, Боже святый!... Радуйся, благодатная Богородица, радуйся

просвѣщеніе свѣта вѣчнаго; радуйся, святыи архистратигъ Михаилъ, молящійся Владыкѣ за весь міръ; мы же видимъ, какъ здѣсь грѣшныя мучатся, и очень о нихъ скорбимъ“... И, увидѣвъ ангеловъ печальными и унылыми изъ-за грѣшниковъ... Богородица прослезилась и сказала: „что это за рѣка и что за волны?“ И сказалъ ей архистратигъ: „эта рѣка вся смоляная, а волны ея всѣ огненныя, а тѣ, что въ ней мучатся — жидаы, которые мучили Господа нашего Іисуса Христа, Сына Божія; и всѣ язычники, крестившіеся во имя Отца и Сына и св. Духа, и которые, уже будучи христианами, все же продолжаютъ вѣровать въ демоновъ и отвергаются отъ Бога и св. крещенія; а также и отравители, ядами умерщвляющіе людей, и оружіемъ людей убивающіе... Потому-то и мучаются за дѣянія свои“... И сказала Святая: „по дѣламъ ихъ пусть имъ и будетъ“. И вновь набѣжали (на грѣшниковъ) бурная рѣка и огненныя волны, и тьма покрыла ихъ; и сказалъ Михаилъ Богородицѣ: „кого эта тьма покроетъ о томъ Богъ уже позабываетъ“, и сказала Пресвятая: „о, тяжко грѣшникамъ, такъ какъ пламень этого огня не угасаетъ!“

И сказалъ ей архистратигъ: „поди, Пресвятая, я покажу тебѣ озеро огненное, дабы ты видѣла, гдѣ мучатся христианаы“. И увидѣла (то озеро), и услышала плачь и вопль (мучившихся въ немъ), а ихъ самихъ не было видно,—и сказала: „кто это, и въ чемъ ихъ согрѣшеніе?“ И сказалъ ей Михаилъ: „это тѣ, что крестились, и называли себя христианами, а дѣла творили дьявольскіе; и миновало время ихъ покаянію, и потому они здѣсь такъ и мучатся“.

...И сказала пресв. Богородица: „молю тебя, повели ангельскому воинству, и вознесите меня на высоту небесную, и поставте меня передъ невидимымъ Отцомъ“. И повелѣлъ архистратигъ, и явились херувимы и серафимы, и вознесли Благодатную на высоту небесную, и поставили ее передъ невидимымъ Отцомъ, у престола; и водѣла она руки свои къ благодатному Сыну своему, и сказала: „помилуй, Владыко, грѣшныхъ—я видѣла ихъ, и не могу выносить ихъ мученій“. И въ отвѣтъ ей раздался голосъ, сказавшій „какъ мнѣ ихъ помиловать? Я вижу раны отъ гвоздей на рукахъ Сына моего и не помилую тѣхъ“. — И сказала

„Владыко, молюсь Тебѣ не за невѣр-
жидовъ, но за христіанъ молю Тебя о
жертвѣ“. — И раздастся голосъ, и ска-
жетъ: „я вижу, что и братьевъ своихъ они
изовали, какъ же мнѣ-то ихъ помило-
вать?“. — И опять сказала Пресвятая:... „прі-
ветствуй всѣ ангелы, всѣ сущіе на небесахъ;
привѣтствуй всѣ праведные, которыхъ Господь
спасъ, такъ какъ вамъ дано молиться
за живыхъ. Прійди и ты, Михаилъ,—ты,
стоящий между безплотными и передъ пре-
стономъ Божиимъ,—и повели всѣмъ, пусть
припадѣмъ передъ невидимымъ Отцомъ
на тронѣмъ съ мѣста, пока не послу-
шаетъ насъ Богъ и не помиловаетъ грѣш-
ныхъ. Тогда пали Михаилъ ницѣ лицемъ
передъ престоломъ, пали и всѣ лики
ангеловъ, и всѣ чины безплотныхъ. И уви-
дѣвъ Владыка мольбу святыхъ, умилился
сердцемъ Своимъ Единороднаго Сына, и ска-
залъ: „сойди, Сынъ мой возлюбленный, по

молитвѣ святыхъ, и яви лице свое грѣш-
никамъ“.

И сошедъ Господь отъ невидимаго пре-
стола, и увидѣли его находящіеся во тьмѣ,
и возопили всѣ въ одинъ голосъ: „помилуй
насъ, Сыне Божій; помилуй насъ, царь всѣхъ
вѣковъ“. И сказалъ Владыка:... „По мно-
госердцію Отца Моего, пославшаго Меня къ
вамъ, и за молитвы Матери моей, такъ какъ
она много за васъ пролила слезъ, и за Ми-
хаила архистратига и многихъ мучениковъ
моихъ ходатайство, такъ какъ они много за
васъ потрудились — вотъ даю вамъ, муча-
ющимся, отдыхъ на все время, днемъ и ночью,
отъ великаго четверга до св. троицы это
(время будетъ для васъ временемъ) покоя,
и вы прославите Отца и Сына, и св. Духа“.
И отвѣчали всѣ мучащіеся: „слава милосер-
дію Твоему“. Слава Отцу и Сыну, и Св.
Духу и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.
Аминь“.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ.

Стихъ о книгѣ Голубиной.

Вѣла туча сильна-грозна,
Вѣла книга голубиная,
Вѣла, не великая:
и книга сорока сажень,
чины двадцати сажень,
и книгъ ко божественной
днѣ, соображали
царей со царевичамъ,
князей со князевичамъ,
поповъ, сорокъ дьяконовъ,
народу, людей мелкіихъ,
и въ православныхъ.
ко книгъ не приступится,
ко Божьей не пришатнется.
и въ ко книгъ премудрый царь,
рыи царь Давидъ Евсеевичъ:
къ сей до книги онъ доступается:
книгъ книга расгибается,
вѣственное писаніе ему объявляется.
и приходилъ ко книгъ Володиміръ князь,
и въ князь Володиміровичъ.
и въ Володиміръ князь,
и въ князь Володиміровичъ:
и гой еси, нашъ премудрый царь,
рыи царь, Давидъ Евсеевичъ!
и, сударь, книгу Божию,

Объяви, сударь, дѣла Божіи,
Про наше житіе, про святорусское,
Про наше житіе свѣту вольнаго:
Отчего у насъ начался бѣлый вольный свѣтъ?
Отъ чего у насъ солнце красное?
Отъ чего у насъ звѣзды частныя?
Отъ чего у насъ ночи темныя?
Отъ чего у насъ зори утренныя?
Отъ чего у насъ вѣтры буйныя?
Отъ чего у насъ дробень дождекъ?
Отъ чего у насъ умъ-разумъ?
Отъ чего наши помислы?
Отъ чего у насъ кости крѣпкія?
Отъ чего тѣлеса наши?
Отъ чего кровь-руда наша? —
Возговорить премудрый царь,
Премудрый царь Давидъ Евсеевичъ:
— „Ой ты гой еси, Володиміръ князь,
Володиміръ князь Володиміровичъ!
Не могу я прочесть книгу Божию.
Ужъ мнѣ честь книгу—не прочесть будетъ:
На рукахъ держать—не сдержать будетъ;
На малой положить—не уложится.
А по старой по своей памяти
Расскажу вамъ, какъ по грамотѣ:
У насъ бѣлый вольный свѣтъ зачался отъ суда Божіи;

Солнце красное отъ лица Божьяго,
 Самаго Христа, Царя небснаго;
 Младъ свѣтелъ мѣсяцъ отъ груди его;
 Звѣзды частыя отъ ризъ Божьихъ;
 Ночи темныя отъ думъ Господнихъ;
 Зори утренни отъ очей Господнихъ;
 Вѣтры буйныя отъ Свята Духа;
 У насъ умъ-разумъ самаго Христа,
 Самаго Христа, Царя Небснаго;
 Наши помыслы отъ облакъ небсныхъ;
 У насъ мѣръ-народъ отъ Адамъ;
 Кости крѣпкія отъ камени:
 Тѣлеса наши отъ сырой земли;
 Кровь руда наша отъ черна моря.
 Возговорить Володиміръ князь,
 Володиміръ князь Володиміровичъ:
 — Премудрый царь, Давидъ Всевевичъ!
 Скажи ты намъ, проповѣдай:
 Который царь надъ царями царь?
 Который городъ городамъ отецъ?
 Коя церковь всѣмъ церквамъ мати?
 Коя рѣка всѣмъ рѣкамъ мати?
 Коя гора всѣмъ горамъ мати?
 Кое древо всѣмъ древамъ мати?
 Коя трава всѣмъ травамъ мати?
 Которое море всѣмъ морямъ мати?
 Коя рыба всѣмъ рыбамъ мати?
 Коя птица всѣмъ птицамъ мати?
 Который звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ?
 Возговорить премудрый царь,
 Премудрый царь Давидъ Евсеевичъ:
 — У насъ бѣлый царь надъ царями царь,
 И онъ держитъ вѣру крещеную,
 Вѣру крещеную богомольную:
 Стоитъ за вѣру христіанскую,
 За домъ пресвятыя Богородицы.
 Всѣ орды ему приклонилися,
 Всѣ языцы ему покорилися:
 Потому бѣлый царь надъ царями царь.
 Ерусалимъ городъ—городамъ отецъ.
 Почему тотъ городъ городамъ отецъ?
 Во тѣмъ во городѣ во Ерусалимѣ
 Тутъ у насъ пупъ¹⁾ земли.
 Соборъ-церковь всѣмъ церквамъ мати?
 Стоитъ соборъ-церковь посреди града Ерусалима;
 Во той во церкви во соборной
 Стоитъ престолъ божественный:
 На томъ престолѣ на божественномъ
 Стоитъ гробница бѣло-каменная;
 Въ той гробницѣ бѣлокаменной

Почиваютъ ризы самого Христа,
 Самаго Христа Царя Небснаго:
 Потому соборъ-церковь церквамъ мати.
 Иорданъ-рѣка всѣмъ рѣкамъ мати.
 Почему Иорданъ всѣмъ рѣкамъ мати?
 Окрестился въ ней самъ Исусъ Христосъ.
 Со силою со небсною,
 Со ангелами со хранителями,
 Со Иоанномъ, свѣтомъ, со Крестителемъ:
 Потому Иорданъ всѣмъ рѣкамъ мати.
 Фаворъ-гора всѣмъ горамъ мати.
 Почему Фаворъ-гора горамъ мати?
 Преобразился на ней самъ Исусъ Христосъ.
 Исусъ Христосъ, царь небсный, свѣтъ,
 Показалъ славу ученикамъ своимъ:
 Потому Фаворъ-гора горамъ мати.
 Кипарисъ-дерево всѣмъ древамъ мати.
 Почему то дерево всѣмъ древамъ мати?
 На тѣмъ древѣ на кипарисѣ,
 Объявился намъ животворящій крестъ,
 На тѣмъ на крестѣ на животворящемъ
 Распятъ былъ самъ Исусъ Христосъ,
 Исусъ Христосъ, Царь небсный свѣтъ:
 Потому кипарисъ всѣмъ древамъ мати.
 Плакунъ-трава всѣмъ травамъ мати.
 Почему плакунъ всѣмъ травамъ мати?
 Когда жидовья Христа распяли,
 Снятую кровь его пролили,
 Мать пречистая Богородица
 По Исусу Христу сильно плакала,
 По своему сыну по возлюбленномъ;
 Ронила слезы Пречистая
 На матушку на сыру землю;
 Отъ тѣхъ отъ слезъ отъ пречистыхъ
 Зарождалася плакунъ-трава:
 Потому плакунъ-трава травамъ мати.
 Океанъ-море всѣмъ морямъ мати.
 Почему океанъ всѣмъ морямъ мати?
 Посреди мори океанскаго
 Восходила церковь соборная,
 Соборная богомольная,
 Святаго Климента пона римскаго:
 Изъ той церкви изъ соборной,
 Соборной, богомольной,
 Выходила Царица небсна;
 Изъ океанъ-мори омывалася,
 На соборъ церковь она Вогу молилася:
 Отъ того океанъ всѣмъ морямъ мати.
 Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати.
 Почему же китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати?

¹⁾ Т. е. середина земли. Въ средніе вѣка многіе вѣрили тому, что Іерусалимъ дѣйствительно
 стоитъ въ центрѣ всего міра.

рыбахъ земля основана.
 ь-рыба потронется,
 ь-рыба вскоблется:
 ь-рыба всѣмъ рыбахъ мати.
 земля Святѣмъ Духомъ;
 ьна словомъ Божиимъ.
 птица всѣмъ птицамъ мати.
 а всѣмъ птицамъ мати?
 тратитъ-птица на океанъ морѣ,
 производитъ на океанъ морѣ.
 ну все повелѣнію,
 птица вострепетаетъ.
 ре восколыхнется;
 ю кораблѣмъ гостинные
 ни драгоцѣнными:
 тратитъ-птица всѣмъ птицамъ мати.
 идрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ.
 идрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ?
 ь по подземелью,
 гъ рѣки, кладаянъ студеныя;
 ь во святой горѣ,
 ьсть во святой горѣ,
 ьтъ идеть по подземелью,
 ьшко по-поднебесью:
 унасть Идрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ.
 гъ Володиміръ-князь,
 ь князь Володиміровичъ;
 той еси, премудрый царь,
 а царь, Давидъ Евсеевичъ!
 ь, сударь, мало спалось,

Мнѣ во снѣ много видѣлось:
 Кабы съ той стороны со восточныя,
 А съ другой страны со полуденной,
 Кабы два звѣря собиралися,
 Кабы два лютые собѣгалися,
 Промежду собой дрались-билися,
 Одинъ одного звѣрь одолѣть хочеть». —
 Возговорить премудрый царь,
 Премудрый царь Давидъ Евсеевичъ:
 — «То не два звѣря собиралися.
 Не два лютые собѣгалися:
 Это Кривда съ Правдой соходилися.
 Промежду-собой бились-дрались.
 Кривда Правду одолѣть хочеть;
 Правду Кривда переспорила;
 Правда пошла на небеса,
 Къ самому Христу, царю небесному;
 А Кривда пошла у насъ по всей землѣ,
 По всей землѣ по свѣто-русской,
 По всему народу христіанскому.
 Кто будетъ кривдой жить,
 Тотъ отчаянный отъ Господа.
 А кто будетъ правдой жить,
 Тотъ причаинный ко Господу
 Та душа и наслѣдуетъ
 Себѣ царствіе небесное.
 Старымъ людямъ на послушанье,
 А молодымъ людямъ для памяти.
 Славу поестъ Давиду Евсеевичу,
 Во вѣки его слава не минуется

Стихъ о Егоріи Храбромъ.

было въ Іерусалимѣ,
 было при Феодорѣ,
 ьща благовѣрная,
 ьща Премудрая.
 она себѣ три дочери,
 ни да три любимыя.
 о сына Егорія,
 ьща, храбраго:
 ь ноги въ чистомъ серебрѣ,
 ь руки въ красномъ золотѣ,
 Егорья вся жемчужная,
 Егоріѣ часты звѣзды.

ь слѣдуетъ описаніе того, какъ на
 мѣ городъ наслалъ Господь напастъ:
 „царище Демьянище, безбожный
 сурманище,“ все спалилъ огнемъ,
 еребилъ или заповоилъ, а Егорья
 о увезъ въ свою землю. Тамъ сталъ

онъ требовать, чтобы Егорій перешелъ въ
 его басурманскую вѣру. Егорій отказываетъ
 на отрѣзъ. Тогда „царище Демьянище“
 подвергаетъ его различнымъ жестокимъ му-
 камъ; и несмотря на все это, Егорій остаетъ
 ся вѣренъ своимъ убѣжденіямъ. Тогда царь
 приказываетъ замуравать его въ глубокой
 погребъ, засыпать песками рудожелтыми).

Засыпалъ онъ и притаптывалъ,
 А притаптывалъ приговаривалъ:
 Не бывать Егорью на святой Руси,
 Не видать Егорью свѣта бѣлаго,
 Не видать Егорью солнца краснаго,
 Не видать Егорью отца съ матерью,
 Не слышать Егорью звона колокольнаго,
 Не слышать Егорью пѣнія церковнаго! —
 И сидѣлъ Егорій тридцать лѣтъ.
 А какъ тридцать лѣтъ исполнилось,

Св. Егорію во снѣ видѣлось:
 Да явилоса солнце красное,
 Еще явилася Мать Пресвятая Богородица.
 Спяту Егорью, свѣтъ, глаголетъ:
 —«Ой, ты еси, святой Егорій, свѣтъ Храбрый!
 Ты за это ли претерпѣише,
 Ты наследуешь себѣ царство небесное! —
 По Божьему повелѣнію,
 По Егоріа Храбраго моленію,
 Отъ свята града Ерусалима
 Поднимались вѣтры буйныя:
 Газносило пески рудожелтыя,
 Поломало гвозди полуженые,
 Разметало доски желѣзныя. —
 Выходилъ Егорій на святую Русь;
 Завидѣлъ Егорій свѣту благаго,
 Услышалъ звону колокольнаго,
 Обогрѣло его солнце красное,
 И пошелъ Егорій по святой Руси,
 По святой Руси, по сырой землѣ,
 Ко тому граду Ерусалиму,
 Гдѣ его родина матушка
 На святой молитвѣ Богу молится.
 Приходитъ Егорій въ Ерусалимъ городъ.
 Ерусалимъ городъ пусть пустѣхонекъ:
 Вырубили его и выжгли,
 Нѣтъ ни стараго, нѣтъ ни малаго.
 Стоитъ одна церковь соборная,
 Церковь соборная, богомольная,
 И го церкви во соборнейей,
 Во соборнейей, богомольнейей,
 Стоитъ его матушка родина,
 Св. Софія Премудрая,
 На почитавъ стоитъ на Ісусовыхъ:
 Она Богу молить объ своемъ сыну,
 Объ своемъ сыну, объ Егоріи.

(Егорій рассказываетъ матери, гдѣ онъ былъ и что претерпѣлъ, и проситъ у нея благословенія, чтобы отправиться „по всей землѣ свѣтло-русской, утвердить вѣру христіанскую“. Мать совѣтуетъ ему взять коня богатырскаго, съ двѣнадцати цѣней желѣзныхъ, со сбруею богатырскою, съ вострымъ копьемъ булатнымъ и съ книгою евангеліемъ).

Тутъ Егo иѣ, свѣтъ, поѣзжаячи,
 Святую вѣру утверждаючи,
 Вусурманскую вѣру побѣждаючи,
 Наѣзжалъ на лѣса на дремучіе:
 Лѣса съ лѣсами совивалися,
 Вѣтъ по землѣ разстилалися;

Ни пройтить Егорью, ни проѣхати.
 Святой Егорій глаголетъ:
 «Вы, лѣсы, лѣсы дремучіе!
 Встаньте и размянитесь,
 Размянитесь, раскочинитесь:
 Порублю наъ васъ церкви соборныя,
 Соборныя, да богомольныя,
 Въ нихъ будетъ служба Господняя.
 Разроститесь вы, лѣса,
 По всей землѣ свѣтло-русской,
 По крутымъ горамъ по высокімъ.
 По Божьему все повелѣнію,
 По Егорьеву все моленію,
 Разрослись лѣса по всей землѣ,
 По всей землѣ свѣтло-русской,
 По крутымъ горамъ по высокімъ.
 Еще Егорій поѣзжаячи,
 Святую вѣру утверждаючи,
 Вусурманскую вѣру побѣждаючи,
 Наѣзжалъ Егорій на рѣки быстрыя,
 На быстрыя, на текуція:
 Нельзя Егорью проѣхати,
 Нельзя святому подумати:
 «Ой вы еси, рѣки быстрыя,
 «Рѣки быстрыя и текуція!
 «Протеките вы, рѣки, по всей земли,
 «По всей земли свято-русскіей,
 «По крутымъ горамъ, по высокімъ,
 «По темнымъ лѣсамъ, по дремучимъ.»
 По Божьему повелѣнію,
 По Егорьеву моленію,
 Протекли рѣки, гдѣ имъ Господь повелѣлъ.
 Св. Егорій поѣзжаячи,
 Святую вѣру утверждаючи,
 Вусурманскую побѣждаючи,
 Наѣзжалъ на горы на толкуція:
 Гора съ горой столкнулися,
 Ни пройтить Егорью, ни проѣхати.
 Егорій св. проглаголывалъ:
 «Вы, горы, горы толкуція!
 Станьте вы, горы, по старому:
 Поставлю на васъ церкви соборную,
 Въ васъ будетъ служба Господняя».
 Св. Егорій поѣзжаячи, и т. д.
 Наѣзжалъ на стадо на зѣтриное,
 На сѣрыхъ волковъ на рыскачійхъ;
 И пасутъ стадо три пастыря
 Три пастыря, да три дѣвцы,
 Егорьевы родныя сестрицы.
 На нихъ тѣло, яко оловя коря,
 Власть на нихъ, какъ ковыль трава.
 Ни пройтить Егорью, ни проѣхати,
 Егорій св. проглаголывалъ:

и, воли рысучіе!
 ся, разбредитесь,
 >три, по-одиному,
 съ стѣнъ, по темнымъ лѣсамъ;
 вы повременно,
 цѣ вы повелѣнно,
 . Егорья благословенія!
 ну повелѣнно и т. д.
 Егорій поѣзжаючи,
 ъру утверждаючи,
 жую побѣждаючи,
 Егорій на стадо на зѣиносе:
 ить Егорью, ни проѣхати.
 . проглагольствоваъ:
 ой еси, зѣинъ огненный!
 чь, зѣинъ, по сырой землѣ
 , дробные черепицы,
 ѣшьте нѣз сырой земли».
 ѣ поѣзжаючи, и т. д.
 ь ко городу Кіеву.
 воротахъ на Херсонскихъ
 ерниогаръ птица,
 въ когтяхъ осетра рыбу:
 ю не проѣхать будетъ,
 ѣ глаголетъ:
 . Черногаръ птица!
 подъ небеса,
 ь океанъ-море:
 ѣ, и ѣшь въ океанъ-морѣ».
 ну повелѣнно и т. д.
 ѣ поѣзжаючи и т. д.
 . палаты бѣлы-каменны,
 се пребываетъ царице Демьянище,
 ѣ пѣсь бусурманище:
 его царице Демьянище,
 ѣ пѣсь бусурманище,
 . онъ изъ палатъ бѣлокаменныхъ.
 онъ по зѣриному,
 онъ по зѣиному,
 обѣдять Егорья Храбраго;
 ѣ не устранился,
 ить конѣ приуправился:

Выминаеть мечъ-саблю вострую,
 Онъ сѣкъ ему злодѣйскую голову
 По его могучія плечи;
 Поднималъ палицу богатырскую,
 Разрушилъ палаты бѣлокаменныя,
 Очистилъ землю бусурманскую,
 Утвердилъ вѣру самому Христу,
 Самому Христу, царю небесному,
 Владимичѣ Богородицѣ,
 Св. Троицѣ нераздѣльнымъ,
 И беретъ онъ свои три родныхъ сестры.
 Приводить къ Іорданъ рѣкѣ:
 «Ой вы, мои три родныхъ сестры,
 Вы умойтеся, окреститеся,
 Ко Христову гробу приложитеся.
 Набрались вы духу нечистаго,
 Нечистаго, бусурманскаго;
 На васъ кожа, какъ еловая кора,
 На васъ власы, какъ ковыль-трава.
 Вы повѣруйте вѣру самому Христу,
 Самому Христу, царю небесному,
 Владимичѣ Богородицѣ,
 Святой Троицѣ нераздѣльнымъ!»
 Умывались онѣ, окрещались,
 Ковыль-трава съ нихъ свалилася
 И еловая кора опустилася.
 Приходилъ Егорій
 Къ своей матушкѣ родимой:
 «Государыня моя матушка,
 Премудрая Софья!
 Вотъ тебѣ три дочери,
 А нѣтъ три родныхъ сестры!»

Егорьева много похождения,
 Велико его претерпѣніе:
 Претерпѣлъ муки разноличныя,
 Все за души наши многогрѣшныя.
 Поешъ славу свята Егорія,
 Свята Егорія, свѣтъ, Храбраго,
 Во вѣки его слава не минуется
 И во вѣки вѣковъ, аминь.





ПЕРІОДЪ ТРЕТІЙ.

ОТЪ ВРЕМЕНЪ ГРОЗНАГО ДО ПОЛОВИНЫ XVIII В.

XII.

Иракъ невѣжества и ереси. — Западное вліяніе: Максимъ Грекъ и его дѣятельность. — Стоглавъ, какъ результатъ дѣятельности Максима Грека. — „Донострой“ пола Сильвестра и казарьевскія „Четы-лики“.



Вонецъ шестнадцатаго вѣка представляетъ собою границу древняго періода нашей литературы; далѣе этой границы древнія начала, на которыхъ она основывалась, не могутъ болѣе продолжать свое существованіе, перестаютъ жить живою жизнью, потому и начинаютъ постепенно слабѣть и отодвигаться на задній планъ; а между тѣмъ, на сцену литературную выступаютъ новыя силы; являюся новыя дѣятели и масса новыхъ, неслыханныхъ дотогѣ идей. Но эти новыя начала, новыя идеи и новыя дѣятели выступаютъ на сцену литературную въ XVII вѣкѣ: — что же касается XVI вѣка, то онъ является намъ вѣкомъ борьбы, вѣкомъ попытокъ и стремленій къ установленію иного,

лучшаго порядка вещей, такъ какъ въ обществѣ уже живетъ тягостное сознаніе того, что оно не можетъ существовать долѣе на тѣхъ же основаніяхъ, если желаетъ слѣдовать далѣе путемъ дѣйствительной жизни и органическаго развитія. Но отживающія начала общественной жизни еще на столько оказываются живучими и сильными въ этотъ вѣкѣ, что всѣ стремленія лучшихъ представителей общества къ улучшенію, измѣненію существующаго порядка вещей — разбиваются о приверженность большинства къ застою и неподвижности, основанной на глубокомъ невѣжествѣ массы и на грубости, испорченности нравовъ въ высшихъ слояхъ общества.

Не станемъ вдаваться ни въ какія историческія подробности, которыя бы могли обрисовать намъ мрачную картину общественной жизни на Руси въ XVI вѣкѣ; замѣтимъ только, что время, воспитавшее такую страшную личность правителя, какъ Іоаннъ Грозный, обставившее его не менѣе грозными исполнителями его воли и, рядомъ съ нимъ воспитавшее то общество, которое способно было почти полнѣе сносить всѣ ужасы его правленія — время это являлось совершенно органическимъ слѣдствіемъ всего предшествовавшего московскаго періода русской исторіи.

И дѣйствительно, въ то время, когда политическія обстоятельства способствовали тому, чтобы власть, сосредоточенная въ рукахъ великихъ князей московскихъ, начиная съ Іоанна III, возрасла до крайнихъ предѣловъ, около нихъ не развивалась въ обществѣ никакая сила разумная, которая бы способна была направлять эту громадную власть на благо и пользу народа, которая бы ограждала ее отъ самообольщенія. Въ обществѣ не было никакой самобытной жизни, никакихъ положительныхъ интересовъ, никакого уваженія къ человѣческой личности, никакого общественнаго мнѣнія, которое бы способно было противодѣйствовать злоупотребленіямъ власти или строго относиться къ дѣятельности тѣхъ, кого она выбирала орудіями своими. Русское общество очевидно дожило, въ началѣ XVI вѣка, до крайняго предѣла въ развитіи тѣхъ началъ, которыя руководили его жизнью до этого времени и, окруженное отовсюду самыми неблагоприятными условіями для дальнѣйшаго своего развитія, огражденное отъ вліянія Европы враждебными и недоброжелательными сосѣдями, — оно должно было довольствоваться только тѣмъ, что вырабатывалось въ его собственной средѣ, его собственными скудными средствами. Отсюда, въ нѣкоторой части общества, которая болѣе была способна къ апатіи и застою, стало развиваться ложное и высокомѣрное понятіе о значеніи и достоинствѣ всего русскаго, — какъ несомнѣнно-образцоваго, нетребующаго никакихъ измѣненій, и рядомъ съ этимъ убѣжденіемъ — отвращеніе ко всему иноземному, недовѣріе и опасеніе по отношенію ко всякой новизнѣ, хотя бы и очевидно-полезной... Но, въ противоположность этимъ

крайнимъ убѣжденіямъ, мы видимъ въ XVI вѣкѣ зараждающееся меньшинство, которое нисколько не склонно сочувствовать этимъ взглядамъ и даже смѣло рѣшается выступить на борьбу съ ними. Меньшинство это, какъ мы сейчасъ увидимъ, развивается подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ случайныхъ условій, нѣкоторыхъ отдаленныхъ отголосковъ того громаднаго прогрессивнаго движенія, которое руководило всею Европою въ XV и XVI вѣкахъ, и которое извѣстно подъ названіемъ „Эпохи Возрожденія“.

Выше уже видѣли мы изъ знаменитаго посланія Геннадія, какъ сильно нуждалось общество въ школахъ; не говоря уже о другихъ сословіяхъ, для коихъ онъ какъ бы все и не признаетъ нужды въ грамотности, Геннадій указываетъ въ своемъ посланіи только на тотъ страшный вредъ, который безграмотность, преобладающая и въ самомъ духовенствѣ, должна была приносить народу въ отношеніи религіозномъ и нравственномъ. Дѣйствительно, неизчислимы оказывались вредныя послѣдствія этой безграмотности, при общемъ неумѣньи всѣхъ, и высшихъ, и низшихъ сословій, при свойственной всякому неумѣнью склонности къ суевѣріямъ и къ ложному истолкованію всего недоступнаго общему пониманію. Ересни, осужденныя на соборѣ 1504 года, продолжали не только существовать, но и распространяться, пользуясь слабостью отпора, который могло представить имъ полуграмотное духовенство; книги священнаго писанія и церковныя искажались и обезображивались множествомъ ошибокъ со стороны безграмотныхъ писцовъ; между отдѣльными церквами и монастырями происходили споры изъ-за разногласій при отправленіи богослуженія. Ко всему этому, разбогатѣвшее монашество начинало до такой степени увлекаться мірскими прелестями жизни, что въ нѣкоторыхъ монастыряхъ забывали даже всякое приличіе... Отсюда, въ самыхъ стѣнахъ монастырей, заводились распри между старыми поколѣніемъ, отстаивавшимъ старыя преданія и прежнюю строгость жизни, и новымъ, которое болѣе склонно было къ пользованію выгодами своего положенія, нежели къ заботамъ о вѣрѣ и нравственности. Съ другой стороны вопросъ о владѣніи землями и селами разъединялъ все монашество и духовенство наше на два лагеря, которые

безопасно относились друг к другу и вели между собою ожесточенную полемику, полную брани и самых безцеремонных разоблачений как с той, так и с другой стороны... И между тем, как силы тратились в этой бесплодной борьбе, для которой средства избились весьма неразорчиво, масса народа коснѣла въ ужасномъ невѣжествѣ; даже князья и дѣти боярскіе присутствовавшіе на соборѣ 1566 г., „ставши передъ дьякономъ“, должны были заявить, что „у записи рукъ ихъ нѣтъ, потому что они грамотѣ не умѣютъ“. Да къ тому же, среди общества, привыкнутаго къ невѣжеству, находились и такіе люди, которые отвращали молодыхъ людей отъ ученія, страшя ихъ помѣшательствомъ ума и тѣсною связью между ученіемъ книжнымъ и ересями. Въ самомъ „Домостроѣ“, который представляетъ собою, какъ мы увидимъ далѣе, собраніе всѣхъ необходимѣйшихъ для жизни правилъ — такъ сказать полный кругъ понятій русскаго человека конца XVI вѣка — не видимъ увѣщанія отцамъ учить дѣтей грамотѣ, которая признается необходимою только для духовнаго сословія и людей приказныхъ!

И въ эту-то мрачную эпоху недовольства современнымъ состояніемъ общественнымъ, борьбы разнородныхъ элементовъ религіозныхъ, и полной невозможности перехода къ лучшему порядку вещей собственными средствами — въ эту эпоху суждено было понасть къ намъ на Русь одному изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ дѣятелей общественныхъ и литературныхъ въ XVI в. Дѣятель этотъ былъ не кто иной, какъ Максимъ Грекъ, пноктъ аѳонскій, приглашенный въ Россію случайно и по частному дѣлу — для описи богатаго запаса греческихъ рукописей, накопившагося въ библіотекѣ великаго князя Василія Іоанновича — но которому суждено было прожить въ Россіи большую половину своей жизни, сродниться съ землею русскою, увлечься горячею ревностью къ благому просвѣщенію этой страны, столь богатой нравственными и умственными силами и, благодаря этой самоотверженной ревности, воспитать поколѣніе новыхъ русскихъ людей, которые оказались способными отрѣшиться отъ страшной дѣйствительности XVI вѣка, стать выше ея, и пойти далѣе путемъ болѣе широкаго нравственнаго и ум-

ственнаго развитія. Максимъ Грекъ род. въ 1480 г., а умеръ въ 1556 г. Въ 1518 году, слѣдовательно на 38 году жизни, въ цвѣтъ лѣтъ и въ полномъ развитіи силъ онъ былъ призванъ въ Россію. До этого времени лучшіе годы своей юности онъ провелъ среди условій наиболѣе выгодныхъ для его нравственнаго и умственнаго совершенствованія. Большую часть молодости прожилъ онъ въ сѣверной Италіи, которая съ XV-го столѣтія служила убѣжищемъ всѣмъ ученымъ греческимъ, искавшимъ спасенія отъ турецкаго ига; колонія этихъ ученыхъ, работавшая богатые запасы принесенныхъ ими же древне-классическихъ рукописей, способствовала развитію того блестящаго и многознаменательнаго движенія, которое, исходя изъ Италіи, обхватило подъ конецъ всю Европу, и такъ справедливо придало извѣстному періоду названіе „эпохи возрожденія наукъ и искусствъ“. Молодому Максиму Греку пришлось получить образованіе въ самомъ центрѣ тогдашняго итальянскаго просвѣщенія, въ Венеціи и Флоренціи. Тутъ изучилъ онъ древнихъ классиковъ, которыхъ любилъ называть своими первыми учителями, и основательно ознакомился, кромѣ древнихъ, и съ двумя новѣйшими языками: итальянскимъ и французскимъ. Во Флоренціи сильное вліяніе долженъ былъ оказать на юнаго Максима знаменитый итальянскій проповѣдникъ того времени, Іеронимъ Савонарола, энергически заппавшій древне-христіанскія начала религіи и нравственности противъ вліяній роскоши, распущенности современныхъ нравовъ и своеволія духовенства. По возвращеніи въ Грецію Максимъ отправился на Аѳонъ, стригся тамъ въ монахи и съ жаромъ предавался чтенію и изученію твореній св. отцовъ церкви. И послѣ столькихъ-то лѣтъ трудовъ, посвященныхъ на приобрѣтеніе блестящаго, по тому времени, научнаго образованія, Максиму Греку пришлось отправиться на далекій сѣверъ, въ Москву, съ того Аѳона, который уже столько ризъ и книгами, и живыми силами своими способствовалъ поддержкѣ просвѣщенія въ Россіи.

По прибытіи своемъ въ Москву, Максимъ Грекъ, видѣвшій на вѣку своемъ образованнѣйшіе центры современной Европы, былъ конечно пораженъ странною противоположностью между многостороннею, разнообраз-

ною, дѣятельною жизнью европейских государств и московскимъ застоемъ; между тамошней утонченною образованностью и здѣшнимъ глубокимъ невѣжествомъ, въ которомъ коснулись не только всѣ классы общества, но даже и большинство самого духовенства. Вотъ почему, не смотря на специальную дѣятельность переводчика творений отцовъ церкви и исправителя рукописныхъ текстовъ св. писанія, которой Максимъ Грекъ посвятилъ себя вначалѣ своего пребывания въ Москвѣ, онъ вскорѣ увидѣлъ себя вынужденнымъ обратить вниманіе и на прочія нестроения церковныя и общественныя, которыя совершались передъ глазами его. Вскорѣ его литературная дѣятельность исключительно обратилась къ полемикѣ противъ ложныхъ ученій, распространенныхъ въ средѣ русской церкви и къ обличенію важнѣйшихъ общественныхъ недостатковъ. Не только вышеописанное состояніе общества, но еще и тѣ смуты, которыми сопровождалось правленіе Василія Іоанновича и малолѣтство Грознаго, давали много пищи для поддержки этого обличительнаго направленія въ его литературной дѣятельности. Въ теченіе своего 38 лѣтняго пребыванія въ Россіи онъ написалъ около 140 различныхъ сочиненій, изъ которыхъ большая часть направлена была противъ остатковъ ереси жидовствующаго, противъ попытокъ латинства, замышлявшаго на православіе, противъ ложнаго пониманія православными нѣкоторыхъ догматовъ религіи; однакоже нѣкоторыя были кѣликомъ, а другія, отчасти, посвящены разсмотрѣнію и чисто-общественныхъ вопросовъ, не имѣющихъ ничего общаго съ церковнымъ устройствомъ и его недостатками. Такъ въ словѣ „о премудрости Божіей“ помѣщены Максимомъ рѣзкія обличенія лихоимства властей и неправосудія сильныхъ людей; въ другомъ „словѣ о нестроеніяхъ и безчиніяхъ влстителей послѣдняго вѣка сего“ аллегорически изображена картина смутъ боярскихъ, сребролюбіе и любовь къ роскоши, которая проявлялась въ пирахъ и пышныхъ постройкахъ. Эта многосторонняя и безпристрастная дѣятельность Максима, человека просвѣщеннаго и увлекавшагося стремленіемъ къ добру и къ истинному просвѣщенію, неспособнаго хладнокровно относиться къ тому злу, которое совершалось передъ его глазами скоро навлекло ему

много враговъ. Больше всего повредила ему полемика его съ волоколамскими иноками, которые пользовались большимъ вниманіемъ великаго князя, и которыхъ онъ раздражилъ, высказавшись въ одномъ изъ сочиненій своихъ въ пользу тѣхъ, которые считали владѣніе землями и селами неприличнымъ для иноковъ, отрেকшихся отъ міра. Къ этой враждѣ прибавились еще и неприязненные отношенія къ митрополиту Данилу, которому волоколамскіе иноки были особенно близки потому, что онъ, до митрополитства, былъ игуменомъ Волоколамскаго монастыря. Врагамъ Максима удалось особенно повредить ему въ глазахъ великаго князя Василія Іоанновича, когда Максимъ высказался противъ развода великаго князя съ первою супругою и противъ брака его съ Еленою Глинскою. Съ начала обвинили его въ сочувствіи къ нѣкоторымъ опальнымъ боярамъ и заключили въ Симоновъ монастырь; когда же онъ успѣлъ оправдаться отъ возведенныхъ на него навѣтовъ, враги его придали особенную важность нѣкоторымъ несовершенствамъ въ исправленіи текста церковныхъ книгъ и, на особо созванномъ для этой цѣли соборѣ 1525 года, осудили Максима, какъ еретика, преднамѣренно испортившаго текстъ св. писанія. По приговору собора, Максимъ отправленъ былъ во враждебный ему Волоколамскій монастырь. Переведенный впоследствии въ царствованіе Грознаго, въ Троице-Сергіевскую лавру, онъ въ ней и скончался.

Не смотря на то, что Максимъ Грекъ въ большей части своихъ сочиненій отдаетъ предпочтеніе богословію передъ всѣми науками, и смотритъ нѣсколько пристрастно, съ чисто-монашеской точки зрѣнія на изученіе классической древности, во всѣхъ писаніяхъ своихъ онъ все же является человекомъ просвѣщеннымъ, неспособнымъ къ той узости взгляда, какою особенно страдало современное русское общество, недоверчиво и презрительно относившееся ко всему иноземному. Максимъ Грекъ, напротивъ того, ни мало не затруднялся приводить въ примѣръ православнымъ неправославныхъ монаховъ и нѣмцевъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ считалъ ихъ образъ дѣйствій достойнымъ подражанія. Кромѣ того Максимъ Грекъ оказывалъ еще сильное вліяніе на приближенныхъ къ нему людей бе-

сѣдами своими, которыми, какъ человекъ образованный, много видѣвшій на вѣку своемъ, онъ привлекалъ къ себѣ людей живыхъ и любознательныхъ. Благодаря этимъ бесѣдамъ около него образовался кружокъ людей, недовольныхъ существующимъ порядкомъ вещей и охотно примкнувшихъ къ человеку, который могъ сообщить имъ много новаго и любопытнаго объ иномъ, лучшемъ устройствѣ общественной жизни, о болѣе правильныхъ отношеніяхъ между сословіями, какія случалось ему видѣть въ чужихъ краяхъ. Къ этому кружку принадлежали многіе, весьма замѣчательные русскіе люди XVI вѣка, какъ напр. Вассіанъ Косой (въ мірѣ князь Иванъ Патрикѣевъ, одинъ изъ знаменитѣйшихъ бояръ при дворѣ Іоанна III), знаменитый впоследствии князь Андрей Михайловичъ Курбскій, Зиновій Отенскій, прославившійся борьбою противъ ереси Феодосія Косого и Матвѣя Бакшина, наконецъ инокъ Силванъ, сотрудникъ Максимовъ въ переводахъ, состоявшій при немъ писцомъ и прославившійся своими свѣдѣніями въ грамматикѣ. Всѣ они съ гордостью называли себя учениками Максимовыми и „это почетное имя“ — какъ справедливо замѣчаетъ г. Соловьевъ — всего лучше показываетъ намъ значеніе знаменитаго святогорскаго инокъ.

И дѣйствительно, не смотря на то, что Максимъ Грекъ пострадалъ за горячую дѣятельность обличительную, которой предавался съ такою благородною ревностью, не смотря на то, что онъ, вслѣдствіи этого, уже очень рано былъ устраненъ отъ непосредственнаго вліянія на дѣла церковныя и общественныя, не смотря на все это, — посѣянное имъ сѣмя стало мало по малу всходить, и дало наконецъ, свой плодъ въ одномъ изъ достопамятнѣйшихъ событій XVI вѣка. Мы, говоря это, имѣемъ въ виду знаменитый Стоглавый Соборъ или Стоглавникъ (1551 г.), на которомъ юный царь, во главѣ лучшей и просвѣщеннѣйшей части современнаго русскаго общества, заявилъ объ упадкѣ нравственности въ духовенствѣ, о существованіи на Руси различныхъ церковныхъ и общественныхъ нестроеній и, въ особенности, возсталъ противъ главнаго и общераспространеннаго зла — полнѣйшей безграмотности, происходившей отъ того, что школы не было. Соборъ, посвятившій много времени на разностороннее обсужденіе предло-

женныхъ ему вопросовъ, оставилъ намъ въ видѣ объемистой книги, извѣстной подъ названіемъ Стоглава, всѣ положенія, къ какимъ онъ пришелъ по отношенію къ этимъ вопросамъ. По отношенію къ вопросу о школахъ, соборъ могъ предложить только одну мѣру, которая, во всякомъ случаѣ, не могла имѣть важнаго значенія для распространенія просвѣщенія въ Россіи, такъ какъ она касалась только самыхъ начатковъ образованія — простой, первоначальной грамотности, обученія чтенію и письму. Постановили устроить училища въ домахъ священниковъ, дьяконовъ и дьячковъ, которые были хорошо обучены грамотѣ. Неизвѣстно, въ какой именно степени это постановленіе собора приведено было въ исполненіе, тѣмъ болѣе, что дальнѣйшій ходъ событій историческихъ въ теченіе всего тревожнаго и суроваго правленія Іоанна Грознаго, нисколько не могъ способствовать систематическимъ заботамъ о распространеніи на Руси хотя бы и той первоначальной грамотности, которую соборъ призналъ существенно-необходимой. Должно предполагать однакоже, что, хоть мѣстами, эта мѣра нашла себѣ примѣненіе; но даже и въ этомъ случаѣ она не принесла и не могла принести ожидаемой отъ нея пользы, такъ какъ глубокое невѣжество, тяготѣвшее надъ всею Русью, не могло быть устранено даже и всеобщимъ распространеніемъ грамотности. Тутъ необходимыми оказывались болѣе серьезныя мѣры: — оказывалась нужда въ просвѣщеніи въ наукѣ, которая бы была на столько сильна, чтобы противоборствовать суевѣріямъ и апатіямъ... Но, видно, еще не время было явиться этимъ новымъ элементамъ въ русскомъ обществѣ, которому еще много предстояло пережить бѣдъ и бурныхъ невзгодъ прежде, нежели сознать необходимость новой жизни и просвѣщенія.

Перебирая всѣ явленія XVI вѣка, важна по отношенію къ исторіи нашего просвѣщенія и нашей литературы, мы, конечно, не можемъ пройти молчаніемъ и такихъ замѣчательныхъ памятниковъ XVI в. какъ „Домострой попа Сильвестра“ и „Великія Четыи Минен“, собранныя стараниями и заботами митрополита Макарія. О послѣднемъ изъ этихъ двухъ памятниковъ мы уже упоминали выше, въ главѣ о „Житіяхъ святыхъ“; что же касается перваго, т. е. Домо-

строю, то мы скажемъ о немъ здѣсь нѣсколь-
ко словъ, такъ какъ подробное разсмотрѣніе
этого памятника болѣе важно для исторіи
современнаго быта, нежели для исторіи ли-
тературы, и намъ придется коснуться его
лишь на столько, на сколько онъ, какъ про-
изведение литературное, служить вырази-
емъ убѣжденій и взглядовъ, господствовав-
шихъ въ современномъ обществѣ.

Домострой, приписываемый знаменито-
му попу Сильвестру, руководителю нрав-
ственности и совѣтнику Іоанна Грознаго въ
юности, представляетъ собою сборникъ, состо-
ящій изъ вступленія и 63 главъ; въ нихъ
авторъ излагаетъ правила, на основаніи ко-
торыхъ слѣдуетъ каждому мірянину жить,
устроить свой домъ, свой семейный бытъ,
свои отношенія къ окружающимъ. Сoder-
жаніе Домостроя обнимаетъ собою весь
кругъ высшихъ и низшихъ житейскихъ по-
требностей, обязанностей, нуждъ и даже
удобствъ жизни. Такъ напримѣръ, первая
глава его посвящена истолкованію того,
какъ истинно слѣдуетъ вѣрить въ Бога, въ
святыхъ, въ таинства, какъ почитать иконы
и священнослужителей, какъ вести себя въ
церкви; все, что говорится здѣсь объ этой важ-
ной сторонѣ жизни,—увѣ!—ограничивается
только правилами внѣшняго благочестія и
обрядности. Вотъ что предписываетъ Домо-
строй человѣку богобоязливому: „Въ дому
своемъ, всякому христіанину, во всякой хра-
минѣ, святые и честные образы, написанные на
иконахъ, по существу ставить на стѣнахъ,
устроивъ благолѣпно, со всякимъ украше-
ніемъ и со свѣтилъ, въ нихъ же свѣщи
предъ святыми образы возжигаются, на вся-
комъ славословіи Божіи, и по пѣніи пога-
шаютъ, завѣсомъ закрываются, всякія ради
чистоты, и отъ пыли всегда чистымъ кры-
лышкомъ ометати и мягкою губою вытирати
ихъ.... и храмъ тотъ чистымъ держати всегда....
на славословіи и св. пѣніи и молитвѣ свѣчи
вжигати и кадити благовоннымъ ладономъ и
ониміаномъ; а образы святые поставляются,
иже въ началѣ по чину“ и т. д. въ томъ же
родѣ. Затѣмъ говорится объ отношеніяхъ
къ царю и власти, о семейномъ благоустрой-
ствѣ, объ обязанностяхъ по отношенію къ
слугамъ и подчиненнымъ: наконецъ авторъ
доходитъ до подробнѣйшаго изложенія хозяй-
ственныхъ нуждъ и мелочей, обуславливаю-
щихъ порядки и правильное теченіе до-

машней жизни для каждого семьянина.
Эта часть Домостроя (главы XXVI—LXVI)
чрезвычайно любопытна по своимъ подроб-
ностямъ и по тому особому, практическому
смыслу, который, очевидно, во все времена
составлялъ одну изъ лучшихъ отличитель-
ныхъ чертъ всякаго русскаго человѣка. Одно
главное, надъ всеми остальными преобладаю-
щее правило одинаково предписывается
всѣмъ, „и богатымъ, и убогимъ, и великимъ
и малымъ“—умѣнье жить по средствамъ—
по промыслу и по добыткѣ, и по своему имѣ-
нію, а приказному человѣку, сибѣ себя по
государскому жалованью и по доходу“. По-
слѣдняя глава „Домостроя“ заключается въ
себѣ, — подъ общимъ заглавіемъ „Благосло-
веніе отъ Благовѣщенскаго попа, Сильве-
стра, возлюбленному моему однородному
сыну Апфиму“, — какъ бы сжатый выводъ
изъ всего содержанія книги, и очень напо-
минаетъ намъ „Поученіе Владиміра Моно-
маха дѣтямъ“ и множество другихъ „Поу-
ченій отца къ сыну“, которыя помѣщались
въ различныхъ нашихъ сборникахъ старин-
ными русскими книжниками, какъ одна изъ
наиболѣе любимыхъ ими тѣмъ.

Особенно любопытны для насъ тѣ главы
„Домостроя“, въ которыхъ говорится объ
отношеніяхъ семейныхъ, и которыя ярко
рисуютъ семейное и общественное положеніе
русской женщины XVI столѣтія въ
высшемъ и наиболѣе образованномъ слоѣ
нашего общества. Главы эти тѣмъ болѣе
любопытны для насъ, что имъ предше-
ствуетъ въ нашей литературѣ цѣлый рядъ ста-
тей, въ которыхъ старинные книжники на-
ши отзываются о женщинѣ самымъ безсмы-
сленнымъ образомъ, изображаютъ ее въ са-
мыхъ мрачныхъ краскахъ, стараются обри-
совать типъ ея при помощи самыхъ невы-
годныхъ для нея сравненій... Всѣ подобныя
разглагольствованія книжниковъ извѣстны
подъ общимъ названіемъ статей „о злыхъ
женахъ“, и являются одною изъ весьма
видныхъ составныхъ частей различныхъ
нашихъ старинныхъ сборниковъ. Даніилъ
Заточникъ въ своемъ „Моленіи“ посвяща-
етъ довольно видное мѣсто самымъ жесто-
ченнымъ нападкамъ на женщину и ея зло-
нравіе, ея испорченность, ея исконную
преданность грѣху и т. д. Тотъ же мотивъ
повторяется потомъ „Пчелами“ и другими
сборниками статей различнаго содержанія

въ XIII, XIV и XV вв. Ученые наши, единогласно признавая, что эти статьи „о злыхъ женахъ“ никакъ не могли исходить изъ нашей русской дѣйствительности, въ которой женщина никогда не играла особенно непривлекательной роли, указываютъ на Византию, какъ на родину этого мотива „о злыхъ женахъ“, и утверждаютъ, что онъ понравился древнимъ книжникамъ нашимъ именно въ тотъ періодъ, когда аскетизмъ византійскій пользовался у насъ значеніемъ и долженъ былъ оказывать вліяніе на нашихъ грамотеевъ. Должно однакоже сознаться, что какъ ни мрачны тѣ образы, въ которые досужая фантазія нашихъ старинныхъ книжниковъ старается облечь общій типъ женщины, описывая „злыхъ женъ“, плоды ихъ фантазій не производятъ на читателя такого тягостнаго впечатлѣнія, какое невольно выносится изъ чтенія нѣкоторыхъ главъ „Домостроя“, такъ благонамѣренно дающихъ мужу совѣты относительно обращенія съ женою и руководствованія ею въ жизни. Обязанности женщины „Домострой“ опредѣляетъ такъ:

„Въ церковь ходитъ она по возможности, по совѣту съ мужемъ. Мужья должны учить женъ своимъ съ любовью и благоразсуднымъ наказаніемъ. Если жена по мужнему поученію не живетъ, то мужу надобно ее наказывать наединѣ, и, наказавъ, пожаловать и примолвить; а другъ на друга имъ не должно сердиться. Слугъ и дѣтей также, смотря по винѣ, наказывать и раны возлагать, да наказавъ, пожаловать; а хозяйкѣ за слугъ печаловать, такъ слугамъ надежно. А только жены, сына или дочери слово или наказаніе нейметъ, то плетью и постегать, а побить не передъ людьми, наединѣ; а по уху, по лицу не бить, или подъ сердце кулакомъ, ни пинкомъ, ни посохомъ не колотить и ничѣмъ желѣзнымъ или деревяннымъ. А если велика вина, то, снявъ рубашку, плетвою вѣжливенько побить, за руки держа. Жены мужей своихъ спрашиваютъ о всякомъ благочиніи и во всемъ имъ покоряются. Вставши и помолившись, хозяйка должна указать служанкамъ дневную работу; кушанье, мясное и рыбное, всякій приспѣхъ скоромный и постный, и всякое рукодѣлье она должна сама умѣть сдѣлать, чтобы могла и служанку научить; если все знаетъ мужнимъ наказаніемъ и

грозой, и своимъ добрымъ разумомъ, то все будетъ спору и всего будетъ много. Сама хозяйка отнюдь не была бы безъ дѣла: тогда и служанкамъ, смотря на нее, повадно дѣлать; мужъ-ли придетъ, гостя-ли придетъ, всегда-бъ за рукодѣльемъ сидѣла сама; то ей честь и слава, и мужу похвала; никогда не должны слуги будить хозяйку: хозяйка должна будить слугъ. Со слугами хозяйка не должна говорить пустыхъ рѣчей пересмѣшныхъ; торговли, бездѣльных жонки и волхвы чтобы въ ней не приходили, потому что отъ нихъ много зла дѣлается. Всякій бы день жена у мужа спрашивалась и съ нимъ совѣтовалась о всякомъ обиходѣ; знаться должна только съ тѣмъ, съ кѣмъ мужъ велитъ; съ гостями бесѣдовать о рукодѣльи и о домашнемъ устройствѣ, примѣчать, гдѣ увидитъ что хорошее; чего не знаетъ, спрашивать вѣжливо; кто что укажетъ — низко челомъ бить и, пришедши домой, все мужу сказать. Съ добрыми женщинами и пригоже сходиться, ни для ѣды, ни для питья, а для доброй бесѣды и науки; внимать себѣ на пользу, а не пересмѣхать и никого не переговаривать; спросить о чемъ про кого другіе — отвѣчать: не знаю, ничего не слыхала и сама о ненадобномъ не спрашиваю, о княгиняхъ, боярыняхъ и сосѣдяхъ не пересужаю. Отнюдь беречься отъ пьянаго итѣя; должна (жена) пить безхмѣльную брагу и квасъ, и дома, и въ людяхъ; тайкомъ отъ мужа ни ѣсть, ни пить; чужаго у себя не держать безъ мужня вѣдома; обо всемъ совѣтоваться съ мужемъ, а не съ холопомъ и не съ рабомъ. Безгѣлицъ домашнихъ мужу не доносить; въ чемъ сама не можетъ управиться, о томъ должна сказать мужу въ правду“.

Какъ ни тяжело должно быть каждому въ настоящее время читать эти выписки изъ „Домостроя“ и представлять себѣ тягостное положеніе русской женщины въ XVI вѣкѣ, въ высшей степени странно было-бы, однакоже, обвинять автора книги въ жестокости, въ ограниченности взгляда на женщину. Авторъ „Домостроя“, очевидно, давалъ мужьямъ совѣты, совершенно умѣстные по тому времени, которое равняло мать въ подчиненности мужу съ дѣтьми и слугами, которое способно было видѣть въ женѣ только образчикъ дѣятельности и домашнего порядка для слугъ и служанокъ,

которое, наконецъ, потому именно направ-
ляло всѣ силы женщины на трудъ, потому
старалось занять различными мелочами всѣ
минуты дня ея, чтобы она не предалась
какимъ-нибудь постыднымъ удовольствіямъ
или не задумала бы „напиться“... „Сколько
женщинъ по доброй волѣ могли прибли-
жаться къ идеалу, начертанному „Домо-
строємъ“ — говоритъ нашъ историкъ, —
„сколькохъ надобно было заставлять при-
ближаться къ нему силою, и сколькохъ
нельзя было заставить приблизиться къ нему
никакою силою; сколько женщинъ предава-
лось названному неприличному удоволь-

ружающему обществу, устройство домаш-
няго быта — вотъ какія насущныя потреб-
ности начинаютъ занимать нашихъ авто-
ровъ. И въ этомъ отношеніи „Домострой“
не является въ XVI столѣтіи фактомъ одно-
кимъ, единичнымъ:—радомъ съ нимъ въ томъ
же столѣтіи, какъ мы увидимъ далѣе, воз-
ражается литература свѣтская, вызванная
къ жизни историческою необходимостью...

Что же касается вообще историко-литера-
турнаго значенія такого памятника, какъ
Домострой, то онъ напоминаетъ намъ собою
другой, важный памятникъ XVI вѣка, —
„Макарьевскія Четы-Миней“.

Миренъи макаріе,
бжїею млтїю
митрополитъ
всѣа рѣсїи

Автографъ митрополита Макарія, собирателя Четьихъ-Миней.

ствіемъ? на этотъ вопросъ мы отвѣчать не
рѣшимся“.

Домострой важенъ для насъ несомнѣнно
еще и потому, что онъ представляетъ со-
бою сводъ правилъ житейской мудрости,
предназначаемыхъ исключительно для чело-
вѣка свѣтскаго, для мірянина. Уже самая
потребность составленія такого свода пред-
ставляетъ собою явленіе очень важное: вид-
но, что жизнь мірская, со всѣми интереса-
ми дѣйствительности и ежедневности, на-
чинаетъ обращать на себя вниманіе гра-
мотниковъ, вниманіе людей, занимающихся
литературой.

Житейскіе интересы, отношенія къ ок-

цать того, что оба эти памятника — и Ма-
карьевскія Миней, и Домострой — исходили
изъ одного настроенія, и въ основѣ ихъ ле-
жала одна общая идея. Мысль о собраніи
„всѣхъ книгъ чтимыхъ“, точно также
какъ и мысль о томъ, чтобы собрать въ
одинъ общій сводъ всѣ практическія пра-
вила необходимой житейской мудрости, со-
ставить изъ нихъ какъ бы программу пове-
денія для свѣтскаго человѣка—все это могло
явиться только въ такой вѣкъ, который при-
давалъ своему жизненному опыту большое
значеніе и даже способенъ былъ видѣть въ
немъ нѣчто уже законченное, совершенное
въ своемъ родѣ, могущее служить образ-

цомъ послѣдующимъ вѣкамъ. Какъ тотъ, такъ и другой сводъ, могли явиться только въ такомъ вѣкѣ, который успѣлъ развить въ себѣ до высочайшей степени тѣ начала жизни и науки, какія были ему завѣщаны предшествующими вѣками. Очевидно, что общество—въ которомъ обширные памятники, подобные Домострою и Макарьевскимъ Минеемъ, могли явиться результатомъ умственной и нравственной жизни -- заканчивало свои счеты съ прошедшимъ, какъ бы не вѣря въ возможность прогресса въ будущемъ; потому-то и снѣшило оно составить такіе подробные кодексы свѣдѣній и правилъ, которые считало вполне удовлетворяющими современнымъ потребностямъ и даже предлагало въ образецъ грядущимъ поколѣніямъ. По нашему мнѣнію, эти два драгоценныхъ историческихъ памятника за-

мѣчательно-полно характеризуютъ намъ XVI вѣкъ, какъ предѣлъ древнѣйшаго періода русской литературы. Проявляется стремленіе собирать въ общіе своды все, что сдѣлано было въ предшествующіе вѣка, — наступаетъ періодъ сознательнаго пониманія началъ, руководившихъ жизнью общества до этого времени. Вместе съ наступленіемъ этого сознательнаго періода замѣчаемъ мы еще и другое любопытное явленіе: — общество останавливается на тѣхъ началахъ жизни, которыя были выработаны прошедшимъ, возводитъ ихъ въ идеалъ и указываетъ на нихъ, какъ на образецъ, достойный подражанія въ настоящемъ и обязательный для будущаго и тѣмъ самымъ высказываетъ свою несостоятельность и неизбежную необходимость наступленія иного, лучшаго порядка вещей въ ближайшемъ будущемъ.





ХІІІ.

гонимата в Россіи. — Краткій обзоръ исторіи книгопечатанія въ Славянскихъ земляхъ. —
Наши первопечатники. — Важнѣйшіе памятники нашей печати.

Историкъ нашъ С. М. Соловьевъ совершенно справедливо называетъ Грознаго „вѣкомъ движенія, юда попытокъ и протестовъ“. Самъ бралъ на себя инициативу нѣкоторыхъ протестовъ, обращая напр. духовенства на нестроенія церковно-свѣщенныя въ той рѣчи, которою мѣл Стоглавыи соборъ 1551 г. Въ „строеніи“ онъ указывалъ духовен-у, что священныя книги подвер-рукахъ невѣжественныхъ писцовъ искаженіямъ, и требовалъ, чтобы были мѣры къ пресѣченію этого рѣ занялся обсужденіемъ этого во-пришелъ къ тому, что слѣдуетъ гъ извѣстнаго рода надзоръ за пе-ами, поручить этотъ надзоръ про-и старѣйшимъ священникамъ, а исправно написанныя отбирать да-

ромъ и у продавца, и у покупателя. Но эти полумѣры, которыми старались искоренить и отчасти — покарать зло, оказались вскорѣ, какъ и слѣдовало ожидать, совершенно неисполнимыми на практикѣ. Дѣло въ томъ, что съ конца XV вѣка, когда потребность въ книгахъ стала возрастать, къ письменному труду обратилось множество рукъ. Кро-мѣ людей грамотныхъ, которые, попрежнему, продолжали заниматься этимъ дѣломъ изъ усердія и любви къ дѣлу, мы встрѣчаемъ въ это время много особыхъ частныхъ добро-писцевъ, при монастыряхъ, при епископахъ; сверхъ того, въ городахъ является особый классъ писцовъ-промышленниковъ, которые переписывали и богослужебныя, и всякія „книги-четы“, по найму и заказу, на про-дажу. Рукописныя книги продавались въ большомъ количествѣ на торжищахъ ¹⁾. Ко-му же подѣ силу было бы услѣдить за всею

этою массою письменнаго матерьяла, пересмотрѣть всѣ эти книги—каждую порознь—и во всѣхъ исправить ту нескончаемую массу грубыхъ ошибокъ и описокъ, нечаянныхъ пропусковъ и преднамѣренныхъ искаженій, которыми всѣ эти скорописныя книги были такъ изобильно переполнены.

И вотъ, когда въ 1553 г. особенно много потребовалось богослужебныхъ книгъ для церквей, воздвигаемыхъ усердіемъ царя въ завоеванномъ имъ Казанскомъ царствѣ и другихъ мѣстахъ Россіи, царь приказалъ скупать рукописныя книги на торжищахъ. Изъ весьма значительнаго числа купленныхъ книгъ лишь очень немногія оказались годными къ церковному употребленію. Прочія же, по выраженію Максима Грека, были „всѣ растѣны отъ переписующихъ, не наученныхъ сущихъ и неискусныхъ въ разумѣ“. Предполагаютъ, что именно этотъ случай окончательно навелъ царя Ивана Васильевича на мысль о заведеніи книгопечатанія въ Россіи, хотя есть основаніе думать, что и гораздо ранѣе этого времени на мысль объ учрежденіи въ Россіи типографіи наводилъ царя Максимъ Грекъ. Святгорскій инокъ, прибывшій въ Москву изъ самаго центра современной европейской цивилизаціи, ясно понимавшій и высоко цѣнившій всѣ преимущества, какія книгопечатаніе доставляло современному европейскому обществу, естественно долженъ былъ горячо ратовать за введеніе въ Россію этого новаго искусства. Съ книгопечатаніемъ Максимъ Грекъ былъ очевидно хорошо знакомъ, потому что, во время своего пребыванія въ Венеціи, былъ даже лично знакомъ съ однимъ изъ знаменитѣйшихъ типографовъ въ Европѣ—Альдоомъ Мануціемъ. „Въ Венеціи“—пишетъ Максимъ въ одномъ изъ своихъ писемъ—„былъ нѣкій философъ добръ хитръ; имя ему Алдусъ, а прозвище Мануціусъ, родомъ Фразинъ... Я его зналъ и видѣлъ въ Венеціи и къ нему часто хаживалъ книжнымъ дѣломъ“. Сверхъ того, Максимъ Грекъ имѣлъ даже возможность и сослаться, какъ на подтвержденіе своего мнѣнія о книгопечатаніи—на образцы новаго искусства, на печатныя книги, вывезенныя имъ изъ Венеціи.

И вотъ, по словамъ современнаго сказанія о введеніи книгопечатанія въ Россіи, въ томъ же 1553 году—„царствующему надъ

всею Россіею царю и великому князю Іоанну Васильевичу всея Руси, вложилъ Богъ въ умъ благоую мысль, какъ бы ему изряднѣе въ Русской землѣ учинить и вѣчную память по себѣ оставить:—произвести бы ему отъ письменныхъ книгъ печатныя, ради крѣпкаго исправленія и утвержденія, и скорого дѣланія и ради легкой цѣны, и ради своей похвалы, и такъ бы учинить въ царствующемъ градѣ Москвѣ и во всей Россіи, какъ (оно уже учинено) въ Грекахъ и Нѣмецкихъ земляхъ, въ Винницѣ (въ Венеціи) и во Фригій (Фрагій—Италіи), и въ Вѣлой Руси, и въ Литовской землѣ и въ прочихъ тамошнихъ странахъ, дабы (можно) было всякому православному христіанину праведно и несмутно читать святыя книги и говорить по нимъ, и дабы (можно было) повелѣть испущать (эти печатныя книги) во всю Русскую свою землю“.

По свидѣтельству того же сказанія, главнѣйшимъ образомъ утвердилъ царя въ намѣреніи завести на Руси книгопечатаніе извѣстный своею обширною начитанностью и трудолюбіемъ митрополитъ Макарій; услыхавъ отъ царя о такомъ благомъ начинаніи, митрополитъ прямо сказалъ, что „эта мысль внушена царю самимъ Богомъ, что это—даръ свыше сходящій“.

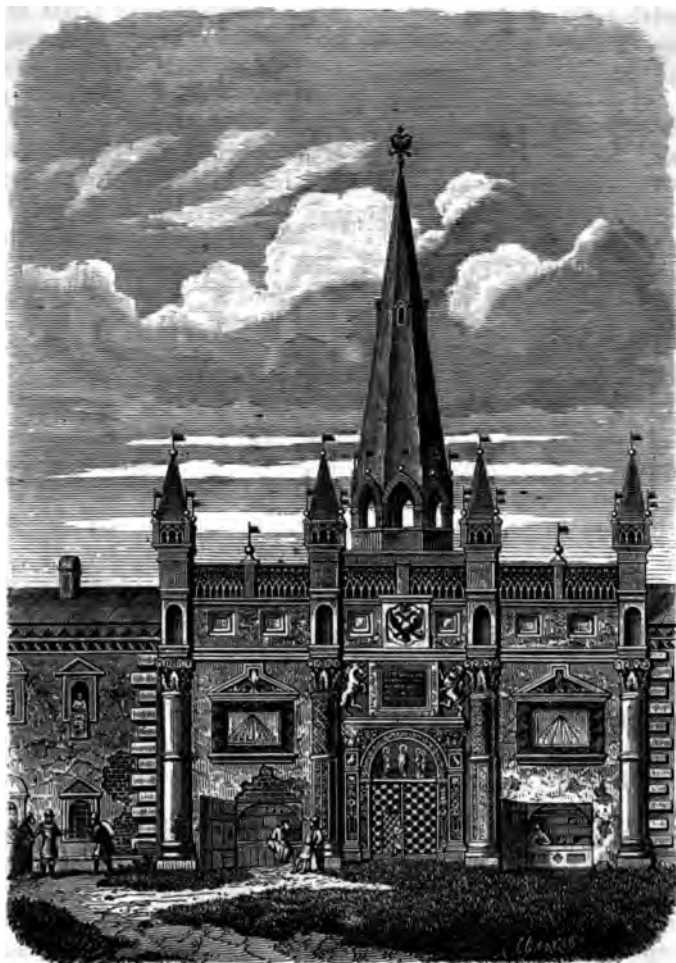
Ободряемый такимъ образомъ въ своемъ благомъ намѣреніи царь Иванъ Васильевичъ приступилъ, со свойственною ему живостью и энергіею, къ выполненію своего замысла, приказавъ строить особый домъ для помѣщенія типографіи, подыскивать мастеровъ и заводить все необходимое для начала книгопечатанія въ Россіи.

Сообразно тому значенію, которое царь придавалъ задуманному имъ дѣлу, и тому интересу, съ какимъ онъ относился къ его будущему исходу, — и мѣсто для будущей типографіи было избрано въ самомъ центрѣ города, на Никольской улицѣ, въ средоточіи торговли и среди дворовъ тогдашней московской знати. На постройку дома для типографіи, впоследствии получившаго названіе Печатнаго Двора, и на устроеніи въ немъ печатнаго дѣла царь не щадилъ издержекъ; но все же постройка эта и введеніе дома въ тотъ видъ, въ которомъ бы въ немъ уже можно было начать печатаніе, продолжались ровно десять лѣтъ, и только 19 апрѣля 1563 г. на Печатномъ Дворѣ мо-

ить начато, а 1-го марта 1564 года — чено, печатанье первой въ Великой и печатной книги.

и мѣшаетъ замѣтить, что наши перво-
тныя книги, какъ и слѣдовало ожидать,
ишь, съ вѣшной своей стороны вѣр-
ь подражаніемъ книгъ рукописныхъ.

киноварю. Какъ древніе писцы считали
долгомъ своимъ поставить въ извѣстность
„всѣмъ почитающимъ“ тѣ условія частной
жизни или историческія, съ которыми свя-
зано было появленіе въ свѣтъ той или дру-
гой рукописи,—такъ точно и первые печат-
ники наши подробно сообщали въ послѣ-



Видъ древняго печатнаго двора въ Москвѣ.

ь современныя книги рукописныя укра-
сь красивыми, ярко раскрашенными
лвами и вычурными начальными буква-
какъ и въ книгахъ первопечатныхъ ви-
травчатые и фигурныя заставки и бук-
въ началъ главъ, а въ началѣ и среди-
гекста — цѣлыя строки, напечатанныя

словіяхъ къ своимъ книгамъ: когда, какъ и
по чьему благословенію, и въ чье царство-
ваніе, и при чьей помощи произведено бы-
ло печатанье той или другой книги. Мало
того: какъ древніе книгописцы, закончивъ
свой тяжкій, долгій и важный трудъ, счи-
тали своею непремѣнною обязанностью, въ

концѣ книги, испросить у своихъ читателей прощенья въ невольныхъ промахахъ и ошибкахъ своего труда,—такъ точно и первопечатники наши заканчиваютъ послѣсловія книгъ своихъ молитвами, смиреннымъ обращеніемъ къ своимъ читателямъ, которыхъ просятъ „не осуждать и порицать, а исправлять“. Любопытнымъ образчикомъ всѣхъ подобныхъ послѣсловій можетъ послужить заключеніе къ послѣсловію львовскаго Апостола, написанное Иваномъ Федоровымъ. Въ концѣ его, обращаясь „къ Богу Вѣчному и безначальному“ съ молитвою о здравіи и благоденствіи тѣхъ, которые способствовали изданію въ свѣтъ книги, первопечатникъ нашъ добавляетъ:.... „намъ же непотребнымъ, начинаніе дерзнутымъ, благословеніе и грѣхомъ простыню да просятъ (т. е. читатели), да и сами того же благословенія и простыни грѣхомъ сподобятся, и аще что погрѣшено будетъ, Бога ради исправляйте, благословите, а не кленѣте, повеже не писа духъ святыи, ни ангелѣ, но рука грѣшна и брenna, якоже и прочіи не наказаніи. Выдруковать есми, сію душеполезную Апостольскую книгу, въ преименитомъ мѣстѣ Львовѣ, въ славу всемогущія и живоначальныя Троица Отца и Сына и Святаго Духа, аминь“.

Слѣдовательно, книгопечатаніе на Руси введено было слишкомъ семьдесятъ лѣтъ спустя послѣ того, какъ первая славянская книга была отпечатана въ Краковѣ, по крайней мѣрѣ лѣтъ на 30 позже того, какъ книгопечатаніе на славянскихъ языкахъ и славянскими алфавитами производилось уже въ Венеціи, и даже позже введенія книгопечатанія въ Литвѣ и Бѣлоруссіи. Причину такого поздняго введенія у насъ книгопечатанія слѣдуетъ видѣть не столько въ застоѣ нашего общества, съ болзнью и недовѣріемъ относившагося къ каждой новизнѣ, сколько въ особыхъ условіяхъ, въ которыя оно было поставлено по отношенію къ грамотности и письменности. Книгописная производительность была настолько развита въ древней Руси, что недостатокъ въ книгахъ (при незначительномъ на нихъ спросѣ) наше общество ощущать и не могло. А между тѣмъ, именно недостатокъ въ книгахъ, скудость книгописнаго запаса, истощеннаго случайными и горестными историческими условіями—были главною причиною того, что книгопечатаніе появилось въ болѣе отдаленныхъ

отъ центра Европы славянскихъ земляхъ прежде, нежели въ Россіи. Такъ извѣстный ревнитель просвѣщенія на славянскомъ юго-западѣ, воевода Божидаръ Вукотичъ, издавшій многія церковно-славянскія богослужебныя книги въ Венеціи, въ послѣсловіи къ одной изъ нихъ (Соборнику 1538 г.) высказываетъ прямо, что къ трудамъ по книгопечатанію побудило его желаніе пополнить, насколько воля Божія то дозволитъ—недостатъ святыхъ книгъ, ежесть умаленное иновѣрными езыци“.

Первое мѣсто по древности въ числѣ первопечатныхъ книгъ церковно-славянскихъ занимаютъ изданія Краковскія (Часословъ, Псалтирь и Октоихъ, изъ котораго мы приводимъ на стр 153 послѣсловіе, украшенное гербомъ города Кракова). Но книгопечатаніе церковно-славянское, заведенное въ Краковѣ въ 1491 г. какимъ-то Шнайпольтомъ Флемъ, вскорѣ прекратилось, и продолжалось потомъ уже въ Венеціи, потомъ въ Прагѣ Вильнѣ, и наконецъ—въ Москвѣ.

Сохранилось извѣстіе о томъ, что въ 1548 году царь Іоаннъ Васильевичъ, между прочими мастерами, выписывалъ изъ Германіи и типографщиковъ; но ихъ не пропустили въ Россію наши сосѣди. Въ 1552 году, датскій король Христіанъ III присылалъ въ Москву нѣкоего Ганса Миссенгейма, свѣдущаго въ типографскомъ искусствѣ. Миссенгейму дано было порученіе предложить царю принять протестантство. Нѣкоторые утверждаютъ, будто ему же поручено было паремъ и самое устройство типографіи. Но по другимъ, болѣе достовернымъ извѣстіямъ, книгопечатаніе въ Россіи началось вполнѣ самостоятельно, при участіи чисто-русскихъ дѣятелей, которые не только оказались вполнѣ подготовленными къ печатному дѣлу, но даже и подготовку свою получили, повидимому, не отъ нѣмцевъ, а изъ Италіи. Главнымъ дѣтелемъ по учрежденію у насъ книгопечатанія явился Иванъ Федоровъ, дьяконъ кремлевской церкви Николая Густунскаго, человекъ весьма замѣчательный, по той энергіи и любви къ дѣлу, которыя онъ выказалъ, вполнѣ предавшись новому искусству книгопечатанія, изучивъ его до замѣчательнаго совершенства и посвятивъ ему всю свою жизнь. Рядомъ съ нимъ, въ качествѣ его сотрудника и пособника, является и другой, впрочемъ, очевидно—второй

ий дѣлатель — Петръ Тимоѳеевъ дѣ.

сохранилось, подъ 1556 годомъ, ще о какомъ-то мастерѣ печатъ, Марушѣ Нефедьевѣ, однако же ерь печатныхъ дѣлъ оказывается какъ однимъ изъ тѣхъ „клевер-современному названію), которые

этого времени пробовали печатать книги „малыми и неискусными начертаніями“, а потомъ въ искусствѣ типографскомъ усовершенствовались подъ руководствомъ фриговъ (итальянцевъ).

Иванъ Ѳеодоровъ (род. около 1520 г.) и дѣйствительно, какъ оказывается, не только умѣлъ самъ печатать и набирать книги, но



ончанабѣсиакнигабѣвеликоуьградѣоу
ивѣпрндержавѣвеликагокоролѣполскаго
царя . ѿдекончанабѣицѣцианниоѿракоуь
дышванполтоуь, фѣоль, ѿзгнѣдѣцѣне
югородоуь, франкѣ . ѿскончашѣпобоженѣ
женнеуь . ѿ сѣтъ . деуьатѣдѣсѣ ѿ ѿ лѣто .

дѣслоуіе Краковскаго Октоуа, старѣйшей изъ печатныхъ книгъ славянскихъ.

„Ивану Ѳеодорову съ товарищемъ“ нѣи печатнаго дѣла въ Москвѣ. енное значеніе несомнѣнно остае-вомъ Ѳеодоровымъ. Чрезвычайно , для насъ сохранившееся объ-терахъ свѣдѣніе (въ сказаніи „о іи книгъ печатнаго дѣла“, напис. XVII вѣка), будто они задолго до

и отливать литеры, и даже вырѣзать тѣ матрицы (формы), которые должны служить для ихъ отливки. До сихъ поръ неизвѣстно, когда и гдѣ научился онъ и его товарищъ Петръ Тимоѳеевъ, своему мудреному искусству? Быть можетъ, первыя свѣдѣнія, какъ и первыя побужденія къ занятію книгопечатаньемъ внушены были Ивану Ѳеодорову

заѣзжими къ намъ итальянскими мастерами, которыхъ уже со временъ Ивана III очень много перебывало въ Москвѣ; быть можетъ, и самъ Иванъ Федоровъ успѣлъ до 1553 года побывать за-границей. Какъ бы то ни было, но по новѣйшему, и весьма основательному изслѣдованію В. Е. Румянцева, первыя понятія объ искусствѣ книгопечатанія занесены были къ намъ изъ Италіи, такъ какъ всѣ термины, употреблявшіеся при нашемъ печатномъ дѣлѣ старинными русскими мастерами оказываются заимствованными съ итальянскаго. Тоже изслѣдованіе доказало, что и весь шрифтъ, которымъ напечатана была въ Москвѣ первая русская книга, не былъ вывезенъ ни изъ за-границы, ни изъ славянскихъ земель, ни изъ Польши, а былъ изготовленъ (и притомъ весьма хорошо) въ Москвѣ, по особому образцу, отличному отъ другихъ современныхъ славянскихъ шрифтовъ и вполнѣ сохраняющему „строгую чистоту и правильность московскаго пошиба во всѣхъ буквахъ и знакахъ“.

Первымъ памятникомъ нашего книгопечатанія явилась книга „Дѣяній Апостольскихъ“, начатая печатаньемъ 19-го апрѣля 1563 года, и оконченная 1-го марта 1564 года. По общему отзыву знатоковъ печатнаго дѣла, эта первопечатная русская книга представляетъ собою чрезвычайно замѣчательное по красотѣ и изяществу явленіе въ области книгопечатанія, особенно если принять во вниманіе „младенческое состояніе тогдашней типографской техники“.

Въ слѣдующемъ, 1565 году, тѣ же мастера напечатали еще Часовникъ — и вдругъ вынуждены были бѣжать изъ Москвы, обвиненные въ ереси, въ порчѣ книгъ; говорятъ даже, будто и самый типографскій домъ былъ сожженъ недоброжелательными людьми. Самъ Иванъ Федоровъ, въ послѣсловіи къ Львовскому Апостолу, напечатанному имъ въ 1573 г., говоритъ довольно глухо о причинахъ бѣгства печатниковъ изъ Москвы. Главною причиною оказывается „презлѣное озлобленіе отъ многихъ начальникъ и учителей, которые на насъ зависти ради многія ереси умышляли, хотячи благое во зло превратити, и Божіе дѣло въ конецъ погубити,“—„сія бо (т. е. зависть) насъ отъ земли и отечества и отъ рода нашего изгна и въ ины страны незнаемы пресели“ Такъ рассказываетъ нашъ первопечатникъ. Пере-

селившись въ „иныя страны незнаемы“ Иванъ Федоровъ и Тимофеевъ нашли себѣ убѣжище въ Литвѣ, и тамъ, подъ покровительствомъ гетмана Г. А. Хоткевича, въ египѣннѣ, Заблудовѣ, напечатали „Евангеліе учительное“ (1569). Потомъ оба со брата по ремеслу разстались и стали трудиться порознь; Петръ Тимофеевъ, по приглашенію друзей Курбскаго, Зарецкихъ, Мамоничей и другихъ ревнителей православія переселился въ Вильну, гдѣ и основалъ типографію, которая просуществовала около 60 лѣтъ и прославилась многими изданіями. Иванъ Федоровъ оставался еще нѣкоторое время въ Заблудовѣ, напечаталъ там Псалтирь съ Часословцемъ (1570)—и вдругъ остался безъ дѣла. Вотъ что рассказываетъ онъ самъ о своей жизни за это время (въ томъ же, вышеомянутомъ послѣсловіи къ Львовскому Апостолу), и рассказъ его рисуетъ намъ чистый и прекрасный нравственный обликъ простаго русскаго человека, дѣятеля не по корысти, а по увлеченію.

„.... Гетманъ принялъ насъ любезно, и малое время успокоивалъ насъ всячески, удовлетворяя всѣмъ нашимъ потребностямъ. И того еще недовольно ему было, что онъ такъ насъ устроилъ:—онъ подарилъ еще мнѣ на успокоеніе мое немалую деревню. Мы же стали работать по волѣ Господа нашего Иисуса Христа, и слова его разсѣвать по вселенной....“ „Когда же онъ (гетманъ) сталъ дрыхлѣть и болѣть, то повелѣлъ намъ (печатникамъ) прекратить нашу работу, и пренебrecь художествомъ рукъ нашихъ, и принятися въ деревнѣ за обработку земли. Однакоже невозможно показалось мнѣ коротать жизнь свою за плугомъ и сѣяніемъ сѣмянъ, такъ какъ мѣсто плуга для меня заступало книгопечатаніе, и мнѣ надлежало, вмѣсто житныхъ сѣмянъ, разсѣвать по вселенной сѣмена духовныя, и всѣмъ раздавать эту духовную пищу.“ И вотъ Иванъ Федоровъ бросаетъ свое спокойное убѣжище, отказывается отъ обезпеченнаго своего положенія, и черезъ всякія „скорби и бѣды“, во время сильнѣйшаго мороваго повѣтрія, пробирается во Львовъ, вмѣстѣ со всѣмъ своимъ типографскимъ запасомъ. Но во Львовѣ Ивану Федорову не повезло: лишь весьма немногіе изъ числа духовенства и небогатыхъ гражданъ оказали ему небольшое вспомошествованіе. Несмотря на скудость этихъ

ствъ, Иванъ Ѳеодоровъ все же отпеча-
здѣсь въ 1574 году „Апостолъ“, съ тѣмъ
ценнымъ послѣсловіемъ, изъ котораго
выше уже приводили выдержки. Послѣ

ложить всѣ принадлежности своей типогра-
фіи, и отпечатанныя имъ книги за 411 злотыхъ, еврею Израилю Якубовичу. Въ 1580
году мы опять видимъ его въ г. Острогѣ (Во-



Гербъ Г. А. Хоткевича, печатаемый на его изданіяхъ.

о Иванъ Ѳеодоровъ, вмѣстѣ съ сыномъ
имъ Иваномъ (переплетнымъ мастеромъ).
ивался во Львовѣ еще нѣсколько лѣтъ
дѣйствіе (1579 г.) доведенъ былъ до
ей крайности, что вынужденъ былъ за-

лынской губ.), во главѣ большой типографіи,
устроенной тамъ знаменитымъ ревнителемъ
просвѣщенія, княземъ Константиномъ Кон-
стантиновичемъ Острожскимъ. Въ Острогѣ
Иванъ Ѳеодоровъ вполнѣ преданъ своему

любимому дѣлу. Въ 1580 году напечаталъ онъ здѣсь, по желанію князя, Новый За-
вѣтъ съ Псалтирью въ одной книгѣ, „яко
первый овощъ“ новаго печатнаго дома. Въ

скаго искусства въ Европѣ. Нельзя не от-
мѣтить и того любопытнаго факта, что имен-
но энергическая дѣятельность Ивана Федо-
рова, такъ ярко проявившаяся въ Острогѣ,



Гербъ города Львова, на Львовскихъ изда-
ніяхъ.



Гербъ Ивана Федорова, перваго русскаго
печатника.

томъ же 1580 г. отпечатано было Иваномъ
Федоровымъ первое, а въ 1581 году—второе
изданіе знаменитой Острожской Библии, пер-
вой полной печатной Библии Славянской.
Всѣ шрифты и украшенія для этой книги

оказала сильное вліяніе и на весь юго-за-
падъ Руси; изъ Острога, какъ центра, книго-
печатаніе распространилось по различнымъ
мѣстностямъ и наконецъ появилось въ Києвѣ;
и во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ—острожскія



Гербъ Князя К. К. Острожскаго, на его изданіяхъ.

были изготовлены и отлиты самимъ Иваномъ
Федоровымъ, и были настолько хороши, что
Острожская Библия можетъ быть, по красо-
тѣ изданія, поставлена наравнѣ съ лучши-
ми произведеніями современнаго типограф-

изданія служили образцами, а книги печата-
лись шрифтами, полученными изъ Острога.

Къ сожалѣнію, намъ вовсе неизвѣстно, по-
чему именно Иванъ Федоровъ, послѣ напе-
чатанія Библии, не остался въ Острогѣ. Мы

въ 1581 г. онъ снова переселъ въ Львовъ, и прожилъ тамъ два года въ бѣдности, по видимому за-и (5 дек. 1583 г.). Онъ погребенъ на кладбищѣ при Онуфріевской у неизвѣстнаго почитателя (монаха) по краямъ его надгробной плита скромная надпись: „дру-итиѣ, который своимъ тщаніемъ за небалое (покинутое) об-агѣ внизу: „друкаръ книгъ невиданныхъ“....

Сколько времени послѣ бѣгства-скихъ мастеровъ печатнаго дѣ-вы, преслѣдованіе противъ ти-искусства, по видимому, прекра-му что уже въ 1568 г. была на-Москва Псалтирь пѣкимъ-мъ Невѣжею, а въ 1568—она-тана въ Александронской сло-овъ устроенной типографіи. Но

и самое книгопечатаніе неспособно было, какъ мы увидимъ далѣе, „окрылить мысль человѣческую“ у насъ на Руси, среди той тягостной общественной и политической атмосферы, въ которой приходилось жить русскимъ людямъ XVI столѣтія. Вліяніе, оказанное книгопечатаніемъ, было такъ ничтожно, такъ незамѣтно въ средѣ современниковъ Іоанна Грознаго, что рядомъ съ книгопечатаніемъ, но въ гораздо большихъ размѣрахъ, продолжалось переписываніе рукописей полуграмотными писцами, и еще цѣлыхъ полтора вѣка способно было выдерживать борьбу съ типографскимъ станкомъ:—даже и въ царствованіе Петра Великаго, многіе иностранцы, пріѣзжавшіе въ Россію, бывали еще поражены огромнымъ количествомъ рукописей, которыя расходились рядомъ съ книгами, находили себѣ читателей и покупателей, и давали пропитаніе цѣлой массѣ писцовъ.





XIV.

Свѣтская литература въ XVI вѣкѣ; Іоаннъ Грозный и его сочиненія. — Характеръ и литературная дѣятельность князя А. М. Курбскаго; его порицаніе съ Грознымъ. — Первые опыты прагматической исторіи.



Въ XVI столѣтіи, заканчивающемъ собою древній періодъ нашей литературы, мы встрѣчаемся снова съ такимъ явленіемъ, которое казалось у насъ совсѣмъ исчезнувшимъ, виѣсть съ литературными преданіями до-татарскаго періода. Въ правленіе Іоанна Грознаго мы видимъ снова свѣтскую литературу, видимъ снова авторами людей и непринадлежащихъ къ сословію духовному, и принадлежащихъ къ высшему слою современнаго общества: — двумя важнѣйшими представителями свѣтской литературы во второй половинѣ XVI вѣка являются самъ Іоаннъ Грозный и князь Андрей Михайловичъ Курбскій, происходившій также отъ одного изъ потомковъ Мономаховыхъ. Намъ, конечно, могли бы замѣтить, что свѣтская литература не переставала у насъ существовать и въ теченіе всего времени до XVI столѣтія, такъ какъ, начиная съ XIII, а можетъ быть даже и съ XII вѣка, у насъ не переставала распространяться литература повѣстей и ска-

зокъ, запосимыхъ къ намъ и непосредственно изъ Византіи, и чрезъ славянскія земли. Но мы возразимъ, что эта литература повѣстей и сказокъ не имѣла ничего общаго съ литературою свѣтскою до-татарскаго періода, не была вовсе связана съ нашею общественною жизнью, и даже распространялась у насъ на Руси черезъ тѣхъ же грамотеевъ, принадлежавшихъ духовному сословію, которые занимались перенесеніемъ на почву нашей словесности и другихъ произведеній, принадлежавшихъ къ литературѣ поучительной и догматической. Уже самое это обстоятельство указываетъ на то, какъ мало значенія имѣла эта литература, въ которой книжники наши изъ духовнаго сословія, правда, находили иногда не совсѣмъ позволительное легкое чтеніе, которымъ и развлекались въ часы досуга, но которая все же ни мало не была связана съ интересами нашей общественной жизни, и не происходила изъ ея насущныхъ потребностей, не была ея непосредственнымъ ре-

зультатомъ. Напротивъ того, наша свѣтская литература XVI столѣтія—хотя и совершенно случайно—явилась живѣйшимъ выраженіемъ современности, прямымъ выраженіемъ борьбы двухъ противоположныхъ началъ, преобладавшихъ въ общественной жизни нашей древней Руси. Еще большій интересъ должно было придать всѣмъ подобнымъ произведеніямъ свѣтской литературы то обстоятельство, что авторами этихъ произведеній явились два образованнѣйшіе представителя нашего XVI вѣка, если и не одинаково сильные въ искусствѣ выраженія своихъ мыслей, не одинаково подготовленные для дѣятельности литературной, то все же равносильные по талантливости, по энергіи и по одушевленію, которое они вносили въ свои произведенія. И тотъ, и другой изъ этихъ первыхъ нашихъ свѣтскихъ писателей вполнѣ заслуживаютъ внимательнаго изученія, а ихъ дѣятельность литературная подробнаго разбора.

Личность Іоанна Грознаго, благодаря многосторонней исторической и литературной разработкѣ, получила въ послѣднее время такую общераспространенную извѣстность, что мы считаемъ здѣсь совершенно излишнею всякую характеристику этого крупнаго историческаго дѣятеля. Для насъ гораздо болѣе важна характеристика Грознаго, какъ писателя. Съ этой стороны онъ, во многихъ отношеніяхъ, отражаетъ на себѣ вліяніе своего вѣка, своего тягостнаго и тревожнаго дѣтства, наконецъ своего воспитанія, основаннаго на томъ, что было выработано предшествующею эпохой нашей исторической жизни. Не разъ уже повторялась въ нашей литературѣ, по отношенію къ Іоанну Грозному, та совершенно справедливая мысль, что характеръ его, какъ правителя, былъ лишь весьма естественнымъ слѣдствіемъ всего предшествовавшаго историческаго періода московскаго государства, въ теченіе котораго множество различныхъ условій способствовали тому, чтобы въ рукахъ правителя сосредоточивалась мало-по-малу самая неограниченная власть, которая ничѣмъ не буздыбалась, ничѣмъ не ослаблялась, такъ какъ всѣ окружающіе ее элементы были неравненно слабѣе ея или по крайней мѣрѣ жазвивались далеко не въ равной мѣрѣ съ могуществомъ, которое видимъ въ рукахъ правителя, стоявшаго во главѣ московскаго

государства. Правитель этотъ — сначала великій князь, а потомъ и царь — становился болѣе и болѣе могущественнымъ, по мѣрѣ того, какъ окружающіе его элементы, духовенство и боярство, болѣе и болѣе утрачивали свое могущество и значеніе. Къ началу XVI вѣка, та вольная и самостоятельная дружина, которая нѣкогда окружала всякаго князя, обратилась, въ средѣ, окружавшей потомка прежнихъ князей московскихъ, въ простую толпу придворныхъ, вполнѣ зависимую отъ произвола правителя, готовую на всѣ услуги ради того, чтобы этотъ произволъ направить въ свою пользу, совершенно поглощенную своими мелкими личными интересами и неспособную заниматься интересами земли и народа. Отдѣльные княжескіе роды, нѣкогда грозные своею властью, давно уже были сокрушены Москвою и затерты въ ту же безразличную и пеструю толпу боярства, въ которой, съ половины XV вѣка, рядомъ съ представителями старинныхъ родовъ русскихъ, видимъ и выходцевъ изъ Литвы, и татарскихъ князьковъ. Само собою разумѣется, что эта толпа бояръ, способная тревожиться только о своихъ интересахъ личныхъ, не могла препятствовать развитію личнаго произвола въ правителѣ московскаго государства, и только способствовала тому, чтобы окружить его цѣлою свѣтью самыхъ разнообразныхъ интригъ которыхъ онъ становился то игрушкой, то орудіемъ. Само духовенство, нѣкогда представлявшее собою важный и положительный оплотъ противъ произвола княжескаго, къ началу XVI столѣтія является на столько занятымъ своими частными интересами, раздорами и полемикой партій, на столько отрѣшившимся отъ стародавнихъ преданій, что его авторитетъ, какъ мы увидимъ ниже, совершенно уничтожался авторитетомъ главы московскаго государства, преклонялся передъ его всемогуществомъ. И въ такую-то эпоху полнѣйшаго развитія личнаго произвола суждено было явиться Іоанну, который, въ довершеніе всего, воспитался среди самыхъ невыгодныхъ условій, среди крамогъ и борьбы разнузданныхъ придворныхъ партій, которыя съ самой ранней юности завладѣли имъ, прикрывали его интересами свои грубыя, корыстныя цѣли, развращали его, рабogliствуя передъ нимъ и потворствуя его слабостямъ, развивая въ

немъ кровожадные инстинкты тою безпощадностью, тою мстительностью, которою они сами дышали противъ враговъ своихъ.

Исторія царствованія Іоанна Грознаго убѣждаетъ насъ въ томъ, что плоды воспитанія превзошли ожиданія воспитателей, и тотъ, кого одна партія двора старалась сдѣлать бичемъ для остальныхъ, сдѣлался неумолимымъ бичемъ для всего боярства безразлично: — онъ всѣхъ окружавшихъ одинаково презиралъ, привыкъ всему и всѣмъ недоверять и надъ всѣмъ способенъ былъ насмѣхаться... Уважать Іоаннъ могъ только себя и свой личный произволъ, свою волю, которую онъ старался облечь даже особымъ покровомъ святости, прибавивъ къ царскому титулу своему такъ называемое богословіе, по присоединеніи котораго титулъ его сталъ читаться такъ: „Тронце пресущественная и пребожественная и преблагая правѣ вѣрующимъ въ Тя истиннымъ христіанамъ, Дателю премудрости, пренебѣдомой и пресвѣтлѣй Крайній Верхъ! направи насъ на истину Твою и постави насъ на повелѣнія Твоя, да возглаголемъ о людѣхъ Твоихъ по волѣ Твоей. Сего убо Бога нашего, въ Троицѣ славимаго, милостью и хотѣніемъ удержажомъ скипетръ Россійскаго царствія мы, великій государь, царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Русіи самодержецъ, Владимірскій, Московскій, Новгородскій, царь Казанскій и т. д.“. Стараясь такимъ образомъ, до возможнаго предѣла, возвысить значеніе своей личности и сана, Іоаннъ, въ тѣхъ же видахъ, съ другой стороны, любилъ указывать на происхожденіе свое отъ знаменитыхъ предковъ: Владиміра Равноапостольнаго, Мономаха, Александра Невскаго, и Дмитрія... Въ тѣхъ же видахъ, пренебрегая исторической истиной, любилъ онъ на отдаленное прошлое указывать, какъ на достойное всякаго подражанія и придавать ему такіа краски, приписывать такіа свѣтлыя, завидныя стороны, которыя вовсе не были прошлему свойственны. И несмотря на эту кажущуюся, внѣшнюю привязанность къ старинѣ, въ которой Іоаннъ старался указать идеалъ для настоящаго, навязывая прошедшему то, что было исключительнымъ плодомъ его собственной фантазіи,—онъ, въ то же время, питалъ сильнѣйшую ненависть и полное презрѣніе ко всѣмъ преданіямъ, завѣщаннымъ современности

отдаленнымъ прошлымъ, и ожесточенно попиралъ ихъ ногами... Такъ уничтожены были нѣдѣе десятки старинныхъ родовъ боярскихъ и княжескихъ, и на мѣсто ихъ выдвинуты люди самаго невиднаго, нежвѣстнаго происхожденія; такъ монастыри были имъ обращены въ мѣста для ссылки или насильственнаго постриженія тѣхъ вельможъ, которыми онъ имѣлъ основаніе быть недовольнымъ; такъ, наконецъ, онъ не побоялся поднять руку и на главу церкви: — митрополитъ Филіппъ былъ заточенъ и умерщвленъ по его повелѣнію. И вотъ, изъ этой то непрерывной и безпокойной борьбы двухъ противоположныхъ стремленій своего нравственнаго бытія, изъ этой многосложной путаницы противорѣчій, Іоаннъ Грозный старался выйти при помощи ироніи, болшею частью ѣдкой и злобной, почти всегда мѣтко достигающей своей цѣли... Эта иронія, ловко скрытая подъ покровомъ внѣшняго спокойствія, отгнѣняющая всѣ сужденія и доводы Іоанна, представляетъ собою лучшую, наиболѣе видную и замѣчательную сторону всѣхъ сочиненій его. Эта сторона рѣзче всего высказалась въ двухъ наиболѣе замѣчательныхъ сочиненіяхъ Іоанна Грознаго:—въ его перепискѣ съ княземъ Курбскимъ и въ посланіи къ Бозымъ, игумену кирилло-бѣлозерскаго монастыря, почему мы обратимъ на эти два произведенія особое вниманіе читателей. Кстати замѣтимъ, по отношенію къ сочиненіямъ Іоанна, что они выказываютъ въ немъ человѣка весьма начитаннаго, хорошо знакомаго и съ Св. Писаніемъ, и съ переводами сочиненій св. Отцевъ Церкви, съ русскими лѣтописями, и съ хронографами, изъ которыхъ онъ почерпалъ свѣдѣнія даже и о всеобщей исторіи (Римской и Византійской). Обладая обширною начитанностью, но не получивъ положительно никакого образованія, онъ часто не знаетъ, какъ воспользоваться и какъ распорядиться всѣмъ тѣмъ запасомъ свѣдѣній, фактовъ и образовъ, которые представляетъ ему память; отсюда запутанность изложенія, загроможденіе рѣчи множествомъ ксати и нексати приводимыхъ цитатъ, неясность слога всюду, гдѣ Іоаннъ старается выразить свою мысль въ формѣ книжной, пренебрегая простымъ народнымъ способомъ выраженія, который ему особенно удается.

съ достоинства и недостатки Иоаннова матурнаго изложенія особенно ярко вы-
являютъ въ тѣхъ двухъ наиболѣе замѣча-
емыхъ произведеніяхъ его пера, о кото-
рыхъ упомянули выше. Въ „посланіи къ
ну кирилло-бѣлозерскаго монастыря“
онъ противопоставляетъ идеальный образъ
еискаго совершенства тому упадку нрав-
ности въ монашествѣ, о которомъ онъ
самъ, и о которомъ писалъ ему, сверхъ
того, даже игуменъ кирилло-бѣлозерскаго
стыря, жалующься на неприличное пове-
деніе иноковъ и на ихъ постоянное обще-
нство тѣми боярами (Шереметьевымъ и Ха-
вымъ), которые, подвергнувшись опалѣ
дворѣ Иоанновомъ, по собственной волѣ
по его понужденію, поступили въ мо-
настырь, но жили въ немъ также разгульно
мно, какъ и въ мірѣ, до постриженія.
Писавъ къ Иоанну съ жалобой на братью,
онъ въ тоже время и просилъ царя при-
слать въ монастырь строгое наставленіе, съ
которымъ бы братья должна была сообразо-
ваться. Этимъ то случаемъ и поль-
зуется Иоаннъ въ своемъ посланіи, чтобы
въ всю желчь своей ироніи противъ
шества, которое отрекается отъ старо-
го преданія, завѣщанныхъ ему вели-
кихъ подвижниками русскими, и поклажа
извращеннымъ боярамъ. Хотя все по-
строено довольно нескладно, писки и
цитаты изъ писателей, писавъ
„о совершенномъ иноческомъ житіи“,
комъ часты и слишкомъ многословны,
онъ же и расположенъ такъ, что часто
закрываютъ нить разсужденій самаго авто-
ра, однакоже нѣкоторыя мѣста посланія
сильной степени живо рисуютъ печальное
тепленное положеніе монастырской жиз-
ни, то даютъ намъ весьма выгодное пони-
маніе авторскому таланту Грознаго, кото-
рымъ здѣсь проявляется во всей силѣ своей
и. Приводимъ изъ посланія наиболѣе
интересное, опуская цитаты и общія мѣ-
ста, подобающія вамъ“, — пишетъ Иоаннъ въ
своемъ посланіи — „усердно послѣдовать ве-
лѣнію чудотворца Кирилла, преданіе его
бого держать, о истиннѣ крѣпко подви-
жничества, а не быть бѣгунами, не бросать щип-
цы, возмите все оружіе Божіе и не преда-

вайте чудотворцева преданія ради сласто-
любія, какъ Іуда предатель — Христа, ради
серебра. Есть у васъ Анна и Каіафа — Ше-
реметьевъ и Хабаровъ ¹⁾, есть и Пилать —
Варлаамъ Собакинъ, и есть Христосъ рас-
пинаемъ — чудотворцево преданіе презрѣн-
ное. Отцы святые! въ маломъ допустите
ослабу — большое зло произойдетъ. Такъ отъ
послабленія Шереметьеву и Хабарову чу-
дотворцево преданіе у васъ нарушено. Если
намъ благоволитъ Богъ у васъ постричься,
то монастыря ужъ у васъ не будетъ, а вмѣ-
сто него будетъ царскій дворъ! Но тогда



Іоаннъ Грозный.

зачѣмъ идти въ чернецы, зачѣмъ говорить:
„отрицаюсь отъ міра и отъ всего, что въ
мірѣ!“ Постригаемый даетъ обѣтъ: повинно-
ваться игумну, слушаться всей братіи и лю-
бить ее; но Шереметьеву какъ назвать мо-
наховъ братьевъ? — у него и десятый холопъ,
что въ кельѣ живетъ, ѣсть лучше братій,
которые въ трапезѣ ѣдятъ. Великіе свѣтиль-
ники, Сергій и Кириллъ, Варлаамъ, Дмит-
рій, Пафнутій и многіе преподобные въ
русской землѣ установили уставы иноче-
скому житію крѣпкіе, какъ надобно спа-
саться; а бояре, пришедши къ вамъ, свои

1) Постриженные въ монастырь бояре, на поведеніе которыхъ, распространявшее соблазнъ въ мо-
настырь, и жаловался Козьма.

любострастные уставы ввели: значить, не они у васъ постригались, а вы у нихъ постриглись, не вы имъ учителя и законоположители, а они — вамъ. Да, Шереметевъ уставъ добръ, держите его, а Кирилловъ уставъ плохъ — оставьте его! Сегодня одинъ бояринъ такую страсть введетъ, завтра другой — иную слабость, и такъ мало, по малу, весь обиходъ монастырей испразднится и будутъ обычаи мірскіе. И по всѣмъ монастырямъ сперва основатели установили крѣпкое житіе, а послѣ нихъ раззорили его любострастные. Кирилъ чудотворецъ на Симоновѣ былъ, а послѣ него Сергій, и законъ каковъ былъ — прочтите въ житіи чудотворцевъ; но потомъ одинъ малую слабость ввелъ, другіе ввели новыя слабости, и теперь что видимъ на Симоновѣ? Кромѣ сокровенныхъ рабовъ Божіихъ, остальные только по одеждѣ монахи, а все по мірскому дѣлается.... Вотъ въ нашихъ глазахъ у Діонисія Преподобнаго на Глушицахъ, и у великаго чудотворца Александра на Свири бояре не постригаются, и монастыри эти процвѣтають постническими подвигами. Вотъ у васъ сперва Іоасафу Умнову дали оловянники въ келью, дали Серапіону Сицкому, дали Іонѣ Ручкину, а Шереметеву уже дали и поставецъ, и поварню. Вѣдь дать волю царю — дать ее и царю; оказывать послабленіе вельможѣ, оказать его и простому человѣку... Прежде, какъ мы въ молодости были въ Кирилловѣ монастырѣ, и поопоздали ужинать, то завѣдывающій столомъ нашимъ началъ спрашивать у подкеларника стерлядей и другой рыбы; подкеларникъ отвѣчалъ: „объ этомъ мнѣ приказу не было, а о чемъ былъ приказъ, то я и приготовилъ; теперь ночь — взять негдѣ; государя боюсь, а Бога надобно больше бояться“. Такая у васъ тогда была крѣпость, по пророческому слову: „правдою и предъ царя не стыдихся“. А теперь у васъ Шереметевъ сидитъ въ кельѣ, что царь, а Хабаровъ къ нему приходитъ съ чернецами, да ѣдятъ и пьютъ, что въ міру, а Шереметевъ, невѣсть со свадьбы, невѣсть съ родинъ, разсылаетъ по кельямъ постилы, коврижки и иныя пріяныя составныя овощи; а за монастыремъ у него дворъ, а на дворѣ запасы готовые всякіе, — а вы, молча, смотрите на такое безчиніе! А нѣкоторые говорятъ, что и вино горячее потихоньку въ

келью къ Шереметеву приносили: но по монастырямъ и фряжескія вина держать зазорно, не только что горячее! Такъ это ли путь спасенія, это ли иноческое пребываніе? Или вамъ не было чѣмъ Шереметева кормить, что у него особые годовые запасы? Милые мои! прежде Кирилловъ монастырь многія страны пропитывалъ въ голодные времена, а теперь и самихъ васъ въ хлѣбное время, еслибъ не Шереметевъ прокормилъ, то всѣ, небось, съ голоду бы померли? Пригоже ли такъ быть въ Кирилловѣ, какъ Іоасафъ митрополитъ у Троицы съ клирошанами пировалъ, или какъ Михаилъ Сукнинъ въ Никитскомъ монастырѣ и по инымъ мѣстамъ, какъ вельможа какой нибудь жилъ, или какъ Іона Мотякинъ и другіе многіе живутъ? То ли путь спасенія, что въ чернецахъ бояринъ боярства не острижетъ, а холопъ холопства не избудетъ? У Троицы, при отцѣ нашемъ, келарь былъ Нифонтъ, Раполовскаго холопъ, да съ Бѣльскимъ съ одного блюда ѣдалъ: а теперь бояре по всѣмъ монастырямъ испразднили это братство своимъ любострастіемъ. Скажу еще страшнѣе: какъ рыболовъ Петръ и поселникъ Іоаннъ Богословъ и всѣ двѣнадцать убогихъ (т. е. апостоловъ) стануть судить всѣмъ сильнымъ царямъ, обладавшимъ вселенною: тогда Кирилла вамъ своего какъ съ Шереметевымъ поставить? Котораго выше? Шереметевъ постригся изъ боярства, а Кирилъ и въ приказѣ у государя не былъ. Видите ли, куда васъ слабость завела? Сергій, Кирилъ, Варлаамъ, Дмитрій и другіе святые многіе не гонались за боярами, да бояре за ними гонались, и обители ихъ распространялись: потому благочестіемъ монастыри стоять и неоскуднымъ бывають. У Троицы въ Сергіевѣ монастырѣ благочестіе изсякло, и монастырь оскудѣлъ: не пострижется никто и не дастъ ничего. А на Сторожкахъ до чего дошли? Уже и затворить монастыря некому, на трапезѣ трава растетъ; а прежде и мы видѣли братій до 80 бывало, клириковъ до 11 на клиросѣ ставало. — Если же кто скажетъ, что Шереметевъ безъ хитрости болѣвъ и ему нужно дать послабленіе, то пусть онъ ѣстъ въ кельѣ, одинъ съ келейникомъ. А сходиться къ нему на что, да пировать, да овощи въ кельѣ, на что? До сихъ поръ въ Кирилловѣ иголки и нитки лишней не держали, не только что

другихъ какихъ вещей. Вотъ и Хабаровъ (тоже) велитъ мнѣ перевести себя въ другой монастырь: я не ходатай ему и его скверному житію. Иноческое житіе не прирука: три дня въ чернецахъ, а седьмой монастырь мѣняетъ! Когда былъ въ міру, то только и зналъ, что образа окладывать, книги въ бархатъ переплетать съ застежками и жуками серебряными, напой убирать, жить въ затворничествѣ; келью ставилъ, четки въ рукахъ; — а теперь съ братьею виѣсть ѣсть не хочетъ. Надобны четки не на скрижалыхъ каменныхъ, а на скрижалыхъ сердецъ плотяныхъ; я самъ видѣлъ, какъ по четкамъ скверными словами браются; что въ тѣхъ четкахъ? О Хабаровъ мнѣ нечего писать: какъ себѣ хочетъ, такъ и дурачится. А что Шереметевъ говоритъ, что его болѣзнь мнѣ вѣдома: то для всѣхъ леженекъ не разорвать стать законы свѣты! Написалъ я къ вамъ малое отъ многаго по любви къ вамъ и для иноческаго житія. Больше писать нечего; а впредь бы вы о Шереметевѣ и другихъ такихъ же бездѣлкахъ намъ не докучали: намъ отвѣту (за это) не давать. Сами знаете: если благочестіе не потребно, а нечестіе — любо, то вы Шереметеву хотя золотые сосуды скуйте и чинъ царскій устройте — то вы вѣдаете; установите съ Шереметевымъ свои преданья, а чудотворцево отложите, и хорошо будетъ, какъ лучше, такъ и дѣлайте, сами вѣдайтесь, какъ себѣ съ нимъ хотите, а мнѣ до того ни до чего дѣла нѣтъ; впередъ о томъ не докучайте; говорю вамъ, что ничего отвѣчать не буду. Богъ же мира и пречистая Богородица милость и чудотворца Кирилла молитва да будутъ со всѣми вами и нами! Аминь. А мы вамъ, господа мои и отцы, челомъ бьемъ до лица земнаго“.

Еще болѣе важнымъ для характеристики Іоаннова литературнаго таланта является другой памятникъ — его переписка съ княземъ Андреемъ Михайловичемъ Курбскимъ, относящаяся къ болѣе раннему періоду (а именно между 1563 и 1579 гг.); въ составъ ея входятъ два письма Іоанновыхъ, изъ которыхъ одно, по объему, равняется цѣлой книгѣ, и четыре письма Курбскаго.

Курбскій — личность во многихъ отношеніяхъ весьма замѣчательная. Онъ родился около 1528 года и принадлежалъ, по происхожденію, къ одному изъ знаменитѣйшихъ

родовъ боярскихъ, котораго родоначальникомъ былъ потомокъ Владиміра Мономаха, св. чудотворецъ Θεодоръ Ростиславичъ, князь смоленскій и ярославскій, жившій въ концѣ XIII вѣка. Ближайшіе предки и родичи его, и самъ отецъ князя Андрея славились замѣчательнымъ благочестіемъ и доблестью воинскою. Отецъ его былъ однимъ изъ главныхъ воеводъ въ малолѣтство Іоанна IV. И князю Андрею Михайловичу тоже рано пришлось начать подвиги ратные: — 21 года онъ сопутствовалъ Іоанну въ его главномъ походѣ подѣ стѣны Казани и, виѣстъ съ братомъ своимъ, приобрѣлъ всеобщее уваженіе геройскими подвигами своими при осадѣ этого города. Съ этой поры и до 1563 года онъ постоянно сражался съ врагами отечества, любимый Іоанномъ, уважаемый всѣми, какъ мужественнѣйшій и способнѣйшій изъ современныхъ воеводъ русскихъ: — то приходилось ему биться съ крымскими татарами, то съ Литвой, то наконецъ съ ливонскими рыцарями, и всюду побѣда сопровождала его оружіе. Но вотъ, въ 1563 году, любимый царскій воевода, князь А. М. Курбскій, измѣняетъ царю и, тайно перебѣжавъ границу русскихъ владѣній въ Ливонію, переходитъ на службу къ королю польскому. Должно предполагать, что къ этому бѣгству выпущенъ былъ Курбскій тою сильною перемѣною, которая не задолго передъ тѣмъ произошла въ Іоаннѣ и такъ пагубно отозвалась на всемъ оставшемъ правленіи его. Его ближайшіе друзья и сторонники — Сильвестръ, Адашевъ, Воротынский, Шереметевъ — не задолго передъ тѣмъ были удалены отъ двора; партія, къ которой онъ самъ принадлежалъ, подверглась сильнѣйшимъ гоненіямъ; ему самому пришлось быть свидѣтелемъ позорной казни князя Михаила Рѣпнина и Дмитрія Курбетева... А между тѣмъ, къ нему, какъ и къ другимъ воеводамъ и вельможамъ Іоанновымъ, король польскій не разъ уже тайно присылалъ зазывные листы, въ которыхъ сулилъ ласку и привольное житіе въ королевствѣ своемъ. Мелкое дворянство русское толпами, на глазахъ Курбскаго, уходило въ Литву, гдѣ и получало земли. И вотъ, не смотря на то, что большая часть бояръ Іоанновыхъ оставалась непоколебимо вѣрна царю и не обращала вниманія на заискивающія приглашенія Сигизмунда Августа,—

князь Андрей Курбский, съ ужасомъ помышляя о томъ, что, можетъ быть, и его ожидать въ будущемъ безчестная казнь въ награду за всѣ его заслуги, рѣшился бѣжать изъ отечества... Одинъ изъ современниковъ Курбскаго сообщаетъ слѣдующія подробности о его бѣгствѣ въ Литву: „въ 1563 году, бывъ воеводою въ Юрьевѣ ливонскомъ или Дерптѣ, съ зятемъ своимъ, княземъ Михаиломъ Теодоровичемъ Прозоровскимъ, свидѣалъ Курбскій о гнѣвѣ царя: мысль о позорной казни, послѣ толикихъ заслугъ, ожесточила его“. „Чего хочешь ты“, спросилъ онъ жену свою, „мертвымъ ли меня видѣть передъ собою или съ живымъ разстаться на вѣки?“—„Не только видѣть тебя мертвымъ, но и слышать о смерти твоей не желаю“, отвѣчала жена. Съ горькими слезами облобызавъ супругу и 9-ти лѣтняго сына, князь только переѣхъ черезъ стѣну крѣпостную, бросилъ городскіе ключи въ колодезь, нашелъ двухъ коней, приготовленныхъ его слугою Шибановымъ, и усакалъ съ ними въ городъ Вилькомиръ, занятый литовцами. Здѣсь немедленно написалъ онъ къ Иоанну письмо, исполненное упрековъ, и послалъ съ нимъ Шибанова въ Москву. Вѣрный слуга подалъ письмо самому Иоанну на Красномъ крыльцѣ, сказавъ: „отъ господина моего, твоего измѣнника, князя Курбскаго“. Царь, пылая гнѣвомъ, подозвалъ Шибанова, ударилъ его въ ногу своимъ остроконечнымъ посохомъ и пробилъ ее: кровь полилась изъ язвы... Шибановъ, не измѣняясь въ лицѣ, молчалъ. Царь же налегъ на посохъ и приказалъ читать письмо ¹⁾“.

Съ этого-то времени завязалась между княземъ Курбскимъ и Иоанномъ знаменитая переписка ихъ, которая осталась намъ послѣднимъ памятникомъ борьбы удѣльно-вѣчеваго начала съ единодержавнымъ—но уже борьбы словесной, не борьбы оружіемъ, такъ какъ время борьбы матеріальной уже миновало для сословія прежнихъ дружинниковъ, давно переродившихся въ боярство, въ служилыхъ людей московскаго государства. Здѣсь, въ первый разъ, могущественнѣйшему изъ правителей московскаго государства пришлось услышать голосъ отдѣльной личности, отстаивавшей свои права

противъ всепоглащающей власти его и точно также основывавшей ихъ на преданіи, какъ на преданіи же самъ Иоаннъ Грозный основывалъ свое безпредѣльное и страшное могущество. На этомъ основаніи Курбскій, въ своихъ письмахъ, старается постоянно укорить Иоанна въ злоупотребленіи властью, данной ему отъ Бога, старается доказать, что правленіе его только до той поры и было достославнымъ, пока онъ былъ окруженъ добрыми совѣтниками и мужественными сподвижниками. Иоаннъ же, напротивъ того, опровергая Курбскаго, приписываетъ себѣ всѣ достославныя событія своего царствованія, съ ожесточеніемъ возстаетъ противъ боярства, отвергаетъ всякое значеніе этого сословія, и доказываетъ Курбскому, что неповиновеніемъ своимъ его царской волѣ онъ погубилъ не только свою душу, но и души предковъ своихъ. Этотъ доводъ, вѣроятно, долженъ былъ всего сильнѣе дѣйствовать на благочестиваго князя, и противникъ его очень хорошо сознаетъ это, а потому и возвращается къ нему, какъ можно чаще, подкрѣпляя его обильными цитатами изъ Св. Писанія. Въ свою очередь и Курбскій старается оправдать себя не только существующимъ порядкомъ вещей, вынудившихъ его къ бѣгству, но и приѣромъ Давида, который „принужденъ былъ, гоненія ради Саулова, со поганскимъ царемъ на землю израилеву воевати (см. отвѣтъ на второе посланіе Иоанново)“. Но Иоаннъ не отступаетъ отъ основной мысли и старается до конца измучить, истерзать своего противника, развивая передъ нимъ ужасную картину бѣдствій, которыя должны быть слѣдствіемъ его измѣны.

„Зачѣмъ же, князь! если ты считаешь себя благочестивымъ“—такъ пишетъ онъ къ Курбскому—„зачѣмъ отвергнулъ ты едиnorodную свою душу? Что дашь ты взамѣнъ ея въ день страшнаго суда? Если ты даже и міръ весь приобрѣтешь,—смерть все таки, на послѣдокъ, похититъ себя! Чего же ты изъ за тѣла-то душу продалъ свою?... Ты возъярился на меня и, погубивъ свою душу, (вмѣстѣ съ врагами моими) рѣшился на церковное разореніе... Или ты думаешь, окаанный, что убережешься (разоренія цер-

¹⁾ См. «Устрялова. Сказанія князя Курбскаго; вступленіе. Этотъ же эпизодъ послужилъ сюжетомъ баллады для графа А. Толстаго, подъ заглавіемъ «Василій Шибановъ».

ковнаго)? Никакъ. Коли тебѣ съ ними воевать (т. е. съ литовцами), тогда и церкви тебѣ придется разорвать, и иконы попирать, и христіанъ погублять... Помысли же, князь, какъ во время браннаго-то нашего нѣжныя тѣла младенцевъ будутъ попираемы и терзаемы конскими ногами?!...“

„Если ты праведенъ и благочестивъ, почему же не изволилъ ты отъ меня, строптиваго владыки, пострадать и вѣнецъ жизни (вѣчной) наследовать?... Ты, ради тѣла, погубилъ свою душу.... и не на человѣка возъярися, но на Бога! Разумѣй же, бѣдникъ, съ какой высоты и въ какую пропасть сошелъ ты душею и тѣломъ?... Такъ-то, вотъ въ чемъ и благочестіе твое все, что ты изъ самолюбія себя погубилъ... Я думаю, что и окружающіе тебя тамъ, имѣющіе разумъ, тоже могутъ понять твой злобный адъ, да и то, что ты, изъ желанія мимолетной славы и богатства, все это сдѣлалъ, а не потому, чтобы отъ смерти бѣгалъ. Коли ты точно праведенъ и благочестивъ, какъ ты самъ о себѣ говоришь, такъ чего же ты испугался неповинной смерти;—вѣдь такая-то смерть не есть смерть, а приобрѣтеніе? Все равно, вѣдь на послѣдокъ умрешь же!“

При этой странной логикѣ своей, Іоаннъ, при случаѣ, не пренебрегаетъ возможностью и очень зло, очень ѣдко посмѣяться надъ своимъ противникомъ. Такъ, напримѣръ, во второмъ письмѣ къ Курбскому, которое отличается болѣе спокойствіемъ и болѣею насмѣшливостью, нежели первое, такъ какъ оно было писано послѣ нѣсколькихъ побѣдъ, одержанныхъ имъ въ Ливоніи, Іоаннъ не упускаетъ случая похвалиться передъ княземъ успѣхами своего оружія, и прибавляетъ: „писалъ ты себѣ въ досаду, что мы тебя въ дальніе города, какъ бы въ опалѣ держа, посылали: теперь мы, по волѣ Божіей, и дальше твоихъ далекихъ городовъ прошли, и кони наши переѣхали всѣ ваши дороги изъ Литвы и въ Литву, и пѣши ходили, и воду во всѣхъ твоихъ мѣстахъ пили: теперь уже нельзя сказать, что не вездѣ коня нашего ноги были. И гдѣ ты думаешь успокоиться отъ твоихъ трудовъ, въ Вольмарѣ, и тутъ на покой твой насъ Богъ принесть; и гдѣ ты думаешь уйти отъ насъ, мы и тутъ, по волѣ Божьей, тебя догнали:—и поѣхалъ ты дальше“.

Вообще, сравнивая письма Іоанновы съ

письмами Курбскаго, мы находимъ между ними значительную разницу, не только въ духѣ, но и въ самомъ способѣ изложенія. Іоаннъ, при несомнѣнномъ своемъ талантѣ литературномъ, при врожденномъ остроуміи, все же не мастеръ писать, не мастеръ излагать литературно, потому что не прошелъ никакой правильной школы, и былъ въ полномъ смыслѣ самоучка и начетчикъ; этотъ недостатокъ ученія много вредитъ точности его изложенія, часто заставляетъ его путаться въ словахъ, расплываться въ потокахъ страшнаго многословія... Къ тому же не рѣдко, вмѣсто всякихъ доводовъ, Іоаннъ обращается къ площадной брани, которою нещадно осыпаетъ противника своего. Трудно, впрочемъ, ставить ему это послѣднее обстоятельство въ вину, такъ какъ брань была въ то время въ модѣ не только у насъ, въ видѣ приправы и доказательства въ различныхъ спорахъ и словопреніяхъ: она играла немаловажную роль и въ современной Іоанну Европѣ, гдѣ не была исключена даже изъ самыхъ ученыхъ богословскихъ диспутовъ и трактатовъ.

Инымъ духомъ, иною вѣщностью отличаются письма Курбскаго къ Іоанну. Не говоря уже о томъ, что они написаны гораздо правильнѣе и яснѣе, въ отношеніи къ изложенію мысли, они, и по самой основной идее своей, указываютъ намъ въ Курбскомъ человѣка, учившагося, воспитаннаго, привыкнущаго тонко понимать и глубоко чувствовать многое изъ того, что едва-ли было и доступно его противнику. Письма его, сравнительно съ письмами Іоанна, поражаютъ своею приличностью, своею сдержанностью, даже нѣкоторою изысканностью выраженій. Онъ это и самъ чувствуетъ, самъ знаетъ и ставитъ въ укоръ Іоанну его грубость и рѣзкость выраженій, его неумѣнье писать и необразованность. Такъ, въ самомъ началѣ своего втораго письма къ Іоанну, которое Курбскій называетъ „краткимъ отвѣщаніемъ на зѣло широкую эпистолію великаго князя московскаго“, Курбскій прямо говоритъ, что царю стыдно бы такъ нескладно писать, сравниваетъ непослѣдовательность его изложенія съ бабьими бреднями, и говоритъ, что пишетъ царь такъ по варварски, „что не только искуснымъ и ученымъ людямъ, но даже и дѣтямъ читать его письмо смѣшно и удивительно“; въ осо-

бенности же странно читать его въ „чужой землѣ, гдѣ находятся люди, опытные не только въ грамматикѣ и риторикѣ, но даже въ діалектикѣ и философiи“. „Могъ-бы я тебѣ отвѣчать на каждое твое слово“, прибавляетъ Курбскій въ концѣ своего письма, „но (долженъ замѣтить, что) мужамъ благороднымъ не прилично ссориться, словно рабамъ; въ особенности же стыдно христiанамъ отыграть изъ устъ слова нечистыя и кусательныя, какъ я много разъ и прежде говорилъ“. Въ отвѣтъ на брань и насмѣшки Іоанновы Курбскій замѣчаетъ ему, что онъ заслуживаетъ не насмѣшекъ и брани, а со-



Гербъ Курбскихъ.

жалѣнія, какъ несчастный, изгнанный изъ отечества, вынужденный къ скитанію по чужимъ землямъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно тамъ, гдѣ онъ вспоминаетъ о погибнувшихъ сотоварищахъ своихъ и въ гибели ихъ укоряетъ Іоанна, — письма Курбскаго исполнены замѣчательнаго, неподдѣльнаго чувства. Таково, напримѣръ, слѣдующее мѣсто изъ перваго посланія, которое историкъ нашъ Соловьевъ справедливо назвалъ „болѣзненнымъ воплемъ изъ могилы“:

„Зачѣмъ, о царь!“ — восклицаетъ въ этомъ посланіи Курбскій — „зачѣмъ побилъ ты сильныхъ во Израили, и воеводъ, отъ Бога

тебѣ данныхъ, различнымъ смертямъ предать, и побѣдоносную и святую кровь ихъ въ церквахъ Божіихъ и на торжествахъ владычныхъ пролилъ, и мученическою кровью ихъ пороги церковныя обагрилъ?!... Чѣмъ провинились они передъ тобою, о царь! Или чѣмъ прогнѣвали тебя, христiанскій предстатель? Не прегордя-ли царства храбростью своею разорили и сдѣлали тебѣ подручниками тѣхъ, у которыхъ прежде въ рабствѣ были праотцы наши? Не претвердые-ли города германскіе тщианіемъ разума ихъ отъ Бога тебѣ даны были? И вотъ твоимъ воздаяніе: — всѣхъ насъ губишь! Или думаешь, что самъ ты безсмертенъ; или прельщенный ересью, полагаешь, что не будетъ суда Иисусова? Христосъ, сидящій на престолѣ херувимскомъ — судья между тобою и мною!“

Вообще, не въ одной только перепискѣ съ Іоанномъ является намъ Курбскій человѣкомъ просвѣщеннымъ и замѣчательно образованнымъ: эти стороны его нравственной личности еще рѣзче высказываются въ остальныхъ сочиненіяхъ его и во всей той дѣятельности, которой онъ посвятилъ себя на чужбинѣ, вдали отъ любимой и милой ему родины, о которой онъ не забывалъ никогда, и которой не переставалъ служить, защищая въ Литвѣ своихъ единовѣрцевъ и стараясь всѣми силами поддержать тамъ вѣру отцовъ своихъ, попираемую іезуитами. Кромѣ четырехъ писемъ Іоанну, Курбскій писалъ весьма замѣчательную исторію царствованія Іоанна Грознаго, подъ заглавіемъ: „Исторія кн. великаго московскаго о дѣлѣхъ, яже слышахомъ у достовѣрныхъ мужей и яже видѣхомъ очима нашими“. Исторію эту Курбскій довелъ до 1578 года, начавъ ее разсказомъ о дѣтствѣ Іоанновомъ. Упомянувъ сначала о жестокомъ правленіи отца Іоаннова, о разводѣ его съ первою супругою, Курбскій описываетъ несчастное воспитаніе Грознаго и смерть многихъ бояръ, погибшихъ во время малолѣтства его. Затѣмъ онъ разсказываетъ о московскомъ мятежѣ и о чудномъ исправленіи Іоанна стараніями Сильвестра и Адашева, потомъ весьма подробно повѣствуетъ о покореніи царства казанскаго, о походахъ на крымскихъ татаръ, о завоеваніи Астрахани и о ливонской войнѣ; наконецъ переходитъ онъ къ главному предмету своего сочиненія: —

къ описанію злодѣяній Іоанна IV, при чемъ весьма обстоятельно поясняетъ и причину переимѣн, происшедшей въ немъ.

Этотъ трудъ князя Курбскаго важенъ не только, какъ свидѣтельство современника и очевидца объ одной изъ самыхъ любопытныхъ историческихъ эпохъ, не только, какъ сочиненіе чловека просвѣщеннаго, заслуживающее полнаго довѣрія, по общему отзыву нашихъ ученыхъ: — этотъ трудъ важенъ еще въ исторіи нашей литературы, какъ первая и вполнѣ удачная попытка перехода отъ лѣтописнаго изложенія событій къ плавному историческому разсказу, въ которомъ всякое событіе относится къ предидущему, какъ слѣдствіе, въ которомъ авторъ болѣе всего заботится о связи между фактами, о логической, послѣдовательной зависимости ихъ отъ главной причины. Въ основу своего сочиненія князь Курбскій положилъ ту мысль, что Іоаннъ былъ добрымъ и хорошимъ правителемъ „доколѣ любилъ около себя добрыхъ и правду совѣтующихъ“, и мысль эта проведена у него превосходно во всей его исторіи.

Большую часть жизни, послѣ бѣгства изъ Россіи, Курбскій провелъ въ Милянвичахъ, бѣдномъ мѣстечкѣ близъ пожалованнаго ему городка Ковля. Тутъ былъ и дворецъ его съ придворною церковью, развалины котораго сохранились еще и до нашего времени. Суровый и одинокій „среди сосѣдей ненавистныхъ и лукавыхъ“, онъ жилъ уединенно, предаваясь исключительно изученію латинскихъ классиковъ и переводамъ сочиненій св. отцевъ. Горячо сочувствуя интересамъ своихъ угнетаемыхъ на Литвѣ единовѣрцевъ, онъ всѣми силами старался поддержать ихъ, переписываясь со многими изъ православной, неокатолической еще литовской знати, перевелъ на пользу православія нѣкоторыя бесѣды Іоанна Златоуста и написалъ правдивую исторію флорентійскаго собора. Особенно хлопоталъ о переводахъ твореній св. отцевъ на русскій языкъ, и, не надѣясь на свое умѣнье, поощрялъ къ этой дѣятельности другихъ. Эта энергическая дѣятельность его на пользу православія и просвѣщенія всего яснѣе высказывается въ слѣдующемъ мѣстѣ изъ предисловія къ его переводу книги Іоанна Дамаскина, „Небеса“. Указывая и самъ на значеніе просвѣщенія вообще, Курбскій возстаетъ

противъ тѣхъ изъ своихъ соотечественниковъ, которые не понимали его значенія. „Бога ради“ — пишетъ онъ, — „не потакаемъ безумнымъ или, лучше сказать, лукавымъ прелестникамъ, выдающимъ себя за учителей. Я самъ отъ нихъ слыхалъ, еще будучи въ русской землѣ, подъ державою московскаго царя: прельщаютъ они юношей трудолюбивыхъ, желающихъ навывкнутъ писанію, говорятъ имъ: не читайте книгъ многихъ и указываютъ: вотъ этотъ отъ книгъ умъ потерялъ, а вотъ этотъ въ ересь впалъ. О, бѣда! отъ чего бѣсы бѣгаютъ и исчезаютъ, чѣмъ еретики обличаются, а нѣкоторые даже исправляются, это оружіе они отнимаютъ, и это врачество смертоноснымъ ядомъ называютъ!.... Господи, Христе Боже нашъ! отвори намъ мысленныя очи и избави насъ отъ такихъ!“

Грозная личность Іоанна, въ теченіе цѣлой половины XVI в. обращавшая на себя вниманіе современниковъ, не могла не найти себѣ отголоска и въ народной памяти. Въ народной эпической поэзіи нашей, вслѣдъ за темными пѣснями о богатыряхъ и татарахъ, вслѣдъ за немногими такъ называемыми „княжескими“ пѣснями, принадлежащими новому московскому періоду, является весьма замѣчательный и довольно обширный кругъ пѣсенъ объ Іоаннѣ Грозномъ. Пѣсни эти въ высшей степени любопытны и поучительны для насъ въ томъ отношеніи, что въ нихъ образъ Грознаго является намъ довольно сочувственно набросаннымъ народною фантазіей. Онъ представляется вѣрнымъ исторической дѣйствительности, но, въ то же время, вниманіе народа сосредоточивается преимущественно на такихъ чертахъ его личности, на такихъ сторонахъ его дѣятельности правительственной, которыя не могли не нравиться народу и до нѣкоторой степени соотвѣтствовали тѣмъ понятіямъ о правителѣ, какія сложились въ его представленіи подъ вліяніемъ современныхъ тягостныхъ условій народной жизни. Чѣмъ болѣе могущества сосредоточивалось въ рукахъ князей московскихъ, чѣмъ болѣе увеличивалась централизація власти и политической жизни русской въ Москвѣ — тѣмъ болѣе приходилось народу страдать отъ различныхъ общественныхъ нестроеній и отъ угнетенія со стороны мелкихъ мѣстныхъ представи-

телей власти и произвола боярства, составлявшего блестящий двор царей московских. Блескъ, окружавший личность царя, далеку и недоступную для народа, побуждалъ фантазію его къ созданію самыхъ невѣрныхъ и, притомъ, чисто идеальныхъ представлений о власти царя, о его личныхъ свойствахъ и бытѣ. Желая, весьма естественно, утѣшить себя среди бѣдственнаго своего существованія, народъ, чувствуя на себѣ гнетъ только мѣстныхъ и мелкихъ представителей власти, гнетъ боярства, часто склоненъ былъ думать, что эти мелкие представители власти, это боярство — ничего не имѣютъ общаго съ властью царскою и благими намѣреніями царя, котораго народъ постоянно представлялъ себѣ расположеннымъ въ его пользу, заботящимся о его нуждахъ. Вотъ почему, каждая гроза, обрушавшаяся со стороны царя на голову вельможъ и боярства, находила себѣ сочувственный отголосокъ въ народной массѣ; вотъ почему и самая личность „вольнаго царя Ивана Васильевича“, казнившего вельможъ и князей, выводившаго измѣну въ Москвѣ бѣлокаменной, нашла себѣ сочувствіе въ массѣ народа и заняла видное мѣсто въ произведеніяхъ народнаго творчества. Рисуя Іоанна не только безразсудно вспыльчивымъ и горячимъ, но даже грознымъ и жестокимъ, народныя пѣсни все же не называютъ его „не милостивымъ“ и даже восхваляютъ его, потому что народъ съ замѣтнымъ сочувствіемъ относился къ тому укрощенію боярскаго самовластия, которое являлось въ его глазахъ важнымъ подвигомъ царя на пользу собственно народнаго благоденствія. Исходя изъ этого воззрѣнія на личность Іоанна Грознаго, народъ представляетъ его и вообще сочувствующимъ всему народному, русскому; сочувствіе это особенно легко высказывается въ былинѣ о царскомъ шуринѣ „Мастрюкѣ Темрюковичѣ“, гдѣ „царь Иванъ Васильевичъ“ похвалитъ русскихъ борцовъ-молодцовъ за то, что они изувѣчили и побороли его шурина Мастрюка-татарина, не смотря на то, что его же, царева жена, Марья Темрюковна, горько жалуется на это и сокрушается о своемъ миломъ братѣ. Еще ярче личность Іоанна, какъ правителя „грознаго,

но справедливаго“, выказывается въ превосходной былинѣ, извѣстной подъ названіемъ „Никитѣ Романовичу дано село Преображенское“, которую мы, выѣстъ съ предпущіею, приводимъ въ приложеніи къ этой главѣ. Сочувственно настроенное творчество народное не забываетъ и объ остальныхъ крупныхъ чертахъ личности Іоанна, какъ царя и правителя: — его завоеванія также воспѣты въ видѣ отдѣльныхъ пѣсенъ и прославлены на память потомству. Взятіе Казани и Астрахани, какъ символы окончательнаго торжества русскаго оружія надъ татарами, а впоследствии случайное завоеваніе отдаленной, полу-баснословной Сибири, связанное съ любимымъ именемъ разбойничьяго удалыца-атамана Ермака Тимофѣевича — всѣ эти воспоминанія, особымъ своимъ поэтическимъ колоритомъ и яркими красками необычности, героизма, много способствовали къ значительному возвышенію личности Грознаго надъ всѣмъ предшествующимъ періодомъ историческимъ, много способствовали тому, чтобы этотъ предшествующій періодъ еще болѣе стерся, изгладился въ памяти народной, помраченный блескомъ эпохи Грознаго. Личность его, впоследствии, изъ области пѣсенъ, перешла даже и въ сказку народную, которая рисуетъ Грознаго чисто-народнымъ героемъ, въ родѣ восточнаго Гаруна-Аль-Рашида; онъ бродитъ, незамѣтный, между народомъ, присматривается къ его нуждамъ, караетъ бояръ за несправедливости и награждаетъ своими царскими милостями тѣхъ, которымъ удастся перехитрить или одурачить боярина. Въ числѣ такого рода произведеній очень видное мѣсто занимаетъ извѣстная сказка о „Горшенѣ“¹⁾, въ которой разсказывается, какъ встрѣтилъ „осударь Иванъ Васильевичъ горшеню“, какъ полюбилися „осударю“ умные отвѣты „горшени“, и какъ, потому самому, желая награждать „горшеню“, осударь приказалъ ему черезъ двѣ недѣли представить ко двору своему десять возовъ глиняныхъ тарелочекъ извѣстнаго фасона. Горшеня принялъ заказъ, а осударь приказалъ, вернувшись въ городъ, чтобы на всѣхъ угощеніяхъ не было посуды ни серебряной, ни мѣдной, ни оловянной, ни деревянной, а была бы вся глиня-

¹⁾ *Горшеня* — тоже, что *горшечникъ*, т. е. занимающійся гончарнымъ ремесломъ.

говорѣ съ Иваномъ Васильевичемъ, между прочимъ, говоритъ вѣтъ своимъ ремесломъ не худо, три худа и есть на свѣтѣ:— бѣ, худая жена, да худой разумъ; то худо всѣхъ хуже потому, азумъ все съ тобой, и отъ него идешь. Эту мысль свою горшенъ царю-осударю блистательнымъ когда, привеза въ городъ заказомъ Васильевичемъ товаръ, онъ, ѣной просьбѣ одного боярина, аръ свой этому боярину на та-и, при которомъ всѣ деньги ушли въ карманъ горшени, а еще много осталось незакупленомъ. Бояринъ сталъ въ тупикъ, говорить ему: „свези меня на о двора, отдамъ тебѣ и товаръ, ги“. Бояринъ мялся, мялся — гъ, жаль и себя; но дѣлать не-

чего — на томъ и поладили. Выпрягли лошадей — сѣлъ мужикъ, повезъ бояринъ. Горшеня запѣлъ пѣсню, а бояринъ везетъ да везетъ. „До коней же мѣстъ вези тебя?“ спрашиваетъ онъ горшеню.—„Вотъ до этого дома“. Весело поетъ горшеня, и противъ того дома высоко голосомъ поднялъ. Услыхалъ государь пѣсню, вышелъ на крыльцо и призналъ горшеню: „здравствуй“, говоритъ, „горшенишка! съ прїездомъ!“—„Благодарю, ваше царское величество“.—„Да на чемъ ты ѣдешь?“—„А на худомъ-то разумѣ, осударь“. — „Ну, горшеня! умѣлъ товаръ продать; а ты, бояринъ, не сумѣлъ боярствомъ владѣть: — скидавай свою строевую одежду и сапоги, и отдай все горшенѣ; а ты, горшеня, скидавай кафтанъ и лапти. Обувайка-ка ты ихъ, бояринъ; а ты, горшеня, надѣнь и носи его строевую одежду. Умѣлъ ты товаръ продать! И немного послужилъ, да много услужилъ!“

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ.

ПѢСНИ ОБЪ ИВАНѢ ВАСИЛЬЕВИЧѢ ГРОЗНОМЪ.

Никитѣ Романовичу дано село Преображенское.

чинается съ того, что царь, налетя передъ боярами, какъ онъ ну изъ Кіева и Новгорода, изъ страхани. Сынъ его, Феодоръ говоритъ ему, что онъ не суме въвести измѣны изъ камен-. Царь проситъ его указать изъ Феодоръ Ивановичъ указываетъ любимцевъ—бояръ Годуновыхъ. бѣтъ, приказываетъ его схватить плаху).

испужались,
оскѣ разбѣжались;
не пужается,
выступается,
бѣ, сынъ Скурлатовичъ.
царевича за бѣлы ручки,
ча за Москву рѣку.
ѣства не радощна
въ Романовское,

Въ Романовское, въ боярское,
Ко старому Никитѣ Романовичу,
Нерадошна вѣства, кручинная:
«А и гой еси, сударь, мой дядюшка!
Ты старой Никита Романовичъ!
Али спишь, лежишь, опочивъ держишь?
Али тѣ Никитѣ мало можется!
Надъ собою ты невзгоды не вѣдаешь:
Упала звѣзда поднебесная,
Потухла въ соборѣ свѣча мѣстная,
Не стало царевича у насъ въ Москвѣ,
А меньшого Феодора Ивановича». —
Много Никита не выпрашиваетъ,
А скоро метался на широкій дворъ,
Скричалъ онъ Никита зычнымъ голосомъ:
«А и конюха мои, приспѣшники!
Ведите поскорѣ добра коня,
Не сѣдланнаго, не уданнаго». —
Скоро-де конюхи металися,
Подводятъ на скорѣ добра коня.
Садился Никита на добра коня,

За себя онъ, Никита, любимого конюха хватилъ,

Поскакалъ за матушку Москву за рѣку,
А и шанкой машеть, головой качаетъ,
Кричитъ онъ, зоветъ зычнымъ голосомъ:
«Народъ православный, не убейтеса,
Дайте дорогу мнѣ широкую».
Настигъ палача онъ во полулуги,
Не дошедъ до болота поганого,
Кричитъ на его зычнымъ голосомъ:
«Малюта-палачъ, сынъ Скурлатовичъ!
Не за свойскій кусъ ты хватаешься,
А этимъ кусомъ ты подавишься;
Не переводи ты роды царскіе»
Говоритъ Малюта немилостивый палачъ:
«Ты гой еси, Никита Романовичъ!
А наше-то дѣло повѣренное;
Али палачу мнѣ самому быть сказнену?
А чѣмъ окровенить саблю острую?
А чѣмъ окровенить руки бѣлыя?
А съ чѣмъ придти къ царю предъ очи,
Предъ его очи царскія?»
Отвѣчаетъ Никита Романовичъ:
«Малюта палачъ, сынъ Скурлатовичъ!
Сказни ты любимого конюха моего,
Окровени саблю острую,
Замарай въ крови руки бѣлыя;
А съ тѣмъ поди къ царю предъ очи,
Предъ его очи царскія».
А много палачъ не выпрашиваетъ,
Сказнилъ любимого конюха,
Окровенилъ саблю острую,
Замаралъ руки бѣлыя,
А прямо пошелъ къ царю предъ очи,
Подмастерье его голову хватилъ.
А грозный царь Иванъ Васильевичъ,
Завидѣвши сабелку острую,
А острую саблю, кровавую,
Того палача немилостива, —
А гдѣ-ко стоялъ онъ и туто ушалъ;
Что рѣзвы ноги подломилися,
Что царски очи замутились,
Что по три дня не пьеть, не ѣсть. —
А старой Никиты Романовичъ,
Хвата онъ царевича,
На добра ковы посадилъ;
Увезъ въ село свое романовское,
Въ романовское и боярское.
Не пива ему варить, не вина курить.
А пиръ пошелъ у него на радостяхъ;
А въ трубы трубятъ по ратному,
Барабаны бьютъ по воинскому...
А у той церкви соборныя,

Собирались помы и дьяконы,
А всѣ вѣдь причетники церковныя,
Отпѣвали любимого конюха.
А втѣпоры пригодился царь,
А грозной царь, Иванъ Васильевичъ,
А трижды землю на могилу бросилъ;
Съ печали царь по царству пошелъ,
По тѣмъ широкимъ по улицамъ.
А тѣ бояра Годуновы
Идутъ съ царемъ, сами подмолавились:
— «Ты, грозный царь, Иванъ Васильевичъ!
У тебя кручина несносная —
У боярина пиръ на веселѣ,
У старого Никиты Романовича.»
А грозной царь, онъ и крутъ добръ,
Послалъ посла немилостиваго,
Что взять его Никиту не честно къ нему.
Пришелъ посолъ къ боярину въ домъ,
Взялъ Никиту, нечестно повелъ,
Привелъ ко царю предъ ясны очи;
Не дошедъ Никита, поклоняется
О праву руку до сырой земли
А грозной царь Иванъ Васильевичъ,
Во правой рукѣ держитъ царской костьль,
А въ лѣвой держитъ цареву жезло,
— По нашему сибирскому остро копье —
А и ткнетъ онъ Никиту въ праву ногу,
Пришилъ его ко сырой землѣ;
А самъ онъ царь приговариваетъ:
«Велю я Никиту въ котлѣ сварить.
Въ котлѣ сварить, либо на колѣ посадить.
На колѣ посадить, скоро велю сказнить;
У меня кручина несносная,
А у тебя, боярина, пиръ на веселѣ.
Къ чему ты, Никита, въ домѣ добръ радощи?
Али ты, Никита, какой городъ взял?
Али ты, Никита, корысть получилъ?»
Говоритъ онъ, Никита, не съ упадомъ:
«Ты грозной царь, Иванъ Васильевичъ!
Не вели меня казнить, прикажи говорить:
А для того у меня пиръ на веселѣ,
Въ трубочки трубятъ по ратному,
Въ барабаны бьютъ по воинскому,
Утѣшаютъ млада царевича,
Что меньшаго Федора Ивановича».
А много царь не выпрашиваетъ,
Хвата Никиту за праву руку
Пошелъ въ палаты во боярскія.
Поднебесна звѣзда ужъ высоко взошла,
Въ соборѣ мѣстна свѣча затоплялася. —
Увидѣлъ царевича въ больномъ мѣстѣ,
Въ больномъ мѣстѣ, въ переднемъ углу,
Подъ мѣстными иконами;

нъ царевича за бѣлы ручки,
 Я царь Иванъ Васильевичъ
 . его во уста сахарныя;
 . онъ, царь, зычнымъ голосомъ:
 боярина пожаловати,
 о Никиту Романовича?
 зъ тебѣ злата, серебра,
 ебѣ—питья разнаго;
 . того грамота тарханная:

Кто цареву казну покрадетъ, мужика-ли убьетъ,
 А кто у жива мужа жану уведетъ
 И уйдетъ въ село во боярское
 Ко старому Никитѣ Романовичу—
 И тамъ быть имъ не въ выдачѣ». —
 А было это село боярское,
 Что стало село Преображенское,
 По той по грамотѣ тарханная;
 Отъ нынѣ оно слыветъ и до вѣку.

Мастрюкъ Темрюковичъ.

прежніе, времена первоначальныя,
 шестъ вольномъ царѣ, при Иванѣ Василье-
 вичѣ,
 мость былъ государь царь Иванъ Василье-
 вичъ,
 . онъ женитися:
 нъ царь государь не у себя въ каменной
 Москвѣ,
 . онъ въ той золотой ордѣ,
 Темрюка царя, у Темрюка Степановича.
 ю Темрюковну, сестру Мастрюкову;
 въ провожатые за ней триста татаринѣвъ,
 а бухариновъ, пять сотъ черкашениновъ,
 аго шурина Мастрюка Темрюковича,
 одаго черкашенина.
 цвствуетъ царь государь у себя въ камен-
 ной Москвѣ,
 и князья, бояра, могучіе богатыри
 званіе, пять сотъ донскихъ казаковъ
 ѣдятъ, потѣшаются,
 ино кушаютъ,
 бѣдъ рушаютъ;
 не пьютъ да не ѣсть царской гость дорогой,
 зъ Темрюковичъ, молодой черкашенинъ.
 зъ хлѣба-соли не ѣсть, зелена вина не ку-
 шааетъ,
 бѣдъ не рушаетъ?—У себя на умѣ держитъ:
 онъ семь городовъ, поборолъ онъ 70 бор-
 цовъ —
 бѣ борца не нашелъ, —
 . онъ думаетъ—ему вѣра поборотися есть
 въ каменной Москвѣ,
 царя потѣшити
 дею благовѣрною, Марьею Темрюковною;
 нтъ Москву загонять, сильно царство мо-
 сковское.
 Романовичъ о томъ царю доложилъ,
 жану Васильевичу:
 Я еси, царь государь, царь Иванъ Василье-
 вичъ!

Всѣ князи, бояра, могучіе богатыри
 Пьютъ, ѣдятъ, потѣшаются
 На великихъ на радостяхъ;
 Одинъ не пьетъ, не ѣсть твой царскій гость дорогой,
 Мастрюкъ Темрюковичъ, молодой черкашенинъ,
 У себя онъ на умѣ держитъ—вѣра поборотися есть
 Твое царское величество потѣшити со царицею бла-
 говѣрною»,
 Говоритъ тутъ царь государь, царь Иванъ Василье-
 вичъ:
 «Ты садися, Никита Романовичъ, на добра коня,
 Побѣги ты по всей Москвѣ,
 По широкимъ улицамъ и по частымъ переулочкамъ.»
 Онъ будетъ, дядюшка Никита Романовичъ
 Середъ Юрья Повольскаго, слободы Александровы;
 Два братца родимые по бору похаживаютъ,
 Объ ручку-то дядюшкѣ челомъ:
 —«А и гои еси ты, дядюшка, Никита Романовичъ!
 Кого ты спрашиваешь? Мы борцы въ Москвѣ по-
 хваленые,
 Молодцы поученые, славные».
 Никита Романовичъ привелъ борцовъ къ дворцу.
 Послышалъ Мастрюкъ борцовъ, скачетъ прямо Ма-
 стрюкъ
 Изъ мѣста большого, изъ угла передняго,
 Черезъ столы бѣлодубовые, черезъ яства сахарныя
 Лѣвой ногой задѣлъ за столы бѣлодубовые,
 Повалилъ онъ тридцать столовъ,
 Да прибилъ триста гостей:
 Живы да негодны, на корачкахъ ползають по па-
 латѣ бѣлокаменной:
 То похвалы Мастрюку, Мастрюку-Темрюковичу.
 Выбѣжалъ тутъ Мастрюкъ на крылечко красное,
 Кричитъ во всю голову, чтобы слышалъ царь го-
 сударь:
 «А свѣтъ ты, вольной царь, царь Иванъ Васильевичъ!
 Что у тебя въ Москвѣ за похвалыные молодцы по-
 ученые, славные!
 На ладонь ихъ посажу, другой рукой раздаю».
 Съ борцами сходится Мастрюкъ-Темрюковичъ:

А и малой выступается, Мишка Борисовичъ,
И смотреть ихъ борьбу князи, бояра и ногучіе бо-
гатыри,

Пятьсотъ донскихъ казаковъ.

А и Мишка Борисовичъ съ носка бросилъ о землю,
Онъ царскаго шуррина;

Похвалилъ его царь государь:

«Исполнять тебѣ молодцу, что чисто борешься» —

А и Мишка къ сторонѣ пошелъ, ему полно боро-
тися.

А Потанька бороться пошелъ, костьюлѣмъ подпирается,
Самъ впередъ подвигается, къ Матрюку прибли-
жается;

Смотрить царь-государь, что кому будетъ Вожья
помочь,

И смотреть ихъ борьбу князи, бояра и ногучіе бо-
гатыри,

Пятьсотъ донскихъ казаковъ.

Потанька справился, за плеча сграбился,

Согнетъ корчагомъ, водыметъ выше головы своей,

Опустилъ о сыру землю — Матрюкъ безъ памяти
лежить;

Не слыхалъ какъ и платье сняли,—

Вылъ Матрюкъ во всемя, сталъ Матрюкъ
ч

Со стыда и соромъ на корчакахъ подъ е-
мемъ

Какъ бы бѣлая лебедушка на ворѣ она промъ!

Говорила царица царю, Марья Темрюковна:

«Свѣтъ ты, вольной царь, царь Иванъ Ви-
и

Такова-ль у тебя честь добра до любимаго и

А дѣтина поругается, что дѣтина деревенски
Почто онъ платье снимаетъ?»

Говорить тутъ царь государь:

«Гой еси ты, царица въ Москвѣ,

Да ты Марья Темрюковна!

А не то у меня честь во Москвѣ, что татъ
бори

То-те честь въ Москвѣ, что русакъ тѣмится

Хотя бы ему голову сломилъ, да любилъ
вожжамъ

Двухъ братцевъ родимыхъ, двухъ удалыхъ Е-
мемъ





XV.

новаго образованія на юго-западѣ Руси въ XVI в. — Важное значеніе кievскихъ ученыхъ въ нашего просвѣщенія и литературы. — Усиленіе образованности въ XVII в.: школы и учебники.

ольшая часть сѣверо-восточ-
еще продолжала косить въ глу-
ракѣ невѣжества и всѣ условія
го быта въ Москвѣ и во всемъ
ѣ московскомъ продолжали быть
неблагопріятными для восприня-
пространенія образованности; луч-
освѣщеннѣйшіе люди Русскіе бо-
когда-либо, начинали сознавать,
кество губить лучшія силы на-
жить въ основѣ всей нравствен-
нтической и экономической не-
подавляющей Русь: — а между
юго-западной и западной окраи-
уже загорался тотъ свѣтъ но-
вѣщенія, которому впоследствии,
скоро, однакоже суждено было
одѣтельно отразиться и на отда-
сѣверо-востоку Руси. Мы видѣли,
изъ учениковъ Максима Грека.
й послѣдователь его идей и стра-
освѣщенію, къ наукѣ — князь А.
сій, нашелъ въ современной Іоан-
му Литвѣ такой уровень образо-
общественной, при которомъ ему
было найти и средства къ заня-
туннымъ, и даже людей, которые
были его въ нихъ руководить,
были оцѣнивать труды его — поощ-
къ развитію и продолженію из-

бранной имъ полезной дѣятельности. Ря-
домъ съ Курбскимъ видимъ мы въ той же
мѣстности другого сильнаго и ревностнаго
покровителя просвѣщенія, также русскаго
вельможу — князя Константина Острожска-
го, у котораго находятъ себѣ пріютъ пер-
вые наши печатники, вынужденные клеветою
и невѣжествомъ къ бѣгству изъ Мо-
сквы. Около этихъ двоихъ замѣчательныхъ
любителей и ревнителей просвѣщенія —
около князей Курбскаго и Острожскаго —
видимъ цѣлый рядъ другихъ менѣ круп-
ныхъ, но не менѣ просвѣщенныхъ дѣате-
лей, русскихъ сердцемъ и душою, горячо
преданныхъ идеѣ о необходимости распро-
страненія просвѣщенія въ массы соплемен-
наго имъ русскаго населенія Литвы и Поль-
ши. Всѣ эти менѣ крупные дѣатели, точ-
но также, какъ и стоявшіе во главѣ ихъ
вельможи, были представителями весьма
сильнаго общественнаго движенія, которое
проявилось на западной окраинѣ Руси го-
раздо ранѣе времени Курбскаго и князя
Константина Острожскаго: — начало этого
движенія, развившагося подъ вліяніемъ
польскаго владычества и нѣкоторыхъ осо-
быхъ мѣстныхъ условій, слѣдуетъ искать
еще въ XV вѣкѣ. Притомъ же, если бы дви-
женіе это, выражавшееся стремленіемъ къ
распространенію образованія въ народѣ,

сь просвѣщеннѣйшими изъ числа современниковъ своихъ. Съ 1628 года, когда Петръ Могила сдѣланъ былъ архимандритомъ лавры, наступаетъ новая и важная эпоха въ исторіи образованія русскаго. Петръ Могила начинаетъ съ того, что отправляетъ на свой счетъ за-границу нѣсколько иноковъ и мірянъ для окончанія образованія и приготовленія къ преподавательской дѣятельности; за тѣмъ, по возвращеніи этихъ молодыхъ людей изъ-заграницы, Петръ Могила приступаетъ къ устроению въ Кіевѣ такой же точно коллегіи, какія уже были устроены іезуитами, на подобіе заграничныхъ коллегій, въ Польшѣ. Первоначально думалъ было онъ открыть свою коллегію въ самой кіево-печерской лаврѣ, этой колыбели русскаго просвѣщенія, но братство кіевское упростило его не заводить новаго училища, не разъединять силъ общины русской, а скорѣе расширить размѣры и кругъ дѣятельности уже давно существовавшего въ Кіевѣ братства богоявленскаго училища. Петръ Могила согласился на это и съ 1631 года братское училище преобразовано было въ „кіево-могилянскую коллегію“. Усердный ревнитель просвѣщенія выстроилъ на свои средства новое помѣщеніе для классовъ коллегіи, пожертвовалъ богатыя вѣчины на содержаніе коллегіи и поддержку бѣднѣйшихъ учениковъ, завелъ при коллегіи библіотеку учебныхъ пособій, и, заботясь постоянно о возвышеніи того уровня свѣдѣній, какой могла давать коллегія ученикамъ своимъ, рѣшился даже завести и другое, низшее, приготовительное къ коллегіи училище въ Винницѣ. Недовольствуясь этимъ и не переставая въ теченіе всей своей жизни заботиться о тщательномъ выполненіи своей задачи, Петръ Могила еще и всѣ досуги свои посвящалъ на составленіе учебниковъ и пособій для своей коллегіи, и на такія литературныя произведенія, которыя, по современнымъ педагогическимъ понятіямъ, должны были значительно способствовать развитію и совершенствованію учащейся молодежи. Но объ этихъ трудахъ П. Могила намъ еще придется мимоходомъ упомянуть въ одной изъ послѣдующихъ главъ; въ настоящую же минуту мы должны представить краткій очеркъ той образованности, какую вносила къ намъ въ Русь „кіево-могилянская коллегія“ и всѣ подобныя

ей высшія образовательныя заведенія, возникшія въ юго-западномъ краѣ съ начала XVII вѣка. Мы тѣмъ болѣе считаемъ себя обязанными обратить вниманіе на состояніе и направленіе этой новой образованности, что она не только послужила основою для образованности, распространенной въ послѣдствіи, при посредствѣ кіевскихъ ученыхъ, въ Москвѣ и остальной Руси; но и, кромѣ того, эта образованность положила на весь разсматриваемый нами въ настоящее время періодъ русской литературы такую рѣзкую и своеобразную печать, что весь этотъ періодъ могъ бы остаться для насъ совершенно непонятнымъ, если бы мы ближе не вникли въ характеръ современной образованности и въ тѣ побужденія, которыя ее породили.

Характеръ образованія въ каждомъ народѣ опредѣляется тѣми потребностями, которыми образованіе было вызвано къ существованію, а часто и тѣми условіями историческими, среди которыхъ оно зачалось. И то, и другое чрезвычайно рѣзко бросается намъ въ глаза при взглядѣ на ту западно-русскую образованность, главнымъ проводникомъ которой являлась кіево-могилянская коллегія, развившаяся изъ предшествовавшихъ ей высшихъ братскихъ училищъ. Въ основѣ этой образованности лежала потребность сравняться въ знаніи и силахъ умственныхъ съ враждебными русской вѣрѣ и народности іезуитами, стать на одинъ уровень съ ними, преимущественно въ свѣдѣніяхъ богословско-философскихъ, и добиться во что бы то ни стало возможности вступить съ ними въ полемику. И такъ, основнымъ побужденіемъ, первымъ толчкомъ къ распространенію образованности въ западно-русскихъ областяхъ послужила борьба религіозная; а тѣ историческія условія, среди которыхъ жила въ этихъ областяхъ русская народность, вынудили ее для этой борьбы взяться за то же оружіе, какимъ сражались противъ нея іезуиты. Другого, лучшаго образца не было подъ руками, да если бы онъ и былъ, то едва-ли бы рѣшились воспользоваться имъ, такъ какъ болѣе всего пригодною для противодѣйствія іезуитской пропагандѣ казалась именно такая образовательная почва, которая производила самое іезуитство.

Отсюда то появляется рабское стремленіе подражать въ устройствѣ коллегіи кіевской

іезуитскимъ коллегіямъ польскимъ и обра-
щать въ преподаваніи особенное вниманіе
именно на тѣ стороны, которыя могли слу-
жить для успѣшнѣйшаго веденія борьбы про-
тивъ іезуитовъ и уній. Вотъ почему важнѣй-
шее мѣсто въ преподаваніи языковъ дава-
лось языку латинскому, на которомъ велось
преподаваніе всѣхъ наукъ въ коллегіи (кро-
мѣ славянской грамматики и катихизиса),
который и въ средѣ учениковъ постоянно
старались вводить, какъ языкъ разговорный,
даже и въѣ классовъ. На томъ же основа-
ніи, съ другой стороны, въ ряду наукъ пер-
вое мѣсто дано было богословію, которое,
точно также, какъ и философія, преподава-
лось подѣ сильнѣйшимъ вліяніемъ преобла-
дававшего въ іезуитскихъ коллегіяхъ схола-
стичизма. Схоластичизмъ получилъ свое на-
чало именно въ тотъ періодъ среднихъ вѣ-
ковъ, когда богословскія ученія запада, при
посредствѣ арабскихъ ученыхъ, впервые
столкнулись съ философскими ученіями древ-
ности, въ лицѣ двухъ важнѣйшихъ предста-
вителей ихъ — Платона и Аристотеля. Тог-
да уже зародилось стремленіе согласовать
философскія воззрѣнія и теоріи этихъ двухъ
знаменитыхъ представителей греческой нау-
ки съ запутанными и темными богослов-
скими теоріями, развившимися на западѣ
подѣ вліяніемъ полного преобладанія като-
личества надѣ всѣми остальными элемен-
тами исторической жизни романскихъ на-
родовъ. Философское ученіе Аристотеля бы-
ло принято и даже изучаемо богословами за-
падными, но такъ какъ они почитали хри-
стіанскую догматику выше всѣхъ знаній че-
ловѣческихъ, то сначала рѣшились только
примирить, согласовать до нѣкоторой сте-
пени идеи Аристотеля съ своими религіоз-
ными воззрѣніями, а впослѣдствіи даже и
окончательно подчинили философію Ари-
стотеля преобладающему вліянію своихъ
воззрѣній. Слѣдствіемъ этого было то, что
собственно отъ ученія аристотельскаго оста-
лась только одна мертвая внѣшняя форма,
одна только рамка, въ которую богословы
вкладывали матеріалъ своихъ собственныхъ
умствованій и доказательствъ, пользуясь
при этомъ способомъ доказательствъ, опре-
дѣленіи и раздѣленіи, заимствованными у
Аристотеля. Вслѣдствіе такого страннаго
смѣшенія богословской догматики съ внѣш-
нею стороною выработанныхъ Аристотелемъ

научныхъ теорій, и происходило то особое
направленіе въ изученіи и преподаваніи
наукъ, которое получило названіе схола-
стичизма. Подѣ вліяніемъ этого направ-
ленія, планъ и форма преподаванія науки
получали гораздо большее значеніе, нежели
самая сущность науки; изучался не ма-
теріалъ науки, а рядъ опредѣленныхъ фор-
мулъ, строго разграниченныхъ и подчинен-
ныхъ извѣстнымъ распредѣленіямъ, дѣле-
ніямъ, подраздѣленіямъ, въ тѣсной зави-
симости отъ которыхъ сопоставлены были
и самыя доказательства научныхъ фор-
мулъ. При этомъ, конечно, общее значеніе и
важнѣйшія стороны науки — положительно
ускользали отъ вниманія изучающаго подѣ
тягостнымъ гнетомъ множества мелочей и
частностей, отвлекавшихъ вниманіе и вы-
нуждавшихъ къ заучиванію. Наставники,
преподавая воспитанникамъ философію или
богословіе, вовсе не заботились о томъ, что-
бы они дѣйствительно знали и ясно пони-
мали эти науки, а болѣе о томъ, чтобы они
умѣли доказывать отдѣльные положенія,
извлекаемыя изъ этихъ наукъ, или
основываемыя на ихъ частностяхъ. Въ свою
очередь, это умѣнье доказывать стара-
лись также обратить въ особую науку и
довести до извѣстной степени искусства,
заранѣе приготовляя научный матеріалъ
такимъ образомъ, чтобы доказывающій
могъ извлекать изъ него самую разнообра-
зную помощь, могъ бы пользоваться имъ,
какъ самымъ разностороннимъ орудіемъ,
обладая умѣньемъ говорить и за, и про-
тивъ извѣстнаго положенія, и какъ бы
обладая, такимъ образомъ, возможностью
предвидѣть всѣ возраженія, какія могутъ
быть ему сдѣланы стороною противною.
Все это вмѣстѣ приводило къ сильнѣйшему
развитію діалектики, которая и служила по-
стояннымъ орудіемъ для споровъ; а съ дру-
гой стороны, въ значительной степени —
развивало ораторское искусство, которое
старались всѣми силами вложить въ буду-
щихъ проповѣдниковъ и духовныхъ на-
ставниковъ, приготовляемыхъ коллегіею къ
борьбѣ съ іезуитами и уніей. Для большаго
усовершенствованія учениковъ въ діалекти-
кѣ, въ высшихъ курсахъ коллегіи, устраи-
вались частныя и публичныя диспуты по
поводу различныхъ спорныхъ догматиче-
скихъ вопросовъ, которые приходилось до-

казывать или опровергать на основаніи извѣстныхъ, предварительно высказанныхъ положеній (тезисовъ). Такимъ же точно образомъ для совершенствованія всѣхъ учениковъ въ ораторскомъ искусствѣ, ихъ составляли, на основаніи извѣстныхъ правилъ и самыхъ точныхъ разграниченій и подраздѣленій предмета, сочинять рѣчи по поводу всевозможныхъ, самыхъ разнообразныхъ обстоятельствъ: плачевныя — по поводу погребеній, торжественныя и радостныя, заключавшія въ себѣ поздравленія или привѣтствія, благодарственныя, просительныя и т. д. Сами наставники, въ видахъ поощренія и совершенствованія молодыхъ людей въ ораторскомъ искусствѣ, должны были говорить проповѣди по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ; для этихъ проповѣдей, чаще всего избирали они толкованіе нѣкоторыхъ мѣстъ ветхаго и новаго заветъ, или же изъясненіе труднѣйшихъ, наиболѣе темныхъ мѣстъ катихизиса.

Изъ этого краткаго обзора, мы должны придти къ тому заключенію, что уровень образованія, доставляемаго кievскою коллегіею, — этимъ образцомъ всѣхъ высшихъ образовательныхъ заведеній юго-западной Руси въ XVII в. — вполне соответствовалъ, съ одной стороны, потребностямъ времени, а съ другой — отражалъ на себѣ историческія условія, среди которыхъ образованіе это развивалось и съ которыми, сверхъ того, предстояло вступить въ борьбу всѣмъ дѣятелямъ его. Какъ бы ни казалось намъ странно и чуждо, по нашимъ современнымъ понятіямъ, схоластическое направленіе этого образованія, на сколько бы ни являлась намъ чуждой исключительная цѣль его — приготовленіе дѣятелей въ извѣстномъ и опредѣленномъ направленіи, для весьма опредѣленнаго круга дѣятельности — мы все же должны признать, что кievско-могилянская коллегія (съ 1707 года переименованная въ академію), а равно и тѣ высшія образовательныя училища братскія, на которыхъ она основалась, оказали русскому образованію громадныя, неоцѣненныя услуги. Плоды этого образованія, распространяемаго братскими училищами и кievско-могилянскою коллегіею, прежде всего

проявились въ томъ, что среди населенія, угнетаемаго и притѣсняемаго со стороны политической и религіозной, вдругъ выступаетъ цѣлый рядъ дѣятелей и ими создается цѣлая литература полемическихъ и богословскихъ сочиненій, служащая надежнымъ оплотомъ противъ враждебнаго польско-іезуитскаго стремленія потоптать и уничтожить русскую народность въ западномъ краѣ. Сверхъ того, изъ той же среды, вырабатываются и многіе плодотворные, краснорѣчивые и искусные ораторы духовные, которые не только на мѣстѣ приимѣяютъ свои ораторскіе таланты, противоборствуя іезуитской пропагандѣ, но — послѣ присоединенія Малороссіи къ Россіи — проникаютъ и въ Москву. Туда удается имъ не только занести новыя идеи и свою просвѣщенную любовь и уваженіе къ наукѣ: — тамъ удается имъ окончательно въкоренить сознаніе необходимости просвѣщенія; тамъ, наконецъ, удается имъ страшнымъ орудіемъ слова побѣдить, послѣ сильной и энергической борьбы, мракъ невѣжества и предрассудки религіознаго и общественнаго строя древней Руси, выразившіеся въ притязаніяхъ раскола. Не слѣдуетъ забывать, что, кромѣ этой двоякой борьбы, кievскими ученымъ пришлось положить и первое основаніе нашей учебной литературы: первые учебники по различнымъ отраслямъ научнымъ создались на почвѣ русскаго юго-запада въ концѣ XVI и началѣ XVII столѣтія, и долгое время служили единственными учебными пособіями въ тѣхъ русскихъ училищахъ, которыя наконецъ начинаютъ являться на Руси (въ концѣ первой половины XVII столѣтія) и даже въ томъ высшемъ образовательномъ заведеніи, которое основывается въ Москвѣ въ концѣ XVII столѣтія.

Начиная съ конца XVI в. и на пространствѣ всего XVII столѣтія, мы видимъ на юго-западѣ Руси цѣлый рядъ литературныхъ и ученыхъ дѣятелей, которые неутомимо трудятся на поприщѣ богословско-полемической литературы и непрестанно заботятся о пополненіи пробѣловъ школьно-учебной литературы. Вслѣдъ за Лаврентіемъ Зизаніемъ Тустановскимъ, издающимъ въ 1596 г. свою первую ¹⁾ славянскую грамматикъ,

¹⁾ До того времени извѣстна только одна грамматика «эллино-славянская», написанная (въ 1591 г.) въ Львовѣ, на пользу обучавшихся греческому языку, студентами тамошняго братскаго училища.

нику и краткій славянскій лексиконъ, вслѣдъ за Полоцкимъ архіепископомъ, Мелетіемъ Смотрицкимъ, также посвящающимъ труды свои на пользу обработки грамматики славянской ¹⁾, на поприще учебной, полемико-догматической и ученой литературы, одинъ за другимъ выступаютъ: Кирилль Транквилионъ, Исаія Копинскій, Симеонъ Полоцкій, Епифаній Славинецкій, Іоанникій Галатовскій, Антоній Радивилловскій, Інокентій Гизіель, Лазарь Барановичъ, Іоасафъ Кроковскій, Іоаннъ Максимовичъ и Дмитрій Ростовскій. Всѣ эти дѣятели получили свое, блестящее по времени, образование въ юго-западныхъ училищахъ и въ кіево-могилянскою коллегіи; большая часть ихъ возвысилась въслѣдствіи до высшихъ степеней духовной іерархіи, и всѣ они, до послѣдняго, всюду вносили съ собою любовь къ просвѣщенію и наукамъ, сознание пользы и необходимости ученія и полезное орудіе живаго, сильнаго, энергическаго проповѣднаго слова. Нѣкоторымъ изъ числа этихъ дѣятелей, какъ напр. Епифанію Славинецкому, и въ особенности Симеону Полоцкому, принадлежитъ честь занесенія этихъ новыхъ идей въ Москву; туда кіевскіе ученые проникаютъ въ половинѣ XVII в., и тамъ, образуя около себя партію изъ просвѣщеннѣйшей части русскаго высшаго общества, тѣмъ самымъ, полагаютъ первую, прочную основу будущей благодѣтельной реформы Великаго Преобразователя Россіи.

При такой массѣ дѣятелей, притомъ же проявившихся разомъ на благодатной почвѣ русскаго юго-запада, было бы, конечно, трудно представить подробный отчетъ о ихъ плодотворной и разносторонней литературно-ученой дѣятельности; мы удовольствуемся только тѣмъ, что въ краткихъ чертахъ опредѣлимъ общій характеръ всѣхъ ихъ произведеній и укажемъ на важнѣйшія особенности отдѣльных родовъ ихъ.

Вся юго-западная духовная литература XVII столѣтія распадается на два преобладающія направленія: богословско-полемическое и историко-догматическое. Какъ то, такъ и другое направленіе, подъ непосредственнымъ вліяніемъ духа времени и мѣстныхъ условий, выразились преиму-

щественно въ чрезвычайно-обильномъ развитіи одного литературнаго рода передъ всѣми другими, а именно: духовнаго ораторства. Ученикъ уже на школьной скамейкѣ приучался владѣть орудіемъ слова, для охраненія и для защиты близкихъ ему религіозныхъ интересовъ въ ученомъ, схоластическомъ диспутѣ; въ то же время развивали въ немъ также умѣнье говорить въ назиданіе и поученіе вѣрующимъ, на основаніи св. писанія, истолковываемаго не только въ связи съ ученіемъ отцевъ церкви, но и въ связи съ жизнью практической, ежедневной. Необходимость и польза живаго, проповѣднаго слова была до такой степени ощущаема всѣми въ этотъ тягостный періодъ религіозной и нравственной борьбы, что при монастыряхъ и церквяхъ оказалось даже необходимымъ установить особую должность проповѣдника, который исключительно посвящаетъ себя устному истолкованію въ церкви св. писанія, обсужденію и сравненію различныхъ спорныхъ пунктовъ католической и христіанской догматики, а также и назиданію пастырей. Во второй половинѣ XVII столѣтія званіе это дѣлается почетнымъ титуломъ, предметомъ гордости и соисканія для талантливейшихъ изъ числа молодежи, окончивающей курсъ въ кіевской коллегіи; и не мудрено: — города и монастыри съ одинаковымъ рвеніемъ, наперерывъ отбиваютъ другъ у друга тѣхъ проповѣдниковъ, которые уже начинаютъ пользоваться нѣкоторою почетною извѣстностью. Эта извѣстность, пріобрѣтенная на каждаго проповѣдникомъ, вполне обезпечиваетъ и дальнѣйшій его жизненный путь: — мы видимъ, что большая часть лицъ, достигающихъ въ началѣ XVIII вѣка высшихъ ступеней духовной іерархіи, начинаетъ свое поприще именно съ этой почетной должности проповѣдника.

Проповѣдь, развившаяся около этого времени на русскомъ юго-западѣ, не имѣетъ почти ничего общаго съ тѣми произведеніями проповѣднаго искусства, какія мы видимъ на почвѣ нашей древне-русской духовной литературы до XVI вѣка. Только одинъ изъ нашихъ писателей XII вѣка —

¹⁾ Грамматика М. Смотрицкаго, перепечатанная въ Москвѣ, въ 1648 году, употреблялась, какъ руководство, во всѣхъ школахъ русскихъ, до Ломоносова.

Кирилл Туровский — по духу своих произведений, несколько подходит к той форме развития, какую приняла юго-западная проповедь русская в XVII столетии в среде киевских ученых. Но к тому богатому, часто и весьма поэтическому символизму, которым, как мы видели, отличалась проповедь Кирилла Туровского, обильная образами и сравнениями, в XVII веке примешивалось несколько новых элементов. К числу этих элементов, конечно, следует отнести, во первых, риторическую правильность и симметрию. с какой проповедник старался расположить все части своего произведения; во вторых — стремление неограничиваться только кругом чисто-религиозных положений и доказательств, на основании которого проповедник и позволял себе почерпать истолкования истин религиозных и догматических из всех отраслей наук, из всех явлений природы, даже из явлений и примитивов, представляемых частною жизнью, на сколько она отражалась в некоторых правоучительных литературных произведениях. Один из наиболее искусных современных ораторов, Иоанний Галатовский, в своем наставлении проповедникам относительно того, откуда следует заимствовать материал для проповеди, говорит: „читай библию, жития святых, творения отцев церкви, историю и хроники, книги о зверях, птицах, гадах, рыбах, древах, травах, камнях, водах. Вычитанное прилагай к своей речи; искусству приложения научать проповедники нынешнего века, которых следует изучать“. Сам он не пренебрегает цитатами даже из светских писателей и в одну из своих проповедей, при разсуждении о темной силе волшебства, заносит даже из Тассова „Освобожденного Иерусалима“ рассказ о волшебнике Исмене. Другой современный проповедник, Иннокентий Гизель (архимандрит киево-печерский около 1684), также указывал духовным ораторам на светскую литературу, как на материал для проповедей, говорит между прочим: „не только в иновѣрных, но в эллинских (т. е. языческих) учениях есть повѣсти, служащія разуму, истинны и здравы“.

Главным недостатком современной проповеди является запутанность ее изложения,

вследствие того сильного схоластического влияния, которое, как мы видели, тяготело над всею наукой, и приучало авторов в каждом произведении придавать огромное значение внешней форме, часто даже в ущерб внутреннему содержанию. Стараясь, как можно яснее изложить свою мысль, автор или духовный оратор прибегал для этой цели к разным, чисто-внешним средствам: раздѣлял и подраздѣлял материал своего произведения на множество мелких частей, вдавался в частности, в натянута сравнения, причем старался часто отыскать сходственные стороны между предметами, совершенно чуждыми, неподлежащими никакому сравнению. Так напр. это стремление к наглядности и ясности в изложении побуждает одного из современных писателей, при толковании „о сотворении мира“ выписывать „вѣдомости ради“ все неиздѣляемое к делу свѣдѣнія из астрономии и физики о кругах небесных, кометах, планетах и зодиаках, звѣздах, солнечных затмѣніях и т. д. Таким же точно образом стремление к подраздѣлению и классификации материала часто доводит автора до смѣшных крайностей: один из современных ораторов подраздѣляет, напримѣръ, грѣхи по сословіямъ, ремесламъ и промысламъ, доказывая, что у каждаго изъ принадлежащихъ къ этимъ классамъ людей есть свои частные виды грѣховъ, тѣсно связанныхъ съ ихъ образомъ жизни и занятіями.

Многие изъ авторовъ, сверхъ того, старались раздѣлять свои произведенія чисто-формальнымъ образомъ, въ связи съ какою-нибудь обстоятельствомъ жизни Спасителя или другимъ событіемъ св. писанія. Такъ напр. митрополитъ кievскій Исаія Копинскій (ум. 1634) раздѣлилъ свою книгу, „Дѣяствія духовная“, на 33 главы, по числу лѣтъ земной жизни Спасителя, и это раздѣленіе не состоитъ, собственно говоря, ни въ какой внутренней связи съ содержаніемъ излагаемаго имъ. Совершенно-схоластическое преобладаніе внешней формы надъ содержаніемъ книги выражается даже и въ наружномъ видѣ большей части книгъ, печатаемыхъ около этого времени на юго-западѣ Руси. Во главѣ книги, на первомъ заглавномъ листѣ ея, обыкновенно является гравюра, изображающая символически все со-

иіе книги въ видѣ мудренаго рисунка, смыслъ и значеніе котораго очень трудно вникнуть человѣку, незнако- съ тонкостями современнаго схоласти- и символики. Авторы, вѣроятно, чув- али это, и потому старались снабжать заглавныя гравюры объяснительными сами и стихотворными или прозаиче- истолкованіями, напечатанными тот- вслѣдъ за гравюрой. Такимъ же точно- умъ, при общераспространенномъ при- гинъ къ символизму и его хитросплете- , авторы обыкновенно старались въ- хъ истолковать и мудренныя заглавія произведеній. Такъ, напри- мѣръ, Ан- Радивилловскій, издавшій въ свѣтъ два- ка своихъ произведеній, одинъ подъ- ніемъ „Огородокъ (т. е. садъ) Маріи- одицы“, другой, подъ заглавіемъ „Вѣ- Христовъ“, такъ изъяснилъ каждое изъ заглавій въ началѣ обѣихъ книгъ. Въ „Огородка“ онъ говоритъ: „сей на- ѣ труда смиренно приносятъ тебѣ въ у прахъ, пепель, недостойный рабъ и- итель огородака... Молю, да за этотъ- денный тебѣ огородокъ, Ты введешь на второмъ пришествіи Сына Твоего, бесный огородокъ вмѣстѣ со святыми“. съ вслѣдъ за этимъ онъ считаетъ не- имымъ истолковать и мудреную гравю- заглавномъ листѣ книги слѣдующимъ- мъ: „какъ Новуходоносоръ“ — гово-- нтъ — „устроилъ въ Вавилонѣ висячія- и высокихъ каменныхъ столпахъ, такъ о Маріе, стояшь на дарахъ Духа Свя- будто на столпахъ“. Другой сборникъ- извѣстный подъ названіемъ: „Вѣнецъ- овъ, изъ проповѣдей недѣльныхъ, аки- ѣтовъ рожаныхъ (т. е. розовыхъ) спле- й“, Антоній Радивилловскій старается- ятъ слѣдующимъ двустипіемъ:

«Цѣлѣти словесъ Царя Бога Слова
Глава да будетъ вѣнчана Христова.»

гой современный писатель, Максимо- издавшій въ алфавитномъ порядкѣ сти- нныя похвалы святымъ подъ общимъ- іемъ: „Алфавитъ соборный, рѣчами- нный“, также начинаетъ свою книгу- олкованія ея заглавія:

«Се ти черниговскія Аѳонны духовну
Предлагаютъ трапезу, книгу рѣчословну,
Алфавитъ рѣчому и т. д.

Вообще говоря, и во внѣшней формѣ, какъ и во внутреннемъ содержаніи современной литературы много видимъ мы сторонъ, совер- шенно новыхъ, неизмѣняемыхъ ничего общаго съ предшествующимъ періодомъ литературы древне-русской, развивавшейся на сѣверо- востокѣ. Вліяніе Польши, послужившей на- шему юго-западу образцомъ образованности, замѣтно и во всей литературѣ нашего юго- запада. Не только языкъ этой литературы является сильно-испорченнымъ подъ вліяні- емъ болѣе богатаго въ литературномъ отно- шеніи языка польскаго, но въ самое непро- должительное время образуется даже цѣлый новый отдѣлъ литературы—поэтическій, сти- хотворный, въ которомъ при помощи совер- шенно новаго на русской почвѣ стиха силла- бическаго ⁽¹⁾, заимствованнаго также отъ по- ляковъ, является возможность вдохновен- нымъ проповѣдникамъ переходить отъ про- повѣди къ чисто-лирическимъ восхваленіямъ Божества, его чудесъ, его благости и т. д. Но объ этомъ мы еще будемъ говорить да- лѣе подробно, при разборѣ другихъ новыхъ литературныхъ родовъ, занесенныхъ на нашу почву съ польскаго запада.

Въ заключеніе же этой главы намъ при- дется еще сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ и чѣмъ проявилось практическое, ути- литарное направленіе кievской ученой лите- ратуры и образованности, о которомъ мы упоминали выше, и которому не даромъ при- давали важное значеніе. Дѣйствительно, за- нимаясь полемика-догматической литерату- рой и тратя столько силъ и энергій на созда- ніе громадной массы религіозно-ораторскихъ произведеній, юго-западное духовенство не заботилось только о своихъ временныхъ и преходящихъ интересахъ:—оно дальновидно и зорко стремилось къ тому, чтобы пригото- вить орудіе разума и слова для будущихъ поколѣній, и создавало весьма обширную литературу учебниковъ и справочныхъ книгъ, которая должна была на будущее время явиться прочною основой для элементарна- го образованія.

Выше мы уже упоминали о грамматикахъ

См. о силлабическомъ стихѣ далѣе, въ XVI главѣ.

Лаврентія Зизанія и Мелетія Смотрицкаго, явившихся первыми русскими грамматическими учебниками въ школахъ; послѣдняя изъ нихъ продержалась у насъ на Руси даже до появленія грамматики Ломоносова (въ половинѣ XVIII в.), который многое изъ нея заимствовалъ. Вслѣдъ за учебниками грамматическими являются катихизисы, изъ которыхъ обращаютъ на себя вниманіе уже упомянутый нами краткій катихизисъ П. Могилы, и другой, почти одновременно съ нимъ составленный, катихизисъ Лаврентія Зизанія, явившійся въ свѣтъ въ 1627 г. Книга эта не лишена довольно важнаго научнаго интереса, именно съ той стороны, что авторъ старается истолковывать отвлеченные предметы „простыми прилогами (т. е. примѣрами)“ и вносить въ книгу свою, хоть и не всегда кстати, множество энциклопедическихъ свѣдѣній, какъ доказательство научныхъ истинъ. За катихизисами и грамматиками, этими насущнѣйшими пособіями всякаго школьнаго преподаванія, являются учебники богословія и богословскіе трактаты, по части отдѣльныхъ предметовъ богословскаго преподаванія. Сначала Кирилль Транквилионъ, около 1618 года, выдаетъ въ свѣтъ свое „Зерцало Богословія“; затѣмъ, на томъ же поприщѣ трудятся: Исаія Копинскій, митрополитъ кievскій, и Иннокентій Гизіель, архимандритъ кievо-печерской лавры; наконецъ, между 1693 и 1697 гг. является „учебникъ богословія“ другаго кievскаго митрополита, Іоасафа Кроковскаго, особенно замѣчательный потому, что всѣ отдѣльныя статьи его дѣлятся на двѣ части: созерцательную (догматическую) и состязательную (полемиическую). Рядомъ съ этими богословскими учебниками, подъ непосредственнымъ вліяніемъ сильно развившагося ораторства духовнаго, явились и чисто-риторическія руководства для духовныхъ ораторовъ и различные сборники, которыми думали пополнить недостатокъ матерьяла для духовнаго оратора. Мы видимъ дѣйствительно цѣлый рядъ сборниковъ, исключительно посвященныхъ чудесамъ Дѣвы Маріи и святыхъ, подъ различными заглавіями, напр. „Небо новое съ новыми звѣздами, т. е. преблагословенная Дѣва Марія съ чудами своими (1665)“, „Скарбница потребная всему свѣту“, въ ко-

торой чудеса, излагаемыя западною церковью дополнены чудесами церкви русскаго орошенное“ св. Дмитрія Рост (1680), заключающее въ себѣ всего : по числу часовъ дня: каждому изъ чудесъ посвящена особая глава, разделенная на четыре части: 1) описаніе 2) бесѣду, 3) правоученіе, 4) прило разсказъ о чудѣ по восточнымъ или нымъ источникамъ. Какъ бы резул и основой всей этой усиленной ора дѣтельности является книга Іоанни латовскаго—„Ключъ Разумѣнія“ (16 держащая въ себѣ „казанья“ (т. е. вѣди) на праздники Господскіе и Бо иные, и вмѣстѣ съ тѣмъ „Науку або сложенія казаній“. Это руководство жило образцомъ для всѣхъ дальн учебниковъ риторическихъ, какіе я у насъ въ XVIII в. Существеннѣйш роною ихъ оказывается именно то, не только излагаютъ науку въ об основаніяхъ, но и даютъ правила и частные случаи. Строго опредѣлен формы выраженій, изъ которыхъ не лось выступать. Воспитанники обяза вѣтвѣрживать слова и обороты, соо рѣчи красоту. Руководства снабже особымъ спискомъ словъ, служащихъ хвалы или порицанія. Предлагались для восхваленія не только челоѣы области, города, рѣки, поля, зданія.. вители учебниковъ заботились при о запасѣ матерьяловъ для пополнен приличнымъ содержаніемъ. Матеры предѣлялись по отдѣламъ: въ одномъ щались историческія грамоты, въ др изрѣченія ученыхъ, въ третьемъ — (ческія изображенія и т. д. ¹⁾).

Въ связи съ этими руководствами, сборниками матерьяловъ и ями нельзя не упомянуть о книгѣ вленной Иннокентіемъ Гизіелемъ, ре кievской духовной академіи. Книга озаглавлена такъ: „Синописис или собраніе отъ разныхъ лѣтописцевъ о славяно-русскаго народа и перв ныхъ князей богоспасаемаго града Трудъ Гизіеля не былъ исполнѣ с тельнымъ: уже до него Феодосій вичъ, игуменъ Кievскаго Михайловс

¹⁾ Галахова, Ист. Р. Сл. древней и новой; ч. I, стр. 183.

иастыря, написать хронику событий русской исторіи до конца XIII в. Гизіель воспользовался этимъ трудомъ и только пополнилъ его событиями послѣдующихъ вѣковъ. Преобладающимъ направленіемъ въ Синописи Гизіеля является патріотическое одушевленіе, желаніе придать какъ можно болѣе блеска изложенію всѣхъ частныхъ русской исторіи. Самое имя славянъ производится отъ славы, а родословная баснословныхъ кіевскихъ князей Кія, Щека и Хорива возводится до библейскаго Іафета. Не

смотря на множество историческихъ несообразностей и положительныхъ ошибокъ, этотъ учебникъ употреблялся во всѣхъ русскихъ школахъ до временъ Ломоносова, и какъ первый опытъ начертанія русской исторіи онъ имѣетъ для насъ то важное значеніе, что несомнѣнно былъ плодомъ сознанія своей національной отдѣльности, сознанія того, что угнетаемая Польшею и іезуитами русская народность нашего юго-запада имѣетъ свое достославное прошлое и всѣ права на лучшее будущее.





XVI.

Невѣжество и сирващики. — Первые школы въ Москвѣ. — Котошихинъ и Крижанитъ. — Никонъ. — Юго-западные ученые въ Москвѣ. — Московская славяно-греко-латинская академія.



Въ то самое время, какъ на западѣ и юго-западѣ Руси тягостныя условія историческія пробудили отъ сна и вызвали къ жизни силы народнаго духа, направивъ ихъ къ одной общей цѣли—образованію, Московское государство только еще заканчивало счеты со своимъ прошлымъ, и далеко еще было отъ сознанія того, что и ему бы пора было озаботиться прежде всего о внесеніи образованія въ обширныя предѣлы Руси. Московской Руси не представлялось тѣхъ удобствъ къ распространенію просвѣщенія у себя дома, какія были подъ рукою у русскаго населенія на литовской Украинѣ или на польскомъ юго-западѣ; да къ тому же, при историческихъ условіяхъ быта, среди которыхъ сложилась жизнь общественная въ московской Руси, самая потребность въ образованіи не могла проявиться такъ живо и дѣятельно, какъ проявилась она среди угнетеннаго и всячески угнетаемаго русскаго населенія Литвы и Польши. Полнѣйшая централизація власти, жизни и благосостоянія народнаго въ Москвѣ, сильнѣйшее преобладаніе высшаго сословія боярскаго, хотя на время и ослабленнаго Грознымъ, но получившаго впоследствии еще большее значеніе — все это приводило къ

тому необходимому слѣдствію, что всякое благо или зло могло исходить только сверху, отъ высшихъ слоевъ къ низшимъ, отъ царя и вельможъ и высшихъ представителей духовенства; всякій шагъ впередъ на пути нравственнаго и умственнаго развитія могъ быть сдѣланъ только Москвою и изъ Москвы.

Правда, уже въ половинѣ XVI вѣка, рядомъ съ памятниками, указывающими на сознательное довольство современными условіями быта, рисующими на основаніи ихъ идеаль семьянина и гражданина, мы замѣчаемъ нѣкоторое недовольство въ обществѣ, слышимъ изъ устъ самого царя на столбовомъ соборѣ порицаніе „общественныхъ неурядицъ, глубокаго невѣжества, среди котораго коснѣетъ и общество, и духовенство“; но, не смотря на все это, въ большинствѣ лучшихъ людей московскаго государства еще живетъ, растетъ и крѣпнеть то высокое мнѣніе о самихъ себѣ и то полнѣйшее презрѣніе къ другимъ народамъ, которому нашъ историкъ такъ удачно далъ названіе китаизма ¹⁾. Преувеличенное и возведенное до невѣности уваженіе къ старинѣ, къ преданію, суевѣрный ужасъ передъ всякою новизною, передъ всякимъ даже и существенно необходимымъ отступленіемъ

¹⁾ Соловьевъ, XIII, 196.

тъ обычая предковъ, страшнымъ гнетомъ глотали надъ духовною и умственною жизнью русскаго народа, поставленнаго въ исключительно-одинокое, замкнутое положеніе. Это направленіе, подъ вліяніемъ крайней неграмотности и невѣжества, особенно реобладало по отношенію къ предметамъ религіознымъ и къ церковному богослуженію. Сила невѣжества и этой ложной признанности къ старинѣ, на которую указывали, совершенно безсознательно, какъ на доказательство дѣйствительности, были на столько велики даже и въ духовенствѣ, а понятія о настоящей образованности, которая могла соотвѣтствовать современнымъ потребностямъ, на столько ограниченны, что даже и введеніе книгопечатанія не могло измѣнить у насъ жалкаго положенія нашей письменности. Книги священныя и богослужебныя печатались почти также неисправно и дурно, какъ переписывались писцами, прежде введенія книгопечатанія, и весьма нелегко было найти справщика для типографіи на столько грамотнаго, чтобы онъ могъ предупредить появленіе въ текстѣ даже и самыхъ грубыхъ опечатокъ и описокъ, умышленныхъ или неумышленныхъ.

Инокъ Арсеній Глухой, занимавшійся при патріархѣ Филаретѣ исправленіемъ печатаемыхъ книгъ, прямо свидѣтельствуетъ, что справщиками бывали, въ большинствѣ случаевъ, люди, не имѣвшіе понятія „ни о православіи, ни о кривославіи“, едва умѣвшіе грамотѣ, часто даже не понимавшіе различія между гласными и согласными буквами, и, конечно, уже вовсе не имѣвшіе понятія о значеніи частей рѣчи и другихъ „грамматическихкихъ хитростяхъ“.

Преданія, завѣщанныя Максимомъ Грекомъ и развитыя имъ немногими представителями русской образованности XVI столѣтія, вымирали на глазахъ всѣхъ и удотоявались только презрѣннаго названія эреси отъ слѣпыхъ приверженцевъ старинны и обязательнаго невѣжества; и вмѣстѣ съ этимъ, стѣна китаизма, которою московское государство старалось отдѣлить себя отъ всего остальнаго міра, росла и крѣпла около Москвы....

Много тяжелыхъ испытаній и горькихъ бѣдствій должна была пережить въ концѣ

XVI и началѣ XVII столѣтія московская Русь для того, чтобы въ обществѣ, подъ сильнымъ гнетомъ матеріальной и духовной нищеты, недовольство современнымъ общественнымъ устройствомъ могло сказаться яснѣе и громче. Нельзя не обратить вниманія на тотъ печальный фактъ, что русскіе люди, посланные Борисомъ Годуновымъ за границу для науки, предпочли остаться тамъ и не возвратились въ отечество. Въ особенности же послѣ окончанія смутнаго времени, въ самомъ началѣ XVII вѣка, московскому государству, волей-неволей, пришлось убѣдиться въ своей слабости, въ недостаточности своихъ силъ даже и для обороны границъ своихъ. Бѣдствія войны и внутренней неурядицы, часто вынуждавшія прибѣгать къ помощи иноземныхъ государствъ, въ теченіе тягостнаго періода, наступившаго вслѣдъ за смертью Годунова—все это значительно поколебало издавна укоренившуюся въ Москвѣ увѣренность въ своемъ матеріальномъ могуществѣ и значеніи. „Допущеніе все большаго и большаго количества иностранцевъ внутрь государства, ясно высказываемая потребность въ нихъ, явно выказываемое признаніе превосходства ихъ въ наукѣ, необходимость учиться у нихъ, предвѣщали скорый переворотъ въ жизни русскаго общества, скорое сближеніе съ западною Европой. При царѣ Михаилѣ вызывали изъ-за границы не однихъ рабочихъ людей, не однихъ мастеровъ и заводчиковъ,—понадобились и люди ученые... Съ одной стороны въ наукѣ нуждалось государство для удовлетворенія самымъ необходимымъ потребностямъ, для охраненія цѣлости и самостоятельности своей отъ иностранцевъ, болѣе искусныхъ и потому болѣе сильныхъ; съ другой стороны нуждалась въ наукѣ церковь для охраненія чистоты своего ученія ¹⁾. „И вотъ, патріархъ Филаретъ заводитъ въ 1633 году первое высшее училище при Чудовомъ монастырѣ, которое и получаетъ названіе Чудовской или греко-латинской школы. Завѣдываніе школой поручается, уже извѣстному намъ ученому иноку, Арсенію Глухому. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, по государеву указу, переводится съ латинскаго языка „полная космографія“ Иваномъ Дорномъ и Богданомъ Лыковымъ (1637 г.);

¹⁾ Соловьевъ, IX, 457.

затѣмъ, въ 1639 году, выдается отъ государя опасная грамота для прїѣзда въ Москву извѣстному ученому гольштинцу, Адаму Олеарию. „Вѣдомо намъ учинилось“.—говоритъ царь въ той грамотѣ—„что ты гораздо наученъ и навиченъ астрономію, и географусъ, и небеснаго бѣгу, и землемѣрію, и инымъ многимъ подобнымъ мастерствамъ и мудростямъ, а намъ, великому Государю, таковъ мастеръ годенъ“. Рядомъ съ этимъ многозначительнымъ и новымъ въ русской жизни фактомъ не мѣшаетъ упомянуть и о томъ, что нѣкоторые изъ приближеннѣйшихъ къ государю вельможъ, отправляясь за границу въ посольство, возвращаются оттуда съ богатыми запасами книгъ и даже весьма опредѣленною склонностью ко всему западному, иностранному; что открытые приверженцы западнаго образованія и западныхъ идей, подобные боярину Морозову, являются воспитателями дѣтей царя Михаила Феодоровича и даже, не стѣняясь ропотомъ большинства, шьютъ нѣмецкое платье своимъ воспитанникамъ царевичамъ и всѣмъ дѣтямъ, вмѣстѣ съ ними получающимъ воспитаніе. Но все это только первые, нетвердые шаги по вѣрному пути, и старая основа русскаго застоя, неподвижности, высокаго мнѣнія о себѣ и слѣпого уваженія къ буквѣ писаннаго закона еще чрезвычайнаго сильна въ обществѣ. Въ то же время, когда государь и близкіе къ нему люди выказываютъ явное уваженіе къ западной наукѣ и даже, отчасти, къ западнымъ обычаямъ, когда патріархъ Филаретъ учреждаетъ первое училище, книгопечатанье остается, по недостатку людей, въ небреженіи, и самое исправленіе книгъ богослужебныхъ и св. писанія поручается людямъ крайне неблагонадежнымъ. Въ особенности въ патріаршество Іосифа (1642 — 1652 гг.), книги печатныя подвергаются значительной порчѣ и важнымъ искаженіямъ, потому что справщиками являются такіа лица, какъ знаменитый впослѣдствіи протопопъ Аввакумъ, дьяконъ благовѣщенскаго собора, Феодоръ, царскій духовникъ, Стефанъ Вонифантьевъ, ключарь успенскаго собора, Иванъ Нероновъ и мн. др., вскорѣ послѣ того заявившіе себя открыто противниками общепринятыхъ церковныхъ обычаевъ и мнѣній, и ставшіе во главѣ того религіозно-гражданскаго движенія, которое проявилось откры-

то въ русскомъ обществѣ съ половины XVII столѣтія и съ тѣхъ поръ стало извѣстно подъ общимъ названіемъ раскола. Этихъ-то людямъ, исполненнымъ суевѣрнаго благоговѣнія къ буквѣ старыхъ писанныхъ и печатныхъ книгъ и, въ то же время, энергически преданнымъ своему дѣлу, въ короткое время удалось распространить по церквамъ русскимъ болѣе 6000 книгъ, исполненныхъ различнаго рода искаженіями. При такомъ усердіи невѣжественнаго и суевѣрнаго большинства, конечно, одинокими и слабыми должны были являться даже и самыя благородныя усилія просвѣщеннѣйшихъ лицъ изъ числа вельможъ, ничего не жаждавшихъ для распространенія образованія въ Москвѣ. Въ 1649 году, бояринъ Ртищевъ, принадлежавшій вмѣстѣ съ Ординымъ-Нащокинымъ и Матвѣевымъ къ числу наиболѣе образованныхъ покровителей наукъ въ Россіи, основываетъ еще одно, новое училище при андреевскомъ монастырѣ, и для обученія юношества рѣшается вызвать нѣкоторыхъ ученыхъ иноковъ изъ кіево-печерской лавры. Во главѣ этихъ ученыхъ кіевскихъ, которымъ впервые является возможность внести плоды своей учености и образованія въ столицу русскаго міра, является человѣкъ весьма замѣчательный — іеромонахъ Епифаній Славинецкій, воспитавшійся въ кіево-могилянскоѣ коллегіи и заграничныхъ школахъ, обладавшій основательнымъ знаніемъ классическихъ языковъ и языка славянскаго. Но время такихъ мирныхъ, одинокихъ и постепенныхъ усилій уже миновало; старая начала жизни общественной, отжившія свой вѣкъ, какъ ни были тверды и упорны, однако же должны были непремѣнно вступить въ ожесточенную и послѣднюю борьбу съ наплывомъ новыхъ идей, съ напоромъ европейской цивилизаціи, которая около половины XVII столѣтія стала проникать къ намъ не только черезъ Польшу, но и непосредственно съ запада. Что въ обществѣ русскомъ около этого времени дѣйствительно жило полное сознаніе несостоятельности современнаго порядка вещей, тому остались весьма любопытныя и важныя свидѣтельства современниковъ-очевидцевъ. Однимъ изъ такихъ свидѣтельствъ является сочиненіе подъячаго по-сольскаго приказа, Григорія Котонихина, который, состоя на службѣ при воеводѣ

князь Долгорукомъ, во время второй польской войны (начавшейся въ 1660 г.), не полагалъ съ воеводой, и, опасаясь его мести, вынужденъ былъ бѣжать въ Польшу, а потомъ въ Швецію, гдѣ и оставался до своей смерти ¹⁾. Котошихинъ далъ своей книгѣ нѣсколько неопредѣленное заглавіе: „О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайловича“. Книга эта была окончена (въ 1666—1667 гг.) и впоследствии даже переведена на шведскій языкъ подъ непосредственнымъ покровительствомъ канцлера Магнуса де-ла Гарди, сына Якова де-ла-Гарди, извѣстнаго въ нашей исторіи своими воинскими подвигами.

Мы назвали заглавіе книги Котошихина неопредѣленнымъ собственно потому, что изъ его книги нельзя получить никакого понятія о состояніи Россіи въ царствованіе одного изъ благодушнѣйшихъ государей ея, Алексѣя Михайловича. О церкви и духовенствѣ Котошихинъ вовсе не упоминаетъ въ своей книгѣ; о народѣ и низшихъ сословіяхъ говоритъ вообще мало. Преимуществомъ распространяется онъ о бытѣ и жизни высшихъ сословій, придворнаго и боярскаго. Съ знаніемъ дѣла, чисто-фактически, какъ посторонній, хотя и не совсѣмъ спокойный наблюдатель, Котошихинъ развертываетъ передъ нами непривлекательную картину нашего общественнаго быта въ царствованіе Алексѣя Михайловича, и весьма отчетливо знакомитъ насъ съ устройствомъ всего современнаго административнаго механизма. Книга его важна именно тѣмъ, что „дастъ свѣдѣнія, которыя были недоступны для иностранца и составляли, по понятіямъ того времени, канцелярскую тайну“.

Котошихинъ доказываетъ положительно несостоятельность бояръ, какъ правителей и какъ совѣтниковъ царскихъ, на томъ собственно основаніи, что многіе изъ нихъ — „грамотѣ не ученые и не студерованные“. Съ ужасомъ и отвращеніемъ говоритъ Котошихинъ о состояніи правосудія въ Россіи и не упускаетъ нигдѣ случая сравнивать наши учрежденія съ учрежденіями западными, выставляя на видъ превосходство послѣднихъ и крайне сожалея о томъ, что соотечественники его не посылаютъ дѣтей

учиться за границу и что для нихъ самихъ всякій выѣздъ за границу, даже по торговымъ дѣламъ, оказывается крайне затруднительнымъ. Переходя отъ описанія нравовъ общественныхъ къ подробностямъ семейнаго быта, Котошихинъ и здѣсь, перечисляя всѣ мрачныя стороны современной жизни семейной, какъ на главную основу бѣдствій указываетъ на то, что „московскаго государства женскій полъ неученъ“. Общій выводъ его тотъ, что главная причина всѣхъ современныхъ нестроений, достигшихъ крайняго предѣла въ „московскомъ государствѣ—это все же невѣжество, также достигшее крайнихъ предѣловъ своего развитія. — „Надо учиться, у иностранцевъ учиться, и дѣтей туда же для обученія посылать!“ — вотъ мысль, которая, при чтеніи сочиненій Котошихина, проглядываетъ изъ каждой его строки.

Другое, не менѣе важное свидѣтельство представляетъ намъ обширный трудъ Юрія Крижанича, родомъ хорвата, а по званію католическаго священника, прибывшаго въ Россію въ 1659 году. Юрій Крижаничъ род. въ Загребской жупаніи, въ 1617, и, по происхожденію, принадлежалъ къ одному изъ весьма древнихъ и знатныхъ, но обѣднѣвшихъ родовъ. Какъ многіе изъ обѣднѣвшихъ хорватскихъ дворянъ, Юрій Крижаничъ вынужденъ былъ избрать духовную карьеру, и, покровительствуемый Загребскимъ епископомъ Винковичемъ, обратившимъ вниманіе на его замѣчательныя способности, отправленъ былъ (ок. 1638 г.) сначала въ Вѣнско-Хорватскую семинарію, а оттуда, въ Болоню, для изученія высшихъ наукъ, въ особенности юридическихъ. Отсюда онъ, уже по собственной охотѣ, перебрался въ Римъ, и, увлекаясь идеей уніи, поступилъ здѣсь въ греческую коллегію св. Анастасія, въ которой и сошелся съ нѣсколькими выходцами изъ Польши и Россіи. При помощи этихъ выходцевъ онъ ознакомился съ языкомъ русскимъ и церковно-славянскимъ, отъ нихъ же получилъ и первыя понятія о Россіи и о русскомъ народѣ. Нѣсколько позже, разочаровавшись въ идеѣ религіозной уніи, Крижаничъ, болѣя сердцемъ о жалкой участи своей отчизны и всего славянства подъ гне-

¹⁾ Онъ былъ казненъ за убійство хозяина дома, въ которомъ жилъ; причиною ссоры была жена хозяина.

томъ турокъ и нѣмцевъ, сталъ переходить къ другому увлеченію—къ увлеченію идеей громаднаго всеславянскаго государства, которое, по его мнѣнію, должно было создаться въ будущемъ, подъ непосредственнымъ главенствомъ Россіи. И вотъ, подъ вліяніемъ этого увлеченія, Крижаничъ, въ 1657 г., задумалъ ѣхать въ Россію, и, проживъ нѣкоторое время во Львовѣ, явился въ Малороссію. Здѣсь прожилъ онъ долго, близко вглядѣлся въ отношенія Малороссіи къ Польшѣ, и Бѣлороссіи, и наконецъ переехалъ въ Москву. По собственному признанію Крижанича, онъ пришелъ въ Россію дабы выполнить три главныхъ задачи: „во первыхъ, поднять славянскій языкъ, написавши для него грамматику и лексиконъ, чтобы мы могли правильно говорить и писать, чтобы было у насъ обиліе реченій, сколько нужно для выраженія человѣческихъ мыслей при общихъ народныхъ дѣлахъ; во-вторыхъ—написать исторію славянъ, въ которой опровергнуть нѣмецкія лжи и клеветы: въ третьихъ—обнаружить хитрости и обольщенія, которыми чужіе народы обманываютъ насъ, славянъ“. Первую и послѣднюю изъ этихъ задачъ Крижаничъ дѣйствительно и привелъ въ исполненіе, но—уже во время пребыванія въ ссылкѣ, въ Тобольскѣ, куда онъ, по неизвѣстной причинѣ, отправленъ былъ въ 1661 г., чтобы, по Государеву указу, „быть ему тамъ у Государевыхъ дѣлъ, у какихъ пристойно“. Г. Соловьевъ предполагаетъ, что причиною ссылки молодого хорвата была та горячность, съ какою возставалъ онъ противъ греческаго духовенства, прибывавшаго въ Россію, стараясь всячески изобличить его своекорыстіе и различныя злоупотребленія щедростію русскихъ людей. Богѣ другихъ трудовъ Крижанича важно для насъ его сочиненіе, изданное лишь весьма недавно подъ общимъ заглавіемъ: „Русское государство въ половинѣ XVII вѣка“. Характеромъ изложенія книга Крижанича значительно отличается отъ книги Котошихина:—здѣсь читатель видитъ не подробное, критическое описаніе современнаго состоянія нѣкоторыхъ частей государственнаго и общественнаго организма Россіи XVII вѣка, а нѣсколько тенден-

ціозное разсужденіе о томъ, какъ бы слѣдовало измѣнить современное положеніе дѣлъ въ Россіи, въ какой степени допустить иноземное вліяніе, и какія именно мѣры принять противъ того или другаго общественнаго зла или недуга. Чрезвычайно любопытнымъ кажется намъ то, что Крижаничъ въ своемъ увлеченіи могуществомъ и политическою независимостью Россіи, въ которой онъ видитъ въ будущемъ единственную опору славянскаго міра, совѣтуетъ русскимъ равно опасаться и нѣмцевъ, и грековъ, и хотя по мѣрѣ силъ и перенимать отъ нихъ все хорошее, но нѣтъ, ни другимъ не давать возможности приобрести вліяніе на внутреннее устройство государства російскаго. Сверхъ того, онъ совѣтуетъ, воспользовавшись единодержавнымъ устройствомъ московскаго государства, вводить въ немъ необходимыя для его благосостоянія реформы прямо сверху, чисто административнымъ путемъ, не затрудняясь сопротивленіемъ массы¹⁾. И въ заключеніе своей книги ученый хорватъ предлагаетъ то же самое средство, какое выше мы уже слышали изъ устъ Котошихина. Первое и главное средство—это наука; необходимо ввести ее въ Россію и окружить себя мертвыми совѣтниками, книгами, „ибо между живыми людьми мало добрыхъ совѣтниковъ, а книги не увлекаются ни алчностью, ни враждою, ни любовью: книги не ласкаются, не боятся повѣдать истинны“. „Всякимъ другимъ людямъ“—продолжаетъ Крижаничъ—„хорошо учиться мудрости изъ практическаго опыта; не полезно же это однимъ только верховнымъ владѣтелямъ, потому что частный человѣкъ учится ошибками, а ошибки государей влекутъ за собою несправимыя бѣдствія народныя. И такъ государямъ необходимо учиться мудрости отъ добрыхъ учителей, книгъ и совѣтниковъ, а не изъ опыта. Да не скажетъ кто-либо, что намъ, славянамъ, путь къ знанію закрытъ рѣшеніемъ небесъ, какъ будто бы мы не могли и не должны были усвоивать себѣ науки: и остальные народы не въ одинъ день и годъ, но мало по малу учились отъ другихъ; такъ и мы

¹⁾ Этотъ способъ дѣйствій, а отчасти и программа предлагаемыхъ Крижаничемъ реформъ не могли не оказывать въ послѣдствіи нѣкотораго вліянія на Великаго Преобразователя Россіи, тѣмъ болѣе что сочиненіе Крижанича, какъ достоверно извѣстно, находилось въ числѣ прочихъ книгъ „на верху государевомъ“.

можемъ научиться, если захотимъ и поставимся. И теперь именно время учиться, потому что Богъ возвысилъ на Руси государство славянское, какого прежде никогда не бывало въ нашемъ племени, а известно, что у народовъ науки начинаютъ процвѣтать въ періодъ наибольшей силы политической. Скажутъ: между мудрыми рождаются ереси, и потому не надобно учиться мудрости. Отвѣчаю: ереси начинаются и между неучеными людьми. Мудростью ереси искореняются, а вслѣдствіе неумѣнья пребываютъ во вѣки. Отъ огня, воды, жѣлѣза умираютъ многіе люди, но безъ жѣлѣза, огня и воды и жить то нельзя: точно также и мудрость потребна людямъ⁴. Грустно подумать, что такой ученый и способный труженникъ не могъ быть оцѣненъ въ ту пору на Руси, и что только уже по воцареніи царя Θεодора Алексѣевича, въ 1676 г., состоялся приказъ о возвращеніи Ю. Крижаннича изъ ссылки въ Москву. Здѣсь пробылъ онъ не долго, и умеръ въ Россіи. И такъ, черезъ сто лѣтъ послѣ Курбскаго еще нужны были люди, которые бы повторяли то, что уже было имъ высказано, и точно также, какъ онъ, защищали бы пользу науки и образованія!

Но въ теченіе этихъ ста лѣтъ успѣло совершиться многое. „Экономическая и нравственная несостоятельность была признана“, — говоритъ намъ историкъ — „народъ живой и крѣпкій рвался изъ плена, въ которыхъ судьба держала его долѣе, чѣмъ слѣдовало. Вопросъ о необходимости поворота на новый путь былъ рѣшенъ; новости являлись необходимо. Сравненіе и тяжелый опытъ произвели свое дѣйствіе, раздались страшныя слова: „у другихъ лучше“ — и не перестанутъ повторяться... Слова страшныя, потому что они необходимо указывали на приближающееся время заимствованій, ученія, время духовнаго ига, хотя и облегченнаго политическою независимостью и могуществомъ, но все же тяжелого. Дѣло необходимое, но тяжелое не могло сдѣлаться легко, спокойно, безъ сопротивленія, которое вызывало борьбу, вело къ перевороту, т. е. къ дѣйствию насильственному⁴⁾“.

И вотъ, дѣйствительно, во второй поло-

винѣ XVII вѣка наступаетъ періодъ ожесточенной борьбы стараго порядка вещей съ новымъ, старыхъ идей съ новыми; на одной сторонѣ стоятъ всѣ приверженцы старины и преданія, всѣ поклонники узкаго, буквальнаго толкованія религіи и закона, съ ужасомъ взирающіе на грозный для нихъ и неудержимый напоръ всякихъ новшествъ, — съ другой стороны, образованное меньшинство, смѣло избирающее новый путь, поддерживаемое постоянно прибывающими въ Москву новыми, свѣжими людьми, уже успѣвшими вкусить западной науки въ школахъ юго-западной Руси и въ кіево-могилянскои коллегіи.

Духовная жизнь и дѣятельность древней Руси вся сосредоточивалась въ церкви и духовенствѣ, и вотъ почему при наступленіи вышеупомянутаго періода тревожныхъ опасеній за поврежденіе древнихъ преданій и стараго порядка вещей, при наступленіи періода борьбы противъ суевѣрій и въ защиту науки и образованія — этой борьбѣ прежде всего суждено было проявиться въ церкви нашей и въ средѣ духовенства. Борьба эта, какъ извѣстно, открыто началась въ патриаршество Никона.

Патріархъ Никонъ (род. 1605, ум. 1681) представляетъ собою одинъ изъ наиболѣе видныхъ и замѣчательныхъ типовъ того тяжкаго переходнаго времени, которое Русь переживала въ исходѣ XVII вѣка, наканунѣ эпохи преобразованій; крестьянинъ родомъ (нижегородской области, села Вильдеманова), суровый аскетъ по духу, онъ уже очень рано увлекся тѣмъ идеаломъ созерцательнаго, нравственнаго успокоенія, который столь многимъ казался привлекателенъ въ XVII столѣтіи: — 12 лѣтъ онъ уже убѣгаетъ изъ родительскаго дома въ монастырь, и тамъ, несмотря на свой отроческій возрастъ, удивляетъ всю братію своими подвигами. Вызванный родными изъ монастыря и вынужденный ими жениться, онъ черезъ нѣсколько лѣтъ снова возвращается въ монастырь, и удаляется на Бѣлое море, гдѣ видѣли его сначала простымъ инокомъ въ Анзерскомъ скиту, а потомъ игуменомъ въ Кожезерскомъ монастырѣ. Въ 1646 году, случайно попавъ въ Москву по дѣламъ своего монастыря, Никонъ обращаетъ на себя внима-

⁴⁾ Соловьевъ; стр. 170.

ніе царя Алексѣя Михайловича, котораго поражаетъ его величавая наружность и необычайная сила рѣчи. Онъ уже не возвращается на сѣверъ, и черезъ два года, въ 1648 г., видимъ его митрополитомъ новгородскимъ, а четыре года спустя — патриархомъ (съ 25 іюля 1652 года). Съ пер-

стиженію извѣстныхъ, избранныхъ цѣлей. Одною изъ такихъ цѣлей являлись для Никона нѣкоторыя преобразованія въ церковномъ устройствѣ и крайняя необходимость въ исправленіи текста церковныхъ книгъ, которыя, благодаря невѣжеству справщиковъ, болѣе и болѣе начинали пестрѣть прома-



Никонъ.

вой минуты, когда судьба выдвигаетъ Никона на видное историческое поприще, и до послѣдней минуты пребыванія на немъ, Никонъ постоянно является намъ замѣчательнымъ историческимъ дѣятелемъ, энергическимъ администраторомъ, человекомъ, одареннымъ желѣзною волею и способнымъ неутомимо, непреклонно стремиться къ до-

хамъ и погрѣшностями всякаго рода, намѣренными и ненамѣренными. Особеннымъ искаженіямъ и поврежденіямъ отъ справщиковъ подверглись богослужебныя книги, напечатанныя при патриархѣ Іосифѣ. И вотъ, не смотря на ропотъ духовенства и на всевозможныя препятствія, Никонъ рѣшительно принялся за дѣло исправленія

къ нему немедленно. Въ 1754 аеть онъ соборъ, на которомъ равить книги по древно-славян-реческимъ рукописямъ; тотчасъ по его приказанію, изъ раз-тырскихъ и церковныхъ библио-ей Россіи, высылаются всѣ не-для исправленія книгъ древнѣй-си. Но Никонъ не довольствуе-онъ назначаетъ уже извѣстнаго аго, Елифанія Славинецкаго, гъ книгъ при московской типо-авить его въ числѣ нѣсколькихъ оковъ для того, чтобы ихъ тру-

нимъ, береть къ себѣ въ помощники и дру-гаго ученаго, Арсенія Грека, котораго вы-зываетъ даже изъ ссылки ²⁾. Въ 1655 и въ 1656 гг. опять Никонъ собираетъ соборы; исправленный имъ служебникъ уже готовъ и отпечатанъ, уже разсылается всюду по церквамъ, а прежнія старо-печатныя книги всюду, по повелѣнію патріарха, отбираются.

Съ этой минуты, для приверженцевъ старины уже не остается болѣе никакого сомнѣнія на счетъ того, что дѣйствительно наступаетъ для Россіи какой-то новый и страшный своею новизною періодъ. Уже на соборѣ 1654 года, нѣкоторые изъ духов-

Подпись Никона.

тория, наиболѣе искаженныя книги могли быть вновь пе-ъ греческаго. Съ другой сторо-правляется на востокъ и на аеон-іеромонаха Арсенія Суханова, и новаго запаса древнихъ руко-оторыя бы могли служить къ по-же отовсюду собраннаго въ Моск-наго матерьяла. Наконецъ и самъ рко слѣдитъ за дѣломъ исправ-юдаеть, разспрашиваетъ, учится Славинецкаго и совѣтуется съ

ныхъ лицъ (между прочимъ Павелъ, епи-скопъ коломенскій) отказались подписаться подъ рѣшеніями собора; когда же, послѣ третьяго собора (1656 г.), стали всюду раз-сылать новыя, а отбирать старыя книги, расколъ обнаружился явно и на словахъ, въ нескончаемомъ рядѣ обвиненій и чело-битныхъ царю противъ патріарха Никона, и даже на дѣлѣ, съ оружіемъ въ рукахъ:— въ 1656 г. начался тотъ знаменитый мя-тежъ соловецкаго монастыря, который кон-чился 20 лѣтъ спустя, въ 1676 году. Соло-

ій Сухановъ привезъ въ Москву болѣе 500 рукописей, которыя и послужили глав-патріаршей библиотекѣ, нынѣ извѣстной подъ названіемъ Синодальной. ²⁾ Арсеній шъ въ Москву въ 1649 году, но скоро навлекъ на себя своею ученостью подозрѣ-мъ патріарха Іосифа и другихъ приверженцевъ старины и былъ сосланъ въ Соловецкій

вещие монахи отказывались принимать новыя, никоновскія книги и, пользуясь неприступным положеніем своей обители, цѣлыя двадцать лѣтъ отсиживались за стѣнами ея отъ царскихъ воеводъ. За соловецкимъ мятежемъ послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ смутъ и волненій, въ основѣ которыхъ лежало то же недовольство современнымъ порядкомъ вещей, выражавшееся въ стремленіи раскольниковъ отстоять отживающую старину противъ напора исторической необходимости.

Первыми расколоучителями, конечно, должны были явиться тѣ самые люди, которые при патриархѣ Іосифѣ стояли во главѣ книжнаго дѣла: духовникъ царя, Стефанъ Воинфантьевъ, ключарь успенскаго собора, Іоаннъ Нероновъ, благовѣщенскій дьяконъ Теодоръ, протопопы: Аввакумъ изъ Юрьевца, Логгянъ изъ Муромъ, Даниилъ изъ Костромы, начальникъ печатнаго двора при патриархѣ Іосифѣ, князь Львовъ, священники Никита и Лазарь. Очувтившись въ положеніи людей отсталыхъ, они зорко слѣдили за дѣйствіями новыхъ дѣятелей, и совершенно чистосердечно предавали проклятію ихъ дѣятельность, въ которой они съ пелицѣмѣрнымъ религіознымъ ужасомъ замѣчали неслыханныя до того церковныя „новшества“. Они стали подавать царю челобитныя, умоляя его защитить погибающее православіе, являлись на печатный дворъ ругаться съ новыми справщиками, кричали о томъ, что древнее благочестіе поколеблено, публично хулили патриарха и съ фанатическимъ раздраженіемъ лѣзли на столкновение съ Никономъ¹⁾. Никонъ не уклонился отъ борьбы и легко поддавался соблазну крутыхъ мѣръ: начались заточенія и ссылки, истязанія и преслѣдованія, которымъ обрадовались фанатики, какъ мученичеству, какъ желанному страданію за древнее благочестіе. Оставленіе Никономъ патриаршества и восьмилѣтнее отсутствіе его послужило на пользу усиленія партіи старины. Одинъ изъ ревностѣйшихъ расколоучителей, протопопъ Аввакумъ²⁾, былъ даже возвращенъ изъ дальней ссылки, и могъ открыто, въ самой Москвѣ, проповѣдывать противъ исправле-

ній и Никона, котораго называлъ „волкомъ, сыномъ геены, антихристомъ, злѣйшимъ изъ еретиковъ.“ Въ числѣ почитателей Аввакума видимъ знатнѣйшихъ бояръ и боярынь, даже просвѣщеннаго Теодора Ртищева; самъ благодушный царь Алексѣй Михайловичъ принялъ его съ ласкою, уговаривалъ смягчиться, соединиться съ церковью, и, по собственному признанію Аввакума, чуть не поколебалъ его своею добротою... Но возвращеніе было невозможно для Аввакума и его сторонниковъ: великій московскій соборъ, осудившій Никона за высокомеріе и властолюбіе его, за способъ дѣйствій, несогласный съ его саномъ, въ то же время одобрилъ всѣ его церковныя исправленія, одобрилъ книгу Скрижалъ и Жезлъ Правленія, написанныя противъ раскола Симеономъ Полоцкимъ и подвергъ строгому допросу главныхъ противниковъ церкви. Нѣкоторые изъ нихъ принесли покаяніе и примирились съ новшествами; но Аввакумъ, Лазарь и Теодоръ, какъ нераскаянные, преданы анаемѣ и сосланы въ дальнія ссылки... Нѣсколько позже, они достигаютъ той цѣли, къ которой такъ пламенно стремились — и погибаютъ на крестѣ (1681).

Памятникомъ этой первой борьбы, зачавшейся при первомъ вѣяніи новизны, въ средѣ московскаго общества, конца XVII в., и охватившей позднѣе всю Россію, до крайнихъ ея предѣловъ, осталась цѣлая литература раскольническихъ челобитныхъ и сочиненій, вызвавшая и цѣлый рядъ отвѣтовъ со стороны защитниковъ новизны. Не входя въ ближайшее разсмотрѣніе этого обширнаго литературнаго отдѣла, который уже и сдѣлался у насъ предметомъ спеціальнаго изученія, мы однакоже долгомъ считаемъ сказать нѣсколько словъ о томъ произведеніи раскольнической литературы, которое превосходно рисуетъ типъ одного изъ первыхъ и важнѣйшихъ расколоучителей, а вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ и яркую картину московскаго общества конца XVII вѣка. Мы говоримъ о „Житіи протопопа Аввакума имъ самимъ написанномъ“ — одномъ изъ тридцати слишкомъ сочиненій, оставленныхъ этимъ расколоучителемъ. Не смотря

¹⁾ Знаменскій. Рук. къ русск. п. ист. 299. ²⁾ Род. между 1605 — 1610 гг. «въ нижегородскихъ предѣлахъ», слѣдовательно былъ землякомъ Никона.

на крайнюю непоследовательность изложения, Аввакум сумел однакоже в своей автобиографии оставить нам такой литературный памятник, который и в настоящее время нельзя читать без особенного увлечения. Грубый, простой рассказ протопопа, пересыпанный бранью против патриарха и никонианъ, испещренный то ужасными и трагическими, то грязными и возмутительными подробностями современного быта, поражает читателя восторженною, горячею настроенностью автора, готовностью постоять до конца за идею, одинаковым равнодушиемъ къ земнымъ и благамъ, и бѣдствіямъ. Скорбная, нескончаемая повесть страданій несчастнаго протопопа и его семьи за дѣло, которое онъ считаетъ правымъ, переполнена чертами истинно-геройскаго мужества — и слѣпой приверженностью къ самымъ смѣшнымъ, дѣтскимъ, предразсудкамъ; высоко-поэтическими описаніями различныхъ проявленій религиозной восторженности — и наивными эпизодами, явно свидѣтельствующими объ ограниченности, о неразвитости истиннаго религиознаго чувства и пониманія, погрязнушаго въ мелочахъ узкаго, витѣшняго, обрядоваго консерватизма. Этотъ консерватизмъ, основанный на слѣпомъ уваженіи къ старинѣ, на безусловномъ отрицаніи новшествъ, на голословномъ утвержденіи: „до насъ положено — лежи оно такъ во вѣки вѣковъ“ — представляетъ собою преобладающую, главную черту всей Аввакумовской книги, невольно обращающую на себя вниманіе читателя. Въ каждой строкѣ автобиографіи Аввакума читателю представляется живой образъ того поколѣнія, которое вступило въ борьбу съ новыми идеями при Никонѣ и уступило только желѣзной волѣ Петра. Уступило, не давъ ни побѣдить, ни убѣдить себя, но отрেকшись отъ новаго типа русской жизни, но предавъ анаѣмъ всѣ ея проявленія, дурныя и хорошія, вредныя и полезныя. Уступило — уклонившись въ расколъ, разорвавъ связи съ обществомъ, убѣгая отъ соблазна въ дремучіе лѣса и необитаемыя пустыни дикаго сѣвера или высялаясь за границы русской земли на враждебныя намъ окраины сосѣднихъ государствъ.

Слѣдя однакоже за энергическою дѣятельностью Никона, противопоставляя Никона и его приверженцевъ — Аввакуму и партіи

первыхъ расколоучителей, мы приходимъ къ тому несомнѣнному убѣжденію, что между этими первыми, случайно столкнувшимися защитниками прошлаго и дѣятелями грядущаго было еще очень много общихъ, подобныхъ чертъ, и что ожесточеніе, приданное борьбѣ уже на первыхъ порахъ, было въ значительной степени дѣломъ личнаго характера борцовъ, явившихся во главѣ столкнувшихся партій. Всматриваясь ближе въ нравственный типъ Никона, мы видимъ въ немъ много чертъ, общихъ съ типомъ Аввакума, неразрывно связанныхъ съ тою самою стариною, противъ которой онъ такъ усердно, по видимому, ратовалъ. Никонъ, —



Печатный гербъ Никона.

если станемъ разсматривать его внѣ того круга церковныхъ исправленій, внѣ области тѣхъ новшествъ, которыя онъ вносилъ въ богослуженіе и книги, — явится каждому изъ насъ никакъ не однимъ изъ тѣхъ новыхъ, передовыхъ дѣятелей, которые выступили послѣ него на то же поприще и подготовили общество къ эпохѣ преобразованія... Напротивъ, онъ явится намъ также сторонникомъ старины, въ которой онъ искалъ идеаловъ для измѣненія существующаго порядка вещей, отъ которой онъ заимствовалъ и наивную вѣру въ убѣдительность доводовъ, поддержанныхъ колодой, цѣпями и ссылкой. Приверженность къ старинѣ высказывалась

въ Никонѣ и тѣмъ, что, вводя свои церковныя новшества, онъ въ то же время возставалъ противъ новыхъ государственныхъ понятій и съ суетвѣрною нетерпимостью относился къ первымъ проблескамъ европейской цивилизаціи: жегъ въ боярскихъ домахъ картины и органы, рѣзалъ въ куски ливреи, сдѣланныя по западному образцу для домовыхъ слугъ. Избытокъ личной силы и характера долженъ былъ, при этомъ настроеніи, поставить его въ самое невыгодное положеніе между двумя противоположными партіями, которыя „богатырю-патріарху“ (какъ справедливо называетъ его г. Соловьевъ) удалось только рѣзче, опредѣленнѣе отдѣлать одну отъ другой. Но дальнѣйшій ходъ историческихъ событій вскорѣ выдвигаетъ на мѣсто Никона другихъ, гораздо менѣе сильныхъ и страшныхъ, но гораздо болѣе искусныхъ и опасныхъ борцовъ. Въ то время, когда власти свѣтскія и духовныя напрасно пытаются образумить раскольниковъ то ласкою, то преслѣдованіями и даже истязаніями, во главѣ общества московскаго и въ средѣ духовенства являются новые люди, которые вступаютъ въ новую, и притомъ единственно-возможную борьбу съ расколомъ и приверженцами старины:—главнымъ оружіемъ этихъ борцовъ является слово, опирающееся постоянно на науку, а иногда и колкая сатира, всегда мѣтко достигающая своей цѣли. Въ ряду этихъ новыхъ людей нельзя не отнести первое мѣсто знаменитому іеромонаху, Симеону Полоцкому, который въ числѣ юго-западныхъ ученыхъ, послѣ Галатовскаго и Лазаря Барановича, пользовался наибольшою извѣстностью. Въ то время, когда путь въ Москву открылся для кіевскихъ ученыхъ, когда тамъ стали нуждаться въ трудахъ ихъ и цѣнить ихъ, въ числѣ другихъ, въ 1665 году прибылъ туда и Симеонъ Полоцкій.

Симеонъ Емельяновичъ Петровскій-Ситніоновичъ (род. въ апрѣлѣ 1629 г., ум. 25 авг. 1680 г.), происхожденіемъ былъ вѣроятно бѣлорусъ. Неизвѣстно, какъ звали его въ мірѣ: имя Симеона получилъ онъ уже въ монашествѣ. Неизвѣстно также и кто были его родители, и гдѣ получилъ онъ первоначальное образованіе. Предполагаютъ, что закончилъ онъ его въ знаменитой Кіево-Могилянской коллегіи. Точно также не имѣемъ мы никакихъ вѣрныхъ извѣстій и о дальнѣйшей судьбѣ

Симеона, по выходѣ изъ училища; предполагаютъ однако же, что по окончаніи ученія онъ оставилъ Кіевъ, принявъ монашество подъ именемъ Симеона въ Полоцкомъ Богоявленскомъ братскомъ монастырѣ и сдѣлавъ дидакаломъ (преподавателемъ) въ тамошнемъ братскомъ училищѣ. Еще до пріѣзда въ Москву, во время Ливонской войны, онъ сталъ уже лично извѣстенъ царю Алексѣю Михайловичу, и потому неудивительно, что въ 1672 году царь назначаетъ его въ воспитатели къ юному царевичу Теодору Алексѣевичу.



Симеонъ Полоцкій.

Дѣятельность Симеона Полоцкаго, во время пребыванія его въ Москвѣ, является на столько же общественною, на сколько и литературною, и ее нельзя не разсматривать съ этихъ обѣихъ сторонъ; нельзя въ то же время не сознаться, что и съ той, и съ другой стороны дѣятельность Симеона Полоцкаго является намъ не только весьма важною, но и привлекательною, и даетъ ему полное право на уваженіе потомства.

Уже самый выборъ Полоцкаго въ наставники царевича Теодора былъ однимъ изъ наиболѣе видныхъ признаковъ наступленія новаго времени. До той поры исключительными наставниками царевичей бывали поды-

которые весьма просто учили их грамоте, читать и писать, по Часослову и Псалтирю, и по азбуковникам, в которых положены были в азбучном порядке слова, попадающихся в книгах. Телом царевича, до Полоцкого, был еще подъячий посольского приказа, Памфилий Бляжников. Но в правление царя Алексея Михайловича на этом уже не могло заключиться воспитание царевича: — и ему даются в наставники Симеона Полоцкого, который не только представлял собою ходячую энциклопедию современной культуры, но еще при этом был и крестом изложить знания свои, и притом к этому. Занимаясь воспитанием царевича, в то же время и безпрестанно успевал говорить проповеди, писать стихи по поводу каждого, сколько нибудь замечательного события, сочинял драмы для домашнего дворцового театра, вел полемику с раскольниками, заботился о распространении образованности в России — одним словом, не оставляя без ответа ни одного из тех вопросов, разрешение которых так сильно требовала живая современность.

Наиболее ярким образом проповедническая деятельность его была направлена против раскола, раскола и неbreжения в воспитании. Памятниками этой деятельности остаются его сочинения, под заглавием: „Жезлы влечения“, заключающее в себя обличение раскольниковых мнений, написанное в сочинении, поданных двумя расколу учителями, Никитой и Лазарем; сочинения же свои Симеон Полоцкий сочинил в два обширные сборника под заглавием „Объяд душевный“ и „Вечера душевные“. Несмотря на эти вычурные заглавия сборников, напоминающих общую истинность юго-западной учености, произведения Симеона Полоцкого, написанные простым и гладким, вовсе не отличаются запутанностью и риторизмом. Все всего любит он вставлять в свои сочинения рассказы и эпизоды, заимствованные из жизни или из литературы, и все служит ему подтверждением выносимой мысли. Многие из этих произведений его драгоценны по отношению к

описанию современных народных суеверий, обычаев и предрассудков. Но гораздо важнее для нас то, что с своей проповеднической кафедрой Симеон Полоцкий не переставал утверждать смелое, к великому ужасу приверженцев старины: „и зло, и благо нисходят на чадь не по естеству от родителей, а от учения. Учиться же слѣдует каждому: и монаху, и мирянину; чтение божественных писаний всем полезно: и мужчинам, и женщинам“.

И в присутствии патриархов восточных, приехавших в Москву для суда над патриархом Никоном, тот же неутомимый Симеон Полоцкий, в речи своей обращается к царю с молением: „положи в сердца твои училища — греческия, славянския и инныя — назидати, учащих (в них) умножати, учителей възскасти“.

И голос его не остается „гласом вопиющего в пустыню“. Училища начинают

Симеонъ
Полоцкiй

Автографъ Симеона Полоцкаго.

умножаться. Прихожане церкви Иоанна Богослова получают от царя Алексея Михайловича дозволенную грамоту на основание славяно-греко-латинскаго училища. Несколько позже, воспитанный Симеоном Полоцким царь Феодор Алексеевич заводит в Москвѣ еще одно училище, при типографіи, которое по тому самому и получает название типографскаго (въ 1679). Вскорѣ послѣ того царь хочет даже возвысить его до значенія академіи; но смерть царя и стрѣлечіе бунты препятствуют исполненію этихъ плановъ, хотя, по видимому, все уже было готово для ихъ приведенія въ исполненіе — даже грамота объ учрежденіи академіи была уже написана Симеономъ Полоцкимъ. Но дѣло не могло на долго оставаться нерѣшеннымъ: потребность въ высшемъ учебномъ заведеніи уже чувствовалась многими, и потому, какъ только пріутихли стрѣлечіе смуты, такъ снова мысль объ учрежденіи академіи всплы-

ла наружу. Ученикъ Симеона Полоцкаго, настоятель законоспаскаго монастыря, Сильвестръ Медвѣдевъ, вмѣстѣ съ чудовскимъ монахомъ Каріономъ Истоминнымъ, въ стихотворномъ посланіи, обратились къ правительницѣ, царевнѣ Софьѣ и просили ее „о водвореніи наукъ въ Россіи“. Вскорѣ послѣ того, когда прибыли, въ 1685 году, въ Россію двое ученыхъ грековъ — братья Лихуды (Іоанникій и Софроній) — при московскомъ законоспаскомъ монастырѣ около воскресенскихъ воротъ, открыта была первая въ Россіи духовная, славяно-греко-латинская академія.

Но все это совершалось медленно, среди тысячи препятствій, противоположаемыхъ невѣжествомъ и фанатизмомъ, которые старались всѣми силами запутать дѣло, задерживать быстрое введеніе въ Россію новой европейской науки, обвинить новыхъ учителей въ ереси и неуваженіи къ православію. Такого рода обвиненіямъ подвергался и Симеонъ

Полоцкій, и сами братья Лихуды... Но исторія все же шла своимъ неуклоннымъ путемъ къ великой эпохѣ преобразованій. Иностранца страшились и избѣгали, отъ иновѣрцевъ старались оберечь себя и оградить; а иновѣрцы толпами идутъ въ Россію въ видѣ наемныхъ офицеровъ, мастеровъ всякаго рода, заводчиковъ, лѣкарей. Они селятся и въ самыхъ стѣнахъ и подъ стѣнами Бѣлокаменной. Притомъ же отъ многосторонней до безконечнаго разнообразія развившейся цивилизаціи запада и мудро было защититься: она уже задолго до конца XVII столѣтія „запила свои сѣти на русскихъ людей, приманивая ихъ къ себѣ новыми для нихъ удовольствіями и удобствами жизни. Часы, картина, покойная карета, музыкальный инструментъ, сценическое представленіе—вотъ чѣмъ сначала, мало-по-малу, подготавливались русскіе люди къ преобразованію, какъ дѣти приманиваются игрушками къ ученію“. ¹⁾

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ШЕСТНАДЦАТОЙ.

Изъ житія протопопа Аввакума

ИМЪ САМИМЪ НАПИСАННАГО.

Рожденіе мое въ нижегородскихъ предѣлахъ, за Кудмою рѣкою, въ с. Григоровѣ. Отецъ ми бысть священникъ Петръ, мати Марія, инока Марѳа. Отецъ же мой прилежаше питію хмѣльнаго; мати же моя пошница и молитвенница бысть, всегда учаше мя страху Божію. Азъ же нѣкогда видѣхъ у сосѣда скотину умершу и, той нощи оставши, предъ образомъ плакался довольно о душѣ своей, поминая смерть, яко и мнѣ умереть; и съ тѣхъ мѣстъ обыкохъ по вся нощи молиться. Потомъ мати моя овдовѣла и я осиротѣлъ молодъ, и отъ своихъ соплеменниковъ во изгнаніи быхомъ. Изволила же мати моя меня женить. Азъ же пресвятѣй Богородицѣ молихся, да дастъ ми жену помощницу ко спасенію. И въ томъ же селѣ дѣвица, сиротина-жъ, безпрестанно обмыла

ходити въ церковь, имя ей Анастасія. Отецъ ея былъ купецъ Марко, богатъ гораздо и, егда умеръ, послѣ его все истощилось. Она же, въ скудости живаше и моляшеся Богу, да сочетается за меня совокупленіемъ брачнымъ; и бысть по волѣ Божіей тако. По семъ мати моя отшедъ къ Богу въ подвизѣхъ нелицѣ. Азъ же, отъ изгнанія преселихся въ ино мѣсто, рукоположенъ въ діаконъ 20 лѣтъ съ годомъ и по дву лѣтѣхъ въ попи поставленъ.

А егда въ попѣхъ былъ, тогда имѣлъ у себя дѣтей духовныхъ много: по се время ²⁾ сотъ съ пять или съ шесть (и случилось однажды, когда Аввакумъ былъ недоволенъ своими отношеніями къ пастырь, что) пришедъ въ свою избу, плакался предъ образомъ Господнимъ, яко и очи опухли; и мо-

¹⁾ Соловьевъ XIII, стр. 170, 171, 217, 218. ²⁾ Т. е. время написанія біографіи.

лся прилежно, да отлучить мя Богъ отъ дѣтей духовныхъ, понеже бремя тяжело, неудобъ носимо. И падохъ на землю, на лицѣ своемъ рыдале горьцѣ; и забыхся лежа, невѣмъ, какъ плачу. А очи сердечніи прирѣкъ Волгѣ; вижу: плывутъ стройно два корабля златы и веслы на нихъ златы, и шесты златы, и все злато; по единому кормищу на нихъ сидѣльцевъ; и я спросилъ: „чье корабль?“ А они отвѣщали: „Лукинъ и Лаврентьевъ“. Сіи быша ми духовніи дѣти, меня и домъ мой поставили на путь спасенія и скончались богоугодно. А се потомъ вижу: третій корабль, не златомъ украшенъ, но разными пестротами, красно и бѣло, и сине, и черно и пепелно, его же умъ человѣчъ не выѣсти красоты его и доброты. Юноша свѣтелъ, на кормѣ сидя, прави, и я вскричалъ: „чей корабль?“ И сидя на немъ отвѣщалъ: „твой корабль; доплывай на немъ съ женою и дѣтьми, коли докучаешь“. И я, вострепетавъ и сѣдше, разсуждаю: „что се видимое и что будетъ плаваніе?“

А се по малѣ времени,—по писанному,—объяша мя боги́зны смертныя, бѣды адовы обыдоша мя; скорбь и боги́знь обрѣтохъ. Инъ начальникъ во пно время на мя разсвирѣпѣлъ. Прибѣжавъ ко мнѣ въ домъ, билъ меня и у руки отгрызъ персты, яко песь, зубами; и егда исполнилась гортань его крови, тогда руку мою испустилъ изъ зубовъ своихъ, и, покиня меня, пошелъ въ домъ свой. Азъ же, поблагодаря Бога, завертѣвъ руку платомъ, пошелъ къ вечерни; и егда шелъ путемъ, наскочилъ на меня онъ же паки съ двѣма малыми пищалями, и, близи меня бывъ, запалилъ изъ пистоля и божіею волею на полкѣ порохъ пыхнулъ, а пищаль не стрѣлила. Онъ же бросился на землю, и изъ другія паки запалилъ также, и божія воля учинила также: и та пищаль не стрѣлила. Азъ прилежно идучи, молюсь Богу, единою рукою осѣнилъ его и поклонился ему; онъ меня даетъ, а я ему рекъ: „благодать во устнѣхъ твоихъ, Иванъ Родіоновичъ, да будетъ“. По семъ дворъ у меня отнялъ и меня выбилъ, все ограба, и на дорогу хлѣба не далъ. Въ то же время родился сынъ мой Прокопій, который сидитъ съ матерію въ землѣ закопанъ. Азъ же,

взявъ кѣтку, а мати некрещенаго младенца, побрели, аможе Богъ наставитъ и на пути крестили, якоже Филиппъ каженника древле. Егда же азъ прибелъ къ Москвѣ, къ духовнику, протопопу Стефану и къ Неронову протопопу Іоанну, они же обо мнѣ царю возвѣстиша, и государь меня началъ съ тѣхъ поръ знати. Отцы же грамотоу паки послали меня на старое мѣсто, и я притащился: анъ п стѣны раззорены моихъ хранилъ, и я паки завелся, и діаволъ паки воздвигъ на меня бурю.

По семъ (т.-е по вторичномъ переселеніи въ Москву изъ Юрьевца) Никонъ, другъ нашъ, привезъ изъ Соловковъ Филиппа митрополита (мощи), и прежде его пріѣзду духовникъ Стефанъ, моля Бога и постясь седмицу съ братією и я съ ними тутъ же о патріархѣ (молился), да дастъ Богъ пастыря ко спасенію душъ нашихъ, и съ митрополитомъ казанскимъ, написавъ челобитную за руками подали царю и царцѣ о духовникѣ Стефанѣ, чтобы ему быть въ патріархахъ. Онъ же, не восхотѣвъ самъ, и указалъ на Никона митрополита. Царь его и послушалъ... Егда же Никонъ пріѣхалъ, съ нами яко лисъ, челомъ да здорово вѣдаемъ, что быть ему въ патріархахъ и чтобы откуля помѣшка какова не учинилась. Много о тѣхъ козняхъ говорить. Егда поставили патріархомъ, такъ друзей не сталъ и въ крестовую пускать, и сей ядъ отрыгнулъ.

Въ постъ великій прислалъ память къ Казанской (церкви) Никонъ къ Неронову Іоанну. А мнѣ (Нероновъ) отецъ духовный былъ, я у него все и жилъ въ церкви; егда куда отлучитси, азъ вѣдаю церковь: любо мнѣ у Казанскія, то и держался — чель народу книги, много людей приходило. Въ памяти Никонъ пишетъ годъ число „по преданію св. апостолъ и св. отецъ не подобаетъ въ церкви метанія творити на колѣну, но въ поясъ бы вамъ творити поклоны, еще же и тремя персты бы крестились“. Мы же задумались, сошедшися между собою; видимъ, яко зима хочетъ быти; сердце озябло и ноги задрожали. Нероновъ приказалъ ¹⁾ мнѣ церковь, а самъ скрылся въ Чудовъ, седмицу въ палатѣ молился, и сномъ ему отъ образа гласъ былъ во время молитвы: „время при-

¹⁾ Т. е. поручилъ.

спѣ страданія, подобаетъ вамъ неослабно страдати“. Онъ же мнѣ, плачучи, сказалъ также коломенскому епископу Павлу, его же Никонъ напоследокъ огнемъ жжегъ въ новгородскихъ предѣлахъ; потомъ Даниилу, костромскому протопопу, тоже сказалъ и всей братіи. Мы съ Данииломъ написахомъ изъ книгъ выписки о сложеніи перстѣ и о поклонѣхъ и подали Государю. Много писано было. Онъ же, не вѣмъ гдѣ, скрылъ ихъ; мнѣ ми ся, Никону отдалъ. Послѣ того вскорѣ схвативъ Никонъ Даниила въ монастырь затверенными вороты, при царѣ остригъ голову и содравъ однорядку, ругая, отвелъ въ Чудовъ въ хлѣбню, и, муча много, сослалъ въ Астрахань; вѣнецъ терновъ на голову тамъ ему возложили, въ земляной тюрьмѣ уморили... Также меня взяли отъ всенощной. Борисъ Нелединскій со стрѣльцами, человекъ со мною до 60 взяли, ихъ въ тюрьму отвели, а меня на патриарховъ дворъ на цѣпь посадили ночью. Егда же разсвѣтало въ день недѣльный, посадили меня на телегу и растянули руки и везли отъ патриархова двора до Андроньева монастыря и тутъ на цѣпи кинули въ темную палатку, ушла въ землю и сидѣлъ три дня, не ѣлъ не пилъ во тьмѣ, сидя, кланялся на цѣпи, не знаю на востокъ, не знаю на западъ. Никто ко мнѣ не приходилъ, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричатъ, и блохъ довольно. Бысть же и въ третій день прилченъ, сирѣчь ѣсть захотѣлъ, и послѣ вечерни ста предо мною невѣмъ ангелъ, невѣмъ человекъ, — и по се время не знаю, — токмо въ потемкахъ молитву сотворилъ и, взявъ меня за плечо, съ цѣпю къ лавкѣ привести, и посадилъ, и ложку въ руки далъ, хлѣбца немножко и штецъ далъ похлебать, зѣло превкусны хороши, и рекъ мнѣ: „полно; довольетъ ти ко укрѣпленію“... На утро архимандритъ съ братією пришли и вывели меня; журятъ мнѣ, что патриарху не покорился, а я отъ писанія его браню да лаю. Сняли большую цѣпь да малую наложили, отдали чернцу подъ началъ: велѣли волочить въ церковь. У церкви волосы дерутъ, и подъ бока толкаютъ, и за чепъ торгаютъ, и въ глаза плюютъ Богъ ихъ простить въ сей вѣкъ и въ будущій! Не ихъ то дѣло, но сатаны лукаваго. Сидѣлъ тутъ я четыре недѣли.

По семъ паки меня изъ монастыря водили гѣшаго на патриарховъ дворъ; также, руки

растения, и стазався много со мною, паки также отвели. Также въ Никитинъ день ходъ со кресты, а меня паки на телегѣ везли противъ крестовъ. И привезли къ соборной церкви стричъ, и держали въ обѣдню на порогъ долго. Государь съ мѣста сошелъ и, приступя къ патриарху, упросилъ не стричъ; и отвели въ сибирскій приказъ и послали меня въ Сибирь съ женою и дѣтьми, и колико дорогою нужды бысть, того всего много говорить, развѣ малая часть помянуть. Протопопица младенца родила, больную въ телегѣ и повезли до Тобольска; 3,000 верстъ недѣль съ тринадцать волокли телегами и водою, и санями половину пути.

По семъ указъ пришелъ: велѣно меня изъ Тобольска на Лену везти за сіе, что браню отъ писанія и укоряю ересь Никонову. Также сѣлъ опять на корабль свой, еже показалъ ми, — что выше сего рекохъ, — поѣхалъ на Лену. А какъ пріѣхалъ въ Енисейскъ, другой указъ пришелъ: велѣно въ Даурию вести, — двадцать тысячъ (верстъ) и больше отъ Москвы, — и отдать меня Аванасью Пашкову въ полкъ. Людей съ нимъ было 600 человекъ, и грѣхъ ради моихъ, суровъ человекъ; безпрестанно людей жжетъ и мучитъ, и бьетъ: и я его много уговаривалъ да и самъ въ руки попадѣлъ... Егда поѣхали изъ Енисейска, какъ буде въ большой Тунгускѣ рѣкѣ... на Долгомъ порогѣ сталъ (Пашковъ) меня изъ дощеника выбивать: „для тебя де дощеникъ худо идетъ; еретикъ де ты; поиди де по горамъ, а съ козаками не ходи“. О горе стало! Горы высоки, дебри непроходимы, утесъ каменной, яко стѣна стоитъ, — и поглядѣть заломъ голову; въ горахъ тѣхъ обрѣтаются змѣи великіе; въ нихъ же витають гуси и утѣцы — періе красное, вороны черныя и галки сѣрыя; въ тѣхъ горахъ орлы, и соколы, и кречеты, и курята индѣйскія, и бабы, и лебеди, и инныя дикія. Многие множество, птицы разныя. На тѣхъ же горахъ гуляють звѣри многіе: дикія козы, и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикіе въ очю нашу, а взять нельзя. На тѣ горы выбивалъ меня Пашковъ со звѣрьми и птицами витати, и азъ ему малое писаньице написалъ, сиде начало: „человѣче! убойся Бога, сѣдѣщаго на херувимѣхъ и призирающаго въ бездны, Его же трепещутъ небесныя силы и вся тварь со человекъ,

единъ ты презираешь“ и прочая. Тамъ много писано, и послалъ къ нему. А и бѣгутъ человѣкъ съ пятьдесятъ: взяли мой дощеникъ и помчали къ нему... Онъ со шпагою стоитъ и дрожить; началъ мнѣ говорить: „попъ или распопъ“? И азъ отвѣщалъ: „азъ есмь Аввакумъ, протопопъ; говори: что тебѣ дѣло до мене?“ Онъ же рыкнулъ, яко дикій звѣрь, и ударилъ меня по щекѣ, также по другой, и паки въ голову и сбилъ меня съ ногъ, и, чепъ ухватя, лежакаго по спинѣ ударилъ трижды и, разболочши по той же спинѣ 72 удара кнута. И я говорю: „Господи Ісусе Христе, Сыне Божій! помогай мнѣ“. Такъ горько ему, что не говорю: „попадаи“. Ко всякому удару молитву говорилъ, да среди побой вскричалъ я къ нему: „полно бить-то“; такъ онъ велѣлъ перестать. И я промовилъ ему: „за что ты меня бьешь: знаешь-ли“? И онъ велѣлъ паки бить по бо-

камъ; и опустили: я задрожалъ да и упалъ, и онъ паки велѣлъ меня въ казенный дощеникъ оттащить: сковали руки и ноги и на бѣть кинули. Осень была, дождь на меня шелъ всю ночь, подъ капелью лежалъ...

По семъ привезли въ Братской острогъ и въ тюрьму кинули, соломки дали. И сидѣлъ до Филиппова поста въ студеной башнѣ; тамъ зима въ тѣ поры живетъ, да Богъ грѣлъ и безъ платья: что собачка на соломкѣ лежу; коли покормятъ, коли нѣтъ; мышей много было, я ихъ скуфьею билъ,—и батожка не дадутъ дурачки! Все на брюхѣ лежалъ, спина гнила, блохъ да вшей было много. Хотѣлъ на Пашкова кричать: „прости“; но воля Божія возбранила; велѣно терпѣть. Любилъ протопопъ со слазными знаться, любилъ же и терпѣть, горемыка, до конца; писано: „не начный блаженъ, но скончавый“.

Ученый диспутъ въ XVII в.

Образцемъ учености московскихъ грамотевъ начала XVII вѣка, можетъ служить споръ по поводу катехизиса Лаврентія Зизанія. Лаврентій Зизаній Тустановскій, протопопъ Корекскій, въ февралѣ 1627 года привезъ въ Москву книгу свою — Оглашеніе, и билъ челомъ патриарху Филарету, чтобы ее исправить. Патриархъ началъ исправленіе измѣненіемъ заглавія книги: вмѣсто Оглашеніе онъ назвалъ ее Бесѣдословіе, на томъ основаніи, что подъ именемъ „оглашенія“ уже извѣстна книга Кирилла іерусалимскаго, а подъ однимъ именемъ многимъ книгамъ быть не можно; о другихъ статьяхъ, которыя найдены не сходными съ русскими и греческими переводами, патриархъ велѣлъ поговорить съ Зизаніемъ богоявленскому игумену Ильѣ да Гришкѣ отъ книжныя справки (т. е. справщику типографіи); говорить велѣно любовнымъ обычаемъ и со смиреніемъ права. Разговоръ этотъ происходилъ на казенномъ дворѣ, въ нижней палатѣ, передъ государевымъ бояриномъ княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкасскимъ и думнымъ дьякомъ Ѳеодоромъ Лихачевымъ. Между прочимъ Ильѣ и Гришкѣ говорили Зизанію: „у тебя въ книгѣ написано о кругахъ небесныхъ, о планетахъ, зодіахъ, о затмѣніи

солнца, о громѣ и молніи, о тресновеніи, шибаніи и перунѣ, о кометахъ и о прочихъ звѣздахъ: но эти статьи взяты изъ книги астрологін, а эта книга астрологія взята отъ волхвовъ еллинскихъ и отъ идолослужителей, а потому къ нашему православію не сходна“. Зизаній: „почему же не сходна? Я не написалъ колеса счастья и рожденія человѣческаго, не говорилъ, что звѣзды управляютъ нашею жизнью; я написалъ только для знанія, пусть человѣкъ знаетъ, что все это тварь Божія“. Ильѣ и Гришкѣ: „да зачѣмъ писалъ для знанія? Зачѣмъ изъ книги астрологін ложныя рѣчи и имена звѣздамъ выбиралъ, а иныя рѣчи отъ своего умышленія прилагалъ и неправильно объявлялъ?“ Зизаній: „что же я неправильно объявлялъ? Какія ложныя рѣчи и имена звѣздамъ выбиралъ? „Ильѣ и Гришкѣ: „а развѣ это правда: говоришь—облака, надувшись, сходятся и ударяются, и отъ того бываетъ громъ; огонь и звѣзды называешь животными звѣрями, что на тверди небесной!“ Зизаній: „да какъ же по вашему писать о звѣздахъ?“ Ильѣ и Гришкѣ: „мы пишемъ и вѣруемъ, какъ Моисей написалъ: сотворилъ два свѣтла великія и звѣзды, и поставилъ ихъ Богъ на тверди небесной свѣтитъ по землѣ и владѣтъ днемъ

и ночью; а животными звѣрями Моисей ихъ не называлъ". Зизаній: „да какъ же эти свѣтила движутся и обращаются?" Илья и Гришка: „По повелѣнію Божію, Ангелы служатъ, тварь вода". Зизаній: „Воленъ Богъ да государь святѣйшій киръ Филаретъ патріархъ, я ему о томъ и бить челомъ пріѣхалъ, чтобъ мнѣ недоумѣніе мое исправилъ; я и самъ знаю, что въ книгѣ моей много недѣльнаго написано". Илья и Гришка: „Прилагаешь новый вводъ въ Никифоровы правила, чего въ нихъ не бывало; намъ кажется, что этотъ вводъ у тебя отъ латинскаго обычая; сказываешь, что простому человѣку или иному можно младенца или какого человѣка крестить". Зизаній: „Да, это есть въ Никифоровыхъ правилахъ". Илья и Гришка: „У насъ въ греческихъ Никифоровыхъ правилахъ нѣтъ; развѣ у васъ вновь введено, а мы такихъ новыхъ вводовъ не принимаемъ". Зизаній: „Да гдѣ же у васъ взяли греческія правила?" Илья и Гришка: „Киприанъ митрополитъ, когда пришелъ изъ Константинограда на русскую митрополию, то привезъ съ собою привильныя книги христіанскаго закона, греческаго языка правила, и перевелъ на славянскій языкъ. Божію милостью они пребываютъ и до сихъ поръ безо всякихъ смутковъ и прикладовъ новыхъ вводовъ, да и многія книги греческаго языка есть у насъ старыхъ переводовъ; а которыя теперь къ намъ выходятъ

печатныя книги греческаго языка, то мы ихъ принимаемъ и любимъ, если они сойдутся съ старыми переводами; а если въ нихъ есть какія нибудь новизны, то мы ихъ не принимаемъ, хотя онѣ и греческимъ языкомъ тиснуты, потому что греки теперь живутъ въ великихъ тѣснотахъ, въ невѣрныхъ странахъ, и печатать имъ по своему обычаю невозможно". Зизаній: „И мы новыхъ переводовъ греческаго языка книгъ не принимаемъ же; я думалъ, что въ Никифоровыхъ правилахъ въ самомъ дѣлѣ написано; а теперь слышу, что у васъ этого нѣтъ, такъ и я не принимаю; простите меня Бога ради; я для того сюда и пріѣхалъ, чтобъ мнѣ отъ васъ здѣсь лучшую науку принять". Илья и Гришка: „Скажи намъ, что еще съ нами объ этой книгѣ хочешь говорить?" Зизаній: „Всегда радъ я съ вами бесѣдовать; а книгу государскаго жалованья я всю прочелъ, прилежно трудился при васъ и безъ васъ, и много просвѣщенія душъ своей пріобрѣлъ. Дивлюсь великой премудрости православнаго государя патріарха: какой разумъ, какой смыслъ, какую великую благодарованную премудрость имѣетъ въ себѣ! Какъ онъ государь такую большую книгу въ такое малое время сочинилъ! Во истину Богъ дѣйствуетъ въ немъ". При этихъ словахъ Зизаній началъ прижимать книгу къ груди и любезно всюду ее цѣловать. Разговоръ этотъ описанъ Гришкою-справщикомъ и дошелъ до насъ во всей подробности.





ПЕРІОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ОТЪ ПОЛОВИНЫ XVII В. ДО ЭПОХИ ПРЕОБРАЗОВАНІЙ.

XVII.

Историческая литература на сѣверо-востокѣ Руси въ концѣ XVI и началѣ XVII в. — Новые литературныя начала, внесенныя въ Москву кievскими учеными. — Страсть къ виршамъ; виршеслагатели.



Съ еще въ главѣ XV мы замѣтили, что съ половины XVI в. даже и на отдаленномъ сѣверо-востокѣ Руси, въ литературѣ, какъ и въ жизни, становится замѣтенъ разрывъ съ прошедшимъ, уклоненіе отъ древне-русскихъ преданій и началъ въ общественной и въ частной жизни; за долго передъ тѣмъ наступившій періодъ политическаго преобладанія Москвы, среди котораго воспиталось уже не одно поколѣніе, успѣлъ въ такой степени повліять на общество, что въ сознаніи его даже сложился довольно полный идеалъ челоѣка и гражда-нина, на основаніи новыхъ „московскихъ“ взглядовъ на вещи. Этотъ идеалъ, какъ мы видѣли выше, проявился даже и въ литера-

турѣ, въ одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ ея памятниковъ, относящихся къ эпохѣ Іоанна Грознаго. Печаленъ и жалокъ былъ этотъ идеалъ, вызванный къ жизни тягостными условіями исторической и общественной жизни русской, и—къ счастью нашему—не долго было ему суждено служить крайнею цѣлью стремленій для лучшихъ русскихъ лю-дей; но какъ ни былъ печаленъ и жалокъ идеалъ, онъ все же служилъ однимъ изъ при-знаковъ сознательнаго отношенія къ дѣй-ствительности и пониманія ея потребностей. Вскорѣ, въ лицѣ учениковъ М. Грека, со-ставлявшихъ весьма малую, но тѣмъ не менѣе лучшую часть современнаго общества, про-явилось противодѣйствіе тому идеалу, кото-

рый выставленъ былъ Домостроемъ и напелъ себѣ такого горячаго защитника въ лицѣ Іоанна Грознаго. И вотъ, впервые, послѣ многихъ вѣковъ исключительной принадлежности духовному сословію, литература наша вновь обогатилась произведеніями двухъ свѣтскихъ писателей. Но этого мало: новыя потребности общественныя оказывали вліяніе и на общій ходъ литературы, способствовали нѣкоторому видоизмѣненію и тѣхъ литературныхъ родовъ, которые, до того времени, почти безъ всякой перемѣны успѣли уже пережить на Руси нѣсколько вѣковъ. Мы уже видѣли, какому видоизмѣненію подвергались житія, входя въ составъ громаднаго сборника, извѣстнаго подъ названіемъ Макарьевскихъ Четыхъ-Миней; тому же неутомимому Макарію приписываютъ и первую попытку создать нѣчто новое на основаніи громаднаго лѣтописнаго матеріала. Въ царствованіе Іоанна Грознаго, рядомъ съ первой, прагматически изложенной, исторической монографіей, написанной Курбскимъ, встрѣчается и еще одинъ новый видъ историческихъ сочиненій—такъ называемая Степенная книга, въ которой содержаніе отечественной исторіи излагается въ извѣстной послѣдовательности, по степенямъ родовъ княжескихъ, въ нисходящей линіи. На основаніи этого порядка, по которому сначала излагаются событія въ княженіе отца, потомъ въ княженіе сына и внука и т. д. видимъ въ Степенной книгѣ всю русскую исторію, отъ Рюрика и до Іоанна Грознаго, изложенною въ видѣ 20 степеней. Такое изложеніе, по видимому, понравилось своею новизною, и вполнѣдствіи, въ XVII в., Степенная книга была дополнена еще одною степенью, такъ что изложеніе событій историческихъ доведено въ ней до смерти царя Алексѣя Михайловича. Но, по отношенію къ возрѣваніямъ на событія, въ Степенной книгѣ не замѣтно никакого движенія впередъ: въ ней преобладаетъ та же исключительно религіозная точка зрѣнія, съ какою мы постоянно встрѣчаемся въ лѣтописи нашей, и даже на столько преобладаетъ, что въ числѣ историческихъ лицъ и событій преимущественное вниманіе обращено только на тѣ, которыя имѣютъ значеніе въ исторіи Церкви.

Кромѣ Степенной книги, представляющей попытку видоизмѣненія собственно во

внѣшнемъ изложеніи событій историческихъ, около того же времени и вообще становится замѣтно стремленіе овладѣть обширнымъ и разрозненнымъ лѣтописнымъ матеріаломъ, заключить его въ болѣе тѣсныя рамки, привести къ такому виду, который бы давалъ возможность имъ пользоваться. Это побудило къ составленію многихъ нашихъ лѣтописныхъ сборниковъ, подъ самыми различными наименованіями; сюда относятся и Софійскій временникъ, и Царственная лѣтописецъ, и Царственная книга, которые однако же не представляютъ собою ничего цѣлаго, а только излагаютъ довольно подробно событія, относящіеся къ отдѣльнымъ эпохамъ. Первый, сколько-нибудь полный сборникъ составленъ былъ уже въ XVII столѣтіи, и носитъ названіе Никоновской лѣтописи, можетъ быть, потому, что былъ составленъ по повелѣнію знаменитаго патріарха. Нельзя не обратить вниманія на то, что къ тому же Іоаннову царствованію относятся два самостоятельныхъ историческихъ труда; одинъ—„Исторія Казанскаго Царства“—написанъ былъ священникомъ Іоанномъ Гизатинымъ, прожившимъ лѣтъ двадцать въ плѣну у татаръ; другой—„Памяти (т. е. записки) Алексѣя Адашева“,—вошелъ въ составъ царственной книги. Это древнѣйшія изъ нашихъ историческихъ записокъ или мемуаровъ—первые въ цѣломъ ряду произведеній того же рода, которыя особенно размножаются въ концѣ XVII вѣка, когда лѣтописи начинаютъ терять всякое значеніе, а мемуары приобретаютъ такой важный историческій интересъ, особенно въ началѣ XVIII вѣка.

Если уже въ XVI вѣкѣ обработка историческаго матеріала въ различныхъ его видахъ и примѣненіяхъ въ такой значительной степени обращала на себя вниманіе современниковъ, то ужъ, конечно, въ XVII вѣкѣ, когда поворотъ общества на новую дорогу сталъ еще болѣе замѣтенъ, этотъ поворотъ долженъ былъ еще рѣзче высказаться въ литературѣ, и, между прочимъ, особенно рѣзко проявиться въ обработкѣ того же историческаго матеріала. Сознана была всѣми необходимостью учиться у запада: отсюда и послы, и заѣзжіе иностранцы стали привозить къ намъ массу книгъ, и тщательно принялись русскіе люди за переводы и пересажденія на русскую почву разныхъ грамматикъ, лѣчебниковъ, ариметикъ

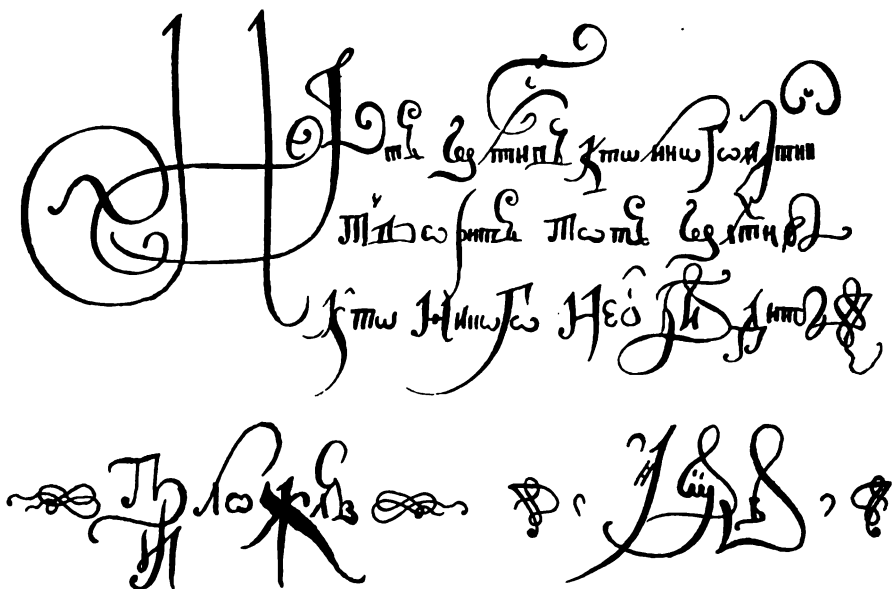
и космографій. Само собою разумѣется, что богѣе нуждались въ книгахъ тѣ лица, которымъ по обязанности или значенію ихъ приходилось стоять ближе къ западу; вотъ почему и видимъ мы, что всѣ книги, какія строятся (составляются) въ это время, обыкновенно строятся не менѣе, какъ въ двухъ экземплярахъ: одинъ изъ этихъ экземпляровъ берется на Верхъ, къ Великому Государю, другой отдается въ посольскій приказъ. Изъ тѣхъ же близкихъ сношеній съ западомъ рождается необходимость частыхъ справокъ по русскимъ лѣтописямъ и иностраннымъ хроникамъ; а такъ какъ подобныя справки, безъ всякихъ предварительно составленныхъ пособій, оказывались очень трудными, то и стали дѣлать изъ лѣтописей и хроникъ особаго рода выборки, и составлять „наглядныя генеалогическія таблицы съ портретами государей и ихъ гербами“, при чемъ, какъ для царя, такъ и для посольскаго приказа необходимо было обозначить, какой російскій государь съ какими иностранными государями входилъ въ сношенія. Матвѣевъ въ посольскомъ приказѣ съ товарищами своими, съ приказными людьми и переводчиками, сдѣлалъ „Государственную большую книгу—описание великихъ князей и царей російскихъ, откуда корень ихъ государскій изыде, и которые великіе князи и цари съ великими-жъ государями окрестными съ христіанскими и съ мусульманскими были въ ссылакахъ, и какъ великихъ государей именования и титулы писаны къ нимъ; да въ той же книгѣ писаны великихъ князей и царей, вселенскихъ и московскихъ патріарховъ, и римскаго папы и окрестныхъ государей и всѣхъ персонъ и гербы“. Персоны эти были писаны иконописцами, Иваномъ Максимовымъ и Дмитриемъ Львовымъ въ теченіе пяти мѣсяцевъ¹⁾. Около того же времени, и конечно на основаніи тѣхъ же чисто практическихъ современныхъ потребностей, дьякъ Грибоѣдовъ построилъ новую книгу: „Исторію, сирѣчь повѣсть или сказаніе вкратцѣ о благочестно державствующихъ и святопожившихъ боговѣнчанныхъ царяхъ и великихъ князехъ, иже въ Россійскій земли благоудно державствовавшихъ“. Книга Грибоѣдова заключаетъ въ себѣ простое пере-

численіе лицъ, въ родословномъ порядкѣ, при чемъ онъ иногда пропускаетъ цѣлыя княженія. Каждое изъ упоминаемыхъ имъ лицъ удостоивается самыхъ преувеличенныхъ похвалъ. Главная цѣль книги—вывести родъ московскихъ государей и применить къ ней новую династію, которую, съ другой стороны, онъ заноситъ и въ число „сроднивовъ Августа Кесаря Римскаго“. Съ характеромъ изложенія дьяка Грибоѣдова довольно отчетливо можетъ настъ ознакомить его отзывъ объ Іоаннѣ Грозномъ: „Житіе благочестно имѣя и ревностью по Бозѣ присно препоясаясь, и благонадежныя побѣды мужествомъ окрестныя многонародныя царства пріять, Казань и Астрахань, и Сибирскую землю. И тако Россійскія земли держава пространствомъ разливашеся, и народи ея веселіемъ ликовашу и побѣдныя хвалы Богу возсылаху“. Замѣчательно, что почти одновременно, на сѣверо-востокъ и на юго-западъ Руси, явились изъ совершенно различныхъ потребностей двѣ первыя попытки полнаго изложенія русской исторіи. Г. Соловьевъ, разсматривая этотъ „первый младенческій, несвязный лепетъ русской исторіографіи“, не рѣшается отдать преимущества ни книгѣ дьяка Грибоѣдова передъ „Синописсомъ“ И Гизіеля, ни „Синописису“ передъ трудомъ Грибоѣдова; онъ только замѣчаетъ, что „царскій характеръ исторіи сѣверной Россіи рѣзко сказанъ въ сочиненіи Московскаго дьяка.“ Мы, со своей стороны, позволимъ себѣ обратить вниманіе только на то, что между трудомъ Гизіеля и трудомъ Грибоѣдова нельзя не замѣтить одного важнаго и чрезвычайно характеристическаго различія — различія въ тѣхъ общественныхъ потребностяхъ, которыя вызвали авторовъ къ составленію обоихъ вышеупомянутыхъ трудовъ ихъ. Гизіель составилъ свой Синописисъ, какъ учебникъ для школъ вслѣдствіе того, что такой учебникъ, такое осязательное напоминаніе объ историческомъ значеніи русской народности было необходимо среди пробужденнаго къ умственной и нравственной самодѣтельности русскаго населенія нашей западной и юго-западной окраины. Дьякъ Грибоѣдовъ построилъ свою „Исторію, сирѣчь повѣсть или сказаніе вкратцѣ“, только для того, чтобы

¹⁾ Соловьевъ, Исторія; XIII, 182.

облегчить собираніе справокъ, необходимыхъ для чисто служебной дѣятельности, и при самомъ составленіи книги постоянно имѣлъ въ виду однѣ только чисто-практическія цѣли. Въ направленіи этихъ двухъ сочиненій, и въ самыхъ потребностяхъ, вызвавшихъ Гизіела и Грибоѣдова къ написанію ихъ, рѣзко высказываются два совершенно противоположныхъ направленія нашей русской культуры: одно, по которому шло образованіе наше на юго-западѣ, хотя и основанное на вліяніи запада, воспринятомъ черезъ Польшу, однако же совершенно-органически пустившее прочные корни

своего вліянія, особенно сильно-проявившагося въ царствованіе Феодора Алексѣевича и въ правленіе царевны Софьи, правда, успѣвають придать нѣсколько болѣе серьезности и значенія первымъ попыткамъ внесенія въ Москву западной образованности; но вліяніе ихъ длится не долго, и приверженцамъ стараго порядка вещей удается вскорѣ внушить обществу недовѣріе къ этимъ новымъ учителямъ. Уже при самомъ открытіи московской греко-латинской академіи, основанной по ихъ плану и ихъ заботами, приверженцамъ старины удается отереть кievскихъ ученыхъ отъ этого новаго



Образцы каллиграфіи XVII вѣка.

въ самую глубь народной массы; другое — по которому медленно, черепашиимъ ходомъ, черезъ тысячи препятствій, пробивало себѣ дорогу образованіе на московскомъ сѣверо-востокѣ. Главнымъ и печальнымъ недостаткомъ этого послѣдняго направленія было именно то, что оно, почти не касаясь массы, захватывало только одни верхи общества и то не сполна, и потому именно, уже съ самаго начала носило въ себѣ зародыши поверхностности, непрочности, свойственной всякому внѣшнему, чисто-формальному подражанію. Юго-западные ученые, съ половины XVII столѣтія появляющіеся въ Москвѣ, при помощи своего живаго нрав-

училища, и поручить новое училище старымъ учителямъ — грекамъ монахамъ. По всему замѣтно, что московское общество конца XVII столѣтія, хотя и двигалось медленными, вынужденными шагами по какому-то новому и страшному для него пути прогресса, но во всякое время и при каждой удобной случайности готово было вернуться на свой старый путь, и ни мало не было склонно отступать въ образованіи отъ завѣщанныхъ преданій, давно-отжившихъ идеаловъ византійской монашеской науки. И благородное рвеніе кievскихъ ученыхъ, и любовь ихъ къ наукѣ, и самое стремленіе оживить ее новыми приѣмами преподаванія, и даже

лигиозное рвеніе ихъ — все это способно было только возбудить подозрѣніе къ нимъ въ московскомъ обществѣ. Въ той борьбѣ, которая завязалась между Симеономъ Полоцкимъ и его учениками съ одной стороны, и истиннымъ московскимъ духовенствомъ — съ другой, слишкомъ ясно выразилась необходимость колоссальнаго переворота общественнаго. Постепенность и медленные переходы общества отъ одной ступени развитія къ другой, высшей, при томъ общественномъ броѣ, съ какимъ мы встрѣчаемся на Руси VII столѣтія — оказывались совершенно невозможными, и обществу грозила серьезная опасность... Но на спасеніе его въ концѣ же вѣка родился богатырь-царь, который отвергъ и старыхъ учителей, и старыя преданія, за образованіемъ и наукой обратился къ самому источнику ихъ, къ библекому западу, и навсегда связалъ эти два великія начала съ обществомъ, съ міромъ и дѣйствительностью.

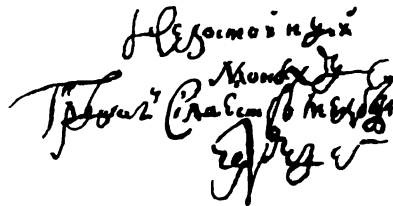
Но если и не слишкомъ сильно, не слишкомъ продолжительно было вліяніе кievской науки и образованности на Москву, въ теченіи XVII вѣка, за то вліяніе ихъ на литературу выказалось довольно рѣзко внесеніемъ въ кругъ русскихъ литературныхъ произведеній нѣкоторыхъ такихъ родовъ, о которыхъ прежде, до кievскаго вліянія на русскія и не слышно было. Не говоря уже о томъ, что подъ ихъ непосредственнымъ вліяніемъ возобновлена была въ церквахъ живая, изустная проповѣдь, которая вошла у насъ на Руси уже съ конца XV вѣка, мы должны будемъ указать — какъ на главные нововведенія въ русской литературѣ XVII вѣка — на стихотворную форму изложенія мыслей и на драматическія произведенія, впервые поставленныя на московской придворной сценѣ Симеономъ Полоцкимъ.

„Вирши“ или стихи на русскомъ языкѣ являются впервые, подъ непосредственнымъ вліяніемъ польской поэзіи, въ юго-западномъ углу Россіи, не позже конца XVI вѣка. По мѣрѣ распространенія школъ, по мѣрѣ распространенія образованности въ кругу русскаго населенія западнаго и юго-западнаго края, распространялась всюду и жила въ слаганіи виршей. Для того, чтобы дѣлать такое слаганіе виршей возможнымъ на русскомъ языкѣ, переняли совершенно

несвойственный русскому языку, богатому разнообразіемъ удареній, польскій силлабическій стихъ, въ которомъ весь размѣръ основывался только на цезурѣ въ серединѣ стиха, да на возвышеніи голоса въ концѣ стиха (на предпоследнемъ слогѣ, по общимъ законамъ польскаго ударенія). При разнообразіи удареній, составляющемъ лучшее украшеніе нашего языка, приходилось совершенно перенпачивать слова и дѣлать большое насиліе надъ способомъ выраженія, чтобы вогнать русскую фразу въ тѣсныя рамки неудобнаго, неподходящаго къ ней силлабическаго стиха. Не смотря на это, возможность выражать свои мысли „виршами“ такъ понравилась на первыхъ порахъ русскимъ, что явилось много охотниковъ-поэтовъ, посвящавшихъ слаганію виршей свои досуги. А такъ-какъ въ польско-іезуитскихъ коллегіяхъ такое слаганіе виршей занимало видное мѣсто въ ряду риторическихкихъ упражненій, и на это упражненіе ученики должны были употреблять почти столько же времени, сколько и на упражненіе въ ораторскомъ искусствѣ, то и не мудрено, если и въ кievскихъ школахъ, основанныхъ по плану польско-іезуитскихъ коллегій, стихотворство также точно вошло въ моду и стихосложеніе получило подобающее ему важное значеніе въ кругу предметовъ учебнаго преподаванія. Многие изъ наиболѣе замѣчательныхъ представителей кievской учености оставили по себѣ цѣлыя фоліанты силлабическихкихъ стихотвореній, которые были писаны ими на разные случаи, и которыми они очень часто заканчивали даже свои церковныя проповѣди. „расширяя приемами“ ихъ значеніе въ виршахъ своихъ, воспѣвая чудеса пресв. Богородицы и святыхъ подвижниковъ, для прославленія которыхъ имъ казался слабъ языкъ прозы. Страсть къ виршамъ доходила часто до самыхъ смѣшныхъ крайностей: — въ стихахъ излагались предметы, даже и вовсе не имѣвшіе никакого отношенія къ поэзіи, писались учебники и челобитныя, толкованія къ сочиненіямъ и календари. Уже въ началѣ XVII в. мы встрѣчаемъ упоминаніе о князѣ Иванѣ Хворостининѣ, который, какъ видно изъ смыскаго о немъ дѣла, говорилъ въ разговорахъ, „что на Москвѣ людей нѣтъ, все людъ глухой и жити ему не съ кѣмъ... а въ книжкахъ своего слога, писалъ про всякихъ

людей московскаго государства многія укоризны, что будто московскій народъ кланяется святымъ иконамъ по подписи, хотя и не прямой образъ; а которой образъ написанъ хотя и прямо, а не подписанъ, тѣмъ не кланяются; да московскіе-жъ люди сѣютъ землю рожью, а живутъ будто все ложью и приобщенія ему нѣтъ съ ними ни котораго; и составилъ оныя многія укоризненные слова, писаны на вирши: и то знатно, что такіа слова говорилъ и писалъ гордостью и безмѣрствомъ своимъ въ разумъ, и тѣмъ — „положилъ на всѣхъ людей московскаго государства хулу и неразумье“. Горькая участь постигла этого перваго русскаго сатирика и вирше-слагателя: — за хулы и релігіозныя сомнѣнія его сослали въ Кирилловъ-Бѣлозерскій монастырь, съ крѣпкимъ наказомъ, чтобы кромѣ церковныхъ, „безъ которыхъ быть нельзя, иныхъ бы книгъ никакихъ у него не было, для того, что высокоуміемъ вознесся и высокословія возжелавъ да не упадетъ въ берегъ погибели, какъ и другіе самоумнители, о истинѣ погрѣшившіе и самоумніемъ погибшіе“. ¹⁾ Собственно говоря, въ моду и обычай вводить въ Москвѣ вирши Симеонъ Полоцкій. Поставленный, по званію домашняго учителя, въ близкое соотношеніе къ царской семьѣ, онъ, какъ представитель современной науки и образованности, очевидно употреблялъ всѣ успія къ тому, чтобы выставить эту науку и образованность со всѣхъ наиболѣе выгодныхъ сторонъ и поставить ее въ тѣснѣйшую связь съ жизнью. Вотъ почему мы видимъ, что онъ пользуется каждымъ удобнымъ случаемъ для заявленія своего мнѣнія о томъ, что происходитъ передъ его глазами въ Москвѣ, а также и для выраженія своего участія къ тому, что происходитъ въ царской семьѣ. При этомъ, какъ человекъ образованный, онъ, по вѣнней формѣ выраженія своихъ мыслей, хочеть отличатся отъ окружающей его духовной среды — и пишетъ стихи при каждомъ удобномъ случаѣ. Кромѣ обширныхъ сборниковъ проповѣдей, о которыхъ мы упоминали выше, Симеонъ Полоцкій оставилъ намъ два не менѣе объемистыхъ сборника своихъ стихотворныхъ произведеній: одинъ, подъ

заглавіемъ „Вертоградъ многоцвѣтный“ (1678)²⁾, напоминаетъ собою наши „азбучники“, такъ какъ въ немъ стихотворенія, сюжетомъ которыхъ являются самые разнообразные предметы, расположены въ азбучномъ порядкѣ, „рифмически, по числу славянскаго алфавита“. Другой, гораздо болѣе важный сборникъ стихотвореній Симеона „Риемологіонъ“ (1678), представляетъ собою явленіе литературное, прекрасно характеризующее и то время, къ которому оно относится, и ту школу, къ которой принадлежалъ авторъ „Риемологіона“. Въ этомъ сборникѣ встрѣчаемъ стихи самаго разнообразнаго содержанія: похвальные, поздравительные, жалобные, восхвалительные, пріѣзственные и случайные, написанные по поводу различныхъ празднествъ. Въ концѣ сборника помѣщены и два драматическихъ произведенія, принадлежащіа перу По-



Подпись Сильвестра Медвѣдева.

лоцкаго: комедія „о Блудномъ сынѣ“ и „Царѣ Новуходоносорѣ“. Въ числѣ вышеупомянутыхъ стихотвореній находимъ и поздравленія царю и царицѣ отъ имени паревича Θεодора; и обширный панегирикъ царю Алексѣю Михайловичу, подъ заглавіемъ „Орелъ Россійскій, въ солнцѣ представленный“, и утѣшительное посланіе царю по поводу кончины его первой жены, и поздравленіе со вступленіемъ во второй бракъ, и скорбную элегію на смерть царя Алексѣя Михайловича, написанную въ формѣ діалога между покойнымъ царемъ, его семействомъ и подданными. Однимъ словомъ, „Риемологіонъ“ представляетъ собою самое осязательное доказательство того громаднаго запаса практической мудрости, какинъ долженъ былъ обладать на Руси одинъ изъ новыхъ учителей, даже и поставленный въ высокое положеніе наставника царевича и вѣ-

¹⁾ Забѣлинъ, Дом. бытъ русск. царицъ. Стр. 420—21.

и сношенія съ царскимъ семействомъ. Имъ любопытнымъ памятникомъ стихо-аго искусства Симеона Полоцкаго явл-ся „Псалтирь“, переложенная имъ на вно-славянскій языкъ силлабическими ми. Переводъ этотъ былъ напечатанъ 80 году, и возбудилъ своею новостью в опасные для автора толки невѣждъ. Царскій увидѣлъ себя вынужденнымъ затъ-ся противъ направленныхъ на него еній и старался доказать, что „стихо-ое переложение псалтири не можетъ названо противъ-церковною по-ю“, такъ какъ и самый подлинникъ в еврейскомъ, сочиненъ стихами, да омъ же существуютъ уже и другіе сти-ринне переводы псалтири: латинскій, жій и польскій. При изданіи этой кн-имеонъ имѣлъ въ виду благую цѣль: предназначалъ переводъ свой на то, сдѣлать псалмы не только доступны-о и пріятными для домашняго чте-твнн, и для этого даже приложилъ-исту своего перевода ноты... Но такіа-такія попытки литературныя были еще омъ рановременными и могли воз-тъ въ большинствѣ современнаго об-а только опасенія противъ „заражен-католическими ученіями“ нововводи-Въ числѣ ближайшихъ учениковъ и жателей Симеона Полоцкаго нельзя не нуть здѣсь же, еще разъ, о томъ

Сильвестръ Медвѣдевъ — настоятель и строитель зайконоспасскаго монастыря — который, будучи ревностнымъ и просвѣщен-нымъ послѣдователемъ идей Симеона По-лоцкаго, въ то же время былъ и слѣпымъ подражателемъ ему въ его дѣятельности ли-тературной, какъ усердный слагатель впр-шей. Кромѣ того посланія, которое, вмѣстѣ съ Каріономъ Истоминымъ, С. Медвѣдевъ подалъ царевнѣ Софьѣ, прося о введеніи наукъ въ Россіи, онъ оставилъ намъ еще и другіе стихотворное произведеніе, соотвѣт-ствующее вполнѣ духу времени и господ-ствовавшимъ тогда литературнымъ воззрѣні-ямъ:—это „Плачь и утѣшеніе о кончинѣ царя Θεодора Алексѣевича“. Все стихотвореніе раздѣлено на 22 вирша или пѣсни, соотвѣт-ственно числу лѣтъ жизни покойнаго царя; въ содержаніи всего „Плача“ преобладаютъ аллегорическія изображенія, отвлеченности, схоластическая напыщенность и риториче-скія украшенія. По юномъ царѣ плачетъ не только царица и родственники, не толь-ко духовенство, воинство, Великая, Малая и Бѣлая Россія, но даже „сугубоглавый царскій орелъ, преславный клейнодъ россий-скій...“ пока наконецъ скончившійся царь Θεодоръ Алексѣевичъ не обращается къ пла-чущей Россіи со слѣдующимъ утѣшеніемъ:

„Тѣмъ же, преставши плача, Россіе, твоего,
Отъ пришествія въ небо радуйся моего“.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ СЕМНАДЦАТОЙ.

ВИРШИ СИМЕОНА ПОЛОЦКАГО.

Изъ «Вертограда Многоцвѣтнаго»

Богъ-Всевидѣцъ.

страннолюбецъ во сію злобу впаде,
сосѣда свинію украде,
Христось Богъ оному явися,
и власата странна претворися.
его умилненнымъ гласомъ,
риженнымъ бы себѣ власомъ.
любѣцъ же въ любви и пріялъ есть,
стрижи самъ ножницы взялъ есть.
е стрижь ко заду главы прінде

И ту двѣ оцѣ свѣтлѣ зѣло видѣ.
Страхомъ одержимъ къ странну глаголаше:
«Каково чудо сіе?» вопрошаше.
Станный мужъ къ нему милостивно рече:
«Знай мя ты быти Христа, человѣче,
Иже отъсюду тайны совершаю,
Зрѣніемъ моимъ бездны проникаю:
Тѣмъ очима азъ видѣхъ съ небеси,
Егда свинію ты чюжду крадъ еси,

И гдѣ заключи въ явѣ устроений;
 Вся ни суть вѣстна во всей странѣ земнѣй.
 Сія извѣстна не увидитъ баше.
 Странноприницъ о грѣсѣ ридаше,

Видѣ, читателю, яко бдѣнно оное
 Божіе видитъ и что есть глубоко
 Тѣмъже и въ тайнѣ ала не творити,
 Завѣтъ Господень выну да храниши.

Купецтво.

Чинъ купецкій безъ грѣха едва можетъ быти,
 На многи бо я злобы врагъ обыче лѣстити;
 Израдѣе лакомство въ купцѣхъ обитаетъ,
 Еже въ многія грѣхи оны убѣждаетъ.
 Впервыхъ, всякій купецъ усердно желаетъ,
 Малоцѣнно да купитъ, драго да продаетъ.
 Грѣхъ же есть велій драгость велію творити,
 Малый прибытокъ лѣтъ есть безъ грѣха стронти.
 Второй грѣхъ въ купцѣхъ часто есть лживое слово,
 Еже ближняго въ вещехъ прелъстити готово.
 Третій есть клятва во лжу, а та умноженна,
 Паче песка на брежѣ морстемъ положенна.
 Четвертый грѣхъ татбою излишне бываетъ,
 Также въ мірѣ въ мѣрилѣхъ часто ся свершаетъ.
 Пбо они купуютъ во мѣру велику,
 А ввсегда продаати ставятъ не толику.
 Иніи аще мѣру и праву имѣютъ,
 Но неправо мѣрити вся вещи умѣютъ.
 Иніи хитростію вещи отягчаютъ,
 Мочаще а, нѣции худыя мѣшаютъ.

А вся сія безъ грѣха неможна суть быти,
 Яко Богъ возбраняетъ сихъ лукавствъ творити.
 Пятый есть грѣхъ: нѣціе лихоимство дѣютъ,
 Егда цѣну болшии за время умѣютъ.
 Елиа бо изды чрестъ время нѣко ожидаютъ,
 Тогда цѣну вѣщную въ купляхъ поставляютъ.
 Шестой грѣхъ, егда куплю являютъ блгу,
 Потомъ лестно ставляютъ ниу вещь худу.
 Седьмой грѣхъ, яко порокъ вещи сокрывають,
 Вещь худшую за добру купующимъ дають.
 Осьмый—яко темныя мѣста устрояють,
 Да худыми куплями ближнія прелъщаютъ,
 Да во темности порокъ купли не узрится,
 И тако давый сребро въ купли да прелъстятъ.
 О, сынове тии лютыи! Что сія творите?
 Лстаще ближнія ваши, сами ся морите.
 Въ тму кромѣшную за тму будете ввержени,
 Отъ свѣта присносущна вѣчно отлучени!
 Отложите дѣла тии, во свѣтѣ ходите,
 Да изыдите на небо, небесно живите!





XVIII.

Мистерія въ Западной Европѣ и въ Польшѣ. — Духовная драма въ Москвѣ. — „Пещное дѣйство“ и другія. — Первые сценическія представленія на европейскій ладъ. — Духовныя драмы С. Полоцкаго и Дм. Ростовскаго.

Говоря о „Риемологіонѣ“, мы упомянули о тѣхъ двухъ драматическихъ произведеніяхъ Симеона Полоцкаго, которыя были помѣщены имъ въ концѣ этой книги. Драматическія произведенія принадлежали у насъ, въ XVII в., къ числу такихъ новостей, которыя особенно ясно могли служить однимъ изъ признаковъ наступленія юовой эпохи въ русской жизни. До конца XVII вѣка предки наши не имѣли никакого понятія о сценическихъ представленіяхъ, о театрѣ и драматическомъ дѣйствіи, хотя русскіе путешественники еще въ XV в., посѣщая Европу, уже видѣли тамъ въ церквахъ представленія духовныхъ драмъ, да и въ замкахъ церквахъ нашихъ, еще съ XVI столѣтія, были совершаемы нѣкоторые обряды исто-драматическаго характера, напоминавшие собою церковныя представленія запада, извѣстныя подъ общимъ названіемъ мистерій.

Первымъ поводомъ къ появленію мистерій на западѣ послужило стремленіе католическаго духовенства къ тому, чтобы сильно подѣйствовать на воображеніе неграмотной массы, и какъ можно яснѣе, какъ можно нагляднѣе истолковать ей великое значеніе важнѣйшихъ христіанскихъ догматовъ. На этомъ основаніи, первоначально, духовенство довольствовалось только тѣмъ, что въ наиболѣе торжественные дни важнѣйшихъ христіанскихъ празднествъ, распредѣляло между духовенствомъ и причномъ чтеніе соотвѣствующихъ празднеству

мѣстъ св. писанія, и при томъ такъ, что каждому изъ лицъ, назначенныхъ для чтенія евангелія въ тотъ день, приходилось читать его, какъ роль актеру на сценѣ, съ особою интонаціею голоса; эти отдѣльныя лица въ послѣдствіи стали облекать даже и въ соотвѣтствующіе ихъ ролямъ костюмы, окружать и самое мѣсто дѣйствія ихъ почти сценической обстановкой, въ которой около дѣйствующихъ лицъ являлись и всѣ предметы, упоминаемые въ евангеліи, при описаніи того или другаго событія изъ жизни Спасителя. Такъ, если въ церкви хотѣли представить Рождество Спасителя, то въ одномъ изъ придѣловъ ея ставили ясли, и около яслей изображеніе осла и вола, а полъ около нихъ устилался соломой. Ангелъ, явившійся къ пастырямъ возвѣщать о рожденіи Спасителя, спускался для этого сверху, по веревкѣ: для представленія Воскресенія Христова дѣлалось въ церквахъ еще болѣе приготовленій: устраивали гробницу въ одномъ углу церкви, а въ другомъ ставили на возвышеніи крестъ; въ третьемъ устраивали, также на возвышеніи, мѣсто для Пилата и судей и т. д. Долгое время главными сюжетами этихъ церковныхъ представленій, которыя называли то мистеріями, то духовными драмами, являлись „пасхальныя мистеріи“ (въ нихъ изображались крестныя страданія, смерть и воскресеніе Спасителя) и рождественскія (въ нихъ изображалось Рождество Спасителя, поклоненіе пастырей и волхвовъ). Но

потомъ, къ этимъ сюжетамъ стали присоединяться новыя; такъ напр. къ „рождественскимъ“ мистеріямъ — избіеніе младенцевъ Иродомъ и бѣгство въ Египетъ; къ пасхальнымъ — обращеніе Лонгина, самоубійство Іуды. По мѣрѣ того, какъ расширялось такимъ образомъ содержаніе мистерій и самая сценическая обстановка ея приобрѣтала болѣе и болѣе блеску, въ народѣ все болѣе развивался вкусъ къ церковнымъ представленіямъ. На этомъ основаніи, угождая вкусу толпы, и духовенство, въ свою очередь, весьма ревностно заботилось о томъ, чтобы сдѣлать мистерію какъ можно болѣе разнообразною и занимательною для зрителей. Уже въ XI вѣкѣ являются, кромѣ мистерій рождественскихъ и пасхальныхъ, такъ называемыя чудеса (miracles), содержаніе которыхъ заимствовалося изъ житій и вращалось около одного изъ чудесъ, совершенныхъ тѣмъ или другимъ изъ наиболѣе чтимыхъ народомъ святыхъ. Вслѣдъ за тѣмъ къ вышеупомянутымъ сюжетамъ прибавляются и еще новыя: — содержаніе для мистерій начинаютъ почерпать даже изъ евангельскихъ притчей, напр. изъ притчи о десяти дѣвахъ, о блудномъ сынѣ. Наконецъ, самыя мистеріи рождественскія и пасхальныя начинаютъ добавлять и пополнять нѣкоторыми эпизодами изъ ветхозавѣтной исторіи, которые ставятъ въ тѣсное соотношеніе съ рождествомъ и воскресеніемъ Спасителя. До насъ дошли такія рождественскія мистеріи, въ началѣ которыхъ на сцену выводились Адамъ и Ева, представлялось грѣхопаденіе перваго человѣка, изгнаніе изъ рая, братоубійство Каина; за тѣмъ являлись бѣсы и увлекали Адама, Еву и Каина въ адъ, а на сцену, одинъ за другимъ выступали пророки: Іезекіиль, Іеремія и др. и торжественно возвѣщали наступленіе новой эры — близкое рожденіе Спасителя, которому надлежало искупить страданіями и смертію Своєю грѣхи человѣчества. Дѣйствіе заключалось представленіемъ обычной рождественской мистеріи. По мѣрѣ того, какъ содержаніе рождественскихъ и пасхальныхъ драмъ такимъ образомъ расширялось, а самыя представленія ихъ начинали иногда растягивать на нѣсколько дней, въ нихъ мало по малу закрадывались такія начала, которыя ничего не имѣли общаго съ религіозною основою мистерій. Между

лицами, дѣйствовавшими на сценѣ мистерій, явились такія, которыми авторы мистерій влагали въ уста рѣчи простонародныя, шутивлаго или задорнаго содержанія. Роль дьявола и бѣсовъ, которымъ приходилось выступать на сцену почти въ каждомъ церковномъ представленіи, становилась все болѣе и болѣе комическою. Наконецъ, между дѣйствіями обширныхъ сводныхъ мистерій рождественскихъ и пасхальныхъ, длившихся иногда по нѣскольку дней сряду, стали вставлятъ шутовскія интермедіи (междудѣйствія), въ которыхъ дѣйствующими лицами являлись одни шуты и скоморохи, забавлявшіе зрителей своими часто вовсе неприличными выходками или сценами, заимствованными прямо изъ народнаго быта. Все это способствовало тому, что высшее духовенство обратило наконецъ вниманіе на неумѣстность подобныхъ представленій въ стѣнахъ церкви, и послѣ долгой, упорной борьбы съ нисшимъ духовенствомъ и монашествомъ, успѣло вытѣснить мистерію изъ церквей западной Европы, сначала въ церковныя ограды, а потомъ и на площадь. Это случилось не ранѣе конца XIV вѣка. Духовенство и послѣ этого, долгое время оставляло за собою исключительное право на исполненіе нѣкоторыхъ ролей. Наконецъ, утвердившись на площади, мистерія сдѣлалась вполне достояніемъ народа; актерами въ ней явились ремесленники и клерки (приказные), и комическая сторона мистерій стала прямо пополняться характерами и образами изъ живой дѣйствительности. Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ духовенства, которому главнѣйшимъ образомъ предоставлено было руководствовать образованіемъ и воспитаніемъ юношества, духовная драма занесена была въ школы, и здѣсь приобрѣла нѣсколько особый отбѣнокъ. Какъ прежде, почти незамѣтно, закрался въ содержаніе мистерій элементъ комическій, такъ подъ вліяніемъ схоластики, тяготѣвшей надъ школьнымъ преподаваніемъ, сталъ проявляться въ духовной драмѣ новый элементъ: — духовно-нравственный, отвлеченный. На сцену школьной комедіи стали выступать, въ видѣ дѣйствующихъ лицъ, различныя добродѣтели и пороки, отвлеченные образы отдѣльных свойствъ Божества и человѣка, какъ напр. милосердіе, премудрость Божья, Провидѣніе, состраданіе, злоба людская,

грѣхъ, раскаяніе и т. д. Всѣ подобнымъ образомъ составленныя духовныя драмы получили названіе „правственныхъ представленій“ (*moralités*), такъ какъ дѣйствительно отвлеченная, схоластическая мораль являлась главною основою ихъ содержанія.

Всѣ эти перемены были пережиты духовною драмою въ Европѣ, въ теченіе четырехъ или пяти вѣковъ ея существованія до эпохи возрожденія. Зародившись первоначально въ южной Франціи, драма духовная отсюда распространилась вскорѣ по всей католической Европѣ и достигла даже Польши, гдѣ явилась довольно рано—въ XII вѣкѣ. Здѣсь пришлось ей пережить почти всѣ тѣ періоды развитія, о которыхъ мы упоминали выше, и наконецъ сдѣлаться исключительнымъ достояніемъ іезуитскихъ коллегій, въ которыхъ воспитанники, подъ руководствомъ наставниковъ, нѣсколько разъ въ годъ занимались разучиваньемъ и разыгрываньемъ мистерій и пьесъ духовно-правственнаго содержанія, писанныхъ на латинскомъ и польскомъ языкахъ. Подъ непосредственнымъ польскимъ вліяніемъ развивавшаяся русская образованность нашей юго-западной окраины, внесла также въ свой школьный обиходъ и эти духовныя драмы. Наставники принимали на себя сочиненіе духовныхъ драмъ, а воспитанники исполненіе ихъ на сценѣ; сверхъ того, студенты кіево-могилянскои коллегіи ходили на свѣткахъ по домамъ съ вертепомъ (небольшимъ, ручнымъ, механическимъ кукольнымъ театромъ), и представляли на сценѣ вертена рождественскую драму. Одинъ изъ учениковъ говорилъ рѣчи за куколъ, выступавшихъ на сцену; другіе, сопровождавшіе вертепъ, пѣли канты (религіозныя пѣсни), написанныя силлабическими стихами и прославлявшія Рождество Спасителя. Значеніе духовной драмы въ школьномъ быту считалось на столько важнымъ, что и высшія духовныя лица, руководившія воспитаніемъ юношества, посвящали досуги свои сочиненію этого рода произведеній. Такъ напр. уже о Петрѣ Могилѣ сохранилось извѣстіе, что онъ написалъ нѣсколько такихъ школьныхъ драмъ, изъ которыхъ, впрочемъ, ни одна не дошла до насъ; вообще, къ величайшему сожалѣнію нашему, намъ до сихъ поръ остаются совершенно неизвѣстными образцы духовныхъ драмъ и драматическихъ діалоговъ, въ томъ

видѣ, въ какомъ они являлись въ стѣнахъ юго-западныхъ русскихъ школъ въ первой половинѣ XVII вѣка.

Только отъ послѣдней четверти XVII столѣтія намъ сохранились двѣ пьесы, принадлежащія перу плодовитаго и многосторонняго Симеона Полоцкаго, о которыхъ мы и упоминали уже выше, излагая содержаніе его „Риѣмологіона“. Сверхъ того, отъ конца XVII и начала XVIII вѣка дошли до насъ драматическія произведенія другаго духовнаго писателя нашего—св. Дмитрія Ростовскаго (род. 1651, ум. 1709). Всѣхъ пьесъ св. Дмитрія Ростовскаго шесть:—„Рождество Христово“, „Воскресеніе Христово“, „Грѣшникъ кающійся“, „Эсфирь и Агасферъ“, драма „Успенская“, драма „Дмитріевская“. По содержанію своему, всѣ эти произведенія занимаютъ середину между мистеріей и духовно-аллегорическими пьесами (*moralités*). Рядомъ съ событіями и лицами, непосредственно заимствованными изъ библіи, являются и лица чисто-аллегорическія, отвлеченныя:—Натура людская, Надежда, Кротость, Незлобіе, Золотой вѣкъ, Смерть, Желѣзный вѣкъ, Зависть, Брань (т. е. война), Жизнь. Пьесы начинаются, по сценическому обычаю того времени, прологомъ, въ которомъ актеръ въ общихъ чертахъ излагаетъ содержаніе предлагаемой зрителямъ пьесы, а иногда и ея значеніе по отношенію къ современности: такимъ же точно образомъ и заканчивается пьеса эпилогомъ, въ которомъ авторъ, устами другаго актера, старается усилить впечатлѣніе, произведенное пьесой, сосредоточивая всѣ отдѣльныя черты ея въ одномъ общемъ выводѣ. Пьесы Симеона Полоцкаго явились въ числѣ первыхъ театральныхъ зрѣлищъ на сценѣ московскаго придворнаго театра, который получилъ свое начало не ранѣе 1672 года, въ царствованіе Алексѣя Михайловича. Пьесы св. Дмитрія Ростовскаго, написанныя имъ еще въ Малороссіи, были играны въ „крестовой палатѣ“ въ Ростовѣ, когда св. Дмитрій возведенъ былъ въ санъ митрополита ростовскаго; въ представленіи ихъ участвовали воспитанники училища, заведеннаго св. Дмитріемъ въ Ростовѣ. Любопытною чертою различія между пьесами С. Полоцкаго и Дм. Ростовскаго являются тѣ народныя сцены, заимствованныя изъ живой дѣйствительности, которыя Дм. Ростовскій

весьма искусно и к стати вставлять въ середину дѣйствія своихъ духовныхъ драмъ.

До 1672 года ни духовныя драмы, ни вообще какія бы то ни было сценическія представленія не были вовсе извѣстны въ сѣверо-восточной Руси. Однакоже въ нашемъ церковномъ быту и до этого времени суще-

представленному поясненію событій св. писанія. Обряды эти у насъ на Руси получили названіе дѣйствъ, и такихъ дѣйствъ было у насъ извѣстно три. Древнѣйшимъ изъ нихъ является „пещное дѣйство“, въ которомъ изображалось вверженіе трехъ отроковъ въ вавилонскую печь и чудесное избавленіе ихъ



Св. Дмитрій Ростовскій.

ствовали нѣкоторые богослужебные обряды, хотя и весьма простые, весьма незамысловатыя, но все же нѣсколько напоминающіе западную мистерію, въ періодъ ея первоначальнаго церковнаго развитія, когда она являлась только переходомъ отъ церковныхъ процессій къ наглядному, въ лицахъ

ангеломъ отъ пламени; оно совершалось передъ рождествомъ и въ Москвѣ, и по другимъ городамъ; древнѣйшее извѣстіе о совершеніи его восходитъ къ первой половинѣ XVI столѣтія ¹⁾. Другое „дѣйство“, извѣстное подъ названіемъ „шествія на ослати“, происходило, начиная съ конца XVI

¹⁾ Подъ 1548 г. упоминается о немъ въ расходныхъ книгахъ новгородскаго софійскаго архіерейскаго дома.

вѣка, въ Москвѣ и по городамъ, обыкновенно въ вербное воскресенье. Оно служило воспоминаніемъ торжественнаго входа Спасителя въ Іерусалимъ, и совершалось по особому уставу въ Москвѣ—патріархомъ, въ присутствіи самого царя; въ другихъ городахъ—архіереями,—въ присутствіи воеводъ. Третье, и наиболѣе простое изъ всѣхъ—„дѣйство страшнаго суда“, происходило обыкновенно въ воскресенье передъ масляной. На площади, за алтаремъ московскаго Успенскаго собора, устраивали два мѣста: одно для патріарха, другое для государя; передъ патріаршимъ мѣстомъ, на подмостахъ, обитыхъ красныхъ сукномъ, ставили образъ страшнаго суда. Царь и патріархъ шествовали изъ собора на означенныя мѣста, съ крестнымъ ходомъ, при звонѣ во всѣ колокола. Послѣ пѣнія стихиръ, освященія воды

въ дополненіе обряда. Подробное описаніе всего обряда „пещнаго дѣйствія“ сохранилось намъ вполнѣ, и мы считаемъ не излишнимъ привести его здѣсь цѣликомъ, какъ оно изложено академикомъ Пекарскимъ въ известной книгѣ его „Наука и Литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ“²⁾.

„Въ этомъ обрядѣ, къ обыкновенной архіерейской службѣ, присоединялось нѣсколько дѣйствій, имѣвшихъ цѣлью напоминаніе событія изъ исторіи ветхаго завета „о вверженіи въ пещь трехъ отроковъ: Ананія, Азарія и Мисаила“. По этому случаю въ среду, (передъ Рождествомъ Христовымъ) въ церкви разбиралось большое паникадило, а въ субботу, во время обѣдни, сдвигался амвонъ и ставилась пещь. Во всенощную весь обрядъ ограничивался тѣмъ, что дѣти, которыя представляли отроковъ, и такъ на-

*Смирновъ Ахисеръ
Ростовскій Дмитрий.*

Подпись Св. Дмитрія Ростовскаго.

и чтенія на четыре стороны евангелія, патріархъ отиралъ губкою образъ страшнаго суда и другія иконы, осѣнял крестомъ и кропилъ св. водою государя, власти духовныя и свѣтскія и всенародное множество, присутствовавшее при совершеніи обряда¹⁾. Флетчеръ, бывшій въ Москвѣ въ 1588—89 годахъ, рассказываетъ о „пещномъ дѣйствѣ“ и, между прочимъ, о томъ, какъ ангелъ слетаетъ съ церковной крыши въ пещь къ тремъ отрокамъ, къ величайшему удивленію зрителей, при множествѣ пылающихъ огней, производимыхъ посредствомъ пороха такъ называемыми халдейцами, которые въ продолженіи цѣлыхъ 12 дней должны были бѣгать по городу, переодѣтые въ шутовское платье и дѣлали разныя смѣшныя штуки,

званные два халдея предшествовали святителю при вступленіи его въ соборъ, причемъ дѣти были одѣты въ стихари и вѣнцы, а халдеи въ „халдейское платье“²⁾. Богослуженіе должно было происходить безъ всякихъ отиѣнъ, съ нѣкоторою только торжественностью. При выходѣ предшествуетъ „халдей передъ отроки со свѣчею халдейскою, и по немъ отроки со свѣчами, а другой халдей по отроцѣхъ“. Пещное дѣйство производилось во время заутрени. Тогда, какъ и во всенощную, отроки и халдеи, притомъ первые съ зажженными свѣчами, предшествуютъ святителю. По окончаніи пролога, протопопъ и священники поютъ приличныя обстоятельствамъ священныя пѣсни. Въ это время, руки отроковъ обвязыва-

¹⁾ Галаховъ. Ист. Русск. Словесности древней и новой; стр. 203. ²⁾ См. тамъ стр. 388—390 и слѣд. ³⁾ Костюмъ халдеевъ состоялъ изъ шапокъ, отороченныхъ заячьимъ мѣхомъ и вызолоченныхъ сверху. На тѣлѣ у нихъ были широкія суконныя олежды, съ оплечьями изъ выбойки. Описаніе это сохранилось намъ отъ начала XVII ст. въ приходорасходныхъ книгахъ вологодскаго архіерейскаго дома.

лись полотенцемъ и они подводились халдеями къ свѣтителскому мѣсту. „Егда же дойдетъ первый халдей до церкви близъ печи, и станутъ отроки и халдеи, и указуютъ оба халдея отрокамъ на печь пальцами, и глаголетъ первый халдей ко отрокамъ: „дѣти царевы!“ Другіи же халдей поддвигиваетъ тое-же рѣчь: „царевы!“ И первый глаголетъ халдей: „видите-ли сію печь огнемъ горящу и вельми распалему?“ И пакы второй глаголетъ халдей: „а сія печь уготована вамъ на мученіе“. И потомъ Ананія отвѣщаетъ: „видимъ мы печь сію, не ужасаемся ея; есть бо Богъ нашъ на небеси, ему же мы служимъ: той силенъ изъяти насъ отъ печи сего“. И по семъ Азарія глаголетъ: „и отъ рукъ вашихъ избавитъ насъ“. Тоже Мисаилъ отвѣщаетъ: „а сія печь будетъ не намъ на мученіе, а вамъ на обличеніе...“ По благословеніи свѣтителемъ и врученіи каждому свѣчи, отроки становятся опять около печи. „И въ то время единъ отъ халдей кличетъ: „товарищъ!“ Другой же халдей отвѣчаетъ: „чего?“ И первый халдей глаголетъ: „это дѣти царевы?“ А другой халдей поддвигиваетъ: „царевы?“ Первый же глаголетъ: „нашего царя повелѣнія не слушаютъ“, а другой отвѣчаетъ: „не слушаютъ.“ Первый же халдей говоритъ: „а златому тѣльцу не поклоняются?“ А другой халдей: „не поклоняются.“ Первый халдей говоритъ: „и мы вкинемъ ихъ въ печь;“ а другаго отвѣтъ: „и начнемъ ихъ жечь!“ Послѣ того дѣтей вводятъ въ печь, и халдеи дѣлаютъ видъ, что разводять огонь подъ нею. Въ это время хоръ пѣвчихъ, протодьяконъ и отроки въ печи поютъ священныя пѣсни, и въ концѣ стиха: „яко духъ хладенъ и шумящъ“, „сходилъ ангелъ Господень въ печь ко отрокамъ въ трубѣ величѣ зѣло съ громомъ...“ Халдеи, державшіе до того времени высоко свои пальмы, падали, а дьяконы опалили ихъ при помощи свѣчей и травы плауна. При этомъ случаѣ опять завязывался разговоръ между халдеями; первый говорилъ: „товарищъ!“ Вторымъ откликался: „чего?“—Первый: „видишь-ли?“—Второй: „вижу.“—Первый: „было три, а стало четыре; а четвертый грозенъ и страшенъ зѣло, образомъ уподобился сыну Божію.“—Второй: „какъ онъ прилетѣлъ, и насъ побѣдилъ.“—Послѣ того продолжались священныя пѣсни; халдеи выпускали изъ печи отроковъ, служба продолжалась по уставу,

съ тою разницею, что въ нѣкоторыхъ обрядахъ участвовали отроки и халдеи съ зажженными свѣчами. Послѣ утрени, печь снималась, изображеніе ангела—также; въ церкви все приводилось въ прежній порядокъ, но въ продолженіи обѣдни и вечерни того дня участвовали и отроки „и халдеи.“

До какой степени не взыскателенъ былъ вкусъ не только толпы, но и высшихъ сословій, видно изъ того, что царь и царица присутствовали каждый годъ при совершеніи обряда „пещнаго дѣйства“, и находили въ немъ особый интересъ, хотя каждый годъ повторялось все одно и то же, безъ всякаго добавленія или измѣненія. Тѣмъ болѣе пріятно пораженъ былъ дворъ появленіемъ въ Москвѣ первой правильно-обученной и хорошо организованной труппы актеровъ, которая способна была ознакомить русскихъ людей съ „однимъ изъ первыхъ благъ новаго просвѣщенія“—съ театромъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ тогда извѣстенъ большей части сѣверной и средней Европы.

Театръ устроился при дворѣ царя Алексѣя Михайловича благодаря энергическому содѣйствію знаменитаго покровителя второй супруги царя—боярина Артамона Матвѣева, „который въ духовныхъ обученіяхъ и къ царской и свѣтителской чести надлежащихъ гражданскихъ поступкахъ зѣло обрѣтохся благоискусенъ“. 15 мая 1682 г., за двѣ недѣли до рожденія Петра Великаго, царь Алексѣй Михайловичъ указалъ пріятелю Артамону Матвѣеву, полковнику Николаю Оанъ-Стадену: „ѣхать къ курляндскому Ягубусу князю и, будучи въ курляндской землѣ, приговаривать великаго государя въ службу рудознатныхъ всякихъ добрыхъ мастеровъ, которые бы руды всякія подлинно знали и плавить ихъ умѣли, да трубачей самыхъ добрыхъ и ученыхъ, да которые-бъ умѣли всякія комедіи строить“... Стадену было даже наказано: „если онъ такихъ людей въ Курляндіи не добудетъ и ему ѣхать для того во владѣнія короля свейскаго и въ прусскую землю“. Съ жаромъ принялся Оан-Стаденъ за исполненіе порученія, возложеннаго на него царемъ. Изъ Риги завязалъ онъ дѣтельными сношеніями съ нѣмцами комедіантами; уже въ іюлѣ нанялъ въ Ригѣ 8 человѣкъ актеровъ, а въ октябрѣ пораздовалъ Матвѣева извѣстіемъ, что успѣлъ подговорить еще три человѣка молодыхъ, которые на всякіе

ихъ играютъ, что никогда предъ се-
а Москвѣ не слыхано. Увлеченный
первыхъ порахъ удачею своею, Ѡанъ-Ста-
приглашалъ въ Россію изъ Копенгагена
знаменитую пѣвицу того времени, Анну
ьсонъ. Но дальній путь въ полудикую
ковію испугалъ нѣмцевъ: Ѡанъ-Стадену
ось вывезти изъ Европы въ Москву толь-

ти изъ Европы въ Россію, то дала москов-
скому государю—нѣмецкая слобода. Петер-
цѣнне Алексѣя Михайловича увидѣть при
дворѣ своемъ комедію было на столько силь-
но, что едва Ѡанъ-Стаденъ успѣлъ выѣхать
въ курляндскую землю за комедіантами, —
царь черезъ три дня послѣ рожденія Прео-
бразователя, указалъ пастору московской лю-



Вовидонская печь.

днаго трубача да четырехъ музыкантовъ.
къ великому удивленію ревностнаго Ѡанъ-
цена, дѣло устроилось само-собою; когда,
декабрѣ 1672 г., онъ возвратился въ Мос-
онъ уже засталъ при дворѣ московскомъ
уппу актеровъ, а въ Преображенскомъ—
ово отстроенную и сваряженную коми-
зую хоромину.
его пріятель Матвѣева не могъ вывез-

теранской церкви, магистру Ягану Гот-
фриду Грегори, „учинить комедію, а на
комедіи дѣйствовать изъ библіи книгу Эсѣирь
и для того дѣйствія устроить хоромину вновь
(въ Преображенскомъ)“.

Магистръ Іоганнъ Готфридъ Грегори еще
въ 1662 году присланъ былъ въ Москву сак-
сонскимъ курфирстомъ, чтобы занять мѣсто
пастора при лютеранской церкви. Грегори,

какъ „человѣкъ отличной учености, благочестивый, замѣчательнаго ума“ (такъ писалъ о немъ курфирстъ московскому государю), въ теченіи своего десятилѣтняго пребыванія въ Москвѣ, вѣроятно успѣлъ уже привыкнуть къ русскому быту и въ значительной степени освоиться съ русскимъ языкомъ, къ тому времени, когда царь Алексѣй Михайловичъ призвалъ его положить починъ комидійнымъ дѣйствамъ на Москвѣ. „Строеніе комедіи для магистра Грегори не могло быть дѣломъ новымъ и неизвѣстнымъ, такъ какъ въ нѣмецкихъ школахъ и университетахъ XVII вѣка почти повсемѣстно существовалъ обычай — устраивать въ извѣстное время года публичныя представленія. Можно предполагать, что Грегори освѣжалъ только воспоминаніе своей молодости, когда ему, вмѣстѣ съ учителемъ Юріемъ Михайловичемъ, пришлось собирать по Москвѣ „дѣтей разныхъ чиновъ служилыхъ и торговыхъ иностранцевъ, всего 64 человѣка“, и начать съ ними разучивать комедію объ Оссири, или такъ называемое „Артаксерксово дѣйство“.

Нѣмецкая комедія понравилась великому государю; Грегори и его комедіанты были щедро награждены. Самую комедію „Артаксерксово дѣйство, велѣно было перелестъ въ сафьянъ съ золотомъ! Въ 1673 году пасторъ Грегори стоялъ уже во главѣ цѣлой школы мѣщанскихъ дѣтей, обучавшихся у него „комедійному дѣлу“, и „превысокая обыкшая милость царскаго величества“ неослабно поддерживала дѣйство неискусныхъ отрочатъ, учениковъ лютеранскаго пастора.¹⁾ Это однакоже нимало не мѣшало тому, чтобы положеніе молодыхъ актеровъ было вообще весьма незавиднымъ. Оказывается, что въ началѣ своего артистическаго поприща, они не получали во время своего ученія даже и кормовыхъ денегъ. Въ 1673 г. одинъ изъ отрочатъ, „Васка Мѣшалкинъ съ товарищами“ подали государю челобитную, въ которой объясняли: „отослали насъ (въ іюлѣ 1673 г.), холопей твоихъ, въ нѣмецкую слободу, для наученія комидійнаго дѣла къ магистру къ Ягану Готфреду, а корму намъ ничего не учинено; и были мы, по вся дни ходя къ нему магистру и учаса у него, платышникомъ

ободрались и сапожниками обносились, а нить-ѣсть нечего и помираемъ мы голодною смертію. Милосердый государы! вели намъ поденной кормъ учинить, чтобы, будучи у того комедійнаго дѣла, голодною смертію не умереть“. По этой челобитной велѣно имъ выдавать кормовыя деньги по грошу на человѣка, покамѣстъ въ ученія побудутъ, однакожъ со свидѣтельствомъ, т. е. съ аттестаціею магистра о ихъ успѣхахъ и стараніи²⁾.

Первыя пьесы, представленныя въ присутствіи царя на домашней дворцовой сценѣ, были конечно—нѣмецкія, или на скорую руку переведенныя съ нѣмецкаго. Мы даже знаемъ, что переводчикъ посольскаго приказа, Георгъ Гивнеръ помогалъ магистру Грегори въ переводѣ комедій. За „Артаксерксовымъ дѣйствомъ“ послѣдовали комедіи Юдиень, „исторія о странствіи и бракъ молодого Товія, сына Товитова“, „малая прохладная комедія о презрѣнной добродѣтели и сердечной чистотѣ Іосифа, сына Израилева, „Жалостная комедія объ Адамѣ и Евѣ“, „Темиръ-Аксаково дѣйство“ или Базетъ и Тамерланъ. Подъ вліяніемъ русскаго юго-запада, въ школахъ котораго духовная драма занимала столь видное мѣсто, на новой сценѣ не замедлила явиться и русская мистерія. Мистерія эта—св. „Алексѣй Божій человѣкъ“, — передѣланная съ польскаго подлинника, была написана въ честь царя Алексѣя Михайловича и представлена студентами кіево-могилянской коллегии на публичномъ актѣ. Въ прологѣ ея, сильно отзывающемся польскимъ вліяніемъ оригинала, видимъ даже намекъ на современныя интересы — войну съ Турціей; эта война ставится въ особенную заслугу царю Алексѣю Михайловичу, который, возлагая надежду на Бога и на святыхъ, начинаетъ борьбу „съ врагами креста Христова“. Вотъ этотъ прологъ:

«Діогонесъ-философъ среди дня съ свѣчемъ
Человѣка нѣгдысь шукалъ

Шукалъ, а не нашель; жадень не далъ быти
Человѣчнмъ кого иѣлъ гоноромъ учтити.
Если мудрецъ не нашель проста человѣка,

¹⁾ Тихонравовъ. Первое пятидесятилѣтіе русск. театра. М. 1873. стр. 4—8. ²⁾ Забыли. Бытъ русскихъ царей, 482—83 стр.

ищи посреди лукаваго вѣка,
радѣй божьяго человѣка не найдешь.
яковой ваши-московъ увольняючи праймы,
ѣи покажетъ ото на семь пляцы.
же обачите, за якия sprawy
иъ человѣкомъ сталъ въ небесной славы.
ъ то на пожитокъ ваши-московъ душевный
ишъ актъ працовичный, только не все-
дневный,
ъ той на славу пресвѣтлому и благочестивому
царю Алексѣю,
мѣи, и въ Богѣ, и въ святыхъ маючи надѣю,
пріятель креста Христова дѣло зачинаетъ,
ко Константину, нигды не проиграетъ».

гдѣ за „Алексѣемъ Божиимъ человѣ-
„является цѣлый рядъ мистерій, при-
жащихъ плодовиному Симеону Полоц-
.. Изъ нихъ, между прочимъ, особенно
пытна для насъ „комедія о Навуходо-
ѣ царѣ, о телѣ златѣ и о тріехъ отро-
.. въ пещи несожженныхъ“, по сво-
отношенію къ извѣстному уже обряду,
ваго дѣйства“. Въ комедіи Симеона
каго тотъ же сюжетъ пріобрѣтаетъ
почти вполне литературную, драма-
кую обстановку. Въ началѣ комедіи
тсѣ Навуходоносоръ, повелѣваетъ вы-
изъ золота свое изображеніе и покло-
и ему, а боярину Зардапу близъ него
ить пещь, въ которую будетъ брошенъ
кто не захочетъ поклониться истукану.
.., бояринъ Амиръ возвѣщаетъ царю,
же всѣ люди стоятъ на полѣ Деирѣ.
приказываетъ трубить и играть гуд-
.. „И начнутъ трубить и пискать, на-
же поклонятся, а тріе отроки не по-
ста, что видя Амиръ велитъ поймать
‘ Отроки отказываются исполнить по-
іе царя; царь угрожаетъ имъ смертью
стрѣ и получаетъ отъ нихъ слѣдующій
б:

Сердахъ.

тебѣ, царю, намъ ти отвѣщати,
ежогушь, силенъ насъ изъяти
ня люта силою своею,
одити отъ руку твоею.

Мисахъ.

у вѣждь, царю, яко прещеніе
и введетъ насъ во прещеніе;

Аще же огню Богъ хочетъ ны дати,
Мы за честь его готовы страдати.

Аидениго.

Живаго Бога Небеснаго знаемъ:
Бездушный образъ сѣблю обругаетъ.
Не подобаетъ твари почитати,
Творецъ есть Богъ нашъ, того и хошемъ знати.

Въ эпилогѣ этой мистеріи авторъ, по обы-
чаю своего времени, приноситъ благодареніе
царю за скупанье представленія, въ
слѣдующихъ словахъ:

Пресвѣтлый царю и благочестивый,
Богомъ вѣнчанный и христолюбивый,
Благодаримъ та о себѣ благодати,
Яко изволилъ дѣйство послушати;
Свѣтлое око твое созерцае
Комидійное сіе дѣло наше,
Имъ же ти негли не угодни быхомъ.
Яко искусства должна не явномъ:
Разума скудость выпну погрѣшаетъ,
А умъ богатый радостно прощаетъ..»

Рядомъ съ этою „комедіею“ являются на
московской сценѣ и другія мистеріи того
же автора. Болѣе другихъ обращаетъ на
себя вниманіе комедія о блудномъ сынѣ,
въ которой Симеонъ Полоцкій отнесся до-
вольно свободно къ обработкѣ сюжета, за-
имствованнаго изъ Евангелія. Раздѣливъ всю
пьесу свою на шесть частей, онъ чувство-
валъ необходимость послѣ каждой изъ нихъ
„примѣснить нѣчто утѣхи ради“, почему и
вставилъ между дѣйствіями интермедіи
и игравія.

Комедія эта дошла до насъ въ совре-
менномъ изданіи, украшенномъ многими
картинками, изображающими отдѣльныя сцен-
ны „Блуднаго сына“ во всей полнотѣ
ихъ современной сценической постанов-
ки. Одна изъ этихъ любопытныхъ карти-
нокъ, приводимая нами здѣсь (на стр. 218),
знакомитъ насъ вполне съ устройствомъ
русской сцены въ началѣ XVII вѣка: мы
видимъ тутъ и занавѣсъ, и ковровыя кули-
сы, и рампу, и зрителей, посаженныхъ у са-
мой рампы, ниже того возвышенія, на кото-
ромъ устроена сцена и симметрично раз-
ставлены актеры, одѣтые въ костюмы, соот-

вѣтствующіе потребностямъ представленія. Театръ понравился всѣмъ; сценическія представленія производили сильное впечатлѣніе на царя и весь дворъ — и въ этомъ нельзя

ко-латинской академіи и другихъ школъ, для потѣхи великаго государя“ — говоритъ г. Соловьевъ; „по всему было видно, что и другія школы не замедлятъ; сильно чув-



Текстъ и рисунокъ старопечатнаго изданія комедіи
о Блудномъ сынѣ.

не видѣть одного изъ самыхъ опредѣленныхъ признаковъ близости новаго періода въ развитіи русской общественной жизни и образованности. „Театральное училище основалось въ Москвѣ прежде славяно-гре-

ствовалось, что отстаи, сильно чувствовало и громко говорилось, что надобно учиться: въ литературѣ, какъ и во всемъ бытъ, явственны были признаки приближенія новаго времени...”

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ ГЛАВЪ ВОСЕМНАДЦАТОЙ.

Отрывокъ „Комедіи на Рождество Христово“,

сочиненной св. Дмитриемъ Ростовскимъ.

содержаніе этой рождественской мифологии слѣдующія дѣйствія: 1) рождество; 2) поклоненіе пастыремъ; 3) убійство младенцевъ; 4) муки Ирода. Въ началѣ на сцену являются лица аллегорическія. „Натура людская“ жалуетъ совершенство челоуѣческія и грѣшныя первыхъ людей. Ее утѣшаютъ: „Золотой вѣкъ“, „Кротость“, „Радость“. Но послѣ нихъ являющаяся на сцену: „Зависть“, „Железный Брань“ — и „Натура людская“ опечалена. „Смерть“ вступаетъ въ жизнь; затѣмъ происходятъ разговоры и пренія между друзьями аллегорическими лицами: „Печаль“, „Землею“, „Милостью Божьею“, „Завистью“. Эта часть дѣйствія заканчивается чрезвычайно курьезнымъ Циклоповъ.

Циклопы (все вмѣстѣ говорятъ):

Се огонь возжигаетъ,
Въ мѣхы ударяетъ,
Копія и узы
Для тебе, Медузы,
И мечи, и стрѣлы.
Въ іудейскіе предѣлы,
Готуемъ, готуемъ
Тебѣ подметуемъ;
Принимая, Циклопы!
Вѣй крѣпко, Стеропе!
Вронте, не вѣнися,
Враждѣ прислужися.

Наконецъ на сцену выступаютъ „Внеземскіе пастухи“. Изъ нихъ двое:—Аврамъ и Аео-ня, ушли въ городъ, а третій, Борисъ, остался при овцахъ; сначала Борисъ выражаетъ свое недоумѣніе относительно долговременнаго отсутствія своихъ товарищей; потомъ тѣ возвращаются и садятся съ Борисомъ ужинать.

ПАСТЫРИЕ.

что пошли въ городъ для покупки, а третій при наступившей же ночи, пошелъ тамъ искать и прочее).

Пастырь 1, Борисъ.

Какъ свѣтъ! здорово ли живете?
Гдѣ семь мѣстѣ собраны подавно сидите.
Али ли моихъ товарищъ, идущихъ
Въ городъ или изъ города кошель несущихъ?
Же и пристаръ, маленько горбатый,
Гдѣ на глазъ, нѣмъ ему Аврамъ сторожатый;
Молодъ, именемъ Афона названный,
Таромъ шубонку, что намъ въ подпасочки
данный.
Гдѣ городъ хлѣба на ужину купити,
Не оставили овсчокъ хранити.
Али; а уже ночь темна приходитъ,
Менѣ одного страхъ великъ находить.
Въ и овечки, пошелъ ихъ искать
Въ родъ далеко, страшно, гдѣ ихъ буду ждать.
(Сидеть).

Ой, Аврамъ, Аврамъ! тойже зайшолъ на кружалъ
Когда бъ ему какое тамъ лихо не стало!

Пастырь 2, Аврамъ.

Борисъ! чего ты гдѣ, а овцы покинулъ?

Борисъ.

А ты для чего, въ городъ походишь, загнулъ?
Пришолъ вечеръ, а овцы загналъ въ ограду,
А самъ уже пошелъ былъ васъ искать ко
граду.
Кое васъ тамъ такъ долго лихо удержало?

Аврамъ.

Не покручинься, братецъ: зайшолъ на кружалъ.
За алтынецъ виннишка и съ паримшонъ испить.

Борисъ.

Отъ вѣдъ я догадался! А нѣтъ то не купишь?

Аврамъ.

Никакъ, купилъ и тебѣ: какъ вѣтъ не купишь?

Малецъ, вышъ ми съ кошеля. На, зволишь-ли
испить?

Борисъ.

Нутко сядьте жъ и сами пораду напьемся.

Хлѣба купили ль?

Афоня (говоритъ).

Есть.

Борисъ.

Гораздо подкрѣпимся.

Афоня.

Вотъ тебѣ хлѣбъ, вотъ тебѣ соль, вотъ и калачи!
Кушай, старичокъ, а на насъ не ворчи.

Аврамъ.

Да кушуймо жъ поскорѣя, пора итти къ стаду,
Штобъ иногда какой волкъ не влѣзъ во ограду.
*(Запоютъ ангелы, а они забудутся, кусы въ
ртахъ. Думаютъ долго, одинъ на одного
смотритъ, не скоро въ небо).*

Аврамъ.

Што, брать? Гдѣ же гетакъ поють хорошенько?
Еще я такъ не слыхавъ, ты слышишь, Афонько?

Афоня.

Я вже слышу и вижу, ей, птички высоко.
Смотрѣте. Едбакъ ваше не досмотритъ око:
Ты старъ, ты на глазъ хромъ. Вотъ въ гору
смотрите!

Борисъ и Аврамъ.

Е! е! е! виднѣтъ, виднѣтъ.

Афоня.

А што, правда—птички?

Аврамъ.

Брать! кажется, робатки стоятъ не велички?

Афоня.

Сударь! нхто видалъ ребята съ крылами?
Птицы то залетѣли межъ облаками:
Етакъ бы хорошенько ребята не пѣли.
Смотри, смотри: не видно, вотъ и полетѣли.

Борисъ.

Летѣте жъ здоровеньки, а мы поседѣмо;
Маленько покушавши, къ овечкамъ идѣмо.

Аврамъ.

Когда бъ же такъ надъ стадомъ нашимъ всю ночь
пѣли,
То бъ мы, ихъ слушаючи, спать не хотѣли.
Афоня! ты учись на дудки играть,
Штобы мы не хотѣли да и ты дремать.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

Ангелъ (къ пастырямъ).
(Уболятся).

Радость, о пастыріе, отъ меня пріймѣте
И не ужасайтесь, но словамъ внимлѣте.
Радость нынѣ велія мірови явися,
Спасъ человѣческому роду родися
Отъ пренепорочныя Маріи, дѣвицы,
Небесныхъ купно земныхъ жителей царицы.
Вблизи града Вифлсема, въ вертепѣ глубокомъ,
Между воломъ и осломъ, на мѣстѣ высокомъ,
Въ яслѣхъ, на остроумъ сѣнѣ, целенами свитый,
Нинѣ лежитъ всего міра царь пренаменитый,
Тамъ убо веселыма ногама идѣте,
Достойную ему честь и поклонъ дадѣте.

Борисъ.

О сударь! кто ты таковъ? Ты княжего
рода?
Чаю, что князь твой отецъ намъ воевода?

Ангелъ.

Азъ есмь архангелъ не отъ земна рода,
Но отъ небесныхъ ликомъ воевода,
Неприступну престолу Бога услугою,
И тайны того міру азъ благоувствую,
Еже и вамъ вѣщю, отъ Его посланный:
Тому поклонъ да будетъ отъ насъ нинѣ
данный.

Аврамъ.

Чав, тебе, государь, къ князю послали,
Штобъ они великому царю поклонъ дали,
Те къ намъ, нищихъ пастухамъ: гето ты заблудилъ,
Или не вслухалъ. Вѣстникъ къ намъ такой
не ходилъ.

Ангелъ.

Аще и царь есть царемъ, нымъ же смиренный,
Волею между скоти въ стайнѣ положенный,
Ищету возлюбивый, васъ, нищихъ, вызываетъ;
Пастырь сый всѣмъ пастыремъ, васъ, пастырей,
чаетъ.

Борисъ.

Государь! надобно ли что въ поклонъ понести,
Штобъ не велѣлъ, якъ нашъ князь, у шею вонъ
вести?

Ангелъ.

Господь вашъ и Богъ благихъ вашихъ не требуетъ,
Не хотите себѣ даровъ, но Онъ да дарствуетъ.
Часто сердце въ дары тому принесите,
Вѣру, надежду, любовь ему предложите.

Глаголанная мною скоро сотворѣте,
Азъ буду невидимъ, вы въ вертепъ идѣте.

Борисъ.

Штоже такъ итти худо? Ходѣмъ, украсѣмся,
Въ чулки, лапти новые, пойдѣмъ, приберемся.
Афона! позабирай калачи и вино,
Да и ты прибернись; пойдѣмъ всѣ за одно.

Паміе.

Ангелъ пастыремъ вѣстилъ:
«Христосъ ся вамъ днесъ родилъ
Въ Вифлеемѣ, градѣ Давидовомъ,
Въ колѣнѣ Иудовомъ
Отъ дѣвы Маріи.»
Хотяще знать извѣстно,
Еже имъ благовѣстно,
Въ Вифлеемѣ скоро пошлѣ,
Отроча въ ясляхъ знашлѣ,
Матерь съ Іосифомъ.
То дивное рождество
Не изречетъ вѣгѣство:
Зачала Дѣва сына въ чистотѣ
И родила въ цѣлостѣ
Дѣвства своего.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

(Пастыриѣ пришли къ вертепу).

Борисъ.

Постояте же вы здѣсь, я посмотрю, пойду,
Есть ли въ яслѣхъ реченный, и снова къ вамъ
приду.—

Есть, братцы, есть и не спать, и матушка сѣдитъ,
Ангелы поютъ, и старъ Іосифъ тамъ стоитъ.
Ходѣмъ; я скажу. «здравствуй»; ты рцы: «ми-
лость пошла!»

А ты скажи: «прости намъ, что ни съ чимъ
здѣсь пришли.»

Аврамъ.

Тиховько же отопрѣ. Не спать ли рожденный?
Не замая спать, чтобъ не былъ нами возбужденный.

Паміе въ вертепѣ:

Нымъ весь міръ да играетъ:
Дѣва Христа раждаетъ,
Младенца первенца,
Небеснаго облюбенца;

Во вертепѣ днесъ рождаетъ
И во яслѣхъ полагаетъ
Исусъ Христа, Бога истѣ.
Повиваетъ Дѣва чистѣ.

Борисъ (поклоняется).

Здравствуй, о Спасителю, намъ нымъ рожденный,
Самовольно во яслѣхъ смиренъ положенный!
И подушечки нѣту, одѣяльца нѣту!
Чимъ бы тебѣ нашему согрѣтися свѣту!
На небѣ, якъ скажутъ, втебѣ полѣтъ много;
А здѣсь что въ вертепнишку лежиши убого
Въ яслѣхъ, на остроу сѣи, между бун скоты.
Нища себе сотворивъ, всѣмъ даяи щедроты?
Это намъ деревенскимъ, здѣ лежать прилично.
А тебѣ, Спасителю, такъ необычно.
Но, понеже извольнѣ такъ себе смиряешъ,
Царь царемъ сый, нищету толѣку примаешъ,
Буди благословенный, Боже, въ вѣки вѣковъ,
Возлюбивый насъ грѣшныхъ тако человѣ-
ковъ!

И нази реку: буди Богъ благословенный,
 На спасеніе міру всему нарожденный!
 И ты, того рождающая, будь благословенна,
 Ты, кормилица старенькій, буди же хвалимый
 Отъ него же отрокъ здѣ положенъ хранимый!
 За лучшее привѣтство на насъ не дивѣте,
 Пастухамъ деревенскимъ, моляися, простѣте.

Авраамъ.

И азъ ти кланяюся, Боже воплощенный,
 Да насъ возвеселиши, въ плоти умаленный!
 Плачещи, здѣ лежащій за грѣхи Адама.
 Обрадуй же плачуща и мене, Аврама!
 Дай благословеніе всѣмъ намъ, Бога чадо!
 Спаси наше, еже мы въ полѣ пасемъ, стадо!
 Спаси дома наша и въ нихъ всѣхъ живущихъ!
 Помилуй и насъ, нищихъ, здѣ при тебѣ сущихъ!
 Мы тя хвалимъ и хвалить будемъ по вся годы.
 Да хвалить, тя, Спасе нашъ, во вѣки вся роды!
 И тебѣ, Бога мати, главу преклоняю,
 Тебѣ, святой Осипе, челомъ ударяю:
 Помолитесь за насъ къ воплощену Богу,
 Да подасть намъ въ свояси щасливую дорогу.

Афоня.

Напоследокъ и я нищъ къ Тебѣ припадаю,
 Боже нашъ нарожденный, и Тя величаю:
 Будь благословенный, Боже нашъ, во вѣки,
 Яко еси возлюбилъ тако человеки!

Оставивши на небѣ златыя полаты,
 Изволилъ еси пожить здѣ между быдлаты.
 На одномъ сѣни лежиши, якъ какой сирота;
 Всѣхъ одѣваешь, а Ты покрываешь нагота.
 Подобало-бъ, дабы мы чинъ Ти подарили,
 Постлали бъ что мягонько или чинъ по-
 крыли;

Но прости: нищы есмы, имамы ничтоже.
 Прости насъ, милостивый и всещедрый Боже!
 Прости и благослови и ты, Мати Богу,
 И ты, святой Осипе, за милость пренногу!
 Идѣмо во свояси; насъ благословѣте!

Всѣ.

Въ путь идущимъ и дома сущимъ помогайте!

Гастыріе (людemъ возвѣщающъ).

Радуйтесь, людие! Родися Спаситель,
 Истинный всего міра Богъ и откупитель.
 Мы тому самовидцы, своимъ зрѣли окомъ:
 При градѣ Вифлеемѣ, въ вертепѣ глубокомъ
 Лежитъ въ яслѣхъ на сѣнѣхъ отрокочъ маленькій.
 Тамъ и матушка его, и Осипъ старенькій.
 Мы имъ поклонимся да доной ступавемъ;
 А, что тамъ видѣли, всѣмъ вамъ возвѣ-
 щавъ.
 Здравствуйте, радуйтесь, веселы ликуйте,
 А Христа рожденного всѣ купно празд-
 нуйте!





XIX.

въ XVII вѣкѣ. — Рыцарскіе романы въ русскихъ переводахъ; сибиротворныя повѣсти. — Попытки въ самостоятельную русскую повѣсть; два главныхъ ея направленія. — Повѣсть о горѣ-злосчастіи.



дѣсь прежде, чѣмъ мы укажемъ на тѣ новыя направленія, какія въ русская повѣствовательная литература XVII столѣтіи, мы должны будемъ нѣсколько словъ о томъ періодѣ ея, который непосредственно предшествовалъ первымъ попыткамъ создать въ повѣствовательномъ родѣ нѣчто самостоятельное, и при томъ основанное на историческомъ условіяхъ русскаго быта.

уже видѣли, каковы были первыя по литературно-обработаннымъ сказки, а записались къ намъ во второмъ поколѣніи нашей литературы съ дальняго востока изъ Византіи при посредствѣ южно-славянскихъ передѣлокъ и переводовъ. Нѣкогда позднѣе, сначала черезъ Псковъ и Новгородъ, а потомъ и черезъ Польшу, стали проникать нѣкоторыя изъ западныхъ сказаній... Но, между тѣмъ, сильная потребность въ чтеніи разнообразномъ, вставшая себѣ долгое время удовлетворенію въ однихъ палаткахъ и хронографическая любознательность древне-русскаго книжника небрежало и этой тощей почвой для повѣствованій, то поучительныхъ и глупыхъ, то полныхъ чудеснаго и естественнаго. Однако-же авторы повѣствованій, подъ вліяніемъ религіозно-апатическаго воззрѣнія, еще боялись отступать отъ горической основы: они позволяли только нѣкоторое незначительное украшеніе этой основы вымысломъ, только самыя ясныя поясненія и пополненія истори-

ческаго содержанія своихъ повѣстей русскими чертами быта и болѣе понятными для нихъ подробностями. Въ этомъ отношеніи важнымъ пособіемъ и часто главнымъ источникомъ для древне-русскихъ книжниковъ, складывавшихъ повѣсти, служили хронографы.

„Въ хронографѣ совмѣщалась цѣлая историческая библіотека. Начинаясь сотвореніемъ міра, онъ приводилъ библейскую и церковную исторію, добавляя къ сказаніямъ апокрифическими, рассказывалъ о судьбахъ древнихъ народовъ, особливо римлянъ и грековъ, до паденія Византіи, переходилъ къ славянскимъ племенамъ и къ Руси, исторію которой излагалъ по лѣтописнымъ сборникамъ. Отдѣльныя произведенія вносились въ хронографы въ извлеченіи или же цѣлымъ, напр. исторія Александра, Троянскія сказанія и многія другія повѣсти. Говоря о сотвореніи міра, хронографъ выписывалъ толкованія отцовъ церкви, вставлялъ космографическія и географическія свѣдѣнія, рассказывалъ о греческой мифологіи. Вслѣдствіе этого состава, изложеніе большею частью носило отрывочный, анекдотическій характеръ, потому что составители не столько заботились о внутренней связи разсказа, сколько обращали вниманіе на отдѣльные факты: — однимъ словомъ, книжники наши сдѣлали изъ хронографа (съ теченіемъ времени) цѣлую историческую энциклопедію, въ которую попадало много даже такого, что было излишне въ сочиненіи

ни историческомъ¹⁾. Изъ этой-то энциклопедии да изъ многочисленныхъ, разнообразныхъ списковъ Пален до самаго XVII вѣка приходилось русскимъ книжникамъ почерпнуть всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣнія историческія; отсюда же почерпнули они и содержаніе нѣсколькихъ повѣстей, которымъ была придана ими литературная форма. Такъ напр. въ числѣ повѣстей, основанныхъ на сюжетѣ историческомъ, заимствованныхъ изъ хронографовъ, нельзя не упомянуть о такихъ произведеніяхъ литературныхъ, какъ „повѣсть о взятіи Царяграда турками“, какъ „сказаніе о Дракулѣ, воеводѣ Мутыянскомъ“ или еще „Слово о дѣвицѣ, иверскаго царя дщери, Динарии царицѣ“. Первое въ числѣ этихъ произведеній замѣчательно по своимъ подробностямъ, по обстоятельному и вѣрному описанію осады и взятія города турками. „Повѣсть о семъ событіи“—говоритъ одинъ изъ нашихъ ученыхъ—„была однимъ изъ любимыхъ чтеній на Русѣ; въ ней съ радостью видѣли русскіе, что послѣ паденія Греціи осталась одна земля православная—Русь, и слышали пророчество, что Руси предоставлено нѣкогда взять Седмихолмный городъ (т. е. Константинополь), водариться въ немъ и водворить православіе въ землѣ Константинова Равноапостольнаго“²⁾. Второе изъ упомянутыхъ нами произведеній также передаетъ факты историческіе, относящіеся къ жизни и дѣятельности Дракула, сына волошскаго воеводы Милицы, который, по смерти отца, умертвилъ наследника его и сдѣлался правителемъ Валахіи. въ половинѣ пятнадцатаго столѣтія. Коварствомъ и хитростью удачно поддерживалъ онъ независимость своей страны, отбиваясь то отъ турокъ, то отъ венгровъ. Повѣсть рисуетъ его въ самомъ мрачномъ и невыгодномъ свѣтѣ: онъ изображенъ злодѣемъ, кровожаднымъ и безпощаднымъ, и въ повѣсть внесено множество анекдотовъ о той безчеловѣчной жестокости, съ какою онъ относился и къ своимъ подданнымъ, и къ иностранцамъ. Третья изъ упомянутыхъ нами повѣстей, основанныхъ на сюжетѣ историческомъ и заимствованныхъ изъ хронографа, должна

была, конечно, болѣе другихъ привлекать къ себѣ вниманіе грамотныхъ людей заманчивою оригинальностью своего содержанія. Въ ней, подъ именемъ „Динары-царицы“ выступаетъ историческое лице: — грузинская царица Тамара, правившая царствомъ грузинскимъ въ началѣ XIII вѣка. Въ нашемъ сказаніи, о правленіи ея разсказывается слѣдующимъ образомъ:

„Динара, пятнадцать лѣтъ осталась на слѣднице „Иверскаго владетельца“ Александра Мелеха, и мудро управляла народомъ. Персскій царь, услышавъ о смерти Александра, требовалъ покорности отъ его дочери; но Динара, пославъ дары, не думала отказываться отъ своей власти. Раздраженный царь пошелъ на нее войною. Страхъ овладѣлъ всѣми вельможами юной царицы: „какъ можемъ стоять противъ многого воинства и такого перскаго ополченія?“ говорили они. Мужественная Динара возбудила ихъ храбрость: „ускоримъ противъ варваръ“, говорила она, „якоже и азъ иду, дѣвица, и восприму мужскую храбрость, и отложу женскую немощь, и облечуся въ мужскую крѣпость, препояшу чресла свои оружіемъ и возложу броню и шлемъ на женскую главу, и восприму копье въ дѣвичи длани, и вступлю въ стремя воинскаго ополченія; но нехощу слышати враговъ своихъ, плѣняющихъ жребій Богоматери“³⁾ и данная намъ отъ нея державы, и та бо царица подаетъ намъ храбрость и помощь о своемъ достоинствѣ“. Принесши молитву Богоматери въ шарбенскомъ монастырѣ, куда (Динара) пришла „плѣша и необуvenными ногами, по остроуму каменю и жестокому пути“, она выступила противъ враговъ и, взявши копье, устремилась на персскіе полки и поразила одного персина. Враги ужаснулись ея голоса и побѣжали. Динара же „отняла“ голову перскаго царя и на конѣ принесла ее въ Тавризъ; города покорялись ей, и она съ богатыми сокровищами воротилась въ отечество. Добыча ея, „каменіе драгое, пѣсеръ, и злато, и вся царскія потребности, ея отъ персѣ“, — все это роздано было Динарою въ дома Божіи. Потомъ она правила народомъ 38 лѣтъ и оставила власть свою

¹⁾ Пыпинъ. Очеркъ литературной истор. стар. пов. и сказ. 212—13. ²⁾ Н. А. Полевой. Истор. русскаго народа. V, 419. ³⁾ Жребій Богоматери—т. е. страну Богоматери, страну, состоящую подъ особымъ покровительствомъ Богоматери.

сродникамъ: „даже и до днесь“, — такъ замѣчаетъ повѣсть— „нераздѣльно державство нверское пребываетъ, а нарицается отъ рода Давыда, царя еврейскаго, царскаго колѣна“¹⁾.

Сказанія, подобныя повѣсти о Динарѣ-царницѣ, должны были, конечно, служить весьма естественнымъ связывающимъ звѣномъ для нашей повѣсти съ тѣми западно-европейскими сюжетами, въ которыхъ дана была полная свобода вымыслу: мы разумѣемъ подъ такими сюжетами собственно-рыцарскіе романы, которые стали обильно проникать къ намъ именно въ концѣ XVI и началѣ XVII столѣтія, подъ непосредственнымъ вліяніемъ, оказаннымъ польскою литературою и наукою на возникавшую образованность русскаго юго-запада. Сюда относятся напр. „книга о Мелюзинѣ“, „Исторія Петра Златые-Ключи“, „Повѣсть о княгинѣ Алдорфской“ и, наконецъ, „Исторія о Бовѣ-королевичѣ“, которая стала до такой степени любимымъ сюжетомъ въ нашей повѣствовательной литературѣ, что, послѣ многихъ передѣлокъ, перешла даже въ литературу народную, гдѣ и доселѣ еще встрѣчается между нашими „лубочными изданіями“. (Образцомъ всѣхъ подобнаго рода рыцарскихъ романовъ, перенесенныхъ на почву русскою повѣсти, можетъ служить перешедшая къ намъ изъ чешской литературы „повѣсть ужасительная о Брунцвикѣ, королевичѣ чешскія земли, и о его великомъ разумѣ и храбрости, како онъ ходилъ въ морскихъ отоцѣхъ съ великимъ звѣремъ львомъ“.

„Оставшись по смерти отца королемъ чешскимъ, Брунцвикъ жаждалъ прославиться рыцарскими дѣланіями, бросилъ свою молодую жену, и пустился въ море съ избранными спутниками. Долго они плавали безъ всякихъ приключеній, наконецъ жестокая буря настигла ихъ, корабль увлеченъ былъ теченіемъ къ магнитной горѣ, притягивавшей къ себѣ всѣ корабли, приближавшіеся къ ней на пятнадцать миль. Путники успѣли спастись на берегъ, но запасы ихъ истощились и, наконецъ, въ живыхъ осталось ихъ всего двое: — Брунцвикъ и старый рыцарь, его дядька. Однако же и изъ этихъ двоихъ удалось спастись только одному королевичу: мудрый дядька зашилъ его въ

конскую кожу, обмазалъ эту кожу кровью и положилъ на горѣ; черезъ нѣсколько времени прилетѣла птица Нога, которая въ извѣстное время появлялась на этомъ островѣ; схватила она зашитаго въ конскую кожу Брунцвика и унесла его въ далекія страны (куда человѣкъ можетъ дойти только въ три года) въ свое гнѣздо. Королевичъ поубивалъ всѣхъ птенцовъ Нога-птицы, которыми это пернатое чудовище отдало его на сѣдѣніе, и отправился искать дальнѣйшихъ приключеній: бродя по горамъ и отыскивая признаковъ жилья человѣческаго, рыцарь услышалъ страшный зыкъ: — оказалось, что это левъ боролся съ дракономъ-василискомъ. Брунцвикъ помогъ льву убить десятиглаваго валиска, и съ той поры благодарный левъ не покидалъ королевича ни на минуту. Вмѣстѣ отправились они черезъ море къ городу, который Брунцвикъ увидѣлъ съ высокаго дерева. На дорогѣ попалась имъ карбункуловая гора и королевичъ откололъ отъ нея себѣ большой самоцвѣтный камень. Но, придя въ завидный издали городъ, Брунцвикъ ужаснулся, когда увидѣлъ, что въ томъ городѣ живутъ какіе-то чудовищные люди, а надъ ними царствуетъ царь Алимбрусъ, а у того царя Алимбруса двѣ пары глазъ—одни спереди, другіе сзади головы. Царь этотъ обѣщалъ Брунцвика пропустить въ его царство, если тотъ освободитъ его царскую дочь изъ подъ власти ужаснаго василиска. Королевичъ, на кораблѣ отправился въ гнѣздо василиска — городъ, окруженный тройною стѣною съ тремя воротами, которыя оберегались чудовищами. При помощи льва, королевичъ одолеваетъ чудовище, проникаетъ въ городъ и находитъ тамъ, среди изумительныхъ сокровищъ, красавицу, по имени Африку, находившуюся въ неволѣ у жестокаго василиска; послѣ долгой битвы съ василискомъ и окружающими его гадами, чудовищами и привидѣніями морскими, Брунцвикъ остался побѣдителемъ, излѣчилъ раны кореньями, принесенными ему львомъ, и возвратилъ красавицу Африку отцу ея, Алимбрусу. Царь предложилъ дочь свою въ жены королевичу, давалъ за нею огромныя богатства въ приданое — но Брунцвикъ отъ всего отказался, и сталъ проситься на родину. Такъ какъ

¹⁾ Пыпинъ. Тамъ-же стр. 218 — 19.

царь Алимбрусь не хотѣлъ его отпустить, то Брунцвикъ (при помощи случайно отысканнаго имъ меча-кладенца, „который тому служить, кого любить, и убиваетъ въ одинъ разъ столько, сколько владѣлецъ его захочетъ)“ вырубаеъ все царство Алимбруса и отплываеъ вмѣстѣ со львомъ на родину. Онъ успѣваеъ прибыть къ стольному городу Прагѣ, въ то самое время, когда молодая жена его, по истеченіи урочнаго времени, понуждаемая отцемъ своимъ, снова уже собиравшая выйти замужъ. Повѣсть оканчивается такимъ образомъ: „и тако Брунцвикъ поживѣ въ своемъ королевскомъ величествѣ тридцать пять лѣтъ, и приживъ съ Неоменіею (женою своею) единого сына“, нарече имя ему Владиславъ, и въ доброй старости скончался и погребенъ бысть честно. Мечъ же тотъ, по смерти Брунцвиковѣ, не имѣя силы и бысть яко протѣи: левъ же, по смерти Брунцвиковѣ, велми нача тужити и тосковать по Брунцвикѣ, и съ тоя великія тоски и жалости нача рыти землю; изъ очію его, яко струи, слезы текуще, и приде левъ на гробъ къ Брунцвику и въ жалости велми воскричалъ, и паде на землю мертвъ, и тако скончася“¹⁾.

Но польское вліяніе литературное не ограничилось только пересажденіемъ на нашу почву средневѣковыхъ рыцарскихъ романовъ западной Европы: — тѣмъ же путемъ занесены были къ намъ и многочисленные сборники легкихъ, шутивыхъ рассказцевъ и анекдотовъ, которые изъ Франціи и Італіи распространялись въ XIV вѣкѣ по всей средней Европѣ, подъ именемъ повелѣй и фацецій. Къ намъ эти сборники проникли черезъ Польшу, въ началѣ XVII вѣка, подъ названіемъ прикладовъ, жартъ (т. е. шутивыхъ рассказовъ), смѣхотворныхъ повѣстей и т. д.²⁾. Обширные сборники этого рода произведеній, по мѣрѣ пробужденія у насъ потребности въ легкомъ чтеніи, получали все большее и большее распространеніе, не смотря на все ничтожество своего содержанія, не смотря и на чрезвычайную грубость своего изложенія, переполненнаго множествомъ полонизмовъ и промаховъ противъ русскаго языка. Сборники эти, очевидно, переходили на сѣверо-востокъ Руси съ кіевскаго юго-запада, гдѣ,

благодаря сліянію двухъ народностей и безпрерывной борьбѣ и сношеніямъ Руси съ Польшею, польскій языкъ былъ не только въ совершенствѣ извѣстенъ всѣмъ русскимъ, но даже и оказывалъ на нихъ весьма дурное вліяніе, по отношенію къ портѣ ихъ собственнаго языка и слога. Впрочемъ, сборники жартъ и смѣхотворныхъ повѣстей не только переводились и не всегда цѣликомъ переносились къ намъ на Русь: — произведенія, помѣщаемыя въ нихъ, иногда пополнялись и русскими сюжетами или передѣлывались въ примѣненіи къ русскимъ нравамъ и быту: такъ напр. въ подобныхъ сборникахъ, къ числу различныхъ анекдотовъ о женщинахъ, присоединялись нерѣдко и „слова о злыхъ женахъ“ и „бесѣды отца съ сыномъ о женской злобѣ“, въ которыхъ выражались тѣ же безобразныя воззрѣнія на отношенія мужчины къ женщинѣ, съ какими мы уже встрѣчались при разборѣ памятниковъ нашей древней письменности. Такимъ же образомъ, въ число анекдотовъ и новеллъ заносились и народныя рассказы о царѣ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ, и весьма распространенныя между нашими грамотниками XVII вѣка пересказы о спорѣ „жидовскаго философа Тараски съ хромымъ скоморохомъ“, который своею смѣлою и находчивою вынуждаетъ наконецъ „Тараску“ отказаться отъ состязанія о превосходствѣ закона еврейскаго надъ христіанскимъ.

Не разъ уже приходилось намъ поминать выше о томъ, что главною чертою нашей литературы третьяго періода (отъ временъ Грознаго до половины XVII в.) является именно зарожденіе самосознанія въ наиболѣе образованныхъ, грамотныхъ слояхъ общества. Въ этомъ періодѣ впервые и начинается высказываться положительный и опредѣленный взглядъ на дѣйствительность. Наступаетъ время разсужденія, наблюденія надъ тѣмъ, что окружаетъ человека, и тѣмъ онъ живетъ; фантазія начинаетъ почерпать свои образы изъ живаго наблюденія надъ дѣйствительностью; является, наконецъ, возможность повѣсти не переводной, а записанной, а представляющей собою вѣрный рассказъ о томъ, какъ и что совершается въ дѣйствительной, окружающей ав-

¹⁾ Пыпинъ; Ист. стар. пов. и ск., 224—26. ²⁾ Смѣхотворная повѣсть — тоже, что фацеція.

тора, русской средѣ. Первые опыты самостоятельных произведений въ повѣствовательномъ родѣ появляются у насъ въ XVII столѣтіи, и въ нихъ рѣзко обозначаются два направленія, обусловливаемые не только общечеловѣческимъ склонностью смотрѣть на всякое явленіе съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, но и тѣмъ двойнымъ настроеніемъ, тѣмъ двойнымъ способомъ воззрѣнія на дѣйствительность, который долженъ былъ преобладать въ средѣ лучшихъ русскихъ людей XVII вѣка. И вотъ, въ русской повѣствовательной литературѣ этого времени, мы впервые встрѣчаемся съ шутливою сатирою, осмѣивающею дѣйствительность и ея недостатки, или обрисовывающею бытъ современнаго общества въ формѣ легкаго, игриво-набросаннаго очерка русскихъ нравовъ. Къ такого рода произведеніямъ принадлежатъ всѣ тѣ, въ которыхъ осмѣивается жалкое состояніе современнаго судопроизводства, корыстолюбіе и несправедливость судей и страшная, часто нескончаемая продолжительность тяжбы, развивавшая и питавшая сутягъ и ябедниковъ всякаго рода. Сюда относятся напр. „повѣсть о судѣ Шемякъ“, или такъ называемый „Шемякинъ судъ“, „повѣсть о Ершѣ Ершовѣ, сынѣ Шетинниковѣ“, извѣстная въ другомъ видѣ и подъ другимъ названіемъ: „Списокъ суднаго дѣла о тяжбѣ Леща съ Ершомъ“. Последнее произведение принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которыя, подъ названіемъ „челобитныхъ“, осмѣивали формы и рѣшенія судовъ, излагая при томъ все содержаніе повѣствованія запутаннымъ и темнымъ слогомъ, господствовавшимъ въ дѣловыхъ бумагахъ современнаго судопроизводства. Дѣйствующими лицами въ этихъ произведеніяхъ являются: бояринъ Осетръ, воевода Сомъ, выборные Судакъ и Шука, челобитчикъ Лещъ и ябедникъ Ершъ. Подобная же сатира на лукавство и лобостыжаніе разныхъ особъ духовнаго сословія выразилась въ „Повѣсти о Курѣ (т. е. о пѣтухѣ) и Лисѣ“. Сюда же слѣдуетъ, наконецъ, отнести и цѣлый рядъ повѣстей и въ прозѣ, и въ стихахъ „о происхожденіи винокуренія“, и „о хлѣбномъ питіи“, „о высокоумномъ хмѣлѣ“, и т. д., въ которыхъ выставляется на видъ пристрастіе къ хмѣльнымъ напиткамъ и подробно излагается губительное ихъ дѣйствіе. Хмѣль является въ подобныхъ рассказахъ

молодцемъ, который съ гордостью говоритъ о себѣ: „я — хмѣль, и происхожу отъ рода великаго и знатнаго; я — силенъ и богатъ, хоть добра у меня за душою нѣтъ никакого; ноги у меня тонки — за то утроба прожорлива, и руки мои обхватываютъ всю землю. Голова у меня высокоумная, языкъ многорѣчивый, а глаза мои не вѣдаютъ стыда“. Въ числѣ подобныхъ шутливо-сатирическихъ произведений, первое мѣсто по простотѣ изложенія и по вѣрному описанію подробностей современнаго быта, занимаетъ „Исторія о російскомъ дворянинѣ Фролѣ Скобѣевѣ и столярной дочери Пардинѣ Нащокиной Аннушкѣ“. Герой повѣсти — плутватый и бѣдный новгородскій дворянинъ, занимающійся ябедой по судамъ; путемъ пронырства и различнаго рода обмановъ, онъ успѣваетъ обратить на себя вниманіе Аннушки, дочери боярина и царскаго любимца, и даже тайкомъ — жениться на ней помимо воли ея отца; тѣмъ же путемъ обмановъ и ухищреній, къ какимъ могъ быть способенъ только подъячій XVII вѣка. Фроль, послѣ этого, успѣваетъ и утолить гнѣвъ родителей Аннушки и даже на столько войти въ милость къ тестю, что тотъ, по смерти своей, записываетъ на имя зятя все свое имѣніе, хоть при жизни и называлъ его отъявленнымъ плутомъ. Повѣсть оканчивается описаніемъ того благоденствія, которое успѣлъ приобрести своими плутнями Фроль Скобѣевъ, сдѣлавшійся человѣкомъ богатымъ и знатымъ.

Но если нѣкоторая часть нашего общества въ XVII столѣтіи, сознавая несостоятельность современныхъ общественныхъ порядковъ, способна была смѣяться надъ ними, и представлять въ легкихъ, шутливыхъ очеркахъ картину далеко неутѣшительныхъ нравовъ и недостатки, преобладавшіе въ средѣ современниковъ, — то ужъ, конечно, въ грамотной средѣ нашей должно было выразиться и противоположное настроеніе нравственное, которое не могло довольствоваться шуткой и сатирой. Мрачная, тяжелая дѣйствительность, которая нашла себѣ такихъ энергическихъ историковъ и обличителей въ лицѣ очевидцевъ-писателей — Котошихина и Крижанича — тягостно отзывалась на многихъ лучшихъ представителяхъ современной русской интеллигенціи. Обрядовая неподвижность и полное отсутствіе самостоя-

тельной жизни общественной, не давали никакого простора развитію отдѣльной личности, подавляли ея нравственныя и умственныя силы: и жизнь семейная, — въ которой женщина не имѣла никакого значенія, а дѣти считались рабами отца, — и жизнь государственная, въ которой мало оказывалось уваженія къ личнымъ способностямъ и заслугамъ гражданина — все это вмѣстѣ было до такой степени неудовлетворительно, что должно было отражаться на нравственной сторонѣ мыслящаго большинства самымъ неблагопріятнымъ образомъ. Неудивительно, что часть этого большинства стремилась, подъ влияніемъ вышеуказанныхъ условій общественнаго строя, къ затратѣ силъ своихъ въ самомъ широкомъ и безобразномъ разгулѣ и бражничаньѣ, которыя не сдерживались никакою нравственною уздою, никакими заявленіями со стороны общественнаго мнѣнія. Другая часть избирала иной путь — полное отреченіе отъ жизни и ея соблазновъ, монастырское затворничество, разрывъ со всѣмъ живымъ, имѣющимъ значеніе въ жизни и для жизни. Люди, избравшіе этотъ путь, всецѣло старались предать себя на служеніе Богу и на исполненіе тѣхъ обязанностей, которыя налагаются на каждого христіанина религіею. Но и религіозное настроеніе этихъ людей было почти также мрачно и непривѣтливо, какъ та суровая дѣйствительность, которая вынуждала ихъ избрать „путь спасенія“: — они неспособны были проникнуться высшими началами христіанской любви, составляющей главную сущность христіанскаго ученія, и затрачивали свои силы только въ строгомъ соблюденіи обрядовой стороны религіи, нисходя до мельчайшихъ ея частности, и часто подвергая себя жестокимъ, почти невыносимымъ самонистязаніямъ. Кроме того, въ сознаніи этихъ людей, исключительно преданныхъ дѣлу „спасенія души“ своей, религія постоянно являлась не иначе, какъ въ видѣ борьбы двухъ главныхъ началъ: добраго и злаго, мрачнаго и свѣтлаго. Недостаточно было угождать Богу вѣрою и добрыми дѣлами: нужно было еще постоянно бороться съ дьяволомъ и служа-

щими ему бѣсами. Матѣйшее опущеніе, матѣйшее послабленіе себѣ или несоблюденіе обряда — подвергали провинившагося власти мрачныхъ духовъ, которые являлись ему въ видѣ страшныхъ чудовищъ и не щадили изобрѣтательности на измышленіе самыхъ ужасныхъ мукъ ему и при жизни, и послѣ смерти. Такое мрачное религіозное настроеніе безпрестанно приводило человека къ сознанію своего ничтожества, лишало его бодрости въ борьбѣ съ жизнью, отнимало у него надежду на будущее, и часто дѣлало его жертвою первой случайности. Это же мрачное настроеніе нравственное выразилось и въ повѣствовательной литературѣ XVII столѣтія, — вообще богатой сознательнымъ и живымъ изображеніемъ русской дѣйствительности — въ множествѣ произведеній назидательнаго характера, въ которыхъ главную роль играетъ слабость и несостоятельность современнаго русскаго человека, указывается на преобладаніе дьявола во всемъ житейскомъ и, вслѣдствіе этого, на отреченіе отъ жизни, — на монастырь — какъ на единственный возможный путь къ спасенію. Въ числѣ произведеній, рисующихъ намъ дѣйствительность XVII вѣка подъ влияніемъ такого мрачнаго, религіозно-назидательнаго направленія, слѣдуетъ конечно упомянуть „Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ“ и одинъ изъ лучшихъ памятниковъ нашей древней литературы — недавно отысканную „Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ, какъ Горе-Злосчастье довело молодца во иноческій чинъ“¹⁾.

Первое произведеніе, чрезвычайно любопытное по той подробности, съ какою описываются въ немъ черты современнаго быта и нравовъ, основывается на сюжетѣ, весьма распространенныхъ въ средневѣковой литературѣ разсказовъ о „чудесахъ Богоматери“²⁾. Сынъ кунца, Савва Грудцынъ, заѣхавъ на чужую сторону, предается безнравственной и разгульной жизни, и наконецъ въ необузданномъ стремленіи къ удовлетворенію своихъ желаній, продаетъ душу свою дьяволу, давши ему на себя „рукописаніе“. Затѣмъ слѣдуетъ въ повѣсти описаніе цѣлаго ряда самыхъ разнообраз-

¹⁾ Повѣсть эта была отыскана въ 1856 г. А. Н. Пыпинимъ, въ одномъ изъ сборниковъ XVII вѣка, принадлежащемъ Имп. публ. бібліотекѣ. ²⁾ Нѣкоторые изъ подобныхъ разсказовъ являлись даже въ видѣ мистерій на средневѣковой церковной сценѣ.

ныхъ приключеній и подвиговъ Саввы, дѣйствующаго по наущенію и при помощи злаго духа. Наконецъ, юноша заболѣваетъ и дьяволъ начинаетъ его мучить, требуя исполненія условія, скрѣпленнаго рукописаніемъ Саввы. Среди тяжкихъ страданій, Савва является во снѣ пресвятая Богородица, съ Іоанномъ Богословомъ и Петромъ митрополитомъ, и обѣщаетъ избавить несчастнаго отъ гибели, если онъ рѣшится поступить въ монастырь. Юноша соглашается, и Богородица вынуждаетъ дьявола возвратитъ ему рукописаніе; послѣ этого, Савва раздѣляетъ все имѣніе нищимъ и поступаетъ въ Чудовъ монастырь. Содержаніе „Повѣсти о Горѣ-Злосчастьѣ“, заканчивающейся точно также поступленіемъ несчастнаго молодца въ монахи, отличается отъ только что изложенной нами повѣсти и внѣшней формою своею, и содержаніемъ. Повѣсть написана стихами, напоминающими складомъ своимъ народныя пѣсни, и въ особенностяхъ тѣхъ изъ нихъ, которыя извѣстны подъ названіемъ „духовныхъ стиховъ“, и въ которыхъ, собственно, размѣръ пѣсни является нѣсколько измѣненнымъ, вслѣдствіе вліянія книжнаго. Содержаніе же повѣсти, которую мы приводимъ цѣликомъ въ концѣ этой главы, чрезвычайно просто. „Горе-Злосчастье“, олицетворенное въ страшномъ и насмѣшливомъ образѣ существа, одареннаго сверхъестественнымъ могуществомъ, преслѣдуетъ молодца, который не видитъ ни въ чемъ и ни въ комъ себѣ поддержки, не можетъ найти ея и въ ограниченномъ запасѣ своихъ слабыхъ, ничтожныхъ силъ нравственныхъ, пытается всѣми путями избѣгнуть страшнаго врага своего; но только на одномъ пути не встрѣчаетъ его: — Горе-Злосчастье покидаетъ его только у воротъ святой обители, подъ кровъ которой несчастный молодецъ наконецъ прибѣгаетъ, нища успокоенія.

Повѣсть о „Горѣ-Злосчастьѣ“ важна для насъ не только, какъ прекрасное, дѣйствительно-поэтическое отраженіе мрачныхъ сторонъ современной общественной жизни и тягостнаго нравственнаго безсилія, которое вырабатывалось ея невыгодными условіями: — произведеніе это не менѣе важно

для насъ и по той непосредственной, органической связи съ почвою нашей народной, устной словесности, какая слышится въ каждомъ словѣ этой печальной повѣсти, чувствуется во всемъ ея заунывномъ мотивѣ, хватающемъ за самыя живыя и чувствительныя струны русскаго сердца. Не подлежитъ никакому сомнѣнію то, что „повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ“ должна была точно также непосредственно вырасти и развиться на основѣ народныхъ сказокъ и пѣсенъ „о Горѣ“ и „Нуждѣ“, въ которыхъ эти стороны человѣческаго бытія также точно олицетворяются и почти также наглядно изображаются, какъ страшное „Горе-Злосчастье“, преслѣдующее молодца. Особенно близко къ этому образу кажется намъ извѣстная пѣснь, помѣщенная уже въ сборникъ Кирши Данилова ¹⁾:

А и горе-горе, гореваньице!
А и въ горѣ жить — не кручинну быть;
Нагому ходить — нестыдитися,
А и денегъ нѣтъ — передъ деньгами,
Появилась гривна — передъ злыми дни.
Не бывать плѣштому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхаго,
Не откормить коня сухопараго,
Но утѣшить дитя безъ матери,
Не скроить атласу безъ мастера
А и горе-горе, гореваньице,
А и лыкомъ горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны!
А я отъ горя во темны лѣса —
А горе прежде вѣкъ зашелъ;
А я отъ горя въ почестной пиръ —
А горе зашелъ впереди сидитъ;
А я отъ горя на царевъ кабакъ —
А горе встрѣчаетъ, ужъ пиво тащитъ!
Какъ я нагъ-то сталъ, насмѣялся онъ!

Другая, подобная же пѣсня, не поминная о Горѣ, съ ѣдкой ироніей изображаетъ наготу и бѣдность, и въ словахъ ея, повидимому веселыхъ и потѣшныхъ, слышится глубокая, затаенная грусть, воспитанная тяжелою нуждою:

У дороднаго добра-молодца
Много было на службѣ послужено —

¹⁾ Сборникъ былинъ и пѣсенъ, составленный какимъ-то Киршею Даниловымъ, принадлежитъ къ концу XVII или началу XVIII столѣтія.

На печи было въ волю полежано;
 Дослужился я добрый молодецъ до край-печи.
 У дороднаго добра-молодца
 Много было на службѣ послужено —
 Съ кнутомъ за свиньями похожено;
 Много цѣтнаго платья поношено —
 По подѣ-оконью онучъ было попрошено;
 На добрыхъ коняхъ было поѣзжено —
 На чужія дровни присѣдаючи,
 Ко чужимъ дворамъ приставаючи;
 У дороднаго добра-молодца
 Много было на службѣ послужено, —
 Много сахарнаго куса поѣдено —
 На поварняхъ было посижено,
 Кусковъ и оглодокъ попрошено,
 Потихоньку, безъ спросу, потаскано:
 Голиками глаза выбиты,
 Ожегомъ ¹⁾ плеча поравнены...

Въ сказкахъ нашихъ мы также встрѣчаемъ много мотивовъ, близкихъ къ тому, который послужилъ основаніемъ скорбной „повѣсти о Горѣ-Злосчастѣѣ“. „Горе“ въ сказкахъ также является въ видѣ существа, преслѣдующаго бѣдняковъ-горемыкъ, сопровождающаго ихъ на всѣхъ путяхъ жизни; особенно живо помнится намъ, въ одной изъ подобныхъ сказокъ, рассказъ о томъ, какъ голодный бѣднякъ, возвращаясь съ угощенія богача-сосѣда, у котораго не нашлось ему за столомъ мѣста, старается себя утѣшить тѣмъ, что затягиваетъ пѣсню. Вдругъ слышитъ онъ, что кто-то ему сзади подиѣваетъ.. „Кто тамъ поетъ?“ спрашиваетъ испуганный бѣднякъ. „Это—я, Горе, тебѣ подтягиваю; я вездѣ съ тобою, и нигдѣ отъ тебя не отстану“, — отвѣчаетъ бѣдняку постоянный, неотвязчивый спутникъ его жизни... Въ нѣкоторыхъ сказкахъ, впрочемъ, спознавшіеся съ Горемъ бѣдняки изображаются болѣе энергическими и самостоятельными, нежели молодецъ, изображенный въ повѣсти XVII вѣка: они не избѣгаютъ Гора, не пытаются уйти отъ него, а вступаютъ въ открытую борьбу съ нимъ, и побѣждаютъ его хитростью или упорствомъ въ трудѣ. Но во всякомъ случаѣ, нельзя отрицать того, что вышеупомянутыя нами про-

изведенія народной фантазіи должны были оказать вліяніе на безымяннаго автора „Повѣсти о Горѣ-Злосчастѣѣ“, должны были запастъ въ его душу, и подѣ вліяніемъ его личнаго творчества, возбуждаемаго и подстрекаемаго въ развитіи тягостными условіями современной дѣйствительности, должны были явиться въ формѣ новаго и прекраснаго произведенія, которому суждено было занять рядомъ съ другимъ произведеніемъ — Словомъ о п. Игореви — видное мѣсто въ исторіи нашей древне-русской литературы. Оба эти памятника, — не смотря на полное несходство въ содержаніи, несмотря на принадлежность къ двумъ совершенно различнымъ эпохамъ древне-русской жизни — могутъ однако же быть обличены и сопоставлены съ точки зрѣнія ихъ отношеній къ почвѣ безыскусственной, устной народной словесности. И „Слово о п. Игореви“, и „Повѣсть о Горѣ-Злосчастѣѣ“ — одинаково создались на основѣ народныхъ сказаній и этой народной основы былинъ давняго времени въ Словѣ, основы пѣсенъ и сказокъ о Горѣ въ повѣсти XVII вѣка, не могла стереть положенная на эти произведенія печать личнаго творчества. Подобнымъ произведеніямъ, органически истекавшимъ изъ чистаго источника народной поэзіи, къ сожалѣнію, не суждено было развиваться вполне на нашей литературной почвѣ; пѣвцу „Слова о п. Игореви“ пришлось жить за полвѣка до грозной татарщины, такъ гибельно отозвавшейся пробѣлами въ исторіи нашего нравственнаго и умственнаго развитія; автору „повѣсти о Горѣ-Злосчастѣѣ“ пришлось, среди печальной и сумрачной дѣйствительности XVII вѣка, создавать свои поэтическіе образы наканунѣ эпохи великихъ преобразованій Петра, которому суждено было иначе направить русскую жизнь, указать русскимъ силамъ настоящее, живое и полезное примѣненіе, проложить для русскихъ молодецъ иной путь ко спасенію, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и надолго разлучить русское творчество со всѣми идеалами, воспитанными древне-русскою жизнью и порожденными народной фантазіей.

¹⁾ Ожегъ — шесть, деревянный крюкъ, служащій кочергою.

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ГЛАВЪ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ.

Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ.

КАКЪ ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТЬЕ ДОВЕЛО МОЛОДЦА ВО ИНОЧЕСКІЙ ЧИНЪ.

молодецъ уже въ разумѣ въ безлюбіи,
любилъ его отецъ и мать;
его начали, наказывать,
рыя дѣла наставлять ¹⁾
ты наше чадо!
шай ученія родительскаго,
ослушай пословицы
и, и хитрыя, и мудрыя!
дети тебѣ нужды великия,
будешь въ бѣдности великой:
ди, чадо, въ пиры и въ братчины;
дися ты на мѣсто большее;
а, чадо, двухъ чаръ за одну.
чадо, не давай очамъ воли;
ельщайся, чадо, на добрыхъ красныхъ женъ...
йся, не бойся мудра, бойся глупа,
глупыя на ты не подумали,
сняли бы съ тебя драгихъ порты, ²⁾
спѣли-бы тебѣ поворства и стыда великаго,
жени укору и поносу ³⁾ бездѣльнаго.
ди, чадо, къ костарямъ ⁴⁾ и корчемникамъ;
айся чадо съ головами кабацкими;
ужися, чадо, съ глупыми, не мудрыми;
шай украсти-ограбители,
лануть-солгать и неправду учинить.
ельщайся, чадо, на злато и серебро:
ирай богатства неправдаго;
буди послухъ лжесвидѣтельству.
не думай на отца на мать
всякаго человѣка.—
тебе покрыеть Богъ отъ всякаго зла.
зчествуй, чадо, богата и убога,
и въ всѣхъ равно по единому;
йся, чадо, съ мудрыми,
и разумными водися,
друзи надежными дружися,
ме бы тебя злу не доставили.
цъ былъ въ то время-се малъ и глушъ,—
полномъ разумѣ и не совершенъ разумомъ;
отцу стыдно покоритися,
и приклонитися,
лъ жити, какъ ему любо!

Наживалъ молодецъ пятьдесятъ рублей,
Залѣзъ ⁵⁾ онъ себѣ пятьдесятъ друзей;
Честь его, яко рѣка текла;
Друговъ къ молодцу прибавилися
(Въ) родъ-племѣ причиталися.
Еще у молодца былъ миль-надежень-другъ
Назвался молодцу названой братъ;
Прельстилъ его рѣчными прелестными,
Заввалъ его на кабацкій дворъ,
Завелъ его въ избу кабацкую,
Поднесъ ему чарку зелена-вина.
И кружку поднесъ пива пьянаго,
Самъ говорить таково слово:
«Испей ты, братецъ мой названный,
Въ радость себѣ и въ веселіе, и во здравіе.
Испей чару зелена вина,
Запей ты чашею меду сладкова;
Хощь и упьешься, братецъ, до-пьяна,
Ино, гдѣ пилъ, тутъ и спать ложися,
Надѣйся, надѣйся на меня, брата названова.
Я сяду стеречь и досматривать:
Въ головахъ у тебя, миль-друга,
Я поставлю кружку ишемъ ⁶⁾ сладкаго.
Вскрай поставлю зелено-вино,
Влизъ тебя поставлю пиво-пьяное,
Сберегу я, миль-другъ, тебя накрѣпко,
«Сведу я тебя къ отцу твоему и матери»
Втъпоры молодецъ понадѣялся
На своего брата названнаго;
Не хотѣлося ему друга послушаться;
Принимался онъ за питья за пьяныя,
И испивалъ чару зелена-вина,
Запивалъ онъ чашею меду сладкаго,
И пилъ онъ, молодецъ, пиво пьяное.
Упился онъ безъ памяти,
И, гдѣ пилъ, тутъ и спать ложился:
Понадѣялся онъ на брата названнаго.
Какъ будетъ день до вечера, а солнце на западѣ,
Отъ сна молодецъ пробуждается,
Втъпоры молодецъ озирается:
А что сняты съ него драгіе порты,
Чары ⁷⁾ и чулочки—все посиняно,

Вѣроятно слѣдуетъ наставлять. ²⁾ Одежда. ³⁾ Поношенія. ⁴⁾ Игрокамъ въ кости. ⁵⁾ На-
⁶⁾ Ишемъ—название вина. ⁷⁾ Черевки.

И вся собица ¹⁾ у его ограблена,
 А кирпичек положенъ подъ буйну его голову.
 Онъ накинута гункою ²⁾ кабацкою,
 Въ ногахъ у него лежать лапотки-отопочки.
 Въ головахъ мила-друга и близко нѣтъ.
 И вставалъ молодецъ на бѣлыя ноги.
 Учалъ молодецъ наряжаться:
 Обувалъ онъ лапотки (отопочки)
 Надѣвалъ онъ гунку кабацкую,
 Покрывалъ онъ свое тѣло бѣлое,
 Умывалъ онъ лице свое бѣлое;
 Стоя, молодецъ закручинился,
 Самъ говорить таково слово:
 «Житіе мнѣ Богъ далъ великое:
 «Ясти—кушати стало нечево!
 «Какъ не стало деньги, ни полуденьги,
 «Такъ не стало ни друга, ни поддруга:
 «Родъ и племя отчитаются,
 «Всѣ друзи прочь отпираются!»
 Стало срамно молодцу появиться
 Къ своему отцу и матери,
 И къ своему роду и племени,
 И къ своимъ прежнимъ милымъ друзьямъ.
 Пошелъ онъ на чужу страну, дальну—незнаему,
 Нашелъ дворъ, что градъ стоитъ,
 Наба на дворѣ что высокъ теремъ,
 А въ избѣ идетъ великъ пиръ почестенъ:
 Гости пьютъ, ѣдятъ, потѣшаются.
 Пришелъ молодецъ на честенъ пиръ,
 Крестилъ онъ лицо свое бѣлое,
 Поклонился чуднымъ образамъ,
 Билъ челомъ онъ добрымъ людямъ
 На всѣ четыре стороны.
 А что видятъ молодца люди добрые.
 Что гораздъ онъ креститися,
 Ведетъ онъ все по писанному ученію,
 Емлютъ его люди добрые подъ руки,
 Посадили его за дубовый столъ,
 Не въ большее мѣсто не въ меньшее, —
 Садятъ его въ мѣсто среднее,
 Гдѣ сидятъ дѣти гостинныя.
 Какъ будетъ пиръ на веселіе,
 И всѣ на пиру гости пьяны-веселы.
 И сѣдя все похваляются, —
 Молодецъ на пиру не веселъ сидитъ,
 Кручиновать, скорбенъ, не радостенъ.
 А не пьетъ, ни ѣстъ онъ, ни тѣшится,
 И ничѣмъ на пиру не хвалится.

Говорятъ молодцу люди добрые:
 «Что еси ты, доброй молодецъ,
 «Зачѣмъ ты на пиру не веселъ сидишь,
 «Кручиновать, скорбенъ, не радостенъ,
 «Ни пьешь ты, (ни ѣшь ты), ни тѣшишься,
 «А ничѣмъ ты на пиру не хвалишься?
 «Чара-ли зелена-вина до тебя не дохаживала?
 «Или мѣсто тебѣ не по отчинѣ твоей?
 «Или малыя дѣти тебя изобидѣли?
 «Или глупые люди немудрые
 «Чѣмъ тебѣ, молодцу насмѣялись?
 «Или дѣти наши къ тебѣ не ласковы?»
 Говоритъ имъ, сидя, доброй молодецъ:
 «Государи вы, люди добрые!
 «Скажу я вамъ про свою нужду великую,
 «Про свое ослушаніе родительское,
 «И про питье кабацкое,
 «Про чашу медвяную,
 «Про лестное питіе пьяное.
 «Язъ, какъ принялся за питье за пьяное, —
 «Ослушался язъ отца своего и матери:
 «Благословеніе мнѣ отъ нихъ миновалось;
 «Господь Богъ на меня разгнѣвался;
 «Укротила скудность мой рѣчистый языкъ;
 «Насушила печаль мое лицо и бѣлое тѣло:
 «Ради того мое сердце не весело,
 «А бѣлое лицо унылило,
 «И ясныя очи замутились;...
 «Отечество ³⁾ мое потерялося,
 «Храбрость молодецкая отъ меня миновалось!
 «Государи вы, люди добрые!
 «Окажите и научите, какъ мнѣ жить
 «На чужой сторонѣ, въ чужихъ людяхъ,
 «И какъ залѣсти мнѣ милыхъ друговъ?»
 Говорятъ молодцу люди добрые:
 «Добро еси ты, и разумный молодецъ!
 «Не буди ты спѣсивъ на чужой сторонѣ:
 «Покорися ты другу и недругу,
 «Поклонися ты стару и молодцу,
 «А чужихъ ты дѣлъ не объявлявай,
 «А что слышишь или видишь—не сказывай!
 «Не льсти ты межъ други и недруги;
 «Ни вейся змѣю лукавою;
 «Смирѣніе ко всѣмъ имѣй,
 «И ты съ кротостію держиси истинны съ правдою.
 «То тебѣ будетъ честь и хвала великая;
 «Первое тебѣ люди свѣдаютъ
 «И учить ты чтить и жаловать

¹⁾ Имущество. ²⁾ Отрепья; собственно кусокъ грубаго холста. У малороссійскихъ казаковъ гунка называлась конская попоны. Богатыри нашихъ былинъ надѣваютъ иногда гуню. ³⁾ Въ смыслѣ достоинства; то есть: я потерялъ право быть величаемымъ по отчеству, какъ честный и добронпорядочный человекъ.

за твою правду великую,
за твое смиреніе и за вѣжество;
будутъ у тебя милые други,
названные братья надежные.
И оттуда пошелъ молодецъ на чужу сторону,
учалъ онъ жити умѣючи;
въ великаго разума наживалъ онъ живота больше

старова,

исмотрѣлъ невѣсту себѣ по обычаю.—
хотѣлося молодцу жениться.
ахилъ молодецъ честенъ пиръ
чествоиъ и вѣжествоиъ,
обновилъ своимъ гостемъ и другомъ билъ челомъ.
И по грѣхамъ молодцу,
по Божію попущенію
по дѣйству дьяволу,
едъ любовными своими гостями и други
названными братья похвалялся
всегда гнило слово похвальное:
хвальба живеть человѣку пагуба);
ажи аль-де я, молодецъ, живота больше старова!)
Подслушало Горе-Злосчастіе хвастанье молодец-
кое!

мо говоритъ таково слово:

«Не хвались ты, молодецъ, своимъ счастіемъ,
те хвастай своимъ богатествомъ;
ывали люди у меня, Гора,
и мудрое тебя и досужае,
и я ихъ, Горе, перемудрило.
чинился имъ злосчастіе великое:
до смерти со мною боролися;
до зломъ злосчастіи поворилися;
те могли у меня, Гора, уѣхати,
те мене на крѣпко они землею накрылись.
босоты и наготы они избыли,
и я отъ нихъ, Горе, миновалось,
и злосчастіе на ихъ могилахъ осталось!
еще возглаголю (1) я, Горе, къ инымъ привязалось
и мнѣ Горю и Злосчастію, не впусти же жить:
бачу я, Горе, въ людехъ жить;
и батоги мѣня не выгонять;
и гнѣздо мое и вотчина во бражникахъ!»
Говорить сѣро-Горе-горинское:
какъ бы мнѣ молодцу появиться!»
и зло-то Горе излукавилось,

Во снѣ молодцу привидѣлось:

«Откажи ты, молодецъ, невѣстѣ своей любимой;
«Быть тебѣ отъ невѣсты истравлену,
«Еще быть тебѣ отъ тое жены удувлену,
«Изъ злата и серебра быть убитому!
«Ты поиди молодецъ, на царевъ кабакъ;
«Не жали (2) ты, пропивай свои животы,
«А скинь ты платье гостинное (3),
«Надежи (4) ты на себя гунку кабацкую:
«Кабакомъ-то Горе избудется,
«Да то злое Злосчастіе останется
«За нагимъ-то Горе не погонится,
«Да никто къ нагому не привяжется,
«А нагому-босому шумить разбой (5).

Тому сну молодецъ не повѣровалъ.

Ино зло-то Горе излукавилось:

Горе архангеломъ Гаврииломъ молодцу (явилось)
По прежнему еще, въ ново, злосчастіе привязалось:

«Али тебѣ, молодецъ, невѣдома

«Нагота и босота безмѣрная,
«Легота, безпроторица (6) великая,
«На себя что купить, то проторится,
«А ты, удалъ-молдецъ, и такъ живешь!
«Да не бьютъ, не мучатъ нагихъ-босыхъ,
«И изъ раю нагихъ-босыхъ не выгонять.
«А съ того свѣта сюды не вытепуть (7)
«Да никто къ нему не привяжется;
«А нагому-босому шумить разбой!»

Том сну молодецъ онъ повѣровалъ;

Сомель онъ пропивать свои животы
И скинулъ онъ платье гостинное,—
Надѣвалъ онъ гунку кабацкую,
Накрывалъ онъ свое тѣло бѣлое;
Стало молодцу срамно появиться своимъ милымъ
другамъ.

Пошелъ молодецъ на чужу страну дальню незнаему;

На дорогѣ пришла ему быстра рѣка;
За рѣкою перевозчики,
А просать у него перевознаго,
Ино дать молодцу нечего;
Не везуть молодца безденежно.
Сидитъ молодецъ день до вечера,
Миновался день до вечера,
Не ѣдалъ молодецъ ни полукуса хлѣба;
Вставалъ молодецъ на скоры ноги,

(1) Т. е. закаркало ворономъ. (2) Вмѣсто: не жалѣй. (3) Купленное у гостей (купцовъ). — хоро-
го сорта. (4) Надѣвъ. (5) Въ томъ же значеніи, какъ пословица: «голому разбой не страшенъ». Шу-
тъ разбой: если голый и слышитъ его, то не боится и не имѣетъ надобности бѣжать отъ него.
Легота, въ насмѣшливомъ словѣ, какъ вмѣ: сто обокрали, ограбили, говорятъ: облегчили.
проторица — отсутствіе всякихъ проторей, всякихъ торныхъ путей; также въ насмѣшливомъ
смыслѣ (7) Тенать. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ говорятъ тенать коноплю, а въ переносномъ
смыслѣ — бить.

Стоя, молодецъ закручинился,
А самъ говорить таково слово:
«Ахти мнѣ, Злосчастіе-Горинское!
«До бѣды меня, молодца, домыкало,
«Уморило меня, молодца, смертью голодною;
«Уже три дня мнѣ были не радостны,—
«Не ѣдалъ я, молодецъ, ни полукуса хлѣба!
«Ино кинусь я, молодецъ, въ быстру рѣку:
«Полощи мое тѣло, быстра рѣка!
«Ино ѣшьте, рыбы, мое тѣло бѣлое!
«Ино лучше мнѣ житья сего позорнаго?
«Уйду-ли я у Горы-Злосчастнаго!»

И въ тотъ часъ у быстрыхъ рѣки
Скочи Горю изъ-за камня,
Восо-наго, нѣтъ на Горѣ ни ниточки,
Еще лычкомъ Горю подпоясано,
Богатырскимъ голосомъ воскликнуло:
«Стой ты, молодецъ: меня, Горю, не уйдешь
никуда!»

«Не мечися въ быстру рѣку,
«Да не буди въ горѣ кручиновать;
«А въ горѣ жить—не кручинну быть!
«А кручинну въ горѣ погинути!
«Спамянуй, молодецъ, житіе свое первое;
«И самъ тебѣ отецъ говаривалъ,—
«И какъ тебѣ мати наказывала.
«Для чего тогда ты ихъ не послушалъ.
«Не захотѣлъ ты имъ покориться,
«Постыдился имъ поклониться,
«А хотѣлъ ты жить, какъ тебѣ любо есть!
«А кто родителей своихъ на добро ученія не слушаешь,

«Того выучу я, Горю-Злосчастное!»
Говорить Злосчастіе таково слово:
«Покорися мнѣ, Горю нечистому,
«Поклонися мнѣ, Горю, до сыры земли,
«А нѣтъ меня, Горю, мудрая на семь свѣтъ;
«И ты будешь перевезенъ за быструю рѣку,
«Напоить ты, накормить люди добрые».

А что видить молодецъ (бѣду) не минучю—
Покорился Горю нечистому,
Поклонился Горю до сыры земли!

Помель, поскачилъ добрый молодецъ,
По круту по красну по бережку,
По желтому песочку;
Идетъ весело, некручиновать,
Утѣшилъ онъ Горю-Злосчастіе,
А самъ, идучи, думу думаетъ:
«Когда у мене нѣтъ ничего,
«И тужить мнѣ не о чемъ!»

Да еще молодецъ не кручиновать,
Запѣлъ онъ хорошую напѣвочку,
Отъ великаго крупнаго разума:
«Безпечальна матъ меня породила,
«Гребешкомъ кудерцы расчесывала,
«Драгими порты меня одѣвала,
«И, отшедъ, подъ ручку ¹⁾ посмотрѣла:
«Хорошо-ли мое чадо въ драгихъ портахъ.
«А въ драгихъ портахъ чаду и цѣны нѣтъ!
«Какъ бы до рѣку она такъ пророчила!
«Ино я самъ знаю и вѣдаю,
«Что не класти скарлату безъ мастера,
«Не утѣшити дитяти безъ матери,
«Не бывать бражнику богату,
«Не бывать костарю въ славіи доброй.
«Завѣченъ ²⁾ я у своихъ родителей,
«Что мнѣ быти бѣдненьку,
«А что родился головенькою!» ³⁾

Услышали перевозчики молодецкую напѣвочку.—
Перевезли молодца быстру рѣку,
А не взяли у него перевознаго.
Напоили, накормили люди добрые;
Сняли съ него гунку кабацкую,
Дали ему порты крестьянскіе.

Говорять молодцу люди добрые:
«А что еси ты, доброй молодецъ.
«Ты поди на свою сторону,
«Къ любимымъ честнымъ своимъ родителямъ.
«Ко отцу своему и къ матери любимой,
«Простися ты съ своими родители,
«Со отцомъ и матерію
«Возьми отъ нихъ благословеніе родительское!»

И оттуда пошелъ молодецъ на свою сторону.
Какъ будетъ молодецъ на чистомъ полѣ,
А что злое Горю напередъ зашло,
На чистомъ полѣ молодца встрѣтило,
Учало надъ молодцомъ гаяти,
Что злая ворона надъ соколомъ;
Говорить Горю таково слово:

«Ты стой, не ушелъ, добрый молодецъ!
«Не на часъ я къ тебѣ, Горю-Злосчастное привалялся,
«Хоть до смерти съ тобою помучусь!
«Не одно я, Горю,— еще сродники,
«А вся родня наша добрая;
«Всѣ мы гладки, умильные;
«А кто въ семью къ намъ пришѣщается,—
«Ино тотъ между нами замучится!
«Такова у насъ участь и лучшая.
«Хотя кинься въ птицы воздушныя;
«Хотя въ синее море ты пойдешь рыбою,—

¹⁾ Т. е. держа ладонь надъ глазами. ²⁾ Определенъ на весь вѣкъ. Иначе: что мнѣ на роу написано. ³⁾ Головенькою значить: бѣднакомъ, горемыкою.

обою пойду подъ руку подъ правую».
 ъ молодецъ яснымъ соколомъ,
 нимъ бѣлымъ кречетомъ.
 полетѣлъ сизымъ голубемъ,
 нимъ сѣрымъ ястребомъ;
 пошелъ въ поле сѣрымъ волкомъ,
 нимъ съ борзыми выжлецы ¹⁾;
 сталъ въ полѣ ковыль—травя,
 ушелъ съ косою вострою,
 юсчастіе надъ молодцомъ насмѣялося:
 гебѣ, травонька, постѣченой,
 гебѣ, травонька, постѣченой,
 вѣтры быть тебѣ развѣянной».
 молодецъ въ море рыбою,
 нимъ съ частыми неводами;
 Злосчастіе насмѣялося:
 ѣ, рыбонька, у бережка уловленной,

«Быть тебѣ да и съѣденной,
 «Умереть будетъ напрасною смертію!»

Молодецъ пошелъ путь-дорогою,
 А Горе подъ руку подъ правую;
 Научаетъ молодца богато жить,
 Убити и ограбити,
 Чтобы молодца за то повѣсили,
 Или съ камнемъ въ воду посадили.

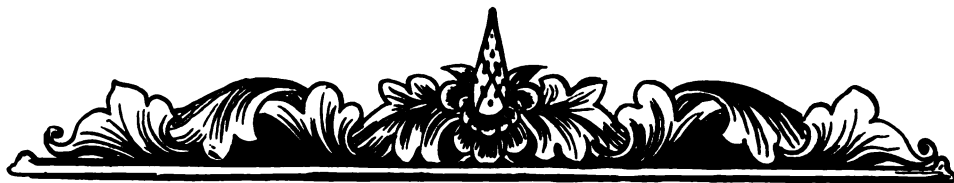
Спаматуетъ молодецъ спасенный путь,
 И оттоль молодецъ въ монастырь пошелъ постри-
 гатися;

А Горе у святыхъ воротъ остается,
 Къ молодцу впредь не привяжется.

А сему житію конецъ мы вѣдаемъ:
 Избавь Господи вѣчныя муки,
 А дай надѣ, Господи, свѣтлый рай!
 Во вѣки вѣковъ! аминь.



1) выжлецы — гончія собаки. Отсюда и слово: выжлятникъ, въ см. псарь.



XX.

Народная поэзія въ XVII вѣкѣ: --- былины, историческія пѣсни, духовные стихи. --- Вліяніе, оказанное расколомъ на поэзію народную.



Близко ознакомившись съ древнимъ періодомъ нашей литературы, мы не можемъ перейти къ слѣдующему, много-знаменательному періоду реформъ Петра Великаго, не указавъ на важнѣйшія явленія въ области исторіи нашей народной литературы, несомнѣнно стоящія въ тѣсной связи съ нашею историческою жизнью въ XVII вѣкѣ. Мы уже видѣли, что отъ самыхъ временъ татарщины, пѣсня народная почти непрерывно сопровождаетъ своимъ ровнымъ эпическимъ теченіемъ однообразное теченіе нашей исторической жизни, группируя циклы пѣсень около важнѣйшихъ лицъ и событій историческихъ. Чѣмъ полнѣе, шире и ярче складывается жизнь историческая, тѣмъ полнѣе и подробнѣе начинаетъ передавать и отражать ее наша историческая пѣсня, все болѣе и болѣе удаляясь отъ прежнихъ своихъ героевъ-богатырей полу-историческаго, полумифическаго характера—и все болѣе сосредоточивая вниманіе на исторической дѣятельности. Личность Грознаго царя Ивана Васильевича, на сколько она отражается въ нашей поэзіи, является на грани, отдѣляющей древнѣйшій періодъ развитія нашихъ историческихъ народныхъ пѣсень отъ новѣйшаго, очевидно наступающаго въ XVII

вѣкѣ. Личность Грознаго въ пѣсняхъ стоитъ уже отдѣльно, сама по себѣ, внѣ всякой зависимости отъ прежнихъ былинныхъ цикловъ — новгородскаго и кievскаго, хотя и въ тѣсной связи съ непосредственно предшествовающею ей эпохою татарщины. Однако же, нѣкоторые изъ окружающихъ Грознаго личностей историческихъ (напр. Ермакъ Тимофеевичъ) еще ставятся въ извѣстное соотношеніе и къ Владимиру Красному-Солнышку, и къ его богатырямъ. Напротивъ того, въ пѣсняхъ XVII вѣка, этотъ отдаленный и темный періодъ, всѣ соединенные съ нимъ богатыри и подвиги—все это отдалается на задній планъ: на сцену выступаютъ историческія личности въ довольно вѣрной исторической обстановкѣ. Мы встречаемъ въ пѣсняхъ XVII вѣка и Ксенію Борисовну Годунову, и Димитрія Самозванца, и молодаго воеводу Скопина-Шуйскаго, и царя Алексѣя Михайловича, и удалаго разбойничьяго атамана Стеньку Разина, который своею громадною личностью какъ бы вытѣсняетъ изъ народной памяти всѣ грандіозные образы прежнихъ богатырей. Первѣйшій изъ этихъ богатырей и любимѣйшій дотогѣ герой народныхъ пѣсень — старый казакъ Илья-Муромецъ — даже подчиняется

народною фантазіей могучему волжскому атаману и является въ его пайкѣ есауломъ¹⁾.

Въ этихъ пѣсняхъ сохранилась не только простая память о событіяхъ и лицахъ историческихъ XVII вѣка,—о нечестіи и гибели Гришки Разстриги, о несчастной участи Борисовой дочери, объ отравленіи юнаго боярина Скопина-Шуйскаго — въ нихъ выразился и самостоятельный взглядъ народа на современность и ея представителей. Гибель Самозванца объясняетъ народъ въ пѣснѣ своей тѣмъ, что онъ былъ непрямою (т. е. незаконною) царь и не уважалъ русской вѣры и обычаевъ; отравленіе Скопина-Шуйскаго народъ еще болѣе вѣрно объясняетъ завистью бояръ и опасеніями, которыя должны были возбудить въ средѣ ихъ подвиги молодого воеводы. Гораздо болѣе страшнымъ и поразительнымъ должно казаться на первый взглядъ то положительное сочувствіе, съ которымъ народъ относится къ подвигамъ „понизовой вольницы“ — къ разбойничеству, которое сдѣлалось въ XVII вѣкѣ, подъ влияніемъ особыхъ, неблагоприятныхъ историческихъ условій народнаго быта, одною изъ наиболѣе распространенныхъ общественныхъ явленій. Отголоскомъ этого сочувствія къ разбойничеству явился пѣльный кругъ пѣсней объ удалыхъ подвигахъ низовой вольницы и въ особенности о главномъ представителѣ всей этой вольницы — Стенькѣ Разинѣ, въ которомъ олицетворяется идеалъ народнаго героя по современнымъ понятіямъ. Подобная идеализація однако же не должна намъ казаться удивительною, если припомнимъ тѣ въ высшей степени тягостныя условія народнаго быта, среди которыхъ приходилось въ XVII вѣкѣ жить простолюдину. Множество налоговъ, монополіи, стѣснявшія промышленность и торговлю, частыя войны и смуты—все это порождало въ средѣ народной бѣдность и недовольство, а тягостныя отношенія къ помѣщикамъ, подкупность и своекорыстіе мѣстныхъ властей и судовъ, и жестокія преслѣдованія религіозныя часто доводили это недовольство до открытыхъ воз-

мущеній противъ законной власти и до того, что цѣлыя селенія разбѣгались врозь. Одни уходили въ лѣса и дебри недоступныя, другіе высѣлялись за литовскій и польскій рубежъ, третьи шли пополнять собою ряды на привольѣ гулявшей и грабившей приволжской вольницы, величая себя „удалыми добрыми молодцами“ и не признавая надъ собою ничьей власти, относясь съ величайшею ненавистью ко всякому законному порядку, съ величайшимъ презрѣніемъ ко всякимъ правамъ и преимуществамъ, въ особенности къ правамъ собственности. Промысловъ вольницы являлся грабежъ, цѣлью жизни — удакое, привольное и разгульное житье, главнымъ знаменемъ — личная свобода и общность имущества, добычи, на которую каждый изъ членовъ вольницы имѣлъ одинаковое, на равнѣ съ другими, право. Понятно, что эта безобразная жизнь, какъ противоположность тѣмъ крайнимъ тягостямъ, которыя приходилось сносить народу, должна была имѣть въ глазахъ его нѣкоторую привлекательность, оказывать на воображеніе неразвитой массы обаятельное впечатлѣніе. Вотъ почему и „удалые добрые молодцы“, и самъ атаманъ ихъ, Степанъ Тимоѣевичъ, представляются въ народныхъ пѣсняхъ героями, безавѣтная удаля ихъ и разгулье рпсуются въ самомъ яркомъ и привлекательномъ свѣтѣ, а грабежамъ и убійствамъ придается значеніе подвиговъ, въ основаніи которыхъ полагается желаніе мстить за несправедливости и притѣсненія, претерпѣваемыя народомъ со стороны богатства и власти. Извѣстно, что и самый бунтъ Стеньки Разина потому именно приобрѣлъ значеніе важнаго народнаго движенія, къ подавленію котораго московское государство употребило весьма значительныя усилія, что масса видѣла въ Стенькѣ человека, стремившагося освободить ее отъ власти помѣщиковъ и тѣмъ самымъ улучшить ея матеріальный бытъ. Благодаря такому значенію личности Стеньки Разина въ глазахъ современной массы народной, народъ сохранилъ въ памяти своей множество пѣ-

¹⁾ Нельзя не обратить вниманія на тотъ интересный фактъ, что въ числѣ пѣсней сохранившихся намъ отъ XVII столѣтія, шесть пѣсней, а именно: — «Вѣздъ Филарета въ Москву», «Смерть Скопина Шуйскаго», двѣ пѣсни о «Ксеніи Борисовнѣ», «Веселая служба» и «Набѣгъ Крымскихъ Татаръ» — были записаны оксфордскимъ бакалавромъ Ричардомъ Джексомъ, который, въ качествѣ священника, состоялъ при англійскомъ посольствѣ въ Россіи, въ 1619 и 1620 годахъ.

сень о немъ, съ величайшею подробностью изображающихъ намъ его характеръ и подвиги. Любопытною и новою чертою личности народного богатыря, въ пѣсняхъ о Стенькѣ, является то, что онъ не только изображенъ одареннымъ необычайною силою физическою, мужествомъ и смѣлостью, но еще и другимъ болѣе надежнымъ, болѣе страшнымъ свойствомъ: — онъ вѣдунъ, чародѣй, и эта вѣдущая сила его проявляется чрезвычайно разнообразно. Чародѣйствомъ останавливаетъ онъ купеческія суда на Волгѣ, чародѣйствомъ отводитъ онъ глаза царскимъ воеводамъ, ускользя отъ ихъ преслѣдованій; чародѣйство же защищаетъ его и отъ пушекъ и ружей, лучше всякой прадѣдовской брони: — ни одна пуля не беретъ его... Посаженный въ тюрьму, онъ рисуетъ на стѣнѣ углемъ лодку съ гребцами и, силою чаръ, обращаетъ ее въ настоящую лодку, на которой и спасается изъ заточенія. Есауломъ у Стеньки служить самъ „старый казакъ Илья-Муромецъ“ — любимый герой народныхъ былинъ. И ничего для Стеньки нѣтъ ни дорогаго, ни завѣтнаго: въ даръ матушкѣ Волгѣ, которая его питала и лелѣла, онъ приноситъ плѣнную персидскую царевну, бросая ее съ корабля въ волны рѣки-кормиллицы... Не жалѣя красокъ на яркое и полное изображеніе крупной личности атамана, Степана Тимофѣевича, народъ не забываетъ привлекательно обрисовать и его товарищей, которые про себя и свое ремесло говорятъ неуклонно и смѣло, отдѣляя себя отъ остальныхъ, обыкновенныхъ смертныхъ, промышляющихъ разбоями, и какъ бы отрицая всякую связь съ ними по ремеслу:

«Мы не воры, не разбойники,
Стеньки Разина мы работники,
Есауловы всѣ помощники,
Мы весломъ махнемъ — корабель возьмемъ,
Кистенемъ махнемъ — караванъ собьемъ,
Мы рукой махнемъ — дѣвицу возьмемъ».

Въ самой вѣнѣ ихъ проявляется молодечество, отвага и довольство — пералучные спутники ихъ привольнаго быта:

«На нихъ шапочки соболѣи, верхи бархатные,
На нихъ бѣленьки чулочки, сафьянны сапожки,
На нихъ штанишки кумачны, во три строчки строчены,
На нихъ тонкія рубашки съ золотымъ галуномъ».

Сочувствіе къ личности Стеньки выражаетъ народъ, по обычаю своему, тѣмъ общимъ поэтическимъ приемомъ, на основаніи котораго и самая природа является собо-лѣзноюющею бѣдствіемъ славнаго атамана и его товарищей. Любопытно, по отношенію къ пѣснямъ о Стенькѣ, еще и то обстоятельство, что ему самому приписываютъ одну изъ пѣсенъ, которая дышетъ величавымъ сознаніемъ личнаго достоинства и значенія, сознаніемъ славы, ожидающей его въ будущихъ поколѣніяхъ. Эта пѣсня, говорятъ, сложена была Стенькою въ темницѣ, не задолго до смерти. Въ ней онъ, прощаясь съ товарищами своими, проситъ ихъ похоронить его тѣло на перекресткѣ, между трехъ дорогъ: „межъ московской, астраханской, славной кievской“. Затѣмъ онъ называетъ имъ:

«Въ головахъ моихъ поставьте животворный крестъ.
Въ ногахъ моихъ положите саблю вострую,
Кто пройдетъ или проѣдетъ — остановится,
Моему-ли животворному кресту поклонится,
Моей сабли вострой испугается:
Что лежитъ тутъ воръ-удалый-добрый-молодецъ,
Стенька Разинъ, Тимофѣевичъ по прозванію».

Если историческая дѣйствительность XVII вѣка нашла себѣ отголосокъ въ былинахъ и пѣсняхъ о смутномъ времени, о царѣ Алексѣ Михайловичѣ и о Стенькѣ Разинѣ, то конечно та же дѣйствительность другою, духовно-нравственною стороною своей должна была отразиться въ тѣхъ произведеніяхъ народной фантазіи, которыя уже издавна извѣстны у насъ на Руси подъ названіемъ „духовныхъ стиховъ“ и съ которыми мы уже успѣли нѣсколько ознакомить читателей въ XIV главѣ. Семнадцатый вѣкъ, вѣкъ усиленной религіозной борьбы, вѣкъ сомнѣній и споровъ, открытой, энергичной проповѣди, расколоучителей и жестокихъ преслѣдованій за религіозныя убѣжденія — долженъ былъ, конечно, занести и въ область духовныхъ стиховъ нѣкоторые новые, дотогѣ чуждые ей мотивы. Въ числѣ духовныхъ стиховъ появилось очень много такихъ, въ которыхъ смутный и тягостный періодъ XVII вѣка сказанъ самыми мрачными красками, самыми мрачными образами: — страшный судъ и гибель грѣшниковъ, мученія, ожидающія нераскаянныхъ въ преисподней —

что чаще всего рисуется воображенію да въ духовныхъ стихахъ этой эпохи. Ихъ выражается постоянно полнѣйшее рѣніе ко всему земному, безнадежность исліе челоѣка, падающаго подъ тяж. . бременемъ судьбы, погибающаго и ждущаго въ этой жизни, неожиданнаго пасенія, ни облегченія своей участи—удущей. Надо всѣмъ преобладаетъ мерт-е и отнимающее всякую бодрость со-іе ничтожества и бесполезности всѣхъ ій челоѣческихъ, суетности всѣхъ благъ релестей жизни передъ неумолимою тью. Плодомъ такихъ мрачныхъ, пре-ставшихъ въ народѣ воззрѣній на жизнь ерть и на загробное существованіе ду-авилось множество стиховъ „о страш-судѣ“, о „разставаніи души съ тѣ-“, „о мукахъ грѣшниковъ“, наконецъ и рядъ произведеній, въ которыхъ опи-ется „борьба челоѣка со смертью“. бные стихи обыкновенно излагаютъ, сюжетъ въ видѣ спора между жизнью ертью, или еще чаще — въ видѣ раз-а между сильнымъ и могучимъ витя-„Аникию-воиномъ“, котораго „Смерть“ аетъ среди подвиговъ его, не внимая кимъ мольбамъ его и просьбамъ, хотъ адолго еще продлить его существованіе къ, въ массѣ народа, мы встрѣчаемся, овательно, съ тѣми же самыми обра-— съ тѣмъ же сознаніемъ безспія че-ческой личности передъ могуществомъ ым—съ какимъ мы уже встрѣчались въ жкой литературѣ XVII вѣка, въ прош-главѣ. И эта одинаковость воззрѣній въ ь и въ отдѣльныхъ, болѣе массы раз-хъ и образованныхъ личностяхъ, сви-льствуетъ достаточно ясно о томъ, какъ представлялось въ ту пору возможно-для развитія отдѣльной личности, для бленія ея во взглядахъ и убѣжденіяхъ, способъ воззрѣній отъ сплошной и не-ятой массы.

. нѣкоторыхъ стихахъ XVII вѣка уже азываются и раскольниковыя мнѣнія; по-ъ вѣроятіямъ, та масса раскольниковъ-стиховъ, какаѣ теперь извѣстна уче-міру, получила свое начало именно XVII столѣтіи. По крайней мѣрѣ, нѣко-е изъ стиховъ, несомнѣнно принадле-нихъ XVII вѣку, отличаются именно тою вою обрядовою нетерпимостью, которая

тогда преимущественно проявлялась въ лицѣ главнѣйшихъ расколоучителей и ближай-шихъ послѣдователей ихъ. Многіе изъ сти-ховъ, описывающихъ муки грѣшниковъ въ аду, указываютъ на несоблюденіе самыхъ мелкихъ обрядовъ, какъ на достаточный по-водъ для неминуемаго вверженія во адъ. Раскольникамъ же, вѣроятно, принадлежить и то множество духовныхъ стиховъ, въ ко-торыхъ воспѣваются преимущества „пусты-ни“, подъ названіемъ „похвала пустыни“, „разговоръ съ пустыней“ и т. д. Нѣкоторые изъ нихъ замѣчательны по красотамъ свои-мъ поэтическимъ и дѣйствительно переда-ютъ намъ очень живо то впечатлѣніе, кото-рое дѣвственные лѣса, съ ихъ непроходи-мою чащею и глушью, должны были произ-водить на людей, спасавшихся и отъ „пре-лестей (т. е. соблазновъ) міра“ и отъ жесто-кихъ гоненій

Всякій періодъ общественной борьбы, столкновеніи двухъ различныхъ направленій въ убѣжденіяхъ и взглядахъ двухъ поколѣ-ній, обыкновенно, имѣетъ необходимымъ слѣдствіемъ своимъ—сатиру, въ которой обѣ партіи стараются взаимно осмѣять другъ друга, набросить ироническій, насмѣшливый отгѣнокъ на обоюдный способъ дѣйствій. Любопытнымъ памятникомъ такого рода со-временной сатиры, порожденной враждеб-ными отношеніями раскольниковъ къ про-свѣщенной и энергической дѣятельности Никона, какъ исправителя священныхъ и богослужебныхъ книгъ, остается для насъ замѣчательная былина „объ осадѣ Соловец-каго монастыря“, сложенная очевидно рас-кольниками. Въ ней всѣ факты этой откры-той борьбы раскольниковъ противъ власти излагаются съ чисто-раскольниковей точки зрѣнія, и притомъ съ отгѣнкомъ очень злой ироніи; вотъ какъ, напримѣръ, изображенъ въ ней царь Алексѣй Михайловичъ, отпра-вляющій своихъ воеводъ для осады Соло-вецкаго монастыря:

Какъ возговоритъ православный царь

Алексѣй-то Михайловичъ,

Его царское величество:

«Охъ ты гоѣ еси, большой бояринъ,

Ты любимый мой воеводушка!

Ты ступай-ка ко морю ко синему,

Ко тому монастырю ко честному

Къ Соловецкому;

Ты нарушь вѣру старую, правую
Постановь вѣру новую, неправую.

„Любимый царскій воеводушка“ отвѣчаетъ
на это съ удивленіемъ, что:

«Нельзя объ этомъ и подумать
Нельзя объ томъ помыслить...»

Однако же царь распаляется на вое-
воду и тотъ видитъ себя вынужденнымъ ис-
полнить его повелѣніе. „Сорокъ полковъ, да

ско православное: — не идетъ оно ратиться,
а идетъ оно молиться!“ На ту пору пуш-
кари были догадливы: стали пускать ядра
„во честной монастырь Соловецкій“.

Въ заключеніе этой главы не можетъ не
упомянуть здѣсь о томъ, что „духовные
стихи“, распѣваемые нищею братією, уже и
въ XVII вѣкѣ находили себѣ цѣнителей и
почитателей между высшимъ сословіемъ на-
шимъ: бояре, какъ видно, любили эту поэ-
зію. Такъ, по свидѣтельству Коллинса, одинъ



Видъ Соловецкаго монастыря.

все тысячныхъ“, а при нихъ „сорокъ пу-
шекъ, да все мѣдныхъ“ — являются подъ
стѣнами обители. „Неразумный звонарь бѣ-
житъ къ старцамъ объявить, что подсту-
паетъ подъ стѣны войско православное:

«Не то они идутъ ратиться,
Не то идутъ они молиться...»

„Охъ, ты, глупый звонарь, неразумный
пономарь!“ отвѣчаютъ ему, „вѣдь это вой-

изъ нихъ, отвѣчая на вопросъ: „понравилась-
ли ему голландская музыка?“—будто бы ска-
заль: „очень хороша! Точно также поютъ наши
нищіе, когда просятъ милостыни“. По дру-
гимъ извѣстіямъ, и царь Ѳеодоръ Іоанно-
вичъ тоже небрезговалъ пѣснями, и очень ча-
сто проводилъ вечера, слушая пѣніе; а о Ксе-
ніи Борисовнѣ Годуновой даже весьма опре-
дѣленно говорится, что она любила „гласы
воспѣваемые“ и „пѣсни духовныя“¹⁾.

¹⁾ Вуслаевъ. Очерки: 1, 50.

изящный вкус, часто отдавалъ ему на свои произведенія, даже отзывался о какъ о человѣкѣ, который „указалъ въ сочиненіяхъ особый путь“. Одже этому близкому кружку пріятелей ко было заставить Хемницера выступить литературное поприще. Послѣ долговорокъ и съ положительнымъ опасеніемъ навлекъ на себя неудовольствіе мнѣе недруговъ, Хемницеръ наконецъ рѣшилъ, въ 1779 г., по уговору друзей своихъ, издать въ первый разъ свои басни и стихи, не выставляя на собраніи ихъ своею и клявъ съ друзей честное слово, ни не выдадутъ его тайны. Вскорѣ послѣ, въ началѣ 1781 года, Хемницеръ ушелъ службу при Горномъ корпусѣ, такъ Юлимоновъ, покровительствовавшій ему, въ подѣ предложомъ болѣзни, въ отъѣздѣ, а Хемницеру не хотѣлось продолжать службу при новомъ начальникѣ и пріислать къ новымъ порядкамъ. Бѣдность, не дававшая его и во время пребыванія на вѣхъ изъ своихъ ежовыхъ рукавицъ, стала одолевать его... Пріятели его однажды оставили, и, при помощи того же Львова, Хемницеру удалось получить почетное мѣсто генеральнаго консула въ Смирнѣ. Хемницеру пришлось раздѣлять со всѣми дорогими и милыми ему людьми, занятіями и воспоминаніями. Въ іюня 1782 г. Хемницеръ выѣхалъ изъ Бургы и направился въ Москву и Хераскову оттуда моремъ на яхтѣ въ Константинополь и Смирну. Недавно отыскавшаяся у него со Львовымъ, а отчасти такъ собственная записная книжка его, сохранившаяся отъ времени его пребыванія въ Бургѣ, служатъ драгоценнымъ матеріаломъ для характеристики Хемницера, какъ человека и какъ общественнаго дѣятеля. 20-го іюня 1782 года Хемницеръ прибылъ въ Смирну. По тогдашнему блестящему положенію нашему на Востокѣ, возведенному нами, громкими побѣдами, такое пришествіе въ Смирну русскаго консула было цѣлебнымъ событіемъ. Когда Хемницеръ въ первый разъ съѣхалъ съ яхты на берегъ, вся жная была покрыта народомъ, собравшимся смотрѣть его. „Согрѣшилъ я тутъ“ — сказалъ Хемницеръ въ одномъ изъ своихъ стиховъ, — „что вспомнилъ о своихъ собственныхъ стихахъ“.

«По улицамъ смотрѣть зеленого осла
Кипитъ народу бѣть числа»...

Не смотря однакоже на такой скромный и нѣсколько саркастическій взглядъ на себя самого, тѣсно-связанный съ природною смѣливостью Хемницера, не смотря и на то, что онъ не на шутокъ пугался своего важнаго дипломатическаго значенія въ такомъ разноплеменномъ и важномъ пунктѣ, какъ Смирна, Хемницеръ сумѣлъ прекрасно выдерживать свою роль, и, въ полномъ смыслѣ слова, честно и грозно поддерживать значеніе русскаго имени и русскаго дипломатическаго авторитета на Востокѣ. Не даромъ, въ одномъ изъ писемъ своихъ изъ Смирны, пишетъ онъ между прочимъ: „здѣсь-то прямо видѣть можно, что мы есть, вида зависть, кипящую безпрестанно въ толпѣ иноплемennыхъ“. Разлука съ родиной, рѣзкая перемена климата, а также и весьма тяжелые, непосильные труды по должности консула, вѣроятно много способствовали разстройству его здоровья и быстрому упадку силъ; уже въ ноябрѣ 1783 г. онъ начинаетъ жаловаться друзьямъ на тягость своего одинокаго положенія на чужбинѣ, среди людей, враждебно настроенныхъ, готовыхъ на всякія ухищренія и обманы. Невыносимою тоскою по друзьямъ и родинѣ проникнуты строки послѣдняго письма его изъ Смирны, къ 29 февраля 1784 г. Сообщительный, искренній и пѣжрый Хемницеръ, который говорилъ о себѣ, что „опъ податься на знакомство никакъ не можетъ, если поводомъ къ заключенію дружбы не предвидитъ“ — видимо угасалъ и терялъ на чужбинѣ послѣдній остатокъ силъ физическихъ и нравственныхъ. 20 марта 1784 года онъ скончался на 40-мъ году жизни. Тѣло его, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, перевезено было въ Россію и погребено въ Николаевѣ. На его надгробномъ камнѣ, какъ гласитъ преданіе, вырѣзана была имъ самимъ сочиненная и вполне справедливая по отношенію къ его жизни эпитафія:

«Жилъ честно, цѣлый вѣкъ трудился,
И умеръ голъ, какъ голъ родился».

Не вдаваясь въ анекдотическую часть біографіи Хемницера, мы должны замѣтить, что немногіе дошедшіе до насъ и недавно напечатанные документы, заслуживающіе полнаго довѣрія, рисуютъ намъ Хемницера замѣчательно простымъ, добрымъ и чрезвычайно

прямымъ человекомъ; здравымъ умомъ и самымъ неподдѣльнымъ, самымъ естественнымъ добродушіемъ дышать всѣ дошедшія до насъ письма его. Прекрасная характеристика Хемницера, какъ человека, заключается въ одномъ изъ писемъ Державина къ Булгакову, нашему посланнику при константинопольскомъ дворѣ: "... Иванъ Ивановичъ Хемницеръ, одинъ изъ моихъ друзей, ѣдетъ къ вамъ" — такъ пишетъ Державинъ къ Булгакову, рекомендуя ему новаго консула, отправлявшагося въ Смирну черезъ Константинополь; — „хотя своими добродѣтелями и любезнымъ поведеніемъ онъ неотмѣнно приобрететъ благоволеніе и пріязнь вашу, но на первый однако случай, предваряя о его свойствахъ, скажу вамъ: „се истинный Израиль, въ немъ же лъсти нѣтъ!“

Едва-ли можно согласиться съ тѣмъ отзывомъ, который г. Галаховъ дѣлаетъ о басняхъ Хемницера въ своемъ почтенномъ трудѣ. „Баснямъ Хемницера выпала особая доля“ — такъ говоритъ г. Галаховъ въ своей „Исторіи Русской Словесности (ч. I., стр. 497). — „Въ теченіе XVIII в. онъ не возбуждали заслуженнаго ими вниманія. Когда же литературная критика оцѣнила ихъ по достоинству, у образованной публики явились другіе любимцы — Карамзинъ и Дмитріевъ. Занявъ мѣсто въ исторіи литературы, Хемницеръ въ то же время сталъ достояніемъ читателей низшаго разряда. Для нихъ то и теперь издаются его басни"... Судьба, выпавшая на долю баснямъ Хемницера въ прошломъ вѣкѣ, не должна конечно, препятствовать вѣрной оцѣнкѣ этихъ произведеній въ настоящее время. Если же мы рѣшимся безпристрастно судить о басняхъ Хемницера по отношенію къ тому времени, въ теченіе котораго онъ были написаны, если мы припомнимъ, что первое изданіе ихъ вышло въ то время, когда у насъ не было въ литературѣ ни одного, даже и сноснаго образца басни, — то Хемницеру должно будетъ, конечно, дать весьма видное мѣсто въ кругу нашихъ писателей прошлаго вѣка. Мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что и по внутреннему содержанію своихъ произведеній, и по относительному достоинству внѣшней обработки ихъ, и по самостоятельности своего литературнаго таланта, Хемницеръ можетъ быть поставленъ, въ до-Карамзинскій періодъ, на одну степень съ лучшими

и наиболѣе самостоятельными нашими писателями. И по отношенію къ потомству, Хемницеръ занимаетъ тоже, по нашему мнѣнію, весьма определенное положеніе; успѣхи Карамзина и Дмитріева не могутъ, полагаемъ, ни кого разубѣдить въ томъ, что литературная дѣятельность Хемницера, какъ баснописца, значительно облегчала и Дмитріеву, и даже Крылову обработку этого новаго поэтическаго рода на русской литературной почвѣ. Достаточнымъ доказательствомъ въ пользу несомнѣнныхъ литературныхъ достоинствъ Хемницера служатъ и самая жлужчесть вѣкоторыхъ его басенъ: — „Метафизикъ“ Хемницера до настоящей минуты остается одною изъ любимѣйшихъ русскихъ басенъ для большинства образованныхъ читателей не одного только „низшаго“, но всѣхъ разрядовъ.

Ближайшимъ пріателемъ Хемницера и Львова, а также и однимъ изъ наиболѣе замѣтныхъ представителей Державинскаго литературнаго кружка является его другъ и родственникъ (по женѣ) Василій Васильевичъ Капнистъ (род. 1757 г., ум. 1824). Происхожденіе Капниста и самая исторія рода Капнистовъ весьма замѣчательны. Подобно весьма многимъ нашимъ литературнымъ дѣтелямъ прошлаго столѣтія, В. В. Капнистъ происходилъ отъ иностраннаго и знатнаго рода. Предками его были итальянскіе графы Капнисси, изъ которыхъ одинъ, графъ Оттомателло Капнисси, былъ даже возведенъ въ началѣ прошлаго вѣка Венеціанскимъ Правительствомъ въ высокое званіе кавалера ордена Св. Марка. Его внукъ, графъ Петръ Христофоровичъ, выѣхалъ въ Россію изъ Занта, съ малолѣтнимъ сыномъ своимъ Васи́ліемъ (отцомъ поэта), въ царствованіе Петра Великаго (1711 г.). Васи́лій Петровичъ, выросши въ Россіи, скоро обрусѣлъ и даже фамилію свою переименовалъ по русскій ладъ, начавъ писать ее уже не Капнисси, а просто Капнистъ. Жизнь его представляетъ собою рядъ самыхъ разнообразныхъ приключеній и громкихъ военныхъ подвиговъ. Отъ съ молодости почувствовалъ влеченіе къ военной службѣ, весь свой вѣкъ не сходилъ съ коня, воюя то противъ Крымцевъ, Нагайцевъ и Калмыковъ, то противъ Турокъ... За ратные подвиги былъ онъ даже пожалованъ Императрицею Елисаветою Петровною (1743

г.) многими деревнями въ Миргородскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи — и вдругъ потомъ, по ложному доносу своихъ недруговъ, обвиненъ въ измѣнѣ и посаженъ въ тюрьму. Но твердый и неустрашимый на полѣ битвы В. П. Капнистъ не поддался и здѣсь своей судьбѣ, доказавъ свою невинность, былъ освобожденъ отъ суда и слѣдствія, оправданъ, награжденъ чиномъ бригадира, а шесть лѣтъ спустя — убитъ въ Эгерсдорфскомъ сраженіи.

Отъ брака В. П. Капниста съ Софьей Андреевной Дунинной-Бурковской, принадлежавшей къ одному изъ богатѣйшихъ и знатнѣйшихъ малороссійскихъ родовъ, родился Василій Васильевичъ Капнистъ. Родиною его была Обуховка, одно изъ жалованныхъ его отцу полтавскихъ помѣстій, внослѣдствіи прославленное и воспѣтое имъ въ стихахъ. Къ сожалѣнію, ни о дѣтствѣ его, ни о первоначальномъ воспитаніи мы не знаемъ положительно ничего, и намъ приходится вѣрить на слово его біографу, который говорилъ, что Капнистъ былъ обязанъ „своимъ отличнымъ образованіемъ себѣ и своему уму“. На пятнадцатомъ году мы уже видимъ его капитаномъ въ Измайловскомъ полку, потомъ сержантомъ въ Преображенскомъ, а черезъ три года — офицеромъ того же самого полка. Должно предполагать, что именно въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ пребыванія въ Петербургѣ молодой Капнистъ много работалъ и трудился надъ своимъ образованіемъ, потому что около этого времени, вступая въ короткія, дружественныя связи съ Хемницеромъ, Державинымъ, Богдановичемъ и Львовымъ, Капнистъ уже выдѣлялся въ ихъ кружкѣ своимъ знаніемъ новѣйшихъ языковъ и близкимъ знакомствомъ не только съ новѣйшими, но и съ древними классиками. Въ 1777 г. онъ приобретаетъ даже нѣкоторую извѣстность литературною своей удачною сатирой „на нравы“, въ которой довольно ловко перифразируетъ извѣстное народное присловіе: „дураковъ не сѣють, не жнутъ, — сами родятся“:

Науки возрасли, художества цвѣтутъ,
Родятся авторы, — а глухость тутъ какъ тутъ!
Какъ въ нивѣ, многими удобренной трудами,
Проникнувъ плесели, прожежду колосами,
Нескѣпный повреда, глушать созрѣлый плодъ,
Такъ вольный въ свѣтъ себѣ глупцы позвола входъ,
Не быть посягны, растутъ и созрѣвають,
Даютъ худой прихвѣръ, и знанье затѣвываютъ.

Вскорѣ послѣ того, Капнистъ покинулъ военную службу и, женившись, переселился на югъ, гдѣ сначала служилъ по выборамъ въ Кіевской и Полтавской губерніи, а потомъ и окончательно поселился въ своей „любезной Обуховкѣ“.

Литературная дѣятельность Капниста, весьма немногосложная, выражалась долгое время одними лирическими произведеніями, преимущественно одами торжественными и громкими, изъ которыхъ особенное вниманіе современниковъ было привлечено одою „на рабство“ (1783) и соответствующею ей одою „на истребленіе въ Россіи званія раба“.



Капнистъ.

Императрицѣ Екатериноу II (15 февр. 1786 г.)⁴. За этими двумя слѣдовали цѣлый рядъ другихъ, привѣтствовавшихъ побѣды русскаго оружія въ Турціи и въ Италіи. Этимъ одамъ Капнистъ былъ, главнымъ образомъ, обязанъ своею извѣстностью, которая, при его вполне обеспеченномъ и независимомъ состояніи, при большихъ свѣтскихъ и литературныхъ связяхъ, быстро доставила ему видное мѣсто между нашими литературными дѣятелями конца прошлаго столѣтія. Но гораздо болѣе торжественныхъ одъ важны и достойны вниманія элегіи Капниста и мелкія лирическія пьесы, изъ которыхъ многія дѣйствительно легки и граци-

озны, а его известный перевод „Памятника“ Горациева не уступить въ достоинствахъ ни Державинскому, ни даже Пушкинскому переводу, и притомъ, ближе ихъ обоимъ передаетъ подлинникъ.

Но важнѣйшимъ произведеніемъ Капниста были не оды, не элегіи и не мелкая лирика, а его комедія „Ябеда“, написанная, вѣроятно, въ концѣ царствованія Екатерины, а появившаяся въ печати уже въ царствованіе Павла, въ 1798 г. Должно предполагать, что авторъ долгое время не рѣшался печатать своего произведенія, заключавашаго въ себѣ рѣзкое осужденіе нашихъ провинціальныхъ судебныхъ нравовъ и той невообразимой процедуры крѣпостничества и взятокъ, которою должно было проходить каждое дѣло. Типы, выведенные на сцену Капнистомъ въ „Ябедѣ“—въ особенности типъ сутяги Праволова, типъ предсѣдателя и членовъ суда—подмѣченъ авторомъ очень вѣрно, и едва ли не были портретами, заимствованными изъ той провинціальной дѣйствительности, среди которой Капнистъ могъ жить какъ совершенно независимый и спокойный, сторонній наблюдатель. Однакоже опасенія за участь пьесы были вѣроятно довольно сильны, и Капнистъ былъ порядочно напуганъ литературными преслѣдованіями послѣднихъ лѣтъ царствованія Екатерины, потому что рѣшился издать въ свѣтъ Ябеду не иначе, какъ посвятивъ свою комедію Императору Павлу. Въ этомъ стихотворномъ посвященіи комедіи Императору, Капнистъ старается выставить передъ нимъ всю безвредность своей сатиры, испрашивая его покровительства своему произведенію, которое, какъ онъ справедливо предполагалъ, должно было нажить ему много враговъ въ то „доброе старое время“. Въ этомъ посвященіи Капнистъ говорить между прочимъ:

«Прости, Монархъ! что я, усердіемъ горя,
Мой трудъ, какъ каплю водъ, въ глубоки днѣ моря.
Ты знаешь разныхъ людей строптивыхъ нравы:
Инымъ не страшна казнь, а злой боится славы.
И кистью Талин порокъ изобразилъ;
Мадониства, ябеды всю гнусность обнажилъ,
И отдаю теперь на посѣянье свѣта.
Не мстителна отъ нихъ боюсь я навѣта:
Подъ Павловымъ щитомъ почію невредишь...»

Но даже и эта предусмотрительность осторожнаго Капниста не помогла ему. Комедія надѣлала много шума, возбудила толки, и, если вѣрить одному современному свидѣтельству, едва не подвергла автора весьма серьезной отвѣтственности. „Чиновный людъ“—такъ сообщается въ этомъ свидѣтельствѣ,—„просто разрывался отъ досады на Капниста за его Ябеду. Составленъ былъ докладъ о комедіи Императору. Представлено, что Капнистъ далъ ужасный поводъ къ соблазну, что его наглость преувеличила дѣйствительность; найдено въ комедіи даже явное попрепаніе монаршей власти въ ея ближайшихъ органахъ... Все это завершалось униженнымъ челобѣтнемъ объ охранѣ власти, запрещеніи пьесы и о примѣрномъ для будущаго времени наказаніи злостного, не отчизнолюбиваго автора. Императоръ Павелъ, довѣрившись донесенію, приказалъ будто-бы немедленно отправить Капниста въ Сибирь. Это было утромъ. Приказъ былъ немедленно исполненъ. Послѣ обѣда гнѣвъ Императора остылъ, онъ задумался и усомнился въ справедливости своего приговора. Не повѣря, однакоже, никому своего плана, онъ велѣлъ въ тотъ же вечеръ представить Ябеду въ своемъ присутствіи на Эрмитажномъ театрѣ. Государь явился въ театръ только съ вел. кн. Александромъ. Больше никого не было въ театрѣ. Послѣ перваго же акта, императоръ, безпрестанно аплодировавшій пьесѣ, послалъ перваго попавшагося ему фельдъегеря, чтобы тотчасъ же возвратилъ Капниста; пожаловалъ возвращенному писателю чинъ статскаго совѣтника, щедро наградило его и до самой кончины удостоивало своихъ милостей“¹⁾

Гораздо забавнѣе другой анекдотъ, рассказываемый Бантышъ-Каменскимъ, по поводу той же комедіи Капниста, и свидѣтельствующій также о ея популярности, которой много способствовала вѣрно набросанная авторомъ картина нашихъ провинціальныхъ судебныхъ нравовъ. „Мнѣ случилось, въ молодыхъ лѣтахъ“—говоритъ Б. Каменскій²⁾—„быть свидѣтелемъ какъ въ одномъ губернскомъ городѣ, во время представленія Ябеды, когда Хватяйко заплѣлъ:

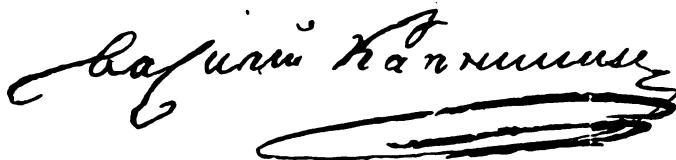
¹⁾ Библиографич. Записки, т. II, стр. 47—48. ²⁾ Слов. достоп. людей, часть 2, Изд. 1847.

ри, большой тутъ вѣтъ науки;
и, что только можно взять,
что-жъ привѣшены намъ руки,
жъ не на то, чтобъ брать, брать, брать?!»

гелп начали рукоплескать и, и многіе
ихъ, обратясь къ чиновнику, занимав-
мѣсто, соответствовавшее мѣсту Хва-
и, прозвнесли въ одинъ голосъ, назы-
ю: „Это вы! это вы!“....

лѣ „Ябеды“ Капнистъ пытался и
писать для сцены, но въ такой
и неудачно, что самъ поспѣшилъ
жъ въ эпиграммахъ плохія сценическія
иженія своего пера. „Ябедой“, ко-
даже поспѣ комедій Фонъ-Визина
занять на нашей сценѣ весьма по-
мѣсто и удержалась на ней весь-
го—Капнистъ почти закончилъ свою
иатурную дѣятельность. Постоянно пре-
въ деревнѣ, спокойный и довольный,
го доживалъ свою жизнь, лишь из-
напоминалъ о себѣ стихотвореніями,
ившимися въ современныхъ журна-
Однимъ изъ наиболѣе замѣчательнымъ

между ними было чисто-гораціанское описа-
ніе Обуховки, — того мирнаго уголка, ко-
торый онъ такъ любилъ, въ которомъ роди-
лся и потомъ на вѣки успокоился. На склонѣ
лѣтъ Капнистъ, какъ кажется, охотнѣе за-
нимался наукою, въ особенности изученіемъ
классической древности, нежели поэзіей.
Такъ онъ принималъ горячее участіе въ
спорѣ съ Уваровымъ о гекзаметрахъ, пи-
салъ разсужденія „о гиперборейцахъ и о
коренномъ руссійскомъ стихосложеніи“, „о
возстановленіи первыхъ шести пѣсней Одис-
сея въ первобытный ихъ порядокъ“, и на-
конецъ, осенью 1819 года, посѣтивъ Крымъ,
отправилъ къ министру нар. просв. кн. А.
Н. Голицыну письмо „о необходимости сбе-
реженія и предохраненія древностей Тав-
риды отъ дальнѣйшаго разрушенія и конче-
наго истребленія“. Письмо это имѣетъ несом-
нѣнную историческую важность, какъ первое
указаніе, побудившее правительство обратить
должное вниманіе на Тавриду и отправить
туда ученыхъ для изысканій, путемъ кото-
рыхъ впоследствии были пріобрѣтены для на-
уки такіе богатые и плодотворные результаты.



Подпись Капниста.

Первые русскіе журналы. — Сатирическіе журналы Екатерининскаго времени. — Н. Н. Новиковъ; его литературная и общественная дѣятельность.

Въ началѣ XXVII главы, указывая на значеніе екатерининскаго времени въ исторіи нашей литературы, мы говорили между прочимъ и о томъ, что въ началѣ царствованія Екатерины II явилось много благопріятныхъ условій, способствовавшихъ развитію въ Россіи общественной жизни, распространенію просвѣщенія и смирненію нравовъ; мы говорили о томъ, что „стремясь доставить Россіи всѣ выгоды западнаго просвѣщенія и внести въ нашу жизнь лучшія начала западной общественности, Екатерина не могла не видѣть въ литературѣ сильнаго орудія къ достиженію своихъ цѣлей“, вслѣдствіе чего и поощряла у насъ развитіе литературы и журналистики. Но тамъ же замѣтили мы (стр. 338), что благопріятныя условія екатерининскаго времени только способствовали развитію и ускоренію того движенія, которое замѣтно стало проявляться въ нашей литературѣ конца пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія, когда кругъ литературныхъ дѣятелей русскихъ, вслѣдствіе постепенно-возраставшей въ обществѣ потребности въ чтеніи, успѣлъ значительно расшириться и литература уже готова была занять въ обществѣ положеніе довольно видное.

Важнымъ признакомъ, свидѣтельствующимъ о возрастаніи значенія литературы въ нашемъ обществѣ, оказывается, безъ сомнѣнія, появленіе у насъ первыхъ повременныхъ изданій въ концѣ царствованія Елисаветы. Не говоря уже о „Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ, къ пользѣ и увеселенію служащихъ“, которыя издавались при Академіи Наукъ Миллеромъ, съ 1755 года, и замѣнили собой литературныя Примѣчанія къ Петербургскимъ Вѣдомостямъ, издаваемыя имъ же съ 1728 года, гораздо болѣе значенія придаемъ мы „Трудолюбивой Пчелѣ“ Сумарокова, появившейся въ 1759

году и существовавшей только одинъ годъ. Это была уже довольно замѣчательная по тому времени попытка частнаго человѣка заинтересовать публику изданіемъ, въ которомъ помѣщались не только переводныя и оригинальныя статьи по разнымъ общимъ вопросамъ, но высказывалось замѣтное желаніе обратить общее вниманіе и на вопросы живые, современные, заставить задуматься надъ нѣкоторыми общественными явленіями: взяточничествомъ подъячихъ, преобладаніемъ иноземнаго элемента въ высшихъ слояхъ общества, и т. п. Въ отношеніи къ „Трудолюбивой Пчелѣ“, для насъ немаловажно и то, что первый русскій литераторъ явился у насъ и первымъ русскимъ журналистомъ, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, первымъ выразителемъ того поворота, который совершался въ его время въ нравахъ и воззрѣніяхъ общества (отчасти подъ вліяніемъ обще-европейскаго движенія), и который нашелъ себѣ полное выраженіе только въ дѣятеляхъ екатерининскаго времени. Плодотворность и своевременность попытки Сумарокова болѣе всего выражается въ томъ, что по слѣдамъ Сумарокова пошли многіе, и тотчасъ по прекращеніи „Трудолюбивой Пчелы“ въ Петербургѣ и въ Москвѣ явились нѣсколько журналовъ, которые издавались частными лицами и учеными кружками по образцу Сумароковскаго журнала. Въ 1760 году, — при Шляхетномъ Сухопутномъ Корпусѣ, издавался „еженедѣльникъ“ „Праздное время въ пользу употребленное“, въ которомъ Сумароковъ принималъ дѣятельное участіе; въ то же самое время въ Москвѣ, при Университетѣ, является „Полезное Увеселеніе“ (издававшееся до 1762 г.) и, послѣ этого изданія, другое — „Свободныя часы“ — служившее ему какъ бы продолженіемъ, и замѣтно уже проявлявшее въ себѣ сатирическое напре-

вление. Тамъ же, и около того же времени, видимъ ежемѣсячные журналы: „Невинное упражненіе“ и „Доброе намѣреніе“ (1763 и 1764) и наконецъ даже учено-литературный журналъ Рейхеля ¹⁾ подъ названіемъ „Собранія лучшихъ сочиненій къ распространенію знанія и къ произведенію удовольствія“. Это быстрое возрастаніе журнальной дѣятельности, послѣдовавшее за первой попыткой, сдѣланной Сумароковымъ, свидѣлствуетъ о наступленіи новаго и важнаго періода въ исторіи русской литературы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и о быстромъ возрастаніи потребности въ чтеніи, которая значительно способствовала въ свою очередь, размноженію у насъ людей, исключительно посвящавшихъ себя литературѣ, какъ положительному занятію. Около каждаго издателя журнала собирався свой особый, болѣе или менѣе обширный, кружокъ литературныхъ дѣятелей. Постоянно нуждаясь въ литературномъ матеріалѣ ²⁾, журналы съ величайшею готовностью открывали страницы свои каждому желающему печатать свои произведенія, и этимъ самымъ не только облегчали обиходъ мыслей между писателемъ и публикой, но, въ значительной степени, способствовали также совершенствованію нашего литературнаго языка и слога. Съ другой стороны, тѣ же журналы, около главныхъ, преобладавшихъ въ литературѣ, наиболѣе талантливыхъ дѣятелей, развивали и массу труженниковъ, массу переводчиковъ и литературныхъ работниковъ. И эти то люди, снискивавшие себѣ литературою пропитаніе, въ свою очередь много способствовали измѣненію ложнаго взгляда на литературу, какъ на „служеніе Музамъ“, какъ на занятіе, приличное досугу, служащее болѣе къ увеселенію и забавѣ, нежели къ удовлетворенію весьма положительныхъ нравственныхъ потребностей просвѣщеннаго и развитаго большинства общества. Мы видимъ, что уже около Миллера, какъ редактора „Ежемѣсячныхъ сочиненій“, собирается цѣлый кружокъ сотрудниковъ, дополняющихъ журналъ его своими статьями.

Кромѣ академиковъ, въ журналѣ Миллера принимали участіе и „нѣкоторые господа вѣи Академіи“; въ числѣ ихъ видимъ бригадира Сумарокова и майора Елагина (Иванъ Перфильевича), и титулярнаго совѣтника Хераскова, и Нартова (Андрей) и даже сухопутнаго кадетскаго корпуса капрада Порошина ³⁾ — болѣею частью людей, пользовавшихся въ послѣдствіи весьма громкою литературною извѣстностью. „Для чести Академіи и для побужденія оныхъ господъ къ сотрудниченію“ этимъ первымъ журнальнымъ сотрудникамъ дано было даже, по ходатайству Миллера, право на полученіе дароваго экземпляра журнала „въ хорошемъ переплетѣ“. Въ журналѣ Сумарокова встрѣчаемъ новыя имена сотрудниковъ — Козицкаго и Мотониса, изъ которыхъ первый въ послѣдствіи становится во главѣ весьма замѣчательнаго и важнаго журнала подъ названіемъ „Всякая всячина“, — родоначальника всѣхъ нашихъ сатирическихъ журналовъ екатерининскаго времени. Въ то же время въ Московскихъ журналахъ началась шестидесятихъ годовъ встрѣчаемъ имена почти всѣхъ, въ послѣдствіи прославленныхъ литературныхъ дѣятелей — студентовъ Дениса и Павла Фонъ-Визинныхъ, Василя Рубана и Василя Петрова, а также и Василя Майкова, и Богдановича, начинавшихъ свое литературное поприще съ сотрудничества въ журналѣ, и помѣщавшихъ первые опыты свои рядомъ съ произведеніями уже прославленныхъ авторовъ — Сумарокова, Хераскова и Елагина.

Но только съ появленіемъ въ свѣтъ „Всякой всячины“, въ которой такое замѣтное участіе принимала сама Екатерина, начинается у насъ — и притомъ именно въ Петербургѣ, а не въ Москвѣ — сильное журнальное движеніе, съ весьма опредѣленнымъ сатирическимъ направленіемъ. Едва-ли нужно пояснять здѣсь, почему именно такое направленіе принято было нашей журнальной литературой во второй половинѣ

¹⁾ Йоганъ Готфридъ Рейхель, экстраординарный профессоръ Московскаго Университета по кафедрѣ исторіи. Журналъ свой издавалъ онъ въ 1762 году. ²⁾ Любопытнымъ доказательствомъ этого служить извѣстная приписка Сумарокова къ Майской книжкѣ его журнала: «весь сей мѣсяцъ» — такъ сказано въ припискѣ — «сочиненія Александра Сумарокова». ³⁾ Автора извѣстныхъ записокъ объ Императорѣ Павлѣ Петровичѣ.

прошлаго столѣтія? Не говоря уже о томъ, что въ самой природѣ русскаго человѣка лежить весьма замѣтная склонность къ сатиры и къ рѣзкому осмѣянію личныхъ своихъ недостатковъ, особыя условія исторической жизни прошлаго вѣка способствовали въ значительной степени внесенію сатирическаго направленія въ литературу. Сатира явилась въ литературѣ XVIII вѣка не только какъ естественный продуктъ борьбы двухъ поколѣній, двухъ различныхъ воззрѣній — стараго и новаго, она являлась и орудіемъ реформъ, административнымъ путемъ вносились въ Россію. Выше видѣли мы, что Петръ Великій не пренебрегалъ этимъ орудіемъ и умѣлъ имъ пользоваться при удобномъ случаѣ; мы видѣли, что періодъ преобразованій былъ и вообще богатъ сатирическими произведеніями. принадлежавшими перу наиболѣе образованныхъ и наиболѣе талантливыхъ представителей нашей литературы этого времени. Вотъ почему 40 лѣтъ спустя послѣ смерти Петра Великаго, когда тѣмъ же орудіемъ сатиры рѣшилась для своихъ цѣлей воспользоваться Екатерина II, ея попытка возбудила въ лучшей части нашего общества настолько сильное сочувственное движеніе, что сама Екатерина нашла себя вынужденною ограничить это движеніе и ослабить значеніе журнальной сатиры. Въ этомъ живомъ и замѣчательно-распространенномъ движеніи сказались уже сила разумная, сила незамѣтно-развивавшагося и выросшаго общественнаго мнѣнія, которое воспѣшило воспользоваться первою возможностью, первою благоприятною минутою, чтобы высказаться и громко заявить о своемъ существованіи...

Приступая къ изданію „Всякой всячины“, безымянный издатель этого журнала начерталъ уже отчасти ту программу, по которой потомъ сталъ составляться цѣлый рядъ подобныхъ „Всячинъ“ сатирическихъ журнальцевъ: видно, что эта программа была удачно угадана, и что велика была въ обществѣ потребность въ періодическихъ изданіяхъ, составленныхъ именно по такой программѣ... „Любезный читатель“—говоритъ въ обращеніи къ публикѣ издатель Всячины—„предпріять я сообщить вамъ все то, что мнѣ заблагоразсудится, безъ всякаго порядка; иногда дамъ вамъ полезныя наставленія, иногда будете смѣяться“. Еще подробнѣе и яснѣе указываетъ онъ на цѣли, которыя поставилъ

себѣ задачею при изданіи своего журнала, въ другомъ мѣстѣ его, въ концѣ года: „я хотѣлъ“—говоритъ онъ—„показать, первое, что люди иногда могутъ быть приведены къ тому, чтобы смѣяться самимъ себѣ; второе — открыть дорогу тѣмъ, кои умнѣ меня, давать людямъ наставленія, забавляя ихъ, и третье — говорить русскимъ о русскихъ, и не представлять имъ умоначертаній, кои они не знаютъ“.

Починъ, сдѣланный „Всячиной“, оказался до такой степени своевременнымъ, что подражатели этому „еженедѣльнику“ явились тотчасъ же, противъ всякихъ ожиданій редакціи „Всячины“ и, до нѣкоторой степени, даже къ ея неудовольствію... Въ началѣ же 1769 года явился уже и другой еженедѣльникъ—„И то и се“, издававшийся подъ редакціею П. Д. Чулкова; вслѣдъ за нимъ, въ концѣ февраля, Рубанъ сталъ издавать еще одинъ еженедѣльникъ, который, въ подражаніе журналу Чулкова, называлъ „И то, ни се“. Въ мартѣ явилась „Поденьшина“ В. Тузова, просуществовавшая, впрочемъ, только до 5-го апрѣля; за „Поденьшиною“, въ апрѣлѣ, стала издаваться „Смѣсь“, въ маѣ — „Трутенъ“ Н. Новикова, а въ іюлѣ — „Адская почта или переписка хромоногаго бѣса съ кривымъ“, которую издавалъ Ѳ. Эминъ. И такъ, въ одномъ 1769 г. явилось вдругъ семь новыхъ журналовъ, и хотя не всѣ пользовались одинаковымъ успѣхомъ, однако же большая часть ихъ читалась публикой очень охотно, и лучшіе изъ этихъ журналовъ (напр. Новиковскій „Трутенъ“) выдерживали даже по два изданія. Успѣхъ и особенная настроенность общества увлекали многихъ; одни брались за дѣло изъ подражанія, другіе изъ желанія блеснуть остроуміемъ и плодovitостью своей поэтической фантазіи... Однако же нельзя не отдать полной справедливости вкусу современной публики, которая оказалась гораздо болѣе разборчивой, нежели-бы можно было того ожидать: — наибольшимъ успѣхомъ пользовались только тѣ изъ многихъ разомъ явившихся журналовъ, которые отличились болѣею вѣдкостью сатирическаго отношенія къ современной дѣйствительности... Замѣчательно, что всѣ эти журналы выходили въ Петербургѣ и что въ Москвѣ не было тогда вовсе подобныхъ еженедѣльниковъ. „Трутенъ“ очень остроумно замѣ-

часть по этому поводу: ...„почтенная наша старушка-Москва и со своими жителями во нравахъ весьма непонятна: ей всегда нравились новыя моды и она всегда ихъ перенимала у петербургскихъ жителей... Въ нынѣшнемъ 1769 г. лишь показалась въ свѣтъ „Всякая всячина“ со своимъ племенемъ, то жители нашего города заключили, что это—новая мода, что тамъ сн листки выходить будутъ не десятками, а сотнями; но всѣ обманулись: въ Москвѣ и по сіе время ни одного такого изъ типографіи не вышло листочка, да и напечатанные въ Петербургѣ журналы читаютъ немногіе. Старой, но весьма разумной, нашъ мѣщанинъ Правдинъ о семъ заключаетъ, что Москва къ украшенію тѣла служащія моды перенимаетъ гораздо скорѣе украшающихъ разумъ, и что Москва также, какъ и перестарѣлая кокетка, сатиры на свои нравы читать не любитъ“.

А между тѣмъ „сатира на нравы“ явилась до такой степени преобладающимъ интересомъ лучшихъ новыхъ журналовъ, что та программа, которую при началѣ изданія начертала для себя „Всякая Всячина“, оказалась уже неудовлетворяющею потребностямъ большинства. Это не понравилось издателямъ „Всякой Всячины“, и они попытались было стать во главѣ журнальнаго движенія, какъ-бы желая руководить имъ, направлять его. Стараясь поддержать общій всѣмъ тогдашнимъ журналамъ шуточный тонъ, „Всякая Всячина“ поспѣшила себя объявить родоначальницею всей семьи журналовъ, возникшей послѣ ея появленія въ свѣтъ. Но журналы не поддались этому непрощенному руководству и отвѣчали очень рѣзко, что не понимаютъ вовсе причинъ, по которымъ „Всячинѣ“ хочется наклепаться къ нимъ въ родню. Къ рѣзкостямъ было прибавлено нѣсколько намековъ на то участіе, которое во „Всякой Всячинѣ“ принимаютъ „знатные господа и высокопоставленные лица“. На эти-то намеки „Всячина“ съ гордостью отвѣчала, что приняла за правило не цѣлить на особъ, „но единственно на пороки“, и потомъ, распространяясь о необходимости снисходительнаго отношенія къ слабостямъ человеческимъ, приняла слѣдующія уже извѣстныя намъ основанія для своей дальнѣйшей литературной дѣятельности: „1) Никогда не называть слабости порокомъ; 2) хранить во всѣхъ слу-

чаяхъ человеколюбіе; 3) не думать, чтобы людей совершенныхъ найти можно было, и для того: 4) просить Бога, чтобы намъ далъ духъ кротости и снисхожденія“. Въ отвѣтъ на эту программу дѣятельности, навязываемую „Всячиной“ остальнымъ журналамъ, въ „Трутиѣ“ появилось письмо Правдолюбова такого содержанія:

Я того мнѣнія, что слабости человеческія сожалѣнія достойны, однакожъ не похваляю, и никогда того не подумаю, чтобы на сей разъ не покривила своею мыслью и душею госпожа ваша прабабка („Всячина“), давъ знать, что похвальнѣе снисходить порокамъ, нежели исправлять оныя. Многіе слабой совѣсти люди никогда не упоминаютъ имя порока, не прибавивъ къ оному человеколюбія... По моему мнѣнію, больше человеколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, который онымъ снисходитъ или (сказать по-русски) потакаетъ... Еще не поправилось мнѣ первое правило упомянутой госпожи, т. е. чтобы отнюдь не называть слабости порокомъ, будто Іоаннъ и Иванъ не все одно. О слабости тѣла человеческого мы разсуждать не станемъ, ибо я не лѣкарь, а она не повивальная бабушка; но душа слабая въ каждую сторону покривиться можетъ. Да я не знаю, что по мнѣнію сей госпожи значить слабость? Нынѣ обыкновенно слабостію называется въ кого-нибудь по уши влюбиться, т. е. въ чужую жену или дочь, а изъ сей мнимой слабости выходить: обезчестить домъ, въ который мы ходимъ, и посорить мужа съ женою или отца съ дѣтьми; и это будто не пороки!... Любить деньги есть также слабость, почему слабому человѣку простиительно брать взятки и набогатѣться грабежами. Пьянствовать также слабость, или еще привычка; однако пьяному можно жену и дѣтей прибить до полусмерти и подраться съ вѣрными другомъ... Не хочу васъ (издателя Трутии) побуждать къ продолженію труда, тоже васъ хвалить: звѣрокъ по кохтямъ видѣнъ“.

Должно быть, что и дѣйствительно „звѣрокъ по кохтямъ былъ видѣнъ“, потому что „Всячина“, проповѣдывавшая осторожность и мягкость, прямо назвала письмо Правдолюбова, помѣщенное въ „Трутиѣ“, ругательствами. „Г. Правдолюбовъ“, замѣтила Всячина, „исключая снисхожденіе, истребляетъ милосердіе... Думать надобно, что

ему бы хотелось за все да про все кнутомъ съѣчь. Какъ-бы то ни было, отдавая его публикѣ на судъ, мы советуемъ ему лѣчиться, дабы черные пары и желчь не оказались даже на бумагѣ, до коей онъ дотрогивается". Чтобы пояснить себѣ такой рѣзкій оборотъ въ полемическомъ тонѣ „Всячины“, не мѣшаетъ припомнить здѣсь, что какъ за личностью редактора, Козицкаго, въ этомъ журналѣ скрывались известные уже намъ „знатные господа и высокопоставленные лица“, такъ точно и журналъ Новикова, въ свою очередь, могъ служить выраженіемъ помысловъ и мнѣній для другой, противоположной партіи „знатныхъ господъ“. И дѣйствительно, сохранилось преданіе, утверждающее, будто въ „Трутнѣ“ принимала участіе Е. Р. Дашкова и М. Л. Воронцовъ. Если допустить справедливость такого преданія, то намъ нечего будетъ удивляться тому, что простое, повидимому, письмо Правдолюбова заставило „Всячину“ отвѣчать ему такъ рѣзко; еще менѣе можно удивляться тому, что „Трутень“, видя въ какой степени редакция „Всячины“ задѣта за живое отвлеченными разсужденіями Правдолюбова о порокахъ и слабостяхъ, помѣстил на страницахъ своихъ другое письмо Правдолюбова, въ которомъ полемическій тонъ оказался еще болѣе задорнымъ, а намеки—еще болѣе прозрачными. „Госпожа „Всякая Всячина“ на насъ прогнѣвалась“ — сказано въ этомъ письмѣ — „наши правоучительныя разсужденія называютъ ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думалъ. Вся ея вина состоитъ въ томъ, что на русскомъ языкѣ изъясняться не умѣетъ и русскихъ писаній обстоятельно разумѣть не можетъ... Если я написалъ, что больше челоуѣколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, кто онымъ потакаетъ; то не знаю, какъ такимъ изъясненіемъ я могъ тронуть милосердіе? Видно, что госпожа „Всякая Всячина“ такъ похвалами избалована, что теперь и то почитаетъ за преступленіе, если кто ее не похвалитъ. Не знаю, почему она мое письмо называетъ ругательствомъ? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная; но въ моемъ прежнемъ письмѣ, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нѣтъ ни кнута, ни висѣлицы, ни прочихъ слуху про-

тивныхъ рѣчей, которыя въ изданіи ея ходятъ... Советъ ей, чтобы мнѣ лѣчиться—не знаю: мнѣ ли больше приличнѣе, или сей госпожѣ? Она, сказавъ, что не хочетъ отвѣчать „Трутню“, отвѣчала ему всѣмъ своимъ сердцемъ и умомъ, и вся ея желчь въ ономъ письмѣ сдѣлалась видна. Когда же она забывается и такъ мокротлива, что часто не туда плыветъ, куда надлежитъ; то, кажется, для очищенія ея мыслей и внутренности, бесполезно и ей погѣчиться“.

Въ эту полемику между „Трутнемъ“ и „Всячиной“ вскорѣ вѣшались и другіе журналы: „Смѣсь“ и „Адская почта“ стали вторить „Трутню“, а журналъ „И то, и се“—отстаивать „Всячину“. „Смѣсь“, отрекаясь отъ родства со „Всячиной“ утверждала прямо, что „внучата ея (т. е. остальные журналы) поразумѣе бабушки; въ нихъ я не вижу такихъ противорѣчій, въ какихъ она запуталась. Бабушка въ добрый часъ намѣняется исправлять пороки, а въ блажной даетъ имъ послабленіе“... „Пора бы вамъ, господа внучата и племянники извѣстной здѣсь старушки, попросить вашу бабушку, чтобы она въ листкахъ своихъ лучше наблюдала постоянство, старости ея лѣтъ приличное; а то она нынѣ, какъ молодое пиво, бродитъ и на одномъ основаніи мыслей своихъ остановить не можетъ. Прежде божилась она, что будетъ исправлять пороки и никакого автора не тронетъ; но послѣ, будучи въ томъ крѣпко увѣрена, что мертвые на критики не отвѣчаютъ, такъ было привязалась къ „Телемахидѣ“, что едва сію ворчливую старушку отъ „Телемахиды“ отогналъ кто-то такой, ей письмомъ своимъ доказавшій, что авторъ сей книги.. много отечеству полезныхъ книгъ перевелъ, и листками „Всякой Всячины“ поврежденъ быть не можетъ“.

Само собою разумѣется, что эта крайне непріятная для „Всячины“ полемика не могла продолжаться и что журналы въ концѣ года прекратили свое существованіе, вѣроятно вслѣдствіе независѣвшихъ отъ нихъ вліяній. Всѣхъ пережила только „Всячина“, издававшая въ 1770 году „Барышекъ Всякія Всячины“ — остальные статьи отъ прошлагодняго запаса — да еще „Трутень“, но уже совершенно утратившій свой характеръ; ни тотъ, ни другой журналъ не помѣщали болѣе сатирическихъ статей на сво-

ихъ страницахъ и не вступали ни въ какую полемичку.

Въ „Трутиѣ“ за это время даже было помещено нѣсколько писемъ, будто-бы полученныхъ редакторомъ отъ разныхъ лицъ по поводу перемѣны тона въ его журналѣ „Господинъ „Трутень“! — писалось въ одномъ изъ подобныхъ писемъ — „кой чертъ! что тебѣ сдѣлалось? ты совсѣмъ сталъ не тотъ; развѣ тебѣ наскучило, что мы тебя хвалили и захотѣлось послушать, какъ станемъ бранить?... Пожалуй, скажи для какой причины перемѣнилъ ты прошлогодній свой планъ, чтобы издавать свои сатирическія сочиненія? Ежели для того, какъ ты самъ жаловался, что тебя бранили, такъ знай, что ты превеликую сдѣлалъ ошибку. Послушай, нынѣ тебя не бранятъ, но говорятъ, что нынѣшній „Трутень“ прошлогоднему не годится и въ слуги, и что ты нынѣ также бредишь, какъ и другіе... Г. Новый „Трутень“, преобразись въ стараго... а то вѣдь, я чаю, ты бѣдненькій останешься въ накладѣ: мнѣ сказывалъ твой книгопродавецъ, что нынѣшняго года листовъ не покупаютъ и въ десятую долю противъ прежняго“.

Послѣ небольшой и довольно замѣтной пріостановки въ журналистикѣ въ началѣ 1770 года, интересъ, возбужденный ею въ обществѣ, сталъ вскорѣ снова побуждать многихъ къ новымъ попыткамъ въ томъ же родѣ. Редакторами новыхъ журналовъ явились нѣкоторые изъ прежнихъ предпринимателей (М. Д. Чулковъ и неутомимый В. Рубанъ); редакціи другихъ предпочли остаться анонимными. Такъ въ 1770 году явились вновь: „Парнасскій Щепетильникъ“ Чулкова „Пустомеля“, редакторъ котораго остался неизвѣстенъ, и „Трудолюбивый Муравей“, В. Рубана; въ 1772 и 1773 гг. явились „Вечера“ и „Мѣшенина Катоноскарроническая“ — новые журналы, принадлежавшіе также неизвѣстнымъ редакторамъ, и опять журналъ Н. Новикова — „Живописецъ“. Въ 1774 году къ вышепомянутымъ прибавился еще только одинъ новый журналъ: „Кошелекъ“, редакторомъ котораго былъ тотъ же Н. Новиковъ.

Замѣчательнѣйшимъ изъ числа этихъ журналовъ былъ конечно „Живописецъ“, Н. Новикова, въ короткое время выдержавшій пять изданій и сдѣлавшійся на долгое время любимымъ чтеніемъ всѣхъ классовъ общества. Хотя обличительное направленіе въ „Живописцѣ“ было еще болѣе опредѣленнымъ и рѣзкимъ, нежели въ „Трутиѣ“, однакоже редакторъ его очевидно употреблялъ всѣ мѣры для того, чтобы не навлечь на свой журналъ излишнихъ нареканій. Онъ началъ съ того, что посвятилъ свой журналъ будто-бы неизвѣстному сочинителю комедіи „О время!“ (т. е. самой Екаторинѣ) и въ этомъ посвященіи объявилъ ей прямо: „вы открыли мнѣ дорогу, которой я всегда страшился; вы возбудили во мнѣ желаніе подражать вамъ въ похвальномъ подвигѣ исправлять нравы своихъ единосемцевъ, вы поострили меня испытать въ томъ свои силы“ и т. д. Мнимо неизвѣстный сочинитель комедіи „О время!“ отвѣчалъ на это посвященіе любезнымъ письмомъ. Новиковъ поспѣшилъ помѣстить его въ своемъ „Живописцѣ“ и затѣмъ какъ бы принялъ за правило: каждый разъ, послѣ особенно рѣзкихъ обличительныхъ статей, помѣщать какую нибудь громкую оду въ честь Императрицы, или днѣирамъ князю Григорію Григорьевичу Орлову, или обращеніе къ графу Никитѣ Ивановичу Панину“ ¹⁾. Самъ Новиковъ намекаетъ на то, что опытъ научилъ его осторожности; въ одномъ мѣстѣ „Живописца“, гдѣ онъ говоритъ, что пора уже въ настоящій просвѣщенный вѣкъ снимать личины съ людей порочныхъ, и что его журналъ именно для этой цѣли предназначается, онъ, въ то же время, за правило себѣ полагаетъ: „не разлучаться съ тою прекрасною женщиною, съ которою его иногда видалъ“, и которая „называется Осторожностью“.

Изъ предъидущаго мы на столько уже знакомы съ главными тѣмами сатиры XVIII столѣтія, что мы здѣсь не будемъ повторять, на что преимущественно обращено было вниманіе журнальной сатиры въ Живописцѣ и другихъ современныхъ ему

¹⁾ См. статью академика Пекарскаго: «Матер. для ист. журн. и литер. дѣят. Екатерины II стр. 9. Авторъ прибавляетъ тамъ же къ приведенному нами выше: «Впрочемъ все это, кажется, не долго помогало, но крайней мѣрѣ во 2-й части „Живописца“ Новиковъ видимо сдерживался или былъ сдерживаемъ».

еженедельниках; укажемъ только на такіа стороны сатирическихъ журналовъ, которые составляли ихъ важную особенность и, конечно, главнѣйшимъ образомъ способствовали ихъ успѣху въ средѣ образованной части нашего общества прошлаго вѣка. Въ однообразной формѣ писемъ или въ индифференціи формѣ восточныхъ повѣстей, разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ, разсказовъ о видѣнномъ во снѣ, сатирическихъ вѣдомостей, сатирическихъ словарей и глѣбниковъ, или въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ — однимъ словомъ во всѣхъ видахъ проявленія, какия были доступны журнальной сатирѣ прошлаго вѣка, она проводила тѣ гуманныя идеи, которыя нашли себѣ выраженіе въ „Наказѣ“ Екатерины II; однакоже, недовольствуясь нѣсколько отвлеченной формой гуманистической „Наказа“, сатирическіе журналы постоянно старались примѣнить ее къ русской дѣйствительности, придать ей болѣе матеріальный характеръ, указать ей на язвы нашей собственной общественной жизни и наші національныя нужды. Особенно смѣлыми и важными по тому времени были статьи, помѣщавшіяся въ Новиковскихъ и другихъ журналахъ по вопросу крестьянскому: нѣкоторые изъ нихъ превосходно изображали жалкое нравственное и матеріальное положеніе современнаго крестьянства, противопоставляя его безумной роскоши высшихъ классовъ общества. Другою важною стороною сатирическихъ журналовъ, безъ сомнѣнія, было то, что они положили у насъ основаніе здоровой литературной критикѣ и много способствовали своею распространенностью и вліяніемъ на общество уничтоженію существовавшихъ въ обществѣ предразсудковъ противъ литературы и литераторовъ, а также и установленію правильнаго взгляда на то значеніе и мѣсто, какое должно принадлежать писателю въ каждомъ образованномъ обществѣ. „Нѣкоторые думали (доселѣ)“, — такъ выражается одинъ изъ современныхъ журналовъ — „что дворянину стыдно присвоивать себѣ имя писателя. Не стыдятся того вѣнчанныя главы, ни важные министры, о пользѣ государствъ пекущіеся; а наши дворяне симъ титуломъ гнушаются! Стыдно быть писателемъ, но дурнымъ, разсѣвающимъ сѣмена пороковъ, осмѣивающимъ

правду, честь и добродѣтели... Дарованія же людямъ природою напрасно не даются, и не даромъ это сказано: „скрытый талантъ да будетъ проклятъ!“ Въ этихъ словахъ несомнѣнно вѣетъ тотъ духъ новизны и свѣжести, который и служитъ главнымъ отличительнымъ признакомъ литературныхъ произведеній екатерининскаго времени.

Наступленіе новой эпохи обозначается какъ въ обществѣ, такъ и въ литературѣ появленіемъ новыхъ людей, новыхъ дѣятелей. Однимъ изъ такихъ новыхъ дѣятелей литературныхъ былъ, конечно, Фонъ-Визинъ; другимъ, подобнымъ же и притомъ весьма замѣчательнымъ дѣятелемъ литературнымъ и общественнымъ былъ Новиковъ, уже извѣстный намъ изъ предъидущаго, какъ остроумный и талантливый издатель лучшихъ нашихъ сатирическихъ журналовъ.

Николай Ивановичъ Новиковъ родился (27 апр. 1744 г., ум. 31 іюля 1818 г.) въ Бронницкомъ уѣздѣ Московской губерніи, въ селѣ Тихвинскомъ, Авдотьино тоже. Отецъ его, Иванъ Васильевичъ Новиковъ, одинъ изъ дворянъ того уѣзда, служилъ съ молодости въ морскомъ вѣдомствѣ, былъ чело- вѣкомъ, по тому времени, весьма достаточнымъ, и, по выходѣ въ отставку, жилъ почти безвыѣздно въ своей подмосковной деревнѣ. О воспитаніи Новикова, какъ и вообще о его ранней юности, мы имѣемъ лишь самыя скудныя свѣдѣнія. Извѣстно только, что въ дѣтствѣ, подобно многимъ своимъ современникамъ, онъ обучался у приходскаго дьячка, а потомъ, когда въ 1755 г. учрежденъ былъ въ Москвѣ Университетъ, вмѣстѣ съ двумя гимназіями, Новиковъ года четыре сряду находился въ московской университетской гимназіи, гдѣ учился очень неровно и вѣроятно не многому, потому что, по его собственному сознанію, онъ не зналъ ни одного иностраннаго языка и образованіемъ былъ одолженъ одному себѣ. Въ 1760 г., за лѣность и нехождение въ классы, онъ даже былъ исключенъ изъ университетской гимназіи, о чемъ тогда же, по современному университетскому обычаю, и пропечатано было въ Московскихъ Вѣдомостяхъ, во всеобщее свѣдѣніе. Должно однакоже предположить, что условія домашняго воспитанія были довольно благоприят-

для развитія богатаго запаса умствен-
 ныхъ и нравственныхъ силъ Новикова,
 ему что, поступивъ въ военную службу
 гвардейскій Измайловскій полкъ) и, при-
 зъ на семнадцатомъ году въ Петер-
 зъ, Новиковъ пошелъ своею дорогою и
 ералъ времени даромъ. Страстно пре-
 лсь чтенію и постоянно вращаясь въ

что онъ, вѣроятно, и тогда уже успѣлъ
 рѣзко выдѣлиться изъ толпы своихъ со-
 варищей-Измайловцевъ, потому что, когда,
 въ 1767 году, въ Москву были отправлены
 молодые гвардейцы, для занятій письмовод-
 ствомъ въ знаменитой комиссіи депутатовъ
 для составленія проекта новаго уложенія,
 то въ числѣ многихъ, отличныхъ молодыхъ



Новиковъ.

дѣ образованнѣйшихъ людей того вре-
 мени, онъ быстро успѣлъ восполнить про-
 мы своего скуднаго образованія и, по
 дѣтельству одного изъ его биографовъ,
 съ 1767 года „началъ онъ быть извѣ-
 нъ своею склонностью къ словесности,
 шаче Россійской и успѣхами въ оной“.
 чемъ заключались эти успѣхи — неиз-
 вѣстно; мы можемъ только предполагать,

людей, избранныхъ для этого дѣла, нахо-
 дился и Новиковъ. Онъ составлялъ днев-
 ные записки по седьмому изъ девятнадцати
 отдѣленій комиссіи, именно по отдѣленію
 „о среднемъ родѣ людей“, и, кромѣ то-
 го, велъ Журналы Общаго Собранія Депу-
 татовъ, которые и „читалъ при докладахъ
 Императрицѣ, узнавшей его тогда лично“¹⁾.
 Собственно на поприще литературное Но-

¹⁾ М. И. Лонгиновъ. Новиковъ и Московскіе картинисты.

Новиковъ достоверно выступилъ не ранѣе, какъ въ 1760 году, когда онъ сталъ издавать „Трутенъ“. Около этого же времени онъ и въ отставку вышелъ (въ 1768 г.), рѣшившись вполнѣ посвятить себя дѣятельности литературной и издательской. Въ этотъ періодъ дѣятельности, съ 1769 по 1774 годъ, Новиковъ издавалъ уже журналы: „Трутенъ“, „Живописецъ“ и „Кошелекъ“, о содержаніи которыхъ мы говорили выше. Здѣсь не мѣшаетъ добавить только, что изъ этихъ трехъ журналовъ, „Кошелекъ“, пользовавшійся наименьшею популярностью и спеціально посвященный осмѣянію галломаніи, какъ порока, преобладавшаго въ современномъ русскомъ обществѣ, болѣе всего враждебно встрѣченъ былъ въ высшихъ слояхъ его. Хотя, по преданію, онъ издавался подъ наблюденіемъ самой Императрицы, однако же, когда помѣщенная въ „Кошелекѣ“ комедія „Народное игрище“ представлена была на Эрмитажномъ театрѣ, то нѣкоторые знатные галломаны обидѣлись намеками пьесы, и даже французское посольство сдѣлало по поводу ея нѣкоторые представленія правительству. Вообще изъ всѣхъ трехъ журналовъ „Кошелекъ“, по увѣренію друзей Новикова, болѣе всего приобрѣлъ ему враговъ. Но періодъ журнальной дѣятельности былъ только блестящимъ началомъ, въ которомъ лишь отчасти можно было провидѣть будущую обширную и плодотворную дѣятельность Новикова. Г. Лонгиновъ справедливо замѣчаетъ первые зародыши этой дѣятельности уже въ Живописцѣ, гдѣ въ одной изъ статей говорится съ сочувствіемъ о пользѣ, которую принесло-бы учрежденіе „общества, старающагося о печатаніи книгъ“, которое-бы, кромѣ того, имѣло цѣлю и стараніе о продажѣ книгъ, особенно въ провинціи, куда книги проникаютъ только случайно и гдѣ онѣ продаются въ три-дорого“. Вообще, подъ конецъ этого періода журнальной дѣятельности „уже разъяснились“ — по замѣчанію новѣйшаго біографа ¹⁾ — „черты характера будущей его дѣятельности: — онъ готовъ на труды типографщика-издателя и книгопродавца, и хочетъ направиться на пользу добрыхъ нравовъ, основанныхъ на ува-

женіи къ доблестямъ старины, которую должно изучать“. Только принявъ это въ соображеніе, можно понять, почему именно, съ поприща журналиста-сатирика, Новиковъ прямо переходитъ къ дѣятельности ревностнаго собирателя и издателя памятниковъ нашей старины, и посвятилъ ей многіе годы (съ 1772 по 1778 г.) трудовъ въ высшей степени замѣчательныхъ и почтенныхъ. Большая часть этихъ трудовъ начата была Новиковымъ въ Петербургѣ, гдѣ онъ оставался до 1779 года. Труды эти направлены были преимущественно къ изученію настоящаго и прошлаго Россіи, въ отношеніи географическомъ, историческомъ и археологическомъ; съ одной стороны Новиковъ не оставлялъ и журнальной литературы, продолжалъ съ конца семидесятыхъ годовъ выдавать въ свѣтъ періодическія изданія учено-нравственнаго содержанія. Все задуманное Новиковымъ всѣхъ приводило въ изумленіе новостью и смѣлостью замысла, совѣстливостью исполненія, богатствомъ матеріала и замѣчательною практичностью автора, замѣчательнымъ умѣньемъ удовлетворять наиболѣе насущнымъ потребностямъ современнаго общества. Такъ, въ 1772 году, выдалъ онъ „Опытъ Историческаго Словаря о Россійскихъ писателяхъ“; въ заглавіи этой замѣчательной книги сказано, что она заимствована изъ „печатныхъ и рукописныхъ книгъ, сообщенныхъ извлеченій и словесныхъ преданій“. Эта первая попытка критической оцѣнки произведеній русской литературы, духовной и свѣтской, должна была конечно возбудить много толковъ въ средѣ современниковъ и окончательно упрочила извѣстность Новикова, какъ литератора. Но за нею слѣдовалъ цѣлый рядъ ученыхъ трудовъ и предпріятій, который всѣхъ заставилъ почти забыть о „Словарѣ“. Въ 1773 году издалъ Новиковъ „Древнюю Россійскую Идрографію“, и въ то же время сталъ издавать выпусками обширный сборникъ историческихъ матеріаловъ подъ названіемъ „Древней Россійской Вивліоенки“ ²⁾; въ 1777 г. издалъ „Повѣствователь о Древностяхъ Россійскихъ“ — собраніе разныхъ достопамятныхъ записокъ, служащихъ „въ пользу Исторіи и Географіи Россійскія“ —

¹⁾ Лонгиновъ, томъ 8, стр. 33. ²⁾ До 1784 г. онъ уже выдалъ 10 томовъ «Вивліоенки», которая впоследствии, дополненная, доведена была до 20 томовъ.

наконецъ съ 1777 предпринялъ цѣлый рядъ изданій періодическихъ. Первымъ въ числѣ ихъ было ежедневное періодическое изданіе „Санктпетербургскія ученныя вѣдомости“, посвященныя литературѣ и критикѣ. Въ томъ же году принялся Новиковъ и за изданіе ежемѣсячника „Утренній Свѣтъ“, въ стихахъ и прозѣ, содержавшаго въ себѣ какъ оригинальныя сочиненія, такъ и переводы съ разныхъ языковъ, который былъ издаваемъ Новиковымъ и „обществомъ ученыхъ людей“ до половины 1780 года, когда, перебравшись на постоянное жительство въ Москву, онъ перенесъ туда и журналъ свой, и продолжалъ его тамъ подъ различными названіями: Московское изданіе (1781 г.), Вечерняя зора (1785) и т. д. Здѣсь же, кстати, не мѣшаетъ замѣтить, что Екатерина продолжала относиться и къ издательской дѣятельности Новикова, также благосклонно, какъ относилась къ журнальной. Всѣ ученныя изданія, подносимыя Императрицѣ Новиковымъ черезъ Козинцаго, заслуживали полного ея одобренія и поощренія. Такъ напр., извѣстно, что она въ 1773 г. предписала ученому Г. Ф. Миллеру сообщать Новикову, для печатанія въ Вивліоникѣ, копія съ разныхъ актовъ архива, который онъ разбиралъ въ это время въ Москвѣ; а немного позже (въ томъ же и въ слѣдующемъ году) пожаловала Новикову и довольно значительныя денежныя вспоможенія, въ видахъ содѣйствія его полезному предпріятію. Заключившая разсмотрѣніе этого петербургскаго періода дѣятельности Новикова, нельзя не обратить вниманія еще на одинъ весьма замѣчательный фактъ: на то, „что, съ 1773 по 1778 годъ, никто изъ частныхъ лицъ въ Россіи, кромя Новикова не издавалъ журналы.

1-го мая 1779 года онъ взялъ на откупъ университетскую типографію на десять лѣтъ. Съ любовью и знаніемъ приступилъ Новиковъ къ сложной дѣятельности издателя-типографщика и издателя-книгопродавца. Въ два года успѣлъ онъ довести типографію свою до такого положенія, что, по количеству и красотѣ прифтовъ, по обилію и качеству механическихъ средствъ своихъ, она могла соперничать съ лучшими европейскими типографіями того времени, и въ теченіе трехъ первыхъ лѣтъ, съ 1779 по 1782 годъ, Новиковъ, по одному современному свидѣтельству,

успѣлъ напечатать въ университетской типографіи болѣе книгъ, нежели до этого времени было напечатано во всѣ 24 года ея существованія. Карамзинъ говоритъ о Новиковѣ, что „онъ торговалъ книгами, какъ богатый голландскій или англійскій купецъ торгуетъ произведеніями всѣхъ земель, т. е. съ умомъ, съ догадкою, съ дальновиднымъ соображеніемъ“. И дѣйствительно, подвижность, свѣтлый взглядъ на вещи и неутомимая энергія Новикова даже и теперь могли-бы многихъ привести въ изумленіе. Онъ не пренебрегалъ ни чѣмъ для улучшенія своего дѣла, ничего не упускалъ изъ виду, и постоянно изобрѣталъ новые способы для того, чтобы какъ можно больше напечатать и какъ можно больше продать полезныхъ книгъ, общедоступныхъ и по цѣнѣ, и по содержанію. Съ этою цѣлью Новиковъ собралъ вокругъ себя цѣлый кружокъ молодежи, заставлялъ ее работать, читать, переводить, учиться, доставляя ей и ученныя, и денежныя средства. Но, по справедливому возрѣнію Новикова, составить хорошую книгу и напечатать ее было еще недостаточно: „надобно было имѣть попеченіе и о продажѣ напечатанныхъ книгъ“. Вотъ почему Новиковъ съ особеннымъ усердіемъ заботился объ открытіи новыхъ книжныхъ лавокъ и книжныхъ складовъ не только въ Москвѣ, но и въ провинціи; первый открылъ вольную (публичную) бібліотеку для безденежнаго пользованія книгами, и не только продавалъ, но находилъ возможность и даромъ разсылать свои книги по духовнымъ и другимъ училищамъ. Въ тѣхъ же видахъ, заботясь о возможномъ расширеніи своей дѣятельности, Новиковъ сумѣлъ возвысить значеніе Московскихъ вѣдомостей, при которыхъ сталъ безплатно выдавать весьма полезныя и занимательныя „Прибавленія“ (съ 1783 по 1785), а потомъ, вмѣсто этихъ прибавленій, новое приложение подъ заглавіемъ „Дѣтское чтеніе для сердца и разума“ (съ 1775 — 1789 гг.) Благодаря такой заботливости Новикова, количество подписчиковъ на „Московскія вѣдомости“ вдругъ возрасло съ 600 до 4,000 человекъ—цифры весьма почтенной по тому времени.

Въ Москвѣ Новиковъ особенно сблизился съ талантливымъ и неутомимымъ профессоромъ Московскаго университета, И. Е. Шварцемъ (род. 1751 г., пріѣхалъ въ Россію въ

1773 году; ум. 1784); подъ непосредственнымъ вліяніемъ этого человѣка, съ которымъ Новиковъ вступилъ въ послѣдствіи въ самыя дружескія связи, онъ поддавался окончательно мистицизму, сильно-увлекавшему значительное большинство нашего образованнаго общества въ прошломъ столѣтіи. Подъ вліяніемъ этой-то, весьма замѣтной, склонности къ мистицизму распространялось у насъ въ Россіи и масонство, многихъ привле-

емъ неблагоприятныхъ условій быта нашей общественной среды. Новиковъ, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, еще съ 1784 года вступилъ въ масонское общество, въ которомъ предсѣдателемъ былъ уже извѣстный намъ И. П. Елагинъ; но только со времени сближенія своего съ И. Е. Шварцемъ, Новиковъ, глубоко-религіозный, сосредоточенный мыслитель, окончательно вдался въ мистицизмъ и подчинилъ ему всю свою обширную и многотрудную



Масонскій домъ въ Москвѣ, близъ Меншиковой башни.

кавшее даже своею таинственною внѣшностью, торжественностью своихъ обрядовъ, обѣтовъ и сложной организаціей своихъ ложъ. Лучшіе люди конца прошлаго вѣка, поддаваясь мистицизму и участвуя въ масонствѣ, старались, по видимому, этимъ путемъ противо-

дѣствовать слишкомъ быстро-принимавшемуся на русской почвѣ раціоналистическому учению энциклопедистовъ, верѣдко выраждавшемуся въ грубѣйшій матеріализмъ подъ вліяні-

*) А. Афанасьевъ. Николай Ивановичъ Новиковъ, біографическій очеркъ (въ Библіограф. Зап. за 1858 г., стр. 170).

Но это только одна, и притомъ чисто внѣшняя сторона масонства, которое имѣло и другую, достойную всякаго уваженія сторону: болѣе всего придавая значенія евангельской любви, масоны, съ величайшимъ самоотверженіемъ и готовностью, жертвовали личнымъ трудомъ своимъ и капиталами для цѣлей филантропическихъ въ самомъ обширномъ смыслѣ слова; устраивали школы, содержали на своемъ иждивеніи воспитанниковъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, учреждали больницы, устраивали аптеки, въ которыхъ бѣдные могли бесплатно получать лѣкарства и т. п. Горячо предаваясь масонству, поддаваясь и нѣкоторымъ заблужденіямъ его, Новиковъ въ то же время много работалъ и трудился на пользу этой свѣтлой стороны масонства. Вмѣстѣ съ профессоромъ Шварцемъ онъ задумалъ основать такъ называемое „Дружеское Ученое Общество“, цѣлю котораго было: 1) распространять въ публикѣ правила истиннаго воспитанія, 2) привлекать изъ за границы достойныхъ воспитателей, 3) приготовить знающихъ русскихъ наставниковъ, 4) издавать духовныя книги и наставлять въ нравственной и евангельской истинѣ, передавая глубочайшихъ о семъ иностранныхъ писателей. „Дружеское Общество“, которое нѣсколько лѣтъ сряду существовавшее и дѣятельно работавшее на пользу просвѣщенія, получило въ октябрѣ 1782 года официальное разрѣшеніе градоначальника и благословеніе архієпископа московскаго, Платона, на публичное открытіе засѣданій; и вотъ оно открыло свою дѣятельность при самыхъ благоприятныхъ условіяхъ, вспомоществуемое многими весьма богатыми людьми, покровительствуемое лицами высшаго круга, составлявшими цвѣтъ московскаго общества того времени. Важнѣйшими дѣятелями въ „Дружескомъ Обществѣ“, кромѣ Шварца и Новикова, являлись и другіе масоны: И. В. Лопухинъ, С. И. Гамалѣя, И. П. Тургеневъ. Подъ ихъ-то руководствомъ и покровительствомъ выросло поколѣніе молодыхъ и талантливыхъ литературныхъ дѣятелей, которые всѣ начинали свое литера-

турное поприще съ участія въ переводческой педагогической дѣятельности „Дружескаго Общества“: между ними многіе приобрѣли себѣ въ послѣдствіи извѣстность, какъ напр. Карамзинъ, А. М. Кутузовъ А. А. Петровъ, занимавшійся изданіемъ „Дѣтскаго Чтенія“, В. С. Подшиваловъ и т. д. Не слѣдуетъ забывать, что открытіе Дружескаго Общества совпадало съ лучшимъ и самымъ блестящимъ періодомъ царствованія Екатерины, когда она сама горячо и ревностно заботилась о распространеніи въ народѣ просвѣщенія, когда только-что издала въ свѣтъ свой замѣчательный указъ объ учрежденіи „Комиссіи народныхъ училищъ“ и сама съ видимымъ удовольствіемъ говорила своимъ приближеннымъ, что при этихъ школахъ, расколъ безъ насилія исчезнетъ, какъ невѣжество¹⁾. Вскорѣ послѣ того, дѣйствуя въ томъ же прогрессивномъ направленіи, продолжая заботиться о распространеніи способовъ къ образованію, Екатерина издаетъ свой знаменитый указъ 15 января 1783 г. „о вольныхъ типографіяхъ“, на основаніи котораго всякому дано было право заводить типографіи и печатать въ нихъ книги подѣ надзоромъ полицейской цензуры. На основаніи этого указа, Новиковъ и Лопухинъ, рядомъ съ арендуемой Новиковымъ Университетской типографіей, заводятъ еще двѣ типографіи частныя, а въ 1784 г. изъ того же „Дружескаго Общества“ возникаетъ наконецъ „Типографская компанія“, которая заводитъ въ Москвѣ нѣсколько своихъ собственныхъ типографій и въ нихъ, рядомъ съ книгами туманнаго мистическаго содержанія, печатаетъ и множество книгъ полезныхъ, ученыхъ, учебныхъ и общеобразовательныхъ, которыя пускаетъ въ продажу по самымъ дешевымъ цѣнамъ²⁾.

Соображая всѣ эти историческія и хронологическія данныя, мы приходимъ къ тому убѣжденію, что вся дѣятельность Новикова, съ самаго ея начала и до 1784 г., шла, въ полномъ смыслѣ слова, рука объ руку съ просвѣтительною дѣятельностью правительства, не расходясь ни въ цѣляхъ, ни въ борьбѣ средствъ съ правительственною про-

¹⁾ Зап. Храповицкаго; 18 іюля 1782 г. ²⁾ Чтобы дать понятіе о размахѣ издательской дѣятельности Новикова, достаточно будетъ припомнить здѣсь, что въ росписи книгъ 1785 г., отпечатанныхъ въ одной университетской типографіи, показано 365 заглавій, да вновь приготовлялось къ выпуску въ свѣтъ 55 изданій!

грамною. Однакоже несчастное стечение обстоятельств, чисто внешних, отчасти же и политическое настроение современной Европы, вскоре должны были неблагоприятно повлиять на деятельность ревностных членов Дружеского Общества и разрушить все благия начинания их.

За деятельностью „Дружеского Общества“ вообще и Новикова в частности зорко наблюдали и многочисленные враги его; одни из зависти к его сильному влиянию и общественному значению, другие, сочувствуя предвзудкам массы против масонства, третьи, наконец, вследствие резкой прогнуположности в убеждениях — не избегали случая обнести его перед правительством. Екатерина II, при всей своей просвещенности и гуманности, постоянно выказывала себя крайне-неприятной по отношению к масонству, которое она не раз осуждала в своих комедиях, и которого в то же время опасалась. Къ тому же, около этого времени, т. е. в половинѣ восьмидесятих годовъ прошлаго столѣтія, не только у насъ въ Россіи, но даже и въ остальной Европѣ, многія отрасли масонства навлекли на себя подозрѣніе въ тѣснѣйшей связи съ тайнымъ обществомъ илюминатовъ, которое всюду подверглось вполне заслуженнымъ преслѣдованіямъ за свои опасныя для общественнаго спокойствія политическіе замыслы и заговоры. Хотя и достоверно извѣстно, что московскіе масоны ничего такъ не опасались, какъ подозрѣнія въ солидарности съ илюминатами, съ которыми никакихъ связей и сношеній никогда не имѣли, однакоже, подъ вліяніемъ страха, наведеннаго на всю Европу, и Екатерина рѣшилась отступить отъ своихъ гуманныхъ и либеральныхъ воззрѣній: — репрессивныя мѣры показались ей необходимыми. При такихъ условіяхъ, громадное значеніе общественное, пріобрѣтенное Новиковымъ не только въ Москвѣ, но и во всей Россіи, его обширныя связи, разнообразная и быстро возрастающая дѣятельность его кружка, обладавшаго большою нравственною и матерьяльною силой — все это способно было заставить Екатерину взглянуть нѣсколько подозрительно на личность честнаго и безкорыстнаго дѣятеля. Подозрѣніе Екатерины еще болѣе усиливалось нѣкоторыми неосторожными поступками друзей

Новикова, слишкомъ ревностно занимавшихся масонскою пропагандой и поддержкою сношеній съ заграничными масонскими ложами... И вотъ, въ 1775 году, мы видимъ Новикова уже привлеченъ къ допросу „о причинахъ, побудившихъ его къ изданію странныхъ книгъ, исполненныхъ новымъ расколомъ для обмана и уловленія невѣждъ“... Самыя книги, изданныя Новиковымъ, поручено было рассмотреть московскому митрополиту, Платону, дабы убѣдиться, „не скрывается-ли въ нихъ умствованій, не сходныхъ съ простыми и чистыми правилами православія и гражданской должности“. На допросѣ Новиковъ показалъ, что книги онъ печаталъ не иначе, какъ „съ дозволенія цензуры“ и намѣренъ онъ при изданіи книгъ въ пубliku никакого другого не имѣть, кромѣ того, чтобы по славы его и по возможности приносить трудами пользу отечеству чрезъ распространеніе книжной торговли и честнымъ образомъ получать законами невозбраняемый прібытокъ“. Въ то же самое время Новиковъ нашелъ себѣ поддержку и защиту въ митрополитѣ Платонѣ, который, рассмотрѣвъ книги, изданныя Новиковымъ, сообщилъ Императрицѣ объ издателѣ ихъ самый лестный отзывъ. „Молю всещедрого Бога“ — писалъ Платонъ — „чтобы не только въ словесной пастырѣ, Богомъ и тобою мнѣ вѣренпой, но и во всея мірѣ были христіане таковы, какъ Новиковъ“. По этотъ благоприятный отзывъ спасъ Новикова не на долго; клеветы враговъ, происки иезуитовъ, списавшихъ покровительство Екатерины (и озлобленныхъ противъ Новиковскаго кружка за напечатанную имъ Исторію іезуитскаго ордена), перемѣны господствовавшихъ при дворѣ вліяній (вліянiе П. А. Зубова стало преобладать, въ это время, по смерти Потемкина, надъ всѣми остальными), и стремленіе мѣстнаго московскаго начальства угодить Императрицѣ возбужденіемъ преслѣдованій противъ масоновъ — все это содѣйствовало тому, чтобы значительно усилить неприязнь Екатерины противъ московскихъ масоновъ и Новикова. Гроза такъ очевидно скоплялась надъ его головою, что „типографическая компанія“, опасаясь распространяемыхъ о ея дѣятельности слуховъ, сочла за лучшее прекратить свои дѣйствія и закрылась въ концѣ 1791 г. Въ началѣ 1792 года гроза наконецъ разра-

ь... Новиковъ, обвиняемый въ сноше-
ннхъ съ заграничными тайными общества-
ми, былъ арестованъ, а имѣнне его кон-
чина Шлиссельбургская крѣпость, ку-
пъ и былъ отвезенъ, подъ сильнымъ
охраненіемъ, и притомъ окольными дорогами,
въ Ярославль и Тихвинъ. Одинъ изъ
дѣлъ Новикова чрезвычайно живо рисуетъ
это печальное событіе въ своихъ
запискахъ.

Въ апрѣлѣ 1792 года... вдругъ всѣ
лавки въ Москвѣ запечатали; так-
пографіи и книжные магазины Нови-
и дома его наполнили солдатами; а онъ
подмосковной взять былъ подъ потай-
стражу, съ крайними предосторожно-
стями и съ такими воинскими снарядами,
будто на волоскѣ тутъ висѣла цѣлость
Москвы. Остро и смѣшно при этомъ
говорилъ графъ К. Г. Разумовскій князю
Юрковскому (который ему рассказывалъ
о вѣсти ареста Новикова, и о всѣхъ сво-
ихъ распоряженіяхъ): „вотъ рас-
скажи, какъ городъ взяли—старичонку,
роднаго геморонда, взяли подъ стражу!
Что бы десятскаго или бутешника за-
послать, такъ-бы и притащилъ его!“
На самомъ дѣлѣ всего было то, что не только
Новиковъ подвергся заточенію, но и самое
его, стоявшее ему столько же жерт-
вой и усилий, погибло безвозвратно: до-
кументы, книги, благопріобрѣтенныя
имѣнія и имущество его—все было конфи-
сковано и продано съ публичнаго торга.
Всѣмъ Новикову принадлежавшіе ка-
ны, а также и порученные ему посто-
янными лицами „на вспомошествова-
го неистовымъ дѣламъ“ (!), пору-

чено отдать въ приказъ общественнаго при-
зрѣнія. Одно изъ плодотворнѣйшихъ и об-
ширнѣйшихъ предпріятій закончилось ужас-
нѣйшимъ разореніемъ! Одно только родовое
имѣніе Новикова, селцо Тихвинское, уцѣ-
лѣло отъ общаго крушенія и оставлено въ
пользу наслѣдниковъ его „подъ опекою на
законномъ основаніи“.

Только уже по вступленіи на престолъ
Императора Павла, Новиковъ былъ освобож-
денъ изъ тяжкаго заключенія и возвратился
въ свою подмосковную (19 ноября 1796 г.)
„драхль, согбенъ, въ разодранномъ тулу-
пѣ“... Со слезами радости встрѣчала его тамъ
не только семья, но и всѣ крестьяне, не
одного его села, „но и отдаленныхъ чужихъ
селеній, вспоминая притомъ, что они въ го-
лодный годъ великую черезъ него помощь
получали“. Вскорѣ послѣ того, самъ Нови-
ковъ писалъ къ одному изъ друзей своихъ:
„...силы мои изнуряются подъ тяжкимъ бре-
менемъ крестовъ: я такъ одряхлѣлъ, что
вы бы меня не узнали“.

Съ той поры Новиковъ уже не выѣзжалъ
изъ своего Тихвинскаго и заботился только
объ окончаніи своихъ счетовъ по прежнему
предпріятію.

Тихо скончался онъ 31 іюля 1818 года,
на семьдесятъ-пятомъ году отъ рожденія и
былъ погребенъ въ приходской церкви сво-
его роднаго села.

„Новиковъ“—по весьма мѣткому замѣчанію
его біографа—„умѣлъ сдѣлаться силой въ
такую эпоху, когда сила пріобрѣталась только
чисто-государственными заслугами или при-
дворнымъ случаемъ, а онъ не опирался ни
на то, ни на другое. Едва-ли не въ немъ
первомъ высказалась сила общественная, не-
зависимая отъ Двора и высшаго управленія.“





ПЕРІОДЪ СЕДЬМОЙ.

ОТЪ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА.

XXXII.

Жизнь и дѣятельность Н. М. Карамзина. — Біографическія подробности. — Сентиментализмъ и форма, приданная ему Карамзинымъ. — Услуги, оказанныя Карамзинымъ русскому литературному языку. — Карамзинъ, какъ поэтъ, журналистъ и критикъ.

„Во время Екатерины Россіяне начали выражать свои мысли ясно для ума, пріятно для слуха, и вкусъ сдѣлался общимъ“ — такъ опредѣлялъ Карамзинъ значеніе екатерининскаго періода литературы въ своемъ „Историческомъ похвальномъ словѣ Екатерины II“. Подобное опредѣленіе было не совсемъ вѣрнымъ, потому уже, что въ немъ Карамзинъ приписывалъ екатерининскому періоду черты, проявившіяся въ нашей литературѣ только уже въ послѣдующемъ періодѣ. Этотъ послѣдующій періодъ (о которомъ однако же нельзя еще сказать, чтобы и въ немъ вкусъ сдѣлался общимъ) замѣтно наступилъ въ концѣ царствованія Екатерины, и ознаменовался дѣятельностью новой школы молодыхъ писателей, во главѣ которыхъ сталъ Карамзинъ, какъ журналистъ, литераторъ, поэтъ и ученый.

Трудно рѣшить, что именно разумѣлъ Карамзинъ, говоря о вѣкѣ Екатерины, что въ теченіе его „вкусъ сдѣлался общимъ“. Здѣсь слово вкусъ можетъ обозначать и вообще вкусъ къ литературѣ, къ чте-

нію, и еще — вкусъ, въ смыслѣ критики, въ смыслѣ умѣнья понимать и цѣнить изящное и отличать заслуживающее вниманія отъ слабаго и неизящнаго. Если Карамзинъ приписывалъ слово „вкусъ“ въ послѣднемъ изъ этихъ двухъ значеній, то не мѣшаетъ замѣтить, что одною изъ наиболѣе крупныхъ чертъ екатерининскаго періода нашей литературы является именно самое положительное отсутствіе критики въ нашей литературной средѣ. Въ журналахъ, которыми такъ богато Екатерининское время, мы не видимъ критическаго отдѣла; въ лучшихъ литературныхъ кружкахъ встрѣчаемъ откровенное сознаніе того, что время критической оцѣнки произведеній нашей литературы еще не наступило: въ лучшихъ и наиболѣе талантливыхъ представителяхъ нашей литературы (за весьма немногими исключеніями) насъ поражаетъ неразвитость изящнаго вкуса и полное отсутствіе всякой способности относиться критически даже и къ собственной своей литературной дѣятельности.... Въ этомъ отношеніи наша литература, въ теченіи ка-

рамзинского периода, дѣлаетъ замѣтный шагъ впередъ, именно распространяя вкусъ въ обществѣ, устанавливая болѣе вѣрные взгляды на литературу, собирая матерьялы для критики, то въ видѣ хорошихъ переводовъ лучшихъ иностранныхъ образцовъ, то въ видѣ различныхъ попытокъ разбора литературныхъ произведеній русской и иностранныхъ литературы. Съ этой стороны, важныя услуги были оказаны русской литературѣ Карамзинимъ, и, преимущественно, въ средній періодъ его дѣятельности; въ послѣднемъ періодѣ ея онъ уже только принималъ выработанные имъ въ занятіяхъ литературою взгляды и критическій тактъ къ точному изслѣдованью и разработкѣ другаго, обширнаго и тогда почти нетронутаго критикой, поля русской исторической науки. Одинъ изъ новѣйшихъ біографовъ Карамзина, съ замѣчательною наглядностію подраздѣляетъ жизнь Карамзина, по ея совпадению съ царствованіями Екатерины и Александра, на двѣ равныя половины: „Жизнь Карамзина“, — говоритъ онъ — „продолжавшаяся 60 лѣтъ, знаменательно совпадаетъ съ пространствомъ времени отъ первыхъ годовъ царствованія Екатерины II, до кончины Императора Александра Павловича, котораго онъ пережилъ только немногими мѣсяцами. Это шестидесятилѣтіе раздѣляется на двѣ равныя половины, изъ которыхъ одна вся принадлежитъ вѣку Екатерины, а другая, самую значительную частію, — вѣку Александра. Въ первомъ Карамзинъ былъ поэтомъ и литераторомъ, въ послѣдней почти исключительно историкомъ. Въ кратковременное правленіе Императора Павла, онъ готовился къ переходу отъ изящной литературы къ строгой наукѣ“. Нѣсколько далѣе, тотъ же біографъ еще точнѣе опредѣляетъ границы періодовъ „авторской жизни“ Карамзина, въ связи съ важнѣйшими моментами его литературной дѣятельности:

„Авторская жизнь Карамзина представляетъ три очень явственно разграниченные періода. Написанное имъ до путешествія по Европѣ — почти исключительно переводы — можетъ быть названо его ученическими опытами. По возвращеніи въ Россію, 25 лѣтъ отъ роду, подѣ конецъ царствованія Екатерины II, онъ вдругъ является мастеромъ своего дѣла, журналистомъ и писателемъ съ самостоятельнымъ взглядомъ на языкъ и ли-

тературу; начинаетъ писать такъ, какъ еще никто не писалъ, и увлекаетъ за собою большинство общества. Въ избыткѣ молодыхъ силъ онъ переходитъ отъ одного предпріятія къ другому... Но эта разнообразная и нѣсколько суетливая дѣятельность не удовлетворяетъ его созрѣвшаго таланта: онъ чувствуетъ потребность предпринять такой трудъ, который-бы наполнялъ всю его жизнь, — создать что-нибудь дѣлое, монументальное: онъ берется за русскую исторію и неутомимо работаетъ надъ нею 23 года, до самой смерти своей“. И эти двадцать три года составляютъ третій и послѣдній періодъ жизни Карамзина.

Къ сожалѣнію, первый періодъ жизни и дѣятельности Карамзина извѣстенъ очень мало и представляетъ собою много пробѣловъ, много темныхъ мѣстъ. Самый годъ рожденія Карамзина еще недавно обозначался невѣрно: годомъ его рожденія считали годъ смерти Ломоносова (1765). Въ настоящее время достоверно извѣстно, что Николай Михайловичъ Карамзинъ родился 1-го декабря 1766 года, въ Симбирской губерніи, гдѣ отецъ его имѣлъ помѣстье. Родъ Карамзинныхъ однако же не принадлежалъ къ числу коренныхъ Симбирскихъ дворянскихъ родовъ и происходилъ по прямой линіи отъ Карамурзы, татарскаго князька, поступившаго на службу Москвѣ еще при царяхъ, принявшаго тогда же крещеніе и получившаго землю въ Нижегородской губерніи. Одинъ изъ потомковъ его, Михаилъ Егоровичъ Карамзинъ, служилъ въ молодости въ военной службѣ, въ Оренбургѣ, уволенъ былъ въ отставку капитаномъ и, наравнѣ со многими другими офицерами надѣленъ землею въ Оренбургской (нынѣ Самарской) губерніи. Тамъ устроилъ онъ усадьбу, и часто наѣзжалъ въ нее хозяйничать и охотиться. Отъ перваго брака его и родился Николай Михайловичъ, и выѣстъ со старшимъ братомъ выросъ и воспитался дома, подѣ надзоромъ отца и мачихи (мать Карамзина, скончалась, когда онъ былъ еще ребенкомъ). Дѣтство его прошло на берегахъ Волги и въ Оренбургскихъ степяхъ, — точно также, какъ и дѣтство Державина. Ему было лѣтъ четырнадцать, когда его отвезли въ Москву и опредѣлили въ лучшее учебное заведеніе того времени — въ пансіонъ Шадена, одного изъ наиболѣе талантливыхъ

профессоровъ московскаго университета. Карамзинъ, вѣроятно, былъ очень мало и плохо подготовленъ для серьезнаго ученія, хотъ и до поступленія въ пансіонъ Шадена уже успѣлъ побывать въ рукахъ у разныхъ домашнихъ учителей и даже въ какомъ-то симбирскомъ пансіонѣ. Однако же умный и способный юноша, въ которомъ очень рано проявилась страсть къ чтенію, и которому никто не препятствовалъ въ самомъ полномъ удовлетвореніи этой страсти, былъ развитъ и начитанъ не по лѣтамъ. Военная слава, которою такъ былъ богатъ вѣкъ Екатерины, кружила тогда головы молодымъ людямъ, а въ томъ числѣ и Карамзину, на столько, что и самому образованію его въ пансіонѣ Шадена былъ приданъ особый отбѣнокъ. Образованіе это было общимъ, неспеціальнымъ, и не имѣло вовсе никакого классическаго характера. Такъ напр., достоверно извѣстно, что древнимъ языкамъ Шаденъ не училъ Карамзина. Кажется, что и съ новѣйшими языками въ его пансіонѣ Карамзинъ не успѣлъ ознакомиться въ совершенствѣ и доучивался имъ уже впоследствии, особенно во время путешествія по Европѣ. Не можетъ, однакоже, подлежать сомнѣнію тотъ фактъ, что не только пребываніе въ пансіонѣ Шадена было весьма полезно для Карамзина со стороны образованія вообще, но и самое сближеніе съ такимъ опытнымъ, умнымъ и честнымъ педагогомъ, какъ Шаденъ, должно было сильно повліять на развитіе и направленіе будущаго писателя. Чрезвычайно любопытна черта, подмѣченная однимъ изъ современныхъ біографовъ Карамзина и очевидно свидѣтельствующая о томъ, что вліяніе Шадена не осталось безслѣднымъ и въ его авторской дѣятельности:—въ сочиненіяхъ Карамзина мы встрѣчаемъ много тѣмъ, которыя и до него уже были разработаны профессоромъ Шаденомъ, и, кромѣ того, надъ рѣшеніемъ очень многихъ вопросовъ, учитель и ученикъ трудились, какъ оказывается, почти въ одинаковомъ направленіи. Сверхъ того, по справедливому замѣчанію того же біографа, и самыя воззрѣнія про-

фессора Шадена на изученія словесности, выраженныя имъ вполне въ его учебникѣ реторики, должны были не только еще болѣе развитъ въ Карамзинѣ охоту къ чтенію и литературнымъ занятіямъ, но и доставили ему возможность рано приобрести навыкъ къ письменному изложенію своихъ мыслей.

Вскорѣ явилось въ молодомъ Карамзинѣ желаніе расширить кругъ этихъ упражненій: въ 1788 г. онъ поступилъ въ военную службу и вмѣстѣ съ тѣмъ напечаталъ первый свой литературный опытъ—переводъ Геснеровой идилліи „Деревянная нога“. Въ военной службѣ однакоже Карамзинъ оставался очень не долго, и долженъ былъ здѣсь испытать первое разочарованіе. Ему хотѣлось непременно попасть въ дѣйствующую армию; но оказалось, что назначеніе туда офицеровъ зависить вполне отъ полковаго секретаря, который за назначеніе бралъ взятки. У Карамзина не хватило средствъ на то, чтобы дать ему взятку—„у него было всего сто рублей въ карманѣ“. И вотъ, послѣ того, какъ эта неожиданная неудача охладила его воинскій жаръ, Карамзинъ покидаетъ свой преображенскій мундиръ и уѣзжаетъ на родину, гдѣ около этого времени скончался его отецъ. Это было въ концѣ 1783 или въ началѣ 1784 года.

Пробывъ около года въ Петербургѣ, Карамзинъ успѣлъ подружиться¹⁾ тамъ съ И. И. Дмитриевымъ, въ то время такимъ же какъ онъ гвардейскимъ офицеромъ. Почти одновременно выступили они и на литературное поприще со своими первыми опытами....

„Въ Симбирскѣ я видѣлся съ Карамзинымъ“ — пишетъ Дмитриевъ въ своихъ запискахъ „и пробылъ съ нимъ короткое время. Я нашелъ его уже играющимъ роль надежнаго на себя свѣтскаго человѣка: рѣшительнымъ за вистовымъ столомъ, любезнымъ и занимательнымъ въ дамскомъ кругу, политикомъ передъ отцами семейства, которые хотя и не привыкли слушать молодежь, но его слушали“. Разсѣянная жизнь, впро-

¹⁾ Дружба эта представляетъ собою нѣчто весьма замѣчательное и въ значительной степени характеризующее нравственную личность Карамзина и его время; достаточно будетъ припомнить здѣсь, что памятникомъ этой дружбы осталась почти 40-лѣтняя переписка Карамзина съ И. И. Дмитриевымъ, составляющая вмѣстѣ съ «записками» Дмитриева одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ источниковъ для біографіи Карамзина.

чемъ, не отбивала у Карамзина охоты заниматься словесностью: мы знаемъ, что онъ читалъ и переводилъ Вольтера въ это время... Вскорѣ однакоже землякъ Карамзина и Дмитріева, Иванъ Петровичъ Тургеневъ, который по предыдущему уже извѣстенъ намъ, какъ одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ „Дружескаго общества“, уговорилъ молодого Карамзина покинуть провинцію и ѣхать вмѣстѣ съ нимъ въ Москву. Здѣсь ввелъ онъ Николая Михайловича въ новиковскій кружокъ, въ которомъ онъ довоспитался окончательно подъ вліяніемъ друга друга своего, Александра Петровича Петрова, одного изъ молодыхъ людей, занимавшихся въ новиковскомъ кружкѣ переводами книгъ съ иностранныхъ языковъ. „Петровъ“—по свидѣтельству И. И. Дмитріева—„знакомъ былъ съ древними и новыми языками, при глубокомъ знаніи отечественнаго слова, одаренъ былъ необыкновеннымъ умомъ и способностью къ здоровой критикѣ; но къ сожалѣнію ничего не писалъ для публики, а упражнялся только въ переводахъ, изъ которыхъ извѣстны первые два года еженедѣльника, подъ названіемъ „Дѣтское чтеніе“; „Учитель“, въ двухъ томахъ; „Хризомандеръ“—мистическое сочиненіе, и „Багуатгата“—также родъ мистической поэмы, на санскритскомъ языкѣ и переведенной съ нѣмецкаго. Карамзинъ полюбилъ Петрова, хотя они были не во всемъ сходны между собою: одинъ пылокъ, откровененъ и безъ малѣйшей желчи; другой же—угрюмъ, молчаливъ и подъ часъ насмѣшливъ; но оба питали равную страсть къ познаніямъ, изящному, имѣли одинаковую силу въ умѣ, одинаковую доброту въ сердцѣ, и это заставило ихъ прожить долгое время въ тѣсномъ согласіи подъ одною кровлею, у Меньшиковой башни, въ старинномъ каменномъ домѣ, принадлежавшемъ Дружескому обществу¹⁾. Я какъ теперь вижу скромное жилище молодыхъ словесниковъ: оно раздѣлено было тремя перегородками; въ одной стоялъ на столѣ, покрытомъ зеленымъ сукномъ, гипсовый бюстъ мистика Шварца, умершаго незадолго передъ моимъ пріѣздомъ изъ Петербурга въ Москву, а другая освѣщалась Иисусомъ на Крестѣ, подъ покровомъ чернаго креста“.

Судя по этимъ подробностямъ, которыя сообщаетъ Дмитріевъ, Карамзинъ вѣроятно вовлеченъ былъ и въ масонство, но въ какой степени и какъ долго оставался въ средѣ масоновъ—это вопросы, до сихъ поръ, совершенно темные. Извѣстно только то, что мистицизмъ пришелся ему не по душѣ и что проникнутыя ученіемъ мистиковъ до увлеченія онъ не могъ. По всѣмъ современнымъ свидѣтельствамъ, Карамзинъ вскорѣ оставилъ масонствъ, и никогда впослѣдствіи не относился къ ихъ ученію сочувственно, хотя многія стороны ихъ дѣятельности и взглядовъ, духъ религіозности, человѣколюбіе, братская любовь къ ближнему и патріотическое пастроеніе—все это должно было несомнѣнно нравиться Карамзину и даже нашло себѣ отголоскъ въ его послѣдующей литературной дѣятельности. Связи съ Новиковскимъ кружкомъ, повидимому, главнѣйшимъ образомъ заключались въ тѣхъ литературныхъ и переводческихъ работахъ, которыя принималъ на себя Карамзинъ, участвуя въ изданіи „Дѣтскаго Чтенія“, издававшегося подъ редакціею ея закадычнаго друга, А. А. Петрова. Намъ сохранилось случайно нѣсколько писемъ этого друга юности Карамзина, и притомъ писемъ весьма замѣчательныхъ, прекрасно характеризующихъ намъ малозвѣстную личность Петрова, о которомъ Карамзинъ во всю жизнь сохранялъ самыя теплыя воспоминанія, называя періодъ сближенія съ нимъ важнѣйшимъ періодомъ своей жизни. И дѣйствительно, „письма Петрова, исполненные юношескаго юмора, рисуютъ намъ живаго, талантливаго человѣка, съ умомъ строгимъ и критическимъ, съ основательными познаніями“, ц который могъ имѣть сильное вліяніе на взгляды, вкусы и занятія Карамзина¹⁾. Эти сохранившіяся намъ письма Петрова писаны были имъ къ Карамзину въ 1785 году, во время отлучки Карамзина изъ Москвы въ Симбирскъ. Особенно любопытно для характеристики обоихъ друзей письмо отъ 20 мая 1785, писанное, какъ видно, въ отвѣтъ на письмо Карамзина, сообщавшаго Петрову о занятіяхъ своихъ въ Симбирскѣ. „Слава просвѣщенію нынѣшняго столѣтія и дальнѣе края озарившему!“—пишетъ Петровъ—„такъ восклицаю я при чтеніи тво-

¹⁾ Изображеніе этого дома, снятое нами съ натуры, помѣщено выше, на стр. 416. ²⁾ Рѣчь Академика Грота, стр. 11.

ихъ эпистолъ“ (не смѣю назвать русскимъ именемъ столь ученыхъ писаній), о которыхъ всякій подумалъ-бы, что онѣ получены въ Англіи или Германіи. Чего нѣтъ въ нихъ, касающагося до литературы? Все есть! Ты пишешь о переводахъ, собственныхъ сочиненіяхъ, о Шекспирѣ, о трагическихъ характерахъ, о несправедливой Вольтеровой критикѣ, равно какъ о кофе и табакѣ. Первое письмо твое сильно поколебало мое мнѣніе о превосходствѣ надъ тобою въ учености, второе же крѣпкимъ ударомъ сшибло его съ ногъ; я спряталъ свой кусочекъ латыни въ карманъ, отошелъ въ уголъ, сложилъ руки на грудь, повѣсилъ голову и призналъ слабость мою передъ тобою, хотя ты по латыни и не учился“...

Въ другомъ мѣстѣ, Петровъ пишетъ Карамзину по поводу какого-то задуманнаго и только что начатаго имъ трактата о Соломонѣ: „скажу тебѣ мое мнѣніе отъ твоей пьесы, какъ-бы она въ самомъ дѣлѣ существовала. Судя по началу сего преніящаго трактата, должно заключить, что если Соломонъ зналъ и говорилъ по-нѣмецки, то говорилъ гораздо лучше, нежели ты пишешь; будучи великій жени, ты столько превознесся надъ малостями, что въ трехъ строкахъ сдѣлалъ пять ошибокъ противъ нѣмецкаго языка. Пожалуй, употреби въ пользу сіе дружеское замѣчаніе, и лучше пиши все свое сочиненіе на русско-славянскомъ языкѣ, долго-сложно-протяжно-парящими словами. Для дополненія же твоего искусства писать такимъ слогомъ, совѣтую тебѣ читать сочиненія въ стихахъ и въ прозѣ Василія Третьяковскаго, коего о ѣздѣ въ любви островъ книжицею пользуюсь переводною нынѣ, съ французскаго языка, и весьма ту читаю. Если же непременно хочешь писать на нѣмецкомъ языкѣ, то пиши кое-что такое, чего бы никто не читалъ, а съ сформированною въ головѣ твоею пьесою о Соломонѣ не осмѣливаясь показывать въ публику. Нѣтъ ничего хуже, какъ начинать доказательство о чемъ-нибудь знаніи какого-нибудь языка съ ошибками противъ того языка“. Видно, что Петровъ былъ и остроуменъ, и сурово относился къ первымъ литературнымъ опытамъ Карамзина, и побуждалъ его къ серьезному изученію иностранныхъ языковъ. Другимъ пріятелемъ Карамзина въ кружкѣ московскихъ масоновъ

былъ А. М. Кутузовъ, извѣстный переводчикъ „Мессіады“ Клопштока, пользовавшійся большимъ уваженіемъ въ кругу масоновъ. Подъ конецъ 80-хъ годовъ онъ былъ даже отправленъ московскими масонами на житье въ Берлинъ, гдѣ и принялъ на себя роль посредника въ сношеніяхъ русскихъ масонскихъ ложъ съ заграничными. Въ кружкѣ пріятелей, а можетъ быть и вообще въ кружкѣ масоновъ Карамзинъ былъ извѣстенъ подъ псевдонимомъ Рамзея, который былъ данъ ему или какъ сокращеніе его русской фамилии или, можетъ быть, просто какъ заимъна его имени, въ память знаменитаго въ масонскихъ преданіяхъ и масонской литературѣ шотландца Рамзея (ум. 1743). Подъ влияніемъ кружка, изъ котораго составлено было „Дружеское общество“, увлекаемый примѣромъ друзей своихъ, Кутузова и Петрова, Карамзинъ много работалъ надъ пополненіемъ своего образованія, много читалъ и переводилъ, отчасти по собственному побужденію, отчасти по заказу и порученію „Дружескаго общества“. Въ числѣ переводовъ его за это время извѣстны: поэма Галлера „О происхожденіи зла“ (1786), нѣсколько статей изъ „Штурмовыхъ размышленій о дѣлахъ Божіихъ въ царствѣ натуры и провидѣнія, на каждый день года“. Сверхъ того, въ то же время (т. е. между 1785—88 г.), много переводныхъ и оригинальныхъ статей и мелкихъ произведеній Карамзина помѣщено было въ „Дѣтскомъ чтеніи“, надъ изданіемъ котораго Карамзинъ трудился вмѣстѣ съ другомъ своимъ Петровымъ.

Принимая въ соображеніе тѣсныя дружескія связи Карамзина съ нѣкоторыми изъ членовъ масонскаго кружка, припоминая все то, что было сдѣлано по порученію „Дружескаго общества“ Карамзинымъ до поѣздки его за гранацу, нельзя не признать того, что пребываніе въ новиковскомъ кружкѣ должно было оказать сильное вліяніе на Карамзина и даже оставить на всю жизнь глубокіе слѣды въ его нравственномъ развитіи, въ его убѣжденіяхъ и воззрѣніяхъ... Это вліяніе кружка замѣтили въ немъ и ближайшіе пріятели его, не принадлежавшіе къ кружку, напр. И. И. Дмитріевъ, который, встрѣтившись въ Москвѣ съ Карамзинымъ, незадолго до его отъѣзда за границу, не узналъ въ немъ прежняго беззаботнаго юношу. „Это былъ уже не тотъ юноша“—гово-

рить Дмитріевъ—„который читалъ все безъ разбора, шѣнялся славою вонна, но благочестивый ученикъ мудрости, съ пламеннымъ рвеніемъ къ усовершенію въ себѣ человѣка“... Подобный отзывъ современника, вѣроятно извлеченный изъ бесѣдъ съ Карамзинымъ, даетъ возможность до нѣкоторой степени довѣрять преданію, утверждающему, будто путешествіе

объ человѣка“, Карамзинъ уже дѣйствовалъ на основаніи тѣхъ идей, которыя внушены были ему и преимущественно развиты пребываніемъ въ кружкѣ, составлявшемъ „Дружеское общество“.

Въ 1789 году Карамзинъ отправился за границу и, посѣтивъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію, пробылъ за границею полтора года. Результатомъ его путеше-



Н. М. Карамзинъ.

Карамзина стояло въ связи съ его отношеніями къ новиковскому кружку. Догѣлая подобному преданію, еще вовсе нѣтъ надобности предполагать, чтобы путешествіе Карамзина за границу совершенно было на средства масоновъ или выполнено по инструкціи, данной ему масонами. Даже и путешествуя на свои средства, но полагая цѣлью путешествія „пламенное рвеніе къ усовершенствованію въ се-

ствіи явились „Письма Русскаго Путешественника“, первое произведеніе, доставившее Карамзину громкую извѣстность. Эти „письма“ помѣщены были въ „Московскомъ журналѣ“, за изданіе котораго Карамзинъ принялся съ самаго начала 1791 года, и который издавалъ въ теченіе двухъ лѣтъ. Эта журнальная дѣятельность была, повидимому, слѣдствіемъ его путешествія за границу. Тамъ пришлось ему увидѣть писателей

и журналистовъ въ такомъ почетномъ, за-
видномъ положеніи среди окружающаго ихъ
общества, что 24-лѣтнему юношѣ мудропо
было не увлечься и, понадѣявшись на свои
силы, не пожелать добиться подобнаго же
положенія у себя дома. И дѣйствительно,
возвратившись домой изъ-за границы, Ка-
рамзинъ рѣшается положительно отступить
отъ того избитаго пути, по которому около
него шло все современное русское дворян-
ство: онъ не поступаетъ на службу, а по-
свящаетъ себя исключительно литературной
дѣятельности и съю стремится создать себѣ
положеніе въ обществѣ.

Ис смотря на то, что конецъ царствованія
Екатерины и кратковременное царствованіе
Павла I не могли быть ни въ какомъ случаѣ
названы временемъ благоприятнымъ для по-
священія себя литературѣ, Карамзинъ очень
скоро успѣлъ обратить на себя общее вни-
маніе, сдѣлаться любимцемъ читающей пу-
блики и приобрести славу перваго между
русскими писателями. Двѣнадцатилѣтній пе-
риодъ времени отъ 1791 — 1803 гг., исклю-
чительно посвященный Карамзинымъ жур-
налистикѣ и литературѣ, представляетъ со-
бою самый блестящій періодъ въ его лите-
ратурной дѣятельности, въ теченіе котораго
успѣхи и значеніе, приобретенные имъ въ
литературѣ, способны были удовлетворить
всякому, даже и самому взыскательному
авторскому самолюбію. Нельзя не замѣтить,
что и дѣятельность Карамзина за это время
была на столько разнообразна, на столько
соотвѣтствовала потребностямъ и вкусу боль-
шинства читателей, что успѣхи Карамзина
не могутъ удивлять насъ. Въ теченіе двухъ
лѣтъ издавая „Московскій журналъ“, онъ
умѣлъ уже придать ему ту форму и то раз-
нообразіе состава, какія до этого времени
не встрѣчались еще ни въ одномъ изъ рус-
скихъ журналовъ, и были вѣроятно резуль-
татомъ близкаго знакомства Карамзина съ
иностранною журналистикою. Въ „Москов-
скомъ журналѣ“ помѣщались и переводныя
и оригинальныя статьи, принадлежащія пе-
ру Карамзина и лучшихъ современныхъ пи-
сателей — Хераскова, Державина, Дмит-
ріева, Нелединскаго-Мелецкаго, Николаева,
Ф. Львова — и „другихъ молодыхъ стихо-
творцевъ“. За отдѣломъ стиховъ и прозы,
въ журналѣ Карамзина слѣдовала смѣсь
(анекдоты, отчеты о театральныя предста-

вленій и т. п., и отдѣлъ критическій,
въ которомъ мы видимъ рецензіи новыхъ
книгъ русскихъ и иностранныхъ. Рядомъ съ
простыми и краткими рецензіями въ „Мос-
ковскомъ журналѣ“ видимъ уже и довольно
серьезные разборы важнѣйшихъ произведе-
ній иностранной и русской литературы, вы-
казывающіе въ авторѣ дѣйствительный кри-
тический тактъ. Но главнымъ украшеніемъ
„Московского журнала“ явились произве-
денія самаго Карамзина: „Письма Русскаго
Путешественника“ и двѣ повѣсти — „Ната-
лья Боярская дочь“ и „Бѣдная Лиза“ (объ
1792 г.).

Въ апрѣлѣ 1792 года закрыто было „Дру-
жеское Общество и Новиковъ арестованъ.
Карамзинъ, повидимому, не только страдалъ
нравственно за участь друзей своихъ, но
имѣлъ даже нѣкоторое основаніе опасаться,
что и его, какъ нѣкогда принадлежавшаго
къ Новиковскому кружку, пожалуй, замѣ-
шаютъ въ допросы и преслѣдованія, кото-
рымъ подверглись въ это время многие изъ
членовъ кружка. Эти опасенія, кажется, мно-
го способствовали тому, чтобы внушить ему
отвращеніе къ дѣятельности журналиста, ко-
торой, сверхъ того, грозили и цензурныя стѣ-
сненія. Въ декабрѣ мѣсяцѣ „Московскій жур-
налъ“ вдругъ окончился, и въ эпилогъ къ
нему Карамзинъ заявилъ, что стѣсняется
срочностью журнальной работы, и что ду-
маетъ, вмѣсто „Московского журнала“ изда-
вать отдѣльный сборникъ статей своихъ и
чужихъ, по мѣрѣ накопленія ихъ. „Можетъ
быть вздумается мнѣ написать какую-нибудь
бездѣлку; можетъ быть пріятели мои также
что-нибудь напишутъ:—сіи отрывки или цѣ-
лыя піесы намѣренъ издавать въ маленькихъ
тетрадкахъ, подъ именемъ... напримѣръ
Аглаи, одной изъ любезныхъ Грацій“... „Та-
кимъ образомъ Аглая заступитъ мѣсто Мо-
сковскаго журнала. Впрочемъ, она должна
отличаться отъ сего послѣдняго строжайшимъ
выборомъ піесъ и вообще чистѣйшимъ, т. е.
болѣе выработаннымъ слономъ; ибо я не при-
нужденъ буду издавать ее въ срокъ. Можетъ
быть съ букетомъ первыхъ весеннихъ цвѣ-
товъ положу я первую книжку Аглаи на
алтарь Грацій; но примутъ-ли сіи прекрас-
ныя богини жертву мою, или нѣтъ — не
знаю“.

Вслѣдъ за „Московскимъ журналомъ“, дѣй-
ствительно сначала явились въ свѣтъ подѣ

названіемъ „Мои бездѣлки“, всѣ статьи Карамзина, напечатанныя въ этомъ журналѣ, потомъ явился обѣщанный сборникъ „Аглая“ (1794), въ двухъ отдѣльных частяхъ¹⁾.

Вскорѣ послѣ того, въ августѣ 1796 года,— новое литературное предпріятіе Карамзина, новое доказательство его изысканаго вкуса и разумной издательской разборчивости: первый русскій альманахъ, подъ названіемъ „Аониды или собраніе разныхъ новыхъ стихотвореній“. Въ предисловіи къ „Аонидамъ“ Карамзинъ такъ объясняетъ цѣль изданія: „Почти на всѣхъ европейскихъ языкахъ ежегодно издается собраніе новыхъ, мелкихъ стихотвореній, подъ именемъ Календаря Музъ (Almanach der Muses); мнѣ хотѣлось видѣть и на русскомъ нѣчто подобное, для любителей поэзіи.... Надѣюсь, что публикѣ пріятно будетъ найти здѣсь вмѣстѣ почти всѣхъ нашихъ извѣстныхъ стихотворцевъ; подъ ихъ щитомъ являются на сценѣ и нѣкоторые молодые авторы, которыхъ звѣщующій талантъ достоинъ ея вниманія“. И дѣйствительно, Аониды могли дать каждому довольно полное понятіе о положеніи и средствахъ нашей современной поэзіи: тутъ встрѣчаются:— „подъ щитомъ“ Державина и Хераскова,—стихотворенія и Львова, и Капниста, и кн. Горчакова, и В. Пушкина, и Измайлова, и Кострова, и даже Магницкаго. Съ 1796 и 1799 вышло три книжки Аонидъ.

Не смотря на довольно разсѣянную свѣтскую жизнь, какую велъ Карамзинъ въ это время, стараясь забыть о тяжелой исторической эпохѣ, переживаемой нашимъ обществомъ, онъ все продолжаетъ неумоимо работать для русской литературы, постоянно придумывая новые способы для того, чтобы угодить на всѣ вкусы, удовлетворить всѣмъ потребностямъ читающей публики, распространяя въ ней много новыхъ свѣдѣній по части знакомства съ иностранными литературами, тѣмъ болѣе, что о русской литературѣ въ это время приходилось оставить всякія попеченія. И вотъ, въ 1798 году, Карамзинъ задумываетъ издавать „Паптеонъ

иностранный словесности“, который, по его собственному замѣчанію, „долженъ быть ничто иное, какъ собраніе всякаго рода твореній и важныхъ, и не важныхъ; слѣдственно тутъ можетъ быть и сказка, и отрывокъ, и арабскій анекдотъ: иное для слова, иное для любопытства... однимъ словомъ, родъ журнала, посвященнаго иностранной литературѣ“.

Видно однакоже, что даже и объ иностранной словесности говорить въ то время было трудно; Карамзинъ жалуется въ своихъ письмахъ на то, что его дѣятельности мѣшаетъ цензура, которая, какъ черныя медвѣди, стоитъ на дорогѣ; къ самымъ бездѣлкамъ придирается. Я кажется, и самъ могу знать, что позволено, и что не должно позволять; досадно, когда въ безгрѣшномъ находятъ грѣшное“... „Я перевелъ нѣсколько рѣчей изъ Демосфена“, которыя могли-бы украсить „Паптеонъ“ — пишетъ Карамзинъ въ другомъ письмѣ— „но цензоры говорятъ; Демосфенъ былъ республиканецъ, и что такихъ авторовъ переводить не должно — и Цицерона также — и Саллюстія также...“ „Я, какъ авторъ, могу исчезнуть заживо“ — восклицаетъ выведенный изъ терпѣнія Карамзинъ, въ третьемъ письмѣ своемъ. Здѣшніе цензоры, при новой эдичіи Аонидъ поставили на моемъ посланіи къ женщинамъ. Такая же участь ожидаетъ и „Аглаю“, и „Мои бездѣлки“, и „Письма Русскаго Путешественника“... и такимъ образомъ черезъ годъ не останется въ продажѣ можетъ быть ни одного изъ моихъ сочиненій“... „Если-бы экономическія обстоятельства не заставили меня имѣть дѣло съ типографіею, то я, положивъ руку на оltарь Музъ, и заплакавъ горько, поклялся-бы не служить имъ болѣе, ни сочиненіями, ни переводами. Странное дѣло! У насъ есть академія, университетъ, а литература подъ лавкою!“..

Среди такого грустнаго настроенія, среди разныхъ непріятностей, къ которымъ присоединялись еще и нѣкоторыя сердечныя

¹⁾ Въ первой части Карамзинъ помѣстилъ слѣдующія статьи свои: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатоны» (воспоминаніе о Петровѣ, умершемъ въ концѣ 1793 г.); «Что нужно автору?»; «Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи»; «Островъ Вортигольмъ»; «Письма изъ Лондона» и нѣсколько своихъ стихотвореній. Во второй части Аглаи видимъ опять, цѣлый рядъ статей Карамзина: «Сіерра-Морена», «Аониская жизнь», «Переписка Филалета и Мелодора», «Дремучій лѣсъ», «Илья Муромецъ» — и продолженіе «Писемъ Русскаго Путешественника».

дѣла, сильно тревожившія и волновавшія пылаго Карамзина, окончилось въ началѣ 1801 г. царствованіе Павла I, и для Россіи, вмѣстѣ со вступленіемъ на престолъ Александра I, началась новал и лучшая эпоха исторической и общественной жизни. Эта новая эпоха, вновь пробудившая Карамзина къ дѣятельности и энергій, ознаменовалась для него новыми трудами, новыми планами и, наконецъ, крутымъ поворотомъ съ поприща литературнаго на поприще чисто-ученое... Но прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ обзору литературной дѣятельности Карамзина въ царствованіе Александра, мы должны бросить общій взглядъ на то направленіе, которое являлось преобладающимъ во всѣхъ произведеніяхъ, изданныхъ Карамзинымъ, по возвращеніи его изъ-за границы, до 1801, и доставившихъ ему такую громкую извѣстность.

Карамзинъ, въ теченіе перваго періода своей дѣятельности явился въ нашей литературѣ и поэтомъ, и литераторомъ, и критикомъ, и журналистомъ. Болѣе всего важною, и новою являлась его дѣятельность журнальная и критическая, которая и послужила весьма полезнымъ, поучительнымъ образцомъ для нашихъ критиковъ и публицистовъ начала нынѣшняго столѣтія. Съ этой стороны Карамзинъ въ своей литературной дѣятельности является намъ не только весьма талантливымъ, но и европейски-образованнымъ писателемъ, указавшимъ современной литературѣ новые пути, новыя задачи для разработки. Со времени появленія въ свѣтъ карамзинскихъ журналовъ и сборниковъ, предшествовавшихъ имъ журнальный типъ утратилъ всякій интересъ и значеніе: даже противники Карамзина, вооружавшіеся противъ его направленія, негодовавшіе на его нововведенія въ языкъ и слогу, въ то же время, подражали ему въ составленіи программъ своихъ повременныхъ изданій. Но эта сторона дѣятельности Карамзина менѣе всего была оцѣнена современниками. Поэтическія произведенія Карамзина, не богатая содержаніемъ, ни кого не способная поразить своею нѣсколько однообразною внѣшнею формою, тоже не цѣнились высоко современниками, тѣмъ болѣе, что еще были живы поэты прославленные, безусловно-знаменитые и всѣхъ приводившіе въ восторгъ произведеніями своей вдохновенной музы.

Академикъ Гротъ, справедливо замѣчая, что у Карамзина былъ поэтическій талантъ, но чувствовался недостатокъ въ воображеніи и вымыслѣ, къ этому прибавляетъ, что „стихотворенія Карамзина представляютъ намъ въ особенности историческій и біографическій интересъ, какъ гѣтопись сердечной жизни глубоко искренняго человѣка;“... „всякій разъ, когда онъ выражалъ любимыя мысли-свои, стихи его принимаютъ отпечатокъ одушевленія“... „Обыкновенныя тѣмъ (поэзіи Карамзина)—любовь къ природѣ, къ сельской жизни, дружба, кротость, чувствительность, меланхолія, пренебреженіе къ чинамъ и богатствамъ, мечта о безсмертіи въ потомствѣ“... Но Карамзинъ, какъ искренній и теплый поэтъ, какъ талантливый журналистъ, какъ образованный и обладавшій замѣчательнымъ вкусомъ критикъ, не на столько обращалъ на себя вниманіе общества, на сколько Карамзинъ-беллетристъ, написавшій „Юдну Лизу“ и „Наталью боярскую дочь“, и Карамзинъ-туристъ, издавшій въ свѣтъ „Письма русскаго путешественника“, на долго сдѣлавшіяся кодексомъ сентиментализма для нѣсколькихъ послѣдующихъ поколѣній.

Сентиментализмъ не былъ въ то время новостью въ русской литературѣ. Не слѣдуетъ забывать, что сентиментализмъ — первоначально разившійся въ Англіи (въ половинѣ прошлаго вѣка) подъ вліяніемъ Ричардсона и Стерна, а вскорѣ послѣ того нашедшій себѣ талантливыхъ представителей въ лицѣ Руссо и Гѣте во Франціи и Германіи — вскорѣ проникъ и въ Россію. У насъ, съ конца восьмидесятихъ годовъ явились не только переводы произведеній Ричардсона, но даже и весьма неуклюжія подражанія имъ, и вообще сентиментализму посчастливилось въ такой степени, что къ нему стали сочувственно относиться люди самыхъ противоположныхъ возрѣвій и убѣжденій: достаточно будетъ припомнить здѣсь напр. то, что въ новиковскомъ кружкѣ сентиментализмъ находилъ себѣ такихъ же горячихъ поклонниковъ, какъ и въ придворно-литературной средѣ, окружавшей Екатерину.

Сущность сентиментализма заключалась въ томъ предпочтеніи, которое приверженцами сентиментальной школы отдавалось чувству передъ всѣми остальными сторонами человѣческой природы. Значеніе, при-

даваемое чувству, было на столько велико, что самое достоинство человека измѣрялось только большею или меньшею степенью его чувствительности ¹⁾. Не смотря на то, что сентиментальная школа была болѣе близка къ дѣйствительности, нежели школа ложноклассическая, не смотря на то, что она избирала характеры свои не изъ темной геронической эпохи, а изъ болѣе близкой къ намъ семейной и общественной среды, представители этого новаго литературнаго направления все же не придавали еще большаго значенія изученію и наблюденію дѣйствительности. Вслѣдствіе этого, часто ставившая съ „грубою дѣйствительностью“, разрушавшіе сентиментальныя теоріи, приверженцы сентиментализма любили рисовать отдаленное прошлое въ украшенномъ видѣ, и въ этомъ вымышленномъ прошломъ искать идеаловъ для настоящаго и будущаго. При такомъ взглядѣ на прошлое, сентиментализмъ конечно не могъ дорожить и блгами настоящаго; отсюда у многихъ представителей сентиментализма являлось презрительное отношеніе къ цивилизаціи и просвѣщенію, и у всѣхъ — совершенно ложное представленіе о дикомъ, первобытномъ состояніи человека (*l'homme sauvage, l'état sauvage*), какъ о блаженномъ и наиболѣе близкомъ къ идеалу свободы, равенства и счастья, возможному на землѣ. Естественнымъ слѣдствіемъ такой идеализаціи патріархальнаго быта первоначальныхъ обществъ было и то, что жизнь образованныхъ, высшихъ классовъ общества считалась гораздо менѣе близкою къ идеалу счастья, нежели жизнь „бѣдныхъ, но честныхъ поселянъ, въ тишинѣ наслаждающихся жизнью, близкою къ природѣ“.

Всѣ эти важнѣйшія стороны сентиментализма нашли себѣ самое полное выраженіе въ трехъ произведеніяхъ средняго періода дѣятельности Карамзина — въ его „Письмахъ Русскаго путешественника“, въ „Бѣдной Лизѣ“ и въ „Наташѣ боярской дочери“. Изъ „Письмахъ Русскаго Путешественника“, авторъ, объѣхавшій Германію, Англію, Францію и Швейцарію, отдаетъ послѣдней изъ этихъ странъ преимущество передъ осталь-

ными тремя образованнѣйшими государствами Европы, именно потому, что Швейцарія и ея жители представляютъ, по его мнѣнію, полнѣйшее осуществленіе того идиллическаго, пастушескаго быта, который такъ близокъ къ идеалу счастья всѣхъ приверженцевъ сентиментализма. Это, по словамъ Карамзина, „страна живописной Патуры, земля свободы и благополучія“; жители ея, щастливые Швейцары, обязаны „всякой день, всякой часъ благодарить небо за свое щастіе, живучи въ объятіяхъ прелестной Патуры, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ и служа одному Богу“... „Вся жизнь ихъ есть конечно пріятное сповиданіе, и самая роковая стрѣла должна кротко влетать въ грудь ихъ, невозмущаемую тиранскими страстями“.

Въ „Бѣдной Лизѣ“ Карамзинъ представилъ образецъ сентиментальной повѣсти, въ которой главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является „прекрасная тѣломъ и душою поселянка“, „нѣжная, чувствительная Лиза“. Въ нее влюбляется Эрастъ, „довольно богатый дворянинъ, съ изряднымъ разумомъ и добрымъ сердцемъ, добрымъ отъ природы, но слабымъ и вѣтренымъ“. Идиллическая сельская обстановка, которою Карамзинъ окружаетъ свою поселянку Лизу, завлекаетъ Эраста къ мечтамъ, а „красота Лизы дѣлаетъ впечатлѣніе въ его сердца“. Имѣя живое воображеніе, „онъ мысленно переселяется въ тѣ времена, въ которыя всѣ люди безопасно гуляли по лугамъ, купались въ чистыхъ источникахъ, цѣловались какъ горлицы, отдыхали подъ розами и миртами, и въ щастливой праздности всѣ дни свои проводили“. Ему казалось, что онъ нашелъ въ Лизѣ то, что сердце его давно искало. „Патура призываетъ меня въ свои объятія, къ чистымъ своимъ радостямъ“ — думалъ онъ, и рѣшился — по крайней мѣрѣ на время — оставить большой свѣтъ“... И не мудрено, потому что „всѣ блестящія забавы большаго свѣта представлялись ему ничтожными въ сравненіи съ тѣми удовольствіями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце Эраста“. Дружба эта между дворяниномъ Эрастомъ и поселянкой Лизой дохо-

¹⁾ Нельзя при этомъ упустить изъ виду, что и самое слово чувствительный, чувствительность, не отличалось отъ слова воспримчивый, впечатлительный; воспримчивость, впечатлительность.

доть до того, что Эрастъ даже забываетъ о сословныхъ предразсудкахъ, и увѣряетъ Лизу, что онъ можетъ быть ея мужемъ, что для него „важнѣе всего душа чувствительная, невинная душа, и Лиза будетъ всегда ближайшею къ его сердцу“. Не смотря на это, онъ невольно обманываетъ Лизу, восполь-

тъмъ были безмолвными свидѣтелями ея восторговъ“.

Въ повѣсти „Наталя Боярская дочь“, Карамзинъ, подъ вліяніемъ того же сентиментальнаго настроенія обращается къ русской старинѣ и въ самыхъ идиллическихъ картинахъ рисуетъ тѣ времена, когда „Русскіе



Бесѣдка Карамзина.

зовавшись ея невинностью въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда „мракъ вечера питаетъ желанія, и никакой лучъ не могъ освѣтить заблужденія“; убѣдившись въ обманѣ, Лиза нашла, что ей нельзя жить долѣе и бросилась въ прудъ, недалеко отъ тѣхъ древнихъ дубовъ, которые, „за нѣсколько недѣль передъ

были Русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, т. е. говорили, какъ думали“. Въ эту идиллическую обстановку стараго боярскаго быта, не имѣющую ничего общаго съ историческою дѣй-

ствительностью описываемой эпохи, Карамзинъ вставляетъ еще болѣе простую и гораздо болѣе невинную, нежели въ Бѣдной Лизѣ, исторію любви Натальи къ Алексѣю, въ котораго Наталья влюбилась въ „одну минуту, увидѣвъ его въ первый разъ, и не слыхавъ отъ него ни одного слова“. Чрезвычайно характерно то обращеніе къ читателю, въ которомъ самъ авторъ считаетъ долгомъ пояснить читателю такую странную любовь своей героини къ незнакомцу:

„Милостивые государи!“ восклицаетъ Ка-

рамзина не только читались всѣми, но даже заучивались наизусть; герои, введенные въ нихъ авторомъ, становились любимыми идеалами молодежи, и самое мѣсто дѣтства „Бѣдной Лизы“—окрестности Симонова монастыря и такъ называемый Лизинъ прудъ, въ которомъ будто-бы утопилась бѣдная Лиза—сдѣлались любимыми мѣстами сентиментальныхъ прогулокъ для нашихъ мечтательныхъ дѣдушекъ и бабушекъ. Многіе утверждаютъ, не безъ основанія, что, начиная съ появленія въ свѣтъ этихъ произведеній Ка-



Лизинъ прудъ.

рамзинъ—„я рассказываю, какъ происходило самое дѣло: не сомнѣвайтесь въ истинѣ; не сомнѣвайтесь въ силѣ того взаимнаго влеченія, которое чувствуютъ два сердца, другъ для друга сотворенныя! А кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь, и не читай нашей исторіи, которая сообщается только для одиѣхъ чувствительныхъ душъ, имѣющихъ сію сладкую вѣру“.

Успѣхъ повѣстей и „Писемъ“ Карамзина, по свидѣтельству современниковъ, былъ изумительный, небывалый.. Эти произведенія Ка-

рамзина, любовь къ чтенію сильно распространилась въ обществѣ, въ особенности между женщинами. Повѣсти Карамзина и „Писма Русскаго Путешественника“ всѣмъ нравились, какъ первые удачные опыты легкой литературы, не смотря на то, что Карамзинъ положительно не обладалъ „даромъ художественнаго творчества, и что въ нихъ во всѣхъ вымыслъ чрезвычайно простъ, даже бѣдентъ, и нѣтъ ни характеровъ, ни національнаго колорита“¹⁾. Точно также и въ „Письмахъ Русскаго Путешественника“, никого не по-

¹⁾ Замѣчаніе академика Грота. См. Юбилей Карамзина.

ражали—неглубокое понимание современных политических событий и поверхностный, легкий взгляд на разрывные общественных вопросов, волновавших Европу. Этого никто не искал и не требовал от сочинений Карамзина. Сочинения эти служили точным и полным выражением того сентиментального направления, к которому общество было уже в значительной степени подготовлено переводною литературой, и все ставили в огромную заслугу Карамзину его умение придать публичному и многословному сентиментализму такую легкую, общедоступную и привлекательную форму, которая несомненно дала ему возможность широко распространиться в нашем обществе и оказать полезное влияние. И действительно, сентиментализм был до некоторой степени полезен нашему обществу, как противодействие той грубой форме материализма, к которой учение энциклопедистов приводило людей мало-образованных и малоразвитых. Но не в этом, конечно, заключалась главная причина быстрых успехов нового направления, а скорее в том особом отношении к действительности, в которое сентиментализм давал каждому возможность себя поставить: он способствовал примирению с самою непривлекательною действительностью, побуждая каждого искать утешения в мечтах о прошлом, в жизни и деятельности своего собственного чувства, в стремлении к совершенно-отвлеченным, ни мало не связанным с жизнью идеалам добра и блага. Нельзя не обратить внимания на то, что сентиментализм, повидному, неразрывно был связан с весьма либеральными воззрениями, с восхвалениями равенства и свободы; но в то же время он ограничивался весьма тесным кругом наблюдений в темной и неопределенной области чувства и относился с замечательным пренебрежением к действительности, к нуждам настоящего, к насущным потребностям современности, среди которой, как публичное растение, развивалась сентиментальная литература. Вследствие этого, самые горячие приверженцы сентиментализма, ревностно мечтавшие о благе общем, могли в то же время являться людьми очень неопределенных убеждений нравственных и политических, и даже спокойно уживаться с порядками, совершенно противоположными

их убеждениям. Еще чаще они бывали способны постепенно переходить к состоянию полнейшего равнодушия относительно существующего порядка вещей, вдаваться в мистицизм и ограничиваться наблюдением над своим внутренним миром, причем многие совершенно довольствовались сознанием своей личной правоты и добродетели. Даже увидим мы, что Карамзин, совершенно-искренно преданный сентиментализму, не покидавший этого направления в течение всей своей жизни и во всех фазах развития своей литературной и ученой деятельности, под влиянием современной действительности, дошел именно до этого нравственного состояния, которое многие старались превознести, изображая в самом привлекательном виде, но которое в сущности было только примитивным следствием его увлечения сентиментализмом.

Выше упоминали мы о той легкой, увлекательной форме, в которую Карамзин облек сентиментальное содержание своих произведений. И. И. Дмитриев замечает в своих записках, что все были поражены новостью языка и слога „Писем“, „Видной Лизы“ и „Наташи боярской дочери“. Действительно, язык произведений Карамзина по сравнению с языком предшествующей эпохи, приятно поражает своею формою и своею близостью к обыкновенному разговорному языку образованного русского общества. Карамзин, придерживаясь того взгляда, что следует писать так, как мы говорим, совершенно отстранился от Ломоносовского учения о трех штилях или слогах; и этим уже окончательно способствовал отделению русского литературного языка от церковно-славянской книжной речи. С другой стороны, будучи близко знаком с тремя важнейшими европейскими языками, занимаясь переводами с немецкого, французского и английского языка на русский, Карамзин пришел к тому положительному убеждению, что французский и английский оборот речи гораздо богаче свойствен нашему литературному языку, нежели тот тяжелый латино-немецкий оборот, который был усвоен ей Ломоносовым. Сверх того, при близком знакомстве с русским языком и с языками иностранными, Карамзин, чрезвычайно удачно усво-

ивалъ русскому языку отдѣльныя слова и цѣлыя выраженія иностранной литературной рѣчи, удачно выбирая соотвѣтствующія иностраннымъ русскія слова изъ рѣчи народной и изъ старинныхъ письменныхъ памятниковъ нашихъ. Послѣдній способъ пополненія нашей литературной рѣчи заимствованіями изъ богатаго запаса словъ и выраженій стариннаго русскаго языка доведенъ былъ Карамзинымъ до замѣчательнаго совершенства въ то время, когда онъ принялся за свой историческій трудъ. Не смотря на то, что языкъ Карамзина представлялъ собою уже весьма замѣчательную степень развитія красоты, силы и выразительности—слогъ Карамзина подвергался справедливымъ нареканіямъ со стороны его литературныхъ противниковъ. Особенно непріятно поражаетъ каждого мѣрная періодическая рѣчь его историческаго разсказа, построенная чрезвычайно искусственно и натянута, и съ нѣкоторою симметрией украшенная дактилическими окончаніями въ концѣ предложеній. Но какъ бы кто ни старался преувеличить недостатки Карамзинскаго слова, все же нельзя не признать того, что заслуги его, по отношенію къ преобразованію и улучшенію нашего литературнаго языка чрезвычайно важны; нельзя отрицать и того, что нововведенія и улучшенія, сдѣланныя имъ въ нашемъ литературномъ языкѣ, достались ему не легко и являются на столько же плодомъ личнаго таланта, на сколько и плодомъ усидчиваго, долгаго и разумаго труда, посвященнаго глубокому, сравнительному, практическому и теоретическому изученію нашего современнаго и стариннаго книжнаго языка съ одной стороны, русскаго литературнаго и иностранныхъ языковъ — съ другой. Важность Карамзинской реформы въ нашемъ языкѣ всего яснѣе опредѣляется тѣмъ яростнымъ отпоромъ, который Карамзинъ встрѣтилъ со стороны всей нашей старой литературной партіи, отстаивавшей Ломоносовскій взглядъ на составъ нашего литературнаго языка и вмѣстѣ съ нимъ слѣпое уваженіе къ формамъ, установленнымъ псевдоклассическою теоріею. Во главѣ этой партіи явился уже извѣстный намъ А. С. Шишковъ, авторъ обширнаго „Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка“ (1803 г.); около него сплотились и другіе, еще гораздо менѣе талантливые почитатели литературной ста-

рины и преданія. Къ этой партіи примкнула и часть современной петербургской журналистики (Крыловъ, Клушинъ, Туманскій). Впослѣдствіи, оппозиція реформамъ Карамзина, стараніями Шишкова, выразилась даже въ дѣятельности цѣлаго учено-литературнаго общества (Бесѣда любителей русскаго слова) и въ томъ изданіи, которое служило ему органомъ. Но все молодое и талантливое стало, конечно, на сторону Карамзина и начало горячо отстаивать его языкъ, слогъ и литературныя воззрѣнія; самъ Карамзинъ не вступалъ ни въ какія пренія со своими литературными противниками, и, съ замѣчательнымъ спокойствіемъ относясь къ ихъ желчной критикѣ, не отказался даже воспользоваться многими ихъ замѣчаніями, за которыми признавалъ извѣстную долю справедливости. Что же касается до молодой партіи карамзинистовъ, то они не удовольствовались одной литературной полемикой съ шишковистами: впослѣдствіи они также образовали изъ среды своей литературное общество, подъ названіемъ „Арзамаса“, о которомъ намъ еще придется подробно упомянуть въ главѣ XXXIV-й.

Вмѣстѣ со вступленіемъ на престолъ Императора Александра начинается новый періодъ въ жизни и дѣятельности Карамзина. Наравнѣ съ другими поэтами, и Карамзинъ заплатилъ дань времени: привѣтствовалъ Александра двумя торжественными одами, изъ которыхъ одна была написана по поводу вступленія на престолъ Императора, другая — по поводу коронаціи. Въ этихъ одахъ нельзя, впрочемъ, не видѣть простаго выраженія того общаго чувства восторга и надежды, съ которыми все русское общество относилось къ юному Государю. То, что Карамзинъ выразилъ въ этихъ двухъ одахъ, было точно также тепло и ясно, хотя и гораздо проще, выражено имъ въ двухъ строкахъ его письма къ брату. Извѣщая брата о прибытіи Александра въ Москву, онъ писалъ ему отъ 20 августа 1801 года: „Государь расположенъ ко всякому добру, и мы при немъ отдохнули. Главное то, что можемъ жить спокойно“. Вслѣдъ за одами явилось въ началѣ слѣдующаго года „Историческое похвальное слово Императрицѣ Екатеринѣ II“, въ которомъ авторъ, давая далеко не полную и притомъ не вполне вѣрную картину екатерининскаго царствованія, останавливается

только на самых блестящих моментах его, особенно восхваляя либеральныя воззрѣнія „Наказа“, отъ которыхъ, какъ извѣстно, сама Екатерина очень скоро отказалась и съ которыми, во многихъ случаяхъ, вовсе не согласовался ея способъ дѣйствій въ послѣдній періодъ ея царствованія. Ясно, что восхваляя либерализмъ „Наказа“, Карамзинъ этимъ самымъ хотѣлъ выразить свое сочувствіе къ тому либеральному способу правленія, котораго рѣшительно ожидали отъ Александра, уже въ манифестѣ своемъ заявившаго, что онъ намеренъ править по примѣру Бабки своей, Екатерины II. Но вмѣстѣ съ этимъ выраженіемъ надежды на лучшее будущее, на благодушіе и мудрость новаго Монарха, на то, что онъ не менѣе Екатерины будетъ заботиться о благѣ Россіи, о дарованіи подданнымъ правосудія и просвѣщенія, Карамзинъ, въ своемъ „Историческомъ похвальномъ словѣ Екатеринѣ“, въ первый разъ обратился къ прошлому за идеалами и назиданіемъ для будущаго. Этотъ фактъ очень важенъ по отношенію къ біографіи Карамзина, потому что уже ясно указываетъ намъ на поворотъ, совершившійся въ его воззрѣніяхъ. Новое настроеніе Карамзина выразилось совершенно ясно въ томъ журналѣ, который онъ издавалъ въ 1802 году. Онъ далъ ему названіе „Вѣстника Европы“, и объявилъ, что новый журналъ его „будетъ, сообразно съ его титуломъ, содержать въ себѣ главныя европейскія новости въ литературѣ и въ политикѣ, все, что покажется намъ любопытнымъ, хорошо написаннымъ, и что выходитъ во Франціи, Англіи, Германіи и проч...“.

Въ Вѣстникѣ Европы, сверхъ множества мелкихъ статей Карамзина, появлявшихся въ каждой книжкѣ этого журнала, выходившаго два раза въ мѣсяцъ, помѣщено было и нѣсколько замѣчательныхъ разсужденій Карамзина, напр. извѣстное разсужденіе его „О любви къ отечеству и народной гордости“, „О счастливѣйшемъ времени жизни“, „Отъ чего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ“ и т. д. Сверхъ того, тутъ же, въ теченіе двухъ лѣтъ изданія „Вѣстника Европы“ напечатанъ былъ Карамзинимъ и цѣлый рядъ статей историческаго содержанія, которыя одинъ изъ его біографовъ довольно вѣрно называлъ „пробами пера“ передъ началомъ тогда обширнаго историческаго труда, которому посвятилъ Карамзинъ всю вторую половину

своей жизни послѣ 1803 года. Въ числѣ этихъ статей нельзя не упомянуть нѣкоторыя, именно съ этой стороны заслуживающія вниманія; напр., „Историческія воспоминанія на пути къ Тронцѣ“, „О случаяхъ и характерахъ, въ Россійской Исторіи, которые могутъ быть предметомъ художества“, „О тайной канцеляріи“, „О московскомъ мятежѣ въ царствованіе Алексѣя Михайловича“. Здѣсь наконецъ напечатана была и еще одна историческая повѣсть Карамзина — „Марса Посадница“, — которая также понравилась обществу, какъ и предшествовавшіе ей беллетристическіе опыты Николая Михайловича.

Нельзя не упомянуть здѣсь объ одной важной біографической подробностѣ; Карамзинъ принялся за изданіе „Вѣстника Европы“ на 36-мъ году своей жизни, и притомъ уже женатый. Онъ женился въ Апрѣлѣ 1801 года на Елисаветѣ Ивановнѣ Протасовой, дѣвушкѣ небогатой, но которую онъ уже давно любилъ и зналъ почти съ дѣтства. Онъ не скрывалъ отъ друзей своихъ, что, принимаясь за изданіе журнала, имѣетъ увеличеніе своихъ матеріальныхъ средствъ; и дѣйствительно, ожиданіи его сбылись; успокоенный женитьбою въ отношеніи сердечномъ, онъ вскорѣ увидѣлъ себя вполне обеспеченнымъ въ матеріальномъ отношеніи, потому что журналъ, хотя и стоилъ Карамзину большаго труда, но за то доставлялъ ему 6,000 р. дохода. Карамзинъ, повидимому, былъ на верху счастья, и въ лучшей порѣ своей дѣятельности, для которой, притомъ же, только что начинавшееся царствованіе открывало обширное поприще... Но Карамзинъ въ это время уже не былъ тѣмъ счастливымъ и самонадѣяннымъ юношей, котораго могла привлечь литературная извѣстность, который способенъ былъ отказаться отъ всего, ради одного удовольствія, доставляемаго литературною дѣятельностью. Въ немъ очевидно совершался какой-то сильный нравственный поворотъ, какой-то переходъ отъ прежнихъ воззрѣній къ новымъ. Поворотъ этотъ ясно выразился, съ одной стороны, въ охлажденіи къ интересамъ исключительно-поэтическимъ и литературнымъ; съ другой — въ томъ, что вниманіе Карамзина начинаетъ болѣе и болѣе сосредоточиваться на вопросахъ историческихъ и политическихъ; съ третьей, наконецъ — въ томъ, что онъ, едва принявшись за изданіе „Вѣстника Европы“, почти съ

перваго же шага вступает въ противорѣчіе со взглядами и мнѣніями, положенными въ основу его литературныхъ произведеній предшествоващаго періода.

Однимъ изъ такихъ противорѣчій является прежде всего то мнѣніе о критикѣ, которое Карамзинъ высказываетъ уже въ самомъ объявленіи „Вѣстника Европы“. Прежде онъ постоянно поддерживалъ, что критика въ литературѣ необходима, доказывалъ совершенно справедливо, что критика литературу совершенствуетъ, что Германія именно критикѣ обязана процвѣтаніемъ своей литературы — и вдругъ, въ „Вѣстникѣ Европы“ встрѣчаемся съ совершенно противоположнымъ отзывомъ Карамзина о критикѣ:

„... Что принадлежитъ до критики новыхъ русскихъ книгъ“ — пишетъ онъ тамъ — „то мы не считаемъ ее истинною потребностью нашей литературы (не говоря уже о непріятности имѣть дѣло съ беспокойнымъ самолюбіемъ людей). Въ авторствѣ полезнѣе быть судимымъ, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы; а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что-нибудь къ общему имѣнію, нежели запылять его опѣнкою“.

Такимъ же рѣзкимъ противорѣчіемъ является дажѣ, во всѣхъ историческихъ статьяхъ „Вѣстника Европы“ высказываемое Карамзинымъ возрѣніе на русское историческое прошлое; нельзя не замѣтить того, что Карамзинъ начинаетъ не только съ удовольствіемъ, но даже и съ уваженіемъ относиться къ нашей старинѣ, между тѣмъ какъ до этого времени, въ качествѣ горячаго поклонника петровской реформы, долженъ былъ относиться къ ней съ недоверіемъ и сомнѣніемъ. Сверхъ того, всюду, гдѣ Карамзинъ касается современнаго состоянія Россіи, онъ становится въ весьма странное, почти двойственное положеніе: восхваляя новыя мѣры правительства, съ величайшимъ сочувствіемъ относясь къ гуманнымъ реформамъ и либеральнымъ замысламъ, Карамзинъ въ то же самое время, въ одномъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ общественныхъ (въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ) становится на сторону противниковъ Александра... Онъ подаетъ голосъ противъ освобожденія крестьянъ, наравнѣ съ людьми старыми и отжившими, съ крайними консерваторами, которымъ ненавистны были всѣ новыя мѣры правитель-

ства, которые смотрѣли на первыхъ сподвижниковъ Александра, какъ на пустыхъ вольнодумцевъ и даже сомнѣвались въ ихъ честности!.. Но это еще не все: — и въ общемъ направленіи „Вѣстника Европы“ оказывается почти невозможнымъ узнать того самаго Карамзина, который, издавая „Московский журналъ“, такъ сочувственно относился ко всему „чисто-человѣческому“, такъ смѣялся надъ „славяномудріемъ“ и замѣчалъ, восхищаясь реформой Петра, что „... все народное ничто передъ чело-вѣческимъ. Главное дѣло стать людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды чело-вѣка, то—мое, ибо я чело-вѣкъ“. Напротивъ того, въ „Вѣстникѣ Европы“ Карамзинъ высказываетъ уже явное желаніе выдѣлить „Россію и Россіянъ“ изъ общей массы чело-вѣчества, придать всему русскому какое-то особое, привилегированное значеніе и важность, даже преувеличить до нѣкоторой степени благосостояніе и матеріальныя силы Россіи. Другими словами, въ общемъ направленіи „Вѣстника Европы“ уже весьма замѣтно начинаетъ проявляться тотъ неумѣренный патріотизмъ, который, овладѣвъ нѣкоторою частью нашего общества въ началѣ нынѣшняго столѣтія, и способствуя развитію въ ней слишкомъ высокаго мнѣнія о Россіи и Русскихъ, вселяя въ нее даже нетерпимость и пренебреженіе ко всему иноземному, — много способствовать замедленію прогресса въ нашемъ обществѣ.

Независимо отъ всего этого, нельзя конечно не признать, что „Вѣстникъ Европы“ былъ для своего времени (1802 — 1803 гг.), явленіемъ весьма замѣчательнымъ и, во многихъ отношеніяхъ, послужилъ образцомъ для нашей позднѣйшей журналистики. Но едва ли можно согласиться съ тѣми изъ біографовъ Карамзина, которые въ „Вѣстникѣ Европы“ видятъ нѣчто болѣе зрѣлое, болѣе заслуживающее вниманіе и болѣе имѣющее значенія въ историко-литературномъ отношеніи, нежели вся предшествующая журнальная и литературная дѣятельность Карамзина. Карамзинъ и до этого времени является намъ уже талантливымъ журналистомъ и литераторомъ, образованнымъ критикомъ и даже поэтомъ, имѣющимъ нѣкоторыя несомнѣнныя достоинства. Нельзя от-

рицать того, что сентиментальное направление нашей литературы конца прошлого столетия нашло себя в Карамзине весьма замечательного представителя. Но когда тот же Карамзин — под влиянием совершившегося в нем поворота, или, может быть, под влиянием новой эпохи, переживавшей обществом — охладил к литературѣ и поэзии, к искусству и к философским теориям, и, с почвы общих вопросов, из области туманных воззрений и опущений, вдруг перешел на почву вопросов общественных и политических... мы не думаем, чтобы его литературная и журнальная деятельность вследствие этого могла выиграть по отношению к достоинству и значению своему. И действительно: литературный отдел Вестника Европы, не смотря на участие в нем Дмитриева, Державина, Пелединского-Мелюцкого и Жуковского представляется менее интереса, нежели тот же отдел — в Московском журнале; переводный отдел — чрезвычайно слаб и не отличается ни выбором, ни изяществом передачи; критики — нѣтъ... Остается затѣм отдел политический, подразделявшийся на общее обозрение и на извѣстия и замѣчания. Но в „томъ отдѣлѣ“, не смотря даже и на замѣтную перемену во многих воззрениях, во многих взглядах и мнѣніях, Карамзинъ является намъ такимъ же утопистомъ и мечтателемъ, такимъ же горячимъ приверженцемъ сентиментализма, какимъ является онъ и во всей предшествующей своей литературной и журнальной деятельности. И нельзя не сознаться, что сентиментализмъ, мечтательность и склонность к идеализации — эти три коренных свойства Карамзина, какъ писателя — оказывались гораздо болѣе умѣстными въ примѣненіи къ общимъ вопросамъ искусства и литературы, нежели къ вопросамъ общественнымъ и политическимъ, для которыхъ быстрое и критическое разрѣшеніе начинало становиться насущною потребностью. А между тѣмъ все, что говорить по отношенію къ этимъ вопросамъ Карамзинъ, принадлежитъ положительно къ области сентиментальныхъ мечтаній, и не идетъ далѣе общихъ разсужденій о морали и добродѣтели. Такъ напримѣръ, разсуждая о крестьянскомъ вопросѣ, Карамзинъ представляетъ слѣдующимъ образомъ современное ему положеніе

крестьянъ и ихъ отношеній къ господамъ. „Просвѣщеніе истребляетъ злоупотребленіе господской власти, которая и по самымъ нашимъ законамъ не есть тиранская и неограниченная“... „Россійскій дворянинъ даетъ нужную землю крестьянамъ своимъ, бываетъ ихъ защитникомъ въ гражданскихъ отношеніяхъ, помощникомъ въ бѣдствіяхъ случая и натуры: вотъ его обязанности! За то онъ требуетъ отъ нихъ половиннымъ рабочихъ дней въ недѣлю: — вотъ его право!“... „Съ нѣкотораго времени хлѣбопашество во всѣхъ губерніяхъ приходитъ въ лучшее состояніе: отъ чего же? отъ старанія помѣщиковъ; плоды ихъ экономіи, ихъ заботъ, надѣлаютъ изобиліемъ рынки столицы“. Вслѣдъ за тѣмъ, разсуждая о томъ, что хлѣбопашество и общее благосостояніе крестьянъ значительно ухудшились-бы, если-бы крестьяне были выпущены на волю съ землею и посажены на оброкъ, „по совѣту иностранныхъ филантроповъ“, Карамзинъ къ этому разсужденію прибавляетъ, что эта система „мудрыхъ французскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ головъ“ была-бы хороша, если-бы мы, „принявъ ее, могли заснуть съ спокойнымъ по крайней мѣрѣ на цѣлый вѣкъ; но всякій изъ насъ хочетъ жить хорошо, спокойно и счастливо нынѣ, завтра и такъ далѣе. Время подвинетъ впередъ разумъ народовъ, но тихо и медленно: бѣда законодателямъ облетѣть его! Мудрый идетъ шагъ за шагомъ, и смотритъ вокругъ себя. Богъ видитъ, люблю-ли я человѣчество и народъ Русскій; имѣю-ли предрассудки, обождалъ гнусный идолъ корысти, но для истиннаго благополучія земледѣльцевъ нашихъ желаю единственно того, чтобы они имѣли добрыхъ господъ и средство просвѣщенія, которое одно, одно сдѣлаетъ хорошее возможнымъ“. И послѣ этой программы дѣйствій, начертанной для крестьянъ и ихъ отношеній къ помѣщикамъ, какъ руководителямъ, обязаннымъ заботиться о ихъ благѣ и просвѣщеніи, въ томъ же „Вестникѣ Европы“ встрѣчаемъ другую программу дѣйствій для богатыхъ представителей дворянства (т. е. для помѣщиковъ) которая, по наставленіямъ, заключающимся въ ней, указываетъ на то, что помѣщики едва-ли были способны къ выполненію роли, предназначенной имъ Карамзинымъ.

„Россія“ — говорятъ онъ, обращаясь къ по-

мѣщикамъ—„требуется отъ васъ одной разсудительности, честности, однихъ гражданскихъ и семейственныхъ добродѣтелей, требуется, чтобы вы заставляли иностранцевъ удивляться не мотовству своему, а порядку въ вашихъ имѣніяхъ и домахъ: вотъ дѣйствіе истиннаго просвѣщенія! Я послалъ-бы всѣхъ роскошныхъ людей на нѣсколько времени въ деревню, быть свидѣтелями трудныхъ сельскихъ работъ, и видѣть, чего стоитъ каждый рубль крестьянину: это могло бы излечить нѣкоторыхъ отъ суетной расточительности, платящей 100 рублей за ананасъ для десерта. „Но богатствомъ должно пользоваться?“ Безъ сомнѣнія. Во первыхъ, заплатите долги свои; во вторыхъ, приведите крестьянъ вашихъ, если можно, въ лучшее состояніе; а потомъ оставьте отечеству памятники вашей жизни. Сдѣлайте что-нибудь долговременное и полезное; учредите школу, госпиталь; будьте отцами бѣдныхъ, и превратите въ нихъ чувство зависти въ чувство любви и благодарности; ободряйте земледѣліе, торговлю, промышленность; способствуйте удобному сообщенію людей въ государствѣ: пусть этотъ новый каналъ, соединяющій двѣ рѣки, и сей каменный мостъ, благотворяніе для проѣзжихъ, называется вашимъ именемъ! Тогда иностранецъ, видя столь мудрое употребленіе богатства, скажетъ: „Россіяне умѣютъ пользоваться жизнію и наслаждаться богатствомъ!“

Подъ конецъ второго года журнальная дѣятельность стала однакоже тяготить Карамзина, который даже и задолго до этого времени, еще въ концѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія, уже начиналъ высказывать нѣкоторую наклонность къ переходу отъ литературныхъ занятій къ чисто-научнымъ.

Уже въ 1793 г., заканчивая изданіе „Московского журнала“, Карамзинъ высказывалъ о своихъ будущихъ литературныхъ трудахъ и предпріятіяхъ слѣдующее:

...„Буду учиться, буду пользоваться сокровищами древности, чтобы послѣ приняться за такой трудъ, который могъ-бы остаться памятникомъ души и сердца моего, если не для потомства (о чемъ и думать не смѣю), то по крайней мѣрѣ для малочисленныхъ друзей моихъ и пріятелей“. Въ записной книжкѣ Карамзина, въ іюнѣ 1797 года также есть замѣтка, прямо указывающая на его намѣреніе посвятить себя занятіямъ историчес-

кимъ. Эти занятія исторіею всеобщю, это чтеніе Гиббона и Робертсона, и въ особенности знакомство съ древними авторами, мало по малу навели его на мысль сосредоточить все вниманіе свое на занятіяхъ исторіею отечественною. Въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Дмитріеву, въ маѣ 1800 года, Карамзинъ уже пишетъ ему: „я по уши влѣзъ въ Русскую Исторію: сплю и вижу Никона съ Несторомъ“. Въ „Вѣстникѣ Европы“ уже ясно высказалось желаніе Карамзина перейти на поприще дѣятельности ученой: литературѣ дано было въ журналѣ положеніе второстепенное, а политикѣ и наукѣ отведено главное мѣсто. Мы уже видѣли тамъ „пробы пера“ будущаго историка. Въ іюнѣ 1803 года, Карамзинъ, въ письмѣ къ брату уже прямо говоритъ о своемъ намѣреніи писать русскую исторію: „Мнѣ хочется до того времени выдавать журналъ, пока будетъ у меня столько денегъ, чтобы жить безъ нужды, а тамъ хотѣлось-бы мнѣ приняться за трудъ важнѣйшій — за Русскую Исторію, чтобы оставить по себѣ отечеству недурной монументъ. Но все зависить отъ Провидѣнія. Будущее не наше“. Горячее желаніе поскорѣ посвятить себя выполненію своей громадной задачи заставило Карамзина иначе смотрѣть на это дѣло и не дозволило ему дожидаться того, чтобы доходъ съ журнала, хотя и весьма значительный по тому времени (6000 р. сер.), доставилъ ему возможность „жить безъ нужды и приняться за трудъ важнѣйшій“. Карамзинъ рѣшился оставить дѣятельность журнальную и просить у правительства помощи въ томъ обширномъ трудѣ, которому онъ съ такимъ самоотверженіемъ готовъ былъ посвятить все остальное время своей жизни. 28 сентября 1803, послѣ бесѣды съ другомъ своимъ, И. И. Дмитріевымъ, поддержавшимъ Карамзина въ его намѣреніи, Карамзинъ наконецъ рѣшился написать письмо къ товарищу министра народнаго просвѣщенія, М. Н. Муравьеву, воспитателю Императора Александра, извѣстному покровителю просвѣщенія, постоянно изъяслявшаго расположеніе къ его литературной дѣятельности. Письмо написано твердо и съ глубокимъ сознаніемъ своего достоинства. Карамзинъ заявляетъ о томъ, что „онъ можетъ и хотѣть писать исторію“... „не варварскую и не постыдную для царствованья Александра“, и въ видѣ помощи отъ правительства просить только того,

чтобы при назначении его историографом он был обеспечен хотя профессорским жалованьем. „Смѣю думать“, пишет Карамзинъ— „что я трудомъ своимъ заслужилъ-бы профессорское жалованье, которое предлагали мнѣ Дерптскіе кураторы, но вмѣстѣ съ должностію, неблагопріятною для таланта!“ Черезъ мѣсяцъ послѣ отправленія письма, 31 октября того же 1803 года, состоялся Высочайшій указъ Кабинету, въ которомъ значилось между прочимъ, „такъ какъ извѣстный писатель, московскаго университета почетный членъ, Николай Карамзинъ, изъявилъ намъ желаніе посвятить труды свои сочиненію полной Исторіи отечества нашего, то Мы, желая ободрить его въ столь похвальному предпріятію, Всемилостивѣйше повелѣваемъ производить ему, въ качествѣ Историографа, по двѣ тысячи рублей ежегоднаго пенсіона изъ кабинета нашего“. Вскорѣ послѣ того, другимъ указомъ, разрѣшенъ былъ Карамзину доступъ во всѣ архивы и даны ему были всѣ способы къ изученію рукописныхъ матеріаловъ древнѣйшаго періода нашей исторіи.

Такимъ образомъ, концомъ 1803 года, вмѣстѣ съ послѣднею книжкою „Вѣстника Европы“, заканчивается собственно-журнальная и литературная дѣятельность Карамзина. Весь послѣдній, почти 25-ти лѣтній періодъ его дѣятельности принадлежитъ уже не литературѣ, а наукѣ, а потому мы и не думаемъ разсматривать его на столько же подробно, на сколько подробно разсматривали мы его дѣятельность до 1803 г. Нельзя однакоже не сообщить важнѣйшихъ подробностей этого періода жизни Карамзина, тѣмъ болѣе, что она богата такими эпизодами, которые на столько замѣчательны, что могутъ быть названы единственными въ своемъ родѣ. Кромѣ того, въ теченіе этого послѣдняго періода жизни, тотъ нравственный поворотъ въ убѣжденіяхъ и возрѣніяхъ Николая Михайловича, который замѣтно сталъ проявляться уже съ конца 90-хъ годовъ, сначала въ охлажденіи къ литературѣ, потомъ въ направленіи „Вѣстника Европы“ и наконецъ въ переходѣ на чисто-ученое поприще—этотъ поворотъ постепенно привелъ Ка-

рамзина къ такимъ радикальнымъ измѣненіямъ во взглядахъ и мнѣніяхъ, которыми многихъ поразили и многихъ заставили отшатнуться отъ Карамзина, такъ какъ незамѣтно совершившаяся въ немъ перемена нравственная, въ глазахъ многихъ, бросала неблагопріятную тѣнь на безукоризненно-чистую и честную личность историографа. Чтобы нѣсколько освѣтить и пояснить эту рѣзкую перемену во взглядахъ Карамзина, необходимо прослѣдить факты его біографіи послѣ 1803 года.

Выше упоминали мы о первой женитбѣ Николая Михайловича. Первая супруга его, нѣжно-любимая имъ, жила съ нимъ очень не долго, не болѣе года. Карамзинъ овдовѣлъ и на рукахъ его осталась маленькая дочь, на которой онъ сосредоточилъ всю свою нѣжность и вниманіе. Но постоянныя, срочныя работы по журналу, а потомъ тяжкіе труды по должности историографа, отнимавшіе у него всякую возможность слѣдить за воспитаніемъ дочери, вынудили его къ вступленію во второй бракъ: въ началѣ 1804 года онъ женился на Екатеринѣ Андреевнѣ Вяземской, сводной сестрѣ извѣстнаго поэта. Погрузившись совершенно въ разработку историческаго матеріала, проводя зимы въ Москвѣ, а лѣто въ подмосковной тестя своего князя Вяземскаго—знаменитомъ селѣ Остафьевѣ (близъ Подольска)—Карамзинъ на нѣсколько лѣтъ почти удалился отъ міра. Небольшой кружокъ избранныхъ, близкихъ и давнихъ друзей, семья, переписка съ учеными и неутомимая, кропотливая, тяжелая работа надъ сырымъ матеріаломъ—вотъ въ чемъ заключалась въ то время вся жизнь Карамзина. Мы не станемъ здѣсь упоминать о томъ, сколько трудностей и какихъ именно пришлось преодолевать Карамзину при исполненіи его обширной задачи; объ этомъ ужъ такъ много было говорено и писано, что мы прямо отсылаемъ читателей, интересующихся историческимъ трудомъ Карамзина, къ книгѣ г. Погодина¹⁾, въ которой подробно изложено весь ходъ работы Николая Михайловича надъ историческимъ матеріаломъ. Не мѣшаетъ однакоже замѣтить

¹⁾ Предложеніе принять профессорскую кафедру было сдѣлано Карамзину дерптскимъ университетомъ въ мартѣ 1802 г. Другое подобное предложеніе получено было Карамзинымъ отъ харьковскаго университета, когда уже онъ былъ назначенъ историографомъ. ²⁾ М. П. Погодинъ. Н. М. Карамзинъ, по его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ. Часть II, гл. VII.

здѣсь, что, приступая къ выполнению своей задачи, Карамзинъ, даже былъ не въ состояніи составить себѣ хотя какое нибудь представление о громадности этого труда. Это видно уже изъ того, что онъ самъ писалъ къ Муравьеву, едва принявшись за свой трудъ: „въ пять-шесть лѣтъ“ — пишетъ онъ — „я надѣюсь дойти до Романовыхъ, а прежде я не намѣренъ ничего печатать“. А между тѣмъ, проработавъ почти двадцать пять лѣтъ, онъ не довелъ своей исторіи и до воцаренія Романовыхъ, не смотря на безпримѣрную усидчивость и добросовѣстное трудолюбіе. Одинъ изъ его біографовъ замѣчаетъ, что, приступая къ запискамъ исторіи, Карамзинъ, „о дѣлѣ Исторіи, особенно въ отношеніи къ приготавительнымъ, историческимъ работамъ, имѣлъ понятія очень поверхностныя; классическаго образованія онъ не получилъ и даже собственно-ученой подготовки у него не было. Онъ хотѣлъ прежде всего сочинить занимательную книгу для чтенія; онъ хотѣлъ развернуть пріятную, поразительную картину передъ взорами своихъ читателей; распространить въ обществѣ, въ народѣ, историческія свѣдѣнія, доступныя прежде только для немногихъ. Учености у него не было въ виду. Онъ надѣялся управиться при одномъ здоровомъ смыслѣ, живости воображенія, при талантѣ краснорѣчія“. Но добросовѣстное отношеніе къ дѣлу изслѣдованія, — когда Карамзинъ лицомъ къ лицу сошелся съ задачей своей въ самомъ ея исполненіи, — измѣнили совершенно направленіе его труда, вынудивъ его самого „сдѣлаться строгимъ критикомъ, многостороннимъ ученымъ“. Незамѣтно для него самого страшно разрослась его трудъ, и въ сентябрѣ 1809 г., послѣ 6 лѣтъ неутомимой работы, Карамзинъ писалъ Дмитріеву: „Въ нынѣшній годъ, почти совсѣмъ не подвинулся впередъ, описалъ только княженіе Василія Дмитріевича, сына Донскаго“.

Нельзя однакоже упустить изъ виду того, что между тѣмъ какъ неутомимый труженикъ болѣе и болѣе углублялся въ изученіе отдаленнаго прошлаго Россіи, въ мракъ давно-минувшихъ вѣковъ, онъ, весьма естественно, все болѣе и болѣе начиналъ удаляться отъ настоящаго, отставать отъ современности, происходившей предъ глазами его,

даже терять изъ виду нить, связывавшую между собою событія, и относиться, то съ недоумѣніемъ, то съ недовольствомъ ко всему, что происходило въ то время передъ его глазами въ Россіи и за границей... Эпоха реформъ, переживаемая Россією, была дѣйствительно не совсѣмъ легкою для общества и для народа, а внѣшней политикой нашей, послѣ сближенія Александра съ Наполеономъ, многіе Русскіе патриоты имѣли дѣйствительно право быть недовольными... Но изъ этого еще конечно не слѣдовало, чтобы реформы и движеніе, во главѣ котораго стоялъ талантливый Сперанскій, были вредны или ненужны для Россіи, и чтобы тяжкое прошлое, пережитое Россією до начала XVIII вѣка, было лучше того настоящаго, которое приходилось ей переживать въ первые годы царствованія Александра. Между тѣмъ, Карамзинъ, подъ вліяніемъ давно уже начавшагося въ немъ нравственнаго поворота, давно уже недовольный настоящимъ, и притомъ, по свойственной ему сентиментальности, склонный идеализировать прошлое, рѣшился въ этомъ прошломъ искать идеаловъ для настоящаго и будущаго Россіи... Одинъ изъ біографовъ Карамзина ставитъ ему это въ особенную заслугу и даже рѣшается провести такую странную параллель между Карамзинымъ и Сперанскимъ:

„Сперанскій увидѣлъ французское законодательство, какъ Петръ I Европу, очаровался, началъ преобразовывать. Карамзинъ, пройдя (при изученіи исторіи) тысячу лѣтъ безпримѣрнаго въ европейскихъ лѣтописяхъ русскаго терпѣнія, и не находя по опыту ничего лучше, полезнѣе этого терпѣнія, не видя въ современномъ положеніи Русскаго общества другихъ обезпеченій успѣха, боался ступить шагу не по столбовой дорогѣ; а Сперанскій готовъ былъ по проселкамъ мчаться хоть на тройкѣ съ колокольчикомъ ‘)“.

Но вопреки этому странному сравненію и похваламъ, которыя почтенный біографъ расточаетъ Карамзину за его идеализацію русской старины и за его консерватизмъ, мы замѣтимъ однакоже, что и этотъ консерватизмъ, и эта идеализація прошлаго были также не болѣе, какъ однимъ изъ послѣднихъ увлеченій Карамзина, и притомъ

‘) Погодинъ. См. выше II, 83.

еще увлечений, не вопли recommending критический тактъ его, какъ ученаго и какъ историка. Для насъ совершенно ясною, почти очевидною, кажется связь и этого послѣдняго увлеченія съ его давнею склонностью къ сентиментализму, который непріязненно относился къ грубой дѣйствительности (потому что о нее разбивались его мечтанія) и съ любовью, съ пристрастіемъ обращался къ отдаленному прошлому, которое такъ легко поддавалось всякой идеализации и всякимъ теоріямъ, въ связи съ отвѣченною моралью, добродѣтелью и общимъ благомъ. И вотъ, подъ вліяніемъ этого-то послѣдняго увлеченія, Карамзинъ, при изученіи Русской исторіи, пораженный апатическою неподвижностью древней Руси въ теченіе многихъ вѣковъ, принявъ эту неподвижность за основную законъ, руководящій судьбами русскаго народа... На основаніи такого страннаго взгляда, Карамзинъ создалъ себѣ какую-то странную теорію историческаго терпѣнія и постепенности, стать еще въ Вѣстникѣ Европы доказывать, что законодатель очень дурно дѣлаетъ, если „облетаетъ время“, и наконецъ до такой степени поддался своему взгляду, что даже и реформу Петра, нѣкогда приводившую его въ восторгъ, отвергнулъ какъ ненужную и вредную, какъ разрушившую правильное и мирное теченіе русской исторіи. И дѣйствительно, вооружась противъ реформы Александра, нельзя было оправдывать реформу Петра; открывъ новый законъ исторической постепенности и терпѣнія, приходилось поневолѣ отрицать все, хотя сколько нибудь похожее на реформу, какъ-бы оно въ сущности ни было полезно для русской жизни. Результатомъ новой теоріи Карамзина была извѣстная его „Записка о древней и новой Россіи“, поданная въ 1811 г. Императору Александру въ Твери, черезъ сестру его, Великую Княгиню Екатерину Павловну, по просьбѣ которой, собственно говоря, и составлена была „Записка“, такъ какъ ей чрезвычайно понравилась основная мысль ея, изложенная Карамзиннымъ въ одной изъ предшествовавшихъ бесѣдъ съ Великою Княгинею (въ Декабрѣ 1810 г.). Мы твердо увѣрены въ томъ, что Карамзинъ въ „Запискѣ“ выражалъ только лично ему при-

надлежащее мнѣніе, и нимало не хотѣлъ быть выразителемъ мнѣнія консервативной партіи, недовольной реформами Александра и Сперанскаго; однакоже „Записка о древней и новой Россіи“, представленная Карамзиннымъ Императору, по видимому, была принята именно какъ выраженіе огромнаго большинства недовольныхъ: Императоръ сначала разсердился было на Карамзина, „но вскорѣ послѣ того явно охладѣлъ и къ Сперанскому“¹⁾.

Между тѣмъ наступила во многихъ отношеніяхъ знаменательная для Россіи эпоха 1812 года, которая въ жизни Карамзина отозвалась тяжкими потерями и лишеніями. Не говоря уже о томъ, что онъ направилъ со всѣми пострадалъ отъ нашествія французовъ матеріально (подмосковная его жены была раззорена и состояніе его, довольно изрядное, сильно поколебалось), ему пришлось и въ семьѣ своей, и въ трудѣ своемъ понести невозвратимыя потери. Двое старшихъ дѣтей его, около этого времени умерли отъ скарлатины, и его великолѣпная библіотека, которую, по его собственнымъ словамъ, онъ собиралъ „дѣлую четверть вѣка“, сгорѣла въ Московскомъ пожарѣ. Уцѣлѣли только рукописи, да полный списокъ его Исторіи въ двухъ экземплярахъ: „Камоэнсъ спасъ свою Лизіаду“—такъ писалъ Карамзинъ Дмитріеву о своей Исторіи. „Мы богаты прискорбіями“... „Мысль, что будетъ? тревожитъ сердце. Толкаю себя въ правый и лѣвый бокъ, чтобы чаще взглянуть на небо; но суетная земля еще крѣпко удерживаетъ свои права на мою слабую душу. Желаю работать: только не имѣю всего, что надобно“ — такъ пишетъ Карамзинъ въ февралѣ 1813 г. къ друзьямъ своимъ изъ Ярославля, гдѣ онъ съ семействомъ своимъ вынужденъ былъ укрыться отъ нашествія. Однакоже никакія утраты не могли поколебать его трудолюбія и желанія поскорѣе окончить свой громадный трудъ. Лѣтомъ 1813 года онъ опять уже писалъ А. И. Тургеневу, ревностнѣйшему изъ своихъ друзей-помощниковъ: „Мы наконецъ совсѣмъ переѣхали въ жалкую и безобразную Москву, гдѣ все теперь неудобно и дорого“. Тамъ, на пепелищѣ Москвы и въ своей раззоренной подмосковной, Ка-

¹⁾ Погодинъ. Тамъ же, II, 82.

Карамзинъ окончивалъ исторію древнѣйшаго періода Россіи, до начала XVI в. Въ іюлѣ 1816 г. онъ писалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „...Если Богъ дастъ намъ миръ, и будемъ здоровы, то зимою опять начну поминать о Петербургѣ, чтобы издать свою Исторію, и тѣмъ доставить себѣ возможность къ воспитанію дѣтей и къ заплатѣ долга, если Богъ поможетъ. Дописываю восьмой томъ, содержащій въ себѣ завоеваніе Казани и Астрахани, а въ девятомъ надобно описывать злодѣйства царя Ивана Васильевича.“ Поминать о поѣздкѣ въ Петербургъ Карамзинъ началъ уже за два года до того времени; его привлекали туда не только удобства жизни и занятій, которыя могъ представить въ то время Петербургъ жителю Москвы, едва возникавшей изъ развалинъ; но также и тѣ милостивыя, почти дружескія приглашенія Императрицы Маріи Феодоровны, которая въ цѣломъ рядѣ писемъ побуждала исторіографа поскорѣ переселиться въ Петербургъ, предлагая готовое помѣщеніе ему въ Павловскѣ, въ Царскомъ Селѣ или въ Гатчинѣ. Императрица, при этомъ, не разъ выражала Карамзину желаніе, чтобы онъ поскорѣ перешелъ къ описанію новѣйшаго, „достопамятнѣйшаго времени, происходящаго всѣ прошедшія чудесными происшествіями“. Однакожъ, поѣздка въ Петербургъ нѣсколько и пугала Карамзина: онъ ѣхалъ туда печатать свою Исторію, и не зналъ, какъ встрѣтитъ его Императоръ, нѣкоторое время гнѣвавшійся на Карамзина за его „Записку о старой и новой Россіи“. А между тѣмъ отъ воли Императора зависѣла и участь труда Карамзинскаго, и все будущее его семейства... Къ тому же, тогда наступило время извѣстной реакціи, періодъ реформъ уже миновалъ и смѣнился другимъ, въ теченіе котораго въ значительной степени начинали сбываться идеалы, выставленные Карамзинымъ въ его „Запискѣ“, и на которыя онъ указывалъ Александрѣ, какъ на достойныя цѣли его стремленій въ будущемъ. Но, въ теоріи, эти идеалы, вѣроятно, было гораздо привлекательнѣе, нежели на практикѣ, потому что самъ Карамзинъ, собираясь въ Петербургъ (въ январѣ 1816), сталъ высказывать нѣкоторыя опасенія на счетъ того, что онъ можетъ въ Петербургъ съѣздить и возвратиться ни съ чѣмъ?... „Говорятъ, что у

насъ теперь только одинъ вельможа: графъ Аракчеевъ. Богъ съ ними и со всѣми! Не будетъ ничего безъ воли Провидѣнія“.

2-го февраля 1816 г., Карамзинъ пріѣхалъ въ Петербургъ и привезъ съ собою восемь томовъ своей исторіи, къ которой передъ отъѣздомъ изъ Москвы написалъ предисловіе и посвяtitельное письмо. Съ самаго пріѣзда въ Петербургъ начался для Карамзина тяжелый рядъ разочарованій; памятникомъ ихъ остался для потомства цѣлый рядъ писемъ, которыя слишкомъ ясно указываютъ намъ, какія горькія минуты жизни онъ переживалъ въ то время въ Петербургѣ.

Обласканный обѣими Императрицами, Великими Князьями и Великими Княгинями, которымъ давно уже былъ знакомъ не только самъ Карамзинъ, но и супруга его, встрѣчаемый во всѣхъ обществахъ съ понятнымъ восторгомъ, исторіографъ неудостоивался вниманія только самого Императора. Императоръ нѣсколько разъ приказывалъ ему передать, что онъ вскорѣ позоветъ его къ себѣ, но свиданіе это откладывалось и отсрочивалось подъ разными предлогами до тѣхъ поръ, пока Карамзинъ не догадался о настоящемъ препятствіи къ свиданію его съ Александромъ. Препятствіе это заключалось въ томъ, что Карамзинъ, принятый во всѣхъ лучшихъ обществахъ, во всѣхъ кружкахъ, не былъ съ визитомъ у всемогущаго графа Аракчеева. Напрасно съ разныхъ сторонъ и его пріятеля, и кліенты графа Аракчеева давали ему понять, что безъ визита къ графу дѣло не обойдется. Карамзинъ совершенно вѣрно замѣчалъ на это, что онъ съ графомъ не знакомъ и къ незнакомымъ людямъ съ визитомъ не ѣздитъ. Въ письмѣ къ женѣ своей онъ прямо говоритъ, намекая на этотъ вопросъ: „не хочу презирать себя...“ „не сдѣлаю ничего непристойнаго...“ И видно, что ему очень тяжело было снести свое фальшивое положеніе, потому что въ одномъ изъ писемъ къ женѣ (отъ 11 Февр.) онъ говоритъ: „отъ Государя ни слова.... что будетъ далѣе не знаю; но знаю, что 10 Марта (если не прежде) возьму подорожную, чтобы ѣхать къ вамъ назадъ и болѣе не заглядывать въ Петербургъ, хотя не могу довольно похвалиться ласками здѣшнихъ господъ и пріятелей“. Но послѣ этого письма прошло еще двѣ не-

дѣли — Государь не принималъ Карамзина. Между тѣмъ отношенія Аракчеева къ Карамзину становились баснею всего города и доходили даже до комическихъ недоразумѣний, какъ видно, напримѣръ, изъ слѣдующаго письма Карамзина къ женѣ.

„Скажу тебѣ нѣсколько словъ о вельможѣ (т. е. о гр. Аракчеевѣ): вчера войти ко мнѣ ординарецъ его, съ запискою отъ адъютанта, что графъ ждетъ меня въ 6 часовъ вечера. Догадываюсь и отвѣчаю, что не я, а братъ мой Федоръ, старинный сослуживецъ графа, былъ у него наканунѣ, не имѣвъ счастья видѣть его. Адъютантъ извиняется весьма учтиво и пишетъ, что онъ дѣйствительно ошибся, и что графъ ждетъ брата. Братъ является, и графъ съ низкимъ поклономъ говоритъ ему: „радуясь случаю познакомиться съ такимъ ученымъ человѣкомъ, тѣмъ болѣе, что я былъ нѣкогда пріятелемъ вашего брата“. Федоръ Михайловичъ отвѣчаетъ: „Ваше Сіятельство! я не Исторіографъ, а самый вашъ старинный знакомецъ“. Слѣдуютъ объятія, ласки. Открылось, что графъ ждалъ Исторіографа, узнавъ, что пріѣзжалъ къ нему Карамзинъ. Но могъ-ли я, имѣя извѣстный тебѣ характеръ, ѣхать къ незнакомому мнѣ фавориту? Это было-бы нахально и глупо съ моей стороны“.

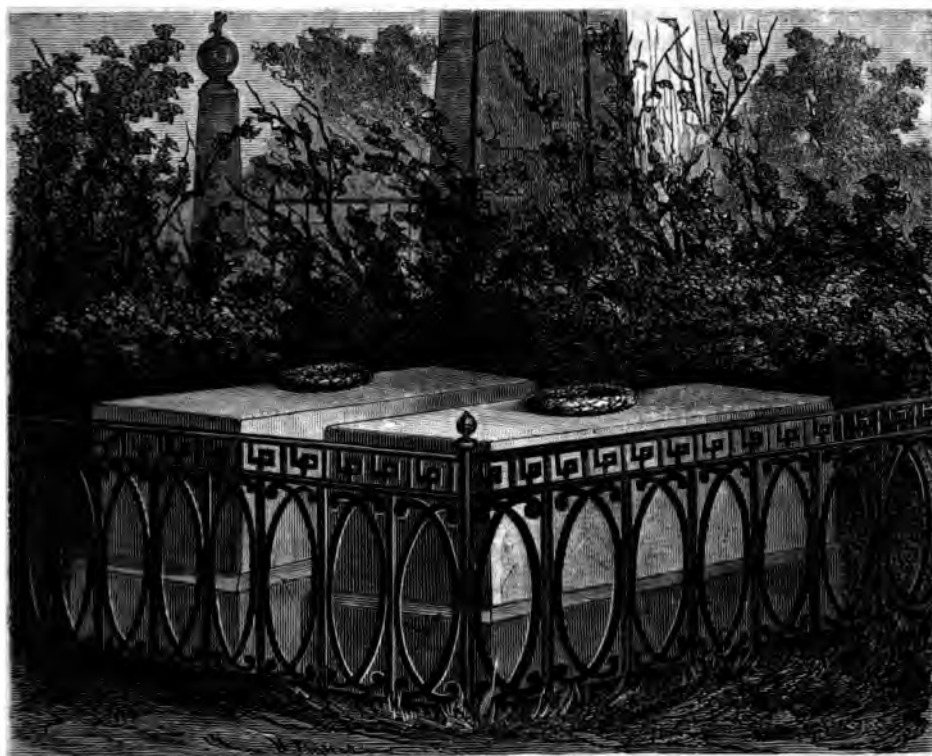
А время между тѣмъ все шло да шло; и послѣ этого эпизода вскорѣ минуло почти двѣ недѣли — а положеніе Карамзина не измѣнялось. Напрасно бодрился онъ, напрасно старался, въ письмахъ къ женѣ, показать себя равнодушнымъ и спокойнымъ, даже хвалился мужествомъ, говоря женѣ своей: „видишь, что мужъ твой Гуронъ: — не поѣхалъ къ графу Аракчееву... не воспользовался его благорасположеніемъ...“ До него стали между тѣмъ доходить слухи самаго непріятнаго свойства; такъ, напримѣръ, подъ рукою стали говорить, что казна ни въ какомъ случаѣ не отпуститъ на печатаніе его Исторіи тѣхъ 60,000 р., которыя по его соображеніямъ были такъ необходимы... Нѣсколько времени Карамзинъ еще держался своего независимаго положенія и думалъ устоять противъ гнетущей силы обстоятельствъ. Еще 2-го Марта онъ писалъ женѣ: „...если не удостоитъ меня лицезрѣнія, то надобно забыть Петербургъ: докажемъ, что и въ Россіи есть благородная и

Богу не противная гордость, продадимъ деревню и станемъ вѣкъ доживать въ Москвѣ“... Но вотъ настало и 10 Марта, которое такъ рѣшительно назначилъ Карамзинъ днемъ своего отъѣзда изъ Петербурга — и онъ все же не былъ допущенъ до Государя. А между тѣмъ ему еще разъ передали подъ рукою, что графъ Аракчеевъ желаетъ съ нимъ видѣться, и говоритъ: „Карамзинъ, видно, не хочетъ моего знакомства: пріѣхалъ сюда и не забросилъ даже ко мнѣ карточки!“ И Карамзинъ поколебался — отвезъ наконецъ карточку къ графу, а на третій день удостоенъ былъ отъ него приглашеніемъ. Непріятно и странно читать отчетъ Карамзина объ этомъ визитѣ въ письмѣ къ женѣ; cadaго невольно поражаетъ рѣзкая перемена тона въ отзывѣхъ объ Аракчеевѣ и видимое желаніе какъ будто извинить, оправдать вынужденный шагъ свой. „Я пошелъ въ немъ“ — пишетъ Карамзинъ объ Аракчеевѣ — „человѣка съ умомъ и съ хорошими правилами. Вотъ его слова: „учителемъ мнѣ былъ дядечка: мудрено-ли, что я мало знаю? Мое дѣло исполнять волю Государеву. Еслибы я былъ моложе, то сталъ-бы у васъ учиться: „теперь уже поздно“. Не думай, милая, что это насмѣшка; нѣтъ, онъ хорошо трактовалъ меня, и сказанное мною не могло подать ему повода къ такой насмѣшкѣ...“ На другой же день послѣ этого визита Карамзинъ получилъ приглашеніе явиться къ Государю, былъ тотчасъ пріятъ, обласканъ, осыпанъ милостями: и въ отчетѣ, о свиданіи съ Александромъ, Карамзинъ опять возвращается къ прежнему, утѣренному и твердому тону своему, говоритъ даже такъ: „Я предложилъ наконецъ свои требованія: все принято, даже какъ нельзя лучше: на печатаніе 60 тысячъ, и чинъ, мнѣ принадлежащій по закону. Печатать здѣсь въ Петербургѣ; весну и лѣто жить, если хочу, въ Царскомъ селѣ; право быть искреннимъ“ и т. д. На другой же день послѣ этого Карамзинъ былъ съ визитомъ у Аракчеева. „Вчера я отвезъ карточку къ графу Аракчееву“, — пишетъ онъ женѣ — „онъ догадается, что это въ знакъ благодарности учтливой. Вѣроятно, что онъ говорилъ обо мнѣ съ Императоромъ“. Нѣсколько дней спустя, Карамзинъ даже писалъ женѣ: „ты уже знаешь, другъ безцѣнный, что Государь пожаловалъ мнѣ еще Анненскую ленту че-

резъ плечо, и самымъ пріятнѣйшимъ образомъ". Вполнѣ достовѣрный разсказъ одного современника¹⁾ поясняетъ намъ смыслъ этихъ послѣднихъ словъ письма: „Государь, наградивъ Карамзина, замѣтилъ ему съ особенною выразительностью, что жалуетъ ленту не за Исторію, а за Записку. Аракчееву, какъ врагу Сперанскаго“—прибавляетъ современникъ—„не трудно было примирить Алексан-

діемъ противъ такого же замѣчательнаго и честнаго дѣятеля, какъ онъ самъ, и пріобрѣтеть ему—покровительство со стороны графа Аракчеева!

Вскорѣ послѣ того, Карамзинъ съ семействомъ своимъ переселился изъ Москвы въ Царское Село, потомъ въ Петербургъ. Около двухъ лѣтъ продолжалось печатанье перваго изданія его исторіи. Наконецъ Января



Могила Карамзина и Жуковскаго.

дра съ Карамзинимъ, который въ „Запискѣ“ своей осуждалъ (дѣятельность) Сперанскаго. ²⁾“

Каждому уважающему память Карамзина, конечно больно будетъ подумать, что такой замѣчательный человѣкъ и писатель долженъ былъ такъ дорого поплатиться за свои увлеченія древне-русскими идеалами въ „Запискѣ“: ему тогда вѣроятно и въ голову не приходило, что его „Записка“ послужитъ ору-

28-го, 1818 года, Карамзинъ поднесъ Александру полный экземпляръ своей „Исторіи Государства Россійскаго“. Черезъ 25 дней послѣ того всѣ 3,000 экземпляровъ перваго изданія были уже распроданы, и явилась потребность во второмъ изданіи. Всѣ, самыя смѣлыя надежды Карамзина сбылись вполнѣ, и будущность его семьи была обезпечена. Его „Исторія“, замѣчательный и можетъ быть даже единственный въ своемъ родѣ памятникъ

¹⁾ Графа Влудова. ²⁾ Гротъ, см. выше, стр. 41.

самоотверженной преданности наукъ и неустойчиваго, непрестаннаго труда надъ критическою разработкою сырого матеріала, была, съ этой стороны, оценена по достоинству всѣми партіями и всѣми слоями современнаго общества. Но очень многіе съ неудовольствомъ и крайнимъ сомнѣніемъ относились къ основной мысли „Исторіи“ Карамзина и изъ многихъ устъ, достойныхъ полнаго уваженія, слышались справедливые укоры историографу за его догматизмъ и предвзятость его исторической теоріи.

Остальные восемь лѣтъ жизни Карамзина протекли мирно и безопасно. Находясь въ постоянныхъ и притомъ самыхъ близкихъ, дружескихъ сношеніяхъ съ Императоромъ Александромъ и обѣими Императрицами, онъ почти каждый день, во время многихъ лѣтнихъ пребываній своихъ въ Царскомъ Селѣ, видался съ Императоромъ и нерѣдко пользовался его благодушіемъ для того, чтобы оказывать добро ближнимъ. Многіе біографы ставятъ въ особенную заслугу Карамзину то безкорыстіе, которое было имъ показано при такомъ чрезвычайномъ приближеніи къ Александру: намъ кажется, что положеніе Карамзина въ этотъ періодъ его жизни было настолько высоко и притомъ честность его убѣжденій и безукоризненная чистота его намысленій до такой степени пользуются всеобщею извѣстностью и уваженіемъ въ потомствѣ, что ставить Карамзину въ особенную заслугу это весьма естественное въ его натурѣ безкорыстіе—просто невозможно. Вся жизнь Карамзина за эти послѣдніе восемь лѣтъ сосредоточивалась въ его трудѣ, который онъ не оставлялъ до послѣдней минуты, и въ тихихъ радостяхъ семейной жизни. Жизни общественной и государственной онъ въ это время уже не замѣчалъ, или по крайней мѣрѣ старался не замѣтить: ему хотѣлось жить въ мирѣ со всѣми и съ самимъ собою.

„Вопреки обыкновенной человѣческой слабости, онъ уже рано сталъ говорить о приближеніи старости и смерти; но онъ говорилъ о нихъ безъ страха и горечи, видѣлъ въ нихъ, какъ и во всемъ, одну свѣтлую,

примирительную сторону. „Чтобы чувствовать всю сладость жизни, — писалъ онъ къ Дмитріеву за нѣсколько мѣсяцевъ передъ кончиною — „надобно любить и смерть, какъ сладкое успокоеніе въ объятіяхъ Отца. Въ мои веселые, свѣтлые часы я всегда бывалъ ласковъ къ мысли о смерти, мало заботясь о безсмертіи авторскомъ, хотя и посвятивъ здѣсь способности ума авторству“. ¹⁾ Дѣйствительно славѣ своей онъ не придавалъ большаго значенія и никогда не увлекался ею; гораздо болѣе славы радовалъ и возвышалъ его душу тотъ восторгъ, то горячее уваженіе, съ которымъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ былъ встрѣченъ цѣлою группою молодыхъ даровитыхъ писателей, которые привѣтствовали въ немъ своего учителя. Жуковский, по смерти Карамзина, всѣхъ теплѣе выразилъ отношеніе къ нему молодежи, и, въ посланіи къ Дмитріеву, такъ воспѣлъ могилу Карамзина:

«Лежитъ вѣнецъ на вранорѣ могилы,
Ей молится Россія вѣрный сынъ,
И будить въ немъ для дѣлъ прекрасныхъ силъ
Святое имя:—Карамзинъ».

Воспѣтая имъ могила Карамзина находится въ Александро-Невской лаврѣ; рядомъ съ нею завѣщалъ Жуковский похоронить и себя, и надъ своимъ прахомъ воздвигнуть точно такую же гробницу, какъ и воспѣтая имъ гробница Карамзина.

Карамзинъ скончался 22 Мая 1826 года, осыпанный милостями Императора Николая I, который не только обезпечилъ благосостояніе его семьи огромною ежегодною пенсіею (въ 50,000 рублей), но даже простеръ заботливость о здоровьи Карамзина до нелзя: въ то время, какъ Николай Михайловичъ уже доживалъ послѣдніе дни свои, по приказанію Императора приготавлился корабль, который долженъ былъ везти больного историографа въ Италію... Но онъ не дожидъ до возможности воспользоваться этою милостію.

Лѣтъ двадцать спустя, послѣ смерти Карамзина, ему былъ воздвигнутъ памятникъ на родинѣ его, въ Слмбирскѣ.

¹⁾ Акад. Гротъ, Юбилейная рѣчь въ память Карамзина (заключеніе).

XXXIII.

1. Дмитрієвъ; его литературная дѣятельность, взглядъ на поэзію и важное значеніе въ средѣ сепиниковъ. — В. А. Озеровъ; его трагедіи и несчастія. — Литературная дѣятельность его, какъ переходъ къ романтическому направленію.

ближайшими погѣдователями Карамзина — какъ представителя сентиментальнаго явленія въ нашей литературѣ и какъ тела, положившаго основаніе новому ратурному языку и слогу, явились — гріевъ и Озеровъ. То, что сдѣлано было Карамзинымъ по отношенію къ прозѣ (иной и ученой, было, при помощи этихъ хъ ближайшихъ современниковъ и пователей Карамзина, поддержано и чательно утверждено въ области поэскаго творчества. Дмитрієвъ, внося сентализмъ, какъ господствующее наленіе, въ нашъ эпосъ и лирику, въ то ремя совершенствовалъ, подъ вліяніемъ мзана, и общій складъ русскаго стиха мый составъ нашего легкаго, поэтиче) языка. Озеровъ, подъ тѣмъ же вліяніи и направленіемъ, способствовалъ окончному изгнанію съ нашей сцены ложассическихъ идеаловъ и драматичеъ произведеній, построенныхъ по прамъ теоріи... И тотъ, и другой пользоь въ свое время громкою славой и шимъ значеніемъ, благодаря тому, что умѣли облекать, въ сущности небогатое глубокое содержаніе своихъ произведевъ изящную и красивую внѣшнюю у, предъ которой преклонялись современники, какъ предъ явленіемъ новымъ и даннымъ дотогъ въ нашей литерату. Можно почти сказать, что Карамзинъ, гріевъ и Озеровъ первые способствовали въ обществѣ развитію любви къ чеблагодаря ихъ дѣятельности, внѣшль литературныхъ произведеній сдѣлана столько привлекательною и доступ, что литературные интересы стали ки и дороги всѣмъ, и вмѣстѣ съ люю къ чтенію, пристрастіе къ литературѣ концѣ прошлаго вѣка проникло въ

такіе слои общества, которые до того времени не находили въ ней удовольствія, не чувствовали въ ней необходимости.

Иванъ Ивановичъ Дмитрієвъ (род. 1760, ум. въ 1837) оставилъ намъ по себѣ довольно подробныя и во многихъ отношеніяхъ любопытныя біографическія записки, подъ названіемъ „Взглядъ на мою жизнь“. Особенно любопытною въ нихъ является та первая часть, въ которой сообщилъ онъ краткія свѣдѣнія о своемъ дѣтствѣ, отрочествѣ и юности, о своемъ воспитаніи, литературной дѣятельности и обширныхъ литературныхъ связяхъ. Записки эти писаны имъ на 66 году его жизни, въ то время, когда онъ давно уже оставилъ и литературное, и служебное свое поприще: „ноги отказываютъ служить мнѣ“ — такъ пишетъ онъ въ предисловіи къ запискамъ — „глаза мои тоже; старыя связи перевелись; новыя заводитъ трудно и не прочно: пришлось искать занятія въ самомъ себѣ и доживать воспоминаніемъ“. И воспоминанія поэта оказываются очень важнымъ историко-литературнымъ матеріаломъ, потому что не только знакомятъ насъ очень близко съ современнымъ ему взглядомъ на литературу, но еще и переносятъ насъ всецѣло въ среду понятій и воззрѣній, общихъ всей нашей сентиментальной школѣ писателей. Замѣтимъ, кстати, что литературная дѣятельность Дмитрієва не имѣетъ положительно никакой связи съ его блестящей служебной карьерой, о которой, вслѣдствіе этого, намъ едва придется упомянуть, и то мимоходомъ; онъ самъ, въ своихъ запискахъ, тщательно отдѣлялъ эти двѣ стороны жизни, которыя у него, какъ у человека вполне обеспеченнаго, независимаго и одареннаго спокойнымъ характеромъ, дѣйствительно не находились ни въ какой взаимной связи. Къ тому

же и по самой сущности сентиментальнаго направления, Дмитріевъ смотрѣлъ на поэтическую дѣятельность, какъ на нѣчто такое, что и не можетъ, и не должно имѣть тѣсной связи съ жизнью. Въ самыхъ запискахъ своихъ онъ не скрываетъ даже нѣкотораго отвращенія отъ того сближенія литературы съ жизнью, которое явно стало проявляться въ Пушкинскомъ періодѣ нашей литературы, къ которому и относится составленіе записокъ Дмитріева. „Поэзія“—говоритъ онъ въ заключеніе первой части своего „Взгляда“—„порожденіе неба, хотя и склоняетъ взоръ свой къ зем-



Дмитріевъ.

лѣ; но—здѣсь она проникаетъ въ глубину сердца, наблюдаетъ сокровенные ихъ изгибы и живописуетъ страсти, держась всегда нравственной цѣли, воспламеняется къ добродѣтели, ко всему пріятному и высокому, воспѣваетъ доблести обреченныхъ къ безсмертію. А тамъ—изливается въ удивленіи къ мірозданію, въ трепетномъ благоговѣніи къ Непостижимому. Вотъ назначеніе истинной поэзіи. Вотъ почему она и называется органомъ боговъ, а вдохновенный ею—поэтомъ“.

Дмитріевъ былъ землякъ Карамзина. Онъ родился въ родовомъ помѣстьѣ своемъ, селѣ Богородскомъ (Симбирской губ.), близъ

г. Сызрани. Раннее дѣтство свое онъ провелъ въ Казани у дяди своего со стороны матери, А. А. Бекетова, и образованіе получилъ весьма ограниченное: сначала въ пансіонѣ, въ Казани, гдѣ обучали его французскому языку, арифметикѣ и рисованію, потомъ попалъ въ руки какого-то гарнизоннаго сержанта, отъ котораго „только и слышала непостижимыя слова: искомое, дѣлимое: видѣлъ только на аспидной доскѣ цифры, и самъ ставилъ цифры же на удачу, безъ всякаго соображенія...“ Затѣмъ попалъ онъ въ новый пансіонъ уже въ Симбирскѣ, къ отставному поручику и бывшему воспитаннику Сухопутнаго кадетскаго корпуса, г. Кабриту. Въ этомъ пансіонѣ Иванъ Ивановичъ, вмѣстѣ со старшимъ братомъ своимъ, обучался французскому и нѣмецкому языку, русскому правописанію, исторіи, географіи и математикѣ. Оба ученика дѣлали замѣтные успѣхи у своего молодого и способнаго учителя, который хорошо преподавалъ и хорошо обращался съ ними, не стѣсняя свободы ихъ развитія; но, къ сожалѣнію, Иванъ Ивановичъ скоро взятъ былъ изъ пансіона и оставленъ дома, подѣ строгимъ надзоромъ отца, который, кромѣ того, еще и докучалъ дѣтямъ весьма безтолковыми занятіями: то заставлялъ ихъ заучивать наизусть діалоги, то принуждалъ долбить грамматику. „Такой ходъ ученія наводилъ на меня грусть и отвращеніе“, говоритъ Дмитріевъ, „тѣмъ болѣе, что я уже съ десяти лѣтъ набилъ голову мечтательными приключеніями. И дѣйствительно, оказывается, что, не смотря на строгій надзоръ, читать молодому Дмитріеву не препятствовали—и чтеніе не только доставляло ему удовольствіе, но и пополняло въ значительной степени весьма крупныя недостатки и пробѣлы его образованія. Иванъ Ивановичъ, указывая на тѣ романы и книги, которые онъ успѣлъ перечитать уже будучи лѣтъ десяти, добавляетъ однако же, что чтеніе романовъ не имѣло вреднаго вліянія на его нравственность. Тѣмъ болѣе, что романы эти принадлежали къ тому нравственно-поучительному роду, который чрезвычайно былъ распространенъ въ европейской литературѣ конца прошлаго столѣтія. Дмитріевъ говоритъ даже: „Похожденія Веланды, Приключенія Маркиза Г.—возвышали мою душу. Я всегда плѣнился

добрыми примѣрами, и охотно желалъ имъ слѣдовать". Первымъ знакомствомъ съ русскою поэзіею Дмитріевъ былъ обязанъ своей матери, которая уже въ дѣтствѣ любила ему декламировать отрывки изъ произведеній Сумарокова и Ломоносова. Но къ чтенію русскихъ книгъ Дмитріевъ пристрастился, впрочемъ, только уже въ то время, когда отецъ его, въ самомъ разгарѣ Пугачевщины, вынѣстъ со множествомъ другихъ дворянъ, бѣжалъ изъ Симбирска въ Москву. Руководителемъ Дмитріева въ выборѣ русскихъ книгъ былъ крѣпостной слуга одного богатаго заводчика, по имени Дороевъ Серебряковъ, „обучавшійся на изживеніи господина своего, въ славяно-греко-латинской академіи, латинской и русской словесности, а потомъ у лучшихъ московскихъ докторовъ врачебному искусству. Извѣстный лирикъ, В. П. Петровъ былъ учителемъ Дороева въ краснорѣчіи и поэзіи". Дороевъ часто принашивалъ молодымъ Дмитріевымъ „на листочкахъ оды и другіе случайные стихи своего учителя", и досадовалъ на Ивана Ивановича, находившаго языкъ Петрова тяжелымъ и неблагозвучнымъ. Въ это время Дмитріевъ познакомился и съ московскимъ театромъ, и съ твореніями Хераскова, В. Майкова, М. Н. Муравьева, „бывшаго тогда еще гвардіи Измайловскаго полка капитаномусомъ, но уже выдававшего Собраніе басенъ, Похвальное слово Ломоносову и стихотворный переводъ Петроніевой поэмы: Гражданская брань... „Между тѣмъ", прибавляетъ Дмитріевъ, слушалъ я иногда привозимые къ отцу моему стихи Сумарокова. Это были уже послѣднія искры угасающаго таланта: но тѣмъ съ большимъ участіемъ передавали ихъ изъ рукъ въ руки..."

Воспитаніе и образованіе обоихъ братьевъ Дмитріевыхъ закончилось въ полковой школѣ 1-го Семеновскаго полка, куда они были записаны еще въ 1772 году и „уволены въ отпускъ до совершеннаго возраста". Въ школу эту попалъ Дмитріевъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ на службу въ 1774 году, слѣдовательно будучи 14 лѣтъ отъ роду. Курсъ ученія былъ немногосложенъ: обучали только математикѣ, рисованію и на русскомъ языкѣ священной исторіи и всеобщей гео-

графіи". Но и этотъ скудный курсъ не долго пришлось слушать Дмитріеву; по случаю разныхъ торжествъ, гвардія была на время двинута въ Москву, а въ 1775 году, братья Дмитріевы, по ходатайству своего дяди, сенатора Н. А. Бекетова, произведены „черезъ чинъ, прямо въ фурыеры", и отпущены въ годовой отпускъ къ родителямъ.

Страсть къ поэтическимъ упражненіямъ проявилась въ молодомъ Дмитріевѣ не ранѣе 1777 года. „Не видѣвъ еще ни одной книги о правилахъ стихосложенія", пишетъ Иванъ Ивановичъ — „не имѣвъ и понятія о метрахъ, о разнородныхъ римахъ, о ихъ сочетаніи, я выводилъ строки и оканчивалъ ихъ римами — это были стихи мои". Первымъ печатнымъ опытомъ Дмитріева была стихотворная надпись къ портрету Кантемира, помѣщенная имъ въ „Ученыхъ Вѣдомостяхъ" Новикова ¹⁾. Вскорѣ послѣ того, ознакомившись ближе съ правилами поэзіи по изъясненіямъ одного сослуживца, купивъ по его совѣту и реторику Ломоносова, принявъ за образцы Сумарокова и Хераскова, И. И. Дмитріевъ успѣлъ на столько усвоить себѣ технику стиха, что сталъ довольно много писать и переводить стихами, тщательно скрывая свои литературныя занятія не только отъ знакомыхъ, но даже и отъ брата. „Писать и видѣть (стихи свои) въ печати — было для меня единственнымъ возмездіемъ; и я былъ тѣмъ доволенъ, даже и счастливъ!" Но, собственно говоря, разумно относиться къ своему стихотворству Дмитріевъ сталъ только послѣ того, какъ въ концѣ семидесятыхъ годовъ сошелся съ Карамзинымъ, который былъ на пять лѣтъ его моложе, и съ другимъ сослуживцемъ, Козлятевымъ, который былъ значительно старше его и лѣтами, и службой. Но въ эту пору юности Дмитріева, вліяніе, оказываемое на него Козлятевымъ, было гораздо сильнѣе Карамзинскаго. Козлятевъ ознакомилъ Дмитріева съ классическими произведеніями древнихъ (въ французскихъ переводахъ) и съ сочиненіями важнѣйшихъ представителей современной французской литературы; онъ же посвятилъ его и въ теорію словесности, указавъ ему на Квинтиліана, Баттѣ и Мармонтеля. „Слыша его строгія или безпристрастныя сужденія о

¹⁾ Вѣдомости эти издавались въ 1777 году въ Петербургѣ, съ января по іюнь мѣсяць.

стихахъ даже и первенствующихъ нашихъ поэтовъ, я началъ тантъ еще болѣе, особенно же отъ него, мои произведенія“, говорить Дмитріевъ; „еще болѣе сталъ чувствовать все ихъ несовершенство“.

Вскорѣ къ впечатлѣніямъ искусства прибавились еще и впечатлѣнія природы, новой и незнакомой дотошъ Дмитріеву, родившемуся и выросшему въ степной полосѣ Россіи. Лѣтомъ 1778 года гвардія выступила въ походъ въ Финляндію, и юный поэтъ (тогда только что произведенный въ офицеры) набрался множества новыхъ впечатлѣній, въ которыхъ, при его невзыскательности, и не могло быть недостатка: „Новая (бывшая) жизнь, новая даже природа, дикая, но Оссиановская, вездѣ величавая и живописная: гранитныя скалы, шумныя водопады, высокія мрачныя сосны... къ тому же сердце, еще не развращенное повсюду найдетъ для себя кроткія наслажденія... Гдѣ они рѣдкіи, тамъ болѣе дорожатъ ими. Какъ я былъ обрадованъ, увидя однажды голубой цвѣточекъ между голыхъ и огромныхъ камней! Съ какимъ удовольствіемъ проваживалъ я поздніе вечера и первыя часы утра въ неизменной хижинѣ подъ соломенной кровлею!...“

Вскорѣ послѣ того, по возвращеніи въ Петербургъ, Дмитріеву удалось познакомиться съ Державиннымъ, который, съ первыхъ же дней знакомства, доставилъ ему возможность „пробѣжать толстую рукопись“ всѣхъ своихъ стихотвореній и ввести его въ свой обширный литературно-художественный кружокъ. „Со входомъ въ домъ (Державина)“ — говоритъ Дмитріевъ — „какъ будто мнѣ открылся путь и къ Парнасу“. Успѣхи Дмитріева въ стихотворствѣ выказались въ тѣхъ первыхъ удачныхъ опытахъ его, которые появились съ именемъ автора на страницахъ „Московского журнала“, въ 1791 г. Особенно понравилась публикѣ пѣсня Дмитріева „Голубокъ“ и сказка „Модная жена“. „Любители музыки“ — пишеть онъ — „сдѣлали на пѣсню мою нѣсколько голосовъ; она полюбилась прекрасному полу; а сказка — поэтамъ и молодежи. Съ той поры и въ обществѣ Державина уже я пересталъ быть авскульптантомъ и вступилъ, такъ сказать, въ собратство съ его членами; но ничье одобреніе столько не льстило моему самолюбію, какъ одинъ пріятливый взглядъ Карамзина или Козлятева“.

Вліяніе Козлятева въ это время должно

было уже положительно уступить мѣсто вліянію Карамзина. Смѣлость, съ которою этотъ юноша-журналистъ выступилъ на литературное поприще и быстрые его успѣхи внушили Дмитріеву глубокое уваженіе къ Карамзину и всецѣло подчинили его литературную дѣятельность тому направленію, которымъ такъ увлекался тогда Карамзинъ. Вѣроятно по совѣту Карамзина, Дмитріевъ перевелъ въ томъ же 1791 году нѣсколько басенъ изъ Флоріана и Лафонтена, а скорѣ послѣ того и положительно оставилъ „громкое, риторическое одописаніе“, которому заплатилъ свои дань, и сосредоточилъ всю свою дѣятельность на мелкой лирикѣ сентиментальнаго содержанія и на переводѣ басенъ.

Чрезвычайно любопытными кажутся намъ тѣ страницы записокъ Дмитріева, въ которыхъ онъ, описывая „лучшій свой пѣнитическій годъ“, подробно знакомитъ насъ съ тѣмъ узкимъ, ограниченнымъ горизонтомъ, котораго было совершенно достаточно для того, чтобы вдохновить сентиментальнаго поэта и доставить ему возможность „запастись матеріалами для будущихъ его произведеній“. Вотъ какъ рассказываетъ объ этомъ періодѣ своей жизни самъ И. И. Дмитріевъ:

„Семьсотъ девяносто четвертый годъ былъ моимъ лучшимъ пѣнитическимъ годомъ. Я провелъ его посреди моего семейства, въ приволжскомъ городѣ Сызранѣ или въ странствованіи по Низовому краю. Здоровъ, независимъ, обезпеченъ во всѣхъ моихъ непряхотливыхъ нуждахъ, я не скучалъ отсутствіемъ шумныхъ забавъ и докучливыхъ, холодныхъ посѣщеній“. Въ это время день поэта проходилъ въ томъ, что „въ ясное утро, съ первыми лучами солнца, онъ переѣзжалъ (въ Сызрани) рѣку Крымзу, прямо противъ монастыря; и, взобравшись на высокій берегъ, хаживалъ туда и сюда, безъ всякой цѣли; но вездѣ наслаждался живописными видами, голубымъ небомъ, кроткимъ сіяніемъ солнца, вѣшнимъ и внутреннимъ спокойствіемъ“... „Вездѣ — говоритъ Дмитріевъ — „давалъ я волю своимъ мечтамъ, начиная мою прогулку всегда съ готовою въ головѣ работою. Потомъ спускался на Воложку или къ заливу Волги. Тамъ выбиралъ изъ любого сада лучшихъ стерлядей, и привозилъ ихъ въ ведрѣ къ семейному обѣду. Потомъ вложилъ на бумагу стихи, придуманные въ моей прогулкѣ. Если

бывалъ ими доволенъ, то читывалъ ихъ се-
страмъ... „Затѣмъ наступаетъ новое удо-
вольствіе: переписывать стихи мои набѣло
для отсылки къ Карамзину. Съ какимъ не-
терпѣніемъ ожидалъ отъ него отзыва! Съ ка-
кою радостію получалъ его! Съ какимъ удо-
вольствіемъ видѣлъ стихи мои уже въ печа-
ти! Каждое письмо моего добраго друга бы-
ло поощреніемъ для дальнѣйшихъ стихо-
творныхъ занятій. Здѣсь-то (въ Сызрани),
въ роскошную пору весны, въ тонкомъ су-
мракѣ тихаго вечера мелькнули передъ мной
безмолвные призраки Ермака и двухъ ша-
мановъ ¹⁾“. Почти также проводитъ поэтъ
свой день и во время поѣздки своей по Вол-
гѣ, когда въ томъ же году отправился въ
Царицынъ навѣстить своего дядю. „Не могу
я теперь вспомнить безъ удовольствія тѣхъ
дней, которые провелъ я въ плывучемъ до-
мѣ,—особенно же каждое утро! Время было
прекрасное: начало лѣта. Въ каютѣ моей
помѣщалось только столикъ, одинъ стулъ,
кровать, а надъ нею полка съ моими книга-
ми. По восходѣ солнца выходилъ я изъ тѣ-
сной моей спальни на палубу съ Аріостомъ
въ рукахъ (съ французскимъ переводомъ
„Неистоваго Роланда“); за мною выносили
столъ, и ставили на немъ серебряный при-
боръ для кофея—я самъ варилъ его. Судно
наше танулось плавно и неслоь быстро на
нарусахъ въ полной безопасности отъ мелей
и бурь... Съ наступленіемъ вечера, я спу-
скался въ каюту, и ожидалъ вдохнове-
нія музы. Въ этомъ то уголкѣ написаны:
ода „къ Волгѣ“ и сказка „Искателя Фор-
туны“

Какъ немного было нужно для того, что-
бы вдохновить музу сентиментальнаго поэ-
та — можно видѣть изъ его же словъ: такъ,
напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ своихъ запи-
сокъ онъ рассказываетъ слѣдующее:

„Никогда не забуду меланхоличе-
скаго, но какъ-то пріятнаго впечатлѣ-
нія, испытаннаго мною однажды въ поло-
женіи путника. Съ наступленіемъ вечера
въѣзжаю я въ околицу большаго селенія, и
нагоняю толпу поселянъ обоаго пола, возвра-
щающихся съ полевой работы. Черезъ всю де-
ревню я велѣлъ ѣхать шагомъ, чтобъ не раз-
лучиться съ ними. Долго слѣдовали они за

мною и оглушали меня своими пѣснями, по-
томъ разсыпались въ разныя стороны; меж-
ду тѣмъ я продолжаю путь мой, и веселыя
пѣсни еще отзываются въ ушахъ моихъ. До-
стигаю до конца селенія, и вижу поселяни-
на, въ глубокой старости, сидящаго на за-
валинкѣ послѣдней хижинны и держащаго на
колѣняхъ своихъ младенца. Вѣроятно это
былъ внукъ его. Старикъ глядѣлъ спокойно;
послѣдніе лучи солнца падали на обнажен-
ное темя его. Путешествіе, младенецъ
въ противоположности съ старцемъ,
поющая молодость, закатъ солнца —
все это представило мнѣ яркую кар-
тину жизни во всѣхъ возрастахъ, и
конецъ ея“.

Въ этомъ отрывкѣ особенно ясно пред-
ставляется намъ весь процессъ стихотво-
рныхъ занятій Дмитріева: мы почти ви-
димъ, какъ онъ, отдѣляя поэзію отъ жизни
на основаніи взглядовъ сентиментальной
школы, видитъ себя вынужденнымъ запа-
саться впечатлѣніями, видоизмѣнять,
преувеличивать значеніе происходящихъ око-
ло него явленій, искать около себя элемен-
товъ, достойныхъ поэзіи. На этомъ осно-
ваніи Дмитріевъ и указываетъ, напримѣръ,
на путешествіе, какъ на нѣчто весьма по-
лезное поэту. „Одна недѣля пути“ — гово-
рить онъ — „можетъ обогащать его за-
пасомъ идей и картинъ по крайней
мѣрѣ на полгода. Всегда подъ открытымъ
небомъ, свидѣтель великолѣпнаго восхожде-
нія солнца, вечернихъ сценъ, озлащаемыхъ
послѣдними его лучами; безмолвной величе-
ственной ночи, усѣянной звѣздами, или освѣ-
щаемой полною и кроткою луною: онъ вдыхаетъ
въ себя большое благоговѣніе къ Непос-
стижимому. Будучи одинокъ, никѣмъ не раз-
влеченъ, наблюдатель и нравственнаго, и фи-
зическаго міра, онъ входитъ самъ въ себя, съ
большою живостью принимаетъ всякое впечат-
лѣніе. Самое надъ нимъ пространство, не-
достигаемое и безпредѣльное, возвышается въ
немъ душу и расширяетъ сферу его вообра-
женія“. Результатомъ „пѣническаго года“
были тѣ стихотворенія, которыя болѣе все-
го способствовали прославленію Дмитріева
въ современномъ ему обществѣ: Гласъ Па-
тріота (на взятіе Варшавы), Чужой Толкъ,

¹⁾ Известное стихотвореніе Дмитріева «Ермакъ» состоитъ изъ разговора двухъ шамановъ сибирскихъ; одинъ изъ нихъ рассказываетъ о томъ, какъ Ермакъ завоевалъ Сибирь.

Ермакъ и сказки: Воздушныя башни, Причудница и Посланіе къ Державину. Вскорѣ послѣ того, въ 1758 году, когда Карамзинъ, по прекращеніи „Московского Журнала“, собралъ всѣ напечатанныя въ немъ свои произведенія подъ названіемъ „Мои бездѣлки“, — Дмитріевъ послѣдовалъ его примѣру и также издалъ въ свѣтъ собраніе своихъ стихотвореній, подъ общимъ названіемъ: „И мои бездѣлки“.

Послѣ 1795 года, когда Дмитріевъ оставилъ военную службу, и до самаго начала изданія „Вѣстника Европы“, онъ почти ничего не писалъ и не печаталъ, отвлекаясь сначала трудною гражданскою службою¹⁾, и потомъ хлопотами по устройству своего состоянія. Когда же въ 1802 г. онъ поселился въ Москвѣ, и снова увидѣлъ себя въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ Карамзиннымъ и со всѣмъ кружкомъ старыхъ и молодыхъ московскихъ литераторовъ, въ немъ опять, на досугъ, проявилась охота къ „стихотворнымъ занятіямъ“. Но съ этого времени, онъ уже посвятилъ себя дѣятельности переводческой, и занялся преимущественно перенесеніемъ на нашу литературную почву басенъ Лафонтена. Съ нѣмецкими баснописцами онъ не могъ быть знакомъ, потому что не зналъ нѣмецкаго языка; но переводы басенъ Лафонтена составляютъ конечно самую видную часть его литературной дѣятельности, вмѣстѣ съ нѣсколькими сатирическими его произведеніями. „Съ появленіемъ Вѣстника Европы въ 1802 г., я обратился опять къ музамъ“ — говоритъ Дмитріевъ. „Но развлеченный невольно городскою жизнью, хотя и не былъ работѣльнымъ данникомъ свѣта; ослабѣвая притомъ въ здоровьѣ, я уже началъ терять живость воображенія и занимался болѣе подражаніемъ иноземнымъ басенникамъ. Вскорѣ затѣмъ, я занемогъ продолжительною и важною болѣзнію“... „Только уже въ продолженіи осени я началъ оправляться и въ этомъ состояніи написалъ басни: Пѣтухъ, котъ и мышенокъ, Царь и два пастуха, Летучія рыбы, Воспитаніе Льва, Каретныя лошади“²⁾.

Въ концѣ первой части своихъ записокъ Дмитріевъ бросаетъ на всю свою литера-

турную дѣятельность общій взглядъ, замѣчательный по своей искренности и вѣрности. Упоминая о первомъ періодѣ своего стихотворства, онъ говоритъ: „Вся моя работа (тогда) была только объ томъ, чтобы стихи мои были менѣе шероховаты, чѣмъ у многихъ. Одну только плавность стиха и богатую риму я считалъ красотою и совершенствомъ поэзіи. Но въ то время у насъ едва-ли не также думали не только читатели, но и самые первостепенные стихотворцы“. И въ этихъ немногихъ, искреннихъ словахъ, совершенно вѣрныхъ дѣйствительности, мы слышимъ изъ устъ Дмитріева безпристрастный приговоръ дѣлому предшествующему періоду нашей поэзіи. Далѣе, говоря о томъ, что трудная гражданская служба заставила его надолго покинуть литературныя занятія, Дмитріевъ замѣчаетъ: „привыкнувъ въ молодости писать урывками, я не могъ уже и въ зрѣломъ возрастѣ высидѣть за бумагой около часа: не терпѣливъ былъ обдумывать предпринимаемую работу. При малѣйшемъ упорствѣ рѣмы, при малѣйшемъ затрудненіи въ краткомъ и ясномъ изложеніи мыслей моихъ, я бросалъ перо въ ожиданіи счастливѣйшей минуты: мнѣ казалось унизительнымъ ломать голову надъ парой стиховъ и насильствовать самого себя, или самую природу. Отъ того, можетъ быть, и примѣчается, даже самымъ мною, въ стихахъ моихъ скудость въ идеяхъ, болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслія и силы. Отъ того послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣтъ обширной основы“.

Этотъ отзывъ Дмитріева о собственной поэтической дѣятельности до такой степени скромный, что нельзя не припомнить здѣсь важнѣйшую заслугу его по отношенію къ современной русской литературѣ: ту заботливую выработку русскаго стиха и легкаго поэтическаго выраженія, въ которыхъ до него чувствовался положительный недостатокъ. Въ этомъ отношеніи онъ принесъ несомнѣнную пользу и облегчилъ путь слѣдовавшему за нимъ поколѣнію поэтовъ. Все, что написано Дмитріевымъ, кромѣ громкихъ одъ и чисто-реторическихъ произведеній.

¹⁾ Съ 1796 г. по 1800 онъ состоялъ на службѣ сначала въ Сенатѣ, потомъ товарищемъ министра по вновь учрежденному департаменту удѣльныхъ имѣній. ²⁾ См. «Взглядъ», стр. 81.

написано легко и читается свободно; многія басни его до сихъ поръ не утратили еще своего литературнаго достоинства.

Но при всѣхъ этихъ достоинствахъ, нельзя не согласиться съ Дмитріевымъ, когда онъ говоритъ, что „онъ долженъ быть признателенъ къ счастливой звѣздѣ своей“ и замѣчаетъ, что едва-ли кто изъ его современниковъ проходилъ авторское попріище свое „съ меньшею заботою и съ большею удачею“. Дѣйствительно, имя его, благодаря тѣсной связи съ Карамзинымъ, а черезъ него и съ двумя важнѣйшими современными журналами (Московскимъ журналомъ и Вѣсти. Европы), приобрѣло громкую извѣстность со времени появленія въ свѣтъ двухъ первыхъ удачныхъ стихотворныхъ опытовъ его, и стало почти неразлучно съ именемъ Карамзина. Всѣ говорили: Карамзинъ и Дмитріевъ—какъ бы равня ихъ въ авторской славѣ и въ заслугахъ по отношенію къ отечественной литературѣ. Мало того, реформы, произведенныя Карамзинымъ въ нашемъ литературномъ языкѣ и слоги, возбудили противъ него многихъ, многихъ: отъ него оттолкнули и даже побудили противоположную ему партію старыхъ литераторовъ сплотиться въ ученое общество, поюжившее себя цѣлью — противодействовать во что-бы-то ни стало Карамзинскимъ нововведеніямъ въ литературномъ языкѣ. Во главѣ общества явились Державинъ, А. С. Шишковъ — и Дмитріевъ, тотъ самый Дмитріевъ, который положительно принадлежалъ, и по языку, и по духу своихъ произведеній, къ наиболѣе виднымъ представителямъ карамзинской школы. Всѣ члены «Бѣды», какъ бы не замѣчая этого, относились къ Дмитріеву съ величайшимъ уваженіемъ, указывали на него, какъ на преемника Державинской славы и какъ на опору главенщизны. А. С. Шишковъ, сдѣлавшись председателемъ Россійской Академіи, даже способствовалъ тому, чтобы Дмитріевъ получилъ отъ Академіи большую золотую медаль съ лестною подписью: „Россійскому языку пользу принесшему“ — отъ, собственно говоря, эту медаль, по справедливости, слѣдовало-бы поднести не Дмитріеву, а Карамзину. Когда Дмитріевъ выдалъ въ свѣтъ „И мои бездѣлки“, и

потомъ надолго замолкъ, занимаясь исключительно службою, этого небольшого сборника стихотвореній было совершенно достаточно для того, чтобы положить основу его славѣ, какъ поэта и литератора, а полное отсутствіе всякаго опредѣленнаго направленія и дружескія отношенія, поддерживаемыя съ двумя противоположными литературными лагерями, много способствовали его успѣхамъ на службѣ и въ жизни. Нѣкоторые изъ этихъ успѣховъ превышали даже всякое вѣроятіе. Такъ напр., уже будучи (съ 1806) сенаторомъ, Дмитріевъ неожиданно получилъ въ 1807 году отъ Графа Завадовскаго (Министра Народнаго Просвѣщенія) предложеніе занять мѣсто попечителя при Московскомъ Университетѣ, которое до него было занято однимъ изъ образованнѣйшихъ людей того времени — М. Н. Муравьевымъ. Дмитріевъ благоразумно отказался, и чрезъ три года послѣ того сдѣланъ былъ министромъ юстиціи (1810—1814.). Годъ назначенія его министромъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднимъ годомъ его литературной дѣятельности. Упомянувъ о томъ высокомъ общественномъ положеніи, которое въ этотъ періодъ Александрова царствованія занималъ Дмитріевъ, мы не можемъ здѣсь же, кстати, не упомянуть, что мѣсто Московскаго попечителя, а впослѣдствіи и высокое званіе Министра Народнаго Просвѣщенія чуть было не достались Карамзину; но Карамзинъ, какъ человекъ болѣе опредѣленнаго характера и направленія не получилъ ни того, ни другаго назначенія: ему были предпочтены другіе... Спокойно и счастливо достигнувъ верха почестей гражданскихъ и громкой, авторитетной извѣстности въ литературѣ, Дмитріевъ, покинувъ службу, также спокойно и счастливо доживалъ свой долгій вѣкъ въ Москвѣ, всѣмъ уважаемый, и прославленный, наперерывъ избираемый въ почетные и дѣйствительные члены всевозможныхъ русскихъ ученыхъ и „другихъ благонамѣренныхъ обществъ въ Имперіи“¹⁾. Ему пришлось быть свидѣтелемъ наступленія и полной, широкой дѣятельности новаго Пушкинскаго поколѣнія молодыхъ русскихъ писателей; онъ даже и умеръ въ одинъ годъ съ Пушкинымъ. Мы, конечно, не можемъ удивляться тому, что другъ Карамзина и современникъ славы

¹⁾ Вглядѣ на мою жизнь, стр. 93.

Державина не вполне справедливо относится къ успѣхамъ поэтовъ Пушкинской школы; но каждого конечно долженъ удивить тотъ чрезвычайно странный отзывъ, который былъ сдѣланъ о Дмитріевѣ однимъ изъ представителей нашей учености въ письмѣ о кончинѣ и погребеніи Дмитріева: „Мы привыкли—пишетъ ученый—„видѣть въ Дмитріевѣ и Карамзина, и Державина, и Богдановича; онъ былъ для насъ представителемъ лучшаго времени, когда литература наша была чище, благороднѣе, прекраснѣе. Что скажетъ онъ Карамзину на его вопросъ (sic!) о теперешнемъ ея состояніи? Мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ, купующія и продающія, и нѣтъ бича-изгонителя, и какіе виды въ будущемъ!“... Затѣмъ слѣдуютъ похвалы такого содержанія: „Человѣкъ почтенный — пишетъ ученый — ..., въ рангѣ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника, онъ любилъ литературу; съ тремя звѣздами, онъ пріѣзжалъ во всякое ученое собраніе; Министръ Юстиціи, онъ оставилъ послѣ себя только 600 родовыхъ душъ; русскій помѣщикъ—безъ долговъ; поэтъ—умолкнувшій во время; старикъ, съ которымъ всегда пріятно было проводить время, пріятливый, ласковый. Да почтѣтъ въ мирѣ прихъ его! а имя его останется на всегда незабвеннымъ въ исторіи русской литературы“. ⁴⁾ Не слѣдуетъ забывать того, что это все было писано вскорѣ послѣ смерти Пушкина и притомъ въ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ періодовъ нашей литературы. Мы имѣемъ основаніе думать, что и будущія, болѣе насъ строгія въ литературной критикѣ поколѣнія не отнимутъ, можетъ быть, у Дмитріева то мѣсто, которое по заслугамъ принадлежитъ ему въ нашей литературѣ: но они конечно съумѣютъ похвалить его съ большимъ достоинствомъ...

Рядомъ съ Дмитріевымъ, въ числѣ первыхъ послѣдователей сентиментальной школы, заслуживающихъ вполне вниманія литературной критики, слѣдуетъ безъ сомнѣнія, поставить нашего извѣстнаго драматурга, Владислава Александровича Озерова (род. 1769 г., ум. 1816 г.). Къ сожалѣнію, мы имѣемъ о жизни этого замѣчательнаго писате-

ля весьма скудныя свѣдѣнія, и его біографія, любопытная во многихъ отношеніяхъ, извѣстна намъ гораздо менѣе, нежели біографія Хемницера, значительно обогатившаяся фактами за послѣднее время.

В. А. Озеровъ родился въ Тверской губерніи, въ Zubцовскомъ уѣздѣ, и, какъ кажется, рано лишился матери. Отецъ его, женившійся вторично, отвезъ его въ Петербургъ и отдалъ въ тотъ же Сухопутный Шляхетный корпусъ, который уже воспиталъ Сумарокова и, вслѣдъ за нимъ, многихъ нашихъ писателей прошлаго вѣка. Въ 1787 году Озеровъ былъ выпущенъ изъ корпуса поручикомъ, поступилъ въ адъютанты къ графу де-Бальмену и участвовалъ въ занатіи Бендеръ Потемкинымъ (1789). Потомъ, возвратясь въ Петербургъ, Озеровъ состоялъ на службѣ адъютантомъ при директорѣ корпуса, графѣ Ангальтѣ; на смерть этого графа Ангальта Озеровъ написалъ французскіе стихи, принадлежащіе къ числу его первыхъ опытовъ литературныхъ и свидѣтельствующіе о томъ, что онъ, обладалъ блестящимъ по тому времени свѣтскимъ образованіемъ. Князь Алексѣй Борисовичъ Куракинъ перевелъ его въ Лѣсной департаментъ, гдѣ онъ и пользовался особеннымъ покровительствомъ знаменитаго адмирала Рибаса. Озерова переименовали генералъ-маіоромъ и онъ, по должности своей, объѣзжая лѣса Казанской и Сибирской губерній, успѣлъ, въ теченіе семи лѣтъ этой трудной и усердной службы, доставить казнѣ весьма значительныя выгоды.

На литературное поприще Озеровъ выступилъ въ 1794, напечатавъ иронію „Элоиза къ Абеларду“, вольный переводъ изъ Коллардо, къ которому переводчикомъ приложено было и краткое изложеніе исторіи несчастной любви этихъ двухъ прославленныхъ средними вѣками любовниковъ-страдальцевъ. Къ этому же времени, т. е. къ концу 90-хъ годовъ, относятся вѣроятно и нѣкоторые мелкія стихотворенія Озерова, преимущественно оды, посланія и басни, не представляющія впрочемъ ничего новаго и замѣчательнаго. Только одно изъ этихъ стихотвореній можетъ еще привлечь вниманіе современнаго читателя:—это „Гимнъ богу любви“, отличающійся силою и гладкостью стиха и

⁴⁾ Письма М. П. Погодина, приложенныя къ стр. 305 — 306.

«Взгляду на мою жизнь». См. тамъ письмо 2-е.

оригинальнымъ сопоставленіемъ восхваленій въ честь любви, разливающей всюду благо и счастье, населяющей землю, съ яркой картиной злодѣйства, которое вмѣстѣ съ тиранствомъ старается всѣми силами о томъ, чтобы эти блага любви уничтожить, стереть съ лица земли.

Въ 1798 году Озеровъ поставилъ на сцену свою первую и не вполне удачную трагедію: „Ярополкъ и Олегъ“, въ которой подражалъ своимъ предшественникамъ на русской сценѣ: Сумарокову и Княжнину, автору извѣстныхъ трагедій: „Росслава“ и „Клеопатры“. Въ произведеніяхъ Княжнина русская трагедія представляла собою до такой степени безцвѣтное подражаніе ложно-классической трагедіи французской, что трагическій родъ на русской сценѣ начиналъ утрачивать всякое значеніе и скорѣе наводилъ на современниковъ скуку, внушалъ имъ отвращеніе ко всему трагическому, нежели служилъ полнымъ и яснымъ истолкованіемъ явленій жизни, носящихъ на себѣ отпечатокъ трагизма.

Но во второй своей трагедіи, „Эдинъ въ Аѳинахъ“—поставленной на сцену въ 1804 г. и посвященной Державину,—Озеровъ уже выступилъ на новую дорогу и обратилъ на себя общее вниманіе тѣмъ новымъ элементомъ чувства, которому онъ, подъ вліяніемъ сентиментальной школы, далъ первое по значенію мѣсто въ развитіи своихъ драматическихъ характеровъ. Впечатлѣніе, произведенное Эдиномъ на публику, было до такой степени сильно, успѣхъ автора въ литературныхъ кружкахъ былъ такъ великъ, что у молодого поэта, осыпаннаго похвалами, голова закружилась отъ счастья. Державинъ (которому трагедія была посвящена) и В. В. Капнистъ привѣтствовали Озерова поздравленіями, въ которыхъ одинаково убѣждаютъ его идти „славною стезею“ и презирать „зловѣщихъ злоумышленниковъ“.

Въ слѣдующемъ же году явилась новая трагедія Озерова — „Фингалъ“, содержаніе которой заимствовано было изъ сборника Оссіановыхъ пѣсенъ, въ передѣлкѣ Макъ-Ферсона, надѣлавшей столько шума въ Европѣ. Мрачный оссіановскій колоритъ сѣверной природы и быта тогда входилъ въ моду въ нашей поэзіи; Озеровъ его придалъ дѣйствию своей трагедіи, и это способствовало успѣху „Фингала“ на сценѣ. Содержа-

ніе Фингала, эффектное, разнообразное, богатое дѣйствіемъ и рѣзкими противоположностями въ драматическихъ характерахъ, особенно пришлось по душѣ современнымъ представителямъ тогда только еще зарождавшейся у насъ романтической школы. Вотъ что говоритъ одинъ изъ нашихъ романтиковъ о „Фингалѣ“ Озерова:

„Въ трагедіи Фингалъ одно только трагическое лицо: Старръ. Сынъ его Тоскаръ убитъ былъ Фингаломъ, и всѣ чувства родительскія,—пѣжная любовь къ сыну, стѣнованіе о немъ—соединились въ одно:



Влад. Озеровъ

въ желаніе мести. Фингалъ, побѣдитель и убійца Тоскара, влюбленъ въ его сестру Монну, которая отвѣчаетъ его страсти. Старръ скрываетъ свое негодованіе отъ дочери, не раздѣляющей ненависти его къ побѣдителю сына, и, вмѣсто обѣщаннаго брачнаго торжества, хочетъ принести Фингала въ жертву мести своей, на холмѣ надгробномъ Тоскара. Вотъ одна трагическая сторона поэмы Озерова! Онъ съ искусствомъ умѣлъ противопоставить мрачному и злобному Старру, таящему въ глубинѣ души преступныя надежды, взаимную и просто-

Оленину на это извѣщеніе о представленіи Поликсены:

„Если третье дѣйствіе нѣсколько поразило слушателей“ — пишетъ Озеровъ, „то обязаны они снѣ удовольствіемъ Еврипиду, у котораго я занялъ почти весь разговоръ Гекубы съ Улиссомъ: доказательства, что языкъ природнаго чувства есть языкъ всѣхъ народовъ. Стоятъ и моленія Гекубы извлекали слезы изъ глазъ Аѳиняны и всѣхъ Грековъ, и они же черезъ двѣ тысячи и болѣе лѣтъ поразили зрителей въ Петербургѣ, гдѣ съ небольшимъ за сто лѣтъ молчаливо протекали межъ болотъ Невскія струи, изображая въ водахъ своихъ печальныя ели, въковыя сосны и тощія берега. О, безсмертный Еврипидъ!... Но болѣе еще безсмертенъ Петръ Великій, истинный отецъ отечества, который просвѣщеніемъ своихъ подданныхъ открылъ имъ новый источникъ наслажденій: наслажденій сердца и ума“. И въ томъ же письмѣ, немного далѣе, Озеровъ напоминаетъ Оленину объ условіи, подѣ которымъ Поликсена была имъ отдана въ распоряженіе дирекціи театра: „послѣднюю несправедливость терплю отъ Александра Львовича (Нарышкина)¹⁾; не онъ-ли обѣщалъ вамъ въ письмѣ, что онъ дастъ предписаніе кому слѣдуетъ для доставленія къ вамъ требуемыхъ сочинителемъ трехъ тысячъ рублей послѣ втораго ея представленія? Два раза Поликсена играна, почему-же теперь отлагаетъ А. Л. платежъ до 3-яго представленія? Убѣдительнѣе васъ прошу требовать мою трагедію отъ редакціи обратно, не допуская, чтобы она въ третій разъ была играна, или бы представлена было у двора. Для моей славы довольно и двухъ представленій; для имени А. Л. довольно и сей его неправды противъ меня“.

Трагедія не появлялась болѣе на сценѣ, по желанію автора, по и деньги за представленія ея на петербургской сценѣ также ему уплачены не были, подѣ предлогомъ того, будто-бы трагедія его „на сценѣ успѣха не имѣла“. Однако же подробныя разслѣдованія послѣдняго времени доказали, что сѣтованія Озерова противъ А. Л. Нарышкина были не совсѣмъ справедливы. Директоръ театра исполнилъ по отношенію къ автору то, что предписывала ему служебная обязан-

ность: онъ ходатайствовалъ о выплатѣ требуемой имъ суммы, присовокупляя отъ себя только то, что „въ два представленія сей трагедіи дирекція собрала 1,846 р. 25 коп., изъ чего и заключая, что сія трагедія не можетъ быть выгодна для оной, остановилась се представлять. Но дабы у автора, сдѣлавшаго уже себѣ нѣма прежними твореніями, не отнять охоты къ сочиненію впредѣ, не смотря на малый успѣхъ его послѣдней трагедіи, дирекція, не имѣя суммъ на занятую за оную, испрашиваетъ на сіе Высочайшаго соизволенія“. Но Высочайшаго соизволенія на это не воспослѣдовало, и въ отвѣтъ Императора Александра, вообще столь благодушнаго и милостиваго, замѣтно явное недовольство поэтомъ, возбужденное какими-то доселѣ еще не разъясненными обстоятельствами. „Въ условіи дирекціи“ — такъ значитъ, въ отношеніи князя А. Н. Голицына къ А. Л. Нарышкину по поводу доклада о Поликсенѣ — „сдѣланномъ съ г. Озеровымъ, именно сказано было: „если трагедія будетъ имѣть успѣхъ и принесетъ ей выгоды“, тогда она должна ему заплатить 3,000 р.; но, какъ усматривается, что та трагедія не можетъ быть для дирекціи выгодна, то въ такомъ случаѣ и платить за нее ничево не слѣдуетъ“.

Вѣроятно эта неудача побудила Озерова еще болѣе замкнуться въ своемъ уединеніи, еще болѣе стараться забыть о своей литературной дѣятельности и всѣхъ огорченіяхъ, принесенныхъ ему литературною извѣстностью.

Именно этими чувствами дышетъ его нисѣмо къ книгопродавцу Занкину, писанное около этого времени (10 Дек. 1808), въ отвѣтъ на предложеніе издать вторымъ изданіемъ сочиненія Озерова, быстро раскупленной публлкою. „Благодарю Васъ — пишетъ Озеровъ — за предложеніе о второмъ изданіи моей трагедіи Дмитрій Донской, которое вызываетъ вы принять на себя... Признаюсь вамъ, что и на первое изданіе нѣкоторыхъ моихъ трагедій я согласился по однимъ убѣжденіямъ моихъ пріятелей, никогда не бывъ любопытенъ видѣть въ печати то, что я писалъ единственно по склонности моей къ театральнымъ зрѣлищамъ, и безъ всякаго исканія званія автора и стихотворца. И такъ, не желая печатать во

¹⁾ Директоръ театровъ.

второй раз Дмитрія Донскаго, тоже издать въ печать послѣднюю мою трагедію Поликсена, я обязываюсь, въ отвѣтъ на ваше письмо, симъ извѣстять васъ о моемъ расположеніи¹⁾.

Въ деревнѣ началъ Озеровъ еще одну трагедію: Медею; неизвѣстно, куда дѣвалась она... Говорятъ, будто въ припадкѣ меланхоліи онъ сжегъ начало этой трагедіи, вмѣстѣ съ планами двухъ другихъ („Вельгаръ, Варягъ-мученикъ при Владиміръ“ и „Осада Дамаса“)... Въ письмахъ къ Оленину Озеровъ много и подробно говорилъ о намѣреніи своемъ избрать сюжетъ для трагедіи изъ нашей исторіи XVIII вѣка: „Я весьма расположенъ приняться за сочиненіе новой трагедіи, взятой изъ нашей исторіи, изъ царствованія императрицы Анны Іоанновны. Можетъ быть, я вамъ уже говорилъ, въ бытность мою въ Петербургѣ, о смерти Волинскаго, пострадавшаго отъ Бирона за правду и защиту русскаго народа“; за сіе сочиненіе желалъ-бы я приняться, но не имѣю источниковъ, изъ которыхъ-бы занять пужныя свѣдѣнія о всѣхъ обстоятельствахъ сего дѣла.... Я чувствую самъ, что такая трагедія никогда не можетъ быть играна на нашемъ театрѣ, но примусь ее писать для моихъ пріятелей. И какое широкое поле для сочинителя, чтобы показать во всемъ блескѣ правду русскаго боярина, должностъ вельможи и сенатора, и противоположить злоупотребленіи временщика иностранца, алчущаго одной своей корысти, и, можетъ быть, ненавидящаго народъ, вѣрноподданный управленію его слабою государынею; и наконецъ представить несчастное положеніе народа подъ слабымъ и недовѣрчивымъ правленіемъ! Вы чувствуете, какія истинныя картины можно изобразить, занимствуя кое-что изъ нашихъ временъ“... Но этому широкому плану, въ выполненіи котораго Озерову конечно болѣе всего хотѣлось излить ту желчь и недовольство, которыя вызывались у него нѣкоторыми современными условіями русской общественной жизни и понесенными имъ неудачами—этому плану не суждено было исполниться. Возбужденное состояніе духа, дурное положеніе его обстоятельствъ и сильно уязвленное самолюбіе до

такой степени потрясли и безъ того уже некрѣпкое и разстроенное здоровье поэта, что онъ (въ 1814 г.) впалъ въ совершенное разслабленіе, которое мало по малу перешло въ тихое умопомѣшательство. Престарѣлый отецъ вынужденъ былъ перевезти несчастнаго сына изъ Казанской его деревни въ свою Тверскую (село Казанское, Зубцовскаго уѣзда), гдѣ онъ искорѣ послѣ того и скончался (въ 1816 г.).

Любопытный намекъ на причины постигнувшей Озерова душевной болѣзни мы находимъ въ одномъ изъ дошедшихъ до насъ разсказовъ о Батюшковѣ. Однимъ изъ первыхъ впечатлѣній, поразившихъ Батюшкова по пріѣздѣ въ Петербургъ (въ іюнѣ 1814 года) было сумасшествіе Озерова, „который погибалъ жертвою пылкости, самолюбія и какихъ-то доселѣ неразъясненныхъ навітовъ“. Встрѣтившись съ (графомъ) Д. Н. Блудовымъ и другими пріятелями въ Императорской Публичной Библиотекѣ и заговоривъ объ Озеровѣ, Батюшковъ сказалъ между прочимъ: „вотъ каково водиться около ринѣ! Это сходитъ съ рукъ только мнѣ да графу Дмитрію Ивановичу (Хвостову)“²⁾.

Едва-ли можно согласиться съ тѣмъ господствующимъ у насъ мнѣніемъ, что Озеровъ не обладалъ никакимъ самостоятельнымъ, природнымъ поэтическимъ даромъ, и что успѣхомъ своихъ трагедій былъ обязанъ только гладкости стиха и чистотѣ языка своихъ трагедій. Успѣхъ этотъ, какъ намъ кажется, болѣе всего основывался на томъ, что Озеровъ внесъ въ безжизненную до него, правильно-построенную на подражаніи французскимъ образцамъ, русскую трагедію новый элементъ сентиментализма, которымъ вѣроятно увлекался наравнѣ съ современною ему молодежью. Вслѣдствіе этого, конечно, Озерову болѣе удавались въ его трагедіяхъ женскіе характеры, восхитавшіе современниковъ: его Антигона, Моина и Ксенія много способствовали даже и развитію трагическаго искусства на нашей сценѣ, потому что представляли собою сценическіе характеры, достойные серьезной игры и глубокаго изученія. Нельзя упустить изъ виду и того, что Озеровъ, съ одной стороны, по

¹⁾ Очевидно, что Озеровъ, по наслышкѣ знавшій о Волинскомъ, идеализировалъ его характеръ.
²⁾ Гр. Д. Н. Хвостовъ, извѣстный своею бездарностью лирикъ-поэтъ, постоянно служившій цѣлью насмѣшекъ для всѣхъ современныхъ литературныхъ дѣятелей.

дражая Дюсиу и придавая сентиментальный отблескъ характерамъ своихъ трагическихъ героевъ, въ то время, одинъ изъ первыхъ въ числѣ русскихъ писателей, рѣшился почерпнуть трагическіе сюжеты не изъ классическихъ преданій, не изъ темной въ то время отечественной старины, а изъ нетронутой еще сокровищницы западныхъ, средневѣковыхъ преданій, разработка которыхъ такъ сильно способствовала, въ Германіи, переходу литературы отъ сентиментально-отвлеченнаго направленія къ болѣе живому романтическому. Съ этой стороны заслуги Озерова были совершенно вѣрно оценены его биографомъ:

„Излишнимъ кажется доказывать“—говоритъ кн. Вяземскій—„что ни Княжнинъ, ни Сумароковъ, не были его образцами, и смѣшно напоминать, что произведенія, послѣдовавшія за его трагедіями, не имѣютъ ни какаго съ ними сходства. Лучшія изъ пер-

выхъ и послѣднихъ сближены съ одного образца и могутъ почтестъ мертвыми подражаніями французской классической трагедіи, въ которыхъ иногда кое-какъ сохранены узаконенныя условія, проповѣданныя драматическими пѣтниками. Трагедіи Озерова занимаютъ между нихъ среду, и въ самыхъ погрѣшностяхъ своихъ представляютъ намъ отступленія отъ правилъ, исполненныя жизни и носящія свой образъ. Онѣ уже нѣсколько принадлежатъ къ новѣйшему драматическому роду, такъ называемому романтическому, который признаютъ Нѣмцы отъ Испанцевъ и Англичанъ“. Признавая эту оценку Озерова вполне справедливой, мы не можемъ выстѣ съ тѣмъ не пожалѣть, что и біографія Озерова, и литературная дѣятельность его до сихъ поръ остаются такою темной, неразобранной страницей въ исторіи нашей литературы и общества.



Подпись Дмитріева.

XXXIV.

В. А. Жуковский. — Биографическія подробности. — Его дѣятельность журнальная и литературная. — Эстетическое настроеніе и поводы къ нему. — Жуковский и его друзья арзамасцы. — Заслуги Жуковского, какъ переводчика. — Батюшковъ и его отношеніе къ Жуковскому. — Вліяніе, оказанное на его поэзію эпохой подвиговъ и разочарованій. — Биографическія подробности.

Если ближайшими послѣдователями карамзинскаго направленія мы называли выше И. И. Дмитріева и В. А. Озерова, то крайними и наиболѣе талантливыми послѣдователями того же направленія слѣдуетъ конечно назвать Жуковского и Батюшкова, которые своею литературною дѣятельностью представляютъ уже совершенно ясный переходъ отъ сентиментальнаго направленія къ романтическому. Мы говоримъ именно переходъ, потому что, собственно говоря, не съ Жуковского, а съ Пушкина начинается у насъ дѣйствительное преобладаніе романтизма въ литературѣ. Самъ Жуковский, повидимому, предполагалъ, что романтизмъ въ русской литературѣ ведетъ свое начало отъ него ¹⁾; тоже самое мнѣніе потомъ было повторено многими; но мнѣніе это рѣшительно не выдерживаетъ критики, потому что романтизмъ, какъ самостоятельное направленіе нашей литературы, имѣетъ очень немного общаго съ переводнымъ романтизмомъ Жуковского; и хотя онъ дѣйствительно установился и пустилъ корни въ нашей литературѣ въ теченіе долговременной, пятидесятилѣтней литературной дѣятельности Жуковского, но собственно ему онъ обязанъ очень немногимъ... Все, что было самостоятельнаго, непереводаго въ литературной дѣятельности Жуковского, то представляло собою подражанія или гром-

кимъ, торжественнымъ произведеніямъ предшествовавшихъ ему поэтовъ риторической школы, или нѣжнымъ, мѣтательнымъ, унылымъ произведеніямъ школы сентиментальной. Долго не могъ Жуковский выбиться изъ этого заколдованнаго круга подражаній, и наконецъ, выступивъ изъ него, посвятилъ свою дѣятельность исключительно переводамъ произведеній романтической нѣмецкой и англійской школы. Всякій разъ, когда послѣ того Жуковский рѣшался покидать эту почву и пытался создать нѣчто самостоятельно-русское въ романтическомъ родѣ, эти попытки ему положительно не удавались, и онъ снова возвращался къ переработкамъ или переводамъ произведеній англійской и нѣмецкой литературы; подъ конецъ своей литературной карьеры онъ сталъ обращать особенное вниманіе на эпическія произведенія Востока (занимавшія нѣмцевъ во второй четверти нынѣшняго вѣка) и наконецъ блестящимъ образомъ закончилъ свою дѣятельность высоко-художественнымъ переводомъ Одиссея. Изъ этого общаго взгляда на литературное поприще Жуковского мы совершенно естественно должны прийти къ тому выводу, что главная заслуга его заключается не въ томъ, что онъ далъ романтизму возможность установиться на нашей литературной почвѣ, а скорѣе въ томъ, что онъ своими превосходными перевода-

¹⁾ Въ своемъ письмѣ къ Стурдзѣ (10 марта 1849 г.) Жуковский говоритъ положительно: «единственно вышнюю награду моего труда (перевода Одиссея) будетъ сладостная мысль, что я (во время оно) родителю на Руси Нѣмецкаго романтизма и поэтической дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ) подъ старость загладилъ свой грѣхъ и т. д.» Въ письмѣ къ г. С. С. Ушакову (въ предисловіи къ Одиссею), Жуковский добавляетъ: «вы спросите: какъ мнѣ пришло въ голову приняться за Одиссею... и изъ мечтателя-романтика сдѣлаться трезвымъ классикомъ?»

ми сблизил русскую литературу съ цѣлою массою новыхъ литературныхъ образцовъ, расширилъ область нашей литературной критики, и тѣмъ самымъ окончательно отнялъ всякое значеніе и всякую силу вліянія у псевдо-классической теоріи и представляемыхъ ею образцовъ литературнаго творчества.

Василій Андреевичъ Жуковскій родился 1783 г. (ум. 1852 г.) въ селѣ Мишенскомъ, Тульской губерніи. принадлежавшемъ отцу его, богатому помѣщику, Афанасію Ивановичу Бунину, одному изъ



Жуковскій.

тѣхъ старинныхъ русскихъ баръ, которыхъ типъ давно уже исчезъ изъ русской дѣйствительности и не возродится болѣе. Въ началѣ 70-хъ годовъ Бунинъ былъ уже очень не молодъ и успѣлъ съ женою своею прижить одиннадцать человѣкъ дѣтей (изъ которыхъ старшая дочь родилась въ 1754 году, а младшая въ 1770), когда случился съ нимъ одинъ изъ тѣхъ эпизодовъ, къ которымъ мы привыкли примѣнять извѣстный стихъ Грибоедова: „свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ“... Крестьяне Бунина, отправлявшиеся изъ Мишенска въ армію Румянцева маркитантами, явились прощаться къ сво-

ему барину и спрашивали его: „что же тебѣ, батюшка, привезти изъ Туречины?“—Бунинъ отвѣчалъ имъ шутя: „привезите пару хорошихъ Турчанокъ—видите, что ужъ жена-то у меня старѣется“. И барскій приказъ былъ исполненъ—крестьяне Бунину дѣйствительно привезли въ гостинецъ двухъ Турчанокъ, взятыхъ въ плѣнъ русскими войсками во время приступа къ Бендерамъ. Младшая изъ нихъ, Фатъма, вскорѣ умерла, а старшая, Сальха, которой было не болѣе 16 лѣтъ, сначала была взята въ наемъ къ двумъ младшимъ дочерямъ Бунина, а потомъ—поселена въ отдѣльномъ флигелѣ громаднаго Мишенскаго дома, куда вскорѣ со всѣмъ переселился къ ней и самъ старикъ Бунинъ. Для Марьи Григорьевны Буниной наступили невеселые дни; но она отнеслась къ странной прихоти своего мужа съ такимъ же достоинствомъ и твердостью, съ какими вскорѣ послѣ того перенесла гораздо болѣе тяжкій ударъ, постигнувшій обоихъ супруговъ—изъ одиннадцати человѣкъ дѣтей умерло у нихъ въ короткое время шестеро, а въ 1771 г. скончался общій любимецъ ихъ, единственный сынъ, уже обучавшійся въ Лейпцигскомъ университетѣ. Вскорѣ послѣ того, когда въ сердцѣ матери было еще свѣжо воспоминаніе о недавно понесенной тяжелой утратѣ—во флигелѣ обширнаго Мишенскаго дома, у Сальхи, родился сынъ. Проживавшій въ Мишенскомъ пріятель Бунина, изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ, нѣкто Андрей Григорьевичъ Жуковскій вызвался его усыновить и сталъ просить Марью Григорьевну о томъ, чтобы она позволила дочери своей Варварѣ Афанасьевнѣ крестить новорожденнаго, которому и дано было при крещеніи имя Василя Андреевича Жуковскаго. Марья Григорьевна Бунина, въ воспоминаніе освоенъ сына, приняла маленькаго крестника дочери въ свою семью и воспитала его, какъ роднаго своего сына. Материнская нѣжность Марьи Григорьевны къ маленькому Жуковскому способствовала въ свою очередь восстановленію прежнихъ отношеній между супругами въ такой степени, что, когда въ 1791 году старикъ Бунинъ скончался, то передъ смертію поручилъ 8-лѣтняго Жуковскаго и мать его Едисавету Деметьевну (такъ названа была Сальха при крещеніи) попеченіямъ своей достойной супруги; сверхъ того, въ заві-

ианіи своемъ, Бунинъ просилъ каждую изъ четырехъ дочерей своихъ отдѣлить Василію Андреевичу отъ ихъ приданаго по 2500 р., а г-жѣ Буниной наказывалъ, чтобы она дала Василію Андреевичу воспитаніе, приличное дворянину. Воля покойнаго была свято исполнена женой и дочерьми его, и маленькій Жуковский зажилъ въ семьѣ Бунинныхъ пригнѣваючи. Крестная мать его, Варвара Афанасьевна, вышедшая замужъ за Юшкова, болѣе всѣхъ обращала вниманія на воспитаніе Василія Андреевича, который, проводя лѣта въ Мишенскомъ, зиму обыкновенно жилъ въ семьѣ Юшковой, и вмѣстѣ съ дочерьми ея обучался французскому и нѣмецкому языку. Уже и гораздо ранѣе этого времени, еще при жизни Бунина, выписанъ былъ изъ Москвы гувернеръ для 6-ти лѣтняго Василія Андреевича, какой-то Якимъ Ивановичъ; но крутыя мѣры, которыя вздумалъ онъ примѣнять къ своему воспитаннику, никому не понравились—и гувернеръ былъ отправленъ обратно въ Москву. Послѣ того Жуковский отданъ былъ въ Тулѣ, въ прославленный нѣмецкій пансіонъ Христіана Филипповича Роде, сначала полу-пансіонеромъ, потомъ на полный пансіонъ. Но изнѣженный домашнимъ воспитаніемъ и бытомъ, въ которомъ онъ постоянно находился и росъ между дѣвочками, маленький Жуковский не могъ привыкнуть къ школьному быту: ученіе ему положительно не шло въ голову. Еще плоше пошло у него ученіе, когда послѣ смерти Бунина, проводя зиму въ семьѣ своей крестной матери Юшковой, въ Тулѣ, Жуковский былъ отданъ въ тульское народное училище, гдѣ старшимъ учителемъ былъ докторъ философіи Теофилактъ Гавриловичъ Петровский, помѣщавшій даже подъ псевдонимомъ „философа горы Алаунской“ кое-какія историко-философическія статьи въ современныхъ журналахъ. „Философъ горы Алаунской“ отнесся очень круто къ вліятъ занятіямъ и небрежному ученію молодого Жуковского, и — по увѣренію новѣйшаго біографа—даже исключилъ его „за неспособность“¹⁾. Послѣ этого онъ продолжаетъ расти и учиться дома, въ семьѣ Юшковой, окруженный 12-ю сверст-

ницами-дѣвочками; само собою разумѣется, что ученіе было далеко несерьезное; но въ домашнемъ быту Юшковой было много такихъ элементовъ, которые должны были рано подѣйствовать на развитіе воображенія Василія Андреевича и возбудить въ немъ интересъ къ занятіямъ литературою. Домъ Юшковой служилъ центромъ, и въ немъ, около хозяйки дома—женщины прекрасно-образованной и понимавшей толкъ въ музыкѣ—собирались лучшія представители мѣстнаго общества, составляя кружокъ, въ которомъ литературные и музыкальные интересы преобладали надъ всѣми остальными. Все, что въ русской литературѣ появлялось новенькаго, тотчасъ же становилось извѣстно въ кружкѣ Юшковой, читалось, обсуждалось... Концерты чередовались съ литературными чтеніями и даже мѣстный театръ находился въ полной зависимости отъ кружка Юшковой. Не удивительно, что 12-ти лѣтнему Жуковскому, среди такихъ благоприятныхъ для его поэтического таланта условій развитія, вдумалось также писать для сцены — и вотъ, плодами первыхъ его литературныхъ попытокъ явились двѣ драмы: „Камилла или освобожденный Римъ“ и „Павелъ и Виргинія“. Жуковский случайно избѣгъ общей участи современной ему молодежи: онъ не былъ въ дѣтствѣ записанъ ни въ какой полкъ, а потому и могъ до 14-ти лѣтняго возраста свободно оставаться въ Юшковскомъ домѣ, въ Тулѣ. Сохранилось извѣстіе о томъ, что въ этомъ возрастѣ обученіемъ и воспитаніемъ Василія Андреевича занимался одинъ весьма образованный молодой человекъ; но и тотъ, подобно своимъ предшественникамъ-педагогамъ, принимавшимся за Жуковского, утверждалъ положительно: „изъ этого мальчика никакого толку не будетъ“.

Наконецъ въ январѣ 1797 г., Марья Григорьевна Бунина свезла Жуковского въ Москву, и опредѣлила его въ Московскій Университетскій Благородный Пансіонъ. Директоромъ пансіона былъ тогда уже извѣстный намъ И. П. Тургеневъ, а товарищами, замѣнявшими Жуковскому кружокъ дѣвочекъ, среди которыхъ онъ до того времени росъ

¹⁾ Такъ рассказываетъ д-ръ К. Зейдлицъ въ своей біографіи Жуковского (W. A. Jankoffsky. Ein klassisches Dichterleben. Mitau. 1870 г.); стр. 10. Д-ръ К. Зейдлицъ былъ другомъ и домашнимъ врачомъ В. А. Жуковского.

явились братья Тургеневы, Блудовъ, Дашковъ, князь П. Вяземскій, Уваровъ и т. д. Въ этой новой средѣ, способности юноши стали быстро развиваться и принимать опредѣленное направленіе. Подтвержденіемъ этого явился цѣлый рядъ статей и стихотворныхъ опытовъ, напечатанныхъ Жуковскимъ въ современныхъ журналахъ. Въ самый годъ поступленія своего въ благородный пансіонъ, Жуковскій напечаталъ уже „Мысли при гробницѣ“, (на смерть своей

между ними еще разъ „Мысли при гробницѣ“. Замѣчательно, что, въ этихъ первыхъ стихотворныхъ опытахъ Жуковского, кладбище, могилы, смерть—занимаютъ весьма видное мѣсто.

Мало-по-малу привыкая къ литературной работѣ, Жуковскій сталъ переводить для книгопродавцевъ ради заработка, и половину платы за свои труды получалъ отъ нихъ разными книгами. Нельзя не отмѣтить здѣсь того любопытнаго факта, что совре-



Зданіе бывшаго Университетскаго Пансіона въ Москвѣ.

крестной матери Юшковой)—въ „Полезномъ и пріятномъ препровожденіи времени“ Подъ этой прозаической статьёй обозначено было очень подробно, что она сочинена „воспитанникомъ благороднаго пансіона, Василиемъ Жуковскимъ“. Затѣмъ явилось тамъ же стихотвореніе: „Майское утро“ и еще „къ Юности“, „Миръ и война“, „Жизнь и ключъ“ и нѣсколько другихъ опытовъ, помѣщенныхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ за 1800 г. и въ „Утренней зарѣ“, и

менные книгопродавцы охотнѣе принимали переводы, нежели оригинальныя статьи, и щедрѣе расплачивались за переводы. Жуковскій легко и быстро перевелъ нѣсколько рыцарскихъ романовъ, весь „Театръ“ Коцебу, романъ Коцебу „Младшія дѣти моей прихоти“, которому, неизвѣстно почему, далъ другое заглавіе (Мальчикъ у ручья)¹⁾. Окончивъ курсъ ученія въ благородномъ пансіонѣ, Жуковскій поступилъ было на службу въ Главную Соляную контору, но

¹⁾ Книгопродавецъ заплатилъ ему за переводъ четырехъ томовъ 75 р. сер.

прослужить всего годъ, а въ апрѣлѣ 1802, захвативъ съ собою весь запасъ книгъ, прибрѣтенныхъ въ Москвѣ переводами. переселился на житье въ Мишенское.

Здѣсь, купленная въ Москвѣ библіотека должна была оказать ему важныя услуги. Въ числѣ книгъ Жуковскаго видимъ и большую Дидеротову энциклопедію, и французскія, и англійскія, и нѣмецкія историческія сочиненія, и классиковъ въ переводѣ на иностранныя языки, и полныя собранія сочиненій Шиллера, Гердера, Лессинга. Обеспеченный, полный силъ и надежды на будущее, окруженный родными и близкими ему людьми, Жуковский имѣлъ возможность посвятить здѣсь все свое время поэзіи, ни мало не безпокоясь о жизни. Снова окруженный пестрой и легкой толпой своихъ молодыхъ, прекрасныхъ и прекрасно образованныхъ племянницъ¹⁾ и ихъ подругъ, проводя весну и лѣто въ живописной, поэтической мѣстности, покрытой холмами и роскошными лугами, поросшей дубовыми рощами и орошаемой журчащими ручьями, Жуковский, въ эту цвѣтущую пору своей юности, выступилъ на свою настоящую дорожку. Здѣсь то, въ Мишенскомъ, перевелъ онъ элегію Грея, „Сельское кладбище“, которую любилъ называть своимъ первымъ печатнымъ стихотвореніемъ, вѣроятно потому, что оно было первымъ, достойнымъ пера его. Онъ отправилъ эту элегію Карамзину, для помѣщенія въ новомъ журналѣ его „Вѣстникъ Европы“—и къ величайшему его удовольствію она была не только напечатана Карамзиннымъ, но еще и удостоилась отъ него самаго лестнаго отзыва. Новѣйшій біографъ Жуковскаго справедливо обращаетъ вниманіе на то глубоко-элегическое настроеніе, которымъ проникнуты всѣ первыя стихотворныя произведенія молодого поэта, и на то, что затаенная грусть, высказываемая въ нихъ, является совершенно искреннею, лично-принадлежащею Жуковскому, у котораго однакоже, въ это время, не могло-бы, кажется, быть никакихъ причинъ для подобной грусти... Не

слѣдуетъ забывать, что Василию Андреевичу было тогда всего 19 лѣтъ, что онъ былъ свободенъ и вполне обеспеченъ въ матеріальномъ отношеніи. Мы можемъ видѣть въ этой грустной, элегической настроенности Василия Андреевича только одно изъ тѣхъ модныхъ общихъ настроеній, овладѣвавшихъ отъ времени до времени всею молодежью, которыя и составляютъ такъ называемую печать извѣстнаго времени, извѣстнаго періода. И дагѣ увидимъ мы, дѣйствительно, что впечатлительный, нѣсколько однообразный въ своемъ поэтическомъ настроеніи, Жуковский, проникнувшись тѣмъ сентиментально-меланхолическимъ направленіемъ, которое внесено было въ нашу литературу стихами и прозой Карамзина, болѣе чѣмъ кто-либо другой способенъ былъ увлечься этимъ направленіемъ и довести его до поразительныхъ крайностей.

Вліяніе Карамзина на Жуковскаго должно было усилиться еще и личными дружескими отношеніями ихъ, когда въ 1803 и 1804 гг. Василий Андреевичъ сблизился съ Николаемъ Михайловичемъ, уже покинувшимъ изданіе „Вѣстника Европы“ и принявшимъ за свой историческій трудъ. Вліяніе Карамзина и Карамзинской литературной дѣятельности дѣйствительно отразилось на Жуковскомъ до такой степени сильно, что мы видимъ его несомнѣнно въ каждомъ шагѣ поэтической, журнальной и литературной дѣятельности Жуковскаго въ теченіе всей первой половины его жизни, до самыхъ двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія. До 1808 года, впрочемъ, Жуковский успѣлъ еще написать очень немного. Сначала увлекался общимъ патріотическимъ настроеніемъ нашей современной литературы, онъ въ 1806 г. выступилъ въ „Вѣстникъ Европы“ съ громкою „пѣснью барда на Гробъ Славянъ побѣдителей, сильно напоминающей намъ лучшія произведенія торжественною хвалебною лирики Державина. Рядомъ съ этою громкою пѣснью барда, видимъ еще нѣсколько элегическихъ пѣсень, въ которыхъ Жуковский перебираетъ все одиѣ

¹⁾ Племянницы эти были двѣ дочери Варвары Аеоанасьевны Юшковой: Анна Петровна (въ замужествѣ Зонтагъ), и Андошъ Петровна (въ замужествѣ сперва за Елагиннымъ, потомъ за Кирѣевскимъ) и двѣ дочери Екатерины Аеоанасьевны (Протасовой — Марья Андреевна и Александра Андреевна). Такъ какъ дочери Вунина были гораздо старше Василия Андреевича, то ихъ дочери, а его племянницы, и стали его сверстницами и почти ровесницами.

и тѣ же струны своей лиры: то восклицаетъ онъ:

О днѣи моихъ весна, какъ быстро скрылась ты.
Съ твоимъ блаженствомъ и страданьемъ!

То повторяетъ совершенно тотъ же мотивъ, который выраженъ былъ и въ Греевой элегii:

Ахъ! скоро можетъ быть, съ Минною унылой,
Придетъ сюда Альпимъ въ часъ вечера мечтать
Надъ тихой вьюной могиллой!

То наконецъ выражаетъ и еще болѣе мрачный взглядъ на свое настоящее:

Какъ часто о часахъ минувшаго минувшихъ я мечтаю!
Но чаще съ сладостью конецъ воображаю,
Конецъ всему—души покой...
Ахъ! время, Филлетъ, свершится ожиданьямъ.
Не знаю... но, мой другъ, кончаны сладкіи часы
Моей любимой мечтой становится;
Унылость тихая въ душѣ моей хранится;
Во всемъ внимаю я знакомый смерти гласъ.

Однимъ словомъ, вся поэзія Жуковского, до 1808 года, сводится къ одному; въ ней выражается то модное меланхолическое настроеніе, та безпричинная тоска, тѣ унылыя мечтанія о безвременной кончинѣ и проч., которыя конечно не могли имѣть рѣшительно ничего общаго со всею дѣйствительностью, среди которой въ это время жилъ Жуковский, очень спокойно проводя время то въ Мишенскомъ, то въ Бѣлевѣ. Тамъ поселилась между тѣмъ Екатерина Анастасьевна Протасова съ двумя дочерьми своими, образованіемъ которыхъ Жуковский очень тщательно занимался въ это время; въ Бѣлевѣ жила и мать его, Елисавета Дементьева, и старушка-вдова Буннина, и въ концѣ 1805 г. Жуковский писалъ даже къ друзьямъ своимъ: „я переселился въ Бѣлевъ, въ свой домъ (который онъ построилъ для своей матери); вся наша фамилія теперь живетъ у меня, слѣдовательно я не могу пожаловаться, чтобы вокругъ меня было пусто“. Въ то же время не покидалъ онъ и своей переводческой дѣятельности: въ 1805 г. онъ перевелъ Донъ-Кихота по заказу одного изъ книгопродавцевъ, а потомъ цѣлый рядъ небольшихъ повѣстей съ англійскаго и нѣмецкаго, составившихъ два тома.

Одинъ изъ биографовъ Жуковского замѣчаетъ, что около 1808 г. къ остальнымъ эле-

гическимъ мотивамъ поэзіи Жуковского. въ то время вообще очень небогатой содержаніемъ, прибавился еще одинъ — мотивъ любви, конечно также унылой, платонической и самоотверженной. При этомъ биографъ указываетъ, какъ на предметъ любви Жуковского, на его племянницу, Марію Андреевну Протасову, образованіемъ которой онъ около этого времени такъ тщательно занимался и которую дѣйствительно любилъ впоследствии; не мѣшаетъ однакоже замѣтить, что Марья Андреевна было въ 1808 году не болѣе 15 лѣтъ, и что если тѣ намеки, которые находимъ въ стихотвореніяхъ Жуковского до 1808, относятся дѣйствительно къ ней, то и эту любовь въ ея началѣ нельзя не отнести къ числу такихъ-же ненужныхъ атрибутовъ меланхолическаго настроенія поэзіи Жуковского, какими являются напр. въ его первыхъ юношескихъ посланіяхъ мечты о смерти, о безвременной могилѣ, о жизни, будто-бы потерявшей всякое очарованіе въ 20 лѣтъ. Наконецъ, въ 1808 году, кажется также не безъ вліянія со стороны Карамзина, Жуковский переселился въ Москву и принялъ на себя заведываніе „Вѣстникомъ Европы“, который онъ издавалъ въ теченіе трехъ лѣтъ, при помощи Каченовскаго. По обычаю всѣхъ журналовъ того времени, отъ котораго не отступалъ даже и самъ Карамзинъ, Жуковский наполнялъ почти всѣ отдѣлы журнала произведеніями своего пера: онъ писалъ стихи и повѣсти, разсужденія о словесности и общихъ нравственныхъ вопросахъ, критическія статьи... Каченовскій работалъ только надъ политическимъ отдѣломъ. Внимательно всматриваясь въ литературную и журнальную дѣятельность Жуковского въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ (отъ 1808 по 1810) мы приходимъ къ тому убѣжденію, что и здѣсь онъ не отступилъ ни на шагъ отъ программы и до него уже начертанной для журналиста Карамзинымъ; что сверхъ того и какъ поэтъ, и какъ писатель онъ не пошелъ далѣе Карамзина по отношенію къ внутреннему содержанию своей лирики, и повѣстей, къ выбору и постановкѣ вопросовъ въ своихъ прозаическихъ статьяхъ. Только критическія статьи Жуковского нельзя не поставить выше Карамзинскихъ; въ двухъ критическихъ статьяхъ своихъ: — „О сатирѣ и сатирахъ Кантемира“ и „О баснѣ и басняхъ Крыло-

а Жуковский применил к критикѣ сравнительно-теоретическій методъ, котораго держался и въ остальныхъ, менѣе крупныхъ сборникахъ своихъ, всюду переходя отъ общихъ литературныхъ вопросовъ къ частнымъ, всюду стараясь поставить отдѣльное произведение на историческую почву, общую какому роду подобныхъ же произведений¹⁾. Въ числѣ переводныхъ стихотвореній изъ Шиллера и Гёте и нѣсколькихъ посланій къ друзьямъ, находимъ и одну передѣлку нѣмецкаго сюжета на русскіе нравы:— „Людмилу“—балладу Бюргера. „Людмила“ чрезвычайно понравилась всѣмъ замѣчательною ясностью и легкостью своего стиха и новостью того фантастическаго міра, въ который впервые удавалось заглянуть русскимъ читателямъ. Рядомъ съ „Людмилой“ видимъ и весьма неудачное подражаніе сентиментальной карамзинской повѣсти, подъ заглавіемъ „Марина Роща, старинное преданіе“, въ которой чувствительность двухъ главныхъ героевъ—Марии и пѣвца Улада—доведены до крайней степени приторности и неестественности... Но за то языкъ стиховъ и прозы, разнообразіе размѣровъ и легкость поэтическаго выраженія во всѣхъ произведеніяхъ Жуковскаго, помѣщенныхъ въ „Вѣстникѣ Европы“, слишкомъ ясно указываютъ намъ на то, что Карамзинъ нашелъ обѣ въ Жуковскомъ не только ревностнаго, но и талантливаго послѣдователя.

Въ 1810 г. Жуковский снова возвратился въ деревню, и тамъ занялся пополненіемъ пробѣловъ своего образованія, при помощи чтенія и занятій науками преимущественно историческими. Кажется, что и эти занятія исторіей, въ которыхъ онъ видѣлъ только приготовительную работу для задуманной имъ поэмы „Владиміръ“ стояли въ нѣкоторой зависимости отъ сношеній съ Карамзинымъ и его кружкомъ. Мысль объ этой

поэмѣ, которая никогда и въ послѣдствіи не была написана Жуковскимъ, повидимому, занимала его довольно долго, потому что еще и въ 1816 г. онъ собирался одно время съѣздить въ Кіевъ и Крымъ для ближайшаго ознакомленія съ самымъ мѣстомъ дѣйствія, избраннымъ для поэмы. Но вѣроятно поэма осталась ненаписанною потому, что Жуковский сначала находилъ обработку сюжета, избраннаго имъ для поэмы, труднымъ и требующимъ большого изученія, а потомъ долженъ былъ, наконецъ, отказаться отъ него совсѣмъ, убѣдившись, съ одной стороны, что у него не хватаетъ той исторической и національной основы, безъ которой немислима была подобная поэма, а съ другой стороны, сознавъ свой поэтический даръ вообще недостаточнымъ для выполненія обширныхъ и притомъ самостоятельныхъ поэтическихъ произведеній.

Если принимать въ соображеніе только показанія самого Жуковскаго, то оказывается, что кромѣ переводовъ изъ Шиллера, Парни, Драйдена и друг. Жуковскимъ въ теченіи 1810 и 1811 года²⁾ было написано очень немного самостоятельныхъ поэтическихъ произведеній: два-три романа, посланіе къ Батюшкову и Тургеневу, да „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ (старинная повѣсть въ двухъ балладахъ: 1-я, Громобой; 2-я, Вадимъ). Но его новѣйшій біографъ совершенно основательно замѣчаетъ, что 1811 годъ, къ которому самъ Жуковский относитъ только одну „Свѣтлану“, былъ однимъ изъ самыхъ плодотворныхъ годовъ въ поэтической дѣятельности Василя Андреевича; что къ 1811 году относится большая часть стихотвореній, которыя, позже, Жуковский, въ собраніи своихъ сочиненій, ставилъ подъ 1813 годомъ. Съ конца 1810 и до половины 1812 года Жуковский жилъ тою идиллическою, особенною жизнью, которая въ настоящее время была-

¹⁾ Любопытное дополненіе къ журнальной программѣ „Вѣстника Европы“, подъ редакцію Жуковскаго, представляетъ собою отдѣлъ, посвященный исторіи искусства. Жуковский прилагалъ къ журналу во всю изображенія знаменитѣйшихъ произведеній живописи и скульптуры; такъ, напримеръ, въ приложеніи къ „Вѣстнику Европы“ за это время явилась цѣлая коллекція Гогартовыхъ картинъ съ истолкованіями. ²⁾ Въ теченіе этихъ же двухъ лѣтъ выдано было Жуковскимъ и то „Собраніе русскихъ стихотвореній“—нѣчто въ родѣ Хрестоматіи въ 5 частяхъ—изъ за котораго Державинъ сильно протѣствовалъ на Жуковскаго, помѣстившаго въ своемъ „Собраніи“ много Державинскихъ стихотвореній, которыя онъ признавалъ въ своемъ родѣ образцовыми. Державинъ, по страннымъ современнымъ понятіямъ о литературной собственности, видѣлъ въ этомъ неумѣстность со стороны Жуковскаго и притомъ подрывъ продажъ купленнаго у него книгопродавцемъ полнаго изданія его сочиненій.

бы едва-ли возможна даже и для восемнадцатилетнего юноши, но в начале нынешнего века никого не поражала, потому что не выходила из общего уровня той привлекательной и изящной праздности, которой посвящен был нескончаемый досуг большей части нашей дворянской молодежи... И в самом деле, в настоящее время даже трудно себя представить, как молодой человек двадцати-семи лет, пользовавшийся уже довольно громкою известностью поэта, писателя и журналиста, вдруг решился бросить все и удалиться на житье в живописную глушь, посвятить себя мирному безделью, которое могло иметь значение для только в глазах тех друзей и родни, которыми в то время постоянно был окружен Жуковский. Большую часть идилического периода Жуковский провел в небольшом имении, которое на завещанный Буниным капитал (10,000 руб.) купил себе около Муратова (в 30 верстах от Орла), принадлежавшего Е. А. Протасовой. Здесь, в Муратов, заведывал он постройкою дома для Протасовой и все время проводил то в ее милый семейный круг, то в семейство Алексея Плещеева, с которым его особенно сближала общая им обоим страсть к изящным искусствам. Плещеев, живший в 40 верстах от Муратова в своем имении Чернь, принадлежал к тому типу помещиков-меломанов и театралов, которым так богато было наше барство начала нынешнего века и который тем не менее не оставил ни малейшего следа в русской истории искусства. Он был и музыкант, и композитор, и отличный актер, любивший щеголять своим декламаторским искусством. При его усадьбе был и домашний театр, и, конечно, свой домашний оркестр, управляемый немцем-капельмейстером. На сцене домашнего театра очень часто являлись комедии и оперетки собственного сочинения Плещеева, для которых он сам писал и слова, и музыку, и сам исполнял их на сцене, вместе с женой своей, также хорошей музыкантшей. Вся жизнь этой артистической семьи представляла собой, одним словом, какой-то сплошной, безконечный праздник, в котором комедии, концерты, оперы и торжества всякого рода, непрерывно чередуясь, следовали один за другими.

Между Жуковским и Плещеевыми установились совершенно особые, музыкально-поэтические дружеские связи. Из Черни в Муратово, и обратно, то и дело скакали гонимы с поэтическими посланиями в стихах от Жуковского к Плещееву, на которые Плещеев отвечал французскими стихами. Каждая новая поэма Жуковского тотчас же пересылалась к Плещееву в Чернь и там ее полагали на музыку, а потом, при первом свидании, либо сам Плещеев декламировал новое произведение Василия Андреевича, либо жена его пела положенную Плещеевым на музыку новую поэму нота, к общему удовольствию всей родственной и неродственной публики, постоянно исполнявшей обширный, веселый и радужный чернянский дом. Эта художественно-поэтическая обстановка жизни Жуковского должна была сделаться еще более привлекательною вследствие того, что к ней прилагалась и очень романтическая любовь Василия Андреевича к старшей из его племянниц и бывших учениц — к Марии Андреевне Протасовой. Эта любовь конечно нашла себе поддержку во всем окружавшем поэта родственно-дружеском кружке, исключая только самой матери, Екатерины Алексеевны, женщины твердой и решительной. Когда Жуковский попытался открыто высказать ей свои чувства к ее дочери, она отвечала ему положительным отказом, так как она считала дочь свою, Марию, племянницей Василия Андреевича, а следовательно и брак между ними противным напему церковному закону. Отказав Жуковскому в руке дочери, Е. А. Протасова просила его, вместе с тем, чтобы все это осталось между ними, и ни в каком случае не делалось известно ее дочерям. Это произвело на Жуковского очень тяжелое впечатление и дало новую пищу его элегическому, печальному настроению, его сбитанностям на судьбу, на одиночество и т. п. Все это конечно должно было служить темною цѣлому ряду грустных романсов и элегий, в которых она и горькая доля поэта должны были занимать первое место. Но всем этим поэтическим излияниям помещался незамѣтно наступивший 1812 годъ. Мы говоримъ — незамѣтно, потому что даже и 3-го августа 1812 года, в Муратов и Чернь, друзья-сосѣди продолжали еще жить все тою же неизмѣнною

художественно-поэтической жизнью⁴, ни мало не заботясь ни о политических событиях, ни о бедствиях, угрожавших Россіи. 3-го августа всѣ сосѣди собрались въ Чернь, праздновать день рожденія Плещеева... На домашней сценѣ давали оперу его сочиненія... и въ тотъ же вечеръ Жуковский пѣлъ свой новый романсъ, положенный на музыку Плещеевымъ. Романсъ былъ „Пловецъ“, который въ изданіи сочиненій Жуковского является подъ 1813 г. Весь романсъ былъ однимъ сплошнымъ намекомъ на недавно-испытанную неудачу и кончался желаніемъ поэта „не пережить тѣхъ Ангеловъ“, около которыхъ „все дышитъ небомъ и святой невинностью“. Намеки романса не понравились Протасовой, которая видѣла въ нихъ нарушение обѣщанія, даннаго Жуковскимъ, и на другой же день вынудила его уѣхать изъ Муратова въ Москву и поступить въ ряды московскаго ополченія...

Во время пребыванія въ ополченія Жуковскому не случилось участвовать ни въ одномъ сраженіи; но за то въ лагерѣ подъ Тарутиннымъ, увлеченный общимъ ожиданіемъ побѣды надъ страшнымъ врагомъ, Жуковский написалъ своего знаменитаго „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“. Въ этомъ громкомъ и торжественномъ стихотвореніи (состоящемъ изъ 672 стиховъ), посвященномъ воспоминаніямъ о русской славѣ, о падшихъ братьяхъ, поэтъ въ то же время время зывалъ къ отищенію за разрушенную и выжженную Москву. Такъ вѣрно было угадано поэтомъ общее настроеніе той минуты, что „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“, гораздо болѣе прославилъ Жуковского, нежели вся предшествовавшая его поэтическая, литературная и журнальная дѣятельность. Стихотвореніе, въ тысячахъ списковъ, разошлось быстро по войску, а потомъ по всей Россіи. Сама Императрица Марія Ѳеодоровна пожелала имѣть списокъ этого произведенія и изъявила желаніе познакомиться съ поэтомъ... Жуковскому впрочемъ не пришлось долго оставаться при арміи. Въ ноябрѣ, вскорѣ послѣ битвы при Красномъ, онъ заболѣлъ тифомъ и только благодаря своему крѣпкому сложенію перенесъ счастливо тяжкую болѣзнь. Въ

началѣ января 1813 г. онъ уже снова вернулся въ Муратово, въ недавно-покинутый имъ кругъ родни и друзей.

Но здѣсь пробылъ онъ не долго. Ободряемый друзьями своими, онъ рѣшился еще разъ попытать счастья, и въ то время, когда одинъ изъ его пріятелей, А. Ѳ. Воейковъ, сталъ свататься за младшую дочь Протасовой (Александрѣ Андреевнѣ), Жуковский еще разъ рѣшился просить руки старшей — Маріи Андреевны Протасовой, которая уже изъявила ему согласіе выйти за него замужъ. Получивъ вторично отказъ отъ Екатерины Аванасьевны, Жуковский въ отчаяніи рѣшился удалиться въ Долбино, имѣнье Кирѣевскихъ (Балужской губерніи, въ 7-ми верстахъ отъ Муратова), гдѣ и нашелъ самый радушный, самый родственныи пріютъ для своей скорбной Музы.

Но Жуковскому не пришлось здѣсь долго пробыть, не пришлось слишкомъ долго оплакивать свою неудачу въ любви: судьба, благосклонная къ нему отъ рожденія, готовила ему такой путь, о которомъ онъ едва-ли могъ мечтать. Не слѣдуетъ забывать, что въ теченіе 1813 — 1814 гг. Россія жила особою жизнью, и на глазахъ современниковъ совершались событія громадныя, способныя до крайней степени возвысить народную гордость; немудрено, что тѣ же событія способны были и поэта-Жуковского заставить разстаться съ его скорбными пѣснями и сокрушеніями, съ его балладами и фантастической романтикой... И его лира отозвалась на общій гулъ похвалъ, изумленія и восторговъ, который неумолкая сопровождалъ Александра I и его побѣдоносное шествіе къ Парижу. Въ самомъ концѣ 1814 года, Жуковский, послѣ взятія Парижа, написалъ свое громадное и восторженное „посланіе“) Императору Александру I-му“ (около 500 стиховъ), а въ декабрѣ того же 1814 года, въ годовщину освобожденія Россіи отъ нашествія иноплемennыхъ, написалъ другое обширное стихотвореніе, — совершенно подобное „Пѣвцу во станѣ русскихъ воиновъ“ — и назвалъ его „Пѣвецъ въ Кремлѣ“. Первое изъ этихъ стихотвореній имѣло рѣшительное вліяніе на судьбу Жуковского. Въ настоя-

⁴) Когда летящіе отовсюду слышимъ клики,
Въ одинъ сливаясь гласъ, тебя зовутъ: Великій!
Что скажетъ лирою незнаемый пѣвецъ? И т. д.

щую минуту, конечно, уже почти невозможно составить себѣ понятія о томъ потрясающемъ, глубоко въпечатлѣнномъ, которое оно производило на современниковъ; а потому мы и предпочтемъ привести здѣсь разсказъ очевидца о томъ, какъ было принято это стихотвореніе. Жуковский послалъ рукопись своего „Посланія“ къ А. И. Тургеневу для представленія Императрицѣ Маріѣ Теодоровнѣ, и вотъ что писалъ ему по этому поводу Тургеневъ (1-го января 1815 г.) „Пишу тебѣ, безцѣнный и милый другъ Василій Андреевичъ, въ самый новый годъ, чтобы отъ всей души, произведеніемъ твоего гения возвышенной, поздравить тебя съ новымъ годомъ и съ новою славою. Я долженъ описать тебѣ подробно чтеніе (твоего посланія) которое происходило въ комнатахъ Ея Величества, въ присутствіи Ея, великихъ князей, великой княжны Анны Павловны, графини Ливень, Нелидовой, Нелединскаго-Мелецкаго, Вилламова и Уварова. Я писалъ уже тебѣ, что Государынѣ угодно было назначить мнѣ пріѣхать въ 7 часовъ вечера, 30-е декабря. Въ самый часъ явился я къ Уварову, и немедленно ввели насъ въ кабинетъ ея, гдѣ уже дожидался Нелединской. Черезъ 5 минутъ вошла и Государыня съ тѣми особами, которыя я наименовалъ выше. Первая рѣчь со мною о тебѣ, о твоихъ талантахъ и о твоей жизни, о твоихъ намѣреніяхъ, и объ упорствѣ твоёмъ, съ которымъ ты противился приглашеніямъ Ея Величества пріѣхать въ С.-Петербургъ¹⁾. Я обнадежилъ Государыню, что ты непременно будешь зимою, хотя проѣдешь; она нѣсколько разъ подтвердила мнѣ желаніе тебя видѣть, и поручила написать къ тебѣ объ этомъ. Началось чтеніе; приготовленный совѣтами моихъ пріятелей, я читалъ внятно и съ тѣмъ чувствомъ, которое внушила мнѣ и высокая предмета, и пламенный гений твой, и моя неменѣе пламенная дружба къ тебѣ... Великая княжна и князья, прерывали чтеніе восклицаніями: прекрасно! превосходно! c'est sublime! Въ продолженіе чтенія великіе князья изъявили желаніе, чтобы эти стихи переведены были, если можно, на нѣмецкій или англійскій языкъ. Но для того надобно другаго Жуковского, а онъ при-

надлежитъ одной Россіи, и только одна Россія имѣетъ Александра и Жуковского. Въ концѣ піесы не разъ наворачивались слезы, и Государыня, и я принуждены были остановиваться. Она обращалась къ великой княжнѣ и встрѣчала взоры ея, также исполненные любви къ предмету твоего піснопія и удивленія къ твоему таланту. Сколько сладкихъ чувствъ въ одно время для матери, братьевъ и сестеръ твоего героя; и для твоего друга, свидѣтеля такого безпритворнаго восхищенія, смѣшаннаго съ благодарностью къ гению, ужъвшему выразить все величіе предмета единственнаго! Я увѣренъ, что Александръ, съ своею недоступною для почестей душою, почувствуетъ силу гения и отдастъ справедливость тебѣ и вѣку, который произвелъ сего гения... Чтеніе кончилось. Восхищеніе и похвалы продолжались. Государыня начала у меня о тебѣ спрашивать и требовать отъ Уварова и меня, чтобы мы сказали ей, что можно для тебя сдѣлать“..!

По желанію Императрицы „Посланіе“ было роскошно напечатано на казенный счетъ въ количествѣ 1200 экз., и должно было продаваться въ пользу автора, которому сверхъ того пожалованъ перстень. Современный очевидецъ разсказываетъ, что въ провинціи это стихотвореніе Жуковского, приобрѣло положительно значеніе официального гимна Александру: — „Посланіе“ читали и въ общественныхъ собраніяхъ, и въ частныхъ кружкахъ передъ увѣнчаннымъ лаврами бюстомъ Государя, и когда доходили до стиха:

Прими-жъ, въ виду небесъ, свободный нашъ обѣтъ,

— всѣ падали на колѣни.

Весною, того же 1815 года, Жуковский былъ представленъ Императрицѣ Маріѣ Теодоровнѣ, и вотъ какъ онъ самъ описывалъ это первое свое свиданіе съ нею въ письмѣ къ роднымъ... „Уваровъ на другой день моего пріѣзда написалъ къ Императрицѣ, что я въ Петербургѣ, и получилъ приказъ представить меня въ слѣдующее воскресенье (была пятница). Мундира у меня не было, кое какъ накопилъ отъ добрыхъ пріятелей мундирную пару, и мы съ Уваровымъ от-

¹⁾ Императрица, прочитавъ «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ», уже изъявила желаніе поближе познакомиться съ Жуковскимъ, и приглашала его пріѣхать въ столицу.

правились въ воскресенье во второмъ часу во дворецъ. Дожидались довольно долго, потому что были послѣ обѣдни парадныя аудиенции, а меня велѣно было представить ей въ кабинетѣ. Изъ большой залы, въ которой мы стояли, двери прямо въ этотъ кабинетъ. Вдругъ онѣ отворились — и вслѣдъ за этимъ насъ приглашаютъ. Тутъ вы воображаете, что я струсилъ, и что сердце у меня крѣпко заколыхалось — нисколько! Желудокъ мой былъ въ исправности, слѣдовательно и душа въ порядкѣ. Проходимъ маленькую горницу. Уваровъ шелъ впереди, — входимъ въ другую; передъ дверьми ширмы. Вдругъ изъ-за ширмы говоритъ Уварову женскій голосъ: „*Bonjour, Monsieur Ouvaroff*“. Это какая нибудь придворная дама, думаю я; иду, — предо мною императрица. За нею, гораздо поодаль, у дверей, великіе князья. Разумѣется, началось привѣтствіемъ. Я хотѣлъ было сказать: не умѣю изъяснить Вашему Величеству своей благодарности за ваши милости; но исполнилъ это на дѣлѣ, а не на словахъ, потому что не успѣлъ ничего сказать, а отдѣлался поклонами. Сначала было довольно трудно говорить, потому что государыня говорила по-русски, не очень внятно и скоро, и я не все понималъ. Уваровъ это замѣтилъ и сказалъ два слова по французски; это заставило ее отвѣчать по французски же, и разговоръ пошелъ очень живо — о войнѣ, о ея безпокойствахъ прошедшихъ и о прошедшихъ великихъ радостяхъ. Въ этомъ разговорѣ было для меня много трогательнаго: мать говорила о сынѣ, и съ чувствомъ; нѣсколько разъ наворачивались у ней на глазахъ слезы. Разговоръ продолжался около часу. Наконецъ, мы откланились. „Мы еще съ вами увидимся“, сказала она мнѣ очень ласково... „Послѣ этого представленія путь ко Двору былъ конечно открытъ для Жуковскаго; но его еще привлекали прежнія связи, въ мечтахъ ему все еще представлялась возможность достигнуть своей главной цѣли — семейнаго счастья. Влеченіе это было до такой степени сильно, что еще въ 1814 году онъ вслѣдъ за Е. А. Протасовой, переселяется въ Дерптъ, гдѣ Воейковъ, женившійся на младшей Протасовой, получилъ кафедру при университетѣ. Живя въ Дерптѣ, среди нѣмцевъ-профессоровъ, углубляясь исключительно въ нѣмецкую поэзію, Жуковскій даже

сталъ находить какую-то особенную прелесть въ замкнутой, узкой жизни маленькаго нѣмецкаго университетскаго городка. Горячо привязанный къ семейству своей сестры, онъ сталъ пристрастно относиться и къ тому центру, въ которомъ эта семья жила, такъ что друзья много разъ напрасно пытались переманить его изъ Дерпта въ Петербургъ, заставляя думать о будущности и карьерѣ. Кажется, что Жуковскій въ это время еще и самъ не могъ совладать съ собою, и не зналъ, чего ему желать. Это, по крайней мѣрѣ, представляется намъ совершенно очевиднымъ изъ слѣдующаго письма Жуковскаго (отъ 4 авг. 1815 г.) къ А. И. Тургеневу, гдѣ онъ пишетъ между прочимъ... „Чтобы сдѣлать для меня то, что мнѣ нужно, вы должны имѣть объ немъ настоящее понятіе, т. е. о томъ, что мнѣ нужно. Боюсь я этихъ *grands projets* (намекъ на хлопоты друзей о помѣщеніи Жуковскаго на службу при Дворѣ). Могутъ составить за меня какой-нибудь планъ моей жизни да и убьютъ все... Тебѣ кажется непужно имѣть отъ меня комментаріи на то, что мнѣ нужно. Независимость, да и все тутъ. Спосობъ писать, не забываясь о завтрашнемъ днѣ; что, и гдѣ, и когда писать, мнѣ на волю. Я не буду жильцемъ Петербургскимъ; но каждый годъ буду въ Петербургѣ непременно. Вотъ главная мысль, остальное можешь придумать самъ... Если писать сдѣлается для меня обязанностью непремѣнною, то сказываю напередъ, что ничего написано не будетъ“... Но друзья подумали за Жуковскаго и устроили все сверхъ всякаго ожиданія. Осенью того же года Жуковскій былъ вызванъ въ Петербургъ и оставленъ при Дворѣ въ званіи лектора при вдовствующей Императрицѣ, которая, въ Павловскѣ, любила видѣть около себя кружокъ ученыхъ и литераторовъ: тутъ нерѣдко, по вечерамъ собирались во дворцѣ или Розовомъ Павильонѣ Карамзинъ и Крыловъ, Дмитріевъ, Нелединскій, Гнѣдичъ, Шторхъ, Клиггеръ, Адельунгъ, Виладовъ — и Жуковскому было дано почетное мѣсто между этими приближенными къ Императрицѣ лицами.

До поздней осени пробылъ Жуковскій въ Петербургѣ и въ Павловскѣ; но потомъ опять таки ускользнулъ въ Дерптъ, куда его по прежнему влекло, влекло неудержимо. И еще два года прошло въ такой странной, двой-

ственной жизни, въ борьбѣ съ самимъ собою, въ нерѣшительности относительно выбора пути, въ ожиданіяхъ, которымъ, какъ онъ самъ зналъ, не суждено было сбыться. Въ теченіе этого времени, Жуковский находился на верху своей славы, въ полномъ блескѣ ея... Всѣ смотрѣли на него, какъ на великаго поэта, много общающаго въ будущемъ, и одинъ изъ откровенныхъ друзей его даже настолько заблуждался относительно размѣровъ творческой силы Жуковского, что по-

пишешь баллады! Оставь бездѣлки намъ; займись чѣмъ нибудь достойнымъ твоего дарованія. Вотъ мое мнѣніе; оно чистосердечно. Пускай другіе кадятъ тебя; я чувствую, наслаждаюсь, восхищаюсь твоимъ гениемъ и, признаюсь, сожалею о томъ, что ты не избралъ медленнаго, постояннаго и вѣрнаго пути къ славѣ. Къ славѣ? Она не пустое слово. Она вѣрнѣе многихъ благъ бреннаго человечества..." (14 ноября 1814). Въ довершеніе всего, Жуковский, самъ того не желя,



Розовый павильонъ.

читалъ его пѣсни и баллады, его переводные романы и пышныя посланія небогѣ, какъ приготовительною работою, пробами вера, очевидными признаками будущаго, могучаго развитія таланта. Батюшковъ писалъ около этого времени Жуковскому: „Тургеневъ сказывалъ мнѣ, что ты пишешь балладу. Затѣмъ не поэму?.. Чудаки! ты имѣешь все, чтобы сдѣлать себѣ прочную славу, основанную на важномъ дѣлѣ. У тебя воображеніе Мильтона, нѣжность Петрарки... и ты

увидѣлъ себя во главѣ молодой партіи Карамзинистовъ. Вслѣдствіе этого невольнаго положенія, Жуковский конечно сдѣлалъ (какъ незадолго передъ тѣмъ Карамзинъ) цѣлью тяжеловѣсныхъ выхождокъ для членовъ „Шипицкой Бесѣды“; но, въ эту пору жизни, онъ такъ мало занятъ былъ своею литературной славою, что за него и за его славу приходилось ломать копья другимъ, друзьямъ его. „Здѣсь есть авторъ — князь „Шаховской“) — такъ пишетъ Жуковский къ

‘) Кн. А. А. Шаховской былъ членомъ Бесѣды.

родинѣ изъ Петербурга (осенью 1815 г.). „Извѣстно, что авторы неохотники до авторствъ. Вдумать онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною¹⁾. Друзья за меня вступились. Дашковъ напечаталъ жестокое письмо къ новому Аристофану; Влудовъ написалъ презабавную сатиру, а Вяземскому²⁾ сдѣлался поносъ эпиграммами. Теперь страшная война на Парнассѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и всѣ молчали — городъ раздѣлился на двѣ партіи, и французскія волненія забыты, при шумѣ парнасской бури. Всѣ эти глупости еще болѣе привязываютъ къ поэзіи, святой поэзіи, которая независима отъ близорукихъ судей и довольствуется сама собою“.

Эта выходка кн. А. А. Шаховскаго, о которой Жуковский упоминаетъ въ письмѣ къ роднымъ, и тотъ отпоръ, который она встрѣтила со стороны Карамзинистовъ, имѣютъ свое значеніе въ исторіи нашей литературы, потому что побудили молодыхъ представителей нашей литературы образоваться извѣстный „своеюграціозно-шаловливою“ дѣятельностью кружокъ, подъ названіемъ „Арзамасскаго ученаго общества“ или просто „Арзамаса“.

Та „презабавная сатира“ Влудова, о которой упоминаетъ Жуковский въ вышеприведенномъ письмѣ, была его извѣстное „Видѣніе въ Арзамасскомъ трактирѣ, изданное обществомъ ученыхъ людей“, которымъ и положено было основаніе всѣмъ Арзамасскимъ шалостямъ. Въ этой сатирѣ осмѣивалась вся Бесѣда—и, съ легкой руки Влудова, кружокъ молодежи, вошедшей въ составъ Арзамаса, посвятилъ себя почти исключительно полемикѣ съ Шишковистами и осмѣянію ихъ учено-литературной дѣятельности. Арзамасъ сложился въ такую эпоху (1815), когда еще періодъ нашихъ увлеченій славой и значеніемъ Россіи въ Европѣ не успѣлъ пройти, когда еще не успѣла наступить эпоха сознательнаго отношенія къ незавидной русской современности, нѣсколько позднѣе вызванная реакціей Александра царствованія... А потому и неудивительно, что мо-

лодежи жилось весело, и что наиболѣе талантливая, наиболѣе образованная часть ея искала возможности затрачивать избытокъ силъ своихъ въ шуткѣ и сатирѣ, направленной противъ отсталой литературной партіи, входившей въ составъ Бесѣды и Россійской Академіи, съ тѣхъ поръ какъ президентомъ ея былъ сдѣланъ А. С. Шишковъ. Шутка, пародія, сатира и карриатура, послужившія главнымъ побужденіемъ къ основанію Арзамаса, не переставали вліять на его устройство и дѣятельность въ теченіе всего существованія Арзамаса (1815—1818), т. е. до того времени, когда уже столкновеніе съ печальною дѣйствительностью сдѣлало шутку невозможною и раздѣлило самый Арзамасъ на партіи... Арзамасъ былъ устроенъ въ противоположность Бесѣдѣ, а потому въ немъ и не было ни подраздѣленій, ни разрядовъ, ни чиновначалія, ни президентовъ: всѣ члены Арзамаса одинаково имѣли право на общій титулъ ихъ превосходительства геніевъ Арзамаса. Но многіе обычаи Арзамаса были заимствованы изъ быта другихъ ученыхъ обществъ, а нѣкоторые шутивые символическіе обряды, которыми сопровождалось принятіе въ члены Арзамаса даже напоминали собою символику масонскихъ ложъ. Вотъ какъ, напримѣръ, былъ принятъ въ члены Арзамаса дядя А. С. Пушкина, Василій Львовичъ Пушкинъ: „Пушкина ввели въ одну изъ переднихъ комнатъ“ — рассказываетъ современникъ, — „положили его на диванъ и навалили на него шубы всѣхъ прочихъ членовъ... и, лежа подъ ними, онъ долженъ былъ выслушать чтеніе цѣлой французской трагедіи... Потомъ, съ завязанными глазами, водили его съ гѣстницы на гѣстницу, и привели въ комнату, которая была передъ самымъ кабинетомъ. Кабинетъ въ которомъ было засѣданіе, и гдѣ были собраны члены, былъ ярко освѣщенъ, а эта комната оставалась темною и отдѣлялась отъ него аркою, съ оранжевою, огненною занавѣскою. Здѣсь развязали ему глаза — и ему представилось огромное, безобразное чучело, устроенное на вѣшалкѣ для платья, покрытой простынею. Пушкину объяснили,

¹⁾ Пьеса эта была комедія «Липецкія воды», предст. 23 сент. 1815 г. Жуковский былъ въ ней осмѣянъ подъ именемъ балладника Фіалкина. ²⁾ Вяземскій, Влудовъ—все члены Арзамаса и товарищи Жуковского по пансіону.

что это чудовище означает дурной вкус; подали ему лук и стрѣлы, и велѣли поразить чудовище... Потомъ ввели Пушкина за занавѣску, и дали ему въ руки эмблему Арзамаса, мерзлаго арзамасскаго гуся, котораго онъ долженъ былъ держать въ рукахъ во все время, пока ему говорили длинную приветственную рѣчь. Рѣчь эту говорилъ, кажется, Жуковский". Послѣ того Пушкину, какъ и всѣмъ арзамасцамъ, дано было арзамасское прозвище: Вотъ. Также точно и другимъ членамъ кружка давались, при вступленіи въ Арзамасъ, подобныя же прозвища, заимствованныя преимущественно изъ балладъ Жуковского; такъ Блудовъ получилъ названіе—Кассандры, Данковъ—Чу!, Вяземскій—Асмодея, А. И. Тургеневъ—Эоловой Арфы, Н. И. Тургеневъ—Варвика, Уваровъ—Старушки, А. С. Пушкинъ—Сверчка, Батюшковъ—Ахилла: самъ Жуковский былъ извѣстенъ подъ названіемъ Свѣтланы. Эти арзамасскія прозвища служили для арзамасцевъ не только въ ихъ частныхъ, дружескихъ сношеніяхъ, но и псевдонимами въ литературѣ. Приветственная рѣчь, которою встрѣченъ былъ В. Л. Пушкинъ, принадлежала тоже къ числу арзамасскихъ обычаевъ, указанныхъ уставомъ Арзамаса. Въ томъ же уставѣ, написанномъ Жуковскимъ и Блудовымъ, указывается, чтобы вступающихъ членовъ во всѣхъ другихъ обществахъ, непрестанно говорилъ похвальную рѣчь своему покойному предшественнику; но "такъ какъ геній Арзамаса считался бессмертнымъ", то и рѣшено было, чтобы вступающій говорилъ похвальную рѣчь одному изъ членовъ Бесѣды. Это называлось "брать на прокатъ покойниковъ между халдеями Бесѣды и Академіи, дабы воздавать имъ, по дѣламъ ихъ, не дожидаясь потомства". Протоколы засѣданій Арзамаса велись въ стихахъ, гекзаметрахъ, Жуковскимъ и сохранились намъ, какъ любопытный памятникъ эпохи... "Такъ забавлялись въ то время люди, которые были уже не дѣти" — замѣчаетъ современникъ— "но всѣ люди извѣстные, нѣкоторые въ большихъ чинахъ и въ важныхъ должностяхъ. Никто не почиталъ предосудительнымъ въ то время шутить и быть веселымъ..." Но почтенный защитникъ Арзамаса упускаетъ изъ виду тотъ замѣчательный

фактъ, что шутливое и веселое настроеніе образованной и литературной молодежи нашей, выразившееся въ дѣятельности членовъ Арзамаса, было очень не долговременно и можетъ служить только доказательствомъ того, что молодыя силы, составившія веселый кружокъ арзамасцевъ, или не хотѣли, или не могли отнестись серьезно къ современной жизни нашего общества. Этотъ недостатокъ серьезности выразился совершенно ясно въ томъ, что Арзамасъ рѣшительно не могъ выдержать столкновенія съ дѣйствительностью, и уничтожился самъ собою при первой попыткѣ измѣнить его шутливый характеръ и направить свѣжія молодыя силы на дѣятельность полезную, положительную... Когда, по предположенію одного изъ членовъ Арзамаса, убѣждавшаго своихъ собратій оставить ихъ ребяческія забавы и обратиться къ предметамъ высокимъ и серьезнымъ, рѣшено было измѣнить характеръ и направленіе дѣятельности кружка — между членами его проявилась замѣтная рознь. Одни охладѣли совершенно къ шуткѣ и смѣху: другіе недовѣрчиво и не безъ опасенія смотрѣли на предполагаемое нѣкоторыми арзамасцами изданіе журнала, "коего статьи (по замѣчанію Вигеля) повсюду и смѣлостью идей должны были пробудить вниманіе читающей Россіи". Къ тому же нѣкоторые изъ важнѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ членовъ Арзамаса, около этого времени (1818 г.) разѣхались, другіе заняли важныя государственныя должности... И Арзамасъ исчезъ въ виду наступившей въ то время реакціи, которая начинала сказываться въ обществѣ нашемъ такъ грозно, что шутливое и легкое отношеніе къ дѣйствительности становилось невозможнымъ... Самъ Жуковский, добродушнѣе и беззаботнѣе всѣхъ предававшійся веселостямъ "Арзамасскаго ученаго общества", случайно былъ выдвинутъ судьбою на иное, новое для него поприще.

Незаботясь о своей славѣ и о борьбѣ съ своими литературными противниками, которую онъ предоставлялъ вести своимъ друзьямъ, Жуковский еще меньше заботился о своемъ обезпеченіи и назначеніи въ будущемъ, которое, какъ мы замѣтили выше, представлялось ему въ самомъ неопредѣленномъ видѣ. Между тѣмъ друзья его хлопотали за него при дворѣ съ какимъ-то

особеннымъ, страстнымъ рвеніемъ, и побуждали непремѣнно поднести Государю „Пѣвца въ Кремлѣ“, отдѣльно-изданнаго съ изящной гравюрой, прибавивъ къ нему посвященіе, или, по крайней мѣрѣ, посвятить Государю полное собраніе сочиненій. Жуковский, все еще привлекаемый Дерптомъ, въ которомъ онъ проводилъ большую часть года, отвѣчалъ на весьма положительныя побужденія своихъ друзей какими то полурассужденіями и полу-мечтами:

„Мнѣ весело думать“—пишетъ онъ А. И. Тургеневу (21 окт. 1816 г.) — „что ты обо мнѣ хлопчешь. Очень было бы хорошо, когда бы то, что ты затѣялъ, и о чемъ я не имѣю понятія, совсѣмъ обошлось безъ письма моего ¹⁾! Неужели должно непремѣнно просить вниманія? Довольно того, чтобы его стоить! Вниманіе государя есть святое дѣло. Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ, въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часть отъ часу становится для меня чѣмъ-то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія. Этимъ она можетъ быть только для петербургскаго свѣта. Но она должна имѣть вліяніе на душу всего народа и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе, если-ли поэтъ обратитъ свой даръ къ этой цѣли. Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію. И дай Богъ въ теченіи жизни сдѣлать хоть шагъ къ этой прекрасной цѣли. Имѣть ее позволено, а стремиться къ ней, значить заслуживать одобреніе государя. Это стремленіе всегда будетъ въ душѣ моей! Работать съ такою цѣлію есть счастье; а друзья будутъ знать, что я имѣю эту цѣль,—вотъ награда!“

И послѣ этого письма Жуковский по прежнему оставался жить въ Дерптѣ, гдѣ дописывалъ въ это время вторую половину своей повѣсти „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ (2-я баллада: Вадимъ) и приготавливалъ полное изданіе своихъ сочиненій. Такъ наступилъ конецъ 1816 году, ознаменовавшійся для

Жуковского двумя очень важными событіями. Первое событіе, болѣе всего способствовавшее тому, чтобы Жуковский наконецъ рѣшился покинуть Дерптъ, было прекращеніе тѣхъ странныхъ, неловкихъ и натянутыхъ отношеній, которыя уже нѣсколько лѣтъ сряду существовали между нимъ и семьею сестры его Е. А. Протасовой. Въ концѣ 1816 года романическая любовь Жуковского закончилась самопожертвованіемъ: Марія Андреевна Протасова, съ его разрѣшенія, вышла за мужъ, по желанію своей матери, за Мойера, профессора при дерптскомъ университетѣ. Около того же времени случилось и другое событіе; благодаря настойчивымъ стараніямъ А. И. Тургенева, черезъ князя А. Н. Голицына, поднесены были государю сочиненія Жуковского — и назначена ему пожизненная пенсія въ 4,000 р.! Нежданно и негаданно сбылись мечты безпечнаго мечтателя-поэта о независимости; но этому независимостью не могъ онъ пользоваться долго, невольно чувствуя самъ, что милость царская далеко превышаетъ его заслуги. „Я чувствую новую необходимость дѣятельности—пишетъ Жуковский къ Тургеневу—и это побужденіе святое: благодарность къ государю, который далъ мнѣ лучшее благо—независимость, и имѣетъ на меня надежду! Этой надежды обмануть не надобно! Я теперь въ службѣ, и долженъ служить по совѣсти!“ Хотя въ ту минуту, когда были писаны эти строки, Жуковский состоялъ еще ни на какой дѣйствительной службѣ, однакоже онъ чувствовалъ въ себѣ непреодолимое желаніе служить и службою доказать свою благодарность, конечно предвидя, что случай къ тому долженъ будетъ скорѣе представиться. Недаромъ говоритъ онъ, уѣзжая изъ Дерпта въ началѣ 1817 года въ Петербургъ: „романъ моей жизни оконченъ — теперь начинается исторія!“

И дѣйствительно, слѣдующее 25-ти лѣтне жизни Жуковского — его придворная служба ²⁾ (1817—1841) болѣе принадлежитъ исторіи, нежели литературѣ, для которой въ те-

¹⁾ Т. е. безъ письма къ Государю. ²⁾ Въ 1817 году Жуковский былъ избранъ въ преподаватели русскаго языка великой княгинѣ (впослѣдствіи Императрицѣ) Александрѣ Феодоровнѣ. По вступленіи на престолъ Императора Николая, Жуковский былъ назначенъ въ наставники къ Вел. Кн. Наслѣднику (нынѣ царствующему Государю Императору) Александру Николаевичу. Поэзія уступила мѣсто педагогическимъ трудамъ, такъ что въ поэтической дѣятельности его видны 7-ми лѣтній перерывъ (1823—29).

чение этого времени было имъ сдѣлано очень небольшое, и притомъ только подражательное или переводное: друзья и почитатели его должны были наконецъ убѣдиться въ томъ, что поэтическое творчество Жуковского никогда не приведетъ его ни къ чему самостоятельному и не дастъ ему возможности ничего создать, кромѣ очень хорошихъ переводовъ и болѣе или менѣе хорошихъ переработокъ съ готоваго поэтического матерьяла, представляемаго иностранными литературами. Чрезвычайно любопытенъ въ этомъ отношеніи отзывъ о Жуковскомъ И. И. Дмитриева, который уже въ самомъ началѣ его придворной карьеры, писалъ А. И. Тургеневу:

... „Ревность друзей (Жуковского) почти достигла своей цѣли: кажется, поэтъ мало-по-малу превращается въ придворнаго; кажется, новостъ въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его. Увидимъ, въ чемъ найдетъ болѣе выгоды, и между тѣмъ будемъ пока питаться Овсянымъ киселемъ¹⁾; для меня и онъ по вкусу, но я лажомъ и люблю разнообразіе“.

Въ этомъ намекъ Дмитриева на то, что поэтическая дѣятельность Жуковского начинается становиться чрезвычайно однообразною, заключается много правды. Около этого же времени и Батюшковъ писалъ о Жуковскомъ Тургеневу: „Утѣште злодѣя: скажите ему, что баллада изъ Шиллера прелестна, лучшій изъ его переводовъ, по моему мнѣнію; что переводъ изъ Иоганны мнѣ нравится, какъ переводъ мастерской, живо напоминающій подлинникъ; но размѣръ стиховъ странный, дикій, вялый—ссылаюсь на маленькаго Пушкина, которому Апполонъ далъ чуткое ухо. Но Горная пѣсня и весь IV №²⁾ мнѣ не нравится. Онъ попалъ на дурное, жеманное и скучное“. (1818 г.). Увлекался Дерптскою жизнью, привязываясь болѣе и болѣе къ тѣснымъ рамкахъ быта маленькаго нѣмецкаго городка, Жуковский болѣе и болѣе привязывался и къ тѣмъ узенькимъ, ограниченнымъ, ничтожнымъ идеаламъ,

которыми способна была задаваться поэзія, развивавшаяся въ центрахъ, подобныхъ Дерпту. Это побуждало его переводить много такого, что положительно незаслуживало перевода, а съ другой стороны способствовало мало-по-малу отдавить его отъ русской, національной почвы, безъ которой романтизмъ терялъ всякій смыслъ и значеніе. А между тѣмъ нельзя, конечно, отрицать того, что главнымъ недостаткомъ поэзіи Жуковского, даже и въ наиболѣе блестящій періодъ ея, является именно полнѣйшее отсутствіе всякаго національнаго колорита, всякой тѣсной связи съ народною почвой, которой мало сочувствовалъ Жуковский и которую онъ едва-ли понималъ; по крайней мѣрѣ все то, что онъ заимствовалъ изъ русскихъ преданій и, подражая Пушкину, пытался поставить на почву народную, принадлежало къ числу самыхъ неудачныхъ поэтическихъ опытовъ его³⁾. Въ теченіе своего 25-ти лѣтняго пребыванія при Дворѣ, Жуковский перевелъ „Орлеанскую Дѣву“—драму Шиллера, и поэму Байрона „Шильонскій Уиннъ“ (и то, и другое въ продолженіе 1821 года); затѣмъ между 1832—1836 гг. передѣлалъ прелестную повѣсть Ла-Моттѣ Фука „Уадиу“, а съ 1827—1840 перевелъ, съ нѣмецкаго перевода Рюккерта, индійскую поэму „Навъ и Дамаянти“. По окончаніи своей службы, оспаванный милостями Императора Николая I, обеспеченный на всю жизнь, и безъ того уже богатый, Жуковский уѣхалъ изъ Россіи за границу—и не возвращался болѣе въ отечество. Во время частыхъ своихъ путешествій за границу, до этого времени, онъ успѣлъ завести дружескія связи въ Германіи, къ которой все болѣе и болѣе привязывался. Въ 1841 году, переселившись за границу, онъ женился тамъ на дочери друга своего, живописца Рейтерна. Жуковскому было въ это время слишкомъ 60 лѣтъ, а его невеста—19. Новѣйшій биографъ Жуковского, д-ръ Зейдлицъ, посвящаетъ цѣлый отдѣлъ своей книги описанію семейной заграничной жизни поэта, и этотъ отдѣлъ представляетъ намъ

¹⁾ Въ послѣднее время своего пребыванія въ Дерптѣ, Жуковский особенно пристрастился къ Гётею, и перевелъ очень много его стихотвореній. ²⁾ Здѣсь упоминается о тѣхъ переводахъ съ нѣмецкаго, которые Жуковский для ученицы своей Великой Княгини Александры Теодоровны, издавалъ при Дворѣ тетрадками подъ заглавіемъ: für Wenige (для немногихъ). Тетрадки эти выходили подъ именами. ³⁾ Мы разувѣкъ его сказки: о царѣ Верендѣ и Спящей Царевнѣ, написанныя въ 1831 году, и въ особенности написанную имъ подъ конецъ жизни сказку «объ Иванѣ Царевичѣ и Сѣромъ Волкѣ».

много чрезвычайно любопытныхъ подробностей, которыя мы не считаемъ возможнымъ привести здѣсь. Достаточно будетъ замѣтить, что въ теченіе послѣднихъ 11 лѣтъ своей жизни, полубольной и нервно-разстроенный Жуковскій долженъ былъ почти постоянно ухаживать за болѣзненною женою и при этомъ бороться съ кружкомъ пѣтистовъ, ко-

строенность Жуковского совершенно ясно выражается въ томъ сочувствіи, которое, въ теченіе этого послѣдняго періода жизни, онъ выказывалъ къ религіознымъ мечтаніямъ Гоголя. Однакоже, въ немногія спокойныя минуты послѣднихъ 10 лѣтъ жизни, Жуковскій все же успѣлъ довести до конца два большіе труда: въ 1847 году напечатанъ было его



Домъ, въ которомъ жилъ и умеръ Жуковскій въ Бадень-Бадень.

торые постоянно направляли ея мысли къ религіозному энтузіазму и чуть было не вынудили ее принять католичество. Нравственное и духовное настроеніе Жуковского въ это время также было очень близко къ мистицизму и часто проявлялось въ видѣ чрезвычайно странныхъ поэтическихъ фантазій, въ видѣ сокрушеній о своей чрезмѣрной грѣховности, о суетѣ и ничтожествѣ всего мірскаго и т. п. Болѣзненно-религіозная на-

замѣчательный переводъ Одиссеи; въ 1849—переводъ персидской поэмы „Рустемъ и Зорабъ“. Въ томъ же году отпразднованъ былъ и 50-ти лѣтній юбилей литературной дѣятельности Жуковского, который предполагалось и даже слѣдовало бы праздновать уже въ 1847 г.

7-го апрѣля 1852 г., на 70-мъ году своей жизни, Жуковскій умеръ въ Бадень-Бадень. Тѣло его перевезено было въ Петербургъ, и

похоронено въ Александро-Невской Лаврѣ, рядомъ съ могилою Карамзина.

Прямую противоположностью Жуковскому, какъ поэту, представляется Батюшковъ, первый постигнувшій истинное значеніе поэтического настроенія древне-классическихъ поэтовъ и сумѣвшій усвоить себѣ не только ихъ взглядъ на жизнь и наслажденіе, но даже ихъ пластическій, образный, вполне матеріальный, и вмѣстѣ съ тѣмъ вполне изящный способъ выраженія. Гоголь (т. III, стр. 448) очень мѣтко указалъ на существеннѣйшія свойства поэзіи Батюшкова, сравнивая ее именно съ поэзіей Жуковского. „Въ то время“, — говоритъ онъ — когда Жуковский отрѣзалъ нашу поэзію отъ земли и существенности, и уносилъ ее въ область безтѣлесныхъ видѣній, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ для него самого идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимого, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное, во всѣхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы силился превратить въ осязательную нѣгу наслажденія. Онъ слышалъ, выражаясь его же выраженіемъ, „стиховъ и мыслей сладострастье“.

Несмотря на это различіе въ направленіи поэзіи, Батюшковъ все же принадлежитъ и по языку, и по взгляду на литературу, и по литературнымъ связямъ своимъ, точно также, какъ и Жуковский, къ кружку Карамзинскому. Проза Батюшкова, точно также какъ и раннія прозаическія произведенія Жуковского, представляетъ собою небольшое, какъ подраженіе прозѣ Карамзина. Но стихи Батюшкова и самое содержаніе его поэзіи, представляютъ собою нѣчто вполне самостоятельное, независимое отъ всякихъ предшествовавшихъ вліяній. По красотѣ стиха и по художественному достоинству своей поэзіи, Батюшковъ не имѣетъ предшественниковъ въ нашей литературѣ, и даже талантливѣйшіе представители Карамзинской школы — Дмитріевъ и Жуковский — не могутъ состязаться съ нимъ въ этомъ отношеніи; единственнымъ соперникомъ Батюшкова является въ первыхъ своихъ произведеніяхъ

юноша-поэтъ Пушкинъ, который такъ любилъ поэзію Батюшкова и такъ охотно признавалъ себя его ученикомъ. Мы уже видѣли выше, какъ Жуковский, своею усиленною переводною и подражательною поэтическою дѣятельностью, способствовалъ мало-по-малу занесенію къ намъ романтическихъ идеаловъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тщательно обрабатывалъ нашъ поэтический языкъ, примѣняя его къ выраженію тончайшихъ отвлеченностей своей туманной музыки; Батюшковъ, обладавъ несомнѣннымъ поэтическимъ талантомъ, умѣя можетъ быть даже лучше Жуковского справляться съ русскими стихомъ, долженъ былъ однакоже, сообразно своему поэтическому настроенію, и при самой выработкѣ поэтического выраженія, стремиться къ задачамъ, которыя были совершенно противоположны задачамъ поэзіи Жуковского. И дѣйствительно, ему первому, изъ русскихъ поэтовъ, удалось достигнуть того соединенія красоты и силы въ поэтической формѣ, которое и должно было послужить образцомъ для совершеннѣйшаго изъ русскихъ поэтовъ — Пушкина.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ (род. 1787 г., ум. въ 1855 г.) происходилъ изъ стариннаго рода Новгородскихъ дворянъ, которые уже съ 1683 года являлись владѣльцами живописнаго села Даниловскаго (Устюжнскаго уѣзда, Новгород. губ.), пожалованнаго царями Иоанномъ и Петромъ Алексѣевичами Матвѣю Батюшкову, одному изъ предковъ поэта, за службу его „противъ турокъ и татаръ крымскихъ“. Отецъ поэта, Николай Львовичъ, принадлежалъ къ числу людей образованныхъ на тотъ французскій ладъ, который былъ въ такой модѣ въ екатерининское время: сочиненія Руссо и энциклопедистовъ были до конца жизни его любимымъ чтеніемъ. Черезъ двоюроднаго брата своего, извѣстнаго уже намъ М. Н. Муравьева, Николай Львовичъ былъ не чуждъ даже и литературныхъ кружковъ. Но эти, повидимому благоприятныя условія домашней обстановки, въ сущности не имѣли и не могли имѣть никакого вліянія на развитіе Константина Николаевича, который по какимъ-то страннымъ, еще не разъясненнымъ отношеніямъ, былъ постоянно очень далеко отъ отца, и уже съ ранняго дѣтства попалъ въ чужія руки. Какъ младшій членъ семейства, матери онъ почти не

, потому что она, вслѣдствіе несчаст-разстройства умственныхъ способно-рано была удалена отъ дѣтей. Должно юлагать, что дѣтство Батюшкова было ьно печально, и конечно, особеннымъ ьмъ для него было то, что, по пріѣздѣ тербургъ, онъ былъ отданъ на попеченіе юдному дядѣ своему М. Н. Муравьеву ругѣ его, Екатериныѣ Теодоровнѣ, къ ымъ во всю жизнь свою относился самый нѣжный и любящій сынъ. Въ о благодаря заботамъ и надзору

Муравьева, Батюшковъ попалъ въ изъ лучшихъ частныхъ учебныхъ за-ій того времени, въ петербургскій ижъ Жакино ¹⁾ гдѣ особенное вниманіе ьлось на изученіе новѣйшихъ языковъ ь воспитательными условіями были весьма ны. Первоначальное образованіе Ба-ова закончилось подъ руководствомъ го иностранца—И. А. Триполи, служив-при морскомъ кадетскомъ корпусѣ. ьтатомъ шестилѣтнихъ занятій Батюш-сначала въ пансіонѣ Жакино, а по-подъ руководствомъ Триполи, было ивное знаніе французскаго, итальян-и даже нѣмецкаго языка, и раннее ьженіе охоты къ занятіямъ словес-ю. Изъ сохранившихся ученическихъ ь Батюшкова къ отцу видимъ, что уже ю1 году, т. е. лѣтъ 14-ти отъ роду, ьковъ перевелъ на французскій языкъ провознесенную митрополитомъ Плато-при коронованіи Императора Але-ра I ²⁾; сверхъ того, узнаемъ, что вос-ели Батюшкова не стѣсняли его въ п, и что сочиненія Ломоносова и Су-ова, наравнѣ съ баснями Геллерта и роизведеніями французскихъ мысли-, служили развлеченіемъ его пансіон-досуговъ. Но конечно, болѣе всего гворное, образующее вліяніе на разви-а и таланта Батюшкова долженъ былъ ьвать самъ М. Н. Муравьевъ, какъ мо-тъ и образованный писатель, а также ьжокъ литераторовъ и художниковъ, ьмъ постоянно собирався въ его домѣ; ьстрѣчался Батюшковъ съ И. И. Мар-вымъ, нашимъ талантливымъ и неудо-

мымъ переводчикомъ древнихъ класси-ковъ; здѣсь же познакомился онъ и съ А. Н. Оленинымъ, а черезъ него и съ большою частью современныхъ петербургскихъ ли-тераторовъ—Озеровымъ, Капнистомъ, Кры-ловымъ, Шаховскимъ и друг.

Въ 1806 году Батюшковъ, окончивъ ученіе, былъ зачисленъ на службу въ канцелярію ми-нистра народнаго просвѣщенія, а вскорѣ по-слѣ того опредѣленъ письмоводителемъ къ



Konstantin Batyushkov

своему же дядѣ, М. Н. Муравьеву, какъ товарищу-министра. Само собою разумѣт-ся, что эта служба была только чисто-номи-нальною, и 19-ти-лѣтній Батюшковъ по за-мѣчанію его биографа, „все время свое исклю-чительно посвящалъ занятіямъ литератур-нымъ“. Уже въ 1805 г., въ „Сѣверномъ Вѣ-стникѣ“,—журналѣ Мартынова—и въ „Но-востяхъ Литературы“, которыя издавалъ По-бѣдоносцевъ, встрѣчаются мелкія стихотво-ренія Батюшкова. Но въ 1806 году объяв-

) Платонъ Антоновичъ Жакино, родомъ изъ Эльзаса, служилъ преподавателемъ франц. языка уноп. Кадетск. корпусъ. ²⁾ Рѣчь эта, по желанію Жакино, была напечатана, и составляетъ библиографическую рѣдкость.

лена была война Франціи, и русская молодежь, увлекаемая особеннымъ патриотическимъ жаромъ и озлобленіемъ противъ французовъ, массою бросилась въ ряды войска... Въ ноябрѣ 1806 года изданъ былъ известный манифестъ о милиціи, который у насъ еще никогда прежде не бывало, и въ которомъ всѣ слышали энергическій призывъ къ головному вооруженію на общаго врага. Батюшковъ записался въ стрѣлковый батальонъ С.-Петербургскаго ополченія и въ началѣ 1807 года уже находился на театрѣ военныхъ дѣйствій. Юношу-поэта ожидало тамъ, въ его стремленіяхъ къ военной славѣ, жестокое разочарованіе: въ битвѣ подъ Гейльсбергомъ¹⁾, — гдѣ „главнѣйшая причина Русской неудачи заключалась въ безпорядкѣ отдѣльныхъ распоряженій по снабженію войскъ“,²⁾ — пуля пробила ногу Батюшкову, и эта рана едва не стоила ему жизни, потому что и онъ также находился въ числѣ того множества русскихъ раненныхъ, которыми „былъ покрытъ берегъ Немана“, и которые „валялись безъ призора, на сыромъ пескѣ и подъ дождемъ“. ³⁾ Даже и тогда, когда помощь уже была подана ему, положеніе поэта было ужасно; онъ лежалъ на соломѣ, въ тѣсной лачугѣ, безъ хлѣба, безъ денегъ, въ жестокихъ мученіяхъ — такъ сообщаетъ онъ самъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Нескоро оправившись отъ раны, Батюшковъ однако же не охладѣлъ къ военной славѣ, и еще разъ рѣшился попытать счастья: въ 1808—1809 г. мы видимъ его опять на войнѣ, въ Финляндіи, гдѣ онъ между прочимъ участвовалъ въ опасномъ походѣ на Аландскіе острова, по льдамъ Ботническаго залива. Любопытною чертою для характеристики нашего тогдашняго военного типа можетъ служить то, что въ глубинѣ Финляндскихъ дѣбрей, среди тревожной бивачной жизни, Батюшковъ занимался изученіемъ Тасса и Петрарки, сочиненія которыхъ, по его настоятельной просьбѣ были ему высланы Оленинымъ.

Тотчасъ по окончаніи войны, Батюшковъ покинулъ военную службу и поселился въ Москвѣ, куда въ то время пріѣхала и овдовѣвшая Е. О. Муравьева. Здѣсь сошелся онъ съ важнѣйшими представителями Москов-

скаго литературнаго кружка — съ Карамзинимъ и Дмитріевымъ, и съ окружавшею ихъ молодежью: Жуковскимъ, Д. В. Дашковымъ, П. А. Вяземскимъ — будущими знаменитостями. Батюшковъ, всѣми ласкаемый и превозносимый за свое поэтическое дарованіе, дѣлается однимъ изъ самыхъ ревностныхъ сотрудниковъ Вѣстника Европы, въ которомъ (въ теченіе 1809—1810) напечаталъ сначала свою пьесу: Воспоминанія, а потомъ цѣлый рядъ прекрасныхъ (хотя и вольныхъ) переводовъ изъ Парни, Тибулла и Петрарки, сразу доставившихъ Батюшкову, рядомъ съ Жуковскимъ, весьма видное мѣсто въ средѣ молодыхъ литераторовъ. Приверженцы Карамзина приняли его съ распростертыми объятіями и вскорѣ завлекли въ ту нескончаемую полемику, которая позднѣе такъ рѣзко раздѣлила всѣхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей на два противоположные лагеря. Памятникомъ сочувствія Батюшкова молодой литературной партіи осталось намъ его шутовское стихотвореніе: Видѣніе на берегахъ Леты,⁴⁾ въ которомъ бойко очерчены и осмѣяны всѣ представители старой литературной школы и сторонники мнѣній Шишкова.

Съ 1810 г. Батюшковъ снова является въ Петербургъ и даже опредѣляется на службу въ императорскую публичную бібліотеку, гдѣ А. Н. Оленинъ уже успѣлъ пріютить двухъ пріятелей своихъ литераторовъ: Крылова и Гнѣдича. Часто посѣщая кружокъ Оленина, печатая стихи свои въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ (въ Цвѣтникѣ, который изд. Никольскій и Измайловъ), Батюшковъ вѣроятно не зналъ тяготъ службы и служебныхъ отношеній... Жизнь давалась ему очень легко, и чаще обращалась къ нему лицевою стороною, нежели той изнанкой, которую онъ такъ хорошо узналъ въ послѣдствіи, и съ которою никакъ не могъ примириться. Увлекался своимъ талантомъ, возлагая большія надежды на будущее, Батюшковъ и не могъ въ это время выработать себѣ никакого правильнаго взгляда на жизнь и на свои способности, не могъ и уяснить себѣ своего назначенія. Кружокъ друзей его около этого времени расширился: онъ успѣлъ сблизиться во время этого пребыванія въ

¹⁾ Въ сѣверо-восточной Пруссіи. Битва эта происходила 29 мая 1807. ²⁾ См. Русс. Арх. 1867, стр. 1356. ³⁾ Тамъ же. ⁴⁾ Лета — рѣка забвенія.

Петербургъ съ Д. Н. Влудовымъ, съ А. И. Тургеневымъ и С. С. Уваровымъ — будущими своими товарищами по Арзамасу. Но не одна дружба — и любовь въ это время улыбалась молодому Батюшкову: онъ полюбилъ, и горячо полюбилъ молодую дѣвушку, которой посвятилъ такъ много прекрасныхъ, чистыхъ и пламенныхъ строкъ... Крѣпко боролся онъ съ этой страстью, стараясь пересилить себя; но страсть не поддавалась его волѣ, какъ видно изъ его прелестнаго стихотворенія: Разлука, въ которомъ онъ говоритъ, что

Напрасно покидалъ страну моихъ отцовъ,
Друзей души, блестяща искусства;
И въ муть грозныхъ битвъ, подъ сѣнь шатровъ,
Старался усыпить встревоженные чувства!
Напрасно я сѣднѣлъ отъ сѣверныхъ степей,
Холодныхъ солнцемъ освѣщенныхъ,
Въ страну, гдѣ Тирасъ бьетъ излучистой струей,
Сверкая между горъ, Церерой позлащенныхъ,
И древнѣя поитъ народовъ племена.
Напрасно:—всюду мысль преслѣдуетъ одна
О милой, сердцу незабвенной,
Которой взоръ одинъ лазоревыхъ очей
Всѣ—неба на землѣ блаженства отвергаетъ,
И слово, звукъ одинъ, прелестный звукъ рѣчей
Меня мертвить и оживляеть.

Но это юношеское, эгоистически счастливое состояніе человѣка, который способенъ заботиться только о себѣ, забывая совершенно объ окружающемъ мірѣ — это душевное состояніе продолжалось для Батюшкова очень недолго. Наступилъ 1812 годъ — и Батюшковъ не устоялъ противъ общей волны... Однако же поступить на службу онъ могъ только уже въ 1813 г., нѣсколько успокоенный отъносительно семейства своей благодѣтельницы, Е. О. Муравьевой, которую онъ не покидалъ въ теченіе всего намѣстствія, заботясь о ней, какъ нѣжный сынъ. И когда вся Европа, вслѣдъ за Россіей, поднялась на Наполеона, когда начался увлекательный и романтический крестовый походъ нашъ за свободу Европы, — поэтъ снова отдался боевой жизни, и, находясь при героѣ Раевскомъ, совершилъ всю компанію 1813 и 1814 года. Особенно памятно для Батюшкова осталась Лейпцигская битва — „битва народовъ“, какъ прозвали ее нѣмцы: — подѣ Лейпцигомъ

былъ убитъ лучший другъ его, полковникъ Петинъ, котораго онъ такъ часто вспоминаетъ въ своихъ стихахъ ¹⁾... И во время этой шумной, безпokoйной военной жизни, которую такъ любилъ Батюшковъ, мы опять застаемъ его за книгами, за работой надъ пополненіемъ своего образованія. „Знаешь-ли новую страсть мою, — нѣмецкій языкъ“; — пишетъ Батюшковъ изъ Веймара сестрѣ своей въ вологодскую губернію — „я нынѣ, живучи въ Германіи, выучился говорить по-нѣмецки, и читаю все нѣмецкія книги. Не удиляйся тому: Веймаръ есть отчизна Гёте, сочинителя Вертера, славнаго Шиллера и Виланда“. Вмѣстѣ съ русской арміей Батюшковъ вступилъ въ Парижъ, и жилъ тамъ довольно долго. Дошедшія до насъ письма его, изъ Парижа, указываютъ на то, что и Батюшковъ, наравнѣ со множествомъ современниковъ своихъ, рѣшительно потерялъ голову въ чаду упоенія той славой, которая такъ изобильно увѣнчала лаврами наше оружіе, и тою рыцарскою, безкорыстною борьбою за свободу Европы, которую мы такъ твердо вынесли. Видно, что Батюшковъ и въ это время все еще продолжалъ жить однимъ только настоящимъ, не задумываясь о завтрашнемъ днѣ, да къ тому же и очень легко приходилъ въ восторгъ:

...„Я часто съ удовольствіемъ смотрю“ — пишетъ онъ изъ Парижа Дашкову — „какъ наши казаки безпечно проѣзжаютъ черезъ Аустерлицкій мостъ, любуясь его удивительнымъ построеніемъ; съ удовольствіемъ неизъяснимымъ вижу русскихъ гренадеръ передъ Траяновой колоной или у рѣшетки Тюльери, передъ Arc de Triomphe, гдѣ изображены и Ульмъ, и Аустерлицъ, и Фридрихсбургъ, и Лена... Французы дорого заплатили за свою славу, любезный другъ!“

Такимъ же увлеченіемъ и заносчивымъ, поверхностнымъ взглядомъ на Францію, на французскую литературу и просвѣщеніе отзывается вообще все то, что Батюшковъ пишетъ изъ Парижа о пребываніи въ немъ, причемъ называетъ себя „маленькимъ Тибулломъ, или проще, капитаномъ русской императорской службы, что въ нынѣшнее время важнѣе, нежели бывшій кавалеръ или всадникъ римскій (ибо, по словамъ Соломона, „живой воробей лучше мертваго льва“)“.

¹⁾ Воспоминаніе о Петинѣ посвящено прекрасная элегія Батюшкова «Тѣмъ друзья».

Особенно странно и неприятно поражают нас сужденія „маленькаго Тибулла“ о современномъ состояніи французской литературы:

„Нынѣшній годъ была предложена къ увѣнчанію (въ академіи) „Смерть Баярда“; но, по слабости поэзіи, не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предметъ назначенъ для будущаго года?—„Польза приживанія коровьей оспы!“ Это хотъ бы нашей академіи выдумать! По этому, любезный другъ, можете судить о состояніи французской словесности. Ее не любилъ Наполеонъ... что немало послужило къ упадку академіи французской. Правленіе должно лелѣять и баловать музъ; иначе онѣ будутъ безплодны. Слѣдуя обыкновенному теченію вещей, я думаю, что вѣкъ славы для французской словесности прошелъ и врядъ-ли можетъ когда воротиться. Впрочемъ, мирное отечественное правленіе будетъ во сто разъ благосклоннѣе для музъ судорожнаго тиранскаго правленія корсиканца“.

Изъ Парижа Батюшковъ отправился въ Англію и оттуда, моремъ, въ Стокгольмъ, гдѣ тогда совѣтникомъ посольства находился близкій пріятель Батюшкова, Д. Н. Блудовъ, также собиравшійся ѣхать въ Россію. Здѣсь написана была элегія „На развалинахъ замка въ Швеціи“ и прекрасный отрывокъ Воспоминанія (И чувствую, мой даръ въ поэзіи погасъ...). Оба эти стихотворенія остаются настолько же памятникомъ пребыванія Батюшкова въ Швеціи, на сколько два другія его стихотворенія — „Плѣнный“ и „Переходъ черезъ Рейнъ“ — памятникомъ участія въ кампаніи 1813 — 1814 гг. Наконецъ, въ первыхъ числахъ іюня 1814 г., Батюшковъ возвратился въ Петербургъ, пробывъ почти два года за границей, — и странное чувство овладѣло имъ:

Средь ужасовъ земли и ужаса морей,
Влуждая, бѣдствуя, искалъ своей Итаки
Вогобязанный страдалецъ Одиссей;
Стопой безтрепетной сходилъ Анда въ мраки;
Харибды яростной, подводный Сциллы стонъ
Не потрясалъ души высокой.
Казалось, побѣдилъ терпѣливъ рокъ жестокой,
И чашу горести до капли выпилъ онъ:

Казалось, небеса карать его устали,

И тихо соннаго дочтали

До милыхъ родины давно желанныхъ спалъ;

Проснулся онъ: и чтожъ? Отчизны не позналъ¹⁾.

Тяжело было Батюшкову увидѣть себя среди незавидной русской дѣйствительности, въ заколдованномъ кругу апатіи и застою, среди котораго мощно властвовалъ Аракчеевъ... Послѣ тѣхъ событій, въ которыхъ пришлось принимать участіе, послѣ того, какъ почти два года жизни пришлось провести въ самомъ центрѣ европейской цивилизаціи, и при томъ же — играть видную роль въ шумной и ослѣпительно-блестящей исторической эпопее 1813 и 1814 г.г... Послѣ всего этого трудно было примириться съ непривлекательною обстановкой современной русской жизни. И Батюшковъ, тотчасъ же по пріѣздѣ въ Петербургъ, уже почувствовалъ на себѣ, что „и мы дорого заплатили за свою славу“, утративъ прежнее, наивное отношеніе къ своей дѣйствительности и возвратившись на родимый Востокъ съ идеями и возкрѣпленіями Запада. Тягостное душевное состояніе Батюшкова превосходно выражается въ томъ письмѣ, которое онъ вскорѣ послѣ возвращенія изъ за границы, писалъ къ Жуковскому, въ Вѣлѣвѣ, (въ ноябрѣ 1814 г.).

...„Какъ мы перемѣнились съ онаго счастливаго времени, когда, у Дѣвичьяго монастыря, ты жилъ съ Музами въ сладкой бесѣдѣ! Не знаю былъ ли ты тогда (въ 1809 г.) счастливъ, но я думаю, что это время моей жизни было счастливѣйшее: ни заботъ, ни понеченій, ни предвидѣній! Всегда съ удовольствіемъ живѣйшимъ вспоминаю и тебя, и Вяземскаго, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два вѣка мы прожили съ того благополучнаго времени. Я самъ кружился въ вихрѣ военномъ, и, какъ боевое пасѣкомое, какъ бабочка, утратилъ свои крылья“... Затѣмъ, описавъ свои странствованія, поэтъ прибавляетъ: „Вотъ моя Одиссея! По истинѣ Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровымъ воинамъ, разсѣянными по лицу земному. Каждого гонитъ какой-нибудь иститель-богъ... а меня — скука. Самое маленькое дарованіе мое, которымъ подарила меня

¹⁾ См. въ Смирд. изд. стихотвореній Батюшкова, II, стр. 66 «Судьба Одиссея».

судьба, конечно въ гнѣвъ своемъ, сдѣлалась мнѣ мучителемъ. Я вижу его бесполезность для общества и для себя. Что въ немъ, мой милый другъ? И тѣмъ замѣню утраченное время? Дай мнѣ совѣтъ, научи меня, наставь меня: у тебя доброе сердце, умъ просвѣщенный! Будь же моимъ вожатаемъ! Скажи мнѣ, какъ могу быть полезенъ обществу, себѣ, друзьямъ? Я оставляю службу по многимъ важнымъ для меня причинамъ, и не останусь въ Петербургѣ. Къ гражданской службѣ я не способенъ. Плутархъ не стыдился считать кирпичи въ маленькой Хероней: я не Плутархъ, къ несчастію, и не имѣю довольно философіи, чтобъ заняться бездѣлками...

И дѣйствительно, Батюшковъ принимается хлопотать объ отставкѣ, которую, однакоже, ему удастся наконецъ получить не ранѣе, какъ въ 1816 г. Въ теченіе этого времени, живя въ Каменецъ-Подольскѣ, среди хлопотъ и непріятностей, Батюшковъ уже на столько успѣлъ проникнуться недовольствомъ и какою-то особенною мнительностью по отношенію къ своимъ способностямъ и силамъ, что рѣшился отказаться даже отъ того счастья любви, которое такъ долго носило оное въ сердцѣ...

...„Вы меня критикуете жестоко“ — такъ пишетъ онъ къ Е. Ѳ. Муравьевой (изъ Каменца, въ авг. 1815 г.) и вездѣ видите противурѣчія. Виновать-ли я, если мой разсудокъ волеетъ съ моимъ сердцемъ? Но дѣло о разсудкѣ: я правъ совершенно. Нп отсутствіе, ни время меня не измѣнили. Если Всевышній не отниметъ отъ меня руки своей, то я все буду мыслить по старому: не пожертвую никѣмъ для собственныхъ выгодъ... Пестью тысячами жить невозможно въ столицѣ! если бы и возможно было, то я не могу и долженъ огорчить батюшку и навлечь на себя его гнѣвъ... Но и это въ сторону: важнѣйшее препятствіе въ томъ, что я не долженъ жертвовать тѣмъ, что мнѣ всего дороже. Я не стою ея, не могу сдѣлать ее счастливою съ моимъ характеромъ и съ маленькимъ состояніемъ. Это такая истина, которую ни вы, ничто на свѣтѣ не побѣдитъ, конечно... Кто любитъ, тотъ гордъ. Что касается до службы, до выгодъ ея, то Богъ съ ними, съ ней! Для чего буду я те-

перь искать чиновъ, которыхъ я не уважаю, и денегъ, которыя меня не сдѣлаютъ счастливымъ? А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить подъ одною кровлею въ нищетѣ, безъ надежды—нѣтъ, не соглашусь на это, и согласился бы, если бы я только на себѣ основалъ свои наслажденія. Жертвовать собою позволено; жертвовать другими — могутъ одни злыя сердца. Оставимъ это на произволъ судьбы. Жизнь не вѣчность, къ счастью нашему, и терпѣнію есть конецъ“.

Выйдя въ отставку, Батюшковъ былъ снова зачисленъ почетнымъ бібліотекаремъ въ Публичную Библіотеку и ревностно занялся литературой. Въ теченіе всего 1816 года много его стиховъ и прозаическихъ статей помѣщалось и въ „Вѣстникѣ Европы“, и въ „Сынѣ Отечества“. Въ концѣ того же года принялся онъ и за изданіе полнаго собранія своихъ сочиненій, которое окончено было уже только осенью 1817 г. также проведеннаго имъ въ Петербургѣ, среди родни своей и друзей-Арзамасцевъ, въ числѣ которыхъ Батюшковъ встрѣтилъ своего и тогда уже страшнаго соперника, 18-ти лѣтняго юношу — Пушкина. Вскорѣ, однакоже, смерть отца отвлекла его отъ беззаботной столичной жизни и отъ литературной дѣятельности:—ему пришлось ѣхать въ деревню, хлопотать объ устройствѣ дѣлъ своихъ, и этими хлопотами онъ окончательно успѣлъ разстроить свое и безъ того уже слабое здоровье. Богѣе и богѣе поддаваясь недовольству собою и всѣмъ, что его окружало, онъ впадаетъ въ тревожное состояніе духа, въ которомъ, по его собственному выраженію:

Онъ осужденъ искать... чего не знаетъ самъ ‘).

Заботы о поправленіи здоровья вынуждаютъ его къ новымъ хлопотамъ: черезъ А. И. Тургенева онъ ищетъ возможности получить мѣсто при нашемъ посольствѣ въ Неаполѣ... Почти весь 1818 годъ проходитъ въ разъѣздахъ, то въ Петербургъ и Москву, то въ Вологодское имѣніе, то на Югъ, въ Одессу, и опять на Сѣверъ.. Наконецъ, въ ноябрѣ 1818 года. Батюшковъ получаетъ то мѣсто, котораго такъ долго добивался, и отправляется въ Италію, въ самомъ мрачномъ настроеніи:

‘) «Странствователь и домохѣдъ»—См. соч. Батюшкова (Смирд. изд.) II, 216.

„Я знаю Италию, не побывавъ въ ней“— пишетъ онъ А. И. Тургеневу, незадолго до отъѣзда. „Тамъ не найду я счастья: его нигдѣ нѣтъ: увѣренъ даже, что буду грустить о снѣгахъ родины и о людяхъ мнѣ драгоценныхъ... Но первое условіе жить, а здѣсь холодно, и я умираю ежедневно. Вотъ почему желаю Италию и желаю. Умереть на батареѣ прекрасно; но, въ 30 лѣтъ, умереть въ постелѣ — ужасно“... Поэтъ, конечно, не

предвидѣлъ еще тогда, что въ близкомъ будущемъ его ожидаетъ нѣчто гораздо болѣе ужасное. 1820 годъ былъ послѣднимъ въ его авторской дѣятельности. Возвратившись въ Россію въ 1822 году, онъ уже былъ подверженъ умственному разстройству ¹⁾, и вскорѣ окончательно помѣшался... Отвезенный родными въ Вологду, несчастный Батюшковъ прожилъ здѣсь еще тридцать три года въ совершенно безсознательномъ состояніи...



¹⁾ Помѣшательство это, помимо всѣхъ особыхъ поводовъ и причинъ, было послѣдственной родовою болѣзью для К. Н. Батюшкова: его мать и любимая сестра также умерли въ помѣшательствѣ.

XXXV.

Значеніе Крылова. — Біографія его. — Крыловъ, какъ сатирикъ и журналистъ. — Крыловъ и Карамзинъ. — Крыловъ, какъ писатель народный. — Значеніе „морали“ въ басняхъ Крылова.

Въ литературѣ каждого народа есть свои великіе люди... Каждый народъ съ гордостью указываетъ на немногихъ избранниковъ въ общемъ кругу своихъ литературныхъ дѣателей и называетъ ихъ великими потому, что они стоятъ выше всего окружающаго ихъ, потому что ихъ дѣятельность не укладывается въ тѣ узкія рамки, которыя служатъ естественною границею для дѣятельности ихъ современниковъ и собратьевъ. Такіе люди обыкновенно увлекаютъ за собою толпу, и окружающій ихъ рой поклонниковъ, уже при жизни, создаетъ имъ то исключительное положеніе, вслѣдствіе котораго великій писатель не приурочивается къ современной ему эпохѣ, а — такъ сказать — эпоха приурочивается къ великому писателю: его имя дается наступающему за нимъ періоду и тому новому поколѣнію литераторовъ, которое развилось и выросло подъ непосредственнымъ вліяніемъ его произведеній, и представляетъ собою его школу.

Однакоже въ литературахъ, искусственно вызванныхъ къ жизни, несвязанныхъ непосредственно, органически, съ народной почвой, бывають иногда возможны чрезвычайно странныя явленія, оригинальныя въ высшемъ значеніи этого слова. Въ средѣ писателей, довольно обширной и разнообразной, горячо преданной своему литературному труду и разработкѣ своихъ литературныхъ интересовъ, еще болѣе преданной различнымъ теоретическимъ воззрѣніямъ, на основаніи которыхъ они строятъ свои произведенія — вдругъ является писатель, который положительно не можетъ быть отнесенъ къ тому періоду, среди котораго онъ живетъ и дѣйствуетъ, не начинаетъ собою и новаго періода, потому что не находитъ себѣ подражателей и послѣдователей, и такимъ образомъ создаетъ себѣ положеніе совершенно исключительное: — самъ по себѣ, особнякомъ со своею славой, смѣло и настойчиво становится онъ на свое высокое мѣсто и съ достоинствомъ сохраняетъ его въ памяти и ува-

женіи многихъ послѣдующихъ поколѣній. Такимъ, совершенно исключительнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ представляется намъ Крыловъ, котораго имя извѣстно каждому грамотному русскому, а сочиненія приобрѣли для насъ ту популярность и то значеніе, которымъ у древнихъ грековъ пользовалась Одиссея. Дѣйствительно, Крыловъ, выступившій на литературное поприще почти одновременно съ Карамзинымъ, остался совершенно чуждъ тому направленію, которое Карамзинъ вносилъ въ нашу литературу; не менѣе чуждымъ и почти враждебнымъ выказалъ онъ себя по отношенію къ возникшему впоследствии романтизму, въ лицѣ двухъ различныхъ представителей этого новаго направленія — Жуковскаго и Пушкина. Переживши два литературныхъ періода — Карамзинскій и Пушкинскій — Крыловъ остался въ сторонѣ отъ совершавшагося передъ нимъ опредѣленнаго теченія литературной жизни нашего общества, и, не вторя никому, никого не увлекалъ за собою, безспорно занявъ въ литературѣ мѣсто выше всѣхъ предшествовавшихъ ему и современныхъ писателей, — стать рядомъ и съ Карамзинымъ, и съ Пушкинымъ.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ (род. 1763 г., ум. въ 1844 г.) хотя и родился въ Москвѣ, однакоже первые годы дѣтства, почти до 8-ми лѣтнаго возраста, провелъ на крайнемъ Востокѣ Россіи, въ Оренбургѣ, гдѣ отецъ его, армейскій офицеръ, находился на службѣ. Андрей Прохоровичъ Крыловъ былъ, повидимому, человѣкъ весьма способный и толковый, потому что во время Пугачевщины, когда всѣ растерялись и не знали, что дѣлать, онъ выказалъ замѣчательное мужество, рѣшимость и распорядительность, и тѣмъ не мало способствовалъ спасенію Яницкаго городка отъ ужасовъ, ожидавшихъ его при сдачѣ самозванцу. Послѣ Пугачевщины, отецъ Крылова, обиженный невниманіемъ къ его заслугамъ, перешелъ въ гражданскую службу, и поселился на родинѣ своей, въ

Твери. Въ мѣсяцословѣ 1778 г. Андрей Прохоровичъ еще показанъ вторымъ предсѣдателемъ губернскаго магистрата, въ чинѣ коллежскаго асессора. Но въ 1779 г. отецъ Крылова скончался, оставивъ жену и сына безъ всякихъ средствъ къ жизни, и объ-

дѣтей. Несмотря на крайнюю нужду и бѣдность, она не только нашла время и возможность передать сыну своему все, что сама знала, но съумѣла еще отыскать и способы для возможнаго пополненія своихъ недостаточныхъ средствъ¹⁾. Такъ наприм. из-



Иванъ Крыловъ

маленькомъ Иванѣ Андреевичѣ пришлось заботиться одной матери. Марья Алексѣевна Крылова, по счастію, была одною изъ тѣхъ прекрасныхъ русскихъ женщинъ, которыя способны на всякое самопожертвованіе для

вѣстно, что Крыловъ много обязанъ былъ своимъ образованіемъ Николаю Петровичу Львову (дядѣ уже извѣстнаго намъ Н. А. Львова), служившему въ то время въ Твери совѣтникомъ, а потомъ и предсѣдателемъ

¹⁾ Сохранилось преданіе, будто мать Крылова добывала себѣ пропитаніе чтеніемъ канонныхъ и богатыхъ купеческихъ и дворянскихъ семействъ. Чтеніе канонныхъ, въ теченіе шести недѣль по смерти одного изъ членовъ семейства, было въ то время въ обычаѣ въ Твери, не только между купечествомъ, но даже и въ высшемъ дворянскомъ обществѣ. Говорятъ даже, что этому занятію М. А. Крылова была обязана нѣкоторыми связями и знакомствами, которыя впоследствии были полезны ея сыну.

уголовной палаты. Вѣроятно, благодаря ему Иванъ Андреевичъ раноознакомился съ французскимъ языкомъ. Но едва-ли не болѣе всего обязанъ былъ Иванъ Андреевичъ тому сундуку съ книгами, который остался ему чуть ли не единственнымъ наслѣдіемъ отъ покойнаго отца; быстро исчерпавъ онъ содержаніе этого сундука и, пристрастившись къ чтенію, при своихъ рѣдкихъ способностяхъ, памяти и воображеніи, онъ очень скоро почувствовалъ въ себѣ охоту къ воспроизведенію того, что было вычитано имъ изъ книгъ, и уже въ 1783 году, гдѣ 15-ти отъ роду, онъ представилъ первые, довольно изрядные опыты своего будущаго таланта. Но крайняя бѣдность, еще прежде того, когда ему только что минуло 14-ть лѣтъ, заставила его поступить на службу; и пришлось ему сначала служить простымъ писцомъ въ Калезинскомъ уѣздномъ судѣ, а оттуда вскорѣ перейти въ тверской магистратъ, въ которомъ служилъ до самой смерти его отца. Немного спустя, въ 1783 г., крайняя бѣдность и надежда на полученіе пенсіи побудили Марью Алексѣевну къ переселенію изъ Твери въ Петербургъ. Здѣсь Крыловъ тоже долженъ былъ поступить на службу и, сначала, видимъ мы его въ казенной палатѣ, получающаго по 2 руб. ассигнаціей въ мѣсяцъ; потомъ онъ перемѣщается на службу въ Кабинетъ Ея Величества, гдѣ и остается довольно долго. Онъ оставляетъ службу вскорѣ послѣ кончины своей матери (1788 г.), и, полный юношеской энергіи, полный надеждъ на свои силы и успѣхи, исключительно предается дѣятельности литературной.

Мы упоминали выше, что уже отъ 1783 года сохранился намъ первый литературный опытъ Крылова — нѣчто въ родѣ бывшихъ тогда въ модѣ комическихъ оперъ — Кофейница. Въ этой комической оперѣ, написанной 14-ти лѣтнимъ мальчикомъ, на нашъ взглядъ гораздо болѣе самостоятельности и таланта, нежели въ ближайшихъ послѣдующихъ, чисто-подражательныхъ, драматическихъ произведеніяхъ Крылова. Сюжетъ основывается на томъ, что плутоватый прикащикъ, при помощи Кофейницы (т. е. гадальщицы по кофейной гущѣ), старается обмануть свою госпожу-помѣщицу и отбить

невѣсту у одного изъ ея крестьянъ, котораго онъ съ этою цѣлью и обвиняетъ въ воровствѣ; но случай изобличаетъ обманщика и все кончается къ лучшему. Во всемъ произведеніи есть извѣстная цѣлость, связь между явленіями довольно естественна, а характеръ барыни-помѣщицы (Новомодовой) и плута-прикащика, задуманные и выполненные довольно ловко, свидѣлствуютъ о несомнѣнномъ талантѣ юноши-автора и о томъ, что природная наблюдательность и горькій опытъ жизни очень рано дали ему возможность понять многое, что въ его лѣта бываетъ еще недоступно юношѣ. Нельзя не отмѣтить и еще одной любопытной черты въ этомъ дѣтскомъ произведеніи Крылова: многія сцены его дышатъ той холодной и колкой ироніей, которая потомъ представляла собою существеннѣйшую сторону его произведеній и въ самую лучшую, самую зрѣлую пору развитія его таланта. Къ числу такихъ сценъ нельзя не отнести, напримѣръ, разговора (дѣйствіе I, явл. VI), въ которомъ прикащикъ излагаетъ Аниутѣ преимущества своего положенія относительно крестьянъ, которыхъ онъ воленъ бить и грабить; или еще сцену между барыней и прикащикомъ (д. I, явл. VII), въ продолженіе которой барыня на всѣ доводы прикащика отвѣчаетъ только восхваленіями того „чудеснаго дѣйствія“, которое „палка, дранье и таска“ отзываютъ на „окаянный хамовъ родъ проклятыхъ лакеевъ“. По сохранившемуся преданію, это первое произведеніе юноши-Крылова чуть было не попало въ печать, такъ какъ онъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, изъ Твери, продалъ свою Кофейницу книгопродавцу Брейткопфу, который предложилъ за нее Крылову 60 рублей ассигнаціями; но Крыловъ, терпѣвшій во всемъ крайнюю нужду, предпочелъ взять у книгопродавца на ту же сумму французскихъ книгъ, и получилъ въ числѣ ихъ сочиненія Расина, Мольера и Буало. За то, гдѣ пять спустя, въ печать попалъ другой, гораздо менѣе „Кофейницы“ самостоятельный и весьма неудачный опытъ Ивана Андреевича: трагедія „Филомела“, одна изъ двухъ¹⁾, открывшихъ ему доступъ въ литературный кружокъ Княжнина²⁾ и другихъ драма-

¹⁾ Другой трагедіей была «Клеопатра». ²⁾ Княжнинъ (1742—1791), драматическій писатель, авторъ «Дядюны» и «Росслава».

тических писателей и актеров. Здѣсь, молодой, начинающій авторъ, былъ принятъ привѣтливо, но къ произведеніямъ его отнеслись съ надлежащею строгостью. Въ этомъ кружкѣ Крыловъ сблизился и съ капитаномъ Рахманиновымъ, издававшимъ (въ 1788 году) журналъ Утренніе часы; должно предполагать, что онъ былъ человекомъ достаточнымъ, потому что у него была своя типографія — одна изъ немногихъ вольныхъ типографій того времени. Изъ роли сотрудника, талантливый юноша очень быстро перешелъ къ роли редактора и въ 1789 г. сталъ издавать свой собственный журналъ — „Почта духовъ, или ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмука съ водяными, воздушными и подземными духами“. Вскорѣ послѣ того, Рахманиновъ, окончательно покинувъ литературное поприще, уѣхалъ къ себѣ въ помѣстье и типографія его ¹⁾ перешла къ Крылову, который и послѣ прекращенія „Почты Духовъ“ не думалъ еще покинуть журналистики. Въ 1792 г. онъ сталъ издавать журналъ Зритель, который просуществовалъ всего 11 мѣсяцевъ, до конца того же года, а въ 1793 году сталъ выходить подъ названіемъ С.-Петербургскаго Меркурія. Оба послѣдніе журнала Крыловъ издавалъ въ сообществѣ съ другимъ, довольно извѣстнымъ драматическимъ писателемъ того времени, Клушинымъ (г. рожд. ? ум. въ 1804 г.). Сотрудниками Крылова по изданію Зрителя были весьма извѣстные въ то время писатели-актеры: Дмитревскій и Плавильщиковъ, и Николай Эминъ (сынъ уже извѣстнаго намъ Ѳ. Эмина, издававшего въ 1779 г. Адскую Почту), также писавшій для сцены, и Ѳ. Туманскій. Крыловъ, въ этомъ кружкѣ, являлся младшимъ

членомъ, и хотя, по своей талантливости, онъ долженъ былъ со временемъ пойти далѣе всѣхъ своихъ сотрудниковъ и приобрести громкую славу, однакоже въ то время, какъ младшій, менѣе всѣхъ опытный, и едва-ли не менѣе всѣхъ образованный, Крыловъ, замѣтно подчинялся вліянію кружка. Подчиненіе это видно не только въ томъ сочувствіи къ ложно-классическимъ формамъ поэзіи, которое, въ противоположность „Московскому журналу“ Карамзина, высказывалось въ послѣднихъ двухъ періодическихъ изданіяхъ Крылова, но еще и въ томъ, что замѣчательный сатирический талантъ Крылова сталъ проявляться въ формахъ той журнальной сатиры, которая около этого времени отживала свой вѣкъ, а предметомъ сатиры Крылова являлись тѣ же самые вопросы, которые уже давно были исчерпаны Новиковымъ и современными ему журналистами. Хотя нельзя не признать того, что сатира Крылова и представляется гораздо болѣе ѣдкой и острою, нежели сатира Новикова, но самостоятельности въ ней еще очень мало: съ одной стороны она касается тѣхъ же самыхъ вопросовъ, которые уже были намѣчены предшествовавшими Крылову сатириками; съ другой стороны — она даже и проявляется въ тѣхъ же формахъ переписки бѣсовъ, волшебной сказки, восточной повѣсти и т. п., которые, какъ мы уже видѣли выше, и до Крылова служили постоянными формами выраженія для журнальной сатиры. Болѣе всего рѣзкими и желчными оказываются въ журналахъ Крылова тѣ статьи и стихотворенія его, въ которыхъ онъ касается отношеній дворянства къ крестьянскому сословію ²⁾ и пристрастія русскихъ ко всему иностранному. Съ этой послѣдней точки зрѣнія и Крыловъ, и весь кружокъ, въ средѣ ко-

¹⁾ Она находилась близъ Лѣтняго Сада, въ нижнемъ этажѣ дома Вецкаго, что нынѣ дворецъ Е. И. Выс. Принца Петра Георг. Ольденбургскаго. ²⁾ Такъ напр. въ одномъ изъ послѣднихъ его стихотвореній (конца 90-хъ годовъ) подъ заглавіемъ Уединеніе, находимъ слѣдующее описаніе „городской роскоши“ въ сравненіи съ сельскою простотою:

... Тамъ (т. е. въ городахъ) роскошь, золотомъ блестя,
Зоветь гостей въ свои палаты,
И ставить имъ пиры богаты,
Изнѣженнымъ ихъ вкусамъ льстя;
Но въ хрусталяхъ своихъ безцѣнныхъ
Она не вина раздаетъ:
Въ нихъ пѣнится кровавый потъ
Народовъ, ею раззоренныхъ.

торого онъ началъ свою журнальную дѣятельность, отнесся крайне враждебно къ европеизму Карамзина, къ его попыткамъ преобразованія русскаго литературнаго языка и той критической строгости, съ которою Карамзинъ въ своемъ Московскомъ журналѣ встрѣчалъ всѣ новыя явленія въ русской литературѣ. Крыловъ въ С.-Петербургскомъ Меркуріѣ напечаталъ даже „похвальную рѣчь Ермолафиду, говоренную въ собраніи молодыхъ писателей“, — въ которой, выставляя Ермолафиду ¹⁾ въ образцы молодымъ авторамъ, въ то же время подвергаетъ самому грубому осмѣянію всю литературную дѣятельность Карамзина, его слогъ и воззрѣнія.

На сколько несамостоятельно (хоть и остроумною, и весьма талантливою), является журнальная сатира молодого Крылова, на столько же подражательными оказываются его лирическія стихотворенія, помѣщавшіяся въ С.-Петербургскомъ Меркуріѣ, и его комедіи („Бѣшеная семья“, „Проклязники“ и „Сочинитель въ прихожей“), написанныя имъ въ теченіи 1793 и 1794 гг. Нѣкоторыя изъ стихотвореній, впрочемъ, важны для біографа развѣ потому, что свидѣлствуютъ о довольно мрачномъ и тяжеломъ нравственномъ настроеніи Крылова за это время: въ нихъ встрѣчаемъ мы жалобы на судьбу, на неудачи, а также и недовольство собою. Біографы указываютъ на несчастную любовь, какъ на причину всѣхъ жалобъ поэта: и дѣйствительно, въ цѣломъ рядѣ стихотвореній, напечатанныхъ около этого времени въ Меркуріѣ, а также и отысканныхъ въ рукописи по смерти Крылова, видимъ, что онъ воспѣваетъ какую то Аниуту. Легко можетъ быть, что къ несчастной любви примѣшивались и какія-нибудь другія негоды и опасенія, потому что самъ Крыловъ, вспоминая уже въ старости объ этомъ періодѣ жизни своей, намекалъ и на журнальныя неудачи свои, и на какія-то „проказы молодости“. Вообще говоря, біографія Крылова, довольно скудная фактами, до сихъ поръ еще представляетъ намъ въ этомъ періодѣ, начиная отъ 1794 г. и до конца 1805 г., нѣсколько такихъ темныхъ мѣстъ, которыя и до настоящей минуты остаются

для насъ ничѣмъ неосвѣщенными. Такъ напр., мы рѣшительно ничего не знаемъ о томъ, что сдѣлалъ для литературы Крыловъ въ теченіе 1795 и 1796 года, хотя и достоверно извѣстно, что онъ это время оставался въ Петербургѣ и по прежнему завѣдывалъ типографіей, такъ какъ типографія Крылова съ товарищи — была закрыта не ранѣе декабря 1796 года, когда, по указу Императора Павла, упразднены были всѣ типографіи, за исключеніемъ состоявшихъ въ вѣдѣніи присутственныхъ мѣстъ. По сохранившимся отрывочнымъ свѣдѣніямъ извѣстно только то, что Крыловъ въ это время велъ жизнь довольно разсыпанную, являлся въ обществѣ, охотно участвовалъ въ концертахъ, будучи самъ хорошимъ скрипачемъ; извѣстно еще, что около этого же времени выучился онъ итальянскому языку... Затѣмъ, съ 1797 г. Крыловъ почему-то вдругъ покидаетъ Петербургъ, и является въ провинціи, въ семействѣ князя С. О. Голицына, котораго Императоръ Павелъ выславилъ изъ столицы въ его помѣстья. Въ этихъ-то помѣстьяхъ — Зубриловкѣ (въ нынѣшней Саратовской губ.) и Казацкомъ (Кіевской губ.) — Крыловъ прожилъ около четырехъ лѣтъ, въ довольно неопредѣленной роли домашняго учителя и друга дома, прилагавшаго заботы и къ обученію молодыхъ князей русскому языку, и къ увеселенію всей княжеской семьи... Тутъ устраивалъ онъ небольшіе домашніе концерты и спектакли; тутъ-же, въ Казацкомъ, написалъ онъ свою извѣстную шутотрагедію „Трумфъ“, въ которой принималъ на себя исполненіе главной роли. Тутъ-же, въ числѣ его учениковъ явился и весьма извѣстный по своимъ воспоминаніямъ Ф. Ф. Вигель, который, хотя и оставилъ въ нихъ весьма неблагоприятную характеристику Крылова, однакожъ, о его педагогической дѣятельности отзывается съ большою похвалою. „Не смотря на свою лѣность“ — такъ пишетъ Вигель — „онъ отъ скуки предложилъ кн. Голицыну преподавать Русскій языкъ младшимъ сыновьямъ его, а слѣдственно и соучащимся съ ними. И въ этомъ дѣлѣ показалъ онъ себя мастеромъ. Уроки наши проходили почти всѣ въ разговорахъ; онъ умѣлъ возбуждать любопытство

¹⁾ Ермолафидъ — т. е. несущій ермолафію или чепуху, галиматью. Подъ именемъ Ермолафиды Крыловъ очевидно разумѣетъ Карамзина.

любилъ вопросы и отвѣчалъ на нихъ также толковито, также ясно, какъ писалъ свои басни. Онъ недовольствовался однимъ русскимъ языкомъ, онъ къ наставленіямъ своимъ примѣшивалъ много нравственныхъ поученій и объясненій разныхъ предметовъ изъ другихъ наукъ. Изъ слушателей его никого не было внимательнѣе меня, и я долженъ признаться, что если имѣю скольконибудь ума, то много въ то время около него понабрался¹⁾. Одинъ изъ новѣйшихъ біографовъ Крылова замѣчаетъ, что „домъ кн. Голицына отличался не только высшимъ свѣтскимъ образованіемъ, но и любовью къ литературѣ. Княгиня, племянница Потемкина, сама занималась переводами и была воспитана Державиннымъ, который, бывши тамбовскимъ губернаторомъ, также находилъ дружескій пріемъ въ селѣ Зубриловкѣ. Нѣсколько лѣтъ пребыванія въ такомъ домѣ не могли остаться безъ вліянія на умнаго и даровитаго Крылова“²⁾.

По восшествіи на престолъ Императора Александра, онала была снята съ князя Голицына и онъ былъ назначенъ военнымъ губернаторомъ въ Ригу. вмѣстѣ съ тѣмъ и Крыловъ, по желанію князя, опредѣленъ къ нему въ секретари и въ концѣ того же года награжденъ чиномъ губернскаго секретаря. Но въ этой должности онъ оставался не долго; въ сентябрѣ 1803 г. Крылову была выдана кн. Голицынымъ слѣдующій, довольно неопредѣленный аттестатъ:

„Отдавая справедливость прилежанію и трудамъ служившаго при мнѣ секретаремъ губ. секр. Крылова, сопрягающаго съ расторопностію, съ каковою онъ выполнялъ всѣ на него возложенныя дѣла, какъ хорошее познаніе должности, такъ и отличное поведеніе, долгомъ почитаю засвидѣтельствовать симъ, что достоинства его заслуживаютъ вниманія“.

И тотчасъ вслѣдъ за полученіемъ этого аттестата, Крыловъ вдругъ исчезаетъ безслѣдно, и ни одинъ изъ его біографовъ не можетъ опредѣленно указать, гдѣ именно

онъ находился въ теченіе двухъ слѣдующихъ лѣтъ своей жизни—1804 и 1805 года? Предполагаютъ, что въ это время, увлекшись карточной игрой и выигравъ въ Ригѣ довольно большую сумму денегъ (около 30,000 р.) онъ пустился странствовать по Россіи и велъ полукочевую жизнь, безпрестанно переезжая, подъ вліяніемъ несчастной страсти къ азартной игрѣ, изъ города въ городъ, съ ярмарки на ярмарку... Но положительныхъ извѣстій объ этомъ періодѣ жизни Ивана Андреевича до сихъ поръ нѣтъ никакихъ.

Только уже въ концѣ 1806 года Иванъ Андреевичъ вновь выступает³⁾ на литературное поприще: онъ является къ Н. И. Дмитріеву, и приноситъ ему три первыхъ басни свои, отчасти переведенныя, отчасти передѣланныя изъ Лафонтена. Басни эти были: Дубъ и Трость, Разборчивая невіста, Старикъ и трое молодыхъ⁴⁾. Дмитріевъ, въ то время уже почти исключительно посвятившій себя этому роду поэзіи, уже прославившійся своими переводами французскихъ басенъ, не могъ не оцѣнить по достоинству этихъ первыхъ произведеній Крылова, въ которыхъ наконецъ явилось у поэта сознаніе истиннаго его назначенія; и Дмитріевъ оцѣнилъ эти басни съ замѣчательнымъ безпристрастіемъ... При очень лестномъ письмѣ его, басни Крылова были пересланы князю Шаликову и напечатаны въ его журналѣ Московскій Зритель. Съ этой минуты слава Крылова, какъ баснописца, стала быстро возрастать, хотя матеріальное и общественное положеніе его осталось еще въ теченіе нѣкотораго времени довольно неопредѣленнымъ... „1806 г. онъ, кажется, провелъ въ Петербургѣ, и мы думаемъ, что именно къ этому времени должно отнести происшествіе, о которомъ въ слѣдствіи Крыловъ рассказываетъ Гречу: вѣсть съ какими-то шулерами, онъ былъ призванъ къ генералъ-губернатору, который объявилъ имъ, что они подлежатъ высылкѣ изъ столицы. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ

¹⁾ Академикъ Гротъ въ статьѣ: «Литературная жизнь Крылова, см. стр. 15. ²⁾ Во время пребыванія Крылова въ Ригѣ, біографы его относятъ сочиненіе замѣчательной по остроумію комедіи «Пирогъ». ³⁾ Рассказываютъ, что первая попытка переводить Лафонтеновы басни сдѣлалъ была Крыловымъ еще въ 1781 г., и многіе знатоки тогда уже ободряли юношу къ посвященію своей дѣятельности этому поэтическому роду... Но его увлекалъ театр и онъ обратился къ произведеніямъ драматическимъ.

омъ году приняты были новыя мѣры про-
въ азартныхъ игръ, какъ въ Петербургѣ,
къ и въ Москвѣ“ ¹⁾. Въ слѣдующему
07 году, Крыловъ опять начинаетъ увле-

цузамъ и вообще къ иноземцамъ. сочиняетъ
двѣ комедіи: Модная лавка и Урокъ
дочкамъ, а потомъ волшебную оперу Илья-
богатырь.



Могила Крылова и Гнѣдича.

ться театромъ, и, слѣдуя общему патріо-
тическому настроенію современной литера-
туры, проповѣдывавшей ненависть къ фран-

Только уже въ 1808 году Крыловъ окон-
чательно обращается къ баснѣ и уже до
конца жизни не оставляетъ этого поэтиче-

¹⁾ См. материалы для біогра. Крылова въ VI т. Сборника статей, читанныхъ въ отд. русскаго
и слов. въ Имп. Акад. Наукъ; стр. 229.

скаго рода. Въ этомъ году является вдругъ 17 новыхъ басенъ Крылова въ Драматическомъ Вѣстникѣ — повомъ журналь плодovitаго драматурга нашего кн. Шаховскаго. Въ томъ же году поступаетъ онъ снова на службу, сначала при монетномъ департаментѣ, а потомъ (въ началѣ 1812 г.) переходитъ въ публичную библіотеку. И успѣхи, и слава Крылова съ этой минуты начинаютъ возрастать такъ быстро, что за ними ужъ трудно и услѣдить, не обращая біографію знаменитаго баснописца въ простой формулярный списокъ... Достаточно будетъ замѣтить здѣсь, что съ самаго основанія „Бесѣды любителей русскаго слова“, Крыловъ, какъ завѣдомый противникъ Карамзинскихъ нововведеній въ русскомъ литературномъ языкѣ и слоgъ, былъ, конечно, занесенъ въ число первыхъ членовъ „Бесѣды“, а въ декабрѣ 1811 года секретарь Россійской академіи, препровождая къ Крылову дипломъ на званіе дѣйствительнаго ея члена, уже писалъ къ нему, что „сочиненія его служатъ истиннымъ обогащеніемъ и украшеніемъ словесности руссійской“... Вскорѣ послѣ того, политическія басни Крылова, вызванныя событіями 1811 и 1812 года, придаютъ такую популярность и значеніе его литературной дѣятельности, что съ февраля 1812 года, по Высочайшему указу, Крылову начинаютъ производить изъ Кабинета пенсіонъ по 1500 р. въ годъ, и онъ вступаетъ въ плеяду придворныхъ поэтовъ и литераторовъ, которую такъ любила видѣть около себя и осматривать своими милостями Императрица Марія Теодоровна.

Вообще говоря, съ того времени, когда Крыловъ поступилъ на службу въ Императорскую библіотеку подъ ближайшее начальство своего покровителя и друга А. Н. Оленина, у котораго онъ былъ принятъ въ домъ какъ родной — жизнь Крылова принимаетъ такое ровное теченіе, что представляется біографу лишенною даже и съ фактической стороны какого бы то ни было разнообразія. Всѣ свидѣтельства современниковъ сводятся къ тому, что съ 1812 и по 1841 г. Иванъ Андреевичъ служилъ, занимая въ библіотекѣ очень пеклопотливую и неголоволомную должность и проводя въ должности большую часть дня; что онъ былъ вѣрнымъ и неизмѣннымъ членомъ англійскаго клуба, въ которомъ постоянно обѣдалъ, и

что большую часть своихъ вечеровъ онъ проводилъ среди семьи Алексѣя Николаевича и Елизаветы Марковны Олениныхъ, въ которой весьма естественно искать пріюта, какъ человѣкъ холостой и притомъ неохотно заводившій новыя знакомства. Если къ этому прибавить, что на досугъ Крыловъ писалъ басни, въ которыхъ очень рѣдко касался важныхъ общественныхъ вопросовъ, а больше разрабатывалъ вопросы отвлеченные, нравственные; если еще припомнить, что въ теченіе сорока лѣтъ (съ 1806—1844) Крыловъ написалъ этихъ басенъ около двухсотъ — то этимъ уже вполне исчерпывается вся немногосложная фактическая сторона его біографіи по отношенію ко второй, наиболѣе важной половинѣ его жизни. Нельзя при этомъ упустить изъ виду и того, что всѣ свидѣтельства современниковъ одинаково рисуютъ намъ Крылова въ этотъ періодъ его жизни человекомъ дѣлнымъ и исповоротившимъ, неприхотливымъ по отношенію къ жизни, периплывимъ и даже неопытнымъ въ одеждѣ и домашнемъ своемъ быту, любящимъ только хорошо поѣсть и проводящимъ все свободное отъ службы время на диванѣ, преимущественно „халатнымъ образомъ“, какъ выражается Гоголь. Сообразивъ все это, конечно уже не трудно составить себѣ и неблагоприятное представленіе о Крыловѣ, пожалуй даже согласиться съ тѣми изъ противниковъ и порицателей его, которые, увлекаясь этою внѣшнею стороною его и не вникая глубже въ его нравственную личность, представляютъ себѣ Крылова узкимъ эгоистомъ, которому ни до чего и ни до кого дѣла нѣтъ, кромѣ своихъ личныхъ выгодъ и удовлетворенія своихъ матеріальныхъ потребностей. Но, рѣшаясь смотрѣть на Крылова съ этой точки зрѣнія, нельзя не задать себѣ и такого вопроса: что-же привлекало къ Крылову всѣхъ современниковъ? что способствовало его прославленію и поставило его въ высокое положеніе, о которомъ онъ менѣе всего заботился, да еслибы и заботился, то едва-ли могъ бы достигнуть?...

Единственнымъ возможнымъ объясненіемъ его значенія, единственнымъ отвѣтомъ на вышеприведенный нами вопросъ, можетъ быть только одно: въ Крыловѣ всѣ поклонники и даже враги его сознавали и чувствовали такую могучую силу, какой не было ни въ одномъ изъ его предшествен-

никовъ на литературномъ поприщѣ. Этою силою звучало каждое слово его коротенькихъ, тщательно отдѣланныхъ басенъ, каждый образъ, выводимый въ нихъ поэтомъ-художникомъ, каждый звукъ его вполнѣ-русской, словно выкованной рѣчи, — и эта сила была ничто иное, какъ народность, въ смыслѣ тѣснѣйшей, прирожденной связи съ русской народной почвой, съ русской дѣйствительностью, съ понятіями, воззрѣніями и даже убѣжденіями массы русскаго народа. Чѣмъ больше мы вглядываемся въ басни Крылова, тѣмъ болѣе мы начинаемъ убѣждаться въ ихъ несомнѣнномъ, почти родственномъ сходствѣ съ тѣми произведеніями народной мудрости, которыя выражаются у народа въ видѣ поговорокъ, присловій, пословицъ, былей. Указывая на эту сторону крыловской басни, мы не можемъ не привести здѣсь того замѣчательнаго отзыва о ней, который былъ помѣщенъ академикомъ Гротомъ въ его очеркѣ „Литературной жизни Крылова“; онъ указываетъ тамъ, что „между родами поэзіи, перешедшими на русскую почву съ Запада въ XVIII столѣтіи, басня всѣхъ болѣе полюбилась нашимъ писателямъ“, и что „не было почти ни одного русскаго поэта, который бы не писалъ, между прочимъ, басенъ. Въ числѣ неизданныхъ сочиненій Державина отыскалось до 25 пьесъ этого рода. Жуковский и Батюшковъ также испытывали себя въ баснѣ. Успѣхъ Крылова вызвалъ несмѣтное множество новыхъ баснописцевъ, которые однакожь давно забыты. Правда, что и въ другихъ литературахъ, послѣ счастливаго примѣра, поданнаго Лафонтеномъ, басня, по своей видимой легкости, привлекала множество писателей; но нигдѣ ей такъ не пошастливилось, какъ въ Россіи; нигдѣ не получила она такого глубокаго національнаго значенія. Изъ всѣхъ родовъ поэзіи въ русской литературѣ, до сихъ поръ только басня, благодаря Крылову, сдѣлалась въ полной мѣрѣ органомъ народности и по духу, и по языку. Причины такого явленія должно искать въ томъ, что басня и по сущности своей, и по формѣ особенно соотвѣтствуетъ

свойствамъ народнаго духа. Для нея именно нуженъ и практическій смыслъ, и простодушная замысловатость и охота изъясняться притчами и пословицами, которыя такъ преобладаютъ въ русскомъ народѣ. Если самъ Крыловъ едва не до сорокалѣтняго возраста удерживался отъ художественной басни, то это можно объяснить только его сильнымъ сатирическимъ талантомъ, который долго искалъ себѣ болѣе прямого и открытаго выраженія ¹⁾. Это преобладающее свойство его духа придало и баснямъ его особенное значеніе. Какъ скоро оказалось, что только въ формѣ басни для него возможно вполнѣ успѣшное сочетаніе художественнаго дарованія съ проявленіемъ глубоко сатирическаго ума, то онъ не могъ не предпочесть ее всякой другой формѣ поэзіи. Изъ всѣхъ русскихъ писателей у одного Крылова соединились въ высшей мѣрѣ тѣ условія, которыя могутъ сообщить баснѣ истинно-глубокое содержаніе. У другихъ писателей басня почти всегда только словесная игрушка; у него она — дѣло, полное жизни и значенія ²⁾.

Нѣсколько далѣе, стараясь охарактеризовать литературную дѣятельность Крылова сравненіемъ съ дѣятельностью другихъ замѣчательныхъ писателей нашихъ, преимущественно Ломоносова и Карамзина, академикъ Гротъ высказываетъ слѣдующее:

...„Крыловъ, смолodu, подобно Карамзину, отказался отъ всѣхъ приманокъ честолюбія, корысти и тщеславія; смолodu дорожилъ болѣе всего духовными благами и съ жаромъ устремился къ пріобрѣтенію знаній“... „Не получивъ никакого правильнаго образованія, молодой Крыловъ съ жадностію поглощаетъ книги и знакомится съ замѣчательнѣйшими явленіями европейской литературы. Объ этой ранней начитанности свидѣлствуютъ всѣ его юношескія сочиненія: вотъ еще примѣръ того, что такъ часто поражаетъ насъ при изученіи нашихъ литературныхъ дѣятелей: Сумароковъ, Державинъ, Карамзинъ — были въ болѣе или меньшей степени самоучками; Крыловъ — болѣе нежели кто-либо изъ нихъ. Въ томъ воз-

¹⁾ Вигель въ своихъ Воспоминаніяхъ, замѣчаетъ по этому поводу довольно остроумно, что „подобно восточнымъ стихотворцамъ, въ коихъ самовластіе не могло задушить таланта, но кои не дерзали явно говорить истины, рѣшился и онъ яснымъ мыслямъ своимъ, вѣрнымъ наблюденіямъ, дать форму аполога“. ²⁾ Я. К. Грота. Литературн. жизнь Крылова; стр. 17—18.

растѣ, когда Ломоносовъ только-что начиналъ учиться въ Спасскихъ школахъ, Крыловъ былъ уже писателемъ, обнаружившимъ замѣчательную умственную зрѣлость. Онъ имѣлъ предъ Ломоносовымъ и Карамзинымъ великое преимущество, — счастье провести годы дѣтства подъ надзоромъ заботливой матеря, и это преимущество было чрезвычайно плодотворно для его будущности. Почти сверстникъ Карамзина, онъ пошелъ совершенно другой дорогой и сдѣлался, какъ мы видѣли, его противникомъ; ихъ разномысліе еще болѣе поддерживалось различными поприщемъ ихъ дѣятельности: одинъ былъ писатель московскій, другой — петербургскій: особаго рода антагонизмъ, тогда въ первый разъ рѣзко обозначившійся въ нашей литературѣ. Любопытные факты представляютъ исторію нашей умственной дѣятельности. Новый періодъ ея начался въ Петербургѣ, въ трудахъ питомца европейской науки, академика Ломоносова. Лѣтъ черезъ пятьдесятъ Москва становится поприщемъ молодого Карамзина, вносящего въ русскую литературу западно-европейскіе элементы дальнѣйшаго развитія, а противникъ его, Крыловъ, предпочитающій разработку слова въ чисто-народномъ духѣ, дѣйствуетъ въ Петербургѣ. Проведя свое дѣтство на Уралѣ, а потомъ въ одной изъ приволжскихъ губерній, Крыловъ почерпнулъ первыя умственные приобрѣтенія свои почти изъ той же сокровищницы, какъ Ломоносовъ; народный бытъ и народный языкъ сдѣлались для обоихъ источниками драгоценныхъ для будущей ихъ дѣятельности знаній и образовъ.

И дѣйствительно, въ произведеніяхъ Крылова незнаешь, чему болѣе удивляться: глубокому-ли пониманію народнаго быта во всѣхъ его оттѣнкахъ и подробностяхъ, или тому языку, который составляетъ до сихъ поръ исключительную личную принадлежность одного Крылова, потому что подражать этому языку, не обладая гениемъ Крылова, невозможно. А языкъ Крылова оказывается именно стоящимъ въ тѣснѣйшей связи съ его гениемъ, такъ какъ онъ — первый въ числѣ русскихъ писателей — рѣшился говорить къ нашему обществу, изнѣженному гармонической, размѣренно-ипрозой Карамзина, своимъ просто-народнымъ, нѣсколько грубоватымъ, но за то энергическимъ, сильнымъ

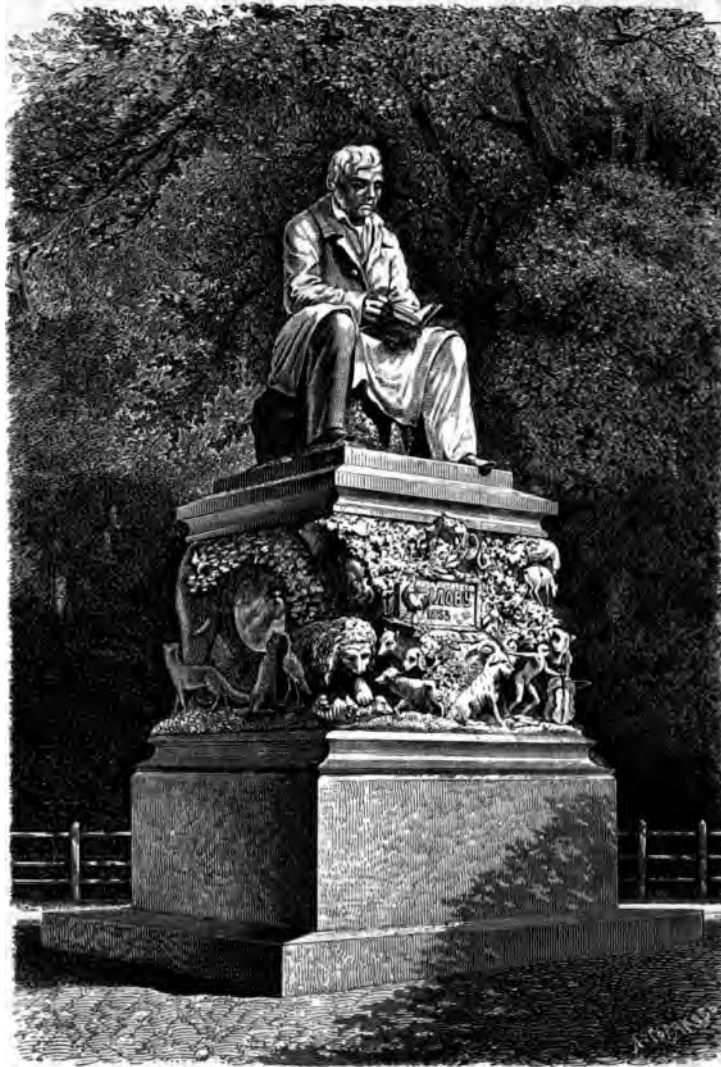
языкомъ, не заключавшимъ въ себѣ никакихъ чуждыхъ примѣсей и никакихъ исключительно-книжныхъ элементовъ.

Одинъ изъ современниковъ (Ф. Ф. Вигель) очень вѣрно замѣчаетъ, что „въ простомъ языкѣ своемъ изъ простыхъ изрѣченій (народа) схватилъ онъ все, что показываетъ его глубокомысліе, и безъ лишнужъ украшеній, безъ приправы составилъ изъ нихъ оригинальныя свои творенія: такъ славный поваръ, и изъ простыхъ, но самыхъ свѣжихъ припасовъ, готовитъ вкусный столъ, который можетъ удовлетворить прихотямъ изыскательнѣйшаго гастронома“. Любопытною чертою, особенно ярко-характеризующею Крылова, какъ писателя истинно-гениальнаго, представляется намъ то, что онъ въ своихъ басняхъ является писателемъ вполне самостоятельнымъ, независимымъ ни отъ одного изъ направленій, господствовавшихъ въ ту пору въ нашей литературѣ. Въ то время, когда всѣ его современники раздѣлились по отношенію къ направленію и литературному выраженію мысли на два лагеря, изъ которыхъ одинъ безусловно увлекался Карамзинскими реформами въ русскомъ языкѣ и слогѣ, другой упрямо старался отстоять уваженіе къ ложно-классическимъ формамъ и тяжелому, полу-русскому, полу-славянскому языку Ломоносовскаго періода — Крыловъ, не приставая ни къ той, ни къ другой сторонѣ, въ послѣдній періодъ литературной дѣятельности, пошелъ своимъ, особымъ, новымъ путемъ и всѣмъ указалъ на одинъ изъ важнѣйшихъ элементовъ каждой вполне развитой и богатой литературы: — на элементъ народности и въ духѣ, и въ направленіи, и даже въ языкѣ, который оставался въ его произведеніяхъ вполне народнымъ, приобрѣталъ подъ вліяніемъ его личнаго творчества еще болѣе силы и выразительности.

Кстати замѣтимъ о духѣ и направленіи Крыловскихъ басенъ, что онѣ въ послѣднее время подвергались многимъ порицаніямъ и осужденіямъ. Многіе ставили въ упрекъ Крылову его холодность, узко-консервативное направленіе его, скептическое отношеніе къ наукѣ и просвѣщенію, предпочтеніе, оказываемое снѣтливости и практицизму передъ глубокими теоретическими знаніями. Въ отвѣтъ на всѣ подобныя осужденія мы только замѣтимъ, что и мораль Крыловскихъ

зентъ замѣчательно близка къ той ходячей, выденной формѣ, въ которую она, въ теченіи вѣковъ, успѣла вылиться у насъ въ на-
къ. Крыловъ относился къ явленіямъ

кой, преимущественно народной массѣ, основывающей свои сужденія не на точномъ знаніи и разумной увѣренности, а только на вѣковомъ опытѣ предшествующихъ по-



Пмятникъ Крылову въ Лѣтнемъ саду.

изни совершенно также, какъ относится
нимъ и теперь еще любая мірская сход-
:—спокойно, объективно, съ нѣкоторымъ
тѣнкомъ ироніи и того скептицизма, ко-
рый въ высшей степени свойственъ вся-

колѣній. Мораль Крылова служитъ самымъ
полнымъ отголоскомъ того, что называется
здравымъ смысломъ толпы (le gros bon
sens), и эту особую, чисто-народную фило-
софію здраваго смысла Крыловъ доводитъ

до изумительной наглядности, ловко придавая ей замѣчательно-рельефную форму. Можно не сочувствовать воззрѣніямъ Крылова, можно обзывать его мораль отсталой и узко-консервативной, пожалуй можно даже соглашаться съ Вигелемъ, который говоритъ, что на Крыловѣ отразился „весь характеръ простаго Русскаго народа, какимъ сдѣлало его татарское иго, тиранство Іоанна, крѣпостное надъ нимъ право и желѣзная рука Петра“; но ни въ какомъ случаѣ нельзя отрицать того, что вся дѣятельность Крылова, какъ баснописца, представляетъ собою одно изъ самыхъ блестящихъ проявленій той вѣнстоимой силы духа, которая кроется въ русской народной массѣ подъ толстымъ слоемъ вѣковаго застоя и апатіи. Мы даже полагаемъ, что консервативное направленіе лучшихъ произведеній Крылова можетъ быть названо гораздо болѣе понятнымъ и основательнымъ, гораздо болѣе заслуживающимъ оправданія передъ лицомъ послѣдующихъ поколѣній, нежели такое же направленіе литературной дѣятельности Карамзина, котораго никто, однако же, не упрекаетъ въ холодности и недостаткѣ чувства. Карамзинъ, путемъ историческаго догматизма и различныхъ теорій дошелъ до весьма узкаго консерватизма, почти до отрицанія необходимости прогресса, и успокоился на сознаніи своего высокаго нравственнаго достоинства; Крыловъ, напротивъ того, дошелъ до своего консервативнаго взгляда путемъ простаго житейскаго опыта, который облизилъ его съ воззрѣніями массы и побудилъ относиться съ небрежною холодною къ прогрессу, казавшемуся однимъ только верхнихъ слоевъ общества, не имѣвшему никакого значенія для всей остальной массы народа. Вообще, крупная, самостоятельная и оригинальная личность Крылова заключала въ себѣ столько живыхъ, чисто-народныхъ, русскихъ сторонъ, такъ тѣсно и неразрывно связана была съ нашею народною почвою, что даже и послѣ смерти его, когда зашла рѣчь о памятникѣ Крылову, ни одному изъ русскихъ художниковъ не пришло въ голову представить его въ классической позѣ, съ лирой въ рукахъ, или окружить его тѣми ложно-классическими атрибутами, которые видимъ, не безъ удивленія на памятникахъ Ломоносова, Державина и Карамзина. Пре-

небрегая всѣми классическими традиціями, художникъ изобразилъ Крылова на памятникѣ сидящимъ, въ простой, свободной и небрежной позѣ, которая была такъ свойственна ему при его тучной, неповоротливой и неуклюжей фигурѣ—и памятникъ „дѣдушки Крылова“ въ Лѣтнемъ саду явился на столько же первымъ народнымъ памятникомъ русскому поэту, насколько самъ Крыловъ, въ своихъ высоко-художественныхъ басняхъ, явился первымъ вполне народнымъ русскимъ поэтомъ. И нельзя не согласиться, что именно съ этой стороны слава Крылова вѣроятно переживетъ славу многихъ писателей нашихъ, не менѣе его талантливыхъ, но менѣе его проникнутыхъ духомъ народа и глубокимъ сознаніемъ своей связи съ народною почвою.

Вспоминая, въ заключеніе біографіи Крылова, о его памятникѣ, мы не можемъ конечно упустить изъ виду и того превосходнаго отрывка изъ „Воспоминаній“. И. С. Тургенева, въ которомъ удивительно живо и полно передается впечатлѣніе, которое произвелъ на Тургенева своею внѣшностью нашъ гениальный баснописецъ:

„Крылова я видѣлъ всего одинъ разъ, на вечерѣ у одного чиновнаго, но слабаго петербургскаго литератора. Онъ просидѣлъ, часа три слишкомъ, неподвижно, между двумя окнами — и хотъ бы слово промолвилъ! На немъ былъ просторный, поношенный фракъ, бѣлый шейный платокъ; сапоги съ кисточками облекали его тучныя ноги. Онъ опирался обѣими руками на колѣни—и даже не поворачивалъ своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изрѣдка двигались подъ нависшими бровями. Нельзя было понять: что онъ—слушаетъ ли и на усь себѣ мотаетъ, или просто такъ сидитъ и „существуетъ?“ Ни сонливости, ни вниманія въ этомъ обширномъ, прямо-русскомъ лицѣ — а только ума палата, да заматерѣлая лѣнь, да по временамъ что-то лукавое словно хочетъ выступить наружу и не можетъ или не хочетъ — пробиться сквозь весь этотъ старческій жиръ... Хозяинъ наконецъ попросилъ его пожаловать къ ужину. „Поросенокъ подъ хрѣномъ для васъ приготовленъ, Иванъ Андреевичъ“,—замѣтилъ онъ хлопотливо и какъ бы исполняя неизбежный долгъ. Крыловъ посмотрѣлъ на него не то привѣтливо, не то насмѣшливо.

—таки непременно поросенокъ?“ — ка-
къ, внутренно промолвилъ онъ — грузно
къ и грузно шаркая ногами, пошелъ за-
свое мѣсто за столомъ“.

и должны признаться, что этотъ не-
пой отрывокъ, кажется намъ болѣе
ственнымъ и важнымъ для біогра-
Брылова, нежели многія и многія стра-

ницы, посвященныя его характеристикѣ...

Брыловъ умеръ 9 ноября 1844 года, слѣ-
довательно почти шесть лѣтъ спустя послѣ
того, какъ отпразднованъ былъ пятидесяти-
лѣтній юбилей его литературной дѣятель-
ности (2 февраля 1838 г.); онъ похороненъ
въ Александро-Невской лаврѣ, рядомъ съ
другомъ своимъ, Гнѣдичемъ.





ПЕРІОДЪ ВОСЬМОЙ.

ОТЪ ПУШКИНА ДО НАВѢЙШАГО ВРЕМЕНИ.

XXXVI.

А. С. Пушкинъ. — Дѣтство и воспитаніе на французскій ладъ. — Пробываніе въ Липецъ. — Пушкинъ и Жуковскій. — Первые произведенія юности-поэта и его изгнаніе. — Пробываніе на югъ и Байронизмъ. — Житіе въ деревнѣ. — Эпоха наступленія сознательнаго творчества. — Періодъ калечатъ и сонетный. — Пушкинъ и общество тридцатыхъ годовъ. — Значеніе Пушкина какъ поэта народнаго.

Въ русской литературѣ въ періодъ царствованія Александра I видимъ явленіе, одновременно совершавшееся въ литературѣ всѣхъ европейскихъ народовъ, а именно—борьбу двухъ литературныхъ школъ: классической и романтической. Не мѣшаетъ замѣтить, что эта борьба не ограничивалась одними предѣлами эстетическихъ теорій; вмѣстѣ съ тѣмъ, она проявилась и въ полной переработкѣ литературныхъ нравовъ, идеаловъ, понятій о значеніи писателя и его отношеніи къ обществу. Въ самомъ дѣлѣ: съ теоріей ложнаго классицизма въ XVIII столѣтіи тѣсно сроднилась система литературнаго меценатства, утвержденная на отжившихъ преданіяхъ. Не смотря на то, что въ XVIII вѣкѣ существовала уже въ западной Европѣ огромная масса читающей публики, способная поддержать своимъ сочувствіемъ литературный трудъ — литература все еще находилась въ вассаль-

ныхъ отношеніяхъ при дворахъ королей и всельможъ, пользуясь ихъ щедрыми дарами. Но когда старыя традиціи рушились, литература сразу потеряла всѣхъ своихъ покровителей и содержателей, и поэты очутились одни передъ массою образованнаго общества, отъ участія котораго сталъ зависеть весь успѣхъ ихъ творчества. Въ то же время это общество, возбужденное новыми идеями и политическими движеніями конца XVIII вѣка, ожидало отъ поэтовъ свободнаго, независимаго слова. При такомъ порядкѣ вещей всѣ тѣ, которые такъ или иначе были привержены къ старымъ принципамъ и сожалѣли объ утраченномъ блескѣ версальскаго двора и многочисленныхъ его подражаній, о меценатахъ, наградахъ и пенсіяхъ, — встали на сторону классицизма, въ то время, какъ все передовое, молодое, независимое начало ратовало за романтизмъ. Романтизмъ вслѣдствіе этого оказывался во-

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ДВАДЦАТОЙ.

ИСТОРИЧЕСКІЯ ПѢСНИ И ДУХОВНЫЕ СТИХИ XVII ВѢКА.

Михайло Скопинъ. ¹⁾

и будетъ почтарь въ половецкой ордѣ,
 тна короля, честного Карлуса,
 въѣзжаетъ прямо на королевскій дворъ;
 и двора королевскаго,
 чилъ почтарь съ добра коня,
 гъ коня къ дубову столбу,
 подхватилъ, самъ во палаты идетъ;
 ачѣмъ почтарь не замѣшкался,
 одить во палату бѣлокаменну.
 выривалъ сумы, вынималъ ярлыки,
 адетъ королю онъ на крутяй столъ.
 ижавши, король распечатываетъ,
 чаталъ, самъ просматриваетъ,
 чальное слово повыворилъ:
 любимаго брата названаго,
 ива-князя-Михайлы Васильевича;
 просить силы на подмочь,
 дываетъ три города русскіе.
 тной король, честной Карлусъ,
 нать ему милость великую,
 аляетъ силы со трехъ земель:
 первыя силы-то свецкія,
 угія силы саксонскія,
 тии силы школьскія (?)
 ратнаго люду, ученаго,
 много, ни мало—сорокъ тысячей.
 мла сила въ Новгородъ,
 Новгорода во каменну Москву,—
 на сокола крылья отросли,
 ииива-князя думушки прибыло.
 гтру, рано ранѣшенько
 жорѣ Скопинъ онъ заутреню отслужилъ,
 жилъ, самъ въ походъ пошелъ,
 мали знаменье царское,
 знаменьи было написано
 гъ Спасъ со Пречистою,
 ругой сторонѣ было написано
 йло и Гаврило архангелы,
 вся тутъ сила небесная.

Въ восточную сторону походомъ пошли.
 Они вырубили Чудь бѣлоглазую,
 И ту Сорочину долгополю.
 Въ полуденную сторону походомъ пошли,
 Прикрошили черкесть пятигорскіихъ:
 А немного дралися, скоро сами сдались;
 Еще нонѣ тутъ Малороссія.
 А на сѣверну сторону походомъ пошли,
 Прирубили калмыковъ со башкирцами.
 А на западну сторону и въ ночь пошли,—
 Прирубили чушки со люторами;
 А кому будетъ Божья помощь—
 Скопину князю Михайлѣ Васильевичу!
 Онъ очистилъ царство московское
 И велико государство российское.
 На великихъ тѣхъ на радостяхъ
 Служили обѣдни со молебнами,
 И кругомъ города ходили въ каменной Москвѣ;
 Отслуживши обѣдни съ молебнами,
 И всю литургію великую,
 На великихъ на радостяхъ пиръ пошелъ,
 А пиръ пошелъ и на великой столъ,
 У Скопина князя Михайлы Васильевича.
 Про весь православный міръ:—
 И велику славу до вѣку поютъ
 Скопину князю Михайлѣ Васильевичу.
 Какъ бы малое время замѣшкавши
 А во той же славной каменной Москвѣ,
 У того-ли было князя Воротынскаго,
 Крестили младого князевича,
 А Скопинъ-князь Михайло кумомъ былъ,
 А кума была дочь Малютина,
 Того Малюты Скурлатова.
 У того-то князя Воротынскаго,
 Тамъ будетъ и почестной столъ,
 Тутъ было много князей и бояръ, и званыхъ го-
 стей:
 Будетъ пиръ во полу-пирѣ,
 Княженецкой столъ во полу-столѣ,

¹⁾ Пѣсня начинается съ того, что съ московскимъ царствомъ «учинилось недоброе»: «облегла его съ четырехъ сторонъ», а съ нею и «Сорочина долгополая, и черкесы пятигорскіе, и калмыки лутарами и чушки съ люторами». Князь Михайло Скопинъ, «правитель царству московскому» егатель міру крещеному», видитъ, что ему не справиться со всѣми этими иноплемениками: — и отправляетъ онъ скорого гонца «въ свецкую землю, саксонскую», «къ любимому брату-назван-ко свецкому королю Карлосу», прося у него «силы воинской на подмочь».

Какъ пьяненьки тутъ гости разхвастались;
 Сильный хвастаетъ силою,
 Богатый хвастаетъ богатствомъ;
 Скопинъ-князь Михайло Васильевичъ
 А и не пилъ онъ зелено вино,
 Только одно пилъ пиво и сладкій медъ,
 Не съ большого хмѣлю онъ похвастается:
 «А вы, глупой народъ, неразумные!
 А всѣ вы похвалаетесь бездѣлницей:
 Я—Скопинъ, Михайло Васильевичъ,
 Могу князь похвалиться,
 Что очистилъ царство московское
 И велико государство российское,
 Еще ли мнѣ славу поють до вѣку,
 Отъ стараго до малаго,
 Отъ малаго — до вѣку моего».
 А и тутъ боярамъ за бѣду стало,
 Въ тотъ часъ они дѣло сдѣлали;
 Поддержали зелья лютаго,
 Подсыпали въ стаканъ, въ меды сладкіе,
 Подавали кумѣ его крестовая,
 Мамютиной дочери Скурлатовой.
 Она, зная, кума его крестовая,
 Подносила стаканъ меду сладкаго
 Скопину—князю Михайлѣ Васильевичу.
 Принимаетъ Скопинъ, не отрицается,
 Онъ выпилъ стаканъ меду сладкаго,
 А самъ говорилъ таково слово:
 «Услышалъ въ утробѣ неловко добръ!—

А и ты съѣла меня, кума крестовая,
 Мамютова дочь Скурлатова;
 А зазнаючи мнѣ стаканъ со зельемъ подала,
 Съѣла ты меня, згѣя подколодная!»
 Голова съ плечъ поквятилася,
 А и тутъ Скопинъ скоро со пиру пошелъ,
 Онъ садился Скопинъ на добра коня,
 Побѣжалъ къ родимой матушкѣ;
 А только успѣлъ съ нею проститься,
 А матушка ему пѣнять стала:
 «Гой еси, мое чадо милое,
 Скопинъ-князь Михайло Васильевичъ!
 Я тебѣ приказывала,
 Не велѣла ѣздити ко князю Воротынскому.
 А и ты меня не послушался,
 — Лишила тебя свѣту бѣлаго
 Кума твоя крестовая,
 Мамютина дочь Скурлатова».
 Онъ къ вечеру Скопинъ и представился.—
 То старина, то и дѣянье,
 Какъ бы снѣгу морю на утѣшенье,
 А быстрымъ рѣкамъ слава до моря,
 Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье,
 Молодымъ молодцамъ на перениманье,
 Еще намъ, веселымъ молодцамъ ¹⁾, на потѣшенье
 Испиваячи медъ, зелено вино;
 Гдѣ-ко пиво пьемъ, тутъ и честь воздаемъ
 Тому боярину великому
 И хозяину своему ласкову.

Пѣсни о Ксеніи Борисовнѣ Годуновой.

Сплачется малая птичка
 Бѣлая перепелка:
 «Охти мнѣ, молоды горевати!
 Хотятъ сырой дубъ зажигати,
 Мое гнѣздышко разорити,
 Мои милыя дѣти побити,
 Меня перепелку поймати».
 Сплачется на Москвѣ царевна:
 «Охти мнѣ, молоды горевати,
 Что идеть къ Москвѣ измѣнникъ,
 Ино Гришка Отрепѣевъ Разстрига,
 Что хочеть меня полонити,
 А полонивъ, меня хочеть постритчи,
 Чернеческой чинъ наложити.
 Ино мнѣ постритчиси не хочеть,
 Чернечскаго чину не сдержати;
 Отворити будетъ темна келья,
 На добрыхъ молодцовъ посмотриѣти.

Ино, охъ, милые наши переходы,
 А кому будетъ по вась да ходити,
 Послѣ царскаго нашего житья
 И послѣ Бориса Годунова.
 Ахъ, милые наши теремы,
 А кому будетъ въ вась да сѣдѣти,
 Послѣ царскаго нашего житья
 И послѣ Бориса Годунова».

А сплачется на Москвѣ царевна,
 Борисова дочь Годунова:
 «Ино Воже, Спасъ милосердый;
 За что наше царство загло—
 За батюшково-ли согрѣшенье,
 За матушкино-ли немоленье?
 А свѣты вы, наши высокія хоромы,
 Кому вами будетъ владѣти,
 Послѣ нашего царскаго житья?

¹⁾ Здѣсь пѣвцы, какъ видно поющіе во время стола, у какого-то боярина, говоря о себѣ, указываютъ на любопытный старинный обычай потѣшанія гостей пѣснями во время пировъ.

А свѣты браные убрусы,
—Вереза-ли вами крутити?
А свѣты золоты ширинки,
—Лѣсы-ли вами дарити?
А свѣты яхонты-сережки,
На сучье-ли васъ задѣвати,
Послѣ царскаго нашего житья,
Послѣ батюшкова наставленья,
А свѣтъ Бориса Годунова:

А что ѣдетъ къ Москвѣ Разстрига,
Да хочеть теремы ломати,
Меня хочеть, царевну, поймати.
А на Устюжну на желѣзную отослати,
Меня хочеть царевну пострити,
А въ рѣшетчатой садъ засадити.
Ино, охти мнѣ, горевати,
Какъ мнѣ въ темну келью вступати,
У игуменья благословитися ¹⁾.

Пѣсни о Стѣнкѣ Разинѣ.

Ахъ, туманы вы, туманушки,
Вы туманы непроглядные,
Какъ печаль тоска невинистые,
Не подняться вамъ, туманушки, съ синя моря долой,
Не отстать тебѣ, кручянушка, отъ сердца прочь!
—Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей, пролей, часть-крупень дождикъ!
Ты размой земляну тюрьму,
Чтобъ тюремнички-братцы разбѣжались.
Въ темномъ бы лѣсу собиралися.
—Во дубравушкѣ во зелененькой,
Ночевали тутъ добры молодцы;
Подъ березонькой они становилися,
На восходъ Богу молилися,
Красну солнышку поклонилися:
—«Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Надъ горой взойди, надъ высокою,
Надъ дубравушкой, надъ зеленою.
Надъ урочищемъ добра молодца
Что Степана свѣтъ-Тимофеича,
По прованью Стѣнки Разина.
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрѣй ты насъ, людей бѣдныхъ,
Добрыхъ молодецъ, людей бѣглыхъ.
Мы не воры, не разбойнички,—
Стѣнки Разина мы работнички,
Есауловы все помощнички.
Мы весломъ махнемъ—корабель возьмемъ,

Кистенемъ махнемъ—караванъ собьемъ,
Мы рукой махнемъ—дѣвицу возьмемъ».
—
Какъ бывало мнѣ, ясну соколу, да времечко:
Я леталъ младъ-ясенъ-соколъ, по поднебесью,
Я билъ побивалъ гусей-лебедей,
Еще билъ-побивалъ малу пташечку.
Какъ бывало желкой пташечкѣ пролету нѣтъ,
А нонича мнѣ, ясну-соколу, время нѣтъ:
Сижу я, младъ-ясенъ соколъ, въ поиманѣ,
Я во той-ли, во золотой во клѣточкѣ,
Во клѣточкѣ, во жестяной, на шесточкѣ.
У сокола ножки спутаны,
На ноженъкахъ пучочки шелковыя,
Зановѣсочки на глазынькахъ жемчужныя!
Какъ бывало мнѣ, добру-молодцу, да времечко:
Я ходилъ-гулялъ, добрый молодецъ, по синю-морю,
Ужъ билъ-разбивалъ суда-корабли,
Я татарскіе, персидскіе, армянскіе;
Еще билъ-разбивалъ легки лодочки:
Какъ бывало легкимъ лодочкамъ проходу нѣтъ;
А нонѣча мнѣ, добру молодцу, время нѣтъ!
Сижу я, добрый молодецъ, во поиманѣ,
Я во той-ли во злодѣйской земляной тюрьмѣ.
У добра-молодца ноженъки сокованы,
На ноженъкахъ оковушки нѣмецкія,
На рученькахъ у молодца замки затюремные,
На шеюшкѣ у молодца рогатки желѣзныя.

Пѣсня про осаду Соловецкаго монастыря.

На Москвѣ было, на базарѣ,
Собиралися бояре:
Выбирали бояре
Изъ бояръ воеводу,
Выбирали Ивана Петрова,
Изъ того-ли изъ роду Саатыкова,
Передъ царскія очи становили.
Какъ возговоритъ православный царь,

Алексѣй-то Михайловичъ,
Его царское величество:
«Охъ ты гой еси, большой бояринъ,
Ты, любимый мой воеводушка!
Ты ступай-ка къ морю, ко синему.
Ко тому острову, ко большому,
Ко тому монастырю, ко честному,
Къ Соловецкому;

¹⁾ Эти двѣ пѣсни принадлежать къ числу тѣхъ, которыя записаны были Джемсомъ.

Ты нарушь вѣру старую, правую,
 Поставишь вѣру новую, неправую».
 Какъ возговорить большой бояринъ,
 Любимый царскій воеводушка:
 «Охъ ты гои еси, православный царь,
 Алексѣй Михайловичъ,
 Твое царское величество!
 Нельзя объ томъ и подумать..
 Нельзя объ томъ и помыслить:
 Какъ нарушить вѣру старую, правую,
 Какъ поставить вѣру новую неправую!»
 Царь разозлился,
 Царь распалился;
 Воевода погрѣшился.
 Какъ возговорить большой бояринъ,
 Любимый царскій воеводушка:
 «Охъ ты гои еси, православный царь,
 Алексѣй Михайловичъ!
 Ужъ и дай мнѣ силу не малую, не великую!
 Сорокъ полковъ, да все тысячныхъ,
 Сорокъ пушекъ, да все мѣдныхъ,
 Зелья-пороху сколько надобно».
 Какъ и было въ самый-ли Петровъ-то день,
 Какъ на синемъ было морюшкѣ,
 На большомъ было на островѣ,

Во честномъ монастырѣ было —
 Отошла честна заутреня.
 Пономарь звонилъ къ обѣденкѣ,
 Честны старцы пѣли молитвы;
 Какъ бѣжить пономарь
 Неразумный звонарь:
 «Охъ вы гои еси, честны старцы!
 Какъ идти сила не малая не великая.
 Сорокъ полковъ, да все тысячныхъ.
 Сорокъ пушекъ да все мѣдныхъ,
 Зелья-пороху сколько надобно,
 Да все войско православное:
 Не то идти они ратиться,
 Не то идти они молиться?»
 — «Охъ ты, глупый звонарь,
 Неразумный пономарь,
 Да то войско православное.
 Не идетъ оно ратиться,
 Идетъ оно молиться!»

На ту пору пушкари были догадливы:
 Брали ядрышко каленое,
 Забивали въ пушечку мѣдную,
 Палили во тотъ во честный монастырь,
 Въ Соловецкій.

Стигъ Іосафа-царевича къ пустынь.

Во дальней во долинь
 Стояла прекрасная пустыня.
 Ко той же ко пустынь приходитъ
 Молодой царевичъ Осафій:
 «Прекрасная ты пустыня,
 Любимая моя мати!
 Прими меня, мати пустыня,
 Отъ юности прелестныя,
 Отъ своего вольнаго царства,
 Отъ своей бѣлой каменной палаты,
 Отъ своей казны золотыя!
 Научи ты меня, мати пустыня,
 Волю Божию творити!
 Да избави меня, мати пустыня,
 Отъ злыя муки отъ превѣчной!
 Приведи ты меня, мати пустыня,
 Въ небесное царство!»
 Отвѣщаетъ прекрасная пустыня
 Ко младому царевичу Осафью:
 — «Ты, младый царевичъ Осафій!
 Не жить тебѣ во пустынь:
 Кому владѣть твоимъ царствомъ,
 Твоей бѣлой каменной палатой,
 Твоей казной золотомъ?» —
 Отвѣщаетъ младый царевичъ:

— «Прекрасная ты пустыня,
 Любимая моя мати!
 Не могу я на свое царство зрѣти.
 Ни на свою каменну палату,
 И на свою казну золотую.
 А хочу я пребыть во пустыни:
 Радъ я на тебя работати,
 Земные поклоны исправляти,
 До своего смертнаго часу!»
 Отвѣщаетъ прекрасная пустыня:
 — «Ты, младый царевичъ Осафій!
 Не жить тебѣ во пустынь,
 Не молясь во мнѣ, Богу молиться,
 Не трудясь во мнѣ, Господу трудиться:
 Нѣтъ во мнѣ царскаго ѣства,
 И нѣтъ во мнѣ царскаго пойла;
 Ёсть-воскушать — гнилая колода;
 (Пить)-испивать — болотная водица».
 Отвѣщаетъ младый царевичъ:
 — «Прекрасная ты моя пустыня!
 Любимая моя мати!
 Не страдай ты меня, мати пустыня.
 Своими великими страстями!
 Могу я жить во пустынь,
 Волю Божию творити;

Житіє наше, мати, часове;
 А багатство наше, мати, временное;
 Я радъ на тебя работати,
 Земные поклонны исправляти
 До своего смертнаго часу».
 Отвѣщаетъ прекрасная пустыня:
 — «Ты, младый царевичъ Осафій!
 Не жить тебѣ во пустыни:
 Придетъ мати весна-красна,
 Лузья-болоты разольются,
 Древа листами одѣнутся,
 И запоютъ птицы райскія,
 Архангельскими голосами,
 А ты изъ пустыни вонъ изыдешь,
 Меня, мати прекрасную, покинешь!»
 Отвѣщаетъ молодой царевичъ:
 — «Прекрасная мати пустыня,
 Любимая моя мати!
 Хоша придетъ мати весна-красная,

И лузья-болоты разольются,
 И дрова листами одѣнутся,
 И запоютъ птицы райски,
 Архангельскими голосами,
 Не прельщусь я на благовонныя цвѣты;
 Отращу я свои власы
 По могучія плечи,
 И не буду взирать на вольное царство;
 Изъ пустыни я вонъ не изыду,
 И тебя мати, прекрасная, не покину».
 Отвѣщаетъ прекрасная пустыня:
 — «Свѣтъ младый, царевичъ Осафій,
 Чадо ты мое милое!
 Когда ты изъ пустыни вонъ не выдешь,
 И меня, мати прекрасную, не покинешь:
 Дарю я тебя золотымъ вѣнцомъ,
 Возьму я тебя, младый царевичъ,
 Во небеса царствовати,
 Съ праведными лики ляковати!»

Похвала пустыни.

О, прекрасная пустыня!
 Прими мя въ свою густыню.
 Яко мати свое чадо,
 Научи мя на все благо;
 Въ тихую свою, безмолвную.
 Палату лѣсовольную,
 Любимая моя мати.
 Потщися мя воспріяти.
 Всѣмъ сердцемъ желаю тя,
 И въ день, и въ ночь возлюблю тя.
 Пустыня моя, прими мя,
 Отъ суетнаго, прелестнаго,
 Вѣка маловременнаго,
 Да во своя младая лѣта
 Отвращуся отъ сего свѣта.
 О, прекрасная пустыня,
 Въ любви своей прими мя.
 Не страши мя своимъ страхомъ,
 Да не въ радость буду врагомъ.
 Шойду я въ твои лузи зрѣти
 Различныя твоя цвѣти.

О, дивенъ твой прекрасный садъ,
 И жити (я) въ тебѣ всегда радъ;
 Древа, вѣтви кудравыя
 И листвѣ зеленое
 Зыблются малыми вѣтры,
 Пребуду здѣ своя лѣта,
 Оставлю міръ прелестный,
 И буду, аки звѣрь дикій,
 Единъ въ пустыни бѣгати.
 День и ночь работати:
 Сего бо свѣта прелести
 Хотятъ душу въ адъ свести,
 И вринуты въ пропасти темныя,
 Въ огненныя муки вѣчныя.
 Всегда мя врагъ прельщаетъ,
 Свои сѣти поставляетъ,
 И тако начну плакати,
 Унильно звати и рыдати:
 «Милостивый мой Боже!
 Уповаю на тебя, азъ
 Спитаюся въ сей пустыни».





ПЕРІОДЪ ПЯТЫЙ.

ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНІЙ

XXI.

Наука, образованіе и литература при Петрѣ. — Усиленная типографская дѣятельность. —
И. Т. Посошковъ.

Въ XVII столѣтіи видѣли мы русское общество въ томъ переходномъ состояніи, при которомъ Россіи все еще угрожали многіе годы сна и застоя. Среди этого переходнаго состоянія, переживаемаго обществомъ, правда, слышался поворотъ на новую дорогу, и даже дѣлались кое-какія попытки реформъ по вопросамъ частнымъ, по отношенію къ частнымъ условіямъ быта, обращавшимъ на себя преимущественное вниманіе нѣкоторыхъ лучшихъ и наиболѣе энергическихъ современныхъ дѣятелей. По эти попытки реформъ по частямъ, эти часто даже и весьма почтенныя, и замѣчательныя по энергіи, усилія отдѣльныхъ лицъ не приводили къ желаемому результату. Сильна оставалась партія сна и застоя, смѣло про-

тивоставляла она свои доводы и открытое сопротивленіе вводителю новшествъ, искренно желавшимъ блага Россіи, и прежде всего — сближенія Россіи съ Европою. Достаточно будетъ, въ подтвержденіе сказаннаго, припомнить здѣсь извѣстное завѣщаніе патріарха Іоакима, который, еще въ 1690 г. убѣждалъ Іоанна и Петра I изгнать изъ Россіи всѣхъ иностранцевъ, какъ враговъ Божіихъ!.. Но вотъ, во главѣ этой горсти западниковъ и нововводителей, является гениальный Петръ, царь-богатырь, и вступаетъ въ ту страшную, неумолимую борьбу съ оживающею стариною и застоємъ, которая извѣстна въ нашей исторіи подъ названіемъ „Эпохи преобразованій“. Одинъ изъ современниковъ Петра ¹⁾, сравнивая въ рѣчи

¹⁾ Ө. Прокоповичъ.

своей старую, до-петровскую Россію съ новой Россіей, которая твердою стогою вступила въ началѣ XVIII вѣка въ семью государствъ европейскихъ, справедливо замѣчать: „(Тѣ), которые насъ гнушались, яко грубыхъ, ищутъ усердно братства нашего; которые безчестили — славятъ; которые грозили — боятся и тремещутъ; которые презирали — слѣдить намъ не стыдятся; многіи по Европѣ коронованныя главы въ союзъ съ Петромъ-монархомъ нашимъ идутъ добродушно: отмѣнили мнѣніе ¹⁾, отмѣнили прежнія свои о насъ повѣсти, затерли исторіи своя древнія, инако и глаголати, и писати начали... Вознесла главу Россія свѣтлая, красная, сильная, другомъ любимая, врагомъ страшная!“ — „Августъ онъ ²⁾, римскій императоръ, яко превеликую о себѣ похвалу, умирая, проглагола: „киринчій“ — рече — „Римъ обрѣтохъ, а мраморный оставляю“. А нашему Пресвѣтлѣйшему Монарху тщета была бы, а не похвала сіе пригласити ³⁾: исповѣсти ⁴⁾ бо, воистину, подобаетъ: — древнюю онъ обрѣтъ Россію, а сотвори златую! Тако ону въѣхннимъ и внутреннимъ видомъ украси, зданіи, крѣпости, правилами и правителями, и различныхъ учений полезныхъ добротою“.

Какъ бы ни казались пристрастны и преувеличены эти отзывы о реформѣ, высказанные современникомъ Петра, сподвижникомъ его, и притомъ горячо привязаннымъ къ нему, близкимъ человекомъ, однакоже никакому сомнѣнію не можетъ подлежать то обстоятельство, что такая громадная общественная реформа, какая совершена была Петромъ Великимъ, была возможна и выполняема только для Петра Великаго. Только при его всеобъемлющемъ гении мыслимо было создать такой необъятно-громадный планъ преобразованій, касавшихся всего государственнаго и общественнаго строя, и только при его неутомимости, при его безграничномъ уваженіи къ труду, при его полнѣйшемъ пренебреженіи всѣхъ препятствій, налагаемыхъ на его пути исторіей и природой, оказывалась возможность послѣдовательно, полно привести планъ въ исполненіе, восходя отъ частныхъ къ общему, отъ перемѣнъ въ одеждѣ и борьбы съ предрассудками, до колоссальной реформы въ

устройствѣ русской церкви, до полного освобожденія литературы и науки отъ опеки духовенства и монашества. Представители и приверженцы древнихъ началъ общественной русской жизни и рьяные сторонники религіознаго фанатизма, отвергавшаго всякій прогрессъ, пытались не разъ вступать съ нимъ въ борьбу, и протестъ ихъ бывалъ на столько силенъ, на столько энергиченъ, что, конечно, могъ бы, если и не сломить, то по крайней мѣрѣ поколе-



Петръ Великій.

Петръ Великій.

бать волю даже и весьма рѣшительнаго преобразователя. Но съ Петромъ никакая борьба не оказывалась возможною: онъ выходилъ изъ ряда обыкновенныхъ смертныхъ и во всемъ являлся непохожимъ на своихъ современниковъ, во всемъ изумлялъ ихъ. Неуклонно, съ безпощадностью и желѣзнымъ упорствомъ стихій, Петръ шелъ своимъ путемъ, и видѣлъ передъ собою только тѣ цѣли, въ которыхъ, по его мнѣнію, заключалось благо Россіи: — все, что являлось препятствіемъ на его пути, должно было по-

¹⁾ Т. е. дурное мнѣніе. ²⁾ Т. е. оный. ³⁾ Провозгласить — произнести. ⁴⁾ Исповѣдать — признать.

гибнуть и обратиться въ прахъ. Пришлось скорѣе убѣдиться въ томъ, что ни любовь ни дружба, ни родственныя, ни даже семейныя узы не въ силахъ сдержать этого богатыря въ его стремленіи къ цѣлямъ, предначертаннымъ ему свыше, — и вотъ, съ трепетомъ преклонилось передъ нимъ все враждебное его замысламъ или обѣдало укрыться отъ него въ непроходимую глушь лѣсовъ и дебрей, въ безсильной злобѣ предавая анаемѣ дѣла Великаго преобразователя и перенося на него то наименованіе антихриста, которое еще такъ недавно служило выраженіемъ ненависти къ лицу другаго, менѣе грознаго, хотя и весьма замѣчательнаго преобразователя — патріарха Никона. Безсмертнымъ памятникомъ нравственнаго могущества Петра и его возрѣній на свои обязанности по отношенію къ народу и Государству осталось намъ его письмо къ царевичу Алексѣю Петровичу (отъ 11 окт. 1715 г.), которое можетъ служить самою лучшею характеристикой личности Великаго Преобразователя:

„Всѣмъ извѣстно есть, что предъ начинаніемъ сего воины, какъ нашъ народъ утѣшенъ былъ отъ шведовъ, которые... (намъ) со всѣмъ свѣтомъ коммуникацію пресѣкли. Но потомъ, когда сего воина началась (которому дѣлу единъ Богъ руководцемъ былъ и есть) о коль великое гоненіе отъ непріятелей, ради нашего неискусства въ воинѣ претерпѣли, и съ какою горестію и терпѣніемъ сию школу прошли, дондеже... сподобились видѣть, что оной непріятель, отъ котораго трепетали, едва не влеще отъ насъ трепещетъ. Что все, помогающе Вышнему, моими бѣдными и протчихъ истинныхъ сыновъ Россійскихъ трудами достижено. Егда же сию Богомъ данную нашему Отечеству радость разсмотря, обозрюсь на лѣнѣю наслѣдства, едва неровная радости горестъ меня снѣдаетъ, видя тебя, наслѣдника, весьма на правленіе дѣлъ Государственныхъ самовольно непотребнаго — ибо Богъ не есть виновенъ: ибо разума тебя не лишилъ, ниже крѣпость тѣлесную весьма отнял... Слабостію-ли здоровья отговариваешься?... но и сіе не резонъ! Ибо не трудовъ, но охоты желаю, которую никакая болѣзнь отлучить не можетъ... Я есмь человѣкъ, и смерти

подлежу; то кому вышенісанное съ помощію Вышняго насажденіе и уже нѣкоторое и возрожденное оставлю? Тому (ли), иже уподобился лѣнливому рабу Евангельскому, вкопавшему талантъ свои въ землю?... Ничего дѣлать не хочешь, только бы дома жить, и имъ веселѣть! Однакожъ... безумной, радуешься своею бѣдою, не вѣдая, что можетъ отъ того слѣдовать не точію тебѣ, но и всему государству! Что все я съ горестію размышляя, и видя, что ничѣмъ тебя склонить не могу къ добру, за благо избрѣлъ сей послѣдней тестаментъ ¹⁾ тебѣ написать, и еще мало пождать, аще нелицемѣрно обратѣшся. Ежели же ни, то извѣстенъ буди, что я весьма тебя наслѣдства лишу, а не мни себѣ, что я сіе только въ утѣху пишу: воистинно, Богу изволившу, исполню. Ибо я, за мое отечество и люди, живота своего не жалѣлъ, и не жалѣю, то како могу тебя непотребнаго пожалѣть; — лучше будь чужен доброй, неже свои непотребной“.

Эти немногія, драгоцѣнныя для насъ строки служатъ намъ лучшимъ доказательствомъ того, что въ лицѣ Петра, впервые, во главѣ русскаго народа явился такой правитель, для котораго только общая польза могла имѣть значеніе, который способенъ былъ уважать только личныя заслуги и любовь къ труду, который, ради блага народа и государства, способенъ былъ отъ всего отречься: отъ любви и дружбы, отъ родовыхъ преданій, отъ собственнаго своего сына. Только при такомъ взглядѣ на вещи, взглядѣ новомъ и который былъ притомъ радикально-противоположенъ всѣмъ убѣжденіямъ и возрѣніямъ старой, до петровской Руси, Петру удалось собрать около себя довольно обширный кружокъ дѣятелей, которые способны были приводить въ исполненіе его планы, осуществлять его намѣренія и глубоко проводить въ массу здравыя понятія объ истинномъ значеніи новаго порядка вещей. Многіе изъ этихъ дѣятелей были людьми весьма незавидной нравственности, многіе изъ нихъ оказались годными для общественной дѣятельности только подъ желѣзною рукою Петра, многіе справедливо подверглись строгому суду исторіи за тѣ эгоистическія стремленія, которыя были выказаны ими послѣ смерти Петра — но все

¹⁾ Въ смыслѣ: завѣщаніе, или скорѣе: увѣщаніе.

же, несомненною заслугою этих „птенцовъ гнѣзда Петрова“, какъ называлъ ихъ Пушкинъ, является ихъ горячая привязанность къ идеямъ реформы и самая безграничная вѣра въ пользу предпринятаго Петромъ преобразованія. И если, послѣ Петра, Россія, вступившая при немъ въ семью европейскихъ государствъ, несмотря на неспособность наследовавшихъ Петру правителей, несмотря на замѣчательно-невыгодныя историческія условія, не смотря на усилія старой русской партіи, не могла уже болѣе повернуть на старый путь, то въ этомъ отношеніи Россія, конечно, была значительно обязана тѣмъ немногимъ дѣятелямъ, которыхъ избралъ и воспиталъ Петръ, и которые послѣ его смерти выказали въ борьбѣ за идеи Петровы много ловкости, ума, даже самоотверженія и сохранили неприкосновенными преданія петровскаго времени для послѣдующихъ поколѣній, для послѣдующей и болѣе свѣтлой эпохи царствованія Екатерины II.

Не мѣсто было бы здѣсь распространяться о значеніи эпохи преобразованій, о вліяніи ея на послѣдующій ходъ русской исторіи и русской жизни — все это давно уже сказано, давно разслѣдовано и изложено нашими историками; а потому мы и позволимъ себѣ указать только на тѣ стороны этой знаменательной эпохи, которыя напши себѣ отголосокъ въ литературѣ первой половины XVIII вѣка и надолго положили печать свою на весь ходъ нашего просвѣщенія.

Отдавая должную дань безпристрастнаго удивленія гениальному Преобразователю Россіи и оцѣнивая по достоинству его дѣятельность, мы въ то же время, конечно, очень далеки отъ желанія оправдывать самый способъ его дѣйствій во многихъ случаяхъ, и тѣмъ болѣе — отъ желанія преувеличивать ту степень образованности и нравственнаго развитія, на которую онъ стремился возвести своихъ современниковъ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношеніи Петръ является намъ вполне человѣкомъ своего времени: — на сколько онъ не знаетъ разбора въ средствахъ къ приведенію въ исполненіе своихъ заветныхъ замысловъ, на столько же не можетъ видѣть и въ образованіи необходимую нравственную цѣль жизни. Образованіе представлялось Петру только

однимъ изъ средствъ къ тому, чтобы сравняться въ матеріальныхъ силахъ съ сосѣдями, и доставить современному русскому обществу возможность пользоваться матеріальными удобствами жизни и нѣкоторымъ благосостояніемъ. Однимъ словомъ, цѣль образованія, вносимаго Петромъ въ Россію, была чисто-утилитарная; и онъ вноситъ его въ Россію именно на столько, на сколько оно ему представлялось необходимымъ для достиженія преслѣдуемыхъ имъ цѣлей. Вотъ почему Петръ не заботится о поддержкѣ и размноженіи общеобразовательныхъ заведеній, въ родѣ московской славяно-греко-латинской академіи, и, въ то же время, основываетъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ спеціальныя школы; вотъ почему, не заботясь о поощреніи отечественной, самостоятельной литературы, онъ такъ прилежно способствуетъ развитію обширной литературы переводной. Какъ сильно заботы о книжномъ дѣлѣ занимали Петра, видно изъ того, что онъ нигдѣ не покидалъ его: даже во время походовъ, находясь въ Польшѣ, въ Ливоніи, въ Астрахани, онъ постоянно заботится о размноженіи книгъ и посылаетъ свои приказанія и наставленія переводчикамъ. Не разъ и въ часы увеселеній заводилъ онъ рѣчь о любимомъ предметѣ. Такъ въ 1718 г. управлявшій монастырскимъ приказомъ Мусинъ-Пушкинъ писалъ къ Полккарпову, что былъ спрошенъ Государемъ на свадьбѣ у князя П. Голицына, „отчего по сю пору не переведена книга Виргилія Урбина о началѣ всякихъ изобрѣтеній, — книга небольшая, а такъ мѣшкаете“. Но и здѣсь высказывается его практическій гений, и здѣсь онъ заботится о перенесеніи на нашу литературную почву только существенно-необходимаго. Такъ напр. при одномъ изъ переводовъ нѣмецкаго сочиненія о хлѣбопашествѣ, выправленномъ самимъ Петромъ, сохранилось и слѣдующее характеристическое собственноручное примѣчаніе его: „понеже нѣмцы многими разсказами негодными книги свои наполняютъ только для того, чтобы велики казались, чего кромѣ самаго дѣла и краткаго предъ всякою вещью разговора переводить не надлежитъ; но и выше реченный разговоръ, чтобъ не праздною ради красоты, а для вразумленія и наставленія о томъ чтущему было, чего ради о хлѣбопашествѣ трактатъ выправилъ (вычеря не-

годное), и для примѣра посылаю, дабы по сему книги переложены были безъ излишнихъ разсказовъ, которые время только тратятъ и чтущимъ охоту отъемлютъ“. И вотъ, не жалѣя ни усилій, ни денегъ, Петръ развиваетъ у насъ довольно обширную переводную литературу, преимущественно направляя ее къ одной цѣли—къ доставленію возможности русскимъ людямъ у себя на дому приобрести полезныя спеціальныя свѣдѣнія. Посылаются съ этою цѣлью молодые люди за границу, посылаются книги для перевода и въ Москву, къ преподавателямъ славяно-греко-латинской академіи, и въ Новгородъ, къ братьямъ Лихудамъ, переселившимся туда изъ Москвы, и въ славянскія земли, гдѣ многія книги переводятся сначала на чешскій языкъ, а послѣ уже съ чешскаго — на русскій. Къ дѣятельности переводческой привлекаются и иностранцы, долго жившіе въ Россіи, какъ напр. Виніусъ, и справщики типографій (Поликарповъ), и лица, состоявшія на службѣ при посольскомъ приказѣ, и даже шведы, попавшіе въ плѣнъ, изъ числа которыхъ одинъ, извѣстный переводчикъ Шиллинъ, служилъ также въ посольскомъ приказѣ. Постоянно заботясь о переводѣ различныхъ трактатовъ по военнымъ наукамъ, географіи, исторіи, юриспруденціи, мореходству, политической экономіи, языкознанію и другимъ отраслямъ знаній, Петръ поручалъ переводы многихъ книгъ даже Свноду, постоянно прося о скорѣйшемъ приведеніи поручаемаго имъ въ исполненіе, нерѣдко прибѣгая даже и къ угрозамъ. При этомъ Петръ неослабно заботится о возможной чистотѣ и ясности русскаго языка въ переводныхъ книгахъ; онъ даже чувствуетъ необходимость замѣнять славянскій языкъ просторѣчіемъ. Это стремленіе не разъ проявляется въ тѣхъ наставленіяхъ, которыя отъ имени Государя давались переводчикамъ. Такъ напр. Мусинъ, возвращая Поликарпову переведенную имъ географію, писалъ ему, что она „переведена гораздо плохо“ и прибавлялъ: „того ради исправь хорошенько не высокими словами славянскими, но простыми русскимъ языкомъ. Высокихъ словъ славянскихъ класть не надобеть, но посольскаго приказа употреби слова“. Знаніе иностранныхъ языковъ являлось для Петра первымъ и главнымъ въ средѣ всѣхъ человѣческихъ знаній, и боль-

ше всего заботился онъ именно о развитіи въ Россіи стремленія къ изученію иностранныхъ языковъ. Еще въ самомъ началѣ своего царствованія, во время путешествія за границу, Петръ, прослышавъ, что братья Лихуды частнымъ образомъ обучаютъ желающихъ латинскому и итальянскому языкамъ, кромѣ своего преподаванія при московскомъ греко-латинскомъ училищѣ, повелѣлъ 15 мая 1697 года, чтобы у этихъ грековъ учились итальянскому языку дѣти бояръ и иныхъ чиновъ. Въ самомъ концѣ своей жизни, въ указѣ объ учрежденіи академіи наукъ въ С.-Петербургѣ (указъ этотъ состоялся какъ разъ за годъ до его кончины, т. е. 28 января 1724 г.), онъ опять выдвигаетъ на первый планъ знаніе языковъ и переводческую дѣятельность: „Учинить академію“ — такъ сказано въ указѣ—„въ которой бы учились языкамъ, также прочимъ наукамъ и знатымъ художествамъ и переводили-бы книги“. Весь указъ вообще проникнутъ тѣмъ духомъ практицизма и пониманія современныхъ потребностей неразвитаго русскаго общества, которыя были въ такой высокой степени свойственны Петру; приводимъ изъ этого указа важнѣйшее: „Къ распложенію и художествъ, и наукъ употребляютъ обыкновенно два образа зданія: первый образъ называется университетъ; второй — академія или societетъ художествъ и наукъ. Понеже нынѣ въ Россіи зданіе къ возвращенію художествъ и наукъ учинено быть имѣеть, того ради невозможно, чтобы здѣсь слѣдовать въ прочихъ государствахъ принятому образцу; но надлежитъ, смотря по состоянію здѣшняго государства, какъ въ разсужденіи обучающихъ, такъ и обучающихся и такое зданіе учинить, чрезъ которое бы не токмо слава сего государства для размноженія наукъ нынѣшнимъ временемъ распространилась, но и черезъ обученіе и распложеніе оныхъ польза въ народѣ впредь была. При заведеніи простой академіи наукъ (т. е. академіи, какъ чисто ученой коллегии, подобной академіямъ иноземнымъ) обоемъ намѣренія не исполнятся, ибо хотя чрезъ оную художества и науки въ своемъ состояніи производятся и распространяются, однакожь-де оныя не скоро въ народѣ расплодятся, а при заведеніи университета — меньше того; ибо когда разсудить, что еще прамыхъ школъ, гимназій и семинаріей

нѣтъ, въ которыхъ бы молодые люди начинали обучаться и потомъ выше градусы наукъ воспріять и угодными себя учинить могли, то невозможно, дабы при такомъ состояніи университетъ нѣкоторую пользу учинить могъ. И такъ потребнѣе всего, чтобъ здѣсь таковое собраніе заведено было, ежелибъ изъ самоучихихъ ученыхъ людей состояло, которые довольны (т. е. способны) суть: 1) науки производить и совершить, однакожь-де тако, чтобы они тѣмъ наукамъ 2) молодыхъ людей публично обучали и чтобъ они 3) нѣкоторыхъ людей при себѣ обучали, которые бы младыхъ людей первымъ фундаментамъ всѣхъ наукъ паки обучать могли, и такимъ бы образомъ одно зданіе съ малыми убытками тое-же бы съ великою пользою чинило, что въ другихъ государствахъ три разныхъ собранія чинять“ (т. е. академія, университетъ, гимназія). Этотъ указъ объ учрежденіи академіи лучше всего характеризуетъ намъ взглядъ Петра на образованіе: онъ не признаетъ его общечеловѣческаго значенія и полагаетъ, что его слѣдуетъ примѣнять къ потребностямъ времени и народа, въ средѣ котораго надлежало его распространять. Нельзя до нѣкоторой степени не признать справедливый такой взглядъ Петра по отношенію къ Россіи: не слѣдуетъ забывать, что образованнѣйшіе изъ числа русскихъ людей, въ 1717 году, изъ перевода книги астронома Гюйгенса, впервые получили понятіе о системѣ Коперника!

Взглядъ Петра на литературу точно также своеобразенъ, какъ и взглядъ на образованіе, и отличается тѣмъ же самымъ практицизмомъ и утилитарнымъ направленіемъ. Въ литературѣ онъ видѣлъ только средство къ уясненію, проведенію въ жизнь и оправданію своихъ преобразованій, — литературой же умѣлъ онъ пользоваться не только, какъ орудіемъ оборонительнымъ, противъ клеветъ и безсмысленныхъ обвиненій, изводимыхъ иностранцами на Россію, но и какъ орудіемъ наступательнымъ, противъ внутреннихъ, домашнихъ враговъ своихъ — раскольниковъ, ханжей, приверженцевъ стариннаго русскаго невѣжества и застоя. При Петрѣ, впервые, станокъ типографскій пріобрѣтаетъ на Руси надлежащее, важное значеніе и становится не плохую замѣною рукописнаго труда, а дѣйствительнымъ

орудіемъ для быстрого, легкаго и повсемѣстнаго распространенія и обмѣна мыслей. Печатаются не только книги, но и рѣчи, сказанныя по поводу того или другаго важнаго событія, и торжественныя стихотворенія, сочиненныя по случаю побѣдъ и празднествъ, прославляющія величіе современной Петру Россіи, печатаются наконецъ (съ янв. 1703 года) первыя въ Россіи „Русскія вѣдомости“, за изданіемъ которыхъ такъ зорко и тщательно слѣдитъ самъ Петръ Великій. Печатаются и въ Россіи книги не на одномъ только русскомъ языкѣ, а и на языкахъ иностранныхъ, дабы иностранцамъ дать возможность ближе ознакомиться съ положеніемъ дѣлъ въ новой, преобразованной Петромъ Россіи; печатаются русскія книги для Россіи и на иностранныхъ языкахъ о Россіи въ Амстердамѣ, съ цѣлью опроверженія клеветъ противъ Россіи, распускаемыхъ въ Европѣ Швецію. Чтобы дать понятіе о томъ усиленномъ значеніи, которое пріобрѣтаетъ въ Россіи книгопечатанье при Петрѣ, достаточно будетъ припомнить здѣсь, что въ концѣ XVII столѣтія на всю Россію только и было, что двѣ типографіи: одна въ кіево-печерской лаврѣ, другая въ Москвѣ на печатномъ дворѣ. Въ 1711 году появляется первая типографія въ Петербургѣ, а въ 1720 году, въ томъ же Петербургѣ, мы видимъ уже четыре типографіи, кромѣ новыхъ, возникшихъ въ Черниговѣ, въ Новгородѣ-Сѣверскѣ и въ Новѣгородѣ; не мѣшаетъ замѣтить, что въ то же время въ Москвѣ была уже не одна, а двѣ типографіи.

Относясь съ нѣкоторымъ недовѣріемъ къ литературной дѣятельности монашества и духовенства, отъ котораго едва-ли можно было ожидать сочувствія реформамъ, Петръ, въ самомъ началѣ XVIII столѣтія (въ 1700 — 1701 гг.), приказываетъ у монаховъ, по монастырямъ, отобрать чернила, перья и бумагу. Въ то же самое время, принимая самыя рѣшительныя мѣры къ распространенію западной образованности въ Россіи, Петръ изыскиваетъ всевозможныя средства къ тому, чтобы открыть идеямъ реформы пути для проникновенія въ массу, въ народъ.

Петръ, способствуя развитію въ современной ему литературѣ отрицательнаго направленія, не чуждался никакихъ формъ отрицанія и осмѣянія недостатковъ того близкаго прошлаго, которое онъ стремился уни-

чтожить и замѣнить новымъ, лучшимъ настоящимъ. Въ числѣ этихъ средствъ не послѣднее мѣсто, по мнѣнію Петра, долженъ былъ занимать и театръ, совершенно заброшенный и забытый въ Москвѣ со смертью царя Алексѣя Михайловича. Въ противоположность Теодору Алексѣевичу, приказавшему въ 1676 году „очистить палаты, которыя заняты на комедію“¹⁾, Петръ Великій учреждаетъ театръ народный, для всякаго чина людей, для „охотныхъ смотрѣльщиковъ“, въ одномъ изъ лучшихъ мѣстъ древняго стольнаго города, на Красной площади, близъ триумфальныхъ избу. Въ Данцигѣ заключаютъ договоръ съ принцемъ одной изъ странствующихъ труппъ, Іоганномъ Кунштомъ, и въ іюнѣ 1702 года этотъ новый „царскаго величества комедіантскій правитель“ пріѣзжаетъ въ Москву. Въ началѣ октября 1702 г. взяты въ посольскій приказъ „для ученія комедійныхъ дѣйствъ разныхъ приказовъ подъячіе, и сказанъ имъ его, великаго государя, указъ, чтобъ они комедіямъ учились у комедьянта Ягана Куншта, и были бъ ему, комедіанту, въ томъ ученіи послушны“. Куншту, въ свою очередь, объявлено, чтобы онъ ихъ „комедіямъ всякимъ училъ съ добрымъ радѣніемъ и со всякимъ откровеніемъ“. Русскимъ ученикамъ комедьянта положено было жалованье, „смотря по персонамъ: за кѣмъ дѣло больше, тому и дать больше“. Переводчикамъ посольскаго приказа повелѣно было „словами посольскаго приказа“, „простымъ русскимъ языкомъ“ передавать содержаніе „малыхъ оперъ и комедій“ Куншта. Репертуаръ Кунштовой труппы былъ очень разнообразенъ: въ него входили пьесы, являвшіяся въ подлинникахъ на нѣмецкой, французской и итальянской сценѣ, но на русской сценѣ онъ представляли совершенно свободную обработку иностранныхъ образцовъ, въ которыхъ далеко не все оказывалось въ равной степени доступнымъ пониманію переводчиковъ посольскаго приказа; такъ, напримѣръ, мастерски передавая шутовскія выходки, набрасывая даже мѣстный отгѣнокъ на комическія сцены, вставляя въ нихъ народныя русскія пословицы и поговорки, они оказы-

вались совершенно бессильными въ передачѣ сентиментальныхъ изліяній, патетическихкихъ монологовъ и тѣхъ вычурныхъ, запутанныхъ заглавій, которыми щеголяла западно-европейская драматургія конца XVII и начала XVIII столѣтія. Сохранившіеся намъ заглавія пьесъ Кунштова репертуара,—въ родѣ: „Докторъ принужденный“ (*Medecin malgré lui*), Прельщенный любящій или Донъ Педро, почитанный плыхта“ и, наконецъ, знаменитая комедія „Жоделетъ или самый свой тюрьмовый заключеникъ“ (*Le géolier de soi même ou Jodelet*)—служатъ намъ любопытнымъ и замѣчательнымъ памятникомъ этихъ первыхъ и тяжелыхъ усилій нашихъ переводчиковъ на пользу перенесенія къ намъ измѣнной литературы европейской.

Но Петръ не довольствовался этой дѣятельностью Кунштовой труппы и дѣловъ посольскаго приказа. Онъ требовалъ отъ новой сцены живой связи съ современностью. По приказанію царя дѣлки посольскаго приказа требуютъ отъ Куншта, чтобы онъ „въ скорости, какъ можно, составилъ новую комедію о побѣдѣ и о врученіи великому государю крѣпости Орѣшка“. Изъявляя желаніе, чтобы „вышній Господь толкими побѣдами царское величество въначалъ, колико дней въ году“, Кунштъ просилъ дѣлковъ „дать ему роспись, какъ обложеніе совершилось, и союзъ укрѣпился, закрытыми пменами генераловъ и градъ называть“. Профессоръ Тихонравовъ, передавая въ своей рѣчи²⁾ этотъ любопытный фактъ, справедливо замѣчаетъ, что и „театръ долженъ былъ служить Петру тѣмъ же, чѣмъ была для него горячая, искренняя проповѣдь Теофана Прокоповича:—онъ долженъ былъ разъяснять всенародному множеству истинный смыслъ дѣяній Преобразователя“.

Понятно, что при такомъ взглядѣ на театръ, Петръ не могъ пренебрегать даже и грубой формою площадной сатиры, которая проявилась въ видѣ шутовскихъ интермедій (т. е. между-дѣйствій), вставлявшихся между дѣйствіями современныхъ пьесъ, когда эти пьесы давались не на придворномъ театрѣ, а въ частныхъ помѣщеніяхъ.

¹⁾ Замысловскій. Царствованіе Теодора Алексѣевича I, примѣч. стр. IV. ²⁾ См. выше на стр. 186 въ примѣчаніи 1.

допускаемо было большинство публики, разбора званий. Въ этихъ интермедіяхъ выводимы были на сцену, на всеобщее осмѣяніе, типы тѣхъ личностей и тѣхъ современной народной жизни, къ которымъ съ неумолимою строгостью относился законъ: — раскольники, преслѣдуемые правительствомъ за суевѣріе и приверженность къ старинѣ, ставленникъ, доходящій мѣста священника, дьячокъ, живающій дѣтей, отбираемыхъ у него отсылки въ семинарію, подъячіе, ловящій мутной водѣ рыбу, приверженцы инны, оплакивающіе доброе старое время, а можно было не брить ни бороды ни бѣ, и не носить нѣмецкаго платья ¹⁾. Мы ознакомимся съ направленіемъ этой сатирой, выразившейся въ интермедіяхъ петровскаго времени, стоитъ здѣсь ели изъ нея два — три отрывка. Вотъ, имѣрь, какъ раскольникъ, приведенный въ ужасъ новыми порядками, описываетъ ихъ жиду, къ которому относится съ явнымъ сочувствіемъ, принимая его за своего собрата, такъ какъ узнаетъ отъ него, что и тотъ тоже держится „старой вѣры“:

— то нынѣ люди уважали глубоко,
— то жить въ мірѣ несносно и жестоко!
Идѣнія бо времена видимъ, что прислѣли,
нѣкоторые отъ нашихъ старцевъ антихриста
зрѣли ²⁾;
иаше ему принти на землю, когда нашу старую
вѣру попрали
ишники проклятые, свою же нѣкую новую не-
знаемо откуда взяли.
и тожко вѣру нашу стару святу и Богомъ
устроенну,
ишостоли святые и пророки носили,

Попрали, но и платіе долгое уже переиѣнили;
Русскіе нынѣ ходятъ въ короткомъ платьѣ какъ
кургузы,
На главахъ же своихъ носятъ круглыя картузы.
И тое они откуда взяли, ей недоумѣваемъ
И сказать о томъ истинно не знаемъ,
Что законъ и правила святыхъ отецъ возбраняютъ.
Свои брады на голо желѣзомъ обриваютъ.
Человѣцы ходятъ, яко обезьяны:
Видѣсто главныхъ волосовъ, носятъ перуки, будто
нѣшцы поганы.
Куды убѣгнемъ, отъ строящихъ раздоры
Нашей вѣры старой: въ воду и въ горы.

Въ другой сценѣ той-же интермедіи, въ которой выведенъ раскольникъ и жидъ, подъячій приходитъ къ дьячку, чтобы взять дѣтей его въ семинарію ³⁾.

Дьячокъ.

Лучше мнѣ теперь умереть,
Нежели на это смотрѣть
Какъ меня дѣтей они лишаютъ
И въ семинарію на муку отбираютъ.
Пожалуй, батышко: умиласердись надъ нами,
Напиши, пожалуй, что они негодны лѣтами!

Подъячій на это соглашается, взявъ съ дьячка пятнадцать рублей взятки, какъ вдругъ является другой подъячій, и говоритъ:

Ты еще здѣсь съ дьячкомъ тѣмъ зводишь бала-
кать,
А намъ, право, тамъ лишь плакать;
Ужъ третью промеморію изъ семинаріи прислали,
Штобы вы скорѣе ихъ (т. е. дѣтей дьячка) сыскали.

Первый подъячій.

Ну, братъ, какъ-нибудь свободи его дѣтей.

¹⁾ Въ 1705 г., послѣдовалъ указъ, по которому всѣ, кромѣ священно-церковнослужителей, въ тѣ должны были носить съ 2 января вплоть до пасхи платье саксонское, а исподнее — камзолы, юбки и проч. — нѣмецкое. Лѣтомъ надо было носить французскую одежду, отъ которой не избавлены были и крестьяны. Въ томъ же году велѣно брить бороды и усы, и наложена тяжелая подать на того, кто не хотѣлъ подчиняться указу. Это возбудило сильный ропотъ въ народѣ, такъ какъ русскіе крестьяне учили, что всѣ міряне для спасенія души должны носить усы и бороды. Чтобы утихомирить толпы, Дмитрій, митрополитъ ростовскій, написалъ весьма замѣчательный въ историческомъ отношеніи трактатъ «Объ образѣ и подобіи Вождя въ человѣцѣхъ». ²⁾ Еще со временъ Никона у раскольниковъ начались толки о пришествіи на землю антихриста; при Петрѣ Великомъ стали даже посылать рукописныя сочиненія объ томъ-же къ великому соблазну народа. ³⁾ Въ 1708 г. послѣдовалъ указъ о томъ, чтобы дѣтей священно-церковнослужителей отдавать учиться въ школы греческія и латинскія; при этомъ постановлено, что не бывшіе въ школахъ могутъ поступать только въ солдаты.

Другой подъячий.

Бойсь: за это вѣдь въ приказѣ схватишь плетей!
Ну, дьячокъ давай ихъ скорая,
Ни мало не отлагая!

Дьячокъ.

Всѣ мои знакомцы и вся моя родня, сберитесь сюда
Посмотрите, какая на меня пришла бѣда!
Дѣтей моихъ отъ меня отнимаютъ,
И въ проклятую семинарію на муку обираютъ
О, мои дѣтушки сердечныя,
Не на ученіе васъ берутъ, а на мученіе безко-
нечное;
Лучше вамъ не родиться на сей свѣтъ, а хотя и
родиться
Того-жъ часа киселемъ задавиться и въ воду уто-
питься

Подъячий первый.

О, у тя, кака вижу, плачу конца не дожидаться;
Пора уже намъ къ городу подвигаться.
Ну, дьячекъ, прощай добрый человекъ,
Дай тебѣ богъ множество глѣтъ;
А, впредь, пожалуй, знайся съ нами,
Съ подъячими и приказными строками!

Дьячокъ.

Прямь, што не отъ дурова люди говорить.
Што подъячи-то люди,
Ажно люты они, да и не худы.
Вотъ теперь денежки-то съ меня схолодили,
Впередъ же я ихъ теперь буду знать,
А когда случай придетъ, не такъ буду поступать.

Въ заключеніе этой главы, бросая общій
взглядъ на эпоху преобразованій, мы должны
сознаться, что эпоха эта отзывалась страш-
ными тягостями и въ народѣ, и въ обществѣ...
Трудна была школа и строго былъ учитель
посланный судьбою Россіи въ лицѣ Петра!
Русскій человекъ Петрова времени не зналъ
ни отдыха, ни покоя, и, можетъ быть, толь-
ко благодаря своему здоровому, крѣпкому
нравственному организму, сумѣлъ пере-
нести это тяжелое время переворотовъ и
выйти изъ него со славою. Но это только
одна сторона; есть и другая:—„народъ дѣй-
ствительно учится; учится не одной цифири
и геометрин, не въ однихъ школахъ русскихъ

и заграничныхъ: народъ учится граждан-
скимъ обязанностямъ, гражданской дѣятель-
ности. При изданіи каждаго важнаго поста-
новленія, при введеніи важнаго преобразо-
ванія, законодатель объясняетъ, почему онъ
такъ дѣлаетъ, почему новое лучше стараго.
Русскій человекъ получаетъ впервые наста-
вленія подобнаго рода. Впервые мысль рус-
скаго человека была возбуждена, его вни-
маніе обращено на важные вопросы госу-
дарственного и общественного строя; сочув-
ственно или несочувственно обращались къ
словамъ и дѣламъ царя, — все равно, надъ
этими словами и дѣлами думали; эти слова
и дѣла постоянно будили русскаго человека.
Что могло погубить общество одряхлѣвшее,
народъ, неспособный къ развитію, то развило
силы молодого и крѣпкаго народа, долго
спавшаго и нуждавшагося въ сильномъ
толчокѣ для пробужденія“¹⁾.

Весьма любопытнымъ явленіемъ петров-
скаго времени, свидѣтельствующимъ о про-
бужденіи народа и о томъ, что идеи Петро-
вы, глубоко проникая въ массу, находили
себѣ въ ней и сочувственные отголоски,
представляется намъ личность крестьянина-
писателя Ивана Тихоновича Посош-
кова (род. около 1670 г.). Посошковъ былъ
человѣкомъ состоятельнымъ, даже богатымъ
по тому времени. Какъ человекъ не просто
грамотный, но и весьма начитанный, онъ
до глубины души проникнуть былъ идеями
реформы, и потому самому „изъ презрѣльной
горячности къ отечеству“ (по его собствен-
ному выраженію) сталъ писать проекты и
книжки, въ которыхъ старался обратить вни-
маніе правительства на многіе недостатки
общественные и указать средства къ ихъ
исправленію; „ибо“, говоритъ онъ, „я отъ
юности своея бѣхъ таковъ, и лучше ми ка-
ковую либо пакость на себя понести, неже-
ли, видя что бесполезно, умолчать“. Сочув-
ствіе свое къ реформамъ выражалъ онъ не
только въ однихъ сочиненіяхъ и проектахъ
своихъ, но и болѣе дѣятельно — въ самой
жизни: сынъ Посошкова былъ въ числѣ пер-
выхъ русскихъ молодыхъ людей, отправлен-
ныхъ за границу въ 1708 г. для обученія.
Отецъ, отпуская его на чужбину, снабдилъ
его и щедрымъ, почти роскошнымъ, по тому
времени, содержаніемъ, и особеннымъ пи-

¹⁾ Соловьевъ, XVIII; 251—2.

саннымъ наставленіемъ, въ которомъ набросанъ былъ для него подробный планъ дѣйствій. Это наставленіе сыну, извѣстное подъ названіемъ „отческаго замѣчательнаго поученія“, сохранилось намъ въ числѣ многихъ другихъ сочиненій Посошкова, какъ одинъ изъ любопытѣйшихъ памятникомъ эпохи преобразованія. Новымъ, живымъ духомъ вѣетъ отъ этихъ наставленій отца, заботливо распредѣляющаго по часамъ время своего сына, рассчитывающаго по гульденамъ и стиверамъ его расходы во время пребыванія въ Уропскихъ странахъ, и въ то же время совѣтующаго ему и тамъ, на чужбинѣ, въ праздничные дни, „памятовати убогаго, голодомъ или наготою страждуща, не взирая, какова той породы и вѣры“. Особенно замѣчательною и прекрасно характеризующею Петровскую эпоху является та небольшая программа заграничнаго ученія, которую начертываетъ отецъ сыну, указывая при этомъ и размѣръ потреб-

Писалъ ѿшшо Посошковъ

Подпись Посошкова.

ностей, и самую дѣлу стремленій современнаго образованія:

„Скорѣйшаго ради и удобнаго полученія наукъ, совѣтую ти нѣмецкой или наипаче французской языкъ учить, и въ началѣ въ томъ языкѣ, его же изберешь, учить ариметику, аже всѣмъ математическимъ наукамъ дверь и основаніе есть; потомъ сокращенную математику, аже въ себѣ содержать геометрію, архитектуру и фортификацію, еже вѣдѣніе земнаго глобуса, тоже искусство земныхъ и морскихъ чертежей, компаса, теченіе солнца и знамяныхъ звѣздъ, не ради того, дабы ты сотворити инженеромъ или корабельщикомъ; но егда изволеніемъ самодержавнѣйшаго монарха нашего по случаю къ такимъ дѣламъ будешь приставленъ, егда по нуждѣ востребуется то. Инъ иноземецъ инженеръ въ случаѣ укрѣпленія коего града или во облежаніи непріятельской крѣпости... неправо учнеть къ шкодѣ или поврежденію

дѣлости великаго государя градовъ или дѣлу творить! тогда ты самъ, вѣдѣніемъ тѣхъ наукъ наполненъ... возможешь познати правду, и тѣмъ пріимешь отъ великаго государя и монарха своего похвалу, а такіе иноземцы, не право учиня, къ тебѣ будетъ имѣти страхъ“¹⁾. Замѣчательнѣйшее изъ этихъ сочиненій — „книга о скудости и богатствѣ“, надъ которою Посошковъ, „утаенно отъ зрѣнія людскаго“, трудился три года. Книга Посошкова представляетъ полное изслѣдованіе о состояніи Россіи во время Петра I, и подраздѣляется на 9 главъ: 1) о духовности, 2) о воинскихъ дѣлахъ, 3) о правосудіи, 4) о купечествѣ, 5) о духовенствѣ, 6) о разбойникахъ, 7) о крестьянствѣ, 8) о дворянѣхъ, крестьянѣхъ и о земляныхъ дѣлахъ, 9) о царскомъ интересѣ. Въ 1724 году представилъ онъ эту книгу Петру, прося только о томъ, чтобы имя его оставалось „сокровенно отъ сильныхъ лицъ, паче же отъ нелюбящихъ правды“. Поводомъ къ такой предосторожности со стороны Посошкова было именно то, что онъ въ книгѣ своей указывалъ на средство, „какъ бы истребить изъ народа неправду и водружить прямую правду и безпечное житіе народное“. Въ числѣ средствъ, указываемыхъ Посошковымъ, упоминается и объ уравниніи отношеній между помѣщиками и крестьянами, объ учрежденіи одного суда, общаго, равнаго для всѣхъ чиновъ и сословій, объ улучшеніи быта духовенства, въ особенности сельскаго, которое, по бѣдности своей, почти не отличалось въ быту отъ крестьянства: а по малограмотности способствовало развитію въ народѣ раскола и суевѣрій и т. д. Съ другой стороны, въ той же книгѣ, Посошковъ занимается вопросами чисто экономическими, давая „изъясненіе, отчего содѣвается напрасная скудность, и отчего умножиться можетъ изобильное богатство“. При этомъ, не смотря на всю непослѣдовательность своего изложенія, Посошковъ, высказываетъ замѣчательную остроту и правильность взгляда на политико-экономическую сторону государственнаго строя: — „не въ томъ дѣло“, говоритъ онъ, „чтобы въ казнѣ денегъ много лежало, а въ томъ, чтобы самый народъ былъ богатъ и пользовался извѣстной степенью благосостоянія. Но все это Посошковъ считаетъ воз-

¹⁾ Сочиненія Посошкова, I. 297—8.

можнымъ только при совершенно правильномъ устройствѣ правосудія и при полномъ огражденіи народа отъ „явныхъ грабителей (разбойниковъ и воровъ) и потаенныхъ грабителей (взяточниковъ)“... „И донележе прямое правосудіе у насъ въ Россіи не устроится и всесовершенно не укоренится, то никакими мѣрами богатымъ намъ быть невозможно, также и славы доброй намъ не нажить, понеже всѣ пакости и непостоянства въ насъ чинятся отъ неправаго суда, отъ нездраваго разсужденія, отъ неразсмотрительнаго правленія и отъ разбоевъ. Крестьяне, оставя дома, бѣгутъ неправды. Древнихъ уставовъ не измѣня, самаго правосудія насадить и утвердить невозможно. Неправда въ правителяхъ вкоренилась и застарѣла: отъ мала до велика всѣ стали быть поплзновенны—овые ко вѣткамъ, овые же боящися сильныхъ лицъ. И того ради всякія дѣла государевы не споры, и сыски неправы, и указы недѣйствительны, ибо всѣ правители дворянскаго чина знат-

нымъ норовятъ, а власть имутъ и дерзновение только надъ самыми маломочными людьми, а нарочитымъ дворяномъ не смѣютъ и слова воспретительнаго изрещи... Видимъ мы всѣ, какъ великій нашъ монархъ трудить себя, да ничего не успѣетъ, потому что способниковъ по его желанію немного: онъ на гору еще и самъ-десять тянетъ, да подъ гору миллионы тянутъ, то какъ дѣло его споро будетъ?“

Этотъ замѣчательный по своему уму, честности и общественному положенію дѣятель Петровской эпохи могъ однакоже высказывать такъ свободно свои мысли о недостаткахъ современнаго общественнаго строя только Петру. Его рѣзкій и прямой взглядъ не понравился многимъ изъ высокопоставленныхъ современниковъ его. Вскорѣ послѣ смерти Петра, Посошковъ неизвѣстно по какой винѣ, былъ арестованъ, по распоряженію тайной канцеляріи, и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость, гдѣ и скончался въ февралѣ 1726 г.

Править по сему. Piter.

„Править по сему“. Piter.

Другая подпись Петра Великаго.

XXII.

Оеофанъ Прокоповичъ. — Годы ученія и странствованій. — Дѣятельность профессорская. — Сближеніе съ Петромъ. — Духовный регламентъ. — Оеофанъ, какъ общественный дѣятель. — Оеофанъ, какъ ученый и литераторъ. — Оеофанъ, какъ частный человѣкъ.

Всѣ преобразованія Петра были только крайнею степенью развитія того умственного и нравственного движенія, которое зародилось у насъ съ конца XVI и начала XVII вѣка на Юго-Западѣ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ того напора европейской цивилизаціи, въ которомъ выражалось ея неуклонное движеніе съ Запада на Востокъ. Кіевскіе ученые явились первыми піонерами западной цивилизаціи на дальнемъ московскомъ сѣверо-востоцкѣ и первые, открыто, всенародно, съ церковной кафедрѣ вступились за права науки и образованія. Въ этихъ то первыхъ піонерахъ западной цивилизаціи Петръ напелъ себѣ дѣятельныхъ помощниковъ и вѣрныхъ цѣнителей. Но вслѣдствіе того, что Петръ ближе ихъ знакомъ былъ и съ западной цивилизаціей, и съ коренными свойствами русской природы, онъ вскорѣ пошелъ въ своихъ преобразованійхъ гораздо далѣе всего, что казалось достижимымъ и возможнымъ для образованнѣйшихъ людей нашего юго-запада. Многие изъ нихъ, поэтому самому, отвернулись отъ Петра, перестали понимать его дѣйствія, перестали вѣрить въ возможность достиженія тѣхъ цѣлей, къ которымъ онъ стремился, — и только одинъ изъ нихъ рѣшился рука объ руку идти съ геніальнымъ Петромъ до конца, и даже послѣ смерти Петра не переставалъ защищать и осуществлять его идеи.

Успѣхъ кіевскихъ ученыхъ при Петрѣ объясняется для насъ не только однимъ недостаткомъ въ людяхъ просвѣщенныхъ и знающихъ языки древніе и новѣйшіе: значительною долею этого успѣха обязаны они и тому утилитарному, практическому направленію своей учености, которое, какъ мы видѣли выше, было вызвано въ средѣ юго-западной образованности самыми историческими условіями, породившими ее. Петръ видѣлъ въ нихъ людей пригодныхъ, которые

смыслиютъ изъ науки своей сдѣлать практическое примѣненіе къ современнымъ общественнымъ условіямъ жизни, смыслиютъ и литературой воспользоваться, какъ средствомъ для проведенія извѣстныхъ идей въ общество—и вотъ почему онъ такъ постоянно оказывалъ имъ свое покровительство. Съ самаго начала царствованія онъ милостиво отнесся къ кіево-могилянскій коллегіи, которой отъ него повелѣно было въ 1707 году именоваться „Академіей;“ даже и ранѣ этого времени, а именно въ 1701 году, Петръ велѣлъ ввести „ученія латинскія“ въ московской духовной академіи или, иначе сказать, видоизмѣнить въ ней преподаваніе наукъ, по образцу академіи кіевской. Затѣмъ, мало-по-малу, наступаетъ для кіевскихъ ученыхъ наиболѣе блестящій періодъ ихъ славы; они являются всюду преобладающими и становятся во главѣ церковнаго управленія и просвѣщенія Россіи: — Стефанъ Яворскій (ум. 1722 г.), по смерти послѣдняго патріарха, назначается мѣстооблюстителемъ патріаршаго престола; Гавріилъ Бужинскій становится во главѣ русскаго книгопечатанія и зарождающагося на сѣверѣ школьнаго образованія, какъ протекторъ школъ и типографій; Оеофилактъ Лопатинскій избранъ въ ректоры московской академіи (въ которую незадолго предъ тѣмъ кіевскихъ ученыхъ не допускали даже преподавателями), а съ 1723 года посвященъ въ тверскіе епископы; Дмитрій (Туптало), гораздо ранѣ этого времени, въ 1702 году, уже возведенъ въ санъ митрополита ростовскаго и ярославскаго; наконецъ, на верху всѣхъ почестей и духовныхъ, и свѣтскихъ является знаменитѣйшій изъ сподвижниковъ и совѣтниковъ Петровыхъ, разумнѣйшій и ревностнѣйшій исполнитель его воли — Оеофанъ Прокоповичъ, архіепископъ новгородскій.

Оеопанъ родился въ Кіевѣ 7 іюня 1681 года. До осьмнадцатилѣтняго возраста обучался онъ въ кіевскихъ школахъ и потомъ въ кіево-могилянскои академіи, гдѣ поражалъ всѣхъ наставниковъ своими необыкновенными дарованіями, живымъ и острымъ умомъ и весьма привлекательнои внѣшностью. Любознательность его, однакоже, не

сдѣлаться униатомъ. Достаточно уже образованный и твердый въ наукахъ, Оеопанъ и здѣсь оставался не долго, постоянно стремясь углубить и расширить кругъ своихъ свѣдѣній, и вскорѣ, черезъ славянскія земли, черезъ сѣверную Італію, пробрался въ отчизну искусствъ — въ Римъ. Здѣсь Оеопанъ поступилъ въ знаменитый коллегіумъ св. Ала-



Оеопанъ Прокоповичъ.

могла удовлетвориться тѣмъ, что способна была доставить ему кіево-могилянская коллегія; и вотъ онъ, подобно многимъ другимъ молодымъ людямъ своего времени, отправляется за границу, въ польскія школы, а такъ какъ въ польскія школы не принимали никого изъ принадлежащихъ къ восточному вѣроисповѣданію, то Оеопанъ вынужденъ

насія, учрежденный папою Григоріемъ XIII съ тою спеціальною цѣлью, чтобы въ немъ могли получать образованіе молодые люди изъ грековъ и славянъ. Преподавателями тамъ были іезуиты, и Оеопанъ сдѣлался вскорѣ ихъ общимъ любимцемъ: его полюбили и за веселый, привлекательный характеръ его, и за способность къ наукамъ. Его отличали

отъ всѣхъ товарищей, открыли ему свободный доступъ во всѣ бібліотеки, и Теофанъ (всегда съ большимъ уваженіемъ отзывавшійся о своихъ преподавателяхъ-іезуитахъ, и особенно о старшемъ изъ нихъ, въ вѣдѣніи котораго состоялъ весь коллегіумъ) вспоминалъ съ особеннымъ удовольствіемъ о впечатлѣніи, произведенномъ на него древними классиками, съ которыми впервые ему удалось въ ту пору знакомиться въ настоящихъ подлинникахъ, а не по школьнымъ, очищеннымъ и сглаженнымъ изданіямъ. Известно, что іезуиты дѣлали неоднократно Теофану и весьма выгодныя предложенія, обѣщая ему блестящую карьеру въ будущемъ, въ томъ случаѣ, еслибы онъ вступилъ въ ихъ семинарію или въ духовное званіе. Но Теофанъ ловко отклонилъ всѣ подобныя предложенія и воспользовался своимъ пребываніемъ въ Римѣ только для того, чтобы съ любовью изучить безсмертныя сочиненія классиковъ и творенія отцевъ церкви римской и греческой; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ внимательно осматривалъ памятники классической и церковной древности, вникалъ въ подробности папскаго правленія, духовнаго и свѣтскаго, и зорко слѣдилъ за всѣмъ, что происходило на глазахъ у него, при избраніи папы Климента XI (въ 1700 г.). Здѣсь-то, въ Римѣ—центрѣ католическаго міра—запасшись громадною ученостію богословскою и окончательно усвоивъ себѣ блестящее классическое образованіе, Теофанъ собралъ вмѣстѣ съ тѣмъ и драгоценнѣйшій матеріалъ для правдивой оцѣнки „папешкаго духа“, проникавшаго къ намъ черезъ Польшу, и навѣки сдѣлался заклятымъ врагомъ Рима. Около 1702 года, претерпѣвъ множество разныхъ бѣдъ и лишеній на обратномъ пути своемъ въ Россію, Теофанъ, наконецъ, возвратился въ Кіевъ, былъ разрѣшенъ отъ всякихъ связей своихъ съ унией, постриженъ въ монахи и потомъ принятъ преподавателемъ въ кіевскую академію. Здѣсь, въ бытность свою учителемъ поэзіи, Теофанъ составилъ курсъ піитики и написалъ трагикомедію „Владиміръ“, представленную академистами на школьной сценѣ, въ іюлѣ 1705 года. Последнее произведеніе замѣчательно уже по смѣлости въ выборѣ сюжета не изъ библейской, а изъ отечественной исторіи; къ тому же, по самой отдѣлкѣ нѣкоторыхъ пѣзъ числа выведенныхъ въ ней характеровъ, обрисованныхъ

бойко и съ неподдѣльнымъ комизмомъ, пьеса эта стоитъ далеко выше всѣхъ современныхъ ей школьныхъ драмъ. И на сколько Теофанъ, въ этой трагикомедіи своей, выказалъ себя оригинальнымъ и независимымъ по отношенію къ правиламъ современной риторики, на столько же оригинальнымъ и независимымъ отъ нея явился онъ и въ той первой своей привѣтственной рѣчи къ Петру Великому, которую сказалъ онъ Императору во время его пребыванія въ Кіевѣ въ 1706 году. Не обращая ни къ какимъ библейскимъ или классическимъ сравненіямъ и „прикладамъ“, Теофанъ очень ловко связалъ своей панегирикъ Петру съ воспоминаніями изъ отечественной исторіи о тѣхъ событіяхъ и лицахъ, для которыхъ кіевскіе памятники служили живою лѣтописью; въ концѣ рѣчи, еще болѣе ловко вставилъ Теофанъ словечко и о неслыханной простотѣ жизни и одежды монарха, объ отвращеніи его къ пышности: „Пресвѣтлѣй монархо памѣ“, — такъ заключилъ Теофанъ— „множася удивляемя величеству твоему, видяще тя въ общей одеждѣ, нежели аще бы видѣти былъ еси въ царскомъ украшеніи: величество бо царское не въ порфирѣ свѣтлой, не въ златой діадимѣ зрится, по въ силѣ, крѣпости, мужествѣ, въ храбрыхъ и удивленія достойныхъ дѣлахъ...“

Другое торжественное, поздравительное слово сказано было Теофаномъ Петру въ 1709 году, черезъ двѣ недѣли послѣ полтавской побѣды, и такъ поправилось Петру, что тогда-же было, по его приказанію, напечатано на славянскомъ и латинскомъ языкахъ, вмѣстѣ съ русскими, польскими и латинскими стихами, которыми отовсюду привѣтствовали побѣдителя. Всѣмъ особенно понравилось въ этомъ словѣ сближеніе съ библейской исторіей, сдѣланное ораторомъ; онъ напомнилъ своимъ слушателямъ, что битва происходила въ день св. Сампсона, который растерзалъ льва: „отъ ядущаго ядомое изыде и отъ крѣпкаго изыде сладкое“. Теофанъ не забылъ при этомъ и сильнаго любимца царскаго, Меншикова, и ему въ томъ же году посвятилъ особое похвальное слово.

Съ этихъ поръ, и особенно послѣ того, какъ Теофану пришлось сопровождать царя въ несчастливо-окончившійся турецкій походъ 1711 года, Петръ уже явно благоволилъ къ Теофану, видѣлъ въ немъ человѣка

надежного и пригодного, и рѣшили приблизить его къ себѣ въ виду тѣхъ обширныхъ реформъ по устройству русской церкви, которыя готовился онъ современемъ привести въ исполненіе. Еще около пяти лѣтъ пришлось однакоже Теофану оставаться въ Кіевѣ, при академіи, занимаясь преподаваніемъ философіи и математики; но въ 1716 году, Теофанъ, по волѣ Петра, вызванъ былъ въ Петербургъ, и хотя не засталъ тамъ государя, находившагося въ то время за границей, однакоже немедленно вступилъ на тотъ путь, которымъ ему суждено было идти до самой смерти Петра.

Теофанъ, въ отсутствіе Петра, усердно принялся за дѣятельность ораторскую, и проповѣди его имѣли такое важное значеніе по отношенію къ современности, что каждая изъ нихъ тотчасъ же печаталась и пересылалась Государю за границу. Теофанъ въ этихъ проповѣдяхъ является скорѣе свѣтскимъ ораторомъ, нежели духовнымъ лицомъ, и въ основу своей проповѣди избираетъ обыкновенно не поученіе нравственное, не разъясненіе догматовъ, а изложеніе и разъясненіе современныхъ политическихъ событій, дѣйствій правительства и даже видовъ его на будущее время; все это было излагаемо и изъясняемо Теофаномъ, конечно, съ правительственной точки зрѣнія, вполне согласно съ воззрѣніями самого Петра. Съ восторженными похвалами отзывался онъ о каждомъ дѣйствіи Петра, указывалъ на пользу путешествій Государя за границу, призывалъ всѣхъ къ подражанію ему и старался оправдать каждое его распоряженіе, каждое нововведеніе.

По возвращеніи Государя изъ-за границы, Теофанъ былъ посвященъ въ епископы новгородскіе; незадолго передъ тѣмъ онъ сказалъ свою знаменитую проповѣдь „о власти и чести царской“, въ которой уже ясно видны намеки на подготовляемыя Петромъ важныя реформы въ церковномъ устройствѣ. Теофанъ проводитъ въ этой проповѣди ту мысль, что всѣ сословія въ государствѣ должны быть подчинены и подсудны Государю, и прибавляетъ: „многіе мыслятъ, что не вси весьма людіе симъ долженствомъ обязаны суть, но нѣкіи выключаются, именно же священство и монашество. Се тернъ, или паче рещи, жало, но жало се змино есть, папешскій се духъ, но

не вѣмъ, какъ то досигающій и касающійся насъ; священство бо иное дѣло, инныи чинъ есть въ народѣ, а не иное государство“.

И дѣйствительно, въ 1719 г., когда Государь рѣшился учредить новую форму церковнаго правленія, онъ поручилъ Теофану составить уставъ духовной коллегіи, который и былъ имъ составленъ подъ заглавіемъ: „Духовный Регламентъ“. Самъ Теофанъ писалъ объ этомъ замѣчательномъ трудѣ своемъ къ одному изъ друзей сгдующее: „Я написалъ для главной церковной коллегіи или консисторіи постановленіе или регламентъ. Въ немъ всѣхъ правилъ почти триста. Его Величество приказалъ прочесть это сочиненіе въ своемъ присутствіи и, перемѣнивъ кое-что немногое и прибавивъ отъ себя, весьма одобрилъ; потомъ приказалъ прочитать въ сенатѣ, гдѣ присутствовали сенаторы и шесть епископовъ. Читано было дважды въ теченіе двухъ дней и еще прибавлено нѣсколько новыхъ замѣчаній; потомъ приложили руки съ одной стороны епископы, съ другой сенаторы; въ заключеніе подписалъ самъ Государь. Сдѣлано два экземпляра этого акта: одинъ отданъ для храненія въ царскіе архивы, другой отпращенъ въ Москву и другія мѣста для подписи неприсутствовавшимъ епископамъ. Когда регламентъ, такимъ образомъ закрѣпленный общимъ подписаніемъ, возвратится, онъ будетъ отданъ для напечатанья и откроется коллегія или постоянный правительствующій синодъ, чего дай Боже“.

Въ томъ же смыслѣ, Теофанъ прибавляетъ: „пишу теперь трактатъ, въ которомъ изложу, что такое патріаршество и когда оно получило начало въ церкви и какимъ образомъ, въ теченіе 400 лѣтъ, церкви управлялись безъ патріарховъ и доселѣ еще нѣкоторые патріархамъ неподчинены. Этотъ трудъ я принялъ на себя для защиты учреждаемой коллегіи, чтобы она не показалась чѣмъ-нибудь новымъ и необычнымъ, какъ, конечно, будутъ утверждать люди невѣжественные и злонамѣренныя“. Изъ этого видно, съ какою осторожною осмотрительностью дѣйствовалъ Теофанъ на трудномъ поприщѣ своемъ и какъ заботился о томъ, чтобы, защищая Петровы реформы, отстаивая ихъ шагъ за шагомъ противъ на-

падею партіи, враждебной Петру, въ то же время — давать имъ прочную точку опоры со стороны исторіи и науки; и въ этомъ случаѣ онъ, конечно, благодаря своей обширной учености, употреблялъ въ борьбѣ противъ враговъ реформы такое оружіе, противъ котораго они не могли ничѣмъ защищаться. Петръ вполне понималъ Прокоповича, вполне оцѣнивалъ его дѣятельность и умѣлъ превосходно пользоваться неутомимымъ трудолюбіемъ и неистощимымъ запасомъ свѣдѣній этого человѣка, котораго, при его свѣтломъ умѣ, Петру такъ легко было руководить и направлять сообразно своимъ цѣлямъ.

Понятно, почему, при Петрѣ, Феофанъ, какъ авторъ „Духовнаго регламента, и притомъ любимецъ государевъ, осыпавшій его милостями, тотчасъ послѣ учрежденія синода (1721 г.) сталъ во главѣ церковнаго управленія, хотя Стефанъ Яворскій и былъ назначенъ президентомъ синода. Какою силою и значеніемъ пользовался въ это время Феофанъ, это видно изъ той рѣзкой проповѣди, которую, по случаю открытія св. синода, Феофанъ говорилъ, въ присутствіи Государя, 14 февраля 1721 г. Въ этой проповѣди онъ не только безпощадно порицаетъ все управленіе церковное до-петровскаго времени, но и позволяетъ себѣ самыя рѣзкія нападки на современное состояніе духовенства. Въ этихъ нападкахъ нельзя не видѣть и весьма ясныхъ намековъ на современныхъ Феофану высшихъ представителей духовнаго сословія, относившихся враждебно къ его богословской и ораторской дѣятельности. Очень хорошо понимая, что въ основу церковной реформы, предпринятой Петромъ, положено было стремленіе къ исправленію и очищенію духовно-нравственной жизни народа при помощи наставленій со стороны образованныхъ пастырей, Феофанъ обращаетъ на эту сторону вопроса преимущественное вниманіе:

„Коей пользы надѣяться отъ правительства духовнаго“ — говоритъ онъ — „кажется мнѣ, есть человѣка умомъ весьма ослѣпленнаго; ибо онъ не видитъ, или видѣти такъ, какъ не хочетъ, каковую нищету и бѣдство страждетъ христіанскій народъ, когда нѣтъ духовнаго ученія и правленія. У насъ, слава Богу, все хорошо, и не требуютъ здравія врача, но болящіи. Но такъ себе и прочіихъ

лѣстятъ сіи окаляницы, якоже иногда во Іерусалимѣ народъ и священство... лѣстили себѣ сладкимъ лъщеніемъ: „миръ, миръ, и не бѣ миръ — якоже пророкъ (Іеремія) сѣтуеть.

... „Какій убо у насъ миръ? Какое здравіе наше? До того пришло, что всякъ, хотя бы пребеззаконнѣйшій, думаетъ себе быти честнѣе и паче прочихъ святѣйше: то наше здравіе. До того пришло, что чуть не всѣ, бревна въ своемъ оцѣ не ощущающіи, сушець усматриваютъ въ очесѣхъ ближняго: то нашъ миръ. До того пришло, что пріемшіи власть наставляти и учить людей сами христіанскаго перваго ученія, еже апостолъ млекоу нарицаеть, не вѣдаютъ. До того пришло, и въ та мы времена родилися, когда слѣпціи слѣпныхъ водятъ, саміи грубѣйшіи невѣжды богословствуютъ и догматы, смѣха достойныя, пишутъ, ученія бѣсовская предають, и во преданіи бабѣмъ баснею скоро вѣруется; прямое же и основательное ученіе не точію не получаетъ вѣры, но и гнѣвъ, вражду, угроженія, вѣсто возмездія пріемлетъ. Таковъ миръ нашъ, такое здравіе наше“.

„... Видя же сіе, видимъ какъ нужно дѣло твое духовная collegія; видимъ нужную ниву жатвы твоей... тебѣ весь сей въ Россіи домъ Божій вѣренъ; тебѣ и дѣлать, и дабы правильно дѣлалось, наблюдать, наставляти и настояти подобаетъ“.

Въ словахъ, предшествующихъ этому обращенію къ духовной collegіи, мы видимъ явный намекъ на то, что современное духовенство вообще относилось очень враждебно къ дѣятельности Феофана; и дѣйствительно, враговъ въ средѣ духовенства у него было очень много и даже еще при жизни Петра Великаго на него въ разное время было сдѣлано нѣсколько доносовъ, въ которыхъ Феофана обличали не только въ дурной жизни, но и въ неправильности религіозныхъ воззрѣній, въ предвѣренномъ искаженіи догматовъ, почти въ ереси. Такія обвиненія взошли на него преимущественно московскимъ духовенствомъ, которое все еще жило своими старыми преданіями и притомъ не могло простить Феофану его сочувствія и ревностнаго содѣйствія Петру въ тѣхъ реформахъ его, которыя собственно касались новаго церковнаго устройства. Съ другой стороны, высшіе

представители московского духовенства, напуганные тѣмъ, что лютеранство и кальвинизмъ стали было сильно распространяться въ Москвѣ около 20-тыхъ годовъ XVIII столѣтія, вынужденные даже къ усиленной полемикѣ противъ тѣхъ, которые увлекались этими новыми ученьями, способны были иногда видѣть наклонность къ кальвинизму и лютеранству въ каждомъ человѣкѣ, порицавшемъ наше церковное устройство или отступавшемъ отъ общепринятаго образца въ своихъ сочиненіяхъ и произведеніяхъ духовнаго ораторства. А такъ какъ Прокоповичъ открыто высказывалъ свое неуваженіе къ отживающимъ идеаламъ схоластической науки и выработавшимся на юго-западѣ образцамъ схоластическаго духовнаго краснорѣчія, такъ какъ, кромѣ того, онъ и вообще являлся въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ скорѣе свѣтскимъ, чѣмъ духовнымъ писателемъ, то конечно нельзя и удивляться тому, что обвиненія въ приверженствѣ къ „ученіямъ кальвинскимъ и лютеранскимъ“ сыпались на него со всѣхъ сторонъ. Не только не правилась его простая манера говорить проповѣди, придавая имъ скорѣе общественный, нежели церковный характеръ, но еще болѣе не правилось то, что онъ указывалъ, какъ именно слѣдуетъ говорить проповѣди и старался всѣхъ свести со стараго, избитаго и неправильнаго пути на новую дорогу: Теофанъ, въ статьѣ „Духовнаго Регламента“ о проповѣдникахъ и въ отдѣльномъ сочиненіи о проповѣди ¹⁾, указываетъ на св. писаніе, какъ на главный источникъ проповѣди, изъ котораго проповѣдникъ долженъ былъ почерпнуть основу ея, стараясь истолковать тексты св. писанія самостоятельно, вникая въ глубокой смыслъ ихъ и принимая за образецъ духовнаго краснорѣчія слова Іоанна Златоуста, а не тѣхъ „казнодѣйшковь“ ²⁾ легкомысленныхъ, каковыя наипаче польскіе бывають“. „Проповѣдывали-бы проповѣдники твердо, съ доводомъ св. писанія, о покаяніи, о исправленіи житія, о почитаніи властей, паче же самой высочайшей власти царской, о должностяхъ всякаго чина. Истребляли-бъ суевѣріе, зкореняли-бъ въ сердца людскія страхъ Божій.

Словомъ рещи: испытывали-бы отъ св. писанія, что есть воля Божія, святая, угодная и совершенная, и то говорили-бы“.

Этотъ новый образецъ проповѣдей, которому и онъ самъ старался слѣдовать, существенно отличался по направленію и настроенію своему отъ проповѣдей юго-западныхъ слагавшихся преимущественно подъ влияніемъ польско-католическихъ образцовъ. Теофанъ въ шутку называлъ „латынщиками“ Московскихъ и кievскихъ приверженцевъ этого направленія проповѣди и весьма рѣзко осуждалъ то произвольное, натянутое развитіе тѣмы, избранной для проповѣди, ту искусственность въ толкованіи текстовъ и то переполненіе проповѣди символическими и аллегорическими прикрасами, которыя составляли главное характеристическое отличіе южно-русской проповѣди. „Что сказать о нашихъ латынщикахъ?“ — такъ пишетъ Теофанъ въ письмѣ къ одному изъ своихъ друзей. „Если, по милости Божіей, въ ихъ головахъ найдется нѣсколько богословскихъ трактатовъ и отдѣловъ, выхваченныхъ когда-то какимъ-нибудь славнымъ іезуитомъ изъ какихъ-нибудь твореній схоластическихъ, епископскихъ, языческихъ, плохо считыхъ, понавшихъ въ ихъ потѣшную кладовую быть можетъ не изъ самаго источника, неудовлетворительныхъ и плохихъ, и хуже того искаженныхъ — то ужъ наши латынщики воображаютъ себя такими мудрецами, что для ихъ знанія ничего уже не осталось. Дѣйствительно, они все знаютъ, готовы уже отвѣчать на всякій вопросъ и отвѣчаютъ такъ самоуверенно, такъ безстыдно, что ни на волосъ не хотятъ подумывать о томъ, что говорить: они думаютъ о себѣ, что проглотили цѣлый океанъ премудрости. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ были въ модѣ такъ называемые ораторскіе приемы; церковныя кафедры оглашались тогда—увы!—чудными хитросплетеніями, на примѣръ: что значать пять буквъ въ имени Марія? Почему Христосъ погружается въ Іорданъ стоя, а не лежа и не сидя? Почему въ водахъ великаго потопа не погибли рыбы, хотя не были сохранены въ ковчегѣ Ноевымъ? — и многое тому подобное. И давались на по-

¹⁾ Сочиненіе это озаглавлено такъ: „Вещи и дѣла, о которыхъ духовный учитель народу христіанскому проповѣдовать долженъ“. ²⁾ Казнодѣй — «дѣющій казанья», т. е. слагающій казанья (проповѣди); иначе: проповѣдникъ.

добные вопросы отвѣты, важные и солидные... Потомъ настала другая болѣзнь:—нынѣ всѣ мы, какъ ты видишь, болѣемъ теологією. О, если бы во всѣхъ возбудилась жажда знанія и изученія! Тогда была бы надежда, что изъ тьмы возсіяетъ истина; но иное, какъ мы видимъ, совершается на дѣлѣ:— всѣ стремятся учить и почти никто не хочетъ учиться“.

При такомъ направленіи, при такой рѣзкой разницѣ во взглядахъ, при постоянной и непреклонной приверженности Теофана къ Петровымъ реформамъ, которыя онъ безусловно защищалъ и оправдывалъ, Теофанъ, тотчасъ по смерти Петра, при которомъ пользовался огромною властью и значеніемъ, увидѣлъ себя окруженнымъ неумолимыми врагами, которые неспособны были затрудняться никакими средствами и никакими соображеніями, лишь бы погубить этого „ересіарха“. Теофанъ, лишенный возможности проводить идеи реформы въ обществѣ, постоянно истощаемый мелкою борьбою и раздражаемый мелкими интригами своихъ враговъ, увидѣлъ себя вынужденнымъ къ тому, чтобы биться противъ нихъ ихъ же собственнымъ оружіемъ. Онъ увидѣлъ себя, послѣ смерти Петра (1725 г.), совершенно одинокимъ, понялъ, что ему „не могли помочь ни его знанія, ни его дарованія, и вотъ онъ кинулся въ дразги интригъ и происковъ, которыми такъ богата наша исторія той эпохи. Должно сознаться, что онъ на этомъ поприщѣ представляется уже не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ являлся, какъ сподвижникъ Петра, и въ настоящее время, многіе останавливаются на дѣятельности Теофана этого рода и по ней только произносятъ строгій приговоръ ему. Долгъ справедливости побуждаетъ насъ однакоже напомнить, что Прокоповичъ, послѣ 1725 г., жилъ въ такую „эпоху, когда каждый, мало-мальски значительный, человекъ считалъ благоразуміемъ, въ видахъ собственнаго самосохраненія, слѣдовать правилу: губи другихъ, иначе эти другіе тебя погубятъ“¹⁾.

Враги Теофана неумоимо пользовались каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы повредить ему во мнѣніи послѣдниковъ Петровыхъ, заваливали „тайную канцелярію“ доносами на него, какъ на еретика, какъ на

вреднаго въ нравственномъ отношеніи человека; и вотъ, Теофанъ, защищая себя, въ свою очередь дѣлается доносчикомъ, обвиняетъ враговъ своихъ въ противуправительственныхъ стремленіяхъ, въ государственной измѣнѣ, въ склонности къ мятежамъ и бунтамъ... и многіе изъ противниковъ его, особенно въ тягостную эпоху бироновщины, привлекаются, по доносамъ Прокоповича, въ страшную „тайную канцелярію“ и подвергаются той участи, которой они такъ неуждимо и рьяно стремились подвергнуть своего искуснаго и хитраго врага, не даромъ прошедшаго іезуитскую школу, тоньше ихъ понимавшаго людей и духъ своего непривлекательнаго времени. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что Теофанъ выказалъ здѣсь очень много темныхъ сторонъ своего характера; но не слѣдуетъ забывать, что борьба его съ противниками не была только простою личною борьбою, изъ за ничтожныхъ жизненныхъ интересовъ, и велась имъ не только вслѣдствіе побужденій инстинкта самосохраненія... Враги Теофана, по большей части, олицетворяли собою старое направленіе общественное, уже и до Петра отжившее свой вѣкъ, стремились къ прежнимъ порядкамъ, требовали возврата къ старинѣ; съ озлобленіемъ смотрѣли на усиленіе свѣтской власти въ ущербъ духовной, послѣ уничтоженія патриаршества. Такіе защитники старины должны были неизбежно пасть жертвами новаго порядка вещей, который олицетворялся въ Теофанѣ и находилъ себѣ выраженіе въ его литературной и общественной дѣятельности. Если борьба Теофана съ противниками и принимала такой мрачный и отталкивающий характеръ нескончаемыхъ доносовъ, подпольной борьбы и процессовъ, кончавшихся часто застѣнкомъ тайной канцеляріи и ссылкой въ Сибирь, то виною этому въ значительной степени было то хаотическое, переходное состояніе тогдашняго общества, въ которомъ бродили самые разнородные, и притомъ никѣмъ не направляемые элементы, и въ средѣ котораго открывался полный просторъ для игры несдерживаемыхъ страстей, честолюбія, интригъ. „Чтобы судить объ этомъ безпристрастно“ — справедливо замѣчаетъ новѣйшій біографъ Теофана, —

¹⁾ Пекарскій. Наука и литерат. I, 382.

„нужно имѣть въ виду тѣ обстоятельство, въ которыхъ находился Теофанъ во все время своей жизни, по смерти Петра I (т. е. отъ 1725—1736 годъ). Онъ одинъ выносилъ на плечахъ своихъ введенныя Петромъ въ русскую церковь преобразованія. Извѣстно, что имъ (въ послѣдующія царствованія) угрожала самая печальная судьба. Оберегая себя, Теофанъ оберегалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и общее церковное дѣло. Къ чести его надо сказать, что онъ, при противныхъ обстоятельствахъ, не перемѣнилъ своихъ убѣжденій: при Екатеринѣ I, Петрѣ II и Аннѣ онъ все тотъ же, что былъ и при Петрѣ I... И нельзя не признать, что только благодаря своему обширному, гибкому и изворотливому уму, Теофанъ могъ не только самъ уцѣлѣть и сохранить свое преобладающее значеніе во время смутъ, возновившихъ государство и церковь нашу въ первой половинѣ прошлаго вѣка, когда погибли Меньшиковы, Долгоруковы, Голицыны, Остерманы и многое множество другихъ лицъ, но и сберечь дѣло Петра отъ постоянно грозившаго ему уничтоженія“¹⁾.

Какъ бы кто ни старался преувеличить темную сторону характера и дѣятельности Теофана, особенно въ послѣднюю эпоху его жизни, на Теофана оказывается совершенно невозможно смотрѣть только съ одной точки зрѣнія тѣхъ интригъ и процессовъ, въ которыхъ онъ былъ запутанъ тягостною необходимостью. Это было бы почти также несправедливо, какъ и тотъ взглядъ на Теофана, по которому онъ будто бы являлся въ своихъ сочиненіяхъ обличителемъ и гонителемъ старыхъ порядковъ только изъ угожденія Петру: не слѣдуетъ забывать, что еще будучи безвѣстнымъ преподавателемъ философіи и богословія въ Киевѣ, Теофанъ уже читалъ такія лекціи, которыя враги его потомъ ославили опасными, говоря, что въ нихъ заключалось „новое“ ученіе; не слѣдуетъ забывать и того, что и не бывъ еще призванъ къ осуществленію самыхъ реформъ царя, Теофанъ уже не падалъ въ своихъ насмѣшкахъ невѣжества, прикрытаго вѣтхимъ глубокомысліемъ, ханжества и лицемерія проч.²⁾ Вообще личность Теофана

является на столько крупною и замѣательною, на столько выдается изъ ряда всѣхъ сподвижниковъ Великаго Преобразователя, что на нее невозможно заставить себя смотрѣть только съ одной, извѣстной точки зрѣнія. Характеристика Теофана, — на сколько мы успѣли ознакомить съ его личностью и дѣятельностью — была бы далеко неполною, если бы къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ нами о Теофанѣ, какъ объ одномъ изъ первыхъ ученыхъ мужей нашихъ начала XVIII вѣка, мы наконецъ не добавили бы хотя нѣсколько словъ о характерѣ Теофана, какъ частнаго человѣка, на сколько этотъ характеръ его проявлялся въ отношеніяхъ къ современникамъ, стоявшимъ въ тѣсной связи съ нимъ по его общественной дѣятельности.

Какъ ученый, Теофанъ пользовался въ свое время весьма обширною и вполне заслуженною извѣстностью. Постоянно занятый по управленію церковному въ Синодѣ, Теофанъ посвящалъ всѣ свои досуги занятіямъ научнымъ и кромѣ вышеупомянутыхъ сочиненій, намъ отъ него осталось много ученыхъ трудовъ какъ богословскихъ, такъ и историческихъ. Къ числу ученыхъ трудовъ его нельзя не отнести и той постоянной переписки, въ которой состоялъ онъ, въ теченіе всей своей жизни, со многими изъ германскихъ и англійскихъ ученыхъ и богослововъ. Подъ руководствомъ Теофана, по его указанію или побужденію, переводились на русскій языкъ многія классическія иностранныя сочиненія, и многіе ученые иностранцы находили себѣ въ немъ поддержку. Неудивительно, что нѣкоторые изъ нихъ оставили намъ о немъ не только почтительные, но и восторженные отзывы. Такъ, напримеръ, одинъ нѣмецкій путешественникъ, фонъ-Гавенъ, посѣтившій Петербургъ въ началѣ 1736 года, говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Теофанѣ: „по знаніямъ своимъ у него мало или почти нѣтъ никого равныхъ, особенно между русскими духовными. Кромѣ исторіи, богословія и философіи, у него глубокія свѣдѣнія въ математикѣ и неописанная охота къ этой наукѣ. Онъ знаетъ разныя европейскіе языки, изъ которыхъ на двухъ говоритъ, хотя въ Россіи не хочетъ употреблять никакого, кромѣ рус-

¹⁾ Чистовичъ. Теофанъ Прокоповичъ и его время; стр. 576 и 577. ²⁾ Пекарскій. Наумъ Литерат.; стр. 781.

скаго, и только въ крайнихъ случаяхъ объясняется на латинскомъ, въ которомъ не уступить никому академику. По гречески и еврейски онъ также понимаетъ хорошо и въ самой глубокой старости прилежитъ къ нимъ, оказывая особенное предпочтеніе тѣмъ, кто знакомъ съ этими языками. Много разныхъ полезныхъ книгъ изданы по русски при его содѣйствіи и поощреніи. Кромѣ того, многіе надѣялись одно время, что при помощи Теофана будетъ издана вся библія на русскомъ и славянскомъ языкахъ и съ примѣчаніями. Теофанъ особенно вѣжливъ и услужливъ со всѣми иностранными литераторами и вообще иноземными“.

Другой иностранецъ, Сигфридъ Байеръ, бывшій въ числѣ первыхъ профессоровъ при основанной въ Петербургѣ академіи наукъ, посвящая Теофану Прокоповичу одно изъ сочиненій своихъ въ 1730, писалъ между прочимъ: „хотя васъ занимаютъ теперь несравненно важнѣйшія заботы, однако вы никогда не возобновляете въ памяти занятій древностями безъ того, чтобы они вамъ не доставили пріятнаго о нихъ воспоминанія, а во мнѣ не возбуждали удивленія. Мнѣ казалось, что я нахожусь въ Греціи и въ тамошнихъ поэтическихъ и риторскихъ или философскихъ школахъ, всякій разъ, какъ только вы начинали о нихъ рѣчь. Я часто смотрѣлъ на васъ, какъ на нѣкоего Климента, или Кирилла, или Евсевія, когда вы опровергали басни древнихъ народовъ или негнѣйшія мнѣнія философовъ; точно также, вы какъ будто вводили меня въ Римъ или въ какой другой городъ Италіи, славный священными или гражданскими памятниками. Съ какимъ удовольствіемъ я слушалъ васъ всякій разъ, когда вы описывали мнѣ памятники древняго времени, которыя вы видѣли въ Римѣ и прочей Италіи, и въ особенности состояніе учености, и рассказы-вали о прочихъ вашихъ путешествіяхъ, и о своемъ, такъ сказать, курсѣ въ занятіи науками. Какое разнообразіе и обиліе! Какая память о вещахъ въ повѣствованіи, какая сила въ размышленіи и какая воспримчивость духа, соединенныя съ величайшею важностью, какая легкость въ изъясненіи, какая способность въ разсужденіи и какое изящество какъ римскаго, такъ и итальянскаго языка! Какая, наконецъ, пріятность и грація во всей рѣчи, во всемъ“.

Съ величайшимъ сочувствіемъ относился Теофанъ къ ново-учрежденной академіи, къ ея дѣятельности и той пользѣ, которую ей надлежало принести русскому просвѣщенію. Вообще Теофанъ всею жизнью своею оправдывалъ то, что самъ же сказалъ въ духовномъ регламентѣ: „прямымъ ученіемъ просвѣщенный человѣкъ никогда сытости не имѣетъ въ познаніи своемъ, но не перестаетъ никогда же учиться, хотя бы онъ Маѳусаиловъ вѣкъ пережилъ“. И дѣйствительно, среди всѣхъ своихъ занятій, среди всѣхъ дрызгъ и хлопотъ, которыми онъ былъ постоянно отвлекаемъ отъ дѣла, Теофанъ все же не только самъ не отставалъ отъ занятій наукою, но и другимъ всѣми силами помогалъ учиться и просвѣщать себя. Большими трудами и значительными издержками успѣлъ онъ собрать у себя въ домѣ бібліотеку въ 30,000 томовъ, по большей части дорогихъ и рѣдкихъ изданій и весьма охотно давалъ изъ нея книги всѣмъ, въ комъ видѣлъ стремленіе къ занятію науками. Сверхъ того, въ 1721 году онъ основалъ въ своемъ загородномъ архіерейскомъ домѣ школу для сиротъ и бѣдныхъ дѣтей всякаго званія. Въ школѣ преподавали: законъ Божій, славянское чтеніе, русскій, латинскій и греческій языки, грамматику, ретику, логику, римскія древности, арифметику, геометрію, географію, исторію и рисованіе. Какъ только стало извѣстно, что для образованія русскихъ молодыхъ людей учреждается при академіи гимназія, Теофанъ тотчасъ же обратился къ назначенному президентомъ академіи лейбъ-медику Блюментросту, и просилъ его принять въ эту гимназію нѣсколько молодыхъ людей, подготовленныхъ въ его домашней школѣ, которая, по своему времени, являлась лучшимъ подготовительнымъ учебнымъ заведеніемъ во всей Россіи, тѣмъ болѣе, что въ ней преподаваніемъ занимались многіе изъ профессоровъ академіи и иностранныхъ ученыхъ.

О личномъ характерѣ Теофана одинъ изъ иностранныхъ біографовъ его сохранилъ намъ самыя привлекательныя свѣдѣнія; онъ говоритъ между прочимъ, что Теофанъ охотно принималъ у себя иностранцевъ православнаго исповѣданія—грековъ, славянъ, венгровъ, поляковъ, грузинъ—странниковъ съ Ливана и Афона, несчастныхъ, потерявшихъ имущество безъ собственной вины,

вслѣдствіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ, и потому нуждавшихся въ его помощи, — также художниковъ и студентовъ, ищущихъ пособія, которыхъ рекомендовалъ знатнымъ русскимъ, испрашивая помощи, и которымъ самъ помогалъ щедрой рукой и отпускалъ, снабдивши всѣмъ необходимымъ для жизни. Огромныя средства, которыми онъ располагалъ, давали полный просторъ его щедрости. Но онъ не могъ равнодушно видѣть ханжей, суевѣровъ, святошъ, лицемеровъ — преслѣдовалъ ихъ всячески и подвергалъ наказаніямъ¹⁾.

Весело, открыто и пышно жилъ Теофанъ въ своемъ загородномъ архіерейскомъ домѣ, который былъ построенъ на берегу рѣчки Карповки, впадающей въ Неву, на Аптекарскомъ островѣ. Передъ домомъ его, на рѣчкѣ, стояла цѣлая флотилія крупныхъ и малыхъ рѣчныхъ, гребныхъ и парусныхъ судовъ, на которыхъ онъ часто совершалъ по рѣкѣ и по взморью довольно далекія поѣздки въ другія загородныя дома свои, объ устройствѣ и содержаніи которыхъ онъ очень заботился, такъ какъ его до конца жизни не оставляла страсть къ постройкамъ. Здѣсь то, въ тишинѣ своего роскошнаго уединенія, окруженный сокровищами книжными и сокровищами искусства, которыми онъ собиралъ въ теченіе всей своей жизни, Теофанъ, по окончаніи дневныхъ своихъ занятій, любилъ принимать и пышно угощать избранный кружокъ друзей и близкихъ знакомыхъ своихъ. Являясь радушнымъ хозяиномъ въ кругу близкихъ людей, онъ бывалъ неоцѣненнымъ собесѣдникомъ въ спорахъ и разсужденіяхъ о предметахъ серьезныхъ, а когда приходилось мѣшать шутку съ дѣломъ, то проявлялъ такое тонкое и замѣчательное остроуміе, что собесѣдники съ жадностью ловили и старались запоминать его изреченія, его латинскія и русскія эпиграммы и шутивыя стихотворенія, которыхъ много сохранилось и до настоящаго времени. Къ кружку такихъ-то близкихъ Теофану людей принадлежали всѣ передовые дѣятели его времени, и изъ числа русскихъ писателей — Кантемиръ и Татищевъ. Когда въ 1729 году молодой князь Антиохъ Кантемиръ написалъ первую сатиру свою „на хулящихъ ученіе“, то Тео-

фанъ тотчасъ же оцѣнилъ ее по достоинству и привѣтствовалъ начинающій талантъ слѣдующимъ ободрительнымъ посланіемъ²⁾.

Не знаю, кто ты, пророче рогатый,
Знаю, великой достоинъ ты славы.
Да почто-жъ было имя укрывать?
Знать тебѣ страшны сильныхъ глупцовъ нравы?
Плюнь на ихъ грозы. Ты блаженъ трикраты.
Благо, что Богъ далъ умъ тебѣ здравый.
Пусть весь міръ будетъ на тебя голосливый
Ты и безъ счастья довольно счастливый.
Объемлетъ тебя Аполлонъ великій,
Любитъ всякъ, кто есть таниствъ его зритель
О тебѣ поютъ парнасскіе лики.
Всѣмъ честнымъ сладка твоя добродѣтель,
И будетъ сладка въ будущее вѣки,
А я нынѣ сущій твой любитель.
Но сіе заверѣй славы твоей буди,
Что тебя злыя ненавидятъ люди.
А ты, какъ началъ тебѣ путь преславный,
Коиѣ книжны текли исполнины,
И перомъ свѣлымъ мещи пороки явныи
На нелюбимыхъ ученой дружины;
И разрушай всякъ обычай злонаправный,
Желая доброй въ людяхъ премѣны.
Кой плодъ ученый не единъ искусить,
А дураковъ злость языкъ свой прикусить.

Что же касается Татищева, то онъ оставилъ намъ самыя лестныя отзывы о Теофанѣ, какъ ученомъ и какъ человѣкѣ, и въ своей знаменитой „духовной“ сыну советуетъ читать наравнѣ съ твореніями знаменитыхъ отцевъ и учителей церкви сочиненія Теофана Прокоповича, „истолкованіе десяти заповѣдей и блаженствъ, которые за катихизисъ, а малый букварь — за лучшее нравоученіе служить могутъ“. Татищевъ былъ друженъ съ Теофаномъ, хотя и расходился съ нимъ во многихъ мнѣніяхъ и взглядахъ на вещи, и ихъ отношенія служать лишь еще однимъ доказательствомъ той общительности и той терпимости къ людямъ, которая составляла одну изъ замѣчательнѣйшихъ чертъ характера въ Теофанѣ, какъ представителя русскаго просвѣщенія начала XVIII вѣка. Не даромъ разсказываютъ о немъ современники, что любимую поговоркою его было: „uti boni vini non est quaerenda regio sic nec boni viri religio et patria“³⁾.

¹⁾ «Нечего допытываться о добромъ винѣ, изъ какой страны оно происходитъ, точно также и о добромъ человѣкѣ — какой онъ вѣры, и откуда родомъ».

онъ скончался въ загородномъ домѣ что на Карповкѣ, 8 сентября 1736 а 55-мъ году жизни, сохранивъ до сей минуты полное сознаніе. Тѣло о отвезено въ Новгородъ и погребено въ Юрійскомъ соборѣ, въ южной сторонѣ подлѣ тѣла Іова митрополита. Имѣя завѣщалъ Ѳеофанъ дѣтямъ, воспитавшимся въ его домовою школѣ, просить имъ способы продолжать образованіе и въ ихъ людямъ, достойнымъ доверять, что они сами придутъ въ совершенность и разумъ. Библиотека его небыла въ 1740 году въ невинскую селѣ, что при александровской лаврѣ инструменты (глобусы, сферы, солнечныя) въ академію наукъ.

Въ заключеніе всего, сказаннаго нами о немъ, нельзя не замѣтить, что онъ представлялъ собою въ исторіи нашей литературы и просвѣщенія, въ началѣ XVIII вѣка, явленіе во всѣхъ отношеніяхъ новое. Замѣчательнъ Ѳеофанъ не обширнымъ умомъ своимъ, блестящими и горячими речями къ формѣ, которому всецѣло посвятилъ и дѣятельность свою: онъ можетъ быть болѣе замѣчательнъ своею полнотой отрѣшенностью отъ всѣхъ старыхъ и духовно-литературныхъ преданій,

своею самостоятельностью, независимостью отъ нихъ, вслѣдствіе которой, несмотря на свой духовный санъ, не смотря на свою богословскую и церковно-административную дѣятельность, онъ все же является первымъ нашимъ свѣтскимъ писателемъ въ многозначительную эпоху преобразованій. Петръ Великій, могучею волею своею, разграничилъ область власти духовной и свѣтской, возвысилъ значеніе литературы и науки, избавивъ ихъ отъ тягостной, исключительной опеки духовенства и монашества, указавъ свѣтской литературѣ новый путь... Ѳеофанъ, ближе всѣхъ стоявшій къ Петру и лучше всѣхъ умѣвшій понимать его замыслы, первый вступилъ на этотъ новый путь, перенося на почву чисто-свѣтскую такія литературныя роды, которые до того времени составляли исключительное достояніе литературы духовной, догматической. Такимъ образомъ Ѳеофанъ олицетворилъ собою наступленіе новаго, свѣтскаго періода въ литературѣ нашей и то направленіе, которое, подъ вліяніемъ Петра, Ѳеофанъ придавалъ литературѣ современной было такъ опредѣленно, такъ сообразно съ потребностями времени, что новыя дѣятельности литературныя, созданныя реформой, неизбежно должны были ему послѣдовать.

Смиртинъ Ѳеофанъ Архиппъ Новгородскій

Подпись Ѳеофана Прокоповича.

XXIII.

Вліяніє епохи преобранованій на общество и литературу. — Кантениръ, его литературная, ученая и общественная дѣятельность. — Татищевъ. „Завѣщаніе сыну“ и ученые труды его.

Эпоха преобранованій, пережитая Россією въ правленіе Петра, вынудила наше общество къ повороту на новый европейскій путь развитія его жизни и внѣшней, и внутренней. Хотя многіе и считали возможнымъ упрекать Петра въ томъ, что онъ своимъ образомъ дѣйствій способствовалъ разрыву, надолго установившемуся между высшими, образованными классами и народной массой, но такой упрекъ едва-ли можно считать вполне справедливымъ, такъ какъ мы видѣли, что Петръ не только не имѣлъ въ виду одни высшіе классы общества, но и положительно заботился о томъ, чтобы открыть путь къ образованію и къ служебной дѣятельности талантливымъ личностямъ изъ низшихъ слоевъ народа. На этомъ основаніи Петръ старался пояснить народу каждый свой новый шагъ на пути преобранованій, и мы видѣли, что уже при жизни его являлись въ самомъ народѣ люди, понимавшіе значеніе реформы Петровской и глубоко ей сочувствовавшіе. Если разрывъ между народомъ и высшими образованными классами общества и сталъ обозначаться рѣзко въ послѣдовавшую за царствованіемъ Петра эпоху, то въ немъ скорѣе можно винить правителей, наслѣдовавшихъ престолъ Петра, нежели самого Петра. Идеи Петра подверглись при нихъ на нѣкоторое время не только порицанію, но даже гоненію; старія боярскія начала взяли на нѣкоторое время верхъ въ обществѣ, а потомъ, когда они вновь вступили въ ожесточенную борьбу съ новыми общественными началами, внесенными въ русскую жизнь Петромъ, несчастная историческая случайность вывела на первый планъ только одинъ изъ элементовъ реформы — элементъ иностранный — и дала ему на много лѣтъ, до самого воцаренія Елисаветы Петровны, громадный перевѣсъ надъ всѣми остальными. Въ этой

то борьбѣ различныхъ партій, въ борьбѣ неустановившихся и взволнованныхъ реформою стихій нашей общественной и политической жизни, въ которую необходимо вовлечено было общество наше послѣ Петра, и слѣдуетъ собственно искать поводовъ и побужденій къ наступившему въ XVIII столѣтіи разрыву между жизнью народа и жизнью высшихъ, образованныхъ классовъ общества — разрыву, который, собственно говоря, начинается дѣлаться менѣе чувствительнымъ только въ настоящее время.

Но если Петра и его преобранованія нельзя обвинить въ томъ, что подъ ихъ непосредственнымъ вліяніемъ произошелъ только что упомянутый нами разрывъ, то ужъ конечно эпоху преобранованій, неожиданно для общества явившихся, быстро вводимыхъ и еще быстрѣе одно за другимъ слѣдовавшихъ, нельзя не упрекнуть въ томъ, что она вносила въ русскую жизнь одну очень вредную сторону: — уваженіе къ формѣ, предпочтеніе, всѣми отдаваемое внѣшней сторонѣ передъ внутреннимъ содержаніемъ, чисто-внѣшній, формальный переходъ отъ стараго порядка къ новому. Вынуждаемое Петромъ къ реформѣ общество, въ большей своей части, переходило къ ней поневолѣ, насильно напяливало себѣ на плечи узкое нѣмецкое платье и, прикрывая голову французскимъ парикомъ, не отказывалось хранить въ ней свой прежній грубый взглядъ на вещи и питать въ сердцѣ все тѣ же, старія боярскія замашки безобразно-широкой, разнузданной русской натуры. Даже и приобрятая блестящій лоскъ европейскаго образованія, многіе ухитрялись воспринять его равно на столько, что оно придавало имъ внѣшній видъ европейцевъ, нимало не касаясь ихъ сердца, нимало не образовывая ихъ ума...

Къ этому неизбежному и независѣвшему

отъ воли Петра свойству всякой реформы, вводимой быстро и притомъ вводимой силою, примѣшивалась еще и другая сторона ея, сильно повліявшая на нашу литературу и образованность, и стоявшая уже въ тѣсной зависимости отъ личныхъ воззрѣній Петра на литературу и науку. Петръ, какъ мы уже видѣли выше, до нѣкоторой степени сходилъ по взглядѣ на литературу и науку съ кievскими учеными; въ неутомимомъ желаніи добра Россіи онъ старался достигнуть того, чтобы въ короткое время доставить ей возможность пользоваться плодами европейской образованности, преимущественно въ примѣненіи къ жизни. Не надѣясь на послѣдующій періодъ, Петръ спѣшилъ внести въ Россію тотъ запасъ науки, какой, по его мнѣнію, былъ ей нуженъ для достиженія извѣстной степени благосостоянія, и развитію литературныхъ способностей лишь на столько, на сколько она, по его же мнѣнію, могла быть полезною его цѣлямъ и зарождающейся въ обществѣ новой жизни. И въ литературѣ, и въ наукѣ Петръ одинаково искалъ только существенно-необходимаго для жизни, и на этомъ основаніи, не прилагая особенной заботы къ возвышенію общаго уровня русской образованности, онъ, въ то же время, съ большимъ трудомъ и усиліями старался направить способнѣйшихъ дѣятелей къ искусственно-вызванному имъ спеціальному образованію, и съ удовольствіемъ смотрѣлъ на искусственно-создаваемую имъ литературную и научную дѣятельность, ограничивавшуюся весьма опредѣленными и узко-утилитарными цѣлями. Въ результатѣ выходило то, что ни наукѣ, ни литературѣ, въ собственномъ смыслѣ этого слова, при Петрѣ не было никакой возможности развиваться: — вмѣсто литературы видимъ только примѣненіе литературныхъ приемовъ, какъ средства для распространенія извѣстнаго опредѣленнаго количества идей и для достиженія на столько же извѣстнаго и на столько же опредѣленнаго количества цѣлей; вмѣсто науки видимъ тоже, въ большей части случаевъ, лишь примѣненіе научныхъ приемовъ и свѣдѣній къ практической жизни. Какъ ни были важны тѣ результаты, которыхъ Петръ успѣвалъ добиться этимъ сокращеннымъ путемъ, однакоже послѣдствія показали, что этотъ сокращен-

ный путь могъ только до нѣкоторой степени и на время способствовать достиженію главной цѣли Петра и его преобразованій, — т. е. внесенію въ Россію европейской образованности и развитію у насъ умственной дѣятельности на столько, чтобы жизнь народная могла найти себѣ болѣе или менѣе полное выраженіе въ наукѣ и литературѣ. Благодаря тому направленію, которое Петръ придалъ въ Россіи литературѣ и наукѣ, очень долго не могъ у насъ въ обществѣ установиться серьезный взглядъ ни на литературу, ни на науку. Мало того: дѣятельность научную долгое время не отдѣляли отъ дѣятельности литературной, и собственно литературной дѣятельности въ началѣ не придавали рѣшительно никакого значенія. Положеніе и ученаго, и литератора было до такой степени ново въ періодъ жизни нашего общества, непосредственно послѣдовавшій за эпохою преобразованій, что въ самой средѣ тѣхъ дѣятелей, которые посвящали себя литературѣ и наукѣ, долго не могъ, повидимому, установиться правильный взглядъ на отношенія между наукой и литературой. Многіе изъ нихъ не рѣшались смотрѣть на литературу иначе, какъ на забаву, какъ на хорошее препровожденіе времени на досугѣ, между дѣломъ... И вотъ, на пространствѣ всего періода нашей литературы, непосредственно послѣдовавшаго за эпохою преобразованій, мы замѣчаемъ одно общее явленіе: наука оказывается тѣсно связанною съ занятіями литературными, и всѣ наши литераторы до конца царствованія Елисаветы Петровны являются, въ то же время и учеными: — на первомъ планѣ въ ихъ дѣятельности является наука, большею частью въ примѣненіи къ практикѣ, а свои досуги посвящаютъ они литературѣ. Таковы были всѣ первые писатели наши, послѣ Петра: Кантемиръ, Татищевъ, Тредьяковскій и самъ гениальный Ломоносовъ. Таковъ былъ, наконецъ, и первый изъ свѣтскихъ писателей нашихъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, Теофанъ Прокоповичъ, небрезгавшій возможностью посвящать литературѣ минуты отдыха. Выше уже упоминали мы о тѣхъ литературныхъ и дружескихъ связяхъ, въ которыхъ онъ находился съ Кантемиромъ и Татищевымъ; въ настоящей главѣ переходимъ къ возможно-полной характеристикѣ этихъ

двухъ писателей нашихъ, которыхъ литературная дѣятельность была прямымъ слѣдствіемъ пережитой имъ эпохи преобразованій.

Князь Антиохъ Дмитріевичъ Кантемиръ родился въ Молдавіи въ 1708 году, и ему было не болѣе трехъ лѣтъ отъ роду, когда отецъ его, Дмитрій Кантемиръ, бывшій господаремъ молдавскимъ, перешелъ на сторону Россіи во время несчастнаго прутскаго похода, и потому самому долженъ былъ, съ семьей своею и съ 4,000 молдаванъ, перебраться вслѣдъ за русскими вой-



А. Антиохъ Кантемиръ

Кантемиръ.

скомъ въ Россію. Здѣсь принялъ онъ русское подданство, выговоривъ себѣ отъ Петра нѣкоторыя особыя права и преимущества и, между прочимъ, дозволеніе „сыновей своихъ послать для наукъ въ знатные города и инныя христіанскія страны“.

Самъ Дмитрій Кантемиръ, судя по всѣмъ дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, въ числѣ которыхъ сохранился между прочимъ и отзывъ о немъ самого Петра, былъ человѣкъ разумный и не только образованный, даже ученый. Любовь къ научнымъ занятіямъ не

оставляла его до конца жизни, и большую часть своего времени, послѣ переселенія въ Россію, гдѣ онъ получилъ обезпеченное и спокойное положеніе, онъ провелъ въ кабинетныхъ занятіяхъ. Петръ пользовался не разъ его совѣтами и помощью въ сношеніяхъ своихъ съ востокомъ, и во время похода въ Персію, въ 1722 году, бралъ съ собою Кантемира, какъ человѣка, обладавшаго основательнымъ знаніемъ двухъ восточныхъ языковъ: турецкаго и персидскаго. Извѣстно даже, что на пути въ Персію, во время плаванія на судахъ по Волгѣ, Кантемиръ везъ съ собою походную типографію и занятъ былъ печатаньемъ на этихъ языкахъ прокламацій, которыя предназначаемы были къ распространенію на Кавказѣ.

Мать Антиоха Кантемира, гречанка изъ знатнаго рода Кантакузеновъ, находившихся въ родствѣ съ императорами греческими, была также женщиною замѣчательнаго ума и образованія; одинъ изъ біографовъ Антиоха Кантемира весьма удачно замѣтилъ о ней, что „она была надѣлена всѣми прекрасными качествами своего пола и что красота ея казалась въ ней однимъ изъ наименьшихъ достоинствъ“. На ней-то собственно и лежала забота о воспитаніи дѣтей, за которыми она зорко и строго наблюдала, при помощи ученаго грека-священника, Анастасія Кондонди, который жилъ въ домѣ князя Кантемира, въ качествѣ наставника при дѣтяхъ, и обучалъ ихъ греческому, латинскому и итальянскому языкамъ.

Неудивительно, что при такихъ благоприятныхъ условіяхъ, юному Антиоху Кантемиру не трудно было дома приобрести такое образованіе, какое для другихъ оказывалось въ то время невозможнымъ, почти недостижимымъ. Намъ извѣстно, что Антиохъ Кантемиръ еще будучи десятилѣтнимъ ребенкомъ, уже на столько владѣлъ древними языками, что сказалъ однажды въ присутствіи Петра похвальное слово св. Димитрію на греческомъ языкѣ: это происходило въ церкви, при московской академіи, гдѣ онъ нѣкоторое время учился, во время пребыванія отца его въ Москвѣ. Когда-же, по смерти первой своей супруги, отецъ Антиоха женился на второй женѣ, знаменитой красавицѣ княжнѣ Трубецкой, выросшей и воспитавшейся въ Швеціи на европейскій ладъ, всей семьѣ Кантемировъ пришлось переѣхать на житье

въ Петербургъ. Не задолго до этого переѣзда ученый Анастасій Кондоиди, понадебившійся Петру для перевода книгъ, былъ взятъ изъ семьи Кантемира, и мѣсто его заступилъ русскій воспитатель, Иванъ Ильинскій, бывшій студентъ московской академіи. Съ этого-то времени, вѣроятно подъ влияніемъ русскаго воспитателя, господствовавшее въ домѣ греческое направленіе образованія уступило мѣсто русскому направленію; къ тому же достоверно извѣстно, что самъ Ильинскій, какъ одинъ изъ „латынщиковъ“, обладалъ общюю всѣмъ воспитанникамъ московской греко-латинской академіи страстью къ стихамъ, сумѣлъ передать ее и воспитаннику своему, Антиоху Кантемиру, которому рано понравилось „виршеслагательство“.

Вскорѣ послѣ переѣзда въ Петербургъ, Антиоху Кантемиру и новому воспитателю его, Ильинскому, пришлось сопутствовать царю въ персидскомъ походѣ и совершить переѣздъ черезъ всю Россію до Астрахани и Дербента; а весьма немного времени спустя, послѣ персидскаго похода, отецъ Антиоха заболѣлъ и умеръ въ своемъ малороссійскомъ помѣстьѣ. Такъ какъ ни одинъ изъ сыновей, по несовершеннолѣтію, не имѣлъ еще права наслѣдовать князю Димитрію, то князь Димитрій и оставилъ завѣщаніе, въ которомъ просилъ самого царя распорядиться его состояніемъ и прибавлялъ отъ себя, что „успѣхи въ наукахъ должны рѣшиться, кому владѣть наслѣдствомъ“, а рѣшеніе должно послѣдовать тогда, когда всѣ братья придутъ въ совершеннолѣтіе. При этомъ отецъ особенно выставлялъ Антиоха, и называлъ его „въ умѣ и наукахъ отъ всѣхъ сыновей своихъ лучшимъ“. На образованіе дѣтей князь Димитрій, въ завѣщаніи своемъ, указывалъ выдавать ежегодно по 3,000 руб., и просилъ государя оказать имъ такую милость — послать ихъ для окончанія образованія „въ инныя страны“.

На этомъ основаніи, немного спустя послѣ смерти отца, шестнадцатилѣтній Кантемиръ сталъ проситься у царя за границу, для окончанія своего ученія; но просьба его, почему-то, оставлена была Петромъ, противъ всякаго ожиданія, безъ исполненія, и молодому человѣку пришлось оканчивать образованіе свое въ Петербургѣ, уже послѣ смерти самого Петра, подъ руководствомъ первыхъ прибывшихъ въ Россію академиковъ:

Бернулли ознакомилъ его съ высшей математикой, Байеръ — съ исторіей всеобщей, Гроссъ — съ правоучительной философій.

Восемнадцатилѣтній Кантемиръ уже рѣшился выдать въ свѣтъ первый литературный трудъ свой, „Симфонію на псалтирь“, которая и была напечатана въ 1727 году, съ предисловіемъ, въ которомъ объяснялась цѣль книги: авторъ высказывалъ въ ней желаніе привести практическую пользу тѣмъ, кто любилъ ссылаться на изреченія библіи. Биографы Кантемира видятъ въ этомъ трудѣ, и въ особенности въ предисловіи труду посвященія императрицы Екатерины I, слѣды влиянія и помощи Кантемирова наставника, Ильинскаго, который и самъ около того же времени занять былъ подобнымъ же трудомъ—составленіемъ „симфоніи на четвероевангеліе“. Въ посвященіи Екатеринѣ о книгѣ Кантемира говорится, что „трудокъ сей прилежности паче неже остроумія указаніемъ есть“, и что онъ „сочинился аки бы самъ собою, за частое во священныхъ псалмопѣніяхъ упражненіе...“ Это указаніе важно для насъ въ томъ смыслѣ, что свидѣтельствуется не менѣе самого сюжета, избраннаго въ основу книги, о томъ религіозномъ настроеніи молодого Кантемира, которое составляло и въ теченіе всей послѣдующей жизни его одну изъ существенныхъ сторонъ его характера, несмотря на то, что онъ сильно вооружался противъ современныхъ ему церковныхъ нестроений и оставилъ намъ въ своихъ сатирахъ много очень рѣзкихъ отзывовъ о важнѣйшихъ представителяхъ современнаго духовенства и о грубомъ невѣжествѣ низшихъ слоевъ его.

Въ это время, какъ извѣстно, Кантемиръ находился уже на службѣ въ Преображенскомъ полку, и, вѣроятно, около того же времени сблизился съ кружкомъ Теофана, такъ какъ оба эти образованнѣйшіе представители современнаго русскаго общества не могли не оцѣнить другъ друга. Притомъ же Кантемиръ былъ страстнымъ поклонникомъ европейской науки, а слѣдовательно и реформы Петровской, открывшей наукамъ прямой доступъ въ Россію; а такъ какъ главнымъ сторонникомъ и представителемъ идей реформы являлся въ современномъ обществѣ Теофанъ, то сближеніе съ нимъ Кантемира, не смотря на разницу въ лѣтахъ, скоро обратилось въ тѣсную дружбу. Кантемиръ не былъ чело-

вѣкомъ способнымъ принадлежать къ какой бы то ни было партіи; ни по лѣтамъ, ни по взглядамъ своимъ не могъ онъ сочувствовать интригамъ и борьбѣ, волновавшимъ и раздѣлявшимъ тогда все общество на отдѣльные кружки. Но тягостныя обстоятельства вскорѣ вынудили и благодушнаго Кантемира избрать себѣ партію, и не только сочувственно отнестись къ ея интересамъ, но даже горячо ихъ отстаивать. Въ концѣ царствования Петра II, когда вся власть находилась въ рукахъ верховнаго тайнаго совѣта, братъ Кантемира женился на дочери одного изъ „верховниковъ“ князя Дмитрія Михайловича Голицына, и такъ какъ даже и младшій изъ Кантемировъ, Антиохъ, былъ въ это время не только совершеннолѣтнимъ, но даже и получилъ уже офицерскій чинъ, то князь и воспользовался этимъ случаемъ для приведенія въ исполненіе завѣщанія Кантемира-отца. Въ завѣщаніи, какъ мы выше замѣтили, предоставлялось Государю право передать все имѣніе въ руки достойнѣйшаго изъ братьевъ Кантемировъ: такимъ достойнѣйшимъ, конечно, явился зять князя Голицына, Константинъ Кантемиръ, и все имѣніе отца (болѣе 10,000 душъ крестьянъ) перешло въ его руки. Антиохъ, вмѣстѣ съ остальными братьями и сестрами, остался безъ всякихъ средствъ къ существованью, кромѣ весьма скуднаго офицерскаго жалованья. Такая грубая несправедливость одного изъ нашихъ вельможъ, поставившая Кантемира въ затруднительное положеніе, заставила его выйти изъ коленъ обыденнаго спокойствія и умѣренности, свойственной его праву, и глубоко затаить въ себѣ ненависть къ той партіи, которой представителемъ являлся князь Дм. Мих. Голицынъ. Это настроеніе высказалось, съ одной стороны, въ двухъ первыхъ замѣчательныхъ сатирахъ Кантемира, которыя были написаны именно около времени вступленія на престолъ Анны Іоанновны; съ другой стороны, то же настроеніе выразилось и въ самомъ тѣсномъ сближеніи съ Теофаномъ, въ которомъ молодой Антиохъ сталъ теперь видѣть уже не просто представителя извѣстныхъ идей реформы, не только любителя просвѣщенія и литературы, а ловкаго, искуснаго въ интригѣ главу партіи, враждебной стремленіямъ верховниковъ, къ которымъ Кантемиръ относился также враж-

дебно подъ вліяніемъ своихъ личныя обстоятельствъ. Къ тому же, Теофанъ, около этого времени, находился въ положеніи трудномъ и опасномъ, и враги его, повидимому, уже готовились торжествовать побѣду... Обоюдное несчастье и тягостное положеніе, переживаемое обоими друзьями, еще болѣе скрѣпило узы, связывавшія ихъ, и заставило ихъ дружно стать на сторону той партіи, которая, противно желаніямъ верховниковъ, возвела на престолъ Анну Іоанновну безъ всякихъ ограниченій ея власти. Верховники погибли, но скоро стали обываться и страшныя слова одного изъ нихъ, князя Дм. Мих. Голицына:—„мое поприще кончается“, сказалъ онъ, „но тѣ, которые заставили меня плакать, заплачутъ еще долѣе, нежели я“. И дѣйствительно, власть оказалась вскорѣ въ рукахъ страшнаго Бирона, и всѣмъ слишкомъ хорошо извѣстно, какъ онъ ею воспользовался... Однакоже отъ переворота и паденія верховниковъ, на первыхъ порахъ, кое-кто и выигралъ; къ числу немногихъ принадлежалъ Теофанъ Прокоповичъ, избившійся отъ наиболѣе опасныхъ враговъ своихъ, и Кантемиръ, которому возвращена была вѣкоторая часть его состоянія. Наконецъ, въ 1731 году, при могущественномъ содѣйствіи сильнаго въ то время при дворѣ князя Черкаскаго и другихъ лицъ восторжествовавшей партіи, двадцати-двухъ-лѣтній Кантемиръ, котораго Черкасскій прочилъ себѣ въ зятя, былъ назначенъ резидентомъ въ Лондонъ.

До отъѣзда своего въ Лондонъ, Кантемиръ успѣлъ уже написать пять сатиръ, вѣсколько басенъ и посланій, и хотя ни одно изъ этихъ литературныхъ произведеній его не было напечатано, однако же, обращаясь въ рукописи по рукамъ, они уже приобрѣли молодому автору довольно почетную извѣстность въ образованной средѣ современнаго русскаго общества. Почему Кантемиръ посвятилъ себя сатирѣ и сосредоточилъ на ней всю свою дѣятельность литературную — этотъ вопросъ объясняется для насъ не столько простою склонностью автора къ извѣстному литературному роду, не столько вліяніемъ классическихъ французскихъ образцовъ, сатиръ Горация и Буало, сколько вліяніемъ того переходнаго времени, въ которое приходилось жить и дѣйствовать Кантемиру. Мы дѣйствительно видимъ, что

и чаще всего проявляется въ литературѣ именно въ такіе періоды реформъ и умовъ, переживаемые обществомъ, который и новый порядокъ вещей рѣзко воплощаются одинъ другому, когда и новое поколѣніе становятся въ общѣ лицомъ къ лицу другъ съ другомъ; то, сравненіе идеаловъ и возрѣній да, пережитого обществомъ, съ идеями и возрѣніями того, въ который оно или менѣе вынужденно вступаетъ, даетъ чаще всего новое, восторжество надъ старымъ, поколѣніе къ насмѣшдѣ отжившей стариною, къ порицанію стараго—къ сатиры чисто-отрицательной положительной, противоположающей ищее прошлому. Время преобразованій, ившееся въ обществѣ ожесточенною, нною борьбою двухъ поколѣній—стараго и новаго—борьбою, для которой и то, го, безъ всякаго разбора, хваталось кое оружіе и всѣ средства одинаково го годными, время преобразованій го было и въ нашей образованной общественной вызвать къ жизни наеніе сатирическое, — и выразителемъ ивился молодой Антиохъ Кантемиръ, авшій много остроумія и наблюдатель въ своихъ сатирахъ. Изъ числа ихъ— написаны въ бытность Кантемира въ и; четыре остальныхъ во время пребыгго за границей. Первая въ числѣ девяти была „сатира на хулящихъ в“, въ которой авторъ, обращаясь „къ моему“, съ особенною горечью высказтъ ту мысль, что современное ему общество не нуждается ни въ занятіяхъ науни въ занятіяхъ искусствами, такъ есть много другихъ путей къ славі. жазательство этой мысли, авторъ ривъ своей сатирѣ отдѣльные типы тавителей современнаго ему общества, я ихъ подѣ вымышленными именами, Сильвана, Луки и Медора и подно заставляя ихъ высказывать взглядъ уку и образованность съ ихъ личной зрѣнія. Типы эти, вѣроятно взятые омъ изъ живой современной дѣйствистости, очерчены очень ярко и естено, и даютъ намъ довольно ясное пооложеніи писателя и ученаго въ менномъ обществѣ, особенно такого ели, какъ Кантемиръ: вполне сознавая

недостатки того общества, среди котораго онъ жилъ и, въ то же время, стремясь принести ему посильную пользу, онъ имѣлъ полное право сказать о себѣ: „все, что я пишу, пишу по должности гражданина, отбивая все то, что согражданамъ моимъ вредно быть можетъ“.

Во второй сатирѣ, известной подѣ заглавіемъ „Филаретъ и Евгений“ или „на зависть и гордость дворянъ злонаправныхъ“ Кантемиръ описываетъ дворянскую снѣсъ и притязанія дворянъ на полученіе высшихъ должностей безъ всякаго труда, по однимъ заслугамъ предковъ. Въ этой сатирѣ Кантемиръ является вполне защитникомъ введенной Петромъ I „табели о рангахъ“, которую Петръ хотѣлъ именно положить предѣлъ сословнымъ притязаніямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, открыть доступъ талантливымъ труженикамъ изъ низшихъ слоевъ общества къ высшимъ должностямъ государственной службы.

Въ третьей сатирѣ, „о различіи страстей человеческихъ“ авторъ, въ формѣ посланія, обращается къ архіепископу новгородскому, Теофану Прокоповичу, и задаетъ ему вопросъ о томъ, почему именно люди, вообще столь близкіе другъ другу и похожіе по внѣшности, въ то же время бываютъ подвержены столь различнымъ страстямъ? обращение къ Теофану даетъ намъ довольно ясное понятіе о томъ высокомъ уваженіи, которое питалъ къ нему Кантемиръ.

„Дивный первосвященникъ, которому сила Высшей мудрости свои тайны всѣ открыла,
И вся твари, что міръ сей отъ вѣкъ наполняютъ,
Показала, изъяснивъ, отъ чего бываютъ!
Теофанъ, которому все то далось знати,
Здрава челоука ужъ что можетъ поняти!
Скажи мнѣ, можешь-ли ты, всѣмъ всякаго рода
Людямъ, давши тѣло тожъ и въ немъ духъ природа,
Она-ли имъ разныя надѣлила страсти,
Которыя одолѣть уже не въ ихъ власти,
Или другой ключъ тому ручью искать нужно?“

За этимъ обращеніемъ слѣдуетъ, какъ и въ первой сатирѣ, рядъ типовъ, замѣтованныхъ изъ современной дѣйствительности, и между ними особенно рѣзко выступаетъ на первый планъ типъ скупца Хризиппа, мота Клеарха и болтливаго хвастуна Лонгина.

Четвертая сатира „къ Музѣ своей“, „о

опасности сатирических сочинений“ заключаетъ въ себѣ любопытный сборъ различныхъ толковъ и мнѣній о сатирахъ Кантемира и ихъ авторѣ, возбуждавшихся весьма естественно въ современномъ обществѣ, для котораго вообще появленіе свѣтской литературы и свѣтскихъ писателей было дѣломъ новымъ, непривычнымъ, почти невиданнымъ. Вотъ почему авторъ и обращается къ Музѣ своей и говоритъ:

«Муза! не пора-ли слогу отиѣнить твой грубый,
И сатиру ужъ не писать? Многимъ тѣ не любы,
И ворчить ужъ не одинъ, что гдѣ нѣтъ мнѣ дѣла,
Такъ мѣшаюсь, и кажу себя черезъ чуръ смѣла.
... Муза, свѣтъ мой! слогу твой мнѣ творцу ядовитый;
Кто всѣхъ бить нахалится, часто живетъ битый;
И стихи, что чтецамъ смѣхъ на губы сажаютъ,
Часто слезъ недателю причина бываютъ.
Знаю, что правду пишу, и именъ не значу,
Смѣюсь въ стихахъ, а въ сердцѣ о злонравныхъ плачу;
Да правда рѣдко любя, и часто не кстатъ.
Кто же отъ тебя когда хотѣлъ правду знати?»

И затѣмъ, перечисливъ различные отзывы недоброжелателей о сатирахъ своихъ, Кантемиръ совѣтуетъ своей Музѣ лучше начать хвалить что ни попало, лучше приучиться къ лести; нежели всѣхъ вооружать противъ себя строгими отзывами:

«Есть о чемъ писать, была-бъ лишь къ тому охота,
Было-бъ кому работать, — безъ конца работа;
А лучше вѣкъ не писать, чѣмъ писать сатиру.
Что приводитъ въ ненависть меня всему міру».

Но авторъ замѣчаетъ, что его Муза стыдится такого занятія, что она не даетъ ему никакой возможности кого бы то ни было хвалить не по заслугамъ, и сознается, что и по самой природѣ онъ чувствуетъ въ себѣ подъ влияніемъ Музы, болѣе склонности къ сатирѣ, нежели ко всѣмъ остальнымъ литературнымъ родамъ:

... «когда хвалы принимаюсь
Писать, когда, Муза, твой нравъ сломить стараюсь,
Сколько ногти ни грызу, и тру лобъ вспотѣлый,
Оъ трудомъ стихика два сплету, да и тѣ не смѣлы,
Жостки, досадны ушамъ...
... А какъ въ нравахъ вредно что усмотрю...

... Подъ перомъ стихъ течетъ скорее.

Чувствую самъ, что тогда въ своей водѣ купаю.
И что чтецовъ я своихъ гнѣвать не заставляю...

... Одинъ словомъ, сатиру лишь писать нѣтъ
сродно,

Въ другомъ неудачнымъ...

Вотъ почему, чувствуя это, авторъ рѣшается, не обращая вниманія на отзывы людей злонравныхъ, продолжать свою сатирическую дѣятельность—„злой нравъ пятнать вездѣ неотступно“—въ той надеждѣ, что „беззлобные“ оцѣнятъ его желаніе принести пользу отечеству.

Мы нарочно обратили особенное вниманіе на эту четвертую сатиру Кантемира, такъ какъ въ ней совершенно ясно высказывается его личный взглядъ на собственную литературную дѣятельность. Этотъ взглядъ, однако же, слѣдуетъ считать только личною принадлежностью Кантемира, какъ образованнѣйшаго изъ представителей современнаго русскаго общества: — взгляду этому еще долго не суждено было установиться въ нашемъ обществѣ прочно и окончательно, и положеніе писателя въ Россіи, какъ мы увидимъ изъ слѣдующихъ главъ, долго еще оставалось невѣрнымъ, условнымъ и шаткимъ.

Остальные сатиры Кантемира менѣе замѣчательны и менѣе оригинальны, нежели тѣ четыре, которыя упомянуты нами выше. Въ нихъ авторъ менѣе держится собственнорусской, народной почвы, и впадаетъ въ разсужденіе о вопросахъ общихъ, заимствуя многое изъ сатиръ Горация и Буало, и только примѣняя ихъ мысли и воззрѣнія къ тѣмъ вопросамъ, которые его занимаютъ. Такъ въ пятой сатирѣ, изложенной въ формѣ діалога и озаглавленной „Сатира и Періергъ“, Кантемиръ обращаетъ вниманіе на „человѣческія злонравія вообще“; въ седьмой, въ формѣ посланія къ князю Н. Н. Трубецкому, излагаетъ свои мысли о воспитаніи, указывая на необходимость воспитывать гражданъ, которые бы способны были проникаться не личными, а общими интересами. Въ восьмой и послѣдней ¹⁾ сатирѣ „на безстыдную нахалчивость“, ав-

¹⁾ Послѣдней по времени написанія; всѣхъ сатиръ, какъ мы уже выше сказали, оставилъ Кантемиръ девять; объ одной изъ нихъ «на состояніе свѣта сего» или «къ Солнцу», въ которой авторъ возстаетъ противъ раскола и народныхъ суевѣрій, мы не нашли возможности ничего сказать.

торъ излагаетъ свой осторожный и умѣренный взглядъ на дѣятельность поэтическую, противопоставляя себя тому:

... Кто, на одной ногѣ стоя, двѣсти

Стиховъ писать въ часъ одинъ, и что день, пол-
дести

Такъ заполнить; не смотря ни на что, какъ ни
писать,

Мало суетясь, какой вѣтеръ на дворѣ дышетъ...»

Болѣе всего важною для характеристики Кантемира, какъ человѣка и писателя, является намъ его шестая сатира, написанная имъ въ 1738 году. Но о ней нельзя говорить, не упомянувъ о нѣкоторыхъ біографическихъ подробностяхъ. Выше уже говорили мы, что Кантемиръ въ 1731 году былъ назначенъ посломъ въ Лондонъ; въ началѣ 1732 г. онъ выѣхалъ изъ Россіи — и болѣе уже не возвращался: до самой смерти пришло ему прожить за границей, сначала посломъ при англійскомъ дворѣ, а потомъ, съ 1738 году, при французскомъ. Все время, проведенное имъ за границей, было для него самымъ тяжелымъ и труднымъ періодомъ его жизни, потому что ему, при незначительныхъ средствахъ, получаемыхъ отъ правительства, при новостяхъ положенія русскаго посла среди европейской дипломатіи и придворной жизни, постоянно приходилось ратовать за честь и достоинство Россіи, неусыпно, зорко наблюдать за тѣмъ, чтобы не повредить какойнибудь неосторожностью русскимъ интересамъ, и тѣмъ самымъ не повліять вредно на то, что завязавшіяся дипломатическія сношенія нами съ Европою. Все время Кантемира уходило на дѣла посольскія, а также и на хлопоты по исполненію тѣхъ порученій, которыми весьма неделикатно обременяли посла то русскіе друзья и знакомые его, то наиболѣе вліятельные изъ русскихъ вельможъ. Только при необычайной усидчивости Кантемира и при его необыкновенномъ рвеніи къ наукѣ, занятіямъ ученымъ и литературнымъ, онъ могъ находить, среди своего дѣла, досугъ и для этой дѣятельности, которая являлась ему отдыхомъ и уладой послѣ тягостей дѣятельности дипломатической; не даромъ, въ одномъ изъ примѣчаній къ своимъ стихотвореніямъ, онъ говоритъ: если бы изъ цѣлыхъ

сутокъ одну четверть часа на письмо употребляли, то бы отъ того малаго труда въ годъ не малая книга произойти могла: непрерывный трудъ, сколько ни маловременно, весьма скоръ⁴. И дѣйствительно, мы видимъ, что и среди весьма тревожной дѣятельности дипломатической, Кантемиръ ни на минуту не оставляетъ занятій науками и поэзіей: переводить Анакреона и Юстина, переводить сочиненіе Фонтенеля „о множествѣ міровъ“ и статью Альгароти „о свѣтѣ“, сносится съ петербургской академіей, занимается математикой и чтеніемъ своихъ любимыхъ классическихъ авторовъ. И въ Лондонѣ, и въ Парижѣ выписываетъ онъ себѣ книги изъ Россіи, слѣдитъ тщательно за поступательнымъ движеніемъ русской литературы и науки. Ознакомившись съ разсужденіемъ Тредьяковскаго о русскомъ стихосложеніи¹), Кантемиръ и этого вопроса не оставилъ, не обследовавъ и не разсмотрѣвъ его очень внимательно. Однакоже, онъ не принялъ новой теоріи Тредьяковскаго, можетъ быть потому, что Тредьяковскій не въ состояніи былъ подтвердить ее на практикѣ хорошими стихами. Кантемиръ, не отдавъ преимущества тоническому стиху передъ силлабическимъ, удовольствовался лишь тѣмъ, что нѣсколько видоизмѣнилъ свой силлабическій стихъ. Онъ понялъ, что опредѣленная послѣдовательность удареній дѣйствительно сообщаетъ русскому стиху больше гармоніи, а потому и рѣшился создать нѣчто среднее между тоническимъ и силлабическимъ размѣромъ. Стихъ его сатиръ состоялъ изъ тринадцати слоговъ, раздѣленныхъ цезурою на двѣ части. Онъ нѣсколько измѣнилъ его въ томъ отношеніи, что не только далъ опредѣленное мѣсто цезурѣ, между седьмымъ и восьмымъ слогами, но и допустилъ еще въ каждой части, отдѣленной цезурою, по одному, рѣзко-замѣтному ударенію; въ первой части, изъ семи слоговъ, это удареніе должно было падать на пятый или на седьмой слогъ; во второй — непременно на предпоследнемъ. Хотя вслѣдствіе этого въ римахъ оказывалось чрезвычайное однообразіе и бѣдность, однакоже стихъ всетаки нѣсколько выигралъ въ благозвучіи, и оказывался болѣе

¹) См. далѣе главу XXIII.

приятнымъ, нежели тотъ тяжелый силлабическій размѣръ, которымъ наши виршеслагатели XVIII столѣтїи писали свои вирши и самъ Кантемиръ первыя сатиры свои. Новую теорїю стиха своего онъ примѣнилъ впервые къ шестой своей сатирѣ, написанной, какъ уже замѣчено было выше, въ 1738 году, накануне отъѣзда изъ Лондонѣ въ Парижъ. Сатира эта озаглавлена: „о истинномъ блаженствѣ“ — и въ ней то, съ замѣчательною вѣрностью и правдой, изложено въ взглядѣ Кантемира на то, что въ теченіе всей жизни его представлялось ему идеаломъ счастья. Сатира эта начинается такъ:

«Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто малымъ
довольнъ,
Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ воленъ
Мыслей, что мучать другихъ, и топчетъ надежду
Степу добродѣтели къ концу неизбѣжную.
Малый свой домъ, на своемъ построенный полѣ
Кое даетъ нужное умѣренной волѣ,
Не скудный, не лишній кормъ, и средню забаву,
Гдѣ-бъ съ другомъ съ другимъ я могъ, по моему
праву
Выбраннымъ, въ лишны часы прогнать скуки
бремя,
Гдѣ-бъ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время
Провожать межъ мертвыми греки и латини.
Исслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины.
Учась знать образомъ другихъ, что полезно,
Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнушно иль
любезно:—
Желанья всѣ мои крайни составляетъ».

Въ этихъ немногихъ строкахъ шестой сатиры заключается вся нравственная философія, какою онъ руководился въ теченіи всей своей жизни, мало волнуясь всѣмъ, что составляло для другихъ главную цѣль ихъ желаній, умѣренный во всемъ и способный выше всего цѣнить только одно благо—независимость убѣжденій и спокойствіе совѣсти. Даже и среди неумолкаемо-шумнаго, блестящаго Парижа, Кантемиръ счумѣлъ себѣ создать такой мирный и укромный уголокъ, счумѣлъ окружить себя такимъ избраннымъ кружкомъ ученыхъ друзей, что жизнь его, не смотря на перемѣну мѣста, не смотря на тревоги новаго положенія, потекла также ровно и тихо, какъ въ Лондонѣ. Только въ денешахъ своихъ къ русскому двору, съ отвращеніемъ относясь къ интригамъ и коварству французской дипломатїи,

Кантемиръ рѣшался высказывать нѣкоторыя жалобы на трудность своего положенія и въ особенности на то, что происки французскихъ дипломатовъ вынуждаютъ его прибѣгать къ хитрости, вовсе не свойственной его характеру. И лишь въ кругу друзей своихъ (въ числѣ которыхъ нельзя не вспомнить здѣсь знаменитаго въ то время Монтескье, математика-философа Мопертюи и аббата Гуаско и Венути), въ оживленной бесѣдѣ о вопросахъ современности и науки, да въ бесѣдѣ „съ мертвыми греки и латини“, Кантемиръ находилъ себѣ отдыхъ отъ своей тяжелой посольской службы, которая, наконецъ истощила и безъ того уже слабое его здоровье. Не задолго до своей смерти онъ просилъ у двора позволенія оставить свой постъ при французскомъ дворѣ и даже получилъ разрѣшеніе отправиться въ Италію — но уже не успѣлъ имъ воспользоваться.

Ровно за годъ до своей кончины Кантемиръ собралъ свои стихи въ одну тетрадь, написалъ къ нимъ необходимыя пояснительныя примѣчанія, и рѣшился ихъ напечатать. Сюда же прибавилъ онъ и стихотвореніе „къ стихамъ своимъ“, въ которомъ чрезвычайно опредѣленно высказываетъ тотъ взглядъ на свою литературную дѣятельность, который мы уже отмѣтили выше, какъ преимущественно принадлежащій всѣмъ писателямъ нашимъ XVIII вѣка. „Многіе“—говоритъ въ этомъ стихотвореніи Кантемиръ — „будутъ хулить меня, читая мои стихи, за то, что

«... въ такомъ я трудѣ упражнялся,
Ни возрасту моему приличномъ, ни чину...»

и находятъ нужнымъ прибавить къ этому въ оправданіе своей литературной дѣятельности, что

«... (стихи) не уцѣрили
Ни малый къ дѣламъ частъ важнѣйшимъ и нужнымъ».

Такъ же мало значенія придаетъ Кантемиръ своимъ стихотвореніямъ и въ томъ „письмѣ къ прїятелю“, которое предпослалъ своимъ сатирамъ, вмѣсто предисловія; тамъ онъ даже прямо выражаетъ ту мысль, что вообще мало пришлось ему написать потому именно, что онъ, по своей должности, времени не имѣлъ къ такому дѣлу, къ которому только въ лишніяхъ часахъ „прї-

ь позволено"; вообще же, препро-
я всѣ стихи свои къ неизвѣстному
мю, Кантемиръ прибавляетъ, что дѣ-
это больше для исправленія, чѣмъ
проченія, и чтобъ „лишнихъ его ча-
употребленіе (его пріятелю) было из-
о“.

нѣ изъ новѣйшихъ біографовъ Канте-
бросая общій взглядъ на всю его ли-
грную и ученую дѣятельность, прихо-
къ слѣдующему выводу относительно
аченія въ ряду другихъ современныхъ
дѣателей. „Какъ представитель своей эпо-
антемиръ выставляетъ передъ нами иде-
ваго русскаго человѣка, уже связаннаго
ересами европейскаго просвѣщенія, че-
а съ новыми стремленіями, съ новою
ою дѣйствительности. Его любовь къ
и стремленіе принести пользу обще-
мывали его на литературные труды;
; какъ мораль уже многими (и до не-
лагалась въ формѣ сатиры, то онъ и
эту форму для выраженія своихъ стре-
і; подражаніе лучшимъ образцамъ уже
о было явиться само собою по общему
енію подражать всему европейскому:
ило вызвано самымъ вѣкомъ. Какъ
й человѣкъ съ европейскимъ просвѣ-
мъ, не могъ онъ не отозваться и на
мы, занимавшіе европейскихъ литера-
ы. Такимъ образомъ, съ одной стороны,
миръ касался самыхъ существенныхъ
ювъ жизни; съ другой же стороны,
исатель, не могъ обойти и вопросовъ
теоритическихъ, относящихся къ ли-
рѣ.—Послѣдующія эпохи представля-
намъ нѣсколько свѣтлыхъ и дорогихъ
съ личностей, какъ напр. Ломоносова,
ова, Карамзина, которые кажутся,
бы исключеніемъ изъ ряда прочихъ,
горя все же могли развиваться только
а не въ иное время: въ нихъ соеди-
все лучшее, что могла соединить въ
личности данная эпоха. Тоже самое
мжны сказать и о Кантемирѣ: лич-
его рѣзко выдается изъ толпы другихъ
еніемъ всего лучшаго, что могло тогда
итесь въ одномъ лицѣ“¹⁾.

Къ небольшому кругу тѣсно-связанныхъ
съ Теофаномъ образованнѣйшихъ дѣателей,
вызванныхъ петровской реформой, принад-
лежалъ и Василій Никитичъ Татищевъ
(род. въ 1686; ум. 1750 г.). Здравый, наблю-
дательный и острый умъ, обширное образо-
ваніе, а главное, одинаковость воззрѣній
на эпоху преобразованій, все сближало Та-
тищева съ Прокоповичемъ. Сверхъ того, мы
видимъ въ Татищевѣ человѣка, который и
по своимъ политическимъ убѣжденіямъ



Татищевъ.

также шелъ рука-о-бъ-руку съ партией Про-
коповича: въ переворотѣ 1730 года Тати-
щевъ, вмѣстѣ съ юнымъ Кантемиромъ, дѣй-
ствовалъ за одно съ Прокоповичемъ противъ
„верховниковъ“ и во всю остальную жизнь
свою, не смотря на то, что ему много при-
шлось пострадать въ послѣдствіи отъ Бирона, не
отступилъ отъ своихъ убѣжденій; въ самомъ
завѣщаніи своемъ сыну онъ еще повторялъ
ему:—„съ хвалящими вольности другихъ госу-
дарствъ и ищущими власть монарха умень-
шить никогда не согласуйся, понеже оное
государству крайнюю бѣду нанести можетъ“.

Образованіе удалось Татищеву приобрести
отчасти въ Россіи, отчасти за-границей, гдѣ
ему дважды пришлось побывать и пожить
довольно долго. Одинъ изъ біографовъ Тати-

В. Стоюнинъ, см. статью его о Кантемирѣ въ Глазуновскомъ изд. сочиненій Кантемира.

щевя полагаетъ, что Татищевъ или до поступления его на службу, или послѣ него, учился въ московской артиллерійской и инженерной школѣ, находившейся въ заводѣваніи Брюса. „На это“—по мнѣнію біографа „указываютъ хорошія свѣдѣнія Татищева въ артиллеріи и фортификаціи, и устройство имъ школъ на заводахъ, отчасти по образцу московской; наконецъ и то, что онъ такъ охотно принималъ на службу при заводахъ учениковъ московской артиллерійской и инженерной школы“. Свѣтлый, практический, и глубокий умъ Татищева, въ связи съ тою желѣзною волею, которою онъ обладалъ, дали ему возможность въ короткое время запастись большимъ запасомъ свѣдѣній и такою обширною начитанностью, что очень немногіе изъ его современниковъ, кромѣ развѣ Теофана, могли быть поставлены съ Татищевымъ на одинъ уровень по образованности. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что любознательность и страсть къ самостоятельной, критической разработкѣ важнѣйшихъ вопросовъ, представляемыхъ человѣку жизнью, часто увлекали Татищева въ подробное изученіе и такихъ отраслей знанія, которыя, по видимому, не имѣли никакого отношенія къ его дѣятельности; такъ, напримѣръ, подобно многимъ другимъ изъ своихъ современниковъ, увлекаясь вопросами религіозными, вопросами о значеніи церкви въ обществѣ и объ отношеніи православнаго вѣроисповѣданія къ остальнымъ, Татищевъ такъ много прочелъ богословско-философскихъ и догматическихъ сочиненій, такъ отлично изучилъ св. писаніе, что даже съ самимъ Теофаномъ дерзалъ не разъ вступать въ богословскія пренія, а отъ большинства людей ограниченныхъ и мало-образованныхъ получилъ даже нелестное названіе „безбожника и вольнодумца“.

Большая часть жизни Татищева, какъ истатаго дѣятеля, вызваннаго изъ среды русскаго общества эпохою преобразованій Петра, протекла на службѣ, и притомъ на службѣ трудной, требовавшей и ума, и твердости, и обширныхъ знаній. Татищевъ

служилъ сначала въ артиллеріи, потомъ по горнымъ заводамъ и подѣ конецъ былъ губернаторомъ въ Астрахани. Рано сдѣлался онъ лично извѣстенъ Петру, какъ человѣкъ пригодный ко всякому дѣлу и обширно-образованный. „Оклеветаніе злодѣевъ“ (т. е. враговъ), по словамъ самого Татищева, чуть-чуть не подвергло его опалѣ и гнѣву Петра. Въ то время, когда, незадолго до смерти Петра вызвалъ Татищева съ екатеринбургскихъ горныхъ заводовъ въ Петербургъ, Татищевъ былъ обвиненъ передъ Петромъ во взяточничествѣ. На вопросъ Петра, справедливо-ли обвиненіе, Татищевъ смѣло отвѣчалъ: „я беру; но въ этомъ ни предъ Богомъ, ни предъ вашимъ величествомъ не погрѣшаю“:—и началъ разсуждать, что судья невиновать, если рѣшить дѣло, какъ слѣдуетъ, и получить за это благодарности; что вооружаться противъ этой благодарности вредно, потому что тогда въ судьяхъ уничтожится побужденіе посвящать дѣламъ время сверхъ узаконеннаго и произойдетъ медленность въ рѣшеніи дѣлъ, тяжкая для судящихся. Петръ отвѣчалъ: „правда: но поводить этого нельзя, потому что безсовѣстные судьи, подѣ видомъ добродѣтели подарковъ, стануť насильно вымогать“. Откровенность Татищева и рекомендація его начальника по горнымъ заводамъ, Геннина, *) избавили Татищева отъ грозы, собиравшейся надъ его головою; но понравиться Петру онъ не могъ, хотя Петръ, зная за нимъ большія способности и обширныя знанія, конечно, не преминулъ воспользоваться имъ, какъ полезнымъ дѣтелемъ. Онъ отправилъ его въ Швецію, для призыва мастеровъ, потребныхъ къ горнымъ и минеральнымъ дѣламъ. При отъѣздѣ, Петръ поручилъ Татищеву осмотрѣть знатныя строенія, работы, горные промыслы, заводы, денежное дѣло, кабинеты, бібліотеки и особенно каналъ Обитскій; достать, по возможности, всему чертежи и описанія; взять изъ школъ молодыхъ русскихъ людей и раздѣть въ Швецію по заводамъ, для поученія горному дѣлу; при этомъ дано было ему и се-

*) Рекомендація эта сама по себѣ заслуживаетъ вниманія: «...къ тому дѣлу (т. е. горному) лучше не смекать, какъ капитана Татищева; я надѣюсь, что, В. В. изволите нѣ въ томъ повѣрить, что я онаго Татищева представляю не въ пристрастіи, не изъ любви или какой интриги, или-бъ чьей ради просьбы — я и самъ его рожу калмыцкой не люблю — но вида его въ дѣлѣ весьма правъ, и въ строеніи заводовъ смысленна, разсудительна и прилежна..»

кредное поручение: смотреть и осведомляться о политическом состоянии, явных поступках и скрытых намерениях Швеции. Татищев возвратился из этого путешествия уже после смерти Петра; но не может однако быть никакого сомнения в том, что это вторичное путешествие за границу, а также и частые поездки его по России и Сибири значительно способствовали тому, чтобы в нем весьма определенно выработалась та склонность к занятию науками историческими, которая проявилась в нем уже довольно рано. Поводом к занятию Русской Историей послужило представление, сделанное Брюсом Петру Великому о необходимости подробной географии России. Петр поручил Брюсу заняться этим делом, а Брюс, в 1719 г., передал работу Татищеву, от которого Петр потребовал плана работы. Принявшись за работу, Татищев, по собственному сознанию, почувствовал необходимость в исторических сведениях, и, отложив на время географию, принялся собирать материалы для истории. Известно, что уже в 1720 году Татищев говорил с Петром о плане своем, касательно сочинения русской географии и также о необходимости размежевания России и составлении общей карты ее. Впоследствии, все досуги свои от тяжелой, многосложной и хлопотливой служебной деятельности, Татищев посвятил на выполнение двух любимых мыслей Петра: на собираніе матерьялов по русской истории и по русской географии. Географии Татищев не успел окончить; что же касается русской истории, то ему удалось обработать ее довольно полно, в пяти объемистых книгах. Здесь особенно подробно разработал он древнейший период русской истории, до нашествия татар, а затем составил свод летописных известий до царствования Феодора Ивановича. Сверх того, в начале труда своего, Татищев поместил обзор русских летописных сказаний и общее вступление, в котором говорит о народах, обитавших в России до поселения в ней славян, на основании источников, представляемых иностранными литературами по этому предмету. Труд Татищева не был издан при жизни его: 15 лет спустя, после его смерти, он был напечатан по повелению Екатерины II под общим заглавием „Исторіи Россійской, черезъ тридцать лѣтъ (т. е. въ теченіе 30 лѣтъ) собранной и описанной“. Не смотря на то, что авторъ выказалъ въ этомъ трудѣ большую ученость и весьма обширную, замѣчательную и разнообразную начитанность, не смотря на то, что онъ показывалъ въ немъ и весьма здравый критическій тактъ, на основаніи котораго принималъ или отвергалъ то или другое изъ приводимыхъ имъ извѣстій, — „Исторія Россійская“ все же не можетъ быть названа исторіею Россіи въ настоящемъ смыслѣ этого слова, какъ мы привыкли понимать ее въ нынѣшнее время: это не болѣе, какъ приуготовительная, хотя и весьма почтенная работа надъ историческимъ матерьяломъ, въ смыслѣ его разработки для другихъ, будущихъ трудовъ историческихъ, до которыхъ еще было далеко. Нельзя при этомъ упустить изъ виду, что любознательному и трудолюбивому Татищеву удалось, при собираніи историческаго матерьяла, открыть два весьма важныхъ памятника: „Русскую Правду“ и „Судебникъ Ивана IV“, къ которымъ онъ даже и приложилъ свои объяснительныя примѣчанія. Любопытною стороною „Исторіи Россійской“ являются тѣ взгляды, которые авторъ ее высказываетъ въ ней по поводу различныхъ, упоминаемыхъ имъ фактовъ и событій историческихъ. Въ этихъ взглядахъ своихъ онъ является намъ вполне современникомъ эпохи преобразованій: возрѣнія на древній періодъ исторіи Россіи, на значеніе современности, на отношенія власти свѣтской и духовной, совершенно сходятся съ возрѣніями на тѣ же предметы передовыхъ сторонниковъ реформы, на сколько они выразились въ письмахъ и манифестахъ самого Петра и въ „Духовномъ Регламентѣ“ Прокоповича.

Гораздо болѣе важными для характеристики современнаго Татищеву періода является другое литературное произведеніе его: „Духовное завѣщаніе и наставленіе сыну его Евграфу“, написанное Татищевымъ въ 1733 году и „Разговоръ двухъ пріятелей о пользѣ наукъ и училищъ“ — до сихъ поръ ненапечатанный и вѣроятно написанный между 1733—36 гг. „Духовное завѣщаніе“ есть ничто иное, какъ общій сводъ правилъ житейской мудрости, въ примѣненіи къ современнымъ Татищеву общественнымъ потребностямъ и взглядамъ. И хотя не мо-

жетъ быть

жетъ подлежать сомнѣнію то, что это „завѣщаніе и наставленіе“ писано Татищевымъ для сына, однакоже нельзя не обратить вниманія и на то, что сынъ Татищева былъ въ это время (т. е. 1735) уже взрослымъ и даже состоялъ на службѣ, слѣдовательно многое изъ того, что заключается въ себѣ завѣщаніе, вовсе не относится къ сыну, а вообще внесено въ него ради полноты свода правилъ, въ назиданіе всему молодому поколѣнію. Вотъ почему „Духовное завѣщаніе“ Татищева представляется намъ не болѣе, какъ послѣднимъ отголоскомъ тѣхъ „наказаній“ или „наставленій“ отъ отца къ сыну, которыми такъ богатъ былъ древній періодъ нашей литературы, и которыя нашли себѣ такое полное выраженіе въ подобномъ же памятникѣ XVI вѣка—въ „Домостроѣ“ попа Сильвестра. Въ особенности любопытнымъ является намъ „Духовное завѣщаніе“ Татищева именно по сравненію съ Домостроемъ, потому что подобное сравненіе указываетъ намъ,—лучше всякихъ другихъ доводовъ въ пользу реформы Петра—какой громадныи шагъ впередъ на пути развитія общественной и частной жизни успѣла сдѣлать Россія въ царствованіе Петра, въ началѣ XVIII вѣка, сравнительно съ Россією XVI и XVII в. в. Новая эпоха сказывается во всемъ: каждое слово „Духовнаго завѣщанія“ служитъ выраженіемъ новыхъ взглядовъ, новыхъ идеаловъ, новыхъ и болѣе привальныхъ убѣжденій нравственныхъ.

Татищевъ начинаетъ свое „Духовное Завѣщаніе“ съ признанія своей грѣховности и съ приведенія различныхъ свидѣтельствъ св. Писанія, вообще касательно грѣховъ и пороковъ молодости, обыкновенно выказывающей менѣе склонности къ сознанію и раскалянью, нежели старость: „егда же человѣкъ приблизится къ старости“, говоритъ Татищевъ, „или скорби, болѣзни, бѣды, напасти и другія горести усмирять плоть его, тогда возбуждается духъ отъ порабоженія, ометется умъ его и приметъ власть надъ волею, тогда

познаетъ неистовство и пороки юности своей, и начнетъ прилежать о приобритеніи истиннаго добра, прилежать о знаніи закона Божіа“... Переходя отъ этихъ общихъ разсужденій къ себѣ лично, Татищевъ дѣлаетъ распоряженія относительно погребенія своего „безъ великихъ чиновъ и убранствъ по закону христіанскому“, и наконецъ излагаетъ свой взглядъ на жизнь, касаясь сначала религіознаго, умственнаго и нравственнаго воспитанія въ молодости, отношеній къ родителямъ, къ женѣ и семейству, а потомъ государственной службы—военной, гражданской и придворной; наконецъ, говоритъ о томъ, какъ слѣдуетъ распоряжаться богатствомъ, управлять дѣлами и деревнями.

Любопытно то, что Татищевъ, который между современниками своими, приверженными къ старинѣ до-петровской, слылъ за вольнодумца и даже безбожника, выказывается намъ въ самомъ началѣ своего „завѣщанія“ не только глубоко-религіознымъ человѣкомъ, но и признающимъ религію за основу всѣхъ свѣдѣній человѣческихъ, всего воспитанія. Онъ говоритъ, что наставлялъ въ вѣрѣ сына своего частными и пространными разговорами, и все совѣтуетъ ему, сверхъ того—„поучаться въ законѣ Божіемъ день и ночь даже до старости: для сего нужно тебѣ со вниманіемъ читать писмо святое, т. е. библію и катехизисъ, а къ тому книги учителей церковныхъ, между которыми у меня Златоустаго (сочиненія) главное мѣсто имѣютъ, Василия Великаго, Григорія Назіанзина, Афанасія великаго и Феофилакта болгарскаго; также печатныя въ нынѣшнія времена истолкованіе десяти заповѣдей и блаженствъ, которое за катехизисъ, а малая букварь или юности честное зеркало за лучшее правоученіе служить могутъ.“¹⁾ Прологи и житія святыхъ въ Минеяхъ-Четьяхъ Татищевъ совѣтуетъ читать такому, „кто довольно въ писмѣ святомъ искусялся и могъ бы довольно разсуждать“. Затѣмъ, до

¹⁾ Здѣсь упоминается о книгахъ духовнаго содержанія, изданныхъ по повелѣнію Петра и особенно ненавистныхъ сторонникамъ старины: о катехизисѣ, изд. Ф. Прокоповичемъ, о букварѣ, изданномъ имъ же, и о книгѣ, изд. въ 1719 г.: «Юности честное зеркало», или показаніе ко житейскому обхожденію, собранное отъ разныхъ авторовъ, пользовавшееся въ свое время большимъ почетомъ. Въ составъ этой книги входило: изображеніе древнихъ и новыхъ писменъ славянскихъ печатныхъ и рукописныхъ; правила отъ св. писанія, по алфавиту набранная; числа церковныя, арабскія и римскія; наконецъ «зерцало житейскаго обхожденія» — собраніе правилъ, какъ себя держать въ обществѣ.

статочно утвердившись въ знаніи своего закона, слѣдуетъ, по мнѣнію Татищева, перейти къ изученію твореній писателей католическихъ, лютеранскихъ и кальвинскихъ: встрѣчаясь часто въ обществѣ съ людьми этихъ вѣроисповѣданій и вступая съ ними въ разговоры, при незнаніи основъ ихъ религіи, легко быть обманутымъ или поставленнымъ въ неловкое положеніе. Особенно совѣтуетъ Татищевъ остерегаться папистовъ, и главнѣе всего — избѣгать всякихъ религіозныхъ преній съ единовѣрцами, дабы „у людей злаго мнѣнія о себѣ не подать, а отъ неразумныхъ можно и претерпѣть“. Въ подтвержденіе этого совѣта онъ ссылается на свой собственный примѣръ: „я хотя о Богѣ и правости божественнаго закона никогда сомнѣнія не имѣлъ, но потому, что я нѣкогда о убыткахъ законами человѣческими въ тягость положенныхъ говаривалъ, отъ несмысленныхъ и безразсудныхъ, невѣдущихъ божьяго закона, и токмо человѣческіе уставы противу заповѣданья Христова чтущихъ, не только за еретика, но и за безбожника почитанъ и не мало невиннаго поношенія и бѣды претерпѣлъ“.

Послѣ чтенія религіознаго, Татищевъ совѣтуетъ сыну своему озаботиться болѣе всего о знакомствѣ съ науками свѣтскими: сперва слѣдуетъ выучиться „право и складно писать“; потомъ заняться ариѳметикой, геометріей, артиллеріей, фортификаціей и другими математическими науками; слѣдуетъ обратить вниманіе и на изученіе нѣмецкаго языка. На свои матеріалы и бумаги Татищевъ указываетъ сыну, какъ на единственное средство къ изученію русской исторіи и географіи; при этомъ онъ замѣчаетъ, что привести ихъ въ порядокъ и напечатать „безъ помощи государя никакъ не можно“. Какъ на важную часть образованія Татищевъ указываетъ на необходимость изучать отечественные законы, не только по печатнымъ указамъ и уложеніямъ, но также изъ бесѣдъ о законахъ съ искусными въ законахъ людьми, по поводу собственныхъ своихъ и постороннихъ дѣлъ: надобно знать и „ябедническія коварства“, чтобы при случаѣ умѣть отъ нихъ защититься.

Любопытнымъ признакомъ новаго време-

ни является и слѣдующее мѣсто „завѣщанія“, гдѣ Татищевъ говоритъ о почтеніи къ родителямъ: „хотя я съ матерью твоею нѣкоторымъ приключеніемъ разлучился, чрезъ что наше общаніе брачное нарушено, но тебѣ нѣтъ въ томъ ни малой причины къ нарушенію твоей должности... И если ты понадѣешься на то, что матери тебя, по слабости женской, наказать по достоинству неудобно, то вѣдай и вѣрь подлинно, что Богъ обиды родителей безъ отмщенія не оставитъ“.

Перехода къ вопросу объ обязанностяхъ семьянина, Татищевъ высказываетъ слѣдующій взглядъ на женитьбу и на отношенія между супругами. Лучшимъ бракомъ считаетъ онъ, для мужчинъ, бракъ въ тридцать лѣтъ. Въ супружествѣ не слѣдуетъ искать богатства, не слѣдуетъ увлекаться и красотою: „нищи главнаго“, — говоритъ Татищевъ — „то-есть жены, съ кѣмъ бы можно въ веселіи вѣкъ свой препроводить...“ „Главнѣйшее въ женѣ — доброе состояніе (т. е. происхожденіе изъ хорошаго рода, изъ хорошей семьи), разумъ и здравіе“; а потому „посредственная красота и равность лѣтъ, или жена не менѣе десятию лѣтами моложе къ сожитію есть лучшее“. Касаясь обязанностей мужа по отношенію къ женѣ, Татищевъ болѣе всего совѣтуетъ избѣгать ревности и жестокости: „имѣй и то въ памяти“, прибавляетъ онъ, „что жена тебѣ не раба, но товарищъ, помощница и во всемъ другомъ должна быть нелицемѣрнымъ; такъ и тебѣ съ ней должно быть; въ воспитаніи дѣтей обще съ нею прилежать: въ твердомъ состояніи домъ въ правленіе ея поручать, а затѣмъ и самому негнѣстно смотрѣть. Однакожъ храниться надлежитъ, чтобы тебѣ у жены не быть подъ властью: сіе для мужа очень стыдно, и чрезъ то можешь у всѣхъ о себѣ худое мнѣніе подать и слабость своего ума изъяснить ¹⁾“.

Перехода отъ семейныхъ обязанностей къ служебнымъ, Татищевъ сначала говоритъ вообще объ отношеніи къ высшей власти: увѣщевая сына быть вѣрнымъ государю и ревностнымъ въ исполненіи обязанностей служебныхъ, Татищевъ припоминаетъ за-

¹⁾ Свои совѣты о женитьбѣ Татищевъ заключаетъ такимъ замѣчаніемъ: «не дѣлай свадебной церемоніи (пышной), чтобы не дѣлать изъ себя живой картины, какъ мыши kota погребаютъ».

мысли верховниковъ и остерегаетъ сына отъ всякаго участія въ политическихъ переломахъ: „съ хвлящими вольность другихъ государствъ и ищущими власть монарха уменьшить, никогда не согласуясь, поспеже опое государству крайнюю бѣду нанести можетъ, о чемъ тебѣ исторія нашего государства ясные приклады показать можетъ, какъ-то нѣкоторые и предъ немногими лѣты безумно начинали; а паче всего тайность государя прилѣжно храни и никому не открывай; всего же болѣе женщинъ и льстецовъ хитрыхъ охраняйся, чтобы нечаянно изъ тебя не выведали. И для того о тайныхъ дѣлахъ ни съ кѣмъ въ разговоры не вступай; а если кто тебѣ о подобномъ дастъ причину чрезъ разговоры, то старайся ту рѣчь немедленно въ иной разговоръ превратить, чтобы къ твоей тайности не приблизиться“. Затѣмъ, всю служебную дѣятельность каждаго дворянина Татищевъ подраздѣляетъ на военную, гражданскую и придворную службу, предназначая вообще для служебной дѣятельности главную, наибольшую часть всей жизни, до 50 лѣтняго возраста. Молодости соответствуетъ, по мнѣнію Татищева, служба военная (между 18-ю и 25-ю годами), и только по вступленіи въ зрѣлый возрастъ совѣтуетъ онъ приниматься за трудную службу гражданскую. Наставленія, касающіяся службы гражданской, такъ подробны, такъ обстоятельны и притомъ свидѣлствуютъ о такой опытности и осторожности самаго автора, что, перечитывая ихъ, кажется, видишь передъ глазами тотъ тяжкій и горькій опытъ, который приходилось переживать служащему русскому человѣку въ началѣ XVIII вѣка.

Съ явнымъ несочувствіемъ отзывается Татищевъ о третьемъ родѣ службы—о службѣ придворной. „Петръ Великій“, говоритъ онъ, „который великолѣпіе единственно дѣлами своими показывалъ, сей чинъ придворныхъ ни во что вмѣнялъ, и въ рангъ ихъ не только на концѣ, но весьма низкій положилъ; у него оные весьма въ презрѣніи были, а лучше сказать, что никого не было. Нынѣ же оные рангами, жалованьемъ и другими преимуществами противъ европейскихъ государствъ пожалованы“. Несмотря на это, къ своему далеко непривлекательному очерку современныхъ придворныхъ нравовъ, Тати-

щевъ прибавляетъ: „кромя повелѣнія монаршескаго, никакъ сего чина не нищи и никакимъ тутъ благополучіемъ не льстися“. Болѣе всего характеризующимъ воззрѣніи Татищева на службу кажется намъ слѣдующій совѣтъ сыну, которымъ онъ заканчиваетъ общій отдѣлъ о служебныхъ обязанностяхъ: „никогда о себѣ не воображай, чтобы ты правительству столь много надобенъ былъ, что безъ тебя и обойтись невозможно; равно и о другихъ того не думай: знай, что такихъ людей Богъ въ свѣтъ не создастъ“.

Въ русскомъ служиломъ человѣкѣ начала XVIII вѣка слышится уже и голосъ пробуждающагося личнаго достоинства, благородной гордости, неподавляемой болѣе тягостными условіями общественной жизни допетровской Руси. Говоря о томъ, что когда дворянину исполнится 50 лѣтъ, онъ долженъ оставлять службу и поселиться среди своихъ помѣстій и вотчинъ, Татищевъ въ то же время прибавляетъ: „весьма остерегайся того, чтобы тебя безъ прошенія отъ службы не отставили; сіе для честнаго и благороднаго человѣка великій стыдъ и поношеніе: одни только скоты сего наказанія не ощущаютъ. И для того лучше отстать честно по своей волѣ, нежели съ нареканіемъ продолжать службу и отъ того терпѣть стыдъ и поношеніе. Не меньше предосужденія достойны и тѣ, которые, притворя себя больными, за деньги, черезъ докторовъ, безо всякой причины, не выслужа 30 лѣтъ ищутъ отъ службы увольненія; весьма сіе непохвально, а паче тѣмъ нарушаютъ свою присягу“.

Первою заботою дворянина по возвращеніи въ имѣнія должна быть забота о церквахъ и духовенствѣ. „Старайся имѣть попаченаго“, замѣчаетъ при этомъ Татищевъ, „который бы своимъ еженедѣльнымъ поученіемъ и предикою (проповѣдью) къ совершенной добродѣтели крестьянъ твоихъ довести могъ; награди его безбѣднымъ пропитаніемъ, деньгами, а не пашнею, для того, чтобы отъ него навозомъ не пахло; голодный, хотя-бы и патріархъ былъ, кусокъ хлѣба возьметь за деньги же (т. е. за жалованье отъ помѣщика) онъ лучше будетъ прилежать къ церкви, нежели къ своей землѣ, пашнѣ и сѣнокосу, что и стану ихъ совсѣмъ не прилично, и чрезъ то надлежащее почтеніе теряютъ“. Озаботившись о духовныхъ нуж-

дахъ, Татищевъ настаиваетъ на необходимости обращать вниманія и на другія, матеріальныя нужды крестьянъ; имѣнія должны быть снабжены банями, больницами, домашнимъ лѣкаремъ и аптекою. Лѣкарь необходимъ для того, чтобы крестьяне не обращались „къ проклятымъ обманщикамъ, ворожеямъ, шептунамъ и колдунамъ“. На обязанности помѣщика лежитъ и призрѣніе старыхъ и увѣчныхъ. Затѣмъ, съ величайшею, почти изумительно точностію Татищевъ обращается къ заботамъ о распредѣленіи каждаго рабочаго дня крестьянъ и дворовыхъ, и входитъ въ подробности, которыя выказываютъ въ немъ не только опытнаго и дѣятельнаго хозяина, но и вообще человѣка расчетливаго, привыкшаго пользоваться всѣмъ, и изъ всего извлекать выгоду. Эгонистъ-помѣщикъ видѣнъ въ тѣхъ наставленіяхъ, которыя Татищевъ даетъ сыну относительно присмотра за крестьянами и постоянно понужденія ихъ къ работѣ:—замѣтно, что даже и заботясь объ обезпеченіи ихъ нуждъ, онъ заботится о нихъ только какъ о рабочей силѣ, которая должна способствовать матеріальному благосостоянію помѣщика. Сурово относится онъ къ перадивымъ: „для винныхъ людей“, говоритъ онъ, „имѣть тюрьму; а затѣмъ наказывать за вину нещадно; одна милость, безъ наказанія, быть не можетъ, по закону Божію“. Но все же, и въ этомъ отношеніи, Татищевъ конечно стоитъ головою выше многихъ своихъ современниковъ: самъ неумоимо и постоянно трудясь и работая, онъ, по Петровой системѣ, думалъ и всѣхъ окружающихъ увлечь къ труду, если не уговоромъ, то страхомъ наказанія, взысканія. Увлекаясь стремленіемъ къ труду, онъ и въ завѣщаніи, говоря о крестьянскомъ трудѣ, восклицаетъ; „праздность человѣка приводитъ въ воровство и разбои, отъ чего послѣ на вѣки долженъ будетъ пропасть душею и тѣломъ; всякой крестьянинъ дѣтей своихъ долженъ въ великомъ страхѣ содержать, ни до какой праздности не допуская и всегда принуждая къ работѣ, дабы онъ въ томъ взялъ привычку, и, смотря отца своего неусыпные труды, себя къ тому приучить могъ; а дабы каждый праздно и въ мѣлкости не былъ, то долженъ онъ (т. е. отецъ) отдать его какому нибудь художеству и руководѣлю учиться, отъ чего всегда интересъ свой получить можетъ“.

Всѣ свои наставленія и совѣты сыну Татищевъ сводитъ къ одному общему выводу: „конецъ желаньямъ нашимъ ненасытнымъ въ свѣтѣ главный пунктъ деньги; не тотъ богатъ, кто ихъ имѣетъ много и еще жаждетъ; и не тотъ убогъ, кто ихъ имѣетъ мало, мало же скорбитъ о томъ и не жаждетъ: а богатъ, славенъ и честенъ тотъ, кто можетъ по препорціи своего состоянія безъ долгу вѣкъ жить и честь свою тѣмъ хранить и быть судьбою довольнымъ, роскоши презирать, скупость въ домъ не пускать“.

Въ заключеніе всего, что сказали мы выше о В. Н. Татищевѣ, приведемъ безпристрастные свидѣтельства двухъ иностранцевъ, дополняющія нравственную личность Татищева крупными и яркими штрихами.

Англичанинъ Гануэй, который проѣзжая черезъ Астрахань, видѣлся съ Татищевымъ, оставилъ намъ любопытный рассказъ объ этомъ свиданіи. „Въ Астрахани—говоритъ онъ—я былъ ласково принятъ губернаторомъ, генераломъ В. П. Татищевымъ, которому я привезъ цѣнный подарокъ отъ (англійскихъ) купцовъ. Онъ сообщилъ мнѣ нѣсколько плановъ, касающихся взаимныхъ интересовъ Великобританіи и Россіи. Этотъ старикъ... давно печальствуя въ здѣшнихъ краяхъ, много способствовалъ усмиренію татаръ; его умъ обращенъ болѣе къ литературѣ и торговлѣ; нѣтъ у него недостатка и въ искусствѣ приобрѣтенія;... впрочемъ, у него есть хорошее правило, состоящее въ томъ, какъ онъ мнѣ замѣтилъ, чтобы и давать, и брать. Онъ упомянулъ также, что около 24 лѣтъ пишетъ исторію Россіи. Старикъ замѣчательнъ своимъ сократическимъ видомъ, изнѣженнымъ тѣломъ, которое онъ много лѣтъ поддерживаетъ великою умѣренностью и тѣмъ, что умъ его постоянно занятъ. Если онъ не пишетъ, не читаетъ, не говоритъ о дѣлахъ, то постоянно перекидываетъ кости изъ одной руки въ другую“.

Очень близкій къ этому отзыву о Татищевѣ оставилъ намъ и другой иностранецъ, д-ръ Лерхъ, побывавшій въ Астрахани проѣздомъ въ Персію. Называя Татищева умнымъ и ученымъ, онъ сообщаетъ между прочимъ: „Татищевъ говорилъ по нѣмецки, имѣлъ большую бібліотеку лучшихъ книгъ и былъ свѣдущъ въ философіи, математикѣ и въ особенностяхъ въ исторіи. Онъ описалъ древнюю исторію Россіи въ большомъ фоліантѣ, кото-

рый, по смерти его, перешелъ въ руки Кабинетъ-министра Ивана Черкасова, а тотъ передалъ его профессору Ломовосову. Этотъ Татищевъ жилъ совсѣмъ по-философски и относительно религіи имѣлъ особыя мнѣнія, за что многіе не считали его православнымъ. Онъ былъ болѣзненъ и худъ, но во всѣхъ дѣлахъ свѣдущъ и рѣшителенъ. Умѣлъ каждому посовѣтовать и помочь, а въ особенности купцамъ, которыхъ онъ привелъ въ цвѣтущее состояніе. Дѣлалъ онъ это однако не даромъ, за что подвергся ответственности и сенатъ прислалъ указъ, которымъ онъ отрѣшается⁴.

Послѣдніе годы своей жизни Татищевъ провелъ въ подмосковномъ селѣ Болдино, клинского уѣзда. Онъ состоялъ подъ судомъ, которому счумѣли его подвергнуть враги его послѣ астраханскаго губернаторства—и судъ этотъ, обвиняя его въ несоблюденіи самыхъ пустыхъ формальностей, привязываясь къ мелочамъ, длился безконечно. Василій Никитичъ содержался на домашнемъ арестѣ: при немъ, въ видѣ стражи, находились даже и солдаты сенатской роты. Здѣсь, въ Болдино, Татищевъ доканчивалъ свою исторію, которую въ 1739 г. привозилъ въ Петербургъ, но къ которой не встрѣтилъ сочувствія: по поводу ея были даже возбуждены толки о его неправославіи. Толки эти побудили тогда-же Татищева измѣнить въ своей „Исторіи“ все то, что нашелъ нужнымъ новгородскій архіепископъ Амвросій. Вѣроятно эти воспоминанія были тяжки для нашего историка, и потому въ деревенскомъ уединеніи ему приходила смѣлая мысль: отправить свое сочиненіе въ Лондонское Королевское Общество съ тѣмъ, чтобы оно издало его въ переводѣ. Онъ даже писалъ объ этомъ Гануею, о которомъ мы упоминали выше; но дѣло не состоялось по неимѣнію хорошихъ знатоковъ русскаго языка въ Англіи¹). Въ іюлѣ 1750 года ему стало хуже и онъ захотѣлъ проститься съ сыномъ, который явился вмѣстѣ съ

женою на зовъ отца. Намъ сохранился рассказъ внука Татищева о послѣднихъ минутахъ жизни Василя Никитича. Простая подробность этого рассказа на столько интересна, что мы далеко не лишнимъ считаемъ привести ихъ здѣсь. Съ замѣчательнымъ спокойствіемъ и твердостью духа приготовляясь къ смерти, Василій Никитичъ самъ распорядился о томъ, чтобы ему выкопана была на погостѣ, рядомъ съ предками его, могила, и самъ ѣздилъ пригласить къ себѣ на утро духовника своего. „Возвратившись домой, онъ нашелъ тутъ присланнаго изъ Петербурга курьера съ указомъ отъ Императрицы, что онъ награжденъ невиннымъ и награжденъ орденомъ св. Александра Невскаго. Василій Никитичъ написалъ благодарственное письмо къ государынѣ, отослалъ орденъ назадъ, потому что уже приближался конецъ его жизни, отпустилъ посланнаго — и тогда же снята была находившаяся при немъ стража. Ввечеру, когда, по обыкновенію, пришелъ къ нему поваръ-французъ, для полученія приказанія, что готовить на слѣдующій день, то онъ сказалъ повару: „я уже болѣе не хозяинъ вашъ, но гость; а вотъ хозяйка (указывая на свою невѣстку) — она тебѣ прикажетъ, что надобно—примолви, что теленокъ начать и есть изъ чего готовить“. На слѣдующій день, исполнивъ всѣ христіанскіе обряды, простившись со всѣми, Василій Никитичъ скончался на 65 году жизни своей, приказавъ напередъ, что когда примѣтять, что его душа будетъ разставаться съ тѣломъ, то чтобы не дѣлали никакого шума, дабы не продлить мученія тѣла, когда оно разстается съ душою. Когда же хотѣли снять съ тѣла мѣрку для дѣланья гроба, то столяръ объявилъ, что онъ уже, по повелѣнію покойнаго давно сдѣланъ, подъ который ножи онъ, покойный, самъ точилъ“. (См. въ книгѣ Н. Попова: „В. Н. Татищевъ и его время“ стр. 234).

Василій Татищевъ

Подпись Татищева.

¹) К. И. Вестужевъ-Рюминъ. Статья о Татищевѣ въ Др. и Нов. Россіи, за 1875; I, стр. 292.

В. К. Тредіаковскій. — Біографическія подробности. — Ученые труды. — Услуги, оказанныя русскому стихосложению. — Личный характер Тредіаковского и отношенія его къ современникамъ.

Василій Кирилловичъ Тредіаковскій родился въ Астрахани въ 1703 году. Отецъ и дѣдъ его были священниками. Въ ранней молодости судьба свела его съ католическими монахами, жившими въ Астрахани, съ цѣлью распространенія католицизма между тамошними армянами и въ Персін, и эта случайная встрѣча опредѣлила будущность юноши; отъ этихъ духовныхъ лицъ Тредіаковскій получилъ первыя свѣдѣнія въ латинскомъ языкѣ и въ словесныхъ наукахъ и, въ 1743 году, какъ самъ говоритъ, „по охотѣ къ ученію оставилъ природный городъ, домъ и родителей, и убѣжалъ въ Москву“. Тамъ онъ нашелъ случай пристроиться въ Законошасскія школы, т. е. славяно-греко-латинскую академію, и, какъ ученикъ, уже достаточно подготовленный, поступилъ прямо въ риторикъ. Въ академіи оставался онъ до 1725 г. и прошелъ въ ней курсъ схоластическаго ученія. Уже здѣсь сталъ онъ заниматься сочиненіемъ силлабическихъ стиховъ: написалъ двѣ драмы — „Язонъ“ и „Титъ, Веспасіановъ сынъ“ — которыя были играны студентами академіи на ихъ домашней сценѣ, и элегію на смерть Петра Великаго. Въ то же время, какъ самъ о себѣ пишетъ Тредіаковскій, „проходя науки въ Спасскомъ Законономъ монастырѣ, превеликое онъ имѣлъ желаніе, чтобъ оныя окончить въ Европскихъ краяхъ, а особливо въ Парижѣ“. Неудивительно, что вскорѣ послѣ того онъ и „нашелъ способъ уѣхать въ Голландію, гдѣ обучился французскому языку“. Это было въ 1726 году. Сохранилось извѣстіе, будто Тредіаковскій вынужденъ былъ бѣжать изъ академіи за участіе въ довольно темномъ дѣлѣ — въ поддѣлкѣ паспорта какому-то діакону. Но, по справедливому замѣчанію новѣйшаго біографа, это извѣстіе подлежитъ большому сомнѣнію. Въ то время одною изъ главныхъ

обязанностей русскихъ дипломатовъ за границею было попеченіе о русскихъ молодыхъ людяхъ, отправленныхъ для образованія въ чужія края. На этомъ основаніи и Тредіаковскій, хотя поѣхалъ за-границу по своей волѣ, прибѣгъ къ покровительству русскихъ пословъ — сперва въ Гагѣ, а потомъ въ Парижѣ. Нашъ посланникъ въ Гагѣ, графъ Головкинъ, далъ ему рекомендательное письмо къ представителю Россіи въ Парижѣ, князю Куракину, но, вѣроятно, очень скудно помогъ ему деньгами; поэтому Тредіаковскій „съ крайнимъ претерпѣніемъ бѣдности“ отправился въ Парижъ, при чемъ большую часть пути прошелъ пѣшкомъ. Въ Парижѣ, пользуясь болѣе щедрымъ покровительствомъ Куракина, Тредіаковскій прослушалъ курсъ математическихъ, философскихъ и богословскихъ наукъ въ Сорбоннѣ и, по обычаю того времени, „содержалъ публичныя диспуты въ Мазаринской коллегіи“, чему всему имѣлъ письменное засвидѣтельствованье, за рукою такъ называемаго ректора Магнифика парижскаго университета“. Въ то время парижскій университетъ сохранялъ еще свою старинную славу, и нѣтъ сомнѣнія, что Тредіаковскій, при своемъ усердіи къ ученію, приобрѣлъ въ немъ хорошее образованіе и основательно изучилъ нѣсколько языковъ (итальянскій, нѣмецкій), въ особенности же французскій, на которомъ совершенно свободно излагалъ свои мысли и стихами, и прозой. Изъ позднѣйшихъ его сочиненій видно, что онъ основательно зналъ латинскую и французскую словесность, а также былъ знакомъ и съ французскою наукою (преимущественно съ областью историческихъ и филологическихъ знаній).

Въ 1730 году, Тредіаковскій возвратился въ Россію съ намѣреніемъ посвятить себя литературной дѣятельности, но безъ опре-

дѣленныхъ практическихъ цѣлей. Въ какой степени незavidно было матеріальное положеніе Тредіаковскаго, въ первое время по возвращеніи его изъ за границы, можно судить уже потому, что онъ нашелъ себѣ пріютъ въ казенной квартирѣ академическаго студента Ададунова, „который принялъ пріѣзжаго въ видахъ извлеченія для себя пользы изъ его знанія французскаго языка“. Не слѣдуетъ при этомъ забывать, что самое возвращеніе Тредіаковскаго въ Россію послѣдовало въ такое время, которое не благоприятствовало развитію у насъ литературы. Литература русская еще не существовала тогда, и даже тѣ люди, которые было принялись за обработку русской литературы и науки, увидѣли себя на время вынужденными смолкнуть въ виду мрачной эпохи, наступившей въ царствованіе императрицы Анны — эпохи господства нѣмецкой партіи и преобладанія личныхъ вліяній, выдвигавшихся на первый планъ придворными интригами. Кругъ самостоятельной, новой, печатной русской литературы ограничивался только трудами Теофана, да юношескимъ произведеніемъ Каптемира — „Симфоніей на Псалтирь“, напечатанной въ 1728 году. Даже и сатиры его еще никому не были извѣстны, и Тредіаковскій, по возвращеніи изъ-за границы, читалъ, какъ извѣстно, первую сатиру Каптемира, въ присутствіи Теофана Прокоповича, по рукописной тетради, какъ совершенно свѣжую, только что добытую и не вполнѣ безопасную литературную новинку.

Такое полное безплодіе литературное, а съ другой стороны, конечно, и побужденія чисто-матеріальныя, заставили Тредіаковскаго поспѣшить издапіемъ въ свѣтъ его перевода „Тѣзда въ Островъ Любви“, подлинникъ которой, по его признанію, восхищалъ его еще въ Парижѣ. Этотъ переводъ, сдѣланный чрезвычайно толково и добросовѣстно, оказывался, по тому времени, весьма крупнымъ литературнымъ явленіемъ. Самый выборъ книги, въ которой описываются различныя степени любви къ жепщицѣ и высказывается самое почтительное отношеніе къ ней — долженъ былъ заставить обратить вниманіе на автора, такъ смѣло и увѣренно подносявшаго свой трудъ

обществу, въ которомъ только двѣнадцать лѣтъ тому назадъ обнародованъ былъ указъ, признавшій человѣческія права женщины, „допускавшій ее къ участію въ общественныхъ собраніяхъ и бесѣдахъ, вмѣстѣ съ мужчпнами и наравнѣ съ ними“ ⁴⁾.

Книга Тредіаковскаго дѣйствительно надѣлала много шума, и ловкій Шумахеръ, тогда полновластно управлявшій судьбами академіи, поспѣшилъ сблизиться съ молодымъ переводчикомъ, вѣроятно имѣя въ виду его пригодность для академическихъ трудовъ и изданій. Нашлись, однакоже, люди, которые взглянули и весьма подозрительно на зарождающуюся извѣстность молодого Тредіаковскаго, такъ открыто заявлявшаго о своемъ пристрастіи къ французской литературѣ и наукѣ. Его бывшіе учителя, преподаватели законоспасской академіи, распрашивали его, по прибытіи изъ-за границы въ Москву: „каковы ученія въ чужихъ странахъ онъ произвелъ? И Тредіаковскій-де сказывалъ, что слушалъ онъ философію. И по разговорамъ о объявленной философіи, въ окончаніи пришло такъ, яко-бы Бога нѣтъ. И слыша о такой отейской (sic) философіи“ — преподаватели академіи разсуждали, „что и онѣи Тредіаковскій, по слушанію той философіи, можетъ быть не безъ поврежденія“...

Но въ Москвѣ Тредіаковскій остается недолго. Въ 1732 году мы уже видимъ его въ Петербургѣ, гдѣ онъ, какъ новый русскій писатель, находитъ черезъ своихъ покровителей случай быть представленнымъ Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, и вскорѣ вступаетъ на скользкій путь придворнаго поэта и панегириста, пишетъ по заказу Императрицы поздравительныя рѣчи и похвальные слова, подноситъ ихъ знатымъ, и за свои подношенія получаетъ отъ нихъ, по обычаю времени, подарки. Онъ же переводитъ и пьесы для домашнего театра, устроеннаго при дворѣ... Съ того же 1732 г. начинаются его труды для академіи, которая даетъ ему для перевода весьма трудныя и серьезныя иностранныя сочиненія „повеже онъ французскаго языка весьма искусенъ“.

Однако же не ранѣе конца 1733 года удалось Тредіаковскому добиться штатнаго мѣста и вступить въ академію на службу, при

⁴⁾ П. Пекарскій, Ист. акад. наукъ, II, 12.

мъ съ нимъ заключено было, президен-
тъ академіи, формальное условіе слѣдую-
го рода, прекрасно характеризующее уче-
е права того времени:

обязуется чинить, по всей своей возможно-
сти, все то, въ чемъ состоитъ интересъ Ея
Императорскаго Величества и честь Акаде-
міи. 2) Вычищать языкъ русской, пи-



По указу Ея Императорскаго Величе-
а принялъ я (президентъ Академіи) Ва-
ся Тредіаковскаго, родиною изъ Астра-
ни, въ Академію Наукъ по слѣдующимъ
идиціямъ: 1) Помянутый Тредіаковскій

шучи какъ стихами, такъ и не сти-
хами. 3) Давать лекціи, ежели отъ него
потребовано будетъ. 4) Окончить граммати-
ку, которую онъ началъ, и трудиться сово-
купно съ прочими надъ дивсіонаріемъ рус-

скимъ. 5) Переводить съ французскаго на русскій языкъ все, что ему дастся. За сіе будетъ онъ имѣть годоваго жалованья 360 рублей, включая въ нихъ: свѣчи, дрова и квартиру, съ титуломъ секретаря“. Состоя въ этой должности, онъ перевелъ нѣсколько серьезныхъ и обширныхъ сочиненій, которыя были истиннымъ приобретениемъ для нашей литературы; таковы: Сень-Реміевы Артиллерійскія Записки (1732 г.), Военное состояніе Оттоманской имперіи, сочиненіе графа де-Марсильи (1737 г.), и въ особенности Древняя и Римская Исторія Роллена, одно изъ самыхъ дѣльныхъ, и въ то же время популярныхъ сочиненій своего времени; многотомный Ролленъ былъ дважды переведенъ Тредіаковскимъ, такъ какъ первый переводъ сгорѣлъ въ пожарѣ, постигшемъ переводчика въ 1746 году.

За недостаткомъ самобытной литературной производительности, переводная дѣятельность при Академіи Наукъ возбуждала мысль о необходимости литературной обработки русскаго слога, и вотъ, подъ влияніемъ этой мысли, въ началѣ 1735 г. учредилось при академіи „Россійское собраніе“ — первое ученое собраніе любителей русскаго слова. Тредіаковскій занялъ въ немъ почетное мѣсто, и открылъ его 14 марта 1734 года рѣчью „о чистотѣ русскаго слога“. По мысли президента академіи, барона Корфа, собраніе предназначалось главнымъ образомъ для исправленія академическихъ переводовъ. Переводчики академическіе обязывались два раза въ недѣлю, по средамъ и субботахъ, сходиться въ это собраніе, „сноситься и прочитывая все, кто что перевелъ, и имѣть тщаніе въ исправленіи Россійскаго языка случающихся переводовъ“. Но Тредіаковскій предложилъ собранію болѣе обширную программу занятій: ссылаясь на примѣръ знаменитой французской академіи, онъ совѣтовалъ собранію заняться составленіемъ „грамматики доброй и исправной, согласной мудрыхъ употребленію“, и „дикціонарія полнаго и довольнаго“, риторики и стихотворной науки. „Изъ основательныхъ грамматикъ и красныхъ реторикъ“ — замѣчалъ въ своей рѣчи Тредіаковскій — „не трудно произойти восхищающему сердце и умъ слову піитическому, развѣ только одно сложеніе стиховъ неправильностью своею утрудитъ васъ можетъ, но и то, мой господа, преодо-

лѣть возможно и привести въ порядокъ способовъ не имѣть, нѣкоторыя же и я имѣю“. Но составъ собранія не соответствовалъ тѣмъ важнымъ трудамъ, совершеніе которыхъ предлагалъ ему Тредіаковскій, и потому изъ всѣхъ этихъ трудовъ былъ предпринятъ только одинъ, и то не всѣмъ собраніемъ, а лично самимъ Тредіаковскимъ: мы разумѣемъ составленіе нѣтъ „Новаго и краткаго способа къ сложенію стиховъ Россійскихъ“, который былъ изданъ авторомъ въ 1735 году. Эта небольшая книжка составляетъ эпоху въ исторіи русскаго стихотворства: въ ней впервые была положена теорія русскаго тоническаго стиха, употребляемаго нашими стихотворцами съ тѣхъ поръ и донинѣ. Опытъ же сочиненія стиховъ тоническаго размѣра былъ сдѣланъ Тредіаковскимъ еще за годъ до изданія „Способа“, именно, по случаю назначенія барона Корфа, 18-го сентября 1734 года, президентомъ Академіи. Тредіаковскій поднесъ ему стихотворное поздравленіе, которое и есть первенецъ русскаго тоническаго размѣра. Приводимъ здѣсь эту рѣдкость:

НОВОМУ ДОСТОЙНО УКРАШЕННУМУ ЧЕСТИ

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНѢЙШЕМУ ГОСПОДИНУ

Господину

Іоанну Альбрехту барону фонъ-Норффу

Ея Императорскаго Величества

САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКІЯ

дѣйствительному намеръ-геру

имѣя же

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ

главную имѣющему команду

ПОКОРНѢЙШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНІЕ

отъ

ВАСИЛІЯ ТРЕДІАКОВСКАГО.

Здѣ сія, достойный мужъ, что Ты поздравляешь,
Вящій и день отъ дня чести толь желаетъ,
(Честь, велика ни моглабъ коль та быть собою,
Будеть, дастся какъ Тебѣ, вящшая тобою)
Есть Россійская муза, всѣмъ и млада и нова;
А по долгу Ты служишь съ прочими готова.
Многи Ты сестры ея славятъ Аполлона;
Уха по не отврати и отъ Росска звона.

Слово красно произнести та хоть не исправна,
Малых во отдамъ дѣтей и гѣма рѣчь правна ¹⁾.

Всѣ желанія свои просто Ты износить,
Тѣ сердечны прими, се никакъ не просить.

Щастлива и весела мудру Ты служить.
Ибо можеть чрезъ Тебя та достойна быть,

Славны воспѣвать дѣла чрезъ стѣи избранны,
Толь великія въ женатъ Монархини Анны.

Нечего, кажется, прибавлять, какъ мало-удаченъ былъ этотъ первый опытъ Тредіаковскаго. Но какъ бы то ни было, онъ составляетъ важный шагъ впередъ въ развитіи русскаго стихосложенія. Тредіаковскій, во всякомъ случаѣ, первый понялъ, какъ мало свойственна русскому языку метрическая или силлабическая просодія. Читая теорію метрическаго стихосложенія у Смотрицкаго, говоритъ Тредіаковскій, „не можешь удержаться, чтобъ не быть смѣющимся Демокритомъ непрестанно“. Что же касается стиховъ силлабическаго размѣра, то, по мнѣнію Тредіаковскаго, причинѣ ихъ называть „прозою, опредѣленнымъ числомъ идущею, а мѣры и паденія, чѣмъ стихъ поется и разнится отъ прозы, то есть отъ того, что не стихъ, весьма не имѣющею“. Основная же мысль тонической теоріи Тредіаковскаго заключается въ томъ, что „долгота и краткость слоговъ въ новомъ семь рооссійскомъ стихосложеніи не такая разумѣется, какова у грековъ и у латинъ въ сложеніи стиховъ употребляется, но токмо тоническая, то есть, въ единомъ удареніи голоса состоящая, такъ что, сколь греческое и латинское количество слоговъ съ великимъ трудомъ познавается, столь сіе наше всякому изъ великороссійнъ легко, способно, безъ всякихъ трудности, и наконецъ, отъ единого только общаго употребленія знать можно“. Къ этой мысли, какъ свидѣтельствуеъ самъ авторъ, привела его русская народная поэзія. „Даромъ“, говоритъ онъ, „что слогъ ея весьма некрасный отъ неискусства слагающихъ; но сладчайшее, пріятнѣйшее и правнѣйшее разнообразныхъ ея стопъ, педжи иногда греческихъ и латинскихъ, падение“, внушило ему мысль этого нововведенія. Въ другомъ своемъ сочиненіи онъ свидѣтельствуеъ еще о томъ, что тому нововведенію способствовало знакомство его

съ стихотворнымъ размѣромъ сербо-далматинцевъ. Впослѣдствіи Тредіаковскій не разъ возвращался къ теоріи русскаго стихосложенія (между прочимъ защищалъ превосходство хорей надъ ямбомъ) и совершенствовалъ ее въ подробностяхъ.

Несмотря однако на свои литературныя заслуги, Тредіаковскій не вользовался даже сколько-нибудь почетнымъ положеніемъ въ русскомъ обществѣ аяненскаго времени. Человѣкъ, котораго общественная роль опредѣлялась только его литературною дѣятельностію, былъ слишкомъ новымъ, небывалымъ явленіемъ для тогдашнихъ русскихъ людей. Слова: литераторъ, ученый, не имѣли еще такого значенія и мѣста въ понятіяхъ молодого русскаго общества, и самое занятіе наукой и литературой для большинства представлялось даже имѣющимъ нѣкоторую связь съ ремесломъ приказнаго, канцеляриста... Это особенно выясняется намъ изъ того собственноручнаго отзыва, который данъ былъ Тредіаковскимъ на запросъ сената о служащихъ при академіи (14 ноября 1737). Въ этомъ отзывѣ онъ съ особеннымъ усердіемъ выставляетъ на видъ сенату, что его, Тредіаковскаго, президентъ академіи наукъ, фонъ-Кейзерлингъ, „опредѣлилъ секретаремъ въ академію, гдѣ онъ и понынѣ упражняется въ разныхъ академическихъ дѣлахъ, касающихся до наукъ, а не въ приказныхъ“.

При этой новости положенія въ молодомъ русскомъ обществѣ, Тредіаковскій, къ тому же, ни по складу ума, ни по личному характеру своему неспособенъ былъ выработать себѣ положенія почетнаго и самостоятельнаго. Неспособный къ борьбѣ съ грубыми общественными нравами, запуганный неудачами и бѣдностью, еще болѣе устрашаемый тѣми широкими проявленіями личнаго произвола временщиковъ, свидѣлемъ которыхъ ему безпрестанно приходилось быть, Тредіаковскій совершенно утратилъ всякую личность, всякій опредѣленный характеръ, а потомъ и всякое сознаніе собственного достоинства: онъ сталъ добиваться только возможности сколько-нибудь спокойно и съ какимъ нибудь обезпеченіемъ заниматься въ своемъ укромномъ углу тою литературно-научною дѣятельностію, которая не имѣла

¹⁾ Т. е. — по отдамъ пріятна даже и гѣма рѣчь, малыхъ дѣтей.

еще никакого значенія въ глазахъ окружающаго его общества... Но его нравственная философія была такъ податлива, его убѣжденія такъ шатки, его воззрѣнія и мнѣнія такъ уступчивы, что ни въ комъ изъ современниковъ своихъ онъ не сумѣлъ возбудить уваженія ни къ своей личности, ни къ своей дѣятельности... Товарищи его по ремеслу относились къ нему съ пренебреженіемъ и смѣялись надъ нимъ; „высокія персоны“ и „придворные милостивцы“ считали его шуткомъ и скоморохомъ, и позволяли себѣ надъ нимъ страшныя шутки, не щадя для него оскорбленій и униженій. Особенно ярко характеризующимъ ту мрачную эпоху является извѣстный въ біографіи Тредіаковскаго печальный эпизодъ его столкновенія съ Волинскимъ.

Надобно вспомнить, что зимою 1740 года, для развлеченія скучающей императрицы, построенъ былъ на Невѣ ледяной домъ, и въ немъ предполагалось сыграть свадьбу одного изъ придворныхъ шутовъ. Волинскому вздумалось поручить Тредіаковскому написать по этому случаю стихи, и онъ велѣлъ кадету Криницину привести Василя Кирилловича на Слоновы дворъ, гдѣ происходили приготовленія къ предстоящему торжеству. „Сего 1740 года, февраля 4-го дня, то есть, въ понедѣльникъ, ввечеру въ шесть или семь часовъ“—пишетъ Тредіаковский,—„пришелъ ко мнѣ, нижепоименованному, кадеть Криницинъ и объявилъ мнѣ, чтобъ я шелъ немедленно въ кабинетъ Ея Императорскаго Величества. Сіе объявленіе, хотя меня привело въ великій страхъ, толь наипаче, что время уже было позднее, однако я ему отвѣтствовалъ, что тотчасъ пойду. Тогда, появивъ шпагу и надѣвъ шубу, пошелъ съ нимъ тотчасъ, нимало не отговариваясь, и, сѣвъ съ нимъ на извозчика, поѣхалъ въ великомъ трепетаніи; но видя, что помянутый г. кадеть не въ кабинетъ меня везъ, то началъ его спрашивать учтивымъ образомъ, чтобъ онъ мнѣ пожаловалъ объявить, куда онъ меня везетъ; на что мнѣ отвѣтствовалъ, что онъ меня везетъ не въ кабинетъ, но на Слоновы дворъ, и то по приказу его превосходительства кабинетнаго министра Артемія Петровича Волинскаго, а за чѣмъ, сказалъ, что не знаетъ. Я, услышавъ сіе,

обрадовался, и говорилъ помянутому г. кадету, что онъ худо со мною поступилъ, говори мнѣ, будто надобно мнѣ было идти въ кабинетъ, а при томъ называя его еще мальчишкой и такимъ, который мало въ людяхъ бывалъ, а то для того, что онъ такимъ объявленіемъ можетъ человека вскорѣ жизни лишитъ или, по крайней мѣрѣ, въ безпамятствіе привести для того, что,—говорилъ я ему,—кабинетъ дѣло великое и важное; о семъ онъ у меня и прошенія просилъ, однакожь сердился на то, что я называю мальчишкой и грозилъ пожаловаться на меня его превосходительству А. П. Волинскому, чѣмъ я ему самъ грозилъ; но когда мы прибыли на Слоновы дворъ, то помянутый г. кадеть пошелъ напередъ, а я за нимъ въ одну камеру, гдѣ маскарадъ обучался, куда вошелъ, постоявъ мало, началъ я жаловаться его превосходительству на помянутого г. кадета, что онъ меня взялъ изъ дому такимъ образомъ, который меня въ великій страхъ и трепетъ привелъ; но его превосходительство, не выслушавъ моей жалобы, началъ меня бить самъ, предъ всѣми, толь немедленно по обѣимъ щекамъ, а притомъ вслѣдъ браня, что правое мое ухо оглушилъ, а лѣвой глазъ подбилъ, что онъ изволилъ чинить въ три или четыре приѣма. Сіе видя, помянутый г. кадеть ободрился и сталъ притомъ на меня жаловаться его превосходительству, что я его будто дорогою бранилъ и поносилъ. Тогда его превосходительство повелѣлъ и оному кадету бить меня по обѣимъ же щекамъ публично; потомъ, съ часъ времени спустя, его превосходительство приказалъ мнѣ спроситься, зачѣмъ я призвалъ у господина архитектора и полковника Петра Михайловича Еропкина, который мнѣ и далъ на письмѣ самую краткую матерію, и съ которой должно мнѣ было сочинить приличные стихи къ маскараду. Съ симъ и отправился въ домъ мой, куда пришедъ, сочинилъ оныя стихи, и размышляя о моемъ напрасномъ безчестіи и увѣчи, разсудилъ по утру, избравъ время, пасть въ ноги его высокогерцогской свѣтлости ¹⁾ и пожаловаться на его превосходительство. Съ симъ намереніемъ пришелъ я въ покои къ его высокогерцогской свѣтлости по утру и ожидавъ времени припасть къ его ногамъ, но по не-

¹⁾ Т. е. герцогу Вирону.

счастію туда пришелъ скоро и его превосходительство А. П. Волынский, увидѣлъ меня, спросилъ съ бранью: зачѣмъ я здѣсь? Я ничего не отвѣтствовалъ; а онъ билъ меня тутю по щекамъ, вытлкалъ въ шею и отдалъ въ руки ѣздовому сержанту, повелѣвъ меня отвести въ комиссію и отдать меня подѣ караулъ, что такимъ образомъ и учинено. Потомъ, нѣсколько спустя времени, его превосходительство прибылъ и самъ въ комиссію и взялъ меня предъ себя. Тогда, браня меня всячески, велѣлъ съ меня снять пшугу съ великою яростію и всего оборвать и положить, и бить палкою по голой спинѣ толь жестоко и немилостиво, что, какъ мнѣ связывали уже послѣ, дано мнѣ съ семьдесятъ ударовъ; а приказавши перестать бить, велѣлъ меня поднять, и браня меня, не знаю чего у меня спросилъ: на что въ безпамятствѣ моемъ, не знаю, что и я ему отвѣтствовалъ. Тогда его превосходительство паки велѣлъ меня бросить на землю и бить ещѣ тою же палкою, такъ что дано мнѣ и тогда съ тридцать разовъ; потомъ, всего меня изнемогшаго, велѣлъ поднять и обуть, а раздранную рубашку, не знаю кому, зашить, и отдалъ меня подѣ караулъ, гдѣ я ночевалъ на среду и твердя наизусть стихи (хотя мнѣ уже и не до стиховъ было), чтобъ оныя прочесть въ потѣшной залѣ. Въ среду подѣ вечеръ приведенъ я былъ въ маскарадномъ излѣтъ и въ маскѣ подѣ карауломъ въ оную потѣшную залу, гдѣ тогда мнѣ повелѣно было прочесть наизусть оныя стихи на силу. По прочтеніи оныхъ и по окончаніи маскарадной потѣхи, отведенъ я паки подѣ караулъ въ комиссію, гдѣ и ночевалъ я на четвертокъ; но въ четвертокъ призванъ я былъ поутру, часовъ въ десять, въ домъ къ его превосходительству, гдѣ былъ взятъ предъ него и былъ много браненъ; а потомъ объявилъ онъ мнѣ, что разстаться со мною хочеть еще побивши меня, что я услышавъ съ великими слезами просилъ еще его превосходительство умиловаться падо мною всѣмъ уже изувѣченнымъ, однако не преклонилъ его сердце на милость; такъ что тотчасъ велѣлъ онъ меня вывести въ переднюю, и караульному капралу бить меня еще палкою десять разъ, что и учинено. Потомъ повелѣлъ мнѣ отдать пшугу и освободить изъ-подѣ караула; и призвавъ къ себѣ, отпустилъ меня домой съ такими угрозами, что я еще ожидаю скоро такого же печальнаго отъ него несчастія, буде Господь по душу не сошлетъ“.

„Притворился ли Тредіаковскій, или дѣйствительно онъ былъ сильно искалѣченъ“— замѣчаетъ историкъ Академіи Наукъ ¹⁾— „только въ донесеніи своемъ въ академію онъ вмѣстѣ сдѣлалъ распоряженіе, что, въ случаѣ смерти, его книги должны поступить въ академическую библіотеку, а пожитки—духовнику его“.

Тогдашній президентъ академіи распорядился освидѣтельствовать Тредіаковского, приказавъ лѣчить его, но ничего не смѣлъ онъ предпринять для преслѣдованія такого грубаго насилія, и дѣло оставалось безъ всякаго разслѣдованія до апрѣля мѣсяца. „Оно бы, по всей вѣроятности, осталось такимъ навсегда, если бы Волынский не навлекъ на себя гнѣвъ фаворита императрицы — Бирона. Биронъ подалъ Императрицѣ жалобу на оскорбленіе его Волынскимъ, и въ ней-то, между прочимъ, упомянулъ, что Волынский „не устыдился недавно нанести побой нѣкому секретарю академіи, Тредіаковскому, во дворцѣ, въ покояхъ его, герцога, чѣмъ оказано неуваженіе государынѣ, а Бирону — обида, извѣстная уже при иностранныхъ дворахъ“.

Только уже заручившись такимъ высокимъ (хотя и совершенно случайнымъ) покровительствомъ, Тредіаковскій тоже догадался подать жалобу Императрицѣ (въ іюнѣ 1740 г.) на Волынскаго, и такъ какъ обидчикъ былъ уже въ это время казненъ, то Тредіаковскій просилъ „за напрасное безчестіе и безвинное увѣчье“ удовлетворить его изъ имѣнія „жестокаго мучителя и безсовѣстно злобнаго обидителя, Волынскаго“.

Отвѣтъ на эту просьбу послѣдовалъ уже по кончинѣ Императрицы Анны, въ кратковременное регентство Бирона. 1 ноября 1740 г. Сенатъ постановилъ: „Тредіаковскому, за безчестіе и увѣчье его Артемьемъ Волынскимъ, въ награжденіе выдать изъ взятыхъ за проданные его, Волынскаго, пожитки и имѣющихся въ рентѣрен денегъ триста шестьдесятъ рублей“.

¹⁾ П. П. Пекарскій. Ист. Ак. Н., т. II; стр. 79.

„Несчастное приключеніе съ Тредіаковскимъ ярко рисуетъ современную эпоху“ — замѣчаетъ историкъ академіи — „когда дикій произволъ знатнаго человѣка былъ до того обыкновеннымъ явленіемъ, что самъ избитый Тредіаковскій былъ убѣжденъ и прямо высказывалъ въ прошеніи на высочайшее имя, что ему нельзя было искать правосудія на Волинскаго, потому что это была высокая персона, а онъ — бѣдный и беззащитный человѣкъ“. Но съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что поведеніемъ Тредіаковскаго въ этомъ случаѣ вполне объясняется намъ, почему преданіе сохранило намъ о Василии Кирилловичѣ столь много анекдотовъ, въ которыхъ его нравственная личность представляется намъ въ самомъ непривлекательномъ видѣ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что если въ молвъ общества было преувеличеніе, то вѣстѣ съ тѣмъ была и справедливая основа. И въ позднѣйшіе годы жизни низкіе инстинкты души нерѣдко руководили поступками Тредіаковскаго: по недостатку мѣста мы не можемъ подробно рассказывать здѣсь о его отношеніяхъ къ литературнымъ соперникамъ и врагамъ—Ломоносову и Сумарокову—, но должны сказать, что и въ отношеніи къ нимъ Тредіаковскій считалъ однимъ изъ удобнѣйшихъ средствъ борьбы—доносы, въ особенности на ихъ невѣріе: этою чертою окончательно обрисовывается его нравственная личность.

По воцареніи Елисаветы, Тредіаковскій успѣшилъ воспользоваться благоприятнымъ для русской партіи оборотомъ общественной жизни: онъ обратился къ покровительству духовныхъ лицъ, и при ихъ помощи, а также благодаря содѣйствію графа М. И. Воронцова, получилъ званіе „профессора латинской и россійской элоквиенціи“ въ академическомъ университетѣ. Вѣстѣ съ Тредіаковскимъ, Императрица пожаловала въ академики Ломоносова, и въ адъюнкты — Крашенинникова. Разница была въ томъ, что двое послѣднихъ представлены въ упомянутыя званія по удостоенію академическаго собранія, а Тредіаковскій, по собственному прошенію, послѣ долгихъ, съ его стороны, кляузъ и хлопотъ, и на основаніи свидѣтельства синодальныхъ членовъ. Онъ открылъ свой курсъ 12-го августа 1745 г.

словомъ „о богатомъ, различномъ, искусномъ и несходственномъ витійствѣ“, которое тогда же и было напечатано. Неизвѣстно, въ чемъ заключалось его преподаваніе, но не подлежитъ сомнѣнію, что это былъ по своему времени курсъ полезный и дѣльный: подъ профессорскимъ руководствомъ Тредіаковскаго воспитались два первые профессора русской словесности въ московскомъ университетѣ — Поповскій и Барсовъ.

Ко второй половинѣ литературной дѣтельности Тредіаковскаго, кромѣ изданій Ролленовой исторіи и нѣсколькихъ другихъ переводовъ, принадлежатъ слѣдующія оригинальныя сочиненія: „Разговоръ объ орографіи“ (1748 г.), два тома Сочиненій (1751), трагедія „Дейдеміа“, стихотворный переводъ Фенелонова Телемака, подъ названіемъ „Телемахида“, и разсужденіе „О древнемъ, среднемъ и новомъ стихосложеніи россійскомъ“. Въ „разговорѣ объ орографіи“ Тредіаковскій развиваетъ ту мысль, что писать должно такъ, „какъ зовутъ требуетъ“, т. е., какъ велитъ произношеніе; но мысль эта, не разъ занимавшая филологовъ въ разныхъ странахъ, проведена имъ недостаточно послѣдовательно. Два тома собранія сочиненій своихъ Тредіаковскій называетъ „сработанными для юности“; въ нихъ помѣщены главнымъ образомъ различныя статьи его по части исторіи и теоріи словесности, между прочимъ, переводы: „Науки Стихотворства“ Горация и Буало. Не смотря на близкое знакомство съ древнею литературою, Тредіаковскій, какъ литературный теоретикъ, былъ послѣдователемъ псевдо-классицизма. Въ то время, когда поэзія считалась не столько плодомъ личнаго творчества, сколько результатомъ школьной выучки и твердаго знанія литературныхъ правилъ, теоретическія статьи Тредіаковскаго особенно цѣнились и пользовались уваженіемъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ поколѣній.

Наконецъ, разсужденіе „О древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи россійскомъ“ любопытно, какъ памятникъ историко-литературныхъ свѣдѣній и сужденій Тредіаковскаго о русской литературѣ и какъ изложеніе его позднѣйшихъ мнѣній о тоническомъ размѣрѣ.

Тредіаковскій профессорствовалъ въ тече-

ни четырнадцать лѣтъ. Последніе годы своей академической службы онъ провелъ въ удаленіи отъ всѣхъ — „ненавидимый въ лицо, презираемый въ словахъ, уничтожаемый въ дѣлахъ, оуждаемый въ искусствѣ, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищемъ, еще и въ нравахъ (что сего безсовѣстнѣе?) оглашаемый, все-жъ то по злобѣ или по ухищренію, или по чаянію отъ того пользы“... Такъ самъ Тредіаковскій объяснялъ общее нерасположеніе къ себѣ; но мы уже знаемъ, что сослуживцамъ и не за что было любить его. Вынуждаемый своими литературными противниками къ непрерывной борьбѣ, беспощадно осмѣиваемый ими, не находя поддержки себѣ ни въ академіи, ни въ обществѣ, Тредіаковскій безпрестанно переводилъ борьбу ученую и литературную на весьма знакомую для него почву доносовъ, рапортовъ по начальству, жалобъ на имя президента и даже — подметныхъ писемъ, въ которыхъ, поддѣлываясь подъ тонъ и образъ мыслей своихъ противниковъ, бранилъ и начальство академіи, и нѣмецкую партію... Но ему не везло: всѣ были противъ него — даже судьба, разорявшая его пожарами! — и несчастный стихотворецъ видимо слабѣлъ въ неравной борьбѣ. Неподдѣльнымъ и грустнымъ сознаніемъ нравственнаго безсилія звучать слѣдующія заключительныя строки одной изъ его статей, направленныхъ противъ Сумарокова:

„Не полно-ль, государь милостивый, вамъ на меня нападать? Я усталъ, отражая ваши обвиненія. Болѣе, по истинѣ, не хочу; и сіе письмо есть послѣдній мой отвѣтъ вамъ, въ чемъ по христіанству и по честности клянусь... Я уже въ лѣтахъ, и не болѣе пекусь о красномъ разумѣ, коль о добромъ нѣскольکو лѣтніи. Я то хочу позабывать, что вы нынѣ толь благоуспѣшно знаете. Вѣрьте, я васъ отъ всего сердца признаваю (понеже вамъ, какъ видно, того только и желается) первенствующимъ нашимъ Вольтеромъ, хотя и не ругаюсь... Позабудьте, прошу, меня... Дайте мнѣ препровождать безматежно остаточные мои дни въ нѣкоторую пользу обществу... Попустите мнѣ несмущенно размышлять иногда и о совѣсти моей: настаетъ время и мнѣ туда явиться, куда должно всѣмъ человѣкамъ. Тамъ не спросятъ меня, зналъ-ли я хорошую силу въ Сафіческой и Гораціанской строфахъ, но былъ-ли добро-

дѣтельный христіанинъ? Сжальтесь обо мнѣ, умилитесь надо мною, извергните изъ мыслей меня... я сіе самое пишу вамъ не безъ плачущія горести. Паки и паки прошу: оставьте меня отъ нынѣ въ покоѣ“.

Съ августа 1757 г., Тредіаковскій прекратилъ хожденіе въ академію, а съ небольшимъ черезъ годъ, послѣ многихъ напоминаній ему со стороны начальства академіи о его неисправности, вынужденъ былъ подать прошеніе объ отставкѣ. Прошеніе его было принято съ замѣтною готовностью удовлетворить желанію Тредіаковскаго: отставка дана ему тотчасъ же (30-го марта 1759 г.) и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ему отказано во всякой, даже и самой незначительной денежной помощи.

„Такъ кончилась служба Тредіаковскаго въ академіи“, — замѣчаетъ Пекарскій — „и должно сознаться, что Академія, въ лицѣ тогдашнихъ правителей ея судебъ, т. е. Ломоносова и Тауберта, поступила жестоко съ этимъ старымъ и несомнѣнно оказавшимъ услуги русскому просвѣщенію писателемъ, который остался на старости съ семьей безъ всякихъ средствъ къ существованію. Хотя всѣ постановленія академической канцеляріи объ отставкѣ Тредіаковскаго и писались отъ имени графа Разумовскаго, однако же надо предполагать, что крутой образъ дѣйствій съ бѣднымъ старикомъ былъ слѣдствіемъ личной вражды къ нему лицъ, имѣвшихъ тогда вѣсъ въ академическомъ управленіи“. Продолжая и въ отставкѣ заниматься переводами и обрабатывая „Разсужденіе о древности россійской“, — весьма слабое въ научномъ отношеніи сочиненіе о происхожденіи Варяговъ-Руси, Тредіаковскій прожилъ еще десять лѣтъ, и скончался 6-го августа 1769 года, почти совершенно забытый современниками.

Въ переходную эпоху русской литературы, между XVII вѣкомъ и организаторскою дѣятельностью Ломоносова, Тредіаковскому принадлежитъ довольно видное мѣсто. Онъ оказалъ несомнѣнную услугу русскому просвѣщенію своими переводами; какъ знатокъ теории литературы, онъ далъ полныя для своего времени литературныя цѣнныя; наконецъ, какъ филологъ, онъ возбуждалъ нѣкоторые любопытные вопросы русской грамматики и метрики. Но желая создать русскій слогъ, онъ писалъ хуже, чѣмъ многие

изъ его современниковъ (не говоря уже о поколѣніи болѣе молодомъ, къ которому принадлежали Ломоносовъ и Сумароковъ); а создавая теорію русскаго тоническаго размѣра, онъ не далъ ни одного хорошаго стиха въ подтвержденіе своего ученія. Вообще говоря, ему нельзя отказать ни въ трудолюбіи, ни въ знаніяхъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ важ-

даго должно невольно поражать въ немъ полнѣйшее отсутствіе таланта.

Вскорѣ послѣ нескладныхъ опытовъ Тредіаковскаго, явились благозвучные ямбы Ломоносова, и совершенно затмили собою жаловѣстныя пѣтическія попытки „стихъ начавшаго стопой прежде всѣхъ въ Россіи“.

Басіліи Тредіановскаѣ 1736.

Подпись Тредіаковскаго.

Значеніе Ломоносова. — Біографическія свѣдѣнія о немъ. — Его дѣятельность ученая, литературная и общественная, — Ломоносовъ, какъ поэтъ и писатель; заслуги его по изученію теоріи языка и словесности.

На рубежѣ той эпохи нашего историческаго развитія, которой справедливо дано названіе „эпохи преобразованій“, и которая такъ ярко отразилась въ умственной и нравственной жизни нашего общества, является въ средѣ русскихъ учено-литературныхъ дѣятелей колоссальная личность крестьянина-академика, гениальнаго Ломоносова. Богатая почва народная, не оскудѣвшая въ теченіе многихъ вѣковъ мрака и застоя, взрытая и поднятая вновь трудолюбивою и могучею рукою богатыря-царя, насывавшего на Руси первыя сѣмена европейской образованности, принесла и обильный плодъ, породивъ изъ нѣдръ своихъ богатыря-академика, могучаго борца за интересы русской науки и русскаго просвѣщенія.

Личность Ломоносова (р. 1712, ум. 1765) стоитъ какъ разъ „на рубежѣ эпохи преобразованій“, и потому самому, отражая въ своемъ колоссальномъ образѣ всѣ черты современной ему русской умственной жизни, въ то же время носить въ себѣ и всѣ задатки, всѣ сѣмена ея будущаго развитія и роста. Вотъ почему его одинаково удобно можно отнести и къ концу предшествующаго періода литературнаго, и къ началу слѣдующаго, новаго періода. Концу предшествующаго періода принадлежитъ онъ, какъ послѣдній въ ряду тѣхъ дѣятелей литературныхъ, которые были одновременно и литераторами, и учеными, и при томъ болѣе учеными, нежели литераторами, которые и на самую литературу смотрѣли или какъ на пріятное препровожденіе досуга, или какъ на необходимую, условную форму для выраженія извѣстныхъ мыслей и стремленій, или, наконецъ, какъ на официальную обязанность. Концу того же періода принадлежитъ онъ и по воспитанію своему, въ основаніи котораго лежали всѣ элементы нашей образованности XVII вѣка, начиная

съ учебниковъ, написанныхъ Полодскими Магницкими и Смотрицкими, оканчивая курсомъ наукъ въ Московской славяно-греко-латинской академіи, — этою высшею образовательномъ центръ, какой способна была произвести Русь XVII вѣка. Но послѣ того, какъ ему удалось извлечь изъ русской почвы всѣ здоровые соки, какіе она могла представить для развитія его ума и гениальныхъ способностей, Ломоносовъ получилъ возможность воспользоваться всѣми выгодами обширнаго университетскаго образованія за границей; отсюда вынесъ онъ свои свѣтлые взгляды на науку, свое глубокое пониманіе общественныхъ и народныхъ нуждъ современной ему Россіи; отсюда же заимствовалъ онъ и тѣ образцы литературныхъ произведеній, которымъ счумѣлъ удачно подражать, и которыя послужили на долгое время образцами литературнаго языка и слога для нашихъ писателей прошлаго вѣка. Новый литературный языкъ, выработанный изъ богатыхъ и обильныхъ стпхій роднаго слова, такъ близко знакомыхъ Ломоносову, какъ человѣку, выдвинувшемуся изъ народной массы — этотъ новый литературный языкъ ведетъ свое начало несомнѣнно отъ Ломоносова. Господство языка церковно-славянскаго было, правда, поколеблено уже и до Ломоносова, въ эпоху петровскихъ реформъ; но литературный языкъ петровскаго времени, отвергнувъ старое, сбросивъ съ себя иго церковнаго авторитета, не представлялъ однакоже въ себѣ никакихъ задатковъ для дальнѣйшаго своего развитія: это была не болѣе, какъ грубая, пестрая смѣсь самыхъ разнородныхъ, самыхъ противоположныхъ элементовъ, чуждыхъ другъ другу, чуждыхъ и самому духу русскаго языка, заимствованная на русскую литературную почву лишь на время, по крайней необходимости, вслѣдствіе неимѣнія ни-

чего своего, родного, что бы могло удовлетворить современнымъ потребностямъ умственнымъ, что бы могло дать возможность совладать съ страшнымъ наплывомъ новыхъ идей. Стремясь освободить русскую литературу и науку отъ тяжкаго преобладанія чужеземнаго элемента и вызвать русскаго человѣка къ самостоятельности на этомъ трудномъ пути, Ломоносовъ прежде всего позаботился о созданіи новаго литературнаго языка. Этимъ онъ выполнилъ великую историческую задачу и справедливо приобрьлъ отъ современниковъ и ближайшаго потомства названіе „отца“ нашей новой литературы. Именно эта сторона его дѣятельности и даетъ ему право стать во главѣ того новаго періода русской литературы, начало котораго хотя и совпадаетъ съ царствованіемъ Елисаветы, но который отчетливо и ясно сталъ обозначаться лишь въ началѣ царствованія Екатерины Великой.

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ родился въ нынѣшней Архангельской губерніи, въ Куростровской волости (на островѣ Двины), въ деревнѣ Денисовкѣ, близъ г. Холмогоръ. Отецъ его, крестьянинъ Василій Доросеевъ, занимался рыбнымъ промысломъ, и сына своего также въ раннихъ лѣтахъ сталъ приучать къ тому же промыслу; до 16-ти лѣтнаго возраста Михаилъ Васильевичъ помогалъ своему отцу и раздѣлялъ съ нимъ всѣ труды и опасности, неразлучные съ жизнью нашего сѣвернаго рыбака-помора. Не разъ приходилось ему на легкомъ галютѣ совершать дальніе переезды по Бѣлому морю, въ Колу, Соловки и другіе прибрежныя мѣстности, съ грузомъ или для закупки соли; случалось бывать съ отцомъ на промыслахъ даже и въ Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ. Нельзя отрицать того, что впечатлѣнія дѣтства и ранней юности Ломоносова сильно повліяли на развитіе личнаго характера его; проводя жизнь среди трудовъ безпокойной промысловой дѣятельности, среди опасностей и лишеній, среди странствованій по непривѣтнымъ и бурнымъ волнамъ сѣверныхъ морей, въ непосредственной близости къ сѣверной природѣ, суровой и пустынной, но тѣмъ не менѣе величественной, Ломоносовъ закалился физически и нравственно и, самъ того не зная, приготовилъ себя къ будущей общественной дѣятельности своей, которая требовала гро-

маднаго запаса силъ и желѣзной воли, несокрушаемой никакими препятствіями. Притомъ же и смысленность, практичность, быстрота соображеній, независимость въ образѣ мыслей и самостоятельность воззрѣній на предметы—главныя отличительныя черты народнаго типа въ нашемъ сѣверномъ поморскомъ краю, проявились и въ личности Ломоносова, въ которомъ ни образованіе, ни дальнѣйшая жизнь не могли стереть этого типа. Нельзя отрицать того, что на Ломоносова рано и благотворно повліяла его мать, Елена Иванова (дочь дьякона, изъ селенія Матягоры, въ томъ-же Холмогорскомъ уѣздѣ). Грамотѣ обучалъ его той же волости



Ломоносовъ.


крестьянинъ Иванъ Шубной, и, по замѣчанію одного современнаго свидѣтельства, „обучился онъ ей въ короткое время совершенно; охочъ былъ читать въ церкви псалмы и каноны, и житія святыхъ, и въ томъ былъ проворенъ, а притомъ имѣлъ у себя природную глубокую память: когда какое житіе или слово прочитаетъ, послѣ гнѣнія рассказывалъ сѣдющимъ въ трапезѣ старикамъ сокращеніе на словахъ обстоятельно“.

По нѣкоторымъ дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, въ раннемъ періодѣ своей юности Ломоносовъ вовлеченъ былъ даже въ расколъ, который такъ много имѣлъ приверженцевъ на нашемъ сѣверѣ; поддаться

исполнѣ религиознымъ воззрѣніемъ расколъниковъ Ломоносовъ не могъ при своемъ здоровомъ умѣ и сильной волѣ, но чтеніе духовныхъ книгъ и толки о вѣрѣ вѣроотно еще болѣе способствовали развитію въ немъ природной пытливости и страстнаго желанія учиться. Псалтирь, переложенная въ стихи Симеономъ Полодкимъ, грамматика Смотрицкаго и ариметика Магницкаго — эти первыя книги, изъ которыхъ Ломоносову удалось почерпнуть свои первыя знанія — вскорѣ перестали удовлетворять его любознательности. При томъ же и самыя условія домашней жизни значительно ухудшились: мѣсто матери, оказывавшей благотворное влияние на сына, заступила злая и сварливая мачиха, о которой самъ Ломоносовъ, въ одномъ изъ писемъ своихъ, пишетъ, что она „всѣчески старалась произвести гнѣвъ въ отцѣ, представляя, что онъ всегда сидитъ по-пустому за книгами. Для того много-

успѣлъ попасть въ число студентовъ Московской Славяно-Греко-Латинской академіи (съ 15 Января 1731 г.), гдѣ и пробылъ около пяти лѣтъ, начавъ курсъ съ самаго начала. Вотъ какъ онъ самъ описываетъ въ письмѣ къ И. И. Шувалову свое пребываніе въ этомъ учебномъ заведеніи:

„Обучаясь въ Спасскихъ школахъ¹⁾, имѣлъ я со всѣхъ сторонъ отвращающія отъ наукъ пресильныя стремленія, которыя въ тогдашнія лѣта почти непреодолимую силу имѣли. Съ одной стороны отецъ, никого дѣтей, кромѣ меня, не имѣя, говорилъ, что я, будучи (у него) одинъ, его оставилъ, оставилъ и все довольство (по тамошнему состоянію), которое онъ для меня кровавымъ потомъ нажилъ, и которое послѣ его смерти чужіе расхитятъ. Съ другой стороны несказанная бѣдность: имѣя одинъ алтынъ въ день жалованья, нельзя было имѣть на пропитаніе въ день больше, какъ на денежку хлѣба и



Подпись Ломоносова.

кратно (онъ) принужденъ былъ²⁾ читать и учиться чему возможно было, въ уединенныхъ и пустыхъ мѣстахъ, и терпѣть стужу и голодъ“. Такое положеніе сдѣлалось наконецъ невыносимо для юнаго Ломоносова: горячее, страстное желаніе учиться одолѣвало его — и онъ рѣшился отправиться въ Москву. Это произошло въ декабрѣ 1730 года. Ломоносовъ получилъ отъ волости увольнительное свидѣтельство, по которому и отпущенъ былъ въ Москву до осени слѣдующаго 1731 года; но такъ какъ онъ въ срокъ домой не воротился, то и числился съ 1731 года „въ бѣгахъ“. Преданіе гласитъ, что, на пути въ Москву, Ломоносовъ провелъ нѣкоторое время въ Антоніевомъ Сійскомъ монастырѣ, исправляя должность пономаря или причетника; что, потомъ, прибывъ въ Москву, онъ находился одно время въ школѣ при Сухаревой башнѣ, пока наконецъ

на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другія нужды. Такимъ образомъ жилъ я пять лѣтъ (1731—1736) и наукъ не оставилъ. Съ одной стороны пишутъ, что, зная моего отца достатки, хорошіе тамошніе люди дочерей своихъ за меня выдадутъ, которые и въ мою тамъ бытность предлагали; съ другой стороны школьники, малые ребята кричатъ и перстами указываютъ: смотри-де какой болванъ лѣтъ въ двадцать пришелъ латинѣ учиться!“ Однако же „болванъ лѣтъ въ двадцать“ оставилъ всѣхъ школьниковъ назади, и, обративъ на себя вниманіе учителей своими замѣчательными способностями, не терялъ ни минуты времени для пріобрѣтенія новыхъ знаній; и въ этомъ отношеніи академическая бібліотека много помогала ему своимъ довольно обильнымъ запасомъ книгъ и рукописныхъ хронографовъ, изборниковъ, лѣтописей. Внима-

¹⁾ Такъ называлъ Ломоносовъ академію, потому что она находилась въ Занконостасскомъ монастырѣ.

ние Ломоносова особенно привлекли нѣкоторыя сочиненія, относившіяся къ естественнымъ наукамъ. Учителя его, большею частью воспитанники кіевской духовной академіи, указывали ему на это заведеніе, какъ на такое, въ которомъ онъ могъ бы найти полное удовлетвореніе своему стремленію къ изученію наукъ физико-математическихъ. По совѣту ихъ, онъ отправился въ Кіевъ въ 1734 году, думая посвятить себя занятію этимъ отдѣломъ знаній; но преподаваніе академическое своими приѣмами и размышленіями не могло уже удовлетворить Ломоносова; онъ вернулся въ Москву. Здѣсь его собирались было постригать въ священники, предполагая отправить въ Борелу; какъ вдругъ счастливая случайность указала ему тотъ путь, которымъ ему надлежало слѣдовать. Въ Петербургъ потребовали изъ Московской Академіи двѣнадцать лучшихъ воспитанниковъ для пополненія Академической Гимназіи. Вѣроятно по недостатку въ такихъ „лучшихъ воспитанникахъ“, окончившихъ курсъ, отправленъ былъ въ числѣ двѣнадцати и неокончившій курса Ломоносовъ, находившійся тогда въ классѣ философіи. Въ Петербургѣ Ломоносову, въ теченіе того же года, посчастливилось попасть въ число молодыхъ людей, которыхъ правительство посылало за границу для окончанія образованія и пріобрѣтенія свѣдѣній по нѣкоторымъ специальнымъ отраслямъ знанія.

„1736 г., марта 7-го дня Императорская Академія Наукъ тогдашнему Имп. Кабинету докладомъ представили, что ежели нѣсколько молодыхъ людей послать въ Фрейбергъ къ горныхъ дѣлъ физикъ Генкелю для обученія металлургіи, то можно туда послать Густава Ульриха Райзера, Димитрія Виноградова и Михайлу Ломоносова¹⁾. На содержаніе ихъ въ каждый годъ потребно 1200 р. „....“, и хотя у нихъ изъ сей суммы въ Фрейбергѣ по нѣсколько рублей останутся, однакожъ достаточныя деньги пригодятся имъ на проѣздъ ихъ въ Голландію, Англію и Францію, куда имъ необходимо ѣхать должно для смотрѣнія славнѣйшихъ тамъ лабораторій химическихъ“. Августа 18, въ томъ же году, трое студентовъ,—Райзеръ, Виноградовъ и Ломоносовъ,—по резолюціи Академіи Наукъ, съ данною

имъ инструкціею посланы въ Марбургъ; каждому изъ нихъ на содержаніе ихъ определено по 300 рублей (а не по 400, какъ предполагалось первоначально) въ годъ; которыя деньги, кромѣ содержанія, употреблять имъ и на проѣздъ, и на другіе потребныя расходы. Остальные 300 р. (изъ определенной кабинетомъ суммы 1200 р.) удержать въ казнѣ на заплату въ потребномъ случаѣ чрезвычайныхъ расходовъ и проѣздныхъ денегъ, ежели они пойдутъ далѣе въ Голландію, Англію и Францію²⁾. Три года спустя, это ничтожное содержаніе отправленныхъ за границу молодыхъ людей было еще болѣе урѣзано. Въ 1739 году, въ мартѣ, по резолюціи за подписаніемъ бывшаго тогда президента, г. камергера барона Корфа, определено, чтобы имъ на содержаніе ихъ въ Фрейбергѣ впредь отпускать на годъ каждому не болѣе 150 р., и „они деньги не къ нимъ самимъ, но г-ну горныхъ дѣлъ физикъ Генкелю посылать на заплату изъ того на кушанье, квартиру, дрова, свѣчи и другіе потребныя расходы“. Вообще, по сохранившимся официальнымъ документамъ мы изъ года въ годъ знаемъ всѣ расходы Академіи на молодого Ломоносова за все время его пребыванія за границей въ Марбургѣ и Фрейбергѣ. Со дня отъѣзда изъ Петербурга, въ 1736 г., по 1741 г., на его долю выслано было Академіею 1779 р. 81 к., т. е. круглымъ счетомъ менѣе 300 р. сер. въ годъ, считая въ томъ числѣ и расходы на содержаніе, и плату профессорамъ за обученіе. Нечего, конечно, удивляться тому, что молодые люди, посланные за границу, страшно бѣдствовали и въ Марбургѣ, и во Фрейбергѣ, тѣмъ болѣе, что и это скудное содержаніе высылалось имъ Академіею не всегда аккуратно, и, присланное за границу, не выдавалось имъ непосредственно на руки, а подлежало опеѣ ихъ руководителей-профессоровъ. А между тѣмъ Ломоносову, конечно, въ эту пору юности хотѣлось жить также широко, шумно и разгульно, какъ жило около него все современное ему нѣмецкое студенство... Тяжкіе труды и усиленную дѣятельность научную, чрезвычайно разнообразную и многостороннюю, хотѣлось невольно украсить хоть какимъ-нибудь весельемъ: и вмѣсто этого приходилось сно-

¹⁾ Ломоносову показано было тогда 22 года отъ роду.

сить лишения, горькую нужду, а впоследствии и преследование за долги! Надо предполагать, что къ этому періоду жизни Ломоносова относится приобретение нѣкоторых дурныхъ привычекъ, которыя потомъ не оставляли его въ теченіе всей его жизни и были отчасти причиною его ранней кончины. Но никакая нужда, никакія страданія не могли отбить у него охоты къ занятіямъ науками; все, что извѣстно намъ о его пребываніи за границей, свидѣтельствуетъ намъ о томъ, что онъ тамъ трудился неутомимо и не терялъ времени даромъ. Знаменитый ученый и профессоръ того времени при Марбургскомъ Университетѣ, Христіанъ Вольфъ, которому порученъ былъ надзоръ за занятіями трехъ русскихъ студентовъ, постоянно доставлялъ въ письмахъ своихъ къ президенту Академіи, Блюментросту, самые похвальные отзывы о прилежаніи и способностяхъ студента Ломоносова, который быстро успѣлъ овладѣть нѣмецкимъ языкомъ и сталъ посѣщать въ университетѣ лекціи, преимущественно по математическимъ наукамъ, хотя занимался и философіей, и даже медициной. Добросовѣстный Вольфъ не скрываетъ отъ начальства Академіи, что русскіе студенты, порученные ему, отличаются неумѣньемъ обращаться съ деньгами, ведутъ жизнь разгульную и распущенную, обременены долгами; онъ обвиняетъ ихъ въ разныхъ беспорядкахъ, но въ то же время съ большою похвалою отзывается онъ о занятіяхъ и талантахъ студента Ломоносова, котораго постоянно отличаетъ отъ двоиухъ товарищей его, выражая совершенно искренно надежду на то, что деньги на него потрачены не даромъ, и что его, какъ ученаго, ожидаетъ блестящая будущность. Точно также лестно отзывался Вольфъ о Ломоносовѣ и въ томъ аттестатѣ, который выданъ былъ ему въ 1739 году отъ Университета. Изъ Марбурга Ломоносовъ ѣздилъ во Фрейбергъ (въ Саксонію), для практическихъ занятій металлургіей подъ руководствомъ Генкеля; гдѣто въ 1740 занимался онъ на Гарцѣ изученіемъ на мѣстѣ горнаго дѣла. Въ то же самое время, онъ слѣдовалъ и академической инструкціи, на основаніи которой

ему и товарищамъ его предписывалось, кромѣ наукъ, изучать языки: латинскій, французскій и нѣмецкій, не оставляя упражненій и въ русскомъ. Вслѣдствіе этого, между 1736 и 1741 гг., Ломоносовъ неоднократно доставлялъ въ академію свои первые опыты ученыхъ изслѣдованій, писанные на латинскомъ языкѣ, писалъ на нѣмецкомъ свои „доношенія“, и наконецъ представилъ также и первые опыты литературные въ совершенно новомъ родѣ. Такъ, въ 1738 г., прислалъ онъ свою оду изъ Фенелона, переведенную въ Марбургѣ хоренческими стихами („Горы, толь что дерзновенно“, и т. д.); въ 1739 г. прислалъ извѣстную „Оду на взятіе Хотина“, которая долгое время считалась первымъ нашимъ тоническимъ стихотвореніемъ; къ ней было приложено— „Письмо о правилахъ русскаго стихотворства“¹⁾.

Въ 1740 году Ломоносовъ женился въ Марбургѣ на Елисаветѣ-Христинѣ Цильхъ, дочери одного изъ тамошнихъ портныхъ, бывшаго членомъ Марбургской городской думы и церковнымъ старшиной. Матерьяльное положеніе Ломоносова, вслѣдствіе этого, сдѣлалось вскорѣ почти невыносимымъ; онъ вынужденъ былъ даже на время бѣжать изъ Марбурга, скрываясь отъ преслѣдованія за долги. Здѣсь, до самаго возвращенія его въ Россію, наступаетъ довольно темный и мало извѣстный намъ періодъ его біографіи; предполагаютъ даже, что, во время своихъ скитаній по Европѣ, онъ, около Дюссельдорфа, встрѣтился съ партією прусскихъ вербовщиковъ, которые его напоили, записали въ рекруты и увели на службу въ крѣпость Везель; что онъ успѣлъ оттуда спастись бѣгствомъ и вернулся въ Марбургъ.

Отсюда, въ ноябрѣ 1740 г., Ломоносовъ писалъ въ Академію о своемъ возвращеніи, и въ февралѣ 1741 года „на проѣздъ и на платежъ долговъ получилъ токмо сто рублевъ, и выѣхалъ за Вольфовымъ поручительствомъ въ отечество“. Въ Академическихкихъ документахъ значится, что „1741 г. іюня 8 дня, г. профессоръ Ломоносовъ пріѣхалъ сюда назадъ изъ Марбурга“, а въ 1742 г. „января, 8 дня, г. Ломоносовъ, по

¹⁾ Оба эти произведенія—и «Ода на взятіе Хотина», и «Письмо»—переданы были, по порученію Академіи, на разсмотрѣніе адъюнгу Адохурову, который одобрилъ и теорію версификаціи, предлагаемую Ломоносовымъ, и стихи, написанные на основаніи ея.

резолюции Академии Наук, впредь до указу Правит. Сената и академической резолюции, здѣланъ адъюнктомъ съ жалованьемъ по 300 р. въ годъ, включая въ то число дрова, свѣчи и квартиру съ 1-го января 1742 г.⁴

Но и это скудное содержаніе досталось Ломоносову, какъ видно, не безъ затрудненій. Прибывъ въ іюнь 1741 г. въ столицу, „студентъ Михайло Ломоносовъ еще въ іюлѣ мѣсяцѣ того же года specimenъ своей науки въ конференцію подалъ, которой отъ всѣхъ профессоровъ оной конференціи такъ апробованъ, что сей specimenъ и въ печать произвестъ можно“. Несмотря на то, до января слѣдующаго года онъ оставался безъ мѣста, и, вѣроятно тѣснимый нуждой и бѣдами всякаго рода, рѣшился наконецъ подать на Высочайшее имя прошеніе, въ которомъ изложилъ, что еще въ 1736 году „указомъ, даннымъ изъ высокаго кабинета, отпавленъ онъ былъ въ Германію, въ Марбургъ и Фрейбергъ, для наученія металлургіи, математики и философіи съ такимъ обнадѣженіемъ, что ежели онъ указанныя ему науки приметъ, то опредѣлить его экстраординарнымъ профессоромъ и впредь по достоинству производить“. „Во оныхъ городахъ будучи“ — продолжаетъ Ломоносовъ — „я черезъ полныя года не токмо указанныя мнѣ науки принялъ, но въ физикѣ, химіи и натуральной исторіи горныхъ дѣлъ такъ произошелъ, что онымъ другихъ учить и къ тому принадлежащая полезныя книги съ новыми инвенціями писать могу, въ чемъ и академіи наукъ specimenъ моего сочиненія, и притомъ отъ тамошнихъ профессоровъ свидѣтельства въ іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго 1741 года съ докладомъ подалъ. И хотя я Академію Наукъ многократно о опредѣленіи моемъ просилъ, однако она на мое прошеніе никакого рѣшенія не учинила, и я, въ такомъ оставленіи будучи, принужденъ быть въ печали и огорченіи... И только уже на это прошеніе воспослѣдовало вышеприведенная нами резолюція Академіи объ опредѣленіи Ломоносова адъюнктомъ.

И такъ, съ перваго шага въ Россію, съ перваго шага въ Академію, Ломоносовъ ужъ встрѣчаетъ разныя затрудненія и, по видимому, возбуждаетъ противъ себя даже нѣкоторыя опасенія со стороны преобладав-

шей въ то время въ академіи нѣмецкой партіи. Русскій человѣкъ, да притомъ же еще человѣкъ талантливый и трудолюбивый, былъ словно помѣхою въ этомъ учрежденіи, которое сложилось около того времени почти исключительно изъ однихъ нѣмецкихъ ученыхъ, и притомъ сложилось такъ неудачно, что всѣ научные интересы академіи оказывались въ рукахъ академической канцеляріи, которая всѣмъ заправляла, всему могла дать жизнь или всему воспрепятствовать по одному произволу такихъ ловкихъ въ интригѣ людей, какъ Шумахеръ, очевидно заботившійся не о наукѣ, а о своемъ личномъ благосостояніи. Не даромъ заслужилъ онъ отъ современныхъ профессоровъ названіе „бича профессоровъ“ (Flagellum professorum): — горе тому, кто рѣшался не заискивать у Шумахера, въ рукахъ котораго находилось и жалованье профессоровъ, и управленіе всѣми дѣлами академической канцеляріи! Отсюда-то, изъ этого неправильнаго отношенія академической канцеляріи къ конференціи академіи, рождался цѣлый рядъ самыхъ безобразныхъ явленій въ кругу ученыхъ членовъ академіи: сплетни, интрига, доносы другъ на друга, ухаживанье за Шумахеромъ и его любимцами, ссоры и чуть не драки въ самыхъ засѣданіяхъ академическаго собранія!... И въ этотъ-то омутъ припавъ окунуться молодому Ломоносову, горячему и пылкому, часто даже необузданному въ своихъ поступкахъ, но въ то же время совершенно безкорыстно, исключительно преданному интересамъ науки, далекому отъ всякихъ житейскихъ расчетовъ и соображеній. Отношенія его къ академіи не замедлили опредѣлиться тотчасъ послѣ вступленія его въ число преподавателей академическихъ.

Въ сентябрѣ 1742 г. Ломоносовъ началъ читать лекціи студентамъ по физической географіи, химіи и „исторіи натуральной о рудахъ, тако же обучать въ стиховорствѣ и шилъ русскаго языка“. Съ того же сентября начинаютъ сыпаться на его голову и разныя бѣды. Широкая и необузданная натура помора, — раздражаемаго препятствіями и стѣсненіями, которыми всюду окружали его непривычныя академическіе порядки, — стала проявляться въ небрежномъ и презрительномъ отношеніи къ окружающимъ, въ „продерзости“ передъ

конференціей академіи, даже въ буйныхъ выходкахъ противъ нѣмцевъ. Ни одна изъ этихъ выходокъ, конечно, не обходится Ломоносову даромъ: за буйство Ломоносовъ попадаетъ въ полицію; за „продерзости“ противъ конференціи онъ исключается изъ числа ея членовъ и теряетъ право присутствованія на ея засѣданіяхъ... Напрасно пытается онъ поправить свою неосторожность: нѣмцы-академики, очень довольные

носова. Устраненный отъ участія въ дѣлахъ, тѣснимый нуждою, окружаемый отовсюду препятствіями въ своихъ любимыхъ занятіяхъ, онъ въ то же время не могъ не сознавать, что большинство стоявшихъ около него ученыхъ было ниже его и по знаніямъ, и по способностямъ: — отсюда снова цѣлый рядъ вспышекъ и „продерзостей“, проявленію которыхъ еще много способствовало и то, что, подъ вліяніемъ своего тя-



Академія Наукъ во времена Ломоносова.

возможностью избавиться отъ безпокойнаго сотоварища, не внемлютъ никакимъ просьбамъ, и на всѣ попытки Ломоносова снова войти въ конференцію, отвѣчаютъ систематическимъ отказомъ и устраненіемъ его отъ всѣхъ дѣлъ. Такое непомерно-строгое отношеніе къ Ломоносову со стороны людей, которые тоже не отличались особенною деликатностью обращенія, и развѣ только искуствѣ его умѣли скрывать свои „продерзости“, еще сильнѣе раздражило Ломо-

гостнаго положенія, Ломоносовъ былъ склоненъ часто искать утѣшенія въ винѣ. „Апрѣля 26 числа того же 1743 года“ — такъ гласитъ одинъ изъ дошедшихъ до насъ документовъ — „былъ у насъ въ географическомъ департаментѣ г. адъютантъ Ломоносовъ напившись пьянъ; первый разъ не скидалъ шляпы съ себя, и пришедши къ моему мѣсту, гдѣ я ¹⁾ географическую карту рисовать, спрашивалъ меня: „што-де у васъ, не назвавши никакъ, тамъ, который сидитъ

¹⁾ Показаніе студента Чадова.

въ конференціи, што-де онъ чванится, и што-де онъ о себѣ думаетъ“, гдѣ я ево спросилъ, не господинъ ли профессоръ Винцгеймъ, на что онъ отвѣщалъ „да“... и возвратно ушелъ въ конференцію, и побывши тамъ малое время, вторично пришелъ къ намъ и ставши у стола, гдѣ мы рисуемъ, и сталъ кричать и бранить (Винцгейма) пуще прежняго, и что-де онъ вить-де капитанъ и я-де капитанъ, и я-де календаръ и самъ сочиню не хуже его, на что сталъ ему г. Трюскотъ говорить, что-де худо кричать здѣсь, да еще притомъ въ шляпѣ; а ты-де што за человѣкъ, спрашивалъ его (Ломоносовъ), ты-де адъюнктъ, кто-де тебя здѣлалъ, Шумахеръ! говори со мною по латинѣ: онъ (Трюскотъ) отвѣтствовалъ, что я не умѣю, на что онъ (Ломоносовъ): ты-де дрянъ, никуда не годисся и не достойно произведенъ, и притомъ бранилъ Шумахера, и воромъ называлъ и прочихъ гг. профессоровъ также бранилъ...“

Въ началѣ мая всѣ профессора академіи уже обратились къ начальству съ коллективной жалобой на Ломоносова, въ которой послѣ изложенія его поступковъ заявляли между прочимъ: „всепокорнѣйше просимъ приказать онаго Ломоносова арестовать, и разсмотрѣ показанное намъ отъ него неслыханное безчестіе и неслыханное ругательство, повелѣть учинить надлежащую правильную сатификацію, безъ чего Академія болѣе состоять не можетъ, потому что ежели намъ въ такомъ поруганіи и безчестіи остаться, то никто отъ иностранныхъ государствъ впредь на убыльнѣ мѣста пріѣхать не захочетъ, также и мы себя за недостойныхъ признавать должны будемъ. Безъ возвращенія чести нашей, служить Ея Императорскому Величеству при Академіи, понеже во всѣхъ государствахъ, гдѣ есть Академіи, такого ругательнаго примѣра, какъ намъ случилось, не бывало“...

Въ числѣ обвинительныхъ пунктовъ противъ Ломоносова видимъ между прочимъ и слѣдующее: „Ломоносовъ бранилъ всѣхъ которые ему отказали въ конференціи¹⁾, позорною нѣмецкою бранью. (Винцгеймъ) отвѣтствовалъ: „изрядно, я запишу и донесу въ надлежащемъ мѣстѣ“, и на то-де Ломоносовъ сказалъ: „я самъ столько ра-

зумѣю, сколько профессоръ, да къ тому-де я природный русскій“. И надѣвъ шляпу, повторилъ тѣ же рѣчи позорною нѣмецкою бранью, и называлъ всѣхъ ворамъ, которые ему отказали отъ конференціи, а потомъ съ гордою и презрительною поступкою пошелъ въ географическій департаментъ“.

По жалобѣ и прошенію профессоровъ, Ломоносовъ былъ арестованъ въ май 1743 г., и несмотря на неоднократныя свои просьбы объ освобожденіи, продержанъ подъ арестомъ до января 1744 года, когда наконецъ конченъ былъ разборъ его дѣла и по указу Императрицы Ломоносовъ вынужденъ изъ-подъ ареста. Въ указѣ значится: „онаго адъюнкта Ломоносова для ево довольнаго обученія отъ наказанія освободить, а въ объявленныхъ учиненныхъ имъ, продержавъ у профессоровъ просить ему прощенія; а что онъ такіе непристойныя поступки учинилъ въ конференціи, за то давать ему, Ломоносову, жалованье въ годъ по нынѣшнему ево окладу половинное: ему жъ, Ломоносову, въ канцеляріи правительствующаго сената объявить съподписвою, что ежели онъ впредь въ таковыхъ продержавъ явится, то поступлено будетъ съ нимъ по указамъ неотмѣнно“.

Горькій опытъ и тяжелая нужда, которая не переставала угнетать молодого и горячаго ученаго, наконецъ научили его быть нѣсколько болѣе осмотрительнымъ и сдержаннымъ въ своихъ поступкахъ и менѣе давать воли своему негодованію. Какова была нужда, которой Ломоносовъ подвергался около этого времени, т. е. до 1744 года, это видно изъ сохранившихся намъ академическихъ документовъ. Такъ, напримѣръ, намъ извѣстно, что, 19 февраля 1743, въ канцеляріи академической доложены были просьбы секретаря Тредьяковскаго и адъюнкта Ломоносова о выдачѣ имъ въ счетъ жалованья за истекшій 1742 г. — первому 10 рублей, второму—сколько заблагоразсудится. Определено первому выдать 10 рублей, второму—пять! Въ май того же года Ломоносовъ изъ-подъ ареста подаетъ въ канцелярію академіи просьбу о выдачѣ того же заслуженнаго имъ за прошлый 1742 г. жалованья, и указываетъ на свою крайнюю нужду. На это прошеніе разрѣшаютъ ему

¹⁾ Т. е. тѣхъ, которые устранили его отъ участія въ засѣданіи конференціи.

выдачу жалованья только за одинъ мѣсяцъ истекшаго года. Въ июлѣ — новая просьба Ломоносова, еще ближе знакомящая насъ съ положеніемъ его дѣлъ: „Хотя я, низжайшій, прошлаго 1742 года за двѣ трети жалованье и получилъ, однако что чрезъ полтора года забралъ изъ канцеляріи по указамъ, все то у меня изъ оныхъ (двухъ третей) вычтено; притомъ же и долги заплатить, и затѣмъ у меня, низжайшаго, ничего не осталось. А понеже академіи уже извѣстно, что нынѣ я содержусь отъ слѣдственной комисіи подъ карауломъ, и чтобы надлежало въ домѣ (издержать, а издерживается и въ домѣ, и имѣ отдѣльно отъ дома), то не малое излишество въ издержкѣ происходитъ. Того ради Академію Наукъ покорно прошу, дабы указомъ Ея Императорскаго Величества повелѣно было, для моей необходимой нужды въ платѣ, выдать мнѣ прошлаго 1742 года хотя за два мѣсяца жалованья“. По этому прошенію опредѣлено выдать „за немѣнѣемъ денегъ“ всего десять рублей! 29 ноября 1743 года въ журналѣ канцеляріи Академіи Наукъ снова видимъ весьма поучительную для потомства запись: „по доношенію адъюнкта Михаила Ломоносова, которымъ требовалъ о выдачѣ ему для ево пропитанія (!) на счетъ его жалованья книгами, какими онъ пожелаетъ по цѣнѣ на 80 рублей, выдать ему. Ломоносову, изъ книжной лавки“. Изъ другой подобной же записи (отъ 4 июля 1744 г.) узнаемъ мы и о томъ, какое помѣщеніе занималъ въ это время Ломоносовъ: „съ адъюнкта Ломоносова за двѣ (въ академическомъ домѣ ¹⁾) каморки, въ которыхъ онъ живетъ, вычестъ изъ его жалованья... считалъ съ каморки по рублю на мѣсяцъ, и впредь вычитатъ по то время, пока онъ въ оныхъ пробудетъ, ибо ему жалованье производится съ прочими адъюнктами равное, а тѣ адъюнкты квартиры имѣютъ собственныя“.

По самому тону этой записи видно, что возможность занимать двѣ каморки въ академическомъ домѣ, при томъ еще платя за нихъ деньги, считалась какъ-бы нѣкоторою льготою, особеннымъ преимуществомъ адъюнкта Ломоносова передъ другими адъюн-

тами; но не слѣдуетъ забывать, что хоть въ вышеупомянутой записи и сказано, будто Ломоносовъ получаетъ „жалованье съ прочими адъюнктами равное“, однако же ему въ это время все еще продолжали выдавать только половинный адъюнктскій окладъ, вычитая остальную половину по указу Правительствующаго Сената въ наказанье „за его непорядочные поступки“. Хотя въ июлѣ 1744 г. Ломоносовъ и былъ наконецъ избавленъ отъ этого тяжкаго наказанія, и полный окладъ ему возвращенъ, однакоже можно себѣ представить, каково долженъ былъ бѣдствовать Ломоносовъ, получавшій въ Петербургѣ въ теченіе цѣлыхъ полутора года всего на все по сту восьмидесяти рублей въ годъ, т. е. по 15 руб. сер. въ мѣсяцъ! Принявъ это въ расчетъ, можно ли удивляться тому, что онъ дѣйствительно нуждался и въ одеждѣ, и даже въ пропитаніи, какъ онъ совершенно искренно высказываетъ въ своихъ вышеприведенныхъ нами запискахъ и прошеніяхъ, и что расходъ въ два рубля, вычитаемые у него за квартиру, долженъ былъ для него являться весьма значительнымъ расходомъ. Въ іюнѣ 1745 года Ломоносовъ возведенъ былъ въ профессорское званіе, а съ марта 1746 года начинаетъ получать и профессорское жалованье, по 600 р. въ годъ. Въ слѣдующемъ году получаетъ онъ и довольно изрядную казенную квартиру; но крайняя бѣдность все еще продолжала держать его въ своихъ желѣзныхъ тискахъ, такъ какъ ему приходилось постоянно уплачивать старые долги свои, да къ тому же и жалованье выдавалось академіею неаккуратно, и по прежнему часто выдавалось книгами изъ академической книжной лавки. По крайней мѣрѣ, въ ноябрѣ и декабрѣ 1747 года и даже въ началѣ 1748, мы опять встрѣчаемся съ прежними „доношеніями“ Ломоносова (уже профессора, а не адъюнкта), въ которыхъ онъ проситъ о скорѣйшей выдачѣ ему заслуженнаго за прошлые мѣсяцы жалованья „для его крайнихъ нуждъ, и что жена его находится въ великой болѣзни, а медикаментовъ купить не на что“, и т. д.

Только съ конца 1748 года денежные обстоятельства Ломоносова начинаютъ нѣ-

¹⁾ Этотъ академическій домъ находился на Васильевскомъ острову, около нынѣшняго Тучкова моста, на набережной Малой Невы.

сколько поправиться, вѣроятно вслѣдствіе одновременнаго полученія имъ 2.000 р. въ подарокъ отъ Императрицы за его „оду въ день восшествія на престолъ Елисаветы Петровны“, поднесенную Государынѣ президентомъ Академіи Наукъ, графомъ Разумовскимъ.

Но и въ двухъ каморкахъ, и среди тяжелой нужды въ первѣйшихъ насущныхъ потребностяхъ и среди множества неприятностей и препятствій, представляемыхъ молодому русскому ученому нѣмецкой администраціей академіи, и даже подъ арестомъ за „непорядочные поступки“ — Ломоносовъ не оставляетъ своихъ непрерывныхъ занятій наукою, трудится, дѣлаетъ опыты, приобретаетъ на послѣдній грошъ книги, сносятся съ учеными, изобрѣтаетъ новые способы изслѣдованій, и, постоянно расширяя кругъ своихъ занятій, наконецъ положительно заваливаетъ Академію отчетами о своей неутомимой и разносторонней дѣятельности и невольно обращаетъ на себя вниманіе самыхъ враговъ своихъ. Съ полнымъ сознаниемъ своего достоинства и силъ, твердо уповавъ въ свое будущее и постоянно стремясь къ развитію своей дѣятельности, Ломоносовъ въ апрѣлѣ 1745 года подаетъ въ канцелярію академіи, на Высочайшее имя прошеніе, въ которомъ говоритъ: „Указомъ, даннымъ изъ высокаго кабинета и по опредѣленію Академіи, посланъ былъ я, низжайшій, въ Германію... для наученія физики, химіи и горныхъ дѣлъ съ такимъ обѣщаніемъ, что ежели я указаннымъ мнѣ наукамъ обучусь и о томъ подамъ свидѣтельства и специмены, то по моему возвращеніи опредѣлить меня, низжайшаго, профессоромъ... Я черезъ полныя года указаннымъ мнѣ наукамъ обучился, и сверхъ того въ математикѣ и въ другихъ полезныхъ наукахъ довольноное основаніе положилъ. Минувшаго 1741 г., ордеромъ, присланнымъ отъ Академіи Наукъ, призванъ я, низжайшій, изъ Германіи возвратно, и подалъ въ оную Академію свидѣтельство и специмены о моей наукѣ, кото-

рые отъ всѣхъ профессоровъ анпробовали; а потому я, низжайшій, опредѣленъ при той же Академіи адъюнктомъ физическаго класса... Въ бытность мою при Академіи Наукъ трудился я, низжайшій, довольно въ переводахъ физическихъ, химическихъ и мѣтическихъ съ Латинскаго, Нѣмецкаго и Французскаго языковъ на Россійскій, и сочинилъ на Россійскомъ же языкѣ горную книгу и Риторику, и сверхъ того въ чтеніи славянскихъ авторовъ, въ обученіи назначенныхъ ко мнѣ студентовъ, въ изобрѣтеніи новыхъ химическихъ опытовъ, сколько за неимѣніемъ химической лабораторіи быть можетъ, и въ сочиненіи новыхъ диссертаций съ возможнымъ прилежаніемъ упражняюсь; чрезъ что я, низжайшій, къ вышеупомянутымъ наукамъ больше знанія присовокупилъ. Но точію я по силѣ онаго обѣщанія профессоромъ не произведенъ, отчего къ большому пронысканію оныхъ наукъ ободреніе не имѣю“. Въ заключеніе Ломоносовъ проситъ о томъ, чтобы его пожаловали профессоромъ химіи. Вслѣдствіе этого прошенія, Академія Наукъ не могла отказать Ломоносову въ возвышеніи, и сама ходатайствовала о возведеніи его въ званіе профессора химіи. „Специмены“ Ломоносова, „анпробованные“ Академіею, посланы были на разсмотрѣніе иностраннымъ ученымъ, и одинъ изъ знаменитѣйшихъ современниковъ Ломоносова, извѣстный математикъ Эйлеръ, далъ о немъ такой лестный отзывъ ¹⁾, что уже не оставалось болѣе мѣста никакимъ сомнѣніямъ относительно значенія учености и талантовъ новаго профессора. Волею-неволею приходилось признавать въ Ломоносовѣ то, чего не отвергали въ немъ первѣйшіе изъ современныхъ ему ученыхъ знаменитостей, и въ слѣдующемъ же 1746 году Академія удостоила своего новаго профессора самымъ лестнымъ отзывомъ. Отзывъ этотъ былъ сдѣланъ по поводу того, что Ломоносовъ сталъ просить о выдачѣ ему отъ Академіи тѣхъ денегъ, которыя были ему, по его расчету, не доданы за все время его пребыванія за

¹⁾ „Всѣ записки Ломоносова“ — такъ пишетъ Эйлеръ — «по части физики и химіи, не только хороши, но превосходны, ибо онъ съ такою основательностію излагаетъ любопытнѣйшіе, совершенно неизвѣстные и необъяснимые для величайшихъ гениевъ предметы, что я вполне убѣжденъ въ истинѣ его объясненій; по сему случаю я долженъ отдать справедливость г. Ломоносову, что онъ обладаетъ счастливѣйшимъ гениемъ для открытій феноменовъ физики и химіи; и желательно было бы, чтобы всѣ прочія академіи были въ состояніи производить открытія, подобныя тѣмъ, которыя совершилъ г. Ломоносовъ».

границей. Ссылаясь на долги, оставленные въ Германіи, онъ требуетъ, чтобы назначенныя ему въ это время деньги были ему доданы: „и хотя бы такихъ долговъ по мнѣ въ Германіи не имѣлось, однако всю опредѣленную сумму на мое содержаніе и обученіе выдать надлежитъ, по примѣру всѣхъ посылающихся для обученія въ чужія государства, которымъ даются деньги всѣ сполна напередъ, не требуя отъ нихъ никакого щету. Сверхъ сего, опредѣленная на меня сумма не вотще, но къ подлинной пользѣ и чести государственной употреблена, что доказываетъ мое законное произведеніе въ адъюнкты и профессора“. На прошеніе послѣдовала резолюція Академіи, на основаніи которой, — „за такіе реченнаго Ломоносова предъ прочими товарищи ево ревностные труды и особливую ево предъ ними къ пользѣ государственной дѣйствительно полученную науку и за разныя въ бытность здѣсь въ Россіи къ пользѣ и чести Академіи оказанныя услуги“ — рѣшено выдать ему, Ломоносову, означенную недодачу (380 р. 10 ¹/₂ к.), происшедшую въ Марбургѣ и другихъ нѣмецкихъ городахъ. Недодача эта, по тогдашнему обычаю, выдана была Ломоносову книгами изъ академической книжной лавки.

Ободренный этими первыми успѣхами, гордый вѣрою въ свои силы и горячо преданный интересамъ „любезнаго ему Россійскаго отечества“, Ломоносовъ съ этого времени (т. е. съ конца 40-хъ годовъ) вступаетъ въ новый и лучшій періодъ своей жизни, наиболѣе обильный проявленіями его дѣятельности какъ ученаго, какъ литератора, какъ представителя современнаго ему русскаго общества, на пользу котораго онъ готовъ былъ всѣмъ жертвовать. Этотъ періодъ жизни Ломоносова, ознаменованный для него славой и успѣхами, начиншійся при весьма благоприятныхъ условіяхъ, на основаніи которыхъ Ломоносовъ, по видимому, могъ ожидать исполненія въ будущемъ самыхъ блестящихъ надеждъ и плановъ — этотъ періодъ его жизни можетъ служить лучшимъ доказательствомъ того, какъ мало-способнымъ оказывалось современное геніальному Ломоносову общество къ поддержкѣ людей передовыхъ, прокладывавшихъ новые пути для русскаго просвѣщенія, указывавшихъ обществу новыя цѣли, достойныя

его стремленій. Общество было еще неразвито и молодо, еще не понимало своихъ собственныхъ выгодъ, а потому и неспособно было вполнѣ оцѣнить тѣхъ энергическихъ дѣятелей, которые болѣе другихъ стремились къ развитію его матеріальнаго благосостоянія и ускоренію его нравственнаго роста. Но въ этомъ второмъ періодѣ своей дѣятельности, проученный горькимъ опытомъ, Ломоносовъ является намъ уже не тѣмъ горячимъ, заносчивымъ, гордымъ юношей, который способенъ къ „продерзости“ и котораго за „непорядочные поступки“ можно устранить отъ участія въ конференціи и наказать уменьшеніемъ оклада или даже простымъ арестомъ... Ломоносовъ началъ понимать все ничтожество отдѣльной, хотя бы даже и геніальной, личности среди современнаго ему общества, и на этомъ основаніи стараться искать себѣ поддержки и защиты въ средѣ „знатныхъ особъ“. Съ другой стороны, пользуясь счастливымъ для Россіи оборотомъ въ сферѣ правительственной, тѣмъ, что послѣ Бирона наступило время полного торжества для русской партіи, Ломоносовъ старается черезъ своихъ доброхотовъ и покровителей обратить вниманіе правительства на свою литературную, научную и даже практическую дѣятельность, постоянно выставляя на видъ главную цѣль всѣхъ своихъ стремленій — „пользу, честь и славу любезнаго ему Россійскаго отечества“. Но въ отношеніяхъ своихъ къ этимъ доброхотамъ и покровителямъ Ломоносовъ остается такимъ же самобытнымъ и независимымъ поморомъ, какимъ являлся онъ въ отношеніи къ товарищамъ своимъ академикамъ. Онъ не стыдился просить, даже докучать своими просьбами вельможамъ, если предвидѣлъ, что отъ ихъ ходатайства передъ Императрицею, отъ ихъ покровительства и связей, зависѣлъ успѣхъ дѣла, задуманнаго имъ, или удачное примѣненіе къ дѣйствительности, ко благу народа, тѣхъ проэктовъ, которые безпрестанно ронялись въ головѣ его. Часто прибѣгалъ онъ къ „знатымъ особамъ“ и въ самомъ разгарѣ борьбы, за рѣшеніемъ какого нибудь вопроса, возникшаго въ стѣнахъ академіи. Но личныя выгоды, узкіе интересы, матеріальныя или служебныя, занимаютъ очень незначительное мѣсто въ перепискѣ Ломоносова съ его высокими друзьями Да-

же тамъ, гдѣ онъ хлопочетъ о награжденіи чиномъ, объ увеличеніи своихъ матеріальныхъ средствъ, о возможности быть избраннымъ въ члены какого-нибудь ученаго заграничнаго общества, — Ломоносовъ никогда не снисходитъ до просьбы: онъ требуетъ повышенія чиномъ или матеріальной помощи, ссылаясь прямо на заслуги свои, на труды, на пользу, которую онъ приносилъ и приноситъ, или, указывая на блестящее положеніе ученыхъ за границею и сравнивая съ нимъ жалкое положеніе ученаго и литератора въ русскомъ обществѣ, доказываетъ, что ему долѣе не приходится оставаться въ этомъ положеніи, и что если правительство желаетъ прямой пользы русскому просвѣщенію, то прежде всего должно возвысить въ глазахъ общества значеніе ученаго и литератора. А такъ какъ современное общество придавало огромное значеніе чинамъ, то Ломоносовъ и требуетъ постоянно награжденія своихъ заслугъ чинами, наравнѣ съ другими, и даже очень ревниво отстаиваетъ передъ товарищами-академиками свое старшинство службой и рангами въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ его стараются обойти при помощи канцелярской интриги или хотять отъ него избавиться, какъ отъ безпкойнаго и непокладливаго человѣка, который все хочетъ дѣлать по своему, всюду старается на первый планъ выставить русскіе интересы. Что у Ломоносова могли быть только такіи чистыя и высокіи цѣли даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ хлопоталъ, по видимому, о своихъ личныхъ выгодахъ, въ этомъ убѣждаетъ насъ та благородная гордость и глубокое сознаніе собственнаго достоинства, которыя высказываются въ нѣкоторыхъ письмахъ его къ „знатымъ особамъ“, и подтверждаются свидѣтельствомъ даже не слишкомъ дружелюбно смотрѣвшихъ на него академиковъ-нѣмцевъ. Такъ, въ одномъ изъ писемъ своихъ къ И. И. Шувалову (14 января 1761 г.), — котораго вообще Ломоносовъ очень уважалъ, въ которомъ цѣнилъ многія стороны характера и ума — недовольный тѣмъ, что Шуваловъ настаивалъ на примиреніи Ломоносова съ Сумароковымъ и старался ихъ сблизить, онъ прямо высказывалъ ему: „Не хотѣлъ васъ оскорбить отказомъ при

многихъ кавалерахъ, показать вамъ ослушаніе; только васъ утѣряю, что въ послѣдній разъ. И ежели, несмотря на мое усердіе, будете гнѣваться, я полагаюсь на помощь Всевышняго, который одинъ мнѣ былъ въ жизни защитникъ, и никогда не оставилъ, когда я пролилъ предъ нимъ слезы въ моеї справедливости. Ваше Превосходительство, имѣя нынѣ случай служить отечеству своимъ помоществованіемъ въ наукахъ, можете лучшія дѣла производить, нежели меня мучить съ Сумароковымъ... Не токмо у столь знатныхъ господъ, или у какихъ земныхъ владыкѣ, дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мнѣ далъ смыслъ, пока развѣ отниметъ... Ежели Вамъ любезно распространеніе наукъ въ Россіи; ежели мое къ вамъ усердіе не истало въ памяти, постарайтесь о скоромъ исполненіи моихъ справедливыхъ для пользы отечества прошеній, а о примиреніи меня съ Сумароковымъ, какъ о мелочномъ дѣлѣ, оставьте“. Въ другомъ письмѣ, также къ И. И. Шувалову (отъ 17 апрѣля 1760 г.) Ломоносовъ выражаетъ еще рѣзче и прямѣе свой взглядъ на отношеніе къ „знатымъ особамъ“... „Едва принимаю свѣтлость“ — пишетъ онъ — „послать вамъ сіи строки. И нонче бы не послалъ, еслибъ меня общая польза отечества къ тому не побуждала. Мое единственное желаніе состоитъ въ томъ, чтобъ привести въ вожделенное теченіе гимназію и университетъ, откуда могутъ произойти многочисленныя Ломоносовы: и для того Ваше Превосходительство всеуниженно прошу постараться, чтобы изъ конференціи, при дворѣ учрежденной, данъ былъ формуляръ привилегіи по прошенію Его Сіятельство-академіи наукъ г. президента, чего при семъ копіи сообщаю ¹⁾. Сіе будетъ большее всѣхъ благодѣяніе, которыя, Ваше Превосходительство, мнѣ въ жизнь сдѣлали. По окончаніи сего только хочу искать способа и мѣста, гдѣ бы чѣмъ рѣже, тѣмъ лучше видѣть было персонъ высокородныхъ, которыя мнѣ некою моею природою попрекаютъ, видя меня какъ бѣльмо на глазу“. Не слѣдуетъ забывать, что такую рѣчь къ „высокороднымъ персонамъ“ держалъ современникъ Тредьяковскаго, не сумѣвшаго защитить себя да-

¹⁾ Здѣсь идетъ дѣло объ университетской привилегіи, т. е. о привилегіи на открытіе особаго, отдѣльнаго отъ Академіи Наукъ, университета въ Петербургѣ.

же отъ личныхъ оскорбленій! И только благодаря такой силѣ гениальнаго, самобытнаго и гордаго помора, высшіе слои современнаго общества начинали постигать настоящее значеніе литератора и ученаго въ средѣ общественной дѣятельности, начинали охотно оказывать ему покровительство и даже нѣсколько увлекаться тою ролью меценатовъ, которая выпадала имъ на долю. Въ числѣ такихъ меценатовъ, покровительствовавшихъ Ломоносову и дѣйствительно умѣвшихъ оцѣнивать его заслуги русской наукѣ, литературѣ и просвѣщенію, нельзя не упомянуть здѣсь съ благодарностью имена графовъ Орловыхъ, графа М. Л. Воронцова, графа П. И. Шувалова, и въ особенности Ивана Ивановича Шувалова, бывшаго кураторомъ Московскаго Университета. Облизились случайно съ Ломоносовымъ въ 1749 году, онъ съ этой поры и до самой смерти Ломоносова не прерывалъ съ нимъ тѣсныхъ дружескихъ сношеній и переписки, оказывалъ ему постоянно самую дѣятельную помощь и содѣйствіе, не только въ дѣлахъ академическихъ, не только поощрялъ его къ занятіямъ русскою словесностью и русской исторіей, но даже помогалъ Ломоносову и въ тѣхъ практическихъ предпріятіяхъ, за которыми тотъ принимался. Ему посвящалъ Ломоносовъ свои оды, съ нимъ дѣлился своими планами, его именемъ украшалъ посланія и прозекты свои. Новѣйшіе біографы Ломоносова однакоже справедливо замѣчаютъ, что И. И. Шуваловъ оказалъ даже нѣсколько одностороннее вліяніе на Ломоносова, какъ ученаго, отвлекая его отъ занятій науками естественными и побуждая удѣлить значительную долю времени на занятія словесностью и исторіей. И дѣйствительно, хотя Ломоносовъ, отчасти по собственному желанію, отчасти же побуждаемый къ тому Академіей, сталъ заниматься словесными науками и гораздо ранѣе сближенія своего съ Ив. Ив. Шуваловымъ¹⁾, однакоже вліяніе послѣдняго на дѣятельность Ломоносова не можетъ подлежать сомнѣнію. Какъ до

1749 года въ дѣятельности Ломоносова преобладаетъ склонность къ наукамъ естественнымъ, такъ въ теченіе слѣдующихъ за этимъ семи или восьми лѣтъ (т. е. между 1749 и 1755, 1757 гг., въ первые годы сближенія съ Шуваловымъ) Ломоносовъ положительно склоняется въ занятіяхъ своихъ на сторону словесныхъ наукъ и даже изящной литературы. Въ теченіе этого періода онъ пишетъ множество стихотворныхъ над-



И. И. Шуваловъ

И. И. Шуваловъ.

писей на разные торжественные случаи, и по заказу, и по собственному желанію, пишетъ по заказу трагедіи („Гамира и Селимъ“ въ 1751 г.; „Демофонтъ“ въ 1752 г.), сочиняетъ посланія въ стихахъ, идилліи, даже задумываетъ большую эпическую поэму, въ которой намѣревается воспѣть Петра Великаго (1757 года),²⁾. Въ тотъ же самый пе-

¹⁾ Къ 1739 г. относится его изъ-за границы присланное «письмо о правилахъ русскаго стихотворства», первая ода, а въ 1746 году была уже готова «Риторика», послѣ окончанія которой Ломоносовъ сталъ собирать материалы для русской грамматики. Въ 1748 году написалъ онъ разсужденіе «о пользѣ книгъ церковныхъ». ²⁾ Только двѣ первыя главы этой поэмы были написаны Ломоносовымъ. Множество разнообразныхъ изысканій, а можетъ быть и сомнѣніе того, что трудъ сочиненія такой поэмы ему не по силамъ, воспрепятствовали продолженію ея.

родъ Ломоносовъ произносить свои замѣчательныя похвальные слова „Елисаветъ“ (1749 г.), составляетъ „Россійскую грамматику“ (1755 г.), собираетъ материалы для Россійской Исторіи (начиная съ 1750 г.), готовитъ обширный „планъ филологическихъ изслѣдованій“. Кажется, однакоже, что Шуваловъ, недовольствуясь этою усиленною дѣятельностью Ломоносова по литературѣ, исторіи и словесности, старался склонить его къ тому, чтобы онъ окончательно посвятилъ себя наукамъ словеснымъ, оставивъ занятія науками естественными. Ломоносовъ на это не соглашался и однажды даже высказалъ ему въ одномъ изъ своихъ писемъ, что сердце его болѣе лежитъ къ наукамъ естественнымъ, и что онъ, занимаясь словесными для пользы общей, считаетъ занятіе первыми удовольствіемъ и развлеченіемъ для себя, и какъ-бы отдохновеніемъ отъ трудовъ. „Что же до моихъ въ физикѣ и химіи упражненій касается, чтобы ихъ вовсе покинуть, то нѣтъ въ томъ ни нужды, ниже возможности“ — такъ пишетъ Ломоносовъ Шувалову въ январѣ 1755 года. „Всякъ человѣкъ требуетъ себѣ отъ трудовъ упокоенія: для того оставивъ настоящее дѣло, ищетъ себѣ съ гостями или съ домашними препровожденія времени, картами, шашками и другими забавами, а иные и табачнымъ дымомъ; отъ чего я уже давно отказался, затѣмъ, что не нашелъ въ нихъ ничего, кромѣ скуки. И такъ уповаю, что и мнѣ на упокоеніе мое отъ трудовъ, которые я на собраніе и сочиненіе Россійской Исторіи и на украшеніе Россійскаго слова полагаю, позволено будетъ въ день нѣсколько часовъ времени, чтобы ихъ, вмѣсто билльарду, употребить на физическіе и химическіе опыты, которые мнѣ не токмо отѣнною матеріи вмѣсто забавы, но и движеніемъ вмѣсто лекарства служить имѣютъ; и сверхъ сего пользу и честь отечеству конечно принести могутъ, едва менѣе ли первой“. Нѣкоторое понятіе о неутомимой, кипучей дѣятельности Ломоносова даетъ намъ его же письмо къ И. И. Шувалову, отъ 31 мая 1753 года, въ которомъ онъ представляетъ ему краткій отчетъ о своихъ текущихъ занятіяхъ:

„Доношу Вашему Превосходительству о томъ, что похвальная Ваша къ наукамъ охота требуетъ. Во первыхъ, что до электрической силы надлежитъ, то изысканы

здѣсь два особливые опыты весьма недавно, — одинъ г. Рихманомъ чрезъ машину, а другой мною въ тучѣ... Примѣтилъ я у своей громовой машинки, 25 числа сего апрѣля, что безъ грома и молніи, чтобы слышать или видѣть можно было, нитка отъ желѣзнаго прута отходила и за рукою гонялась; а въ 23 число того же мѣсяца, при прохожденіи дождеваго облака безъ всякаго чувствительнаго грома и молніи, происходили отъ громовой машины сильныя удары съ ясными искрами и съ трескомъ издавна слышимымъ, что еще нигдѣ не примѣчено, и съ моею давнею теоріею о теплотѣ и съ нынѣшней о электрической силѣ весьма согласно, и мнѣ къ будущему публичному акту весьма прилично. Оный актъ буду я отправлять съ г. профессоромъ Рихманомъ. Онъ будетъ предлагать опыты свои, а я теорію и пользу отъ оной происходящую, къ чему уже я приуготовляюсь. Что же надлежитъ до второй части руководства къ краснорѣчію, то она уже нарочито далече и въ концѣ октябрю мѣсяца уповаю изъ печати выйдетъ. О первомъ томѣ Россійской Исторіи по обѣщанію моему стараніе прилагаю, чтобы онъ къ новому году письменной изготовился. Ежели кто по своей профессіи и должности читаетъ лекціи, дѣлаетъ опыты новыя, говоритъ публично рѣчи и диссертации, и въ оной сочиняетъ разныя стихи и проекты къ торжественнымъ изъясненіямъ радости, составляетъ правила краснорѣчія на своемъ языкѣ и исторію своего отечества, и долженъ еще на срокъ поставить, отъ того я ничего больше требовать не имѣю, и готовъ бы съ охотою имѣть терпѣніе, когда бы только что путное родилось“.

И всему этому Ломоносовъ предавался съ страстнымъ увлеченіемъ, съ непремѣннымъ желаніемъ принести пользу и твердою увѣренностью въ томъ, что онъ ее принести можетъ. Его безконечно разносторонняя дѣятельность не была суетливымъ и безтолковымъ перебѣганьемъ самоучки отъ одной отрасли наукъ къ другой, бесполезнымъ во всѣхъ отношеніяхъ, онъ — строгій и положительный ученый — имѣлъ опредѣленную дѣлу въ своей дѣятельности и вполне сознавалъ призваніе своей жизни; то и другое онъ высказалъ совершенно ясно въ одной изъ своихъ замѣтокъ, писанной, вѣроятно около 1750 г., т. е. именно того времени, когда

Ломоносову впервые удалось вздохнуть свободно, и, несколько оправившись от нужды и бѣдствій всякаго рода, выступить вполне самостоятельно на поприще ученой и литературной дѣятельности. „Начинаю со словесныхъ наукъ“ — говоритъ онъ въ этой запискѣ, вѣроятно набрасывая себѣ планъ занятій въ ближайшемъ будущемъ— „и ежели Богъ велитъ, покажу хотя нѣкоторый приступъ ко всѣмъ мнѣ известнымъ наукамъ... Я самъ и не совершу, однако начну, то будетъ другимъ послѣ меня легче дѣлать“¹⁾. И къ этой-то дѣли онъ стремился постоянно, настойчиво, пренебрегая всѣми препятствіями, принося ей въ жертву и свои интересы, и свои силы. Только при такомъ взглядѣ на дѣятельность Ломоносова мы начинаемъ понимать, какъ успѣвалъ онъ работать по двумъ совершенно различнымъ отраслямъ наукъ, и по каждой изъ нихъ не только представлять серьезные труды, ученыя изслѣдованія, но даже дѣлать открытія, изобрѣтать новыя орудія и способы къ наблюденію различныхъ явленій и свойствъ природы. При томъ же, Ломоносовъ, по самой натурѣ своей, никакъ не могъ заставить себя ограничиться однимъ только кабинетнымъ трудомъ: ему постоянно хотѣлось примѣнять свои теоретическія знанія къ практикѣ—къ мореплаванью, архитектурѣ, горнымъ промысламъ, искусству, фабричнымъ производствамъ—вносить въ русскую жизнь результаты своихъ теоретическихъ, научныхъ занятій, сближать русскую жизнь съ наукой, наглядно знакомить русскихъ людей съ пользою, которую можетъ наука приносить. На этомъ основаніи, напримѣръ, горячо принявшись за выдѣлку стекла, онъ въ началѣ 1750 годовъ, при помощи правительства, самъ становится во главѣ стекляннаго завода, а потомъ, примѣняя къ выдѣлкѣ стекла свои химическія свѣдѣнія, берется за выдѣлку собственно-цвѣтныхъ стеколъ для мозаическаго художества, въ которомъ пер-

вые успѣшныя опыты увлекаютъ его къ дальнѣйшимъ и грандіознымъ примѣненіямъ мозаики для украшенія нашихъ церквей и увѣковѣченія подвиговъ Петра Великаго въ видѣ цѣлаго ряда громаднхъ мозаическихъ картинъ. Съ другой стороны, при всѣхъ этихъ должностныхъ и внѣ-должностныхъ своихъ занятіяхъ, онъ вынужденъ еще быть и цензоромъ, и корректоромъ произведеній литературныхъ, присылаемыхъ ему на разсмотрѣніе правительствомъ или поручаемыхъ академію; онъ самъ, кромѣ того, пишетъ и переводитъ учебники, сообщаетъ отчеты о ходѣ науки и литературы въ Европѣ, участвуетъ въ журналахъ, въ изданіи календарей, и прилагая заботу ко всему, что можетъ быть дорого и близко русскому сердцу; рядомъ съ этими трудами ведетъ цѣлый рядъ проэктовъ, касающихся Россіи, умноженія ея населенія, экономическихъ условій жизни народнои и государственной, изслѣдованія Россіи въ этнографическомъ и географическомъ отношеніи, открытія сѣвернаго полюса и т. д.²⁾. Это необъятное разнообразіе дѣятельности выражалось отчасти и постепеннымъ расширеніемъ круга дѣйствій Ломоносова въ самой академіи и внѣ оной, и постепеннымъ накопленіемъ новыхъ обязанностей, которыя долженъ былъ принимать на себя Ломоносовъ. Послѣ 1755 года, онъ становится сначала совѣтникомъ академической канцеляріи, потомъ принимаетъ въ свое вѣдѣніе академическую гимназію и университетъ, наконецъ является и во главѣ географическаго департамента. Съ этого времени заботы и потребности административной дѣятельности начинаютъ болѣе и болѣе привлекать къ себѣ его вниманіе, и мало по малу овладѣваютъ всѣмъ его временемъ, которое онъ уже только урывками можетъ посвящать литературѣ и наукамъ. Къ этому періоду его жизни относятся всѣ составленные имъ уставы учебныхъ заведеній и проекты, касающіеся рас-

¹⁾ А. Будиловича; Ломоносовъ, какъ натуралистъ и филологъ; Спб. 1869. Стр. 7. ²⁾ Г. Будиловичъ, въ книгѣ своей, приводитъ слѣдующій любопытный перечень трудовъ Ломоносова, уцѣлѣвшихъ до нашего времени, считая въ общей массѣ: «1 поэма (неоконченная), 2 трагедіи, 36 одъ (изъ нихъ 5 переводныхъ), около 100 мелкихъ стихотвореній, 5 похвальныхъ и благодарственныхъ словъ, 17 ученыхъ разсужденій, 10 отчасти оригинальныхъ, отчасти переводныхъ учебниковъ, около 170 ученыхъ замѣтокъ разнаго содержанія и объема, 76 писемъ къ разнымъ лицамъ (къ одному И. И. Шувалову 33 письма) и наконецъ болѣе 350 разныхъ официальныхъ представлений и проектовъ».

пространения просвещения въ Россіи. Двѣ любимыя мечты являются у Ломоносова, и онъ всею душою стремится къ осуществленію ихъ: одна изъ нихъ, отдѣленіе отъ академіи университета, какъ особаго, высшаго образовательнаго заведенія, въ которомъ, притомъ же, всѣ профессора были бы русскіе. Заявляя при этомъ случаѣ о необходимости отправленія молодыхъ русскихъ ученыхъ за границу для окончанія образованія, Ломоносовъ между прочимъ предлагаетъ, „чтобы о выписываніи вновь и о приѣмѣ иностранныхъ профессоровъ безпрочное почти стараніе вовсе оставить, но крайнее положить попеченіе о наученіи и произведеніи собственныхъ природныхъ и домашнихъ, которые бы служили, назадъ не оглядываясь и не угрожая контрактомъ и взятіемъ абшита; а паче всего служили бы къ чести отечеству, которой отъ иностранныхъ нашему народу приписывать невозможно (2 іюня 1674)“¹⁾. Но университетъ Петербургскій, не смотря на всѣ старанія и хлопоты Ломоносова, не былъ открытъ, хотя уже все было готово къ открытію его, и даже написана была Ломоносовымъ та благодарственная рѣчь Елисаветѣ, которую слѣдовало говорить на торжествѣ по поводу этого открытія: болѣзнь и смерть Императрицы Елисаветы помѣшали приведенію благого дѣла въ исполненіе... Другою мечтою Ломоносова въ послѣдніе годы его жизни было преобразование Академіи Наукъ по такому плану, при которомъ бы ученая дѣятельность академиковъ могла являться независимой отъ академической канцеляріи. По этому поводу составлено было имъ нѣсколько подробныхъ записокъ и между прочимъ „Краткая исторія о поведеніи академической канцеляріи въ разсужденіи ученыхъ людей и дѣлъ“. Въ ней Ломоносовъ излагаетъ дѣйствія своихъ главнѣйшихъ недоброжелателей (Шумахера, Тауберта, Тенцова), рассказываетъ „академическія несчастія“, которыя приходится претерпѣвать наукѣ. Въ заключеніе краткой исторіи онъ восклицаетъ: „Какое же можетъ быть усердіе у Россіянъ, учащихся въ академіи, когда видятъ, что самый первый изъ нихъ, уже черезъ науки въ отечествѣ и въ Европѣ знатность заслужившій, и самымъ

Височайшимъ особамъ не безызвѣстный, принужденъ безпрестанно обороняться отъ недоброжелательныхъ происковъ и претерпѣвать нападенія почти даже до самаго конечнаго опроверженія и истребленія?“... „Едино упованіе состоитъ нынѣ, по Божію всемилостивѣйшей Государынѣ нашей, которая отъ истиннаго любленія къ наукамъ и отъ усердія къ пользѣ отечества можетъ быть разсмотрѣть и отнестись къ несчастію. Ежели же онаго не воспомянетъ, то вѣрить должно, что нѣтъ божескаго благоволенія, чтобы науки возрасли и распространились въ Россіи“.

Несмотря на эти временныя неудачи, изъ которыхъ такъ горько жаловался и сѣтовалъ Ломоносовъ, положеніе его въ это время, до конца царствованія Елисаветы (т. е. въ періодъ наибольшаго значенія И. И. Шумлова при дворѣ), могло называться блестящимъ по сравненію съ тѣмъ, что ожидало его въ близкомъ будущемъ. 25 декабря 1761 г. Елисавета скончалась. Ломоносовъ былъ глубоко огорченъ этимъ событіемъ и „сочиненная имъ по поводу его надписъ дышетъ неподдѣльнымъ чувствомъ горести“—но справедливому замѣчанію историка академіи. Но историческая необходимость не допускала возможности горевать слишкомъ долго: слѣдуя установившемуся обычаю нашихъ поэтовъ XVIII вѣка, Ломоносовъ долженъ былъ, черезъ нѣсколько дней послѣ кончины Елисаветы, написать стихотвореніе въ честь новаго императора, „на всерадостное Его востшествіе на всероссійскій престолъ и купно на новый 1762 годъ, въ изъявленіе радости, усердія и благоговѣнія“ отъ „всеподданнѣйшаго раба Михайлы Ломоносова“¹⁾. Зная пристрастіе Петра III къ Голштиніи, Ломоносовъ рѣшился даже и ея восхваленію посвятить одну строфу этого стихотворенія... Однакоже онъ долженъ былъ предвидѣть, что въ это царствованіе его положеніе въ обществѣ и въ академіи не можетъ потерпѣть слишкомъ большихъ измѣненій: И. И. Шумловъ продолжалъ и при дворѣ Петра III пользоваться особенною милостію, а другой сильный защитникъ нашего академика, графъ М. Воронцовъ, благодаря вліянію племянницы своей, графини Елисаветы Воронцовой, сдѣлался лицомъ

¹⁾ Ист. Академіи, II, 762.

еще болѣе значительнымъ. Но, исполнивъ свой обычный поэтический долгъ, Ломоносовъ опять возвратился къ своимъ многосложнымъ занятиямъ научнымъ, къ своимъ нескончаемымъ мозаическимъ работамъ, опять погрузился въ мутный омуть канцелярской академической борьбы съ Таубертомъ и Мюллеромъ — и позабылъ о политикѣ... До какой степени мало посвященъ былъ Ломоносовъ въ ея тайны, видно изъ того, что наканунѣ переворота 28 іюня 1762 г. онъ еще готовился къ академическому акту, который назначенъ былъ президентомъ на Петровъ день, и въ концѣ своей рѣчи, предметомъ которой служило его новое изобрѣтеніе въ катадиоптрической трубѣ, онъ, по заведенному обычаю, упоминалъ о царствовавшемъ императорѣ, и его имя связывалъ съ дорогими для себя воспоминаніями о Преобразователѣ. „Прошу васъ быть довольными“ — собирался Ломоносовъ сказать слушателямъ своимъ въ заключеніе рѣчи — „добрымъ началомъ и совершенно увѣренными, что при покровительствѣ августѣйшаго самодержца нашего, Петра Третьяго, наслѣдника родовыхъ добродѣтелей, съ сомномъ всѣхъ прочихъ наукъ возрастетъ и астрономія“. Историкъ академіи замѣчаетъ, что этимъ положеніемъ не суждено было не только осуществиться, но и быть произнесенными въ торжественномъ засѣданіи Академіи Наукъ. „Наканунѣ дни, въ который оно было назначено, Петръ III подписалъ отреченіе отъ престола, а 6 іюля 1762 г. его уже не было на свѣтѣ“¹⁾.

Это событіе должно было оказать на участь Ломоносова неожиданное вліяніе. вмѣстѣ со вступленіемъ на престолъ Екатерины II. Шуваловы и Воронцовы, — такъ много причинившіе ей непріятностей и въ то время, когда она была великой княгиней, и потомъ — въ царствованіе ея супруга, — должны были конечно пасть, можетъ быть даже подвергнуться преслѣдованіямъ... Ломоносовъ, пользовавшійся весьма громкою извѣстностью литературною, открыто стоявшій въ числѣ усерднѣйшихъ сторонниковъ Шуваловыхъ и Воронцовыхъ, не могъ, конечно, рассчитывать на милости Екатерины, и впредъ, въ близкомъ будущемъ, полное паденіе своего значенія и въ обществѣ, и

въ средѣ академической. Тѣмъ не менѣе, суровый обычай времени требовалъ того, чтобы голосъ поэзи сочувственно отозвался торжественнымъ поздравительнымъ произведеніемъ и встрѣтилъ привѣтомъ своимъ вступленіе на престолъ новой властительницы судебъ Россіи... И чѣмъ скорѣе дѣйствовало въ этомъ случаѣ поэтическое вдохновеніе, тѣмъ болѣе было надежды для поэта на поддержку значенія своего во время наступающаго царствованія. И вотъ, въ то время, когда отпечатанная уже актовая рѣчь Ломоносова предавалась поспѣшному уничтоженію со стороны осторожнаго и чуткаго къ политикѣ начальства Академіи, Ломоносовъ уже изготовлялъ: „Оду торжественную ея Императорскому Величеству всепресвѣтѣйшей, державнѣйшей великой государынѣ императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, самодержицѣ всероссійской, на преславное ея восшествіе на всероссійскій, императорскій престолъ іюня 28 дня 1762 года, въ изъявленіе истинной радости и вѣрноподаннаго усердія и искренняго поздравленія приносится отъ всеподданнѣйшаго раба Михайла Ломоносова.“ И въ этой одѣ Ломоносовъ уже основываетъ свое поэтическое вдохновеніе на манифестѣ Екатерины II (6 іюля 1762), уже дѣлаетъ разные, непріятные для нѣмцевъ намеки и порицаетъ пристрастіе къ нимъ, открыто высказывавшееся въ предшествовавшее царствованіе.

Но предупредительная поэтическая поспѣшность Ломоносова не достигла своей цѣли: онъ не угадалъ характера новой императрицы, „первой, покинувшей систему опалъ и преслѣдованія людей, пользовавшихся значеніемъ въ предшествовавшія царствованія“²⁾ Екатерина не мстила своимъ врагамъ и ихъ ближайшимъ сторонамъ: — она съ достоинствомъ умѣла отъ нихъ отвернуться и забыть о нихъ... Такой-то участи полнаго забвенія подвергся и Ломоносовъ въ первое время царствованія Екатерины. Въ то время, какъ на всѣхъ окружавшихъ его, и при томъ его личныхъ враговъ, сыпались щедрія награды деньгами и чинами, въ то время, когда Тепловъ сдѣлался первымъ дѣльцомъ въ кабинетѣ императрицы, когда Елагинъ, произведенный въ дѣйствительные статскіе совѣтники изъ отставныхъ полков-

¹⁾ Тамъ же, II, 766. ²⁾ Пекарскій, Ист. Академіи. II, 766.

никовъ, также призванъ былъ на службу въ кабинетъ; когда Таубертъ, „этотъ исконный врагъ Ломоносова,“ тоже удостоенъ былъ весьма значительнаго по тому времени повышенія въ чинъ (ему дали статскаго совѣтника): — одинъ Ломоносовъ оставался не только незамѣченнымъ, но и явно забытымъ...

Но забвеніе это не отняло у Ломоносова бодрости. Замѣчая большую перемену въ отношеніяхъ къ себѣ со стороны начальства Академіи и повысившихся своихъ товарищей по службѣ, Ломоносовъ ищетъ покровительства братьевъ Орловыхъ (Феодора и Григорія), и черезъ нихъ ходатайствуетъ о повышеніи его чиномъ, и дѣлаетъ различныя представленія, касающіяся общихъ академическихъ интересовъ... Но видно, что непріятности по Академіи и неопредѣленность общественнаго положенія, не обѣщавшая ничего утѣшительнаго въ будущемъ, дурно повліяли на Ломоносова. Онъ сталъ хворать... Между тѣмъ, враги его не дремали. 17 апрѣля 1763 года, графъ К. Разумовскій, вѣроятно прискучившій несогласіями и пререканіями, происходившими между Ломоносовымъ, Мюллеромъ и Таубертомъ, написалъ изъ Москвы (гдѣ въ то время долго оставался дворъ и императрица послѣ коронаціи): „Гг. членамъ академической канцеляріи рекомендуется впредь излишніе между собою споры оставить, наблюдая благопристойность и честь академіи, а дѣлать то, съ чего бы вѣщной государству пользы слѣдовать могло...“ Вскорѣ послѣ того, вѣроятно подвліяніемъ близкихъ ко двору недруговъ Ломоносова, поднятъ былъ вопросъ объ увольненіи его изъ Академіи. Въ концѣ апрѣля 1763 г. Екатерина уже знала объ этомъ, и 23 числа того же мѣсяца писала къ Олсуфьеву: „Адамъ Васильевичъ! Я чаю — Ломоносовъ бѣденъ: сговоритесь съ гетманомъ (т. е. К. Разумовскимъ), не можно-ли ему пенсіонъ дать, и скажи мнѣ отвѣтъ“. Нѣсколько дней спустя состоялся слѣдующій именной указъ сенату: „Коллежскаго совѣтника Михайлу Ломоносова всемилостивѣйше пожаловали мы въ статскіе совѣтники и вѣчною отъ службъ отставкою съ половиннымъ по смерти его жалованьемъ. Екатерина. Москва, мая 2 дня, 1763 года.“

15 мая извѣстіе объ этомъ указѣ дошло до Ломоносова, который въ тотъ же день отказался подписать журналы и протоколы по академической канцеляріи, и уѣхалъ въ свое помѣстье, за Ораніенбаумомъ, а 16 мая Мюллеръ уже писалъ въ Германію къ одному изъ недруговъ Ломоносова радостное извѣщеніе о томъ, что „Академія освобождена отъ Ломоносова!“

На этотъ разъ, однакоже, радость Мюллера и его сотоварищей оказалась немного поспѣшною. 13 мая 1763 г. получена была въ сенатъ собственноручная записка императрицы Екатерины II: „есть-ли указъ о Ломоносовской отставкѣ еще не посланъ въ Петербургъ, то сейчасъ его ко мнѣ обратно прислать“. „Что побудило Екатерину II“ (замѣчаетъ историкъ академіи) „отмѣнить свой указъ объ отставкѣ Ломоносова — остается неизвѣстнымъ, но несомнѣнно, что это произошло безъ всякаго съ его стороны ходатайства¹⁾. И вотъ онъ снова, къ ужасу Мюллера и Тауберта, явился въ академической канцеляріи, болѣе чѣмъ когда либо ободренный къ дѣятельности, и по прежнему готовый къ той борьбѣ, на которую онъ обрекалъ себя до смерти.

Послѣ этихъ событій Ломоносовъ прожилъ еще два года; послѣднее время жизни своей онъ очень былъ занятъ проектомъ экспедиціи къ сѣверному полюсу, съ цѣлью открытія „восточно-сѣвернаго плаванія въ Индію и Америку“. Проектъ его понравился правительству, былъ принятъ; по указаніямъ и при самомъ тщательномъ наблюденіи Ломоносова приступлено было даже къ снаряженію экспедиціи... И среди этихъ-то новыхъ заботъ смерть смежила очи великаго труженика и дала ему наконецъ тотъ покой, которымъ онъ такъ пренебрегалъ при жизни.. Ломоносовъ скончался 4 апрѣля 1765 г. (на второй день свѣтлой недѣли), а 8-го апрѣля Таубертъ между прочимъ уже сообщилъ Мюллеру въ письмѣ своемъ: „г. статскій совѣтникъ Ломоносовъ переменялъ здѣшнюю временную жизнь на вѣчную“...²⁾.

Не задолго до смерти его, а именно въ іюнь 1764 г., Императрица Екатерина „съ нѣкоторыми знатнѣйшими двора своего особами“ посетила Ломоносова въ его домъ, гдѣ, по словамъ современной газеты: „изво-

¹⁾ Тамъ же, II, 786. ²⁾ Пекарскій, Исторія Академіи, II, 877.

лила смотрѣть производимыя имъ работы значнаго художества для монумента вѣчнославныя памяти Государи Императора Петра Великаго, также и новонобрѣтенныя имъ физическіе инструменты и нѣкоторые физическіе и химическіе опыты, чѣмъ подать бла-

что на его долю досталось быть послѣднимъ въ ряду тѣхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей, которые одновременно являлись и учеными, и литераторами, и притомъ болѣе учеными, нежели литераторами, вслѣдствіе того, что наука ранѣе получила значеніе въ



Могила Ломоносова въ Александро-Невской Лаврѣ.

говорила новое высочайшее увѣреніе о истинномъ любленіи и попеченіи своемъ о наукахъ въ отечествѣ“.

Уже въ самомъ началѣ настоящей главы, было нами упомянуто о томъ, что Ломоносовъ стоитъ на грани, отдѣляющей „эпоху преобразованій“ отъ новѣйшаго времени, и

нашемъ молодомъ, зараждающемся обществѣ, а литература пріобрѣла свое настоящее значеніе въ немъ уже гораздо позднѣе. При этомъ мы указывали выше и на то предпочтеніе, которое многіе изъ нашихъ дѣятелей литературныхъ придавали своимъ литературнымъ занятіямъ; они смотрѣли на нихъ ис-

ключительно как на занятія, приличныя только досугу, как на забаву, которая многими считалась позволительною только для людей известнаго возраста, известнаго положенія въ свѣтѣ, и т. п. Нѣсколько позже взглядъ на литературныя занятія хотя и не возвысился, но все же нѣсколько измѣнился. И Тредіаковскій, и Ломоносовъ отдають еще положительное предпочтеніе своимъ научнымъ изслѣдованіямъ передъ своими же чисто-литературными произведеніями; Ломоносовъ рѣшается даже открыто насмѣхаться надъ людьми, исключительно посвятившими себя занятіямъ литературнымъ;—однако онъ придаетъ уже литературѣ важное значеніе, какъ такому орудію, которымъ можно съ большимъ удобствомъ пользоваться для проведенія въ общество новыхъ идей, для истолкованія различныхъ истинъ, не только отвлеченныхъ, нравственныхъ, но даже и принадлежащихъ къ области научнаго изслѣдованія. На этомъ основаніи онъ заботился и о томъ, чтобы дать русской публикѣ образцы литературныхъ произведеній во всѣхъ родахъ, и о томъ, чтобы улучшить и довести до возможнаго совершенства самый языкъ русской литературы и науки. Несмотря однакоже на весьма значительныя труды, предпринятые Ломоносовымъ для улучшенія нашего литературнаго слога и для изслѣдованія коренныхъ свойствъ нашего роднаго языка, не смотря на весьма значительное количество поэтическихъ и прозаическихъ литературныхъ произведеній, оставленныхъ намъ Ломоносовымъ, этотъ гениальный труженикъ имѣетъ гораздо болѣе важное значеніе въ исторіи нашей науки, нежели въ исторіи литературы XVIII в. Ближайшее потомство смотрѣло на Ломоносова совсѣмъ не такъ, какъ мы на него смотримъ: оно выше цѣнило въ немъ литературныя, поэтическія его достоинства, и вообще мало обращало вниманія на заслуги Ломоносова, какъ ученаго, какъ натуралиста, который и въ современной европейской наукѣ пользовался уваженіемъ. Ломоносовъ не только какъ поэтъ, но даже и какъ ораторъ, и какъ историкъ, загоразивалъ передъ лицомъ ближайшаго потомства величавую личность Ломоносова-ученаго только потому, что эта область его дѣятельности была болѣе близка и понятна его современникамъ, нежели маловѣстная имъ область любви

мыхъ его научныхъ занятій. Въ тому же, по мѣрѣ того, какъ жизнь общественная начинала у насъ болѣе и болѣе развиваться, по мѣрѣ того, какъ общество начинало ощущать все болѣшую и болѣшую необходимость въ развитіи литературы, Ломоносовъ, — представившій современникамъ своимъ первые сносные образцы различныхъ литературныхъ родовъ, много трудившійся и надъ разработкою нашего литературнаго языка и слога—сдѣлался образцомъ для множества послѣдующихъ писателей русскихъ, которые подражали ему, какъ поэту, какъ оратору и литератору. Они старались держаться одинаковыхъ съ нимъ взглядовъ на литературу, разрабатывать тѣ же формы ложно-классической поэзіи, какія онъ разрабатывалъ, даже писать тѣмъ самымъ языкомъ, какимъ писалъ онъ, считая этотъ языкъ возможнымъ предѣломъ литературнаго совершенства. Въ то же самое время, — по мѣрѣ того, какъ потребность въ литературѣ возрастала и развивалась все болѣе и болѣе, „Ломоносовская школа“ писателей удометворяла ей въ значительной степени, превознося значеніе основателя школы, Ломоносова, какъ поэта и литератора, — значеніе Ломоносова, какъ ученаго и, специально, какъ натуралиста, отодвигалось на задній планъ и почти забывалось ближайшимъ потомствомъ его, въ средѣ котораго не нашлось ему послѣдователей на этомъ новомъ поприщѣ. И только уже новѣйшее время, благодаря серьезной обработкѣ матеріаловъ для біографіи Ломоносова, снова восстановило правильное отношеніе между славой Ломоносова, какъ поэта, и славой Ломоносова, какъ ученаго и натуралиста. Новѣйшіе біографы и критики Ломоносова должны были прійти къ тому убѣжденію, что онъ былъ дѣйствительно гениальный человѣкъ, гениальный ученый, и въ то же время весьма посредственный поэтъ и литераторъ. И только благодаря гениальности своей натуры, онъ, даже какъ поэтъ и литераторъ, сумѣлъ стать выше окружавшихъ его литературныхъ бездарностей, сумѣлъ лучше ихъ совладать съ нашей литературной техникой и удачно воспользоваться тѣми, которыми замѣчательными свойствами нашего роднаго языка. Оставляя въ сторонѣ всякій разборъ дѣятельности Ломоносова, какъ натуралиста, мы, въ заключеніе этой главы, рассмотримъ его дѣятельность лите-

ратурную и скажемъ нѣсколько словъ о его трудахъ по отношенію къ обработкѣ нашего языка и слога.

Въ настоящую минуту даже трудно и вообразить себѣ положеніе русскаго писателя въ эпоху Ломоносова. Условія общественной жизни, окружавшія каждого современнаго писателя, были крайне невыгодны для развитія какого-бы то ни было литературнаго таланта. Извѣстныхъ всему обществу, всѣми признанныхъ и уважаемыхъ литературныхъ именъ, во времена вступленія Ломоносова на литературное поприще, въ нашемъ обществѣ еще вовсе не знали. Кантемиръ и Татищевъ, какъ писатели, извѣстны были очень небольшому кружку образованныхъ людей, да и сочиненія ихъ печатно никому извѣстны не были; Тредьяковский, хотя и ученый, но совершенно бездарный труженикъ, пользовавшійся притомъ же весьма двусмысленною извѣстностью, никѣмъ не былъ уважаемъ ни какъ человѣкъ, ни какъ писатель—и вотъ, Ломоносову, съ его стихами, съ его новыми литературными теоріями, съ его учебниками по части русской грамматики и руской словесности, пришлось быть первымъ русскимъ поэтомъ и литераторомъ, первымъ законодателемъ русскаго литературнаго языка и слога. Вполнѣ сознавая важность значенія литературы въ обществѣ, и въ тоже время не имѣя вовсе подъ руками никакихъ русскихъ литературныхъ образцовъ, Ломоносовъ вынужденъ былъ обратиться къ образцамъ иноземнымъ: ничего самостоятельнаго создать на русской почвѣ въ ту пору не было никакой возможности, а потому и пришлось подражать тому направленію, которое было господствующимъ литературнымъ направленіемъ въ современной Ломоносову европейской литературѣ—направленію ложно-классическому. Ложно-классическое направленіе, состоявшее въ чисто-внѣшнемъ подражаніи литературнымъ и поэтическимъ приемамъ древнихъ, въ неестественномъ примѣненіи условій ихъ общественнаго и религіознаго быта къ современному европейскому быту XVII и XVIII в.в., а также и въ неправильномъ истолкованіи литературныхъ теорій классическаго міра—въ ту пору уже отживало свой вѣкъ въ Германіи. Но для Ломоносова, который въ юности своей, до поѣздки за границу, могъ быть знакомъ только съ тяжелыми виршами Симеона По-

люцкаго, Каріона Истомина и Сильвестра Медвѣдева, да со школьными комедіями Дмитрія Ростовскаго, — ложно-классическіе образцы лирики и драмы, несмотря на всю свою неестественность и даже уродливость, должны были показаться вполнѣ достойными подражанія. Вслѣдствіе этого, ложно-классическое направленіе точно также неизбежно должно было, какъ одинъ изъ существеннѣйшихъ признаковъ европеизма, проникнуть къ намъ черезъ Ломоносова и Тредьяковскаго, какъ проникло къ намъ византийское вліяніе вмѣстѣ съ христіанствомъ, черезъ посредство первыхъ проповѣдниковъ-грековъ. Мы полагаемъ даже, что Ломоносовъ вовсе не потому сталъ подражать ложно-классическимъ образцамъ, что увлекся ложно-классическимъ направленіемъ: онъ просто подчинился ему безусловно, какъ и всѣ современники его, не признавая никакого другого литературное направленіе возможнымъ... А при томъ полнѣйшемъ разрывѣ со старинной и народностью, который господствовалъ въ нашихъ образованныхъ классахъ XVII вѣка, нечего было конечно и думать о созданіи чего нибудь самобытнаго, на основаніи народныхъ стихій..

Первые поэтическіе опыты Ломоносова въ ложно-классическомъ родѣ (его подражанія Фенелону и Гюнтеру), были приняты въ Петербургѣ весьма благосклонно, по свидѣтельству современниковъ: Академія ихъ одобрила, а общество прочитало съ удовольствіемъ. Уже этого одного факта достаточно для того, чтобы судить о степени развитія вкуса въ современномъ Ломоносову русскомъ обществѣ. Правильное понятіе о поэзіи въ большинствѣ современниковъ Ломоносова не было вовсе разнито: въ началѣ XVIII в., какъ въ концѣ XVII, поэтомъ все еще продолжали у насъ считать каждаго, кто болѣе или менѣе складно умѣлъ управиться со стихомъ. Къ тому же, въ высшихъ классахъ общества нашего и при дворѣ, гдѣ особенно сильно было стремленіе къ подражанію иноземнымъ образцамъ, развился еще и особенный взглядъ на поэзію, какъ на необходимую принадлежность великосиѣтской и придворной жизни, какъ на приличное украшеніе всякихъ празднествъ и торжественныхъ случаевъ. Этотъ взглядъ на поэзію занесенъ былъ въ высшіе слои нашего общества пѣзъ Франціи, гдѣ поэты въ концѣ XVII и началѣ

XVIII вв. являлись настоящими придворными чиновниками; они считали своею прямою обязанностью воспитание всего, что при дворе совершалось, заваливали литературу напыщенными описаниями торжеств, балов, иллюминаций и других еще менее замѣчательныхъ событій, подносили вельможамъ трескучія и восторженные оды по поводу ихъ имянинъ или полученныхъ ими повышений и милостей — и за все это получали щедрыя денежныя награды. Что на западѣ при болѣе развитыхъ условіяхъ общественной жизни, могло казаться необходимымъ, неизбѣжнымъ злоупотребленіемъ поэзіи, даже и просто свѣтскимъ обычаемъ, то у насъ на Руси, при гораздо меньшемъ развитіи общественной, проявлялось въ грубой формѣ обязательныхъ служебныхъ отношеній поэта къ придворной жизни или къ лицамъ, занимавшимъ важное положеніе въ современномъ обществѣ. Ни дворъ, ни вельможи съ поэтами не церемонились; поэтамъ просто приказывали черезъ ближайшее начальство обработывать извѣстныя темы, и при этомъ еще стѣсняли ихъ даже срокомъ. Биографія Ломоносова представляетъ намъ цѣлый рядъ любопытнѣйшихъ фактовъ такого обязательнаго исправленія должности придворнаго поэта. Такъ, напримѣръ, въ 1748 г., 20 апрѣля, въ журналѣ конференціи Академіи Наукъ записано было:

„Къ профессору Ломоносову послать ордеръ, чтобъ опой присланныя изъ Артиллеріи къ иллюминаціи апрѣля къ 25 числу стихи перевелъ стихами-жъ на російскій языкъ, и конечно сего апрѣля, 23-го числа, по переводѣ, внести въ канцелярію“.

Стихи были нѣмецкіе и принадлежали перу совѣтника Штелина, и видно, что перевести ихъ на русскій языкъ было не легко, потому что, тотчасъ по полученіи ихъ, Ломоносовъ обратился къ секретарю Академіи, Теплову, со слѣдующимъ письмомъ:

„Хотя должность моя и требуетъ, чтобы по присланному ко мнѣ ордеру сдѣлать

стихи съ нѣмецкова; однако я того исполнить не могу, для того, что въ нѣмецкихъ виршахъ нѣтъ ни складу, ни ладу; и такъ такимъ переводомъ мнѣ себя пристыдить не хочется, и весьма досадно, чтобъ такую глупость перевести на русскій языкъ“...¹⁾

И не смотря на эти возраженія, несмотря на то, что вѣсто перевода чужихъ стиховъ, Ломоносовъ предлагалъ сочинить новые стихи, ему все же не удалось избавиться отъ перевода нѣмецкихъ стиховъ, сочиненныхъ Штелинымъ.

29 сентября 1750 г., въ канцеляріи Академіи полученъ былъ еще болѣе курьезный ордеръ, присланный самими президентомъ Академіи, графомъ К. П. Разумовскимъ:

„Ея Императорское Величество Государыня извоустнымъ своимъ имяннымъ указомъ изволила мнѣ повелѣть, чтобы профессорамъ Тредьяковскому и Ломоносову сочинить по трагедіи и о томъ имъ объявить въ канцеляріи. И какія къ тому потребны имъ будутъ книги изъ библіотеки оныя выдать съ роспискою и по окончаніи того возвратить въ библіотеку по прежнему“²⁾.

На основаніи этого ордера, запасливый Тредьяковский уже 2-го октября потребовалъ „для сочиняемой трагедіи книгъ и писчей бумаги.“ Результатомъ этого ордера со стороны Ломоносова была его первая трагедія „Тамира и Селимъ“, которая однако же представлена была ко двору не ранѣе, какъ глѣтомъ слѣдующаго 1751 года.

Такъ какъ большая часть поэтическихъ произведеній Ломоносова принадлежитъ именно къ числу такихъ заказныхъ стихотвореній, писанныхъ по случаю того или другаго торжества, то въ нихъ конечно и нечего искать какихъ бы то ни было поэтическихъ достоинствъ; точно также мало значенія, въ смыслѣ поэтическихъ произведеній, имѣютъ и нѣкоторыя другія произведенія, писанныя хотя и не на заказъ, однако съ предвзятою мыслью о томъ, чтобы представить образецъ извѣстнаго литературнаго рода.

¹⁾ Тепловъ отвѣчалъ на это письмо Ломоносова почти выговоромъ:.. «письмо ваше такіхъ экспресей наполнено, которыя предосудительны чести г. совѣтника Штелина: берегитесь, чтобъ вы ему не досадили: писать всякъ, на сколько можетъ, и въ разсужденіи, какъ кто хочетъ».. ²⁾ 8 января 1749 г., «Хоревъ» — трагедія Сумарокова — представлена была кадетами. Послѣ трехъ удачныхъ опытовъ представленія этой трагедіи (послѣднее изъ этихъ представленій происходило 29-го іюня того же года), Императрица пожелала увеличенія русскаго репертуара, и слѣдствіемъ этого желанія былъ вышеприведенный ордеръ.

Къ этому разряду слѣдуетъ отнести, напри-
мѣръ, тѣ двѣ пѣсни обширной эпической по-
эмы о Петрѣ Великомъ, которая не была окон-
чена Ломоносовымъ, и въ которой нѣтъ рѣ-
шительно ничего, кромѣ риторическихъ воз-
гласовъ и напыщенныхъ описаній, не пред-
ставляющихъ ничего самостоятельнаго, ори-
гинальнаго, такъ какъ вся поэма должна бы-
ла представлять собою не богѣе, какъ ско-
локъ съ множества другихъ нѣмецкихъ и
французскихъ ложно-классическихъ образцовъ
эпической поэмы. Но среди множества до-
шедшихъ до насъ стихотворныхъ произведе-
ній Ломоносова, есть нѣсколько и такихъ, ко-
торыя заслуживаютъ названія поэтическихъ,
потому что звучный и стройный стихъ, ко-
торымъ вообще хорошо умѣлъ владѣть Ло-
моносовъ, является въ нихъ выраженіемъ
высокихъ, прекрасныхъ образовъ и сильна-
го, неподдѣльнаго чувства; въ числу такихъ
произведенийъ слѣдуетъ отнести всѣ тѣ оды,
въ которыхъ Ломоносовъ говоритъ о пользѣ
наукъ, описываетъ нѣжно-любимую и глубоко-
понимаемую имъ природу, выражаетъ ре-
лигиозное чувство или указываетъ на вели-
чавое будущее, ожидающее его „любезное
Россійское отечество“. Вотъ почему къ числу
лучшихъ поэтическихъ произведенийъ Ломо-
носова слѣдуетъ конечно отнести его „Пись-
мо о пользѣ стекла“, „Оду выбранную изъ
Іова“, два „Размышленія о Божьемъ вели-
чествѣ“ и торжественную оду „Въ день вос-
шествія на престолъ Имп. Елисаветы Пе-
тровны“. Въ послѣднемъ произведеніи вос-
торженныя, превышающія всякую мѣру по-
хвалы Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ со-
ставляютъ не простую риторическую прикра-
су обыкновенной ложно-классической оды,
а до нѣкоторой степени служатъ отголоскомъ
общаго восторга всѣхъ классовъ общества,
справедливо видѣвшаго въ воцареніи „Пе-
ТРОВОЙ дщери“ наступленіе новаго и лучшаго
періода Русской Исторіи послѣ страшнаго
періода Бироновщины. Вообще же говоря,
наиболѣе важною стороною всѣхъ поэтиче-
скихъ произведенийъ Ломоносова является
прекрасный, новый по тому времени, изо-
бразительный и звучный языкъ, который въ
соединеніи съ гладкимъ и правильнымъ сти-
хомъ, много способствовалъ тому, чтобы про-
изведенія Ломоносова всѣми читались, всѣми
опѣвывались и всѣмъ одинаково нравились,
между тѣмъ какъ все, что писалось до Ло-

моносова, доступно было очень небольшому
кружку читателей и очень немногихъ спо-
собно было привлечь къ чтенію. Въ этомъ
отношеніи для насъ несомнѣнно-важнымъ
свидѣтельствомъ въ пользу значенія поэти-
ческихъ произведенийъ Ломоносова для его
времени конечно долженъ служить тотъ
фактъ, что уже при жизни его они выдер-
жали нѣсколько изданій, а по смерти его нѣ-
которыя изъ нихъ были даже переведены
почитателями его таланта на иностранные
языки.

Кромѣ произведенийъ поэтическихъ — одъ,
надписей, посланій, трагедій, и т. д. до
насъ дошли еще и другаго рода литерату-
рные произведенія Ломоносова: его акаде-
мическія рѣчи и похвальные слова. Богѣе
всего замѣчательными изъ нихъ оказывают-
ся рѣчи, въ которыхъ онъ занимается рѣ-
шеніемъ научныхъ вопросовъ, отношеніемъ
естествознанія къ религіи или значеніемъ
естественныхъ наукъ вообще. Таковы, на-
примѣръ, его рѣчи: „о пользѣ химіи“, „о
рожденіи металловъ“, „о происхожденіи свѣ-
та“. Въ нихъ онъ постоянно является сто-
ронникомъ современной ему нѣмецкой фи-
лософіи, утверждавшей, что противорѣчій
между откровеніями вѣры и свидѣтельства-
ми науки не можетъ быть, и что наука, какъ
и религія, служатъ одинаково къ удостовѣ-
ренію въ бытіи Бога, къ раскрытію Его ве-
личія, благодати и всемогущества; что, по
этому самому, ни наука не должна мѣшать
религіи, ни религія — наукѣ, такъ какъ и та,
и другая, хотя и различными путями, одна-
коже идутъ къ одинаково высокимъ цѣлямъ.
Ломоносовъ, какъ истинный ученикъ Воль-
фа, въ противоположность всей предшество-
вавшей ему у насъ схоластической школѣ,
въ одной изъ рѣчей своихъ рѣшается такъ
выразить воззрѣнія свои на вопросъ объ от-
ношеніи науки къ религіи, занимавшій всѣхъ
передовыхъ людей нашихъ въ эпоху пре-
образованія: „Не разсудителенъ матема-
тикъ,“ — такъ говоритъ Ломоносовъ — „если
онъ хочетъ волю Божескую вымѣрять цир-
кулемъ; таковъ же богословъ учитель, если
онъ думаетъ, что по псалтири можно на-
учить астрономіи или химіи“. Похвальные
слова Ломоносова (Елисаветѣ и Петру Ве-
ликому), имѣвшія важное политическое и
общественное значеніе для современниковъ,
пережившихъ страшныя времена Биронов-

ниями, заключаютъ въ себѣ гораздо менѣе новыхъ идей, и мало уступаютъ, по своему складу и по способу изложенія мысли, схоластическимъ образцамъ похвальныхъ словъ, въ томъ видѣ, какъ они создавались писателями кievской школы въ концѣ XVII в. и началѣ XVIII. Къ тому же, тяжелая, напыщенная проза, которою эти ораторскія произведенія написаны, состоящая изъ нескончаемо-длинныхъ періодовъ съ несвойственнымъ русскому языку построениемъ фразы по образцу латинскому — все это значительно уменьшаетъ литературное достоинство всѣхъ вообще ораторскихъ произведений Ломоносова, но въ особенности его похвальныхъ словъ. Нельзя не отмѣтить здѣсь, между прочимъ, что и такая вышняя форма, и такой складъ рѣчи въ ораторскихъ произведеніяхъ Ломоносова явились вовсе не вслѣдствіе того, чтобы онъ, какъ писатель, не обладалъ известнымъ умѣньемъ излагать свои мысли въ какой бы то ни было литературной формѣ: способъ выраженія Ломоносова является скатымъ, энергическимъ, а языкъ его естественнымъ и простымъ въ его письмахъ, проектахъ и дѣловыхъ запискахъ. Но Ломоносовъ, до нѣкоторой степени, не могъ отрѣшиться отъ литературныхъ преданій и вкусовъ схоластическаго направленія, среди которыхъ ему пришлось получить начальное образование: подъ вліяніемъ преданій доброго стараго времени, онъ вѣрилъ въ то, что слогъ долженъ подраздѣляться на три отдѣла: — высокій, средній и низкій — что къ каждому изъ этихъ трехъ отдѣловъ должны быть относимы тѣ или другіе литературные роды, и что отличительною чертою высокаго слога, которымъ должны были писаться героическія поэмы, оды и произведенія ораторскія, была именно извѣстная напыщенность и высокоумность выраженій, среди которыхъ должны были преобладать преимущественно заимствованные изъ церковно-славянскаго языка слова и обороты.

Это ученіе о трехъ разныхъ стиляхъ или слогахъ, подробно изложенное Ломоносовымъ въ его Риторикѣ, служитъ какъ бы связующимъ звеномъ между старыми риторическими теоріями кievской схоласти-

ческой науки и между новыми началами, внесенными Ломоносовымъ въ русскій литературный языкъ. Его труды по части русскаго языка и словесности оказали чрезвычайно важное вліяніе на развитіе всего послѣдующаго періода исторіи нашей литературы; и нельзя не согласиться съ тѣми, которые рѣшаются утверждать, что хотя въ общей исторіи наукъ имѣютъ болѣе значенія труды Ломоносова по естествознанію, однакоже въ приложеніи къ русской жизни перевѣсъ остается въ пользу его сочиненій по теоріи языка и словесности¹⁾. Въ своей „Россійской Грамматикѣ“ и въ „Разсужденіи о пользѣ книгъ церковныхъ въ Россійскомъ языкѣ“, и въ особенности въ томъ „Планѣ для филологическихъ изслѣдованій, къ дополненію грамматикъ надлежащихъ“, который остался напечатанъ въ бумагахъ Ломоносова, онъ является не только ученымъ, глубоко постигающимъ не только основныя законы своего роднаго языка, но даже и отношеніе его къ языкамъ родственнымъ. На этомъ основаніи Ломоносовъ даже и начинаетъ свою русскую грамматику съ наставленія о человеческомъ словѣ вообще, „а въ нѣсколькихъ отрывкахъ“ главы „исказываетъ о сродствѣ языковъ такіа понятія, которыя сдѣлались общими достояніемъ европейской науки только уже въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Такъ, напримѣръ, Ломоносовъ, говоря о происхожденіи языковъ отъ одного общаго корня, замѣчаетъ, что языки „разнятся свойствами своими“, не только словами; „что они перемѣняются не вдругъ, а въ значительную долготу времени“. Сверхъ того, и на самую грамматику Ломоносовъ смотритъ не такъ, какъ смотрѣли до него другіе составители грамматикъ, т. е. не какъ на механическое собраніе правилъ, а какъ на результатъ долговременнаго общенія съ жизнью, которую языкъ проживаетъ вмѣстѣ съ народомъ. При такомъ правильномъ взглядѣ на языкъ, какъ на что живое и органически-цѣлое, Ломоносовъ конечно не могъ удовольствоваться простымъ повтореніемъ того сухаго грамматическаго матеріала, который до него вѣщали въ себѣ наши грамматическіе учебники, и хотя многое изъ нихъ заимствовать, однакоже еще болѣе внести въ грамма-

¹⁾ Будиловичъ, стр. 120.

тину своего, новаго, имъ самимъ добытаго изъ наблюдений надъ составомъ и свойствами нашего роднаго языка. Бумаги Ломоносова, хранящіяся въ архивѣ Академіи Наукъ, служатъ прямымъ подтвержденіемъ того, что каждая глава, каждый параграфъ его грамматикѣ основываются на цѣломъ рядѣ глубокихъ и трудныхъ филологическихъ и лексикографическихъ изслѣдованій, наблюдений, замѣтокъ и выписокъ. Не слѣдуетъ забывать, что въ отношеніи къ знанію коренныхъ свойствъ и особенностей русскаго языка, Ломоносовъ былъ поставленъ самою судьбою въ чрезвычайно счастливое, почти исключительное положеніе относительно всѣхъ своихъ современниковъ. Онъ вышелъ на поприще ученое изъ среды народа, и съ далекаго сѣвера, на которомъ во всей чистотѣ своей сохранилось наше сѣверо-русское (новгородское) нарѣчіе, переселился потомъ въ Москву, гдѣ жилъ долгое время; потомъ посѣтилъ Кіевъ, и провелъ въ немъ около полугода, въ средѣ малорусскаго образованнаго общества; притомъ же, въ живомъ употребленіи знакомясь съ такими противоположными по свойствамъ своимъ и въ тоже время важными нарѣчіями русскаго языка, Ломоносовъ съ самаго дѣтства прилежно занимался чтеніемъ книгъ церковныхъ, а въ бытность свою въ славяно-греко-латинской академіи успѣлъ уже конечно и въ совершенствѣ ознакомиться съ грамматическими свойствами языка церковно-славянскаго.

Можно утверждать положительно, что никто изъ современниковъ Ломоносова не обладалъ въ равной съ нимъ степени такимъ разнообразнымъ и глубокимъ знаніемъ Русскаго народнаго и книжнаго языка, какимъ обладалъ онъ. И только при помощи такого глубокаго и разносторонняго изученія различныхъ элементовъ русскаго языка, Ломоносовъ могъ дойти до весьма важнаго по своимъ послѣдствіямъ разбора отношеній между языкомъ церковнославянскимъ и древнерусскимъ, съ одной стороны, и между народнымъ и книжнымъ языкомъ—съ другой.

Въ своемъ разсужденіи „о пользѣ книгъ церковныхъ“ онъ указываетъ на необходимость изученія языка церковно-славянскаго, и на ту пользу, которую это изученіе можетъ принести каждому грамотному человеку, но въ то же самое время совершенно правильно указываетъ на существенное различіе языка церковно-славянскаго отъ древне-русскаго, принимая ихъ за два совершенно независимые другъ отъ друга, самостоятельные языка. Но въ томъ особомъ, нѣсколько зависящемъ отношеніи, въ которое судьба поставила языкъ русскій по отношенію къ церковно-славянскому, Ломоносовъ рѣшается видѣть важное преимущество языка русскаго предъ другими, родственными ему; въ самой церковно-славянской стихіи, вносимой имъ въ русскую литературный языкъ, онъ правильно ищетъ противоясія подавляющему вліянію языковъ иностранныхъ, которые такъ значительно способствовали порчѣ русскаго литературнаго языка въ эпоху преобразованій. „Всѣмъ любителямъ отечественнаго слова безпристрастно объявляю и дружелюбно софѣтую, извѣрся собственнымъ своимъ искусствомъ“,—такъ пишетъ Ломоносовъ въ своемъ разсужденіи „о пользѣ чтенія книгъ церковныхъ“—„дабы съ прилежаніемъ читали всѣ церковныя книги, отчего къ общей и къ собственной пользѣ воспослѣдуетъ: 1) По важности освященнаго мѣста церкви Божіей и для древности чувствуемъ въ себѣ къ славянскому языку нѣкоторое особенное почитаніе, чѣмъ вѣликодушныя сочинители мысли сугубо возвысить. 2) Будетъ всякъ умѣть разбирать высокія слова отъ подлыхъ и употреблять ихъ въ приличныхъ мѣстахъ по достоинству предлагаемой матеріи, наблюдая равенство слога. 3) Такимъ старательнымъ и осторожнымъ употребленіемъ сроднаго намъ кореннаго славянскаго языка, купно съ російскимъ, отвратятся дикія и странныя слова, негѣпности, входящія къ намъ изъ чужихъ языковъ¹⁾, заимствующихъ красоту изъ греческаго, и то еще черезъ латинскій. Оныя непріятности нынѣ небреженіемъ чтенія

¹⁾ Эти слова Ломоносова относятся только къ злоупотребленію иноземной терминологіей, составлявшему отличительную черту нашего книжнаго языка въ «эпоху преобразованій»; самъ же Ломоносовъ вовсе не способенъ былъ къ исключительности и мелочному преслѣдованію по отношенію къ нѣкоторымъ иностраннымъ словамъ, получившимъ право гражданства въ русской литературной сферѣ: онъ и самъ употреблялъ ихъ очень охотно.

книгъ церковныхъ вкрадываются къ намъ нечувствительно, искажаютъ собственную красоту нашего языка, подвергаютъ его всегдашней перемѣнѣ и къ упадку преклоняютъ. Сіе все показаннымъ способомъ пресѣчется, и російскій языкъ въ силѣ, красотѣ и богатствѣ, перемѣнамъ и упадку не подверженъ, утвердится, коль долго церковь російская славословіемъ Божиимъ на славянскомъ языкѣ украшаться будетъ“.

Такимъ образомъ Ломоносовъ, связывая современный ему литературный языкъ, съ одной стороны, съ церковно-славянскимъ, съ другой, дѣлаетъ очень смѣлый шагъ впередъ предлагая допустить и „простой російскій языкъ (т. е. языкъ народный, разговорный) въ число составныхъ частей, необходимыхъ для пополненія, усовершенствованія и оживленія книжной рѣчи. По поводу этого нововведенія, предлагаемаго Ломоносовымъ въ видахъ улучшенія нашего литературнаго языка и слога, не мѣшаетъ припомнить здѣсь, что еще въ XVI в. одинъ изъ грамотниковъ нашихъ писалъ, что слѣдуетъ „книжными рѣчами исправлять общенародныя рѣчи, а не книжныя народными обезчещивать“ и что даже еще въ 1751 году, когда Тредьяковскій рѣшился подтвердить свои правила русскаго стихосложенія введеніемъ нѣсколькихъ отрывковъ изъ народныхъ пѣсенъ, то подвергся за это самымъ энергическимъ осужденіямъ со стороны образованнаго большинства. И только при такомъ, чуждомъ всякихъ предразсудковъ, взглядѣ, какой высказываетъ Ломоносовъ на

языкъ народный, только при томъ правильномъ отношеніи русскаго книжнаго языка къ церковно-славянскому, какое было установлено Ломоносовымъ же, для русскаго литературнаго языка открывалась та блестящая будущность, которую отчасти предвидѣлъ уже и самъ Ломоносовъ, когда въ приношеніи своемъ къ „грамматикѣ“ указывалъ свойства нашего языка, рѣшался ставить его во многихъ отношеніяхъ выше всѣхъ европейскихъ языковъ:

„Карлъ V, Римскій Императоръ“ — такъ пишетъ Ломоносовъ въ этомъ „приношеніи“—говаривалъ, что испанскимъ языкомъ съ Богомъ, французскимъ съ друзьями, нѣмецкимъ съ неприятелими, итальянскимъ съ женскимъ поломъ говорить прилично. Но еслибъ онъ російскому языку былъ искусенъ, то, конечно, къ тому присовокунулъ бы, чтобы имъ со всѣми оными говорить пристойно. Ибо напелъ-бы въ немъ великолѣпіе испанскаго, живость французскаго, крупность нѣмецкаго, нѣжность итальянскаго сверхъ этого богатство и сильную въ изображеніяхъ краткость греческаго и латинскаго языка... Сильное краснорѣчіе Цицерона, великолѣпная Virgilіева важность, Овидіево пріятное витѣйство не теряютъ своего достоинства на російскомъ языкѣ. Тончайшія философскія воображенія и разсужденія, многообразныя естественныя свойства и перемѣны, бывающія въ сѣзъ видимомъ строеніи міра и человѣческихъ обращеніяхъ, имѣютъ у насъ пристойныя и вещь выражающія рѣчи“.



Село Денисовка, родина Ломоносова.

XXVI.

Сумароковъ — первый русскій литераторъ. — Первые драматическія произведенія его. — Основаніе русскаго театра въ Ярославлѣ и въ столицѣ. — Біографическія подробности. — Сумароковъ, какъ драматургъ и сатирикъ.

Крупною личностью Ломоносова заканчивается тотъ рядъ учено-литературныхъ дѣятелей, которые, какъ мы уже имѣли случай замѣтить выше, представляютъ собою особенность, исключительно свойственную эпохѣ преобразованій. Въ теченіе этой многознаменательной эпохи, литература и наука успѣли совершенно освободиться отъ опеки духовенства и монашества, но еще не успѣли вполне отдѣлиться другъ отъ друга и проявиться какъ двѣ независимыя, могучія общественныя силы. Уже въ концѣ первой четверти XVIII в. литература успѣла приобрести въ обществѣ нѣкоторое значеніе и вѣсть, а во второй четверти того же столѣтія ей удалось до весьма значительной степени улучшить свои средства и способы, и обогатиться порядочнымъ количествомъ новыхъ, неизвѣстныхъ ей доголъ, формъ; и не смотря на все это, дѣятельность литературная не только не пользовалась еще никакою самобытностью, не только не заслуживала никакого уваженія со стороны большинства, но даже и въ глазахъ людей образованныхъ, ученыхъ, являлась гораздо менѣе важною и почтенною, нежели дѣятельность научная. По крайней мѣрѣ, даже и тѣ дѣятели этой эпохи, которые добровольно посвящали литературѣ свои досуги отъ дѣлъ и научныхъ занятій, неохотно сознавались въ этомъ передъ публикою, и даже искали себѣ оправданія въ томъ, что потратили время на такое неважное, несерьезное занятіе. Самъ Ломоносовъ, — въ которомъ нельзя не видѣть выраженія всѣхъ лучшихъ умственныхъ и нравственныхъ стремленій его времени, — смотрѣлъ еще на литературу свысока, съ исключительной точки зрѣнія ученаго и ставилъ занятія литературою гораздо ниже занятій наукою. Только при такомъ взглядѣ Ломоносова на литературу намъ становится

понятны его насмѣшки надъ людьми, подобно Сумарокову, исключительно посвящавшимъ себя занятіямъ литературнымъ. А между тѣмъ, этимъ-то людямъ, ставившимъ „свое бѣдное рпеимчество выше всего на свѣтѣ“, и суждено было быть провозвѣстниками новой наступавшей эпохи, чего, конечно, никакъ не могъ постигнуть Ломоносовъ. Такіе переходы отъ одной эпохи къ другой почти никогда не совершаются въ видѣ рѣзкихъ перемѣнъ, крутыхъ поворотовъ и переломовъ: исторія умѣетъ сглаживать острые, рѣзко выдающіеся углы при помощи ряда явленій, одинаково принадлежащихъ и минувшей, пережитой эпохѣ, и новой, послѣдовавшей за нею. Такими переходными, смѣшанными явленіями особенно бываютъ богаты въ исторіи литературы періоды, составляющіе грань двухъ смежныхъ эпохъ, которыми обозначается поступательное историческое развитіе умственной и духовной жизни общества. Къ числу такихъ именно явленій, составляющихъ переходъ отъ эпохи преобразованій къ блестящему вѣку Екатерины, принадлежить несомнѣнно и личность Сумарокова, который, по образованію и развитію, относится къ концу эпохи преобразованій; но, по характеру и направленію своей дѣятельности, онъ стремится всѣми силами выйдти изъ того тѣснаго круга, который опредѣляла писателю эпоха преобразованій, отвергаетъ многія преданія ея, отзывавшіяся схоластицизмомъ XVII вѣка, и силится придать русскому писателю то значеніе, которымъ писатель уже издавна пользовался на западѣ. Однакоже, въ стремленіяхъ своихъ и усилихъ, горячій и самонадѣянный Сумароковъ позабываетъ совершенно о недостаточности своего образованія, объ ограниченности средствъ своего таланта, о неразвитости окружающаго его большинства общества... При

всемъ желаніи измѣнить и улучшить положеніе русскаго писателя, Сумароковъ забываетъ о своей личной неподготовленности, о своей неспособности къ занятію новой роли писателя, и доходитъ только до отрицанія всего, что совершается около него въ нашей литературѣ. Но въ то же время, какъ представитель той эпохи, въ которой онъ самъ развивался и получилъ образованіе, — эпохи, болѣе всего страдавшей недостаткомъ критики, Сумароковъ и къ критикѣ литературной, и къ критикѣ общественныхъ нравовъ приступаетъ еще совершенно наивно, исходя изъ сознанія своей личной высоты нравственной и искренно вѣруя въ свою литературную



Сумароковъ.

гениальность. И вотъ, рядомъ съ Ломоносовымъ, который глубоко проникнуть сознаніемъ своего научнаго значенія и заслугъ своихъ предъ отечествомъ, является гораздо менѣе Ломоносова замѣчательная личность Сумарокова, его постоянного врага и литературнаго противника, принадлежащаго къ совершенно противоположному литературному направленію и въ то же время еще болѣе Ломоносова проникнутаго сознаніемъ своего важнаго значенія для Россіи. Но какъ бы ни казалась, сравнительно съ Ломоносовымъ, мала и маловажна личность Сумарокова, ни малѣйшему сомнѣнію не можетъ подлежать то, что она уже носитъ на себѣ

все признаки наступленія новаго времени; и если Ломоносовъ представляетъ намъ собою, при всей своей гениальности, крайній предѣлъ того развитія, котораго могъ достигнуть писатель въ Россіи въ концѣ эпохи преобразованій, то Сумароковъ, при всей незначительности своего образованія и ограниченности своего литературнаго таланта, все же является намъ настоящимъ представителемъ новаго и болѣе правильнаго взгляда на значеніе и положеніе писателя въ обществѣ, того взгляда, который окончательно установился только въ теченіе слѣдующаго періода и приготовилъ русской литературѣ ея блестящую будущность. Приступая къ описанію эпохи преобразованій, мы рѣшились назвать Ѳ. Прокоповича „первымъ русскимъ свѣтскимъ писателемъ“: — совершенно въ такомъ же смыслѣ Сумароковъ долженъ быть, по нашему мнѣнію, названъ „первымъ русскимъ литераторомъ“, въ томъ общемъ значеніи, которое привыкли у насъ придавать этому слову.

Александръ Петровичъ Сумароковъ (род. 14 ноября 1717, ум. 1 октября 1777 г.) по происхожденію относился къ высшему слою современнаго русскаго общества. Предки Сумарокова принадлежали къ одному изъ нашихъ старыхъ боярскихъ родовъ, и многіе изъ нихъ, состоя на службѣ при московскихъ государяхъ, пользовались даже нѣкоторымъ значеніемъ въ придворной средѣ; отецъ Александра Петровича, Петръ Панкратьевичъ, крестникъ Петра Великаго, также успѣлъ дослужиться, въ эпоху преобразованій, до чина дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, и скончался уже въ царствованіе Екатерины II (1766 г.). Обращаемъ вниманіе на эти подробности именно потому, что самъ Александръ Петровичъ придавалъ нѣкоторое значеніе своей родовитости, особенно когда сравнивалъ себя съ другими литературными дѣятелями своего времени. Мы мало знакомы съ первыми годами жизни Александра Петровича, его дѣтствомъ и домашнимъ воспитаніемъ. Знаемъ только, что родился онъ въ Вильманстрандѣ, гдѣ отецъ его находился на службѣ, что не ладилъ съ отцомъ, къ которому всегда относился очень непочтительно, хотя тотъ по иѣрѣ силъ снабжалъ его средствами къ жизни, и вообще былъ къ нему довольно добръ. На пятнадцатомъ году вступилъ Сумароковъ въ Сухо-

путный Шляхетный Кадетский Корпус, основанный по идее фельдмаршала графа Миниха, в 1730 году, и предназначавшийся специально для того, чтобы молодые люди, приготавливаясь к военному званию, могли получить соответствующее потребностям времени военное образование и некоторый светский лоск. Трудно составить себе, по нимѣнию свѣдѣній, опредѣленное понятие о томъ, чему именно и какъ обучали Сумарокова въ корпусѣ, тѣмъ болѣе, что его пребываніе въ этомъ заведеніи (съ мая 1732 г. по апрѣль 1740 г.) относится къ первымъ временамъ существованія корпуса. Опредѣленно можно сказать только то, что корпусъ, не смотря на свое, повидимому, специальное назначеніе, былъ въ началѣ второй четверти XVIII столѣтія почти единственнымъ въ Россіи учебнымъ заведеніемъ, въ которомъ можно было получить общее образование. Первоначально, по недостатку въ русскихъ преподавателяхъ, всѣ корпусные преподаватели даже выписывались изъ за границы при посредствѣ Академіи Наукъ, черезъ публикацію въ иностранныхъ газетахъ. Въ сороковыхъ годахъ преподаваніе въ корпусѣ нѣкоторыхъ предметовъ производилось уже вѣроятно по русски¹⁾, но въ началѣ существованія этой „рыцарской академіи“ (какъ тогда называли корпусъ) тамъ не могло быть ни одного учителя изъ русскихъ. По аттестату, полученному Сумароковымъ при выпускѣ изъ корпуса, также не оказывается никакой возможности получить опредѣленное понятіе объ уровнѣ свѣдѣній, вынесенныхъ имъ изъ этого заведенія, хотя въ немъ и значится подробно, что Александръ Петровичъ „въ геометріи обучилъ тригонометрію, экспликуетъ и переводить съ нѣмецкаго на французскій языкъ; въ исторіи универсальной окончилъ Россію и Польшу; въ географіи атласъ Гибнеровъ обучилъ: сочиняетъ нѣмецкія письма и ораціи, мораль Вольфскую до III главы второй части (прошелъ); имѣетъ начало въ итальянскомъ языкѣ“ и т. д. Однакоже нельзя отрицать того, что первое побужденіе къ занятіямъ литературнымъ появилось у Сумарокова вслѣдствіе вліянія корпусной обстановки. Повидимому, тамъ существовали какія-то условія, благоприятныя для развитія

литературныхъ способностей, поощрялись и самыя занятія словесностью, къ которымъ охота поддерживалась между кадетами до такой степени, что впоследствии они даже образовали въ средѣ своей нѣчто въ родѣ небольшого литературнаго кружка, стали сами издавать журналъ, завели и свою домашнюю сцену, которая привлекла къ себѣ всеобщее вниманіе. Въ 1759—1760 г.г. видимъ при корпусѣ даже особую типографію. И хотя все это уже явилось гораздо позже выхода Сумарокова изъ корпуса, однакоже первые зачатки такого пристрастія къ словесности и театру вѣроятно уже проявились въ первые времена существованія корпуса, потому что, уже начиная съ 1735 г. вводится, напримѣръ, въ Сухопутномъ Шляхетномъ Корпусѣ любопытный обычай ежегоднаго поднесенія императрицѣ стихотворныхъ поздравленій съ наступающимъ новолѣтіемъ. Въ этихъ стихотворныхъ, силлабическими виршами написанныхъ, поздравленіяхъ, „юность рыцарской академіи“ выражаетъ свои чувства основательницѣ корпуса, и нерѣдко украшаетъ свои ампловатыя, безобразныя произведенія анаграммами и другими внѣшними украшеніями, бывшими въ модѣ въ то время. Намъ сохранился, напримѣръ, отъ того періода, слѣдующій любопытный отрывокъ этой кадетской поэзіи:

АННА буди здравА, отъ Бога намъ дАННА
Новый годъ ти ширеН дай Богъ и угодеН
На побѣды силеН, земли плодородеН
АННА ты намъ слава будь Богомъ сохрАННА.

Къ общему поздравленію „всей юности рыцарской академіи“, въ 1737 г. присоединилъ и свое частное поздравленіе какой-то кадетъ Михаилъ Собакинъ „въ знакъ вѣрной ревности своей“; а въ 1740 поднесены были Императрицѣ „поздравительныя оды отъ кадетскаго корпуса“, сочиненныя чрезъ Александра Сумарокова. Въ этихъ первыхъ печатныхъ стихотвореніяхъ своихъ, Сумароковъ еще придерживается литературныхъ приѣмовъ старой школы и не имѣетъ понятія о новой формѣ русскаго стихосложенія, которая около этого времени вырабатывалась Тредьяковскимъ и Ломоносовымъ. Принимая въ соображеніе эти первые юно-

¹⁾ Такъ, напримѣръ, мы знаемъ, что въ 1746 году Ломоносовъ читалъ кадетамъ на русскомъ языкѣ лекціи по физикѣ, во время лѣтнихъ ваканцій.

шеские стихотворные опыты Сумарокова, и въ особенности ихъ внѣшнюю форму, мы можемъ сильно не довѣрять тому, что онъ самъ говоритъ о самостоятельности зарожденія и развитія въ немъ литературнаго таланта: „Русскимъ языкомъ и чистотою склада и стиховъ, и прозы не долженъ я никому, кромѣ себя, да долженъ я за первыя основанія въ русскомъ языкѣ отцу моему, а онъ тѣмъ Зейкену, который выписанъ былъ отъ Государя Императора Петра Великаго въ учителя къ господамъ Нарышкинымъ, и который послѣ былъ учителемъ Государя Императора, Петра Втораго“. Для насъ не можетъ подлежать сомнѣнью съ одной стороны то, что первыя побужденія и поощренія къ занятію литературной дѣятельностью Сумароковъ получилъ именно въ корпусѣ; а съ другой стороны, что, по выходѣ изъ корпуса, во время своего перваго знакомства съ Ломоносовымъ, Сумароковъ несомнѣнно подчинился его вліянію, и подъ его руководствомъ усовершенствовался и въ языкѣ, и въ слогѣ, и въ стихотворствѣ; по его собственному признанію, онъ „тогда тонкость стопосложенія не зналъ“.

Въ 1740 году, Сумароковъ, 22-хъ лѣтъ отъ роду, выпущенъ былъ изъ корпуса и поступилъ въ военную службу. Намъ точно также мало извѣстны первыя шаги Александра Петровича на служебномъ поприщѣ, какъ и первыя годы его дѣтства и юности. Достоверно только то, что, по своему происхожденію и образованію, онъ нашелъ себѣ доступъ въ высшее общество, въ которомъ особеннымъ успѣхомъ пользовались „нѣжныя пѣсенки“ его сочиненія, а въ послѣдствіи, вѣроятно на основаніи этихъ же связей съ высшимъ современнымъ обществомъ, Сумарокову удалось попасть въ адъютанты къ знатнѣйшему изъ вельможъ Елисаветинскаго времени, графу Алексѣю Григорьевичу Разумовскому, при которомъ онъ довольно долго управлялъ лейбъ-кампанейскою канцеляріею и дослужился до чина бригадира. Вѣроятно чрезъ Разумовскаго сталъ Сумароковъ извѣстенъ Императрицѣ Елисаветѣ, а въ послѣдствіи даже и заслужилъ ея особенное благоволеніе своею усиленною литературною дѣятельностью для пополненія репертуара зарождающейся русской сцены, которую Елисавета приняла подъ свое личное покровительство. Весь первый періодъ

литературной дѣятельности Сумарокова, во время пребыванія его въ военной службѣ, также остается для насъ до сихъ поръ довольно темнымъ, почти вплоть до появленія его первой трагедіи — „Хоревъ“, въ 1747. Изъ времени, предшествующаго 1747 году, мы знаемъ только то, что въ 1743 г. въ Академической Типографіи отпечатаны были „три парафрастическія оды“ Тредьяковскаго, Ломоносова и адъютанта Сумарокова, „подъ смотрѣніемъ Тредьяковскаго“. Знаемъ еще, что трагедія „Хоревъ“, написанная въ 1747 году, послѣ первыхъ своихъ представленій, обратила на себя въ такой степени вниманіе Императрицы, что она и Тредьяковскому, и Ломоносову, черезъ президента Академіи, приказала написать по трагедіи. Отъ слѣдующаго 1748 года намъ сохранилось любопытное свидѣніе о другой трагедіи Сумарокова — „Гамлетъ“ — въ бумагахъ Академической Канцеляріи. „Сего Октября 8-го числа“ — такъ гласитъ одинъ изъ ея документовъ — „Его Высочайшаго Сіятельства перваго камергера генерала аншефа Ея Императорскаго Величества обер-егермейстера, лейбкомпаинъ капитана мурзичка, обонхъ російско-императорскихъ орденовъ, тако-жъ польскаго бѣлаго орна и св. Анны кавалера, лейбгвардіи коннаго полку Г. Полковника Графа А. Г. Разумовскаго генеральскъ-адъютанта Александръ Сумароковъ въ Канцелярію Академіи наукъ взнесъ сочиненія его „Гамлетъ“, трагедію скорописную, которую желаетъ при Академіи напечатать. Того ради опредѣлено: трагедію освидѣтельствовать профессорамъ Тредьяковскому и Ломоносову, не окажется ли въ оной чего касающагося кому до предосужденія, что-жъ касается до штилю, и оное имѣетъ такъ остаться, какъ оно написано“.

На это „Октября 11 числа профессоръ Ломоносовъ репортовалъ, что въ оной трагедіи по его мнѣнію нѣтъ ничего, что бы предосудительно кому было и могло бы напечатанію оной препятствовать“... Слѣдовательно, Ломоносову пришлось быть цензоромъ первыхъ произведеній Сумарокова.

Должно предпологать, что уже во время пребыванія въ корпусѣ, Сумароковъ могъ воспринять первыя впечатлѣнія сценическихъ представленій, присутствуя на одномъ изъ тѣхъ театральныхъ спектаклей, которые нерѣдко давались при дворѣ заѣзжими труп-

нами иноземныхъ актеровъ. Такъ, напримѣръ, при самомъ вступленіи на престолъ Анны Іоанновны, при дворѣ давала представленія труппа итальянскихъ актеровъ, присланная на время коронаціи въ Петербургъ изъ Дрездена Августомъ, королемъ польскимъ.

Въ 1735 году, по желанію Императрицы, которой очень понравились эти представленія, выписана была въ Петербургъ изъ-за границы другая труппа, въ которой были и

въ самомъ исполненіи ихъ на сценѣ. Въ царствованіе Елисаветы Петровны, страстно любившей всякія увеселенія, а въ особенности театры, мы видимъ въ Петербургѣ уже не одну, а двѣ труппы. Французская труппа пріѣхала въ самомъ началѣ царствованія Елисаветы, которое вмѣстѣ съ тѣмъ было и началомъ французскаго вліянія на русское общество, охотно поддававшееся этому новому направленію, послѣ того исключительнаго и тяжкаго нѣмецкаго ига, которое ему



Сухопутный Шляхетный Кадетскій корпусъ.

актеры, и актрисы, и пѣвцы, и пѣвицы, такъ что представленія драматическія чередовались съ операми, впервые появившимися въ это время въ Россіи. Достоверно извѣстно, что „юность рыцарской академіи“ также принимала участіе въ тѣхъ балетахъ и интермедіяхъ, которыми одинъ разъ въ недѣлю эта новая труппа услаждала досуги скучающей Императрицы. Легко можетъ быть, что, вмѣстѣ съ другими кадетами, въ подобныхъ представленіяхъ и юный Сумароковъ бывалъ уже не только зрителемъ, но и участникомъ

пришлось нести на себѣ такъ долго... Съ директоромъ французской труппы, Сереньи, заключенъ былъ весьма выгодный для него контрактъ: онъ получалъ 25,000 р. въ годъ, и Дворъ, сверхъ того, снабжалъ труппу музыкантами, декораціями и свѣчами; директору оставалось озаботиться только о костюмахъ. Другая итальянская труппа для балета и оперы-буффъ, съ директоромъ Локателли, пріѣхала въ Петербургъ уже подъ конецъ царствованія Елисаветы (1757 года), и, по свидѣтельству современниковъ, пред-

ставленія ея могли быть поставлены на ряду съ лучшими, какія можно было видѣть въ то время въ Парижѣ или въ Италіи ¹⁾).

Положеніе этой труппы было также обезпеченное; Локатели за входъ въ театръ брали со всѣхъ по рублю; за наемъ ложи на годъ платили ему до 300 руб.; сверхъ того получалъ онъ еще и щедрые подарки отъ Императрицы ²⁾. Съ самаго прибытія французской труппы, она до такой степени пользовалась благоволеніемъ Императрицы Елисаветы Петровны, что посѣщеніе ея представлений для всѣхъ придворныхъ и высшихъ служащихъ лицъ считалось даже обязательнымъ. Известно, что, когда, однажды, на французскую комедію явилось мало зрителей, то въ тотъ же вечеръ разосланы были ѣздовые къ болѣе значительнымъ лицамъ съ запросомъ, почему они не были, и съ увѣдомленіемъ, что впредь, за непріѣздъ въ театръ, полиція будетъ каждый разъ взыскивать съ непріѣхавшаго по 50 рублей штрафа!

Подъ вліяніемъ знакомства съ модной въ то время у насъ французской драматической литературой, а съ другой стороны, подъ впечатлѣніемъ игры французской труппы, Сумароковъ, въ подражаніе французской ложно-классической трагедіи, написалъ „Хорева“, который былъ напечатанъ въ 1747 году. Слѣдовательно, первая русская драма, приготовлялась къ выходу въ свѣтъ около того самаго времени, когда незамѣтно ни для кого, въ провинціальномъ захолустѣ, среди простой купеческой семьи, зарождалась мысль объ основаніи русскаго народнаго театра, приготовлялась сцена, на которой впервые предстояло выступить русскимъ актерамъ и разыграть первую оригинальную русскую драму. Такое совпаденіе обстоятельствъ можно считать особенно счастливымъ именно потому, что попытка Сумарокова должна была-бы остаться совершенно безплодною, если-бы неожиданное появленіе отдѣльной русской труппы и постоянной русской сцены въ Ярославлѣ не поддержало его энергіи и не побудило его къ усиленной, плодотворной литературной дѣятельности, возбуждившей во многихъ охоту къ подражанію

и потому самому послужившей основаніемъ нашей драматической литературѣ.

Появленіе русской труппы и постоянного театра въ Ярославлѣ, основаннаго усиліями Θεодора Григорьевича Волкова, стояло въ довольно тѣсной связи съ тѣми же самыми впечатлѣніями, которыя и Сумарокова привели къ попыткѣ написать первую русскую трагедію. Дѣло въ томъ, что Θ. Г. Волковъ (р. 1729 г. ум. 1763 г.), сынъ костромскаго купца, послѣ смерти отца своего поселившійся въ Ярославлѣ, хотя и воспитался въ Московской славяно-греко-латинской Академіи, и вѣроятно даже принималъ участіе въ представленіи духовныхъ драмъ, которыя тамъ служили обычнымъ упражненіемъ для воспитанниковъ, однакожь мысль объ основаніи театра въ Ярославлѣ явилась у него не прежде 1746 года, когда этому талантливому юношѣ, во время его пребыванія въ Петербургѣ, удалось увидѣть представленія тамошнихъ иностранныхъ труппъ. По возвращеніи въ Ярославль, онъ собралъ около себя небольшую труппу изъ своихъ же сверстниковъ и подъячнхъ, и въ собственномъ сараѣ своего вотчина, на скорую руку обращенномъ въ театръ, разыгралъ передъ удивленными ярославцами драму „Эсфирь“. При помощи любителей изъ купечества и пользовался съ одной стороны особымъ покровительствомъ ярославскаго намѣстника, Мусина-Пушкина, а съ другой — щедрою помощію богатаго тамошняго помѣщика, Майкова, Θ. Г. Волковъ завелъ наконецъ въ Ярославль свой собственный, особый, изрядно-устроенный театръ, вмѣщавшій въ себя около 1000 зрителей. Здѣсь то сталъ онъ разыгрывать только что появившіяся тогда драматическія сочиненія Сумарокова, а также и свои собственные переводы и подражанія иностраннымъ образцамъ, такъ какъ ему при своемъ театрѣ приходилось быть и директоромъ, и авторомъ, и декораторомъ, и машинистомъ. Однако же, благодаря его собственной талантливости, и труппа около него сложилась очень удачно: явились актеры способные и страстно приверженные къ сценѣ — Дми-

¹⁾ Представленіи этой труппы происходили на старомъ придворномъ театрѣ, близъ Лѣтняго сада. Первая же французская труппа, до 1749 года, играла въ одномъ изъ флигелей дворца, а потомъ во вновь построенномъ деревянномъ театрѣ (около Полицейскаго моста, на мѣстѣ нынѣшняго д. Кисѣва).

²⁾ Въ первый же годъ по прибытіи его въ столицу, Императрица подарила ему 5,000 руб.

тревскій, Шумскій, Иконниковъ, братья Поповы, и т. д. Около пяти лѣтъ существовалъ уже ярославскій театръ, когда слухи о вольной ярославской труппѣ достигли столицы, гдѣ въ это время единственными исполнителями трагедій Сумарокова являлись кадеты и офицеры Шляхетнаго корпуса, игравшіе то на своей домашней сценѣ, то въ покояхъ Императрицы. Труппа Волкова, по Высочайшему повелѣнію, была выписана изъ Ярославля, и показала все свое искусство на дворцовой сценѣ, гдѣ ею разыграны были въ присутствіи Императрицы и двора: „Хоревъ“, „Гамлетъ“, „Синавъ и Труворъ“, „Кающійся Грѣшникъ“. Это происходило въ 1752 году. По желанію Императрицы, способнѣйшіе представители Ярославской труппы были оставлены въ столицѣ и отданы въ „рыцарскую академію“ для обученія языкамъ и словесности. Ровно черезъ четыре года послѣ того, Высочайшимъ указомъ Сенату, 30 августа 1756 года, существованіе русскаго театра было признано и прочно установлено; директоромъ театра назначенъ былъ Сумароковъ, который, по видимому, уже и задолго до этого времени (съ 1750 года) заведывалъ при дворѣ всѣми русскими представленіями: — и литературною, и хозяйственною частью ихъ. Въ должности директора театра онъ оставался до 1761 года, и это пятилѣтіе составляетъ положительный переломъ въ біографіи Сумарокова, а довольно обширная переписка его съ Шуваловымъ, относящаяся именно къ этому времени, представляетъ драгоценный матеріалъ для характеристики Сумарокова и современной ему эпохи.

Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, 1755 года 11 октября, напечатано было слѣдующее извѣстіе изъ С.-Петербурга: „Ея Императорское Величество изволила указать для умноженія драматическихъ сочиненій, кои на российскомъ языкѣ при самомъ началѣ справедливую хвалу отъ всѣхъ имѣли, установить российский театръ, котораго дирекція поручена бригадиру Сумарокову“. Въ этой простой публикaciji для насъ чрезвычайно характеристическою чертою является именно то, что театръ основанъ „для умноженія драматическихъ сочиненій“, вслѣдствіе чего, вѣроятно, по нѣкимъ

воззрѣніямъ современной эпохи на литературу, и самое управленіе театра могло быть поручено только такому человѣку, который несомнѣнно способенъ былъ „умножить количество драматическихъ сочиненій“. И дѣйствительно, даже и самъ Сумароковъ не иначе понималъ свое назначеніе директоромъ театра, какъ съ непремѣннымъ обязательствомъ постоянно занимать сцену своими драматическими сочиненіями, и неоднократно жалуется въ своихъ письмахъ Шувалову на то, что хлопоты и неудовольствія по управленію театромъ и постановкѣ пьесъ мѣшаютъ ему писать для сцены и обновлять репертуаръ ея новыми своими произведеніями. Сверхъ того, и послѣ увольненія своего отъ должности директора театра, Сумароковъ все еще состоялъ въ нѣкоторыхъ обязательныхъ отношеніяхъ къ нему по званію драматическаго писателя.

Однакоже, новая должность директора русскаго театра въ столицѣ оказалась сопряженною съ еще гораздо большими затрудненіями, нежели та же должность въ провинціи. Ѳ. Г. Волковъ, какъ мы замѣтили выше, былъ для своей ярославской труппы и директоромъ, и авторомъ, и декораторомъ, и машинистомъ. Сумарокову — сверхъ всѣхъ этихъ должностей — пришлось на себя принять еще и многія другія, и притомъ постоянно нуждаться въ средствахъ на содержаніе труппы, на покрытіе издержекъ, необходимыхъ для сценической обстановки, и очень часто даже въ помѣщеніи, такъ какъ опредѣленнаго мѣста и опредѣленнаго времени для представленій русской труппы не было. Актеры Сумарокова играли то на французскомъ, то на итальянскомъ театрѣ въ тѣ дни, когда эти театры не были заняты иностранными труппами, болѣею частью по четвергамъ¹⁾; затруднительное положеніе труппы значительно ухудшалось еще тѣмъ, что для каждаго представленія необходимо было получить особое разрѣшеніе отъ гофмаршала, а это разрѣшеніе иногда приходило только наканунѣ представленія, даже послѣ полудня. Часто случалось, что при этомъ разрѣшеніи присылалось и увѣдомленіе о томъ, что музыканты отъ двора не будутъ, такъ какъ пріоритетные музыканты наканунѣ играли въ маскарадѣ и устали.

¹⁾ По праздникамъ русскихъ спектаклей не бывало.

Тогда ужь Сумарокову приходилось самому прискивать других музыкантов, и эти хлопоты прибавлять ко множеству других, которыя и безъ того уже на немъ тяготѣли ¹⁾. При такомъ неопредѣленномъ и не рѣдко бѣдственнымъ положеніи русской труппы, сборы за представленія ея, конечно, не могли быть значительны; а потому и не удивительно, что положеніе директора, который часто нуждался въ самомъ необходимомъ (например, въ костюмахъ для дѣйствующихъ лицъ ²⁾ и тѣмъ не менѣе долженъ былъ нести на себѣ за все отвѣтственность — такое положеніе могло подчасъ становиться невыносимымъ. Очень живо рисуется намъ это положеніе въ одномъ изъ писемъ Сумарокова къ Шувалову, въ которомъ онъ пишетъ между прочимъ:

„Я все бы исправилъ, ежели-бы была возможность, а сегодня, послѣ обѣда зачавъ, до завтра я не знаю, какъ передѣлать... Подумайте, Милостивый Государь, сколько теперь еще дѣла: — нанимать музыкантовъ, покупать и раздѣлывать приказать воскъ, дѣлать публикаціи по всѣмъ командамъ, дѣлать ренетиціи и проч., посылать по статистовъ, посылать къ машинисту, дѣлать распоряженье о пропускѣ, посылать по караулъ; а людей только два копенста: — они копенсты, они размышлители, они портіеры... Богъ моей молитвы за грѣхи мои не пріемлетъ, и къ кому я ни адресуюсь, всѣ говорятъ, что де русской театр партікулярный ³⁾; ежели партікулярный, такъ лучше ничего не представлять... разрушить театръ, а меня отпустить куда нибудь на воеводство или посадить въ какую коллегію: я грабить родъ человѣческой научится легко могу, а профессоромъ этой науки довольноно... Лучше быть подьячимъ, нежели стихотворцемъ“ (20 мая, 1758).

Такое партікулярное положеніе русскаго театра особенно тяготило Сумарокова,

по сравненію съ двумя другими труппами, французской и итальянской, которыя пользовались совершенно-обеспеченнымъ положеніемъ, и, на основаніи весьма подробныхъ и выгодныхъ контрактовъ, сверхъ опредѣленнаго помѣщенія, пользовались отъ Двора и освѣщеніемъ, и музыкой. Директоры этихъ труппъ жили безбѣдно и не знали тѣхъ безчисленныхъ хлопотъ, въ которыхъ приходилось погрязать бѣдному Сумарокову. „Ежели-бы, Ваше Превосходительство“, — пишетъ онъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Шувалову — „изволили когда обстоятельно выслушать о неудобствахъ театра... Вы бы увидѣлись, сколько я по театру трудностей претерпѣваю; Вы бы сами обо мнѣ пожалѣли. Сто-бы разъ для всего лучше было, ежели-бы однажды всему театру положено было основаніе ⁴⁾; а бы имѣлъ къ театральному сочиненію и къ управленію больше способнаго времени, мысли-бы мои были яснѣе и сильнѣе, мои безполезно не умалились, и время-бы оставшее употребилъ я себѣ на отдохновеніе, которое стихотворцу весьма потребно“.

Въ другомъ мѣстѣ Сумароковъ прибавляетъ: „Я Россіи по театру больше сдѣлалъ услуги, нежели французскіе актеры и итальянскіе танцовщики, и меньше ихъ получаю“ ⁵⁾. А между тѣмъ „ни одного представленія еще не было (въ теченіе 3-хъ лѣтъ существованіе театра), которое бы миновалось безъ превеликихъ трудностей, не приносящихъ никому плода, кромѣ приключаемыхъ мнѣ мученій и превеликихъ заботъ...“ „Удивительно-ли будетъ, Ваше Превосходительство, что я отъ моихъ горестей соплюсь, когда люди и отъ радостей спиваются?“

Сверхъ всѣхъ этихъ неудобствъ, Сумарокову приходилось безпрестанно бороться съ препятствіями со стороны цензуры, которая явилась въ лицѣ гофмаршала, графа К. Е.

¹⁾ Заимствуемъ эти подробности изъ I. т. Зап. Имп. Акад. Наукъ. См. тамъ статью Я. К. Грота въ предисловіи къ «писемамъ Ломоносова и Сумарокова къ И. И. Шувалову». ²⁾ Державинъ Ваше Превосходительство утрудить и донести, что въ четвергъ представленію на российскомъ театрѣ быть нельзя, ради того, что Труворъ платья нѣтъ никакого... «А другой драмы, тверди «Синава и Труворъ», не вытвержено» (19 мая 1758). ³⁾ Партікулярный — т. е. не казенный, не придворный. ⁴⁾ Сумароковъ намекаетъ здѣсь на проектъ объ устройствѣ театра, поданный имъ, и въ которомъ онъ, вѣроятно, требовалъ независимаго и обеспеченнаго положенія для русской сцены и русской труппы. ⁵⁾ Сумароковъ, по должности директора театра, получалъ только 1.000 руб., прибавки къ бригадирскому жалованью, между тѣмъ какъ нѣкоторые изъ иностранцевъ, принадлежавшихъ къ придворнымъ труппамъ, сверхъ большаго жалованья, пользовались при Дворѣ готовою квартирою съ отопленіемъ и даже экипажемъ.

Сиверса, съ 1759 года отправлявшаго прокурорскую должность при русскомъ театрѣ и обязаннаго наблюдать за правильнымъ ходомъ всего учрежденія. Графъ Сиверсъ находился постоянно во власти подъячихъ, служившихъ подъ его начальствомъ, и вѣроятно склоненъ былъ во всемъ имъ довѣрять, а Сумароковъ, уже по самому характеру своему ни съ кѣмъ не уживавшійся, болѣе всего ненавидѣлъ подъячихъ и ихъ козни, и смотрѣлъ на всѣ продѣлки ихъ съ неумолимою суровостью. Отношенія его къ подъячимъ и къ графу Сиверсу кончились тѣмъ, что онъ былъ, послѣ очень крупныхъ несправедливостей, отставленъ отъ должности директора театра въ апрѣлѣ 1761 г... съ пожизненною пенсіею по двѣ тысячи рублей въ годъ. Не задолго до этого времени, въ „Трудолюбивой Пчелѣ“ — небольшомъ сатирическомъ журналѣ, который Сумароковъ издавалъ около года, въ 1759 г. — онъ самъ отзывался о своихъ заслугахъ для русскаго театра и о своихъ отношеніяхъ къ Сиверсу слѣдующимъ характеристическимъ и безцеремоннымъ образомъ: „Что только видѣли Аенны и видятъ Парижъ, и что они по долгомъ увидѣли времени, ты нынѣ то вдругъ, Россія, стараніемъ моимъ увидѣла. Въ то самое время, въ которое возникъ, приведенъ и въ совершенство въ Россіи театръ твой, Мельпомена! Всѣ я преодолѣлъ трудности, всѣ преодолѣлъ препятствія. Наконецъ, видите вы, любезные мои сограждане, что ни сочиненія мои, ни актеры вамъ стыда не приносятъ, и до чего въ Германіи многими стихотворцами не достигли, до того я одинъ, и въ такое еще время, въ которое у насъ науки словесныя только начинаются, и нашъ языкъ едва чистится началъ, однимъ своимъ перомъ достигнуть могъ. Лейпцигъ и Парижъ, вы тому свидѣтели, сколько единой моею трагедіею скорый переводъ чести мнѣ сдѣлалъ! Лейпцигское ученое собраніе удостоило меня (избрать) своимъ членомъ, а въ Парижѣ вознесли мое имя въ чужестранномъ журналѣ, koliko возможно; а я выше еще драматическими моими сочиненіями хотѣлъ возвестися; но скажу словами Апостола Павла: „дадеся мнѣ пакостникъ ангелъ сатанинъ“, который мнѣ пакости дѣлаетъ: да не превозношуся. Озлобленный мною родъ подъяческій, которымъ вся Россія озлоблена, извергъ на меня самаго безграмотнаго изъ себя подъяча-

го и самаго свареднаго крючкотворца“...

Этотъ любопытный отрывокъ, такъ ясно обрисовывающій намъ характеръ Сумарокова, — самонадѣянный, заносчивый, суетный, и безпокойный — въ то же время не менѣе ясно рисуетъ намъ и тотъ періодъ нашей литературы, когда каждый, хоть сколько нибудь видный, дѣятель литературный, при неразвитости литературы и журналистики, такъ легко заражался высокомернымъ взглядомъ на свою дѣятельность, такъ часто и пространно способенъ былъ говорить о своихъ трудахъ и выставлять на показъ свои литературныя заслуги отечеству... При такомъ взглядѣ на занятія литературныя, всякое, даже весьма снисходительное сужденіе о произведеніяхъ того или другаго писателя уже должно было казаться ему оскорбленіемъ, и никакая критика еще не оказывалась возможною. И Тредіаковскій, и Ломоносовъ одинаково оскорблялись всякими отзывами (кроме хвалебныхъ) о ихъ сочиненіяхъ; еще болѣе оскорблялся Сумароковъ ихъ критикою на свои сочиненія, тѣмъ болѣе, что, какъ писатель молодой, да притомъ еще и неприндажавшій къ академическому кружку, онъ поставленъ былъ въ нѣкоторую зависимость отъ Ломоносова, какъ отъ цензора и отчасти officialнаго цѣнителя его литературной дѣятельности. Непримиримая литературная вражда Сумарокова и Ломоносова тѣмъ болѣе является любопытною, что цѣли къ которымъ въ своей литературной дѣятельности стремился Сумароковъ, были очень близки къ тѣмъ, которыя и Ломоносовъ полагалъ въ основу своей дѣятельности: они оба хотѣли принести всю возможную пользу отечественной литературѣ, оба возмущались сильнымъ преобладаніемъ иноплемениковъ въ дѣлѣ русской науки, оба старались очистить русское общество отъ всякихъ подражательныхъ стремленій и указать ему самостоятельный путь развитія — и, при всемъ этомъ, постоянно были непримиримыми врагами. Надобно однакоже отдать справедливость Сумарокову, что хоть онъ и очень рѣзко отзывался о Ломоносовѣ въ письмахъ къ Шувалову и другимъ, хотя онъ унижался иногда въ запальчивости своей противъ Ломоносова даже до площадной брани, но все же, въ минуты хладнокровія и спокойствія (правда, очень рѣдкія) бывалъ безпристрастенъ по отношенію къ своему противнику

и отдавалъ должную справедливость его таланту. Что же касается Ломоносова, то нельзя не сознаться, что онъ относился къ Сумарокову съ замѣчательнымъ жестокосердіемъ и безпощадностью чловѣка, глубоко проникнутаго сознаниемъ своей правоты и высокаго нравственнаго достоинства. Онъ вредилъ Сумарокову во всемъ, въ чемъ могъ вредить, и вредилъ чрезвычайно послѣдовательно, то мѣшаясь въ его счеты съ Академической типографіей, то непомѣрно строго цензуруя его сочиненія. Горькимъ сознаниемъ безсилія и ожесточеніемъ бѣдности отзываются жалобы Сумарокова на Ломоносова въ письмахъ къ Шувалову.

Нѣкоторая подчиненность Ломоносову, нѣкоторая зависимость отъ него во многихъ отношеніяхъ вѣроятно была потому особенно тягостна для Сумарокова, что къ концу царствованія Елисаветы онъ пріобрѣлъ дѣйствительно очень громкую извѣстность литературную, и если не превзошелъ Ломоносова своими „литературными заслугами“, то почти приравнялся къ нему, какъ писатель общественный и какъ придворный стихотворецъ. Современные дѣнители произведеній русской литературы въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія даже открыто дѣлились на два лагеря: на поклонниковъ лиры Ломоносова, и на поклонниковъ лиры Сумарокова; и если во главѣ первой партіи являлись Шуваловы, Воронцовы и сама Императрица Елисавета, то во главѣ второй видимъ Екатерину (тогда еще великую княгиню) и ея приверженцевъ. Съ своей стороны, Сумароковъ былъ также горячо преданъ Екатеринѣ, и доказалъ свою преданность ей еще до ея вступленія на престолъ. Такъ, въ 1758 г., Сумароковъ оказывается замѣшанъ въ опасномъ дѣлѣ канцлера графа Бестужева, по которому онъ подвергается большимъ непріятностямъ и допросу, а въ 1759 году — посвящаетъ Екатеринѣ свой журналъ „Трудолюбивую Пчелу“, и въ такое именно время, когда подобныя доказательства уваженія и преданности къ Великой Княгинѣ могли навлечь на поэта нерасположеніе Елисаветы. За то и Екатерина, вступивши на престолъ, сумѣла доказать свое расположеніе и при-

знательность Сумарокову не только наградами и частыми денежными пособіями, во вниманіе къ его нескончаемымъ нуждамъ, но еще болѣе — своею мягкою снисходительностью къ слабостямъ и недостаткамъ желчнаго и раздражительнаго поэта, своимъ спокойнымъ и терпѣливымъ разборомъ тѣхъ безчисленныхъ жалобъ, прошеній, предложеній и писемъ, которыми осыпалъ Императрицу Сумароковъ въ послѣдніе годы своей жизни. Эти послѣдніе годы жизни поэта такъ богаты фактами, характеризующими личность поэта и его время, и притомъ еще въ такой степени полно представлены сохранившіеся намъ перепискою Сумарокова съ Екатериной и окружавшими ея лицами, что здѣсь нельзя, хотя кратко, не упомянуть о важнѣйшихъ фактахъ послѣдняго десятилѣтія жизни Александра Петровича.

Проживъ нѣсколько лѣтъ въ отставкѣ, безъ всякаго опредѣленнаго занятія, въ Петербургѣ, и, вѣроятно скучая бездѣйствіемъ, ощущая сильнѣйшее желаніе вновь возвратиться къ своей прежней дѣятельности по управленію театромъ, Сумароковъ, въ началѣ 1767 г. вынужденъ былъ отправиться въ Москву, для раздѣла наслѣдства, которое осталось послѣ смерти его отца. Не слѣдуетъ забывать, что ему тогда уже шелъ 49 годъ; онъ былъ давно женатъ, и дѣти у него были уже на возрастѣ. Несмотря на это, онъ велъ себя до такой степени неистово при раздѣлѣ, относился съ такою яростію ко всѣмъ участникамъ его, что старушка-мать, подвергавшаяся отъ него величайшимъ оскорбленіямъ, обратилась наконецъ съ прошеніемъ на высочайшее имя, умоляя Императрицу защитить ее отъ „злодѣйскихъ и дерзкихъ поступковъ сына“. Несмотря на то, что Екатерина незадолго передъ тѣмъ выразила свою благосклонность къ преданному поэту довольно крупной наградой ¹⁾, она пришла въ сильнѣйшее негодованіе, вступилась за оскорбленную мать и приказала объявить Сумарокову, что съ нимъ поступлено будетъ такъ „какъ мать его пожелаетъ, если онъ не испроситъ у нея помилованія“. Сумароковъ смирился и конечно былъ помилованъ матерью, и тотчасъ послѣ того съ усиленнымъ рвеніемъ приня-

¹⁾ Въ началѣ 1797 года Сумароковъ, тогда уже дѣйствительный статскій совѣтникъ, получилъ Анненскую ленту.

ся за поэтическую деятельность, впрочем добиваясь того, чтобы и сама Императрица забыла о неприятной истории его с матерью. Но в Петербург ему не жилось.

В январе 1769 года он обращается с письмом к графу Григорию Григорьевичу Орлову, и в нем, прося о выдаче ему тех 2000 р., которые были еще в 1761 году задержаны из его жалованья бывшим его начальником по театру, Сиверсом, в то же самое время сообщает, что хочет поселиться окончательно в Москве „яко в отечестве Россійскаго дворянства“.

Вскоре после того желание его было исполнено, деньги ему выданы, и сверх того Императрица, благосклонно принявши при письме присланную ей Сумароковым новую трагедию (недавно вышедшую в свет „Вышеслава“) приказала ему выдать 1000 руб. из кабинета на дорогу и приехать на другой день (5 марта 1769) ей откланяться¹⁾. Ганнею весной Сумароков переехал в Москву, где и поселился, и жил до самой своей смерти. Жена его не захотела за ним последовать и осталась в Петербурге, где и умерла вскоре после того, как развела с мужем.

Незадолго до своего поселения в Москве, Сумароков, после десятилетнего перерыва, снова возвратился к тому роду литературной деятельности, который, собственно говоря, и составил, главнейшим образом, его славу, как писателя. С 1768 г. он опять начал писать для театра. Из под его пера около этого времени, одна за другою, выходили сначала трагедия „Вышеслав“, потом комедии: „Приданое обманом“, „Лихононец“, „Три брата совиѣстника“, „Ядовитый“ и „Нарцисс“. Интерес к сцене, к которой Сумароков так охладел было одно время, явно возбуждается в нем вновь, и чуть-ли еще не с большею силою, нежели прежде: он не только сочиняет и переводит для сцены, не только тотчас по приезде в Москву принимает участие в хлопотах об устройстве частного театра в Москве, но и вступает из-за отношений к сцене в препи-

рательства с новым директором театра, Ив. Перф. Елагинимъ, и даже занимается решением общих вопросов по теории драмы²⁾. Наконец, вскоре после переселения в Москву, Сумароков начинает трудиться над сочинением своей новой трагедии, „Дмитрий Самозванец“, которой придает почему-то особенно важное значение в ряду своих произведений.

Но жить в Москве не надолго успокоило тревожного поэта. Вскоре, несмотря на покровительство многих сильных патროнов, несмотря на явное снисхождение со стороны Императрицы, Сумароков, задѣтый в своем авторском самолюбии и недовольный отношениями к директору московской труппы, успевает со всеми перессориться и сдѣлать себе жизнь невыносимою. К ссорам и тяжбам присоединяются и другого рода невзгоды: болѣзни, бывшія слѣдствием невоздержаннаго употребления крепких напитков, тревога от страшной московской чумы, и болѣе всего — нужда, преслѣдовавшая несчастного поэта в течение всей его беспорядочной, суетливой и безалаберной жизни. Хотя один из послѣдних годов жизни Сумарокова, — а именно 1774 — и принадлежал к числу плодотворнѣйших в его обширной литературной деятельности, однакоже нельзя не замѣтить по всемъ сохранившимся до насъ свѣдѣніямъ, что бѣдный поэтъ болѣе и болѣе опускается, погрязая в мелочахъ и дрязгахъ своей московской жизни, чаще и чаще начинает досажать Императрицѣ стѣснанными на свою нужду, жалобами на окружающихъ и на судьбу, жалкимъ самохвальствомъ и докучнымъ напоминаніемъ о томъ значеніи, которое за нимъ признаютъ даже в Европѣ. Екатерина, по ея собственному выраженію, бомбардируемая письмами Сумарокова, сначала предоставила переписку съ нимъ одному изъ своихъ секретарей (Козицкому), потомъ обращалась къ московскому губернатору съ порученіемъ „выслушивать бредни г. Сумарокова и если ему досугъ, — стараться-бы ихъ обратить въ общую пользу.“ Наконец и Екатерина увидѣла себя вынуж-

¹⁾ Лонгиновъ. Послѣдніе годы жизни Сумарокова. Русск. Арх. 1871, стр. 1659. ²⁾ Къ этому времени относится его знаменитое письмо къ Вольтеру о вредѣ новаго, недавно появившагося во Франціи рода — драмъ собственно или такъ называемыхъ comedies larmoyantes. Отвѣтомъ на это письмо, уклончивымъ и любезнымъ Вольтеръ совсѣмъ вскружилъ голову бѣдному Сумарокову.

денной предоставить бѣднаго поэта его горькой судьбинѣ. Покинутый и забытый всѣми, Сумароковъ окончательно спился съ кругу и значительно сократилъ свою жизнь несчастнымъ этимъ порокомъ. Послѣ смерти его не осталось денегъ даже и на погребеніе; московскіе актеры схоронили его на свой счетъ и на рукахъ свесли его гробъ до Донскаго монастыря. На могилѣ его не было поставлено памятника и она осталась неизвѣстна потомству.

Всѣхъ произведеній, написанныхъ Сумароковымъ для сцены, — трагедій и комедій, — двадцать шесть; изъ числа ихъ, трагедіи — „Хоревъ“, „Гамлетъ“, „Синавъ и Труворъ“, „Артистона“ и „Семира“ — были написаны до основанія театра; а „Ярополкъ и Димиза“, „Вышеславъ“, „Дмитрій Самозванецъ“ и „Мстиславъ“ — послѣ его основанія. „Семира“ считалась вѣнцомъ славы Сумарокова, а въ числѣ комедій — „Трессотиніусъ“ обращала на себя особенное вниманіе современниковъ характеромъ главнаго дѣйствующаго лица, въ которомъ всѣ узнавали осмѣяннаго авторомъ творца „Тилемахиды“. Всѣ эти драматическія сочиненія Сумарокова представляютъ собою лишь весьма слабыя подражанія той узкой формѣ, въ которую вылились всѣ французскіе образцы ложно-классической драмы. Отличительною чертою этой формы являлось стѣсненіе драматическаго дѣйствія вовсе пенужными на новѣйшей европейской сценѣ единствами: времени, мѣста и дѣйствія; съ другой стороны, особенностью внутренняго склада ложно-классической драмы оказывалось то, что она вообще выводила на сцену не живыхъ людей, съ окружающими ихъ возможными, дѣйствительными обстоятельствами и препятствіями, а одни отдѣльныя, отвлеченныя свойства человѣческой души, отдѣльныя черты характера олицетворяла въ видѣ извѣстныхъ героевъ и героинь и ставила въ разныя, большею частью необыкновенныя, чрезвычайныя положенія. Авторы ложно-классическихъ трагедій, на основаніи этого взгляда на драматическое дѣйствіе и характеры, совершенно пренебрегали историческою обстановкою дѣйствія, связью дѣйствій и характеровъ съ историческою дѣйствительностью извѣстной эпохи; вотъ почему они не только рѣшались почерпать сюжеты для своихъ трагедій изъ такихъ эпохъ, которыя были и весьма

мало извѣстны, и плохо разработаны; но даже весьма охотно обращались за сюжетами къ темному, героическому періоду классической древности. Само собою разумѣется, что при этомъ не могло быть и рѣчи объ исторической вѣрности характеровъ, выводимыхъ авторомъ на сцену или о связи характеровъ этихъ съ извѣстною, строго опредѣленною національностью. Всѣ герои ложно-классической драмы французской, — не смотря на свои греческія и римскія имена, не смотря на то, что, по этимъ именамъ, ихъ можно было отнести къ той или другой исторической или героической эпохѣ — являлись на сцену безличными олицетвореніями отвлеченныхъ пороковъ или добродѣтелей, въ примѣненіи къ извѣстному, большею частью весьма простому, драматическому положенію, и при томъ являлись вполне подчиненными свѣтскимъ обычаямъ, приличіямъ и предразсудкамъ французскаго общества конца XVII и начала XVIII вѣка. Безличность этихъ героевъ, при чрезвычайной простотѣ содержанія самыхъ драмъ, — значительно облегчала возможность подражанія имъ, возможность перенесенія ихъ съ французской почвы на всякую другую, и этимъ свойствомъ ложно-классической драмы объясняется напѣта легкость, съ которою она распространялась по всей Европѣ; но при этомъ, ни для кого не замѣтно, вмѣстѣ съ ложно-классическими образцами драмъ, на европейскія сцены прокрадывалась и характеристическая особенность ихъ героевъ: они выступали на сцену, говорили, и дѣйствовали совершенно также какъ и все блестящее великосвѣтское большинство, наполнявшее современныя Расину и Вольтеру салоны Парижа. Тѣ же самые безымянные герои ложно-классической трагедіи явились и въ трагедіяхъ Сумарокова на русской сценѣ, и ихъ французскій характеръ, ихъ французскія воззрѣнія и французскій способъ дѣйствій ни мало не измѣнились отъ того, что Сумароковъ далъ имъ имена полумифическихъ Хоревовъ и Кіевъ, или темныхъ, малоизвѣстныхъ исторіи Синавовъ и Труворовъ. При томъ же, все, какъ видно, совершалось въ области ложно-классической драмы до такой степени правильно, а рабское преклоненіе подражателей съ передъ французскими образцами было до такой степени велико, что даже непосредственное столкновеніе съ историческою дѣйстви-

тельностью памятниковъ известной эпохи не въ силахъ было измѣнить, оживить блѣдныя, безжизненные, отвлеченные образы, выводимые на сцену подъ разными историческими именами. Такъ, напримѣръ, мы знаемъ, что Сумароковъ читалъ записки Маржерета, когда писалъ своего „Дмитрія Самозванца“ и это чтеніе записокъ современника, живо рисующаго намъ начало смутнаго времени, все же не прибавило ни одной живой черты къ тому отвлеченному, неестественному типу злодѣя, какимъ Самозванецъ представлялся Сумарокову, на основаніи ложно-классическихъ понятій о созданіи драматическаго характера. Не мѣшаетъ замѣтить, что отвлеченность ложно-классической трагедіи, собственно говоря, не принадлежавшей никакому народу, никакой эпохѣ, вообще много способствовала развитію неестественности и преувеличенія въ изображеніяхъ драматическихъ характеровъ; только сильный талантъ и замѣчательный литературный тактъ спасли такихъ писателей, какъ Корнель, Расинъ и Вольтеръ, отъ этихъ коренныхъ недостатковъ ложно-классической драмы. Но за то менѣе талантливые подражатели ихъ развивали эти недостатки въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ до величайшихъ крайностей:—добродѣтель выступала у нихъ на сцену въ образѣ неземнаго совершенства, а злодѣйство представлялось неизмѣющимъ ничею общаго ни съ какими свойствами человеческой природы, въ образѣ страшнаго, кроваваго, чуть не баснословнаго чудовища. Такимъ, напримѣръ, и является у Сумарокова Дмитрій Самозванецъ, который, закалываясь на сценѣ, жалѣетъ, что виѣсть съ собою „не можетъ погубить всей вселенной“. На основаніи той же склонности къ преувеличенію, конечно преувеличивались не одни только характеры, но и чувства, и стремленія героевъ: любовь выставилась пламенною, самоотверженною, преданною и вѣжною до приторности; ненависть,—превосходящею всякіе предѣлы описанія. Неудивительно, что при такихъ понятіяхъ о драматическомъ дѣйствіи и характерѣ, рѣдкая трагедія могла обойтись безъ кроваваго окончанія.

Не смотря на то, что Сумароковъ придавалъ важное значеніе своимъ драматическимъ произведеніямъ, не смотря на то, что большую половину жизни онъ посвятилъ по-

чти исключительно театру и постоянно называлъ „Мельпомену своею любимую музою“—онъ все же не былъ писателемъ драматическимъ. Драматическія произведенія Сумарокова, въ обширной массѣ его сочиненій, составляютъ даже не очень значительную долю ихъ, и при томъ, относятся, конечно, къ такимъ, которыя утратили положительно всякое значеніе для потомства, хотя Сумароковъ болѣе всего и рассчитывалъ прославиться именно своими драматическими произведеніями. Рядомъ съ его драмами и комедіями, слѣдуетъ, безъ сомнѣнія, поставить и большую часть его „Эпическихъ и лирическихъ произведеній“, — эклоги, идилліи, элегии, оды торжественныя, оды разныя, оды вздорныя и т. п. Въ этихъ произведеніяхъ нѣтъ ничего оригинальнаго; это все только слабыя и безцвѣтныя подражанія не менѣе безцвѣтнымъ образцамъ сентиментальной и однообразной французской лиро-эпической поэзіи XVII столѣтія. Большая часть этихъ произведеній явилась на свѣтъ Божій вѣроятно вслѣдствіе стремленія Сумарокова угодить публикѣ, замѣчательно склонной къ сентиментализму, и кромѣ того, блеснуть обиліемъ и разнообразіемъ формъ, въ которыя онъ умѣлъ облекать незатѣйливое и немудреное содержаніе. По всѣмъ вѣроятіямъ, лиро-эпическія произведенія Сумарокова нравились публикѣ и читались ею съ удовольствіемъ, потому, что иначе мы и не могли-бы объяснить себѣ необычайной плодовитости Сумарокова: въ собраніи сочиненій его видимъ около 80 одъ, 39 элегій, 76 эклогъ, 151 пѣсню, и, сверхъ того, множество другихъ мелкихъ лирическихъ произведеній: стансовъ, сонетовъ, мадригаловъ, эпитафій, надписей... Но вся эта масса стиховъ, повторяемъ, можетъ служить только доказательствомъ неразборчивости вкуса и со стороны автора, и со стороны публики: потребность въ литературѣ, въ журналистикѣ начинала сказываться среди общества, и общество (особенно молодое поколѣніе) съ жадностью хваталось за все, что могло развлечь и позабавить его, удовлетворить недавно развившейся въ немъ потребности къ легкому, занимательному чтенію. Съ одной стороны, очевидно стараясь удовлетворить этой потребности, Сумароковъ, съ другой стороны, увлекался и желаніемъ состязаться съ главнымъ соперникомъ своимъ по лите-

ратурѣ—съ Ломоносовымъ: — ради этого соперничества, онъ тоже много разъ принимался писать во всѣхъ родахъ, сочинялъ и торжественныя, похвальные рѣчи, ударялся и въ филологію, и въ критику, и даже въ исторію... Но вся эта подражательная поэзія и проза, небогатая содержаніемъ, не казистая и по внѣшней формѣ своей, можетъ служить только несомнѣннымъ доказательствомъ плодовитости Сумарокова. Всмотрѣваясь внимательнѣе въ сплошную массу лирическихъ произведеній Сумарокова, мы находимъ въ нихъ одну и весьма живую сторону, немаловажную по отношенію къ исторіи литературы. Эта живая сторона Сумароковской лирики является намъ въ цѣломъ рядѣ его басенъ, эпиграммъ и эпитафій, проникнутыхъ рѣзкимъ и ѣдкимъ сатирическимъ отношеніемъ къ современности. Тѣмъ Сумароковской сатиры очень не разнообразны: дурное устройство правосудія, выказывавшееся въ крючкотворствѣ, ухищреніяхъ и взяточничествѣ подъячихъ, вредныя, и тягостныя стороны откуповъ, стремленіе къ неразумному подражанію иностранцамъ въ языкѣ и въ обычаяхъ, и невѣжество, прикрытое вѣрнымъ лоскомъ образованія,—вотъ что осмѣиваетъ Сумароковъ въ своихъ сатирахъ на современные нравы; и не смотря на то, что форма его сатиры болѣею частью очень груба и несовершенна, содержаніе живо передаетъ намъ дѣйствительныя впечатлѣнія современника, который былъ одаренъ наблюдательностью и, въ то же время, не способенъ относиться хладнокровно къ тому, что совершалось передъ его глазами. Сравнивая сатирическія произведенія Сумарокова со всѣми остальными, мы невольно приходимъ къ тому убѣжденію, что сатира и была настоящею, наиболѣе выдающеюся стороною его литературнаго таланта; но не та спокойная, положительная сатира, которую видѣли мы у Кантемира, рисовавшего темныя стороны общественной жизни, и противопоставлявшаго ей образы свѣтлыя, или по крайней мѣрѣ ослаблявшаго тѣни спокойнымъ, безмятежнымъ взглядомъ на жизнь, которую, по мнѣнію Кантемира, такъ легко было устроить „себѣ къ покою“... Сатира Сумарокова, напротивъ того, отличается совершенно отри-

цательнымъ, безпокойнымъ, развѣдающимъ характеромъ. Видно, что авторъ самъ страдалъ отъ тѣхъ бѣдъ и неурядицъ, которыя онъ безжалостно бичуетъ своей сатирой, выставя ихъ на позоръ передъ всѣми. Онъ задается только одною цѣлью: выставить въ яркомъ свѣтѣ извѣстные пороки современниковъ своихъ, указать на эти общественныя язвы и предать ихъ осмѣянію; ему и въ голову не приходитъ противопоставлять всему этому свѣтлыя стороны и черты современности, или утѣшать себя тѣмъ, что зло неизбежно... Сумароковъ стремился даже къ обличенію, и при своей замѣчательной живости, горячности, при той самоувѣренности, которая составляла одну изъ самыхъ выдающихся сторонъ его характера, часто вдавался даже во всѣ крайности полемическаго и обличительнаго направленія, относясь безпощадно къ врагамъ своимъ, не пренебрегая никакими личностями и мелочами. Любопытною чертою его сатиры и полемическихъ статей является та смѣлость, съ которою онъ рѣшается въ нихъ высказывать свои взгляды на сословныя предразсудки или порицать образъ дѣйствія лицъ, пользовавшихся весьма виднымъ положеніемъ въ современномъ ему обществѣ.

Въ заключеніе этой главы, приведемъ нѣсколько прекрасныхъ словъ, которыми академикъ Гротъ старается охарактеризовать значеніе Сумарокова, какъ писателя въ современномъ ему русскомъ обществѣ. „Не забудемъ“, говоритъ онъ „что Сумароковъ первый, благопріятствуемый связями при дворѣ и въ высшемъ обществѣ, явился въ литературѣ съ смѣлымъ и рѣзкимъ протестомъ противъ существующаго порядка. Онъ всегда былъ на сторонѣ движенія, прогресса. Вспомнимъ, что еще за сто лѣтъ до нашего времени онъ говорилъ: „Каждый человѣкъ есть человѣкъ, и всѣ преимущества только въ различіи нашихъ качествъ состоятъ“... „Помѣщикъ, обогащающійся непомерными трудами своихъ подданныхъ, суетно поносится почтеннымъ именемъ домостроителя и долженъ онъ названъ быть доморазорителемъ“... Много оставилъ онъ дѣламъ своимъ, но и у крестьянъ его есть дѣти...“¹⁾.

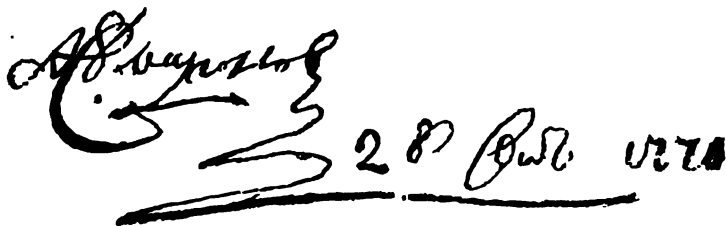
Намъ припоминается и еще одно подоб-

¹⁾ I т. Имп. Академіи Наукъ 1862 г. Письма Ломоносова и Сумарокова къ И. И. Шувалову.

ное же мѣсто изъ сочиненій Сумарокова, въ которомъ онъ высказываетъ весьма замѣчательный по своему времени взглядъ на равноправность людей по отношенію къ просвѣщенію: „Многіе думаютъ“, замѣчаетъ Сумароковъ, „будто просвѣщеніе однимъ только начальникамъ имѣти надобно; но блаженство общества не въ начальникахъ однихъ и не въ знатныхъ господахъ. Когда де, говорятъ, люди всѣ просвѣщены бу-

дутъ, такъ не будетъ повиновенія и слѣдовательно никакова порядка. Сія система принадлежитъ малымъ душамъ и безмозглымъ головамъ“.

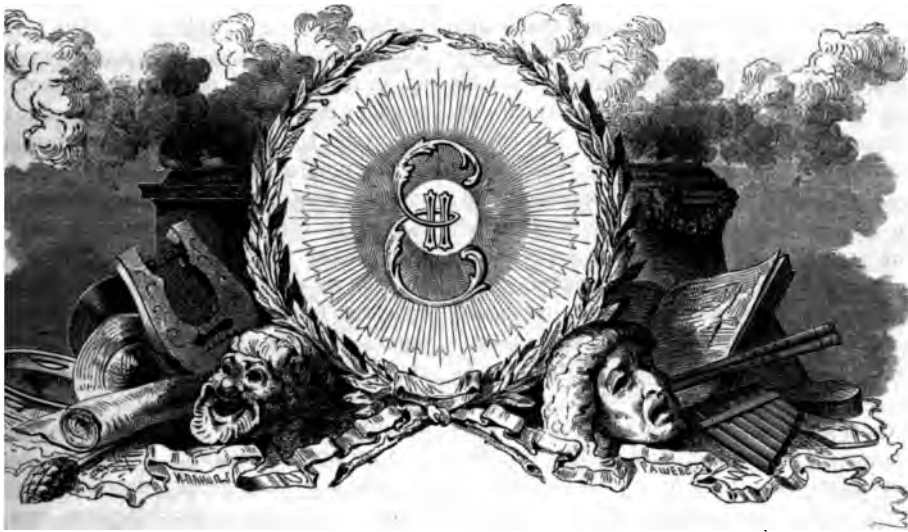
Припоминая подобныя строки, едва-ли можно рѣшиться стать на сторону того рѣзкаго и невыгоднаго мнѣнія, которое Пушкинъ высказалъ о личномъ характерѣ Сумарокова и о его плодотворной, многосторонней литературной дѣятельности.



Автографъ Сумарокова.



Екатерина Великая.



ПЕРІОДЪ ШЕСТОЙ.

ВѢКЪ ЕКАТЕРИНЫ.

XXVII.

въ Екатеринѣ II на русскую литературу; ея сочувствіе современному философскому движенію на западѣ. —
 нурная и педагогическая дѣятельность Екатерины; участіе въ журналахъ. — В. Р. Дашкова. —
 Значеніе вѣка Екатерины.

ступательное движеніе чловѣчества
 , яснѣе обнаруживается перемѣною
 цдовъ большинства на отношеніе от-
 ной личности къ цѣлому обществу. На
 ниніи такихъ-то перемѣнъ, совершаю-
 м въ этомъ смыслѣ въ воззрѣніяхъ че-
 чества, происходятъ и всѣ тѣ общія
 , которыя, въ теченіе извѣстнаго, болѣе
 менѣе продолжительнаго періода вре-
 ѣ, руководятъ обществомъ, а потомъ,
 енно видоизмѣняясь или перерожда-
 змѣняются новыми идеями, болѣе при-
 нии для незамѣтно наступившей новой
 рической эпохи. Такъ какъ литература
 ить вѣрнымъ отраженіемъ внутренней
 ии каждаго общества, а слѣдовательно
 ямымъ выраженіемъ тѣхъ общихъ идей,
 рья руководятъ обществомъ въ извѣст-
 время, то и въ литературѣ, конечно,
 мѣна воззрѣній на значеніе отдѣльной
 ости и ея отношеніе къ обществу дол-

жна находить себѣ свое постоянное выра-
 женіе. Эту перемѣну воззрѣній литература
 обыкновенно отражаетъ перемѣною взгляда
 на значеніе въ обществѣ писателя и его
 дѣятельности: чѣмъ большимъ количествомъ
 правъ, уваженія и свободы пользуется въ
 обществѣ каждая отдѣльная личность, тѣмъ
 большимъ количествомъ почета, свободы и
 уваженія пользуются въ томъ же обществѣ
 писатель и его дѣятельность. И на оборотъ:—
 литература и писатель тѣмъ менѣе имѣютъ
 значенія въ обществѣ, чѣмъ менѣе развито
 въ немъ уваженіе къ правамъ и значенію
 каждой изъ отдѣльныхъ личностей, входя-
 щихъ въ составъ общества. Вотъ почему,
 по мѣрѣ того, какъ общество развивается и
 растетъ, вмѣстѣ съ нимъ должно конечно
 развиваться и расти понятіе о значеніи пи-
 сателя и его дѣятельности.

Этотъ общій законъ, который не трудно
 прослѣдить въ исторіи каждой литературы,

съ замѣчательною очевидностію сталъ проявляться у насъ на Руси съ той самой минутой, когда болѣе благоприятныя условія общественной жизни дали возможность отдѣльной личности выдвинуться изъ сплошной массы народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и литературѣ—проявиться, какъ произвольному выраженію идей преобладавшаго въ обществѣ развитаго меньшинства. Мы уже видѣли, какое значеніе имѣлъ въ нашемъ обществѣ писатель въ началѣ эпохи преобразованій, при Петрѣ, и потомъ, при ближайшихъ его наслѣдникахъ до Екатерины II; мы знаемъ, какъ сами писатели смотрѣли на свою дѣятельность; знаемъ, сколько труда и тяжелыхъ усилій пришлось потратить литературнымъ дѣятелямъ эпохи преобразованій на то, чтобы хотя сколько нибудь возвысить свое значеніе въ окружавшемъ ихъ обществѣ. Положеніе писателя даже и въ концѣ эпохи преобразованій далеко еще не могло назваться завиднымъ, а во многихъ случаяхъ оказывалось едва-ли и сносимымъ; но все же нельзя отрицать того, что общество, въ отношеніи къ писателямъ и ихъ дѣятельности, успѣло сдѣлать за это время довольно замѣтные шаги на пути развитія. Нѣкоторымъ доказательствомъ этихъ успѣховъ служить для насъ уже и самое развитіе меценатства въ высшихъ слояхъ общества, и замѣтное проявленіе сочувствія и вкуса къ литературѣ и театру, проявившееся особенно ярко въ царствованіе Елисаветы.

Въ концѣ пятидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія и въ началѣ шестидесятихъ, кругъ литературныхъ дѣателей русскихъ, вслѣдствіе быстро-возраставшей въ обществѣ потребности въ чтеніи, успѣлъ значительно расшириться и литература была уже близка къ тому, чтобы занять въ обществѣ положеніе довольно видное. Но всему этому, вѣроятно, еще долго-бы не суждено было сбыться, если-бы, въ началѣ царствованія Екатерины II, не прибавилось много благоприятныхъ условій, способствовавшихъ развитію въ Россіи общественной жизни, распространенію просвѣщенія и смягченію нравовъ, все еще носившихъ на себѣ слѣды грубой старины и отличавшихся приверженностію къ суровой обрядности. При помощи этихъ благоприятныхъ условій, безъ всякой особенной ломки, совершалось незамѣтно общее

улучшеніе быта, а вмѣстѣ съ тѣмъ улучшалось и самое положеніе отдѣльной личности и ея отношеній къ обществу; возрастали и расширялись ея права и, какъ необходимое слѣдствіе всего этого — на основаніи вышеуказаннаго нами закона—улучшалось положеніе писателя, возрастало значеніе литературы въ обществѣ. Виновицею этого благоприятнаго поворота, совершившагося въ русской жизни начала шестидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія, была безъ сомнѣнія Екатерина Великая, которой Россія XVIII столѣтія обязана очень многимъ во всѣхъ отношеніяхъ. Одаренная быстрымъ, глубокимъ и наблюдательнымъ умомъ, обладавшая сверхъ того весьма обширнымъ и замѣчательнымъ, по тому времени, вполнѣ европейскимъ, образованіемъ, сочувствуя искренно тому разумному и гуманному философскому движенію, которое совершалось въ современной Европѣ, Екатерина доставила Россіи болѣею частью своего почти 34-хъ лѣтняго царствованія одинъ изъ лучшихъ періодовъ исторической жизни въ XVIII столѣтіи. Стремясь дать Россіи всѣ выгоды западнаго просвѣщенія и внести въ русскую жизнь лучшія начала западной общественности, Екатерина не могла не видѣть въ литературѣ сильнаго орудія къ достиженію своихъ цѣлей. Вотъ почему она не только старалась поощрять развитіе у насъ литературы и журналистики, но и сама, обладая литературнымъ талантомъ, воспріимчивая и чуткая къ явленіямъ совершавшейся около нея русской жизни, рѣшалась показывать другимъ дорогу, со страстью предаваясь живой журнальной полемикѣ или создавая яркую картину современныхъ нравовъ въ цѣломъ рядѣ комедій и сатирическихъ очерковъ. То значеніе, которое, подъ влияніемъ Екатерины, приобрѣла въ русской жизни литература, и то участіе, которое сама Екатерина лично принимала въ литературѣ, между 1763 и 1789 гг., даютъ ей полное и несомнѣнное право стать во главѣ новѣйшаго періода нашей литературы тѣмъ болѣе, что сильное движеніе литературное, возбужденное Екатериной и не прекращавшееся въ теченіе всего ея царствованія, было почти исключительно посвящено разработкѣ идей, вызванныхъ ею къ существованію и ею положенныхъ въ основу современной русской жизни.

Екатерина II родилась 21 апрѣля 1729, въ Штетинѣ, гдѣ отецъ ея — Христіанъ-Августъ ¹⁾, князь Ангальтъ-Цербстскій, генералъ-фельдмаршалъ прусской службы—былъ губернаторомъ. Простой и суровый воинъ,—одинъ изъ тѣхъ, которыхъ такъ много было подъ знаменами Фридриха,—онъ вообще очень мало обращалъ вниманія на свой домашній бытъ и тѣмъ менѣе на воспитаніе дѣтей своихъ (двухъ дочерей ²⁾ и сына), вполне предоставляя заботы обо всемъ этомъ женѣ своей, Іоаннѣ Елисаветѣ (род. 1712 г.), происходившей изъ голштинскаго дома. Іоанна Елисавета, страстно любившая свѣтскую жизнь и всякій блескъ, живая, впечатлительная, горячая, и вспылчивая иногда до излишества, не могла дать дочери своей никакого правильнаго воспитанія и серьезно озаботиться ея образованіемъ, такъ что Екатерина была конечно одной себѣ обязана выработкою своего замѣчательнаго характера, а своей страсти къ чтенію—тѣмъ обширнымъ образованіемъ, которымъ она обладала. Вообще трудно предполагать, чтобы мать Екатерины способна была тщательно заняться своей старшей дочерью: не слѣдуетъ забывать, что Іоаннѣ Елисаветѣ было всего 16 лѣтъ въ то время, когда у ней родилась старшая дочь ея, Софія-Августа, которую впоследствии, подъ именемъ Екатерины II, ожидала императорская корона, обладаніе однимъ изъ величайшихъ царствъ въ свѣтѣ, и громкая слава. Вообще говоря, о дѣтствѣ и ранней юности Екатерины почти ничего не извѣстно. Достоверно только то, что такъ какъ тогда уже французскія моды, французскіе свѣтскіе обычаи и французскій языкъ начинали распространяться въ высшихъ слояхъ германскаго общества, то и первоначальному воспитанію Екатерины было тоже придано французское направленіе. Около Екатерины видимъ француза-эмигранта, нѣкоего Лорана, учителемъ чистописанія. Сама Екатерина вспоминала еще о своей гувернанткѣ-франуженкѣ, мамзель Гардель. „Эта моя гофмейстерина“—такъ говаривала Екатерина впоследствии своему статсъ-секретарю Грибовскому—„была старосвѣтская франуженка. Она не худо меня приготовила для замужества въ нашемъ сосѣдствѣ; но, право,

ни дѣвица Гардель, ни я сама не ожидала всего этого (т. е. вояженія въ Россію)“. Самою выгодною стороною воспитанія Екатерины конечно было то, что она въ дѣтствѣ и ранней юности не могла быть избалована никакой роскошью, росла среди весьма скромной обстановки, и рано должна была научиться понимать людей, потому что могла видѣть ихъ близко.

Екатерина пріѣхала съ матерью въ Россію въ 1744 году, когда ей, слѣдовательно, еще не было и 15 лѣтъ—и уже не выѣзжала изъ Россіи до самой смерти ³⁾! Съ самаго пріѣзда своего, она дѣлательно принялась за изученіе русскаго языка, и очень скоро успѣла съ нимъ освоиться на столько, что могла не только говорить на немъ, но и писать. Первымъ наставникомъ Екатерины по русскому языку былъ уже извѣстный намъ адъютантъ Академіи Наукъ Адодуровъ; но Екатерину, какъ кажется, не пришлось долго пользоваться его уроками, судя потому, что она сама о себѣ рассказывала впоследствии своему статсъ-секретарю Грибовскому:.... „Ты не смѣйся“—говорила она ему однажды—„надъ моей русской орфографіей. Я тебѣ скажу, почему я не успѣла ее хорошенько узнать. По пріѣздѣ моемъ сюда (т. е. въ Россію), я съ большимъ прилежаніемъ начала учиться русскому языку. Тетка, Елисавета Петровна, узнавъ объ этомъ, сказала моей гофмейстеринѣ: „полно ее учить, она и безъ того умна!“ Такимъ образомъ могла я учиться русскому языку только изъ книгъ, безъ учителя, и это причина, что я плохо знаю правописаніе“. „Впрочемъ“, замѣчаетъ Грибовскій, „сударыня говорила по-русски довольно чисто и любила употреблять прямые и коренные русскія слова, которыхъ она множество знала“. Нельзя не припомнить здѣсь то, что Екатерина очень мало придавала значенія грамматическимъ погрѣшностямъ, которыя закрывались въ ея рѣчь въ разговорѣ или на письмѣ. Въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій она замѣчаетъ: „надѣяться можно, что наши грѣшныя надежды никому вреда не нанесутъ“,—и въ этихъ словахъ ея невольно слышится то, что гораздо выше всѣхъ этихъ мелочей ставила она то глубокое пониманіе духа языка и то знаніе характера народнаго,

¹⁾ Род. въ 1690 г. ²⁾ Младшая изъ дочерей, сестра Софіи-Августы (впоследствии Екатерины II), умерла въ раннемъ дѣтствѣ. ³⁾ 6 Ноября 1796 года, на 67-мъ году отъ роду.

которое она действительно успѣла приобрести и вполне усвоить себѣ въ теченіе 18-ти лѣтъ, проведенныхъ ею въ Россіи до вступленія на престолъ.

По собственному признанію Екатерины, уединеніе, въ которомъ она постоянно жила въ теченіе этого времени, развило въ ней охоту къ чтенію ¹⁾, доставило ей возможность прочесть множество самыхъ разнообразныхъ сочиненій по различнымъ отраслямъ современной французской, англійской, итальянской и нѣмецкой литературы. Само собою разумѣется, что при ея живости и впечатлительности, на ней должно было отразиться влияние того умственного движенія, главнымъ центромъ котораго была литература французская.

Французская литература не представляла собою при этомъ ничего оригинальнаго, что бы исключительно принадлежало французской почвѣ. Французскіе писатели начала XVIII вѣка только способствовали распространенію въ массахъ и популяризаціи тѣхъ научныхъ философскихъ истинъ, которыя были выработаны англійскими учеными и мыслителями конца XVII столѣтія, благодаря той гражданской свободѣ и тому замѣчательному государственному устройству, котораго Англія успѣла около этого времени достигнуть. Какъ только французы, въ первой четверти XVIII вѣка, ознакомились поближе съ результатами, выработанными англійской наукой, англійской общественной и государственной жизнью, — эти результаты для всей мыслящей части французскаго общества стали немедленно основой, за многостороннюю разработку которой дѣятельно принялись и французская литература, и французская наука.

Одни писатели, какъ напримѣръ Монтескье, взялись за разъясненіе государственнаго строя и учрежденій Англіи; другіе посвятили свою дѣятельность исключительно на популярное, наглядное и всѣмъ доступное изложеніе тѣхъ мировыхъ научныхъ теорій и законовъ, которые были открыты безсмертнымъ Ньютономъ и цѣлымъ рядомъ, неизвѣстныхъ на материкѣ, англійскихъ ученыхъ и философовъ; сюда слѣдуетъ отнести труды Фонтенелля, Вольтера и Монтескье, Дидро и Даламбера. Но болѣе всего французскіе пи-

сатели воспользовались результатами англійской философіи и литературы по отношенію къ разработкѣ вопросовъ религіи и общественной жизни; разработкѣ этихъ вопросовъ и посвящена была вся дѣятельность Вольтера и Руссо, и отчасти Дидро. Печальное состояніе современныхъ нравовъ и народнаго образованія и тягостное положеніе, въ которомъ чувствовало себя французское общество конца XVII и начала XVIII столѣтія подъ гнетомъ утонченнаго деспотизма Людовика XIV и его бездарныхъ наслѣдниковъ, а также и произведенія этихъ деспотизмомъ дурныхъ условій экономическихъ, — вотъ что заставило передовыхъ литературныхъ дѣятелей французскихъ, ближе ознакомиться съ бытомъ, нравами, законами, литературой и наукой Англіи, заговорить о правахъ человека и гражданина тамъ, гдѣ эти права болѣе всего находились въ пренебреженіи. Вольтеръ, Руссо и Дидро выступили борцами противъ злоупотребленій власти и пріобрѣтенія предразсудковъ, поощряемыхъ къ развитію невѣжествомъ массы и происками католическаго духовенства. При этомъ впервые, послѣ долгаго застоя, поднятъ былъ въ глубоко-испорченномъ обществѣ вопросъ о естественныхъ правахъ человека, какъ существа способнаго къ нравственному совершенствованію, а вмѣстѣ съ этимъ и вопросы о воспитаніи, какъ ближайшемъ средствѣ для подобнаго совершенствованія. Такимъ образомъ, въ то самое время, когда Монтескье писалъ свое извѣстное сочиненіе „о духѣ законовъ“, и въ немъ указывалъ на необходимость тѣсной связи между законодательствомъ и нравами, образованіемъ, религіей страны, на необходимость соответствія законовъ духу народному — въ то же время, Вольтеръ, во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, развивалъ идею гуманнаго управленія государствомъ и терпимости по отношенію къ вѣроисповѣданію подданныхъ, а Руссо напоминалъ обществу о равноправности всѣхъ людей и о томъ, что человекъ по природѣ своей бываетъ добрымъ, а злымъ становится отъ недостатка воспитанія. Идеи Руссо нашли себѣ весьма положительную поддержку въ Дидро, который во всѣхъ статьяхъ своего „Энциклопедическаго Слю-

¹⁾ См. статью академика Пекарскаго: „Матер. для ист. журн. и литер. дѣят. Екат. П.“: въ III т. Зап. Имп. Акад. Наукъ, стр. 76.

стоянно ратовалъ противъ сословно-дразсудковъ и аристократическаго на образованіе, искусства и ли- въ этихъ статьяхъ онъ указы- важность технической культуры, и ремесла съ точки зрѣнія ихъ а прогрессъ человѣчества, противо- въ искусствѣ истинность природы подчиненію академическимъ, изби- азамъ, а въ драмѣ отдавая поло- е предпочтеніе естественному чув- , всѣми условными правилами тео- го приличія.

Монтескье, Вольтера, Руссо, Ди- циклопедистовъ¹⁾, благодаря обще- яненности французскаго языка, осиринато было всей Европой и ьно отозвалось во всѣхъ концахъ аже въ Англіи образовалась цѣлая кола писателей, положившихъ идеи и Руссо въ основу своихъ истори- турныхъ трудовъ. Вліяніе новыхъ ье всего благотворно отразилось въ : взглядовъ на воспитаніе и на от- човѣка къ государству и закону, азумнаго преобладанія ихъ въ ев- мъ обществѣ была на столько вели- ногіе изъ современныхъ государей ьвали этому общему движенію, стар- римѣнныя новыя идеи къ своему ію государствомъ, прилагая всевоз- заботы къ развитію правъ отдѣль- юсти, къ распространенію правиль- ладовъ на воспитаніе и къ смягче- гости законовъ. Къ числу такихъ ь принадлежалъ и король прусскій, ь Великій, и императоръ австрійскій, I, и шведскій король, Густавъ III. ина II, какъ мы уже видѣли, по- эрвоначальное воспитаніе подъ силь- нцузскимъ вліяніемъ, которому слѣ- нилась ея мать; впоследствии, живя и и страстно предаваясь чтенію, югла не подчиниться вліянію новаго жаго направленія, исходившаго изъ и преобладавшаго во всѣхъ совре- европейскіхъ литературахъ. Свое іе этому направленію выразила она юю съ Вольтеромъ, продолжавшеюся

отъ 1763 — 1777 г., сношеніями съ Дидро и покровительствомъ, которое она постоянно оказывала энциклопедистамъ и всѣмъ уче- нымъ представителямъ новаго направленія. Но этого мало: подобно многимъ другимъ современнымъ ей правителямъ, она рѣши- лась положить это новое направленіе въ осно- ву тѣхъ важныхъ реформъ, которыми ду- мала ознаменовать свою правительственную дѣятельность.

Всѣ эти реформы, задуманныя ею на са- момъ широкомъ основаніи, касались, какъ извѣстно, двухъ главныхъ сторонъ общест- венной жизни: законодательства и вос- питанія, въ которыхъ она, собравъ воз- зрѣніямъ современной философіи, рѣшалась видѣть главныя средства къ смягченію пра- вовъ и созданію новаго, лучшаго и совер- шеннѣйшаго поколѣнія людей. Въ самомъ началѣ своего царствованія, Екатерина, какъ извѣстно, выступила со своимъ знаме- нитымъ „Наказомъ комиссіи о состав- леніи проекта новаго уложенія“ (въ 1768 г.), въ которомъ, на основаніи резуль- татовъ, добытыхъ современною философіей и наукой, руководствуясь сочиненіями Мон- тескье и ближайшаго послѣдователя его, итальянскаго юриста Беккарин, Екатерина даетъ обширный планъ для того подробнаго и разносторонняго законодательства, которое думаетъ дать Россіи при помощи собранной по ея повелѣнію комиссіи. Система, по ко- торой составленъ „Наказъ“, даетъ намъ са- мое выгодное мнѣніе о трудолюбіи, начи- танности и замѣчательной образованности Екатерины, которая въ двадцати главахъ и 665 §§ излагаетъ не только планъ, по кото- рому надлежитъ дѣйствовать будущей ком- миссіи, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и подтверждаетъ указываемыя ею положенія практическими примѣрами, сравненіями, даже ссылками на частные случаи. Въ разборѣ вопросовъ осо- бенной важности Екатерина поступаетъ да- же и такъ: сначала ставитъ вопросъ, потомъ приводитъ различные отвѣты на него, раз- бираетъ его со всѣхъ сторонъ, и наконецъ предлагаетъ свое рѣшеніе. Вліяніе современ- ной философіи замѣтно на каждой страницѣ „Наказа“, въ особенности же тамъ, гдѣ Ека-

¹⁾ и именемъ энциклопедистовъ извѣстны Дидро и Даламберъ, и ихъ ближайшіе послѣ- составившіе извѣстный энциклопедическій словарь, о коихъ мы упоминали выше, а также и ченные и писатели, которые развивали ихъ взгляды на науку и литературу.

терина совѣтуетъ послѣдовать естественнымъ влеченіямъ человѣческой природы, сообразоваться съ нравами, обычаями и понятіями народа, дѣйствовать на преступниковъ не страхомъ наказанія, а страхомъ стыда и т. д. Тѣмъ же самымъ духомъ проникнуть и ея сборникъ нравственно-педагогическихъ правилъ, извѣстный подъ названіемъ „Гражданскаго Начальнаго Ученія“, которое и начиналось даже съ указанія на то, что „передъ Богомъ всѣ люди равны“¹⁾ и что существеннѣйшее различіе между людьми устанавливается только образованіемъ: „естественно человѣкъ съ человѣкомъ разнится мало, по ученію человѣкъ съ человѣкомъ разнится много“²⁾.

„Наказъ“ относится къ тому первому періоду царствованія Екатерины, когда она дѣйствовала еще подъ несомнѣннымъ вліяніемъ своего воспитанія и тѣхъ нравственныхъ идеаловъ, какіе создались въ умѣ ея подъ впечатлѣніемъ изученія современной философской литературы, которой она такъ глубоко сочувствовала. Но когда идеалы эти пришлось примѣнять къ дѣйствительности и притомъ нести на себѣ всю тягость управленія громадною страной, въ которой понятія о гражданственности были очень мало развиты, въ которой экономическія условія быта были далеко не завидны, тѣмъ болѣе, что огромная часть населенія находилась подъ гнетомъ неограниченнаго помѣщичьяго произвола; когда при этомъ пришлось даже и въ приближенныхъ людяхъ встрѣчать препятствія въ исполненіи своихъ благихъ намѣреній и разочарованія въ своихъ стремленіяхъ къ любимымъ цѣлямъ, — тогда Екатерина стала сильно охладѣвать къ своимъ преобразовательнымъ планамъ, а подъ конецъ жизни даже и весьма замѣтно измѣнила свой взглядъ на отношенія къ подданнымъ и на самую систему управленія государствомъ.

Гораздо болѣе положительными и устойчивыми оказались тѣ воззрѣнія на воспитаніе, которыя вынесены были Екатериною изъ того же общаго всему ея вѣку философ-

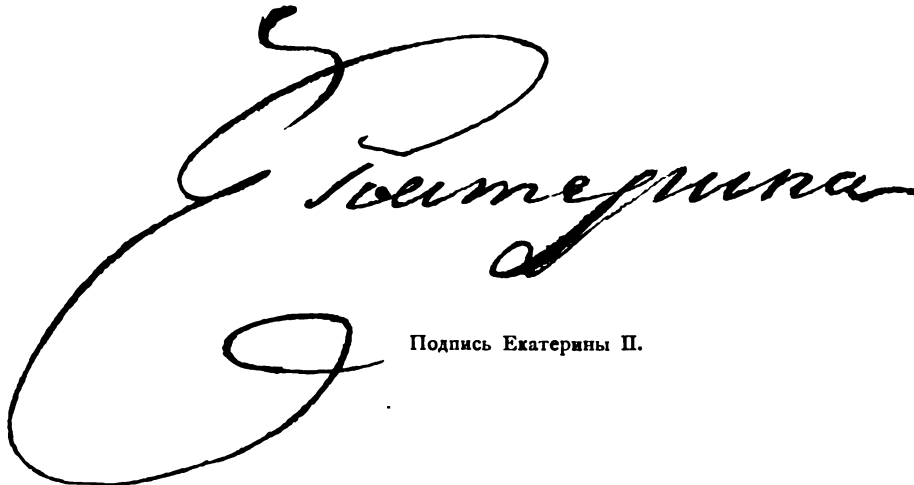
скаго направленія. До самаго конца жизни она не переставала заботиться объ улучшеніи нравственныхъ и матеріальныхъ условій воспитанія русскаго юношества, причемъ совершенно одинаково заботилась и о высшихъ, и о среднихъ классахъ общества. Сверхъ многихъ, весьма замѣчательныхъ реформъ, въ тѣхъ образовательныхъ заведеніяхъ, которыя учреждены были уже и до Екатерины, сверхъ того, что ею же положено было начало одному изъ благотѣльнѣйшихъ учрежденій въ Имперіи — воспитательному дому въ Москвѣ, въ 1763 г. — она же, основаніемъ воспитательнаго общества для дѣвицъ дворянскаго (въ 1764 г.) и мѣщанскаго (въ 1765 г.) сословія при Воскресенскомъ (Смоленомъ) монастырѣ, положила первое основаніе женскому воспитанію въ Россіи и первая указала русской женщинѣ путь къ нравственному совершенствованью. Замѣтно, что вопросы воспитательные занимали ее постоянно и не переставали занимать ее до конца жизни, потому что цѣлый большой отдѣлъ ея литературныхъ произведеній посвященъ только этимъ вопросамъ. Сюда относятся ея правоучительныя сказки „о царевичѣ Февѣѣ“ и „о царевичѣ Хлорѣѣ“ (1782 г.), „Выборныя Россійскія пословицы“ — отчасти заимствованныя изъ народныхъ, отчасти составленныя изъ разныхъ изреченій нравственныхъ, „Инструкція кн. Николаю Ивановичу Салтыкову, при назначеніи его къ воспитанію Великихъ князей (Александра Павловича и Константина Павловича) въ 1784 году, которая и теперь еще могла-бы служить весьма хорошею программой правильнаго физическаго и нравственнаго воспитанія, предусмотрѣннаго во всѣхъ его мельчайшихъ подробностяхъ; наконецъ, сюда же относятся „Записки“, составленныя изъ рассказовъ и замѣтокъ, касающихся преимущественно отечествовѣдѣнія, и изъ разговоровъ (отца или матери съ сыномъ), въ которыхъ кратко и наглядно представляется разборъ общихъ нравственныхъ вопросовъ³⁾. Во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ своихъ Екатерина представ-

¹⁾ Правило 118; см. въ Смирдинск. изд. сочиненій Екатерины на 184 стр. 1 т. ²⁾ Тамъ же, прав. 119.

³⁾ Сюда же слѣдуетъ отнести и «Китайскія мысли о совѣсти», которыя входятъ въ составъ «Гражданскаго начальнаго ученія». На всѣ вышеприведенныя нами педагогическія сочиненія свои Екатерина указываетъ въ «Инструкціи» Салтыкову, какъ на необходимыя пособія, по которымъ великіе князья учились читать и писать, и которыхъ забывать они не должны.

ляется намъ вполне преданною современ-
нымъ воззрѣніямъ на воспитаніе, какъ на
единственное и притомъ всемогущее сред-
ство къ нравственному совершенствованью
человѣка: и ей, какъ очень многимъ изъ со-
временныхъ мыслителей, человѣкъ являлся
такимъ существомъ, которое способно выпол-
нѣ подчиняться условіямъ, концы его
окружаютъ, и которое какъ бы вовсе не но-
ситъ въ себѣ никакихъ самостоятельныхъ
нравственныхъ задатковъ. Цѣлью воспитанія
являлась отвлеченная добродѣтель, которую
можно было вселить въ душу воспитываема-
го, постоянно окружал его хорошими при-
мѣрами и какъ можно чаще внушая ему
правила добродѣтели, передавая ему мудрости

Европѣ, должна была вполне сознавать зна-
ченіе литературы, какъ могущественнаго
орудія къ распространенію въ обществѣ но-
выхъ идей. Мы говорили, что она нерѣдко
сама бралась за перо для сатиры и полеми-
ки, и переходя въ настоящую минуту къ
очерку именно этой стороны ея литератур-
ной дѣятельности. мы должны замѣтить, что
придаемъ журнальнымъ статьямъ и комеді-
амъ Екатерины гораздо болѣе значенія, не-
жели всѣмъ остальнымъ ея произведеніямъ,
въ которыхъ она является несомнѣнно и
гораздо менѣе оригинальной, и менѣе тѣсно
связанной съ живою, современною ей рус-
ской дѣйствительностью. Напротивъ того, въ
журнальныхъ статьяхъ своихъ, какъ и въ



Подпись Екатерины II.

изреченія различныхъ писателей и веда съ
нимъ назидательныя и возвышающія душу
бесѣды. Таковъ былъ взглядъ вѣка, замѣнив-
шій грубую и несогласную съ дѣтской приро-
дой школьную дисциплину XVI и XVII вв. —
таковъ былъ и взглядъ Екатерины. отразив-
шійся, какъ мы увидимъ далѣе, не только
на ея собственныхъ сочиненія, но и во-
обще на литературныхъ произведеніяхъ цѣ-
лаго ряда современныхъ Екатерины русс-
скихъ писателей.

Выше мы уже говорили о томъ, что Ека-
терина, какъ женщина европейски-образо-
ванная и притомъ вполне сочувственно от-
носившаяся къ литературно-философскому
движенію, происходившему въ современной

комедіяхъ, Екатерина представляетъ намъ
рядъ очерковъ, въ которыхъ или выставляетъ
намъ характеры, заимствованные прямо изъ
жизни или бичуетъ своею сатирой пороки,
наиболѣе распространенные въ обществѣ ея
времени, или старается отстоять, оправдать
и защитить отъ порицаній новыя учрежденія
и начала общественности, которыя казались
ей неразлучно-связанными съ благомъ и про-
цвѣтаніемъ Россіи.

Въ самомъ началѣ своего царствованья,
вскорѣ послѣ написанія „Наказа“, Екате-
рина выступаетъ на поприщѣ журнальной по-
лемики въ сатирическомъ журналѣ „Вся-
кая всячина“, который сталъ издаваться въ
1769 году, и редакторомъ котораго всѣ счи-

тали уже известнаго намъ адъюнкта Академіи Наукъ, Григорья Васильевича Козицкаго, который съ 1769 по 1775 годъ состоялъ на службѣ „въ кабинетѣ и при собственныхъ Ея Императорскаго Величества дѣлахъ“. Журналъ этотъ чрезвычайно понравился публикѣ своимъ новымъ направленіемъ и мѣткою сатирою, направленною не противъ „особъ, но единственно на пороки“, и руководимую постоянно слѣдующими правилами: „1) Никогда не называть слабости порокомъ; 2) хранить во всѣхъ случаяхъ челоуѣколюбіе; 3) не думать, чтобы людей совершенныхъ найти можно было, и для того: 4) просить Бога, чтобы намъ далъ духъ кротости и снисхожденія“. Картины современныхъ нравовъ, въ видѣ очерковъ помѣщавшіяся во „Всякой Всячинѣ“, очень любопытны и важны для насъ, какъ первый поштыки подмѣтить около себя въ обществѣ и обрисовать тѣ самые типы, которые впоследствии явились на сценѣ въ болѣе совершенномъ видѣ въ комедіяхъ Екатерины, Фонъ-Визина и другихъ современныхъ писателей. Болѣе всего порицаніямъ и насмѣшкамъ „Всякой Всячины“ подвергалось недостаточное воспитаніе и поверхностное образованіе; а за тѣмъ, закоренѣлые общественные предрассудки, суетворіе и неразумное подражаніе французамъ въ модахъ и свѣтскихъ обычаяхъ. Во время выхода своего въ свѣтъ „Всякая Всячина“ оставалась совершенно анонимнымъ изданіемъ, но современникамъ вѣроятно извѣстно было то постоянное и горячее участіе, которое принимала въ изданіи этого журнальца Екатерина. По крайней мѣрѣ въ цѣломъ рядѣ сатирическихъ листковъ и журналовъ, которые стали выходить въ свѣтъ одновременно со „Всякой Всячиной“ (между 1769 и 1774 годомъ) нельзя не видѣть очень прозрачныхъ намековъ на участіе, которое во „Всякой Всячинѣ“ принимаютъ „знатные господа и высокопоставленные лица“. Враждебное отношеніе, которое, за весьма немногими исключеніями, выказывали по отношенію къ „Всякой Всячинѣ“ всѣ современные сатирическіе журналы, вынуждало иногда и „Всякую Всячину“ тоже къ довольно прозрачнымъ намекамъ, въ которыхъ какъ-бы указывается на то, что не мѣшало-бы быть

осторожнѣе по отношенію къ изданію, въ которомъ сотрудничество самой Императрицы было болѣе или менѣе известнымъ фактомъ. Такими намеками, напримѣръ, отличается известное письмо Патрикѣя Правдомыслова, исполненное похвалъ существующему порядку вещей. Не мѣшаетъ замѣтить, что не задолго передъ этимъ, „Всякая Всячина“, обращаясь къ своимъ собратамъ по изданію журналовъ, замѣчала что слѣдуетъ не все же писать для обличенія, но также не пропускать „описывать твердаго блюстителя вѣры и закона, хвалить сына отечества, нылающаго любовію и вѣрностью къ государю“ и т. п. Вскорѣ послѣ того, на страницахъ „Всякой Всячины“ и явилось письмо Патрикѣя Правдомыслова, въ которомъ опровергаются толки, будто у насъ нѣтъ правосудія въ Россіи: „мы всѣ“—говорить въ этомъ письмѣ Патрикѣй — „сомнѣваться не можемъ, что нашей Великой Государынѣ пріятно правосудіе, что она сама справедлива“... „Долгъ нашъ, какъ Христіанъ и согражданъ, велитъ имѣть довѣренность и почтеніе къ установленнымъ для нашего блага правительствомъ и не поносить ихъ такими поступками и несправедливыми жалобами, конхъ, право, я еще не видалъ, чтобы съ умысла случались. Впрочемъ, я не судья и вѣкъ не буду, а разсудилъ за нужное сіе къ вамъ написать для того, что въ которые дурные шмели на сихъ дняхъ нажужжали мнѣ уши своими разговорами о мнимомъ неправосудіи судебныхъ мѣстъ. Но наконецъ я догадался, для чего они такъ жужжать: промотались. И не осталось у нихъ окромѣ прихотей, на которыя по справедливости слѣдуетъ отказъ“... Но журналы не унимались въ обличеніяхъ знатныхъ господъ и въ очеркахъ придворной жизни; завязалась полемика, въ которой „Всякая Всячина“ отвѣчала на ихъ нападки уже почти угрозами, высказывая весьма рѣзко свое неудовольствіе противъ „свободоизмчія“. Такъ, напримѣръ, возставая противъ „Трутня“¹⁾, одно изъ лицъ, выставленныхъ „Всякой Всячиной“, говоритъ прямо: „не въ свои де (онъ) садится сани. Онъ-де зачинаетъ писать сатиры на придворныхъ господъ, знатныхъ бояръ, дамъ, судей именитыхъ и на всѣхъ. Такая-де смѣлость ни что иное есть

¹⁾ Современный журналъ, который издавался Н. И. Новиковымъ.

какъ дерзновеніе... въ старія времена послали-бы де его потрудиться для пользы государственной—описывать нравы какова ни на есть царства русскаго владѣнія¹⁾, но нынче-де дали волю писать и за такіа сатиры не взыскиваютъ“.

Однакоже, полемика эта, очевидно непріятная для Екатерины, не могла далѣе продолжаться въ томъ же рѣзкомъ тонѣ и потому, вѣроятно не безъ вліянія со стороны

пимала болѣе участія въ русской журналистикѣ; но за то въ теченіе этого періода времени и была написана ею большая часть тѣхъ комедій, въ которыхъ явились на сценѣ тѣ самые типы и стороны современной русской жизни, какіе уже прежде обрисованы были Екатериною въ сатирическихъ очеркахъ ея журнала. Екатерина до 1790 года, успѣла написать четырнадцать комедій, девять оперъ, семь пословицъ²⁾, изъ кото-



Эрмитажный театръ.

Екатерины, всѣ сатирическіе листки внезапно прекратились. Ихъ пережили только „Всякая Всячина“ и „Трутень“; но ни тотъ, ни другой уже не помѣщали болѣе сатирическихъ замѣтокъ и очерковъ, и вскорѣ прекратились вовсе, вѣроятно потому, что публика охладѣла къ нимъ въ этомъ новомъ ихъ видѣ.

Со времени прекращенія „Всякой Всячины“ и до 1783 года Екатерина уже не при-

рыхъ до насъ дошло одиннадцать комедій, семь оперъ и пять пословицъ—всего двадцать три пьесы. Всѣ онѣ писаны были Екатериной для домашней сцены и предварительно являлись на Эрмитажномъ театрѣ, а потомъ уже оттуда переходили на публичную сцену. Нѣкоторыя изъ пьесъ сочинены были ею на французскомъ языкѣ и впоследствии уже переведены на русскій; другія не вполнѣ написаны ею, а закончены, исправ-

¹⁾ Академикъ Пекарскій видитъ здѣсь «тонкій намекъ на Сибирь». См. стр. 8 вышеуказанной статьи: Матеріалы для ист. журн. и литерат. дѣят. Императрицы Екатерины II. ²⁾ Т. е. пьесъ, которыхъ содержаніе почерпнуто было изъ пословицъ.

лены и дополнены хорами и стихотворными вставками по данному ею плану¹⁾; сама она, как известно, никогда стихов не писала, и, по собственному ее признанию, даже никак не могла постигнуть технической стороны стихотворства и сложить хоть скольконибудь сносные стихи.

Комедии Екатерины хотя не заслуживают особенного внимания своею художественною стороною, однакоже несомненно важны для истории литературы, как довольно замечательная попытка представить ряд лиц и очерков, заимствованных из живой современности. Комедии эти особенно любопытны для нас, по сравнению с комедиями Фонъ-Визина, которые, по содержанию своему, чрезвычайно близко подходят к комедиям Екатерины: онъ только передает это содержание гораздо рельефнее и ярче, благодаря тому замечательному литературному таланту, которым обладал Фонъ-Визинъ. Однакоже в комедиях Екатерины уже ясно и отчетливо намечен тот путь, по которому пойдет вслѣдъ за нею Фонъ-Визинъ и другіе современные ей авторы комедій, если вздумаютъ почерпнуть ихъ содержание изъ русской жизни. Важнѣйшими изъ комедій Екатерины являются: „Именины госпожи Ворчалкиной“ и „О время!“ (обѣ относятся къ 1772 г.). Обѣ этихъ комедій сама Екатерина пишетъ въ своемъ письмѣ къ Вольтеру, говоря о себѣ въ третьемъ лицѣ: „у автора много недостатковъ; онъ не знаетъ театра; интриги его піесъ слабы. Нельзя того-же сказать о характерахъ: они взяты изъ природы и выдержаны. Кромѣ того, у него есть комическія выходки; онъ заставляетъ смѣяться; мораль его чиста и ему хорошо извѣстенъ народъ“. И дѣйствительно, тѣ характеры Чудихиныхъ, Ханжиныхъ, Вѣстниковыхъ и Ворчалкиныхъ, которые Екатерина выводитъ въ этихъ двухъ комедіяхъ на сцену, уже представляютъ намъ собою такіе очерки характеровъ, которые даже и по отзыву современниковъ не придуманы были Екатериной, и не заимствованы съ чуждой намъ литературной почвы, а взяты на сцену прямо изъ жизни. Но такъ какъ Императрица поощрялась литературной формою своихъ произведеній толь-

ко какъ возможностью высказать свой взглядъ и провести въ общество свои идеи, то она, конечно, позаботилась о томъ, чтобы вывести на сцену въ противоположность Чудихинымъ, Ворчалкинымъ и Фирлюфишковымъ людей новаго поколѣнія, сочувствующихъ ее реформамъ и открыто высказывающихъ свое сочувствіе новому порядку вещей. Само собою разумѣется, что эти лица выходятъ у ней также блѣдными и безжизненными, какъ подобныя же лица всѣхъ современныхъ комедій. Въ заключеніе же того, что уже сказано нами о дѣятельности Екатерины, какъ драматической писательницы, прибавимъ, что она иногда выбирала сюжеты для нѣкоторыхъ своихъ піесъ, подобно многимъ своимъ современникамъ, изъ древнѣйшаго періода русской истории: таковы, напримѣръ, „Историческое представленіе изъ жизни Рюрика“, „Начальное управленіе Олега“ (обѣ піесы относятся къ 1786 году), впрочемъ замѣтельными только тѣмъ, что тамъ характеры историческихъ лицъ изображены въ томъ отвлеченно-идеальномъ видѣ, въ какомъ обыкновенно изображала ихъ ложно-классическая драма, и, сверхъ того, въ уста имъ вложены рѣчи, основанныя на правилахъ Инструкціи и на параграфахъ „Наказа и Гражданскаго ученія“. Еще менѣе заслуживаютъ вниманія въ литературномъ отношеніи заимствованныя изъ русскаго сказочнаго міра комическія оперы Екатерины: (1776 — 1787 г.), „Февей“, „Храбрый и славный витязь Ахридѣвичъ“ (передѣланная изъ сказки объ Иванѣ-Царевичѣ), „Новгородскій богатырь Боеславичъ и Горе богатырь Косометовичъ“ (1787 г.).

Въ концѣ своей литературной карьеры Екатерина еще разъ выступила на сцену журнальной дѣятельности и написала цѣлый рядъ сатирическихъ очерковъ, подъ общимъ заглавіемъ „Былей и Небылицъ“; эти очерки помѣщались, въ теченіе 1783 года, въ „Собесѣдникѣ любителей русскаго слова“ новомъ журналѣ, который начала издавать на счетъ Академіи Наукъ княгиня Дашкова, тогда только-что возведенная въ званіе директора Академіи Наукъ и предсѣдателя Академіи Россійской, учрежденной въ этомъ году по ея же докладу. Здѣсь кстати бу-

¹⁾ Однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ сотрудниковъ Екатерины по части постановки ее піесъ и исправки въ нихъ слога былъ ея статсъ-секретарь Храповицкій.

детъ сказать нѣсколько словъ объ этой замѣчательной русской женщинѣ XVIII в., рѣзко выступающей изъ ряда всѣхъ современницъ Екатерины II.

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, родилась въ мартѣ 1743 г. въ С.-Петербургѣ (скончалась въ Москвѣ, въ январѣ 1810 г.), и получила блестящее по тому времени воспитаніе въ домѣ дяди своего, канцлера М. Л. Воронцова, гдѣ обучалась языкамъ, наукамъ и искусствамъ вмѣстѣ съ его дочерью у лучшихъ преподавателей того времени. Не смотря на это, сама княгиня отзывалась о первоначальномъ воспитаніи своемъ насмѣшливо, и обширную, глубокую свою образованность приписываетъ себѣ самой, называетъ плодомъ того разносторонняго чтенія, которому она предавалась со страстью отъ самой юности и которому до старости не переставала посвящать всѣ свои досуги. „Бейль, Монтескье, Буало и Вольтеръ были моими любимыми писателями“ — замѣчаетъ княгиня въ своихъ „Запискахъ“. И. И. Шуваловъ, зная о ея ненасытной жаждѣ къ чтенію и пополненію пробѣловъ своего легкаго образованія, предложилъ ей снабжать ее книгами, и пересылалъ ей всѣ новинки, получаемыя имъ прямо изъ Франціи. По ея собственнымъ словамъ, уже въ первый годъ по выходѣ замужъ за князя Дашкова, Екатерина Романовна обладала библіотекою въ 900 томовъ и тратила на пополненіе ея всѣ свои карманные деньги. Покупка „Энциклопедіи“ и „Лексикона“ Морери, вынуждаетъ Е. Р. Дашкову замѣтить, что „никогда самая дорогія бездѣлки не доставляли ей и половины того удовольствія, какое она чувствовала по поводу этого приобрѣтенія“. Эти занятія науками и усиленное чтеніе крѣпко не нравились ей родитѣ, и даже дядя ея, М. Л. Воронцовъ, писалъ о Екаторинѣ Романовнѣ къ ея брату (въ 1762 г.):.. „она, сколько мнѣ кажется, имѣетъ нравъ развращенный и тщеславный, больше въ суетахъ и мнимомъ высокомъ разумѣ, въ наукахъ и пустотѣ свое время проводить“.

Рано принятая при Дворѣ, и дѣйствительно по природѣ своей крайне-тщеславная и самолюбивая, Е. Р. Дашкова со всею страстностью и жаромъ молодости предалась интригамъ, которыя привели къ перевороту 1762 г. и вступленію на престолъ Екатерины II.

Щедро награжденная Екатериной за вѣрную службу и „къ отечеству отмѣнные заслуги“, Екатерина Романовна однакоже никакъ не могла примириться съ тою второстепенною придворною ролью, которую весьма благоразумно и осторожно предоставила ей новая Императрица, тщательно оберегавшая независимость своихъ мнѣній и поступковъ отъ всякихъ сильныхъ вліяній. Вскорѣ послѣ вступленія на престолъ Екатерины, между нею и Е. Р. Дашковой наступило замѣтное охлажденіе и послѣдняя должна была удалиться отъ Двора. Для нея начался



Е. Р. Дашкова.

долголѣтній періодъ странствованій изъ Россіи за границу и обратно, въ теченіи котораго она вынуждена была посвятить на занятіе книгами и наукой весь тотъ жаръ и всю ту энергію, которую она было собиралась затратить на политическую карьеру. „Политика въ особенности интересовала меня съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ“ — замѣчаетъ о себѣ сама княгиня въ своихъ „Запискахъ“ — вообще не блистающихъ слишкомъ большою откровенностью; но этой страсти къ политикѣ она не могла отрицать въ себѣ, потому что она была слишкомъ яркою чертою ея

характера, и притомъ такою чертою, которая послужила главнымъ поводомъ всѣхъ ея неудачъ въ жизни и отчужденія отъ Двора. Екатерина до конца дней не переставала смотрѣть на нее нѣсколько подозрительно и говорила что отъ Дашковой „хорошо быть подалѣе“.

Только уже лѣтъ двадцать спустя, послѣ многихъ лѣтъ, проведенныхъ въ странствованіяхъ по Европѣ и въ нѣсколько-педантическихъ, вычурныхъ заботахъ о воспитаніи сына, которому Е. Р. Дашкова счла даже добыть въ Единбургскомъ университетѣ дипломъ на званіе доктора правъ, богословіи и медицины, между Екатериной и Дашковой устанавливается, по крайней мѣрѣ на время, нѣкоторое сближеніе. Дашкова возвращается изъ своего втораго путешествія за границу, заручившись самыми благоприятными для сближенія съ Императрицей отзывами Дидро, Вольтера и другихъ современныхъ литературныхъ знаменитостей запада. И вотъ, Екатерина призываетъ ее къ дѣятельности совершенно новой, къ какой ни прежде, ни послѣ не была призвана ни одна русская женщина: Императрица назначаетъ Дашкову директоромъ Академіи Наукъ и, вскорѣ послѣ того, председателемъ вновь основанной (по докладу Дашковой) Россійской Академіи.

Цѣлью основанія Академіи предположено было „очищеніе и обогащеніе русскаго языка, прочное установленіе правилъ словоупотребленія, витійства и стихотворства“; для удовлетворенія этой цѣли предполагалось составить словарь, грамматику, риторику и піитику. Сама Е. Р. Дашкова, и до того времени успѣвшая уже приобрести нѣкоторую литературную извѣстность своими статьями, помѣщенными въ „Опытахъ трудовъ вольнаго русскаго собранія“ и въ „Другѣ просвѣщенія“, поощряла другихъ къ дѣятельности своимъ собственнымъ трудолюбіемъ; въ словопроизводномъ словарѣ Россійской Академіи ею были обработаны три буквы: ц, ш, щ. Энергически трудясь на пользу русской литературы и науки, заботясь о пользахъ и выгодахъ Академіи, которой она успѣла своей экономіей собрать весьма значительную сумму, Е. Р. Дашкова заслужила себѣ весьма почетную извѣстность между современниками и права на уваженіе въ потомствѣ. Мысль объ из-

даніи „Собесѣдника любителей Россійскаго слова“ (изд. въ теч. 1783—84 гг.), какъ таковаго органа, который бы, издаваясь при Академіи, могъ одновременно служить органомъ „литературы и науки“, принадлежитъ той же Екатеринѣ Романовнѣ. Въ этомъ журналѣ выступили на литературную сцену многіе новыя таланты (Фон-Визинъ, Державинъ) и сама Екатерина помѣстила на страницахъ его свои знаменитыя „Были и Небылицы“.

„Были и Небылицы“, которыя появились уже во второй книжкѣ „Собесѣдника“, представляли собою рядъ отдѣльныхъ очерковъ, коротенькія сценки изъ современнаго домашняго и общественнаго быта, отрывки дневника, который ведетъ авторъ „Былей и Небылицъ“ отъ своего имени, и наконецъ, небольшіе рассказы, въ которыхъ, очевидно, передаются случаи, заимствованные изъ живой дѣйствительности. Въ дневникѣ своемъ авторъ „Былей и Небылицъ“ чаще всего говоритъ не отъ своего лица, а сообщаетъ мнѣнія своего дѣдушки и двухъ друзей своихъ: друга И. И. И., который больше плачетъ, нежели смѣется, и друга А. А. А., который болѣе смѣется, нежели плачетъ.

Въ первыхъ статьяхъ „Былей и Небылицъ“ помѣщено было Екатериной нѣсколько портретовъ, очевидно списанныхъ съ живыхъ и всѣмъ извѣстныхъ лицъ окружавшей ее среды. Нашлись люди, которые очень хорошо узнали себя въ выставленныхъ Императрицею личностяхъ; другіе стали обижаться, неправильно относя къ себѣ каждый намекъ „Былей и Небылицъ“ и все перетолковывая вкривъ и вкосъ. Это вынудило Екатерину помѣстить въ „Собесѣдникѣ“ письмо отъ имени „Петра Угадаева“ къ издателю или издательницѣ „Былей и Небылицъ“; въ этомъ письмѣ Петръ Угадаевъ говоритъ: „напрасно изволите думать, что въ описаніяхъ вашихъ закрытыя лица остаются сокрытыми: я и моя семья знаемъ и угадываемъ, кто они таковы, да и не мы одни... „Екатерина, написавъ сама къ себѣ отъ имени Угадаева, тутъ же помѣстила и отвѣтъ на это письмо въ которомъ говоритъ, между прочимъ:

„Люди тутъ (т. е. въ „Быляхъ и Небылицахъ“) безъ имени, а описывается умоположеніе человѣческое: до Карпа и Сидора тутъ дѣла нѣтъ. Буде же Карпъ или Сидоръ сердится и желаетъ быть описанъ лучше, пусть

пришлетъ описаніе своей особы; слово отъ слова внесемъ въ „Были и Небылицы“.

Екатерина, пользуясь орудіемъ слова для того, чтобы осмѣять недостатки нѣкоторыхъ изъ числа окружавшихъ ее лицъ и дать отпоръ той партіи, которая осуждала ея дѣйствія, вѣроятно не ожидала того, что и та партія въ свою очередь воспользуется тѣмъ же самымъ орудіемъ и выставитъ противника, который рѣшится вступить съ нею въ состязаніе. По крайней мѣрѣ, когда въ третьей книжкѣ „Собесѣдника“ явились извѣстные 20 вопросовъ Фонъ-Визина „сочинителю Былей и Небылицъ“, Екатерина была весьма непріятно поражена ими, тѣмъ болѣе, что не могла не видѣть въ нихъ намековъ, имѣвшихъ прямое отношеніе къ нѣкоторымъ изъ ея приближенныхъ. Такъ напр. вопросъ 14-й, — въ которомъ Фонъ-Визинъ спрашиваетъ: „отчего въ прежнія времена шуты, шпыни и балагуры чиновъ не имѣли, а нынче имѣютъ и весьма большіе?“ направленъ былъ очевидно противъ одного изъ Екатерининскихъ вельможъ, Л. Н. Нарышкина, и вызвалъ со стороны Екатерины отвѣтъ, въ которомъ она не могла скрыть своего негодованія „Сей вопросъ“, отвѣчала она, „родился отъ свободозмычія, котораго предки наши не имѣли; буде же бы имѣли, то нашли-бы на нынѣшняго одного десяти прежде бывшихъ“.

Этимъ отвѣтомъ Екатерина не удовольствовалась и возвратилась вновь къ тому же вопросу въ своихъ „Быляхъ и Небылицахъ“, прикрываясь, по обычаю своему, мнѣніями дѣдушки своего:

...„Дѣдушка, ходя и прикашливая, твердилъ непрестанно межъ зубовъ повторенный 14 вопросъ, (который напечатанъ на 10 стр. Собесѣдника, части третьей) подобно сему: хемъ, хемъ.

NB. Хемъ, хемъ изображаетъ дѣдушкинъ кашель.

Хемъ, хемъ, отъ чего — хемъ, хемъ — въ прежнія времена — хемъ, хемъ, шуты — хемъ, хемъ, — шпыни, хемъ, хемъ, и балагуры — хемъ, хемъ, чиновъ не имѣли — хемъ, хемъ, хемъ, а нынѣ имѣютъ... хемъ — хемъ, и весьма большіе... Тутъ дѣдушка умножилъ хемъ, хемы, такъ, что число оныхъ безъ ошибки на бумагу положить нельзя... Отдохнувъ нѣсколько, началъ разбирать подробно члены вопроса, и говорить:

отъ чего?... отъ чего?... Ясно отъ того, что въ прежнія времена врать не смѣли, а паче письменно, безъ — хемъ, хемъ, хемъ, — опасенія. О! прежнія времена! Сію строку кончили паки множество хемъ, хемовъ... Когда дѣдушка дошелъ до шпыней, тогда разворчался необычайно и крупно, говоря: шпынь безъ ума быть не можетъ; въ шпынствѣ есть острота; за то, что человекъ остро что скажетъ, вѣдь не лишитъ его выгоды тѣхъ, кои въ обществѣ даются въ обществѣ живущимъ или обществу служащимъ... Потомъ дошло дѣло до балагуровъ, кои по сказкамъ дѣдушенинымъ, бывають не скучны, когда къ словоохотю присоединяють природный умъ или знаніе приобрѣтеннаго смысла, либо знаніе старины, или что ни есть подобное, а „скучны лишь“, — говоритъ прародитель, — „Мареміаны плачущія, и о всемъ мірѣ косо и криво пекущіяся, отъ коихъ обыкновенно въ десяти шагахъ слышенъ уже духъ скрытой зависти противъ ближняго“. Дѣдушка, разгораясь, молвилъ: зависть есть „свойственникъ ненависти“, и для того онъ намъ совѣтовалъ отъ оной удержаться и пороку сему не давать воли“.

Осенью того же года „Были и небылицы“ прекратились, вслѣдствіе новаго охлажденія и непріязненныхъ отношеній, возникшихъ между Екатериною и Дашковой; поводомъ къ новому охлажденію послужила насмѣшка Л. Н. Нарышкина надъ вновь основанною Академіею Россійской и надъ самою рѣчью, которую, при открытіи Академіи, произнесла Екатерина Романовна. Въ этихъ шуткахъ принимала участіе и сама Екатерина. Дашкова обидѣлась этимъ, и за то, по словамъ Державина (такъ рассказываетъ онъ въ объясненіи къ своимъ сочиненіямъ) лишилась права быть членомъ шутившаго общества „незнающихъ“. Вслѣдствіе этой же размолвки Екатерина потребовала, чтобы Дашкова возвратила ей всѣ рукописи шутивныхъ статей, отданныхъ для помѣщенія въ „Собесѣдникъ“, и, не смотря на всѣ просьбы Дашковой, не согласилась ихъ напечатать. Отчасти прекращенію „Былей и Небылицъ“ способствовало можетъ быть и то, что Екатерина не чувствовала себя въ силахъ вести спокойно и сдержанно ту полемику, къ которой она было приступила со свойственнымъ ей остроуміемъ и большимъ запасомъ наблюдательности.

Старость брала свое; болѣе всего наступленіе ея проявлялось въ той нетерпимости къ чужимъ мнѣніямъ и взглядамъ, которая послѣ 1789 даже на столько овладѣла Екатериною, что она рѣшилась отступить отъ своихъ либеральныхъ воззрѣній и принять мѣры строгости противъ „свободомыслия“ и „свободозычія“, развитію которыхъ сама такъ много способствовала въ началѣ своего царствованія своими гуманными воззрѣніями... Къ тому же, революція, разразившаяся во Франціи, напугала всѣхъ въ Европѣ, и въ средѣ окружавшихъ Екатерину людей нашлись такіе, которые способны были даже и это историческое явленіе объяснять тѣмъ, что общество французское пользовалось слишкомъ большою свободою слова. И вотъ, совершенно неожиданно для всѣхъ, послѣдніе годы царствованія Екатерины ознаменовались опалою, которой подверглись нѣкоторые изъ передовыхъ литературныхъ дѣятелей, конфискаціей библіотекъ, опечатываньемъ книжныхъ лавокъ и типографій, даже ссылками...

Не смотря однако же на то, что эти печальные факты бросаютъ нѣсколько неблагоприятную тѣнь на послѣдніе годы царствованія Екатерины, ея вѣкъ все же остается, безъ всякаго сомнѣнія, на столько же блестящей страницей въ исторіи нашей литературы, на сколько и вообще въ политической исторіи Россіи XVIII вѣка. Екатерининѣ принадлежитъ честь перенесенія къ намъ, на русскую почву, тѣхъ гуманныхъ идей, которыя выработаны были западными мыслителями первой половины XVIII вѣка, а также и честь ихъ примѣненія къ законодательству, къ просвѣщенію и литературѣ нашей, которой, такимъ образомъ, открывалось много новыхъ предметовъ изученія и наблюденія, и возможностью свободно высказываться въ самыхъ противоположныхъ направленіяхъ по множеству вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ составляло насущную потребность для нашего общества половины XVIII вѣка. Общество наше, подавленное неблагоприятными условіями историческими въ предшествовавшія царствованія,—въ царствованіе Екатерины впервые ожило и вздохнуло свободно, впервые сознало свои умственные и нравственные силы, и получило возможность выражать свои мысли вслухъ, не опасаясь стѣсненій и преслѣдованій за разногласіе

въ воззрѣніяхъ и мнѣніяхъ. И вотъ, около Екатерины, избравшей разумное слово главнымъ орудіемъ для распространенія своихъ идей, для приведенія въ исполненіе своихъ заветныхъ преобразовательныхъ замысловъ, быстро собрался, развился и выросъ многочисленный кружокъ людей, которые уже не стали довольствоваться однимъ подражаніемъ внѣшней формѣ литературныхъ произведеній запада; Екатерина указала имъ на важнѣйшіе вопросы современной русской жизни, указала имъ и на пути, по которымъ надлежало имъ стремиться къ разрѣшенію этихъ вопросовъ—и этимъ положила основаніе новому періоду русской литературы, въ теченіе котораго писатель явился уже не досужимъ виршеслагателемъ, не чиновникомъ, обязаннымъ дѣлать стихи, а однимъ изъ важныхъ общественныхъ дѣятелей и, въ то же время, художникомъ, извлекающимъ свои мощные образы изъ современной ему, окружающей его, живой дѣятельности, на память и поученіе отдаленному потомству.

Въ заключеніе этой главы мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь дѣлкомъ тотъ прекрасный очеркъ личнаго характера Екатерины, который она сама намъ оставила въ одномъ изъ своихъ писемъ:

„Не смотря на мою природную гибкость,—писала Екатерина къ Сенакъ-де-Мельяну (пріѣзжавшему въ Россію французскому эмигранту)“ „я умѣла быть упрямой или твердою (поочередно), когда это было нужно. Я никогда не стѣсняла ничьего мнѣнія, но, въ случаѣ надобности, имѣла свое собственное: Я не люблю споровъ, убѣдившись, что каждый остается всегда при своемъ мнѣніи; при томъ же я не умѣю говорить громко. Я никогда не была злопамятна, потому что такъ поставлена Провидѣніемъ, что не могла питать этого чувства къ частнымъ лицамъ и находила обоюдныя отношенія слишкомъ неровными, если смотрѣть на дѣло справедливо. Вообще я люблю правосудіе (la justice), но нахожу, что вполне строгое правосудіе не есть правосудіе, и что одна только справедливость соразмѣрна съ слабостью человѣка. Но во всѣхъ случаяхъ человѣколюбіе и снисхожденіе къ человѣческой природѣ предпочитала я правиламъ строгости, которую, какъ мнѣ казалось, часто превратно понимаютъ.

этому влекло меня собственное сердце, которое я считала кроткимъ и добрымъ. Да старики проповѣдывали мнѣ строго, я, заливаясь слезами, сознавалась имъ воей слабости, и случалось, что иныя изъ нихъ, также со слезами на глазахъ,

принимали мое мнѣніе. Нравъ у меня веселый и откровенный; но на своемъ долгомъ вѣку я не могла не узнать, что есть желчныя умы, которые не любятъ веселости, и не всѣ люди могутъ переносить правду и искренность“.

Кнѣзю Е. Р. Дашкова
1807.

Обыкновенная подпись Е. Р. Дашковой.

Princess
Daschkowa

Латинская подпись Е. Р. Дашковой подъ дипломами Россійской Академіи.

XXVIII.

Фонтъ-Визинъ и его отношеніе къ современности. — Біографія его. — Фонтъ-Визинъ и Екатерина. — Значеніе сочиненій Фонтъ-Визина, какъ протеста противъ существующаго порядка вещей. — Идеалы Фонтъ-Визина, — Художественность выведенныхъ имъ типовъ.

Первымъ провозвѣстникомъ наступленія новой эпохи, первымъ писателемъ „блестящаго вѣка Екатерины“ явился Фонтъ-Визинъ. Всецѣло и вполне—жизнью, произведеніями и даже идеями, положенными въ основу ихъ—Фонтъ-Визинъ принадлежитъ этому вѣку, и, надо сказать къ чести его, отражаетъ въ своемъ замѣчательномъ и вмѣстѣ талантливомъ образѣ всѣ лучшія стороны современнаго русскаго общественнаго типа, при весьма немногихъ недостаткахъ, неотъемлемо свойственныхъ всѣмъ, даже и весьма просвѣщеннымъ представителямъ нашего высшаго общества въ прошломъ столѣтіи. Притомъ-же, по своему образованію и по образу мыслей, Фонтъ-Визинъ принадлежитъ къ числу немногихъ избранныхъ личностей, которыя способны были съ полнымъ сочувствіемъ и совершеннымъ безпристрастіемъ отнестись къ тѣмъ широкимъ и либеральнымъ замысламъ, съ которыми Екатерина вступала на престолъ... Первый изъ числа русскихъ писателей Фонтъ-Визинъ сочувственно отозвался на ея призывъ русскихъ людей къ дѣятельности, на гуманныя воззрѣнія, выраженные въ „Наказѣ“ по вопросу объ отношеніи русскихъ людей къ власти и закону—и первый сталъ на сторону той придворной партіи, которая представляла собою оппозицію и рѣшалась громко высказывать свое неудовольствіе противъ неуваженія къ закону и противъ слишкомъ безцеремоннаго распоряженія финансами государства. Вообще Фонтъ-Визинъ представляетъ собою чистѣйшій типъ того небольшого кружка передовыхъ русскихъ людей, которые рѣшились въ началѣ царствованія Екатерины II возложить слишкомъ большія упованія на будущее, увлекшись блескомъ и шумомъ первыхъ годовъ ея правленія и всего ожидаая отъ благихъ намѣреній и доброй воли

Екатерины. Они, по видимому, вовсе позабыли о тѣхъ трудностяхъ и препятствіяхъ, которыя должны были встрѣтиться на практикѣ при выполненіи всего, предначертаннаго въ „Наказѣ“. И чѣмъ болѣе съ теченіемъ времени, уклонялась Екатерина отъ того идеала правительницы, который ею же былъ въ общихъ чертахъ набросанъ въ „Наказѣ“, тѣмъ тѣснѣе принималъ Фонтъ-Визинъ къ оппозиціи, и тѣмъ рѣзче позволялъ себѣ высказывать свое открытое неудовольствіе по отношенію къ существующему порядку вещей. До конца жизни онъ продолжалъ жить все тѣми же самыми идеалами, которые составляли красу его юности, и ни за что не хотѣлъ отступиться отъ нихъ. Не старѣясь духомъ среди общества, зорко слѣдившаго за всѣми пережвѣнами, происходившими въ воззрѣніяхъ Императрицы и слѣпо покорявшагося тому направленію, которое, на основаніи этихъ пережвѣнъ, принимало общее теченіе дѣлъ, Фонтъ-Визинъ, сверхъ того, вѣрилъ еще и въ превосходство нравственной природы русскаго человека и даже въ неистощимость запасовъ его нравственныхъ и умственныхъ силъ. Въ противоположность своимъ современникамъ, работавшимъ преклонявшимся передъ французскимъ вліяніемъ, онъ ко всему иноземному относился съ полнѣйшимъ пренебреженіемъ, иногда даже съ неумѣстною, непростительною рѣзкостью и всюду, встать и не встать, старался этому иноземному противопоставить все родное, русское, хотя-бы не заслуживавшее предпочтенія. При такомъ рѣзкомъ направленіи и при томъ независимомъ, благородномъ характерѣ, чуждомъ всякаго низкопоклонства и заискиванія, какимъ отличался Фонтъ-Визинъ, при томъ тонкомъ, остромъ умѣ и очень зломъ языкѣ, которыми онъ обладалъ — онъ успѣлъ очень быстро обра-

титъ на себя общее вниманіе и на столько сдѣлаться выразителемъ мнѣнія лучшей части современнаго общества, что всѣ его сочиненія получили огромный вѣсъ и значеніе для современниковъ. На сколько они служили для одной части общества выраженіемъ ея заветныхъ помысловъ и постоянныхъ стремленій, на столько же другая сторона должна была постоянно видѣть въ нихъ осмѣяніе своего способа дѣйствій. Неудивительно, что, при такомъ значеніи, Фонъ-Визинъ, не смотря на большія связи, на прекрасное образованіе и способности свои, не могъ пойти высоко и занять какое-бы то ни было видное служебное положеніе; но весьма поучительнымъ фактомъ для характеристики Екатерининскаго періода нашей литературы служить то, что человекъ, во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ страстно проводившій въ жизнь тѣ идеи, которыя сама Екатерина развила въ Наказѣ, въ то же самое время никогда не пользовался расположеніемъ Екатерины; его прямота и смѣлость, его независимый характеръ и рѣзкія сужденія о современникахъ и современности не нравились ей, и, подъ старость, она, въ направленіи всей литературной дѣятельности Фонъ Визина старалась видѣть не прямое слѣдствіе, не благое примѣненіе идей, ею же вызванныхъ къ жизни, а только одно вредное свободомысліе, служившее выраженіемъ не менѣе вредному свободомыслію, противъ котораго, въ концѣ своей жизни, она рѣшилась, какъ мы уже упоминали выше, принять даже мѣры строгости, совершенно не согласовавшіяся съ ея либеральными убѣжденіями. Вообще личность Фонъ-Визина является намъ во второй половинѣ прошлаго вѣка до такой степени характеристическимъ, крупнымъ и замѣтнымъ типомъ русскаго писателя, что и на самую біографію его нельзя не обратить особаго вниманія, тѣмъ болѣе, что онъ самъ, въ своихъ автобіографическихъ запискахъ (къ сожалѣнію недовершенныхъ до конца), сообщилъ намъ о родителяхъ своихъ, о дѣтствѣ и о воспитаніи довольно много, правда, отрывочныхъ, анекдотическихъ, но тѣмъ

не менѣе весьма любопытныхъ и важныхъ подробностей.

Денисъ Ивановичъ Фонъ-Визинъ (род. 1744, ум. 1792 г.) происходилъ изъ древняго нѣмецкаго рыцарскаго рода. Предкамъ его принадлежали даже кое-какія города въ нѣмецкихъ земляхъ, и въ XVI вѣкѣ Фонъ-Визины являются рыцарями ордена Меченосцевъ. Одинъ изъ предковъ Дениса Ивановича, баронъ Петръ Фонъ-Визинъ, во время Ливонской войны при Иванѣ Грозномъ, взятъ былъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ, Денисомъ, и поселился въ Россіи. Окончательно обрусѣвъ однако же родъ Фонъ-Визинныхъ только уже въ XVII вѣкѣ, когда внукъ барона Петра принялъ, при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, православіе. О дѣдѣ Фонъ-Визина мы не знаемъ ничего; что же касается отца его, Ивана Андреевича, то извѣстно, что онъ служилъ сначала въ военной службѣ, а потомъ въ статской, по ревизіонно-комиссіи, гдѣ и дослужился до чина коллежскаго совѣтника; онъ умеръ въ 1774 году. Денисъ Ивановичъ, въ своемъ „Чистосердечномъ признаніи“—такъ называлъ онъ, въ подражаніе Жанъ-Жаку Руссо, свои автобіографическія записки¹⁾—сообщаетъ о немъ весьма характеристическія и любопытныя подробности, ясно указывающія намъ на то, что развитіе личнаго характера Дениса Ивановича было вовсе не случайнымъ, а совершенно-правильнымъ слѣдствіемъ тѣхъ условій быта, которымъ онъ былъ съ малолѣтства окруженъ дома. Притомъ же нельзя не замѣтить, что въ характерѣ Дениса Ивановича повторились и нѣкоторыя (по всѣмъ вѣроятіямъ родовыя) черты характера его отца.

„Отецъ мой“—такъ рассказываетъ Денисъ Ивановичъ объ Иванѣ Андреевичѣ въ своемъ „Чистосердечномъ признаніи“— „былъ человекъ большого здраваго разсудка, но не имѣлъ случая, по тогдашнему образу воспитанія, просвѣтитъ себя ученіемъ. По крайней мѣрѣ читалъ онъ всѣ русскія книги, изъ коихъ любилъ отменно древнюю и римскую исторію, мнѣнія Цицероновы и прочіе хорошіе переводы правоучительныхъ книгъ. Онъ былъ человекъ добродѣтельный и истинный

¹⁾ Полное заглавіе записокъ: «Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и помысленіяхъ». Въ самомъ вступленіи къ запискамъ авторъ указываетъ на «Confessions» Руссо, какъ на образецъ своего труда.

христианинъ, любилъ правду, и такъ не терпѣлъ лжи, что всегда краснѣлъ, когда кто лгать при немъ не устыжался. Въ переднихъ знатныхъ вельможахъ никто его не выдвѣвалъ, но онъ не пропускалъ ни одного праздника, чтобъ не быть съ почтеніемъ у своихъ начальниковъ¹⁾. Ненавидѣлъ лихоимства и бывъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ люди наживаются, никакихъ никогда подарковъ не принималъ. „Государь мой!“ говаривалъ онъ приносителю: „сахарная голова не есть резонъ для обвиненія вашего соперника: извольте ее отнести назадъ, а принесите законное доказательство вашего права“. Послѣ сего болѣе уже не разговаривалъ съ приносителемъ. — Отецъ мой жилъ слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ. Причиною сему было воздержное христіанское житіе: онъ горячихъ напитковъ не пилъ, пищу употреблялъ здоровую, но не объѣдался... за картами ни одной ночи не просиживалъ и, словомъ, никакой страсти, возмущающей человѣческое спокойствіе, онъ не чувствовалъ. О, если бы дѣти его были ему подобны въ тѣхъ качествахъ, кои составляли главныя души его свойства и кои въ нынѣшнемъ обращеніи свѣта едва-ли сохранить можно²⁾. Отецъ мой былъ характера весьма вспыльчиваго, но не злопамятнаго; съ людьми своимъ обходился съ кротостью, но не взирая на сіе, въ домъ нашѣмъ дурныхъ людей не было. Сіе доказываетъ, что побой не есть средство къ исправленію людей. Не взирая на свою вспыльчивость, я не слышалъ, чтобъ онъ съ кѣмъ-нибудь поссорился; а вызовъ на дуэль считалъ онъ дѣломъ противу совѣсти. „Мы живемъ подъ законами“, говаривалъ онъ, — „и стыдно, имѣя таковыхъ священныхъ защитниковъ, каковы законы, разбираться самимъ на кулакахъ; ибо шпаги и кулаки суть одно, и вызовъ на дуэль есть ничто иное, какъ дѣйствіе буйственной молодости“. „Наконецъ долженъ я сказать къ чести отца моего, что онъ, имѣя не болѣе пяти сотъ душъ, живучи въ обществѣ съ хорошими дворянами, воспитывалъ восьмерыхъ

дѣтей, умѣлъ жить и умереть безъ сего искусство въ нынѣшнемъ обращеніи едва-ли кому извѣстно. По краѣ, намъ, дѣтямъ его, кажется нево. Но ничто не доказываетъ такъ вѣрнаго чувствованія отца моего, какъ покъ его съ роднымъ братомъ его слѣдній вошелъ въ долги, по состоянію неоплатные. Не было уже нигдежды къ извлеченію его изъ погибели мой былъ тогда въ цвѣтущей своей. Одна вдова, старуха, близъ семидесяти влюбилась въ него и общалась, еже-женится, искупить имѣніемъ своимъ его. Отецъ мой, по единому подвигу своей любви, не поколебался жертвовать собою: женился на той старухѣ, буди 18 лѣтъ. Она жила съ нимъ еще долѣе. И отецъ мой старался объ утѣшеніи ея старости, какъ должно христіанина, раю супруга отца моего, а моя мать разумъ тонкій и душевными очами далеко. Сердце ея было сострадательное, какой злобы въ себѣ не вмѣщало: жена была добродѣтельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная. Можно сказать, что домъ моихъ родителей былъ тотъ, отъ котораго за добродѣтели ихъ благодать Божія никогда не отнималась“.

Затѣмъ, приводя нѣсколько отдѣльных случаевъ, изъ своего дѣтства, въ назиданіе воспитателямъ, Фонъ-Визинъ продолжаетъ рассказывать объ отношеніяхъ своихъ къ родителямъ и о своемъ воспитаніи. „Чувствительность моя была безпримѣрная. Однажды отецъ мой, собравъ всѣхъ своихъ младенцевъ, сталъ рассказывать намъ исторію Іосифа Прекраснаго. Въ рассказываніи его не было никакого украшенія; но какъ повѣсть сама собою была трогательная, то весьма скоро навернулись слезы на глаза мои; потомъ началъ я рыдать неутѣшно: Іосифъ, проданный своими братьями, растерзалъ мое сердце, и я, не могши остановить рыданія моего, оробѣлъ, думая, что слезы мои почтены

¹⁾ Судя по тону разсказа Дениса Ивановича, вообще выставляющаго отца своего честнымъ служкой, должно предположить, что праздничные визиты вѣнялись въ обязанность служащихъ въ прошлѣ столѣтіи. ²⁾ Этотъ невыгодный отзывъ о своей собственной нравственности, какъ и вообще о современныхъ нравахъ, должно считать нѣсколько преувеличеннымъ; не слѣдуетъ забывать, что «Признаніе» писано Фонъ-Визинимъ въ концѣ жизни, когда онъ былъ склоненъ, подъ влияніемъ мрачнаго настроенія, нѣсколько преувеличивать и свои личные недостатки и недостатки всѣхъ окружавшихъ его людей.

знакомъ моей глупости. Отецъ мой
меня, о чемъ я такъ рыдаю? „У
разболѣлся зубъ“, отвѣчалъ я. И такъ
и меня въ мою комнату и начали лѣ-
адоровый мой зубъ. „Батюшка“, гово-
я, „я всклепалъ на себя зубную бо-
а плакалъ я отъ того, что мнѣ жалъ
бѣднаго Іосифа“. Отецъ мой похвалилъ

опытъ моей чувствительности. Странно, что
сія повѣсть, тронувшая столько мое младен-
чество, послужила мнѣ самому къ извлече-
нію слезъ у людей чувствительныхъ; ибо я
знаю многихъ, кои, читая Іосифа ¹⁾, мною
переведеннаго, проливали слезы.

Не утаю и того, что пріѣзжавшій изъ Дми-
тріевской нашей деревни мужикъ, Ѳеодоръ



Фонъ-Визинъ.

ю чувствительность и хотѣлъ знать, для
го я тотчасъ не сказалъ ему правду? Я
стыдился“, отвѣчалъ я. „да и побоялся,
обы вы не перестали рассказывать исторіи“.
ее конечно доскажу тебѣ“, говорилъ отецъ
й. И дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней
сдержалъ свое слово и видѣлъ новый

Суратовъ, сказывалъ намъ сказки и такъ на-
страдалъ меня мертвецами и темнотою, что
до сихъ поръ неохотно остаюсь въ потем-
кахъ. А къ мертвецамъ привыкъ я уже въ
теченіе жизни моей, теряя людей, сердцу
моему любезныхъ“.

И такъ, воспитаніе, на сколько можно су-

¹⁾ Здѣсь Фонъ-Визинъ упоминаетъ объ одномъ изъ первыхъ своихъ литературныхъ трудовъ, о
мѣ Битобѣ «Іосифъ», переведенной имъ и напечатанной въ Москвѣ въ 1769 году.

дить по этимъ свѣдѣніямъ, велось довольно правильно: родители обращали вниманіе на развитіе въ дѣтяхъ ума и сердца, а русская обстановка отцовскаго дома рано способствовала развитію въ Денисѣ Ивановичѣ его живаго, пылкаго воображенія. Попеченіямъ отца своего приписываетъ Денисъ Ивановичъ и рано начавшееся основательное изученіе отечественнаго языка. „Какъ скоро я выучился читать, такъ отецъ мой у крестовъ заставилъ меня читать. Сему обязанъ я, если нѣтъ въ російскомъ языкѣ нѣкоторое знаніе. Ибо, читая церковныя книги, ознакомился я съ славянскимъ языкомъ, безъ чего російскаго языка и знанъ не возможно¹⁾. Я должепъ благодарить родителя моего за то, что онъ весьма примѣчалъ мое чтеніе, и, бывало... примѣчалъ изъ читаннаго мною тѣ мѣста, конхъ казалось ему, читая, я не разумѣлъ, принималъ онъ на себя трудъ изъяснять мнѣ оныя“...

Послѣ такого тщательнаго и рѣдкаго по тому времени домашняго воспитанія, Денисъ Ивановичъ отдавъ былъ отцомъ въ университетскій благородный пансіонъ, какъ только онъ былъ учрежденъ, т. е. въ 1755 году. Въ первые годы своего существованія это воспитательное заведеніе находилось, по видимому, въ самомъ жалкомъ положеніи. Воспоминанія свои о пребываніи въ этомъ заведеніи Фонъ-Визинъ начинаетъ даже съ нѣкоторой оговорки, предупреждая читателей своихъ о томъ, что „нынѣшній²⁾ университетъ уже не тотъ, каковой при мнѣ былъ. Учителн и ученики совсѣмъ нынѣ другихъ свойствъ и сколько тогдашнее положеніе сего училища³⁾ подвергалось осужденію, столь нынѣшнее похвалы заслуживаетъ. Я скажу въ примѣръ бывшій нашъ экзаменъ въ нижнемъ латинскомъ классѣ. Накапунѣ экзамена дѣлалось приготовленіе; вотъ въ чемъ оно состояло: учитель нашъ пришолъ въ кафтанѣ⁴⁾, на коемъ было пять пуговицъ, а на камзолѣ⁵⁾ четыре; удивленный сею страннымъ, спросилъ я учителя о причинѣ. „Пуговицы мои вамъ кажутся смѣшны“, говорилъ онъ, „но онѣ суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтанѣ значутъ пять склоне-

ній, а на камзолѣ четыре спраженія; и такъ“, продолжалъ онъ, удара по столу рукою, — „извольте слушать всѣ, что говорить стану. Когда стануть спрашивать о какомъ нибудь имени, какого (оно) склоненія, тогда примѣчайте, за которую пуговицу возмусь; если за вторую, то смѣло отвѣчайте: втораго склоненія. Съ спряженіями поступайте (также), смотря на мои камзолныя пуговицы, и никогда ошибки не сдѣлаете“. Вотъ каковъ былъ экзаменъ нашъ! О вы, родители, восхищающіеся часто чтеніемъ газетъ, видя въ нихъ имена дѣтей вашихъ, получившихъ за прилежность свою призы, послушайте, за что я медаль получилъ. Тогдашній нашъ инспекторъ покровительствовалъ одного нѣмца, который принятъ былъ учителемъ географіи. Учениковъ у него было только трое. Но какъ учитель нашъ былъ тупѣе прежняго латинскаго, то пришелъ на экзаменъ съ полнымъ бортищемъ пуговицъ, и мы слѣдственно экзаменованы безъ всякаго приготовленія. Товарищъ мой спрошенъ былъ: „куда течетъ Волга?“—„Въ Черное море“, отвѣчалъ онъ; спросилъ о томъ же другаго моего товарища: „въ Бѣлое“—отвѣчалъ тотъ; сей же самый вопросъ сдѣланъ былъ мнѣ; „не знаю“ сказалъ я съ такимъ видомъ простодушія, что экзаменаторы единогласно мнѣ медаль присудили... Какъ бы то ни было, я долженъ съ благодарностью вспомнить университетъ. Ибо въ немъ, обучаясь латыни, положилъ основаніе нѣкоторымъ моимъ знаніямъ. Въ немъ научился я довольно нѣмецкому языку, а паче всего въ немъ получилъ я вкусъ къ словеснымъ наукамъ. Склонность моя къ писанію явилась еще въ младенчествѣ, и я, упражняясь въ переводахъ на російскій языкъ, достигъ до юношескаго возраста“.

Первымъ въ числѣ этихъ переводовъ, появившихъ въ печать, были: „нравоучительныя басни съ изъясненіями г. барона Гольберга“, переведенныя Ф. Визинымъ по предложенію книгопродавца, который, повидимому, промышлялъ при университетѣ тѣмъ, что, подмѣчая въ числѣ молодыхъ людей болѣе способныхъ къ литературнымъ занятіямъ, пользовался ихъ трудами и въ вознагражде-

¹⁾ См. вышеприведенное нами совершенно сходное съ этимъ мнѣніе Ломовосова на стр. 319. ²⁾ Дѣло идетъ о концѣ XVIII столѣтія. ³⁾ Здѣсь, подъ именемъ университета и училища, Ф. Визинъ разумѣетъ все тотъ-же благородный пансіонъ. ⁴⁾ Кафтанъ—верхнее платье, въ родѣ сюртука. ⁵⁾ Камзолъ — т. е. жилетъ.

ние за труды надѣлялъ ихъ книгами изъ своей лавки. Не желая однако быть въ убыткѣ, этотъ книгопродавецъ старался вознаграждать незначительность количества книгъ значительностью ихъ качества, и при этомъ ловко сообразовался со вкусомъ эксплуатируемой имъ молодежи. „Сей книгопродавецъ — рассказываетъ Ф. Визинъ — общалъ мнѣ (за переводъ Гольберговыхъ басенъ) чужестранныхъ книгъ на 50 рублей. Сіе подало мнѣ надежду имѣть со временемъ нужныя книги за одни мои труды. Книгопродавецъ сдержалъ слово и книги на условленную деньгу мнѣ отдалъ. Но какія книги! Онѣ, видя меня въ лѣтахъ бурныхъ страстей, отобрали для меня цѣлое собраніе книгъ соблазнительныхъ, украшенныхъ скверными эстампами, кои развратили мое воображеніе и возмутили мою душу¹⁾).

Гольберговы басни Фонъ-Визинъ перевелъ уже студентомъ, такъ какъ съ 1759 г. онъ перешелъ въ университетъ. Студентомъ же сталъ онъ печатать и другія переводныя статьи свои въ журналахъ; сначала въ журналѣ Хераскова „Полезное Увеселеніе“ (издавался въ теченіе 1760. 1761 и 1762 гг.), потомъ въ журналѣ Рейхеля „Собраніе лучшихъ сочиненій къ распространенію знаній и къ произведенію удовольствія“ (издавался въ 1762 г.). Нечего и говорить о томъ, что эти первые юношескіе опыты не выдерживаютъ никакой литературной критики и что во многихъ мѣстахъ самыхъ переводовъ Фонъ-Визина замѣтно еще очень поверхностное, несовершенное знаніе иностранныхъ языковъ. Нельзя было многого и ожидать отъ тѣхъ знаній, которыя Ф.-Визинъ вынесъ изъ гимназіи; онъ самъ говоритъ, вспоминая о своемъ гимназическомъ курсѣ: „учились мы весьма порядочно, ибо съ одной стороны причиною тому была ребяческая глѣнь (Денису Ивановичу было тогда лѣтъ 14), а съ другой — нерадѣніе и пьянство учителей. Арифметическій папъ учитель пилъ смертную чашу; латинскаго языка учитель былъ примѣръ злонравія, пьянства и всѣхъ подлыхъ пороковъ; но голову имѣлъ преострую и какъ латинскій, такъ и русскій языкъ зналъ очень хорошо“.

Однимъ изъ самыхъ пріятныхъ воспоминаній ранней юности для Ф.-Визина было воспоминаніе о его первой поѣздкѣ въ Петербургъ, передъ концомъ гимназическаго курса, въ 1758 году. Директоръ гимназіи, И. И. Мелиссино, отправляясь въ Петербургъ для объясненій съ кураторомъ и основателемъ Московскаго Университета, Ив. Ив. Шуваловымъ, рѣшился захватить съ собою и десять лучшихъ учениковъ гимназіи „для показанія плодовъ сего училища“. — „Я не знаю“, — скромно прибавляетъ Ф.-Визинъ къ описанію этой поѣздки, — „какимъ образомъ попалъ я и брать мой въ сіе число избранныхъ учениковъ²⁾“. Мы съ братомъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, стали въ домѣ роднаго дяди нашего. Черезъ нѣсколько дней директоръ представилъ насъ куратору. Сей добродѣтельный мужъ, котораго заслугъ Россія позабыть не должна, принялъ насъ весьма милостиво и, взявъ меня за руку, подвелъ къ человѣку, котораго видъ обратилъ на себя мое почтительное вниманіе. То былъ бессмертный Ломоносовъ! Онъ спросилъ меня: чему я учился? „По латыни“ — отвѣчалъ я. Тутъ началъ онъ говорить о пользѣ латинскаго языка съ великимъ, правду сказать, краснорѣчіемъ. Послѣ обѣда въ тотъ же день были мы во дворцѣ на куртагѣ; но государыня не выходила. Признаюсь искренно, что я удивленъ былъ великолѣпіемъ Двора нашей Императрицы. Вездѣ сіяющее золото, собраніе людей въ голубыхъ и красныхъ лентахъ, множество дамъ прекрасныхъ, наконецъ огромная музыка, все сіе поражало зрѣніе и слухъ мой, и дворецъ казался мнѣ жилищемъ существа выше смертнаго. Сему такъ и быть надлежало: ибо тогда былъ я не старѣе 14 лѣтъ, ничего еще не видывалъ — все казалось мнѣ ново и прелестно. Пріѣхавъ домой, спрашивалъ я у дядюшки: „часто-ли бывають у Двора куртаги?“ — „Почти всякое воскресенье“, отвѣчалъ онъ; и я рѣшился продлить пребываніе мое въ Петербургѣ сколько можно долѣе, дабы чаще видѣть Дворъ... Но ничто въ Петербургѣ такъ меня не восхищало, какъ театръ, который я увидѣлъ въ первый разъ

¹⁾ Спекуляція эта вѣроятно была очень выгодна для книгопродавца: басни Гольберга въ 1765 году были напечатаны уже вторымъ изданіемъ. ²⁾ Скромность эта должна уже потому казаться излишнею, что Ф.-Визинъ въ бытность свою въ гимназіи нѣсколько разъ получалъ награды и медали, явно свидѣтельствующія о томъ, что онъ былъ однимъ изъ лучшихъ учениковъ.

отъ роду. Играли русскую комедію, какъ теперь помню, „Генрихъ и Пернилья“. Тутъ видѣлъ я Шумскаго, который шутками своими такъ меня смѣшилъ, что я, потерявъ благопристойность, хохоталъ изъ всей силы. Дѣйствія, произведеннаго во мнѣ театромъ, почти описать невозможно: комедію, видѣнную мною, довольно глупую, считалъ я произведеніемъ величайшаго разума, а актеровъ—величайшими людьми, конхъ знакомство, думалъ я, составило-бы мое благополучіе. Я съ ума было сошелъ отъ радости, узнавъ, что сін комедіанты вхожи въ домъ дядюшки моего, у котораго я жилъ. И дѣйствительно, чрезъ нѣкоторое время познакомился я тутъ съ покойнымъ О. Гр. Волковымъ, мужемъ глубокаго разума, исполненнымъ достоинствами, который имѣлъ большія знанія и могъ-бы быть человѣкомъ государственнымъ. Тутъ познакомился я съ славнымъ актеромъ Иваномъ Аванасьевичемъ Дмитревскимъ, человѣкомъ честнымъ, умнымъ, знающимъ, и съ которымъ дружба моя и до сихъ поръ продолжается⁴.

Такимъ образомъ, изъ словъ самого Фонъ-Визина замѣтно, что эта первая поѣздка въ Петербургъ произвела на его юношеское воображеніе одно изъ тѣхъ неизгладимо-сильныхъ впечатлѣній, которыя не стираются во всю жизнь и не исчезаютъ изъ памяти. Впечатлѣніе блеска и шума столицы, свиданіе съ современными литературными знаменитостями, знакомство съ актерами и театромъ — все это несомнѣнно должно было благопріятно повліять на пылкаго Дениса Ивановича и, въ связи съ тѣми литературными упражненіями, которымъ онъ предавался вскорѣ послѣ того, должно было способствовать въ его литературной дѣятельности развитію того направленія, благодаря которому впоследствии произошли на свѣтъ его „Бригадиръ“ и „Недоросль“. Но поѣздка въ Петербургъ была и въ другомъ отношеніи полезна для Ф.-Визина. „Тутъ узналъ я“, пишетъ онъ, „сколько нуженъ молодому человѣку французскій языкъ, а для того твердо предпринялъ и началъ учиться оному; а между тѣмъ продолжалъ латинскій, на коемъ слушалъ логику у профессора Шадена, бывшаго тогда ректоромъ... Знаніе мое въ латинскомъ языкѣ пособило мнѣ весьма къ обученію французскаго. Черезъ два года я

могъ разумѣть Вольтера и началъ переводить стихами его „Альзиру“.

Трудно сказать, кончилъ-ли Фонъ-Визинъ полный курсъ наукъ въ университетѣ, или до конца его опредѣлился на службу въ иностранную коллегію? Изъ его собственнаго разсказа этого нельзя себѣ уяснить; онъ говоритъ только:

„Въ 1775 г. былъ уже я сержантъ гвардіи; но какъ желаніе мое было гораздо болѣе учиться, нежели ходить въ караулы на съѣзжую, то уклонялся я сколько могъ отъ дѣйствительной службы. По счастью моему, Дворъ прибылъ въ Москву, и тогдашній вице-канцлеръ (князь А. М. Голицынъ) взялъ меня въ иностранную коллегію переводчикомъ капитанъ-поручичья чина, чѣмъ я былъ доволенъ“.

Для полнаго уразумѣнія этого мѣста не слѣдуетъ забывать, что всѣ молодые дворяне, по обычаю времени, должны были служить въ военной службѣ, въ которую записывались рядовыми чуть-ли не съ колыбели.

На этомъ основаніи и отецъ Фонъ-Визина, въ 1754 г., когда Денису Ивановичу минуло десять лѣтъ, записалъ его въ л.-гв. Семеновскій полкъ. Вотъ почему семь лѣтъ спустя, и все это время числясь на службѣ, Ф.-Визинъ, сидѣвшій еще на студенческой скамейкѣ, могъ уже быть сержантомъ гвардіи. Но по смыслу той бумаги, которая прислана была изъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ въ московскій университетъ по поводу поступленія Фонъ-Визина на службу, оказывается, что Денисъ Ивановичъ покидалъ университетъ, не докончивъ курса; по крайней мѣрѣ въ бумагѣ этой значится только, что коллегія иностранныхъ дѣлъ отъ Императорскаго Московскаго Университета, требуетъ, „чтобъ оной благоволилъ сержанта Дениса Фонъ-Визина, выключая изъ числа университетскихъ студентовъ, прислать въ оную коллегію для опредѣленія по желанію и способности его, о чемъ равномѣрно писано и л.-гв. Семеновскаго полка въ полковую канцелярію“.

Первые шаги Фонъ-Визина на службѣ были очень удачны; его способности и знанія были замѣчены, и вскорѣ дано было ему даже довольно почетное порученіе, для исполненія котораго онъ отправленъ былъ за границу. Возвратясь оттуда съ самыми лестными рекомендаціями, онъ былъ еще лучше

принять своимъ начальствомъ; но въ иностранной коллегіи оставался не долго. „Одинъ кабинетъ-министръ (Ив. Перф. Елагинъ) имѣлъ надобность взять кого-нибудь изъ коллегіи; и какъ по „Альзиръ“ моей замѣченъ былъ я съ хорошей стороны, то именнымъ указомъ (7 окт. 1763 г.) велѣно мнѣ быть при томъ кабинетъ-министрѣ. Я ему представился и былъ принятъ отъ него тѣмъ милостивѣе, что самъ онъ, прославясь своимъ витійствомъ на русскомъ языкѣ, покровительствовалъ молодымъ писателямъ. Я могу похвалиться, что сей новый мой начальникъ обращался со мною какъ надобно съ дворяниномъ; но въ домѣ его повсечасно былъ человекъ, давно ему знакомый и носившій полную его довѣренность. Сей человекъ ¹⁾, имѣющій впрочемъ разумъ, былъ безпримѣрнаго высокомерія и правомъ тяжель пренесенно. Онъ упражнялся въ сочиненіяхъ на русскомъ языкѣ; фізіономія-ли моя, или не весьма скромный мой отзывъ о его перѣ причиною стали его ко мнѣ ненависти? Могу сказать, что въ домѣ самаго честнаго и снисходительнаго начальника велъ я жизнь самую несприятнѣйшую отъ дѣйствія ненависти его любимица“.

Непріятныя отношенія къ любимцу кабинетъ-министра конечно происходили отъ „нескромнаго отзыва о его перѣ“ и самыя неудачи службы Дениса Ивановича у И. П. Елагина можно объяснить себѣ, безъ сомнѣнія, только тѣмъ, что Елагинъ вѣроятно опасался его злого и остраго языка. Самъ Фонъ-Визинъ описывалъ свой характеръ въ Чистосердечномъ признаніи именно съ этой невыгодной стороны его. „Природа“, говоритъ онъ, „дала мнѣ умъ острый, но не дала мнѣ здраваго разсудка. Весьма рано появилась во мнѣ склонность къ сатирѣ. Острыя слова мои носились по Москвѣ; а какъ они были для многихъ язвительны, то обиженные оглашали меня злымъ и опаснымъ мальчишкою; всѣ же тѣ, коихъ острыя слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезнымъ и въ обществѣ пріятнымъ. Видя, что вездѣ меня принимаютъ

за умнаго человека, заботился я мало о томъ, что разумъ мой похваляется на счетъ сердца, и я прежде нажилъ непріятелей, нежели друзей“. Впрочемъ этотъ невыгодный отзывъ о своемъ характерѣ Денисъ Ивановичъ смягчаетъ тутъ же слѣдующимъ, очень характернымъ заключеніемъ: „Сердце мое, не похвалясь скажу, было предобное; я ничего такъ не боялся, какъ сдѣлать какуюнибудь несправедливость, и для того ни передъ кѣмъ такъ не трусилъ, какъ передъ тѣмъ, конъ отъ меня зависѣли и конъ отмстить мнѣ были не въ состояніи“. Несмотря на разнообразныя непріятности, претерпѣваемыя отъ Лукина, не смотря на то, что и по службѣ своей Денисъ Ивановичъ не двигался ни на шагъ впередъ, онъ долженъ былъ оставаться при Елагинѣ тѣмъ шесть сряду. Въ теченіе этого времени, ему не разъ, какъ кажется, приходилось спасаться отъ всѣхъ служебныхъ непріятностей отъѣздомъ въ отпускъ къ роднымъ, въ Москву. Эти отпуска, — въ теченіе которыхъ онъ проводилъ время въ кругу своихъ домашнихъ и, забывая о неудачной служебной карьерѣ, занимался горячо литературой — иногда длились очень долго. Такъ напримѣръ, въ одномъ изъ писемъ своихъ къ И. П. Елагину, изъ Москвы, Денисъ Ивановичъ, говоря о сочиненной имъ комедіи ²⁾ прибавляетъ: „ежели милость ваша столь велика для меня будетъ, что я еще на полгода здѣсь останусь, то, переписавъ чисто, буду имѣть честь переслать оную къ вашему превосходительству... Ваша критика мнѣ необходима“ и т. д. Въ другомъ письмѣ къ тому же начальнику Фонъ-Визинъ говоритъ довольно подробно о своемъ препровожденіи времени въ Москвѣ:

„Время мое провожу здѣсь весьма полезно, въ разсужденіи извѣстнаго вамъ моего состоянія ³⁾; перевелъ Іосифа, за который возьму 200 рублей, напечаталъ Сиднея ⁴⁾; пишу стихи... Съ Веверомъ (книгопродавцемъ) дѣлаю я весьма прочный договоръ, который состояніе мое отлѣнно поправить и т. д.“. Въ другомъ подобномъ

¹⁾ Здѣсь идетъ рѣчь о В. И. Лукинѣ, авторѣ нѣсколькихъ комедій, переведенныхъ или передѣланныхъ имъ на русскіе нравы. ²⁾ Неизвѣстно какой именно: письмо это относится къ 1769 г.

³⁾ Намекается на денежные недостатки, которые въ молодости часто терпѣлъ Фонъ-Визинъ, получая небольшое жалованье и не имѣя состоянія. ⁴⁾ «Сидней и Силли или благодареніе и благодарность», повѣсть Арно, правоучительнаго и вѣстѣ сантиментальнаго содержанія.

же письмѣ къ Елагину, по поводу извѣстія о стихахъ, Фонъ-Визинъ дѣлаетъ слѣдующее любопытное добавленіе: „въ праздные часы мои (которыхъ въ сутки бываетъ у меня 24) пишу стихи, которые стоѣтъ мнѣ не только неизреченнаго труда, но головной болѣзни, такъ что лекарь мой предписалъ мнѣ въ діетѣ отнюдь не пить англійскаго пива и не писать стиховъ; ибо какъ то, такъ и другое кровь заставляетъ бить вверхъ. Всѣ медики единогласно утверждаютъ, что стихотворецъ, паче всѣхъ людей на свѣтѣ, долженъ апоплексіи опасаться. Бѣдная жизнь, тяжелая работа и скоропостижная смерть—вотъ чѣмъ пинтъ отъ прочихъ тварей отличается“.

Только уже въ концѣ 1760, Денису Ивановичу удалось снова перейти на службу въ иностранную коллегію, къ графу Никитѣ Ивановичу Панину, который познакомился съ нимъ за три года передъ тѣмъ, когда Фонъ-Визинъ, какъ авторъ „Бригадира“ и какъ замѣчательный чтецъ, сдѣлался на время модною знаменитостью въ салонахъ петербургскаго высшаго общества. „Чтеніе мое“ — пишетъ Фонъ-Визинъ въ „Чистосердечномъ признаніи“ — „заслужило вниманіе покойнаго Александра Ильича Бибикова ¹⁾ и графа Григорія Григорьевича Орлова ²⁾, который не преминулъ о томъ донести государынѣ (Екатеринѣ II). Въ самый Петровъ день графъ прислалъ ко мнѣ спросить: „ѣду ли я въ Петергофъ, и если ѣду, то возьмъ-бы съ собою мою комедію „Бригадира“. Я отвѣчалъ, что исполню его повелѣніе. Въ Петергофѣ, на балѣ, графъ, подошедъ ко мнѣ, сказалъ: „Ея Величество приказала послѣ бала вамъ быть къ себѣ, и вы извольте идти въ Эрмитажъ“. И дѣйствительно, я нашелъ Ея Величество готовою слушать мое чтеніе. Никогда не бывъ столь близко государя, признаюсь, что я началъ было нѣсколько робѣть, но взоръ російской благотворительницы и гласъ ея, идущій къ сердцу, ободрилъ меня, а нѣсколько словъ, произнесенныхъ монаршими устами, привели меня въ состояніе читать мою комедію передъ нею

съ обыкновеннымъ моимъ искусствомъ. Во время же чтенія, похвалы ея давали мнѣ новую смѣлость, такъ что послѣ чтенія былъ я завлеченъ къ нѣкоторымъ путевымъ и потомъ, облобызавъ ея десницу, вышелъ, имѣя отъ нея всемилоостивѣйшее привѣтствіе за мое чтеніе.

Дни черезъ три положилъ я изъ Петергофа возвратиться въ городъ, а между тѣмъ встрѣтился въ саду съ графомъ Никитой Ивановичемъ Панинымъ, которому у него когда представленъ не былъ ³⁾; но онъ самъ остановилъ меня: „Слуга покорный“, сказалъ мнѣ, „поздравляю васъ съ успѣхомъ комедіи вашей; я васъ увѣряю, что нынѣ во всемъ Петергофѣ ни о чемъ другомъ не говорятъ, какъ о комедіи и о чтеніи вашемъ. Долго-ли вы здѣсь останетесь?“ спросилъ онъ меня. „Черезъ нѣсколько часовъ ѣду въ городъ“, отвѣчалъ я. „А мы завтра“, сказалъ графъ; „я еще хочу, сударь“, продолжалъ онъ, „попросить васъ; его Высочество желаетъ весьма слышать чтеніе ваше и для того, по пріѣздѣ вашемъ въ городъ, не умеддите ко мнѣ явиться съ вашею комедіею, а я представлю васъ великому князю и вы можете прочесть ее намъ“...

По возвращеніи моемъ въ городъ, узналъ я на другой день, что Его Высочество возвратился. Я немедленно пошелъ во дворецъ къ графу Никитѣ Пвановичу. Мнѣ сказали, что онъ въ антресоляхъ; я просилъ, чтобы ему обо мнѣ доложили. Въ ту минуту позванъ былъ я къ графу; онъ принялъ меня очень милостиво. „Я тотчасъ одѣнусь“, сказалъ онъ мнѣ, „а ты посиди со мною“. Я примѣтилъ, что онъ въ разговорахъ своихъ со мною старался узнать не только то, какія я имѣлъ знанія, но и какія мои моральныя правила. Одѣвшись, повелъ меня къ великому князю и представилъ ему меня, какъ молодаго человѣка отличныхъ качествъ и рѣдкихъ дарованій. Его Высочество изъявилъ мнѣ въ весьма милостивыхъ выраженіяхъ, сколько желаетъ онъ слышать мою комедію. „Да вотъ послѣ обѣда“, сказалъ графъ, „Ваше

¹⁾ А. И. Бибиковъ (род. 1733, ум. 1774). Служилъ въ военной службѣ и отличился во многихъ сраженіяхъ во время семилѣтней войны. Въ описываемое Фонъ-Визинимъ время онъ былъ выбранъ востромскимъ дворянствомъ въ комиссію для составленія уложенія. ²⁾ Въ это время Орловъ (род. 1734 г. ум. 1783 г.) былъ уже генералъ-адъютантомъ, генералъ-аншефомъ, камергеромъ и т. д.; вообще—находился на верху почестей. Фонъ-Визинъ знакомъ былъ съ нимъ уже прежде. ³⁾ Т. е. до этого времени, до чтенія „Бригадира“ въ Эрмитажѣ, въ присутствіи государыни.

Высочество ее услышите“. Потомъ, подошедъ ко мнѣ: „вы“, сказалъ, „извольте остаться при столѣ Его Высочества“. Болѣ скоро столъ отошелъ, то послѣ кофе, посадили меня, и Его Высочество съ графомъ и съ нѣкоторыми Двора своего сѣли около меня. Черезъ нѣсколько минутъ тономъ чтенія моего произвелъ я во всѣхъ слушателяхъ прегромкое хохотанье. Паче всего вниманіе графа Никиты Ивановича возбудила „Бригадирша“. „Я вижу“, сказалъ онъ мнѣ, „что вы очень хорошо правы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всѣмъ родня; никто сказать не можетъ, что такую же Акулину Тимофьевну не имѣетъ или бабушку, или тетюшку, или какую нибудь свойственницу“. По окончаніи чтенія, Никита Ивановичъ дѣлалъ свое разсужденіе на мою комедію „Это въ нашихъ правахъ первая комедія“, говорилъ онъ, „и я удивляюсь вашему искусству, какъ вы, заставляя говорить такую дурицу во всѣ пять актовъ, сдѣлали однако роль ея столько интересною, что все хочется ея слушать; я не удивляюсь, что сія комедія столько имѣетъ успѣха“. Его Высочеству, съ своей стороны, угодно было сказать мнѣ за мое чтеніе многія весьма ласковыя привѣтствія. А графъ, когда мы вышли въ другую комнату, сказалъ: „вы можете ходить къ Его Высочеству и при столѣ оставаться, когда только хотите“. Я благодарилъ за сію милость. „Одолжи-же меня“, сказалъ графъ, „и принеси свою комедію завтра ввечеру ко мнѣ. У меня будетъ мое общество и мнѣ хочется, чтобы вы ее прочли“. Я съ радостію общалъ сіе графу и на другой день ввечеру чтеніе мое имѣло тотъ же успѣхъ, какъ и при Его Высочествѣ. Вскорѣ послѣ того, черезъ Н. И. Панина, Фонъ-Визинъ познакомился съ братомъ его графомъ Петромъ Ивановичемъ, который тоже просилъ его къ себѣ обѣдать и читать комедію. „И я у тебя обѣдаю“, сказалъ при этомъ графъ Н. И. Панинъ брату своему Петру Ивановичу: „и я не хочу пропустить случая слушать его чтеніе. Рѣдкій талантъ! У него, братецъ, въ комедіи есть одна Акулина Тимофьевна; когда онъ роль ея читаетъ, тогда я самое ее и вижу, и слышу“. Вообще успѣхъ этой первой замѣчательной русской комедіи, которой дѣйствіе не выѣшнымъ образомъ, а по всему внутреннему содержанію своему принадлежало русской

почвѣ—былъ громадный. Авторъ, удостоенный вниманія Императрицы и Наслѣдника, сдѣлался предметомъ всеобщаго любопытства, модною диковинкой, которую всѣмъ хотѣлось поскорѣе видѣть у себя въ салонѣ, которую по тому самому во всѣ салоны на-перерывъ приглашали, угощали, превозносили похвалами. Казалось, что съ этой минуты, послѣ пріобрѣтенія такой литературной извѣстности, Фонъ-Визинъ былъ открытъ широкій путь не только къ улучшенію его состоянія, къ полученію виднаго мѣста, но даже къ почестямъ, потому что многіе изъ знати, подобно Н. И. Панину, считали своимъ долгомъ предложить автору свое высокое покровительство... Но авторъ былъ неловкій, не искательный человѣкъ, и не только не сумѣлъ, но, кажется, даже не пожелалъ воспользоваться представившимся удобнымъ случаемъ „выйти въ люди“. Онъ былъ слишкомъ гордъ, слишкомъ самонадѣянъ и прямъ, чтобы сумѣть понравиться въ высшемъ кругу, или при помощи своего таланта проложить себѣ дорожку, обезпечить себя протекціей: онъ вообще принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые гораздо легче наживаютъ себѣ враговъ, нежели друзей. И пришлось ему еще ровно три года пробѣдствовать простымъ секретаремъ у И. П. Елагина, и по прежнему писать въ Москву родителямъ и сестрѣ о своихъ служебныхъ неудачахъ и непріятностяхъ, о мелкихъ проискахъ Лукина, о сильно докучавшей ему петербургской разсѣянной жизни и о петербургскихъ нѣмцахъ, которыхъ онъ крѣпко не долюбивалъ.

Только уже въ 1766 году, слѣдовательно послѣ довольно долгаго знакомства съ Н. И. Панинымъ, онъ получилъ мѣсто при немъ по иностранной коллегіи. Съ этого времени начались между нимъ и Никитою Ивановичемъ дружескія связи, не прекращавшіяся до конца жизни Панина, который сумѣлъ по достоинству оцѣнить способности и прямоту Дениса Ивановича. Но съ этого же времени, вѣроятно, Фонъ-Визинъ сталъ возбуждать къ себѣ то непріязненное чувство въ противоположной Панину партіи, которое повліяло наконецъ и на Екатерину, и ее заставило смотрѣть на Фонъ-Визина и на его служебную и литературную дѣятельность съ весьма неблагопріятной для него точки зрѣнія. До нѣкоторой степени Фонъ-Визинъ и

самъ былъ виноватъ въ томъ, что навлекъ на себя нерасположеніе Екатерины: онъ ужъ слишкомъ рѣзко позволялъ себѣ высказываться относительно современныхъ недостатковъ общественной и придворной жизни, не щадилъ мрачныхъ красокъ при описаніи придворной среды, окружавшей Императрицу, не избѣгалъ рѣзкихъ намековъ на нѣкоторыхъ приближенныхъ къ Императрицѣ лица и, горячо привязавшись къ Н. И. Панину, рѣшался даже переносить на почву литературнаго осужденія нѣкоторые щекотливыя вопросы, касавшіеся собственно государственнаго устройства. Само собою разумѣется, что этимъ путемъ онъ не могъ пойти далеко, и послѣ двадцатилѣтней службы вышелъ въ отставку въ чинѣ статскаго совѣтника. Службу оставилъ онъ вскорѣ послѣ смерти Никиты Ивановича Панина, скончавшагося въ 1783 году. Впрочемъ, Никита Ивановичъ сумѣлъ оцѣнить вѣрность и преданность Фонъ-Визина въ особенности въ такую эпоху развитія придворной жизни, когда συχνѣе всего помогать возвышаться то одной, то другой партіи, вслѣдъ за тѣмъ или другимъ временщикомъ, и когда своекорыстные виды болѣе всего способствовали развитію въ людяхъ служащихъ стремленія къ переходу отъ одной партіи къ другой изъ личныхъ выгодъ.

Когда за воспитаніе Наслѣдника графъ Н. И. Панинъ получилъ отъ императрицы большія награды деньгами, домами, орденами и помѣстьями (9000 душъ въ Бѣлорусіи), тогда онъ, отъ себя, наградилъ и всѣхъ вѣрныхъ помощниковъ своихъ, а въ томъ числѣ, прежде всѣхъ другихъ, Дениса Ивановича Фонъ-Визина, который, „сохраняя къ нему непоколебимую преданность, удостоенъ былъ всегда полной его довѣренности“. На долю Фонъ-Визина досталось 1180 душъ въ Бѣлорусіи, и онъ, такимъ образомъ, явился, въ 1773 году, человекомъ весьма состоятельнымъ, почти богатымъ, особенно послѣ женитьбы своей на одной молодой вдовѣ, которая принесла ему въ приданое домъ въ Петербургѣ и 20,000 рублей денегъ. Фонъ-Визинъ сталъ жить открыто и богато, въ кругу своихъ пріятелей, къ которымъ принадлежали многіе изъ современныхъ литераторовъ: Богдановичъ, Державинъ, Князевъ и актеръ Дмитревскій, съ которымъ связи его начались, какъ мы видѣли, еще отъ ранней юности.

Въ теченіе времени между 1774 и 1790 годами Фонъ-Визинъ три раза успѣлъ побывать за границей, болѣею частью съ цѣлю леченія, то по причинѣ нездоровья жены, то по причинѣ своей собственной болѣзненности, которая значительно сократила его жизнь. Изъ перваго и наиболѣе любопытнаго путешествія своего онъ писалъ къ графу Н. И. Панину и къ сестрѣ своей письма, очень замѣчательныя по своему рѣзкому тону и по самостоятельности взгляда на порядки государственнаго устройства и на общественную жизнь во Франціи, для многихъ служившую образцомъ слѣснаго подражанія и поклоненія. Многое въ этихъ письмахъ несправедливо, многіе приговоры о личностяхъ слишкомъ строги и односторонни; но письма эти все же остаются для насъ однимъ изъ самыхъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ для изученія нравственной фizioноміи Фонъ-Визина. Возвратясь изъ этого довольно продолжительнаго путешествія, Фонъ-Визинъ написалъ своего „Недоросля“ (въ 1782 г.), который всѣми принятъ былъ съ восторгомъ, какъ явленіе еще небывалое въ литературѣ нашей. Но въ этой прекрасной комедіи Фонъ-Визина уже совершенно ясно слышится намъ то глубоко-затаенное недовольство современности, которое выказывается въ томъ, что ни одна изъ высоко-нравственныхъ (по мнѣнію автора) личностей, выведенныхъ имъ на сцену въ противоположность порочнымъ и безнравственнымъ типамъ Простаковыхъ, Скотининныхъ и т. п., не принадлежитъ современности по идеямъ и стремленіямъ своимъ: всѣ онѣ указываютъ на доброе старое время, какъ на такое, въ теченіе котораго и люди были будто-бъ честнѣе, и правичище и т. д. Въ этомъ приѣмѣ, конечно, нельзя видѣть дѣйствительныхъ, лично Фонъ-Визину принадлежащихъ взглядовъ на отношеніе современности къ предшествующему періоду нашей исторической жизни, — Фонъ-Визинъ, при всей своей склонности къ идеализму, былъ слишкомъ уменъ для того, чтобы вѣрить въ подобные идеалы... Мы скорѣе склонны думать, что, употребляя въ дѣло этотъ приѣмъ, Фонъ-Визинъ, со свойственною ему задорностью, старался, съ точки зрѣнія своей партіи, высказать все то, что накопилось у него на сердцѣ противъ среды, окружавшей Екатерину и не рѣдко извращавшей самые благіе ея замыслы. По крайней мѣрѣ,

тѣмъ же рѣзко высказаннымъ недовольствомъ противъ придворной среды и противъ исключительнаго положенія высшаго общественнаго слоя проникнуто все, что около того же времени было написано Фонъ-Визиннымъ: и знаменитые „Вопросы“ издателя „Былей и Небылиц“, и „Придворная грамматика“, (которая также готовилась для „Собесѣдника“, но была отвергнута за рѣзкость тона), и всѣ остальные статьи, помѣщенные въ „Собесѣдникъ“ (слѣдовательно писанныя послѣ „Недоросля“) или заготовленныя для него и въ немъ не помѣщенныя. Изъ нихъ-то въ послѣдствіи Фонъ-Визинъ и думалъ составить свой особый журналъ подъ названіемъ „Стародумъ или другъ честныхъ людей“. Но тутъ ужъ, въ свою очередь, высказалось совершенно ясно недовольство Екатерины Фонъ-Визиннымъ и его дѣятельностью: въ своемъ письмѣ отъ 4-го апрѣля 1788 года Денисъ Ивановичъ извѣщаетъ П. И. Панина о томъ, что петербургская полиція не разрѣшила выхода въ свѣтъ его журнала.

Судя, однакоже, по тѣмъ отрывочнымъ свѣдѣніямъ, какія намъ сохранились о планѣ этого журнала, и по составу статей, которыя Фонъ-Визинъ предназначалъ къ напечатанію въ немъ¹⁾, „Стародумъ“ долженъ былъ занять едва-ли не первое мѣсто въ ряду тѣхъ сатирическихъ журналовъ, которыми такъ богата Екатерининская эпоха нашей литературы.

Желчному настроенію уже отъ природы раздражительнаго Дениса Ивановича много способствовало около этого времени (послѣ 1785 года) болѣзненное разстройство его организма: онъ былъ разбитъ параличемъ, который до самаго конца жизни лишилъ его лѣвой руки и лѣвой ноги, и значительно затруднилъ самое употребленіе языка. Это болѣзненное разстройство повліяло еще съ другой стороны на Фонъ-Визина: онъ поддался мрачному религіозному настроенію, подъ вліяніемъ котораго сталъ самымъ неумолимымъ судьей всѣхъ поступковъ своихъ и да-

же на болѣзнь свою сталъ смотрѣть, какъ на слѣдствіе своей грѣховности, какъ на кару, будто-бы низпослانیю на него Богомъ за то юношеское, хотя впрочемъ и весьма скромное религіозное вольнодумство, однимъ изъ плодовъ котораго явилось извѣстное шутовское стихотворное „посланіе къ слугамъ — Шумилову, Ванькѣ и Петрушкѣ“ съ разсужденіями въ стихахъ о душѣ, о безсмертіи и т. п. Подъ вліяніемъ этого-то мрачнаго религіознаго настроенія и написано было Фонъ-Визиннымъ въ концѣ его жизни (въ 1790 году) „Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ и помысленіяхъ“ — нѣчто въ родѣ автобіографіи, къ сожалѣнію неполной и недовольно проникутое духомъ самоуниженія и сокрушенія о заблужденіяхъ юности. Нельзя не сознаться, что въ этомъ любопытномъ памятникѣ Фонъ-Визинъ является намъ лишь мѣстами въ своемъ истинномъ видѣ, и что скорбныя сокрушенія, возгласы, избитыя нравственныя сентенціи и смиреніе, съ которыми онъ говоритъ о себѣ и своей дѣятельности — все это не имѣетъ ничего общаго съ коренными убѣжденіями и возрѣніями на жизнь, которыя Денисъ Ивановичъ въ теченіе всей своей литературной дѣятельности проводилъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, высказывалъ въ перепискѣ съ друзьями, примѣнялъ къ отношеніямъ служебнымъ и общественнымъ. Есть однакоже нѣкоторое основаніе думать, что это мрачное религіозное настроеніе Дениса Ивановича было только весьма естественнымъ и притомъ временнымъ вліяніемъ болѣзненнаго разстройства въ организмѣ: такъ можемъ мы по крайней мѣрѣ заключить по извѣстному разсказу И. И. Дмитріева о томъ предсмертномъ вечерѣ, который ему удалось провести у Державина, вмѣстѣ съ Фонъ-Визиннымъ. Въ этомъ простомъ и замѣчательномъ разсказѣ Фонъ-Визинъ является намъ настолько же веселымъ, острымъ, живымъ и рѣзкимъ, насколько мы привыкли представлять его себѣ такимъ по его сочиненіямъ, письмамъ и журнальнымъ статьямъ

¹⁾ Кромѣ «Всѣобщей Придворной Грамматики», написанной уже въ 1783 г., Фонъ-Визинъ думалъ помѣстить въ «Стародумъ»: 1) «Письмо къ Стародуму отъ сочинителя Недоросля» и «Отвѣтъ Стародума»; 2) «Письмо къ Стародуму отъ племянницы его Софьи» и «Отвѣтъ Стародума»; 3) «Два письма отъ дѣдильскаго помѣщика Дурышкина» и «Отвѣтъ Стародума»; 4) «Письмо Ваякина къ покойному его Превосходительству, съ отвѣтомъ Его Превосходительства»; 5) «Разговоръ у княгини Халдяной». Всѣ эти статьи вошли въ составъ послѣдняго Глазуновскаго изданія сочиненій Фонъ-Визина.

его лучшаго времени; о мрачномъ религіозномъ настроеніи, о самоуничженіи и смиреніи тутъ вѣтъ и помину. Приводимъ здѣсь этотъ любопытный расказъ изъ воспоминаній И. И. Дмитріева, въ заключеніе нашихъ біографическихъ свѣдѣній о Фонѣ-Визинѣ.

„Черезъ Державина — такъ пишетъ И. И. Дмитріевъ— „я сошелся съ Денисомъ Ивановичемъ Фонѣ-Визинымъ. По возвращеніи его изъ бѣлорускаго его помѣстья, онъ просилъ Гаврила Романовича (Державина) познакомиться его со мною. Я не знавалъ его въ лицѣ, какъ и онъ меня. Назначенъ былъ день свиданія. Въ шесть часовъ по полудни пріѣхалъ Фонѣ-Визинъ. Увидя его въ первый разъ, я вздрогнулъ и почувствовалъ всю бѣдственность и нищету человѣческую. Онъ вступилъ въ кабинетъ Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными изъ Шкловскаго кадетскаго корпуса и пріѣхавшими съ нимъ изъ Бѣлоруссіи. Уже онъ не могъ владѣть одною рукой; равно и одна нога одеревенѣла: обѣ пораженны были параличемъ; говорилъ съ крайнимъ усиленіемъ, и каждое слово произносилъ голосомъ охриплымъ и дикимъ; но большіе глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взглядъ привелъ меня въ смятеніе. Разговоръ не замѣшкался. Онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросами о своихъ сочиненіяхъ: знаю-ли я „Недоросля“? читалъ-ли „Посланіе къ Шумилову“, „Лису Казнодѣйку“, переводъ его „Похвального слова Марку Аврелію“? и т. д.; какъ я нахожу ихъ? — Казалось, что онъ такими вопросами хотѣлъ съ перваго раза вывѣдать свойства ума моего и характера. Наконецъ спросилъ меня и о чужомъ сочиненіи: что я думаю о „Душенькѣ“? ¹⁾ „Она—изъ лучшихъ произведеній нашей поэзіи“, отвѣчалъ я. „Прелестна“,

подтвердилъ онъ съ выразительною улыбкой. Потомъ Фонѣ-Визинъ сказалъ хозяину, что онъ привезъ ему свою комедію „Гофмейстеръ“, хозяинъ и хозяйка изъявили желаніе выслушать эту новость. Онъ подалъ знакъ одному изъ своихъ вожатыхъ. Тотъ прочиталъ комедію однимъ духомъ. Въ продолженіе чтенія, авторъ глазами, киваньемъ головы, движеніемъ здоровой руки подкрѣплялъ силу тѣхъ выраженій, которыя ему самому нравились. Игривость ума не оставляла его и при болѣзненномъ состояніи тѣла. Несмотря на трудность расказа ²⁾, онъ заставилъ насъ не однажды смѣяться. Во всемъ убѣдѣ, пока онъ жилъ въ деревнѣ, удалось ему найти одного литератора, городского почтмейстера. Онъ выдавалъ себя за жаркаго почитателя Ломоносова. „Которую же изъ одъ его вы признаете лучшею?“ (спросилъ его Фонѣ-Визинъ). „Ни одной не случилось читать“, отвѣтствовалъ почтмейстеръ. „За то“, продолжалъ Фонѣ-Визинъ, „доѣхавъ до Москвы, я уже не зналъ, куда дѣваться отъ молодыхъ стихотворцевъ — отъ утра и до вечера они вокругъ меня роились и жужжали. Однажды докладываютъ мнѣ: пріѣхалъ трагикъ. „Принять его“, сказалъ я, и черезъ минуту входитъ авторъ съ пучкомъ бумагъ. Послѣ первыхъ привѣтствій и оговорокъ, онъ проситъ меня выслушать трагедію его въ новомъ вкусѣ. Нечего дѣлать, прошу его садиться, и читать. Онъ предвѣщаетъ меня, что развязка драмы его будетъ самая необыкновенная; у всѣхъ трагедій оканчиваются добровольнымъ или насильственнымъ убійствомъ ³⁾, а его героиня или главное лицо умретъ естественною смертію. „И въ самомъ дѣлѣ“, заключилъ Фонѣ-Визинъ, „героиня его отъ акта до акта чахла, чахла и наконецъ издохла“. — Мы разстались съ нимъ въ одинъ

¹⁾ Поэмѣ Богдановича, о которой будетъ говорено далѣе. ²⁾ Т. е. на то, что ему трудно было рассказывать, вслѣдствіе пораженія языка параличемъ. ³⁾ По этому поводу намъ припоминается одно весьма любопытное мѣсто изъ письма Дениса Ивановича къ сестрѣ его въ Москву (13. дек. 1763 г.) въ которомъ онъ ей сообщаетъ о впечатлѣніи, вынесенномъ изъ чтенія одной ложно-классической трагедіи:

«Теперь шутить словъ вѣтъ. Лишь только прочиталъ новую трагедію французскую «Троянки». Слезы еще и теперь видны на глазахъ моихъ. Гекуба, лишаящаяся дѣтей своихъ, возмущила духъ мой; Поликсена, ея дочь, умирая на гробѣ Ахиллесовомъ, поразила жалостію сердце мое; а отчаянныя Кассандры извлекло неволею изъ глазъ моихъ слезы. Однако плачемъ на нихъ. Стихотворецъ подобенъ попу, которому, живучи на погостѣ, не всѣхъ оплакать. Я самъ горю желаніемъ писать трагедію; и рукой моею погибнуть по крайней мѣрѣ съ полдюжины героевъ, а если разсержусь, то и ни одного челоуѣка на театрѣ не оставляю».

надцать часовъ вечера, а на утро (т. е. 1 декабря 1792 г.) онъ былъ уже во гробѣ¹⁾.

Въ заключеніе всего сказаннаго нами о Фонѣ-Визинѣ мы не можемъ не сказать хотя нѣсколько словъ о характерѣ его важнѣйшихъ произведеній, о значеніи ихъ по отношенію къ той живой современности, среди которой они были созданы, и о томъ мѣстѣ, которое несомнѣнно принадлежитъ имъ въ исторіи нашей литературы.

Мы ни мало не думаемъ заниматься здѣсь разборомъ отдѣльныхъ характеровъ, выведенныхъ Фонѣ-Визиннымъ въ его двухъ важнѣйшихъ произведеніяхъ — „Бригадиръ“ и „Недоросль“. Критика давно уже опредѣлила совершенно вѣрно не только значеніе каждаго изъ характеровъ, выведенныхъ Фонѣ-Визиннымъ на сцену, но и ихъ связь съ живою дѣйствительностью XVIII вѣка, и даже ихъ художественное значеніе... Желающимъ ближе ознакомиться съ этою стороною драматическихъ произведеній Фонѣ-Визина советуемъ обратиться къ почтенному труду А. Д. Галахова¹⁾, въ которомъ разборъ двухъ комедій Фонѣ-Визина занимаетъ едва-ли не одно изъ самыхъ живыхъ и видныхъ мѣстъ. Мы не думаемъ также повторять и давно уже забытыхъ поясненій той общей идеи, которая положена была Фонѣ-Визиннымъ въ основу его обѣихъ комедій. Давно уже извѣстно всѣмъ, даже и не читавшимъ комедій Фонѣ-Визина, что онъ, наравнѣ со многими другими драматическими писателями Екатерининскаго и даже Елисаветинскаго вѣка, въ комедіяхъ своихъ олицетворилъ и вывелъ на подмостки тѣ самые сюжеты, которые уже и до него разрабатывались въ сатирахъ Кантемиромъ, въ комедіяхъ и журнальныхъ полемическихъ статейкахъ Сумароковымъ, и самой Екатериной въ ея комедіяхъ и журнальныхъ статьяхъ, наконецъ цѣлой группой сатирическихъ журналовъ въ началѣ ея долгаго и славнаго царствованія. Въ комедіяхъ Фонѣ-Визина встрѣчаемъ точно также, какъ и во всѣхъ выше указанныхъ нами литературныхъ произведеніяхъ XVIII в. и осмѣяніе невѣжества, и осужденіе неправосудія, поверхностнаго образованія, дворянской спѣси, родовыхъ предубѣжденій, лицемѣрнаго святотества, суетвѣрнаго пристрастія съ предрасудкамъ, прижитамъ и внѣшней обряд-

ности—словомъ всѣхъ тѣхъ общественныхъ пороковъ, которые сами собою бросались въ глаза уже и писателямъ эпохи преобразованій, и тѣмъ болѣе должны были обращать на себя вниманіе писателей въ вѣкъ Екатерины, писателей выросшихъ и воспитавшихся подъ вліяніемъ тѣхъ новыхъ идей, которыя нашли себя выраженіе въ „Наказѣ“ и которыя постоянно пользовались особеннымъ расположеніемъ и покровительствомъ Императрицы. Все это, повторяемъ, давно уже извѣстно, и обо всемъ этомъ мы не думаемъ упоминать въ настоящемъ нашемъ очеркѣ. Гораздо болѣе важнымъ кажется намъ разрѣшеніе нѣкоторыхъ частныхъ вопросовъ, касающихся отношенія обѣихъ комедій Фонѣ-Визина къ его личному развитію и къ наиболѣе характернымъ особенностямъ его литературнаго таланта.

Прежде всего позволимъ себѣ указать на ту рѣзкую разницу, которую долженъ замѣтить съ перваго же раза всякій читающій обѣ комедіи Фонѣ-Визина. Разница эта во всѣхъ отношеніяхъ до такой степени велика, что, напримѣръ, „Бригадиръ“ можно читать не иначе, какъ прежде „Недоросля“, и если-бы кому случилось прочесть сначала „Недоросля“, а потомъ приняться за чтеніе „Бригадира“—эта послѣдняя комедія утратила-бы въ глазахъ читателя значительную долю своего и литературнаго, и нравственнаго значенія. Для уясненія себѣ этого кореннаго различія между „Бригадиромъ“ и „Недорослемъ“ не слѣдуетъ забывать прежде всего, что между этими двумя произведеніями успѣло протечь около семнадцати лѣтъ, т. е. болѣе нежели треть всей жизни пылкаго и впечатлительнаго автора; что „Бригадиръ“ былъ писанъ Фонѣ-Визиннымъ въ самомъ началѣ его служебной карьеры, когда ему было не болѣе 22 или 23 лѣтъ, а „Недоросль“ былъ однимъ изъ послѣднихъ результатовъ его литературной дѣятельности, результатомъ долгаго и разнообразнаго жизненнаго опыта, долгой, и трудной служебной дѣятельности, глубокаго и внимательнаго наблюденія жизни, какъ въ среднихъ слояхъ общества, такъ и въ высшемъ слой русскаго придворнаго и дипломатическаго міра, въ тайны котораго Фонѣ-Визинъ былъ глубоко посвященъ. Въ „Бригадирѣ“ Фонѣ-

¹⁾ Истор. русск. слов. древней и новой; часть I.

Визинъ, благодаря своей замѣчательной наблюдательности и сильному сатирическому таланту, сумѣлъ ярче всѣхъ современныхъ писателей выставить на сценѣ и одарить живою жизнью тѣ самые общественные типы, которые уже задолго и до него подмѣнены довольно подробно нѣкоторыми изъ его предшественниковъ-писателей: эти типы, такъ сказать, давно уже носились въ нашей литературной сферѣ, и какъ-бы ожидали только искуснаго пера, которое сумѣло бы вполне рельефно представить ихъ современникамъ. Этихъ типовъ давно уже ожидало общество отъ комедіи, и усѣхъ „Бригадира“, при всѣхъ недостаткахъ его литературнаго построения, объясняется именно тѣмъ, что „Акулина Тимофѣевна“, выведенная авторомъ на сцену, оказалась „всѣмъ родня“. Точно также близки, знакомы, родственны каждому показались „совѣтница“ съ „Иванушкой“, представлявшіе собою мѣтко-схваченную карикатуру поверхностнаго образованія и неразумнаго подражанія иноземцамъ; едва-ли не еще болѣе близкими представлялись каждому типы грубаго, хотя и не глупаго „Бригадира“ и хищнаго „Совѣтника“, защищающаго невѣжество изъ собственныхъ корыстныхъ видовъ. Кромѣ этой стороны, нельзя не отмѣтить въ „Бригадирѣ“ еще и другую особенность. Комедія эта, какъ произведение еще молодаго автора, носитъ на себѣ какой то шуточный, веселый, даже игривый характеръ: въ неутишительной картинѣ нравовъ, выставленной ею, нѣтъ однакоже ни одной мрачной черты, которая-бы нарушила то общее впечатлѣніе веселости, какое комедія должна была несомнѣнно производить на зрителей. Видно, что авторъ очень ловко подмѣтилъ все смѣшное въ выводимыхъ имъ на сцену типахъ, даже нѣсколько преувеличалъ это смѣшное, но не внесъ въ свое осмѣяніе невѣжества и современныхъ ему общественныхъ недостатковъ ни капли горечи и желчи—даже въ самой морали своей не явился ни суровымъ, ни скучнымъ.

Совсѣмъ иными звуками, иными красками отличается сатира Фонъ-Визина въ „Недорослѣ“. Всѣ характеры лицъ, выведенныхъ авторомъ на сцену, замѣтно распадаются на два разряда, изъ которыхъ одинъ принадлежитъ живой дѣйствительности, а другой противопоставленъ первому, какъ идеалъ того, что автору хотѣлось-бы видѣть въ дѣй-

ствительности, и чего онъ около себя не видитъ. Этими-то положительно и отличаются комедіи Фонъ-Визина отъ комедій Екатерины, съ которыми, въ сущности, онѣ имѣютъ очень много общаго въ подробностяхъ, въ характерахъ, въ описаніи быта и типовъ, заимствованныхъ изъ русской дѣйствительности. Но Екатерина, выводя на сцену Ханжахиныхъ, Ворчалкиныхъ, Фирлюшкиныхъ, старалась всюду, какъ естественную противоположность, противопоставить имъ тѣ разумные, честные типы просвѣщенныхъ людей, которые, по самому положенію дѣйствія, казались принадлежащими дѣйствительности и всюду указывали на дѣйствительность, какъ на идеалъ, какъ на полнѣйшее выраженіе всего лучшаго, чего только возможно было ожидать отъ правильнаго и равномернаго движенія общества по пути прогресса. Въ „Недорослѣ“ Фонъ-Визина, напротивъ того, типамъ порочныхъ, невѣжественныхъ и злыхъ людей, очерченныхъ мастерски, глубоко и вѣрно, противопоставляются типы людей добродѣтельныхъ, почтенныхъ, заслуживающихъ уваженія, и, въ то же время, почти непріязненно относящихся къ настоящей дѣйствительности, въ которой главное изъ этихъ лицъ—дядя Софья. Стародумъ—не видитъ ничего утѣшительнаго. Не настоящее, съ его прогрессомъ и новыми сторонами жизни и быта, съ его задатками лучшаго будущаго, противопоставляетъ онъ очеркамъ безобразнаго, захолустнаго застоя и звѣрскимъ проявленіямъ невѣжественнаго барства... Нѣтъ! онъ утверждаетъ, что отъ настоящаго положенія общества тоже трудно ожидать чего-нибудь хорошаго въ будущемъ, и съ особеннымъ удовольствіемъ выставляетъ, въ назиданіе молодому поколѣнію, привлекательную картину недавно-пережитаго обществомъ прошлаго, въ которомъ нельзя не узнать довольно натянутую идеализацію петровскаго времени. И этою-то стороною „Недоросль“ совершенно отличается отъ всѣхъ комедій Екатерины; а это различіе основывается, какъ намъ кажется, на различіи во взглядахъ, въ идеалахъ, въ понятіяхъ о благѣ, объ отношеніи власти къ народу и т. п., которое и было причиною того, что Екатерина и Фонъ-Визинъ, въ сущности весьма близкіе другъ другу по своимъ стремленіямъ къ достиженію однихъ и тѣхъ же цѣлей, все же не умѣли оцѣнить

другъ друга съ полнымъ безпристрастіемъ и достоинствомъ. Фонъ-Визинъ остановился на тѣхъ идеалахъ, которые Екатерина питала въ душѣ своей при вступленіи на престолъ и которые она такъ горячо и сильно выразила въ Наказѣ; и между тѣмъ какъ постоянная борьба съ дѣйствительностью вынуждала Екатерину значительно отступать отъ ея идеаловъ и только отчасти, по мѣрѣ возможности, примѣнять ихъ къ жизни, Фонъ-Визинъ видѣлъ въ этихъ отступленіяхъ прямое противорѣчіе нѣкогда высказаннымъ въ „Наказѣ“ взглядамъ и убѣжденіямъ, и все болѣе и болѣе проникался недоумѣніемъ къ тѣмъ дѣйствительнымъ успѣхамъ, которые русское общество сдѣлало во многихъ отношеніяхъ въ теченіе царствованія Екатерины II. Этотъ односторонній взглядъ, подѣ влияніемъ той партіи, къ которой принадлежалъ Фонъ-Визинъ, и которая постоянно занимала при Екатеринѣ нѣсколько особое положеніе, мало по малу заставилъ его прійти даже къ довольно узкой исключительности, побуждавшей непріязненно и несправедливо относиться ко всему иноземному и выставлять на видъ, даже выхвалять, вовсе непохвальные стороны русскаго характера и русской современной жизни.

Таково положеніе „Недоросля“ по отношенію къ комедіямъ Екатерины, идеями которой Фонъ-Визинъ прежде всѣхъ другихъ русскихъ авторовъ пришлось воспользоваться для своихъ произведеній. Что же касается до отношенія „Недоросля“ Фонъ-Визина ко всей остальной массѣ драматическихъ произведеній екатерининскаго времени, то это отношеніе лучше всего опредѣляется для насъ живучестью „Недоросля“, который и до сихъ поръ не забытъ потомствомъ, давно уже предавшимъ забвенію всѣ произведенія Сумарокова, Аблесимова, Лукипа, Княжнина, даже Капниста. Этою прочностью своей славы „Недоросль“, конечно, обязанъ тому

художественному такту, той художественной истинѣ, съ которою созданъ былъ главный и глубоко-задуманный авторомъ типъ г-жи Простаковой,—типъ, не изобрѣтенный авторомъ, подобно многимъ другимъ лицамъ „Недоросля“, не списанный имъ, какъ вѣрный портретъ, съ какой-нибудь извѣстной ему женской личности, подобно типамъ „Бригадира“; типъ Простаковой былъ созданъ имъ совершенно естественно, какъ прямой результатъ той среды, въ которую авторъ ее поставилъ, и которую она олицетворила въ себѣ съ самою яркою и страшною правдой. Съ замѣчательнымъ искусствомъ серьезнаго и талантливаго писателя-художника, Фонъ-Визинъ, въ образѣ Простаковой, представилъ намъ такой полный, законченный и вѣрный дѣйствительности типъ, такъ правильно провелъ его черезъ всю пьесу, и такъ страшно покораилъ ее, въ заключеніе дѣйствія, бѣдствіями, происходившими отъ ея собственнаго злонавія, что изумленный зритель, привыкшій къ избитому наказанію пороковъ и награжденію добродѣтелей въ комедіяхъ, совершенно неожиданно почувствовалъ у себя на сердцѣ не отвращеніе, а сожалѣніе къ покинутой всѣми матері „Недоросля“. И если, помимо всѣхъ сценическихъ недостатковъ, помимо всякихъ подробностей обстановки, помимо симметризма въ расположеніи лицъ и дѣйствій, свойственныхъ современному взгляду на изложеніе драматическаго сюжета и характеровъ, мы взглянемъ на „Недоросля“ съ точки зрѣнія художественнаго воссозданія дѣйствительности въ г-жи Простаковой, выведенномъ Фонъ-Визинымъ типѣ то мы должны будемъ не столько же признать въ Фонъ-Визинѣ перваго самостоятельнаго русскаго писателя-художника, на сколько въ Ѳ. Прокоповичѣ должны были признать перваго русскаго свѣтскаго писателя, а въ Сумароковѣ—перваго русскаго литератора и публициста въ современномъ значеніи этого слова.



Подпись Фонъ-Визина.

XXIX.

Державинъ, какъ „Пѣвецъ Екатерины“. — Характеристика Державина. — Біографическія подробности. — Державинъ и Екатерина II. — Державинъ и Александровская эпоха. — Значеніе Державина въ исторіи нашей поэзіи.

Сумароковъ, подъ конецъ своей литературной карьеры ¹⁾, при поднесеніи одной изъ своихъ одъ Екатеринѣ, говорилъ между прочимъ: „царствованію Августа потребенъ Горацій“ — и самонадѣянно воображалъ онъ себя тѣмъ избраннымъ пѣвцомъ, тѣмъ Гораціемъ, которому суждено было воспѣть вѣкъ новаго Августа — Екатерины. Но это не ему должно было выпасть на долю... Намѣсто отживающаго поэта въ то время уже готовъ былъ вступить Державинъ, — тотъ восторженный и пылкій пѣвецъ Екатерины, который посвятилъ лучшій періодъ своей поэтической дѣятельности воспѣванію ея вѣка, и въ пѣломъ рядѣ своихъ блестящихъ произведеній оставилъ потомству поэтическую лѣтопись славы, подвиговъ и торжествъ Екатерининскаго времени. Но въ этой „поэтической лѣтописи“, живо и ярко рисующей намъ лица и событія замѣчательнѣйшей эпохи въ исторіи Россіи XVIII вѣка, поэтъ еще гораздо болѣе ярко обрисовалъ намъ свою собственную личность, совершенно отчетливо представивъ намъ себя, какъ человека и какъ писателя. Къ тому матеріалу, который поэтическія произведенія Державина представляютъ намъ для характеристики его, какъ поэта, присоединяются еще оставленные имъ „Записки“ ²⁾ и обширная дѣловая и дружеская переписка, служащая драгоцѣннѣйшимъ дополненіемъ его біографіи и вполнѣ воссоздающіе намъ образъ Державина, какъ со стороны его общественной и государственной дѣятельности, такъ и со стороны частной домашней жизни. Вообще, если принять въ

соображеніе всѣ произведенія Державина, его въ высшей степени любопытныя и важныя „Записки“ и обширную переписку, то нельзя будетъ не прійти къ убѣжденію, что ни одинъ изъ нашихъ литературныхъ дѣятелей XVIII вѣка — даже самъ Фонъ-Визинъ — не рисуется намъ такъ живо, такъ полно и рельефно, какъ Державинъ. Мало того: въ личности Державина, какъ литературнаго и общественнаго дѣятеля, съ замѣчательною ясностью рисуется намъ типъ одного изъ передовыхъ русскихъ людей второй половины XVIII столѣтія, со всѣми свѣтлыми и темными сторонами, со всѣми достоинствами и недостатками. Особенно интересно является для насъ личность Державина по сравненію съ Фонъ-Визинымъ, его современникомъ и пріятелемъ, о которомъ мы сказали въ началѣ предыдущей главы, что „онъ олицетворялъ въ своемъ замѣчательномъ образѣ всѣ лучшія стороны современнаго общественнаго типа, при весьма немногихъ недостаткахъ, неотъемлемо-своихъ всѣмъ, даже и весьма просвѣщеннымъ, весьма почтеннымъ представителямъ нашего высшаго общества въ прошломъ столѣтіи“ ³⁾. Къ Державину можно примѣнить тотъ же самый отзывъ, но только немного видоизмѣнивъ его, сообразно его личному характеру и характеру той дѣятельности, которой посвящена была большая половина его жизни: въ своемъ величавомъ образѣ Державинъ представляетъ намъ всѣ недостатки современныхъ ему общественныхъ дѣятелей, но вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣсколько такихъ личныхъ до-

¹⁾ Въ сентябрѣ 1773 года, при поднесеніи оды на день коронаціи. ²⁾ Не маловажно для насъ то полное заглавіе записокъ, которое дано было имъ самимъ авторомъ: „Записки изъ извѣстныхъ всѣмъ происшествій и подлинныхъ дѣлъ, заключающія въ себѣ жизнь Гаврилы Романовича Державина“. Записки эти начаты были въ 1805 и окончены 1812 годомъ. ³⁾ См. выше, стр. 364.

стоинствъ, которыя составляютъ дѣйствительное украшеніе его и рѣзко отличаютъ его отъ другихъ дѣятелей одновременно съ нимъ вращавшихся въ высшей сферѣ нашей придворной и административной жизни прошлаго столѣтія. Одаренный отъ природы очень слабымъ и мягкимъ характеромъ, способный поддаваться дурнымъ вліяніямъ и вслѣдствіе этого часто уклоняясь съ прямого пути, Державинъ, однакоже, въ теченіе всей своей жизни не переставалъ уважать этотъ прямой путь и постоянно стремился на него возвратиться. Вслѣдствіе этого, иногда, увлекаясь честолюбивымъ, суетнымъ стремленіемъ къ видному положенію въ свѣтѣ, къ чинамъ и отличіямъ, Державинъ занескивалъ въ вельможамъ и временщикамъ, старался съ ними сблизиться, войти въ тѣсныя сношенія, даже угодить имъ—и вдругъ потомъ, проникнувшись глубокимъ отвращеніемъ къ ихъ несправедливости, корыстолюбію и узкому эгоизму, ударялся въ совершенно противоположное направленіе: писалъ на нихъ же сатиры, выставилъ ихъ въ самомъ мрачномъ свѣтѣ, даже преувеличивалъ себя ихъ личные недостатки. Вообще, непоследовательность, горячность, непостоянство и быстрые переходы отъ одного возрѣнія или направленія въ образѣ дѣйствій къ другому, совершенно-противоположному—вотъ важнѣйшія черты нравственнаго типа, представляемаго Державинимъ. Отсюда, конечно происходила и его замѣчательная способность быстро мѣнять свои мнѣнія о людяхъ, благодаря которой онъ—то восторженно увлекался тою или другою личностью, превозносилъ ее до небесъ, не замѣчалъ или не хотѣлъ замѣчать въ ней никакихъ темныхъ сторонъ, то вдругъ, напротивъ, разбивалъ въ прахъ свой кумиръ и ожесточенно топталъ въ грязь его обломки. Отсюда же объясняется намъ и его замѣчательная неуживчивость, непосѣдливость, вслѣдствіе которой онъ такъ часто мѣнялъ мѣста своей службы, разстраивалъ связи, ссорился со всѣми... Но при всѣхъ этихъ недостаткахъ, свойственныхъ Державину, ему нельзя отказать и въ двухъ несомнѣнно-важныхъ достоинствахъ: онъ оставался въ теченіе всей своей жизни вѣренъ своимъ понятіямъ о честности и постоянно ратовалъ въ пользу ея среди общества, въ которомъ самыя

обыденныя понятія о честности не находили себѣ примѣненія, и въ высшихъ слояхъ котораго безумная роскошь развивала положительную наклонность смотрѣть на казенное добро, какъ на свое собственное... Другимъ немаловажнымъ достоинствомъ Державина представляется намъ его постоянное желаніе быть дѣятельнымъ, постоянное стремленіе приносить пользу то службой своей, то откровеннымъ выраженіемъ своего взгляда на извѣстное дѣло, то прямою и рѣзкою искренностью даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ эта искренность должна была положительно вредить его личнымъ интересамъ. Въ виду всего этого намъ кажется одностороннимъ и невѣрнымъ тотъ взглядъ на личность Державина, который въ послѣднее время былъ неоднократно высказываемъ у насъ въ литературѣ подъ вліяніемъ обличительнаго направленія, овладѣвшаго даже и нашей литературной критикой... Державину стали придавать очень мало значенія въ исторіи нашей литературы и самый характеръ его представлять ничтожнымъ и незаслуживающимъ никакого уваженія... Считаая всякія оправданія Державина излишними, мы только позволимъ себѣ напомнить здѣсь, что если принять въ соображеніе всѣ тѣ историческія и общественныя условія, среди которыхъ Державину приходилось жить и дѣйствовать, то намъ конечно придется поставить его, по отношенію къ нравственнымъ достоинствамъ выше всей той придворной среды, которою была окружена Екатерина. А много-ли найдется въ исторіи нашего XVIII столѣтія такихъ личностей, къ которымъ на столько же безпристрастно возможно было-бы примѣнить даже и этотъ отзывъ?

Гавріилъ Романовичъ Державинъ родился близъ Казани, въ іюлѣ 1743 года. Родители его были бѣдные дворяне. Отецъ состоялъ въ военной службѣ въ арміи, а потомъ по болѣзни переведенъ былъ въ оренбургскіе полки, и тамъ-то, на крайнемъ востокѣ Россіи, протекла большая часть дѣтства и отрочества Державина. Въ „Запискахъ“ своихъ онъ съ особеннымъ почтеніемъ и любовью вспоминаетъ о своихъ родителяхъ и особенно живо описываетъ бѣдственное состояніе своей бѣдной матери, которая, по смерти отца, должна была переселиться въ Казань и, съ трудомъ переби-

ваясь своими ничтожными средствами, въ то же время вынуждена была и вести тяжбу съ сосѣдами, и заботиться о воспитаніи дѣтей своихъ. Само собою разумѣется, что ни одинъ изъ ея сыновей не могъ получить при этомъ даже и сноснаго образованія. Образованіе Гавріила Романовича началось въ Оренбургѣ съ того, что онъ былъ „наученъ отъ церковниковъ читать и писать“, и продолжалось тамъ же, въ пансіонѣ ссыльнаго пѣмца Розы, который „былъ самъ невѣжда, не зналъ даже грамматическихъ правилъ, а для того и упражнялъ только дѣтей тверженіемъ наизусть вокабулъ и разговоровъ, и списываніемъ опытъ“. Не улучшились образовательныя средства и тогда, когда мать Державина поселилась въ Казани, „ибо, за неимѣніемъ лучшихъ учителей арифметики и геометріи“, мать Державина отдала его въ наученіе, сперва „гарнизонному школьнику Лебедеву, а потомъ артиллерійштыкъ-юнкеру Полетаеву; но какъ они и сами въ сихъ наукахъ были малосвѣдущи (ибо какъ Роза пѣмцекому училъ безъ грамматикъ, такъ и эти—арифметикъ и геометріи безъ доказательныхъ правилъ), то и довольствовались въ арифметикѣ одними первыми пятью частями, а въ геометріи черченіемъ фигуръ, не имѣя понятія, что и для чего надлежитъ“. Когда Гавріилу Романовичу минулъ 14-й годъ, мать ѣздилъ съ нимъ въ Москву, чтобы не пропустить срока явки дѣтей своихъ въ герольдію и записать ихъ на службу; но здѣсь ей пришлось такъ много хлопотать, доказывая „истинное дворянское происхожденіе явленныхъ ею недородовъ отъ рода Багрима Мурзы, выѣхавшаго изъ Золотой Орды при Василіѣ Темномъ“, что средства ея окончательно истощились, и, не имѣя долѣе возможности существовать въ Москвѣ, она возвратилась въ Казань. По счастью для нея, здѣсь, въ 1758 году, открылась гимназія, „состоящая подъ главнымъ вѣдомствомъ Московскаго университета, и братья Державины были записаны въ это училище“, въ которомъ преподавалось ученіе языкамъ: латинскому, французскому, нѣмецкому, арифметикѣ, геометріи, танцованію, музыкѣ, рисованію и фехтованію, подъ дирекцію бывшаго тогда ассесоромъ Михайла Ивановича Веревкина“. Но и здѣсь по недостатку въ хорошихъ учителяхъ, немногому пришлось Державинымъ научиться. И

воспитаніе, и образованіе, по свидѣтельству „Записокъ“, сводилось къ очень незначительнымъ результатамъ. „Болѣе всего старались“, пишетъ въ Запискахъ Державинъ,—„чтобы научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматикѣ, и быть обходительнымъ, заставляя сказывать на каедрѣхъ сочиненныя учителями и выученныя наизусть рѣчи; также представляли на театрѣ бывшія тогда въ славѣ Сумарокова трагедіи, танцовали и фехтовали въ торжественныхъ собраніяхъ при случаѣ экзаменовъ, что сдѣлало нитомцевъ, хотя въ наукахъ неискусными, однако же доставило людскость и нѣкоторую развязъ въ обращеніи“.

Въ 1762 году, Державинъ, уже задолго передъ тѣмъ записанный въ Преображенскій полкъ рядовымъ, явился на службу и, не имѣя въ столицѣ ни родни, ни знакомыхъ, вынужденъ былъ помѣститься въ казармѣ, вмѣстѣ съ прочими солдатами. Тутъ Державинъ „долженъ былъ, хотя и не хотѣлъ, выкинуть изъ головы науки. Однако какъ сильную имѣлъ къ нимъ склонность, то, не могли упражняться по тѣснотѣ комнаты ни въ рисованіи, ни въ музыкѣ, чтобы другимъ своимъ компаніонамъ не наскучить, по ночамъ, когда всѣ улягутся, читалъ книги, какія гдѣ достать случалось, нѣмецкія и русскія, и маралъ стихи безъ всякихъ правилъ, которыя никому не показывалъ, что, однако, сколько ни скрывалъ, но не могъ утаить отъ компаніоновъ, а паче отъ ихъ женъ“... Два года спустя, Державинъ уже нѣсколько болѣе правильно сталъ относиться къ этимъ своимъ занятіямъ и „упражнялся въ чтеніи книгъ и кропаніи стиховъ, стараясь научиться стихотворству изъ книги о поэзіи, сочиненной г. Третьяковскимъ и изъ прочихъ авторовъ, какъ гг. Ломоносова и Сумарокова. Но болѣе другихъ ему нравился, по легкости слога (князь Ѳ. А.) Козловскій, изъ котораго и научился цезурѣ или раздѣленію alexandрійскаго ямбическаго стиха на двѣ половины“. До самаго 1772 года, Державинъ, за исключеніемъ небольшихъ перерывовъ времени, проведенныхъ имъ въ отпуску у матери, въ Казани, вынужденъ былъ въ остальное время нести на себѣ всѣ тягости военной службы, принимать участіе во всѣхъ солдатскихъ работахъ и упражненіяхъ. Постепенно пришлось

пройти всѣ степени солдатства: быть впраломъ, и каптенармусомъ, и сержантъ. Наконецъ, послѣ почти десятилѣтней жбм, Державинъ былъ произведенъ въ порщики. Молодость свою и эти первые службы Державинъ рисуетъ самыми чными красками и очень живо предста-

ному и безпросыпному разгулу; мы видимъ около него даже шулеровъ, обыгрывающихъ его наѣбрняка и потомъ научающихъ его всѣмъ тонкостямъ своего искусства!.. Но здоровая и сильная натура Гавріила Романовича выдерживаетъ эту трудную школу и выносить изъ нея только сильнѣйшее жела-



Гавріилъ Романовъ

етъ намъ весьма непривлекательную картину нравовъ, преобладавшихъ въ средѣ дашней нашей молодежи. Много разъ въ зніе времени между 1764 — 1772 годами рингъ Романовичъ видѣлъ себя на краю мн, вдаваясь въ самый необузданный вратъ и сильнѣйшую картежную игру... окружала цѣлая ватага буйныхъ и пьяныхъ сотоварищей, преданныхъ беззабѣ-

ніе во что бы то ни стало сохранить въ себѣ неприкосновеннымъ сознаніе своего нравственного достоинства. Должно, однакоже, предполагать, что не легко было избѣжать Державину той пропасти, на краю которой скользилъ онъ много разъ въ теченіе этого времени, потому что даже и въ зрѣлыхъ лѣтахъ, въ перепискѣ съ друзьями и родней, онъ не могъ бѣть ужаса вспо-

мнить о томъ образѣ жизни, которому предавался въ Москвѣ. въ концѣ 60-хъ годовъ, до окончательнаго переселенія своего въ Петербургъ и до производства въ офицеры.

Четыре года, слѣдовавшее за производствомъ въ офицеры (1772—1776), проведенны были Державинымъ на Востокъ Россіи, гдѣ онъ состоялъ, во время Пугачевщины, членомъ секретной комисіи, учрежденной для подавленія мятежа въ Казани и Оренбургѣ. Эти четыре года жизни Державина,—которыми онъ очень гордился, постоянно представляя на видъ то безкорыстіе и ту неутомимую дѣятельность, какія были имъ въ теченіе этого времени выказаны — не имѣютъ почти никакого значенія въ исторіи развитія его литературнаго таланта. Результаты дѣятельной и безкорыстной службы были, однакоже, далеко не завидны: въ концѣ концовъ Державину пришлось самому хлопотать о томъ, чтобы его наградили за усердіе и уплатили ему за убытки, понесенные имъ отъ продолжительнаго войска въ его Оренбургской деревнѣ. Наконецъ, въ 1777 году, послѣ долгихъ хлопотъ и ходатайствъ, при посредствѣ Потемкина, Державину удалось получить 300 душъ въ Бѣлороссіи и чинъ бомбардиръ-поручика, послѣ чего онъ рѣшается покинуть военную службу, и переходить въ статскую съ чиномъ коллежскаго совѣтника. Вскорѣ послѣ того, благодаря этому удачному повороту въ дѣлахъ и чрезвычайно счастливому періоду игры въ карты, Державину удается нѣсколько округлить свое небольшое состояніе, пышно и широко устроить свою жизнь въ Петербургѣ и, наконецъ, черезъ знакомство съ генералъ-прокуроромъ, княземъ А. А. Вяземскимъ, получить въ Сенатѣ мѣсто эзекутора въ 1-мъ департаментѣ. „Должность сія“, пишетъ Державинъ, „по отступленіи отъ инструкціи Петра Великаго, хотя была тогда уже не весьма важная, однако довольно видная. Отправляя ее, скоро приобрѣлъ онъ ¹⁾ знакомство всѣхъ господъ сенаторовъ и значущихъ людей въ семъ карьерѣ, а особливо бывалъ всякій день въ домѣ генералъ-прокурора“... „Онъ былъ любимцемъ сего всѣмъ тогда уважаемаго дома. Съ княземъ по вечерамъ для забавы иногда играть въ карты; а иногда читалъ ему книги, боль-

шею частію романы, за которыми не рѣдко и чтецъ, и слушатель дремали. Для книгъ писалъ стихи похвальные въ честь ея супруга, хотя насчетъ ея страсти и привязанности къ нему не весьма справедливы, ибо они знали модное искусство давать другъ другу свободу“.

Но какъ ни ласкали Державина въ домѣ его начальника, какъ ни старался и онъ самъ поддержать къ себѣ расположеніе начальника и его семьи, однако же, когда увидѣлъ, что его ласкаютъ не совсѣмъ безкорыстно, и хотѣлъ выдать за него родственницу-княжну, „извѣстную въ то время стихотворицу“, то Державинъ женить себя не далъ и очень ловко отшутился отъ навязываемой ему партіи, которая обѣщала быть ему несомнѣнно выгодною въ отношеніи служебномъ. Вскорѣ послѣ того онъ женился по любви на молодой и прекрасной дѣвушкѣ, за которою не вышло никакого состоянія. Вѣроятно эта женитьба много способствовала тому, чтобы разстроить отношенія Державина къ Вяземскому, поманившемуся въ то время громаднымъ вліяніемъ; а тутъ еще несклади подвернулась и литературная извѣстность, такъ неожиданно-внезапно осѣнившая Державина. Дѣло въ томъ, что Державинъ не покидалъ своихъ занятій литературой ни во время военной службы, ни по переходѣ въ гражданскую. Весь періодъ его поэтической дѣятельности до 1779 года, по его собственному сознанию, не представлялъ ничего самостоятельнаго. „Онъ хотѣлъ подражать г. Ломоносову, но какъ талантъ сего автора не былъ въ немъ имѣемъ одинакимъ гениемъ, то хотѣлъ парить, не могъ выдерживать постоянно, красивымъ подборомъ словъ, свойственнаго единственно русскому Пиндару (т. е. Ломоносову) великолѣпія и пышности. А для того, съ 1779 года, избрѣлъ онъ совсѣмъ особый путь, будучи предводитимъ наставленіями г. Батте и совѣтами друзей своихъ Н. А. Львова, В. В. Капниста и И. И. Хемницера, подражая наиболѣе Горацию. Но какъ онъ (т. е. Державинъ) на нихъ не утѣрялся, то отъ себя ничего въ свѣтъ, не издавалъ, а мало по малу, подъ неизвѣстнымъ именемъ, посылалъ въ періодическое изданіе С.-Петербургскаго Вѣстника, ко-

¹⁾ Державинъ всюду въ «Запискахъ» говоритъ о себѣ въ третьемъ лицѣ.

издатель, г. Брайко, печатая, сообщая известия, что публика творения его не читает. Съ 1779 года, следовательно, он выступил на самостоятельную литературную и стал писать „въ по-родѣ“; однимъ изъ такихъ произведе- ній новомъ родѣ и была ода „Фелицѣ“ (г.), поводомъ къ сочиненію которой была сказка Екатерины „о Царевичѣ“; и „какъ сія Государыня любила за- шутки, то во вкусѣ ея и писалъ на

что равнодушно съ новопроявившимся сти- хотворцемъ говорить не могъ: привязываясь во всякомъ случаѣ къ нему, не только по- смѣхался, но и почти ругалъ, проповѣдая, что стихотворцы не способны ни къ какому дѣлу. Все сіе сносимо было съ терпѣніемъ, сколько можно, близъ двухъ годовъ“. Окон- чательный разрывъ между Державинымъ и Вяземскимъ послѣдовалъ тогда, когда моло- дой стихотворецъ осмѣлился противорѣчить своему начальнику при случаѣ составленіи



Казанская первая гимназія.

ея ближнихъ, хотя безъ всякаго зло- но съ довольною издѣвкой и съ ша- „“. Какъ ни старался авторъ скрывать у, добрые пріатели выдали его и о ней вскорѣ даже многіе изъ придворныхъ. нинѣ очень понравилось произведеніе го поэта, отъ котораго дѣйствительно новою жизнью, и она выразила свое оженіе автору богатымъ подаркомъ, ии окончательно разсорила Держави- Вяземскимъ. „Съ того времени закра- его сердце ненависть и злоба, такъ

табели и росписаніи доходовъ Имперіи на новый годъ. Вяземскій требовалъ, чтобы пред- ставлены были старыя табели и росписаніе; а Державинъ утверждалъ, что этого сдѣлать нельзя, такъ какъ доходы государства успѣ- ли возрасти слишкомъ на 8,000,000 противъ прошлаго года. Вяземскій же „для того не хотѣлъ открывать точнаго доходу, чтобы дер- жать себя болѣе въ уваженіи, когда при нуж- дѣ въ деньгахъ онъ отзовется по табели не- имѣніемъ оныхъ, но послѣ будто особымъ своимъ изобрѣтеніемъ и радѣніемъ найдетъ

онны кое-какъ и удовлетворить требованьямъ двора". Державинъ, предусматривая, "что нельзя тамъ ему ужиться, гдѣ не любятъ правды",¹⁾ рѣшился оставить службу и собрался отдохнуть... Онъ съ особеннымъ жаромъ предался занятіямъ литературою, докончилъ знаменитую оду „Богъ" и написалъ „Видѣніе Мурзы" (1785 г.). Но отдохнуть ему не удалось: по желанію Императрицы онъ назначенъ былъ олонекимъ губернаторомъ. На губернаторствѣ пробылъ онъ однакоже не болѣе двухъ лѣтъ, и такъ какъ его постоянная дѣятельность и неспокойная, придирчивая честность сильно докучали намѣстнику губерніи, то, по его ходатайству, Державинъ и былъ переведенъ въ концѣ втораго года въ тамбовскую губернію, „не сдѣлавъ никого несчастливymъ и не заведя никакого дѣла". Второе губернаторство его не обошлось ему такъ легко, какъ первое. Здѣсь, при исправленіи своей должности, пришлось ему столкнуться съ Гудовичемъ, который былъ одновременно намѣстникомъ и рязанской, и тамбовской губерніи, и, при своихъ связяхъ, при своемъ богатствѣ, имѣлъ на сторонѣ своей сильную партію въ Петербургѣ. Всѣ подчиненныя и тѣ лица, противъ которыхъ Державину приходилось вооружаться за ихъ незаконные поступки, обращались на него съ жалобою къ Гудовичу, а тотъ писалъ въ Петербургъ... Дѣло кончилось тѣмъ, что Державинъ былъ въ 1788 году отрѣшенъ отъ губернской должности и преданъ суду, подъ предлогомъ различныхъ будто-бы сдѣланныхъ имъ опущеній по службѣ.

Весьма поучительнымъ для потомства можно назвать то мѣсто „Записокъ", въ которомъ Державинъ рассказываетъ о своемъ пребываніи въ Москвѣ въ то время, когда въ Московскомъ Сенатѣ велось его дѣло и тянулось болѣе полугода изъ угожденія къ его личному врагу, генералъ-прокурору кн. Вяземскому. Не имѣя возможности говорить здѣсь подробно объ этомъ эпизодѣ, мы замѣтимъ только, что даже и тогда, когда дѣло Державина наконецъ было рѣшено, онъ

долго не могъ добиться чтобы ему объявлено было принятое по его дѣлу рѣшеніе. „И такъ принужденъ былъ дать чрезъ одного стряпчача оберъ-секретарю 2,000 рублей за то, чтобы только позволилъ копію списать того рѣшительнаго опредѣленія, дабы, прибѣгнувъ къ Императрицѣ съ просьбою, въ чемъ противъ онаго не ошибиться". Послѣ этого Державинъ отправился въ Петербургъ, чтобы „доказать Императрицѣ, что онъ способенъ къ дѣламъ, неповиненъ руками, чистъ сердцемъ и вѣренъ въ возложенныхъ на него должностяхъ".

Въ Петербургѣ Державину удалось добиться аудіенціи у Императрицы, удалось до вѣкоторой степени оправдаться передъ нею во взведенныхъ на него обвиненіяхъ; но Императрица удовольствовалась только очень поверхностнымъ отношеніемъ къ дѣлу: она сказала Державину, что „не можетъ обвинять автора Фелицы", но даже и не взглянула въ тотъ толстый томъ документовъ и дѣла, на которомъ онъ основывалъ свои оправданія. Державину возвращено было заслуженное имъ жалованье, вѣжливо было даже „и впредь оное производить до опредѣленія къ мѣсту"; но мѣста ему никакого не давали и онъ оставался безъ службы и безъ дѣла. „Сѣ продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ и хотя по воскресеньямъ пріѣзжалъ онъ ко Двору, но какъ не было у него никакого предстателя, который бы напомнилъ Императрицѣ объ обѣщанномъ мѣстѣ, то и сталъ Державинъ какъ-бы забвеннымъ. Въ такомъ случаѣ не оставалось ему ничего другаго дѣлать, какъ искать входа къ любимцу Государыни и черезъ него (т. е. черезъ П. А. Зубова) искать себѣ покровительства". Державинъ не былъ съ нимъ знакомъ, да и не могъ быть, потому что Зубову было тогда всего 22 года. „Но что дѣлать—восклицаетъ Державинъ въ своихъ „Запискахъ"— надо было сыскивать случая съ нимъ познакомиться. Какъ трудно доступить до фаворита! Сколько ни заходилъ къ нему въ комнаты, всегда придворные лакеи, бывшіе у него на дежурствѣ, отказы-

¹⁾ Державинъ сообщает между прочимъ и такой анекдотъ о Вяземскомъ. Осматривая сенатскую залу, заново отдѣланную, генералъ-прокуроръ увидѣлъ на одной изъ барельефовъ нагое изображеніе Истинны. «Вели ее, братъ, нѣсколько прикрыть», сказалъ онъ, обращаясь къ Державину. «И полагинно, съ тѣхъ почти поръ стали отчасу болѣе прикрывать правду въ правительствѣ, потому что князь Потемкинъ, будучи человѣкъ сильный и властолюбивый, не весьма любилъ повиноваться закону, а дѣлалъ все по своему самовластию». (Записки Державина стр. 546 въ акад. изд.).

вали, сказывая, что или почиваетъ, или ушелъ прогуливаться, или у Императрицы. Такимъ образомъ, ходя нѣсколько разъ, не могъ удостоиться ни одного раза застать его у себя. Не осталось другого средства, какъ прибѣгнуть къ своему таланту. Вслѣдствіе чего и написалъ онъ оду „Изображеніе Фелицы“, и въ 22-му числу сентября, т. е. ко дню коронованія Императрицы передалъ черезъ Эмина, который въ Олонекской губерніи былъ при немъ экзекуторомъ и былъ какъ-то Zubovу знакомъ. Государиня, прочитши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора къ нему ужинать и всегда принимать его въ свою бесѣду. Это было въ 1789 году. Съ тѣхъ поръ онъ сему царедворцу сталъ знакомъ, но кромѣ ласковаго обращенія никакой отъ него помощи себѣ не видалъ. Однако и одинъ входъ къ фавориту дѣлалъ уже въ публикѣ ему много уваженія; а сверхъ того, и Императрица приказала приглашать его и въ Эрмитажъ и прочія домашнія игры, какъ то на святки, когда они пастунали, и прочія собранія⁴⁾.

По самому тону этого мѣста „Записокъ“ видно уже, въ какой степени пріятно было Державину искать покровительства у Zubova. Но, съ одной стороны, у него недоставало характера отказаться отъ возможности сдѣлать блестящую карьеру, съ другой стороны, онъ былъ твердо увѣренъ въ томъ, что можетъ принести несомнѣнную пользу отечеству своей честностью и прямотою на службѣ; а службы добиться можно было только однимъ путемъ — приблизившись къ Императрицѣ черезъ знакомство съ Zubовымъ, и вотъ Державинъ волей-неволей избираетъ этотъ путь... Правда, что въ числѣ приближенныхъ къ Императрицѣ лицъ, находились и такія, которыя указывали Императрицѣ на Державина, какъ на достойнаго занять мѣсто статсъ-секретаря или совѣтовали ей „взять Державина для описанія ея славнаго царствованія“¹⁾. Но эти указанія дѣлались такъ пеловко, что Императрица могла почти видѣть въ нихъ предрѣшенія, предупрежденія своей воли. Такимъ образомъ время шло; Державинъ проживалъ безъ дѣла въ Петербургѣ и, вынужденный жить на широкую

ногу, входилъ мало по малу въ долги и пуждался... Между тѣмъ его продолжали ласкать при Дворѣ и постоянно обнадеживали полученіемъ мѣста. Особенно благосклонно принята была Императрицею его „ода на взятіе Измаила“. Екатерина подарила поэту богато осипанную брилліантами табакерку и потомъ, увидѣвшись съ нимъ по напечатанью оды, сказала ему съ усмѣшкой: „я не знала по сіе время, что труба ваша столь же громка, какъ и лира пріятна“. Вскорѣ послѣ этого вернулся изъ арміи Потемкинъ, и Державинъ, вращаясь постоянно въ придворномъ кругу, совершенно мимовольно попалъ между двухъ огней и сдѣлался на время предметомъ ухаживанья для двухъ сильнѣйшихъ временщиковъ — Потемкина и Zubova, изъ которыхъ каждый сталъ заискивать въ его талантѣ, думая воспользоваться имъ для своихъ личныхъ цѣлей. Мы не можемъ не привести здѣсь изъ записокъ Державина тѣхъ нѣсколькихъ замѣчательныхъ по своей искренности страницъ, въ которыхъ Гавріилъ Романовичъ рассказываетъ намъ о своемъ затруднительномъ положеніи между этими двумя временщиками, враждебно относившимися другъ къ другу, и до такой степени навивно изображаетъ тягостное положеніе придворнаго поэта среди борьбы различныхъ страстей и партій, что возбуждаетъ къ себѣ почти состраданіе.

„Князь Потемкинъ пріѣхалъ изъ арміи“ — такъ рассказываетъ Державинъ подъ 1790 годомъ въ своихъ Запискахъ — „сталъ къ автору необыкновенно ласкаться, и черезъ Василія Степановича Попова (бывшаго главнымъ секретаремъ Потемкина) приказывалъ, что хочетъ съ нимъ короче познакомиться. Вслѣдствіе чего Державинъ сталъ вѣзжъ къ Потемкину“. Немного далѣе, излагая непріязненные отношенія свои къ отцу Zubova, извѣстному своей ненасытностью въ стажаніи, онъ прибавляетъ, что опасаться ему этихъ отношеній было нечего, „какъ по покровительству сына, такъ и Потемкина, который въ сіе время весьма былъ хорошъ къ автору торжественныхъ хоровъ для праздника на взятіе Измаила, отправленнаго имъ въ Таврическомъ его домѣ“... „Потемкинъ въ сіе время за Державиннымъ, такъ сказать, воло-

¹⁾ За Державина къ этому смыслу хлопотала княгиня Дашкова, которую, какъ мы уже знаемъ, Императрица не очень жаловала.

чился: желая отъ него похвальныхъ себѣ стиховъ, спрашивалъ черезъ г. Попова, чего онъ желаетъ. Но съ другой стороны, молодой Зубовъ, призвавъ его въ одинъ день къ себѣ въ кабинетъ, сказалъ ему отъ имени Государыни, чтобъ онъ (Державинъ) писалъ для князя, что онъ прикажетъ; но отнюдь бы отъ него ничего не принималъ и не просилъ, что онъ и безъ него все имѣть будетъ, прибавя, что Императрица назначила его быть при себѣ статсъ-секретаремъ по военной части. Державинъ въ таковыхъ мудреныхъ обстоятельствахъ не зналъ, что дѣлать и на которую сторону искренно предаться, ибо отъ обоихъ былъ ласкаемъ¹⁴. Въ этихъ послѣднихъ словахъ заключается такое искреннее и правдивое разъясненіе основныхъ чертъ Державинскаго характера, что всякія сомнѣнія на его счетъ рассыпаются сами собою. Прямой и честный, по природѣ, даже готовый стоять за правду, онъ въ то же время положительно не обладалъ никакимъ характеромъ и потому самому не могъ защититься отъ суетнаго желанія славы и почестей, поддавался вліянію той среды, въ которую судьба его закинула, и въ затруднительныхъ случаяхъ, по недостатку твердости и рѣшительности, былъ способенъ теряться до такой степени, что даже не зналъ, на которую сторону пристать, „ибо отъ обоихъ былъ ласкаемъ!“.

Рассказывая о своихъ дальнѣйшихъ отношеніяхъ къ Потемкину, Державинъ еще шире развертываетъ передъ нами картину современныхъ нравовъ, и еще болѣе знакомитъ насъ съ своею личностью. „Въ исходѣ 8-ой омыной недѣли, т. е. 28 апрѣля (1797 г. Потемкинъ) далъ извѣстный великолѣпный праздникъ въ Таврическомъ своемъ домѣ; тамъ были пѣты сочиненные Державиннымъ хоры, которыми бывъ хозяинъ доволенъ, благодарилъ автора... который общалъ сочинить ему описаніе того праздника. Безъ сомнѣнія, князь ожидалъ себѣ въ томъ описаніи великихъ похвалъ, или, лучше сказать: обыкновенной отъ стихотворцевъ сильныхъ людямъ лести. Вслѣдствіе чего, когда Державинъ принесть ему то описаніе, просилъ Василія Стенановича (Попова) доложить ему объ ономъ, князь приказалъ его просить къ себѣ въ кабинетъ. Стихотворецъ вошелъ, подалъ тетрадь, а князь весьма учтиво поблагодарилъ его, просилъ остаться у себя объ-

дать, приказавъ тогда же нарочно готовить столъ. Державинъ пошелъ въ канцелярію къ Попову, — дожидаясь, не прикажетъ-ли чего князь; гдѣ свободный имѣлъ досугъ объяснить (Попову), что мало въ томъ описаніи на лицо князя похвалъ; но скрылъ прямую тому причину, боясь неудовольствія отъ Двора, а сказалъ, что какъ отъ князя онъ никакихъ благодарній личныхъ не имѣлъ, а коротко великихъ его качествъ не знаетъ, то и опасался быть причтенъ въ число подлыхъ и низкихъ ласкателей, каковыми никто не даетъ истиннаго вѣроятія; а потому и разсудилъ отнести всѣ похвалы только къ Императрицѣ и всему русскому народу...; но ежели князь приметъ сіе благосклонно и позволить впредъ короче узнать его превосходныя качества, то онъ общалъ превознести его, сколько его дарованія достанетъ. Но такое извиненіе мало въ пользу автора послужило: ибо князь, когда прочелъ описаніе и увидѣлъ, что въ немъ отдана равная съ нимъ честь Румянцеву и Орлову, его соперникамъ, то съ фуріею выскочилъ изъ своей спальни, приказалъ подать коляску, и, не смотря на шедшую бурю, громъ и молнію, ускорилъ Богъ знаетъ куды. Всѣ пришли въ смѣненіе, столы разобрали — и обѣдъ исчезъ“. Но сдержанность стихотворныхъ похвалъ Потемкину и точное исполненіе по отношенію къ нему приказаній Екатерины, переданныхъ черезъ Зубова, — все это не поправило положенія Державина. Онъ вскорѣ долженъ былъ убѣдиться въ томъ, что былъ въ послѣднее время не болѣе, какъ игрушкою придворной интриги, и что въ сущности никто и не думалъ придавать ему значенія. Потемкинъ убѣжалъ на югъ, потомъ вскорѣ умеръ — и Державинъ былъ вновь преданъ забвенію...

О немъ вспомнили и возвели въ статсъ-секретари уже тогда, когда въ концѣ 1791 года открылись разныя злоупотребленія въ Сенатѣ, а потомъ началось разслѣдованіе знаменитаго и громаднаго дѣла о банкирѣ Сутерландѣ, который злоупотреблялъ доверіемъ казны и казенными деньгами ссужалъ окружающихъ Императрицу вельможъ. Никто не рѣшался братья за это и другія подобныя же дѣла, всѣ избѣгали ихъ и отъ нихъ уклонялись, зная, что Императрица будетъ заниматься разслѣдованьемъ ихъ съ неохотой — и вотъ всю тагость этихъ непри-

ятныхъ Императрицъ, казусныхъ дѣлъ взвалили на новаго статсъ-секретаря. Съ обычнымъ рвеніемъ и горячностью взялся за свое новое дѣло Державинъ—и очень скоро успѣлъ прискучить Екатеринѣ своею безтактностью и неумѣньемъ сообразоваться съ обстоятельствами. Онъ ставилъ на первый планъ законъ и настаивалъ на томъ, чтобы законъ былъ соблюденъ неуклонно, а Императрица между тѣмъ, по выраженію Державина, „управляла государствомъ и даже правосудіемъ политически... полагая своимъ вельможамъ, дабы по маловажнымъ проступкамъ или пристрастіямъ не раздражать ихъ и противъ себя не поставитъ“, да къ тому же и вообще „была снисходительна къ слабостямъ людскимъ“¹⁾, стараясь „избавить (людей) отъ пороковъ и угнетенія сильныхъ не всегда строгостью законовъ, но особымъ материнскимъ о нихъ попеченіемъ“. Не разъ случалось, что Екатерина жаловалась окружающимъ на грубость и всмыслчивость Державина при докладахъ; „случалось, что разсердится и выгонитъ (его) отъ себя; а онъ надуется, дастъ себѣ слово быть осторожнымъ и ничего съ ней не говорить; но на другой день, когда онъ войдетъ, то она тотчасъ примѣтитъ, что онъ сердитъ: зачнетъ спрашивать о женѣ, о домашнемъ его быту, не хочеть-ли онъ пить, и тому подобное ласковое и милостивое, такъ что позабудетъ свою досаду и сдѣлается по прежнему чистосердечнымъ. Въ одинъ разъ случилось, что онъ, не вытерпѣвъ, вскочилъ со стула и въ изступленіи сказалъ: „Боже мой! кто можетъ устоять противъ этой женщины? Государыня, вы—не человѣкъ. Я сегодня положилъ на себя клятву, чтобъ послѣ вчерашняго ничего съ Вами не говорить; но Вы противъ моей воли дѣлаете изъ меня, что хотите!“ Она засмѣялась и сказала: „неужто это правда?“

Не смотря, однакоже, на всю слабость

характера своего, не смотря на то, что близость къ императрицѣ льстила очевидно самолюбію Державина, онъ, послѣ четырехлѣтняго пребыванія при Дворѣ, началъ чувствовать на себѣ всѣ тягости придворной службы и тѣхъ отношеній, къ которымъ ни какъ не могъ себя приучить. Для него наступилъ періодъ разочарованія; „ибо издавна тѣ предметы, которые ему казались божественными, и приводили духъ его въ воспламененіе, явились ему, при приближеніи къ Двору, весьма человѣческими и даже низкими и недостойными великой Екатерины, то и охладѣлъ такъ его духъ... что онъ, видя дворскія хитрости и безпрестанное себѣ толчки, не могъ такихъ ей тонкихъ писать похвалъ, каковы въ одѣ Фелицѣ и тому подобныхъ сочиненій, которыя имъ писаны не въ бытность его еще при Дворѣ“... „Сколько разъ ни принимался, сидя по недѣлѣ для того запершись въ своемъ кабинетѣ, но ничего не въ состояніи былъ такого сдѣлать, чѣмъ-бы онъ былъ доволенъ: все выходило холодное, натянутае и обыкновенное, какъ у прочихъ цеховыхъ стихотворцевъ, у коихъ только слышны слова, а не мысли и чувства“. Къ такому разочарованію, которое, какъ видно изъ этого мѣста Записокъ, весьма неблагоприятно влияло на поэтическую дѣятельность Державина, прибавилось въ концѣ царствованія Екатерины и другое обстоятельство, которое должно было еще хуже повліять на поэта. Екатерина, уже съ начала 80-хъ годовъ, сдѣлавшаяся изыскательной и нетерпимой по отношенію къ литературѣ и журналистикѣ, рѣшилась взглянуть недовѣрчиво даже и на нѣкоторые изъ поэтическихъ произведеній Державина. Въ тетради стиховъ, поднесенной поэтомъ Императрицѣ по ея собственному желанію, ей не понравилось переложеніе 81-го псалма, сдѣланное Державинимъ, и собственно потому, что „сей са-

¹⁾ По этому поводу намъ припоминается одно очень характерное мѣсто изъ Записокъ Державина, подъ 1793 г., въ которомъ онъ говоритъ между прочимъ...: „хотя угождалъ Державинъ Императрицѣ (будучи статсъ-секретаремъ ея), но правдою своею часто наскучивалъ, и какъ она часто говаривала пословицу: „живи и жить давай другимъ“, и такъ поступала, то онъ (Державинъ) „изъ рожденіе Гремиславы“ Л. А. Нарышкину въ одѣ сказалъ:

Живи и жить давай другимъ,
Но только не на счетъ другаго;
Всегда доволенъ будь своимъ,
Не трогай ничего чужаго.

мый псаломъ былъ во время французской революціи якобинцами перефразированъ и пѣтъ по улицамъ для подкрѣпленія народнаго возмущенія противъ Людовика XVI^а. Такъ истолковали Державину неудоельствіе Императрицы. „Царь Давидъ“, отвѣчалъ Державинъ, „не былъ якобинецъ, слѣдовательно, пѣсни его не могутъ быть никому противными“. И хотя его объясненія и оправданія были приняты Екатериною бла-

жебное положеніе его не переставало быть очень шаткимъ и невѣрнымъ; не смотря на свое непреодолимое влеченіе къ дѣятельности, на желаніе приносить своей службой пользу государству, Державинъ видимо уже начиналъ тяготиться своимъ высокимъ саномъ и бесполезностью своихъ усилій. Къ этому времени относится извѣстное его стихотвореніе „Къ самому себѣ“, въ которомъ, не видя кругомъ себя ничего, кромѣ



Званка, усадьба Державина.

госклонно, однако же недовѣріе къ самому себѣ закралось въ его душу, и опасеніе навлечь на себя новую немилость начало съ той поры дѣйствовать на Державина: онъ замѣтно сталъ менѣе писать.

Къ концу царствованія Екатерины, Державинъ былъ уже тайнымъ совѣтникомъ и сенаторомъ; во время краткаго царствованія императора Павла, Державинъ былъ сдѣланъ президентомъ коммерцъ-коллегіи, потомъ даже государственнымъ казначеемъ, но слу-

своскорыстія и ничтожныхъ расчетовъ, онъ, наконецъ, рѣшается сказать:

«Что мнѣ, что мнѣ суетиться,
Вьючить бремя должностей.
Если свѣтъ за то бранится,
Что иду своей стезей?
Пусть другіе работаютъ,
Много умныхъ есть господъ:
И себя не забываютъ,
И царямъ сулятъ доходъ».

Но и послѣ этого, Державинъ прослужилъ еще слишкомъ три года, оставался на службѣ (и былъ сдѣланъ юстицъ-министромъ) даже въ то время, когда, со вступленіемъ на престолъ Александра I, началось сильное либеральное движеніе, среди котораго онъ, конечно, явился не только просто отсталымъ человѣкомъ, но даже помѣхою, бѣлымъ на глазу для другихъ. Большой части того, что совершалось въ эти первые годы царствованія Александра, Державинъ положительно не сочувствовалъ, очень много онъ даже не могъ и понять, и все-таки продолжалъ служить, по какому-то совершенно-непостижимому упрямству. Ему не разъ давали почувствовать, что пора-бы ему и отдохнуть отъ трудовъ служебныхъ; но Державинъ показывалъ видъ, что не замѣчаетъ этого, и продолжалъ дѣятельно заниматься дѣлами, шумѣть и спорить въ засѣданіяхъ Сената, а по званію юстицъ-министра, возставать противъ мѣръ либеральной партіи и осуждать ихъ въ цѣломъ рядѣ отдѣльных мнѣній. Наконецъ дѣло кончилось тѣмъ, что „въ началѣ октября мѣсяца 1803 года, въ одно воскресенье, противъ обыкновенія, государь его не принявъ съ докладами, приказавъ сказать, что ему недосугъ, хотя и былъ у развода. Въ понедѣльникъ прислалъ ему письмо или рескриптъ, въ которомъ хотя оказываетъ удовольствіе свое ему за отправленіе его должности, но тутъ же говоритъ, чтобы отнять неудовольствіе, доходящее къ нему на не-исправность его канцеляріи, просилъ очистить постъ министра юстиціи, а остаться только въ Сенатѣ и Совѣтѣ присутствующимъ“. Державинъ и тутъ еще упорствовалъ. Послѣдовало пространное и довольно горячее объясненіе со стороны Державина, въ которомъ онъ спрашивалъ императора, въ чемъ онъ передъ нимъ прослужился. Онъ (Александръ), ничего не могъ сказать къ обвиненію его, какъ только: „Ты очень ревностно служишь“. — „А какъ ') такъ государь“, отвѣчалъ Державинъ, „то я иначе служить не могу. Простите“. — „Оставайся въ Совѣтѣ и Сенатѣ“. — „Мнѣ нечего тамъ дѣлать“. — „Но подайте же просьбу“, подтвердилъ государь, „о увольненіи васъ отъ должности юстицъ-министра“. — „Исполню

повелѣніе“. Само собою разумѣется, что послѣ этого оставаться на службѣ было уже невозможно. Державинъ вышелъ въ отставку и остальные 13 лѣтъ своей жизни провелъ спокойно, живя то въ Петербургѣ, въ своемъ домѣ на Фонтанкѣ (гдѣ теперь католическая духовная коллегія), то въ новгородской губерніи, въ своемъ имѣніи Званкѣ, на лѣвомъ берегу Волхова. Не мѣшаетъ замѣтить, что въ концѣ Записокъ своихъ Державинъ вообще неблагопріятно отзывался о дѣятельности Александра и не щадитъ самыхъ нелестныхъ



Державинъ (типъ Тончи).

прозвищъ для ближайшихъ его сподвижниковъ—и въ этихъ отзывахъ его болѣе всего слышится именно то, что онъ уже отжилъ свой вѣкъ, что ни его мнѣнія, ни его взгляды, ни его способъ дѣйствій уже не могли согласоваться съ современнымъ порядкомъ вещей. Достаточно прочесть въ „Запискахъ“ то, что самъ Державинъ говоритъ противъ отмѣны указовъ объ обязательности дворянской службы и противъ проекта освобожденія крестьянъ, чтобы убѣдиться въ томъ, до какой степени пристрастно и невѣрно способенъ былъ судить о современности „пѣвецъ Екатерины“,

') Здѣсь: какъ, вм. когда.

который и при водвореніи Внука ея не находилъ въ себѣ силы отречься отъ дѣдовскихъ преданій.

По выходѣ въ отставку, проживая по зимамъ въ Петербургѣ, Державинъ продолжалъ заниматься литературой. Самъ въ концѣ Запискахъ своихъ онъ говоритъ о себѣ: „Привыкнуши къ безпрестаннымъ трудамъ, не могъ (Державинъ) быть безъ упражненія, и для того занимался литературой, писалъ нѣсколько лирическихъ сочиненій, которыхъ вышло 4 части, и еще наберется одна, можетъ быть; сочинилъ трагедіи, какъ-то: 1) „Иродъ и Маріамну“, 2) „Евпраксию“, 3) „Темнаго“, да перевелъ „Федру“, „Зельмиру“. Комическихъ написалъ оперъ бездѣльных двѣ: „Дурочка умнѣе умныхъ“, и „Женская дружба“; нѣсколько прозаическихъ сочиненій, надписей, эпиграммъ и „Разсужденіе о лирической поэзіи“. Въ 1811 году, вмѣстѣ съ А. С. Шинковымъ (впослѣдствіи президентомъ Академіи Наукъ), Державинъ основалъ въ Петербургѣ литературное общество подъ названіемъ „Бесѣды любителей русскаго слова“; сочиненія, читанныя въ засѣданіяхъ этого общества, составили даже особое изданіе: „Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова“ (20 книгъ, съ 1811—1815). (Въ этомъ изданіи, между прочимъ напечатано и вышеупомянутое Державинское „Разсужденіе о лирической поэзіи“). „Бесѣда“, которой сначала хотѣли было дать названіе „Атенея“, подраздѣлялась на четыре отдѣла, изъ которыхъ двумя заведывали Державинъ и И. И. Дмитріевъ, всѣми почитавшіяся тогда достойнымъ преемникомъ поэтической славы Державина. „Бесѣда“ постановила себѣ цѣлью отстаивать классическія начала въ русской литературѣ и заниматься очищеніемъ русскаго языка отъ

всѣхъ нововведеній новой литературной (Карамзинской) школы. Мы еще будемъ имѣть случай сказать нѣсколько словъ о „Бесѣдѣ“ въ главѣ, посвященной біографіи Карамзина. Но не Дмитріеву суждено было наслѣдовать славу Державина; незадолго до смерти, старцу-поэту пришлось увидѣть, или, лучше сказать, предугадать появленіе новаго свѣтила: присутствуя въ 1815 году на экзаменѣ въ царскосельскомъ лицѣѣ, Державинъ услышалъ, какъ Пушкинъ декламировалъ свое приготовленное къ экзамену стихотвореніе: „Воспоминаніе о Царскомъ Селѣ“.

Пушкинъ оставилъ въ своихъ „Запискахъ“ замѣчательное описаніе этого свиданія съ Державиннымъ. „Когда мы узнали“, пишетъ Пушкинъ,—„что Державинъ будетъ къ намъ (на экзаменѣ), всѣ мы изволновались... Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундирѣ и въ плисовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомилъ: онъ сидѣлъ поджавши голову рукою; лице его было безмысленно, глаза мутны, губы отвислы.... Онъ дремалъ до тѣхъ поръ, пока не начался экзаменъ русской словесности. Тутъ онъ оживился: глаза заблестали, онъ преобразился весь. Разумѣется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостью необыкновенной. Я прочелъ мои „Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“, стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина. Я не въ силахъ описать состоянія души моей; когда я дошелъ до стиха, гдѣ упоминаю имя Державина¹⁾, голосъ мой отроческій зазвенѣлъ, а сердцу забилося съ утонченнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе; не помню, куда убѣжалъ. Державинъ былъ въ восхищеніи; онъ меня требовалъ, хотѣлъ меня обнять... Меня искали, но не нашли...“

Вскорѣ послѣ того, въ октябрѣ того же

¹⁾ Въ этомъ лицейскомъ стихотвореніи Пушкина есть два стиха, въ которыхъ онъ упоминаетъ о Державинѣ; сначала въ строфѣ седьмой:

О, громкій вѣкъ военныхъ споровъ
Свидѣтель славы Россіянъ!
Ты видѣлъ, какъ Орловъ, Румянцевъ и Суворовъ,
Потомки грозные славянъ,
Перуномъ Зевсовымъ побѣду похищали.
Ихъ сѣдыми подвигамъ, страшась, дивился міръ,
Державинъ и Петровъ героямъ пѣсны бряцали
Струнами громозвучныхъ лиръ.

Затѣмъ въ самой послѣдней строфѣ.

О, Скальдъ Россіи вдохновенной,
Воспѣвшій ратныхъ грозный строй!
Въ кругу друзей твоихъ, съ душой воспламененной,
Взгреми на арфѣ золотой;
Да снова стройный гласъ героя въ честь прольется,
И струны трепетны посылаютъ огнь въ сердца,
И ратникъ молодой вскипнитъ и содрогнется
При звукахъ браннаго пѣвца.

года, познакоившись съ извѣстнымъ писателемъ нашимъ С. Т. Аксаковымъ (тогда еще очень молодымъ человекомъ), Державинъ, при первомъ же свиданіи съ нимъ, говорилъ ему совершенно чистосердечно: „Мое время прошло. Теперь ваше время, теперь многіе пишутъ славные стихи, такіе гладкіе, что относительно версификаціи уже ничего не остается желать. Скоро явится свѣту второй Державинъ — это Пушкинъ, который уже въ лицѣхъ перещеголялъ всѣхъ писателей“¹⁾.

Въ началѣ іюля 1816 года, Державинъ тихо и спокойно скончался въ своемъ помѣстьѣ. „3-го числа праздновалъ онъ еще въ семейственномъ кругу 74-й день своего рожденія“, такъ рассказываетъ о послѣднихъ минутахъ Державина одинъ изъ современныхъ журналовъ:—„8-го числа почувствовалъ усиленіе обыкновенной болѣзни своей, спазматическихъ припадковъ въ груди, и въ 11 часовъ вечера продиктовалъ письмо въ Петербургъ, къ доктору, у котораго просилъ совѣтовъ въ своей болѣзни. Онъ никакъ не думалъ, что находится въ опасности и въ то же время приказалъ отписать къ издателю 6-й части его сочиненій о перемѣнѣ одного стиха. Потомъ легъ онъ въ постель, въ половинѣ 2-го часа вздохнулъ сильнѣе обыкновеннаго, и съ симъ вздохомъ скончался. Тѣло его предано землѣ 12-го іюля въ Хутынѣ²⁾ монастырѣ, куда перевезено было по Волхову. На погребеніи были почти одни только родственники его. Гробъ несли офицеры стоящаго неподалеку отсюда конно-егерскаго полка; они не были знакомы лично ни ему, ни семейству его, но почли обязанностію отдать послѣдній долгъ великому россиянину“.

За три дня до своей кончины, Державинъ, „глядя на висѣвшую въ кабинетѣ его извѣстную историческую карту: „Рѣка время“, началъ стихотвореніе на тлѣнность и успѣлъ написать (на аспидной доскѣ) первую строфу его:

Рѣка время въ своемъ стремленіи
Уноситъ всѣ дѣла людей,
И топить въ пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

А если что и остается
Черезъ звуки лиры и трубы,
То вѣчности жерломъ пожрется
И общей не уйдетъ судьбы!

Доска съ послѣдними стихами Державина была подарена его родственниками Императорской публичной бібліотекѣ. Тамъ хранится она и по нынѣ: ее всякій можетъ видѣть на стѣнѣ, въ отдѣленіи русскихъ книгъ: но отъ начертанныхъ на ней строкъ почти ничего уже не осталось.

Въ теченіе всей своей долгой жизни, занимаясь литературой, Державинъ успѣлъ написать чрезвычайно много и подъ конецъ склонялся даже преимущественно передъ всѣми другими къ драматическому роду. Не смотря на это, однакоже, Державинъ представляетъ намъ собою и по характеру своему, и по общему направленію таланта, чистѣйшій типъ лирика. Но лирики были у насъ и до Державина; и около Державина видимъ мы Петрова, Кострова, Канниста, которые одинаково съ Державиннымъ начинали свою поэтическую дѣятельность съ подражанія лирикѣ Ломоносова — этого „россійскаго Пиндара“, какъ называли его современники. Какое же мѣсто можетъ занимать Державинъ въ исторіи развитія нашей лирики? Какое значеніе имѣлъ онъ въ нашей литературѣ прошлаго столѣтія? Наконецъ, въ какой степени достоинъ Державинъ той славы, которая неразлучно соединена съ его именемъ?

Прежде всего намъ придется отвѣтить на этотъ послѣдній и при томъ далеко немаловажный вопросъ. Относясь къ этому вопросу серьезно, не съ точки зрѣнія современныхъ нашихъ понятій о поэзіи вообще и въ особенности о ея лирическомъ родѣ, а съ единственно-возможной точки зрѣнія исторической критики мы должны, конечно, сказать: Державинъ вполне достоинъ своей славы уже потому, что онъ, въ ряду нашихъ поэтовъ, былъ первымъ поэтомъ по вдохновенію, по призванію. Онъ оставилъ намъ весьма значительную массу стиховъ, вовсе незамѣчательныхъ, подобныхъ тѣмъ, которые по его собственному выраженію, писались и цеховыми и

¹⁾ См. С. Т. Аксакова. «Сем. Хроника и Воспоминанія»; II, 374. ²⁾ Монастырь св. Варлаамія Хутынского на правомъ берегу Волхова, верстахъ въ семи отъ Новгорода.

стихотворцами его времени, въ которыхъ мы видимъ одни громкія слова и очень мало мысли и чувства; но и въ каждомъ, даже самомъ плохомъ изъ его стихотвореній, видна рука мастера, чувствуется талантъ, встречаются мѣста, замѣчательныя по своимъ по-

ихъ всѣхъ и что ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ, до Пушкина, не могъ съ нимъ равняться, ни по силѣ таланта, ни по той непосредственности и самобытности вдохновенія, которыя несомнѣнно принадлежали къ числу наиболѣе замѣчательныхъ сторонъ



Памятникъ Державину въ Казани.

этическимъ образомъ, по звучности стиха, по красотѣ и силѣ выраженія. И въ этомъ отношеніи, особенно, если станемъ сравнивать Державина съ Ломоносовымъ и со всѣми нашими лириками второй половины XVIII вѣка, мы должны будемъ конечно признать, что Державинъ стоитъ цѣлою головою выше

поэтовъ Державина. Вдохновеніе Державина находило себѣ весьма обильную пищу въ той громкой и богатой жизни, характерами и событіями эпохъ Екатерининскаго царствованія, среди которой ему пришлось жить и дѣйствовать. И поэзія Державина, по преимуществу, явилась поэзіей образовъ

и событий, поэзией, торжественно и громко прославляющей победы и подвиги, описывающей пиры, празднества и шумную светскую жизнь — нескончаемым хвалебным гимномъ Екатерининскаго вѣка. Державина съ полною справедливостью многие изъ современниковъ называли бардомъ: въ поэзии его постоянно проявляется одно изъ главнѣйшихъ свойствъ бардической поэзии — все вниманіе поэта сосредоточено на одной только внѣшней сторонѣ предметовъ, лицъ и событий, къ описанію и прославленію которыхъ также чисто-внѣшнимъ образомъ прилажены кое-какія общія, безцвѣтныя размышленія о суетности всего земного, о ничтожествѣ человѣка, о благодати Создателя и т. п., а иногда и мораль, въ видѣ общихъ фразъ о добродѣтели, истинѣ, справедливости гражданской доблести и т. д. Вообще внутреннимъ содержаніемъ, идеями, поэзія Державина небогата, и въ этомъ, съ одной стороны, отразилось еще младенческое состояніе нашей литературы, которая во многихъ отношеніяхъ довольствовалась тогда выработкою поэтической внѣшности произведеній и не слишкомъ много заботилось о ихъ содержаніи; съ другой стороны, произведенія Державина внутреннимъ содержаніемъ и не могли быть богаты, потому что онъ самъ вовсе не былъ поэтомъ мыслителемъ, способнымъ сосредоточиться, углубиться въ точное и подробное изслѣдованіе того или другого отвлеченнаго философскаго вопроса. Слабый характеромъ, плохо воспитаннымъ и при этомъ рано вкусившій жизни, Державинъ не успѣлъ выработать въ себѣ никакихъ твердыхъ, положительныхъ убѣжденій; честный, прямой и горячій, по природѣ своей, онъ однакоже не на столько былъ развитъ, чтобы сѣмѣть всегда и во всемъ провести тонкое различіе между добромъ и зломъ, между правдою и неправдою. Способный вообще поддаваться всякимъ постороннимъ вліяніямъ, Державинъ, сверхъ того, былъ еще крайне стѣсненъ своимъ положеніемъ придворнаго поэта: это положеніе очень часто вынуждало его не только вообще отступать отъ правды въ поэзии, но и писать прямо противъ своего убѣжденія похвалы тому, что ихъ вовсе не заслуживало, и насилуовать вдохновеніе свое въ тѣхъ случаяхъ, когда оно ему отъказывалось служить, не повиновалось его волѣ... Къ тому же и

самый уровень нравственнаго развитія, на которомъ находилось современное Державину общество, допускалъ возможность употребленія поэтическаго таланта, какъ средства для достиженія различныхъ матеріальныхъ выгодъ, для обезпеченія своего общественнаго или служебнаго положенія для обращенія на себя вниманія, для пріобрѣтенія покровительства, даже для избавленія себя отъ угрожающей опасности... Такъ мы уже выше видѣли случаи, когда Державинъ прибѣгалъ къ своему таланту, какъ къ надежнѣйшему средству обратить на себя вниманіе Екатерины и добиться знакомства съ Zubовымъ; также точно и въ другой разъ, когда Державинъ опасался гнѣва и опалы со стороны Императора Павла, онъ постыжился поднести ему оду „на восшествіе его на престолъ“ и тѣмъ перемѣнилъ гнѣвъ его на милость. Тамъ, гдѣ въ литературной средѣ подобное отношеніе къ поэзии является весьма обыкновеннымъ, ни мало непредосудительнымъ, тамъ конечно нельзя относиться слишкомъ строго къ внутреннему содержанію поэтическихъ произведеній, нельзя примѣнять къ нимъ суровый и точный масштабъ литературной критики и современныхъ нашихъ воззрѣній на поэзію: — тамъ можно только сказать, что поэзія еще не успѣла дожить до самосознанія... Сверхъ того, бѣдность внутренняго содержанія Державинской поэзии, среди вышеуказанныхъ условій, значительно увеличивалась и отъ того, что, при слабости характера, при отсутствіи твердыхъ убѣжденій, Державинъ, какъ человѣкъ горячій, былъ склоненъ къ порывамъ, къ быстрымъ перемѣнамъ взгляда, къ рѣзкимъ переходамъ отъ одного направленія къ другому, совершенно противоположному: вотъ почему очень часто, въ одной и той же одѣ, встрѣчаемъ у него два различныхъ направленія мысли; ода начинается, напримѣръ, съ чисто-эпикурейскаго восхваленія наслажденій, съ похвалы тѣмъ людямъ, которые умѣютъ ими пользоваться, а заканчивается стоическимъ отрицаніемъ всѣхъ прелестей жизни и указаніемъ на суровую добродѣтель, какъ на единое истинное благо. Вотъ почему, наконецъ, въ одахъ Державина можно найти слѣды вліяній, попеременно оказанныхъ на поэта самыми противоположными направленіями: тутъ и сомнѣнія,

и самый сухой религиозный догматизм, и восхваление умеренности в гораціанском вкусе, и дидактика, и — под конец литературной карьеры Державина, — даже мистичесизм, вообще так сильно овладѣвшій всѣмъ нашимъ обществомъ въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія.

Однакоже, при всѣхъ этихъ недостаткахъ, зависѣвшихъ отчасти отъ личнаго характера Державина, отчасти же и тѣсно связанныхъ съ направлениемъ и взглядомъ его вѣка, поэзія Державина имѣетъ за собою и весьма замѣчательное по тому времени преимущество: онъ первый рѣшился приотсланивать пареніе нашей лирики и съ классическаго Парнасса, Олимпа и Пинда низвести ее на почву русской дѣйствительности XVIII вѣка. Хотя Державинъ еще вѣрилъ тому, что „изящество и существо прямой оды составляютъ отступленія, перемены, околичности, сомнѣнія и вопрошенія“ (такъ говоритъ онъ въ своемъ Разсужденіи о лирической поэзіи), хотя онъ очень высоко ставилъ оды Ломоносова, утверждая, „что не токмо превзойти его, но и сравниться съ нимъ не можетъ“, однакоже самъ уже замѣчалъ разницу между своей лирикой и лирикой Ломоносова въ общемъ направленіи и въ способѣ обработки сюжета. Разницу эту, въ письмѣ своемъ къ Е. Р. Дашковой, онъ очень мѣтко опредѣлялъ, сказавъ о Ломоносовѣ, что „ему надобно было прибѣгать къ великолѣпнымъ всегда небылцамъ и къ постороннему украшенію, а мнѣ къ одной натурѣ, къ одной той истинѣ, съ которою и послѣ меня исторія будетъ согласна“. Къ этому стремленію, придать одѣ болѣе естественности, прибавлялось еще и то, что Державинъ чрезвычайно ловко и кстати умѣлъ разнообразить торжественный и высоко настроенный тонъ оды сатирическими чертами правотъ современнаго общества и довольно игривыми, оригинальными, хоть иногда и черезъ чуръ рѣзкими переходами отъ серьезнаго и торжественнаго настроенія оды къ шутивому и забавному.

При такомъ разнообразіи внутренняго содержания, лирика въ произведеніяхъ Державина много выиграла съ внѣшней стороны: — онъ совершенно отрѣшился отъ того однообразнаго и скучнаго, какъ бы официальнаго разиѣра одъ, который ввелъ Ломоносовъ и который усвоили вслѣдъ за нимъ всѣ

его подражатели. Разиѣры въ лирикѣ Державина чрезвычайно разнообразны, и очень многіе изъ его произведеній писаны двумя разиѣрами; замѣтно, что онъ вообще довольно близко былъ знакомъ съ техникой стиха, ладилъ съ нею довольно свободно и даже нѣсколько тщеславился тою совмѣстностью разиѣровъ и тѣми переходами отъ одного изъ нихъ къ другому, которыя свидѣтельствовали о его умѣнѣ владѣть стихомъ. Измыкъ поэзіи Державина — сильный, образный, выразительный, но еще жесткій и неровный, въ смыслѣ смѣшенія русскаго элемента съ церковнославянскимъ, часто затемняющимъ значеніе стиха. Въ отношеніи къ выбору словъ, выраженій и оборотовъ, какъ и въ отношеніи къ благозвучію и плавности стиха, у Державина очень часто проявляются то безвкусіе, та неряшливость и тотъ недостатокъ чуткѣ къ изящному, которыя конечно были необходимыми слѣдствіями его жалкаго образованія и невоспитанности: по свидѣтельству многихъ современниковъ, онъ почти никогда не умѣлъ отличить въ своихъ собственныхъ произведеніяхъ хорошее отъ дурного... Но и въ этомъ винить его нѣтъ никакой возможности, если мы припомнимъ, что онъ заканчивалъ образованіе свое въ казармѣ.

Безпристрастно взвѣсившая достоинства и недостатки поэтическихъ произведеній Державина, ставоваясь при этомъ на точку зрѣнія исторической критики, нельзя не признать того, что между поэтическими произведеніями Державина и произведеніями тѣхъ предшественниковъ его, которыхъ онъ самъ почиталъ своими образцами — лежитъ цѣлая пропасть. Сравнивая оды Ломоносова и Сумарокова — съ Державинскими, видимъ, что поэзія сдѣлала большой шагъ впередъ на пути своего внѣшняго и внутренняго развитія. Державину принадлежитъ честь упрощенія нашей поэзіи, сближенія ея съ жизнью, значительнаго совершенствованія ея формъ, наконецъ — честь приимѣненія поэтическаго способа обработки къ такимъ сюжетамъ, о которыхъ и помыслить не смѣли его предшественники. Онъ сумѣлъ, кромя того, усвоить поэзіи и много такого, что было имъ прямо заимствовано изъ непочатой еще тогда сокровищницы народныхъ преданій, повѣрій и богатаго запаса словъ, оборотовъ и образовъ, представляемаго язы-

ъ нашей народной поэзіи. Вообще гово-
Державину уже въ значительной степе-
удалось вложить душу, вдунуть жизнь
го мертвое и безжизненное тѣло нашей
ждавшейся поэзіи, которая до него
ставляла только одну безличную, несо-
шуюся форму. И это — заслуга не ма-
заслуга, стоящая памятниковъ... Со-

временная намъ наука вполне сознала ее
и по достоинству оцѣнила, увѣковѣчивъ
произведенія Державина единственнымъ въ
своемъ родѣ академическимъ изданіемъ его
сочиненій, редакція котораго поручена бы-
ла академику Я. К. Гроту. Лучшаго памятни-
ка нельзя желать ни одному изъ нашихъ
поэтовъ!



Бесѣдка Фелицы, въ Павловскѣ.

XXX.

Отсутствіе критики, какъ отличительная черта екатерининскаго періода литературы. — Херасковъ. — Богдановичъ. — Хемницеръ. — Каннисть.

Двѣ предшествующія главы были нами посвящены описанію жизни и дѣятельности писателей, представляющихъ собою украшеніе екатерининскаго царствованія, служащихъ лучшимъ выраженіемъ своего времени, хотя и въ самыхъ различныхъ, почти противоположныхъ направленіяхъ! Но около этихъ важнѣйшихъ и наиболѣе видныхъ дѣятелей уже совершалась и шла своимъ путемъ настолько многосторонняя и разнообразная литературная жизнь, что только въ очень подробной картинѣ, исключительно посвященной описанію литературы екатерининскаго времени, можно было-бы упомянуть о всѣхъ второстепенныхъ представителяхъ различныхъ литературныхъ партій и направленій этого блестящаго вѣка. Не имѣя возможности дать въ настоящемъ трудѣ нашемъ такую подробную и полную картину литературы екатерининскаго времени, мы позволяемъ себѣ, рядомъ съ Державиннымъ и Ф. Визиннымъ, хотя вкратцѣ упомянуть только о наиболѣе замѣтныхъ изъ числа второстепенныхъ нашихъ писателей конца прошлаго вѣка. Остановимся на тѣхъ, которые хотя и утратили свое значеніе въ наше время, однакоже для своего времени являлись писателями замѣчательными, восхищали своими произведеніями неизбалованныхъ литературою современниковъ, и въ глазахъ ихъ стояли особенно высоко, какъ основатели и представители того или другаго, еще новаго у насъ литературнаго рода. Высокое значеніе большей части такихъ второстепенныхъ дѣятелей литературныхъ основывалось не столько на ихъ личномъ талантѣ и на дѣйствительныхъ достоинствахъ ихъ произведеній, сколько на замѣчательномъ отсутствіи критики. Критика не могла еще существовать у насъ въ литературѣ, какъ потому, что самая литература наша была очень молода и не представляла никакихъ самостоятель-

ныхъ образцовъ для сравненія и установленія опредѣленнаго вкуса; такъ, съ другой стороны, потому, что знакомство съ литературой европейскими было еще чрезвычайно ограниченнымъ и одностороннимъ. Вслѣдствіе этого, мы, съ одной стороны, такъ легко поддавались подражанію иностраннымъ образцамъ, а съ другой — такъ охотно принимали каждое русское подражаніе известному поэтическому роду за оригинальное и притомъ образцовое произведеніе, а его автора за человека, одареннаго творческимъ и самостоятельнымъ поэтическимъ даромъ.

Замѣчательнымъ и прекрасно характеризующимъ этотъ некритическій періодъ нашей литературы кажется намъ рассказъ одного современника о томъ, какъ при появленіи „Россіады“ Хераскова, лучшіе представители современной нашей литературы, собиравшись около Новикова, читали въ своемъ кружкѣ эту обширную поэму, пытались написать разборъ ея, и должны были прійти къ тому заключенію, что они не въ силахъ этого выполнить...

Изъ числа тѣхъ трехъ дѣятелей литературныхъ, біографіямъ которыхъ мы посвящаемъ эту главу, слѣдуетъ однакоже выдѣлить Хемницера, который при жизни своей былъ пзвѣстенъ, какъ поэтъ, лишь очень небольшому кружку своихъ друзей, и потому самому никѣмъ не былъ принимаемъ за литературную знаменитость, ни отъ кого не заслужилъ, ни имени Россійскаго Федре, ни отечественнаго Лафонтена. Относительно двухъ другихъ писателей, упоминаемыхъ нами въ настоящей главѣ, нельзя не замѣтить, что они принадлежать къ двумъ различнымъ эпохамъ нашей литературы: авторъ Россіады принадлежитъ къ древнѣйшему наслоенію нашей литературы, и современники, справедливо относя его къ числу первыхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей, ставили его

ими рядомъ съ именами Ломоносова и Сумарокова. Хераскову пришлось гораздо позднеѣ ихъ приобрести литературную извѣстность, но и по воспитанію, и по убѣжденіямъ, и по взглядамъ своимъ на литературу, онъ принадлежалъ вполне эпохѣ Ломоносова и Сумарокова. Напротивъ того, авторъ Душеньки—Богдановичъ, и по воспитанію, и по своимъ понятіямъ объ изящномъ, о поэзіи, принадлежалъ къ эпохѣ позднѣйшей: онъ относится уже къ такому времени, когда у насъ успѣли образоваться литературныя кружки, и стоитъ какъ разъ на грани, отдѣляющей въ нашей литературѣ періодъ полнаго господства ложно-классическаго направленія отъ другого, болѣе близкаго къ намъ періода, когда въ литературѣ нашей стали преобладать сентиментализмъ.

И Богдановичъ, и Херасковъ одинаково могутъ служить живыми доказательствами того, какъ тихо, постепенно и послѣдовательно совершается развитіе литературы въ каждомъ молодомъ обществѣ. Въ этомъ движеніи, если присматриваться къ нему близко и внимательно, не увидишь быстрыхъ скачковъ и переходовъ, не замѣтишь перерывовъ. Новыя поколѣнія литературныхъ дѣятелей поднимаются, растутъ и зрѣютъ, и выступаютъ на поприще литературное, съ новыми взглядами, съ новыми идеями и вкусами—и долго приходится имъ жить и дѣйствовать на этомъ поприщѣ рядомъ съ устарѣвшими, отживающими, но не рѣдко маститыми и почтенными представителями предшествующей литературной эпохи. Даже и тогда, когда вполне созрѣвшее молодое поколѣніе успѣваетъ окончательно установить въ литературѣ свои воззрѣнія и свое новое направленіе, въ средѣ литературныхъ дѣятелей все же остается много такихъ, которые не принадлежатъ и не могутъ принадлежать къ новому поколѣнію вполне: они стоятъ на грани, они представляютъ собой переходъ отъ одной эпохи къ другой и служатъ живымъ звѣномъ, связывающимъ отдѣльные періоды непрерывнаго и безконечнаго движенія духовной и умственной жизни народа, выражаемаго литературою.

Михаилъ Матвѣевичъ Херасковъ (род. 1733, ум. 1807 г.) происходилъ отъ рода валахскихъ бояръ Хереско. Отецъ его, Матвій Андреевичъ Херасковъ переселился въ Россію еще при Петрѣ

Великомъ, можетъ быть одновременно съ княземъ Кантемиромъ. Хотя онъ и не дослужился до высокихъ чиновъ, однакоже считался конечно лицомъ довольно знатнымъ, потому что женился на дѣвицѣ изъ аристократическаго рода, княжнѣ Аннѣ Даниловнѣ Друцкой. Михаилъ Матвѣевичъ былъ третьимъ сыномъ отъ этого брака и родился въ городѣ Переяславлѣ (полтавской губерніи) незадолго до смерти отца своего. Мать Хераскова, знаменитая красавица своего времени, вскорѣ послѣ смерти мужа, вышла вторично замужъ за извѣстнаго князя Н. Ю. Трубецкаго, черезъ котораго Михаилъ



Херасковъ.

Матвѣевичъ, въ свою очередь, породнился съ съ цѣлымъ рядомъ знатнѣйшихъ русскихъ фамилій: съ Салтыковыми, Румянцовыми-Задунайскими, Нарышкиными, Вяземскими, Черкасскими. Это обстоятельство заслуживаетъ вниманія біографа, какъ потому, что оно рисуетъ намъ свѣтскую и родственную обстановку Хераскова, такъ и потому, что родственныя связи и близкія отношенія къ знати должны были въ послѣдствіи сильно повліять на служебную карьеру и общественное положеніе нашего писателя. Получивъ только самыя начатки воспитанія и ученія дома, Херасковъ уже на 10-мъ году отданъ былъ въ Сухопутный Шляхетный корпусъ,

гдѣ, какъ мы видѣли выше, воспитывался и Сумароковъ. Тамъ оставался онъ до 1751 года, и подѣ влияніемъ тѣхъ благопріятныхъ условій тогдашняго корпуснаго быта, о которыхъ мы говорили въ біографіи Сумарокова,—въ Херасковѣ тоже довольно рано развился вкусъ къ занятіямъ литературою. Пробывъ не долгое время, послѣ выпуска изъ корпуса, въ военной службѣ (въ Ингерманландскомъ полку), Херасковъ перешелъ на службу сначала въ коммерцъ-коллегію, а потомъ, тотчасъ по учрежденіи московскаго университета (въ 1755 г.), опредѣленъ въ число лицъ, составлявшихъ штатъ этого новаго высшаго учебнаго заведенія. Здѣсь прослужилъ онъ до 1770, потомъ снова возвратился на службу въ Петербургъ¹⁾, и наконецъ въ 1775 г. вышелъ въ отставку и поселился въ Москвѣ, гдѣ жили его единоутробные братья, князья Трубецкіе и большая часть его знатной родни. Это пребываніе Хераскова въ Москвѣ между 1775—1778 гг. важно въ его біографіи именно по тому обстоятельству, что въ это время и онъ, и братья его успѣли сдѣлаться ревностными масонами. Въ началѣ 1778 года мы даже видимъ его отправляющимся въ Петербургъ для хлопотъ по масонскимъ дѣламъ. Здѣсь, впервые, по поводу этихъ же дѣлъ, онъ входитъ въ сношенія съ Новиковымъ, съ которымъ знакомство его не прекращается до конца жизни, и которому онъ такъ дѣятельно помогаетъ впоследствии, во время дальнѣйшей службы своей въ Москвѣ, при осуществленіи обширныхъ издательскихъ и литературныхъ предпріятій Новиковскаго кружка.

Вскорѣ послѣ того, въ тотъ же 1778 г., Херасковъ назначенъ былъ однимъ изъ кураторовъ московскаго университета и занималъ эту весьма важную должность до 1802²⁾ года. Въ бытность свою кураторомъ университета Херасковъ сдѣлалъ очень много на пользу его процвѣтанія своею заботливостію. 15 декабря 1778 г. объявлено было объ учрежденіи при университетѣ вольнаго Благороднаго Пансіона, одного изъ лучшихъ воспитательныхъ заведеній въ Россіи, въ концѣ XVIII столѣтія, а въ слѣдующемъ 1779 году онъ и

открытъ для приѣма воспитанниковъ. Въ томъ же самомъ году заключенъ былъ Херасковымъ отъ имени университета знаменитый контрактъ съ Н. И. Новиковымъ — известнымъ современнымъ журналистомъ и писателемъ—по которому университетская типографія отдана Новикову на откупъ на десять лѣтъ. Въ этомъ сближеніи съ Новиковымъ, однимъ изъ полезнѣйшихъ общественныхъ дѣятелей того времени, и въ особенности въ томъ покровительствѣ, которое, вопреки разнымъ толкамъ и клеветамъ, Херасковъ оказывалъ впоследствии Дружескому Ученому Обществу³⁾, высказывается то просвѣщенное сочувствіе къ улучшенію въ Россіи воспитанія, которое привело его и къ мысли о необходимости основать при университетѣ учительскую семинарію (въ томъ же 1779 г.). Эту полезную мысль могъ онъ осуществить только при помощи одного изъ талантливѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ профессоровъ московскаго университета, Іоанна Георга Шварца, ближайшаго друга и помощника Новикова, о которомъ намъ еще придется подробнѣе упоминать въ слѣдующей главѣ.

Въ 1780 г. сдѣланы многія улучшения въ гимназій, а въ 1791 открыто Собраніе Университетскихъ питомцевъ, и все подготовлено къ основанію Дружескаго Ученаго Общества, открытаго 6 ноября 1782, вмѣстѣ съ Переводческою Семинаріей при немъ. Изъ этого-то общества возникла впоследствии (въ 1784 г.) знаменитая „Типографическая компанія“.

Еще будучи 22-хъ лѣтнимъ юношей, Херасковъ уже помѣщалъ первые свои литературные опыты въ „Ежемесячныхъ сочиненіяхъ“—журналѣ, издававшемся при академіи наукъ Миллеромъ (съ 1754—1765 г.) Переселившись скорѣ послѣ того въ Москву, и опредѣлившись на службу при московскомъ университетѣ, Херасковъ, какъ уже приобрѣтшій себѣ нѣкоторую литературную извѣстность, самъ сталъ издавать журналы, при помощи жены своей, Елисаветы Васильевны, которая также была „извѣстная того времени стихотворица“. Изъ теченіе

¹⁾ Съ 1770 по 1775 Херасковъ состоялъ на службѣ въ бергъ-коллегіи, между 1775 и 1778 находился въ отставкѣ, а въ 1778 опять перешелъ въ университетъ, будучи назначенъ кураторомъ. ²⁾ Въ 1802 Московскій университетъ былъ преобразованъ, вслѣдствіе учрежденія особаго министерства народнаго просвѣщенія. ³⁾ Объ этомъ см. далѣе въ главѣ XXXI.

1760, 1761 и 1762 гг. Херасковъ издавалъ журналъ подъ названіемъ „Полезное увеселеніе“, а въ 1763 году сталъ издавать „Свободные часы“. Всѣ эти журналы наполнялись преимущественно сочиненіями студентовъ, которыхъ поощрялъ къ литературнымъ занятіямъ Херасковъ, и его собственными стихотвореніями. Мало по малу, благодаря спокойному и вѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно-серьезному характеру Хераскова, благодаря тому видному положенію, которое онъ занималъ при московскомъ университетѣ, сначала какъ директоръ его, и потомъ какъ одинъ изъ кураторовъ, богатый и степенный домъ Хераскова сдѣлался въ Москвѣ центромъ, около котораго вращалось все современное литературное движеніе, а самъ Херасковъ — покровителемъ и судьей литературныхъ достоинствъ всего, что выходило изъ подъ пера московскихъ писателей конца XVIII вѣка. Въ домѣ Хераскова можно было, кромѣ образованнѣйшихъ представителей современной знати, встрѣтить и В. И. Майкова, И. П. Елагина, А. П. Сумарокова, Д. И. Фонъ-Визина, И. П. Тургенева, И. Ѳ. Богдановича, Г. Р. Державина, (съ которымъ до конца жизни Херасковъ поддерживалъ самую дружескую переписку), Мерзлякова, Н. М. Карамзина, И. И. Дмитріева. Рѣдкое произведеніе литературное рѣшались современны авторы выпускать въ печать, не прочитавъ предварительно Хераскову, который, однакоже, по свидѣтельству И. И. Дмитріева, большею частію ограничивался въ своей оцѣнкѣ или молчаніемъ, или, желая похвалить сочиненіе, довольствовался очень односложной похвалою и говорилъ автору: „гладко, очень гладко!“

Періодъ жизни Хераскова между 1778 и 1786 былъ посвященъ усиленной дѣятельности по части масонства. Около 1786 г. Императрица Екатерина стала не совсѣмъ благоволить къ Хераскову за связи его съ масонами, возбудившими тогда ея подозрѣніе, особенно простиравшееся на покровительствуемаго Херасковымъ Новикова¹⁾.

При разгромѣ въ 1792 г. московскихъ мартинистовъ²⁾ и ихъ учреждений, Херасковъ, также принадлежавшій къ ихъ кружку, едва успѣлъ на своемъ мѣстѣ куратора.

Императрица не хотѣла шадить и его, и даже предписала его „отставить“; но онъ спасся заступничествомъ ея любимца П. А. Зубова, котораго упросилъ о томъ Державинъ, пользовавшійся тогда милостію вренщика. Вѣроятно, ему, въ этомъ отношеніи не мало помогли и его обширныя, разнообразныя связи.

Когда, по смерти Екатерины, императоръ Павелъ „взыскалъ мартинистовъ своею милостію“, Херасковъ былъ осыпанъ наградами. Только уже въ царствованіе Императора Александра I закончилъ онъ свою почти сорокалѣтнюю службу при Московскомъ Университетѣ, и послѣдніе годы своей жизни провелъ на покой въ Москвѣ, занимаясь литературой, печатая стихи свои и до самой кончины пользуясь славой и почетомъ среди современнѣхъ ему литературныхъ кружковъ. По особенно-странному стеченію обстоятельствъ „Хераскова ожидала литературная почесть даже и по смерти“ — какъ замѣчаетъ одинъ изъ его біографовъ. Въ 1807 г. онъ представилъ на соисканіе награды отъ Россійской Академіи новую, неизданную трагедію свою: Зеренда и Ростиславъ. Награда была присуждена ей; но имя автора, какъ обыкновенно, оставалось тогда еще тайной. По провозглашеніи рѣшенія, обнаружено было имя автора и имъ оказался недавно умершій Херасковъ.

Трудясь на литературномъ поприщѣ почти въ теченіе полувѣка, Херасковъ болѣе выказалъ трудолюбія и совершенно естественнаго по тому времени стремленія подражать иноземнымъ образцамъ, нежели таланта. Умѣренный, аккуратный и трудолюбивый во всемъ, въ теченіе всей своей жизни, онъ такимъ же точно явился и въ своей литературной дѣятельности. Масса оставленныхъ имъ произведеній, построенныхъ на основаніи правилъ, преподаваемыхъ ложно-классической теоріей, представляетъ собою замѣчательно точное подражаніе ложно-классическимъ литературнымъ образцамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ поражаетъ современнаго читателя изумительнымъ отсутствіемъ всякаго самостоятельнаго творчества. Но за то, болѣе всѣхъ русскихъ писателей прошлаго вѣка, Херасковъ можетъ служить намъ самымъ

¹⁾ См. Рус. Арх., 1873; кн. 8. стр. 146 (въ статьѣ М. Н. Лонгинова: М. М. Херасковъ). ²⁾ Мартинизмъ — одна изъ отраслей масонства, особенно сильно распространенная въ Москвѣ конца XVIII в.

вѣрнымъ представителемъ ложно-классическаго направленія, насколько оно проявлялось въ нашей поэзіи лирической, драматической и эпической. Современники ставили ему въ особенную заслугу именно то, что онъ первый рѣшился перенести на русскую почву образцы ложно-классическаго эпоса и подарилъ русскую литературу двумя обширными эпическими поэмами, написанными по всѣмъ правиламъ современной литературной теоріи, вполне удовлетворявшими современному вкусу и понятіямъ о разработкѣ важныхъ, героическихъ сюжетовъ. Публика уже успѣла освоиться въ это время съ лирикой Россійскаго Пиндара, съ драмой Россійскаго Расина: ей недоставало только Россійскаго Гомера, — и его то явилъ собою Херасковъ въ своей Россіадѣ, въ своемъ Владимірѣ. Полное отсутствіе всякой литературной критики было одною изъ отличительныхъ чертъ эпохи и потому такая легкая раздача литературныхъ титуловъ писателямъ того времени ничуть не должна казаться намъ удивительной. Титулъ русскаго Гомера долженъ былъ принадлежать первому русскому писателю, у котораго-бы хватило терпѣнія воспріять какое-бы то ни было героическое событіе въ полутора дюжины объемистыхъ пѣсенъ, написанныхъ правильно составленными русскими стихами: такимъ терпѣливымъ воспріимателемъ и творцомъ обширныхъ эпическихъ поэмъ явился Херасковъ, и посредственные произведенія его, противопоставленные неуклюжей Телемахидѣ Тредьяковскаго и неудачнымъ эпическимъ попыткамъ Ломоносова, заставили всѣхъ единогласно присудить ему громкое прозваніе Россійскаго Гомера — сдѣлали имя Хераскова въ особенности славнымъ, какъ имя творца Россіады и Владиміра. Обѣ эти поэмы, даже и въ глазахъ первоклассныхъ поэтовъ того времени ¹⁾ считались безсмертными

ми твореніями, неподлежащими забвенію въ потомствѣ...

Россіада однакоже не была первымъ произведеніемъ Хераскова. Она явилась въ 1779 году, хотя задумана была гораздо раньше (начата въ 1771 году, и писалась ровно 8 лѣтъ). Первымъ крупнымъ произведеніемъ Хераскова явилась небольшая дидактическая поэма Плоды наукъ ²⁾ (1757) и черезъ годъ послѣ того Венеціанская монахиня ³⁾ (1758), трагедія въ трехъ дѣйствіяхъ. Вѣроятно трагедія эта очень понравилась современникамъ, потому что одно изъ сохранившихся намъ современными свидѣтельствъ сообщаетъ, будто до 22 лѣтъ Хераскова считали человекомъ простенькимъ, ни къ чему большому не способнымъ; но когда онъ написалъ трагедію „Венеціанская монахиня“, то обратилъ на себя всеобщее вниманіе и съ тѣхъ поръ стали много ожидать отъ Хераскова, чего прежде въ немъ не предполагали. И дѣйствительно, въ теченіе почти 50 лѣтъней дѣятельности, послѣдовавшей за появленіемъ въ свѣтъ этихъ первыхъ произведеній, Херасковъ писалъ положительно во всѣхъ родахъ: — трагедіи, драмы слезныя, драмы сътѣшныя, оды анакреонтическія, оды торжественныя, повѣсти поучительныя, повѣсти сентиментальныя, поэмы описательныя, посвященныя прославленію подвиговъ русскаго воинства, воспріиманію русской славы и благоденствія Россіи подъ скипетромъ мудрыхъ правителей — вотъ вкратцѣ перечень того, что было писано Херасковымъ, и что едва-ли заслуживаетъ болѣе подробнаго перечисленія, потому что неумолимая рука времени давно уже предала забвенію эти произведенія плодовитаго литератора-труженика, а безпристрастная и здравая критика признала приговоръ времени справедливымъ. Достаточно будетъ упомянуть здѣсь только о томъ, что

¹⁾ Такъ думалъ и Державинъ, и даже И. И. Дмитріевъ. ²⁾ Къ изданію этой поэмы 1797 г. прибавлено слѣдующее посвященіе Императору Павлу I: «Малое сіе сочиненіе писано въ самой моей молодости; и здѣсь его помѣщаю для изъявленія моего искреннѣйшаго усердія и высокаго почтенія, которое ощущало мое сердце къ нашему Государю Императору, нынѣ со славою царствующему, въ самомъ Его младенчествѣ». ³⁾ Не лишено интереса предисловіе этой трагедіи: «читатели не могутъ меня упрекать въ томъ, ежели что невозможно имъ покажется; я описывалъ то, что конечно было, а что и отъ себя прибавилъ, то въ драмѣ позволено быть можетъ. Однако, какъ сами читатели теперь усмотрѣть могутъ, все мое стараніе въ томъ состояло, чтобъ въ продолженіи сей трагедіи не отставать далеко отъ истины; и сіе самое въ трехъ дѣйствіяхъ сочинить оную мнѣ принудило».

изъ числа всей этой непроглядной массы произведений болѣе всего нравились современной читающей публикѣ тѣ повѣсти и драмы Хераскова, въ которыхъ онъ аллегорически изображалъ русскую современность въ идеальномъ, украшенномъ видѣ... Такъ, напримѣръ, весьма значительнымъ успѣхомъ пользовалась его повѣсть „Нума Помпилій или процвѣтающій Римъ“ (1765 г.), изображающая въ видѣ мудраго „Нумы“ Екатерину и всѣ блага, приносимыя ея правленіемъ Россіи. Самъ авторъ весьма наивно высказываетъ это въ предисловіи къ „Нумѣ“.

„Сіе сочиненіе“—пишетъ онъ—„есть плодъ празднаго размышленія (sic), которое, воображая благополучное состояніе общества, подъ скипетромъ Нумы его находило. Не тщеславіе и не пристрастіе побудителями къ тому были, но единая любовь въ истинѣ и желаніе добра человѣческому роду... Ежели-бы всѣ такіа расположенія души имѣли, какія имѣлъ сочинитель сей книги, тогда-бы человѣческій родъ не несчастливъ былъ; ибо истина, добродѣтель и правосудіе торжествовали-бы на землѣ. Онѣ торжествуютъ въ Россіи. Небо! продаи сіе благо!“

На томъ же основаніи имѣла успѣхъ и другая повѣсть Хераскова „Кадмъ и Гармонія“ (1789 г.) и ея продолженіе „Поллidorъ, сынъ Кадма и Гармоніи“¹⁾. въ которыхъ осуждается современное революціонное движеніе Франціи, и народу, зараженному вольнодумствомъ, жаждою свободы и равенства, разрушившему всѣ прежнія основы общества „противопологается общество, уважающее преданія, тишину и порядокъ. Почти тѣ же мысли, та же идеализація современнаго общественнаго устройства въ Россіи, противоположенная неурядицѣ и безпокойствамъ общества, не подчиненнаго единодержавію, составляетъ сюжетъ и другой, весьма популярной поэмы Хераскова: „Царь или спасенный Новгородъ“ (1800 г.).

Но для всѣхъ современниковъ и для ближайшаго потомства Херасковъ все же представлялся болѣе всего замѣчательнымъ поэтомъ именно потому, что создалъ двѣ обширныя эпическія поэмы — Россіаду (1779 г.) и Владиміра (1786) — первые сносные образцы эпического рода на нашей литературной почвѣ, и эта заслуга пожалуй можетъ быть названа не малою, въ смыслѣ перваго шага по новому пути, въ смыслѣ указанія для будущихъ поэтовъ. „Россіада“, въ 12 громадныхъ гѣсахъ, воспѣваетъ взятіе Казани Іоанномъ Грознымъ; а такъ какъ эпическая поэма должна была заключать въ себѣ (по правиламъ современной ложноклассической теоріи) „какое нибудь важное, достопамятное, знаменитое приключеніе въ бытіяхъ міра случившееся, и которое имѣло слѣдствіемъ важную перемѣну, относящуюся до всего человѣческаго рода“²⁾ — то Херасковъ и старается по возможности увеличить значеніе того событія, которое избрано имъ въ основу эпической поэмы. Взглядъ Хераскова на это событіе какъ и вообще на самое значеніе эпической поэмы, совершенно ясно выраженъ имъ въ предисловіи къ „Россіадѣ“:

„Воспѣвая разрушеніе Казанскаго царства, со властію державцевъ Ордынскихъ, я имѣлъ въ виду успокоеніе, славу и благосостояніе всего Россійскаго государства; знаменитые подвиги не только одного государя, но всего Россійскаго воинства; и возвращенное благоденствіе не одной особѣ, но цѣлому отечеству; почему сіе твореніе и Россіадою названо... Важно ли сіе приключеніе въ Россійской Исторіи? Истинные сыны отечества, обзрѣвъ умомъ бѣдственное тогдашнее Россіи состояніе, сами почувствовать могутъ, достойно-ли оно Елопен... а моя поэма сіе оправдать обязана“.

Историческія свѣдѣнія Хераскова оказываются крайне обивчивыми и нельзя не замѣтить, что въ своихъ понятіяхъ о лично-

¹⁾ Весьма любопытнымъ со стороны теоретическихъ воззрѣній Хераскова является слѣдующее мѣсто изъ его предисловія къ „Кадму и Гармоніи“, „Мнѣ совѣтовали переложить сіе сочиненіе стихами, дабы видъ эпической поэмы оно приняло. Надѣюсь, могутъ читатели повѣрить мнѣ, что я въ состояніи былъ надать сіе твореніе стихами; но я не поэму писалъ, а хотѣлъ сочинить простую толико повѣсть, которая для стихословія не есть удобна. Покумѣстны пѣтическія правила, то при чтеніи сей книги почувствуешь, для чего не стихами она писана.“²⁾ Слова Хераскова, заимствованныя изъ „Взгляда на эпическія поэмы“, предисловія Россіадѣ ея авторомъ.

сти Грозного ¹⁾ авторъ „Россiады“ очень недалеко ушелъ отъ дядя Грибоѣдова. Сбивчивости его историческихъ свѣдѣнiй и понятiй, конечно, еще болѣе способствуетъ ложно-классическое направленiе, позволявшее авторамъ, какъ мы уже видѣли выше, совершенно свободно и безцеремонно обращаться съ историческимъ матеріаломъ. Вотъ что самъ авторъ Россiады сообщаетъ намъ о своемъ способѣ обработки историческаго сюжета, избраннаго имъ въ основу поэмы:

„Повѣствовательное сіе твореніе расположилъ я по исторической истинѣ, сколько могъ сыскать печатныхъ и письменныхъ извѣстiй, къ моему намѣренію принадлежащихъ; присовокупилъ къ тому небольшіе анекдоты, доставленные мнѣ изъ Казани... Но да памятуютъ мои читатели, что какъ въ эпической поэмѣ — вѣрности исторической, такъ въ дѣяніи — поэмы искать не должно. Многое отгнѣнилъ я, переложилъ изъ одного времени въ другое, избрѣталъ, украшалъ, творилъ и созидалъ. Успѣлъ-ли я въ предпріятіи моемъ, о томъ не мнѣ судить; но то неоспоримо, что эпическія поэмы обыкновенно по таковымъ, какъ сія, правиламъ сочиняются“.

Въ приложенiи къ этой главѣ мы подробно излагаемъ содержаніе четырехъ первыхъ пѣсенъ Россiады. Полагаемъ, что этого изложенiя совершенно достаточно для избѣжанiя повторенiй всего, уже много разъ высказаннаго о ложно-классическомъ эпосѣ. Для каждаго внимательно прослѣдившаго это содержаніе и вышеприведенные нами отрывки изъ предисловія къ Россiадѣ, всѣ отличительныя черты этого рода поэзи должны быть на столько очевидны, что едва ли нужно на нихъ указывать, перечислять ихъ здѣсь. Достаточно будетъ и того, если мы замѣтимъ, что и ложно-классическій эпосъ, по отношенію къ разработкѣ сюжетовъ, страдалъ тѣми же недостатками, которые мы выше замѣтили въ ложно-классической лирикѣ и драмѣ: та же натянутость и высокопарность изложенiя, та же безличность героевъ, въ сущности неприндалежащихъ никакой національности и никакой почвѣ, та же неестественность и чрез-

вычайность положенiй. Ко всему этому, въ эпосѣ примѣшивался еще, какъ необходимая и существеннѣйшая сторона его, элементъ чудеснаго, сверхъестественнаго, которое особенно выходило уродливымъ въ русскихъ образцахъ ложно-классическаго эпоса, гдѣ это чудесное не почерпалось изъ богатаго запаса народныхъ вѣрованiй и преданiй, а либо переносилось съ чуждой намъ почвы западныхъ эпопей, либо придумывалось, изобрѣталось самимъ авторомъ. Вотъ почему эта сторона, состоящая изъ подражанiй чудесному, на сколько оно проявилось въ иноземныхъ образцахъ (напр. въ „Энеидѣ“ Виргилія или въ „Освобожденномъ Іерусалимѣ“ Тассо), или на сколько оно было придумано авторомъ (въ видѣ призраковъ, вѣщихъ сновъ, предзнаменованiй, волшебствъ и простаго олицетворенiя предметовъ отвлеченныхъ и нравственныхъ) — это чудесное и составляетъ именно наиболѣе слабую сторону Россiады, какъ и всякой подобной ложно-классической эпопеи, основанной на чуждыхъ намъ преданiяхъ, порожденной еще болѣе чуждыми намъ воззрѣніями на искусство.

Послѣ всего сказаннаго о Россiадѣ, мы не станемъ, конечно, излагать содержанiя „Владимира“ и укажемъ только на одну сторону этой громадной эпопеи, состоящей изъ 18 пѣсенъ. Въ основу „Владимира“ избрано было авторомъ другое важное событіе — просвѣщеніе Россіи христіанствомъ „черезъ князя, который сначала былъ настолько же ревностнымъ язычникомъ, насколько впоследствии ревностнымъ христіаниномъ“. Выборъ этого сюжета, повиднмому, совпадалъ съ тѣмъ религіозно-мистическимъ настроеніемъ, которому Херасковъ поддавался подъ вліяніемъ масонства, столь сильно его увлекавшаго въ это время. По крайней мѣрѣ такимъ именно мистическимъ настроеніемъ отзывается все предисловіе къ „Владимиру“ ²⁾.

„Если кто будетъ имѣть охоту прочесть моего „Владимира“, тому совѣтую, наипаче юношеству, читать онаго не какъ обыкновенное эпическое твореніе, гдѣ по болѣе части битвы, рыцарскіе подвиги и чудесности воспѣваются; но читать, какъ

¹⁾ Херасковъ величаетъ его постоянно Іоанномъ Васильевичемъ II-мъ, а не IV-мъ. ²⁾ Именно къ III-му над. его, въ 1797.

анствование внимательнаго человека путь истины, на которомъ срътается онъ мірскими соблазнами, подвергается многъ искушеніямъ, впадаетъ въ мракъ сомнѣнія, борется со врожденными страстями, наконецъ преодолеваетъ самъ себя,

пѣвцу, робкому пѣснопѣвцу, единственно о христіанскомъ просвѣщеніи Владиміра повѣдаю, Владиміра, Россіи просвѣтителя и нареченнаго Равноапостольнымъ. Повѣсть важна, велика и восторговъ достойна... Многіе духовные отцы въ томъ сочиненіи мнѣ



Надгробный памятникъ Хераскову.

содить стезю правды, и, достигнуть прошенія, возрождается. Не учительскимъ чнымъ голосомъ преподаю наставленія, съ достигать свѣта истины; ни съ важною проповѣдника, мнѣ неприлично, вѣщаю, какъ возродиться человекъ могъ; но въ духѣ, свойственномъ пѣсно-

руководствовали, многое отъ бесѣдованья съ цѣломудренными людьми я заимствовалъ, многое собственнымъ позналъ опытомъ, и ежели кто, прочитавъ сію поэму, скажетъ, что онъ не напрасно потерялъ свое время, то и я сказать осмѣлюсь, что мое время, сочиняя Владиміра, употребилъ не втунѣ"

То же самое направление еще яснѣе высказалось въ предисловіи къ другой духовно-нравственной поэмѣ Хераскова, подъ заглавіемъ „Вселенная“ ¹⁾, и отчасти въ послѣднихъ его произведеніяхъ: въ поэмѣ „Пилигримы или искатели счастья“ и „Бахаріана или неизвѣстный“ (1803 г.), составленной изъ 14 пѣсепъ, писанныхъ различными разиѣрами. Видно, что къ тому времени, когда окончено было Херасковымъ это твореніе его, наша литература успѣла уже значительно уйти впередъ, потому что не смотря на славу свою, не смотря на сочувствіе и уваженіе со стороны многихъ литературныхъ знаменитостей, Херасковъ не могъ найти между книгопродавцами издателя для Бахаріаны и долженъ былъ печатать ее на свой счетъ.

Вообще говоря, хотя Херасковъ и принадлежитъ болѣе и значительнѣйшею частью своей литературной и служебной дѣятельности къ царствованію Екатерины, однако же по своему развитію, образованію и понятіямъ онъ относится къ эпохѣ предшествующей, въ эпохѣ, произведшей Ломоно-

сова и Сумарокова, какъ писателей, горячо слѣдовавшихъ ложно-классической теоріи. Съ Херасковымъ и отжилъ у насъ типъ литератора, слѣпо приверженнаго правиламъ литературной теоріи, придававаго большое значеніе внѣшней формѣ и построенію литературныхъ произведеній и „всегда имѣвшихъ на памяти и часто на устахъ“ науку о стихотворствѣ Буало. Херасковъ былъ послѣднимъ изъ писателей нашихъ, сочинявшихъ на основаніи правилъ, которыми ложно-классическая теорія стремилась замѣнить вдохновеніе и поэтической талантъ. Послѣ него едва-ли которыйнибудь изъ нашихъ стихотворцевъ рѣшился бы повѣрить тому, что „не одни стихи, но и иначе изобрѣтеніе, естественность, украшенія, привлекательность слога, убѣдительное правоученіе и остроуміе стихотворца составляютъ“ ²⁾. Этотъ идеалъ поэта отжилъ свой вѣкъ вмѣстѣ съ Херасковымъ и, благодаря болѣе живымъ дѣламъ литературнымъ, одновременно съ нимъ и послѣ него трудившимся, смѣнился новыми, лучшими идеалами.

М. Херасковъ

Подпись Хераскова.

Подъ непосредственнымъ надзоромъ и покровительствомъ Хераскова, уже высоко стоявшаго во мнѣніи современниковъ, въ числѣ другихъ молодыхъ талантовъ, развивался и росъ Богдановичъ (род. 1743, ум. 1803), съ именемъ котораго неразрывно соединялось для всѣхъ его современниковъ воспоминаніе о его поэмѣ „Душенька“ — первомъ легкомъ, удобочитаемомъ русскомъ эпическомъ произведеніи, которое, конечно, должно было пріятно поразить современнаго читателя своимъ простымъ, доступнымъ языкомъ и шутливою обработкою веселаго, игриваго сюжета.

Въ самый годъ смерти поэта, когда еще живо было впечатлѣніе его литературной дѣятельности, въ наиболѣе значительномъ

изъ современныхъ журналовъ, въ „Вѣстникѣ Европы“, издаваемомъ Карамзинимъ, появился небольшой очеркъ его біографіи въ связи съ критическимъ обзоромъ его сочиненій. Очеркъ этотъ, подписанный буквами Ц. Ф., принадлежитъ, вѣроятно, перу самаго Карамзина и составленъ былъ на основаніи свѣдѣній о Богдановичѣ, доставленныхъ братомъ поэта. Мы воспользуемся этимъ очеркомъ не только потому, что онъ заключаетъ въ себѣ весьма любопытныя подробности о поэтѣ, но и потому, что онъ самъ по себѣ чрезвычайно любопытенъ, какъ образецъ біографіи, написанной въ сентиментальномъ и ложно-классическомъ духѣ, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ утраты, и потому особенно близко знакомить насъ съ понятіями, вку-

¹⁾ Содержаніе этой послѣдней поэмъ почерпнуто изъ русскихъ сказокъ. ²⁾ См. предисловіе къ „Кадму и Гармоніи“.

сами и воззрѣніями публики, восхищавшейся произведениями Богдановича. Свѣдѣнія о Богдановичѣ, сообщаемыя этой біографіей, мы дополнимъ тѣми замѣтками и сообщеніями, которыя заключаются въ сохранившейся намъ весьма краткой, но во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно любопытной автобіографической запискѣ Богдановича.

Ипполитъ Федоровичъ Богдановичъ родился „въ счастливомъ климатѣ Малороссіи“, въ мѣстечкѣ Переволочномъ, гдѣ отецъ его былъ при должности. По одиннадцатому году отвезли его въ Москву и опредѣлили юнкеромъ въ Юстицъ-Коллегію. Президентъ Коллегіи, замѣтивъ въ немъ особенную склонность къ наукамъ, дозволилъ ему учиться въ математической школѣ, бывшей тогда при сенатской конторѣ. „Но математика не могла быть наукою человѣка, рожденнаго для поэзіи: числа и линіи не питаютъ воображенія“... Богдановичъ, зачитавшись Ломоносова и другихъ поэтовъ, увлекся театромъ, такъ какъ драматическое искусство сильно дѣйствуетъ на всякую нѣжную душу“, и рѣшился даже поступить на сцену. „Однажды является къ директору московскаго театра мальчикъ, лѣтъ 15-ти, скромный, даже застѣнчивой, и говорить ему, что онъ дворянинъ и желаетъ быть актеромъ! Директоръ, разговаривая съ нимъ, узнаетъ его охоту къ ученію и стихотворству; доказываетъ ему неприличность актерскаго званія для благороднаго человѣка; записываетъ его въ Университетъ и беретъ жить къ себѣ въ домъ. Сей мальчикъ былъ Ипполитъ ¹⁾ Богдановичъ, а директоръ театра (что не менѣе достойно замѣчанія) Михайло Матвѣевичъ Херасковъ. И такъ, счастливая звѣзда привела молодого ученика музъ къ ихъ знаменитому любимцу, который, имѣя самъ великій талантъ, умѣлъ открывать его и въ другихъ“. Въ домѣ Хераскова и въ Университетѣ, „учась правиламъ искусства и языку

поэзіи подъ руководствомъ творца Россіады“, и участвуя въ журналахъ, которые Херасковъ издавалъ, Богдановичъ провелъ все время до 1761 г., когда, покровительствуемый тѣмъ же Херасковымъ, получилъ мѣсто при Университетѣ. Въ домѣ Хераскова Богдановичъ успѣлъ завязать различныя знакомства и связи съ людьми знатными и высокопо-



И. Богдановичъ,

Богдановичъ.

ставленными въ обществѣ и обратить на себя особенное вниманіе Е. Р. Дашковой, которая даже принимала участіе въ журналѣ „Невинное Упражненіе“, издававшемся подъ редакцію Богдановича до 1763 ²⁾). Княгиня Дашкова доставила Богдановичу и мѣсто переводчика въ иностранной коллегіи, и способствовала этимъ его переселенію въ Петербургъ ³⁾).

¹⁾ Къ этому имени въ подлинникѣ прибавлено слѣдующее характеристическое примѣчаніе: «Пинтическое имя Ипполитъ пріятіе ушамъ безъ отчества». ²⁾ Журналъ этотъ издавался только полгода и въ іюлѣ прекратился; въ приложенномъ къ послѣднему № письмѣ «отъ издателя къ обществу» сказано было, что онъ прекращается «по многимъ неотвратимымъ препятствіямъ и, во первыхъ, потому, что какъ издатели, такъ и тѣ, кои подписались брать нашъ журналъ, изъ Москвы разѣхались». ³⁾ Въ автобіографической запискѣ Богдановича находимъ слѣдующую замѣтку: «По просьбѣ Е. Р. Дашковой опредѣленъ въ переводчики къ П. И. Панину... и употребленъ былъ къ соучаствованію въ издаваемомъ подъ ея покровительство журналѣ, названномъ „Невинное упражненіе“. 1763 году Богдановичъ съ Панинымъ и въ Петербургъ отправился».

Здѣсь-то, въ 1765 году, онъ, уже извѣстный публикѣ мелкими стихами своими и переводомъ Вольтеровой поэмы „на разрушеніе Лиссабона“ — издалъ первую маленькую поэму свою: Сугубое блаженство. „Онъ раздѣлилъ ее на три пѣсни: въ первой изображаетъ картину золотого вѣка; во второй — успѣхи гражданской жизни, наукъ и злоупотребленіе страстей; а въ третьей — спасительное дѣйствіе законовъ и церковной власти“. Біографъ Богдановича замѣчаетъ объ этой поэмѣ, что она не сдѣлала сильнаго впечатлѣнія на публику; „лавровый вѣнокъ“ — говорить онъ — „уже сплетался для автора, но еще невидимо“.

Въ 1766 году Богдановичъ, въ качествѣ секретаря нашего посольства при саксонскомъ дворѣ, отправился въ Дрезденъ и прожилъ тамъ два года. По возвращеніи оттуда, онъ почти исключительно посвятилъ досуги своимъ литературѣ: писалъ стихи, переводилъ, даже издавалъ журналъ (Петербургскій Вѣстникъ въ теченіе полутора года) — „и наконецъ, въ 1775 году ¹⁾, положилъ на олтарь Грацій свою Душеньку“. ...„Онъ жилъ тогда на Васильевскомъ Острову, въ тихомъ, уединенномъ домикѣ, занимаясь музыкой и стихами, въ счастливой безпечности и свободѣ; имѣлъ пріятныя знакомства; любилъ иногда выѣзжать, но еще болѣе возвращаться домой, гдѣ Муза ожидала его съ новыми идеями и цвѣтами“.

Сюжетъ „Душеньки“ былъ заимствованъ Богдановичемъ изъ повѣсти Лафонтена „Любовь Психеи и Купидона“, содержаніе которой было, въ свою очередь, заимствовано французскимъ писателемъ у Апулея, латинскаго писателя, жившаго во II вѣкѣ по Р. Х. Апулей вставилъ рассказъ объ Амурѣ и Психеѣ въ видѣ эпизода въ одну изъ главъ своего обширнаго, философскаго романа: „Превращеніе или золотой оселъ“. Лафонтенъ сдѣлалъ изъ Апулеева рассказа граціозную и легкую небольшую повѣсть, написанную прозой и стихами. Богдановичъ, заимствуя то же содержаніе у Лафонтена, и передавая его въ трехъ книгахъ вольными стихами, въ видѣ небольшой романтической поэмы, задался при этомъ желаніемъ пере-

дѣлать лафонтенову повѣсть на русскіе нравы, сообразуясь съ моднымъ въ екатерининское время направленіемъ нашей литературы. Изъ этого-то и произошли всѣ тѣ несообразности и весьма неизящныя отступленія отъ лафонтенова изложенія, которыя тѣсно были связаны съ неестественнымъ перерожденіемъ отвлеченной, таинственной греческой „Психеи“ въ весьма положительную, хорошенькую русскую дѣвушку, у которой однакоже родителями оказываются греческіе царь и царица, живущіе „въ старинной Греціи, въ юпитерово время“. Въ такой же степени неизящнымъ и страннымъ представляется то смѣшеніе русскихъ преданій съ греческою міеологіею, которое всюду допускаетъ въ своей поэмѣ Богдановичъ, сопоставляя Амура, Венеру, весь классическій Олимпъ и весь Тартаръ — съ змѣемъ Горыничемъ и Кощеемъ русскихъ сказокъ. Но современники Богдановича этого не замѣчали, какъ видно по отзывамъ его біографа, и восхищались въ его „Душенькѣ“ именно отсутствіемъ въ ней всякаго характера, всякаго стиля, всякой ровности колорита: смѣшеніе ложно-классическаго съ русскимъ, народнымъ, правилось современнымъ читателямъ, утомленнымъ скукою и однообразіемъ тяжелыхъ ложно-классическихъ произведеній, написанныхъ по всѣмъ правиламъ строгой теоріи. „Благоразумный критикъ“ — такъ замѣчаетъ біографъ Богдановича — „не забудетъ, что Инпольтъ Богдановичъ нервный на русскомъ языкѣ игралъ воображеніемъ въ легкихъ стихахъ: Ломоносовъ, Сумароковъ, Херасковъ, могли быть для него образцами только въ другихъ родахъ“. Это замѣчаніе біографа совершенно справедливо и отчасти поясняетъ намъ замѣчательный успѣхъ Душеньки въ современномъ обществѣ; но тотъ же успѣхъ гораздо болѣе объясняется намъ вообще неразвитостью вкуса, чрезвычайною сбивчивостью понятій объ изящномъ и о поэзіи, господствовавшей въ нашемъ обществѣ конца XVIII вѣка, когда старая ложно-классическая теорія очевидно начинала уже отживать свой вѣкъ, а новыя, болѣе правильныя взгляды еще не успѣли установиться. Эта сбивчивость понятій проявляется совер-

¹⁾ Въ автобіографической запискѣ: «1775 г. дек. 23 дня принялъ въ академіи приватную должность, имѣть главное снотрѣніе въ изданіи С.-Петербургскихъ Вѣдомостей. Сію должность отправилъ по дек. 1782 года.

шенно отчетливо и ясно въ томъ отзывѣ, который современная критика прилагаетъ къ „Душенькѣ“: Лафонтеново твореніе полнѣе и совершеннѣе (поэмы Богдановича) въ эстетическомъ смыслѣ, а „Душенька“ во многихъ мѣстахъ пріятнѣе и живѣе, и вообще превосходитъ тѣмъ, что писана стихами, ибо хорошіе стихи всегда лучше хорошей прозы: что труднѣе, то имѣетъ и болѣе цѣны въ искусствахъ. Надобно также замѣтить, что нѣкоторые изобрѣженія и предметы необходимо требуютъ стиховъ для большаго удовольствія читателей, и что никакая гармоническая, цвѣтная проза не замѣнитъ ихъ. Все чудесное, явно несбыточное, принадлежитъ къ сему роду (слѣдственно и басни Душеньки). Случаи неестественные должны быть украшены всѣми хитростями искусства, чтобы занимать насъ повѣстью, въ которой нѣтъ нѣтъ истины или вѣроятности. Стихотворство есть пріятная игра ума, и богатѣе обыкновеннаго языка разнообразными оборотами, измѣненіями тона, особливо въ вольныхъ стихахъ, какими писана „Душенька“, и которые, подобно англійскому саду, болѣе всякаго правильнаго единства¹⁾ обнаруживаютъ умъ и вкусъ артиста“.

Успѣхъ „Душеньки“ способствовалъ успѣхамъ автора ея и въ обществѣ, и на службѣ. Екатерина прочитала певинную и шутившую поэму Богдановича съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ читало ее все современное образованное русское общество, и удостоила автора такимъ вниманіемъ, которое тотчасъ опредѣлило его положеніе въ высшемъ обществѣ. Знатъ и придворные стали искать знакомства съ авторомъ „Душеньки“; поэты прославляли его „въ Эпиграмахъ, Одахъ, Мадригалахъ и Надписяхъ“. „Но многія блестящія знакомства отвлекли Богдановича отъ жертвенника Музы въ самое цвѣтущее время таланта“—иносказа-

тельно выражается о немъ современный биографъ—и вслѣдствіе этого „Богдановичъ еще писать, но мало, или съ небреженіемъ, какъ будто-бы нехотя, или въ дремотѣ Генія“. Другими словами, авторъ, для котораго литературная дѣятельность была по собственному его сознанію не болѣе, какъ „забавой въ праздные часы“²⁾, возвеличенный успѣхомъ своего произведенія, завлеченный въ обширное знакомство и счастливо поставленный на своемъ служебномъ поприщѣ, вскорѣ послѣ написанія „Душеньки“, почти оставилъ эту забаву и возвращался къ ней только тогда, когда его къ тому побуждало желаніе угодить своей высокой покровительницѣ, въ особенности поощрявшей его писать для театра³⁾. Между 1775 и 1789 г.г. имъ и дѣйствительно написано было нѣсколько пьесъ: въ томъ числѣ „лирическая комедія „Радость Душеньки“ и драма „Славяне“, которую играли во время празднованія двадцатипятилѣтія со дня вступленія на престолъ Екатерины II. Едва ли слѣдуетъ здѣсь упоминать о томъ, что около того же времени Богдановичъ предпринялъ написать „Историческое изображеніе Россіи“, о которомъ даже и современники отзывались какъ „объ опытѣ легкомъ, несовершенномъ, но довольно пріятномъ“? Вообще, подъ конецъ царствованія Екатерины, Богдановичъ сдѣлался однимъ изъ ревностнѣйшихъ придворныхъ поэтовъ, посвятившихъ всецѣло досуги свои прославленію Екатерины, и, не довольствуясь своими хвалебными произведеніями въ честь ея, перевелъ также всѣ лучшіе стихи, написанные въ честь Екатерины, Вольтеровъ, Мармонтелевъ и проч. Сии поэты умѣли хвалить Великую языкомъ благороднымъ—и Богдановичъ не унижалъ его“. Однимъ изъ болѣе замѣчательныхъ произведеній Богдановича въ теченіе этого періода, конечно, долженъ быть названъ его сборникъ

¹⁾ Вѣстникъ Европы 1803, № 10. ²⁾ См. предисловіе, написанное Богдановичемъ къ „Душенькѣ“ и напечатанное въ „Собраніи сочиненій“, изд. Бекетовымъ, въ 1809, въ Москвѣ. ³⁾ Въ автобіографической запискѣ находитъ слѣдующія любопытныя свѣдѣнія: «1786 года въ апрѣлѣ, по именному Монаршему повелѣнію сочинилъ лирическую комедію „Радость Душеньки“, которая удостоена была Высочайшей апробаціи, и въ знакъ Монаршаго благоволенія при семъ случаѣ пожалована ему отъ Государыни табакерка; вскорѣ же потомъ пожалованы на заплату долговъ деньги. По представленіи же комедіи на придворномъ театрѣ пожалована еще табакерка... «1787 г. по именному Монаршему повелѣнію сочинилъ изъ русскихъ пословицъ два театральныя представленія» и т. д.

Русских пословицъ (въ 1785 г.), собранныхъ и переложенныхъ въ стихи, въ 3-хъ частяхъ, по желанію Екатерины, вообще любившей народныя поговорки. Пословицы въ сборникѣ Богдановича сглажены, смягчены и расположены по тѣмъ нравственнымъ вопросамъ, которые положены въ основу ихъ (напр. отдѣлъ I: нужная умѣренность въ жизни; отд. II: нужное терпѣніе въ жизни; отд. III: нужное примѣненіе къ дому и т. д. Или еще: отд. IV, стыдъ хвастовства, отд. VII, стыдъ самохвальства; отд. VIII—глупость спѣси и т. п.).

Одинъ изъ современниковъ сохранилъ намъ въ своихъ воспоминаніяхъ нѣсколько словъ о Богдановичѣ, которыми мы считаемъ на столько заслуживающими вниманія и характеризующими его личность, что приводимъ ихъ здѣсь цѣликомъ: „Богдановича (видали) у Державина и въ другихъ петербургскихъ обществахъ. Онъ былъ чрезвычайно скромный и молчаливъ. Являлся на вечера, всегда опрятно и хорошо одѣтый, въ французскомъ кафтанѣ, щеголевато напудренный, съ кошелекомъ, съ плоской тафтяной шляпой подъ мышкой. Говорилъ осторожно и разыгрывалъ дипломата. Предметомъ его разговора было всегда нѣсколько словъ о политическихъ новостяхъ, всѣмъ извѣстныхъ. Вообще, какъ человекъ, желавшій казаться свѣтскимъ, онъ не останавливался долго на одномъ предметѣ разговора, не вдавался въ разсужденія, не объявлялъ своего мнѣнія, ни на чемъ не настаивалъ, а скользилъ по предметамъ. Богдановичъ, кажется, не думалъ быть авторомъ: написалъ Душеньку для собственной своей забавы и напечаталъ по убѣжденію пріятеля; на поприще писателя вызвалъ его успѣхъ Душеньки. Но послѣ ея ничто уже не далось ему“.

Всѣмъ уважаемый, какъ авторъ „Душеньки“ и многими любимый за свою скромность, простоту и безвредность, какъ человекъ, Богдановичъ спокойно окончилъ свою службу въ 1795 году. Въ послѣднее время службы (съ 1798 г.) онъ занималъ довольно видное мѣсто предсѣдателя новоучрежденнаго тогда С.-Петербургскаго Государственнаго Архива и вышелъ въ отставку, обезпеченный полнымъ окладомъ жалованья. „Наконецъ, въ 1795 году, онъ выѣхалъ изъ Петербурга. Тогдашнія бѣдствія Европы“—такъ поясняетъ его біографъ— „разительная кар-

тина непостоянства Фортуны въ отношеніи къ людямъ и государствамъ, самая свѣтская печальная опытность, могли въ добромъ и нѣжномъ сердцѣ его произвести склонность къ мирному уединенію. Пріятный климатъ, любезныя воспоминанія дѣтства и самая вѣрнѣйшая связь въ мірѣ, дружба родственная, влекла Богдановича къ счастливымъ странамъ Малороссіи. Онъ пріѣхалъ въ Сумы, съ намѣреніемъ вести тамъ жизнь свою въ кругу ближайшихъ родныхъ и наслаждаться ея тихимъ вечеромъ въ объятіяхъ природы, всегда любезной для чувствительнаго сердца, особливо для поэта“. Но сердце Богдановича оказалось, сверхъ всякаго ожиданія, слишкомъ чувствительнымъ для его почтенныхъ лѣтъ: „мы должны“, говоритъ біографъ, „повторить извѣстіе не ясное, хотя и вѣрное“... Богдановичу, подобно Руссо, пришлось „испытать на шестомъ десятилѣтіи всю силу романтической страсти“... „Не знаемъ обстоятельствъ... скажемъ только, что тихая, мирная жизнь Богдановича вдругъ сдѣлалась ему несносною. Онъ долженъ былъ разлучиться съ другомъ и братомъ“... Въ 1798 году онъ переселился въ Курскъ, и оттуда еще привѣтствовалъ одою вступленіе на престолъ Александра I. Въ началѣ декабря 1802 года Богдановичъ занемогъ, а 6 января 1803 года „кончилъ жизнь, къ горести родныхъ, друзей и всѣхъ любителей русской словесности“.

Къ многочисленному кружку литературныхъ дѣятелей Екатерининскаго времени принадлежалъ и еще одинъ писатель, о которомъ большинство современниковъ вовсе не знало, который не пользовался при жизни своей и не желалъ пользоваться никакою литературною славой, считая и способности свои, и дѣятельность незаслуживающими никакого вниманія... Потомство однакоже оцѣнило и талантъ его, и произведенія совершенно вѣрно, и признало его однимъ изъ наиболѣе достойныхъ представителей нашей литературы XVIII вѣка. Писатель этотъ былъ Хемницеръ, одинъ изъ многихъ дѣятелей прошлаго столѣтія съ нѣмецкой фамиліей и чисто-русскимъ складомъ ума и направленіемъ дѣятельности.

Иванъ Ивановичъ Хемницеръ (род. 5 янв. 1745 г.) происходилъ дѣйствительно изъ нѣмецкой фамиліи. Отецъ его, саксонскій

уроженецъ, родомъ изъ Фрейберга, Иоганъ Адамъ Хемницеръ, неизвѣстно когда именно выѣхавшій въ Россію, занималъ въ началѣ 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія должность военнаго штабъ-лѣкаря и проживалъ въ астраханской губерніи. Тамъ-то, въ незадолго-основанной Енотаевской крѣпости (нынѣ уѣздный гор. Енотаевскъ), и родился у Иогана Адама сынъ Иванъ, впоследствии извѣстный русскій баснописецъ. Малюткѣ Хемницеру пришлось уже раздѣлить съ родителями своими всѣ невзгоды тяжелой службы военнаго штабъ-лѣкаря и странствовать по степямъ, даже побывать въ Кизлярѣ, пока та же служебная дѣятельность не привела І. А. Хемницера въ Астрахань. Тамъ честный нѣмецъ воспользовался всѣми мѣстными средствами, чтобы доставить сыну возможность образованія себя. И онъ, и жена его обучали сына сами всему, что знали, а потомъ отдали его къ жившему въ Астрахани пастору лютеранской церкви, Нейбауэру, который тотчасъ обратилъ вниманіе на способности бойкаго мальчика. Въ 1755 году отецъ Хемницера рѣшился оставить службу въ Астрахани и поселиться въ Петербургѣ. Здѣсь отецъ помѣстилъ его для обученія къ учителю латинскаго языка при врачебномъ училищѣ (впоследствии, въ 1783, переименованномъ въ медико-хирургическій институтъ), который занимался съ юнымъ Хемницеромъ не одною латинью, но и географіей, и исторіей. Здѣсь, вращаясь въ кругу товарищей, Хемницеръ (вопреки всему, что доселѣ пересказывалось въ его біографіяхъ) получилъ впечатленіе къ медицинскому поприщу, къ которому назначилъ его и отецъ. „Но къ прискорбію старика“ — замѣчаетъ новѣйшій біографъ Хемницера ¹⁾ — „случилось, что, уже на 13-мъ году отъ роду, сынъ, послушавшись какихъ-то постороннихъ людей, вздумалъ искать счастья въ военной службѣ: онъ поступилъ въ солдаты пѣхотнаго Нотебургскаго полка“, причемъ показанъ былъ тремя годами старше своего настоящаго возраста. О пребываніи Хемницера въ военной службѣ теперь извѣстно только то, что пробылъ онъ въ ней 12 лѣтъ (отъ 1757 по 1769 г.), „былъ въ походахъ (во время семилѣтней войны) въ По-

мераніи, Бранденбургѣ, Шлезіи и Саксоніи, а на баталіи не бывалъ“, состоялъ нѣкоторое время адъютантомъ при генералъ-майорѣ Остерманѣ, потомъ, при князѣ А. М. Голицынѣ для „случающихся курьерскихъ посылокъ“, и наконецъ выпущенъ былъ въ отставку поручикомъ Копорскаго полка.

Онъ говаривалъ не даромъ, вспоминая о военной службѣ, что „попалъ вмѣсто анатомической залы на обширный хирургическій театръ“. Въ 1769 году, въ скромномъ чинѣ поручика, перешелъ онъ на службу по Гор-



Хемницеръ.

ному Вѣдомству, куда и поступилъ гиттен-фервальтеромъ. Такъ какъ для полученія этой должности необходима была хотя нѣкоторая подготовка специальная, и, сверхъ того, знакомство съ начальникомъ горной части, то новѣйшій біографъ и объясняетъ это поступленіе въ горное вѣдомство дружбою Хемницера съ извѣстнымъ уже намъ Н. А. Львовымъ, который былъ въ родствѣ съ М. Ѳ. Соѣмоновымъ, тогдашнимъ начальникомъ горнаго вѣдомства, и вѣроятно доставилъ это мѣсто своему другу. Дни приходилось ему проводить на службѣ, а ночи просиживалъ онъ за книгами. Собственная

¹⁾ Академикъ Я. К. Гротъ. См. его статью «Біогр. извѣстія объ И. И. Хемницерѣ по новымъ рукоп. источникамъ», прилож. къ академ. изд. сочиненій и писемъ Хемницера. СПб. 1873 г.

охота и вѣроятно, отчасти, вліяніе его друга, Львова, побудили его къ серьезнымъ занятіямъ литературой и къ всестороннему изученію русскаго языка, надъ трудностями котораго ему удалось восторжествовать настолько, что онъ, съ юности говорившій дома по-нѣмецки и до зрѣлаго возраста еще писавшій нѣмецкіе стихи, занялъ одно изъ почетныхъ мѣстъ въ кругу русскихъ писателей Екатерининскаго времени. Въ этомъ отношеніи вліяніе Львова отрицать невозможно, потому что слѣды его вліянія видимъ не на одной только литературной дѣятельности Хемницера, но и на цѣломъ кружкѣ наиболѣе видныхъ и талантливыхъ литераторовъ, его современниковъ. Значеніе Львова въ этомъ кружкѣ всего удобнѣе сравнить съ значеніемъ Станкевича въ кружкѣ нашихъ московскихъ писателей 30-хъ годовъ. „Львовъ“ — по справедливому замѣчанію академика Грота — „хотя и не приобрѣлъ большой извѣстности, какъ писатель, однакожъ игралъ значительную роль въ тогдашней литературѣ, не только по своему положенію въ свѣтѣ, которое давало ему возможность поддерживать своихъ друзей-писателей, но и по вліянію на эстетическую сторону ихъ трудовъ... Пламенный любитель всѣхъ отраслей искусства и знатокъ во многихъ изъ нихъ,—поэтъ, живописецъ, архитекторъ, механикъ, а отчасти и музыкантъ, Львовъ, въ то же время, писалъ стихи, издавалъ лѣтописи и пѣсни, и принадлежалъ къ кругу лучшихъ литераторовъ того времени; сблизившись съ Капнистомъ, онъ черезъ него, вѣроятно, сошелся и съ Державиннымъ, а черезъ Державина съ его сослуживцами по Сенату, Храповицкимъ и А. С. Хвостовымъ (сатирикомъ). Въ этомъ даровитомъ кругу Львовъ былъ опять общимъ совѣтникомъ; друзья-писатели показывали ему свои новыя произведенія и прислушивались къ тонкимъ замѣчаніямъ русскаго Шапелля, какъ его тогда называли. Онъ выражалъ весьма своеобразныя для того времени литературныя взгляды, указывалъ на недостатки у Ломоносова, выше всего ставилъ простоту и естественность, понималъ уже цѣну народнаго языка и сказочныхъ преданій для поэзіи. Такое расположеніе должно было установить особенную симпа-

тію между нимъ и Хемницеромъ“¹⁾. Г. Гротъ предполагаетъ, что знакомство между Хемницеромъ и Львовымъ началось вѣроятно вскорѣ послѣ 1770 года, когда напечатано было первое извѣстное стихотвореніе Хемницера, весьма плохая ода на взятіе турецкой крѣпости Журжи. Около 1774 г. напечаталъ онъ стихотворный переводъ героиды Дора „Письмо Барнведа къ Труману изъ темницы“, и этотъ переводъ, составившій въ настоящее время величайшую библиографическую рѣдкость, посвятилъ „своему любезному другу Львову“. Около того же времени мы видимъ его неутомимо занятымъ обширными работами по ученому собранію при Горномъ Училищѣ, считавшему его въ числѣ своихъ членовъ; онъ переводитъ ученые труды нашихъ академиковъ по минералогіи, трудится надъ составленіемъ горнаго словаря и доказываетъ существенную потребность въ переложеніи иностранныхъ научныхъ терминовъ на русскій языкъ, „хотя-бы новыя наименованія сначала и принимались не охотно“. Его способности и служебное рвеніе обращаютъ на него вниманіе ближайшаго начальства и это еще болѣе побуждаетъ его трудиться... Бѣдному труженику не много остается свободнаго времени, и это свободное время онъ посвящаетъ преимущественно своему любимому писателю Лафонтену; ему то старался онъ подражать, пытаясь создать первые опыты русской басни, которые-бы по языку и складу не напоминали грубыхъ притчей Сумарокова. Вѣроятно поѣздка за границу (въ концѣ 1776 г.) съ покровительствовавшимъ Хемницеру Директоромъ Горнаго Училища, М. Ѳ. Соймоновымъ, способствовала ознакомленію Хемницера съ нѣмецкими образцами басни и заставилъ его на столько же полюбить Геллерта, на сколько онъ до того времени любилъ Лафонтена. „Путешествіе перемѣнило образъ жизни Хемницера“ — замѣчаетъ одинъ изъ его біографовъ — „онъ началъ съ того времени заниматься своею одеждою: пудрился, носилъ платье, соответствовавшее тогдашней модѣ; проводилъ утра на службѣ, вечера въ обществахъ“. Черезъ Капниста и Львова познакомился и сошелся Хемницеръ съ Державиннымъ, который, уважая его умъ и образованіе, и не надѣясь на

¹⁾ См. тамъ же, ст. 11—12.

натиѣмъ весьма сложнымъ. Съ одной стороны, подъ этимъ освобожденіемъ европейскихъ литературъ отъ подчиненія французскому классицизму разумѣли переходъ ихъ на почву народности. Съ другой стороны—романтизмъ представлялся эстетической теоріей независимости творчества отъ какихъ-бы то ни было предвзятыхъ правилъ піитики и подчиненія поэта исключительно прихоти его вдохновенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ романтики требовали, чтобы поэтъ и въ отношеніяхъ своихъ къ средѣ былъ человекомъ вполне свободнымъ и независимымъ:—они смотрѣли на поэта, какъ на пророка, который долженъ возвѣщать міру откровенія своего высшего вдохновенія, не обращая притомъ вниманія ни на какія насмѣшки, гоненія и мученія, претерпѣваемые отъ людей за истину, высказываемую имъ. Естественно, что при такомъ взглядѣ на поэта романтики съ недоумѣніемъ смотрѣли на каждого писателя, способнаго заноситься въ чѣмъ-бы то ни было покровительствѣ.

Пушкинъ, какъ поэтъ, первый сталъ въполнѣ удовлетворять романтическому идеалу. Онъ первый поставилъ русскую поэзію на народную почву; вся слава, которою пользовался онъ при жизни, все обаяніе, которое онъ производилъ на своихъ современниковъ, главнымъ образомъ зависѣли отъ того, что въ своихъ произведеніяхъ онъ отозвался на всѣ мотивы жизни своей родины. Все, что думали, чувствовали, чѣмъ жили и страдали его современники, воспроизведено въ его поэмахъ и пѣсняхъ. Въ то же время не малое обаяніе производилъ Пушкинъ на современниковъ и самою жизнію своею въ молодые годы: — гордый, независимый, полный самобытныхъ причудъ и гонимый, онъ, казалось, вполне олицетворялъ собою типъ романтическаго поэта въ истинномъ смыслѣ этого слова; современники видѣли въ немъ русскаго Байрона и самъ Пушкинъ въ первые годы своей дѣятельности не прочь былъ побайронничать на русскій ладъ. Подъ вліяніемъ произведеній Пушкина, Баратынскаго, Грибоѣдова и прочихъ послѣдователей романтической поэзіи, съ другой стороны подъ вліяніемъ общаго либеральнаго движенія въ царствованіе Александра, романтизмъ не замедлил повліять и на внѣшнюю обстановку жизни. Въ то время, какъ въ литературѣ онъ выражался оппозиціей противъ

подавляющихъ творчество правилъ ложноклассической піитики, противъ владычества литературныхъ авторитетовъ, въ жизни—романтизмъ возсталъ противъ стѣсняющихъ чувство и волю условныхъ свѣтскихъ обычаевъ и приличій, практическаго фамусовскаго матеріализма и молчаливскаго угодничества. Типы Онегина, Чацкаго, гордые, независимые, никому не кланяющіеся, ничего не ищущіе и идущіе своей дорогой, не смотря на толки и сплетни толпы, сдѣлались любимыми идеалами молодежи въ двадцатые годы.

Къ тому же, при неразвитости критики, никто не могъ объяснить значенія романтизма. Романтики ограничивались только тѣмъ, что потѣшались надъ классиками и шли своей дорогой, выдавая произведеніе за произведеніемъ. Классики, съ своей стороны, сыпали громы на романтиковъ, но еще менѣе ихъ имѣли понятія о романтизмѣ. Они объясняли романтизмъ писаніемъ стихотвореній безъ всякихъ правилъ, утвержденныхъ вѣками, основанныхъ на истинномъ вкусѣ и предписанныхъ безсмертнымъ Буало для французовъ, а Гораціемъ для всѣхъ образованныхъ народовъ. Въ такихъ стихотвореніяхъ они видѣли верхъ безобразія, нарушение всякихъ эстетическихъ законовъ, окончательное паденіе поэзіи. Во время либеральнаго движенія, въ царствованіе Александра I, нападки классиковъ ограничивались чисто-литературнымъ споромъ. Но когда, въ концѣ царствованія Александра началась реакція, романтиковъ стали считать не только нарушителями піитики Буало, но и опасными вольподумцами, разрушителями, готовыми испровергнуть всѣ общественныя и семейныя основы.—Ихъ не иначе представляли, какъ людьми дурного тона, растрепанными, распушенными кутилами, способными пренебрегать всякимъ приличіемъ и готовыми на все безнравственное. В. И. Панаевъ, вѣрный преданіямъ старины и горячій послѣдователь классицизма, въ своихъ запискахъ (см. „В. Евр.“ сент. 1867 г.) свидѣтельствуетъ намъ о томъ, какъ смотрѣли на молодыхъ романтиковъ въ 20-е годы. „Напрасно“, говоритъ онъ, „Дельвигъ, Баратынский и друг. старались войти со мною въ короткія сношенія: мнѣ не нравилась ихъ самонадѣянность, рѣшительный тонъ въ сужденіяхъ, пристрастіе и не очень похвальное поведе-

ние: моя разборчивость не допускала сближения съ такими молодыми людьми; я старался уклониться отъ ихъ короткости, даже не заплатилъ имъ визитовъ. Они на меня прогнѣвались и очень ко мнѣ не благоволили. Впослѣдствіи они прогнѣвались на меня еще болѣе, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, за то, что я не совѣтовалъ одной молодой, опрометчивой женщинѣ съ ними знакомиться“. Но когда знакомая Панаева приняла въ свой домъ кружокъ Пушкина, объ этомъ пошли по Москвѣ невыгодные для нея толки; отецъ и мать перестали къ ней ѣздить. „Глубоко всѣмъ этимъ огорченный“, говоритъ Панаевъ, „я выразилъ ей мое негодованіе, указавъ на справедливость моихъ предсказаній, и прекратилъ мои посѣщенія“. Не мѣшаетъ замѣтить, что соотвѣтственно такому взгляду на романтиковъ, распространенному въ высшихъ слояхъ общества, въ училищахъ считалось предосудительнымъ читать дѣтямъ произведенія Пушкина, Баратынскаго, Дельвига и пр., какъ безнравственные и лишеныя эстетическаго значенія.

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ род. 26 мая 1799 г. (ум. 29 янв. 1837 г.) и происходилъ по прямой линіи отъ боярина Григорія Гавриловича Пушкина, служившаго при царѣ Алексѣ Михайловичѣ, а потомъ въ Польшѣ, съ титуломъ намѣстника нижегородскаго (ум. 1656 г.). Мать Александра Сергѣевича, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибалъ, также принадлежала къ замѣчательному роду: она была внучкой того Абрама Петровича Ганнибала, знаменитаго крестника и любимца Петра, который, благодаря Пушкину, сталъ болѣе извѣстенъ подъ именемъ Арапа Петра Великаго. Отецъ поэта, Сергѣй Львовичъ Пушкинъ, познакомился съ Надеждой Осиповной въ Петербургѣ, гдѣ онъ служилъ въ измайловскомъ полку. Женившись въ Петербургѣ, Сергѣй Львовичъ, въ 1798 году, вышелъ въ отставку и переѣхалъ на житье въ Москву. Вмѣстѣ съ семействомъ Сергѣя Львовича переѣхала въ Москву и мать Надежды Осиповны, которая продала принадлежавшее ей въ Псковской губ. имѣніе и на вырученные отъ этой продажи деньги купила подъ Москвой село Захарьино, верстахъ въ 40 отъ Москвы. Нельзя не упомянуть здѣсь, что въ Москву, вмѣстѣ съ семействомъ Пушкиныхъ, переселилась и просла-

вленная впослѣдствіи поэтомъ няня его, Арина Родионовна, вынянчавшая всѣхъ дѣтей Сергѣя Львовича.

Отецъ поэта, Сергѣй Львовичъ Пушкинъ, представлялъ собою, вмѣстѣ съ братомъ своимъ Василиемъ Львовичемъ (извѣстнымъ арзамасцемъ), образецъ того крайне-непривлекательнаго типа русскихъ французовъ, который мало по малу начинаетъ у насъ вводиться въ настоящее время, а въ то время былъ моднымъ типомъ въ высшихъ слояхъ нашего общества. И Сергѣй Львовичъ, и Василий Львовичъ были люди очень не глупые, обладавшіе порядочнымъ запасомъ остроумія и довольно изряднымъ образованіемъ; но это были люди исключительно созданные для веселой, шумной, пустой и праздно-свѣтской суеты, люди, не знавшіе въ жизни никакихъ серьезныхъ интересовъ и цѣлей, чуждые всякихъ заботъ, трудовъ и обязанностей. Обладая порядочнымъ состояніемъ и неистощимымъ запасомъ веселости, оба брата одинаково посвящали свое время удовольствіямъ общества и наслажденіямъ городской жизни и питали врожденное отвращеніе ко всему, что могло нарушить ихъ спокойствіе... На этомъ основаніи Сергѣй Львовичъ предоставилъ все управленіе дѣлами, все хозяйство и воспитаніе дѣтей женѣ своей, а самъ вполне предавался утонченной и веселой свѣтской жизни среди того обширнаго кружка родни и знакомыхъ, въ которомъ онъ являлся душою всѣхъ собраний, домашнихъ спектаклей и всякаго рода семейныхъ и родственныхъ празднествъ, которыми такъ богата была жизнь нашего барства того времени... Можно безъ преувеличенія сказать, что все время Сергѣя Львовича проходило въ обществѣ и въ заботахъ объ успокоеніи и увеселеніи своей особы, а весь умъ и способности его затрачивались на тѣ остроты, каламбуры и легкіе французскіе стихи, которыми онъ приводилъ въ восторгъ все лучшее московское общество...

Надежда Осиповна, прекрасная собою, умная и энергическая женщина, любила удовольствія и разсѣянную жизнь не менѣе всего кружка, среди котораго ей приходилось жить, однако же гораздо болѣе Сергѣя Львовича прилагала заботы къ воспитанію дѣтей своихъ, и вмѣстѣ съ матерью своей, Марьей Алексѣевной Ганнибалъ, способна была до нѣкоторой степени оказать

на нихъ благотворное вліяніе. Но онѣ не могли избавить дѣтей Сергія Львовича отъ системы воспитанія, которая тогда была общепринятою во всѣхъ дворянскихъ семействахъ: едва вышли они изъ пеленъ, какъ ихъ уже окружали гувернеры и учителя изъ фран-

забыть о томъ, что онъ Русскій. По счастью, до 7-ми лѣтняго возраста, Александръ Сергѣевичъ не принадлежалъ къ числу дѣтей воспріимчивыхъ, горячихъ и бойкихъ. Напротивъ, онъ даже приводилъ мать въ отчаянье своею флегматическою неповоротливостію.



Александр Пушкинъ

цузовъ-эмигрантовъ. И вотъ, Пушкину, учившемуся грамотѣ у своей бабушки, Марьи Алексѣевны, пришлось послѣ того заниматься русскимъ языкомъ у какого-то г. Шиллера, а потомъ попасть въ руки разныхъ французовъ, которые на время заставили его

Случалось, что Надежда Осиповна насильно заставляла его играть и бѣгать съ дѣтьми, и мальчикъ убѣгалъ къ бабушкѣ, Марьѣ Алексѣевнѣ, зализалъ въ ея корзинку и долго смотрѣлъ на ея работу: въ этомъ убѣжищѣ ужъ никто не смѣлъ его беспокоить...

Однакоже французы-гувернеры взяли свое: мальчикъ по десятому году развернулся и хотя не выказывалъ ни малѣйшей охоты къ ученію, но за то набросился на чтеніе съ какою-то болѣзненною страстностью. Не смотря на то, что ни отецъ, ни окружавшіе его нимадо не препятствовали ему въ удовлетвореніи этой страсти къ чтенію, онъ проводилъ за книгами и дни, и ночи, тайкомъ забирался въ библіотеку или въ кабинетъ отца своего, и безъ разбора читалъ все, что попадалось ему подъ руку. Братъ поэта, Левъ Сергѣевичъ, замѣчаетъ, что, на 11-мъ году, при своей необычайной памяти, Пушкинъ зналъ наизусть всю французскую литературу и біографъ Пушкина прибавляетъ, что это замѣчаніе можетъ быть принято съ нѣкоторымъ ограниченіемъ... Результатомъ такой начитанности и французскаго воспитанія было то, что первыми стихами Пушкина были стихи французскіе, въ писаніи которыхъ онъ упражнялся не только дома, но даже и послѣ вступленія своего въ Лицей.

Въ Лицей опредѣленъ былъ Пушкинъ по настоянію уже извѣстнаго намъ А. И. Тургенева, который отклонилъ родителей Александра Сергѣевича отъ намѣренія помѣстить сына въ прославленный Петербургскій Іезуитскій Коллеіумъ, на который тогда всѣ смотрѣли съ особеннымъ уваженіемъ. Лицей, учрежденный въ Царскомъ селѣ, былъ дѣйствительно образцовымъ по тому времени воспитательнымъ заведеніемъ. Въ Высочайше утвержденномъ (19 августа 1811 г.) постановленіи о Лицѣе говорилось, что цѣлью учрежденія его будетъ — образованіе юношества, „особенно предназначеннаго къ важнымъ частямъ службы государственной“. Лучшие преподаватели и опытѣйшіе педагоги призваны были на службу при Лицѣе, который и помѣщенъ былъ во флигелѣ, смежномъ съ дворцомъ.

Двѣнадцатилѣтній Пушкинъ, 12 августа 1811 года, выдержалъ вступительный экзаменъ въ Лицей, въ числѣ тѣхъ 33 воспитанниковъ, изъ которыхъ должно было первоначально состоять это заведеніе, и вступилъ на новый путь; на этомъ пути, при помощи благопріятныхъ условій, сопровождавшихъ развитіе юнаго поэта, вскорѣ открылась для него возможность выказать исполнѣ тотъ дивный даръ, которымъ онъ былъ такъ ще-

дро надѣленъ отъ природы. Эти благопріятныя условія заключались преимущественно въ томъ, что въ основу лицейскаго воспитанія принята была разумная свобода и уваженіе къ нравственной личности воспитанника, въ которомъ старались тщательно развивать самыя высокія нравственныя начала и стремленія. Любопытныя указанія на это находимъ въ самыхъ отчетахъ Лицея за первое время его существованія. Такъ напр., черезъ два мѣсяца послѣ открытія Лицея, начальство Лицея нашло необходимымъ „для пріученія учениковъ къ справедливости и безпристрастному сужденію другъ о другѣ—дозволить имъ самимъ избирать отличѣйшихъ въ ученіи и поведеніи, и когда выборъ ихъ былъ одобренъ директоромъ, профессорами и надзирателемъ нравственной части, то имена отличившихся были золотыми буквами написаны на бѣлыхъ мраморныхъ доскахъ и выставлены въ залахъ Лицея.

У каждаго воспитанника была своя комната; богатая библіотека Лицея постоянно была открыта для всѣхъ лицейстовъ, и никакой докучный, подозрительный глазъ воспитателя не слѣдилъ за юношами въ свободное отъ занятій время, когда они терялись въ обширныхъ и темныхъ аллеяхъ Царскосельскаго сада.

Самое преподаваніе было основано въ Лицѣе на чрезвычайно разумныхъ началахъ, какъ это можно видѣть изъ тѣхъ же лицейскихъ отчетовъ за 1812 годъ: „Главнымъ занятіемъ въ первое полугодіе были иностранныя языки; преподаваніе же наукъ: закона Божія, логики, нравственности, исторіи, географіи и математики, ограничивалось только главными началами. Во 2-мъ полугодіи чтеніе образцовъ изъ лучшихъ писателей не ограничивалось только грамматическими объясненіями, но „сопровождаемо было нѣкоторыми логическими и легкими эстетическими замѣчаніями, дабы вкусъ воспитанниковъ еще вѣрнѣе руководствуемъ былъ къ простому, естественному и изящному слову. Все пышное, высокопарное, школьное совершенно удаляемо было отъ ихъ понятія и слуха. Науки нравственныя, математическія, и историческія, утверждаясь уже на первыхъ началахъ, расширяли постепенно кругъ свой. Каждое понятіе, каждая новая мысль представляема была воспитанникамъ

въ такомъ видѣ, что возбуждали ихъ любопытство и размышленіе, и казались для нихъ новыми, пріятнымъ приобретеніемъ. Постепенность математическихъ наукъ, предполагая необходимостію твердое знаніе предъидущаго, сопровождается была самымъ простымъ, яснымъ показаніемъ и всегда руководствовала разумъ воспитанниковъ такъ, чтобы они сами научились постигать истину и познавать силу доказательствъ" (Отч. конференціи Лицея съ 19 окт. по 31 дек. 1815 г.).

Можетъ быть именно вслѣдствіе этой разумной свободы, среди которой юноши-лицейсты росли, не стѣсняемые никакими мелочными формальностями, въ товарищескомъ кружкѣ ихъ постоянно поддерживалась самая тѣсная дружеская связь и замѣчательная признательность къ мѣсту воспитанія, которую они сохраняли потомъ всю жизнь. И этотъ товарищескій кружокъ принесъ много пользы юношѣ-поэту, съ одной стороны, ослабивъ французское вліяніе домашней среды, а съ другой — открывъ свободное и широкое поприще для развитія его поэтическаго дарованія.. Въ Лицейскомъ кружкѣ Пушкинскаго времени замѣчательною, характеристическою чертою являлась склонность къ литературѣ. Литература была въ Лицѣе не только любимымъ занятіемъ, но и развлеченіемъ, и даже игрой. Въ тѣсномъ дружескомъ кружкѣ лицейстовъ издавалось нѣсколько рукописныхъ журналовъ, („Лицейскій Мудрецъ“, „Для удовольствія и Пользы“, „Неопытное Перо“ и т. п.), въ которыхъ всѣ товарищи Пушкина и онъ самъ принимали дѣятельное участіе; а по вечерамъ затѣявалась нерѣдко и довольно замысловатая игра: каждый изъ членовъ товарищескаго кружка обязанъ былъ по очереди разсказать повѣсть или хотъ только начать ее; слѣдующій за расказчикомъ продолжалъ развивать сюжетъ, пополняя его новыми подробностями, и очень часто случалось, что повѣсть заканчивалась только въ устахъ третьяго или четвертаго расказчика...

И вотъ, среди этого товарищескаго кружка, Пушкинъ, котораго сначала было прозвали въ Лицѣе французомъ, оставилъ писаніе французскихъ стиховъ и принялся писать стихи по-русски. Началъ онъ съ очень колкихъ эпиграммъ, потомъ перешелъ къ подражанію легкой французской лирикѣ, а

наконецъ увлекся и подражаніемъ лучшимъ русскимъ поэтамъ: Державину, Жуковскому, и позднѣе всѣхъ — Батюшкову. Первымъ писаннымъ въ числѣ лицейскихъ его стихотвореній было „Посланіе къ сестрѣ“; за нимъ слѣдовали другія, помѣщавшіяся въ рукописныхъ журналахъ Лицея, и уже въ іюнѣ 1814 г. явились первыя стихотворенія лицейста Пушкина въ печати:—пять стихотвореній его было напечатано въ „Вѣстникѣ Европы“, издававшемся тогда подъ редакцію В. В. Измайлова. Вскорѣ послѣ того стали являться его стихотворенія и въ другихъ журналахъ, и та извѣстность, которою юноша-поэтъ пользовался уже между своими товарищами, быстро перелетѣла за стѣны Лицея, особенно послѣ того, какъ на публичномъ экзаменѣ 1815 г. Пушкинъ привелъ въ восторгъ Державина своимъ „Воспоминаніемъ въ Царскомъ селѣ“. Лицейскія стихотворенія Пушкина въ это время представляли собою еще очень немного самостоятельнаго; но поэтическая плодовитость шестнадцатилѣтняго юноши-поэта, чрезвычайно легко владѣвшаго стихомъ (въ то время еще довольно неправильнымъ и небрежнымъ), не могла не привлечь къ нему вниманія замѣчательнѣйшихъ литературныхъ дѣятелей того времени, тѣмъ болѣе, что вѣроятно и Тургеневъ не упускалъ случая указывать имъ на диковиннаго мальчика, такъ много сулившаго въ будущемъ. Карамзинъ и Жуковский одинаково узнали Пушкина еще на лицейской скамьѣ и поощряли развитіе его поэтическаго дарованія: Жуковский даже отдавалъ на судъ юноши свои стихотворенія, болѣе довѣряя замѣчательно-развитому въ немъ поэтическому чутью, нежели своему собственному вкусу, и обыкновенно считалъ дурнымъ, старался исправить тотъ стихъ, который Пушкинъ, при своей необыкновенной памяти, не могъ сразу усвоить и запомнить.

Но родные поэта не такъ скоро поддались обаянію его таланта и долго не рѣшались вѣрить тому, чтобы изъ Александра Сергѣевича могъ выйти человекъ замѣчательный, тѣмъ болѣе, что по наукамъ его успѣхи оказывались довольно слабыми и одинъ изъ профессоровъ аттестовалъ его даже такъ: „весьма понятенъ, замысловатъ и остроуменъ, но крайне непрілеженъ“. Только уже послѣ того, какъ стихи молодого

го Пушкина не только обратили на него внимание Державина, Дмитриева и Карамзина, но и возбудили удивление Жуковского — родные наконец решились признать поэтическую деятельность Пушкина не простою потерей времени, и даже дядя его, Василий Львович (самъ стихотворецъ), долго не соглашавшійся признать поэтический талантъ въ племянникѣ, прочитавъ его посланіе къ Лицинію, поразился тому, что „Александровы стихи не пахнутъ латынью и не носятъ на себѣ ни одного пятнышка семинарскаго“. Но оцѣнивая юношескую поэзію Пушкина, почтенный дядя его болѣе способенъ былъ сочувствовать ей легкому, беззаботно-веселому, почти игривому характеру, ея призывамъ къ наслажденію земными благами, ея вакхическому разгулу, нежели замѣтить въ лицейскихъ стихотвореніяхъ своего племянника одну очень важную сторону, дѣйствительно много обѣщавшую въ будущемъ. Этою важною стороною являлось замѣчательное разнообразіе мотивовъ и та особенная легкость, съ которою Пушкинъ подражалъ различнымъ поэтическимъ формамъ и подчинялся самымъ противоположнымъ поэтическимъ настроеніямъ, начиная отъ торжественнаго настроенія Державинской оды и оканчивая элегическимъ — въ пѣснѣ, изображающей тоску, прощаніе, разлуку... Чрезвычайно любопытно то, что самъ Пушкинъ считалъ себя въ это время ученикомъ Жуковского, которому однакоже менѣе всего подражалъ и способенъ былъ подражать, такъ какъ ему гораздо болѣе была близка, и по духу, и по формѣ, поэзія Батюшкова, далекая отъ туманной мечтательности, тѣсно связанная съ дѣйствительностью и богатая граціозными образами... Только уже гораздо позднѣе Пушкинъ призналъ тѣсное родство своихъ лицейскихъ стихотворныхъ опытовъ съ поэзію Батюшкова и о нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ говорилъ: „люблю ихъ — они отзываются стихами Батюшкова“¹⁾.

Но ему не долго пришлось быть ученикомъ Жуковского и Батюшкова; едва успѣлъ онъ переступить порогъ Лицея, какъ уже вмѣстѣ съ тѣмъ и выступилъ на тотъ новый путь, по которому вслѣдъ за нимъ пошли

многіе, но, до него, никто не рѣшался идти... Дѣйствительно, въ іюнѣ 1817 года, Пушкинъ окончилъ курсъ въ Лицеѣ и вышелъ изъ него 19 ученикомъ, а въ 1818 году, на собраніяхъ Арзамаса и на вечерахъ у Жуковского, онъ уже читаетъ первыя пѣсни Руслана и Людмилы, въ которыхъ и Жуковский, и Батюшковъ, и всѣ сколько-нибудь безпристрастные судьи не могли не видѣть явленія новаго и небывалаго у насъ въ литературѣ...

Ново было то, что романтизмъ Пушкина, на сколько онъ успѣлъ и сумѣлъ выказать его въ Русланѣ и Людмилѣ, не имѣлъ ничего общаго съ подражательнымъ и переводнымъ романтизмомъ Жуковского; „романтическіе порывы его фантазіи обращались къ русской народной жизни, и русская поэзія впервые усвоивала здѣсь истинно-народные мотивы“²⁾. Нельзя не добавить здѣсь, сверхъ того, что эти народные мотивы являлись у Пушкина не въ узкой рамкѣ поэмы, написанной по всѣмъ правиламъ теории, а въ формѣ широкаго, свободнаго, поэтическаго разсказа, который способенъ былъ привести въ ужасъ сторонниковъ старой риторической школы неправильностью и непоследовательностью своего теченія, частыми отклоненіями отъ главной нити разсказа, и, въ особенности, сатирическими выходками противъ современности вообще и современной литературы въ особенности. Чрезвычайно любопытно однакоже, что старую нашу литературную школу болѣе всего непріятно поразило въ поэмѣ Пушкина именно то, что она являлась въ нашей литературѣ первымъ, дѣйствительно-романтическимъ произведеніемъ, т. е. неразрывно связаннымъ съ почвою народности и преданій нашихъ. Эта сторона романтизма не могла никому изъ нашихъ критиковъ броситься въ глаза, пока дѣло шло только о переводныхъ произведеніяхъ романтической школы; но, при появленіи Руслана и Людмилы, первое столкновение съ народною почвою ужасно озадачило нашихъ критиковъ: „Обратите ваше вниманіе на новый ужасный предметъ“... „возникающій посреди океана Россійской словесности“ — восклицалъ одинъ изъ критиковъ. „Наши поэты на-

¹⁾ Такъ говорилъ онъ о своихъ стихотвореніяхъ «Муза» (Въ младенствѣ она меня любила).
²⁾ Пининъ. Общ. учен. зап. Александръ I.

чинают пародировать Киршу Данилова.... Просвѣщеннымъ людямъ предлагаютъ поэму, писанную въ подражаніе Еруслану Лазаревичу...“ Далѣе, выписывая и предоставляя на судъ читателей сцену Руслана съ богатырскою головою, критикъ просто приходитъ въ ужасъ: „увольте меня отъ подробнаго описанія“—говоритъ онъ съ негодованіемъ — „и позвольте спросить: если бы въ Московское Благородное Собраніе какъ нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ и закричалъ зычнымъ голосомъ: здорово, ребята! Неужели-бы стали такимъ проказникомъ любоваться?... Зачѣмъ допускать, чтобы плоскія шутки старины снова появились между нами?“

Но прежде, чѣмъ успѣли явиться первыя критики на Руслана и Людмилу (онѣ явились въ 1820 г.), въ жизни автора ея успѣло совершиться много перемѣнъ. Поэма эта начата была имъ еще въ Лицѣѣ, потомъ писалась и въ Петербургѣ, и въ Михайловскомъ (небольшомъ имѣніи Пушкинскихъ, въ Псковской губ.), гдѣ онъ проводилъ лѣто, по выходѣ изъ Лицея, и окончена была не ранѣе 1819 года, (а напечатана уже въ 1820), когда Пушкина не было въ Петербургѣ...

Дѣло въ томъ, что, по выходѣ изъ Лицея, пылкій и воспримчивый юноша-поэтъ, вполнѣ предавшійся разсѣянной и даже разгульной жизни, закружился въ вихрь свѣта. Многіе не шута опасались въ это время дурно-го вліянія подобной жизни на талантъ Пушкина; Батюшковъ, незадолго до отъѣзда въ Италію, писалъ А. И. Тургеневу слѣдующее:

....Сверчокъ что дѣлаетъ? Кончилъ-ли свою поэму? Не худо-бы его запереть въ Геттингенъ и кормить года три молошнымъ супомъ и логикою. Изъ него ничего не будетъ путнаго, если онъ самъ не захочетъ. Потомство не отличить его отъ двухъ однофамильцевъ¹⁾, если онъ забудетъ, что для поэта и человѣка должно быть потомство. Кн. А. Н. Голицынъ московскій промоталъ 20 тысячъ душъ въ 6 мѣсяцевъ. Какъ ни великъ талантъ Сверчка, онъ его промотаетъ, если... Но да спасутъ его Музы и молитвы наши!“

И предчувствіе не обмануло Батюшкова: Музамъ пришлось спасать своего любимца отъ бѣды... Увлекаясь шумомъ и разсѣянными свѣтской жизни, юноша-поэтъ, въ то же время, чаще и охотнѣе вращался въ кругу тѣхъ недовольныхъ современною русскою дѣйствительностью, о которыхъ мы упоминали выше (въ біографіи Батюшкова), нежели въ кружкѣ Карамзина, Жуковского и другихъ немногихъ, сумѣвшихъ выработать себѣ болѣе спокойный взглядъ на современность и стать въ сторонѣ отъ движенія, совершавшагося въ обществѣ. Не привыкнувъ еще ни къ какой осторожности, не умѣя во-время умѣрять порывы своей сатирической музы, 20-лѣтній Пушкинъ велъ себя на столько безразсудно, такъ открыто и рѣзко позволялъ себѣ высказываться противъ всего, возбуждавшего его неудовольствіе, что надъ головою его собралась грозная туча... Только усердное ходатайство Карамзина, въ пору извѣщеннаго Чаадаевымъ (однимъ изъ друзей Пушкина), объ опасности, грозившей поэту, способно было отклонить грозу... Пушкинъ (котораго предполагалось отправить въ Соловки), былъ высланъ изъ столицы и переведенъ изъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ на службу въ Канцелярію Главнаго Попечителя Колонистовъ Южнаго Края; въ началѣ Мая 1820 года Пушкинъ уже былъ на пути въ Екатеринославль.

Едва ли можно вполнѣ согласиться съ біографомъ Пушкина, который говоритъ, что „въ промежутокъ времени съ 1820 по 1826 годъ, проведенный поэтомъ сперва въ Кишиневѣ, потомъ въ Одессѣ и наконецъ въ Псковской своей деревнѣ, онъ понялъ, какъ важность своего призванія, такъ и размѣры собственнаго таланта“²⁾. Сколько намъ кажется, въ его пребываніи на Югѣ была другая сторона, которая, дѣйствительно, оказала нѣкоторое полезное вліяніе на развитіе его таланта: самая исключительность его положенія, какъ поэта-изгнанника, много способствовала его прославленію и сдѣлала самое имя Пушкина священнымъ среди всей современной молодежи, а его поэзію облекало особеннымъ обаяніемъ, которое придавало вѣсъ и значеніе каждому слову Пушкина. И это особое отношеніе къ современникамъ,

¹⁾ Т. е. Василія Львовича и Алексія Михайловича Пушкинскихъ. ²⁾ См. статью о Чаадаевѣ, въ *Июльской книжкѣ В. Европы* за 1871 г.—Анненковъ. Матер. для біогр. Пушкина, I (стр. 69).

при замѣчательномъ умѣ и гениальной скромности Пушкина, дѣйствительно много способствовало въ немъ развитію его душевныхъ силъ и поддержкѣ той особенной энергій, которая всегда ослабѣвала въ Пушкинѣ, когда жизнь его принимала мирное и обыкновенное теченіе, среди простой, будничной обстановки, окружающей каждого простого смертнаго.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ Пушкинъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которымъ собственное уединеніе могло-бы принести какую нибудь существенную пользу... Напротивъ того, его пылкая, любящая, впечатлительная, горячая натура нуждалась въ обществѣ, нуждалась въ дружескомъ кружкѣ и даже въ томъ общественномъ мѣстѣ, которое-бы способно было до нѣкоторой степени воздержать его и отъ необузданныхъ страстныхъ порывовъ, и можетъ быть даже направить его дивную творческую силу по тому пути, котораго она такъ долго искала себѣ и такъ долго не находила. И дѣйствительно, мы видимъ, что вмѣстѣ съ удаленіемъ Пушкина на Югъ, и самая поэзія его на время отдѣлилась отъ той почвы, на которой она развивалась до 1820 г. Въ теченіе всего пребыванія своего на Югѣ (съ 1820—1824), Пушкинъ не проявляетъ той стороны своего таланта, которая составляетъ его достоинство и силу — онъ не является намъ въ это время поэтомъ народнымъ, и совершенно поддается вліянію Байрона, того могучаго поэтическаго гения, который въ то время увлекалъ за собою поэтовъ всей Европы. Вліяніе Байрона, отразившееся въ „Кавказскомъ Пѣвникѣ“, „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ“ и отчасти въ „Цыганахъ“ Пушкина, объясняется до нѣкоторой степени тѣмъ положеніемъ изгнанника, которое переживалъ въ это время нашъ поэтъ, и которое его сильно тяготило. Вѣроятно, мрачное, безнадежное настроеніе поэзіи Байрона, такого же изгнанника-поэта, какимъ видѣлъ себя Пушкинъ на Югѣ Россіи, находило себѣ живой и сильный отголосокъ въ мрачно-настроенной душѣ его — и это настроеніе, въ значительной степени способствовало тому, чтобы и всѣ герои первыхъ поэмъ Пушкина явились совершенно отвлеченными, чисто байроновскими, не связанными тѣсно ни съ какой національной или исторической почвой. Даже и „Евгеній Онегинъ“, начатый Пушки-

нымъ на Югѣ, въ первыхъ главахъ своихъ еще носитъ на себѣ отпечатокъ того байроновскаго типа, который одно время такъ нравился Пушкину и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ не удавался Пушкину, какъ поэту, обладавшему преимущественно способностью къ художественному, осязательному воспроизведенію дѣйствительной жизни. Эта временная зависимость отъ Байрона кончается съ 1824 года и не оставляетъ почти никакого слѣда на послѣдующей поэтической дѣятельности Пушкина, который, переселившись на Сѣверъ, и снова увидѣвъ себя на родинѣ, между своими, наконецъ выступилъ на свою настоящую дорогу, съ которой не сходилъ уже до конца жизни...

Во время своего пребыванія на Югѣ Россіи, Пушкинъ велъ жизнь кочевую, странническую. Вскорѣ послѣ пріѣзда своего въ Екатеринославль, Пушкинъ заболѣлъ жестокой лихорадкой и долго-бы пришлось ему съ нею бороться, если-бы счастливая случайность встрѣчи съ семействомъ генерала Раевского не доставила ему возможности побывать на кавказскихъ водахъ. Генералъ Раевскій пригласилъ юношу-поэта на свое попеченіе, а его сыновья и дочери, вмѣстѣ съ нимъ отправлявшіеся на Кавказъ, окружили Пушкина такими дружескими, родственными заботами, что время, проведенное имъ въ этой семьѣ, осталось для него навсегда однимъ изъ самыхъ пріятныхъ и дорогихъ воспоминаній юности. Пушкинъ отправился на Кавказъ черезъ землю войска Донскаго, а вернулся съ Кавказа черезъ Тамань и Керчь, причемъ объѣхалъ и часть Крыма, въ особенности южный берегъ его. Суровыя красоты кавказской природы навѣяли на Пушкина мысль о поэмѣ, связанной съ Кавказомъ и горами, а классическія воспоминанія, неразрывно связанныя съ южнымъ берегомъ Крыма, породили цѣлый рядъ прелестныхъ антологическихъ стихотвореній (Неренда, Дорида, Доридѣ), въ которыхъ Пушкинъ хотя нѣсколько и подражалъ подобнымъ же произведеніямъ А. Шенье, но во многихъ мѣстахъ превосходилъ французскаго поэта смѣлостью и граціею своихъ образовъ. Конецъ 1820 года и начало 1821 — Пушкинъ провелъ въ переѣздахъ изъ Кишинева (куда онъ переселился вслѣдъ за начальникомъ своимъ, генераломъ И. Н. Инзовымъ) въ Киевскую губернію, гдѣ находилось имѣнье

Раевскихъ, Каменка. Въ этомъ-то имѣннѣ, въ средѣ дружественной поэту семьи, дописанъ былъ въ февралѣ 1821 г., „Кавказскій плѣнникъ“, посвященный одному изъ сыновей Раевского. О своей второй поэмѣ Пушкинъ писалъ Дельвигу:„кончилъ я новую поэму Кавказскій плѣнникъ, которую надѣюсь скоро вамъ прислать, — ты ею не совѣстишь будешь доволенъ, и будешь правъ. Еще я тебѣ скажу, что у меня въ головѣ бродятъ еще поэмы, но что теперь ничего не пишу; я перевариваю воспоминанія и надѣюсь набрать вскорѣ новыя; чѣмъ намъ и жить, душа моя, подъ старость нашей молодости, какъ не воспоминаніями?“

Поэмы, бродившія въ головѣ Пушкина, вскорѣ и вышли на свѣтъ Божій: то были Бахчисарайскій фонтанъ и Братья-разбойники, написанныя въ Кишиневѣ, гдѣ пестрая, совершенно-восточная жизнь смѣшаннаго полуевропейскаго и полуазиатскаго населенія была несомнѣнно способна настроить воображеніе поэта на особый ладъ, подъ который особенно хорошо подходили воспоминанія и впечатлѣнія, вывезенныя Пушкинымъ изъ его недавняго путешествія по Крыму. Жизнь поэта въ это время въ Кишиневѣ носила на себѣ тоже какой-то особый, странный, фантастическій отпечатокъ. Его письма, стихотворенія, написанныя имъ за это время, и мѣстныя преданія, сохранившіяся о пребываніи Пушкина на Югѣ, согласно рисуютъ намъ періодъ кишиневской его жизни, какъ рядъ увлеченій, страстныхъ порывовъ, юношескихъ проказъ и шалостей, и чисто-русскаго, подъ часъ весьма широкаго удалства, которое добрый И. Н. Инзовъ не рѣдко вынужденъ былъ обуздывать домашними арестами. Впечатлѣнія кишиневской жизни и въ особенности отношенія къ одной загадочной иностранкѣ (итальянкѣ или гречанкѣ), были на столько сильны, что Пушкинъ привязался въ Кишиневу, и въ послѣдующіе годы жизни много разъ возвращался къ кишиневскимъ воспоминаніямъ въ своихъ лирическихъ произведеніяхъ. Отлучки Пушкина изъ Кишинева, очень частыя, также бывали иногда связаны съ чрезвычайно-оригинальными, поэтическими эпизодами его биографіи: такъ напримѣръ, мы знаемъ, что въ 1822 году, на пути къ Измаилу, Пушкинъ присталъ къ какому-то цыганскому табору и нѣсколько времени провелъ среди „сыновъ

степей“, переключивая вмѣстѣ съ ними съ мѣста на мѣсто.

И все это, конечно, до нѣкоторой степени способствовало развитію его таланта, возрастанію его поэтической силы и поддержкѣ той постоянной внутренней работы поэта, которую онъ самъ такъ вѣрно описалъ въ своемъ посланіи къ Чаадаеву (1821 г.):

Въ уединеніи мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій.
Владѣю днемъ и ночью; съ порядкомъ друженъ умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить, въ объятіяхъ свободы,
Мятежной младостью утраченные годы,
И въ просвѣщеніи стать съ нѣкомъ наравнѣ.

И дѣйствительно, слѣди внимательно, въ хронологическомъ порядкѣ, за всѣмъ, что написалъ Пушкинъ въ Бессарабіи, мы не можемъ не замѣтить быстрого возрастанія его таланта, который начиналъ проявляться все сильнѣе, ярче и разнообразнѣе. Тамъ были написаны тѣ высокохудожественныя лирическія произведенія, въ которыхъ Пушкинъ является намъ уже мастеромъ и поэтомъ, достигшимъ полной зрѣлости: къ числу подобныхъ произведеній принадлежитъ конечно его: „Муза“ (Въ младенчествѣ она мена любила), „Къ Овидію“ и „Наполеонъ“, писанныя въ теченіе 1821 года, и „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“ (1822 г.), не имѣющая по характеру своему ничего общаго съ предъидущимъ періодомъ поэтической дѣятельности Пушкина. Здѣсь же, въ Бессарабіи, были набросаны первыя строфы Евгенія Онегина, котораго особенно ревностно сталъ писать Пушкинъ послѣ переселенія своего въ Одессу, куда онъ въ іюлѣ 1823 года, переведенъ былъ на службу къ новому начальнику, графу М. С. Воронцову, которому генералъ И. Н. Инзовъ сдалъ должность новороссійскаго генералъ-губернатора. Пушкинъ былъ зачисленъ въ канцелярію генералъ-губернатора; но и переѣхавъ уже въ Одессу, еще разъ сѣзидилъ онъ въ Кишиневъ повидаться съ тамошними своими пріятелями и проститься съ кишиневскими воспоминаніями..... „Скоро оставляю благословенную Бессарабію“ — пишетъ Пушкинъ къ Дельвигу; — „естъ страны благословеннѣе. Праздный миръ не самое лучшее состояніе жизни... самаго лучшаго состоянія нѣтъ на свѣтѣ; но разнообразіе спасительно для ду-

ни". „Я оставил Молдавію и явился въ Европу" — пишетъ Пушкинъ лѣтомъ 1823 г. къ брату своему. „Рестораціи и итальянская опера напомнили мнѣ старину и, ей Богу, обновили мнѣ душу". При этомъ поэтъ замѣчаетъ, что, послѣ Кишинева, все еще не можетъ привыкнуть „къ европейскому образу жизни". И дѣйствительно, характеръ жизни въ тогдашней Одессѣ, ни чуть не похожей на нынѣшнюю, долженъ былъ сильно поражать своимъ европеизмомъ послѣ того полу-восточнаго быта, къ которому поэтъ привыкъ въ Бессарабіи.... Впрочемъ, этотъ европейскій образъ жизни и обходился поэту гораздо дороже, потому что съ перваго же шага въ Одессу начинаются въ письмахъ Пушкина къ брату жалобы на недостатокъ въ деньгахъ, и притомъ чрезвычайно своеобразныя: „Жить перомъ невозможно" ¹⁾, — такъ пишетъ Пушкинъ: — „ремеслу же столярному я не обучался; въ учителя не могу идти, хотя и знаю законъ и четыре первыхъ правила"...

Главнымъ поэтическимъ трудомъ Пушкина въ Одессѣ былъ „Евгеній Онѣгинъ". Первая глава его, начатая еще весною въ Бессарабіи, была здѣсь окончена въ октябрѣ. Биографъ Пушкина замѣчаетъ, что „осенній мѣсяцъ тутъ имѣлъ свое значеніе. Извѣстно, что осень была временемъ особеннаго развитія творческой дѣятельности Пушкина. Осень приносила ему нравственное спокойствіе, равновѣсіе всѣхъ силъ, необыкновенную бодрость мысли. На сѣверѣ онъ радовался туманной и дождливой осени, а боялся сухой и свѣтлой, какъ предательницы, которая влечетъ къ прогулкамъ и разсѣянности. Южная осень, съ ея чистымъ небомъ и освѣжительно-теплымъ воздухомъ, заставляла его прибѣгать къ хитрости. Онъ вставалъ рано и, не покидая постели, писалъ нѣсколько часовъ безъ отдыха. Пріятели заставляли его часто или въ задумчивости, или помирающаго со смѣха надъ строфами Евгенія Онѣгина. Такъ написаны были три главы этого романа"... ²⁾. Извѣщая Дельвига о Евгеніи Онѣгинѣ, Пушкинъ замѣчаетъ: „Пишу теперь новую поэму, въ которой забалтываюсь до нельзя". Но ему,

по счастью, не пришлось продолжать этой новой поэмы въ Одессѣ... 8 июля 1824 года, Пушкинъ былъ уволенъ отъ службы, а 11 июля мѣстомъ жительства ему было назначено въ Псковской губерніи, сельцо Михайловское, имѣніе его матери. Причиной увольненія было то, что Пушкинъ, искренно любившій и уважавшій своего прежняго начальника, И. Н. Иззова, никакъ не могъ привыкнуть къ своему новому начальству, не ладилъ съ порядками канцелярской службы при графѣ Воронцовѣ, и сразу не понравился новому начальнику своимъ образомъ жизни, рѣзкими выходками и слишкомъ свободнымъ отношеніемъ къ общественному мнѣнію. Результатомъ одесскихъ впечатлѣній Пушкина была довольно извѣстная и очень ѣдкая эпиграмма его („полу-милордъ, полу-невѣжа), послѣ которой ему, конечно, трудно было оставаться на службѣ въ Одессѣ. Графъ Воронцовъ сталъ подумывать о томъ, чтобы разстаться съ беспокойнымъ подчиненнымъ какъ можно мягче, благороднѣе и гуманнѣе.

23 марта 1824 г. гр. Воронцовъ обратился къ управляющему министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, графу Нессельроде, прося его доложить Государю о необходимости отозвать Пушкина изъ Одессы, и выставилъ для этого причины, которыя наименѣе могли повредить Пушкину въ мнѣніи правительства. „Здѣсь есть много людей" — пишетъ гр. Воронцовъ въ этомъ любопытномъ (французскомъ) письмѣ своемъ — „(а въ періодъ морскихъ купаній число ихъ еще болѣе увеличивается), которые, будучи восторженными поклонниками поэзіи Пушкина, выказываютъ ему дружеское свое участіе непомѣрнымъ восхваленіемъ его, и оказываютъ ему чрезъ то вражескую услугу, ибо способствуютъ къ затмѣнію его головы и признанію себя отличнымъ писателемъ, между тѣмъ, какъ онъ, въ сущности, только слабый подражатель не совсѣмъ почтеннаго образца — лорда Байрона". Вотъ почему графъ и находилъ, что Пушкинъ только въ какой-либо другой губерніи могъ-бы найти менѣе опасное для него общество и болѣе времени для усовершенствованія своего возникающаго таланта.

¹⁾ Первые произведенія Пушкина оцѣнивались дѣйствительно очень дурно: за Кавказскаго плѣнника получилъ онъ всего 500 рублей и одинъ печатный экземпляръ поэмы! ²⁾ Аняншюв. Матеріалы, стр. 93.

Къ несчастію Пушкина, это представленіе графа Воронцова пришло въ то самое время, когда двѣ-три легкомысленныя строчки одного изъ его писемъ къ пріятелямъ обратили вниманіе московской полиціи на письмо, возбуждившее много толковъ. Пушкина сочли неисправнымъ, уволили въ отставку и рѣшили выслать въ имѣніе его родныхъ, въ Псковскую губ., и подчинить тамъ надзору мѣстныхъ властей, „принявъ на счетъ казны издержки его путешествія до Пскова“. И вотъ, 30 іюля 1824 г., Пушкинъ уже выѣхалъ изъ Одессы на Сѣверъ, получивъ 389 р. прогонныхъ денегъ и 140 р. недоданнаго ему жалованья. Онъ обязанъ былъ подпискою слѣдовать до мѣста своего назначенія черезъ Николаевъ, Елисаветградъ, Кременчугъ, Черниговъ и Витебскъ, нигдѣ не останавливаясь на пути.

Пушкинъ, прощаясь съ Югомъ Россіи, написалъ свое превосходное лирическое стихотвореніе—„къ Морю“, въ которомъ вспомнилъ и о другомъ пѣвцѣ, также воспѣвшемъ море—о Байронѣ. Биографъ Пушкина совершенно справедливо замѣчаетъ, что въ этомъ стихотвореніи Пушкинъ прощается съ Байрономъ, котораго вліяніе на Пушкина, начиная съ этого времени, замѣтно ослабѣваетъ. На прощанье, Пушкинъ „посвящаетъ ему дань удивленія, послѣднюю свою пѣсню. Другое направленіе, другое развитіе ожидали его въ Михайловскомъ“.

Пушкинъ пріѣхалъ въ Михайловское 9 авг. 1824 г. и самъ замѣчаетъ (въ VIII гл. Евг. Онѣгина)

...И былъ печаленъ мой пріѣздъ
Въ далекій сѣверный уѣздъ...

Пріѣздъ былъ точно печаленъ. Послѣ первыхъ измѣній радостной встрѣчи, трусливому отцу Пушкина и легко-воспламеняющейся его супругѣ сдѣлалось страшно за самихъ себя и за остальныхъ членовъ семьи своей, при мысли, что въ средѣ ихъ находится опальный человѣкъ, преслѣдуемый властями. Дурное мнѣніе властей принято

было родителями Пушкина за указаніе, какъ слѣдуетъ имъ самимъ думать о сынѣ: явленіе не рѣдкое въ русскихъ семьяхъ того времени...

Къ этому присоединилась еще другая, болѣе печальная подробность. Начальникъ края, маркизъ Пауллуччи, поручилъ уѣздному Опочецкому предводителю дворянства, г. Пещурову — пригласить отца Пушкина принять на себя надзоръ за поступками сына, общая, въ случаѣ его согласія, воздержаться, съ своей стороны, отъ назначенія всякихъ другихъ за нимъ наблюдателей. Легкомысленный и вмѣстѣ трусливый Сергѣй Львовичъ не только не отказался отъ этого щекотливаго порученія, но даже слишкомъ добросовѣстно и неуклюже принялся за буквальное исполненіе желанія начальника края. Онъ сталъ слѣдить за сыномъ, какъ за 15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ, распечатывать и читать его письма, воспрещать сестрѣ и брату сношенія съ Александромъ Сергѣевичемъ—„aves se monstre, se fils dénaturé“,—а когда Александръ Сергѣевичъ, возмущенный этимъ способомъ дѣйствій, сталъ противиться ему всѣми мѣрами,—отецъ рѣшился даже изводить на него обвиненія въ небывалыхъ поступкахъ. Тогда Пушкинъ, желая во что бы то ни стало избавить себя отъ опеки отца, обратился къ Жуковскому, и только при его заступничествѣ тягостное положеніе поэта въ Михайловскомъ измѣнилось къ лучшему. Слабодушный Сергѣй Львовичъ махнулъ на „чудовище“ рукою, отказался отъ всякихъ сношеній съ нимъ и уѣхалъ (въ октябрѣ 1824 г.) изъ Михайловскаго, и надзоръ за поэтомъ снова перешелъ къ Опочецкому предводителю, да сверхъ того, для религіознаго его руководствованья назначенъ былъ настоятель сосѣдняго Святгорскаго монастыря, простой, добрый монахъ, который отъ времени до времени и навѣщалъ поэта.

Однакоже, вскорѣ послѣ того, посѣщенія друзей⁴⁾, пріѣзжавшихъ навѣщать изгнанника-поэта въ его уединеніи, знакомство съ

⁴⁾ Прежде всѣхъ посѣтилъ его одинъ изъ лицейскихъ товарищей его кн. А. М. Горчаковъ (нынѣ канцлеръ, министръ иностранныхъ дѣлъ), затѣмъ пріѣхалъ (лѣтомъ 1825 г.) бар. Дельвигъ, съ которымъ поэтъ въ теченіе всей жизни былъ связанъ тѣснѣйшими узами дружбы; осенью, того же года, заѣхалъ къ нему другой товарищъ по Лицею, Пущинъ, который и оставилъ слѣдующее любопытное описаніе помѣщенія Пушкина въ его Михайловскомъ домикѣ:

...«Я нашелъ его въ единственной жилой комнатѣ стараго деревяннаго дома; одна комната съ

милыми сосѣдами, въ особенности съ семействомъ П. А. Осиповой, которое жило въ селѣ Тригорскомъ, въ двухъ верстахъ отъ Михайловскаго, и постоянный трудъ осенней поэтической дѣятельности — все это вмѣстѣ благоприятно подѣйствовало на поэта и прекрасно отразилось на его произведеніяхъ, принадлежащихъ этой эпохѣ.

Языковъ, въ двухъ своихъ произведеніяхъ, вспоминаетъ подробно о Тригорскомъ, въ которомъ онъ провелъ цѣлое лѣто съ Пушкинымъ, и, бойко, очерчивая личность Пушкина, живо передавая намъ впечатлѣніе своихъ тогдашнихъ отношеній къ поэту, отчасти знакомитъ насъ даже съ содержаніемъ тѣхъ бесѣдъ, которыя такъ тѣсно сблизили поэтовъ.

И часто вижу я во снѣ:
И три горы и доль красивый,
И свѣтлой Сороты извивы
Златаго мѣсяца въ огнѣ,
И тамъ у берега, тѣнь ивы,
Пріютъ прохлады, нѣ лѣтній зной
Наяды помочь продувной;
И тѣ отлогости, тѣ нивы,
Изъ за которыхъ въ далекѣ,
На ворономъ аргамакѣ,
Заморской шляпою покрытый
Спѣша въ Тригорское, одинъ
Вольтеръ и Гёте, и Расинъ —
Являлся Пушкинъ знаменитый,
И ту площадку, гдѣ въ тѣни,
Насъ нѣжила, насъ веселила
Вина чарующая сила,
Оселоу сердца и души,
И все божественное лѣто,
Которое изъ рода въ родъ,
Какъ драгоценность, перейти:
Зане Языковъ возпитанъ!..¹⁾

Огнемъ стиховъ ознаменуя
Тѣ достохвалныя края,

Гдѣ и когда мы — ты да я —
Два сына Руси православной,
Поставили своею правдою
Нашъ поэтический союзъ.
Пророкъ изыщяго! Забуду-ль,
Какъ волновалася во мнѣ,
На самой сердца глубинѣ,
Восторговъ племенная удаля,
Когда могущественный ромъ
Съ плодами сладостной Мессимы,
Съ нежного сахаромъ, съ виномъ,
Переработанный огнемъ,
Лился въ бокалы-исполины;
Какъ мы, бывало, пьемъ да пьемъ —
Творишь обѣты нашей Гебѣ,
Зовемъ свободу въ нашу Русь —
И я на вѣтъ, я на небѣ!
И славою пращавъ горжусь!
Мнѣ утѣшительно доселѣ,
Мнѣ весело воспоминать,
Сію поэзію во хмѣлѣ,
Ума и сердца благодать —
Теперь, когда Парнасса воды
Хвостовы черпаютъ на оды...²⁾



Монограмма Пушкина.

Въ Михайловскомъ были написаны Пушкинымъ IV, V и VI главы „Евгенія Онегина“, и окончательно отдѣлана для печати поэма Цыганы, написанная гораздо ранѣе; здѣсь же начать и кончить былъ Борисъ Годуновъ, составляющій эпоху въ исторіи развитія поэтической дѣятельности Пушкина и въ самой исторіи русской драмы. Сверхъ всего этого, запасъ поэтическаго матеріала, который былъ постоянно и тщательно соби-

ширами служила Пушкину спальней, столовой и рабочимъ кабинетомъ; всѣ другія оставались закрытыми и непопеченными. Только на другой половинѣ, черезъ стѣнной корридоръ, раздѣлявшій домъ, являлся еще жилую, просторную комнату, царство няини поэта, которая тутъ учила и муштровала толпу швей и ткачихъ, засажженныхъ за эти работы старыми господами.

Наконецъ, все лѣто 1826 года провелъ Пушкинъ въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ Языковымъ, гостившимъ въ Тригорскомъ.

¹⁾ Курсивомъ напечатаны названія мѣстностей Тригорскаго, особенно любимыхъ Пушкинымъ.

²⁾ На это отвѣтомъ было извѣстное посланіе Пушкина къ Языкову: Языковъ, кто тебѣ внушилъ и т. д.

раемъ Пушкинымъ, обогатился множествомъ такихъ образовъ, которые мы потомъ находимъ въ основѣ замѣчательнѣйшихъ его произведеній. Вообще говоря, по богатству поэтической производительности, съ этимъ пребываніемъ поэта въ Михайловскомъ можно сравниться только періодъ его пребыванія въ Болдинѣ (въ 1831 году). Особенное вліяніе на поэта оказывала въ это время та простая народная почва, съ которой онъ впервые успѣлъ сойтись такъ близко, лицомъ къ лицу, и за изученіе которой онъ принялся съ особеннымъ, весьма понятнымъ жаромъ. Изученіе это было для него въ значительной степени облегчаемо его нянею, Ариной Родіоновной, которая жила съ нимъ въ Михайловскомъ и которой онъ, въ своихъ поэтическихъ воспоминаніяхъ объ этой порѣ своей жизни, посвятилъ столько теплыхъ душевныхъ строкъ. Біографъ Пушкина замѣчаетъ, что няня Пушкина была „посредницею въ его сношеніяхъ съ Русскимъ сказочнымъ міромъ, руководительницею его въ узнаніи поѣрьевъ, обычаевъ и самыхъ приемовъ, съ какими народъ подходитъ къ вымыслу и поэзіи“. Всѣ сказки, напечатанныя Пушкинымъ, при жизни, начиная отъ сказки „о Царѣ Салтанѣ“ и до сказки „о Рыбакѣ и рыбкѣ“, и всѣ простонародныя разсказы¹⁾ отысканные послѣ смерти Пушкина въ его бумагахъ, выходили несомнѣнно изъ одного общаго источника — изъ разсказовъ Арины Родіоновны, которые Пушкинъ записалъ въ своихъ черновыхъ тетрадяхъ. Осенью 1824 года самъ Пушкинъ писалъ къ брату своему изъ деревни: „знаешь ли мои занятія? До обѣда пишу записки, обѣдаю поздно, послѣ обѣда ѣзжу верхомъ, вечеромъ слушаю сказки и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія²⁾. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма“... Впрочемъ, мало по малу, собраніе памятниковъ народной словесности, наблюденіе и тонкое, глубокое изученіе народной рѣчи сдѣлались для Пушкина одною изъ живѣйшихъ потребностей, однимъ изъ любимѣйшихъ занятій. Впослѣдствіи Пушкинъ и самъ былъ ревностнымъ собирателемъ сокровищъ: около 1830 г. Пушкинъ доставилъ извѣстному

нашему собирателю народныхъ русскихъ пѣсенъ, Н. В. Кирѣевскому, замѣчательную тетрадь пѣсенъ, собранныхъ имъ въ Псковской губерніи.

Но это тщательное изученіе народности, плодомъ котораго явилось впослѣдствіи столько превосходныхъ произведеній Пушкина, было далеко не исключительнымъ занятіемъ поэта во время его пребыванія въ Михайловскомъ (въ 1824—1826 гг.): — онъ чрезвычайно много и постоянно работалъ и въ это время, какъ и въ предшествовавшіе годы, надъ своимъ образованіемъ, тщательно слѣдя за всѣми новѣйшими явленіями въ области иностранной и русской литературы. Еще на Югѣ успѣлъ онъ выучиться итальянскому и англійскому языку, и съ особенною страстью принялся собирать книги, изъ которыхъ впослѣдствіи образовалась его великолѣпная бібліотека; этимъ собираніемъ книгъ онъ еще ревностнѣе занимался въ Михайловскомъ: часто, зарываясь въ книгахъ, онъ исцещралъ ихъ бѣглыми замѣтками своими, и въ то же время, пополняя свои тетради множествомъ выписокъ, свидѣтельствующихъ о его замѣчательной, обширной и разнообразной начитанности. Болѣе всего занимали Пушкина въ это время вопросы литературные, выразившіеся въ современной ему журналистикѣ нескончаемымъ споромъ о значеніи романтизма и его отношенія къ классицизму; результатомъ его сочувствія этому спору и частыхъ размышленій о сущности романтизма было конечно то подробное и близкое знакомство съ Шекспиромъ, которое окончательно освободило Пушкина отъ всякой возможности вліянія со стороны Байрона.

Другою существенною стороною занятій Пушкина, около этого же времени, являлось изученіе памятниковъ историческихъ, касающихся собственно исторіи Смутаго времени, которымъ онъ сильно увлекался, какъ поэтъ, видѣвшій въ этой эпохѣ много красокъ, жизни и движенія. И вотъ, удивившись, съ одной стороны, что „нашему театру приличны народныя законы драмы Шекспировской, а не свѣтскій обычай трагедій Расина“; а съ другой стороны, болѣе и болѣе увлекаясь драматизмомъ такой эпо-

¹⁾ Напр. «пѣсня о медвѣдицѣ» или: Свѣтъ Иванъ, какъ пить мы станемъ?...²⁾ Поэтъ намекаетъ здѣсь на его французскій характеръ.

ки, какъ Смутное время, Пушкинъ создаѣтъ въ 1825 г., любимѣйшее изъ произведеній своихъ — „Бориса Годунова“. Объ этой драматической хроникѣ писалъ онъ самъ вскорѣ послѣ того, какъ ее окончилъ... „хотя я вообще довольно равнодушенъ къ успѣху или неудачѣ моихъ сочиненій, но, признаюсь, неудача Бориса Годунова будетъ мнѣ чувствительна... Какъ Монтань, я могу сказать о моемъ сочиненіи „с'est une oeuvre de bonne foi“. Писанная мною въ въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свѣта, плодъ добросовѣстныхъ изученій, постоянного труда, трагедія сія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее убѣжденіе, что мною употреблены были всѣ усилія, наконецъ — одобреніе малаго числа избранныхъ... мнѣніемъ которыхъ дорожу“. И дѣйствительно, Пушкинъ писалъ Бориса Годунова, по его собственному выраженію, „оставшись въ деревнѣ одинъ съ явной своей трагедіей“, и писалъ онъ ее, создавая такъ быстро, такъ цѣльно, какъ еще не приходилось ему ничего создавать до этого времени. Самъ Пушкинъ указываетъ на это въ одномъ изъ своихъ писемъ: „я пишу и вмѣстѣ думаю. Большая часть сценъ требовала только обсужденія. Когда приходилъ я къ сценѣ, требовавшей уже вдохновенія, я или переживалъ, или просто пересказывалъ черезъ нее. Этотъ способъ работать для меня совершенно новъ. Я знаю, что силы мои развились совершенно и чувствую, что могу творить...“

Въ какой степени силы Пушкина въ это время развились, видимъ мы изъ другого письма его, въ которомъ Пушкинъ объясняетъ, какъ былъ написанъ „Графъ Нулинъ“.

„Въ концѣ 1825 г. находился я въ деревнѣ“—пишетъ онъ—„и перечитывая Лукрецію, довольно слабую поему Шекспира, подумалъ: что, еслибъ Лукреція припла въ голову мысль дать пощечину Тарквинію?.. Мысль, пародировать исторію и Шекспира, мнѣ представилась; я не могъ воспротивиться двойному искушенію и въ два утра написалъ эту повѣсть (т. е. „Графа Нулина“).

Отличительною чертою этого періода полной зрѣлости таланта Пушкина является

тотъ поворотъ на дорогу реальнаго, живого и естественнаго изображенія характеровъ и явленій жизни, который составляетъ важнѣйшую заслугу Пушкина, хотя и внесенъ былъ окончательно въ литературу, нѣсколько позже, другимъ писателемъ-художникомъ — Гоголемъ. Еще до переселенія своего въ Михайловское, собирався издавать въ свѣтъ своихъ „Братьевъ-Разбойниковъ“, Пушкинъ писалъ къ одному изъ друзей своихъ объ этомъ произведеніи. „Если звуки: „харчевня, острогъ“... не испугаютъ нѣжныхъ ушей читательницъ, то напечатать его. Впрочемъ, чего бояться читательницъ? Ихъ нѣтъ и не будетъ на Русской землѣ, да и жалѣть не о чемъ...“ Простота его романа „Евгеній Онѣгинъ“, шутиливый, веселый и легкій тонъ его, всѣхъ поразили своею новостью и необычайностью въ поэтическомъ произведеніи; даже и между друзьями Пушкина находились люди, осуждавшіе его за это и почитавшіе подобный тонъ неумѣстнымъ. Пушкинъ защищалъ свой романъ во многихъ письмахъ къ друзьямъ. „Мнѣ пишутъ много объ Онѣгинѣ“ — сообщаетъ онъ одному изъ своихъ друзей—„скажи имъ, что они неправы. Ужели хотѣтъ изгнать все легкое и веселое изъ области поэзіи? Куда же дѣнутся сатиры и комедіи?... Это немного строго. Картина свѣтской жизни также входитъ въ область поэзіи“...

Правильно и просто относясь къ дѣйствительности, Пушкинъ, на томъ же основаніи, замѣчалъ, что писатель заблуждается, если, „придумавъ какой нибудь характеръ, старается высказать его въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ“... если заставляетъ злодѣя говорить: „дайте мнѣ пить“ — какъ злодѣя... Ему была противна всякая напыщенность, всякій „придуманный лаконизмъ и непрерывная ярость“, потому что все это было „далеко отъ природы“. И, первый изъ русскихъ писателей, Пушкинъ рѣшился положить строгое изученіе историческаго матеріала, какъ изученіе дѣйствительности, въ основу одного изъ лучшихъ своихъ произведеній. Онъ самъ говорилъ объ этомъ съ особеннымъ удовольствіемъ и сознаніемъ своего достоинства. „Изученіе Шекспира, Кларизина и старыхъ нашихъ лѣтописей, даю мнѣ мысль оживить въ драматическихъ формахъ одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новѣйшей исторіи. Шекспиру подражалъ я

въ зольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ; Карамзину слѣдовалъ я въ свѣтскомъ развитіи происшествій; въ лѣтописяхъ старался угадать образъ и языкъ тогдашняго времени“.

Особенно ясно выразилось сочувствіе Пушкина къ этому повому, реальному направленію поэтическаго творчества, въ его письмѣ къ издателямъ „Русскаго Инвалида“, писанномъ тотчасъ по выходѣ въ свѣтъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“: „Сейчасъ прочелъ Вечера близъ Диканьки. Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами, какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я доселѣ не образуился... Ради Бога возьмите сторону (автора), если журналисты, по своему обыкновенію, нападутъ на неприличіе его выраженій, на дурной тонъ и проч. Пора, пора намъ осмѣять les précieuses ridicules нашей словесности, людей толкующихъ вѣчно о прекрасныхъ читательницахъ, которыхъ у нихъ не бывало, о высшемъ обществѣ, куда ихъ не просятъ, и все это слогомъ камердинера профессора Третьяковского“.

Въ то время, когда Пушкинъ докончилъ своего „Бориса Годунова“ и успѣлъ уже выдать въ свѣтъ начало „Евгенія Онегина“, возбуждавшаго столько разнорѣчивыхъ толковъ; въ то время, когда онъ находился на верху возможной литературной славы,—неожиданно для него наступилъ конецъ его долгаго изгнанія. Вотъ, что рассказываетъ намъ объ этомъ событіи одна изъ обитательницъ Тригорскаго:

„1-го и 2-го Сентября 1826 года Пушкинъ былъ у насъ (въ Тригорскомъ); погода стояла прекрасная, мы долго гуляли; Пушкинъ былъ особенно веселъ. Часу въ 11-мъ вечера, сестры и я проводили Александра Сергѣевича по дорогѣ въ Михайловское... Вдругъ, рано, на развѣтѣ, является къ намъ Арина Родионовича—няня Пушкина. Это была старушка чрезвычайно почтенная,—лицомъ полная, вся сѣдая, страстно любившая своего питомца. Бывала она у насъ въ Тригорскомъ часто;... на этотъ разъ она прибѣжала вся запыхавшись; сѣдые волосы ея безпорядочными космами спадали на лицо и плечи; бѣдная няня плакала на взрыдъ....

Изъ распросовъ оказалось, что вчера вечеромъ, незадолго до прихода Александра Сергѣевича, въ Михайловское прискакалъ какой-то не то офицеръ, не то солдатъ (впоследствии оказалось фельдъегеръ)... Онъ объявилъ Пушкину повелѣніе немедленно ѣхать вмѣстѣ съ нимъ въ Москву. Пушкинъ успѣлъ только взять деньги, накинуть шинель и черезъ полчаса его уже не было.“

„Я полагаю, милостивая государыня“, — писалъ тотчасъ послѣ этого Пушкинъ къ П. А. Осиповой съ дороги — „что мой быстрый отъѣздъ съ фельдъегеремъ удивилъ всѣхъ васъ столько же, сколько и меня. Дѣло въ томъ, что безъ фельдъегеря ничего не дѣлается; мнѣ дали его для безопасности. Впрочемъ, послѣ весьма любезнаго письма ко мнѣ отъ барона Дибича, мнѣ остается только гордиться. Ёду прямо въ Москву, гдѣ надѣюсь быть 8-го числа сего мѣсяца, и лишь только буду свободенъ, возвращусь какъ можно скорѣе въ Тригорское, къ которому отнынѣ и всегда привязано мое сердце“.

Привезенный съ фельдъегеремъ въ Москву, Пушкинъ былъ немедленно представленъ Императору Николаю I, объяснился съ нимъ искренно, съ замѣчательною откровенностью отвѣчалъ на всѣ его вопросы и получилъ разрѣшеніе на пребываніе въ Москвѣ (а подъ конецъ зими—другое, на вѣздѣ въ Петербургъ). Императоръ замѣтилъ ему, что онъ самъ „берется быть цензоромъ его сочиненій“. Сохранилось преданіе, что въ тотъ же вечеръ, увидавъ на балу графа Д. Н. Блудова, Императоръ подозвалъ его къ себѣ и сказалъ ему: „Сегодня я говорилъ съ умнѣйшимъ человекомъ въ Россіи“...

Зиму 1826—1827 года Пушкинъ провелъ въ Москвѣ; весною потомъ побывалъ въ Петербургѣ, и уѣхалъ на лѣто въ Михайловское.

Отсюда, лѣтомъ 1827 г., онъ уже снова писалъ П. А. Осиповой: „Неглѣпость и глупость обѣихъ нашихъ столицъ равносильна, хотя и различна, и такъ какъ я стараюсь быть безпристрастнымъ, то если бы мнѣ предоставленъ былъ выборъ между обоими городами, я избралъ бы Тригорское, подобно арлекину, который на вопросъ, что онъ предпочитаетъ — „быть колесованнымъ или повѣшеннымъ?“ отвѣчалъ: „я предпочитаю молочный супъ“.

Не смотря на это, зима 1827 — 1828 была опять проведена въ переѣздахъ изъ сто-

лицы въ столицу, среди шума и развлеченій большого свѣта, которые снова привлекли Пушкина и даже сильно занимали его въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ его жизни, менѣе всего важныхъ въ его литературной дѣятельности.

Въ Январѣ 1828, онъ снова пишетъ въ Триторское: „Для меня шумъ и суэта петербургской жизни дѣлаются все болѣе и болѣе несносными, и я съ трудомъ ихъ переносу. Я предпочитаю вашъ прекрасный садъ и прелестный берегъ Сороти; видите, милостивая государыня, что настроеніе мое еще поэтично, не смотря на гадкую прозу моей настоящей жизни“.

Въ теченіе этого времени, Пушкинъ возобновилъ свои старыя связи съ большимъ свѣтомъ и завелъ много новыхъ, болѣе и болѣе отвлекавшихъ его отъ той скромной и одинокой, но за то и независимой доли, которою судьба надѣлила его въ ранней юности, и которой онъ былъ несомнѣнно обязанъ могучимъ развитіемъ гения. Эти новыя связи часто оказывали даже и несомнѣнно вредное вліяніе на поэтическую дѣятельность Пушкина, выпуждая его заниматься такими вопросами, къ разрѣшенію которыхъ онъ вовсе былъ неподготовленъ, не чувствовалъ въ себѣ влеченія, и вѣроятно всего, на имѣлъ даже способности. Достаточно будетъ здѣсь припомнить, наприимѣръ, то обстоятельство, что по пріѣздѣ въ Москву, въ 1826 г., Пушкинъ ни съ того, ни съ другого, по порученію высшаго начальства принимается за составленіе какого-то разсужденія „о воспитаніи юношества“. Само собою разумѣется, что разсужденіе вышло очень слабо, а главное, что оно оказалось совершенно несоотвѣтствующимъ тому, чего отъ разработки этой темы ожидало высшее начальство. Пушкинъ въ своемъ разсужденіи рѣшился поддерживать, что „просвѣщеніе и гений служатъ исключительно основаніемъ совершенству“, и поставлено было ему на видъ, что „это есть правило невѣрное; ибо при семъ упущены изъ виду нравственные качества и, наконецъ примѣрное служеніе, усердіе, которыя должно предпочесть просвѣщенію неопытному, безнравственному и бесполезному“¹⁾. Пушкину пришлось, конечно, изви-

ниться неопытностью въ дѣлѣ сужденія о предметѣ, который „дотошъ никогда не занималъ его мыслей, и просить позволенія заняться чѣмъ-либо болѣе ему близкимъ и извѣстнымъ“. Этотъ фактъ чрезвычайно важенъ въ біографическомъ отношеніи, и служитъ прямымъ указаніемъ на то, что уже съ 1826 года начались въ сознаніи и убѣжденіяхъ Пушкина тѣ колебанія, которыя, подъ вліяніемъ самыхъ многообразныхъ обстоятельствъ, черезъ три или четыре года потомъ, привели Пушкина сначала къ совершенному разладу съ самимъ собою, а потомъ и къ горькому разочарованію въ своихъ силахъ и значеніи... Не менѣе важенъ для біографа и тотъ фактъ, что наступившій, съ 1826 года, почти двухъ-лѣтній періодъ ослабленія творческой силы Пушкина ознаменовался для него поворотомъ къ прозѣ: лѣтомъ и осенью 1827 года, живучи въ деревнѣ, Пушкинъ написалъ большую часть первой своей исторической повѣсти (Арапъ Петра Великаго). Однакоже поэтическую, широкую и бурную натуру Пушкина еще не легко было тогда уложить въ тѣ узкія рамки, которые становились обязательными для большей части окружающихъ его современниковъ. Страсти играли въ немъ сильно, и часто, въ неудержимомъ своемъ порывѣ, разрушали всѣ преграды, полагаемыя имъ благоразуміемъ самого Пушкина, его друзей и доброжелателей. Вотъ почему, въ теченіе этого двухъ-лѣтняго бесплоднаго въ поэтическомъ отношеніи періода, проведеннаго среди шумныхъ развлеченій столичной жизни, внимательный біографъ не можетъ не замѣтить въ Пушкинѣ сильной внутренней борьбы, ознаменовавшейся въ его частной жизни самыми странными противоположностями, а въ его лирикѣ — непримиримыми противурѣчіями. Какъ часто переходилъ онъ въ это время отъ шумныхъ развлеченій свѣта и посѣщенія модныхъ салоновъ, къ самымъ горькимъ упрекамъ себѣ самому, и всю желчь своего презрѣнія изливалъ въ стихотвореніяхъ, превосходно изображавшихъ ничтожество и суетность шумѣвшей около него толпы; какъ часто предавался онъ самому необузданному разгулу и непрестаннымъ увлеченіямъ карточной игрою, поглощавшей большую часть весьма значитель-

¹⁾ См. Анненковъ: Матеріалы для біограф. Пушкина. I. стр. 174—5.

ныхъ средствъ, доставляемыхъ ему литературою; какъ часто и тревожно мѣнялъ онъ въ это время тонъ своей лирики, переходя отъ благонамѣренныхъ „стансовъ“ къ воспоминаніямъ о своихъ лицейскихъ товарищахъ, томившихся въ „краю чужомъ“ и „въ мрачныхъ пропастяхъ земли;“ какъ часто старался увѣрить себя въ томъ, что онъ не измѣнился отъ времени и лѣтъ, твердилъ себѣ:

Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынѣ я...

и потомъ вдругъ принимался клясть жизнь, какъ „даръ напрасный и случайный.“ Тревожное состояніе духа, овладѣвшее Пушкинымъ въ это время и оставившее глубокіе слѣды въ его лирикѣ, особенно конца 1828 года, выражалось еще и тѣмъ, что онъ какъ будто нигдѣ мѣста себѣ найти не могъ; странныя мысли приходили ему въ голову... При началѣ турецкой войны, онъ вдругъ заявляетъ желаніе участвовать въ открывшейся кампаніи—и, разумѣется, получаетъ отказъ. Послѣ этого страннаго заявленія, Пушкинъ по обыкновенію уѣзжаетъ на лѣто въ Михайловское, и здѣсь проводитъ нѣсколько очень скорбныхъ мѣсяцевъ... Къ этому времени относится между прочимъ его превосходная лирическая пѣсня: „Воспоминаніе“, которая заканчивается въ его тетрадахъ слѣдующими ненапечатанными при жизни поэта знаменательными стихами:

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пиратъ,
Въ безумствѣ гибельной свободы,
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ странахъ
Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ
На играхъ Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наноситъ холодный свѣтъ
Неотразимыя обиды.
И нѣтъ отрады мнѣ—и тихо предо мной
Встаютъ два призрака молодые,
Дѣтѣ тѣни милыя—два данныя судьбой
Мнѣ ангела, во дни былые.
И оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечемъ,
И стерегутъ... и истать мнѣ оба,
И оба говорятъ мнѣ мертвымъ языкомъ
О тайнахъ вѣчности и гроба! ¹⁾

Эта пѣсня, написанная въ Маѣ 1826 г., важна для біографа какъ выраженіе первой мысли поэта о смерти, впоследствии не рѣдко появляющейся въ стихотвореніяхъ Пушкина. Но въ это время смерть была еще далека и жизненныхъ силъ въ поэтѣ было такъ много, что онъ способенъ былъ забыть скорбное бездѣйствіе и сокрушенія свои въ пылу порыва нахлынувшей на него лихорадочной поэтической дѣятельности. Противъ всѣхъ своихъ обычаевъ, въ началѣ осени 1828, онъ вдругъ покидаетъ деревню, является въ Петербургъ, принимается здѣсь писать новую поэмую свою, „Полтаву“, и, въ теченіе одного октября мѣсяца, онъ оканчиваетъ ее, не выѣзжая изъ города. Сильное поэтическое вдохновеніе, овладѣвшее имъ въ это время, не покидаетъ его въ теченіе всей осени 1828 года, и до нѣкоторой степени дѣйствуетъ благотворно на его примиреніе съ самимъ собою. Тотчасъ по окончаніи Полтавы, Пушкинъ уѣзжаетъ въ деревню ²⁾ и здѣсь продолжаетъ Евгенія Онѣгина, пишетъ нѣсколько легкихъ лирическихъ пѣсень и забрасываетъ Дельвига шутивными письмами, въ которыхъ мило смѣется надъ своею литературною знаменитостію.

„Здѣсь мнѣ очень весело“—пишетъ Пушкинъ Дельвигу — „не знаю, долго ли останусь въ здѣшнемъ краю.... Сосѣди ѣздятъ смотрѣть на меня, какъ на собаку Муни-то—скажи это графу Хвостову.“... „Н. М. здѣсь повеселѣлъ и уморительно милъ. На дняхъ было сборище у одного сосѣда; я долженъ былъ туда пріѣхать. Дѣти его родственницы, балованные ребятишки, хотѣли непременно туда же ѣхать. Мать принесла имъ изюму и черносливу, и думала тихонько отъ нихъ убраться. Н. М. ихъ взбудоражилъ. Онъ къ нимъ прибѣжалъ: дѣти! дѣти! мать васъ обманываетъ; не ѣшьте черносливу, поѣзжайте съ нею. Тамъ будетъ Пушкинъ—онъ весь сахарный... его разрѣжутъ и всѣмъ вамъ будетъ по кусочку. Дѣти разревѣлись: „не хотимъ чернослива, хотимъ Пушкина.“ Нечего дѣлать, ихъ повезли, и онѣ обѣжались ко мнѣ, облизываясь; но увидѣвъ, что я не сахарный, а кожаный,—совсѣмъ онѣ

¹⁾ Строки эти очевидно потому не были напечатаны поэтомъ, что заключаютъ въ себѣ слишкомъ ясные біографическіе намеки; а Пушкинъ никогда не любилъ и не допускалъ подобныхъ намековъ въ свою поэтическую дѣятельность. ²⁾ Въ деревню Маленники, Тверской губ., принадлежавшую владѣльцамъ Тригорскаго, сосѣдкамъ Пушкина по Михайловскому.

пили "... „Здѣсь думаютъ" — пишетъ Пушкинъ въ другомъ письмѣ — „что я пріѣхалъ набирать строфы въ „Онѣгина" и страшаютъ мною, какъ буюю. А я ѣзжу на паромѣ и играю въ вистъ по восьми гривенъ робертъ..."

Еще въ 1829 году, Пушкинъ снова является въ Петербургъ; но имъ опять овладѣваетъ то мрачное и тревожное состояніе духа, которое всегда выражалось у него непосѣдливостью и жаждою физической дѣятельности. Онъ начинаетъ думать объ изданіи Бориса Годунова, и вдругъ, въ мартѣ, бросаетъ все, и быстро, неожиданно покидаетъ Петербургъ; а 16 мая является уже въ Георгіевскѣ, гдѣ и принимается за тѣ дорожныя записки свои, которыя гораздо позже стали извѣстны подъ заглавіемъ Путешествія въ Арзрумъ во время похода 1829 года. Впечатлѣнія, вынесенныя изъ этого похода и его поѣздки на Кавказъ, отразились и въ цѣломъ рядѣ мелкихъ его стихотвореній 1829 г. которыя опять къ концу года начинаютъ принимать мрачный, тоскливый оттѣнокъ; въ нихъ встрѣчается снова даже и мысль о возможности близкой кончины (напр. въ стихотвореніи: „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ").

Въ началѣ 1830 года, въ московскомъ обществѣ разнеслась вѣсть о той важной перемѣнѣ жизни, которая наступала для Пушкина. Вѣсть эта побудила одного изъ почитателей Пушкина обратиться къ нему съ анонимнымъ стихотвореніемъ слѣдующаго содержанія:

Олимпъ дѣвы вострепнулись,
Сердца ихъ въ горести сомкнулись
И гулъ ихъ вопли повторилъ:
«Поэтъ высокій, знаменитый
Взглянулъ на свѣтлыя ланиты —
И дѣвъ сердце покорилъ.
Не будетъ больше вдохновеній!
Не будетъ умственныхъ пареній!
Прошли свободныя часы и т. д.

Пушкинъ отвѣчалъ на это извѣстнымъ стихотвореніемъ: „О кто бы ни былъ ты, чье ласковое пѣнье" — И въ этомъ стихотвореніи подтвердилъ слухи о томъ, что онъ „возражается къ блаженству"... Дѣйствительно въ это время онъ былъ уже помолвленъ съ Натальей Николаевной Гончаровой и готовился къ женитьбѣ, къ тихимъ радостямъ семейной жизни, ко-

торыхъ желалъ и ожидалъ съ нетерпѣніемъ, послѣ своей бурной и тревожной молодости.

Въ концѣ гѣта 1830 года, мы уже застаемъ Пушкина на пути въ Нижегородскую губернію; онъ отправился туда для устройства своихъ дѣлъ передъ женитьбою; тамъ долженъ онъ былъ вступить во владѣніе села Болдина, нижегородскаго родового имѣнія, предоставленнаго ему отцомъ. Любопытны нѣкоторыя подробности, сообщаемыя Пушкинымъ объ этой поѣздкѣ въ его „Запискахъ":

...„На дорогѣ (въ Нижегородское имѣніе) встрѣтилъ Макарьевскую ярмарку, прогнавшую холерою. Бѣдная ярмарка! Она бѣжала, разбросавъ въ половину свои товары, не успѣвъ пересчитать свои барыши. Веротнѣе въ Москву казалось мнѣ малодушіемъ; я поѣхалъ далѣе, какъ, можетъ быть, случилось вамъ ѣхать на поединокъ, съ досадою и большою неохотою...

„Едва успѣлъ я пріѣхать (въ Болдино), какъ узнаю, что около меня опѣшляются деревни, учреждаются карантинныя. Я занялся моими дѣлами, пересчитывая Колриджа, сочиняя сказочки и не ѣздя по сѣдямъ. Между тѣмъ, начинаю думать о возвращеніи и беспокоиться о карантинѣ. Вдругъ (2-го октября) получаю извѣстіе, что холера въ Москвѣ... Я тотчасъ собрался въ дорогу и поскакалъ. Проѣхавъ 20 верстъ, ямщикъ мой останавливается: застава! Нѣсколько мужичковъ съ дубинками охраняли переправу черезъ какую-то рѣчку. Я сталъ спрашивать ихъ, и доказывалъ имъ, что вѣроятно гдѣ-нибудь да учрежденъ карантинъ, что не сегодня, такъ завтра на него паѣду, и въ доказательство предложилъ имъ серебряный рубль. Мужички со мною согласились, перевезли меня и пожелали многа гѣта"...

Но прорваться въ Москву Пушкину не удалось, и онъ снова долженъ былъ вернуться въ Болдино, гдѣ оставался еще почти три мѣсяца, и въ этомъ вынужденномъ уединеніи, среди тревожныхъ ожиданій разрывовъ и еще болѣе тревожныхъ порывовъ къ достиженію близкаго счастья, Пушкинъ выказалъ еще разъ такую громадную творческую силу, что самъ удивлялся своей производительности. Вотъ что писалъ онъ около этого времени къ друзьямъ своимъ:

„Посылаю тебѣ, баронъ“ — такъ писалъ онъ къ Дельвигу изъ Болдина — „вассальскую мою подать, именуемую цвѣтчною, по той причинѣ, что платится она въ ноябрѣ, въ самую пору цвѣтовъ. Доношу тебѣ, моему владѣльцу, что нынѣшняя осень была дѣтородна, и что коли твой смиренный вассалъ не околѣетъ отъ Сарацинскаго падежа, холерой именуемаго и занесеннаго къ намъ крестовыми воннами, т. е. бурлаками, то въ замѣкъ твою, „Литературной Газетѣ“, ¹⁾, пѣсни трубадуровъ не умолинуть круглый годъ. Я, душа моя, написалъ пропасть полемиическихъ статей, но не получалъ журналовъ, отсталъ отъ вѣка, и не знаю, въ чемъ дѣло“... „Живу въ деревнѣ, какъ въ островѣ, окруженный карантинными. Жду погоды, чтобы жениться и добраться до Петербурга: но объ этомъ не смѣю еще подумать“.

...„Скажу тебѣ за тайну“, — пишетъ нѣсколько позже Пушкинъ, къ другому своему другу — „что я въ Болдинѣ писалъ, какъ давно уже не писалъ. Вотъ что я привезъ сюда (т. е. въ Москву): двѣ послѣднія главы Онѣгина, соевѣтъ готовыхъ для печати; повѣсть, писанную октавами (Домикъ въ Коломнѣ); нѣсколько драматическихъ сценъ: Скупой Рыцарь, Моцартъ и Сальери, Пиръ во время чумы и Донъ-Жуанъ. Сверхъ того я написалъ около тридцати мелкихъ стихотвореній. Еще не все; написалъ я прозою (весьма секретное!) — пять повѣстей (повѣсти Бѣлкина) ²⁾.“ Не смотря однакоже на эту усиленную дѣятельность, душевное настроеніе поэта оставалось все же не слишкомъ свѣтлымъ, и будущее не представлялось ему въ радужномъ свѣтѣ. Въ отвѣтъ на присланный ему изъ Тригорскаго поздравленія и пожеланія, онъ писалъ:

„Сочувствовать счастью можетъ только очень безкорыстная и благородная душа; но счастье... это большое „можетъ быть“, какъ говорилъ Rabelais о раѣ или о вѣчности. Я—атеистъ, относительно счастья, я не вѣрю въ него, и только подлѣ моихъ добрыхъ и старинныхъ друзей начинаю колебаться въ моемъ безвѣрїи“.

Вскорѣ послѣ этого усиленнаго прилива творческой силы Пушкина, которымъ ознаменовалось пребываніе его въ Болдинѣ, поэтъ былъ въ Москвѣ обвиненъ съ Н. М. Гончаровой (18-го февраля 1834 г.) и до весны оставался въ Москвѣ съ молодою женой. Лѣто 1831 года Пушкинъ провелъ въ Царскомъ селѣ, въ близкихъ сношеніяхъ съ Жуковскимъ, съ которымъ вступилъ даже въ нѣкотораго рода поэтическое состязаніе, конечно весьма невыгодное для Жуковского. И Жуковский, и Пушкинъ въ это время обратились къ поэтической обработкѣ русскихъ сказочныхъ сюжетовъ, а потому вмѣстѣ издали книжку патріотическихъ стихотвореній, подъ названіемъ: „На взятіе Варшавы“. Тутъ напечатано было стихотвореніе Жуковского „Русская Слава“ и два стихотворенія Пушкина; „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинская годовщина“. Биографъ его замѣчаетъ по этому случаю, что „въ виду смущенной Европы и укрощенія польскаго мятежа въ предѣлахъ самой Имперіи Пушкинъ возвысилъ патріотическій голосъ, исполненный энергіи; съ Державина Россія не слыхала столь мощныхъ звуковъ“... ³⁾

Вскорѣ послѣ того, вѣроятно не безъ участія со стороны Жуковского, Пушкинъ былъ снова зачисленъ на службу въ вѣдомство Государственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, съ особенною высочайшею милостью — жалованьемъ по 5,000 р. въ годъ. „Эта милость“ — замѣчаетъ биографъ Пушкина — „была предчетою многочисленныхъ щедротъ и благодѣяній, излившихся потомъ какъ на самого поэта, такъ и на все семейство его“ ⁴⁾.

Зимой 1832 - 1833 года, Пушкинъ, въ послѣдніе шесть-семь лѣтъ охотно посвящавшій свое время изученію отечественной исторіи, воспользовался даннымъ ему отъ правительства разрѣшеніемъ, и ревностно принялся за работу въ архивахъ, сначала, кажется, безъ всякой опредѣленной цѣли, а потомъ преимущественно сосредоточивая свое вниманіе на изученіи Петровскаго времени. Случайно заинтересованный появившимися ему подъ руку бумагами о Пу-

¹⁾ Дельвигъ началъ съ 1830 г. издавать „Литературную Газету“. ²⁾ Въ этомъ замѣчательномъ перечнѣ своихъ болдинскихъ произведеній, Пушкинъ позабылъ „Лѣтопись села Горохина“.
³⁾ Анненковъ. Матеріалы, стр. 318. ⁴⁾ Тамъ же, стр. 316 и 318.

гачевскомъ бунтѣ, онъ и изъ нихъ извлекъ все, что показалось ему достойнымъ вниманія, и этимъ же занятіямъ Пугачевщиной обязанъ былъ канвою для своей повѣсти „Капитанская дочь“. Среди этихъ архивныхъ занятій, среди обязательныхъ отношеній той свѣтской жизни, которую Пушкинъ вынужденъ былъ вести, среди заботъ о пополненіи матеріальныхъ средствъ своихъ, Пушкинъ почти не успѣвалъ предаваться тому спокойному уединенію, которое было такъ необходимо для его поэтическаго вдохновенія. Хотя биографъ Пушкина и замѣчаетъ, что въ это время въ его портфеляхъ уже хранились почти совсѣмъ обдѣланные—Русалка и Дубровскийъ—однакоже мы знаемъ, что оба эти произведенія такъ и остались недоконченными въ портфеляхъ Пушкина и могли явиться уже только въ посмертномъ изданіи сочиненій... Гораздо болѣе всякихъ другихъ плановъ въ это время, волей и неволей, занимали Пушкина соображенія денежныя, потому что ему уже приходилось заботиться о будущности своей семьи. Приготовляя къ печати свою „Исторію Пугачевского бунта“ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, спѣша окончаніемъ Капитанской дочки, Пушкинъ собрался въ августѣ 1833 года посѣтить Оренбургъ и Казань, чтобы ознакомиться съ мѣстомъ дѣйствія этихъ обоихъ произведеній своихъ. Объѣздъ свой Пушкинъ совершилъ очень быстро и очевидно спѣшилъ возвратиться въ свое Болдино, потому, что какъ онъ писалъ съ дороги въ Петербургъ, „приемы и стихи не давали ему покоя въ кибиткѣ. Что же будетъ, когда очучусь дома и въ постелѣ?“—прибавлялъ Пушкинъ. И дѣйствительно, тотчасъ по приѣздѣ въ Болдино, Пушкинъ горячо предался своему вдохновенію: и въ теченіе одного октября мѣсяца написалъ сказку о Рыбакѣ и Рыбкѣ и поэму Мѣдный Всадникъ“. Вѣроятно здѣсь же были написаны имъ и нѣкоторыя изъ его лирическихъ произведеній, которыми 1833 годъ болѣе богатъ, нежели всѣ остальные годы жизни поэта.

По прибытіи въ Петербургъ, Пушкинъ представилъ свою „Исторію Пугачевского бунта“ на разсмотрѣніе начальства и за этотъ трудъ одновременно получилъ двѣ награды: 31 декабря 1833 г. онъ былъ

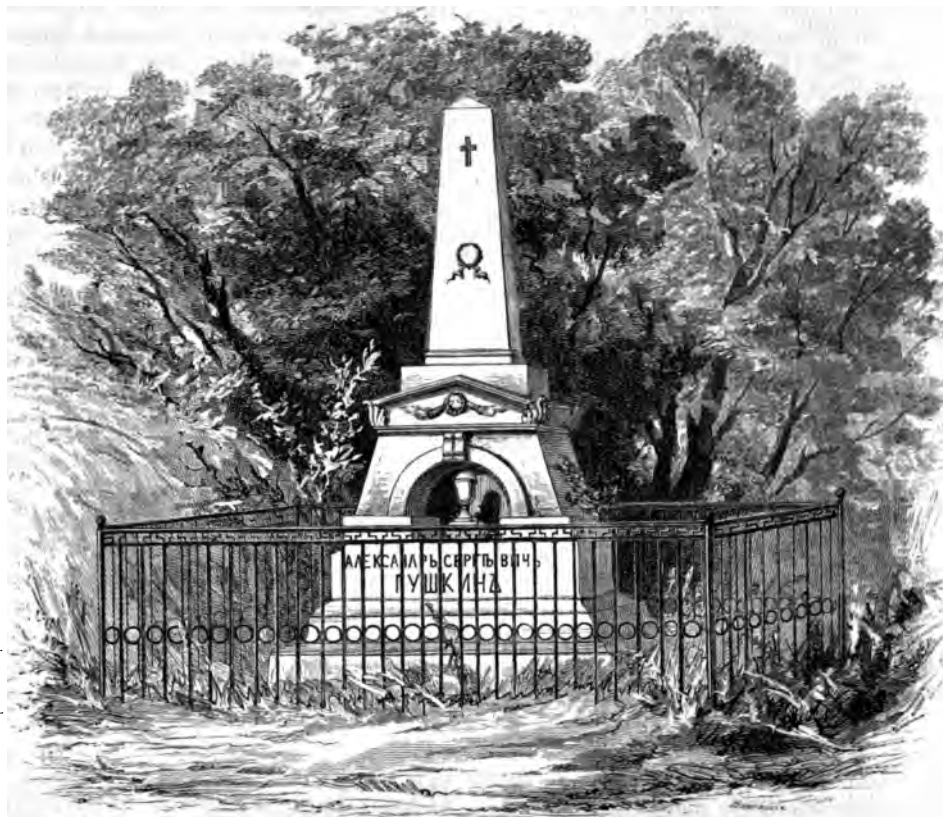
пожалованъ въ камеръ-юнкеры Двора Его Императорскаго Величества и на печатаніе книги дано ему заимообразно 20.000 руб. ассигн.

По видимому, Пушкинъ находился на верху своей славы, а притомъ и матеріальная обстановка его быта начинала быстро улучшаться. Литература въ эту пору уже доставляла ему такіа средства, какихъ до него не получалъ ни одинъ изъ нашихъ писателей... Но Пушкинъ едва-ли могъ быть доволенъ своимъ выгоднымъ положеніемъ литературнаго работника и поставщика повѣстей, въ родѣ „Пиковой дамы“ или разсказовъ, въ родѣ „Бирджалі“, въ журналъ Смирдина. Сомнѣваемся также, чтобы Пушкинъ могъ быть доволенъ своими учеными трудами, къ которымъ въ немъ не было положительно никакой способности, хотя онъ и занимался подготовленіемъ къ этимъ трудамъ весьма добросовѣстно. Еще болѣе можно сомнѣваться въ томъ, чтобы Пушкинъ, хотя и былъ друженъ съ Жуковскимъ, хотя даже и печаталъ вмѣстѣ съ нимъ патріотическія стихотворенія свои, способенъ былъ, подобно Жуковскому, также безмятежно и спокойно, съ одобреніемъ и сочувствіемъ, смотрѣть на совершавшуюся около него жизнь нашего общества... Онъ не могъ не замѣтить того, что условія его собственной жизни и положенія въ свѣтѣ оказывали неблагоприятное вліяніе на поэтическій даръ его, и долженъ былъ внутренно соглашаться съ тѣми, которые строго судили его, какъ поэта, когда видѣли, какъ онъ размѣниваетъ свой дивный талантъ на мѣдные деньги, и съ негодованіемъ указывали на его Домикъ въ Колоннѣ, какъ на признакъ приближающагося паденія его таланта... Но болѣе всего, вѣроятно, Пушкинъ тяготился тѣмъ множествомъ связей и отношеній, тѣмъ бытомъ, который онъ принужденъ былъ поддерживать и который такъ мало соответствовалъ его простымъ вкусамъ и пристрастію къ уединенной деревенской жизни, къ тѣсному кругу друзей, которые умѣли его понимать и знали ему цѣну. Недовольство собою и жизнью становится опять замѣтно въ Пушкинѣ, въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ его жизни, проведенныхъ имъ въ безпрестанныхъ разъѣздахъ, въ хлопотахъ и тревогахъ по устройству дѣлъ и въ какомъ то смутномъ, но часто и неотвязчиво возвра-

щавшемся предчувствіи близкаго расчета съ жизнью ¹⁾).

Одинъ изъ біографовъ Пушкина особенно подробно знакомитъ насъ съ тѣми непріятными семейными дразгами, въ которыя Пушкину пришлось погрузиться послѣ того, какъ онъ совершенно безкорыстно вызвался „за-

вился нѣкто Р., честный нѣмецъ, нѣкогда бывшій гувернеромъ въ семействѣ его друга Вульфа. Р., однако, лишь только ознакомился съ состояніемъ хозяйства болдинскаго, пришелъ въ ужасъ и бѣжалъ оттуда... Тутъ—неудача. Пушкинъ проситъ родителей поселиться, въ видахъ сокращенія расходовъ,



Могила Пушкина, въ Святогорскомъ Успенскомъ монастырѣ.

няться устройствомъ какъ собственныхъ, такъ и отцовскихъ дѣлъ. По усиленнымъ просьбамъ Сергѣя Львовича, онъ тогда взялъ на себя завѣдыванье и нижегородскимъ имѣніемъ. По просьбѣ Пушкина, туда отпра-

года на два-на три въ Михайловскомъ — отецъ сердится: ему, привыкшему проводить дни свои въ петербургскихъ гостиницахъ, представляется переселеніе на житье въ деревню дѣломъ постыднымъ и ужаснымъ. Съ

¹⁾ Въ одинъ изъ послѣднихъ своихъ пріѣздовъ въ Михайловское, Пушкинъ написалъ элегію Опять на родинѣ, въ которой, такъ подробно описывая дорогое и милое ему селцо, какъ будто прощается съ нимъ и со всѣмъ, что въ немъ пережито. Въ то же время сдѣлалъ онъ вкладъ въ Святогорскомъ Успенскомъ монастырѣ (въ трехъ верстахъ отъ Михайловскаго), и откупилъ себѣ мѣсто подъ могилу, рядомъ съ могилею матери.

Болдина нѣтъ доходовъ, и Сергій Львовичъ ворчить, что сынъ его грабитъ... Все это — печальныя подробности; но зная ихъ, невольно вѣришь лицамъ, близко знавшимъ Пушкина и его обстоятельства денежныя, семейныя и положеніе въ обществѣ, — вѣришь тому, что еще года за три, за четыре, до января 1837 г., надъ Пушкинымъ скоплялись всякаго рода невзгоды и все какъ бы толкало его подъ смертельную пулю...

„Вы не можете вообразить — пишетъ Пушкинъ къ г-жѣ Осиповой, отъ 29 июня 1835 — какъ тяготитъ меня управленіе этимъ имѣніемъ (Болдинымъ). Нѣтъ никакого сомнѣнія, что спасти Болдино необходимо, хотя бы только для Ольги и Льва, которымъ въ будущемъ предстоитъ нищенство, или, по крайней мѣрѣ, бѣдность. Но я и самъ не богатъ, я имѣю собственное семейство, которое зависить отъ меня и которое безъ меня впадетъ въ крайность. Я взялъ имѣніе, которое, кромѣ хлопотъ и непріятностей, ничего мнѣ не приноситъ. Родители мои и не знаютъ, что они шагахъ въ двухъ отъ разоренія; если бы они могли рѣшиться пробыть нѣсколько лѣтъ въ Михайловскомъ, дѣла могли бы поправиться; но этого никогда не будетъ“.

Особенно мрачнымъ и тяжкимъ разочарованіемъ, даже утомленіемъ жизнью звучатъ тѣ строки, которыя, осенью 1836 года, писалъ онъ въ Тригорское... Это было послѣднее письмо его къ г-жѣ Осиповой. Послѣ извѣстій о болѣзни матери, о жалкомъ положеніи отца и о тѣхъ грязныхъ великосвѣтскихъ сплетняхъ, которыя не давали покоя его женѣ, Пушкинъ прибавляетъ въ концѣ этого замѣчательнаго письма:

...„Я ошеломленъ и нахожусь въ сильнѣйшемъ раздраженіи. Повѣрьте мнѣ: жизнь, какая она ни на есть „пріятная привычка“, а все же заключаетъ въ себѣ горечь, которая дѣлаетъ ее подъ конецъ отвратительною. Свѣтъ — это гадкая лужа грязи. Мнѣ мило только Тригорское“.

Въ послѣдній годъ своей жизни, Пушкинъ приступилъ къ изданію журнала, въ которомъ главное мѣсто должно было принадлежать критикѣ: въ мартѣ 1836 г. одобренъ былъ цензурою первый номеръ пушкинскаго Современника. Нельзя не замѣтить, что

однимъ изъ важнѣйшихъ поводовъ къ изданію Современника послужила та особенная брезгливость, съ которою Пушкинъ давно уже, еще съ конца 20-хъ годовъ, сталъ относиться къ нашей журнальной критикѣ. Взгляды его въ этомъ отношеніи оказывались чрезвычайно отсталыми: „онъ сохранялъ, долѣе многихъ своихъ товарищей, основныя убѣжденія стараго члена литературныхъ обществъ; къ новому назначенію журнала, — при которомъ уже мало придавалось значенія мнѣнію кружка, а мнѣніе личное играло очень важную роль — Пушкинъ не могъ привыкнуть во всю свою жизнь. Съ первыхъ же признаковъ появленія этого новаго значенія журнала въ нашей журналистикѣ, Пушкинъ началъ свою систему рачитаннаго противодѣйствія, забывая иногда и то, что высказывалось по временамъ дѣланнаго и существеннаго его противниками, и постоянно имѣя въ виду только одно: возвратить критику въ руки малаго, избраннаго кружка писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довѣренностью публики“¹⁾. Но планы эти не сбылись: въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1836 года Пушкинъ выдалъ 4-ю и послѣднюю книжку Современника на этотъ годъ, а три мѣсяца спустя его уже не было въ живыхъ. 27 января 1837 года, Пушкинъ смертельно раненъ на поединкѣ барономъ Георгомъ Геккереномъ-Дантесомъ, привезенъ былъ на квартиру секунданта своимъ полковникомъ Данзасомъ, и черезъ два дня послѣ того (29 января), среди ужасныхъ мученій, скончался, окруженный друзьями своими и оплакиваемый всѣми.. Послѣднія минуты его жизни описаны Жуковскимъ въ письмѣ къ отцу его, Сергѣю Львовичу Пушкину. Жуковскому же поручено было, тотчасъ по смерти Пушкина, опечатать кабинетъ его и заняться тщательнымъ разборомъ оставшихся послѣ него бумагъ.

Тѣло Пушкина, согласно его волѣ, перевезено было въ Святогорскій Успенскій монастырь и положено въ ту могилу, которую онъ приготовилъ себѣ еще за годъ до смерти. Вскорѣ послѣ того надъ могилой былъ воздвигнутъ и памятникъ изъ бѣлаго мрамора... въ настоящее время, къ стыду всѣхъ русскихъ, давно забытый и быстро приближающійся къ разрушенію.

¹⁾ Аненковъ. Матерьялы, стр. 184, 431—32.

И. С. Тургеневъ пишетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ... „Пушкина мнѣ удалось видѣть за нѣсколько дней до его смерти, на утреннемъ концертѣ, въ залѣ Энгельгардъ. Онъ стоялъ у двери, опираясь на косякъ и, скрестивъ руки на широкой груди, съ недоброжелательнымъ видомъ поглядывалъ кругомъ. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканскія губы, оскаль бѣлыхъ, крупныхъ зубовъ, висячія бакенбарды, темныя желчныя глаза подъ высокими лбомъ почти безъ бровей, и кудрявыя волосы... Онъ и на меня бросилъ бѣглый взоръ: безцеремонное вниманіе, съ которымъ я уставился на него, производило, должно быть, на него впечатлѣніе непріятное: онъ словно съ досадой повелъ плечомъ—вообще онъ казался не въ духѣ, — и отошелъ въ сторону. Нѣсколько дней спустя, я видѣлъ его лежавшимъ въ гробу—и невольно повторялъ про себя:

Недвижимъ онъ лежалъ... И странно
Былъ томный миръ его чела...

Въ заключеніе нашего очерка, приведемъ тѣ нѣсколько прекрасныхъ строкъ, которыми біографъ Пушкина оканчиваетъ свой почтенный трудъ:

...„Общій голосъ уже прежде насъ опредѣлилъ значеніе поэзіи Пушкина, назвавъ ее исключительно - художественнымъ созерца-

ніемъ природы и человѣка. Мысль, что Пушкинъ приступалъ ко всѣмъ явленіямъ физическаго и нравственнаго міра, какъ къ предметамъ искусства, сдѣлалась у насъ общимъ мѣстомъ... „Изъ соединенія внутренней силы съ изяществомъ плановъ и всѣхъ очертаній родились поэтическія созданія его. Самый стихъ его, который, по общему, незаготовленному напередъ согласію, называется именемъ пушкинскаго стиха, выходитъ изъ того же сочетанія красоты и мощи; отсюда и право Пушкина на имя народнаго поэта, которое подтвердилъ онъ еще и другими качествами своими: ясностью всѣхъ своихъ представленій, прямыми, бодрыми взглядомъ на предметы и на жизнь... Многосторонность его поэзіи еще болѣе укрѣпляетъ за нимъ почетное названіе, присужденное ему общимъ голосомъ“...

„Крупная черта, отличающая Пушкина, отъ предшественниковъ, есть его близость къ дѣйствительной жизни, которая такъ превосходно соответствуетъ практическому смыслу, лежащему въ основѣ русскаго характера. Никогда не забывалъ онъ художественной идеализаціи, безъ которой нѣтъ изящныхъ произведеній; но онъ не имѣлъ понятія о той низшей идеализаціи, которая одной данной краской росписываетъ всѣ предметы,“...



Сельцо Михайловское.

XXXVII.

Ближайшіе послѣдователи Пушкинской школы въ поэзіи. — Дельвигъ. — Баратынскій. — Языковъ.

Можно утверждать положительно, что никому изъ русскихъ писателей не удалось произвести такого сильнаго переворота въ литературу, какъ Пушкину. Даже вліяніе Карамзина, громадное по своему значенію для современниковъ, не можетъ равняться съ тѣмъ вліяніемъ, которое оказывалъ Пушкинъ на нашу литературу двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, то увлекая молодыя силы къ подражанію различнымъ сторонамъ своей разнообразной Музы, то поощряя ихъ къ разработкѣ новыхъ, еще нетронутыхъ въ литературѣ вопросовъ, то безпристрастно ободряя и вызывая къ жизни сильные и оригинальные таланты, которые-бы, можетъ быть, никогда не рѣшились выступить на литературное поприще, если-бы не Пушкинъ выводилъ ихъ на свѣтъ изъ мрака неизвестности, и если-бы они не нашли себѣ дружной опоры и поддержки въ Пушкинскомъ кружкѣ. Произведенія Пушкина читались и переписывались во всѣхъ концахъ Россіи съ такимъ благоговѣніемъ и восторгомъ, заучивались и изучались съ такимъ рвеніемъ, въ такой степени становились необходимымъ элементомъ современной Русской образованности, что подъ непосредственнымъ вліяніемъ Пушкина выросло не одно, а нѣсколько послѣдовательно развившихся поколѣній... Къ началу 30-хъ годовъ Пушкинъ уже видѣлъ себя окруженнымъ массою новыхъ литературныхъ дѣятелей, развившихся и выросшихъ подъ вліяніемъ его плодотворной и неисчерпаемо-разнообразной поэтической дѣятельности.

Привѣтливый и снисходительный въ своихъ отношеніяхъ ко всѣмъ современнымъ литературнымъ дѣтелямъ (кромя нѣкото-

рыхъ Петербургскихъ и Московскихъ журналистовъ), Пушкинъ съ особеннымъ дружелюбіемъ и уваженіемъ относился къ тремъ современникамъ-поэтамъ: Дельвигу, своему товарищу по Лицею, Баратынскому и Языкову. Дружелюбіе свое къ этимъ тремъ представителямъ современной ему поэзіи Пушкинъ простираетъ даже до того, что несомнѣнно пристрастно относился къ ихъ произведеніямъ, ставя, напримѣръ, многія произведенія Баратынскаго и Языкова выше своихъ собственныхъ и придавая высокое значеніе каждому, даже и весьма незначительному стихотворенію или статейкѣ Дельвига, на судъ котораго онъ такъ охотно отдавалъ все, написанное имъ самимъ. Вотъ почему имена этихъ трехъ современниковъ-поэтовъ такъ тѣсно связались съ именемъ самого Пушкина, что говорить о немъ, не упоминая о нихъ, почти также невозможно, какъ, говоря о Дельвигѣ, Баратынскомъ и Языковѣ, не имѣть постоянно и въ памяти, и на языкѣ имя Пушкина... Онъ освѣтилъ ихъ блескомъ своей славы: они еще болѣе возвысили значеніе и славу Пушкина, отгнѣнивъ его поэтическую дѣятельность длиннымъ рядомъ яркихъ и разнообразныхъ произведеній своего поэтического творчества, и представляя собою лучшія силы той Пушкинской плеяды, среди которой онъ являлся главнымъ свѣтиломъ.

Баронъ Антонъ Антоновичъ Дельвигъ родился въ Москвѣ 6 августа 1798 г. По происхожденію онъ принадлежалъ къ одной изъ тѣхъ обширныхъ и старыхъ фамилій остзейскихъ бароновъ, которыя еще и въ настоящее время довольно распространены въ Остзейскомъ краѣ¹⁾. Нельзя не

¹⁾ Въ прошломъ году, случайно достался намъ въ руки слѣдующій автографъ письма, поданнаго Дельвигомъ или приготовленнаго имъ къ подачѣ на Высочайшее имя. Въ этомъ отрывкѣ онъ говоритъ объ

замѣтитъ здѣсь же, кстати, говоря о происхожденіи Дельвига, что онъ имѣлъ нѣкоторую слабость гордиться своею родовитостью; вѣроятно это и послужило для Пушкина поводомъ къ превосходному стихотворенію Черепъ (1827 г.), въ которомъ онъ такъ живо рисуетъ образъ одного изъ тѣхъ, кого Дельвигъ признавалъ своими предками:

Прими сей черепъ, Дельвигъ, онъ
Принадлежитъ тебѣ по праву,
Тебѣ повѣдаю, баронъ,
Его готическую славу.
Почтенный черепъ сей не разъ
Парами Вакха нагрѣвался;
Литовскій мечъ въ недобрый часъ
По немъ со звономъ ударялся;
Сквозь эту кость не проходилъ
Лучъ животворный Аполлона;
Ну, словомъ, черепъ сей хранилъ
Тяжеловѣсный мозгъ барона,
Барона Дельвига. Баронъ,
Конечно, былъ охотникъ славный,
Наѣздникъ, чаши другъ исправный,
Гроза вассаловъ и ихъ женъ...
Мой другъ, таковъ былъ вѣкъ суровый;
И предокъ твой крѣпкоголовый
Смутился-бъ рыцарской душой,
Когда-бъ тебя передъ собой
Увидѣлъ безъ одежды бранной,
Съ главою, миртами вѣнчанной,
Въ очкахъ, и съ лирой золотой.

Дельвигъ сошелся съ Пушкинымъ въ самой ранней юности, при вступленіи въ Лицей. Въ одинъ день держали они экзаменъ и оба выдержали его одинаково, въ числѣ плохихъ. Сближенію Пушкина съ Дельвигомъ — по справедливому замѣчанію его

біографа — много способствовало то обстоятельство, что въ числѣ 30 воспитанниковъ, принятыхъ въ Лицей, только они оба были пріѣзжіе, и оба изъ Москвы. Какъ началась ихъ дружба на лицейской скамьѣ, такъ и не прерывалась до гробовой доски. Единственная, дошедшій до насъ свѣдѣніи о дѣтствѣ и ранней юности



Дельвига сохранены намъ Пушкинымъ, который рассказываетъ въ своихъ запискахъ слѣдующее:

...Дельвигъ первоначальное образованіе получилъ въ частномъ пансіонѣ; въ концѣ 1811 года вступилъ онъ въ Лицей: Способности его развивались медленно. Память у него была тупа; понятія лѣнны. На 14-мъ

отцѣ евоємъ, занимавшемъ, повидимому, очень скромное общественное положеніе; подробности, сообщаемыя объ отцѣ, и доселѣ неизвѣстны, весьма любопытны:

«Вѣдственное положеніе семейства (sic) моего осмѣливаетъ меня просить великой мною не заслуженной помощи у Ваш. И. Вел. Покойный отецъ мой, Генералъ Маіоръ Баронъ Дельвигъ въ продолженіе сорока-лѣтней службы своей извѣстенъ былъ начальникамъ, подчиненнымъ и постороннимъ свидѣтелямъ безкорыстіемъ и точнымъ исполненіемъ на него возложенныхъ должностей. Двадцать лѣтъ, любимый начальниками и всѣмъ городомъ былъ онъ сперва плацъ-адъютантомъ, потомъ плацъ-маіоромъ въ Москвѣ. Мирные подвиги его до сихъ поръ въ ней помнятся. Значительнѣйшія вещи, занесенныя въ квартиру его французами во время достопамятнаго 1812 года, несмотря на высочайшее позволеніе считать ихъ своими, были имъ возвращены прежнимъ владѣльцамъ. Слишкомъ полтораста тысячъ рублей за нѣсколько дней до вторженія французовъ въ Москву, присланные неизвѣстно кѣмъ и безъ росписки отданные теткѣ моей, по причинѣ опасной болѣзни его, по выздоровленіи представлены имъ начальству...»

году онъ не зналъ никакого иностраннаго языка и не оказывать склонности ни къ какой наукѣ. Въ немъ замѣтна была только живость воображенія. Однажды издумалось ему разсказать нѣсколькимъ изъ своихъ товарищей походъ 1807 г., выдавая себя за очевидца тогдашнихъ происшествій. Его повѣствованіе было такъ живо и правдоподобно, и такъ сильно подѣйствовало на молодыхъ слушателей, что нѣсколько дней около него собирався кружокъ любопытныхъ, требовавшихъ новыхъ подробностей о походѣ. Слухъ о томъ дошелъ до нашего директора, А. Θ. Малиновскаго, который заохотѣлъ услышать отъ самого Дельвига разсказъ о его приключеніяхъ. Дельвигъ постыдился признаться во лжи, столь же невинной, какъ и замысловатой, и рѣшился ее поддерживать, что и сдѣлалъ съ удивительнымъ успѣхомъ, такъ что никто изъ насъ не сомнѣвался въ истинѣ его разсказовъ, покажѣсь онъ самъ не признался въ своемъ вымыслѣ. Будучи еще пяти лѣтъ отъ роду издумалъ онъ разсказывать о какомъ-то чудесномъ видѣніи и смутилъ имъ всю свою семью. Въ дѣтахъ, одаренныхъ игривостью ума, склонность ко лжи не мѣшаетъ искренности и прямотѣ. Дельвигъ, разсказывающій о таинственныхъ своихъ видѣніяхъ и о мнимыхъ опасностяхъ, которымъ будто бы подвергался въ обозѣ отца своего, никогда не лгалъ въ оправданіе какой нибудь вины, для избѣжанія выговора или наказанія“.

Учился Дельвигъ плохо и постоянно относился съ большою небрежностью къ различнымъ формальностямъ лицейскаго быта. Но вѣроятно ему слѣдуетъ, однакоже, приписать изобрѣтеніе той остроумной игры, о которой мы упоминали выше (на стр. 501). въ біографіи Пушкина, и отъ которой переходъ къ первымъ опытамъ литературнымъ былъ такъ естественъ и легокъ. Само собою разумѣется, что Дельвигъ былъ такимъ же усерднымъ вкладчикомъ лицейскихъ журналовъ, какъ и Пушкинъ, и когда, въ 1813 г., начальство Лицея воспретило въ стѣнахъ заведенія изданіе этихъ журналовъ, справедливо замѣчая, что ихъ составленіе, переписыванье и переплетанье очень много отнимаетъ времени у нѣкоторыхъ воспитанниковъ,—Дельвигъ одновременно съ Пуш-

кинымъ рѣшился печатать свои первые опыты въ современныхъ журналахъ. Первымъ печатнымъ опытомъ Дельвига была „Ода на взятіе Парижа“, помѣщенная имъ въ „Вѣстникъ Европы“ 1814 г. Пушкинъ сообщаетъ, что „первыми опытами Дельвига въ стихотворствѣ были подражанія Горацию. Оды его: къ Діону, къ Милетѣ, Доридѣ, писаны имъ на пятнадцатомъ году и напечатаны въ собраніи его сочиненій безъ всякой перемѣны“. При этомъ Пушкинъ удивляется тому, что „никто не обратилъ тогда вниманія на ранніе отпрыски столь прекраснаго таланта?“ Едва ли это можетъ удивлять послѣ всего того, что самъ Пушкинъ разсказываетъ намъ о характерѣ Дельвига, всегда державшагося въ сторонѣ, избѣгавшаго шумныхъ товарищескихъ игръ и предпочитавшаго „прогулки по аллеямъ Царскаго села и разговоры съ товарищами, конхъ умственныхъ склононости сходились съ его собственными“. Скромный и гнѣвный, неповоротливый Дельвигъ долженъ былъ оставаться незамѣтнымъ, рядомъ съ другими товарищами своими, ловкими, бойкими и умѣвшими кстати и во-время выказать свои блестящіе дарованія. Но, впрочемъ, склонность къ поэзіи, пробудившаяся въ Дельвигѣ такъ рано, заставила его стряхнуть съ себя ту неподвижность и лѣнь, которыя были, какъ кажется, скорѣе послѣдствіями его болѣзненнаго дѣтства, нежели свойствами его натуры; такъ напр. мы знаемъ, что въ Лицеѣ, кромѣ латинскаго и французскаго языка, Дельвигъ выучился и нѣмецкому, и въ противоположность Пушкину, который не любилъ ни нѣмецкаго языка, ни поэзіи, онъ пристрастился къ чтенію нѣмецкихъ поэтовъ и съ важнѣйшими изъ нихъ ознакомился еще на лицейской скамьѣ.

Вмѣстѣ съ Пушкинымъ Дельвигъ кончилъ курсъ въ Лицеѣ (въ числѣ плохихъ учениковъ) и также неохотно разставался съ Царскимъ селомъ и стѣнами Лицея, какъ Пушкинъ. На выпускномъ актѣ, какъ сообщаетъ намъ біографъ Дельвига ¹⁾, лицеисты пѣли сочиненную Дельвигомъ прощальную пѣснь Лицею, которая потомъ очень долго была необходимою принадлежностью всѣхъ лицейскихъ актовъ.

¹⁾ В. П. Гаевскій. См. статья его о Дельвигѣ, въ Современникѣ 1853—1854 гг.

Несмотря на то, что Дельви́гъ былъ чело́вѣкомъ недостаточнымъ, что на службу онъ долженъ былъ поступить по необходимости, тотчасъ послѣ выхода изъ Лицея (въ 1817 г.), онъ отнесся и къ службѣ также безпечно, какъ относился къ своимъ лицейскимъ обязанностямъ. Онъ, по самой натурѣ своей, представлялъ чистѣйшій типъ эпикурейца, довольнаго немногимъ, и выше всего на свѣтѣ ставилъ душевное спокойствіе; ему-то, при своемъ добродушіи, былъ одолженъ Дельви́гъ постоянно веселымъ и легкимъ своимъ настроеніемъ, которое дѣлало его чрезвычайно пріятнымъ и въ обществѣ, и въ товарищескомъ кружкѣ. Неудивительно, что, при такомъ возрѣніи на жизнь, Дельви́гъ и въ своей поэтической дѣятельности весьма ревностно предался воспѣванію лѣни и нѣсколько-узкаго идеала спокойной, безмятежной жизни, далекой отъ всякихъ тревогъ. Впрочемъ, по справедливому замѣчанію его біографа, та лѣнь, которую воспѣвалъ Дельви́гъ, была у большинства нашихъ поэтовъ не болѣе, какъ моднымъ литературнымъ направленіемъ. То, чему Дельви́гъ глубоко сочувствовалъ по самой натурѣ своей въ произведеніяхъ товарищей-поэтовъ, являлось необходимымъ атрибутомъ всякаго настоящаго поэта, котораго непременно представляли себѣ безпечнымъ и лѣнивымъ. „Уже давно отжившее и осмѣянное вліяніе французской литературы ограничивалось только элегическимъ направленіемъ: беззаботные Шенье, и особенно Парни, не разъ служили образцомъ для нашихъ поэтовъ; псевдо-классицизмъ смѣнялся псевдо-романтизмомъ, и, подчиняясь этимъ разностороннимъ вліяніямъ, большая часть нашихъ поэтовъ, и преимущественно Батюшковъ, кн. Вяземскій, Д. Давыдовъ, Пушкинъ, Баратынскій, Языковъ—щеголяли другъ передъ другомъ, по крайней мѣрѣ на бумагѣ, своею лѣнностью и мечтательною безпечностью“¹⁾. Дельви́гъ, однакоже, искреннѣе всѣхъ, и не на бумагѣ только, а и въ дѣятельности, проводилъ въ жизнь эту „мечтательную безпечность“, и, не заботясь о карьерѣ, дважды мѣнялъ службу, выходилъ даже въ отставку, прежде нежели судьба забросила его (въ 1821 г.) на службу въ Публичную Библіотеку, подѣ начальство

Оленина, который опредѣлилъ его въ помощники въ другому, такому же эпикурейцу, какъ самъ Дельви́гъ—къ Ивану Андреевичу Крылову. Здѣсь прослужилъ Дельви́гъ лѣтъ пять и потомъ перешелъ на службу въ министерство внутреннихъ дѣлъ, гдѣ состоялъ преимущественно въ должности чиновника особыхъ порученій до самой своей кончины.

Дѣятельнымъ Дельви́гъ явился только въ занятіяхъ словесностью, для которой успѣлъ въ короткій вѣкъ свой сдѣлать довольно много. Въ самомъ началѣ двадцатыхъ годовъ, именно въ то время, когда судьба на долго разлучила его съ Пушкинымъ, онъ сошелся очень близко съ Языковымъ и подружился съ Баратынскимъ. Въ эту эпоху установился между ними тріумъ и Пушкинымъ тотъ поэтический союзъ, который для нихъ выразился въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ посланій, въ обширной перепискѣ (уцѣлѣвшей, къ сожалѣнію, только отчасти), а въ послѣдствіи и послужилъ прочною основой ихъ литературныхъ предпріятій. Дельви́гъ помѣщалъ свои стихотворенія (въ которыхъ Пушкинъ особенно цѣнилъ „чувство гармоніи и классическую стройность“) сначала въ „Трудахъ Общества любителей Россійской Словесности“ и въ „Благонамѣренномъ“ Измайлова. Но важнѣйшую долю своей литературной дѣятельности онъ посвятилъ тому кратковременному, но чрезвычайно плодотворному періоду альманаховъ, если можно такъ выразиться, который послужилъ переходомъ къ болѣе серьезнымъ и болѣе обширнымъ журнальнымъ предпріятіямъ, вызвавъ къ дѣятельности множество новыхъ силъ.

Этотъ періодъ альманаховъ начался съ того, что въ 1822 году явилась въ Петербургѣ „Полярная Звѣзда, карманная книжка для любителей и любителей русской словесности“, изд. Бестужевымъ и Рыгѣвымъ, при участіи всѣхъ лучшихъ литературныхъ силъ того времени. Однимъ изъ многихъ сотрудниковъ „Полярной Звѣзды“ былъ, конечно, и Дельви́гъ. Необыкновенный успѣхъ „Полярной Звѣзды“, которой распродано было 1500 экз. въ теченіе трехъ недѣль, вызвалъ очень многихъ къ подражанію. Въ 1823 г. явились въ Москвѣ „Но-

¹⁾ В. П. Гавескій, тамъ же, статья вторая.

выя Аониды" Ранча: въ 1824, тамъ же, „Мнемозина“ князя Одоевскаго; а въ Петербургѣ, рядомъ съ продолжавшею издаваться „Полярною Звѣздой“, вышелъ „Майскій Листокъ, весенній подарокъ для любителей и любителей отечественной поэзіи“, изданный Бестужевымъ-Рюминнымъ. Съ 1825 года, количество альманаховъ и сборниковъ возрастаетъ уже до такой степени, что за ними даже трудно услѣдить, и подробное перечисленіе ихъ мы считаемъ излишнимъ. Упоминаемъ здѣсь только объ одномъ изъ этихъ сборниковъ — о „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ Дельвига. Поводъ къ изданію Сѣверныхъ Цвѣтовъ былъ слѣдующій. Первая книжка Полярной Звѣзды была издана извѣстнымъ и весьма почтеннымъ книгопродавцемъ И. В. Слѣпнинымъ, который въ средѣ современныхъ литераторовъ пользовался, за свое безкорыстіе, такимъ же почетомъ и уваженіемъ, какому впослѣдствіи пользовался только одинъ Смирдинъ. Когда, на слѣдующій годъ, составители „Полярной Звѣзды“ нашли болѣе выгоднымъ принять на себя и всѣ издержки по изданію альманаха, Слѣпнинъ, зная связи Дельвига въ литературномъ кругу, предложилъ ему составить альманахъ въ родѣ Полярной Звѣзды, и вызвался быть его издателемъ.

Первая книжка „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ явилась въ началѣ января 1824 года. Почти всѣ литературныя знаменитости и извѣстности того времени приняли участіе въ альманахѣ Дельвига: Пушкинъ, Жуковский, Крыловъ и Баратынскій явились здѣсь рядомъ съ Воейковымъ, Востоковымъ, кн. Вяземскимъ, О. Глинкой, Гнѣдичемъ, Измайловымъ, Ободовскимъ, Плетневымъ, и многими другими, менѣе замѣтными, писателями. „Сѣверные Цвѣты“ издавались въ теченіе семи лѣтъ (съ 1824 по 1832 г.), съ одинаковымъ успѣхомъ, потому что Дельвигъ, съ замѣчательнымъ искусствомъ и тактомъ, умѣлъ поддерживать литературныя связи и, мало-по-малу, сгруппировалъ около себя очень дружный литературный кружокъ¹⁾ къ которому, кромѣ вышепомянутыхъ лицъ, примкнули позже и Веневитиновъ, и Подолинскій, и Гоголь. Обиліе матерьяла, ско-

плавшагося въ рукахъ Дельвига, давало ему возможность не только принимать участіе въ чужихъ альманахахъ (напр. въ альм. „Царское село“ бар. Розена и въ „Денищѣ“ Максимовича), но даже издавать матерьялъ, оставшійся отъ „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“, въ видѣ новыхъ сборниковъ. Такъ въ 1820 г., изъ того излишка матерьяла, который остался въ рукахъ Дельвига отъ V кн. Сѣверныхъ Цвѣтовъ, онъ издалъ новый альманахъ „Подснежникъ“. Въ томъ же 1829 году, который біографъ Дельвига не даромъ называетъ дѣятельнѣйшимъ годомъ его жизни, Дельвигъ издалъ первое полное собраніе своихъ стихотвореній.

Дельвигъ, какъ издатель альманаха и какъ поэтъ, такъ часто подвергался нападкамъ и несправедливымъ пересудамъ современной журнальной критики, что, при всемъ своемъ равнодушіи къ ней, онъ однако же сталъ болѣе и болѣе задумываться надъ необходимостью установленія критики на болѣе прочныхъ и правильныхъ основахъ. Ободряемый въ своихъ мечтахъ Пушкинымъ и Вяземскимъ, общавшимъ ему свою поддержку, Дельвигъ задумалъ въ 1829 году приняться за изданіе Литературной газеты, существенною цѣлью которой было „сообщеніе читателямъ справедливыхъ и безпристрастныхъ сужденій о словесности Русской и другихъ образованныхъ странъ Европы, ознакомленіе читателей съ новыми произведеніями, заслуживающими вниманія или по неоспоримому ихъ достоинству, или по новостямъ своей и по извѣстности автора.“ Изъ біографіи Пушкина мы уже знаемъ въ какой степени эта программа Литературной газеты сходилась по мысли съ его любимой, задушевною мечтою о возвращеніи „литературной критики въ руки небольшого избраннаго кружка“. Но этой мечтѣ не пришлось осуществиться на дѣлѣ. Литературная газета поведена была Дельвигомъ съ самаго начала довольно неловко. Весьма нектати высказанное имъ мнѣніе о литературномъ аристократизмѣ вызвало противъ его газеты цѣлую бурю и надѣлало ему много хлопотъ и непріятностей, слѣдствіемъ которыхъ, кажется, было и душевное разстройство, предшествовавшее его кончинѣ.

¹⁾ Когда осенью 1825 г. Дельвигъ женился на Софѣ Михайловнѣ Салтыковой, у него стали собираться всѣ петербургскіе литераторы и образовались чрезвычайно любопытныя литературныя вечера.

Онъ заболѣлъ въ концѣ 1830 года, долженъ былъ устраниваться отъ всякой журнальной и литературной дѣятельности, и скончался 14 января 1831 года. Дельвигъ написалъ немного, но все, написанное имъ, носитъ на себѣ отпечатокъ неподдѣльнаго чувства и той легкости, той граціи, которую онъ первый сумѣлъ внести и въ подражаніе народной пѣснѣ, и въ идилліи,—родъ поэзіи, болѣе всего соотвѣтствовавшій его ровному характеру и спокойному міросозерцанію. Эти же свойства, столь рѣдкія въ поэтахъ, служили у него основою его критическаго такта, который такъ высоко цѣнилъ Пушкинъ, постоянно представлявшій на судъ его всѣ свои произведенія и относившійся съ полнымъ довѣріемъ къ его приговорамъ.

Евгеній Абрамовичъ Баратынскій (правильнѣе Боратынскій) род. 19-го февраля 1800 г. въ помѣстьѣ своего отца, генералъ-адъютанта Абрама Андреевича Баратынскаго, селѣ Вяжлѣ (Кирсановск. уѣзда, Тамбовской губ.), пожалованномъ Абраму Андреевичу Императоромъ Павломъ. Мать поэта, Александра Θεодоровна, рожденная Черепанова, воспитывалась въ Смольномъ монастырѣ, была одною изъ лучшихъ воспитанницъ, и, по выходѣ изъ института, состояла фрейлиной при Императрицѣ Маріи Θεодоровнѣ.

Александръ Θεодоровичъ пришлось самой руководить и первымъ воспитаніемъ своего сына, такъ какъ отца лишился онъ очень рано. Нѣкоторое, и можетъ быть, даже довольно значительное вліяніе на развитіе будущаго поэта долженъ былъ оказать нѣкто Джъачинто Боргезе, старикъ итальянецъ, занесенный Богъ вѣсть какими судьбами въ Тамбовскую глушь и жившій въ домѣ отца поэта, въ качествѣ дядьки при Евгеніи Абрамовичѣ. Дядька этотъ такъ сроднился съ пріютившею его Россіею, что принялъ подъ конецъ жизни православіе и, послѣ долгихъ странствованій, мирно упокоился въ церковной оградѣ села Вяжли. Его рассказы о Римѣ и Неаполѣ, о Колизеѣ и храмѣ Петра, о Наполеонѣ и Суворовскихъ солдатахъ, словно съ неба свалившихся въ Италію, до такой степени живо сохранились въ памяти поэта, что еще за двѣ недѣли до смерти, по-

сѣщая родину своего дядьки, онъ вспоминалъ эти рассказы въ обширномъ стихотвореніи, посвященномъ его памяти¹⁾. Послѣ домашняго воспитанія, вѣроятно довольно поверхностнаго, Баратынскій былъ дѣтъ 12-ти отъ роду отвезенъ въ С.-Петербургъ, опредѣленъ сначала въ нѣмецкій пансіонъ, а вскорѣ послѣ того переведенъ въ Пажескій корпусъ.

На бѣду свою, по незнанію нѣмецкаго языка, Баратынскій былъ помѣщенъ въ кор-



Баратынскій

пусъ въ классъ, несоотвѣтствовавшій его возрасту, и тѣмъ самымъ осужденъ на невольную праздность. Слѣдствіемъ такого неудачнаго опредѣленія было то, что Баратынскій, у котораго, по его возрасту, было слишкомъ много свободнаго времени, былъ привлеченъ въ дурной товарищескій кружокъ, замѣшанъ въ его шалости и, года три спустя, исключенъ (1815) изъ корпуса „съ запрещеніемъ поступать въ какую-либо службу, кромѣ военной: и то не иначе, какъ рядовымъ“.

¹⁾ Подъ заглавіемъ: Дядькѣ Итальянцу (1844 г.).

Эта строгая мѣра взысканія, примѣненная къ юношѣ, и отъ которой не могло его спасти даже ходатайство самого Жуковского, была для него тягостнымъ испытаніемъ, положившимъ очень мрачную печать на всю юность поэта. По его собственному сознанию, только чувство горячей привязанности къ матери, которая съумѣла кротко и нѣжно отнестись къ несчастію сына, спасло его отъ безумнаго желанія лишиться себя жизни, и самоубійствомъ избавить себя отъ позора, наложеннаго на него исключеніемъ изъ корпуса и строгимъ взысканіемъ. Мать спасла сына отъ отчаянія и большую часть своей печальной юности Баратынскій провелъ подъ ея крыломъ въ родовомъ Тамбовскомъ имѣніи. Только уже въ 1818 г. Баратынскій вернулся въ Петербургъ для поступленія на службу, и дѣйствительно вступилъ рядовымъ въ гвардейскій егерскій полкъ, 1819 г. Здѣсь познакомился онъ съ лицейскимъ кружкомъ Пушкина и Дельвига, а черезъ нихъ и съ Плетневымъ, и съ Жуковскимъ. Съ Дельвигомъ Баратынскому пришлось даже и жить нѣкоторое время на одной квартирѣ, въ одной комнатѣ, и симпатія, которую они взаимно почувствовали другъ къ другу съ перваго свиданія, вскорѣ перешла въ самую тѣсную дружбу. Баратынскій, все еще мрачно настроенный подъ вліяніемъ вышепомянутыхъ печальныхъ обстоятельствъ своей ранней юности, въ особенности цѣнилъ въ сношеніяхъ своихъ съ Дельвигомъ то, что тотъ первый открылъ его дарованіе и, заставляя его забыть „о суровой судьбѣ“, „ввелъ его въ семейство добрыхъ музъ“. Дѣйствительно, Дельвигу удалось, безъ вѣдома самого Баратынскаго, напечатать его первые стихотворные опыты (въ 1819 г. въ журналахъ *Благонамѣренный* и *Сынъ Отечества*) и тѣмъ самымъ побудить его къ дальнѣйшей разработкѣ его поэтическаго дара.

Этотъ поэтический даръ, развивавшійся, какъ и вся современная европейская поэзія, на основахъ байронизма, и отчасти подъ вліяніемъ той фантастической романтики, какую внесъ къ намъ Жуковский, совершенно выразился въ первыхъ и наиболѣе крупныхъ произведеніяхъ Баратынскаго, и вся позднѣйшая лирика его была только повтореніемъ и развитіемъ тѣхъ мотивовъ, которые встрѣчались въ его произведеніяхъ ме-

ду 1821—1830 гг. Баратынскій остановился въ своемъ поэтическомъ развитіи на той степени байронизма, нѣсколько мечтательнаго, разочарованнаго, скучающаго общественной жизнью и ея стѣснительными условіями, который нашелъ себѣ выраженіе въ первыхъ эпическихъ опытахъ Пушкина (*Кавказскій Пльинникъ*, *Цыганахъ*, *Бахчисарайскомъ Фонтанѣ* и первыхъ главахъ *Онѣгина*)... Герои эпическихъ произведеній Баратынскаго чрезвычайно напоминаютъ героев Байрона, и героев Пушкина, въ первой, кишиневско-одесской порѣ его развитія. Но Пушкинъ пошелъ далѣе по пути развитія, бросилъ не свойственный ему родъ поэзіи туманныхъ и неопредѣленныхъ образовъ, и прямо перешелъ на почву дѣйствительности и народности, которую и положилъ основой своему романтизму; Баратынскій же весь выразился въ тѣхъ эпическихъ произведеніяхъ, которые успѣлъ создать въ первую пору развитія своего поэтическаго дарованія, и не нашелъ въ себѣ силъ идти далѣе... Туманному и нѣсколько-грустному настроенію души поэта много способствовали, конечно, обстоятельства его молодости, упомянутые выше, и слѣдствіемъ которыхъ была вся дальнѣйшая его военная карьера.

Въ письмахъ къ другу своему, Н. В. Пугачѣ, Баратынскій прекрасно выясняетъ именно эту связь обстоятельствъ жизни съ его поэтическимъ настроеніемъ, а отчасти даже и общее настроеніе всей современной молодежи,—настроеніе, изъ котораго и выработывался русскій байронизмъ, доведенный въ послѣдствіи Лермонтовымъ до поразительныхъ красотъ и поразительныхъ крайностей; такъ напр. весной 1825 г. Баратынскій пишетъ Пугачѣ:

...„На Руси много смѣшнаго, но я не расположенъ смѣяться. Во мнѣ веселость — усиліе гордаго ума, а не дитя сердца. Съ самаго моего дѣтства я тяготился зависимостью и былъ угрюмъ, былъ несчастливъ. Въ молодости судьба взяла меня въ свои руки. Все это служить пищею генію; но вотъ бѣда: я не геній“. И черезъ два-три мѣсяца послѣ того, въ другомъ письмѣ къ тому же пріятелю, прибавляетъ:

...„Проводилъ я М—а въ Москву: онъ поѣхалъ безпокойный и грустный и будетъ таковымъ повсюду. Какой несчастный даръ—воображеніе, слишкомъ превышающее раз-

судокъ! Какой несчастный плодъ, преждевременный плодъ преждевременной опытности.—сердце, жадное счастья, но уже неспособное предаться одной, постоянной страсти и теряющееся въ толпѣ безпредѣльных желаній! Таково положеніе М—а, и мое, и большей части молодыхъ людей нашего времени“.

Произведенный въ 1820 году въ унтер-офицеры, Баратынскій переведенъ былъ изъ егерскаго полка въ нейшлотскій; расположенный въ Финляндіи, и тамъ, въ тяжелой строевой службѣ, въ захолустыя Кюменскихъ и Рочесальскихъ укрѣпленій, провелъ все время до весны 1825 года, когда наконецъ былъ произведенъ въ офицеры, и, выйдя въ отставку, могъ переселиться на житье въ Москву.

Суровыя, непривѣтныя красоты финляндской природы, уже воспѣтыя Дмитриевымъ и Батюшковымъ, вдохновили и Баратынского: онъ не только посвятилъ имъ свое прекрасное стихотвореніе „Финляндія“, не только избралъ ихъ мѣстомъ дѣйствія и обстановкой поэмы Эда (1825—26 гг.), въ которой героиней явилась финляндка Эда, но и всегда сохранялъ о Финляндіи самое теплое, самое сочувственное воспоминаніе. Даже и покинувши службу въ Финляндіи, и переселившись въ Москву, и очутившись снова среди родни, друзей и лучшихъ представителей современной литературы и журналистики, Баратынскій жалѣлъ о своемъ Финляндскомъ уединеніи, скучаетъ по Финляндіи и очень оригинально сравниваетъ свое недавнее прошлое съ тѣмъ будущимъ, которое ожидаетъ его въ Москвѣ. „Я пережилъ въ Финляндіи все“, что было живаго въ моемъ сердцѣ, — такъ пишетъ онъ къ Н. В. Пютятъ изъ „Москвы въ концѣ 1825 г. — „Ея живописныя, хотя угрюмыя, горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мѣрѣ довольно обильную въ отличительныхъ краскахъ. Судьба, которую я предвижу, будетъ подобна Русскимъ однообразнымъ равнинамъ, какъ теперь, покрытымъ снѣгомъ, и представляющимъ одну вѣчно-унылую картину“... И даже впоследствии, въ лучшую пору своей литературной дѣятельности, точно также охотно возвращался къ своимъ финляндскимъ воспоминаніямъ, Баратынскій пишетъ къ тому же пріятелю (въ

1830 г.)... „этотъ край (т. е. Финляндіи) былъ пѣстуномъ моей поэзіи. Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла-бы въ томъ, чтобы въ память мою посѣщали Финляндію будущіе поэты“.

Черезъ годъ послѣ переселенія въ Москву, Баратынскій женился на Настасѣ Львовнѣ Энгельгардтъ, дѣвушкѣ прекрасно образованной и одаренной тонкимъ критическимъ умомъ. Совершенно счастливый своею семейной жизнью, найдя въ женѣ и друга, и правдиваго, безпристрастнаго судью, „ободрявшаго сочувствіемъ къ вдохновеніямъ“, Баратынскій попробовалъ было служить въ Межевой канцеляріи, но вскорѣ оставилъ службу и совершенно предался своей семейной и домашней жизни, въ которой находилъ себѣ полное удовлетвореніе. Около этого времени писалъ онъ своему старому другу, Путятѣ:

...„Я живу потихоньку, какъ слѣдуетъ женатому человѣку; но очень радъ, что промѣнялъ безпокойные сны страстей на тихій сонъ тихаго счастья: изъ дѣйствующаго лица я сдѣлался зрителемъ, и, укрытый отъ ненастья въ моемъ углу, иногда посматриваю, какова погода въ свѣтѣ“. Продолжая заниматься литературою, онъ конечно не только поддерживалъ старыя свои связи съ Пушкинымъ, Дельвигомъ, Плетневымъ и Жуковскимъ, но вскорѣ сошелся и съ кружкомъ Московскаго Телеграфа, и съ другими Московскими литераторами: И. Кирѣевскимъ, Языковымъ, Хомяковымъ. Здѣсь-то, въ Москвѣ, были написаны имъ и тщательно отдѣланы его двѣ другія поэмы: Балъ (1827) а Цыганка (1830); послѣ нихъ онъ уже не возвращался болѣе къ эпосу, и довольствовался лирикой.

Искренно и глубоко преклоняясь передъ Пушкинымъ, Баратынскій сознавалъ свое второстепенное значеніе по отношенію къ нему, и видѣлъ въ себѣ не болѣе, какъ одного изъ представителей Пушкинской плеяды, хотя Пушкинъ, со скромностью, свойственной великимъ художникамъ, и старался всѣми силами превозносить поэтическій даръ Баратынскаго и его произведенія. Свое уваженіе Баратынскій чрезвычайно оригинально выражаетъ въ сохранившихся намъ письмахъ своихъ къ Пушкину, которыя щедро пересыпаетъ свѣтлыми и вѣрными критическими сужденіями о вопро-

сахъ, поднятыхъ современною литературою. Въ одномъ изъ этихъ писемъ къ Пушкину (1826 г.), разсуждая о Шекспирѣ и Расинѣ, Баратынскій говоритъ между прочимъ: „я почти увѣренъ, что французы не могутъ имѣть истинно-романтической трагедіи. Не правила Аристотеля налагаютъ на нихъ оковы: легко отъ нихъ освободиться; но они лишены важнѣйшаго способа къ успѣху: изящнаго языка простонароднаго. . . Чудесный нашъ языкъ ко всему способенъ; и это чувствую, хотя не могу привести въ исполненіе. Онъ созданъ для Пушкина, а Пушкинъ—для него. Я увѣренъ, что трагедія твоя (Б. Годуновъ) исполнена красотъ необыкновенныхъ. Иди, довершай начатое, ты, въ комъ поселился Гений! Возведи русскую поэзію на ту степень между поэзіями всѣхъ народовъ, на которую Петръ Великій возвелъ Россію между державами... Соверши одинъ, что онъ совершилъ одинъ, а наше дѣло признательность и удивленіе.“ Въ другомъ письмѣ (1828 г.) Баратынскій пишетъ Пушкину: „Въ моемъ Тамбовскомъ уединеніи я очень о тебѣ беспокоился; у насъ резнеся слухъ, что тебя увезли, а какъ ты человѣкъ довольно увозимый, то я этому повѣрилъ“...

...„Вышли у насъ еще двѣ пѣсни Онѣгина, но большее число ихъ не понимаютъ. Ищутъ романтической завязки, ищутъ обыкновеннаго и, разумеется, не находятъ. Высокая простота созданія кажется имъ бѣдностію вымысла; они не замѣчаютъ, что старая и новая Россія, жизнь во всѣхъ ея измѣненіяхъ, — проходитъ передъ ихъ глазами... Я думаю, что у насъ въ Россіи поэтъ только въ первыхъ, незрѣлыхъ своихъ опытахъ можетъ надѣяться на большой успѣхъ. За него всѣ молодые люди, находящіе въ немъ почти свои чувства, почти свои мысли, облеченныя въ блистательныя краски. Поэтъ развивается, пишетъ съ большею обдуманностію, съ большимъ глубокомысліемъ: онъ скученъ офицерамъ — а бригадиры съ нимъ не мирятся, потому что стихи его все таки не проза“...

Все время, послѣ женитьбы, Баратынскій почти безотлучно провелъ въ Москвѣ и подъ Москвою, въ селѣ Мурановѣ, въ которомъ особенно ревностно предался хозяйству и

своей страсти къ постройкамъ. Хотя и послѣ 1830 года онъ еще продолжалъ писать довольно часто и охотно, и 1835 годъ, напримѣръ, по обилію написанныхъ въ теченіе его лирическихъ пьесъ, можетъ быть названъ однимъ изъ плодотворнѣйшихъ годовъ въ поэтической дѣятельности Баратынскаго, однако же спокойная семейная жизнь, и мирная деревенская обстановка ея начинали мало по малу одолевать Евгенія Абрамовича. Одинъ изъ литературныхъ, наиболѣе дорогихъ ему связей, порывала судьба:—умеръ Дельвигъ, затѣмъ погибъ преждевременно Пушкинъ. Другія связи порывались сами собою, и Баратынскій о нихъ не жалѣлъ и не связывалъ новыхъ, мало-по-малу отодвигаясь отъ литературнаго поприща въ тишину своего новаго, уже не Финляндскаго, а подмосковнаго уединенія. Когда въ 1839 году, во время краткаго пребыванія въ Петербургѣ, онъ опять увидѣлъ себя въ модныхъ литературныхъ кружкахъ, въ „салонѣ Карамзинныхъ“, среди отжившихъ и отживающихъ знаменитостей и среди лучшихъ представителей новаго литературнаго направленія, въ обществѣ Гоголя и Лермонтова — онъ почувствовалъ только скуку, (въ которой откровенно сознается въ письмахъ къ женѣ), и желаніе поскорѣ возвратиться домой...

Въ бесѣдахъ съ другомъ своимъ, Н. В. Пятай, Баратынскій не разъ выражалъ свое сочувствіе къ великому дѣлу освобожденія крестьянъ: „уничтоженіе крѣпостнаго права сильно занимало его мысли“, — говорилъ Н. В. Пятай¹⁾. „Въ разговорахъ объ этомъ предметѣ онъ выражалъ мнѣніе, что освобожденіе не должно совершиться иначе, какъ съ надѣломъ земли въ собственность крестьянъ“... Надеждою на возможность исполненія великаго дѣла особенно оживилъ его манифестъ 1842 года объ обязанныхъ крестьянахъ. „У меня солнце въ сердцѣ, когда думаю о будущемъ“ — такъ пишетъ Баратынскій къ Пятай тотчасъ по прочтеніи этого манифеста; — „вижу полную возможность исполненія великаго дѣла и скоро, и спокойно“.

Стихотворенія Баратынскаго при жизни его вышли двумя изданіями, въ 1827 и въ 1835 гг.; въ 1842 году, онъ собралъ все, что было имъ написано послѣ 1835 года, и вы-

¹⁾ Въ примѣч. къ соч. Баратынскаго, Москва, 869, стр. 444.1

далъ въ свѣтъ въ видѣ сборника, подъ однимъ общимъ заглавіемъ „Сумерки“.

Незадолго до смерти Баратынскому удалось привести въ исполненіе любимую мечту свою о путешествіи за границу и о посѣщеніи Италіи, въ которую онъ такъ давно и такъ страстно стремился, какъ въ обѣтованную страну поэтовъ. Еще въ 1841 году, съ жаромъ бесѣдуя о путешествіи въ Италію, онъ однажды воскликнулъ экспромптомъ:

Небо Италіи, небо Торквата,
Прагъ поэтической древняго Рима,
Родина нѣги, славы богата,
Будешь-ли нѣкогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпѣньемъ объята,
Къ гордымъ остаткамъ падшаго Рима.
Святся мнѣ горы, лѣса благовонны,
Святся упавшихъ чертоговъ колонны!

Осенью 1843 года этимъ мечтамъ суждено было осуществиться. Зиму 1843 и 1844 года Баратынскій провелъ вмѣстѣ съ женою своею въ Парижѣ, въ обществѣ А. И. Тургенева и первыхъ современныхъ французскихъ знаменитостей: Виньи, С. Бѣва, братьевъ Тьері, Поде, Меримэ, Ламартина и Гизо. Весною 1844 г. Баратынскій отправился черезъ Марсель въ Неаполь, и при переѣздѣ моремъ — во время перваго своего морскаго путешествія — написалъ одно изъ послѣднихъ, превосходное свое стихотвореніе: „Пироскафъ“. Стихотвореніе это едва успѣло явиться въ Россіи, на страницахъ Современника, который издавался тогда подъ редакціею Плетнева, какъ уже поэта не стало... Онъ умеръ въ Неаполѣ скоропостижно, въ самый Петровъ день (лѣтомъ 1844 г.). Тѣло его было перевезено въ Россію, и погребено на Александро-Невскомъ кладбищѣ, рядомъ съ Брыловымъ и Гнѣдичемъ.

Вступая на берегъ Италіи, Баратынскій уносился мечтою къ отдаленнымъ временамъ своего дѣтства: — послѣднимъ его стихотвореніемъ было воспоминаніе о Дядѣ-Италіянцѣ; въ заключительной строфѣ этого стихотворенія, удивляясь странной судьбѣ бѣднаго странника, нашедшаго себѣ успокоенія въ снѣгахъ его родины, онъ восклицалъ между прочимъ:

Миръ сердцу твоему далъ пасмурный навѣсъ
Мятелью погода скрываемихъ небесъ,
Отцвѣта тощихъ ивовъ, степей и древъ иглистыхъ!

О снѣ! безгрѣзно снѣ въ предѣлахъ нашихъ
Лѣдистыхъ.

Лелѣй, по своему, твой подземальный сонъ
Нашъ бурнодышущій, полночный Аквилонъ,
Не хуже вѣющій забвеньемъ и покоемъ,
Чѣмъ вздохи южныя съ душистыми нѣгъ упоемъ.

Создавая эти гармоническія строки, поэтъ и не думалъ о томъ, что его постигнетъ противоположная судьба, и что ему придется найти себѣ мѣсто успокоенія подъ „небомъ Италіи, небомъ Торквата“, которое такъ манило его съ дальняго сѣвера своими поэтическими красотою.

Николай Михайловичъ Языковъ род. въ Симбирской губ., 4 марта 1803 года; отецъ Языкова, Михаилъ Петровичъ, заштатный помѣщикъ и гвардіи прапорщикъ въ отставкѣ, умеръ (52 лѣтъ) въ 1819. Мать поэта, Екатерина Александровна, урожденная Ермолова, ум. въ 1831 году. О дѣтствѣ его и домашнемъ воспитаніи не сохранилось положительно никакихъ свѣдѣній. Извѣстно только то, что по 11-му году онъ привезенъ былъ въ Петербургъ и отданъ въ институтъ горныхъ инженеровъ, въ которомъ уже воспитались до этого времени его старшіе братья, Александръ Михайловичъ, и Петръ Михайловичъ, извѣстный минералогъ. Въ институтѣ пробылъ юный Языковъ ровно шесть лѣтъ, но наука не давалась ему и охота къ ней не проявлялась ни мало... Только къ изученію словесности и къ чтенію авторовъ выказалъ юноша нѣкоторую склонность и то, благодаря усердному руководствованію и стараніямъ Алексѣя Дмитриевича Маркова, занимавшаго мѣсто учителя словесности при институтѣ. О немъ всегда вспоминалъ Языковъ съ большою признательностію, и отзывался объ этомъ наставникѣ своемъ, какъ о человѣкѣ „съ блестящимъ и поэтическимъ огнемъ“. Дѣйствительно, А. Д. Марковъ первый угадалъ въ Языковѣ его будущее призваніе, заставлялъ его читать и изучать Ломоносова и Державина, поощрялъ его къ занятіямъ литературою, исправлялъ и хвалилъ его первые опыты. Въ 1820 году Языковъ кончилъ курсъ въ Горномъ институтѣ и послѣ весьма непродолжительнаго пребыванія въ Инженерномъ училищѣ — въ которое онъ попалъ такими же неисповѣди-

мыми судьбами, какъ и въ Горный институтъ — молодой Языковъ бросилъ школу, и вступилъ въ жизнь. Предавшись съ большимъ увлеченіемъ своей поэтической дѣятельности, которая въ то обильное поэтами время столь многихъ увлекала и обольщала возможностью быстрой извѣстности, Языковъ сталъ съ 1822 года помѣщать довольно много первыхъ своихъ стихотворныхъ опытовъ въ „Новостяхъ Литературы“ и въ „Соревнователѣ Просвѣщенія;“ очень быстро успѣлъ онъ обратить на себя вниманіе бойкостью и смѣлою новизною своего поэтического языка и замѣчательно-легкимъ складомъ своего стиха, въ которомъ ярко и



Языковъ.

легко передавалъ нехитрыя впечатлѣнія своей юности—воспѣванія Харити, вина и дружбы. Онъ сталъ вскорѣ извѣстенъ въ литературныхъ кружкахъ петербургскихъ; но юношу-поэта это неудовлетворяло: ему хотѣлось серьезно поучиться, и лучшимъ путемъ къ наукѣ казался ему университетъ. Вѣроятно по совѣту уже извѣстнаго намъ А. Ѳ. Воейкова (родственника Жуковского), молодой Языковъ, несмотря на свои чисто-русскія наклонности, рѣшился избрать именно Дерптскій университетъ, и запасшись рекомендательными письмами Воейкова, онъ и дѣйствительно вскорѣ уѣхалъ въ Дерптъ, а съ начала 1822 учебнаго года и сталъ посѣщать лекціи Дерптскаго университета.

Едва-ли можетъ подлежать какому-либо сомнѣнію то, что пребываніе въ Дерптѣ повлияло очень дурно на молодого русскаго поэта. Его очень широкая натура нашла себѣ слишкомъ большой просторъ въ этомъ необширномъ городкѣ, въ которомъ студентство играло важнѣйшую роль и не стѣснялось въ проявленіяхъ своего молодого буйства и разгула никакими условіями, приличіями и требованіями общественной жизни. Тотъ разгулъ и просторъ, тѣ шумныя и необузданныя пиршества, тѣ милыя и немилыя проказы товарищеской студенческой среды, которыя, можетъ быть, и хорошобы повліяли на другого, — которыя составляли тогда и теперь еще составлять почти необходимую ступень развитія для серьезнаго нѣмца передъ его окончательнымъ вступленіемъ въ жизнь сухо-дѣловую и пунктуально-расчетливую — вся эта обстановка, напротивъ того, оказалась положительно вредною для Языкова, можно почти сказать: загубила его. Всю немногосложную и очень небогатую фактами біографію этого талантливаго поэта, благодаря его пребыванію въ Дерптскомъ университетѣ, очень не трудно подраздѣлить на два періода: на молодость, длившуюся очень недолго, очень шумную и разгульную, и, въ то же время, очень бѣдную впечатлѣніями; и на довольно продолжительную, преждевременную старость, со всѣми ея тягостями, болѣзнями, страданіями, странствованіями на воды и безплодными затратами силъ и времени на нескончаемыя лѣченія, которыми приходилось расплачиваться за безумія молодости. Результатомъ слишкомъ шестилѣтняго пребыванія Языкова въ Дерптѣ было то, что онъ все же никакъ не могъ совладать съ собою, не могъ даже и не надолго отрѣшиться отъ увлеченій и шумнаго разгула студенчества, и, наконецъ, долженъ былъ отказаться отъ всякой надежды на возможность выдержать экзамены и получить дипломъ. Такъ въ 1829 году, уже пользуясь весьма почетною извѣстностью, какъ поэтъ оригинальный и талантливый, Языковъ все же покинулъ Дерптъ студентомъ безплатнымъ. Нельзя однакоже не отмѣтить въ періодѣ этого шестилѣтняго буршества одинъ очень свѣтлый мигъ, который оставилъ въ душѣ Языкова яркій слѣдъ на всю остальную жизнь: не трудно угадать, что имъ го-

воримъ здѣсь о томъ лѣтѣ 1826 г., которое Языкову удалось провести въ Тригорскомъ, почти въ ежедневныхъ, дружескихъ сношеніяхъ съ Пушкинымъ, тогда уже находившимся на верху своей поэтической славы. „Я вопрошалъ совѣсть мою и внималъ ея отвѣтамъ“—пишетъ Языковъ къ Вульфу въ февр. 1827 г.—„и не нахожу во всей моей жизни ничего подобнаго, красотою нравственною и физическою, ничего пріятнѣйшаго и достойнѣйшаго сіать золотыми буквами на доскѣ памяти моего сердца—нежели лѣто 1826 года!“ Еще въ 1824 г. Пушкинъ уже желалъ познакомиться съ Языковымъ, котораго зналъ тогда только по первымъ его произведеніямъ, отмѣченнымъ печатью несомнѣннаго дарованія; но только въ 1826 удалось имъ сойтись и подружиться, и дружба ихъ уже не прекращалась до самой смерти Пушкина, а для Языкова послужила источникомъ чистѣйшаго поэтическаго вдохновенія и побудила его создать цѣлый рядъ превосходныхъ піесъ, въ которыхъ поэтический союзъ и поэтическая обстановка Тригорскаго и Михайловскаго нашли себѣ достойный отголосокъ. Въ биографіи Пушкина мы упоминали о стихотвореніи, въ которомъ Языковъ воспѣлъ Тригорское и увѣковѣчилъ память того веселья, которымъ такъ щедро надѣлило поэтовъ общество милыхъ сосѣдей; въ биографіи Языкова какъ нельзя болѣе умістно будетъ привести другое, менѣе извѣстное, но весьма замѣчательное стихотвореніе, въ которомъ, обращаясь къ памяти Пушкина, онъ превосходно рисуетъ намъ типъ той любознательной старушки и того уединенія, въ которомъ ея возлюбленный питомецъ писалъ лучшія главы Онѣгина, и создавалъ Бориса Годунова:

«Свѣтъ Родіоновна! забуду-ли тебя?
Въ тѣ дни, какъ сельскую свободу возлюбя,
Я покидалъ для ней и славу, и науки,
И нѣмцевъ, и сей градъ профессоровъ и скуки,—
Ты, благодатная хозяйка сѣни той,
Гдѣ Пушкинъ, не сраженъ суровою судьбой,
Презрѣвъ людей, молву, ихъ ласки, ихъ нѣмѣны;
Священнодѣйствовалъ при алтарѣ Камени,—
Всегда привѣтами сердечной доброты
Встрѣчала ты меня, и нѣ адрасствовала ты;
Когда чрезъ длинный рядъ полей, подъ вносъ лѣта,
Ходилъ я навѣщать нѣтнаника-поэта...
Какъ сладостно твое святое хлѣбосольство

Намъ баловало вкусъ и жажды своевольство!
Съ какими радуніемъ—красовъ древнихъ лѣтъ—
Ты избирала намъ затѣйливый обѣдъ!
Сама и водку намъ, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тѣснотѣ стариннаго стола!
Ты занимала насъ—добра и весела—
Простародавнихъ баръ плѣнительныхъ разсказомъ:
Мы удивлялись почтеннымъ ихъ проказамъ,
Мы вѣрили тебѣ—и смѣхъ не прерывалъ
Твоихъ безхитростныхъ сужденій и похвалъ;
Свободно говорилъ языкъ словоохотливый —
И легкіе часы летѣли беззаботно!»

И гораздо позднѣе, въ 1831 году, Языковъ посвятилъ еще одно прекрасное стихотвореніе воспоминаніямъ Тригорскаго и Михайловскаго, по поводу полученнаго имъ извѣстія о смерти Арины Родіоновны... Видно, что съ этими милыми, лучшими воспоминаніями юности глубоко и тѣсно сроднилось его поэтическое вдохновеніе!

Почти тотчасъ по выѣздѣ изъ Дерпта, начался для Языкова второй и горестный періодъ его жизни, которой мы выше назвали періодомъ преждевременной старости... Повидимому, цвѣтущій здоровьемъ и силами, прекраснымъ 26-ти лѣтнимъ юношей вернулся онъ на житье въ Москву. Обладая независимымъ состояніемъ, онъ могъ свободно распоряжаться собою и судьбой своей... Можно было ожидать для Языкова блестящей будущности и громкой славы... Но вышло иначе... Какъ человѣкъ состоятельный, Языковъ могъ уклониться отъ общей въ то время, почти для всѣхъ обязательной, служебной карьеры: едва заглянувъ на службу въ тотъ же Межевой Департаментъ, въ которомъ одно время служилъ и Баратынскій, Языковъ уже тяготился службою, и вышелъ въ отставку, собираясь уѣхать въ деревню, и тамъ окончательно „посвятить себя Музамъ, и работать для славы“. Но этимъ мечтамъ не суждено было сбыться: вскорѣ послѣ поселенія въ деревнѣ, Языковъ сталъ хворать и вынужденъ былъ лѣчиться. Всѣ досуги его поглощались вынужденными заботами о здоровьѣ, и поэзіи приходилось посвящать себя только урывками. Въ концѣ 1835 и въ 1836 году, во время довольно продолжительныхъ перерывовъ болѣзни, Языковъ оживалъ и строилъ обширные пла-

ны, чувствуя въ себѣ избытокъ творческихъ силъ: „принимаюсь за большіе труды“ — писалъ онъ другу своему Вульфъ въ 1836 г.;— „полно мнѣ мелочничать“... И дѣйствительно, около этого времени было написано имъ одно изъ лучшихъ и наибольшихъ произведеній его — драматическая сказка „Жарь-Птица“. Но перерывы болѣзни длились не долго.

Какъ ни старался поэтъ пользоваться каждой свѣтлой минутой своей жизни, усердно работая для современныхъ альманаховъ (Сѣверные Цвѣты, Денница Максимовича), а потомъ участвуя въ Московскомъ Наблюдателѣ и Москвитянинѣ,—жестокій, неизлѣчимый недугъ, мало-по-малу, одолевая его и, наконецъ, сломила его силу... Въ 1837 году болѣзнь усилилась до такой степени, что Языковъ долженъ былъ поѣхать на воды и лечиться за границей цѣлыхъ пять лѣтъ. Памятью этихъ скитаній за границей остался цѣлый рядъ превосходныхъ картинъ природы въ стихотвореніяхъ: „Маякъ“, „Гастуна“, „Морское купанье“, „Корабль“, „Море“, и въ цѣломъ рядѣ элегій, написанныхъ въ Швейцаріи и Италіи. Къ концу пребыванія за границей, надежда на выздоровленіе — увь! — должна была наконецъ покинуть Языкова, и онъ, выразилъ овладѣвшее имъ чувство сомнѣнія въ слѣдующемъ прекрасномъ элегическомъ отрывкѣ:

«Богъ вѣсть, не втунѣ-ли скитался
Въ чужихъ странахъ я много лѣтъ!
Мой черный день не разгулялся,
Мнѣ утѣшенья нѣтъ какъ нѣтъ!
Печальный, трепетный и томный,
Назадъ, въ отеческій мой домъ.
Слѣшу, какъ птица въ кустъ укропный
Слѣшить, забитая дождемъ (1841 года)».

И онъ вернулся (осенью 1843 г.) на родину, поселился въ Москвѣ, и здѣсь, непокидаемый своимъ тяжелымъ недугомъ, прожилъ еще три года. Онъ не могъ уже часто и подолгу предаваться своимъ любимымъ занятіямъ, и писалъ немного; но поэтическое настроеніе его, подъ вліяніемъ тяжелыхъ страданій, уже не возвращалось болѣе къ прежнимъ, легкимъ и веселымъ темамъ, не удовлетворялось болѣе и элегіями: оно преимущественно сосредоточивалось на религиозныхъ созерцаніяхъ, и лучшими изъ

его стихотвореній послѣднихъ трехъ лѣтъ являются именно такіе стихотворенія, какъ: „Сампсонъ“, „Подражаніе псалму“ (Блаженъ кто мудрости высокою послушенъ сердцемъ и умомъ) и „Землетрясеніе“. Однѣ изъ друзей Языкова сохранили намъ слѣдующія любопытныя подробности о послѣднихъ дняхъ его жизни:

„Въ половинѣ декабря 1846 года Языковъ простудился; къ застарѣвшей 15-ти-лѣтней болѣзни присоединилась горячка. Онъ считалъ ее за предназначеніе своей близкой смерти... Напрасно друзья старались разубѣдить его въ такомъ печальномъ убѣжденіи; онъ былъ непоколебимъ, и серьезно сталъ готовиться къ смерти: пригласилъ священника совершить послѣдній долгъ христіанина, сдѣлать нужныя, похоронныя распоряженія, назначилъ даже, кого пригласить на свои похороны, и заказалъ блюда для похороннаго обѣда“...

26 декабря 1844 г. поэта не стало; его похоронили въ Даниловомъ монастырѣ.

При жизни Языкова вышло три собранія его стихотвореній: первое явилось въ 1833 г., второе и третье въ 1844 и 1845 гг. Отзывы о произведеніяхъ Языкова были несравненно болѣе разнорѣчны, нежели отзывы о поэзіи другихъ представителей Пушкинскаго періода. Самъ Пушкинъ былъ на столько же пристрастенъ въ своихъ мнѣніяхъ о Языковѣ, на сколько и во взглядѣ на Баратынскаго и Дельвига, какъ поэтовъ. Вполнѣ согласиться въ этомъ отношеніи со взглядами Пушкина невозможно, и если бы мы стали сравнивать поэзію Языкова, по внутреннему ея содержанію и по внѣшней формѣ, съ поэзіей Баратынскаго и Дельвига, то мы должны были бы прійти къ тому заключенію, что она бѣднѣе всѣхъ ихъ содержаніемъ и всѣхъ богаче, всѣхъ роскошнѣ своею дѣйствительно несравненно внѣшнею формой стиха и поэтического выраженія мысли. По справедливому замѣчанію одного изъ современниковъ, Языковъ преимущественно „поэтъ выраженія“. Гоголь отчасти повторилъ тоже самое въ своемъ остроумномъ отзывѣ о Языковѣ, сказавъ, что „не даромъ пришлось ему нѣя Языковъ: владѣть онъ языкомъ, какъ арабъ дикимъ конемъ своимъ, и еще какъ-бы хвастается своею властію — откуда ни начнетъ періодъ, съ головы-ли, съ хвоста, онъ

выведеть его картинно, и заключить такъ, что остановишься пораженный“.

Бѣлинскій, строгій и рѣзкій въ сужденіяхъ своихъ о современной литературѣ, встрѣтилъ второе изданіе стихотвореній Языкова подробнымъ критическимъ разборомъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, и въ немъ очень жѣтко опредѣлилъ настоящее значеніе Языкова, какъ поэта, въ исторіи нашей литературы. „Несмотря на несомнѣнный успѣхъ Пушкина“ — замѣчаетъ Бѣлинскій — „Языковъ въ короткое время успѣлъ приобрести себѣ огромную извѣстность. Всѣ были поражены оригинальною формою и оригинальнымъ содержаніемъ поэзіи Языкова, звучностью, яркостью, блескомъ и энергіею его стиха... Имя Языкова навсегда принадлежитъ русской литературѣ и не сотрется съ ея страницъ даже тогда, когда стихотворенія его уже не будутъ читаться публикою: оно останется извѣстно людямъ, изучающимъ исторію языка и русской литературы... Языковъ принесъ большую пользу нашей литературѣ даже самыми ошибками своими: онъ былъ смѣлъ, и его смѣлость была заслугою. Дотолѣ... писатели на-

ши отличались удивительною робостью: всякое новое, оригинальное выраженіе, родившееся въ собственной ихъ головѣ, приводило ихъ въ ужасъ... Чтобы имѣть право писать не такъ, какъ всѣ писали, надо было сперва приобрести огромный авторитетъ. Смѣлыя, по ихъ оригинальности, стихотворенія Языкова имѣли на общественное мнѣніе такое же полезное вліяніе, какъ проза Марлинскаго: они дали возможность каждому писать не такъ, какъ всѣ пишутъ, а какъ онъ способенъ писать, слѣдственно каждому дали возможность быть самимъ собою въ своихъ сочиненіяхъ. Это было задачею всей романтической эпохи нашей литературы, задачею, которую она счастливо разрѣшила“ — и честь разрѣшенія такой мудреной задачи, добавимъ мы въ заключеніе этой главы, принадлежитъ несомнѣнно тѣмъ представителямъ Пушкинской плеяды, которые на столько же способствовали распространенію въ публикѣ идей Пушкинской поэзіи, на сколько и завлекали къ чтенію богатствомъ и разнообразіемъ внѣшности своихъ поэтическихъ созданій.



XXXVIII.

А. С. Грибоѣдовъ. — Гусарство и первые литературные опыты. — Служба въ кнѣзѣ и „Горе отъ ума“. — Неудачи и разочарованія. — Приписаніе съ жизнью и успѣхи по службѣ. — Трагическая смерть.

Рядомъ съ Пушкиннымъ, въ толпѣ окружающихъ его современниковъ поэтовъ, видимъ мы и Грибоѣдова, который былъ всего четырьмя годами старше Пушкина. Но всѣ поэты Пушкинскаго періода, не исключая даже и самого Лермонтова, повторяли и развивали на множество ладовъ тѣмъ Пушкинской поэзіи, подражая ему и въ самыхъ приемахъ изложенія; одинъ только Грибоѣдовъ является совершенно самостоятельнымъ, независимымъ отъ Пушкина и вообще относится къ Пушкинскому періоду нашей литературы точно также, какъ Крыловъ къ Карамзинскому — только по времени своей литературной дѣятельности, — никакъ не по содержанию ея. Грибоѣдовъ, которому при жизни не удалось видѣть въ печати творенія, составившаго его славу, начинаетъ собою рядъ поэтовъ, не только рисующихъ намъ уже вполне вѣрную дѣятельности картину русской жизни, но еще рисующихъ намъ преимущественно ея мрачныя стороны. Этотъ мрачный оттѣнокъ, которымъ въ такой сильной степени отличается изображеніе русской дѣятельности въ безсмертной комедіи Грибоѣдова, а послѣ него въ твореніяхъ Гоголя, стоитъ въ тѣсной зависимости не столько отъ личнаго желанія автора обращать исключительное вниманіе на однѣ мрачныя стороны создаваемой имъ картины, пренебрегая свѣтлыми, не столько отъ односторонняго поэтического настроенія автора, сколько отъ того, что русская общественная жизнь, въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, дѣйствительно мало могла представить утѣшительныхъ и свѣтлыхъ сторонъ для внимательнаго и безпристрастнаго наблюдателя. Къ тому же, періодъ патріотическихъ увлеченій, къ началу двадцатыхъ годовъ, уже миновалъ, и общество наше успѣло вступить и въ жизнь, и въ литературу

на путь того отрезвляющаго, благороднаго скептицизма, который вообще далекъ отъ всякихъ увлеченій и всегда неразлученъ съ честнымъ стремленіемъ къ истинѣ. Уже въ Батюшковѣ видѣли мы поэта, который живо отражаетъ на себѣ вліяніе современнаго ему общественнаго движенія и, не стараясь прикрашивать неказистую дѣятельность, не чувствуя въ себѣ силъ отрѣшиться отъ нея и ограничиться только одною областью мечтаній, задавался тяжкими вопросами о безполезности своего поэтического призванія... Пушкинъ пошелъ далѣе его: со всѣмъ пыломъ неопытнаго юноши онъ возсталъ противъ окружающей его дѣятельности и, цѣломъ рядъ непечатанныхъ стихотвореній, изливъ на нее свою желчь, поставилъ себя, какъ поэта, въ тѣснѣйшую связь съ дѣятельностью, съ общественностью, съ живыми вопросами современности. Однако же его воспитаніе, его приверженность къ нѣкоторымъ предразсудкамъ и въ жизни, и въ области искусства, не дали ему возможности начертать въ своихъ произведеніяхъ полную картину современнаго ему высшаго слоя русскаго общества... Это удалось Грибоѣдову, человѣку, далекому отъ всякихъ предразсудковъ, одаренному замѣчательнымъ поэтическимъ даромъ и необыкновенною наблюдательностью: въ своей комедіи „Горе отъ ума“ онъ оставилъ намъ удивительно полную картину нашего Московскаго общества двадцатыхъ годовъ, и вывелъ на сцену типы, которые до него еще никогда не появлялись въ русской комедіи, потому что никому еще не удалось такъ глубоко заглянуть въ сердце русскаго человѣка и такъ безпристрастно, самоотверженно и вѣрно обрисовать пустоту и суетность преобладавшихъ въ нашемъ обществѣ характеровъ и стремленій.

Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ (род. 4 янв. 1795, ум. 1829 г.) принадлежитъ къ числу немногихъ нашихъ поэтовъ, получившихъ правильное и хорошее образованіе. Первоначальнымъ воспитаніемъ имѣлъ онъ возможность воспользоваться въ

тической, но и съ теоретической стороны этого искусства. Съ 1810 г. Грибоѣдовъ поступаетъ вольнослушателемъ въ университетъ и при выпускѣ получаетъ степень кандидата правъ. Но 1812 годъ и ему, какъ большей части тогдашняго русскаго юношества,



домѣ родителей; они очевидно имѣли въ виду не только то, чтобы изъ Грибоѣдова вышелъ одинъ изъ множества свѣтскихъ людей, потому что основательно обучали его не одному французскому языку, но латинскому и нѣмецкому, и даже музыкѣ учили серьезно, знакомя его не только съ прак-

становится поперекъ дороги: 17-ти лѣтній Грибоѣдовъ бросаетъ все, поступаетъ корнетомъ въ Солтыковский гусарскій полкъ, и въ 1813 г. является уже въ Брестъ-Литовскъ, въ иркутскомъ гусарскомъ полку... Объ этомъ пребываніи своемъ въ гусарахъ, Грибоѣдовъ не могъ вспомнить безъ особеннаго негодо-

ванія, и утверждалъ, что „пробывъ всего четыре мѣсяца въ этой дружинѣ, цѣлыхъ четыре года потомъ не могъ попасть на путь истинный.“ Кажется, что только дружбѣ съ Степаномъ Никитичемъ Бѣгичевымъ обязанъ былъ Грибоѣдовъ тѣмъ, что ему удалось избавиться отъ гусарства и перебраться въ Петербургъ (1815 г.), гдѣ онъ, по выходѣ въ отставку (1816 г.), опредѣлился въ 1817 году на службу въ коллегію иностранныхъ дѣлъ. Тамъ вѣроятно и познакомился онъ съ Пушкинымъ, хотя никогда не могъ съ нимъ сблизиться, потому что принадлежалъ съ самаго начала своей литературной дѣятельности къ такому кружку литераторовъ (князь Шаховской, Катенинъ, Жандрѣ, Корсаковъ, Хмѣльницкій), который ничего не имѣлъ общаго съ Арзамасомъ и его членами, а къ Карамзину и Жуковскому относился даже непріязненно. Нельзя однако же не замѣтить, что начало авторской дѣятельности Грибоѣдова не обѣщало ничего замѣчательнаго въ будущемъ: на поприще литературы выступилъ Грибоѣдовъ, помѣстивъ въ Вѣстникъ Европы описаніе какаго-то полковаго праздника и потомъ, попавъ въ кружокъ актеровъ и вышепоименованныхъ нами драматическихъ писателей, Грибоѣдовъ и самъ сталъ писать комедійки, то одинъ, то въ компаніи съ Жандромъ и Хмѣльницкимъ. Такъ въ 1816 г. играна была на Петербургской сценѣ первая комедія Грибоѣдова — „Молодые супруги“; затѣмъ въ слѣдующемъ году, комедія „Притворная невѣрность“, переведенная Грибоѣдовымъ и Жандромъ, и комедія Шаховского, „Своя семья“, въ которой перу Грибоѣдова также принадлежало нѣсколько сценъ. Но все это не представляло никакого серьезнаго интереса и болѣе служило забавой для Грибоѣдова, нежели выраженіемъ той дѣйствительной силы духа, которая въ немъ крылась и обнаружилась не скоро... Свѣтская, съ нѣкоторымъ отгѣнкомъ гусарства, разсѣянная, а подъ часъ и разгульная жизнь — жизнь, при которой здоровье, силы, время и деньги не принимались вовсе въ расчетъ, — даже и при замѣчательныхъ способностяхъ Грибоѣдова, не могла, конечно, способствовать развитію его поэтическаго дара. Но къ счастью, Грибоѣдову не пришлось долго идти той избитой колеи, на которую онъ вступилъ такъ рано: случай отвлекъ его отъ свѣтской жи-

зни, заставилъ забыть о свѣтѣ и развлеченияхъ, въ глубокомъ уединеніи далъ поэту возможность обдумать произведеніе, составившее его славу, и въ основу котораго былъ положенъ имъ рано приобретенный въ свѣтѣ горькій опытъ наблюденій надъ окружавшею его толпою. Въ 1818 году Грибоѣдову предложено было мѣсто секретаря посольства въ Персію, — и онъ его принялъ. Вотъ какъ онъ самъ рассказываетъ объ этомъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Бѣгичеву:

...„Представь себѣ, что меня непременно хотѣтъ послать — куда-бы ты думалъ? — въ Персію, и чтобъ жилъ тамъ. Какъ я ни отпѣкиваюсь, ничего не помогаетъ; однако я третьяго дня, по приглашенію нашего Министра, былъ у него и объявилъ, что не рѣшусь иначе (и то не навѣрно), какъ если мнѣ дадутъ два чина, тотчасъ при назначеніи меня въ Тегеранъ. Онъ поморщился, а я представлялъ ему со всевозможнымъ французскимъ краснорѣчіемъ, что жестоко было-бы мнѣ цвѣтущія лѣта свои провести между дикообразными азіатцами, въ добровольной ссылке, на долгое время отлучиться отъ друзей, отъ родныхъ, отказаться отъ литературныхъ успѣховъ, которыхъ я здѣсь въ правѣ ожидать, отъ всякаго общенія съ просвѣщенными людьми, съ пріятными женщинами, которымъ я самъ могу быть пріятенъ; не смѣйся: я молодой, музыкантъ, влюбчивъ и охотно говорю вздоръ — чего же мнѣ еще надобно? Словомъ, невозможно мнѣ собою пожертвовать, хотя безъ тѣхъ котораго возмездія. „Вы въ уединеніи усовершенствуете ваши дарованія“. — Нисколько, Василій Сергѣевичъ; музыканту и поэту нужны слушатели, читатели: ихъ нѣтъ въ Персію.... Мы еще съ нимъ кое-о-чемъ поговорили; всего забавнѣе, что я ему твердилъ о томъ, какъ сроду не имѣлъ ни малѣйшихъ видовъ честолюбія, а между тѣмъ за два чина предлагалъ себя въ полное его распоряженіе... Степанъ, милый мой, ты хоть штабъ-ротмистръ кавалергардскій, а умный малый; какъ ты объ этомъ судишь?“

30-го августа 1818 года, Грибоѣдовъ выѣхалъ изъ Петербурга въ Москву и далѣе на Кавказъ. Чрезвычайно любопытно то письмо его съ дороги къ Бѣгичеву, въ которомъ онъ описываетъ свое пребываніе въ Москвѣ и высказываетъ, между прочимъ,

нѣсколько замѣтокъ, прекрасно характеризующихъ его личность. „Въ Москвѣ все не по мнѣ“ — пишетъ Грибоѣдовъ — „ни въ комъ нѣтъ любви къ чему-нибудь изящному, а притомъ, „нѣсть пророка безъ чести, токмо въ отечествѣ своемъ, въ сродствѣ и въ дому своемъ;“ отечество, сродство и домъ мой въ Москвѣ. Всѣ тамошніе помнятъ во мнѣ Сашу-милаго-ребенка, который теперь выросъ, много повѣсничалъ, наконецъ становится къ чему-то годенъ, опредѣленъ въ Миссію, и можетъ современемъ попасть въ статскіе совѣтники; а больше во мнѣ ничего видѣть не хотятъ. Въ Петербургѣ я, по крайней мѣрѣ, имѣю нѣсколько такихъ людей, которые, не знаю на столько-ли меня цѣнятъ, сколько я думаю, что стою; но, по крайней мѣрѣ, судятъ обо мнѣ и смотрятъ съ той стороны, съ которой хочу, чтобы на меня смотрѣли. Въ Москвѣ совсѣмъ другое: спроси Жандра, какъ однажды, за ужиномъ, матушка съ презрѣніемъ говорила о моихъ стихотворныхъ занятіяхъ, и еще замѣтила во мнѣ зависть, свойственную мелкимъ писателямъ, отъ того, что я не восхищаюсь Кокошкинымъ, и ему подобными...“

Судя по этимъ строкамъ и еще по тому, что незадолго передъ отъѣздомъ на Кавказъ, написано было Грибоѣдовымъ стихотвореніе (Прости Отечество!), въ которомъ онъ рисуетъ русскую современность въ самомъ мрачномъ свѣтѣ, должно предполагать, что онъ охотно уѣзжалъ въ даль ожидая отъ пребыванія въ новой для него, полудикой странѣ свѣжихъ и сильныхъ впечатлѣній до которыхъ постоянно былъ страстнымъ охотникомъ. И дѣйствительно, не смотря на многосложность занятій по своей новой должности, не смотря на то, что онъ долженъ былъ посвятить значительную долю времени изученію восточныхъ языковъ, Грибоѣдовъ однако же успѣлъ въ своемъ далекомъ уединеніи на столько сосредоточиться и окрѣпнуть духомъ, что въ 1821 году задумалъ написать свою извѣстную комедію, которую и написалъ, въ 1822 г., въ теченіе своего пребыванія въ Грузіи, куда онъ въ это время былъ переведенъ на службу изъ Персіи ¹⁾. Впрочемъ комедія его потомъ долго и много разъ передѣлывалась, переработыва-

лась отдѣльными частями и была вполне окончена только уже въ 1823 году, когда, отправившись въ отпускъ въ Москву, онъ провелъ тамъ около года. Третій и четвертый акты „Горя отъ ума“ были, между прочимъ, написаны Грибоѣдовымъ въ Екатерининскомъ (Тульской губерніи, Елифановскаго уѣзда), имѣніи С. Н. Бѣгичева; Грибоѣдовъ жилъ тамъ, послѣ свадьбы своего друга, г-томъ 1823 года, въ садовой бесѣдкѣ, гдѣ и были написаны вышеупомянутыя части его знаменитой комедіи. Окончивъ свою комедію и приготовивъ ее къ постановкѣ на сцену. Грибоѣдовъ отправился въ Петербургъ, гдѣ однакоже никакія, самыя энергическія усилія, никакія знакомства и связи въ высшемъ кругу, никакія уступки и урѣзки въ комедіи не помогли Грибоѣдову:—цензура не пропустила его комедіи, и постановка ея на сцену оказалась дѣломъ совершенно невозможнымъ.

„Здѣсь я уже восемь дней гуляю“—пишетъ Грибоѣдовъ Бѣгичеву изъ С. Петербурга—„коли дома, то вѣрно одинъ другого смѣняетъ въ моей комнатѣ; когда же со двора выхожу, то повсюду разсыпаясь,—досугъ и воля. Всѣ просятъ манускриптъ и надѣдають“... Въ другомъ письмѣ, упоминая о томъ же, Грибоѣдовъ замѣчаетъ: „не могу оторваться отъ побрякушекъ авторскаго самолюбія. Надѣюсь, жду, урѣзываю, мѣняю дѣло на вздоръ, такъ что во многихъ мѣстахъ моей драматической картины яркія краски совсѣмъ (исчезаютъ), сержусь и восстанавливаю стертое, такъ что, кажется, работѣ конца не будетъ;... будетъ же; добыюсь до чего-нибудь; терпѣніе есть азбука всѣхъ прочихъ наукъ... Ты, безцѣнный другъ, навсѣвозъ знаешь твоего Александра: подмивисъ гвоздю, который онъ вбилъ себѣ въ голову, мелочной задачѣ, вовсе не сообразной съ ненасытностью души, съ пламенной страстью къ новымъ вымысламъ, къ новымъ познаніямъ, въ переиѣнѣ мѣстъ и занятій, къ людямъ и дѣламъ необыкновеннымъ“..

Невозможность увидѣть свою комедію ни въ печати, ни на сценѣ тѣмъ болѣе должна была раздражать Грибоѣдова, что его комедія, распространяясь въ безчисленномъ множествѣ списковъ, всѣхъ приводила въ не-

¹⁾ Онъ состоялъ при А. П. Ермоловѣ для занятій по дипломатической части.

описанный восторг, и не смотря на то, что она являлась одновременно съ другимъ замѣчательнымъ произведеніемъ, — Евгениемъ Онѣгинимъ¹⁾ — слава Пушкина не могла затмить славу Грибоѣдова. Кстати, не мѣшаетъ замѣтить, что Пушкинъ, прочитавъ Горе отъ ума, отнесся къ нему очень строго, и, при всѣхъ достоинствахъ, находилъ въ комедіи Грибоѣдова много крупныхъ недостатковъ; такая строгость должна казаться тѣмъ болѣе странною, что вообще Пушкинъ былъ, какъ извѣстно, очень снисходителенъ ко всякимъ талантамъ, а друзей своихъ превозносилъ похвалами даже и гораздо болѣе, нежели они того заслуживали.

Неудача, испытанная Грибоѣдовымъ по отношенію къ его комедіи, еще болѣе должна была въ немъ усилить недовольство настоящимъ, съ которымъ и прежде, лѣтъ за семь до этого времени, онъ никогда не чувствовалъ никакого расположенія примириться. Желчный саркастическій тонъ его писемъ, который становился особенно ѣдкимъ за это время, ясно свидѣтельствуеетъ о томъ, что ему жилось очень не весело, тѣмъ болѣе, что онъ уже неспособенъ былъ къ прежнему беззаботному и вѣтренному разгулу, и смотрѣлъ на жизнь серьезно, видѣлъ цѣль предъ собою — и не видѣлъ никакой возможности достиженія ея въ будущемъ. Горько жалуется онъ на полную неопредѣленность положенія своего, на свою одинокость „среди глупцовъ“, которыхъ онъ видитъ около себя „уже слишкомъ много“...

„Другъ и братъ!“ такъ пишетъ Грибоѣдовъ изъ С.-Петербурга къ Бѣгичеву 4-го января 1825 г. „пишу тебѣ въ пятомъ часу утра — не спится. Нынче день моего рожденія, — что же я? На полпути моей жизни¹⁾, скоро буду старъ и глупъ, какъ всѣ мои благородные современники. Вчера я обѣдалъ со всею сволочью здѣшнихъ литераторовъ. Не могу пожаловаться: отовсюду колѣнопреклоненіе и эниміамъ, но вмѣстѣ съ этимъ — сытость отъ ихъ дурачества, ихъ сплетень, ихъ мишурныхъ талантовъ и мелкихъ ихъ душишекъ. Не отчаивайся, другъ почтенный, я еще не совсѣмъ погрязъ въ

этомъ трясинномъ государствѣ. Скоро отправляюсь и — на долго... Братъ! ты меня зовешь въ деревню. Коли не теперь, не нынѣшнимъ лѣтомъ, такъ вѣрно со временемъ у тебя понцу прибѣжища: не отъ бурей, не отъ угрожающихъ скорбей, но рѣшительно отъ пустоты душевной. Какой миръ! Кѣмъ населенъ! И какая дурацкая его исторія“.

Ничего не добившись, еще болѣе разочарованный въ людяхъ, нежели прежде, Грибоѣдовъ снѣшилъ оставить столицу, среди шума которой чувствовалъ себя неспособнымъ къ литературной дѣятельности²⁾, собирался отправиться за границу, но путешествіе это почему-то ему не удалось; тогда онъ съ удовольствіемъ сталъ поминать о возвращеніи въ Грузію. Онъ отправился туда черезъ южную Россію и Крымъ, который ему уже давно хотѣлось видѣть... Но и здѣсь разочарованіе, недовольство собой и людьми не оставляли его ни на минуту. „Я тотчасъ не писалъ тебѣ по важной причинѣ“: — такъ пишетъ Грибоѣдовъ Бѣгичеву (отъ 9-го сент. 1825 г.) изъ Симферополя — „ты хотѣлъ знать, что я съ собою намѣренъ сдѣлать, а я самъ еще не зналъ, что я съ собою намѣренъ сдѣлать; чуть было не попалъ въ Одессу; потомъ думалъ поселиться на долго въ Соблакахъ, неподалеку отсюда. — Наконецъ ѣду къ Ермолову послѣ завтра непременно; все уложено. Ну, вотъ почти три мѣсяца я провелъ въ Тавридѣ; а результатъ — нуль. Ничего не написалъ. — Не знаю, не слыхкомъ ли я отъ себя требую? Умѣю-ли писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня съ избыткомъ найдется, что сказать — за это ручаюсь; отчего же я нѣмъ? Нѣмъ, какъ гробъ!!

....„Еще игра судьбы нестерпимая: весь вѣкъ желаю гдѣ-нибудь найти уголокъ для уединенія, и нѣтъ его для меня нигдѣ. Пріѣзжаю сюда (въ Симферополь), никого не вижу, не знаю и знать не хочу. Это продолжалось не болѣе сутокъ; потому-ли, что фортепіанная репутація моей сестры извѣстна, или чутьемъ открыли, что я умѣю играть вальсы и кадрили: ворвались ко мнѣ, осыпали привѣтствіями, и маленькій горо-

¹⁾ Ему тогда минуло тридцать лѣтъ. ²⁾ «Всѣ мы здѣсь ужасѣйшая дрянь» — писалъ онъ изъ Петербурга къ Катенину. «Вожь мой! когда я вырвусь изъ этого мертвого города!»

докъ сдѣлался мнѣ тошнѣе Петербурга. — Мало этого; наѣхали путешественники, которые меня знаютъ по журналамъ: сочинитель Фамусова и Скалосуба—слѣдовательно, веселый человѣкъ. Тѣфу злодѣйство! да мнѣ не весело, скучно, отвратительно, несносно!... И то неправда; иногда слишкомъ ласкали мое самолюбіе, знаютъ невзустъ мои рѣшмы, ожидаютъ отъ меня, чего я можетъ быть не въ силахъ исполнить: такимъ образомъ, я нажилъ кучу новыхъ пріятелей, а время потерялъ, и вообще утратилъ силу характера, которую начиналъ пріобрѣтать на перекладныхъ. Вѣдь мнѣ, чудесно всю жизнь свою прокатиться на четырехъ колесахъ; кровь волнуется, высокія мысли бродятъ и мчатъ за обыкновенные предѣлы пошлыхъ опытовъ, воображеніе свѣжо, какой-то бурный огонь въ душѣ пылаетъ и не гаснетъ... Но остановки, отдыхи двухъ недѣльные, двухъ-мѣсячные для меня пагубны; задремлю, либо завьюсь чужимъ вихремъ, живу не въ себѣ, а въ тѣхъ людяхъ, которые поминутно со мною, часто же они дураки набитые.—Подожду, авось придутъ въ равновѣсіе мои замыслы безпредѣльные и ограниченные способности“.

Еще болѣе тяжелою грустью, близкою къ отчаянію, отзывается письмо Грибоѣдова къ Бѣгичеву же, изъ Θεοδοσίи, отъ 9-го сентября того же года. „Такъ скучно! такъ грустно!“—говоритъ онъ въ этомъ письмѣ—„думаю помочь себѣ, взялся за перо, но пишется нехотя; вотъ и кончилъ, а все не легче... Пора умереть! Не знаю, отчего это такъ долго тянется? Тоска неизвѣстная! воля твоя, если это долго меня промучитъ, я никакъ не намѣренъ вооружаться терпѣніемъ; пускай оно останется добродѣтелью тяглаго скота. Представь себѣ, что со мною повторилась та ипохондрія, которая выгнала меня изъ Грузіи, но теперь въ такой усиленной степени, какъ еще никогда не бывало... Сдѣлай одолженіе, подай совѣтъ, чѣмъ мнѣ избавить себя отъ сумасшествія или пистолета: а я чувствую, что то или другое у меня впереди“. На утѣшающія письма Бѣгичева, Грибоѣдовъ, въ декабрѣ того же года, отвѣчалъ уже изъ Грузіи:

„Ты совершенно правъ, но этого для меня

недовольно, ибо кромѣ голоса здраваго разсудка есть во мнѣ какой то внутренній распорядитель; наклоняетъ меня къ мрачности, скукѣ, и теперь я тотъ же, что въ Θεοδοσίи: не знаю, чего хочу, и удовлетворять меня трудно. Жить и не желать ничего, согласись, что это положеніе не завидно... Ты говоришь мнѣ о талантѣ; надобно-бы вмѣстѣ съ тѣмъ имѣть всегда охоту имъ пользоваться; но тѣ промежутки, когда чувствуешь себя пустѣйшимъ головою и сердцемъ, чѣмъ прикажешь ихъ наполнить? Люди не часы; кто всегда похожъ на себя, и гдѣ найдется книга безъ противорѣчій? Чтобы дальше не ювничать, пускаюсь въ Чечню: А. П. ¹⁾ не хотѣлъ, но я самъ ему навязался.—Теперь это меня нѣсколько занимаетъ,—борьба горной и дѣсной свободы съ барабаннымъ просвѣщеніемъ, дѣйствіе конгревоу; будемъ вѣшать и прощать, и плюемъ на исторію“.

И дѣйствительно, Грибоѣдовъ участвовалъ въ экспедиціи противъ горцевъ, даже писалъ стихи („Хищники на Чегемѣ“ ²⁾) въ виду непріятельскаго стана и кавказскихъ горъ.... Въ началѣ 1826 года Грибоѣдовъ былъ присланъ въ Петербургъ Ермоловымъ по дѣламъ службы и сталъ лично извѣстенъ Государю. Онъ получилъ здѣсь за отличіе чинъ надворнаго совѣтника, и возвратился снова въ Грузію, гдѣ продолжалъ службу при Ермоловѣ, а потомъ при своемъ родственникѣ, графѣ Паскевичѣ-Эриванскомъ. Отъ конца 1826 года, осталось намъ очень замѣчательное письмо Грибоѣдова къ Бѣгичеву, ясно обрисовывающее, что въ немъ совершался какой-то тяжелый нравственный переворотъ, въ смыслѣ вынужденнаго примиренія съ дѣйствительностью, которая была ему несносна, но которую онъ не чувствовалъ себя въ силахъ измѣнить, отъ которой не видѣлъ возможности уклониться.

...„Я принялъ твой совѣтъ“. — пишетъ Грибоѣдовъ—„пересталъ умничать; со всѣми видамъ, слушаю всякій вѣдоръ, и нахожу, что это очень хорошо. Какъ нибудь дотану до смерти, а тамъ увидимъ, больше ли толку, Тифлисскаго или Петербурскаго“. Нѣсколько дагѣе, въ томъ же письмѣ, онъ прибавляетъ:

...„Буду-ли я когда нибудь независимымъ

¹⁾ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ. ²⁾ Чегемъ—названіе горной кавказской рѣчки.

отъ людей? Зависимость отъ семейства, другая отъ службы, третья отъ цѣли къ жизни, которую себѣ назначилъ, и, можетъ, статься, наперекоръ судьбы. Поэзія!! Люблю ее безъ памяти, страстно; но любовь одна достаточна-ли, чтобы себя прославить? И наконецъ что слава? по словамъ Пушкина...

Лишь яркая заплата
На ветхомъ рубищѣ пѣвца.

Кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ? Все-таки Шереметовъ ¹⁾ у насъ затмилъ-бы Омара.... Мученье быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ спѣговъ... Когда нибудь, и можетъ быть скоро, свидимся... ты удивишься, когда узнаешь, какъ мелки люди... Читай Паутарха и будь доволенъ тѣмъ, что было въ древности. Нынѣ эти характеры болѣе не повторяются.

Между тѣмъ открылась кампанія противъ Персіи, и Грибоѣдовъ, сопровождая Паскевича, былъ чрезвычайно полезенъ ему своимъ знаніемъ восточныхъ языковъ и мѣстныхъ условій жизни; въ походѣ онъ велъ и краткія записки. По окончаніи кампаніи, въ награду за труды при веденіи переговоровъ о мирѣ, Грибоѣдовъ былъ отправленъ въ Петербургъ для поднесенія Государю мирнаго (туркманчайскаго) трактата. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ мартѣ 1828 г. Онъ поговаривалъ въ кругу друзей своихъ о нахѣреннѣ выйти въ отставку и посвятить себя исключительно занятіямъ литературою. Видно даже, что у него уже были готовы планы нѣсколькихъ будущихъ произведеній. Отрывки одного изъ нихъ — романтической драмы: Грузинская ночь, навѣянной изученіемъ Шекспира — онъ даже читалъ друзьямъ своимъ. Но „наперекоръ судьбѣ“ своей Грибоѣдову не пришлось идти. Осыпанный наградами, онъ, сверхъ всякаго ожиданія, былъ назначенъ въ апрѣлѣ того же года полномочнымъ министромъ при персидскомъ дворѣ. Проѣзжая черезъ Тифлисъ, на пути въ Персію, Грибоѣдовъ женился

на княжнѣ Чевчевадзе, — а въ началѣ слѣдующаго (1829) года, его уже не было въ живыхъ. Другому великому русскому поэту, ѣхавшему на Кавказъ, чтобы развѣять сѣдавшую его грусть-тоску и забыться среди новыхъ для него военныхъ впечатлѣній, пришлось встрѣтить на пути своемъ смертные останки Грибоѣдова, и онъ посвятилъ ему въ своихъ запискахъ нѣсколько искреннихъ, теплыхъ, задушевныхъ строкъ; выпишемъ эти строки изъ записокъ Пушкина.

„...На высокомъ берегу рѣки увидѣлъ (я) противъ себя крѣпость Гергеры. Три потока съ шумомъ и пѣной низвергались съ высокаго берега. Я переѣхалъ черезъ рѣку. Два вола, впряженные въ арбу, подымались по крутой дорогѣ. Нѣсколько Грузинъ сопровождали арбу. „Откуда вы?“ спросилъ я ихъ.— „Изъ Тегерана“.— „Что вы везете?“ — Грибоѣда. — Это было тѣло убитаго Грибоѣдова, которое препровождали въ Тифлисъ.

Не думалъ я встрѣтить уже когда нибудь нашего Грибоѣдова! Я разстался съ нимъ въ прошломъ году, въ Петербургѣ, передъ отъѣздомъ его въ Персію. Онъ былъ печаленъ и имѣлъ страшныя предчувствія. Я было хотѣлъ его успокоить; онъ мнѣ сказалъ: *Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous voyez qu'il faudra jouer des couteaux* ²⁾. Онъ предполагалъ, что причиною кровопролитія будетъ смерть Шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарѣлый Шахъ еще живъ, а пророческія слова Грибоѣдова сбылись: онъ погибъ подъ кинжалами Персіянъ, жертвою невѣжества и вѣроломства ³⁾. Обозображенный трущъ его, бывшій три дня налицемъ тегеранской черни, узнать былъ только по рукѣ, нѣкогда прострѣленной (на дуэли) пистолетною пулею.

„Я познакомился съ Грибоѣдовымъ въ 1817 году. Его меланхолическій характеръ, его озлобленный умъ, его добродушіе, самыя слабости и пороки, неизбѣжные спутники чело-вѣчества, все въ немъ было необыкновенно привлекательно. Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ его дарованіямъ, дол-

¹⁾ Извѣстный богачъ, у котораго было слишкомъ 120,000 душъ крестьянъ. ²⁾ Вы не знаете этихъ людей; вы увидите, что придется пустить въ дѣло ножи. ³⁾ Онъ былъ убитъ въ Тегеранѣ (30-го января 1826 г.) чернью, раздраженною тѣмъ, что въ домѣ посланника укрывались Армяне и Армянки — русскіе подданные, которыхъ собирались возвратитъ на родину.

го быть онъ опутанъ сѣтями мелочныхъ нуждъ и неизвѣстности. Способности чело-вѣка государственнаго оставались безъ упо-требленія; талантъ поэта былъ непризнанъ; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась нѣкоторое время въ подозрѣннѣ. Нѣсколько друзей знали ему цѣну и видѣ-ли улыбку недоумчивости, — эту глупую, несносную улыбку—когда случалось имъ го-ворить о чело-вѣкѣ необыкновенномъ. Люди

страстей и могучихъ обстоятельствъ. Онъ по-чувствовалъ необходимость расчестъся еди-ножды навсегда съ своею молодостию и кру-то поворотить свою жизнь. Онъ простился съ Петербургомъ и праздною разсѣянностью — и уѣхалъ въ Грузію, гдѣ пробылъ восемь лѣтъ въ уединенныхъ, неусынныхъ заня-тіяхъ. Возвращеніе его въ Москву, въ 1824 г., было переворотомъ въ его судьбѣ и нача-ломъ безпрерывныхъ успѣховъ. Его рукопи-



Могила Грибоѣдова, въ монастырѣ св. Давида.

вѣрять только славѣ и не понимаютъ, что между ними можетъ находиться какой ни-будь Наполеонъ, не предводительствовавшій ни одною егерскою ротою, или другой Де-картъ, не напечатавшій ни одной строчки въ Московскомъ Телеграфѣ. Впрочемъ, уваженіе наше къ славѣ происходитъ, мо-жетъ быть, отъ самолюбія: въ составъ славѣ входитъ и нашъ гололъ.

„Жизнь Грибоѣдова была затемнена нѣ-которыми облаками: — слѣдствіе пылкихъ

сная комедія „Горе отъ ума“ произвела неописанное дѣйствіе и вдругъ поставила его на ряду съ первыми нашими поэтами. Черезъ нѣсколько времени совершенное зна-ніе края, гдѣ начиналась война, открыло ему новое поприще; онъ назначенъ былъ послан-никомъ. Пріѣхавъ въ Грузію, женился онъ на той, которую любилъ. Не знаю ничего завиднѣе послѣднихъ годовъ бурной его жи-зни. Самая смерть, постигшая его посреди смѣлаго, неравнаго боя, не имѣла для Гри-

боѣдова ничего ужаснаго, ничего томительнаго. Она была мгновенна и прекрасна“.

„Какъ жаль, что Грибоѣдовъ не оставилъ своихъ записокъ! Написать его біографію было бы дѣломъ его друзей; но замѣчательные люди исчезаютъ у насъ, не оставляя по себѣ слѣдовъ. Мы лѣнны и не любопытны“...

Тѣло Грибоѣдова, по его желанію, выраженному имъ при жизни, погребено было въ монастырѣ св. Давида, построенномъ на живописной и крутой скалѣ, на западѣ отъ Тифлиса. Мѣстоположеніе этого монастыря всегда нравилось покойному поэту. Супруга воздвигла на могилѣ его великогвѣный памятникъ.



XXXIX.

Н. А. Полевой. — Отзывъ Вигеля. — Дѣтство и родители. — Конкордія и ученье. — Литературныя попытки и участіе въ журналахъ: — Московскій телеграфъ. — Романтизмъ и философія. — Занятія исторіею. — Борьба и неудачи. — Вѣдическій — рисовникъ Полевого.

Въ началѣ этого послѣдняго періода мы уже говорили о томъ литературномъ движеніи, которое, подъ общимъ названіемъ романтизма, проявилось въ первой четверти нынѣшняго столѣтія въ нашей литературѣ и, проникнувъ въ общество, вступило въ ожесточенную борьбу съ отжившими литературными теоріями и отживающими преданіями стараго застоя. Борьба романтиковъ съ классиками въ первое время не могла быть равною, потому что литература у насъ уже успѣла дожить до того времени, когда всѣ занимавшіе ее насущные и притомъ спорные вопросы должны были обсуждаться для всѣхъ доступнымъ путемъ журнальной, открытой полемики. Классики въ этомъ отношеніи успѣли себя въ значительной степени обезпечить; на ихъ сторонѣ была и Бесѣда, и Общество любителей руссійской словесности, и наконецъ Вѣстникъ Европы, съ тѣхъ поръ, какъ онъ поступилъ подъ редакцію Каченовскаго (профессора Московскаго университета). Между тѣмъ у романтиковъ еще не было постоянного и вліятельнаго органа для проведенія ихъ идей въ общество. Въ послѣдніе годы царствованія Александра I вся ихъ издательская дѣятельность ограничивалась изданіемъ мелкихъ сборниковъ и альманаховъ, которые вошли въ особенную моду въ это время. Изъ постоянныхъ періодическихъ изданій единственнымъ приближеніемъ въ полемикѣ съ классиками былъ для романтиковъ „Сынъ Отечества“, издававшійся Гречемъ съ 1821 года. Но это не былъ журналъ строго-романтическаго направленія. Пропитанный ненавистью ко всему французскому и узкимъ, казеннымъ патриотизмомъ, журналъ этотъ вѣдѣлъ съ Сѣв. Пчелой Булгарина, во второй половинѣ 20-хъ годовъ сдѣлался орга-

номъ безцвѣтной посредственности, мелкой зависти и гоненія противъ всякаго свободаго движенія, противъ всякаго свѣтлаго проблеска мысли. Въ это-то время, на прищипе нашей литературы и журналистики выступилъ новый защитникъ и проповѣдникъ романтизма, Н. А. Полевой, главная заслуга котораго заключается въ томъ, что онъ создалъ журналъ, бывшій въ продолженіе цѣлыхъ 10 лѣтъ, въ самое смутное и тяжелое время для русской литературы, единственнымъ органомъ независимой и смѣлой мысли, и открылъ своею дѣятельностью новый періодъ въ нашей журналистикѣ — періодъ философскаго броженія, выработки нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ и эстетическихъ теорій.

Николай Алексѣевичъ Полевой (род 1796 г., ум. въ 1846 г.), принадлежалъ къ роду курскихъ купцовъ, Полевыхъ. Онъ родился въ Иркутскѣ, гдѣ отецъ его занимался различными торговыми дѣлами, между прочимъ по Сѣверо-Американской торговой компаніи. Вотъ какъ описываетъ въ своихъ запискахъ Ф. Ф. Вигель семейство Полевыхъ, съ которымъ онъ познакомился во время своей поѣздки въ Китай, и въ домѣ котораго останавливался въ бытность свою въ Иркутскѣ.

„Между иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю съ Китаемъ, были и миллионщики, Мѣльниковы, Собняковы и другіе: но всѣ они оставались вѣрнымъ стариннымъ русскимъ, отцовскимъ и дѣдовскимъ обычаемъ; въ каменныхъ домахъ большія комнаты содержали въ совершенной чистотѣ, и для того никогда въ нихъ не ходили, ежались въ двухъ, трехъ чуланахъ, спали на сундукахъ, въ вонхъ прятали свое золото, и при неимовѣрной, даже смѣшной дешевизнѣ, ѣли

съ семейю одну селянку, заливая ее квасомъ или пивомъ... Совсѣмъ не такъ былъ купчикъ, къ которому судьба привела меня на квартиру. Алексѣй Евсѣевичъ Полевой, родомъ изъ Курска, лѣтъ сорока съ небольшимъ, былъ весьма небогатъ, но весьма тавровать, словоохотенъ и любознателенъ. Жена у него была красавица, хотя уже дочь выдала замужъ; онъ держалъ ее не въ заперти, и мы кажется другъ другу очень понравились. Онъ гордился не столько ею самою,



сколько ея рожденіемъ: ¹⁾ у нихъ былъ девяти-лѣтній сынишка, Николай, нѣженекій, бѣленькій, худенькій мальчикъ, который влюбленъ былъ въ грамоту и бредилъ стихами: онъ теперь извѣстенъ всей Россіи. Я всякій день ходилъ обѣдать къ послу и только вечеромъ зналъ хлѣбосоольство моихъ хозяевъ: можно было подумать, что они хотятъ меня окормить. Насытись отъ французскаго обѣда я, за ужиномъ, безъ пощады опоражнивалъ русскія блюда; не знаю кого изъ су-

руговъ мнѣ благодарить или бранить за сіе пресыщеніе. Я думаю однако же скорѣе жену... Полевой занимался европейской политикой гораздо болѣе, чѣмъ азіатскою своею торговлей. Въ немъ была замѣтна склонность къ тому, чему тогда не было еще имени, и что нынѣ называютъ либерализмомъ, и онъ выписывалъ всѣ газеты, на русскомъ языкѣ тогда выходившія. Во время послѣдняго моего пребыванія въ Иркутскѣ, узналъ я у него отомъ, что мѣсяца два передъ тѣмъ происходило въ Германіи; какъ Маакъ положилъ оружіе при Ульмѣ, какъ австрійская армія ретировалась, какъ ученикъ Суворова, Багратионъ, дрался уже съ французами и при Галлабрюкѣ и Винау далъ имъ сильный отпоръ. Маленькій сынъ Полевого... написалъ четверостишіе, въ которое вложилъ, игралъ словами: Богъ рати онъ и На полѣ онъ. Послѣ тоже самое слышалъ я въ Москвѣ, и теперь не знаю гдѣ было эхо: тамъ-ли, или въ Иркутскѣ? Гдѣ повторяли, и кто у кого перенялъ?²⁾

Изъ этого свидѣтельства видно, что А. Е. Полевой принадлежалъ къ числу купцовъ, выделявшихся по своему образованію изъ обычнаго купеческаго круга. Это былъ начетчикъ, умный, любознательный, любившій чтеніе и читавшій все, что попадалось подъ руку — Исторію Карамзина и исторію Боссюэта, Дѣянія Петра Великаго, Голицкова (дальняго родственника его), и путешествія капитана Кука. Какъ многіе, подобнаго рода начетчики, онъ соединялъ въ себѣ бездну противорѣчій; отъ обычной купеческой рутинѣ не рѣдко переходилъ къ рискованной дѣятельности прожектера, а при скудости техническаго образованія и при необычайно сильномъ воображеніи способенъ былъ бросаться на такіа безумныя предпріятія, какъ напр. выдѣлка сахара и рома изъ астраханскихъ арбузовъ. Проживаясь на такого рода предпріятіяхъ, онъ снова входилъ въ обычную купеческую норму и снова начиналъ сколачивать по-немногу копѣйку посредствомъ Сибирской торговли при С. Американской компаніи или устройства виннаго завода въ Москвѣ. Таковъ же онъ былъ и въ своемъ семействѣ: то нѣжный мужъ и отецъ по европейскимъ понятіямъ, то вдругъ неукротимый и необузданный въ гнѣвѣ. — Эта двой-

¹⁾ Она была изъ рода Голицковыхъ.

ственность отразилась и въ воспитаніи сына. Онъ самъ вызвалъ въ сынѣ страсть къ книгамъ, поощрялъ эту страсть, гордился успѣхами сына въ наукахъ и въ послѣдствіи на литературномъ поприщѣ; когда же находила на него мрачная минута, онъ, увлекался идеаломъ дѣловаго, практическаго купца, вдругъ принимался рвать и бросать въ огонь книги и тетрадки сына и требовать, чтобы тотъ ни о чемъ не думалъ, кромѣ купеческихъ дѣлъ. Вотъ какъ свидѣтельствуется о своемъ воспитаніи въ домѣ отца самъ Н. А. Полевой въ своей автобіографіи: ¹⁾ „Нельзя однакожъ ничего вообразить страннѣе понятій отца моего объ образованіи, а въ слѣдствіе того и методѣ воспитанія, какое слѣдовало дать дѣтямъ. Собственно методы у него не было никакой. Онъ чувствовалъ пользу ученія и образованія, желалъ ихъ; но долго надобно-бы говорить, объясняя, что значили въ его понятіяхъ слова: дѣловой человѣкъ и что такое называлъ онъ вздоромъ. Писатель въ глазахъ его былъ что-то странное, хоть онъ глубоко уважалъ Голицева, и сто разъ слышалъ я отъ него всѣ подробности объ этомъ любопытномъ историкѣ Петра Великаго, съ которымъ хорошо друженъ былъ онъ, какъ родственникъ. Нѣсколько разъ хотѣлъ отецъ мой послать меня въ Петербургъ, въ коммерческое училище, гдѣ очень знакомъ ему былъ директоръ, извѣстный Подшиваловъ. Я почти не помню себя неграмотнымъ, потому что гдѣ-то шести былъ я, когда старшая сестра выучила меня читать, и гдѣ-то восьми я уже читалъ въ слухъ, матери моей романы, отцу же Библію и Московскія Вѣдомости, а десяти—перечиталъ уже все, что было въ шкапѣ у отца моего: Всемирный Путешественникъ, Разговоръ о Всеобщей Исторіи Боскюэта, о множествѣ міровъ Фонтенеля, путешествіе Ансона и Кука, Дѣянія и Дополненія къ дѣяніямъ Петра Великаго, нѣсколько разрозненныхъ томовъ сочиненій Сумарокова, Ломоносова, Карамзина, Хераскова, театра Коцебу и проч.—Добрый товарищъ моего дѣтства, А. А. Титовъ, выучилъ меня писать, и мнѣ было гдѣ-то десять, когда я велъ уже домашнюю контору у отца моего; и писалъ — да, писалъ стихи и прозу, самъ не зная, что

такое стихи и проза, выдавалъ газету: Азіатскія Вѣдомости, въ родѣ Московскаго Меркурія (Макарова), отъ котораго я былъ въ восторгѣ, написалъ драму: Бракъ царя Алексѣя Михайловича, трагедію Бланка Бурбонская, интермедію Петръ Великій въ храмѣ безсмертія, сочинялъ „Путешествіе по всему свѣту“, и рѣшился свести во-едино Дѣянія и Дополненія Голицева. Если успѣвали мы доставать новыхъ книгъ у кого нибудь, я просто зачитывался, забывалъ дѣла; тутъ-то начиналась буря: отецъ бранилъ меня, жегъ мои драмы и журналы, отнималъ у меня книги. Но черезъ нѣсколько времени я опять принимался за прежнее, и отецъ мой, страстный политикъ, читая Московскія Вѣдомости, Вѣстникъ Европы, Политическій журналъ, забывалъ свое запрещеніе, говорилъ, разсуждалъ со мной, какъ со взрослымъ; мы вмѣстѣ бранили Наполеона, дѣлили Европу, ждали съ нетерпѣніемъ почты, которая привозила новости о нашихъ побѣдахъ, о Тильзитѣ, объ Эрфуртѣ, о Вѣнѣ; я наизусть выучивалъ статьи изъ Русскаго Вѣстника, вмѣстѣ съ Россіядой Хераскова, стихами изъ „Моихъ Бездѣлокъ“, Карамзина, притчами Сумарокова, „Мыслями въ слухъ на Красномъ Крыльцѣ“. Сдѣлался наконецъ ходячею, справочною книгою отца моего по географіи и исторіи, потому что память у меня была такая, какой я ни у кого другаго не встрѣчалъ. Выучить наизусть цѣлую трагедію мнѣ ничего не стоило. Словомъ, если надобно выразить умственное образованіе мое до 1811 года, то оно было таково: я прочиталъ тысячу томовъ всякой всячины, помнилъ все, что прочиталъ, отъ стиховъ Карамзина и статей Вѣстника Европы до хронологическихъ чиселъ и Библии, изъ которой могъ пересказывать наизусть цѣлыя главы, но это былъ какой-то хаосъ мыслей и словъ, когда самъ я едва начиналъ мыслить. Между тѣмъ я былъ дѣловымъ человекомъ, управлялъ заводами отцовскими (къ своему фабричному заводу онъ присоединилъ еще водочный, войдя въ связи съ тогдашними откупщиками) велъ контору, расчеты, ходилъ и ѣздилъ въ городъ по дѣламъ, и слылъ въ городѣ диковиннымъ мальчикомъ, съ которымъ, какъ съ ученымъ

¹⁾ См. Очерки Русской Литературы, сочиненіе Николая Полевого, т. I. ст. 1839.

человѣкомъ, разсуждалъ самъ Губернаторъ и спорилъ Директоръ Гимназій“.

Такое безсистемное и безпорядочное чтеніе, въ перемежку съ торговыми занятіями, составляло все образованіе Н. А. Полевого до 18-ти лѣтняго возраста (1814 г.). — Съ этихъ лѣтъ занятія юноши стали дѣлаться болѣе систематическими. „Съ 1814 г.“, — говоритъ Н. А. Полевой въ своей автобіографіи — „началъ я потихоньку учиться, и прежде всего русской грамматикѣ, по грамматикѣ Соколова, которая какъ-то попала въ мои руки. Тогда-же увидѣлъ я необходимость знать иностранные языки... Пьяный цырюльникъ наполеоновской арміи, итальянецъ, который остался доживать жизнь свою въ одной изъ курскихъ цырюленъ, показавъ мнѣ произношеніе французскихъ буквъ; старикъ, музыкальный учитель, богемецъ, который училъ на фортепіано дочерей моего хозяина ¹⁾, и любилъ послѣ уроковъ посидѣть у меня въ конторской комнатѣ и покурить табакъ, научилъ меня нѣмецкой азбукѣ“...

„Въ Иркутскѣ въ 1815 году судьба свела меня еще съ добрымъ товарищемъ, молодымъ любезнымъ человѣкомъ, который занимался тогда по дѣламъ откупа, В. М. Пурлевскимъ. Вмѣстѣ съ нимъ и съ Ксенофонтомъ ²⁾ отыскивали какого-то ссыльнаго поляка, который училъ насъ по французски, а оригиналъ, какихъ можно встрѣтить немного на свѣтѣ, старый пасторъ Лютеранской церкви въ Иркутскѣ, Беккеръ, давалъ намъ уроки въ нѣмецкомъ языкѣ. Возвращеніе мое въ Курскъ, въ 1816 году, было рѣшительно для моихъ занятій. Умъ мой совершенно увлекся новою, дотогѣ неизвѣстною мнѣ прелестью — прелестью ученія. Уже не средствомъ для другаго, но цѣлью жизни моей сдѣлалось оно. Мнѣ стало казаться все равно: останусь ли я купцомъ и бѣднякомъ, буду-ли чиновникомъ и губернаторомъ курскимъ — высшая цѣль моего честолюбія! — все равно, только-бы учиться! Между тѣмъ средства мои были чрезвычайно стѣснены. Я не могъ и подумать нанять себѣ учителей. Жалованья моего едва доставало мнѣ на одежду, на небольшое удѣ-

леніе отцу, и едва могъ я тратить бездѣлку на книги. Дѣла хозяйскія не давали мнѣ досуга днемъ, а вечера и ночи сдѣлались лучшими часами моей жизни. Мои они были, и ихъ никому не отдавалъ я! Иногда свѣчка моя погасала съ утреннею зорюю, и я, едва услувши три-четыре часа, шелъ въ контору къ моему хозяину, или проработавши въ конторѣ его до ночи, дома засаживался съ радостью за свои уроки. Вскорѣ увидѣлъ я всю недостаточность, всю нецѣльность образованія своего до того времени. Мнѣ надобно было пересадать всѣ мои идеи, весь запасъ читаннаго мною съ самаго дѣтства. Изученіе языковъ повело меня въ новый міръ чтенія. Настоятельное размышленіе показало мнѣ недостатки системы и образа обыкновеннаго ученія. Я рѣшился самъ для себя написать русскую грамматику и русскую исторію. Грамматика Академіи и Исторія Государства Россійскаго не удовлетворяли меня, когда я сравнивалъ первую съ ясною, точною грамматикою латинскою, а вторую: съ Тацитомъ по слогу, съ лѣтописями по изложенію фактовъ. Изученіе латинскаго и греческаго языка, переводы съ нѣмецкаго, французскаго, переработка русской грамматики, критическій разборъ русской исторіи — вотъ что составляло теперь мои занятія. Я отказался отъ легкаго чтенія, и не писалъ уже ни стиховъ, ни прозы. Нарочно налагалъ я на себя самыя тяжелыя работы: выучивалъ по триста vocabulъ въ вечеръ; выписалъ всѣ глаголы изъ Геймова словаря, пересcriпывалъ каждый отдѣльно, и составилъ новыя таблицы русскихъ спряженій (въ 1822 году, nocturnus П. П. Свиньинъ представилъ ихъ въ Россійскую Академію, и мнѣ выдана была за нихъ въ награду большая серебряная медаль). Силы мои казались мнѣ неистощимыми; все было такъ легко, такъ подручно, а впереди все такъ свѣтилось, и блестяло. Въ 1817 году осмѣлился я, при самомъ утихомированіи писемъ, послать къ издателю Русскаго Вѣстника мое описаніе проба и пребыванія въ Курскѣ Императора Александра, и — не умѣю вамъ пересказать, съ какою упоенностью увидѣлъ я на сѣрыхъ листоч-

¹⁾ Николай Алексѣевичъ служилъ тогда уже въ конторѣ у одного изъ богатѣйшихъ курскихъ купцовъ, такъ какъ дѣла его отца въ это время были сильно разстроены. ²⁾ Младшій братъ Николая Алексѣевича, впоследствии помощникъ его по редакціи журнала и самъ литераторъ.

какъ Вѣстника, четкимъ курсивомъ напечатаннымъ подъ статью слова: Н. Полевой! Весь Курскъ былъ изумленъ краснорѣчивымъ описаніемъ того, что еще живо трепетало въ сердцѣ каждаго, что составляло предметъ всѣхъ разговоровъ. Съ изумленіемъ узналъ мой хозяинъ, что въ его конторѣ скрывается гениальный молодой человекъ, какъ говорили ему и губернаторъ, и все, что было почетнаго въ Курскѣ. Съ радостью услышалъ о томъ и отецъ мой. Бывшій тогда губернаторъ курскій, А. С. Кожуховъ сдѣлался моимъ заступникомъ и меценатомъ; я былъ приглашенъ на его вечера, балы, получилъ свободный входъ въ кабинетъ его, передъ которымъ на вытажкѣ стояли всѣ другіе, и старыя, и чиновные люди. Но между тѣмъ, торжество мое внутренно тревожило меня—увъ! я видѣлъ, что вся статья была переправлена, перечерчена издателемъ „Русскаго Вѣстника“, и я долженъ былъ сознаться самому себѣ, что переправки его были справедливы. Слѣдовательно, я еще плохой писатель, думалъ я. Что-же дѣлать? „Учиться!“ было мнѣ безпристрастнымъ отвѣтомъ въ душѣ моей, и когда, въ 1818 году, я отправилъ уже въ „Вѣстникъ Европы“, одну за другою, двѣ статьи: замѣчанія на статью о „Волосѣ“ и переводъ Шатобріанова описанія „Маккензіева путешествія по Сѣверной Америкѣ“, съ радостью увидѣлъ я, что редакторъ „Вѣстника Европы“ не переправлялъ ихъ нисколько. Весь 1819 годъ занимался я дѣлами отцовскими, оставя моего хозяина, и уже не скрывалъ своихъ ученыхъ занятій. Къ покровительству губернатора присоединилось знакомство съ просвѣщеннымъ архипастыремъ, епископомъ Евгеніемъ, послѣ того, когда я прочиталъ свое стихотвореніе въ собраніи библейскаго общества, 6-го Января 1819 года, и оно было осыпано похвалами всего собранія. Въ Февралѣ 1820 года, я навсегда оставилъ Курскъ. Отецъ мой рѣшился сдѣлать послѣднее усиліе для поправленія своихъ обстоятельствъ, и, собравши всѣ, какія были у насъ средства, завести водочный заводъ въ Москвѣ. Меня отправилъ онъ для приготовленій, и пока въ Декабрѣ пріѣхалъ самъ, мнѣ была полная свобода дѣлать время между дѣломъ и бездѣльемъ. Впрочемъ и отецъ мой уже не считалъ бездѣльемъ моихъ занятій, когда увидѣлъ, что они вездѣ доставляютъ

мнѣ знакомство и уваженіе, и съ тѣмъ вмѣстѣ не отвлекаютъ отъ дѣла“.

Съ этого времени, т. е. съ 1820 года началась для Н. А. Полевого вполнѣ литературная жизнь. — Онъ занимался теперь купеческими дѣлами очень мало, и только между прочимъ; а со смертію отца въ 1822 году весь предался литературѣ. Въ короткое время онъ сошелся со всевозможными литературными кружками.

Въ Москвѣ онъ раньше всѣхъ естественно познакомился съ проф. Каченовскимъ (въ журналъ котораго ему еще прежде удалось, какъ мы видѣли, пристроить двѣ статейки) и съ кружкомъ, вращавшимся около „Вѣстника Европы“. Но застарѣлые взгляды членовъ этого кружка, рьяныхъ приверженцевъ псевдо-классицизма, вскорѣ отвратили молодого писателя отъ болѣе тѣснаго сближенія съ этимъ лагеремъ. Гораздо ближе сошелся онъ съ кружкомъ петербургскихъ писателей романтической школы, собиравшимся вокругъ „Сына Отечества“ и „Полярной Звѣзды“, альманаха 1823—1825 гг., въ которомъ было средоточіе всей передовой литературы того времени. — Но еще благотворнѣе для Н. А. Полевого было знакомство съ княземъ Вл. Оед. Одоевскимъ, Веневитиновымъ, Кирѣевскими, Андросовымъ и другими членами кружка московскихъ шеллингистовъ. Идеи нѣмецкой философіи сильно заинтересовали Н. А. Полевого: цѣлые вечера проводилъ онъ въ сужденіяхъ и спорахъ о ней, усвоилъ нѣкоторыя идеи трансцендентальной философіи, сталъ читать книги, написанныя въ духѣ ея. Но самую любимую философію его сдѣлалась въслѣдствіи эклектическая философія Кузена, и очень понятно, почему: для того, чтобы углубиться въ нѣмецкую философію требовалось болѣе систематическое образованіе, чѣмъ то, которое получилъ Н. А. Полевой. Для непосредственнаго-же ума, въ которомъ дѣтскіе взгляды и понятія смѣшивались съ идеями и взглядами, вынесенными изъ хаотическаго чтенія безъ всякой системы, гораздо сроднѣе была философія, которая оставляла въ покоѣ всѣ эти дѣтскія понятія и только освѣщала ихъ нѣкоторыми наиболѣе простыми идеями философіи германской. Для массы-же общества, совершенно незнакомаго съ какими-бы то ни было философскими взглядами, философіи Кузена, проводимая Н. А. Полевымъ въ его литера-

турной деятельности, подходила совершенно под уровень развития большинства, служа естественным переходом к знакомству с более глубокими и смелыми системами германской философии.

Между тем литературная известность Н. А. Полевого быстро возрастала. Участие его в „Сѣверномъ Архивѣ“ (журналъ, который издавалъ съ 1822 г. Ѳ. В. Булгаринъ), обратило на него вниманіе всѣхъ петербургскихъ литераторовъ и въ немъ начали заискивать, какъ въ полезномъ сотрудникѣ. Но Н. А. Полевого не удовлетворяла одна сотрудническая дѣятельность. Онъ настигалъ отъ отца страсть къ широкой и смѣлой предпринимчивости и вознамѣрился начать прямо съ того, на что рѣшаются обыкновенно писатели, утвердившіеся уже на литературномъ поприщѣ — съ самостоятельного изданія журнала... Давно уже Н. А. Полевой легѣлъ эту мысль; еще съ самаго начала двадцатыхъ годовъ, когда онъ вращался въ кружкѣ сотрудниковъ и приверженцевъ „Вѣстника Европы“, и тогда онъ составлялъ уже планъ журнала, вмѣстѣ съ своими близкими знакомыми того времени, Вл. С. Филимоновымъ и Насиліемъ Евграфовичемъ Вердеревскимъ... Но они не могли согласиться ни въ планѣ, ни въ направленіи журнала и вскорѣ Н. А. Полевой совсѣмъ разошелся съ этими людьми. Было еще нѣсколько попытокъ издавать журналъ въ сообществѣ съ другими; но онъ оканчивался ничѣмъ. Послѣ многихъ плановъ, думъ и раздумываній, въ половинѣ 1824 года, Н. А. Полевой рѣшился испросить позволеніе издавать журналъ отъ своего имени. Онъ составилъ программу, по которой въ будущій журналъ его могло входить все—кромя политики. Программу свою отправилъ онъ при письмѣ къ министру народнаго просвѣщенія, адмиралу Шишкову, который зналъ его лично и оказывалъ благосклонность къ его литературнымъ занятіямъ. Никакого покровительства, никакихъ заступничествъ въ Петербургѣ у Н. А. Полевого не было. Не надѣясь на разрѣшеніе, онъ не особенно хлопоталъ о подборѣ сотрудниковъ и заготовкѣ матерьяла для предстоящаго изданія. Онъ былъ увлеченъ въ это время болѣе мыслями о женитбѣ, чѣмъ объ изданіи журнала (онъ женился въ Октябрѣ 1824 г. на дѣвицѣ Н. Ф. Терренбергъ),—какъ вдругъ, почти одно-

временно съ этимъ важнымъ шагомъ въ жизни, Николаю Алексѣевичу пришлось сдѣлать и другой, не менѣе важный: въ Московскомъ цензурномъ комитетѣ было получено на его имя разрѣшеніе издавать журналъ по представленной имъ программѣ.

Извѣстіе о появленіи новаго журнала быстро распространилось по Москвѣ, перелетѣло въ Петербургъ и встрѣчено разнообразными толками. Большинство литературныхъ кружковъ отнеслось къ новому предпріятію неблагосклонно. Петербургскіе журналисты было непріятно потерять въ Полевомъ полезнаго сотрудника; классики преувидѣли въ журналѣ Полеваго новаго неприятеля, при чемъ они не могли опомниться отъ негодованія и презрѣнія при мысли, что какой-то молодой купчикъ, самоучка, ничѣмъ не заявившій себя въ литературѣ, дерзнетъ вдругъ выступить съ изданіемъ журнала и критиковать въ немъ заслуженные литературные авторитеты. Между тѣмъ этотъ молодой купчикъ и самоучка, можетъ быть, только одинъ въ числѣ всѣхъ русскихъ литераторовъ того времени понималъ вполне потребности массы общества.—Большинство писателей того времени принадлежало или къ кружку людей свѣтскихъ, вращавшихся въ высшемъ слоѣ общества и жившихъ исключительно интересами этого слоя, или къ числу цѣховыхъ литераторовъ, чуждыхъ всего, что дѣлалось внѣ ихъ тѣсныхъ литературныхъ кружковъ, мелкихъ литературныхъ слетень и перебранокъ. Между тѣмъ, въ это время, живой интересъ къ литературѣ и вообще къ умственному житію былъ возбужденъ уже въ значительной массѣ общества. Для этой массы нисколько не интересна была мелочная полемика, и литературныя слетанія; она жаждала новыхъ знаній, идей, понятій, изясненія всевозможныхъ вопросовъ нравственныхъ и эстетическихъ. И великимъ преимуществомъ Н. А. Полеваго было именно то, что онъ явился человекомъ совершенно новымъ и свѣжимъ въ литературѣ, незараженнымъ никакими литературными пристрастіями и предразсудками. Онъ самъ принадлежалъ къ той массѣ общества, которая выступала на поприще умственнаго движенія въ Россіи; онъ былъ передовой человекъ этой массы, ея представитель; онъ живо и непосредственно интересовался всѣмъ, что

ее интересовало; онъ близко принималъ къ сердцу ея умственные потребности; на самомъ себѣ испыталъ онъ, какъ трудно даются знанія и развитіе въ странѣ, въ которой книгъ на отечественномъ языкѣ почти не существуетъ, а иностранныя и рѣдки, и по большей части недоступны. На этомъ основаніи, въ виду именно возвышенія умственного уровня массы, онъ на первомъ планѣ поставилъ въ своемъ журналѣ энциклопедичность и безпристрастную, строгую эстетическую, критику. „Для изображенія совершеннаго журнала“, говоритъ онъ въ первой книжкѣ „Московского Телеграфа“—вообразите зеркало, въ которомъ отражается весь міръ нравственный, политическій и физическій. Такой журналъ едва не болѣе многихъ книгъ принесетъ пользу. Не всѣ могутъ удѣлять время на чтеніе огромныхъ томовъ; многіе-ли привыкли къ обдуманному систематическому чтенію? Здѣсь преимущество на сторонѣ журналовъ: истинно-полезное, истинно-изящное предлагаетъ вамъ журналистъ, не пугая обширными опредѣленіями, пестротой выписокъ, толщиной книги. Журналистика должна пользоваться важнымъ преимуществомъ своимъ, представлять отчетливыя извлеченія изъ всѣхъ книгъ любопытныхъ и важныхъ, и увѣдомлять читателей обо всемъ, что слышно новаго. Журналистъ—разнощикъ вѣстей: встрѣчаясь съ нимъ, не спрашиваютъ, что вы знаете, но—нѣтъ-ли чего новаго? Вотъ почему я полагаю критику однимъ изъ важныхъ отдѣленій журнала — пусть только она будетъ умна, правдива, дѣльна. Присовокупите къ этому избранныя новости литературныя, важнѣйшія новости въ наукахъ, искусствахъ и художествахъ, обзоръ всеобщаго просвѣщенія—и умѣйте предлагать это неодносторонне, разнообразно“.

Выставя такую программу, Н. А. Полевой вполне исполнилъ ее; даже болѣе, чѣмъ можно было ожидать. Въ короткое время онъ счумѣлъ обставить журналъ талантливыми и знающими сотрудниками. Самое близкое участіе въ журналѣ принялъ братъ его, Кс. Полевой. Статьи по естественнымъ наукамъ составлялъ молодой тогда еще ученый М. А. Максимовичъ, А. И. Красовскій занимался переводами для Телеграфа ученыхъ статей. Не мало участія принималъ въ „Телеграфѣ“ князь Вяземскій, а впоследствии

стѣи — Пушкинъ. Кн. В. Ө. Одоевскій въ началѣ 1825 г. писалъ для Телеграфа довольно дѣлательно музыкальныя статьи и юмористическіе очерки. Но главная работа лежала на самомъ издателѣ. Онъ избиралъ статьи, отыскивалъ матерьялы для каждой изъ нихъ, съ удивительнымъ тактомъ открывалъ современность предметовъ для содержанія каждой книжки, и самъ болѣе всѣхъ работалъ, то есть, слѣдилъ за всѣми явленіями иностранной и русской литературы, находилъ время прочитывать все, извлекалъ, переводилъ, писалъ неутомимо. Вслѣдствіе такой усиленной дѣятельности каждая книжка Телеграфа была полна самыхъ животрепещущихъ новостей по всѣмъ отраслямъ наукъ и искусствъ въ Европѣ и Россіи. Ни одно замѣчательное явленіе современной жизни не пропускалось безъ вниманія и возводилось къ общему, освѣщалось высшими философскими взглядами. Такъ между прочимъ „Телеграфъ“ принесъ несомнѣнную услугу тѣмъ, что онъ впервые познакомилъ русскую публику съ новою еще въ то время наукою—политическою экономіею, излагая мысли Адама Смита, Шторха, Сэ и другихъ экономистовъ французской школы.—Въ тоже время Полевой первый началъ писать о взглядѣ Риттера на землевѣдѣніе.—Но главное мѣсто въ журналѣ занимала эстетическая критика и, слѣдуетъ сказать, что это была первая русская критика въ истинномъ смыслѣ этого слова. До изданія „Телеграфа“, если встрѣчались въ журналѣ критическія статьи, то это были или бѣглыя очерки и замѣтки о вновь вышедшихъ произведеніяхъ, или мелочная, журнальная полемика, унизившая самое понятіе о критикѣ до того, что въ массахъ общества слово критика сдѣлалось синонимомъ слову брань.—Замѣчательныя произведенія русской музы встрѣчала критика многословными панегириками и выраженіями восторга, а рецензенты ограничивались при этомъ только нѣсколькими замѣчаніями объ отдѣльныхъ мѣстахъ произведенія. Критика „Телеграфа“ была первою попыткою отнестись къ русской литературѣ съ общою руководящею идеею и подвести всѣ явленія ея подъ эту идею.

Общею, руководящею идеею, съ которой выступилъ Полевой въ своей критикѣ, былъ тотъ самый романтизмъ, который въ то время считался передовымъ словомъ литерату-

ры и жизни. Мы видѣли уже, что основныя идеи романтизма заключались въ трехъ положеніяхъ: 1) истинный поэтъ весь предается своему вдохновенію и слушается только его голоса; 2) и въ самой своей внѣшней жизни истинный поэтъ долженъ быть самобытенъ и независимъ отъ всѣхъ условій общественнаго быта; 3) истинная поэзія должна быть національна.

Съ точки зрѣнія этихъ идей Н. А. Полевой осмѣлился проводить въ своемъ журналѣ такую мысль, въ которой литературные аристархи того времени увидѣли верхъ дерзости:—полное отрицаніе всей русской литературы. По ихъ мнѣнію русскій парнасъ былъ уже переполненъ первостепенными знаменитостями: на одинаковой высотѣ съ Ломоносовымъ, Державинымъ, Батюшковымъ, Жуковскимъ, ставили они и Кантемира, Сумарокова, Хемницера, Озерова и пр. Полевой же началъ доказывать, что у насъ только всего и было что два истинныхъ поэта—Державинъ и Пушкинъ. Вотъ основанія его критики, выраженный въ сжатомъ видѣ въ статьѣ его о Державинѣ и потомъ развитыя во многихъ критическихъ статьяхъ „Московского Телеграфа“.

„Державинъ былъ поэтъ; характеръ его былъ поэтический, въ самомъ обширномъ смыслѣ, поэтический преимущественно. Кромѣ Пушкина, не было у насъ другого, столь исключительно поэтическаго характера, со времени преобразования Россіи, ни прежде, ни послѣ Державина. Въ душахъ всѣхъ другихъ поэтовъ русскихъ поэзія только отсвѣчивалась, не свѣтила самобытно, не наполняла собою, не сжигала, такъ сказать, всего бытія ихъ. Отъ того направленія ихъ были, либо слишкомъ частны, односторонни, либо слишкомъ отвлеченны и разнообразны. Сила души, устремленная на многое вдругъ, несоединенная въ одну точку, разливалась на все окружающее ихъ, и черезъ то развлекала, разрушала собственно поэтическое стремленіе. Такъ Ломоносовъ былъ поэтъ въ жизни, невѣроятной и романтической, но собственно поэзія была только слабою стихіею обширнаго міра души его. Онъ былъ столь-же ученый человѣкъ, сколько стихотворецъ. У Крылова, Дмитріева, Фонъ-Визина, поэзія была вдохновеніемъ ума, а не необходимымъ стремленіемъ выразить себя въ поэтическихъ созданіяхъ. У Жуков-

скаго она навѣяна умнѣмъ души и удивительно переничивостью чужихъ впечатлѣній. Грусть души Жуковскаго и происшедшее отъ того стремленіе за предѣлы міра, къ чему-то неразгаданному, тайному, отзывалось въ самыхъ торжественныхъ его пѣснопѣніяхъ. Батюшковъ вдохновлялся противоположностью своего бытія съ пламенными думами сердца и души: его сочиненія были какъ будто желанія забыть на время въ наслажденіяхъ поэзіи неисполненныя мечты жизни. Негодованіе сдѣлалось музою Грибоѣдова, иногда только вспыхивавшею божественнымъ огнемъ поэтическаго восторга. Кантемиръ и Хемницеръ, одинъ, какъ великожа, смѣло шутя, другой, робко и осторожно подсмѣиваясь надъ людьми,—не были истинными поэтами. Такъ являются намъ всѣ другіе русскіе стихотворцы, съ тѣхъ поръ, какъ поэзія разродилась въ Россіи съ бытомъ общественнымъ, перестала быть необходимымъ народнымъ пѣніемъ, свободно, невольно выливающимся изъ души, при звукахъ простой музыки. Не говоримъ о Сумароковыхъ, Херасковыхъ, Петровыхъ, Княжениныхъ, которые не писали-бы, если-бы не читали написаннаго прежде ихъ другими. Но разсмотрите всѣхъ остальныхъ, старыхъ и новыхъ поэтовъ нашихъ: — Козлова, Баратынскаго, Языкова, Богдановича, Озерова, кн. Долгорукова, и вы убѣдитесь въ частномъ, одностороннемъ, случайномъ, такъ сказать, ихъ стремленіи. Не таковы Державинъ и Пушкинъ, у которыхъ поэзія—необходимость жизни, вся душа, все бытіе ихъ...

„Поэзія требуетъ всего человѣка, сказалъ (помнится) Батюшковъ: это голосъ души. Въ поэзіи, Державинъ и Пушкинъ, уничтожаются; съ нею они исполнены нравственнаго и вещественнаго міра. Да, только тотъ истинный поэтъ, кто весь поэтъ. Существова въполнѣ развитою жизнію въ душахъ только преимущественныхъ поэтовъ, поэзія въ то же время есть удѣлъ всѣхъ: въ душѣ каждого у насъ хранится искра ея, и вѣтъ сердца, которое никогда не отозвалось-бы на божественные ея звуки. Отъ того простолюдинъ поетъ пѣсню, грамотный человѣкъ пишетъ стихи, и кто не поетъ, не пишетъ, тотъ чувствуетъ сильнѣе бѣненіе сердца при гармоніи поэтической. Проницая собою самыя высшія ис-

тины ума, самые великіе подвиги разума, поэзія согрѣваетъ душу философа и украшаетъ подвиги законодателя и героя; но, собственно, она не есть ни умъ, ни разумъ. Потому, ничѣмъ не могутъ выразить сущности поэзіи, кромѣ названія оной безотчетнымъ восторгомъ, вдохновеніемъ. Читайте изъясненія самихъ поэтовъ, писавшихъ о теоріи своего искусства. Сказавши намъ о вещественныхъ формахъ поэтическихъ созданій, они начинаютъ говорить темно, неопредѣленно о тайнѣ души, непонятной для нихъ самихъ. Въ это святилище воспрещенъ входъ холодному уму и испытующему разуму человѣческому. Сами поэты вступаютъ въ него въ рѣдкіи минуты вдохновенія, и, вышедъ оттуда, ничего не помнятъ, ничего не знаютъ, что тамъ съ ними было... Поэтъ рождается: сдѣлаться имъ, выучиться быть поэтомъ — нельзя. Отличенный небеснымъ знаменіемъ поэзіи, онъ является въ міръ съ гармоническими звуками, съ поэтическимъ взглядомъ, съ особеннымъ устройствомъ души. Горе ему, если міръ обхватить его желѣзными своими когтями, и не дастъ ему раздѣлсти поэтическою жизнію; еще болѣе горе, если онъ не пойметъ самого себя! Среди людей, онъ будетъ странное, уродливое созданіе, жертва страстей своихъ и чужихъ; жизнь его будетъ борьба между небомъ и землею. Безсмертный мнѣ слѣпца Омира, испрашивающаго милостыни, ведомаго отрокомъ — вотъ истое изображеніе поэта въ борьбѣ съ міромъ! Напрасно, подобно Данте и Мильтону, онъ выѣшивается въ политическія событія; напрасно любовь, какъ Камоенсу, улюбуется ему на зарѣ жизни; напрасно, какъ Тассъ, онъ призванъ ко двору властителей; какъ Шиллеръ или Байронъ, хочеть подчинить себя тихому счастью семейной жизни: тревожный, безпокойный, снѣдаемый внутреннимъ огнемъ, поэтъ никогда не уживется съ людьми, не помирится съ условіями жизни ихъ! Но если онъ покорился имъ, увлекся ими, тогда — Прометей, прикованный къ скалѣ Кавказа — затѣмъ при рожденіи своемъ похищалъ онъ небесный огонь и оживлялъ имъ брѣнное свое существо!“

Вотъ идеи, на которыхъ была основана критика Н. А. Полевого. Изъ всѣхъ статей его, кромѣ статьи о Державинѣ, изъ кото-

рой мы представили вышеприведенное извлеченіе, замѣчательны слѣдующія: Жуковский и его сочиненія“, „Борисъ Годуновъ, сочиненіе Александра Пушкина“, „Ломоносовъ“, „Кантемиръ“, „Хемницеръ“, „Торквато Тассо“ Кукольника и пр. Каждого изъ этихъ поэтовъ Полевой разбираетъ постоянно съ трехъ точекъ зрѣнія: съ точки зрѣнія искренности и непосредственности поэтического вдохновенія, независимости отношенія къ жизни и народности. Многіе изъ его критическихъ мнѣній и характеристикъ такъ глубоко вѣзались въ умы просвѣщенныхъ современниковъ его, что долгое время господствовали въ литературѣ. Можно положительно сказать, что послѣдующая критика 40-хъ годовъ, какъ ни далеко ушла отъ критики Полевого, все же развитіемъ своимъ всецѣло обязана ей. Критика Полевого — это фундаментъ, на которомъ впоследствии зиждется критика Бѣлинскаго. При характеристикѣ дѣятельности Бѣлинскаго, мы увидимъ, что весь первый періодъ этой дѣятельности совершился подъ непосредственнымъ влияніемъ идей Полевого; и впоследствии, когда Бѣлинскій значительно отклонился уже отъ этихъ идей, встрѣчаются еще кой-какія совпаденія съ различными взглядами Полевого. Такъ, напримеръ, характеристика Бѣлинскаго „Бориса Годунова“, Пушкина, представляетъ повтореніе того-же самаго, что сказалъ объ этомъ произведеніи Полевой, т. е., что это не драма въ истинномъ смыслѣ этого слова, а рядъ прекрасныхъ историческихъ сценъ, потому что въ ней нѣтъ ни единства, ни драматической коллизіи, что Пушкину сильно повредило рабское слѣдованіе за Карамзиннымъ, что характеръ „Бориса“ непонятъ и оттого натянутъ и неестественъ и пр. Нѣтъ ничего удивительнаго, что „Телеграфъ“, вскорѣ послѣ своего появленія, сдѣлался страшенъ для всѣхъ литературныхъ посредственностей, державшихся, при полномъ отсутствіи критики, на одномъ ряду съ первостепенными писателями и пользовавшихся незаслуженною репутаціею. Это навлекло Полевому бездну враговъ; со всѣхъ сторонъ посыпалась на „Телеграфъ“ ожесточенная журнальная брань, насмѣшки, эпиграммы. Малѣйшая ошибка, ничтожный промахъ, — которые при другихъ обстоятельствахъ не были-бы замѣчены, ста-

вились Полевому въ страшную вину и раздвинулись въ гору. Его обвиняли то въ недоученности, въ верхоглядствѣ, то въ отсутствіи хорошаго тона и вкуса; выскивали мало-мальски простонародныя выраженія въ рѣчи Полевого, чтобы укорить его мужичествомъ; не былъ забытъ и винный заводъ издателя „Телеграфа“, и враги его не рѣдко потѣшались надъ сивушнымъ запахомъ, которымъ, будто-бы, отзываются критическія статьи перваго русскаго критика. Но не такъ встрѣтила публика появленіе новаго журнала. Полныя свѣжихъ новостей и живого обсужденія всевозможныхъ современныхъ вопросовъ, снабженныя серьезною эстетическою критикою, книги журнала читались на расхватъ. Полевой началъ печатать свой журналъ въ числѣ 700 экземпляровъ. Но уже со второй книжки все разошлось и третья книжка вышла въ числѣ 1.200 экземпляровъ; а впослѣдствіи подписка дошла и до 2.000 — успѣхъ небывалый до того времени въ журналистикѣ. „Телеграфъ“ сдѣлался вскорѣ любимымъ журналомъ всего образованнаго общества; каждая книжка его ожидалась съ нетерпѣніемъ и въ продолженіи 10 лѣтъ своего существованія это былъ передовой органъ, воспитавшій цѣлое поколѣніе. До какой степени была сильна популярность Полевого, это мы можемъ видѣть изъ слѣдующаго эпизода его московской жизни 1825 г. Одинъ изъ литературныхъ противниковъ Полевого, А. Писаревъ, не ограничиваясь журнальной переправкой и каламбурами, вздумалъ поставить на сцену водевилъ, въ который вклеилъ нѣсколько куплетовъ, направленныхъ противъ Полевого. Но публика встрѣтила эти куплеты совсѣмъ не такъ, какъ ожидалъ авторъ ихъ. Вотъ что рассказываетъ о демонстраціи публики въ пользу Полевого его братъ, Б. Полевой въ своихъ „Запискахъ“: „шikanье, крикъ, шумъ, свистъ до такой степени оглушили актрису, что она, зажавъ уши, бросилась (буквально) бѣжать со сцены. Всѣ расхохотались, и защитники Полевого уже думали торжествовать побѣду, когда раздались крики: „автора“! Не смотря на шikanье и крики противниковъ, Писаревъ явился въ директорской ложѣ, и едва успѣлъ поклониться публикѣ раза два,

три, потому что шikanье, шумъ усилились въ эти мгновенія еще больше, заглушили немногія „браво“ пріятелей Писарева, и сопровождались такими знаками, которые принудили автора поскорѣе скрыться... Нѣкоторые грозили ему кулаками!... И все это происходило съ такою запальчивостью, неожиданностью, что я не помню ничего подобнаго въ театрѣ, и не думаю, чтобы въ русскомъ театрѣ бывало что нибудь подобное!.. Многіе свидѣтели описываемаго мнѣю представленія, еще здравствующие, подтверждаютъ, что я не преувеличилъ ничего, а рассказалъ то, что самъ видѣлъ и слышалъ“.

Но однимъ изданіемъ „Телеграфа“ не ограничивалась дѣятельность Н. А. Полевого. Въ то же время сталъ онъ издавать романы и повѣсти. Таковы были: „Клятва при гробѣ Господнѣ“, „Аббадона“, „Мечты и Жизни“. Во всѣхъ этихъ повѣстяхъ и романахъ онъ подражалъ Шиллеру, Гюфману или Вальтеру Скоту. Это не были произведенія сильнаго поэтическаго таланта и въ настоящее время они почти забыты, но, во всякомъ случаѣ, это были рассказы умнаго и образованнаго человѣка, проводившаго въ нихъ тѣ же передовыя романтическія тенденціи, которыя развивалъ онъ и въ своихъ критическихъ статьяхъ. Въ свое время этими произведеніями зачитывались, и Бѣлинскій въ молодые годы приходилъ отъ нихъ въ восторгъ¹⁾. Между прочимъ, записалъ Н. А. Полевой дань и Шекспиру, переведя на русскій языкъ и передѣлавши для театра „Гамлета“. Но большую часть досуга, остававшаяся у Н. А. Полевого отъ издательской дѣятельности, онъ посвящалъ занятіямъ русской исторіей. Плодомъ этихъ занятій были 5 томовъ „Исторія Русскаго Народа“, изданныхъ Полевымъ, между 1829 и 1833 гг. Ученые историки нѣрѣдко упоминаютъ объ этомъ объемистомъ сочиненіи, хотя въ литературѣ до сихъ поръ не опредѣлено значеніе этого труда въ свое время. Упоминается только довольно глухо, что Полевой первый призналъ задачею исторіи бытоописаніе народа, а не государства, почему и назвалъ свой трудъ исторіей народа въ противоположность „Исторіи Государства Россійскаго“ Карамзина; но что находится подъ этимъ заглавіемъ въ 5 томахъ исторіи, объ этомъ кри-

¹⁾ См. Соч. Бѣлинскаго; т. I, стр. 335.

тика, какъ ученая, такъ и литературная, до сихъ поръ умалчиваетъ. Все это невниманіе къ историческому труду Полевого произошло отъ того, что на него смотрѣли, какъ на ученый трудъ, и, не видя въ немъ никакихъ особенно важныхъ открытій по части разработки русской исторіи, не придавали ему никакого значенія. Между тѣмъ, Н. А. Полевой въ своемъ историческомъ трудѣ является тѣмъ-же публицистомъ, какъ и въ „Телеграфѣ“.—Какъ, въ своихъ критическихъ статьяхъ, онъ вооружается противъ ложно-классической школы поэзій, такъ и въ исторіи онъ поставляетъ себѣ цѣлю разрушеніе устарѣлыхъ взглядовъ на исторію, установившихся съ Карамзина. Такимъ образомъ, исторія Полевого — это полемика, какъ онъ самъ выражается, противъ историческаго классицизма. Съ этой точки зрѣнія трудъ Полевого получаетъ совершенно иное значеніе: тѣ новыя, свѣтлыя идеи, которыя онъ высказываетъ въ своей исторіи, въ оппозицію взглядамъ Карамзина, бесспорно имѣли не малое вліяніе на развитіе общества нашего въ эпоху 30-хъ годовъ. Вотъ что говорить, между прочимъ, Н. А. Полевой объ „Исторіи Государства Россійскаго“ Карамзина въ своей критической статьѣ объ этомъ произведеніи: „Въ цѣломъ объемѣ оной нѣтъ одного общаго начала, изъ котораго истекали-бы всѣ событія русской исторіи: вы не видите, какъ исторія Россіи примыкается къ исторіи человѣчества; всѣ части оной отдѣляются одна отъ другой, всѣ несоразмѣрны, и жизнь Россіи остается для читателей неизвѣстною, хотя его утомляютъ подробностями невозможными, ничтожными, занимають, тревожатъ картинами великими, ужасными, выводятъ передъ нимъ толпу людей, до излишества огромную. Карамзинъ ни чѣмъ не представляетъ вамъ духа народнаго, не изображаетъ многочисленныхъ переходовъ его, отъ Варяжскаго феодализма до деспотическаго правленія Іоанна, и до самобытнаго возрожденія при Мининѣ. Вы видите стройную, продолжительную галерею портретовъ, поставленныхъ въ одинакія рамки, нарисованныхъ не съ натуры, но по волѣ художника, и одѣтыхъ также по его волѣ. Это дѣлописъ, написанная мастерски, художникомъ, таланта превосходнаго, изобрѣтательнаго, а не „Исторія“.— Въ предисловіи къ своей исторіи Н. А. По-

левой говорить, что историкъ не долженъ быть ни судьей, ни учителемъ нравственности: „Положивъ въ основаніе истину, принявъ въ руководители умозрѣніе и опытъ, историкъ обязанъ только показать намъ прошедшее такъ, какъ оно было; оживить представителей его, заставить ихъ дѣйствовать, думать, говорить, какъ они дѣйствовали, думали, говорили, и, безстрастнымъ вѣщаніемъ истины, слить жизнь каждаго изъ отдѣльныхъ представителей съ его вѣкомъ, его временемъ, обставить изображеніе ихъ тѣми отношеніями, царства и народы — тѣми царствами и народами, кони сливались они съ человѣчествомъ въ дѣйствительной своей жизни“...

„Въ тоже время Н. А. Полевой въ своей исторіи повсюду старается провести идею исторической необходимости, опровергая теорію случайности и личнаго произвола. Такъ напримѣръ, вотъ что говорить онъ по поводу удѣльнаго періода, противъ тѣхъ историковъ, которые въ удѣльномъ періодѣ видѣли рядъ бѣдствій для народа и государства, приписывая возникновеніе удѣловъ личному произволу Ярослава: „Намъ представляють слѣдующій періодъ удѣловъ, замыкающій собою все время отъ 1055 до 1224 года, неожиданнымъ измѣненіемъ, тучею налетѣвшею на Русь, дотогѣ счастливую и благоденственную: это совершенно несправедливо. Пусть думали Руссы XII вѣка, что, послѣ смерти Ярослава, самыя небесныя знаменія возвѣщали бѣдствія и ужасы. Немного надобно вниманія, если пожелаешь видѣть, что первоначальная исторія Руси приготвила то состояніе, котораго картину мы изображали, а разсматривая сію картину, мы понимаемъ, что отъ сего состоянія долженствовало явиться“. Подобная идея исторической необходимости, органической связи историческихъ событій — была совершенно новою для русской публики и нечего распространяться о томъ, какое вліяніе имѣла она на развитіе общества. Эта идея проходитъ черезъ всю исторію Полевого. Вообще нужно замѣтить, что все сочиненіе написано подъ сильнымъ и непосредственнымъ вліяніемъ чтенія Нибура, Гизо, Гердера, Шлегера и пр. Идеи всѣхъ этихъ историковъ всецѣло отразились на трудѣ Н. А. Полевого. Такъ, напримѣръ, изслѣдованія Нибура относительно перваго періода рим-

своей историей побудили и Полевого смотреть на все факты русской истории до Ярослава, как на легендарные. (Замѣчательно, что самый труд свой Полевой посвятилъ Нибуру). Далѣе—удѣльный періодъ онъ приурочиваетъ къ феодализму на западѣ; Монгольское иго—къ крестовымъ походамъ, на томъ основаніи, что въ обоихъ случаяхъ совершалась борьба христіанскаго міра съ мусульманскимъ и, подобно тому, какъ на западѣ крестовые походы повели къ паденію феодализма, такъ и у насъ монгольское иго имѣло прямымъ слѣдствіемъ уничтоженіе удѣловъ.

Различные литературные враги Н. А. Полевого, какъ мы уже сказали выше, не имѣли вліянія на успѣхъ „Телеграфа“; но мало-по-малу образовались у Полевого враги многого сорта, болѣе могущественные и опасные. Принявъ на себя защиту романтическаго направленія, считавшагося въ свое время разрушительнымъ и анархическимъ, „Телеграфъ“, этимъ самымъ, уже навлекъ на себя репутацію „либеральнаго журнала“, а репутація эта не могла не быть опасною въ періодъ реакціи, особенно усилившейся послѣ европейскаго движенія 30-го года. Свободный, независимый взглядъ „Телеграфа“ на все явленія умственной жизни въ Европѣ и въ Россіи, отсутствіе всякаго подобострастія и лести—уже эти одни качества могли въ то время навлечь на журналъ подозрѣніе въ неблагонадежности. Но этого было мало: въ то время, реакція усилилась, въ своихъ видахъ, раздуть узкій патріотизмъ приторными самовосхващеніями; многія газеты и журналы начали подвизаться на попріщѣ этого патріотизма; на сценѣ ставили раздражительныя драмы, въ которыхъ указывали на образцы любви къ отечеству и народной гордости... И въ такое-то время Н. А. Полевой сталъ печатать въ своемъ „Телеграфѣ“ и „Новомъ Живописцѣ“ (сатирическомъ приложеніи къ „Телеграфу“),—рядъ постоянныхъ сарказмовъ надъ патріотизмомъ этого рода: ему принадлежитъ даже честь изобрѣтенія и утвержденія за нимъ клички „кваснаго“. Нѣтъ ничего удивительнаго, что за „Телеграфъ“ Полевой подвергся самому строгому цензурному наблюденію. Наконецъ, критическая статья противъ патріотической драмы Кукольника „Рука Всевышняго Отечество спасла“, помѣщенная въ одномъ изъ первыхъ номеровъ

„Телеграфа“ 1834 г., привела къ запрещенію журнала, которое сопровождалось административнымъ слѣдствіемъ касательно политической благонадежности самого издателя.

Съ прекращеніемъ „Телеграфа“ кончается и цвѣтущій періодъ дѣятельности Н. А. Полевого. Матеріальные убытки, понесенные Полевымъ, вслѣдствіе запрещенія журнала, хотя и весьма значительные, были ничтожны въ сравненіи съ тѣмъ нравственнымъ погромомъ, который ему пришлось при этомъ вынести. Обремененный многочисленнымъ семействомъ и долгами, вынужденный отказаться отъ своего любимаго призванія, Полевой искалъ дѣятельности по себѣ и, не находя ея, болѣе и болѣе мельчалъ и оскудѣвалъ силами среди той литературной поденщины, на которую онъ былъ обреченъ силою тяжкихъ обстоятельствъ. Сначала, по приглашенію Смирдина, онъ принялъ дѣятельное участіе въ издаваемой имъ „Библіотекѣ для чтенія“, редакторомъ которой былъ тогда извѣстный Сенковский. Но бывшему редактору „Телеграфа“ мудрено было ужиться съ Сенковскимъ, который смотрѣлъ на сотрудниковъ, какъ на подчиненныхъ, и позволялъ себѣ весьма безцеремонно исправлять ихъ статьи... Въ 1837 г. Полевой, переѣхавъ въ Петербургъ, попытался издавать свой журналъ (Сынъ Отечества) и въ тоже время писалъ повѣсти, ставилъ на сцену пьесу за пьесой, занимался и исторіей, и критикой... Но, вынужденный обстоятельствами къ сближенію съ такими литературными дѣятелями, какъ Гречъ и Бугаринъ, побуждаемый нуждою къ спѣшной работѣ, Полевой вскорѣ долженъ былъ убѣдиться въ томъ, что мѣсто его, какъ передоваго дѣятеля литературы, успѣли занять другіе, люди молодого поколѣнія, воспитанные подъ вліяніемъ его идей, что они и повели далѣе дѣло развитія русскаго общества. Горькимъ разочарованіемъ и нравственнымъ утомленіемъ отзываются многія изъ писемъ Николая Алексѣевича къ брату его Ксенофонту, писанныя въ началѣ сороковыхъ годовъ. „Мой другъ, поздравь меня“,—пишетъ онъ въ одномъ изъ этихъ писемъ (18 мая 1840 г.)—„я уже болѣе не Донъ-Кихотъ Ламанхскій“.Послѣ 15 лѣтъ журнальнаго попріща, я ужъ не журналистъ болѣе; съ 9-й книжки (Р. Вѣстника) начнется редакція Никитенки, и, изъ

бави меня Богъ приняться когда нибудь снова за журналы! я обязался теперь только ставить статьи въ книжки. Такое распоряженіе съ журналомъ было необходимо для всѣхъ другихъ дѣлъ моихъ.— Второе распоряженіе: я уже болѣе не драматическій писатель, ибо также далъ себѣ слово (кромя обѣщанныхъ мною въ семь году бенефисныхъ бездѣлокъ Сосницкому и Асенковой) ничего и никогда не писать болѣе для сцены—трудъ непріятный, неблагодарный и безплодный!“ Несмотря на этотъ зарокъ, Полевой, въ послѣдній годъ своей жизни, трудясь непрестанно надъ обработкой популярной „Исторіи Наполеона“ для русскихъ читателей, въ тоже время рѣшился приняться

еще разъ за дѣятельность журнальную. Онъ сталъ издавать „Литературную Газету“ — работалъ и трудился надъ нею день и ночь, и окончательно надломилъ свою энергію и силы. Газета не пошла, и Полевому грозило страшное раззореніе, отъ котораго однакоже смерть успѣла его избавить... Въ концѣ января 1846 г., онъ заболѣлъ нервной горячкою, а 22 февраля скончался, на 49-мъ году отъ рожденія. Тѣло его погребено на Волковомъ кладбищѣ; недалеко отъ его могилы погребены были въпослѣдствіи Бѣлинскій и Добролюбовъ. Самые мостки, пролегающіе мимо этого длиннаго ряда скромныхъ могилъ, получили названіе „Литераторскихъ“.



XL.

Значеніе Лермонтова по отношенію къ его эпохѣ. — Біографическія подробности. — Жизнь Лермонтова и воспоминанія о немъ. — Русскій Байронизмъ и русская дѣйствительность. — Отзывы современниковъ о Лермонтовѣ.

Ни одинъ изъ ближайшихъ послѣдователей Пушкина, не смотря на то, что между ними были люди талантливые и очень бойко владѣвшіе перомъ, не могъ однакоже, возвыситься до того значенія и мѣста, которыя указаны были поэту въ обществѣ Пушкинымъ. Никто изъ послѣдователей Пушкина не сказалъ своему поколѣнію того, что было высказано Пушкинымъ и въ дивныхъ созданіяхъ его, и, еще болѣе, между строками этихъ дивныхъ созданій... Мы видѣли, что Пушкинъ, съ конца 20-хъ годовъ, повернулъ на новую дорогу, отрѣшился отъ байроновскихъ идеаловъ своей молодости, и, слѣдуя этому новому пути, пришелъ къ созданію лучшихъ своихъ произведеній, въ которыхъ явился вполне русскимъ народнымъ поэтомъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, мы указывали выше и на тотъ замѣчательный фактъ, что лучшія произведенія Пушкина, созданныя имъ послѣ того, какъ онъ совершенно отрѣшился отъ вліянія байронизма, пользовались въ обществѣ гораздо меньшимъ успѣхомъ, нежели его первые поэтическіе опыты, въ которыхъ характеры были такъ слабы, такъ несамостоятельны, и однѣ мрачныя краски особенно рѣзко бросались въ глаза. Это явленіе объясняется намъ современнымъ состояніемъ нашего общества, которое съ самаго конца Александрова царствованія уже должно было увидѣть себя въ условіяхъ крайне-неблагопріятныхъ для его развитія. И жизнь общественная и литература, и наука, и образованіе — все подвергалось такимъ стѣсненіямъ, до такой степени приносилось въ жертву сухой формалистикѣ и строгой, внѣшней, военной дисциплинѣ, что жизнь становилась невыносимо-тяжелой. Дюжинные, ничтожные люди, болѣе другихъ способные подчиняться стѣснительнымъ, уз-

кимъ размѣрамъ современности, выходили на первый планъ, быстро составляли карьеру и приобрѣтали видное положеніе въ обществѣ; люди умные и талантливые видѣли себя въ положеніи невыносимомъ, и тотъ гнетъ тяжкихъ, стѣснительныхъ и оскорбительныхъ условій общественной жизни, которыя они около себя видѣли, невольно долженъ былъ озлоблять ихъ и мрачно настраивать ихъ воображеніе, впуская холодное презрѣніе къ жизни и къ окружавшимъ ихъ людямъ. Не удивительно, что при такихъ условіяхъ жизни, мрачныя, безотрадныя, всеотрицающіе герои Байрона должны были пользоваться большимъ успѣхомъ въ нашемъ обществѣ и значительная доля молодого поколѣнія увлекалась ими до самозабвенія, затрачивала лучшія жизненныя силы свои на подражаніе этимъ непривлекательнымъ идеаламъ, въ то время, когда другіе увлекались философійю. И вотъ, въ лицѣ Лермонтова, является среди молодого нашего поколѣнія 30-хъ годовъ такой поэтъ, который и въ стихахъ, и на дѣлѣ старался исчерпать, олицетворить тотъ мрачный и непривѣтный байронизмъ, въ которомъ современная молодежь искала себѣ идеаловъ и удовлетворенія; является поэтъ, который отъ подражаній Пушкину переходитъ къ подражаніямъ Байрону и передаетъ самыя глубокіе мотивы его поэзіи горюздо живѣе и полнѣе Пушкина, понимаетъ его тоньше и, примѣняя къ русской дѣйствительности все содержаніе его поэзіи, переноситъ мрачныя образы англійскаго поэта въ роскошную и полную яркихъ красокъ обстановку дикой кавказской жизни и природы. И какъ живой, естественный отголосокъ этой эпохи въ русской жизни, поэтъ сталъ дорогъ русскому сердцу, и русскіе люди сороковыхъ годовъ съ полною искренностью поставили его имя

рядомъ съ самыми живыми и дорогими для русскаго сердца именами...

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ (род. 1814 г., ум. 1841 г.) по происхожденію принадлежалъ къ небогатому дворянскому роду Тульской Губерніи. Родился Лермонтовъ въ Москвѣ, и полугодовой былъ увезенъ бабушкой своей, Е. А. Арсеньевой (урожденной Столыпиной), въ ея пензенскую деревню (село Тарханы). О родителяхъ Лермонтова мы знаемъ только то, что мать Лермонтова умерла очень рано (на 21-мъ году жизни, когда Михаилу Юрьевичу было всего два съ половиною года); объ отцѣ — не знаемъ рѣшительно ничего. Несомнѣннымъ фактомъ должно считать только то, что мать, умершая рано, не могла оказать никакого вліянія на воспитаніе поэта, а отецъ, простой армейскій офицеръ, не могъ принять на себя заботы по этому мудреному дѣлу, и вынужденъ былъ предоставить сына попеченіямъ бабушки. Бабушка Лермонтова ничего не жалѣла для своего обожаемаго внука, и доставила ему, на сколько сама понимала и умѣла, всѣ средства для того, чтобы онъ могъ получить самое лучшее по тому времени воспитаніе и блестящее образованіе свѣтскаго человѣка. Лермонтовъ съ дѣтства былъ окруженъ преданіями, причудами, обычаями и предразсудками того самаго кружка, который окружалъ въ дѣтствѣ и Пушкина, съ тою, впрочемъ, разницею, что въ кружкѣ этомъ начинала тогда проявляться нѣкоторая наклонность къ англomanіи, нѣкоторое предпочтеніе англійскихъ обычаевъ и англійскаго языка прежде преобладавшему въ воспитаніи нашей аристократіи языку и обычаямъ французскимъ. Не смотря на этотъ поворотъ, и Лермонтовъ, подобно многимъ другимъ русскимъ поэтамъ, первые стихи свои писалъ по французски и съ нѣкоторою досадою имѣлъ полное право замѣтить однажды: „какъ жалко, что у меня была мамушкой нѣмка, а не русская! Я не слышалъ сказокъ народныхъ: въ нихъ вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности“.

Учили Лермонтова въ дѣтствѣ многому, и между прочимъ всѣмъ новѣйшимъ языкамъ; кажется принимались даже учить и древнимъ... Изъ впечатлѣній ранняго дѣтства нельзя не указать на то, что десяти-

лѣтній Лермонтовъ успѣлъ побывать на Кавказѣ съ бабушкой, ѣздившей (на воды, и даже не на шутку, влюбился въ какую-то блондинку и голубоглазую дѣвочку лѣтъ девяти. Нельзя не согласиться съ тѣми, которые указываютъ на эти первые впечатлѣнія чуткаго, воспримчиваго ребенка, какъ на важныя, оказавшія существенное вліяніе на развитіе его поэтическаго дарованія.

Отъ двѣнадцати-лѣтняго возраста Лермонтова сохранился намъ альбомъ съ фран-



М. Лермонтовъ

цузскими стихами, довольно отчетливо рисующій намъ тогдашнее развитіе его и общій кругъ понятій въ этомъ возрастѣ. Видно, что онъ уже многое успѣлъ прочесть и сильно поддавался впечатлѣніямъ прочтеннаго, потому что рядомъ съ французскими стихами въ этомъ альбомѣ встрѣчаемъ стихи и на русскомъ языкѣ: подражанія Бахчисарайскому фонтану и Шильонскому узнику.

Около 1826 года Лермонтовъ привезенъ былъ въ Москву и помѣщенъ въ московскомъ университетскомъ благородномъ пан-

сионѣ. Сверхъ того, онъ бралъ частныя уроки у Мерзлякова, перваго между современными знатоками словесности. Въ университетскомъ благородномъ пансионѣ пробылъ Лермонтовъ гдѣ пять и потомъ готовился поступить въ Университетъ. Можно было ожидать, что и ему, какъ Пушкину удастся миновать военной карьеры, потому что бабушка, любившая его до безумія, на вопросъ о томъ, какую карьеру изберетъ она для своего внука, всегда говаривала:—„А какую онъ хочетъ, лишь бы не былъ военнымъ“.

Въ прелестныхъ запискахъ Е. А. Хвостовой (урожденной Сушковой) сохранились намъ драгоценныя подробности о Лермонтовѣ, только что вступавшемъ въ юношескій возрастъ; изъ воспоминаній, представляемыхъ намъ этими записками, мы видимъ, что Лермонтовъ и тогда уже обладалъ сильнымъ поэтическимъ дарованіемъ, а въ его впечатлительной и страстной натурѣ уже и тогда начинали выказываться тѣ черты, которыя потомъ составляли наиболѣе видную сторону его характера.

„У Сашеньки (Вережачиной)— пишетъ Е. А. Хвостова — „встрѣчала я въ это время (въ 1830 г.)... ея двоюроднаго брата, неуклюжаго, восопалаго мальчика гдѣ 16 или 17, съ красными, но умными выразительными глазами, со вздернутымъ носомъ и азвительно-насмѣшливой улыбкой. Онъ учился въ университетскомъ пансионѣ, но ученія его занятія не мѣшали ему быть почти каждый вечеръ нашимъ кавалеромъ на гуляніи и на вечерахъ; всѣ его просто называли Мишель и я также, какъ и всѣ, не заботясь нисколько о его фамиліи“... „Мы обращались съ Лермонтовымъ, какъ съ мальчикомъ, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращеніе бѣсило его до крайности; онъ домогался попасть въ юноши въ нашихъ глазахъ, декламировалъ намъ Пушкина, Ламартина и былъ неразлученъ съ огромнымъ Байрономъ. Вродитъ бывало, по тѣнистымъ аллеямъ и притворяется углубленнымъ въ размышленіи, хотя ни малѣйшее наше движеніе не ускользало отъ его зоркаго взгляда. Какъ любилъ онъ подъ вечерокъ пускаться съ нами въ самыя сантиментальныя сужденія... А мы, чтобы подразнить его, въ отвѣтъ подадимъ ему волакъ или веревочку, увѣряя, что, по его глѣтамъ, ему свойственнѣе прыгать и скакать, чѣмъ прикидываться

ся непонятнымъ и неоцѣненнымъ снимкомъ съ первѣйшихъ поэтовъ.“ До какой степени, однакоже, въ это время юный Лермонтовъ обладалъ уже способностью перелазить свои впечатлѣнія въ стихи, — на это встрѣчаемъ мы множество доказательствъ въ запискахъ Е. А. Хвостовой, и, между прочимъ, укажемъ только на слѣдующій отрывокъ, въ которомъ она описываетъ свое странствованіе на богомолье въ Троице-Сергиевскую Лавру. Въ этомъ странствованіи сопровождалъ ее Лермонтовъ со своей бабушкой и ея подруга Вережачина:

...„Мы пришли въ Лавру кануренные и голодные“ — рассказываетъ Е. А. Хвостова. „На паперти встрѣтили мы сѣлаго нищаго. Онъ, дрожащую, дрожащую рукою поднесъ намъ свою деревянную чашечку; всѣ мы подавали ему мелкихъ денегъ; усныя замкмонеты, бѣднякъ крестился, сталъ насъ благодарить, приговаривая: „пошли намъ Богъ счастья, добрые господа; а вотъ намереніи приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмѣялись надо мною, поволили полную чашечку камыньковъ. Богъ съ ними!“

„Помолясь святымъ угождать, мы поспѣшно возвратились домой, чтобы пообѣдать и отдохнуть. Всѣ мы суетились около стола, въ нетерпѣливомъ ожиданіи обѣда; одинъ Лермонтовъ не принималъ участія въ нашихъ хлопотахъ; онъ стоялъ на коленяхъ передъ стуломъ, карандашъ его быстро бѣгалъ по клочку сѣрой бумаги, и онъ какъ будто не замѣчалъ насъ, не слышалъ, какъ мы шумѣли, усаживаясь за обѣдъ и принимаясь за ботвинью... Окончивъ писать, онъ вскочилъ, трихнулъ головой, сѣлъ на оставшійся стулъ, противъ меня, и передалъ мнѣ ново-вышедшіе изъ подъ его карандаша стихи:

У вратъ обители святой
Стоялъ просящій подающа,
Восклицаній, блѣдный и худой,
Отъ голода, жажды и страданья.

Куска лишь хлѣба онъ просилъ
И взоръ являлъ живую муку,
И кто-то камень положилъ
Въ его протанутую руку!

Такъ я молилъ твоей любви
Съ слезами горькими, съ тоскою,—
Такъ чувства лучшія мои
На вѣкъ обмануты тобой.

Въ слѣдующемъ году Лермонтовъ окончилъ курсъ въ университетскомъ пансіонѣ и на публичномъ экзаменѣ получилъ первую награду за сочиненіе и успѣхи въ исторіи. „Весело было смотрѣть“—замѣчаетъ по этому поводу Е. А. Хвостова—„какъ онъ былъ счастливъ, какъ торжествовалъ. Зная его презрѣнное самолюбіе, я ликовала за него. Съ молодю его грызла мысль, что онъ дурень, не складень, незнатнаго происхожде-

пройти даромъ молодежи. Шалость эта заключалась въ слѣдующемъ:

„У профессора Ц. былъ адъютантъ М., читавшій теорію уголовного права. Любимою темою лекцій М. было разсужденіе о чловѣкѣ. Всѣ такія лекціи М. начиналъ словами: чловѣкъ, который...“ Студенты не влюбили профессора. Однажды, едва М. вошелъ на кафедру и началъ обычное: чловѣкъ, который... Студенты зааплодирова-



Село Тарханы.

нія, и въ минуты увлеченія онъ признавался мнѣ не разъ, какъ бы хотѣлось ему попасть въ люди, а главное никому въ этомъ не быть обязану, кромѣ самого себя“.

Однако же въ Университетѣ Лермонтову не пришлось пробыть долго; — онъ долженъ былъ изъ университета выйти по поводу участія своего въ одной изъ студенческихъ шалостей, въ сущности совершенно невинной, но которая, въ то строгое время, не могла

ли и крикнули: „fora! прекрасно!“... Это повторялось каждый разъ, какъ только М. раскрывалъ ротъ. М., обращаясь къ студентамъ, говорить: „Г.г., я долженъ буду уйти“,—а ему кричатъ: прекрасно!“ М. идетъ изъ аудиторіи, изъ университета, студенты идутъ за нимъ, крича: чловѣкъ, который... bis! прекрасно! и проводили его такимъ образомъ довольно далеко. По жалобѣ М. въ числѣ исключенныхъ былъ и Лермонтовъ“)“.

‘) «Матер. для біограф. Лермонтова» С. Дудышкина. При собраніи соч. Лермонтова, 1868. II, VII.

Куда же было дѣваться молодому человѣку въ началѣ 30-хъ годовъ, когда немногіе пути, открываемые въ то время университетомъ, такъ рано уже для него закрылись? За что принялся въ то время, когда все кругомъ было занято только одной общей мечтой о службѣ и карьерѣ, и когда никакая серьезная дѣятельность не была доступна для молодого человѣка въ возрастѣ Лермонтова? Конечно, оставалось только одно:— поступить въ военную службу и прогуса-

подражаній Пушкину, Лермонтовъ, не со- всѣмъ еще освободившись отъ его вліянія, поддается въ своемъ поэтическомъ настроеніи тому циническому направленію, которымъ отличалась молодежь того времени въ юнкерской школѣ; грязныя, ничтожныя впечатлѣнія и какая-то особенно-замѣтная потребность щеголять развратомъ и похождениями, приводятъ Лермонтова къ цѣлому ряду произведеній весьма нескромнаго содержания; здѣсь были написаны: „Уланша“,



Московскій Университетъ (старое зданіе).

рить жизнь, раздѣляя ее почти равномерно между буйнымъ разгуломъ и свѣтскими, пустыми, уничтожающими человѣка развлечениями. И вотъ, въ мартѣ 1832 года, Лермонтовъ поступаетъ въ Петербургскую школу подпрапорщиковъ, и остается тамъ два года (1832—1834). Въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ онъ, конечно, не оставляетъ своихъ стиховъ, и отъ мелкихъ лирическихъ произведеній переходитъ къ первымъ самостоятельнымъ эпическимъ опытамъ. Начавъ въ 1828 г. съ

„Монго“, „Петергофскій праздникъ“. Здѣсь же явились и первые опыты восточныхъ повѣстей, и первые опыты подражаній Байрону, въ созданіи мрачныхъ, неразгаданныхъ характеровъ. Къ пребыванію въ школѣ относятся поэмы: Измаилъ-бей (1832) и Хаджи-абрекъ (1833), которая безъ вѣдома Лермонтова передана была однимъ изъ его товарищей извѣстному книгопродавцу-издателю Смирдину, и напечатана въ 1835 г. въ „Библіотекѣ для Чтенія“. Что касается

до самого Лермонтова, то онъ, повидимому, въ это время, нисколько не гонялся за славою авторскою и не спѣшилъ печатать своихъ произведеній, къ которымъ относился чрезвычайно строго: многія изъ его поэмъ и стихотвореній, написанныхъ на школьной скамьѣ (между 1831—1834 г.), явились въ свѣтъ не ранѣе, какъ черезъ пять или шесть лѣтъ послѣ того, когда авторомъ дана была имъ окончательная отдѣлка. Довольно любопытна для насъ та характеристика личности Лермонтова въ этотъ періодъ его жизни, которую онъ самъ оставилъ намъ въ одномъ изъ своихъ шуточныхъ стихотворныхъ разсказовъ (Монго). Вотъ какъ онъ описываетъ тамъ себя, подъ именемъ Маѣшки:

Онъ лѣтъ въ законъ себя поставилъ,
Дома съ дежурства уѣзжалъ,
Хоть и дома былъ безъ дѣла;
Порой разсуждалъ онъ смѣло,
Но чаще онъ не разсуждалъ.
Разгульной жизни отпечатокъ
Имѣ замѣчалъ въ немъ;
Печалей будущихъ заботокъ
Хранилъ онъ въ сердцѣ молодомъ;
Его покоя не смущало,
Что не касалось до него;
Наслѣшекъ гибельное жало
Время жалѣзную встрѣчало
Надъ самолюбіемъ его.
Слова онъ вѣсилъ осторожно
И опрометчивъ былъ въ дѣлахъ:
Порой, трезвый, вралъ безбожно,
И молчаливъ былъ — на пирахъ:
Характеръ вовсе бесполезный
И для друзей, и для враговъ.

Для характеристики Лермонтова въ этомъ періодѣ его жизни еще болѣе важны тѣ письма его изъ школы къ какой-то Московской пріятельницѣ, которыя мы и приводимъ здѣсь:

...„Съ тѣхъ поръ, какъ я вамъ писалъ, со мною произошло такъ много переменъ, такъ много страннаго, что я право и самъ еще не знаю, какой путь изберу — путь порока или глупости. Правда, что и то, и другое часто приводитъ къ одной цѣли. Знаю, что вы станете увѣщевать меня, что вы даже попытаетесь-бы меня утѣшить — напрасно. Я чувствую себя болѣе, чѣмъ когда-либо счастливымъ; чувствую себя веселѣе любого перваго встрѣчнаго пьяницы, распѣвающего на

улицѣ! Этотъ способъ выраженія вамъ не нравится, но увы! — скажи мнѣ съ кѣмъ ты водишься, и я скажу тебѣ, кто ты таковъ! (19 іюня 1833 г.).“

...„Меня ободряетъ одна мысль, что черезъ годъ — я офицеръ! А тогда, тогда, Боже мой! Кабы вы знали, какую жизнь я предполагаю вести!... О, чудеснѣйшую! Прежде всего примусь за чудачества и дурачества всякаго рода, а поэзію потоплю въ шампанскомъ. Знаю, что вы противъ этого вооружитесь; но увы! время моихъ мечтаній уже миновало; пролетѣло время упованій; я чувствую потребность въ наслажденіяхъ матеріальныхъ, въ счастьи осязательномъ, въ такомъ счастьи, которое-бы только обманывало мои чувства, оставляя душу мою въ покоѣ и бездѣйствіи! Вотъ что мнѣ теперь нужно, и вы видите, милый другъ, что я нѣсколько измѣнился съ той поры, какъ мы съ вами разстались. Когда я увидалъ, какъ разсѣялись мои прекрасныя мечты, я сказалъ себѣ, что не стоитъ труда создавать себя новымъ; не лучше-ли, подумалъ я, приучить себя къ тому, чтобы безъ нихъ обходиться; и я попытался; я походилъ на пьяницу, который старается мало-по-малу отучить себя отъ вина, — мои усилія не были напрасны, и вскорѣ мое прошлое стало мнѣ представляться не болѣе, какъ программой приключеній весьма обыкновенныхъ и не имѣющихъ никакого значенія. Но поговоримъ о другомъ... (авг. 1833. Школа).“

...„Странная вещь эти сны! эта изнанка жизни, которая иногда пріятнѣе самой дѣйствительности: я положительно не согласенъ съ тѣми, которые говорятъ, что жизнь есть ничто иное, какъ сонъ; я слишкомъ осязательно ощущаю всю ея суть, всю ея увлекательную пустоту! И никогда я не буду въ состояніи оторваться отъ нея на столько, чтобы презирать ее искренно; вѣдь жизнь моя — это я самъ, я, бесѣдующій съ вами, — и могущій въ одно мгновеніе обратиться въ ничто, въ одно имя, т. е. опять такъ въ ничто... Странно подумать, что можетъ наступить день, когда уже мнѣ нельзя будетъ сказать о себѣ: я! При этой мысли міръ представляется просто комокъ грязи (2 сент. 1833).“

Вскорѣ послѣ того, какъ Лермонтовъ оставилъ юнкерскую школу, онъ написалъ драму „Маскарадъ“ (1834) и поэму

„боляринъ Орша“ (1835); но собственно литературная известность его началась не раньше, какъ съ 1837 года, когда, вскорѣ послѣ смерти Пушкина, написана была имъ превосходная пьеса „На смерть поэта“ („Погибъ поэтъ, невольникъ чести“), въ которой онъ выразилъ свое полное сочувствіе поэту, такъ преждевременно похищенному смертью, и, въ то же время излилъ всю жалчь свою противъ того кружка, который такъ мало способенъ былъ оцѣнить Пушкина... Стихотвореніе надѣяло шуму и черезъ товарищей Лермонтова быстро разошлось по Петербургу во множествѣ списковъ. Вскорѣ послѣ того, слышавшіеся различныхъ, противорѣчивыхъ толковъ о дуэли и смерти Пушкина, Лермонтовъ прибавилъ къ своему стихотворенію еще 16 самыхъ рѣзкихъ, окончательныхъ стиховъ (а вы, надменные потомки)“. Говорятъ, что въ одномъ изъ петербургскихъ салоновъ, на весьма многлюдномъ вечерѣ, известная въ то время старуха и большая сплетница А. М. Х. при всѣхъ обратилась съ вопросомъ къ Бенкендорфу: „слышали вы, Александръ Христофоровичъ, что написалъ про насъ Лермонтовъ?“ Бенкендорфъ, вѣроятно, прежде нея зналъ о стихотвореніи, и не находилъ въ немъ ничего важнаго; но тутъ, говорятъ, онъ сказалъ: „ужъ если А. М. знаетъ про эти стихи, то я долженъ о нихъ доложить“. (1). Вскорѣ послѣ того (27 февр. 1837 года) Лермонтовъ переведенъ былъ прапорщикомъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, стоявшій въ Грузіи, и отправился на Кавказъ.

На этотъ разъ Лермонтовъ не долго оставался на Кавказѣ. Просьбы и хлопоты его бабушки, Арсеньевой, привели къ тому, что уже въ октябрѣ того же года онъ былъ возвращенъ съ Кавказа и переведенъ въ гвардію (въ 1. гв. гродненскій гусарскій полкъ). Въ это время и литературная критика наша уже успѣла оцѣнить его: онъ написалъ свою превосходную „Пѣсню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, въ которой всѣ приветствовали совершенно новое въ нашей литературѣ явленіе, поражавшее смѣлымъ сочета-

ніемъ высоко-художественныхъ картинъ, полныхъ силы и достоинства, съ внѣшностью безыскусственныхъ произведеній народной поэзіи.

Эта небольшая пьеса должна была тѣмъ болѣе удивить всѣхъ, что въ то время еще мало было известно другое, гораздо раньше этого времени написанное, произведеніе Лермонтова—Демонъ (между 1829 и 1834), бѣдное содержаніемъ, но изумляющее богатствомъ и роскошью красокъ, и безвѣчнымъ разнообразіемъ картинъ кавказской жизни и кавказской природы.

Очень важны для пониманія литературной дѣятельности Лермонтова тѣ три письма его (все къ той же московской приятельницѣ), которые сохранились намъ отъ періода времени между 1835—1838 годами, и которые мы дѣликомъ приводимъ здѣсь. Письма эти не столько важны своими биографическими подробностями и намеками, сколько прямыми указаніями на тѣ вліянія внѣшнія и на то внутреннее настроеніе, которые побудили Лермонтова создать типъ „Героя нашего времени“.

...„Признаюсь вамъ, каждый день болѣе и болѣе убѣждаюсь въ томъ, что никогда ни на что не буду годенъ, несмотря на всѣ мои прекрасныя мечты и плохіе опыты на жизненномъ пути... потому что, либо случая не встрѣчаешь, либо смѣлости не хватаетъ!... Мнѣ говорятъ: случай со временемъ встрѣтится, а время придастъ вамъ смѣлости!.. А кто знаетъ, когда все это случится — останется-ли у меня хоть тѣнь той пламенной и юной души, которою Богъ надѣлилъ меня такъ неистатъ? И не будетъ-ли сила моей воли истощена постоянной сдержанностью?... Кто знаетъ, наконецъ — не буду-ли я тогда и вовсе разочарованъ во всемъ, что побуждаетъ насъ къ поступательному движенію въ жизни... Вѣрите-ли, я до такой степени не способенъ увлекаться собой, что когда случайно поправится мнѣ какая-нибудь моя же мысль, я стараюсь припоминать, откуда я ее вычиталъ:—и вслѣдствіе этого я теперь ничего не читаю, чтобы не думать. Я и въ свѣтъ выѣзжаю теперь... чтобы дать себя знать, чтобы показать, что я могу находить удовольствіе и въ порядочномъ обще-

¹⁾ См. примѣч. къ сочинен. Лермонтова, стр. 474, во II т. изд. 1863.

ствѣ... Да! какъ же! Я даже и ухаживаю, и на вызванное мною признаніе отвѣчаю дерзостями: это еще немного потѣшаетъ меня: и хотя это не совсѣмъ ново, по крайней мѣрѣ это не слишкомъ часто приходится видѣть!... Вы, можетъ быть, предполагаете, что меня послѣ этого просто на-просто прогоняютъ?—Ничуть не бывало: напротивъ; такъ уже сотворены женщины. Я начинаю пріобрѣтать нѣкоторую увѣренность въ отношеніи къ нимъ; ничто не смущаетъ меня: ни гнѣвъ ихъ, ни нѣжность; я постоянно выказываю себя искательнымъ и горячимъ, хотя сердце мое остается довольно холоднымъ и бьется сильно только въ очень важныхъ случаяхъ (СПб. 23 дек., 1835)“.

„Пишу вамъ, милый другъ, накануне отъѣзда въ Новгородъ. До настоящей минуты все ожидалъ, не случится-ли со мною хоть что нибудь пріятное, о чемъ-бы я могъ и васъ извѣстить; однако же ничего подобнаго не случилось, и я рѣшаюсь писать вамъ, что умираю здѣсь съ тоски. Первые дни по пріѣздѣ сюда (съ Кавказа) все приходилось рыскать: представлялся разнымъ лицамъ, дѣлалъ перемонные визиты всякіе, потомъ каждый день сталъ ѣздить въ театръ: хорошъ театръ, да только ужъ понадоѣлъ такъ мнѣ. Да къ тому же еще и добрые-то родственники мнѣ покою не даютъ! Не хотать, чтобы я выходилъ въ отставку... Однимъ словомъ, я порядочно упалъ духомъ и даже очень-бы хотѣлъ поскорѣе покинуть Петербургъ и уѣхать куда бы то ни было, въ поле или къ чорту; тогда, по крайней мѣрѣ, будетъ хоть какою нибудь поводъ къ жалобамъ, а вѣдь это все-таки утѣшеніе, не хуже другого... (16 февр. 1838).

...Я все объ васъ думалъ; и вотъ доказательство: просился въ отпускъ на годъ — отказали, на 28 дней—отказали, на 14 дней—Великій Князь самъ отказалъ... Надо вамъ сказать, что я теперь несчастнѣйшій изъ смертныхъ и вы повѣрите этому, когда узнаете, что я каждый день на балахъ: вѣдь я пустился въ большой свѣтъ. Въ теченіе цѣлаго мѣсяца я былъ въ модѣ, изъ-за меня чуть не дрались. Это по крайней мѣрѣ искренно. И всѣ эти люди, которыхъ я такъ поносилъ въ стихахъ моихъ, теперь наперерывъ лстать мнѣ, и самыя красивыя женщины требуютъ отъ меня стиховъ и хва-

лятся ими, словно торжествомъ какимъ нибудь. И несмотря на это, я скучаю. — Просился на Кавказъ,—отказано; не даютъ мнѣ волю даже и подъ пулю лобъ подставить... Вы, можетъ быть, не вѣрите мнѣ жалобамъ; вамъ, можетъ быть, покажется страннымъ это исканіе удовольствій для того, чтобы они наскучили, это посѣщеніе салоновъ, когда въ нихъ не находишь ничего интереснаго! Ну, такъ я вамъ скажу настоящую причину всего этого. Вы знаете, что самыя большіе мои недостатки — суетность и самолюбіе. Было время, когда я старался, еще будучи новичкомъ, проникнуть въ это общество, и мнѣ это не удалось — двери аристократическихъ домовъ оставались для меня закрыты. И вотъ теперь, въ это же самое общество, я вступаю уже не добиваясь того, какъ человѣкъ, завоевавшій себѣ права свои; я возбуждаю любопытство, во мнѣ заискиваютъ, меня всюду приглашаютъ... Согласитесь, что все это можетъ вскружить голову; но счастью, природная моя гнѣзность беретъ надо всѣмъ этимъ верхъ: да и я самъ мало-по-малу начинаю все это находить невыносимымъ. Однако же, этотъ новый опытъ былъ для меня полезенъ тѣмъ, что далъ мнѣ въ руки оружіе противъ этого же самаго общества, и если когда нибудь оно станетъ преслѣдовать меня своими клеветами (а оно станетъ)—у меня будетъ въ рукахъ средство къ отмщенію; вѣдь нигдѣ же нѣтъ столько смѣшнаго и низкаго, сколько здѣсь“...

Въ теченіе 1838 и 1839 гг. Лермонтовъ оставался въ Петербургѣ и писалъ сначала очень немного. За то въ 1839 написалъ поэму „Мцыри“ и началъ цѣлый рядъ превосходныхъ разсказовъ въ прозѣ, которые потомъ вышли подъ однимъ общимъ заглавіемъ: „Герой нашего времени“. Произведеніе это, въ значительной степени уже утратившее для настоящаго времени свой живой интересъ, останется однимъ изъ важнѣйшихъ памятниковъ того времени, которому всецѣло принадлежалъ самъ Лермонтовъ. Въ лицѣ Печорина онъ старался представить „портретъ, составленный изъ пороковъ всего современнаго ему поколѣнія“; изображая его, онъ „рисовалъ современнаго человѣка, какимъ онъ его понималъ и къ его, и къ нашему общему несчастью, слишкомъ часто встрѣчалъ“. Лермон-

товъ сознается, что, создавши характеръ Печорина, онъ старался указать на „болѣзнь“, постигшую все современное русское общество... Но все это высказывалъ Лермонтовъ уже въ предисловіи ко второму изданію „Героя“, послѣ того, какъ въ обществѣ стали сильно поговаривать, будто авторъ въ этой повѣсти изобразилъ себя самого и описалъ свои собственные похождения. Біографъ Лермонтова совершенно основа-

вого прошлаго, пережитого старой Европой, со всѣми его преданіями, предразсудками и нравами; но въ примѣненіи къ русскимъ героямъ, къ „Москвичамъ въ Гарольдовскомъ плащѣ“, байронизмъ конечно долженъ былъ сильно мельчать и не рѣдко ограничивался одною простою вѣтшею рисовкою, однимъ желаніемъ драпироваться въ тѣ свойства и воззрѣнія байроновскихъ героевъ, которыя въ нихъ были естественнымъ слѣд-



Домикъ Лермонтова, въ Пятигорскѣ.

тельно замѣчаетъ, что и дѣйствительно „Лермонтовъ писалъ Героя съ любовью“, и что въ „чертахъ его характера, съ любовью описанныхъ авторомъ, слѣдуетъ видѣть именно тѣ признаки извращенія, которыя дала таланту эпоха“. Но нельзя однакоже не замѣтить, что эти „признаки извращенія“, отчасти, принадлежали и просто той формѣ, какую байронизмъ долженъ былъ принимать на русской почвѣ. Герои Байрона представляли собою отрицаніе цѣлаго многовѣко-

стіемъ перелома, произведеннаго въ европейской исторической жизни событіями конца прошлаго вѣка, а у насъ только примѣнялись къ совершенно инымъ, хотя и очень тягостнымъ условіямъ нашей общественной жизни 30-хъ годовъ. Тамъ байронизмъ являлся громкимъ протестомъ личности противъ стѣснявшихъ ее условій европейской исторической жизни, наслѣдованныхъ обществомъ, — у насъ онъ представлялъ собою не болѣе, какъ энергическій протестъ про-

тивъ небольшого избраннаго меньшинства, противъ тягости временныхъ условій нашей общественной жизни, противъ апатіи или же неразвитости всей массы общества. Само собою разумѣется, что, видоизмѣняясь такимъ образомъ на русской почвѣ, байронизмъ въ произведеніяхъ нашихъ поэтовъ долженъ былъ или проявляться въ видѣ совершенно бездѣльных, чуждыхъ характе-

опредѣляетъ довольно вѣрно простымъ указаніемъ на слѣдующія замѣчаемыя въ немъ противорѣчія:

„Русскій офицеръ сороковыхъ годовъ, разрушитель женскихъ сердецъ, готовый гордиться этимъ передъ цѣлымъ свѣтомъ; офицеръ денди—чуть-чуть не англійскій лордъ, который обращаетъ особенное вниманіе на породистость; страстный, но еще болѣе чув-



Гротъ Лермонтова, въ Пятигорскѣ.

ровъ (таковъ напр. Демонъ Лермонтова), либо въ видѣ нѣскольکو-карикатурныхъ личностей, представляющихъ въ характерѣ своемъ смѣсь нашихъ національных особенностей, смѣсь чертъ исключительно принадлежащихъ нашей почвѣ, съ другими чертами, заимствованными отъ байроновскихъ героевъ. Такимъ-то именно героемъ является Печоринъ, котораго біографъ Лермонтова

свенный, убійца Базы, Вѣры, княжны Мэри; поклонникъ дикихъ страстей „народа дикаго“, черкесовъ; герой, ненавидящій фальшивый лоскъ и необратившій вниманія на все то, что просто и естественно, и потому невидѣвшій народа за блескомъ мундировъ¹⁾.

Все это признаемъ мы теперь карикатурнымъ, и печоринство представляется намъ давно отжившимъ свой вѣкъ; но все

¹⁾ С. Дудышкинъ. Въ Матер. для біогр. Держ. стр. XLVII.

это было действительно, не вымышленною принадлежностью русской общественной жизни и русского общественного типа глѣть сорокъ тому назадъ, особенно въ средѣ лучшихъ людей нашего высшаго круга, которые способны были болѣе другихъ чувствовать всю ложь окружавшей ихъ жизни, и въ то же самое время не чувствовали въ себѣ силъ просто и естественно отстраниться отъ этой лжи, перейти на другую дорогу. Къ числу такихъ-то людей принадлежалъ и Лермонтовъ, такой же „невольникъ чести“, какъ и Пушкинъ; такимъ является намъ Лермонтовъ и въ той прекрасной характеристикѣ, которую оставилъ намъ нѣмецкій поэтъ Боденштедтъ¹⁾, познакомившійся съ Лермонтовымъ въ Москвѣ подъ конецъ его жизни (1840—41 г.):

„Недостатки Лермонтова были недостатками всего свѣтскаго молодого поколѣнія въ Россіи“ — замѣчаетъ Боденштедтъ; „но достоинство его не было ни у кого. Вѣрнѣйшее изображеніе его личности все таки останется намъ въ его произведеніяхъ, гдѣ онъ высказывается вполне такимъ, какимъ былъ, тогда какъ въ жизни онъ былъ лишь тѣмъ, чѣмъ хотѣлъ казаться“. Не надо понимать это въ дурномъ смыслѣ: если Лермонтовъ и надѣвалъ маску, то надѣвалъ не съ злымъ намѣреніемъ... Характеръ его былъ самаго крѣпкаго закала, и чѣмъ грознѣе падали на него удары судьбы, тѣмъ болѣе становился онъ твердымъ. Онъ не могъ противустоять преслѣдовавшей его судьбѣ; но въ то же время не хотѣлъ ей покориться. Онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы одолѣть ее, но и слишкомъ гордъ, чтобы позволить одолѣть себя.... Вотъ почему и пряталъ онъ свои страданія подъ личиною веселости, а самыя ѣдкия остроты его отзываются горечью слезъ“.

Такимъ же точно рисуютъ намъ Лермонтова и другіе его современники, заслуживающіе полнаго довѣрія и отвергающіе съ негодованіемъ всѣ враждебныя, неблагоприятныя отзывы о личности и характерѣ Лермонтова: они основывались на од-

номъ наблюденіи той свѣтской маски, которую Лермонтовъ считалъ долгомъ надѣвать передъ людьми, мало его знавшими! Въ числѣ этихъ современниковъ подаетъ свой голосъ въ пользу Лермонтова и Бѣлинскій, такъ прекрасно опредѣлившій значеніе Лермонтова, какъ поэта, и на себѣ испытавшій все обаяніе его личности, когда она поставлена была въ условія простыхъ, искреннихъ отношеній къ искусству²⁾.

Страшнымъ, роковымъ образомъ сбылся надъ Лермонтовымъ тотъ жребій, который онъ какъ-бы предназначилъ себѣ въ извѣстномъ своемъ юношескомъ стихотвореніи. (Нѣтъ, я не Байронъ, я другой еще невѣдомый избранный); въ немъ онъ говорилъ, между прочимъ, сравнивая себя съ Байрономъ:

«Я раньше началъ, кончу раньше,
Мой умъ немного совершитъ»....

И действительно „Герой нашего времени“ еще не совсѣмъ былъ оконченъ, а ужъ надъ головою автора его успѣли собраться новыя грозныя тучи. Въ февралѣ 1840 года Лермонтовъ дрался на дуэли съ сыномъ барона де-Баранта (извѣстнаго французскаго историка и посланника при нашемъ дворѣ) и за эту дуэль былъ тѣмъ же чиномъ переведенъ въ Тенгинскій пѣхотный полкъ. Въ третій разъ въ жизни пришлось ему ѣхать на Кавказъ. На пути туда было написано извѣстное стихотвореніе его: Тучки небесныя, вѣчные странники! Вскорѣ послѣ того вышелъ въ свѣтъ Герой нашего времени, и первое полное собраніе его стихотвореній, которыя до тѣхъ поръ копѣщались почти исключительно въ Отечественныхъ Запискахъ.

Ровно черезъ годъ, весной 1841 г., Лермонтову разрѣшено было на короткое время пріѣхать въ Петербургъ—и тутъ послѣдній разъ пришлось ему увидѣть „милый свѣтъ“. Въ апрѣлѣ 1841 года выѣхалъ онъ изъ Петербурга, а 15 іюля того же года онъ былъ убитъ на дуэли съ сослуживцемъ своимъ Мартыновымъ³⁾.

¹⁾ Боденштедтъ подарилъ нѣмецкую литературу превосходнымъ переводомъ Лермонтова. ²⁾ См. извѣстный разсказъ Бѣлинскаго о бесѣдѣ съ Лермонтовымъ, котораго онъ посѣтилъ подъ арестомъ (Въ Воспоминаніяхъ Панаева. Современникъ 1861 г. II, 656—63). ³⁾ Нельзя не замѣтить, что Мартыновъ не былъ виноватъ въ этой дуэли: самъ Лермонтовъ былъ онъ вынужденъ къ вызову.

Одинъ изъ очевидцевъ этого печальнаго событія сохранилъ намъ въ своемъ разсказѣ нѣсколько подробностей о погребеніи Лермонтова:

...„Человѣкъ 10 или 12 его пріятелей, — военные — въ мундирахъ, не военные ¹⁾ во фракахъ — понесли гробъ на могилу. Надъ

ценномъ кавказскимъ солнцемъ, казалась лучшимъ для поэта монументомъ...“

Вскорѣ послѣ того, прахъ поэта-изгнанника былъ отправленъ изъ Пятигорска въ Чембарскій уѣздъ Пензенской губ.. въ то самое село Тарханы, въ которомъ провелъ онъ у бабушки годы ранняго дѣтства. Тамъ,



Могилы Лермонтова, въ селѣ Тарханы.

гробомъ священникъ прочиталъ молитву. Когда стали опускать гробъ въ землю, оказалось, что онъ не можетъ войти въ боковую пещеру, сдѣланную на днѣ могилы; тогда какой-то стоявшій вблизи черкезъ спрыгнулъ туда и кинжаломъ пооббилъ землю. Могила, вырытая у подножія величаваго Машука, на небольшомъ склонѣ, освѣ-

скромная гробница поэта возвышается подъ кровомъ простой часовни, рядомъ съ могилою его бабушки, которая такъ нѣжно любила его и, къ величайшему горю своему, должна была его пережить.

Послѣдній годъ поэтической дѣятельности Лермонтова былъ особенно богатъ лирическими произведеніями, полными силъ и со-

¹⁾ Въ томъ числѣ и братъ А. С. Пушкина, Левъ Сергѣевичъ.

вершенства, явно свидетельствующаго о наступающей зрѣлости еще молодого и не вполне развитшагося, но громаднаго таланта. Въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться съ Бѣлинскимъ, который замѣчаетъ, что Лермонтовъ умеръ въ то время, когда въ его душевномъ настроеніи очевидно совершался важный переворотъ. „Лермонтовъ немного написал“ — говоритъ Бѣлинскій — „безконечно меньше того, сколько позволялъ его громадный талантъ. Беззаботный характеръ, пылкая молодость, жадная впечатлѣніи бытія, самый родъ жизни — отвлекали его отъ мирныхъ кабинетныхъ заня-

тій, отъ уединенной думы, столь любезной музамъ; но уже кипучая натура его начала уставаться, въ душѣ пробуждалась жажда труда и дѣятельности, а острый взоръ сталъ спокойно вглядываться въ глубь жизни“...

Справедливость этого вывода становится особенно очевидна всякому, прослѣдившему въ хронологической послѣдовательности все написанное Лермонтовымъ, особенно, если при этомъ не забывается тотъ въ высшей степени знаменательный фактъ, что поэтъ, создавшій такъ много прекраснаго, умеръ на двадцать семьмъ году жизни!



XLI.

Н. В. Гоголь — Біографическія подробности. — Романтическое фантазерство и высокое нѣніе Гоголя о себѣ самомъ. — Переходъ къ простому наблюденію и спокойному изображенію жизни. — Неудачныя попытки въ области науки. — Сознательный періодъ творчества. — Вліяніе душевной болѣзни на дѣятельность литературную. — Жалкое положеніе Гоголя въ послѣдніе годы жизни.

Мы уже неоднократно имѣли случай замѣчать, что романтизмъ главными своими принципами постановилъ свободу творчества и народность поэзіи. Эти два принципа только и остались отъ романтизма, переживя его, и до нашего времени сохранивши свое значеніе. Что же касается до романтизма, какъ особенной школы поэзіи, то онъ далеко не исчерпывается этими принципами. Онъ является продуктомъ своего времени и процвѣтаніе его необходимо должно было закончиться съ его вѣкомъ. Вѣкъ романтизма былъ вѣкомъ отвлеченной философіи, восторженнаго идеализма и въ тоже время — горькаго разочарованія при видѣ полнѣйшаго разногласія между дѣйствительностью и высокими идеалами, завѣщанными XVIII вѣкомъ, при сознаніи безсилія своего въ борьбѣ съ этою дѣйствительностью. Поэтому, чувство разочарованія, уныніа, тоски и недовольства окружающимъ отражается во всѣхъ произведеніяхъ романтической школы. Въ тоже время романтизмъ, проповѣдую свободу творчества, ограничивалъ эту свободу, избирая предметами поэтическихъ произведеній преимущественно экстраординарныя стороны жизни, величественные моменты ея; героями его постоянно были избранныя сильныя натуры, глубоко скорбѣвшія о судьбахъ всего человѣчества, способныя къ титанической борьбѣ противъ цѣлаго міра. Эта наклонность романтическихъ поэтовъ созерцать жизнь преимущественно въ ея исключительные моменты произошла отъ двухъ причинъ: съ одной стороны подъ обаяніемъ впечатлѣній грандіозныхъ событій современной исторической эпохи; съ другой — какъ завѣщанная ложнымъ классицизмомъ привычка считать достойными

поэтического прѣснопѣнія только однихъ героевъ, выдающихся изъ толпы, представлять изъ жизни этихъ героевъ одни торжественные моменты. Всѣ эти элементы романтизма не замедлили отразиться и на самыхъ формахъ поэтическихъ произведеній этой школы. Постоянно переходя отъ восторженнаго идеализма къ ѣдкому разочарованію, отъ грандіозныхъ событій жизни къ грандіознымъ красотамъ природы, романтизмъ былъ проникнутъ лирическими порывами и, весьма естественно, болѣе симпатизировалъ стихотворнымъ формамъ, какъ преимущественно свойственнымъ лиризму. Вѣкъ романтизма былъ вѣкомъ стихоманіи повсюду, гдѣ только процвѣталъ романтизмъ. Ни одна эпоха не создала столько гениальныхъ поэтовъ стихотворцевъ, какъ эпоха романтизма. Достаточно для подтвержденія этого припомнить только имена Шиллера, Гете, Байрона, Гейне, Мицкевича, Пушкина и проч. У насъ въ 20-е годы, въ вѣкъ полнаго торжества романтизма, литература была загромождена лирическими поэмами, драмами, романами, балладами, элегіями и проч. Молодежь заучивала наизусть произведенія любимыхъ писателей, особенно Пушкина, и въ подражаніе имъ изливала свои чувствованія въ безконечныхъ поэмахъ, явившихся не рѣдко въ печати подъ различными ужасающими заглавіями, въ родѣ „Сынъ тайны“, „Кровавая месть“ и т. п.

Но, мало по малу, событіа, ознаменовавшія наступленіе XIX столѣтіа, начали уходить въ глубь прошедшаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обаяніе, производимое ими, стало исчезать. Наступили времена болѣе мирныя и тихія. Подъ вліяніемъ всеобщей реакціи люди со-

средоточились въ себя. Мрачное разочарованіе Байрона смѣнилось томною скукою при видѣ безконечно тянущейся день за днемъ будничной канители. Идеалы, которыми нѣкогда восторгался, какъ новыми, перестали уже служить предметами восторга; одни изъ нихъ сдѣлались продуктами спокойнаго сознанія, а другіе успѣли уже показаться и смѣшными. Люди устали презирать и ненавидѣть дѣйствительность за то, что она не покоряется любимымъ мечтамъ, и принялись холодно изучать ее. И вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ въ философскомъ развитіи совершился переходъ—отъ метафизики къ господству положительныхъ знаній,—подобный же переходъ отъ романтизма къ реализму произошелъ и въ области поэзии. Отъ поэзии начали требовать представленія обывденной жизни, окружающей поэта, живой, осязательной дѣйствительности, знакомой и близкой сердцу каждаго. Титаническіе герои, пріѣхшіе и ополченные до послѣдней крайности, уступили мѣсто обыкновеннымъ смертнымъ въ ихъ будничной обстановкѣ; лирическая восторженность смѣнилась спокойною созерцательностью или разлагающимъ анализомъ различныхъ элементовъ жизни; патетическая скорбь обратилась въ холодную иронию или насмѣшливо-грустный юморъ; наконецъ стихи смѣнились прозою и господствующими поэтическими формами новаго времени сдѣлались романъ и повѣсть.

Подобный переворотъ произошелъ почти одновременно во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Первая выступила на поприще правоописательнаго романа Англія, въ литературѣ которой романъ получилъ значительное развитіе еще въ началѣ XVII и XVIII вѣковъ, и даже эпоха романтизма не обошлась въ ней безъ такого крупнаго представителя этой формы поэзии, какъ Вальтеръ-Скоттъ. Между тѣмъ, какъ въ Англіи на поприще правоописательнаго романа выступилъ цѣлый рядъ даровитыхъ писателей съ Диккенсомъ и Теккереемъ во главѣ, во Франціи первый на это поприще выступилъ Бальзакъ, за которымъ слѣдовали Жоржъ-Зандъ и Евгений Сю (мы не упоминаемъ здѣсь о Викторѣ Гюго, романы котораго, равно какъ и Вальтеръ-Скотта, относятся къ предъидущей романтической эпохѣ). Въ Германіи, въ свою очередь, это во-

вое литературное движеніе выразилось въ романахъ и повѣстяхъ Гюцкова и Ауербаха. Не замедлило совершиться такой же переворотъ и въ русской литературѣ, и замѣчательно, что переворотъ этотъ, въ противоположность всѣмъ предыдущимъ переходнымъ ступенямъ нашей литературы, совершился вполне органически и самобитно.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ естественно и необходимо было влеченіе отъ фантастическихъ образовъ къ дѣйствительности, отъ лирической восторженности къ спокойному созерцанію и отъ стиховъ къ прозѣ, — это мы видимъ на гениальномъ представителѣ романтизма въ Россіи, Пушкинѣ. Послѣ первыхъ своихъ романтическихъ поэмъ въ байроновскомъ духѣ, Пушкинъ принимается за стихотворный романъ „Евгеній Онегинъ“, который пишетъ нѣсколько лѣтъ, и на одномъ этомъ романѣ мы можемъ прослѣдить, какъ мало-по-малу измѣнялся поэтъ съ лѣтами, незамѣтно для самаго себя. Въ первыхъ главахъ романъ этотъ сильно смахиваетъ еще на поэму въ байроновскомъ духѣ, съ русскимъ Чайльдъ-Герольдомъ во главѣ, — въ лицѣ „Евгенія Онегина“. Пушкинъ относится къ своему герою вполне симпатично, какъ къ любимому своему идеалу; описывая его житейское въ столицѣ и деревнѣ, его вкусы, привычки, симпатіи и антипатіи, Пушкинъ, съ лирическимъ одушевленіемъ, выражаетъ свои собственныя чувства, воспоминанія, симпатіи и антипатіи. Но читайте романъ далѣе; и вы увидите, что тонъ его дѣлается все спокойнѣе, личность поэта все болѣе и болѣе скрывается за картинами русской природы и русской жизни, самый герой романа измѣняется и, снявши чайльдъ-герольдовскій плащъ, обращается въ весьма обыкновеннаго смертнаго, въ русскаго полуобразованнаго помѣщика, скучающаго своимъ бездѣльемъ. Подъ конецъ своего литературнаго поприща Пушкинъ окончательно выступаетъ на почву спокойной и здоровой созерцательности; а вмѣстѣ съ тѣмъ, чаще и чаще, начинаетъ прибѣгать къ прозѣ. Въ своихъ прозаическихъ произведеніяхъ—„Капитанской дочкѣ“, „Дубровскомъ“ и пр... онъ представилъ первые образцы русскаго правоописательнаго романа. Вообще говоря, въ 30-е годы романъ и повѣсть все болѣе и болѣе выступаютъ на первый планъ

въ нашей литературѣ. Является цѣлый рядъ беллетристовъ — Загоскинъ, Лажечниковъ, Даль, Вельтманъ, Н. А. Полевой, кн. В. Одоевскій, Павловъ, Марлинскій и пр. Въ иныхъ романахъ этихъ писателей преобладаютъ еще романтическіе идеалы, въ другихъ ясно замѣтно подражаніе Вальтеръ-Скотту; но уже и въ нихъ являются мѣстами болѣе или менѣе удачныя попытки изображать сцены изъ русской жизни исторической и современной, съ претензією на комизмъ, сатиру и юморъ. И вотъ, при этихъ то обстоятельствахъ на литературное поприще выступаетъ Гоголь, ставшій во главѣ новаго литературнаго движенія и создавшій школу, господствующую и понынѣ въ нашей литературѣ.

Николай Васильевичъ Гоголь-Яновскій родился въ 1809 году, 19-го марта, въ Полтавской губерніи, въ мѣстечкѣ Сорочинцахъ. Отецъ его, Василій Афанасьевичъ Гоголь, былъ сынъ полкового писаря (одна изъ почетныхъ должностей при Запорожскомъ казацкомъ войскѣ). Только два поколѣнія отдѣляли Гоголя отъ эпохи казацкихъ войнъ и дѣдъ его, полковой писарь, сообщалъ своей семьѣ много разсказовъ изъ этого времени. Вообще Гоголя окружала въ дѣтствѣ жизнь, едва вступившая изъ своего средневѣковаго, воинственнаго полудикаго броженія въ русло общихъ порядковъ русской гражданственности, исполненная свѣжихъ преданій старины, легендъ и воинственныхъ пѣсенъ; жизнь, въ которой непосредственная, младенчески-религіозная набожность сплеталась неразрывными узами съ роемъ народныхъ суевѣрій. Дѣдъ Гоголя былъ въ этомъ отношеніи живымъ представителемъ только что миновавшаго прошлаго, и не даромъ Гоголь не разъ поминаетъ о немъ въ Вечерахъ на Хуторѣ. Можно навѣрное сказать, что этому дѣду Гоголь былъ былъ обязанъ половиною своихъ малороссійскихъ разсказовъ. „Дѣдъ мой, говоритъ онъ въ повѣсти, „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“ (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ свѣтѣ ѣлись одни только буханцы пшеничные, да маковники въ меду!) умѣлъ чудно разсказывать. Бывало, поведетъ рѣчь — цѣлый день не подвинулся-бы съ мѣста и все-бы слушалъ... Но ви дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды Запорожцевъ и Ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы,

Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго, не занимали насъ такъ, какъ разсказы про какое нибудь старинное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу и волосы ерошились на головѣ. Иной разъ страхъ бывало такой забереть отъ нихъ, что съ вечера все показывается Богъ знаетъ какимъ чудовищемъ“...

Въ то время, когда дѣдъ былъ для маленькаго Гоголя представителемъ отжившей старины, отецъ его, Василій Афанасьевичъ, являлся представителемъ современности. Онъ былъ человѣкъ начитанный и бывалый, любилъ литературу, выписывалъ журналы, обладалъ въ тоже время даромъ разсказывать и приправлять свои разсказы малороссійскимъ комизмомъ. Усадьба его, Васильевка, была центромъ общественной ололка. Среди всевозможныхъ празднествъ, въ этой усадьбѣ отецъ Гоголя не рѣдко устраивалъ и домашніе спектакли. На этихъ спектакляхъ разыгрывались только что появившіяся малороссійскія комедіи Котляревскаго — Наталка-Полтавка, Москаль Чаривникъ. Отецъ Гоголя написалъ въ подражаніе Котляревскому и самъ нѣсколько комедій, которыя тоже разыгрывались въ Васильевкѣ.

Грамотѣ выучился Гоголь дома отъ наемнаго семинариста. Потомъ его отдали съ младшимъ братомъ Иваномъ для приготовленія къ поступленію въ Полтавскую гимназію одному изъ учителей этой гимназіи. Но когда дѣтей взяли домой на каникулы и братъ Гоголя умеръ, Гоголя не отсылали уже болѣе въ Полтаву и онъ оставался нѣкоторое время дома. Между тѣмъ, тогдашній черниговскій губернаторъ, прокуроръ Бажановъ, увѣдомилъ отца Гоголя объ открытіи въ Нѣжинѣ гимназій высшихъ наукъ князя Безбородко, и совѣтовалъ ему помѣстить сына въ находящійся при этомъ гимназій пансіонѣ, что и было исполнено въ май мѣсяцѣ 1821 года. Гоголь вступилъ своекоштнымъ воспитанникомъ, а черезъ годъ зачисленъ казенновокоштнымъ. Нельзя сказать, чтобы Гоголь былъ многимъ обязанъ этой гимназій высшихъ наукъ и вынесъ отсюда какія-либо основательныя познанія не только въ высшихъ, но и въ самыхъ элементарныхъ наукахъ. Онъ мало занимался уроками; обладая отличною памятью, онъ схватывалъ на лекціяхъ вер-

хушки и, занявшись передъ экзаменомъ нѣсколько дней, переходилъ въ высшій классъ. Особенно не любилъ онъ математики; но и къ изученію языковъ не питалъ особенной склонности; по окончаніи курса

языкъ: вѣрно на какомъ нибудь особенномъ, но не можетъ быть, чтобы на нѣмецкомъ“.

Если въ новыхъ языкахъ Гоголь оказывалъ столь незначительные успѣхи, то класси-



Gogol

онъ не могъ еще читать французской книги безъ словаря. Къ нѣмецкому же и англійскому языкамъ онъ и въ послѣдствіи питалъ комическое отвращеніе. Онъ шутилъ, говаривалъ, будто „не вѣрить, чтобы Шиллеръ и Гёте писали на нѣмецкомъ

чешскіе и подавно не дались ему. „Онъ учился у меня три года“, говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Гоголѣ учитель латинскаго языка въ нѣжинскомъ лицей, Кулжинскій: и ничему не научился, какъ только переводить первый параграфъ изъ

хрестоматіи при грамматикѣ Кошанскаго: *universus mundus plerumque distribuitur in duas partes, coelum et terram* (за что и былъ прозванъ вмѣстѣ съ другими латинистами *universus mundus*). Во время лекцій, Гоголь всегда, бывало, подъ скамьею держитъ какую-нибудь книгу, не обращая вниманія ни на *coelum*, ни на *terram*. Надобно признаться, что не только у меня, но и у другихъ товарищей моихъ онъ, право, ничему не научился. Школа приучила его только къ нѣкоторой логической формальности и послѣдовательности понятій и мыслей, а болѣе ничѣмъ онъ намъ не обязанъ.

Не говоря уже о языкахъ, даже и русской грамотѣ не научила Гоголя гимназія высшихъ наукъ по свидѣтельству его біографа: „Ученическія письма Гоголя“, говорить онъ, „отличаются отсутствіемъ всякихъ правилъ орфографіи. Чтобы сдѣлать ихъ болѣе ясными, я разставилъ, какъ слѣдуетъ, знаки препинанія, обратилъ прописныя буквы, на которыя онъ былъ тогда очень щедръ, въ строчныя, и поправилъ неправильныя окончанія въ прилагательныхъ именахъ“.

Единственно, чему выучился Гоголь въ лицѣ, это искусству рисованія, и судя по его письмамъ къ домашнимъ, онъ очень привлекательно и съ любовью занимался въ школѣ этимъ искусствомъ.

Будучи такимъ образомъ не послѣднимъ дѣляемъ въ классѣ, Гоголь въ тоже время былъ первымъ шалуномъ и любимцемъ своихъ товарищей. Особенно привлекала ихъ къ нему неистощимая его шутовскость. Уже въ дѣтствѣ обнаружился въ немъ самообытный юморъ и вмѣстѣ съ тѣмъ никто такъ не умѣлъ скопировать и представить какую либо всѣмъ извѣстную личность, какъ маленький Гоголь.

Мало занимаясь уроками, Гоголь много читалъ, все, что только попадалось ему подъ руку. Такимъ образомъ уже на школьной скамьѣ онъ успѣлъ познакомиться съ русскими поэтами; особенно восхищался, конечно, Пушкинымъ и Жуковскимъ, перечитывалъ выходившіе въ то время альманахи и нумера „Вѣстника Европы“, на который подписывались его родители. Чтеніе альманаховъ и журналовъ возбудило въ немъ подражательность. Сначала эта подража-

тельность проявилась въ видѣ пародій. Былъ въ гимназіи одинъ ученикъ со страстью къ стихотворству, но совершенно бездарный. Гоголь собралъ его стихотворенія и придалъ имъ наружность альманаха подъ заглавіемъ „Парнаскій навозъ“. Но отъ этой пародіи онъ перешелъ къ изданію серьезнаго рукописнаго журнала и большихъ трудовъ стоило ему это предпріятіе. Нужно было написать самому статьи почти по всѣмъ отдѣламъ, потомъ переписать ихъ и, что всего важнѣе, сдѣлать обертку на подобіе печатной. Гоголь хлопоталъ изо всѣхъ силъ, чтобы придать своему изданію наружность печатной книжки, и просиживалъ ночи, зарисовывая заглавный листокъ, на которомъ красовалось названіе журнала „Звѣзда“. Все это дѣлалось, разумѣется, украдкою отъ товарищей, которые не прежде должны были узнать содержаніе книжки, какъ по ея выходѣ изъ редакціи. Наконецъ перваго числа мѣсяца книжка журнала выходила въ свѣтъ. Издатель бралъ иногда на себя трудъ читать вслухъ свои и чужія статьи. Все внимало и восхищалось. Въ „Звѣздѣ“, между прочимъ, помѣщена была повѣсть Гоголя: „Братья Твердиславичи“ (подражаніе повѣстямъ, появившимся въ современныхъ альманахахъ), и разныя его стихотворенія. Все это было написано такъ называемымъ высокимъ слогомъ, изъ-за котораго бились всѣ сотрудники редактора. Гоголь былъ комикомъ, во время ученичества, только на дѣлѣ: въ литературѣ онъ считалъ комическій элементъ слишкомъ низкимъ. Этимъ-же высокимъ слогомъ написалъ Гоголь трагедію Разбойники (пятистопными ямбами) и балладу „Двѣ Рыбки“, въ которой Гоголь трогательно изобразилъ судьбу свою и своего брата. Къ гимназическому-же періоду относится и „Гансъ Кухельгартенъ“, стихотворная идиллія, представляющая идеальнаго юношу, который покидаетъ милую изъ жажды славы, но послѣ напрасныхъ скитаній возвращается снова на родину дѣлать со своею возлюбленною счастье подъ соломенною кровлею. Впрочемъ, не смотря на то, что Гоголь считалъ высокій слогъ необходимымъ элементомъ поэзіи, комическій талантъ успѣлъ пробиться и сквозь этотъ предрасудокъ; такъ, между прочимъ, онъ написалъ сатиру на жителей города Нѣжина подъ заглавіемъ: „Нѣчто о Нѣжинѣ или дуракамъ законъ не

писанъ; въ которой изобразилъ типическія лица разныхъ сословій. Для этого онъ писалъ нѣсколько торжественныхъ случаевъ, при которыхъ то или другое сословіе наиболѣе высказало характеристическія черты свои и по этимъ случаямъ раздѣлилъ свое сочиненіе на слѣдующіе отдѣлы: „1) Освященіе церкви на Греческомъ кладбищѣ, 2) Выборъ въ Греческій магистратъ, 3) Вседная ярмарка, 4) Обѣдъ у предводителя дворянства. 5) Роспускъ и съѣздъ студентовъ“.

Воротаясь однажды послѣ каникулъ въ гимназію, Гоголь привезъ на малороссійскомъ языкѣ комедію, которую играли на домашнемъ театрѣ его отца и сосѣда Трошинскаго, а изъ журналиста сдѣлался директоромъ театра и актеромъ. Кулисами служили ему классныя доски, а недостатокъ костюмовъ дополняло воображеніе артистовъ и публики. Потомъ ученики сложились и устроили себѣ кулисы и костюмы, копируя единственный театр, видѣнный Гоголемъ, — театр его отца. Начальство гимназіи, желая приохотить воспитанниковъ къ французскому языку, ввело французскія пьесы. Вообще репертуаръ гимназическаго театра состоялъ изъ пьесъ Мольера, Флоріана, Коцебу, Фонъ-Визина, Княжнина и малороссійскихъ комедій. Театръ этотъ вскорѣ приобрѣлъ популярности въ городѣ и городскіе жители стали съѣзжаться на представленія гимназистовъ. Гоголь особенно отличался въ роляхъ старухъ; многіе нѣжинцы еще помнятъ Гоголя въ роли Простаковой и говорятъ, что онъ исполнялъ ее превосходно.

Подъ конецъ курса Гоголь вмѣстѣ съ товарищами завелъ складчину для приобретенія книгъ и устройства ученической бібліотеки. Они выписывали журналы. Сѣверные цѣвты Дельвига, сочиненія Пушкина, Жуковскаго и другихъ замѣчательныхъ современныхъ писателей. Гоголь былъ избранъ бібліотекаремъ. Онъ выдавалъ книги по очереди; получившій книгу долженъ былъ читать ее въ присутствіи бібліотекаря, не вставая съ мѣста, пока не возвратитъ книги и при этомъ Гоголь, страстно наблюдавшій за чистотою книгъ, завертывалъ читателямъ въ бумажки большой и указательный пальцы.

Гоголь окончилъ курсъ наукъ въ 1828 году по 2-му разряду съ правомъ 14-го класса. Читая переписку Гоголя съ родными и друзьями за это время, можно получить до-

вольно ясную и опредѣленную картину нравственнаго и умственнаго развитія Гоголя по окончаніи курса. Съ одной стороны это былъ юноша, исполненный непосредственнаго, дѣтскаго религіознаго благочестія, которое такъ и сквозитъ во многихъ письмахъ его. Такъ, напримѣръ, послѣ извѣстія о смерти отца (въ 1825 г.), Гоголь пишетъ своей матери: „не безпокойтесь, дражайшая мамонька! Я сей ударъ перенесъ съ твердостью христіанина. Правда, я сперва былъ пораженъ ужасно симъ извѣстіемъ; однакожъ не далъ никому зачѣтить, что я былъ опечаленъ. Оставшись же наединѣ, я предался всей силѣ безумнаго отчаянія. Хотѣлъ даже посягнуть на жизнь свою, но Богъ удержалъ меня отъ сего; и къ вечеру примѣтилъ я въ себѣ только печаль, но уже не порывистую, которая наконецъ превратилась въ легкую, едва примѣтную меланхолію, сгнѣванную съ чувствомъ благоговѣнія ко Всевышнему. Благодарю тебя, священная вѣра! Въ тебѣ только я нахожу источникъ утѣшенія и утѣшенія своей горести...“

Вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ пламенный энтузіастъ, которому будущее представлялось въ радужныхъ и величественныхъ чертахъ. Онъ воображалъ себя великимъ дѣятелемъ на пользу отечества, ему грезился могучимъ какой-то важный трудъ, который онъ долженъ осчастливить всю Россію. „Истинную“, говоритъ онъ, „силу для подаянія труда важнаго, благороднаго, на пользу отечества, для счастья гражданъ, для блага себѣ подобныхъ и, дотогѣ нерѣшительный, неуверенный (и справедливо) въ себѣ, я возмываю огнемъ гордаго самосознанія, и душа моя будто видитъ этого незваннаго ангела твердо и непреклонно все указующаго въ мѣту жаднаго исканія“... Въ чемъ долженъ заключаться этотъ будущій важный трудъ на пользу и благоденствіе гражданъ, объ этомъ Гоголь имѣлъ еще смутныя понятія, и мечты его болѣе всего стремились на государственную службу.

Въ тоже время не мало было въ немъ и зачатковъ романтизма. Такъ онъ воображалъ себя непонятнымъ гениемъ. „Право“, говоритъ онъ въ письмѣ къ матери отъ 1828 года, почитаюсь загадкою для всѣхъ: никто не разгадалъ меня совершенно. У васъ почитаютъ меня своенравнымъ, какимъ-то неслыханнымъ педантомъ, думающимъ, что онъ

умѣе всѣхъ, что онъ созданъ на другой ладъ отъ людей. Вѣрите ли, что я внутренно самъ смѣюсь надъ собою вмѣстѣ съ вами? Здѣсь (т. е. въ Петербургѣ) меня называютъ смиренникомъ, идеаломъ кротости и терпѣнія. Въ одномъ мѣстѣ я самый тихій, скромный, учтивый; въ другомъ — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч.; въ третьемъ — болтливъ и докучливъ до чрезвычайности; у иныхъ уменъ, у другихъ глупъ. Какъ угодно почитайте меня, но только съ на-

Гоголь конечно и презиралъ эту толпу, какъ всѣ романтики: „Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей“, пишетъ онъ къ товарищу, „всѣхъ населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корою скоей земности, ничтожнаго самодовольствія высокое назначеніе челоѣка. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться. Изъ нихъ не исключаются и дорогіе поставники наши“...

Вмѣстѣ со всѣмъ этимъ, мы видимъ въ



Нѣжинскій лицей.

стоящаго поприща вы узнаете мой характеръ“... Какъ всѣ неопытные геніи романтизма, онъ уже въ 18 лѣтъ воображалъ себя претерпѣвшимъ отъ людей бездну всякихъ непріятностей. „Но врядъ-ли кто вынесетъ“, пишетъ онъ въ томъ же письмѣ, „столько неблагодарностей, глупыхъ, смѣшныхъ притязаній, холоднаго презрѣнія и проч. Все выносилъ я безъ упрековъ, безъ роптанія, никто не слышалъ моихъ жалобъ, я даже хвалилъ виновниковъ моего горя“. Претерпѣвши все это отъ пошлой толпы,

юномъ мечтателѣ и романтикѣ двѣ черты, которымъ впоследствии пришлось играть важную роль въ жизни Гоголя. Съ одной стороны уже въ эту эпоху обнаружилась въ немъ склонность къ суровому аскетизму, заключавшемуся въ строгой умѣренности, въ сосредоточеніи всѣхъ интересовъ и радостей жизни исключительно въ духовной и умственной сферѣ. „Мой планъ жизни теперь удивительно строгъ и точенъ во всѣхъ отношеніяхъ“, пишетъ онъ матери въ 1829 г. изъ Нѣжина: „каждая копѣйка теперь имѣетъ

у меня мѣсто. Я отказываю себя даже въ самых крайнихъ нуждахъ, съ тѣмъ, чтобы имѣть хотя малѣйшую возможность поддерживать себя въ такомъ состояніи, въ какомъ нахожусь, чтобы имѣть возможность удовлетворить моей жадности видѣть и чувствовать прекрасное. Для него-то я съ трудомъ величайшимъ собираю все годовое свое жалованье, откладывая малую часть на нужнѣйшія издержки! Хотя конечно, какъ юноша страстный и увлекающійся, Гоголь не могъ строго выдерживать въ 18 лѣтъ подобнаго рода суровой жизни, производилъ нѣмалыя траты совершенно ненужныя и далеко выходилъ за нормы своей программы; но тѣмъ не менѣе, въ самомъ стремленіи къ ограниченію своихъ прихотей, выказывается явная склонность къ аскетизму. Другою преобладающею чертою его характера является передъ нами властолюбіе, склонность во все вмѣшиваться, поучать и подчинять своей волѣ окружающихъ. Такъ, не ограничиваясь тѣмъ, что онъ былъ коноводомъ въ классѣ, Гоголь уже на школьной скамьѣ вмѣшивается въ хозяйство матери и даетъ ей совѣты относительно различныхъ построекъ, причемъ проситъ уведомлять его о хозяйственныхъ ея распоряженіяхъ.

По окончаніи курса, Гоголь исполнился мечтами о поѣздѣ въ Петербургъ. Какъ всѣ провинціалы, онъ составилъ себѣ конечно самыя преувеличенныя представленія о столицѣ. Онъ воображалъ, что въ Петербургѣ не замедлятъ осуществиться всѣ его пламенные мечты, что онъ сейчасъ-же опредѣлится на службу и пойдетъ шагать по лѣстницѣ почестей и славы. Въ своихъ мечтахъ онъ даже опредѣлилъ, что квартира его въ столицѣ будетъ непременно выходить окнами на Неву, воображая конечно, что устроить это также легко, какъ въ Нѣжинѣ имѣть квартиру на рѣчку, протекающую черезъ городъ. Но мечты его не замедлили смѣниться разочарованіемъ, вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ. „Скажу еще“, пишетъ онъ матери въ началѣ 1829 г., „что Петербургъ мнѣ показался все не такимъ, какъ я думалъ. Я его воображалъ гораздо красивѣе, великолѣпнѣе, и слухи, которые распускали другіе о немъ, также лживы. Жить здѣсь не совсѣмъ по-свински, т. е. имѣть разъ въ день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думаете“

и т. п. Въмѣсто квартиры окнами на Неву, онъ занялъ, по-поламъ съ товарищемъ, бѣдную квартирку въ двѣ комнаты въ четвертомъ этажѣ одного изъ грязныхъ и биткомъ набитыхъ домовъ Мѣшанской. Оказалось вскорѣ, что и на службу поступить въ Петербургѣ не такъ легко, какъ воображалъ молодой мечтатель. Тщетно ходилъ онъ съ разными рекомендательными письмами по канцеляріямъ и переднимъ начальствующимъ лицъ. „Вездѣ совершенно“, пишетъ онъ матери, „я встрѣчалъ однѣ неудачи и, что всего страннѣе, тамъ, гдѣ ихъ вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, безъ всякой протекціи, легко получали то, чего я, съ помощію своихъ покровителей, не могъ достигнуть“. Къ этому всему приключилась еще иному энтузіасту фантастическая влюбчивость въ какую-то столь высокопоставленную особу, что Гоголь въ письмѣ къ матери не рѣшается даже назвать ее по имени. „Но ради Бога, не спрашивайте ея имени“, пишетъ онъ къ матери. „Она слишкомъ высока, высока... Нѣтъ, это не любовь была... я по крайней мѣрѣ не слыхалъ подобной любви“, пишетъ онъ въ томъ же письмѣ. „Въ порывѣ бѣшенства и ужаснѣйшихъ душевныхъ терзаній, я жаждалъ упиться однимъ только взглядомъ, только одного взгляда искалъ я... Взглянуть на нее еще разъ—вотъ бывало одно единственное желаніе, возраставшее сильнѣе, съ невыразимой ѣдкостью тоски. Съ ужасомъ осматрѣлся и разглядѣлъ я свое ужасное состояніе. Все совершенно въ мірѣ было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета въ своихъ явленіяхъ“.

Къ подобной фантастической влюбчивости присоединилась еще тоска по родинѣ, разочарованія въ нѣжинскихъ мечтахъ и неудача въ попыткахъ пристроиться какъ нибудь въ Петербургѣ, и все это произвело такое сильное нравственное потрясеніе въ Гоголѣ, что, не помня себя, онъ почувствовалъ необузданное стремленіе ѣхать куда глаза глядятъ и рѣшился на отчаянный поступокъ, который онъ и самъ называетъ безразсуднымъ: онъ удержалъ у себя деньги, присланныя матерью для уплаты въ опекунскій совѣтъ долга по заложенному имѣнію, предоставивши матери, въ вознагражденіе за эти деньги, пользоваться, какъ ей угодно, его

частью отцовскаго наслѣдства — и поѣхалъ за границу... При этомъ курьезѣ всего было то, что путешествіе это ограничилось городомъ Любекомъ. Онъ пріѣхалъ въ этотъ городъ моремъ, осмотрѣлъ его достопримѣчательности, прожилъ тамъ не болѣе мѣсяца, вѣдалъ нѣсколько ваннъ въ Траверемюнде и возвратился снова въ Петербургъ въ сентябрѣ 1829 г. Эта оригинальная поѣздка, прямое слѣдствіе юношескаго лирическаго порыва, во всякомъ случаѣ, принесла Гоголю ту пользу, что установила равновѣсіе его нравственныхъ силъ, отрезвила его и освѣжила.

Въ апрѣлѣ 1830 года Гоголь нашелъ наконецъ мѣсто въ Министерствѣ Удѣловъ; это была самая низшая должность канцелярскаго служителя, на которой всѣ занятія заключались въ перепискѣ бумагъ. Онъ не пробылъ и года на этомъ мѣстѣ и вышелъ въ отставку, вынеся изъ своей службы только умѣнье шивать бумагу, да нѣсколько чиновничьихъ типовъ, которые онъ воспроизвелъ въ своихъ произведеніяхъ.

Между прочимъ Гоголь обращался и въ театральную дирекцію съ намѣреніемъ поступить въ актеры. Онъ долженъ былъ подвергнуться домашнему испытанію и его забраковали безъ малѣйшаго одобренія. Стуча такимъ образомъ, что называется, во всѣ двери, Гоголь не пренебрегъ и литературой. Такъ онъ написалъ стихотвореніе „Италія“ и отправилъ его incognito къ издателю „Сына Отечества“, гдѣ оно было напечатано въ № 12 за 1829 г. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ издалъ свою идиллію Гансъ Кюхель-Гартенъ, которую, какъ мы видѣли, написалъ еще въ гимназій. Гоголь и въ этомъ изданіи не выставилъ своего имени, а избралъ псевдонимъ А к о в а. Н. А. Полевой прихлопнулъ эту идиллію рецензіею, исполненною безпощадныхъ насмѣшекъ. Эта рецензія такъ сильно подѣйствовала на Гоголя, что онъ не медля бросился со своимъ слугою Якимомъ по книжнымъ лавкамъ, отобралъ экземпляры изданія, нанялъ номеръ въ гостинницѣ и сжегъ ихъ всѣ до единого.

Предавши сожженію Ганса Кюхель-Гартена, Гоголь окончательно раздѣлился съ своимъ романтизмомъ лицейскаго періода. Знакомая болѣе и ближе съ современною ли-

тературою, онъ вскорѣ замѣтилъ, что въ ней вѣетъ совершенно инымъ духомъ; въ это самое время начали входить въ моду романы и повѣсти, особенно же историческіе. Вотъ почему, вскорѣ уже по пріѣздѣ въ Петербургъ, Гоголь, въ письмахъ своихъ въ Малороссію, умоляетъ всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ, присылать ему всевозможныя историческія свѣдѣнія о Малороссіи, описанія нравовъ, обычаевъ, костюмовъ, игръ, пѣсенъ, легендъ и пр. „Это мнѣ очень, очень нужно“, пишетъ онъ притомъ. „Принося чувствительнѣйшую благодарность“, пишетъ онъ къ матери (24 іюля 1829 г.) — „за ваши драгоценныя извѣстія о малороссіянахъ, прошу васъ убѣдительно не оставлять и впредь таковыми письмами. Въ типъ уединенія готовлю запасъ, котораго, порядочно не обработавши, не пушу въ свѣтъ; я не люблю спѣшить, а тѣмъ болѣе заниматься поверхностно“.

Такимъ образомъ, уже вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ, началъ Гоголь обрабатывать свои „Вечера на хуторѣ близъ Диканки“.

Въ февралѣ 1830 г. въ № 118 Отечественныхъ Записокъ появилась уже безъ подписи одна изъ повѣстей Гоголя, составляющихъ „Вечера“—именно „Бассаврюкъ или Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“. Въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ за 1831 г. была напечатана глава изъ историческаго романа „Германъ“, подъ которою Гоголь выставилъ 0000, такъ какъ буква О четыре раза повторяется въ его фамиліи съ именемъ и отчествомъ. Въ № 1 Литературной газеты на 1831 г., онъ напечаталъ „Учителя“ изъ малороссійской повѣсти „Страшный Кабанъ“, а въ № 17 той же газеты другой отрывокъ изъ той-же повѣсти—„Успѣхъ посольства“ подъ псевдонимомъ Гнечикъ.

Вмѣстѣ съ этимъ Гоголь помѣщалъ въ журналахъ и серьезныя статьи. Такъ онъ перевелъ съ французскаго „О торговлѣ Русскихъ въ концѣ XVI и началѣ XVII вѣка“ для Сѣвернаго Архива, а въ Литературной Газетѣ въ № 17, 1831 г. была напечатана статья Гоголя: „Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтамъ Географіи“.

Надо полагать, что эти первыя повѣсти и статьи, разбросанныя по журналамъ, не замедлили обратить на Гоголя вниманіе литературнаго міра. Мы видимъ, что въ 1831 году Гоголь

является уже съ рекомендательнымъ письмомъ къ Жуковскому, а тотъ рекомендуетъ его Плетневу. Къ этому же времени относится и знакомство Гоголя съ Пушкинымъ, причемъ въ Гоголѣ обнаружился еще значительные остатки романтизма. Благоговѣя передъ талантомъ Пушкина, Гоголь съ трепетомъ позвонилъ рано утромъ у его двери и, когда слуга Пушкина объявилъ, что баринъ еще почиваетъ, Гоголю пригрезилось тотчасъ же, что поэтъ всю ночь бесѣдовалъ съ музами; но, къ полному разочарованію юнаго романтика, слуга, на вопросъ его, что дѣлалъ баринъ ночью, отвѣчалъ, что онъ всю ночь проигралъ въ карты.

П. А. Плетневъ былъ въ то время инспекторомъ патріотическаго института. Онъ принялъ въ Гоголѣ живое участіе и исходатайствовалъ для него мѣсто старшаго учителя словесности (10 марта 1831 г.). Кромѣ того Плетневъ ввелъ его наставникомъ дѣтей въ дома П. И. Балабина, Лонгинова и Васильчикова.

Однакоже Гоголь оказался столько-же неспособнымъ къ педагогическому поприщу, сколько и къ государственной службѣ. По свидѣтельству Лонгинова и отзывамъ другихъ лицъ, Гоголь не имѣлъ прямыхъ способностей преподавателя элементарныхъ наукъ. Ходъ его преподаванія былъ невѣренъ; онъ умѣлъ только манить ученика впередъ и впередъ, оставляя въ умѣ его пробѣлы, которые предоставлялъ ему пополнять, когда вздумается. Но главная бѣда заключалась при этомъ въ томъ, что Гоголь самъ получалъ элементарное образованіе, крайне плохое и къ тому-же, при своей увлекающейся художественной натурѣ, былъ чуждъ всякой систематичности въ своей преподавательской дѣятельности. По крайней мѣрѣ вотъ какими чертами обрисовываютъ его уроки ученики его, Лонгиновы:

„...Они думали, что онъ будетъ преподавать имъ русскій языкъ, но, къ удивленію ихъ, Гоголь началъ толковать имъ о предметахъ, касающихся естественной исторіи; во второе посѣщеніе онъ заговорилъ о системахъ горъ, рѣкъ и пр., а въ третье повелъ рѣчь о всеобщей исторіи.

— Когда-же начнемъ мы, Николай Васильевичъ, уроки русскаго языка! спросили его. Гоголь насмѣшливо улыбнулся и сказалъ:

— На что вамъ это, господа? Въ русскомъ языкѣ главное дѣло ставить *е* и *я*, а это вы и такъ знаете, какъ видно изъ вашихъ тетрадей. Просматривая ихъ, я найду иногда случай замѣтить вамъ кое-что. Выучить писать гладко и увлекательно не можетъ никто. Эта способность дается природой, а не ученіемъ“.

Послѣ этого классы шли обычной чередой, то-есть, одинъ посвящался естественной исторіи, другой—географіи,—третій всеобщей исторіи и т. д. Гоголь вводилъ въ свои чтенія множество смѣшныхъ анекдотовъ, и сочувствуя веселости дѣтей, хохоталъ съ ними самъ отъ чистаго сердца. Даже такіа историческія явленія, какъ, напримѣръ, войны Амазиса и происхожденіе гражданскихъ обществъ, онъ умѣлъ поворачивать смѣшною стороною, къ обоюдному удовольствію слушателей и преподавателя“.

Между тѣмъ какъ Гоголь велъ такіи образцы свою педагогическую дѣятельность, къ концу 1831 года у него готово было уже нѣсколько повѣстей, составившихъ первый томъ „Вечеровъ“. Онъ вознамѣрился напечатать ихъ отдѣльнымъ изданіемъ. Плетневъ, для избѣжанія всякихъ литературныхъ драгъ и пристрастій, посоветовалъ ему строжайшее *incognito* и придумалъ для его изданія заглавіе: „Повѣсти, изданныя пасичникомъ Рудымъ Панькомъ близъ Диканки“ (принадлежащей князю Кочубею).

Изданіе имѣло громадный успѣхъ, такъ что къ концу того же года была издана 2-я часть Вечеровъ и обѣ разошлись не болѣе, какъ въ одинъ годъ.

Вечера на хуторѣ — представляютъ какъ-бы переходъ въ Гоголѣ отъ романтизма къ реализму. Въ нихъ вы не видите еще изображенія пошлой дѣйствительности и того „смѣха сквозь слезы“, который является впервые въ послѣдующемъ созданіи Гоголя „Миргородъ“. Юморъ, которымъ проникнуты „Вечера“ — представляется вамъ веселымъ молодымъ смѣхомъ, безъ всякихъ заднихъ мыслей, безъ малѣйшаго отбѣнка грусти; это чисто малороссійскій, неподдѣльно-народный юморъ. Въ то же время рассказы проникнуты горячей до энтузіазма любовью ко всей той дѣйствительности, которая изображается въ нихъ. Видно, что эти рассказы писалъ человекъ, только что уѣхавшій изъ родной земли, исполненный глубокой тоски по ней

и съ нѣжностью вспоминающій о каждой мелочи, на которую онъ прежде не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Это придаетъ рассказамъ особенную, невыразимую прелесть. Когда вы читаете ихъ, вы чувствуете, что ни прежде, когда Гоголь былъ еще въ Малороссіи, ни послѣ, когда воспоминанія о родинѣ начали охладѣвать въ Гоголѣ, онъ не могъ написать свои рассказы съ такою неподдѣльною теплою: они непосредственно вылились изъ тоски по родинѣ, столь свойственной малороссу, только что пріѣхавшему въ Петербургъ. Въ то же время содержаніе „Вечеровъ“, состоящее изъ народныхъ легендъ, ставитъ рассказы на почву вполне романтическую, придавая имъ видъ словно какихъ-то средневѣковыхъ новеллъ.

Изданіе „Вечеровъ“ сразу выдвинуло Гоголя впередъ въ литературномъ кругу. Это была самая свѣтлая эпоха въ его жизни. Гоголь былъ цѣнимъ и ласкаемъ Жуковскимъ и Пушкинымъ, который былъ безъ ума отъ „Вечеровъ“, и первый оцѣнилъ вполне вѣрно талантъ Гоголя и достоинство его рассказовъ. Въ то же время успѣхъ „Вечеровъ“ обезпечилъ матеріальное положеніе Гоголя; онъ не только пересталъ нуждаться самъ, но могъ помочь даже семейству, т. е. матери и сестрамъ. Лѣто 1832 года онъ провелъ на родинѣ, отдыхая отъ всѣхъ трудовъ и невзгодъ петербургской жизни. Можно было думать, что Гоголь окончательно сталъ на свою почву и направленіе его жизни должно было опредѣлиться успѣхомъ „Вечеровъ“. Но, при крайне честолюбивомъ и увлекающемся характерѣ, Гоголь послѣ малѣйшаго успѣха переходилъ тотчасъ же къ грандіознымъ замысламъ, передъ которыми ему казалось ничтожнымъ все то, что онъ сдѣлалъ прежде; а между тѣмъ, эти замыслы сбивали его постоянно съ прямой дороги и приводили къ заблужденіямъ, сначала только смѣшнымъ, а впослѣдствіи и печальнымъ. Такъ случилось и въ эту пору его жизни, послѣ успѣха „Вечеровъ“. Уже въ 1833 году онъ отзывается въ письмѣ къ Погодину съ презрѣніемъ о своихъ рассказахъ. „Да обрекутся они неизвѣстности“, говоритъ онъ, „покажишь что-нибудь увѣснстое, великое, художническое не изыдетъ изъ меня! Но я стою въ бѣздѣйствіи, въ неподвижности. Мелкаго не хочется, великое не выдумывается...“

Чтобы не терять времени въ ожиданіи

великихъ художественныхъ созданій, Гоголь принялся за великіе историческіе труды. Онъ задумалъ писать исторію Малороссіи и къ этому еще исторію среднихъ вѣковъ. Оба сочиненія онъ предполагалъ исполнить въ самыхъ громадныхъ размѣрахъ. Такъ, рапримѣръ, въ письмѣ къ М. А. Максимо-чу въ 1833 г. онъ говоритъ: „Я пишу исторію среднихъ вѣковъ, которая, думаю, будетъ состоять томовъ изъ 8, если не изъ 9“.

Хотя занятія исторіею Малороссіи и не увѣнчались многотомнымъ сочиненіемъ, но они все таки привели Гоголя къ хорошему результату: изъ нихъ вышла знаменитая малороссійская эпопея Гоголя, „Тарасъ Бульба“. Что же касается до занятій исторіею среднихъ вѣковъ, то эти занятія окончились комическимъ фіаско...

Занятія эти тѣсно соединяются съ неудачнымъ профессорствомъ Гоголя. Профессорство это весьма рельефно выставляетъ, какъ вѣкъ Гоголя, такъ и самого автора Мертвыхъ Душъ.

Еще до опредѣленія адъюнктомъ въ Петербургскій университетъ, Гоголь хлопоталъ объ опредѣленіи своемъ въ университетъ Св. Владиміра въ Кіевѣ; но туда онъ мѣтилъ не иначе, какъ въ ординарные профессоры. Зимой 1834 года, въ министерствѣ приготавливали уставъ и штаты для университета Св. Владиміра и заботились о присканіи наставниковъ. Воспитаннаи профессорскаго института тогда еще не возвратились изъ ученаго путешествія по Европѣ, нужно было обойтись домашними средствами. Для всѣхъ кафедръ были уже въ виду достойные кандидаты; только для русской исторіи не было человѣка. Начальство вспомнило о Гоголѣ и предложило лицу уполномоченному, познакомиться съ нимъ и пригласить его на кафедру адъюнктомъ. Гоголю было тогда не болѣе 25 лѣтъ. Пришедши къ лицу, пригласившему его, онъ, съ первыхъ словъ очаровалъ его своимъ умнымъ и краснорѣчивымъ разговоромъ. Къ концу бесѣды Гоголю было объявлено, чтобъ онъ принесъ свои документы и прошеніе. Черезъ нѣсколько дней Гоголь опять явился, опять очаровалъ своимъ разговоромъ, но ни документовъ, ни прошенія не принесъ. Когда ему за третьимъ разомъ напомнили объ этомъ, онъ, не безъ нѣкотораго замѣшательства, вынулъ изъ бокового

кармана и подалъ свой аттестатъ объ окончаніи курса въ гимназій высшихъ наукъ, съ правомъ на чинъ 14 класса и прошеніе объ опредѣленіи его ординарнымъ профессоромъ. „Знаете-ли что?“ отвѣчали ему: „васъ нельзя вдругъ опредѣлить ординарнымъ при этомъ аттестатѣ. Согласитесь сперва въ адъюнкты“. Гоголь долго упрямился, не соглашался... Дошло до министра, который съ своей стороны приказалъ объявить молодому писателю, что онъ охотно опредѣлитъ его адъюнктомъ. Но Гоголь не согласился.

Послѣ того вскорѣ ему представился случай занять кафедру средней исторіи въ петербургскомъ университетѣ. На этотъ разъ Гоголь ограничился болѣе скромными притязаніями и, не требуя непременно ординатуры, согласился поступить въ университетъ въ званіи адъюнкта. Но не долго пришлось профессорствовать Гоголю. Не смотря на приготовленія къ многогомонной исторіи среднихъ вѣковъ, знаній Гоголя хватило только на одну лекцію. Онъ прочелъ эту лекцію съ блистательнымъ краснорѣчіемъ (лекція эта была потомъ напечатана въ *Арабескахъ* подъ заглавіемъ: о среднихъ вѣкахъ). Студенты были очарованы чтеніемъ Гоголя. Мы съ нетерпѣніемъ ждали слѣдующей лекціи—говорить въ своихъ воспоминаніяхъ о Гоголѣ Иванцкій, бывшій студентомъ въ то время: „Гоголь пріѣхалъ довольно поздно и началъ ее фразой: „Азія была какимъ-то народоворужущимъ вулканомъ“. Потомъ говорилъ немного о великомъ переселеніи народовъ, но такъ вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не вѣрили сами себѣ, тотъ-ли это Гоголь который на прошлой недѣлѣ прочелъ такую блистательную лекцію? Наконецъ, указавъ намъ на кое-какіе курсы, гдѣ мы можемъ прочесть объ этомъ предметѣ, онъ раскланялся и уѣхалъ. Вся лекція продолжалась 20 минутъ. Slѣдующія лекціи были въ томъ же родѣ, такъ что мы совершенно наконецъ охладѣли къ Гоголю и аудиторія его все больше и больше пустѣла... Но вотъ однажды—это было въ октябрѣ—ходимъ мы по сборной залѣ и ждемъ Гоголя. Вдругъ входятъ Пушкинъ и Жуковский. Отъ швейцара, конечно, они ужъ знали, что Гоголь еще не пріѣхалъ, и по-

тому, обратясь къ намъ, спросили только, въ которой аудиторіи будетъ читать Гоголь? Мы указали на аудиторію. Пушкинъ и Жуковский заглянули въ нее, но не вошли, а остались въ сборной залѣ. Черезъ четверть часа пріѣхалъ Гоголь, и мы, вслѣдъ за тремя поэтами, вошли въ аудиторію и сѣли по мѣстамъ. Гоголь вошелъ на кафедру, и вдругъ, какъ говорится, ни съ того, ни съ другого, началъ читать взглядъ на исторію Аравитянъ. Лекція была блестящая, въ такомъ-же родѣ, какъ и первая. Она вся изъ слова въ слово напечатана въ *„Арабескахъ“*. Видно, что Гоголь зналъ заранѣе о намѣреніи поэтовъ пріѣхать къ нему на лекцію, и потому приготовлялся угостить ихъ поэтически. Послѣ лекціи Пушкинъ заговорилъ о чемъ-то съ Гоголемъ, но я слышалъ одно только: „увлекательно“! Всѣ слѣдующія лекціи Гоголя были очень сухи и скучны; ни одно лицо историческое не вызвало его на бесѣду живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами смотрѣлъ онъ на прошедшіе вѣка и отжившія племена. Безъ сомнѣнія, ему самому было скучно, и онъ видѣлъ, что скучно и его слушателямъ. Бывало пріѣдетъ, поговорить съ полчаса съ кафедрой, уѣдетъ, да ужъ и не показывается цѣлую недѣлю, а иногда и двѣ. Потомъ опять пріѣдетъ, и опять та же исторія. Такъ прошло время до мая“...

Но курьезнѣе всего конечно то, что Гоголь съ своей стороны всю вину складывалъ на студентовъ: „я читаю одинъ, рѣшительно одинъ въ здѣшнемъ университетѣ“, писалъ онъ къ М. Погодину. „Никто меня не слушаетъ; ни на одномъ, ни разу, не встрѣтилъ я, чтобы поразила его яркая истина. А оттого я рѣшительно бросаю теперь всякую художественную отдѣлку, а тѣмъ болѣе—желаніе будить сонныхъ слушателей. Я выражаюсь отрывками, и только смотрю въ даль и вижу ее въ той системѣ, въ какой она явится у меня вылитой черезъ годъ. Хотя-бы одно студенческое существо понимало меня! Это народъ безцвѣтный, какъ Петербургъ“...

Но черезъ годъ Гоголь уже и думать позабылъ объ исторіи среднихъ вѣковъ. Изъ всего этого увлеченія у него только и осталось, что нѣсколько стаетекъ въ *Арабескахъ*, да отрывки изъ задуманной имъ тра-

гедіи „Альфредъ“, изъ эпохи вторженія Норманновъ въ Англію,—отрывокъ, показывающій въ Гоголѣ полное отсутствіе трагическаго таланта.

Въ 1835 году онъ вышелъ въ отставку, оставивъ и профессорское и педагогическое поприще и весь предался литературѣ.

Между тѣмъ, литературный талантъ Гоголя быстро развивался, не смотря на всѣ уклоненія поэта отъ своего пути. Въ 1834 г. онъ издалъ Арабески и Миргородскія повѣсти. Въ произведеніяхъ этой эпохи Гоголь отчасти все еще стоитъ на прежней почвѣ малороссійскаго эпоса (Тарасъ Бульба). Въ немъ все еще проявляется порою романтическая страсть къ сверхестественному (Вій), а въ повѣсти Портретъ онъ платитъ дань 30-мъ годамъ, подчиняясь замѣтному вліянію Гофмана, который былъ въ то время въ модѣ и имѣлъ множество поклонниковъ въ русской литературѣ, начиная съ кн. Одоевскаго и кончая Бѣлинскимъ. Но, рядомъ съ этимъ, у Гоголя, въ произведеніяхъ этой эпохи, является уже сильная склонность къ изображенію обыденной жизни, во всей ея пошлости. Въ эти годы публика впервые знакомится съ неподражаемымъ юморомъ Гоголя, съ его „смѣхомъ сквозъ слезы“. Произведенія — Старосвѣтскіе помѣщики, Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, Невскій проспектъ, Носъ, Колеска, Шинель — стоятъ уже вполне на реальной почвѣ. Съ этихъ повѣстей слѣдуетъ считать рѣшительный поворотъ Гоголя, а вмѣстѣ съ нимъ и всей русской литературы на чисто-реальную дорогу изображенія русской дѣйствительности во всей ея обыденности. Къ этой же эпохѣ (отъ 1834 по 1835 г.) относятся и всѣ комедіи Гоголя.

При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что главнымъ руководителемъ Гоголя, на этомъ новомъ пути, былъ Пушкинъ, который, принадлежа самъ къ предыдущей эпохѣ, тѣмъ не менѣе имѣлъ гениальную способность чутко вѣднать новой эпохи, замѣчая это вѣднание на своемъ собственномъ творчествѣ. Гоголь самъ свидѣтельствуетъ о вліяніи на него Пушкина. Такъ, въ своемъ письмѣ къ П. А. Плетневу по случаю извѣстія о смерти Пушкина, онъ говоритъ: „все на-

слажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепетъ невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу“.

Въ „Авторской исповѣди“ Гоголь подробно говоритъ о вліяніи на него Пушкина: „Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ сочиненіяхъ моихъ, показавшихся въ печати, заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставляя ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего, и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходять на умъ никакіе вопросы, подталкивала. Вотъ происхождение тѣхъ первыхъ моихъ произведеній, которыя однихъ заставили смѣяться такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли человеку приходить въ голову такіа низкости. Можетъ быть, съ лѣтами и потребностью развлекать себя, веселость исчезнула-бы, а съ нею вмѣстѣ и мое писательство. Но Пушкинъ оставилъ меня взглянуть на дѣло серьезно. Онъ уже давно склонялъ меня приняться за большое сочиненіе и, наконецъ, одинъ разъ, послѣ того какъ я ему прочелъ одно небольшое изображеніе небольшой сцены, но которое, однакожъ, поразило его больше всего мною прежде читаннаго, онъ мнѣ сказалъ: „Какъ, съ этою способностью угадывать человека и нѣсколькими чертами выставить его вдругъ всего, какъ живаго, съ этою способностью—не приняться за большое сочиненіе! это, просто грѣхъ!“ Вслѣдъ за этимъ началъ онъ представлять мнѣ слабое мое сложеніе, мои недуги, которые могутъ прекратить

мою жизнь рано, привелъ мнѣ въ примѣръ Сервантеса, который, хотя и написалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ и хорошихъ повѣстей, но если-бы не принялся за Донъ-Кихота, никогда-бы не занялъ того мѣста, которое занимаетъ теперь между писателями, и, въ заключеніе всего, отдалъ мнѣ свой собственный сюжетъ, изъ котораго онъ хотѣлъ сдѣлать самъ что-то въ родѣ поэмы и котораго, по словамъ его, онъ-бы не отдалъ другому никому. Это былъ сюжетъ „Мертвыхъ душъ“. (Мысль „Ревизора“ принадлежитъ также ему). На этотъ разъ я и самъ уже задумался серьезно, — тѣмъ болѣе, что стали приближаться такіе года, когда самъ собой приходитъ запросъ всякому поступку: зачѣмъ и для чего это дѣлаешь? Я увидѣлъ, что въ сочиненіяхъ моихъ смѣюсь даромъ, напрасно, самъ не зная, зачѣмъ. Если смѣяться, такъ ужъ лучше смѣяться сильно, и надъ тѣмъ, что дѣйствительно достойно осмѣянія всеобщаго. Въ „Ревизорѣ“ я рѣшился собрать въ кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, всѣ несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за одинъ разъ посмѣяться надъ всѣмъ. Но это, какъ извѣстно, произвело потрясающее дѣйствіе. Сквозь смѣхъ, который никогда еще во мнѣ не проявлялся въ такой силѣ, читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствовалъ, что уже смѣхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, что уже не могу быть въ сочиненіяхъ моихъ тѣмъ, чѣмъ былъ дотогѣ, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вмѣстѣ съ молодыми моими лѣтами. Послѣ „Ревизора“, я почувствовалъ болѣе, нежели когда-либо прежде, потребность сочиненія полнаго, гдѣ было-бы уже не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ смѣяться. Пушкинъ находитъ, что сюжетъ „Мертвыхъ душъ“ хорошъ для меня тѣмъ, что даетъ полную свободу изъѣздить вмѣстѣ съ героемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разнообразныхъ характеровъ“.

Изъ этихъ словъ самого Гоголя мы видимъ, какое живое участіе въ развитіи таланта Гоголя принималъ Пушкинъ. Самые лучшія произведенія Гоголя—„Ревизоръ“ и „Мертвыя души“—были предприняты по

внушенію поэта; ему, какъ своему преемнику, передавалъ Пушкинъ сюжеты, которыми онъ думалъ воспользоваться самъ.

Изъ „Авторской-же исповѣди“ мы видимъ, что у Гоголя съ оставленіемъ службы (въ 1853 г.) совпадаетъ начало перехода Гоголя отъ безсознательнаго творчества, инстинктивно внушаемаго природой—къ творчеству сознательному, на которое Гоголь начинаетъ смотрѣть ужъ не какъ на забаву въ часы досуга, а какъ на свой нравственный долгъ, какъ на государственную службу, какъ онъ выражается. Такой сознательный взглядъ на свое творчество и заставилъ Гоголя выйти въ отставку, бросить всѣ постороннія занятія и посвятить всѣ силы искусству.

„Я разстался съ университетомъ“, пишетъ онъ Погодину въ концѣ 1835 г., „черезъ мѣсяцъ опять беззаботный казалъ. Неузнанный я взомелъ на кафедру и неузнанный схожу съ нея. Но въ эти полтора года—годы моего безславія, потому что общее мнѣніе говорить, что я не за свое дѣло взялся—въ эти полтора года я много вынесъ оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный кругъ моихъ сужденій, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня... Миръ вамъ, мои небесныя гости, наводившія на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку! Васъ никто не знаетъ, васъ вновь опускаю на дно души до новаго пробужденія, когда вы проявитесь съ болѣею силою и не посмѣете устоять безстыдная дерзость ученаго невѣжи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч. и проч... Я тебѣ одному говорю это; другому не скажу я: меня назовутъ хвастуномъ и больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышелъ на свѣжій воздухъ. Это освѣженіе нужно въ жизни, какъ цвѣтамъ дождь, какъ засидѣвшемуся въ кабинетѣ прогулка. Смѣяться, смѣяться давай теперь побольше. Да здравствуетъ комедія!“

Въ то время, какъ Гоголь писалъ это письмо, онъ уже ставилъ на петербургскій театръ своего „Ревизора“. Живое, энергическое участіе принималъ онъ въ постановкѣ пьесы, ходилъ на каждую репетицію и ни одного жеста и слова актеровъ не

пропускалъ безъ своихъ совѣтовъ и указаний... Наконецъ въ апрѣлѣ 1836 года, „Ревизоръ“ явился на сценѣ и Гоголь впервые испыталъ грустное положеніе комическаго писателя, серьезно относящагося къ своему дѣлу, среди массы невѣжественнаго и пошлаго общества. Прежде онъ только смѣшилъ и всѣ были довольны, теперь же онъ вздумалъ осмѣять—встрѣтилъ противъ себя всеобщее ожесточеніе... „Всѣ противъ меня“, пишетъ онъ въ письмѣ къ М. С.

комическимъ писателемъ. Малѣйшій призракъ истины — и противъ тебя возстають, и не одинъ человекъ, а цѣлыя сословія. Воображаю, что же было-бы, если-бы я взялъ что нибудь изъ петербургской жизни, которая мнѣ больше и лучше теперь знакома, нежели провинціальная. Досадно видѣть противъ себя людей тому, который ихъ любить между тѣмъ братскою любовью“. Подъ гнетомъ этого всеобщаго ожесточенія, которое Гоголь весьма живо изобразилъ въ



Могила Гоголя.

Щепкину (1836 г. апр. 29),—чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святаго, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранить и ходить на пѣсню; на четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Еслибъ не высокое заступничество Государа, пѣса моя не была-бы ни за что на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значитъ быть

своей комедіи „Театральный разбѣздъ послѣ представленія новой комедіи“, недовольный въ тоже время игрою актеровъ, особенно исполняемой Дюромъ главной ролью (Хлестакова), Гоголь рѣшительно упалъ духомъ. „Я усталъ душою и тѣломъ“, пишетъ Гоголь неизвѣстно къ кому въ письмѣ, прилагаясь обыкновенно при Ревизорѣ въ собраніяхъ его сочиненій: „клянусь, никто не знаетъ и не слышитъ моихъ страданій. Богъ съ ними со всѣми! мнѣ опротивѣла моя пѣса!“

Подъ такими впечатлѣніями у Гоголя явилось желаніе убѣжать, какъ онъ выражается, Богъ знаетъ куда и онъ предпринялъ путешествіе за границу. „Ѣду за границу“, пишетъ онъ М. П. Погодину 10 мая 1816 г., „тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ. Что противъ меня уже рѣшительно возстали теперь всѣ сословія, я не смущаюсь этимъ; но какъ-то тягостно, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возстановленныхъ своихъ-же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невѣрномъ видѣ, ими все принимается! Частное принимаютъ за общее, случай за правило! Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется пасквиземъ. Быведи на сцену двухъ-трехъ плутовъ — тысяча честныхъ людей сердится, говоритъ: „Мы не плуты“. Но Богъ съ ними! Я не оттого Ѣду за границу, чтобъ не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, развлечься и потомъ, избравши нѣсколько постояннаго пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора уже мнѣ творить съ большимъ размышленіемъ“...

Такимъ образомъ глгомотъ, въ половинѣ іюля 1836 года, Гоголь уѣхалъ за границу. Съ этой поры начинаются постоянныя его скитанія по Европѣ, причемъ большую часть своей остальной жизни провелъ онъ въ Римѣ. Изрѣдка онъ прїѣзжалъ въ Россію, гдѣ онъ оставался не долго и по большей части въ Москвѣ, въ которой сосредоточивались болѣе близкіе друзья его періода — Погодинъ, Шевыревъ, Аксаковъ, Щепкинъ и пр. Свои скитанія по чужимъ краямъ онъ объясняетъ въ своей „Авторской Исповѣди“ тѣмъ, что Россія вставала передъ нимъ въ живыхъ образахъ только тогда, когда онъ былъ далеко отъ нея: „во все пребываніе мое въ Россіи“, говоритъ онъ, „Россія у меня въ головѣ разсѣивалась и разлеталась. Я не могъ никакъ собрать ее въ цѣлое; духъ мой упалъ и самое желаніе знать ее ослабѣвало. Но какъ только я выѣзжалъ изъ нея, она совокуплялась въ мысли моей вновь въ одно цѣлое, желаніе знать ее пробуждалось во мнѣ вновь, и охота знакомиться со всякимъ свѣжимъ

человѣкомъ, недавно выѣхавшимъ изъ Россіи, становилась вновь сильна. Во мнѣ раздалось даже умѣнье выпрашивать, и часто въ одинъ часъ разговора я узнавалъ то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ продолженіи недѣли. Всякій знаетъ, что за границей знакомства дѣлаются гораздо легче, что на водахъ въ Германіи и на зимовкахъ въ Италіи сходятся люди, которые, можетъ быть, не столкнулись-бы никогда внутри земли своей и оставались-бы вѣкъ незнакомыми. Вотъ что заставило меня предпочесть пребываніе внѣ Россіи, даже и въ отношеніи къ тому, чтобы побольше слышать о Россіи“.

Между тѣмъ въ 1837 году Гоголь принялся за „Мертвыя души“. Исторія этого послѣдняго и великаго творенія Гоголя совпадаетъ съ исторіей того нравственнаго перехода, который обратилъ Гоголя изъ комическаго писателя въ мистика и религіознаго фанатика. Онъ началъ писать „Мертвыя души“, все еще подъ напѣтиемъ непосредственнаго творчества; хотя онъ серьезно уже смотрѣлъ на свой смѣхъ и сознавалъ въ немъ свой нравственный долгъ, государственную службу, но онъ все еще не шелъ далѣе этого смѣха. „Я началъ было писать“, говоритъ Гоголь о Мертвыхъ душахъ въ Авторской исповѣди, „не опредѣливши себѣ обстоятельно плана, не давши себѣ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ, просто, что смѣлый прозекъ, исполненіемъ котораго занять Чичикова, наведетъ меня самъ на разнообразныя лица и характеры; что родившаяся во мнѣ самая охота смѣяться создастъ сама собою множество явленій, которыя я намѣренъ былъ переимѣнать съ трогательными. Но на всякомъ шагѣ я былъ останавливаемъ вопросами: зачѣмъ, къ чему это? что долженъ сказать собою такой-то характеръ? что должно выразить собою такое-то явленіе? Спрашивается: что нужно дѣлать, когда приходятъ такіе вопросы? Прогонять ихъ? Я пробовалъ, но неотразимые вопросы стояли передо мною; не чувствуя существенной надобности въ томъ и другомъ героѣ, я не могъ почувствовать и любви къ дѣлу, изобразить его. Напротивъ, я чувствовалъ что-то въ родѣ отвращенія: все у меня выходило натянуто, насильственно и даже то, надъ чѣмъ я смѣялся, становилось печально“. Эти сомнѣнія и были нача-

ломъ послѣднаго перелома въ жизни Гоголя. Самъ по себѣ переломъ этотъ былъ явленіемъ вполне естественнымъ и притомъ совершенно въ духѣ вѣра Гоголя. Каждый человѣкъ и каждое общество, переходя отъ бессознательнаго существованія къ разумно-сознательному, переживаетъ періодъ сомнѣній, во время которыхъ пробудившееся сознание старается уяснить себѣ плѣть и значеніе жизни и строить для этого всевозможныя теоріи, доктрины, подъ которыя искусственно подводить все и вся. Наше общество въ 30-е и 40-е г. переживало именно подобный періодъ. Въ это время всѣ передовые русскіе люди жили различными отвлеченными теоріями: одни при этомъ увлекались германскою философіею, дѣлались шелингистами, гегелианцами, другіе ударялись въ славянофильство, въ фюреризмъ и сенъсимонизмъ; третьи дѣлались мистиками. Мы видимъ множество современниковъ и друзей Гоголя или — съ задатками мистицизма, или-же окончательно впаавшихъ въ него. Таковы были Кирѣевскіе, Хомяковъ, Шевыревъ, Чаадаевъ и пр. Къ мистицизму замѣтно склонялись подъ конецъ жизни Пушкинъ и Лермонтовъ; наконецъ Жуковский окончательно впасть въ мистицизмъ въ послѣдній періодъ своей жизни, во время самаго близкаго своего знакомства съ Гоголемъ.

Чтоже касается до того, что теоретическій періодъ развитія Гоголя выразился не въ какой-либо другой формѣ, а именно въ формѣ мистицизма, то это вполне зависитъ отъ обстоятельствъ его жизни. Мы видѣли, что онъ вышелъ изъ малороссійской среды, исполненной средневѣковыхъ преданій и суевѣрій. Острасть къ фантастическому проявляется во многихъ произведеніяхъ его юности. Уже на школьной скамьѣ, во многихъ письмахъ Гоголя мы видѣли задатки религіозной экзальтаціи и аскетизма. Выступивши на литературное поприще, онъ сошелся, изъ литераторовъ, не съ молодыми писателями, увлекавшимися германскою философіею, а съ Пушкинымъ и Жуковскимъ, которые, какъ мы сейчасъ сказали, сами вклонились въ это время къ мистицизму. Затѣмъ, поѣхавши за границу, Гоголь избралъ мѣстомъ постоянного жительства Римъ, это средоточіе средневѣковаго религіознаго фанатизма. Католицизмъ, въ своей тысячелѣтней столицѣ, сильно поразилъ своимъ вѣ-

пнимъ декорумомъ пламенное воображеніе Гоголя, наклоннаго ко всему величественно-картинному, эффектному и фантастическому. Въ немъ явилось даже пристрастіе къ католицизму, которое заставило нѣкоторыхъ изъ его земляковъ заподозрить его въ намѣреніи обратиться изъ православной вѣры въ католическую. На подобные подозрѣнія Гоголь отвѣчалъ своей матери (1837, года 22 декабря) изъ Рима слѣдующими словами, указывающими въ немъ на явное увлеченіе католицизмомъ: „на счетъ моихъ чувствъ и мыслей объ этомъ, вы правы, что спорили съ другими, что я не перемѣню обрядовъ своей религіи. Это совершенно справедливо; потому что, какъ религія наша, такъ и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нѣтъ надобности перемѣнять одну на другую. Та и другая истинна; та и другая признаетъ одного и того же Спасителя нашего, одну и ту же Божественную Премудрость, посѣтившую нѣкогда нашу землю, претерпѣвшую послѣднее униженіе на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее къ небу. И такъ, на счетъ моихъ религіозныхъ чувствъ вы никогда не должны сомнѣваться“.

Ко всѣмъ этимъ вліяніямъ присоединились странныя и весьма неопредѣленные болѣзни Гоголя, которыя особенно усилились съ начала 40-хъ годовъ, проявляясь въ различныхъ мучительныхъ припадкахъ. Читая описаніе этихъ припадковъ въ письмахъ Гоголя, можно полагать, что главнымъ образомъ у Гоголя было сильное расстройство нервовъ. Оно произошло по всей вѣроятности вслѣдствіе причинъ моральныхъ: аскетизмъ и мистическая экзальтація ведутъ постепенно за собою расстройство нервной системы. Но, вызванная моральнымъ настроеніемъ, болѣзнь въ свою очередь вліяла на психическій міръ Гоголя, еще болѣе усиливая въ немъ мистическую экзальтацію страхомъ смерти и мученіями, въ которыхъ Гоголь видѣлъ испытанія, ниспосылаемыя ему свыше для очищенія его отъ различныхъ грѣховъ и недостатковъ.

Печальны были послѣдніе десять лѣтъ жизни Гоголя. Это была какая-то медленная агонія, обратившая здороваго и сильнаго человѣка въ блѣдную, изможденную тѣнь, гениальнаго комика въ какого-то полоумнаго святотшу. Люди, знавшіе Гоголя прежде,

не узнавали его. Прежняя необузданная шутливость Гоголя, склонность къ комическимъ разсказамъ, подчасъ даже и къ рѣзкимъ, эксцентрическимъ проблескамъ — все это исчезло впоследствии, и Гоголь обратился въ вѣчно мрачнаго, угрюмага, сосредоточеннаго, подъ часъ и капризнаго изувѣра, тяжелаго и себя, и другимъ. Непомѣрное самолюбіе Гоголя сказалося и въ этомъ послѣднемъ, мистическомъ періодѣ его жизни. Громадный успѣхъ „Ревизора“ и первой части „Мертвыхъ душъ“, изданной въ 1842 году, до того возбудилъ Гоголя, что онъ вообразилъ себя уже не гениемъ, а какимъ-то новымъ пророкомъ, которому предназначено свыше быть провозвѣстникомъ небесной воли. Эта мысль привела Гоголя въ экстазъ и заставила съ презрѣніемъ смотрѣть на всѣ свои прежнія комическія произведенія.... „Сознаніе чудное творится и совершается въ душѣ моей“, говоритъ онъ въ письмѣ къ С. Т. Аксакову въ 1841 г., „и благодарными слезами не разъ теперь полны глаза мои. Здѣсь явно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человѣка; никогда не выдумать ему такого сюжета“. Въ томъ же письмѣ онъ говоритъ: что его теперь нужно особенно лелѣять; что онъ теперь представляетъ изъ себя глинянную вазу, которая вся въ трещинахъ, стара и еле держится, но въ этой вазѣ заключено сокровище.

При такомъ самоиѣннн всѣ письма Гоголя къ друзьямъ и знакомымъ исполнились высокомѣрными поученіями, упреками, увѣщаніями бороться противъ козней діавола и совѣтами, какъ успѣшнѣе вести эту борьбу. Плодомъ этихъ поученій была книга, подъ заглавіемъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, которую Гоголь издалъ въ началѣ 1847 года. Надо полагать, что Гоголь считалъ появленіе этой книги дѣломъ необыкновенной важности. „Накопецъ моя просьба“, пишетъ онъ Плетневу 30 іюня 1846.: „ее ты долженъ выполнить, какъ навѣрнѣйшій другъ выполняетъ просьбу своего друга. Всѣ свои дѣла въ сторону, и займись печатаньемъ этой книги, подъ названіемъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Она нужна, слишкомъ нужна всѣмъ: вотъ что, покамѣстъ, могу сказать; все прочее объяснить тебѣ сама книга“.

„Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“ печально поразили всю русскую публику. Все въ этой книгѣ, начиная съ чудовищнаго заглавія Гоголя, доказывало, — что публика утратила безвозвратно великаго поэта; каждая страница свидѣтельствовала не только о печальномъ заблужденіи, но о близости окончательнаго поворота разсудка Гоголя.

Гоголь былъ глубоко потрясенъ неудачей книги; особенно же поразила его рецензія Бѣлинскаго, въ которой Гоголь до того времени находилъ поклонника и разъяснителя его таланта. По этому поводу завязалась у него переписка съ Бѣлинскимъ, которая особенно замѣчательна въ томъ отношеніи, что представляетъ намъ двѣ крайности русскаго міросозерцанія конца 40-хъ годовъ: изувѣръ и мистикъ вступаетъ въ этой перепискѣ въ состязаніе съ поклонникомъ Фейербаха.

Какъ ни мраченъ и печаленъ типъ, какой представлялъ намъ Гоголь въ періодъ мистицизма, надо замѣтить, что и въ этотъ періодъ въ немъ были свои симпатическія стороны. Какъ ни было само по себѣ странно увлеченіе Гоголя, но во всякомъ случаѣ это было искреннее и нелицемѣрное увлеченіе идеей, которое всегда заслуживаетъ глубокаго уваженія. Было нѣчто истиннѣ почтенное и выходящее изъ ряда обыкновеннаго въ зрѣльщѣ этого человѣка, который, возлюбивъ свою бѣдность, отказался отъ всякаго имуществва, предоставивъ матери и сестрамъ свою часть, а самъ скитался по свѣту, не имѣя угла и все свое движимое нося съ собою въ небольшомъ походномъ чемоданчикѣ, который при томъ же былъ биткомъ набитъ различными критиками, рецензіями на его сочиненія, вырѣзанными имъ изъ различныхъ журналовъ и газетъ. Онъ могъ жить весьма безбѣдно; кромѣ порядочной суммы, выручаемой имъ за свои изданія, онъ получалъ различныя вспомошествованія и пенсіи свыше. Такъ въ 1845 году была назначена ему трехгодовая пенсія по 1,000 рублей въ годъ. Но при всемъ этомъ онъ постоянно нуждался въ деньгахъ, много раздавая въ помощь бѣднымъ, при чемъ особенно любилъ онъ помогать нуждающимся русскимъ художникамъ въ Римѣ, со многими изъ которыхъ былъ близко знакомъ. Съ этою дѣлюю не

рѣдко онъ нарочно заказывалъ имъ картины, которыя потомъ разсылалъ по церквамъ. А въ 1844 году онъ вдругъ вздумалъ всѣ деньги, вырученныя за полное собраніе его сочиненій, пожертвовать въ помощь бѣднымъ, но достойнымъ студентамъ, преимущественно же нуждающимся талантамъ. „Талантамъ“, пишетъ онъ при этомъ, „дается слишкомъ нѣжная, слишкомъ чуткая, тонкая природа; много, много ихъ можно оскорбить грубымъ прикосновеніемъ, какъ нѣжное растеніе, перенесенное съ юга въ суровый климатъ, можетъ погибнуть отъ неумѣлаго съ нимъ обхожденія непривычнаго къ нему садовника“. Изрѣдка и въ этотъ періодъ находили на него минуты просвѣтлѣнія, въ которыя онъ дѣлался какъ будто снова прежнимъ Гоголемъ: къ нему возвращалась прежняя веселось, шутовскость и снова посѣщало его вдохновеніе. Онъ возвращался къ своимъ „Мертвымъ душамъ“; но то, что ему удавалось написать въ эти минуты, онъ потомъ сожигалъ

подъ гнетомъ новаго помраченія. Такимъ образомъ отъ второй части его „Мертвыхъ душъ“ только и могли уцѣлѣть нѣскольکو главъ, напечатанныхъ уже послѣ его смерти.

Въ 1848 году Гоголь совершилъ странствованіе въ Іерусалимъ, и возвратясь оттуда въ Россію черезъ Одессу, болѣе уже не ѣздилъ за границу. Послѣдніе годы своей жизни онъ провелъ въ Москвѣ, борясь со своими недугами, и все болѣе и болѣе погружаясь въ мракъ мистицизма. Наконецъ въ февралѣ 1852 г. онъ окончательно слегъ, изнуренный говѣньемъ, которое онъ принималъ на масляницѣ, безсонными ночами, проведенными въ молитвѣ, и питаніемъ просфорю. Въ своемъ мистическомъ изступленіи онъ дошелъ до галлюцинацій, такъ что ему начали слышаться голоса, предрекавшіе ему смерть. Наконецъ все это разрѣшилось нервною горячкою, отъ которой онъ и умеръ въ четвергъ 21-го февраля 1852 года, 43 лѣтъ отъ роду.



XIII.

В. Г. Вѣлискій. — Дѣтство и отрочество его; учителя и ученье. — Характеръ и направленіе умственной дѣятельности Вѣлискаго. — Умственное философскіи теоріи и театры. — Три періода литературной дѣятельности. — Вѣлискій, какъ истолкователь Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Въ біографіи Н. А. Полеваго, мы уже имѣли случай замѣтить, что въ половинѣ 20-хъ годовъ, въ Москвѣ, образовались философскіе кружки шеллингистовъ. Вліяніе этихъ кружковъ въ концѣ 20-хъ годовъ сдѣлалось ощутительно во всемъ направленіи умственного движенія современнаго общества. Съ одной стороны, философія Шеллинга учила, что такъ какъ каждое явленіе въ мірѣ есть тождественное выраженіе безусловной идеи, то каждый историческій народъ долженъ выражать въ своей цивилизаціи ту или другую идею, что только тотъ народъ и можетъ быть названъ историческимъ, который самобытенъ въ этомъ отношеніи и что значеніе народа въ ходѣ общечеловѣческой цивилизаціи опредѣляется этою самобытностью. Подобныя положенія шеллингова ученія навели всѣхъ мыслящихъ людей на вопросы о значеніи русскаго народа въ средѣ другихъ европейскихъ народовъ, о его самобытности и объ отношеніяхъ развитія самобытности къ усвоенію западной цивилизаціи, подѣ сильнымъ вліяніемъ которой находилось наше общество со временъ Петра. Всѣ эти вопросы, съ особенною силою поднявшіеся въ нашей литературѣ, въ концѣ 20-хъ и въ 20-е годы, повели къ окончательному распаденію мыслящаго общества на двѣ большія партіи — славянофиловъ и западниковъ. Партіи эти существовали и прежде; но прежде онѣ не шли далѣе вопросовъ о чистотѣ русскаго языка или сентиментальнаго умиленія передъ всѣмъ русскимъ или иностраннымъ; теперь же обѣ партіи получили теоретическую философскую основу въ своихъ ученіяхъ и, въ то же время, занялись разрѣшеніемъ вопросовъ о судьбахъ русскаго народа.

Съ другой стороны, философія Шеллинга выработала новыя взгляды, относительно теоріи искусства и значенія литературы въ жизни народа. Послѣдовательнымъ выводомъ изъ ученія о народной самобытности очевидно представлялось то положеніе, что, если цивилизація каждаго народа должна быть самобытна, то тѣмъ болѣе самобытна должна быть и литература его; она должна выражать всецѣло духъ народа, ту идею, которую онъ носитъ въ себѣ и вырабатываетъ. Это положеніе вполне согласуется и съ эстетическими воззрѣніями философіи Шеллинга. По ученію Шеллинга, каждое истинное поэтическое произведеніе есть образное выраженіе идеи; идея, силась проявиться въ вѣншемъ мірѣ, между прочими видами своего проявленія, проявляется и въ искусствѣ, сливаясь въ душѣ поэта съ тождественными ей формами. Какое же рода эта идея и въ какихъ формахъ можетъ она выразиться устами поэта? Очевидно, что поэтъ, дитя своего народа и вѣка, можетъ постигать безусловную идею только съ той ея стороны, съ какой она проявляется въ данномъ народѣ, въ данный моментъ, и осуществлять ее въ тѣхъ формахъ, которыя окружаютъ поэта. Эти положенія натолкнули въ свою очередь шеллингистовъ на вопросы о значеніи и характерѣ русскаго искусства, о необходимости поставить ее на вполне народную, самостоятельную почву. Шеллингисты усматривали, что русская литература, начиная съ возникновенія ея, съ Ломоносова и до Пушкина, была литературою подражательною, рабскимъ отголоскомъ западной литературы и нисколько не выражала собою духа русскаго народа; вслѣдствіе этого естественно, что въ кружкахъ шеллингистовъ развилась на-

клонность къ отрицанію самаго существованія русской литературы.

Философія Шеллинга имѣла два различныхъ проводника въ общество: съ одной стороны — журналистику, съ другой — университеты (преимущественно московскій). Послѣ литературнаго сборника „Мнемозина“, о изданіи котораго мы упоминали выше, первымъ періодическимъ журналомъ, основаннымъ шеллингистами для проведенія своихъ идей — былъ „Московскій Вѣстникъ“ (1827—1830 гг.) Журналъ этотъ былъ основанъ по инициативѣ Веневитинова и въ первые годы издавался цѣлымъ кружкомъ, группировавшимся вокругъ Веневитинова, а послѣ смерти послѣдняго, поступилъ подъ исключительную редакцію М. П. Погодина. Въ 1831 году, явился подъ редакцію И. Кирѣвскаго журналъ „Европеецъ“, но на второй же книжкѣ былъ запрещенъ за статью И. Кирѣвскаго „XIX вѣкъ“. Въ томъ же 1831 году, молодой профессоръ московскаго университета, Н. И. Надеждинъ, началъ издавать „Телескопъ“, съ приложеніемъ къ нему литературнаго листка „Молвы“. Оба эти журнала просуществовали до 1836 года, въ которомъ были запрещены за извѣстное „Письмо Чаадаева“. Наконецъ послѣднимъ журналомъ, проводившимъ шеллингову философію, былъ „Московскій Наблюдатель“, издававшийся съ 1835 года Степановымъ, подъ редакцію Андросова и Шевырева. Но „Московскій Наблюдатель“ только до 1838 года былъ органомъ шеллингистовъ; съ этого же года, онъ поступилъ подъ редакцію Бѣлинскаго и сдѣлался проводникомъ гегелевской философіи до своего прекращенія въ 1839 году. Въ московскомъ университетѣ первыми проповѣдниками шеллингова ученія были профессора М. Г. Павловъ и Н. И. Надеждинъ, С. П. Шевыревъ и М. П. Погодинъ. Кромѣ Павлова, читавшаго курсъ физики и сельскаго хозяйства, всѣ остальные, упомянутые нами профессора принадлежали къ филологическому факультету. Естественно, что студенты этого факультета всего болѣе подчинялись влиянію шеллинговой философіи.

Подъ этимъ влияніемъ воспитался и знаменитый русскій критикъ, стоявшій во главѣ умственнаго движенія въ 40-е годы, Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій былъ сынъ чембарскаго уѣзднаго гѣкаря. Родился онъ въ 1811 году и дѣтство провелъ въ глуши уѣзднаго городишка, въ обществѣ провинціальныхъ чиновниковъ, въ средѣ мелкихъ сплетенъ, взяточничества и грязныхъ кутежей. Немного фактовъ имѣемъ мы о дѣтскихъ годахъ Бѣлинскаго, но и эти факты самаго невеселаго свойства. Бѣлинскій самъ говорилъ впоследствии, что изъ своей семьи онъ не вынесъ ни одного отраднаго воспоминанія.

Въ началѣ 20-хъ годовъ Бѣлинскій поступилъ въ чембарское уѣздное училище. Обѣ



Бѣлинскій.

этомъ періодѣ жизни Бѣлинскаго мы имѣемъ слѣдующее свидѣтельство покойнаго писателя Лажечникова, отрывокъ изъ записокъ котораго былъ напечатанъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1859 года:

„Въ 1823 году ревизовалъ я чембарское училище. Новый домъ былъ тогда только что для него и построенъ. Во время дѣлаемаго мною экзамена, выступилъ передъ меня, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность, съ перваго взгляда, привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтился разумъ не по лѣтамъ: худенькій и

маленький, онъ, между тѣмъ, на лицо, казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьезно. Такимъ воображалъ-бы я себя ученаго доктора, между позднѣйшими нашими потомками, когда, по предсказанію науки, измельчается родъ человѣческій. На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностью, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу, (отчего я тутъ же называлъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ большею частію своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ: доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило, а также и то, что штатный смотритель (Авр. Грековъ) не конфузился, что его ученикъ говоритъ не слово въ слово по учебной книгѣ. Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя сіяло радостью, какъ будто онъ видѣлъ въ этомъ торжествѣ собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. „Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ здѣшняго уѣзднаго штабъ-гваря“, сказалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ Бѣлинскаго въ лобъ, съ душевной теплотой привѣтствовалъ его, тутъ-же потребовалъ изъ продажной библіотеки какую-то книжечку, на заглавномъ листѣ которой надписалъ: Виссаріону Бѣлинскому, за прекрасные успѣхи въ ученіи (или что-то подобное), отъ такого-то такому-то. Мальчикъ принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную себя дань, безъ низкихъ поклоновъ, которыми учатъ бѣдняковъ съ малолѣтства. Какъ говорилъ смотритель, Бѣлинскій гулялъ часто одинъ, не былъ сообщителемъ съ товарищами по училищу, не виѣшивался въ ихъ игры и находилъ особенное удовольствіе за книжками, которыя доставалъ, гдѣ только могъ“.

Въ 1825 году, въ августѣ, 14 лѣтъ отъ роду, Бѣлинскій былъ переведенъ въ пензенскую гимназію, въ 4-й низшій классъ (гимназіи въ это время были 4-хъ классовыя и курсъ оканчивался 1-мъ классомъ). О гимназическихъ годахъ Бѣлинскаго мы имѣемъ воспоминанія учителя естественной

исторіи при пензенской гимназіи, М. М. П—ва, который былъ весьма близокъ съ Бѣлинскимъ.

„Въ гимназіи, по возрасту и возмужалости, онъ, во всѣхъ классахъ, былъ старше многихъ сотоварищей“, говоритъ П—въ; „наружность его мало измѣнилась влослѣдствіи: онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его, между хорошенькими личиками другихъ дѣтей, казались суровыми и старыми. На каціи онъ ѣздилъ въ Чебаръ, но не помню, чтобы отецъ его пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ, видимо, былъ безъ женскаго призора; носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами; другой на его мѣстѣ, смотрѣлъ-бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ-бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ и пошелъ въ могилу“.

Учился въ гимназіи Бѣлинскій плохо, но за то весь былъ преданъ чтенію, къ которому онъ, какъ мы видѣли, пристрастился еще въ уѣздномъ училищѣ. „Онъ бралъ у меня журналы“, говоритъ П—въ, „пересказывалъ прочитанное, судилъ и рѣдилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ. Скоро я полюбилъ его. По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неравный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ. Домашнія бесѣды наши продолжались и послѣ того, какъ Бѣлинскій поступилъ въ высшіе классы гимназіи. Дома мы толковали о словесности; въ гимназіи, онъ, съ другими учениками, слушалъ у меня естественную исторію. Но въ казанскомъ университетѣ, я шелъ по филологическому факультету и русская словесность всегда была моею исключительною страстью. Можете представить себя, что иногда происходило въ классѣ естественной исторіи, гдѣ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ, сидѣлъ такой же страстный къ словесности ученикъ. Разумѣется, начиналъ я съ зоологіи, ботаники или орнитологіи и старался держаться этого берега; но съ середины, а случалось и съ начала лекціи,

отъ меня-ли, отъ Бѣлинскаго-ли, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюффона-натуралиста, я переходилъ къ Бюфону-писателю, отъ Гумбольдтовой географіи растеній, къ его „картинамъ природы“, отъ нихъ — къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цѣлому міру — въ сочиненіяхъ Тацита и Шекспира, къ поэзіи — въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковского... Бывало, когда отправляюсь за городъ, во всю дорогу, пока не дойдемъ до засѣвки, что позади городского гулянья, или до рощи, что за рѣкой Пензой, Бѣлинскій приставалъ ко мнѣ съ вопросами о Вальтеръ-Скоттѣ, Байронѣ, Пушкинѣ, о романтизмѣ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодые сердца. Тогда Бѣлинскій, по лѣтамъ своимъ, еще не могъ отрѣшиться отъ обаянія первыхъ пушкинскихъ поэмъ и мелкихъ стиховъ. Непривѣтно встрѣтилъ онъ сцену: „Келья въ Чудовомъ монастырѣ“. Онъ и въ то время не скоро поддавался на чужое мнѣніе. Когда я объяснилъ ему высокую прелесть въ простотѣ, поворотъ къ самобытности и возрастаніе таланта Пушкина, онъ качалъ головой, отмахивался или говорилъ: „дайте подумаю, дайте еще прочту“. Если же въ чемъ онъ соглашался, то бывало, отвѣчалъ съ странною увѣренностью: „совершенно справедливо“.

Между прочимъ, по словамъ П—ва, „Бѣлинскій читалъ съ жадностью тогдашніе журналы („Вѣстникъ Европы“, Телеграфъ“, „Московский Вѣстникъ“ и проч.) и всасывалъ въ себя духъ Полевого и Надеждина“.

Какъ всѣ впечатлительные и даровитые юноши, Бѣлинскій не замедлилъ, подъ обаяніемъ чтенія литературныхъ произведеній, перейти къ попыткамъ писать самому стихами и прозой. Будучи 15-ти лѣтъ, во 2-мъ классѣ гимназій, онъ началъ писать стихи и повѣсти. Но уже въ 1830 году онъ смотрѣлъ на эти попытки критически, убѣдясь, что не рожденъ быть поэтомъ:

„Бывши во второмъ классѣ гимназій“, говорить онъ въ письмѣ къ своему бывшему наставнику, „я писалъ стихи и почиталъ себя опаснымъ соперникомъ Жуковского; но времена измѣнились. Вы знаете, что въ жизни юноши всякій часъ важенъ: чему

онъ вѣрить вчера, надъ тѣмъ смѣется завтра. Я увидѣлъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и, не хотя идти наперекоръ природѣ, давно уже оставилъ писать стихи. Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ движенія необыкновенныя; душа часто бываетъ полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ умѣ рождаются мысли высокія, благородныя; хочу ихъ выразить стихами, и не могу! Тщетно трудясь, съ досадою бросаю перо. Имѣю страстную любовь ко всему изящному, высокому, имѣю душу пылкую и, при всемъ томъ, не имѣю таланта выразить свои чувства и мысли легкими гармоническими стихами. Рима мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не укладываются въ стопы, и я нахелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу... Есть довольно много начатаго и ничего оконченнаго и сработаннаго, даже такого, что-бы могло помѣститься не только въ „Альманахъ“, гдѣ собирается все отлично, но даже въ „Дѣтскомъ Журналѣ“. Въ первый еще разъ, я съ горестью проklinяю свою неспособность писать стихами и лѣность писать прозою“.

Мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній о томъ, кончилъ-ли курсъ Бѣлинскій съ аттестатомъ или вышелъ изъ гимназій до окончанія курса. Последнее однакоже можно предположить съ большею достовѣрностью, потому что въ архивахъ пензенской гимназій, въ одной изъ вѣдомостей гимназій, показано въ январѣ 1829 г., что за „нехождение въ классъ Бѣлинскій не рекомендуется“, а въ февралѣ онъ вычеркнутъ изъ списковъ, гдѣ рукой директора помѣчено: „за нехождение въ классъ“. Надо замѣтить, что Бѣлинскій, съ гимназическихъ лѣтъ и до смерти, вѣчно углубленный въ міръ идей и поэтическихъ образовъ, былъ крайне невнимателенъ къ устройству своего положенія въ свѣтѣ и къ внѣшней, матеріальной сторонѣ жизни. Въ 1829 году онъ пріѣхалъ въ Москву, поступилъ при посредствѣ какихъ-то вліятельныхъ знакомыхъ въ московскій университетъ; но и въ университетѣ, какъ и въ гимназій, онъ не особенно заботился о своихъ формальныхъ отношеніяхъ къ факультету, объ окончаніи курса и полученіи аттестата. По крайней мѣрѣ въ 1832 году онъ оставилъ университетъ, выйдя изъ

2-го курса съ аттестаціею „способностей слабыхъ и нерадивъ“.

Но между тѣмъ, университетъ не остался безъ вліянія, и весьма сильнаго, на развитіе даровитаго юноши. Мы говорили выше, что московскій университетъ, и въ особенности филологическій факультетъ этого университета, были средоточіемъ пропаганды шеллингова ученія. Подъ этимъ вліяніемъ въ началѣ 30-хъ годовъ образовался изъ студентовъ филологическаго факультета особенный кружокъ, какія часто образуются въ университетахъ изъ товарищей однокурсниковъ или же земляковъ. Это были молодые люди весьма талантливые, занимающіеся; большая часть изъ нихъ пріѣхала изъ провинцій, съ единственною цѣлію образованія. Изъ наиболѣе выдающихся членовъ кружка были Б. Аксаковъ, М. Катковъ, Ключниковъ, Брасовъ и др.: всѣ они впоследствии приобрѣли почетную извѣстность въ литературѣ. Къ этому кружку примкнулъ и Бѣлинскій. Во главѣ же этого кружка явился Н. В. Станкевичъ. Это былъ сынъ богатаго воронежскаго помѣщика. Болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель, онъ могъ казаться своимъ друзьямъ поистинѣ существомъ не отъ міра сего, воздушнымъ, безтѣлеснымъ геніемъ, полнымъ тонкаго изящества и нѣжнаго чувства. Онъ оказывалъ неотразимое вліяніе на всю московскую передовую молодежь не столько силою воли или діалектики, сколько именно своимъ природнымъ чутьемъ всего изящнаго и гуманнаго, чутьемъ еще болѣе развитымъ философіею. Подъ его вліяніемъ, члены кружка развивались, читая „Телеграфъ“ Полевого, „Телескопъ“ Надеждина, слушали лекціи Надеждина, Павлова и прочихъ профессоровъ факультета, и уже въ университетѣ успѣли проникнуться духомъ философіи Шеллинга. По вечерамъ друзья собирались у Станкевича и тамъ молодые романтики вели задушевныя бесѣды о поэтическихъ произведеніяхъ, только что прочитанныхъ, о дружбѣ и любви, о встрѣчахъ съ неземными существами. Изъ русскихъ писателей они зачитывались Пушкинымъ, Жуковскимъ, впоследствии Гоголемъ и Лермонтовымъ; изъ иностранныхъ, самыми любимыми были — Шекспиръ, Гёте, но въ особенности Шиллеръ и Гофманъ; при этомъ Станко-

вичъ, будучи образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей и зная нѣмецкій языкъ, читалъ и переводилъ своимъ друзьямъ — въ томъ числѣ и Бѣлинскому — нѣмецкіе поэты, или же знакомилъ ихъ съ произведеніями этихъ поэтовъ, передавая имъ впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ чтенія. Подъ вліяніемъ чтенія Гофмана, въ особенности его новѣсти „Seltsame Leiden eines Theater-Directors“, друзья до страсти полюбили театръ и онъ былъ единственнымъ развлеченіемъ въ ихъ скромной, исполненной умственного труда жизни. Они смотрѣли на театръ, какъ на святилище, сосредоточивающее въ себѣ всѣ искусства, пытали къ нему религиозное обожаніе и входили въ него съ благоговѣніемъ. „Театръ! любите-ли вы театръ такъ, какъ я люблю его“, — говоритъ Бѣлинскій въ первой статьѣ своей „Литературныя мечтанія“, — „то-есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете-ли не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истинны? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются-ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ? Не есть-ли онъ исключительно самовластный властелинъ нашихъ чувствъ, готовый во всякое время и при всякихъ обстоятельствахъ возбуждать и волновать ихъ, какъ воздвигаетъ ураганъ песчаннаго мятеля въ безбрежныхъ степяхъ Аравіи?.. Какое изъ всѣхъ искусствъ владѣетъ такими могущественными средствами поражать душу впечатлѣніями и играть ею самовластно“. Этою страстью къ театру, возбужденною въ Бѣлинскомъ въ университетскіе годы, мы обязаны тѣмъ характеристиками Бѣлинскаго ролей Молчалиова, Каратыгина и проч., и театральными обзорѣниями, которыя онъ помѣщалъ впоследствии, время отъ времени, сотрудничая въ журналахъ.

Въ 1832 году, Бѣлинскій, какъ мы сказали, вышелъ изъ университета. Къ этому же году относится послѣдній опытъ его въ поэтическомъ творествѣ: онъ написалъ драму, которая вышла блѣдна и безцвѣтна, и это окончательно убѣдило Бѣлинскаго, что онъ не рожденъ для поэтическаго твор-

чества. По выходѣ изъ университета, Бѣлинскій продолжалъ вращаться въ кружкѣ своихъ прежнихъ товарищей. Въ тоже время онъ терпѣлъ самую страшную нужду, перебиваясь кое-какъ уроками и случайными работами. Жилъ онъ между Петровою и Трубою, въ какомъ-то переулкѣ надъ кузницею и возлѣ прачешной, въ ужасной обстановкѣ, сырости, смрадѣ и воннѣ; ѣлъ, что придется, чѣмъ питаются самые бѣдные рабочіе. Вотъ при какихъ обстоятельствахъ жизни онъ отнесъ въ „Телескопъ“ Надеждина свою первую статью „Литературныя мечтанія“, напечатанную въ нѣсколькихъ нумерахъ „Молвы“, начиная отъ 24 сентября 1834 года. Съ этого года Бѣлинскій выступаетъ на поприще литературной дѣятельности.

Всю литературную дѣятельность Бѣлинскаго можно раздѣлить на 3 періода, соответствующіе фазамъ философскаго развитія его. Такимъ образомъ первый періодъ обнимаетъ собою время отъ 1834 по 38 годъ; это періодъ участія въ „Телескопѣ“ и вліянія на Бѣлинскаго философіи Шеллинга. Затѣмъ отъ 1838 по 1841 годъ — слѣдуетъ увлеченіе философіею Гегеля; Бѣлинскій дѣлается приверженцемъ праваго лагеря этой школы; этотъ періодъ обнимаетъ собою дѣятельность въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ и начало сотрудничества въ „Отечественныхъ Запискахъ“; послѣ 1841 года Бѣлинскій переходитъ мало по малу въ лѣвый лагерь гегелянцевъ, при чемъ онъ продолжаетъ сотрудничать въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а съ 1847 года, въ „Современникѣ“. Мы рассмотримъ каждый періодъ дѣятельности Бѣлинскаго въ отдѣльности.

Въ первомъ періодѣ дѣятельности, въ „Телескопѣ“ и „Молвѣ“, Бѣлинскій находился еще подъ сильнымъ вліяніемъ тѣхъ идей, которыя господствовали въ то время въ русской литературѣ. Такимъ образомъ онъ является передъ нами романтикомъ въ духѣ Н. А. Полевого. Подобно Полевому, Бѣлинскій смотритъ на поэта, какъ на мученика своего вдохновенія, безкорыстно, до самоотверженія преданнаго творчеству и стоявшаго постоянно въ разладѣ съ пошлою толпою, непонимающей генія. Пропандѣя Полевого былъ обязанъ Бѣлинскій и ненавистью къ людямъ большого свѣта за то,

какъ онъ патетически выражался, что они „потеряли образъ и подобіе Божіе, за то, что отреклись отъ Бога живого и поклонились идолу суеты, за то, что умъ, чувства, совѣсть, честь замѣнили условными приличіями!“ Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ отрицаетъ существованіе русской литературы, совершенно на тѣхъ-же основаніяхъ, на какихъ отрицалъ до него Н. А. Полевой: „гдѣ-же,“ говоритъ онъ:—„спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало, художниковъ по призванію, то есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать, одно и тоже; которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему священному призванію“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и взглядъ Бѣлинскаго относительно вреднаго вліянія на творчество ложно-классической школы, въ свою очередь согласовался съ тѣмъ, что писалъ въ это время Полевой объ этомъ-же предметѣ. „Вдохновенію“, говоритъ Бѣлинскій, „и не нужна наука; оно ученіе науки, оно никогда не ошибается. Основной законъ творчества, что оно сообразно съ цѣлю безъ цѣли, безсознательно съ сознаниемъ, опровергаетъ всѣ теории и системы, кромѣ той, которая основана на немъ, выведенная изъ законовъ чело-вѣческаго духа и вѣковыхъ опытовъ надъ произведеніями искусства. Слѣдовательно, не наука создала искусство, а искусство создало особенную науку — теорію изящнаго; слѣдовательно искусство только тогда истинно и изящно, когда вѣрно себѣ, а не наукѣ, а если — наукѣ, то имъ же самимъ созданной. Правда, наука всегда силится покорить искусство, но какое было слѣдствіе этого? Смерть искусства, какъ то доказываетъ классическая французская литература и пр...“

Но, и находясь подъ вліяніемъ Н. А. Полевого, Бѣлинскій уже въ первый періодъ значительно опередилъ своего учителя и во многихъ отношеніяхъ отличается отъ него въ своихъ эстетическихъ взглядахъ. Тѣ же самыя взгляды, которые Полевой развивалъ на основаніи своихъ романтическихъ идеаловъ, Бѣлинскій основываетъ на принципахъ шеллинговой философіи. Такимъ образомъ, Полевой требовалъ свободы творче-

ства, ради самой свободы, не объясняя, для чего поэт долженъ всецѣло предаваться своему творчеству, не подчинялся никакимъ вѣшнимъ условнымъ правиламъ; для него это былъ догматъ романтизма, идеалъ, не требующій никакихъ доказательствъ. Съ точки же зрѣнія Бѣлинскаго, какъ шеллингиста, свобода творчества основывалась на томъ, что самый актъ творчества есть не что иное, какъ произвольное со стороны поэта воплощеніе въ живые образы идеи, овладѣвающей поэтомъ. Точно также Полевой требовалъ и народности литературы догматически, потому что этого требовалъ романтизмъ, которому онъ поклонялся. Бѣлинскій же проповѣдывалъ народность литературы на тѣхъ основаніяхъ, что каждый народъ, воплощая въ своей жизни ту или другую идею, доходитъ до самосознанія этой идеи въ своей литературѣ, которая по этому и должна быть народною, вполнѣ выражая духъ народа. Наконецъ, стоя на почвѣ романтизма, Полевой, въ своемъ отрицаніи русской литературы, говорилъ, что вся она заключается только въ Державинѣ и Пушкинѣ. Бѣлинскій же, напирая на народность литературы съ точки зрѣнія шеллингова ученія, присоединилъ къ этимъ именамъ—Крылова и Грибоѣдова.

Но въ чемъ молодой и начинающій Бѣлинскій опередилъ не только Н. А. Полевого, а и всѣхъ своихъ старшихъ современниковъ 30-хъ годовъ, — это въ своей критической оцѣнкѣ Гоголя, помѣщенной имъ въ „Телескопѣ“ 1835 года, въ статьѣ „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“ (Арабески и Миргородъ). Гоголь въ это время былъ самъ писателемъ только что начавшимъ свою дѣятельность. Талантъ Гоголя былъ замѣченъ съ первымъ появленіемъ его на поприщѣ литературы; произведенія его читались съ удовольствіемъ, но, между тѣмъ, критика не успѣла еще уяснить его значеніе и оцѣнить по достоинству его талантъ. Петербургскіе журналисты—Сенковскій, Булгаринъ, Гречъ и др., при полномъ отсутствіи всякой руководящей идеи въ своихъ критическихъ статьяхъ, смотрѣли на Гоголя весьма поверхностно и легкомысленно, видя въ немъ не болѣе, какъ русскаго Поль-де-Кока и, хваля его остроуміе, замѣчали въ тоже время въ немъ отсутствіе чувства изящнаго и пристрастіе къ сальностямъ всякаго рода.

Полевой съ своей стороны мало цѣнилъ Гоголя, реальная поэзія котораго нисколько не подходила къ его романтическимъ идеаламъ. Первымъ цѣнителемъ таланта Гоголя явился Бѣлинскій: онъ первый возвыстилъ русскую публику, что произведенія Гоголя, — не одни только курьезные рассказы балагура, а драгоценные перлы художественнаго творчества въ истинномъ значеніи этого слова: что нѣкого изъ современныхъ русскихъ писателей нельзя назвать поэтомъ съ болѣею увѣренностью и ни мало не задумываясь, какъ Гоголя; что, кромѣ идеальной поэзіи, можетъ быть еще поэзія реальная, поэзія жизни, поэзія дѣйствительности, истинная и настоящая поэзія нашего времени, и Гоголь есть именно поэтъ жизни дѣйствительной... Высказывая такіе идеи, Бѣлинскій опереживалъ даже и себя, свои собственные эстетическія понятія этого періода своей жизни.

Съ прекращеніемъ „Телескопа“ въ 1836 году, кончается первый періодъ дѣятельности Бѣлинскаго. Въ продолженіи 2-хъ лѣтъ, онъ не является на литературномъ поприщѣ и мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о томъ, что дѣлалъ и какъ жилъ въ продолженіи этого времени Бѣлинскій. Намъ извѣстно только, что въ эти два года въ кружкѣ Станкевича совершился поворотъ отъ философіи Шеллинга къ философіи Гегеля.

Увлечшись философіею Гегеля, Н. В. Станкевичъ посвятилъ въ тайны этой системы и своихъ друзей. Замкнутые въ тѣсный кружокъ, живя исключительно въ мирѣ книгъ, друзья Станкевича усвоили себѣ и пониманіе философіи Гегеля чисто книжное. Цѣлые дни и ночи проводили они въ спорахъ о различныхъ параграфахъ гегелевской логики и феноменологіи; люди, любившіе друга друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа“, принимали за обиды мнѣнія объ „абсолютной личности“, о ея „по себѣ бытіи“. Въ тоже время они и говорить начали не иначе, какъ языкомъ Гегеля, для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова *in situ* и давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей. Въ тѣхъ и самое отношеніе къ жизни сдѣлалось школьное, книжное; все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое пустое чувство было возво-

димо въ отвлеченныя категоріи, и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебранческою тѣнью. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаться „пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ“; и если ему попадался на дорогѣ какой-нибудь солдатъ нодъ хмѣлькомъ, или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но „опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи“. Самая слеза, навертывавшаяся на глазахъ, была строго отнесена къ особому отдѣлу внутренней дѣятельности—къ „гемюту“ или къ „трагическому въ сердцѣ“.

Философія Гегеля учила, какъ извѣстно, что все существующее есть развитіе идеи, которое проходитъ три ступени: въ первой фазѣ развитія идея существуетъ — сама въ себѣ, въ безсознательномъ состояніи; потомъ, она выходитъ изъ него, опредѣляется, разлагаясь на свои противорѣчія: наконецъ, въ третьей фазѣ, заключается примиреніе этихъ противорѣчій въ разумъ человѣка. Изъ этой системы вытекаютъ два положенія: 1) все, что дѣйствительно—то и разумно, такъ какъ оно есть проявленіе разумной идеи, и 2) высшая цѣль мыслящаго человѣка—объективно, безстрастно созерцать всѣ явленія жизни и всѣ ихъ противорѣчія сводить къ примиренію въ своемъ разумѣ. Такая теорія, какъ мы увидимъ сейчасъ, не замедлила отразиться въ эстетическихъ понятіяхъ Бѣлинскаго и его критикъ.

Одновременно съ увлеченіемъ теоріею Гегеля произошла и внѣшняя перемѣна въ литературной дѣятельности Бѣлинскаго. Мы уже говорили, что въ Московскомъ Наблюдателѣ, издававшемся съ 1835 года Степановымъ, редакцію завѣдывалъ Шевыревъ. Но съ 1838 года Шевыревъ отказался отъ редакціи, и журналъ поступилъ въ завѣдываніе Бѣлинскаго и его друзей; и Бѣлинскій выступилъ въ немъ послѣ двухлѣтняго молчанія съ новымъ направленіемъ своей критики.

Этотъ періодъ дѣятельности Бѣлинскаго, съ 1838 по 1841 годъ, представляетъ менѣе всего плодотворные годы его литературнаго поприща. Правда, онъ оказалъ и въ этотъ періодъ услугу русской литературѣ, познакоивши публику съ философій Гегеля, но, въ то же время, усвоив-

ши себѣ эту философію крайне одностороннимъ, книжнымъ, отвлеченнымъ образомъ, онъ внесъ и въ эстетическія понятія односторонность и исключительность. Такъ, — опираясь на то положеніе, что истинно-разумный человѣкъ долженъ безпристрастно и спокойно относиться ко всѣмъ невзгодамъ жизни, и помня, что все дѣйствительное разумно, долженъ мирить въ своемъ разумѣ всѣ противорѣчія — Бѣлинскій началъ считать истинно-художественными произведеніями только такія, въ которыхъ онъ видѣлъ объективное, олимпийское, спокойное созерцаніе жизни. Такимъ образомъ ему пришлось выкинуть изъ области поэзіи всю субъективную лирику, что онъ и сдѣлалъ. Послѣдовательный въ своихъ выводахъ до крайности, онъ призналъ истинными поэтами только Шекспира, Гёте, и Пушкина, въ послѣднемъ періодѣ его дѣятельности. Шиллера, Гейне онъ отвергъ безъ всякихъ церемоній: сатиру онъ выкинулъ совсѣмъ изъ области поэзіи. При всемъ томъ, онъ однакоже остался вѣрнымъ почитателемъ Гоголя; но для того, чтобы признавать произведенія Гоголя истинно поэтическими, не впадая въ противорѣчіе съ своими новыми эстетическими теоріями, ему пришлось съ немалыми натяжками доказывать, что произведенія Гоголя — исключительно объективныя и чуждыя всякой субъективности. Требуя, чтобы поэзія, безстрастно созерцая жизнь, существовала сама для себя, ни о чемъ болѣе не заботилась, какъ о художественности своихъ формъ; объявивши, что истинная поэзія есть поэзія формы; поэзіи-же содержанія, какія-бы высокія идеи въ себѣ ни заключала, есть убожество поэзіи и краснорѣчія,—Бѣлинскій выключилъ изъ области поэзіи и всѣ тѣ произведенія, въ которыхъ онъ видѣлъ увлеченіе со стороны поэтовъ живыми вопросами общественной жизни. Съ этой точки зрѣнія съ особенною злобою и ожесточеніемъ нападалъ Бѣлинскій на современную французскую литературу, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и на самую народность французскую. Теорія чистой поэзіи и опроверженіе теорій сторонниковъ поэзіи, тѣсно связанной съ жизнью—систематически развиты Бѣлинскимъ въ статьѣ „Менцель, критикъ Гёте“. Эту статью ставить обыкновенно рядомъ съ другою статьею: „Очерки бородинскаго сраженія, соч.

О. Глинки". Въ послѣдней статьѣ Бѣлинскій выходитъ изъ предѣловъ критики въ область публицистики, и подобно тому, какъ въ первой статьѣ онъ отрицаетъ вышнательство поэзии въ общественные вопросы, такъ, въ послѣдней — онъ отвергаетъ всякое иное вышнательство въ общественные вопросы, всякій личный протестъ противъ стѣснительныхъ условий жизни и стремленія переработывать эти условия по какому-либо идеалу. Онъ проповѣдуетъ полную покорность передъ какими-бы то ни было ужасными фактами жизни, такъ какъ все дѣйствительное — разумно, и личная воля безсильна остановить ходъ развитія безусловной идеи, допускающей зло, ради своего самоопредѣленія. Эти обѣ статьи составляютъ послѣднюю степень увлеченія Бѣлинскаго философіею Гегеля; за ними слѣдуетъ быстрый поворотъ и выходъ на свѣжій воздухъ изъ затхлаго міра книжной, отвлеченной схоластики. На обѣ эти статьи Бѣлинскій смотрѣлъ самъ въ послѣдствіи съ негодованіемъ, сердясь и принимая напоминовеніе о нихъ за желаніе оскорбить его.

„Московскій Наблюдатель“, обстоятельства котораго были уже плохи при прежней редакціи, не долго просуществовалъ и при новой. Чуждый всякой энциклопедичности и разнообразія, философско-критическій, наполняемый постоянно сухими и скучными, философскими и эстетическими разсужденіями, извлеченіями изъ Гегеля и Ретшера, журналъ этотъ не могъ заинтересовать публику и привлечь много подписчиковъ. Въ 1839 году, онъ долженъ былъ прекратить свое существованіе на пятой книжкѣ. Положеніе Бѣлинскаго снова сдѣлалось бѣдственнымъ: послѣ прекращенія „Наблюдателя“ снова остался онъ безъ куска хлѣба и работы. Къ этому присоединялось и тяжкое нравственное потрясеніе. Съ одной стороны — тяжело подѣйствовалъ на Бѣлинскаго неуспѣхъ „Моск. Наблюдателя“, съ другой — вслѣдствіе своихъ теоретическихъ увлеченій, онъ чувствовалъ разладъ и съ собою, и съ людьми. Его живая, страстная натура не могла вынести долгаго пребыванія въ отвлеченныхъ сферахъ объективнаго созерцанія и примиренія; ему съ каждымъ днемъ дѣлалось тоскливѣе и невыносимѣе въ туманныхъ облакахъ отвлеченнаго мышленія.

Въ то-же время его ежедневно раздражали различныя порицанія и опроверженія его теорій со стороны людей, мнѣніями которыхъ онъ не могъ не дорожить. При такихъ обстоятельствахъ, какъ нельзя болѣе кстати, послѣдовало со стороны А. А. Краевского приглашеніе Бѣлинскому взять на себя отдѣлъ критики и библиографіи въ „Отечественныхъ Запискахъ“, которыя были куплены А. А. Краевскимъ у Свиньина и обновлены подъ новой редакціей въ 1839 г.

Съ радостью ухватился Бѣлинскій за это приглашеніе. Оно его избавило отъ нужды, отъ долговъ и возрождало нравственно. Оно переселеніе въ Петербургъ уже исполнило Бѣлинскаго живой радости: „нѣтъ“, сказалъ онъ однажды И. Панаеву, „мнѣ, во чтобы то ни стало, надобно вонъ изъ Москвы.... Мнѣ эта жизнь надоѣла, и Москва опротивѣла мнѣ...“

Петербургъ дѣйствительно повліялъ на Бѣлинскаго благотворно. Въ Петербургѣ не такъ удобно предаваться мечтамъ и отвлеченнымъ фантазіямъ, какъ въ Москвѣ. „Петербургъ оказываетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее дѣйствіе“, говоритъ Бѣлинскій въ своей статьѣ „Москва и Петербургъ“: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденные праздною жизнію и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности, и вы остаетесь, можетъ быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человеческого!“

Въ то-же время не мало подѣйствовали на Бѣлинскаго новыя встрѣчи и знакомства. Съ 1839 года, со времени начала сотрудничества Бѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“, начинается самый пѣвущій и благотворный періодъ его дѣятельности. Правда, что умственный переворотъ, который совершился въ это время съ Бѣлинскимъ, произошелъ не вдругъ; въ 1839 и 1840 г., Бѣлинскій печатаетъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ тѣ статьи, которыя были написаны имъ еще въ Москвѣ (Менцель, Бородинская годовщина), въ новыхъ статьяхъ повторяетъ всѣ тѣ же воззрѣнія; но, при всемъ томъ, въ этихъ новыхъ статьяхъ вы чувствуете уже приливъ новыхъ силъ, впечатлѣній

и взглядовъ. Такъ, къ этому времени относятся прекрасныя характеристики „Горя отъ ума“, „Ревизора“, и сочиненій Лермонтова. Въ этихъ статьяхъ Бѣлинскій уже не ограничивается однимъ проведеніемъ эстетическихъ теорій, но высказываетъ множество взглядовъ психическихъ и моральныхъ; дѣлается не только критикомъ, но и публицистомъ, анализирующимъ окружающую его дѣйствительность...

Въ статьяхъ 1841 года, все болѣе и болѣе выступаютъ на сцену новыя воззрѣнія, совершенно противоположныя московскимъ. Такъ, напримѣръ, въ статьѣ „Русская литература 1840 г.“, онъ отдаетъ уже справедливость современнымъ французскимъ писателямъ и признаетъ за ними большое достоинство, именно за то участіе ихъ въ общественныхъ интересахъ, за которое онъ прежде ихъ порицалъ. Въ 1848 году, Бѣлинскій еще смѣлѣе становится на почву теорій „искусства для жизни“. „Свобода творчества“ (говоритъ онъ въ разборѣ „Рѣчи о критикѣ“ Никитенко) легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на тѣмъ, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истинны, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни“. Рядомъ съ этимъ переворотомъ въ эстетическихъ взглядахъ, измѣнились и всѣ прочія убѣжденія Бѣлинскаго, нравственныя и общественныя: онъ сдѣлался приверженцемъ женскаго вопроса и сильно интересовался движеніемъ рабочихъ сословій на западѣ. Вместе съ тѣмъ и содержаніе его критическихъ статей значительно расширилось. Рядомъ съ критикомъ вы повсюду видите публициста, карающаго въ русскомъ обществѣ отсутствіе умственныхъ интересовъ, рутину, узость мѣщанскаго эгоизма, самодовольное филистерство, патріархальную распущенность провинціальныя нравовъ, отсутствіе гуманности и азіатское звѣрство въ отношеніи къ низшимъ, рабство женщинъ и дѣтей подъ гнетомъ семейнаго деспотизма.

Въ тоже время не опускалъ Бѣлинскій изъ вида и развитія русской литературы. Онъ успѣлъ обратить вниманіе въ этотъ пе-

ріодъ на всѣ ея явленія прошедшей и современной жизни и представить рядъ полныхъ и всестороннихъ характеристикъ. Такъ, въ 1841 году, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ былъ помѣщенъ имъ рядъ статей, обобщающихъ русскую народную поэзію; эти статьи составляютъ цѣлый трактатъ въ 253 страницы, помѣщенный въ 5-мъ томѣ собранія его сочиненій. Весь 1844 годъ былъ Бѣлинскимъ посвященъ статьямъ по поводу сочиненій А. Пушкина; эти статьи составляютъ цѣлый томъ (8-й) въ собраніи его сочиненій и представляютъ полную критическую исторію русской литературы, начиная съ Ломоносова и кончая Пушкинымъ.

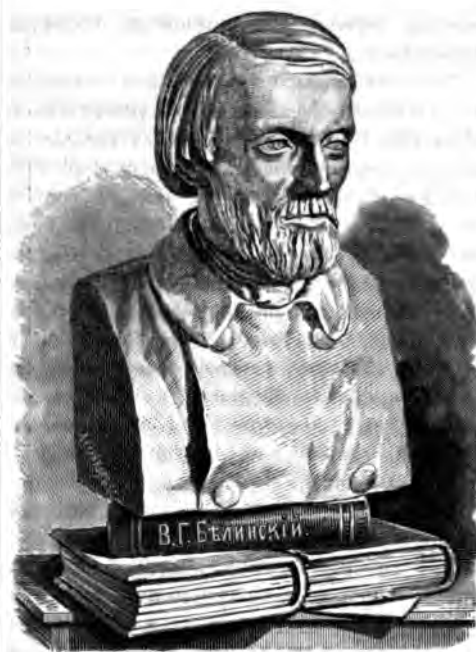
Въ этотъ періодъ окончательно утвердилось значеніе Бѣлинскаго въ литературѣ и обществѣ. Всѣ передовыя, юныя литературныя силы сгруппировались вокругъ него. Можно положительно сказать, что всѣ писатели послѣдующей эпохи, 50-хъ годовъ, гг. Григоровичъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Н. Некрасовъ, А. Майковъ, Ф. Достоевскій и проч., были воспитаны критикою Бѣлинскаго, ею возбуждены къ творческой дѣятельности и ей во многомъ обязаны своею извѣстностью. Въ тоже время идеи Бѣлинскаго воспитали цѣлое поколѣніе и подготовили то общественное движеніе 60-хъ годовъ, которое ознаменовалось столькими реформами.

Въ 1846 году кончилось сотрудничество Бѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Разстроенное прежними невзгодами и усидчивою, срочною журнальною работою, здоровье его требовало отдыха и тщательнаго лѣченія. Онъ провелъ лѣто и осень на югѣ Россіи. По возвращеніи же въ Петербургъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, онъ былъ приглашенъ постояннымъ сотрудникомъ въ новый журналъ, — „Современникъ“, изданіе котораго предприняли Н. А. Некрасовъ и И. И. Панаевъ, собравъ вокругъ себя всѣ лучшія литературныя силы того времени.

Здѣсь Бѣлинскій выступилъ еще съ болѣе смѣлыми и реальными идеями, проповѣдникомъ поэзіи для жизни, поэзіи глубоко проникнутой общественными интересами, и защитникомъ „натуральной школы“, родоначальникомъ которой онъ считалъ Гоголя и въ которой приветствовалъ разумное и полезное низведеніе поэзіи изъ заоблачныхъ высей на землю, въ міръ обыденной дѣйстви-

тельности. Лучшей статьею его, въ этомъ періодѣ, можно считать „Взглядъ на русскую литературу 1847 года“, представляющую характеристику романа, между прочимъ Гончарова „Обыкновенная исторія“.

Рядомъ съ проведеніемъ эстетическихъ теорій и критическими характеристиками, немаловажное мѣсто занимаетъ вирождение всей литературной дѣятельности Бѣлинскаго — полемика. Страсть къ полемикѣ обнаружилась въ Бѣлинскомъ съ самаго пер-



Новѣйшій бюстъ Бѣлинскаго.

ваго появленія его на литературномъ поприщѣ въ Москвѣ. При этомъ всю его полемическую дѣятельность можно раздѣлить на два періода — московскій и петербургскій. Сотрудничая въ московскихъ журналахъ, Бѣлинскій направлялъ свою полемику главнымъ образомъ противъ петербургскихъ журналистовъ 30-хъ годовъ. Вообще, въ 30-е годы, все умственное движеніе сосредоточивалось въ Москвѣ; петербургская же литература представляла полное заустѣніе. Въ ней было отсутствіе всякихъ двигающихъ общество и руководящихъ идей; журналистика была

или ничтожная, исполненная мелочной придирчивости, зависти, нелитературныхъ намековъ (таковы были: „Сѣверная Пчела“ и „Сынъ Отечества“, издаваемые Гречемъ и Булгаринымъ); или же это была журналистика, чисто-спекулятивная, гаерничавшая передъ публикою, возводившая на пьедесталъ литературныя посредственности всякаго рода, а къ такимъ писателямъ, какъ Лермонтовъ и Гоголь, относившаяся съ плоскими насмѣшками и шуточками. Такова была „Библиотека для Чтенія“ съ Сенковскимъ во главѣ. Вотъ противъ этихъ-то журналовъ, желая уронить ихъ въ глазахъ публики и показать все ихъ ничтожество, направилъ Бѣлинскій цѣлый рядъ саркастическихъ полемикъ, въ которыхъ онъ отъ насмѣшливаго тона переходитъ иногда въ презрительный или исполненный патетическаго негодованія.

Во время петербургскаго періода у Бѣлинскаго появились новые литературные враги, которыхъ не было прежде: это были теперь уже московскіе журналисты, именно славянофилы, которые съ 1841 года сгруппировались вокругъ „Москвитинина“. Къ славянофиламъ Бѣлинскій относился иногда съ большимъ ожесточеніемъ, но не питалъ къ нимъ такого негодованія и презрѣнія, какъ къ Гречу, Булгарину или Сенковскому. Онъ видѣлъ въ славянофилахъ людей заблуждавшихся, но во всякомъ случаѣ литературно, гражданственно-честныхъ и признавалъ даже относительную пользу этой партіи. „Но прежде всего“, говоритъ онъ въ одной изъ своихъ статей: — „славянофильство, какъ убѣжденіе заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случаѣ, если съ нимъ все не согласны. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но, разсмотрѣвъ его ближе, нельзя не увидѣть, что существованіе и важность этой литературной категоріи чисто-отрицательная, что она вызвана и живетъ не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеи, на борьбу съ которою обрекла себя... Отрицательная сторона ученія славянофиловъ гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія, не въ томъ, что она говоритъ противъ гнѣющаго будто бы запада (запада славянофилы рѣшительно не понимаютъ, потому что мѣряютъ его на восточный аршинъ); но въ томъ,

что они говорят противъ русскаго европеизма, и объ этомъ они говорятъ много дѣльнаго, съ чѣмъ нельзя не согласиться хотя на половину“.

Сотрудничество Бѣлинскаго въ „Современникѣ“ продолжалось не долго. Силы его были окончательно истощены чахоткою. Весною 1847 г., онъ отправился, по совѣту доктора и съ помощію друзей, за границу; заграничное лѣченіе на короткое время поправило его здоровье; но петербургскій климатъ не замедлилъ оказать свое дѣйствіе. Бѣлинскій умеръ 28-го мая 1848 года, 38-милѣтъ.

„Бѣлинскій, безспорно, обладалъ главными качествами великаго критика; и если въ дѣлѣ науки, знанія, ему приходилось заниматься отъ товарищей, принимать ихъ слова на вѣру—въ дѣлѣ критики ему не у кого было спрашиваться; напротивъ, другіе слушались его; починъ оставался постоянно за нимъ. Эстетическое чутье было въ немъ

почти непогрѣшительно; взглядъ его проникалъ глубоко и никогда не становился туманнымъ. Бѣлинскій не обманывался вѣщностью, обстановкой — не подчинялся никакимъ влияніямъ и вѣяніямъ; онъ сразу узнавалъ прекрасное и безобразное, истинное и ложное, и съ безтрепетной смѣлостью высказывалъ свой приговоръ—высказывалъ его вполне, безъ урѣзокъ, горячо и сильно, со всей стремительной увѣренностью убѣжденія... Не говорю уже о статьяхъ, въ которыхъ онъ отводилъ подобающее мѣсто прежнимъ дѣателямъ нашей словесности;... но при появленіи новаго дарованія, новаго романа, стихотворенія, повѣсти—никто, ни прежде Бѣлинскаго, ни лучше его, не произносилъ правильной оцѣнки, настоящаго, рѣшающаго слова... Какъ литературный критикъ, онъ былъ именно тѣмъ, что англичане называютъ — „настоящимъ человекомъ на настоящемъ мѣстѣ“. (И. С. Тургеневъ. Литературн. Воспом., XXXIV и сл.).



XLIII

С. Т. Аксаковъ. — Два періода въ его дѣятельности литературной: подражательный и самобытный. — Мастерскія описанія природы. — Положительный взглядъ на наше прошлое.

Послѣ біографій Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Бѣлинскаго намъ приходится нѣсколько отступить отъ принятаго нами хронологическаго порядка, и говорить о писателѣ, который былъ старше всѣхъ ихъ лѣтами, раньше всѣхъ ихъ выступилъ на литературное поприще, и, потому, казалось бы, долженъ былъ явиться на страницахъ книги нашей ранѣе всѣхъ вышеисчисленныхъ нами писателей. Но на дѣлѣ оказывается, что біографія Сергія Тимофеевича Аксакова, помѣщаемая въ общемъ курсѣ исторіи литературы, рѣшительно не поддается общему хронологическому условію, потому что представляетъ, сама-по-себѣ, чрезвычайно оригинальное, даже странное явленіе. Можно положительно утверждать, что въ исторіи русской литературы нельзя подыскать никакого другаго, подобнаго этому, примѣра литературной жизни и дѣятельности... И дѣйствительно, вся литературная жизнь Аксакова распадается на двѣ, рѣзко-противуположныя половины; въ первой половинѣ онъ является приверженцемъ псевдо-классицизма, восторженнымъ поклонникомъ и защитникомъ литературныхъ началъ, отжившихъ свой вѣкъ уже до Пушкина; во второмъ, послѣ долгаго, многолѣтняго перерыва, выступаетъ со своими описаніями природы и воспоминаніями объ отдаленномъ прошломъ, и очень быстро приобретаетъ вполне заслуженную извѣстность писателя талантливаго и самобытнаго. Но этотъ второй періодъ литературной дѣятельности С. Т. Аксакова наступаетъ для него въ концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ, въ послѣдніе 10 или 12 лѣтъ его жизни: вотъ почему, волей — неволей, намъ приходится отнести біографію старца-Аксакова къ біографіямъ писателей, которые гораздо позже его выступили на

литературное поприще, но почти одновременно съ нимъ приобрѣли извѣстность и обратили на себя общее вниманіе.

Сергіи Тимофеевичъ Аксаковъ родился въ Уфѣ, 20 сентября 1791 г. Родъ Аксаковыхъ принадлежитъ къ числу весьма древнихъ, и ведетъ свое начало отъ какого-то Шимона Африкановича, при великомъ князѣ Ярославѣ выѣхавшаго (1027 г.) съ 3000 подвластныхъ ему людей изъ варяжской земли; отъ правнуковъ его пошли Воронцовы, Вельяминовы и Аксаковы. Въ домашнемъ быту наибольшая доля нравственнаго вліянія оказана была на его воспитаніе и развитіе матерью, женщиною рѣдкаго ума, прекрасно образованной и воспитанной, и слѣпо, страстно самоотверженно-преданной дѣтямъ, въ числѣ которыхъ Сергіи Тимофеевичъ, какъ старшій и какъ любимый сынъ, былъ постояннымъ предметомъ нѣжныхъ заботъ и вниманія. Отецъ его, добрый и простой степенякъ-помѣщикъ, сумѣлъ развитъ въ немъ только любовь къ природѣ и къ охотѣ во всѣхъ ея многоразличныхъ видахъ, пополнявшихъ обширные, нескончаемые досуги нашего стариннаго барства.

На восьмомъ году С. Т. Аксаковъ былъ отданъ въ гимназію въ Казани. Но и въ гимназіи онъ не былъ предоставленъ на волю судьбы, какъ это случалось прежде и теперь случается съ большинствомъ мальчиковъ, попавшихъ въ среднее учебное заведеніе. Заботливая мать и тутъ ни на минуту не забывала о немъ, и неусмынно продолжала наблюдать за сыномъ изъ своего деревенскаго уединенія; маленькій Аксаковъ былъ постоянно поручаемъ ею на воспитаніе лучшимъ изъ числа преподавателей и надзирателей Казанской гимназіи. Сверхъ того, по обычаю „добраго стараго

времени“ при молодомъ баринѣ находился безотлучно вѣрный и глубоко-преданный семейству дядька, Евсейчъ — одинъ изъ тѣхъ типовъ, которые давно уже перешли въ область исторіи. Судя по тому, что рассказываетъ о себѣ самъ Сергій Тимофеевичъ, переходъ отъ домашняго воспитанія къ быту учебнаго заведенія и въ особенности—разлука съ матерью, были для него до такой степени трудны, что здоровье его, вообще слабое, какъ у всѣхъ нервныхъ дѣтей, нѣсколько разъ не выдерживало столкновенія съ житейскимъ опытомъ и подвергалось большимъ опасностямъ. Главною отрадою и опорой нѣжнаго ребенка были, въ теченіе многихъ лѣтъ, тѣ вакаціи, которыя онъ проводилъ въ деревнѣ у родителей, среди всеоживляющей природы русскаго степнаго востока... Прежде, чѣмъ Аксаковъ окончательно успѣлъ свыкнуться съ суровыми гимназическими порядками того времени, матери пришлось даже, по совету докторовъ, взять его на цѣлый годъ изъ гимназій, для отдыха и подкрѣпленія силъ дома.

Въ концѣ своего гимназическаго курса (въ 1803 — 4 гг.) Аксаковъ, вообще выказывавшій большія склонности къ литературѣ, и страстно читавшій и въ гимназій, и дома, пристрастился къ театру. и эта страсть не покидала его въ теченіе всей его жизни. Въ 1804 году онъ сблизился съ однимъ изъ воспитанниковъ гимназій, Александромъ Панаевымъ, такимъ-же, какъ онъ, охотникомъ до театра и до русской словесности. Панаевъ издавалъ вмѣстѣ съ своимъ братомъ Иваномъ журналъ подъ названіемъ „Аркадіе пастушки“, въ которомъ всѣ сочинители подписывались какими-нибудь пастушескими именами: Адонисъ, Доратъ, Аминьт. Ирисъ, Дамонъ, Палемонъ, и т. д. „Замѣчательно“, прибавляетъ Аксаковъ, „что наше направленіе и журнальные приемы были точно такіе же, какіе держались потомъ въ Россіи нѣсколько десятковъ лѣтъ“. Между тѣмъ, въ началѣ 1805 года основанъ былъ въ Казани университетъ. Такъ какъ университетъ этотъ не представлялъ собою учрежденія, органически выросшаго и развившагося изъ мѣстныхъ потребностей, то онъ мало чѣмъ отличался отъ гимназій. Профессоры и адъюнкты были назначены изъ учителей гимназій (всего

счетомъ шестеро), въ студенты переименованы воспитанники старшаго класса гимназій, и университетъ-скоропѣлка, какъ его называетъ Аксаковъ, открытъ былъ (14 февраля 1805 года) и дѣйствовалъ уже черезъ полтора мѣсяца послѣ утвержденія его устава Государемъ.

Вполнѣ предавшись театру, который въ то время въ Казани былъ лучше, чѣмъ во многихъ провинціальныхъ городахъ Россіи, Аксаковъ безпрестанно, посѣщалъ его, или, вмѣстѣ съ другомъ-своимъ, А. Панаевымъ, устраивалъ въ кружкѣ товарищей домашніе спектакли, при которыхъ до самозабвенія увлекался своими актерскими способностями



Аксаковъ.

ми и страстью къ декламациі. Ученіе не слишкомъ его занимало, да и по правдѣ сказать, наука, въ томъ видѣ, въ какомъ она тогда являлась въ Казанскомъ университетѣ, едвали и была способна привлечь къ себѣ силы и вниманіе его страстной, впечатлительной натуры. Но занятія словесностью, какъ развлеченіе, продолжали занимать часть его досуговъ. Въ 1806 г. при университетѣ составилось маленькое литературное общество, подъ предѣлательствомъ И. М. Ибрагимова. Основателями были: В. и Д. Перевощиковы, И. и А. Панаевы, Кондыревъ, Аксаковъ и учитель гимназій Богдановъ. „Мы собирались“ —

разсказывает Аксаковъ — „каждую недѣлю по субботамъ и читали свои сочиненія и переводы въ стихахъ и прозѣ. Всякій имѣлъ право дѣлать замѣчанія, и статьи нерѣдко тутъ же исправлялись, если сочинитель соглашался въ справедливости замѣчаній; споровъ никогда не было. Принятое сочиненіе или переводъ вписывали въ заведенную для того книгу. Впослѣдствіи, число членовъ умножилось, сочинили уставъ, и съ Высочайшаго утвержденія было открыто: Общество любителей словесности при Казанскомъ университетѣ. Въ университетѣ остался Аксаковъ не долго. „Въ январѣ 1807 года, подавъ я просьбу объ увольненіи изъ университета для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ; въ мартѣ получилъ я аттестатъ, по истинѣ не заслуженный мною, съ приписаніемъ такихъ наукъ, какія я зналъ только по наслышкѣ, и какихъ въ университетѣ еще не преподавали. Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣній изъ университета, не потому, что онъ былъ еще очень молодъ, не половъ и не устроенъ, а потому, что я былъ слишкомъ молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страстностью моей натуры. Во всю мою жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и въ литературныхъ занятіяхъ“.

Изъ Казани Аксаковъ отправился въ Петербургъ, гдѣ въ 1808 г. и поступилъ на службу переводчикомъ въ комиссію составленія законовъ. Чрезвычайно любопытнымъ фактомъ въ литературномъ развитіи Аксакова является несомнѣнно то, что онъ, — еще будучи гимназистомъ и студентомъ, еще помѣщая свои первые опыты въ „Аркадскихъ пастушкахъ“, и въ нихъ, конечно, подражая Карамзину, — въ то же время „не любилъ Карамзина, смѣялся надъ его слогами и содержаніемъ его мелкихъ произанческихъ сочиненій“. Книга Шишкова (Разсужденіе о старомъ и новомъ слоги) окончательно утвердила его въ отрицательномъ взглядѣ на Карамзина и уже сдѣлала его „Шишковистомъ“. Знакомство съ племянникомъ Шишкова, сослуживцемъ по комиссіи, и потомъ съ самимъ Шишковымъ, еще болѣе увлекло его въ этомъ, совершенно ложномъ, литературномъ направленіи, и сдѣлало его „славянофи-

ломъ“. Слово это, по замѣчанію С. Т. Аксакова, существовало уже и тогда, но выражало не совсѣмъ то, что оно выражаетъ теперь.

„Тогда, какъ и теперь“ — замѣчаетъ Аксаковъ — слово это не выражало дѣла. И тогдашнее, и теперешнее такъ называемое славянофильство, было и есть ничто иное, какъ русское направленіе, откуда уже естественно вытекаетъ любовь къ Славянамъ и участіе къ ихъ несчастному положенію. Къ Шишкову отчасти шло имя славянофила, потому что онъ очень любилъ славянскій или церковный языкъ, и, сочувствуя многимъ западнымъ славянамъ, много толковалъ и писалъ о славянскихъ нарѣчіяхъ; но его послѣдователи вовсе объ этомъ не думали. Русское направленіе заключалось только въ возстаніи противъ введенія иностранныхъ или лучше, французскихъ словъ и оборотовъ рѣчи, противъ предпочтенія всего чужого своему, противъ подражанія французскимъ людямъ и обычаямъ, и противъ всеобщаго употребленія въ общественныхъ разговорахъ французскаго языка. Этими, такъ сказать, литературными и внѣшними условіями ограничивалось все направленіе. Шишковъ и его послѣдователи горячо возставали противъ нововведеній тогдашняго времени, а все введенное прежде, отъ реформы Петра I до появленія Карамзина, признавали русскимъ, и самихъ себя считали русскими людьми, нисколько не чувствуя и не понимая, что они сами были иностранцы, чужіе народу, ничего непонимающіе въ его русской жизни. Даже не было мысли оглянуться на самихъ себя. Въѣвъ Екатерины, передъ которыми они благоговѣли, считался у нихъ не только русскимъ, но даже русскою стариною. Они вопили противъ иностраннаго направленія — и не подозрѣвали, что охвачены имъ съ ногъ до головы, что они не умѣютъ даже думать по-русски“.

Не смотря на всю фальшь „Шишковизма“, которому С. Т. Аксаковъ напрасно придаетъ названіе „славянофильства“, юный Аксаковъ и этой теоріи предавался съ такой же страстностью, съ какою поочередно, до этого времени, предавался уже словесности, театру и охотѣ. И это направленіе, въ которомъ славянофильство и пристрастіе къ старинѣ высказывалось, между прочимъ,

рьяною приверженностью къ отжившимъ литературнымъ приемамъ и теоріямъ псевдо-классицизма — это направленіе несомнѣнно парализировало и, во всякомъ случаѣ, много повредило развитію литературнаго таланта въ Аксаковѣ. Загнѣшавшись въ среду безталанной и мелкой литературной братіи, составлявшей „Бесѣду любителей русскаго слова“, гдѣ, подъ предѣдательствомъ Шишкова и Державина, скопились всѣ бездарности,—начиная отъ Шахматова и Хвостова,

ему увлекаться Шишковымъ и его партіей и совершенно искренно ставить представителей Бесѣды выше Карамзина, Озерова, и Батюшкова.

Въ 1811 г. Аксаковъ покинулъ Петербургъ и поселился надолго въ своемъ Оренбургскомъ помѣстьѣ. Въ столицахъ бывалъ онъ только изрѣдка и на короткое время. Въ одинъ изъ такихъ пріѣздовъ (въ 1815 г.), онъ познакомился съ Державинымъ и оставилъ намъ превосходное описаніе этого крат-



Казанскій университетъ.

и оканчивая Шаховскимъ и А. А. Писаревымъ,—Аксаковъ поддавался направленію „Бесѣды“ до того, что и самъ сталъ вскорѣ подражать ея членамъ въ своихъ литературныхъ опытахъ. Самъ Аксаковъ говоритъ, что въ собравіяхъ „Бесѣды“ ничего такого не происходило, „что бы и тогдашнимъ его понятіямъ удовлетворяло; что-бы кто ни прочелъ — всѣ остальные говорили одни пошлые комплименты; критическія замѣчанія были еще пошлѣе“ — и все это не мѣшало

каго знакомства въ своихъ Запискахъ. Вскорѣ послѣ того онъ женился и почти безвыездно прожилъ въ деревнѣ до 1826 г., когда, перебравшись на житье въ Москву, онъ получилъ тамъ, по знакомству съ Шишковымъ, мѣсто цензора. И въ это время онъ все еще продолжалъ быть дѣятелемъ прежняго литературнаго закала, все еще держался прежнихъ литературныхъ преданій; и все, что онъ писалъ и печаталъ¹⁾, носило на себѣ ту же печать убогаго Шишковизма,

¹⁾ Мы разуждемъ его «Филоктетъ» (М. 1815) и его весьма плохой переводъ сатиры Буало (М. 1826).

отъ котораго онъ никакъ не могъ отрѣшиться. Даже на его связяхъ и привязанностяхъ оставался все прежній оттѣнокъ пристрастія къ бездарностямъ, представлявшимъ себя опорою русскихъ началъ въ литературѣ: Загоскинъ, Кокоршинъ и Писаревъ—являются закадычными друзьями С. Т. Аксакова, въ которомъ никому изъ его современниковъ и въ голову не приходило предъугадать будущаго замѣчательнаго писателя-художника.

Но время шло своимъ чередомъ; литература русская крѣпла и развивалась; замолкли старые споры, появилась цѣлая школа новыхъ талантливыхъ поэтовъ и писателей, съ Пушкинымъ во главѣ; поднялись новые вопросы, требовавшіе разрѣшенія; самое славянофильство, развиваясь въ поколѣніи 30-хъ годовъ на почвѣ, приготовленной изученіемъ нѣмецкой философіи, измѣнилось совершенно, выдвинувъ изъ среды своей новыхъ, весьма замѣчательныхъ силы и цѣлый рядъ много повредившихъ ему бездарностей, достойныхъ покойной „Бесѣды“... Наконецъ, литература наша, въ концѣ 30-хъ и началѣ 40-хъ годовъ, благодаря Гоголю и его ближайшимъ послѣдователямъ, окончательно сошла со своего пьедестала и сблизилась съ жизнью... И въ эту-то пору, уже на шестомъ десяткѣ своей жизни, С. Т. Аксаковъ снова выступаетъ, послѣ долгаго молчанія¹⁾ на поприще литературной дѣятельности, „мгновенно измѣненной и какъ будто чѣмъ-то оплодотворенной послѣ долгихъ и безплодныхъ стремлений“²⁾. Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что „новые анализы искусства не остались безплодными для воспримчиваго чувства и свѣтлаго ума С. Т. Аксакова, что простота формъ Пушкина, въ повѣстяхъ, и особенно Гоголя, съ которымъ Сергій Тимофеевичъ былъ такъ друженъ, подѣйствовали на него“³⁾. Не отказываясь отъ своихъ прежнихъ пристрастій, онъ увидѣлъ себя вынужденнымъ отказаться отъ своихъ прежнихъ литературныхъ заблужденій и попыталъ свои силы въ совершенно новомъ литературномъ родѣ.

И тутъ-то выказалась неистощимая талантливость натуры Аксакова. Первою его книгою, обратившею на себя общее вниманіе,

были его „Записки объ уженіи рыбы“ (М. 1847 г.) выдержавшія въ короткое время три изданія; за ними послѣдовали его превосходныя, классическія „Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“ (М. 1852 г.) также переизданныя въ короткое время три раза, и наконецъ въ 1856 и 1858 гг. вышли въ свѣтъ — „Семейная хроника и воспоминанія“ и „Дѣтскіе годы Багрова внука“ — произведенія, окончательно упрочившія славу Аксакова, какъ писателя-художника. Другой славянофилъ и весьма извѣстный писатель, А. С. Хомяковъ, прекрасно характеризуетъ всѣ эти послѣдніе труды С. Т. Аксакова и очень вѣрно указываетъ намъ на общую связь между такими, повидимому, совершенно различными произведеніями, какъ Записки объ уженіи, Записки ружейнаго охотника—и Семейная хроника.

„Страстный рыболовъ“ — говоритъ Хомяковъ—„лишенный случайностями жизни привычнаго наслажденія, С. Т. захотѣлъ вспомнить старые годы, прежнія тихія радости, — и написала книга, книга, о которой авторъ и не мечталъ, чтобы она доставила ему литературную извѣстность. И читатель бралъ ее также добродушно, безъ ожиданія художественнаго наслажденія, а просто въ надеждѣ узнать кое-что объ искусствѣ уженія... и потомъ, читываясь, онъ съ страннымъ удивленіемъ замѣчалъ, что ему все занимательнѣе становился предметъ, заманчивѣе и красивѣе прихоти водяныхъ потоковъ и разливы озеръ и прудовъ, милѣе самыя рыбы, отъ пошлаго пескаря до рѣдкаго лоха. Нашлись люди, которые догадались, что тутъ скрывалось искусство, и искусство истинное;... его слушали, слушали съ удовольствіемъ, съ увлеченіемъ; и самъ онъ далъ свободу своимъ воспоминаніямъ, самъ сталъ увлекаться ими все болѣе и болѣе, чувствуя, что у него и, такъ сказать, передъ нимъ — не просто холодные читатели, но невидимые и незнакомые, но уже сочувствующіе друзья. Сравнительно тѣсный кругъ воспоминаній рыболова уступилъ мѣсто воспоминаніямъ охотника. Въ нихъ природа русская раскинулась въ чудной красотѣ, и русскій писан-

¹⁾ Съ 1826 по 1847 С. Т. ничего не печаталъ, кромѣ небольшихъ критическихъ статей въ Московскомъ Вѣстникѣ и Молвѣ. ²⁾ Слова Хомякова (см. Некрологъ Аксакова, Русск. Вѣс. т. XV).

³⁾ Тамъ же.

ный языкъ сдѣлалъ шагъ впередъ, даже послѣ Пушкина и Гоголя. Потомъ другіе предметы обратили на себя его дѣятельность; но онъ уже не терялъ того, что приобрѣлъ. Это безконечно-важное приобретение была свобода отъ художественной преднамѣренности. Когда С. Т. перешелъ отъ воспоминаній охотничьихъ къ другимъ біографическимъ, своимъ собственнымъ или чужимъ, воспринятымъ какъ собственнымъ, онъ сохранилъ ту же простоту, ту же, можно сказать, прямоту въ отношеніи къ предметамъ, ту же добросовѣстность въ воспоминаніяхъ и въ возсозданіи прошедшаго. Снова почувствовать прошедшее и другимъ рассказывать перечувствованное: вотъ его единственная задача!"

При этомъ Хомяковъ обращаетъ вниманіе и еще на одну сторону всѣхъ сочиненій Аксакова, писанныхъ въ этотъ послѣдній, замѣчательный періодъ его жизни: „онъ первый изъ нашихъ литераторъ взглянулъ на нашу жизнь съ положительной, а не отрицательной точки зрѣнія“.

Дѣйствительно, такое явленіе между нашими писателями 40-хъ и 50-хъ годовъ представлялось-бы нѣсколько страннымъ и одиокимъ, если бы авторъ не писалъ своихъ воспоминаній уже въ глубокой старости, когда все описываемое имъ оказывалось отда-

леннымъ отъ него слишкомъ на полъ-вѣка; но мы должны замѣтить, что „положительный взглядъ“ на нашу жизнь и наше прошлое не всегда представляется намъ въ сочиненіяхъ Аксакова искреннимъ, цѣльнымъ убѣжденіемъ: это скорѣе — строго обдуманное, отчетливо-выработанное, литературное направленіе, котораго авторъ постоянно придерживается, многое сглаживая, обо многомъ умалчивая или отказываясь высказывать свое мнѣніе—нигдѣ не нарушая своего величаваго, прекраснаго старческаго спокойствія, нигдѣ не измѣняя плавнаго, вполне эпического теченія своего разсказа.

Въ теченіе двѣнадцати послѣднихъ лѣтъ своей жизни, Сергій Тимофѣевичъ, словно почувствовалъ въ себѣ новый приливъ творческой силы, трудился неутомимо, и не только выдалъ въ свѣтъ вышенчисленные нами сочиненія, но еще успѣвалъ помѣщать многое въ журналахъ, преимущественно въ Москвитянинѣ; незадолго до смерти онъ читалъ друзьямъ своимъ отрывки изъ повѣсти Наташа, и даже на смертномъ одрѣ передалъ послѣднюю статью свою, о ловлѣ бабочекъ, въ сборникъ Братчина (1859 Спб.).

Сергій Тимофѣевичъ скончался 30 апрѣля 1859 года въ Москвѣ, и погребенъ въ Симоновѣ монастырѣ.



XLIV.

А. В. Кольцовъ и среда, изъ которой онъ вышелъ. — Впечатлѣнія юности. — Серебрянскій и Сивачевъ. — Вліяніе кружка псковскихъ друзей. — Недовольство окружающими и неудача пропаганды. — Значеніе поэзіи Кольцова.

Въ послѣднихъ главахъ нашей книги, говоря о дѣятельности Пушкина и его ближайшихъ современниковъ, мы не разъ указывали на то, что русская литература только со времени Пушкина вступила въ сознательный періодъ своего развитія и твердо ногою стала на почвѣ нашей исторіи и народности. Пушкинскій періодъ важенъ для насъ, впрочемъ, не только съ одной этой стороны: онъ едва ли не еще болѣе важенъ сближеніемъ литературы съ жизнью и ея интересами. Можетъ быть именно этимъ сближеніемъ и слѣдуетъ объяснить то, что со временъ Пушкина любовь къ чтенію и литературѣ проникла въ самые отдаленные уголки Россіи, въ которыхъ прежде никто не заботился о поэзіи, никто со страстью не предавался чтенію. Важнымъ признакомъ времени слѣдуетъ въ этомъ періодѣ считать и то, что литература, начиная съ 20-хъ гг., положительно перестаетъ быть исключительно дворянскимъ занятіемъ, тѣсно связаннымъ съ преданіями и предрассудками сословія или замкнутого кружка, стоящимъ въ прямой зависимости отъ покровительства двора или частнаго меценатства. Литература начинаетъ болѣе и болѣе приобретать значеніе серьезнаго дѣла, насущной потребности, жпвой, движущей общественной силы, постепенно удаляясь отъ той формы служенія музамъ и отечеству, въ которой она такъ часто проявлялась до Пушкина. Нельзя не замѣтить того, что вліяніе литературы начинаетъ проникать очень глубоко въ массу: изъ нижнихъ слоевъ народа начинаютъ выступать на литературное поприще талантливые литераторы, блестящіе журналисты, серьезные критики и замѣчательные поэты. И благодаря такому расширенію литера-

турной среды, благодаря тому, что она постоянно пополняется свѣжимъ притокомъ силъ изъ всѣхъ слоевъ общества, литература 30 хъ годовъ, несмотря на всѣ неблагоприятныя условія общественной жизни нашей, стѣснявшія ея развитіе, все-же достигаетъ важнаго значенія въ обществѣ и становится однимъ изъ наиболѣе сильныхъ цивилизующихъ началъ, способствующихъ у насъ распространенію гуманныхъ воззрѣній и воспитывающимъ поколѣнія. Такое распространеніе значенія литературы въ глубь и въ ширь, такое сближеніе литературы съ жизнью много способствуетъ и пополненію того глубокаго разрыва, который изстари существовалъ между нашими высшимъ, образованнымъ слоемъ общества, чуждавшимся русской жизни, русскаго языка и русскихъ интересовъ, и между низшими слоями общества, глубоко погрязнувшими въ невежествѣ и апатіи. Живымъ доказательствомъ того, что этотъ разрывъ начиналъ, въ теченіе 30-хъ годовъ, становиться менѣе чувствительнымъ, служитъ конечно появленіе въ нашей литературѣ такого поэта, какъ Кольцовъ.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежѣ (въ 1809 г.). Онъ былъ сынъ воронежскаго мѣщанина, обладавшаго весьма значительнымъ достаткомъ. Нельзя не замѣтить здѣсь, что въ воронежскомъ быту слова купецъ и мѣщанинъ имѣютъ свое, особое значеніе: купцами называютъ тѣ лица торговаго сословія, которые извѣстны въ городѣ обширностію своихъ оборотовъ, кредита и капитала; мѣщанами — всѣхъ мелкихъ и небогатыхъ торговцевъ, причемъ не обращается никакого вниманія на гильдейскія повинности, такъ какъ нѣ, для приобретенья полноправности, платятъ

никогда люди и ничѣмъ не торгующія. Но, по свидѣтельству новѣйшаго біографа, *) фамилія Кольцовыхъ именно принадлежала не къ мѣщанскимъ, а къ богатымъ купеческимъ, и домъ Кольцовыхъ на главной, Дворянской, улицѣ города Воронежа до сихъ поръ принадлежитъ къ числу лучшихъ городскихъ зданій. Съ самаго дѣтства, противоположно господствовавшему до сихъ поръ мнѣнію, Кольцовъ положительно не зналъ нужды ни въ чемъ, а если его и окружала грязь, то ужъ ни какъ не „грязь голоднаго бѣдняка, а та, которая толстымъ слоємъ залегаетъ на пути всякаго дикаго и невѣжественнаго быта“. А таковъ именно и былъ тотъ бытъ, который окружалъ Кольцова съ самаго дѣтства. Объ этомъ бытѣ лучше всего можно судить потому, что Кольцовъ, выученный грамотѣ подъ руководствомъ одного изъ воронежскихъ семинаристовъ, опредѣленъ былъ въ уѣздное училище всего только на четыре мѣсяца, послѣ чего образованіе его считалось уже законченнымъ, потому что свѣдѣнія его совершенно равнялись свѣдѣніямъ окружавшихъ его людей, а большаго знанія для веденія торговыхъ дѣлъ не требовалось.

Полуграмотный Кольцовъ пристрастился къ чтенію, и весьма естественно полюбилъ въ этомъ чтеніи именно то, что болѣе всего было доступно его пониманію—лубочныя сказки о Бовѣ, о Ерусланѣ Лазаревичѣ, а потомъ и „Тысяча и одна ночь“, которыя отыскились въ книжномъ запасѣ одного изъ его сверстниковъ. Изъ того же запаса онъ успѣлъ ознакомиться, нѣсколько позже, и съ романическими произведеніями Дюкредю-Менили и Августа Лафонтена и даже съ тяжеловѣсными произведеніями Хераскова. Кольцову было лѣтъ 16, когда ему попались въ руки сочиненія Дмитріева, которыя и подѣйствовали на него на столько сильно, что онъ почувствовалъ въ себѣ непреодолимое желаніе подражать имъ, и самъ захотѣлъ складывать пѣсни:—онъ еще не понималъ тогда различія между стихами и народной пѣсней, и даже не читалъ стихи, а пѣлъ ихъ. Первымъ руководителемъ Кольцова въ дѣлѣ стихотворства былъ воронежскій книго-

продавецъ Дмитрій Антоновичъ Кашкинъ, который раньше всѣхъ замѣтилъ въ юношѣ Кольцовѣ поэтическія наклонности и, стараясь даже до нѣкоторой степени направить его въ этомъ дѣлѣ, указать ему настоящій путь, онъ подарилъ ему „Русскую Просодію“, изданную для воспитанниковъ университетскаго благороднаго пансіона; онъ же давалъ ему и книги изъ своей лавки, указывая на основаніи личнаго знакомства съ литературой то, что могло заинтересовать молодого человѣка, что было доступно его пониманію. Такъ черезъ



Кольцовъ.

Кашкина, Кольцовъ ознакомился съ сочиненіями Жуковскаго, Пушкина, Дельвига и другихъ современныхъ поэтовъ. Но гораздо сильнѣе было вліяніе, оказанное на юношу Кольцова другомъ его, Серебрянскимъ, воспитанникомъ воронежской семинаріи. Еще недавно отыскано было нѣсколько тетрадей, исписанныхъ первыми опытами Кольцова, въ перемежку съ дѣлѣмъ рядомъ стихотвореній Серебрянскаго, положительно указывающихъ на то, что другъ Кольцова, воспользовавшійся благами правильнаго, хотя и не обширнаго образованія, далеко превос-

*) М. де-Пуле. Смъ въ Воронежской Вѣстѣ на 1861 г., статью: «А. В. Кольцовъ», стр. 404.

ходитъ Алексѣя Васильевича въ стихотворствѣ: стихъ его, по времени, оказывается довольно хорошимъ, а метръ даже и весьма разнообразнымъ. Бѣлинскій имѣлъ полное право сказать, что „дружескія бесѣды съ Серебрянскимъ были для Кольцова истинною школою развитія во всѣхъ отношеніяхъ, особенно въ эстетическомъ“. Но не одно только чтеніе и дружба съ Серебрянскимъ способствовали развитію въ Кольцовѣ страсти къ стихотворству:—этому много способствовало, по замѣчанію новѣйшаго біографа, и самое время, самые тѣ двадцатые годы, въ теченіе которыхъ страсть къ стихотворству, овладѣвшая съ конца прошлаго вѣка всѣмъ нашимъ грамотнымъ людемъ, перешла и въ провинцію. Какъ бы смѣшна ни казалась намъ эта общая страсть къ стихамъ, при которой каждый, кто былъ въ состояніи написать хоть нѣсколько стиховъ, считалъ уже себя поэтомъ, однакоже нельзя отрицать того, что эта страсть являлась однимъ изъ необходимыхъ, историческихъ фазисовъ развитія для большей части нашего общества; мы теперь, конечно, можемъ смѣяться надъ этой стихоманіей, но не можемъ и не станемъ смѣяться надъ тѣмъ уваженіемъ къ поэзіи, къ образованію, которая тѣсно были связаны съ стихоманіей, не станемъ отрицать и того, что связанное съ нею же уваженіе къ чувству, къ женщинѣ, къ мягкимъ, исполнѣ ч е л о в ѣ ч е с к и мъ отношеніямъ—все это должно было приносить извѣстную долю пользы. Для многихъ эта страсть къ стихамъ, какъ и для Кольцова, напримѣръ, являлась единственнымъ доступнымъ путемъ къ нравственному развитію, единственнымъ способомъ къ тому, чтобы возвыситься надъ окружавшею ихъ грязною дѣйствительностью и надъ той грубой, невѣжественной средой, къ которой они сами принадлежали ¹⁾).

И долго не удавалось Кольцову поладить со стихомъ; долго не могъ онъ, не смотря даже и на помощь друзей своихъ, добиться возможности облекать свою мысль хотя-бы и въ сносную стихотворную форму. Онъ чувствовалъ въ себѣ и дѣйствительный поэтический жаръ, и глубоко сочувствовалъ окружавшей его роскошной, степной природѣ, съ которою онъ былъ знакомъ съ

дѣтства—а стихъ не давался ему, и, даже еще въ 1829 году, однимъ изъ лучшихъ въ числѣ его произведеній явилось, напримѣръ, слѣдующее, въ которомъ онъ такъ выражаетъ свои сѣтованія на судьбу:

Скучно и нерадостно
Я провелъ вѣкъ юности:
Жилъ въ степи съ коровами,
Грусть въ дугахъ разгуливалъ,
По полямъ съ лошадию
Одинъ горе мыкавалъ,
Дикаремъ-степнякомъ;
Домой въ городъ ѣздивалъ,
За дѣлами крайними,
Чаще-жъ за отцовскими
Мудрыми совѣтами;
И въ такихъ занятіяхъ
Двадцать лѣтъ ударило.
Но клянусь вамъ совѣстью,
Я еще не зналъ любви.
Въ городахъ всѣ дѣвушки
Какъ-то мнѣ нравились.
Въ слободахъ-селеніяхъ
Всѣми бресталъ-гребовалъ и т. д.

Этотъ небольшой отрывочекъ одного изъ юношескихъ стихотвореній Кольцова важенъ для насъ по тѣмъ біографическимъ подробностямъ, которыя въ немъ заключаются. Изъ него узнаемъ мы, что большая часть юности Кольцовымъ проведена была въ степи, гдѣ онъ помогалъ отцу своему въ его торговыхъ занятіяхъ (отецъ Кольцова занимался гуртами для доставки сала на салотопенные заводы). „Онъ былъ сынъ степи“ — говоритъ Бѣлинскій — „степь воспитала его и взлелѣвала“. Съ другой стороны тоже самое стихотвореніе указываетъ еще и на рано-установившіяся непріязненные отношенія между юношей Кольцовымъ и его отцомъ; нельзя не видѣть нѣкотораго сарказма въ намекъ его на то, что онъ ѣздилъ изъ степи въ городъ „за отцовскими мудрыми совѣтами“. Видно, что уже и въ 1829 году Кольцовъ чувствовалъ себя въ нѣкоторомъ разладѣ съ окружавшею его средою, и какъ будто сознавалъ себя выше ея и выше тѣхъ интересовъ, которымъ она была исключительно предана. Наконецъ важенъ еще и третій намекъ юношескаго стихотворенія: важно для біографа то, что Кольцовъ, по

¹⁾ См. въ той же статьѣ де-Пуле, стр. 409—412.

его собственному, совершенно-чистосердечному сознанию, „не зная любви до 20-ти лѣтъ“. Этимъ фактомъ совершенно объясняется намъ то важное обстоятельство въ жизни Кольцова, которое послужило какъ бы послѣднимъ толчкомъ, пробудившимъ его къ поэзіи, побудившимъ его отыскать наконецъ и такіе звуки, и такую форму, въ которыхъ онъ уже могъ совершенно свободно выражать свои чувства, свою поэтическую душу.

Въ семействѣ Кольцова вошла молодая дѣвушка, въ качествѣ служанки, и Кольцовъ полюбилъ ее со всею силою первой любви, со всѣмъ жаромъ молодого, еще не растратеннаго чувства. Бѣлинскій замѣчаетъ, что отношенія Кольцова къ этой молодой дѣвушкѣ вовсе „не были шалостью, не были и выраженіемъ безотчетнаго чувства,—впервые пробудившеюся потребностью молодой кипящей крови. Нѣтъ, это была страсть глубокая и сильная, вліяніе которой Кольцовъ чувствовалъ всю жизнь свою. Онъ не только любилъ, онъ уважалъ, свято чтилъ предметъ своей любви... Но эта связь, составлявшая жизнь и блаженство молодого поэта, не правилась другимъ... Надо было разорвать ее во что-бы-то-ни-стало... Для этого воспользовались отсутствіемъ юнаго Кольцова въ степь, — и когда онъ воротился домой, то уже не засталъ ее тамъ... Это несчастіе такъ жестоко поразило его, что онъ схватилъ сильную горячку. Оправившись отъ болѣзни, онъ бросился какъ безумный въ степь, развѣдывать о несчастной. Сколько могъ далеко ѣздить самъ, еще дальше посылалъ преданныхъ ему за деньги людей. Не знаемъ, долго-ли продолжались эти розыски; только результатомъ ихъ было извѣстіе, что несчастная жертва расчета, попавшись въ донскія степи, въ казачью станицу, скоро зачахла и умерла въ тоскѣ, разлукѣ и въ мукахъ жестокаго обращенія“...

„Эта любовь“ — замѣчаетъ Бѣлинскій (близко знавшій Кольцова и отъ него слышавшій объ этомъ эпизодѣ)—„и въ счастливую пору, и въ годину несчастія, сильно подѣйствовала на развитіе поэтическаго таланта Кольцова“. Его стихотворные опыты обратились вдругъ въ горячія пѣсни любви и ненависти, въ унылыя, душевные выраженія тоски и горя, въ полные и

звучные отзывы на впечатлѣнія окружающаго его міра. И въ этотъ то важный періодъ его поэтическаго развитія судьба свела его съ человѣкомъ, который послужилъ для него живымъ звѣномъ, связавшимъ его съ современною нашею литературною жизнью. Это былъ Н. В. Станкевичъ, о которомъ мы уже упоминали въ біографіи Бѣлинскаго. Станкевичъ, сынъ воронежскаго помѣщика, бывшій въ то время въ московскомъ университетѣ, пріѣзжалъ на время каникулъ въ деревню отца, а оттуда заглядывалъ иногда въ Воронежъ. Слухъ о талантѣ Кольцова дошелъ до Станкевича, который познакомился съ Кольцовымъ, прочелъ его стихотворные опыты и одобрилъ многое. Года два спустя, Станкевичъ встрѣтился съ Кольцовымъ въ Москвѣ, куда тотъ отправился (въ 1831-мъ году) по дѣламъ и порученію отца своего. Тутъ завелъ онъ черезъ Станкевича и нѣкоторыя знакомства, „въ послѣдствіи довольно важныя для него“, по замѣчанію Бѣлинскаго, который и самъ съ нимъ въ это время познакомился, хотя, собственно говоря, коротко обзидились они позже, а именно въ 1836 году, послѣ того, какъ, въ 1835 г., уже вышла маленькая книжка стихотвореній Кольцова, изданная по предложенію Станкевича и на его счетъ. Хотя въ этой книжкѣ и заключалось всего 18 пьесъ, избранныхъ Станкевичемъ изъ всего, написаннаго Кольцовымъ до 1835 года однако же и по этому немногому уже можно было судить о томъ, что Кольцовъ обладаетъ вполне самороднымъ и дѣйствительно-замѣчательнымъ поэтическимъ даромъ.

1835 годъ Бѣлинскій называетъ эпохою въ жизни Кольцова потому, что онъ въ этомъ году успѣлъ побывать въ обѣихъ нашихъ столицахъ, прожить тамъ довольно долго, увидать полную, лучшую жизнь и переснакомиться съ различными литературными кружками, съ множествомъ новыхъ лицъ, начиная отъ Пушкина, Жуковскаго и князя Вяземскаго до журналистовъ и литераторовъ средней руки. Новѣйшій біографъ Кольцова прибавляетъ къ этому совершенно справедливо, что періодъ времени между 1836 — 1838 г., былъ вдвойнѣ замѣчательнъ въ жизни Алексѣя Васильевича: „съ одной стороны литературная из-

вѣстность, доставившая ему и славу, и почитателей въ родномъ городѣ; съ другой къ концу періода, начало крутого перелома въ его жизни, слѣдствіемъ котораго было отчужденіе отъ окружавшаго его общества“.

Въ началѣ, онъ только чувствовалъ въ себѣ какую-то перемену, въ которой не могъ дать себѣ полного и яснаго отчета; ему казалось, что у него силъ какъ будто прибавило; онъ чувствовалъ себя выше всѣхъ окружавшихъ его, и, взглянувъ на иную жизнь, задавшись новыми цѣлями, воображалъ себѣ, что и этихъ цѣлей ему будетъ очень легко достигнуть, и даже окружающихъ не трудно будетъ передѣлать на свой, новый ладъ. Мы видимъ изъ писемъ его, что, напримѣръ, въ 1896 г., вскорѣ послѣ возвращенія изъ Петербурга и Москвы, Кольцовъ, заправляющій въ отсутствіи отца всѣми дѣлами, проводитъ время среди самыхъ разнообразныхъ занятій — и не тяготится ими: „Батинька два мѣсяца въ Москвѣ, продаетъ быковы; дома я одинъ; дѣла много. Покупаю свиней, становлю на зимній заводъ на барду; въ рошѣ рублю дрова. осенью пахалъ землю; на скорую руку ѣзжу въ села; дома по дѣламъ хлопочу съ зари до полночи“.

„На душѣ тепло, покойно“,—пишетъ онъ около того же времени, къ другому приятелю. „Хорошее лѣто, славная погода, сильнее небо, свѣтлый день, вечерняя тишь — все прекрасно, чудесно, очаровательно,— и я жизнью живу и тону всею душою въ удовольствіяхъ нашего лѣта“... „Степь опять очаровала меня; я чортъ знаетъ до какого забвенія любовался ею. Какъ она хороша показалась, и я съ восторгомъ пѣлъ: Пора любви—она къ ней идетъ. Только это чувство было другаго совсѣмъ рода; послѣ мнѣ стало на ней скучно. Она хороша на минуту, и то не одному; а самъ другъ, и то не на долго. Къ ней пріѣхалъ погостить—и въ городъ, въ столицу, въ кипежъ жизни, въ борьбу страстей! А то она сама по себѣ слишкомъ однообразна и молчалива!“... Благодарю васъ, благодарю вмѣстѣ и всѣхъ нашихъ друзей. Вы и они много для меня сдѣлали,—о, слишкомъ много, много! Эти послѣдніе два мѣсяца стоили для меня пяти лѣтъ воронежской жизни. Я теперь гляжу на себя, и не узнаю. Сло-

весностью занимаюсь мало, читаю немного—некогда; въ головѣ дрянъ такая набита, что хочется плюнуть; матеріализмъ дрянной, гадкій, и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимый. Плавай, голубчикъ, во всякой водѣ, гдѣ велятъ дѣла житейскія; ныряй и въ тинѣ, когда надобно нырять. гнись въ дугу и стой прямо въ одно время. И я все это дѣлаю теперь даже съ охотою“... „Всѣ встрѣчаются со мной, и такъ любопытно глядеть, какъ на заморскую чучелу. Я старая немного посердился на нихъ за это; но подумалъ, и вышло, что я былъ глупъ. На людей сердиться нельзя, и требовать строго отъ нихъ нельзя; кривое дерево не разогнешь прямо, а въ лѣсу больше криваго и суковатаго, чѣмъ ровнаго. Люди правы: они судятъ по своему. Спасибо и за это, и мнѣ они нравятся въ этихъ странностяхъ“.

Къ сожалѣнію, однакоже, это примиряющее расположеніе, эта терпимость къ людямъ не долго удержались въ убѣжденіяхъ Кольцова. Увлеченный идеями кружка своихъ московскихъ друзей, съ которыми онъ отчасти уже знакомъ изъ біографіи Бѣлинскаго, Кольцовъ попытался и на свою жизнь, и на свою дѣятельность взглянуть съ точки зрѣнія тѣхъ теорій, которыя должны были привести свою пользу въ литературѣ, которыя имѣли значеніе въ исторіи нашего развитія, но, въ тоже самое время, въ примѣненіи къ жизни (особенно къ жизни провинціальнаго уголка) являлись, если не ересью, то, по меньшей мѣрѣ, вреднымъ увлеченіемъ и опасною крайностью въ глазахъ всякаго рода положительныхъ, благомыслящихъ, благонамѣренныхъ и практическихъ людей. Когда Кольцовъ принялся за пропаганду идей московскаго кружка въ Воронежѣ, то этимъ самымъ внесъ величайшій разладъ въ свои отношенія къ окружающимъ и въ свою семью... Съ другой стороны, онъ самъ, видя крайній неуспѣхъ своей пропаганды и въ тоже время не переставая увлекаться идеями, положенными въ основаніе ея, сталъ мало по-малу ожесточаться противъ всей окружавшей его среды и противъ самой своей дѣятельности. Центръ его нравственнаго тяготѣнія сталъ болѣе и болѣе удаляться отъ Воронежа, отъ торговыхъ дѣлъ и хлопотъ—все опостыдѣло ему, кромѣ того избраннаго московскаго кружка друзей, за-

нимавшихся эстетическими теоріями, литературою и разрѣшеніемъ высшихъ нравственныхъ вопросовъ, къ которымъ его постоянно и непреодолимо влекло. „Писать къ вамъ хочется“ — такъ писалъ Кольцовъ къ пріятелю въ Москву въ 1838 г. — „а ничего нейдетъ изъ головы. Плоха что-то моя голова сдѣлалась въ Воронежѣ, одурѣла вовсе, и самъ не знаю отчего: — не то отъ этихъ дѣлъ торговыхъ, не то отъ перемѣнъ жизни. Я было такъ привыкъ быть у васъ и съ вами, такъ забылся для всего другаго; и тутъ вдругъ все надобно позабыть, дѣлать другое, думать о другомъ — вѣдь и дѣла торговыя тоже сами не дѣлаются, тоже кой-чемъ надобно подумать. Такъ одряхлѣлъ, такъ отяжелѣлъ: право, боюсь, чтобъ мнѣ не сдѣлаться вовсе челоѣкомъ матеріальнымъ. Боже избави! уже это будетъ весьма рано; не хотѣлось-бы это слышать отъ самого себя“. Нельзя упустить изъ виду того, что, при подобномъ настроеніи, Кольцовъ не могъ судить справедливо и безпристрастно о тѣхъ людяхъ, которыхъ видѣлъ около себя; есть даже основаніе предположить, что онъ самъ значительно ухудшалъ свое положеніе, удаляясь отъ сношеній со многими даже и весьма хорошими, весьма почтенными людьми, только потому, что расходился съ ними во взглядахъ и убѣжденіяхъ. Не дорожа никакими связями, кромѣ своихъ связей съ московскимъ кружкомъ, Кольцовъ мало по малу оттолкнулъ отъ себя всѣхъ и увидѣлъ себя совершенно одинокимъ, и притомъ еще многихъ противъ себя вооружилъ. Тогда-то, весьма естественно сталъ онъ искать возможности покинуть Воронежъ, сталъ писать друзьямъ своимъ, „что ему тамъ не одобровать“. „Тѣсенъ мой кругъ“ — пишетъ онъ въ 1840 г. — „гразенъ мой міръ, герько жить мнѣ въ немъ, и я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія. И если я не перемѣню себя, то скоро упаду; это неминучемо, какъ дважды-два-четыре“... „Здѣсь крутомъ меня—татаринъ на татаринъ, жидъ на жидъ, а дѣла—берѣмя: строю два дома, судебныя дѣла, услуги, прислуги, угожденія, посѣщенія, счеты, расчеты, брани, ссоры. И какъ еще я пишу? И для чего пишу?—для васъ, для васъ однихъ (т.е. для друзей); а здѣсь я за писанія терплю одни оскорбленія“...

Въ этихъ словахъ, конечно, есть своя небольшая доля преувеличенія: обстановка, окружавшая поэта въ 1836 г., не пермѣнилась съ того времени; оставалась тою же самою и въ 1840 году—но взгляды поэта на дѣйствительность измѣнились съ тѣхъ поръ совершенно, и эта перемѣна много принесла ему горя, много и бесполезной борьбы, особенно въ семейномъ быту, гдѣ, по замѣчанію Бѣлинскаго, „Кольцовъ терпѣлъ такъ много отъ близкихъ и кровныхъ (за исключеніемъ матери, принимавшей въ немъ искренное участіе), что страшно и подумать“.

Въ 1840 году, осенью, Кольцовъ побывалъ въ послѣдній разъ въ Москвѣ и Петербургѣ, гдѣ прожилъ три мѣсяца съ Бѣлинскимъ. Послѣ этого, онъ уже не выѣзжалъ изъ Воронежа, тѣмъ болѣе, что постоянное недовольство, борьба, хлопоты и непріятности успѣли около этого времени поколебать его сильную натуру, и здоровье его вдругъ ослабло. Ко всему остальному прибавилось и еще одно сильное потрясеніе нравственное: по словамъ Бѣлинскаго — „пышнымъ, багрянымъ, но зловѣщимъ блескомъ страстной любви озарился закатъ жизни Кольцова“. Женщина, которую полюбилъ на этотъ разъ Кольцовъ, „была совершенно по немъ:—красавица, умна, образованна, и ея характеръ вполне соответствовалъ его кипучей, огненной натурѣ. Нужда заставила ее разстаться съ нимъ. До самой послѣдней минуты, изнемогая отъ тяжелой болѣзни и неравной борьбы съ жизнью, бѣдный поэтъ все еще мечталъ о возможности покинуть Воронежъ, вырваться изъ того закованнаго круга, въ который заключала его зависимость отъ отца и отъ дѣла. Горькими сомнѣніями и недоверіемъ къ самому себѣ дышать строки одного изъ послѣднихъ его писемъ, написаннаго незадолго до смерти:

„Какъ вы скажете“ — спрашиваетъ онъ у друзей своихъ—„удерживаться-ли въ Воронежѣ, дома, бросить-ли все, ѣхать въ Петербургъ? Удержаться дома,—жизнь-быть мнѣ будетъ плохое. Но все, какъ ни говори, а со двора меня не стонать“... „Есть еще способъ уладить все—жениться. Но за то надо взять тамъ, гдѣ другимъ угодно. Это значитъ пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. Ѣхать въ Питеръ — мнѣ не дадутъ для этого ни гроша. Ну, положимъ, найдусь туда пріѣхать... Но, пріѣхавши туда, что я

буду дѣлать? Наняться въ прикащики?—не могу; отъ себя заниматься?—не на что. Положить надежду на мои стишонки: что за нихъ дадутъ? И что буду за нихъ получать въ годъ—пустяки: на сапоги, на чай, и только. Талантъ мой—надо говорить прав-

Кольцовъ не много успѣлъ написать при жизни; изъ этого немногаго, почти все, что было имъ написано до 1830 года, очень несовершенно, слабо и несамостоятельно. Лучшимъ періодомъ его литературной дѣятельности, было время отъ 1834—по 1842 г.: въ



Памятникъ Кольцову, въ Воронежѣ.

ду—особенно теперь, въ рѣшительное время—талантъ мой пустой. Нѣсколько пѣсенокъ въ годъ—дринь. За нихъ много не дадутъ. Писать въ прозѣ не умѣю, а мнѣ тридцать три года. Вотъ мое положеніе“... Полгода спустя, въ Октябрѣ 1842, Кольцовъ скончался на тридцать-четвертомъ году!

этомъ періодѣ онъ самъ указывалъ на 1838 годъ, какъ на одинъ изъ самыхъ плодотворныхъ и притомъ на такой, въ теченіе котораго были имъ написаны лучшія произведенія его. Все, что есть лучшаго у Кольцова, принадлежитъ къ совершенно особому роду, который только при немъ и явился у насъ.

въ литературѣ, только при немъ получилъ и значеніе: — это пѣсня, народная пѣсня, со всею своею сжатостію, со всею силою и выразительностію богатаго языка, и притомъ облеченная въ высоко-художественную форму. Обаяніе народности, производимое пѣсней Кольцова, такъ велико, что ея почти не возможно читать—ее хочется пѣть. Обаяніе это на столько сильно, что, даже странный размѣръ пѣсенъ Кольцова, вовсе несвойственный произведеніямъ народной поэзіи, не нарушаетъ общей гармоніи производимаго ими впечатлѣнія. И что всего важнѣе, такіа пѣсмы, какъ „Лѣсъ“, Пѣсни Лихача Бухрявича, Измѣна Суженой, Косарь, Раздумье Селанина, пѣснь Пахаря, Хуторокъ и т. п.—не только принадлежать къ числу самыхъ замѣчательныхъ произведеній русской лирики вообще: онѣ сверхъ того, являются еще произведеніями, важными въ отношеніи историческомъ, какъ первыя попытки связать въ одно органическое цѣлое нашу искусственную литературу и неистощимо-богатую безыскусственную поэзію народа. Съ этой стороны, прекрасныя пѣсни Кольцова особенно много говорятъ сердцу каждаго русскаго человѣка.

Въ заключеніе этой послѣдней главы, мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь тотъ справедливый и оригинальный отзывъ о пѣсняхъ Кольцова, который еще недавно былъ высказанъ однимъ

изъ наиболѣе безпристрастныхъ почитателей памяти воронежскаго поэта:

....,Чтобы ни говорили о нестарѣющей живучести русской простонародной пѣсни, но она видимо дряхлѣетъ и доживаетъ свой послѣдній вѣкъ. Съ новою жизнію, которая ждетъ народъ впереди, явится потребность въ новой поэзіи, потому что старая уже никакимъ образомъ не будетъ удовлетворять его: никакія симпатіи современной науки, никакія реставраціи будущихъ археологовъ не спасутъ отъ смерти теперешнюю народную пѣсню. По вѣчному закону, присущему человѣческой природѣ, не смотря ни на какіе успѣхи цивилизаціи — во имя которыхъ въ настоящее время все изящное и поэтическое считается побрякушками, и самая цивилизація ограничивается единственно матеріальнымъ довольствомъ,—поэзія и другія изящныя искусства будутъ тѣмъ нужнѣе, тѣмъ необходимѣе, чѣмъ болѣе распространять въ массахъ это довольство. На массы же, на весь народъ всего могущественнѣе дѣйствуетъ пѣсня... Свѣтлый образъ поэта простонароднаго, поэта-пѣсенника — явился намъ впервые въ Кольцовѣ. Чтобы ни случилось, какаа бы логика идей и взглядовъ на протонародность ни произошла, какіа бы требованія эта послѣдняя ни заявила, — настанетъ время, когда русскій поэтъ многому долженъ будетъ поучиться у воронежскаго прасола“.



Важѣйшіе представители вѣстной литературной школы: Гончаровъ, Тургеневъ и Островскій

Сильное литературное движеніе двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, вызвавшее къ жизни такъ много новыхъ силъ и воспитавшее ихъ подъ животворнымъ вліяніемъ Пушкина и его школы, много способствовало развитію у насъ вкуса къ литературѣ, возбужденію къ ней живаго интереса, и наконецъ, тому повороту на путь критическаго, глубокаго изученія русской жизни, первымъ представителемъ котораго явились Гоголь и Бѣлинскій. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ критики Бѣлинскаго и высокохудожественныхъ типовъ, созданныхъ Гоголемъ, развилось и выросло новое поколѣніе русскихъ писателей: Григоровичъ, Гончаровъ, Тургеневъ, Островскій, Некрасовъ, Ф. Достоевскій, Л. Толстой, Писемскій и многіе другіе, украсившіе русскую литературу рядомъ прекрасныхъ произведеній, въ основу которыхъ положено было всестороннее, критическое изученіе современной русской жизни и многообразныхъ типовъ, выработанныхъ русскою дѣйствительностью.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ род. въ 1812 г., въ Симбирскѣ. Отецъ его былъ однимъ изъ довольно зажиточныхъ симбирскихъ купцовъ; онъ умеръ рано, когда его сыну было три года, и оставилъ Ивана Александровича на полномъ попеченіи его матери. По счастью, мать Ивана Александровича принадлежала къ тому прекрасному типу русскихъ женщинъ, которыя всю душу свою полагаютъ за дѣтей; несмотря на то, что ей самой не удалось воспользоваться положительно никакимъ образованіемъ, она ничего не жалѣла на образованіе сына, и тѣмъ самымъ много способствовала развитію его природныхъ дарованій. Немаловажно было и другое вліяніе, оказанное въ дѣтствѣ на Ивана Александровича его крестнымъ отцомъ, старымъ морякомъ, по выходѣ въ отставку поселившимся въ Симбирскѣ, въ

домѣ отца Гончарова. Старый морякъ, образованный, умный и живой человѣкъ, котораго всѣ любили и уважали, и около котораго собиралось лучшее, отборнѣйшее симбирское общество, заботился очень ревностно о воспитаніи своего крестника и дѣтельно помогалъ матери въ ея заботахъ о сынѣ. Живые, разнообразныя и полныя интереса рассказы крестнаго отца о его странствованіяхъ по морямъ и далекимъ чуждымъ странамъ, такъ глубоко запахи въ душу его крестника, что, по его собственному признанію, осуществившееся впоследствии кругосвѣтное путешествіе было лишь крайнимъ отголоскомъ рано пробудившейся въ немъ страсти къ путешествіямъ, которыя и въ дѣтствѣ занимали его, составляли его любимое чтеніе.

Гончаровъ учился сначала дома, потомъ попалъ въ частный пансіонъ, который устроенъ былъ за Волгою, въ центрѣ нѣсколькихъ богатѣйшихъ помѣстій, принадлежавшихъ наиболѣе крупнымъ мѣстнымъ землевладѣльцамъ. Пансіонъ этотъ былъ, по тому времени, явленіемъ весьма замѣчательнымъ. Онъ основанъ былъ мѣстнымъ священникомъ для дѣтей окрестныхъ помѣщиковъ, и на столько же отличался по устройству и порядкамъ своимъ отъ всѣхъ подобныхъ ему частныхъ заведеній, на сколько и стоявшій во главѣ его священникъ отличался отъ простыхъ сельскихъ поповъ смежныхъ приходовъ. Это былъ человѣкъ весьма образованный, окончившій курсъ въ казанской духовной академіи, и притомъ обладавшій пріятною, нѣсколько щеголеватую вѣщностью и хорошими манерами. Для полноты этого рѣдкаго, по тому времени, тина нашего духовнаго сословія, не мѣшаетъ замѣтить, что этотъ священникъ былъ даже и женатъ на французкѣ, которая преподавала свой родной языкъ воспитанникамъ мужа. При этомъ

оригинальномъ пансіонѣ, Иванъ Александровичъ нашелъ и разрозненную небольшую библіотеку, въ которой его жажда къ чтенію получила полное удовлетвореніе: тутъ попались ему въ руки путешествія Кука и Крашенинникова, Мунго-Парка и Палласа, историческія сочиненія Карамзина и Голицева, Роллена и Милота, произведенія На-

Гончаровымъ. Это повальное чтеніе безъ всякаго руководства и контроля, безъ всякаго порядка и послѣдовательности, не могло однакоже не подѣйствовать на усиленное развитіе фантазіи и безъ того уже слишкомъ живой отъ природы, и когда 12-ти лѣтній Гончаровъ былъ изъ Симбирска отвезенъ въ Москву и опредѣленъ тамъ въ одно изъ



И. Гончаровъ

химова и Расина, Фонъ-Визина и Тасса, а рядомъ съ ними дѣтскіе правоучительныя рассказы Беркзэя, Телемакъ Фенелона, и потомъ, тутъ же, мрачныя романы Радклифъ, „Саксонскій разбойникъ“ и даже одинъ томикъ „Ключа къ тайнствамъ природы“ Экартсгаузена! И вся эта невообразимая смѣсь была не только прилежно прочитана, но даже почти выучена наизусть юнымъ

среднихъ учебныхъ заведеній, страсть къ чтенію, развиваясь болѣе и болѣе, много способствовала быстрому ознакомленію юноши съ нѣмецкимъ и англійскимъ языкомъ и усовершенствованію въ знаніи французскаго языка, извѣстнаго ему уже съ дѣтства.

Въ 1831 году, Гончаровъ поступилъ въ Московскій университетъ, по филологическому факультету. Здѣсь онъ еще засталъ Лермон

това, и потомъ Станкевича и его кружокъ, съ которымъ, впрочемъ, Гончаровъ, сидя въ другомъ концѣ обширной аудиторіи, не былъ знакомъ вовсе.

Тогдашній университетъ, такъ много разъ уже описанный многими изъ современниковъ, произвелъ на талантливаго и хорошо-подготовленнаго юношу самое благопріятное впечатлѣніе. Новые и тогда еще молодые профессора—Шевыревъ, Надеждинъ и Давыдовъ—оказали на него какъ и на всю массу тогдашней студенческой молодежи, сильное вліяніе. Давыдовъ читалъ свои лекціи по исторіи русской литературы, Надеждинъ—теорію изящныхъ искусствъ и археологію, и Шевыревъ—исторію древнихъ и западныхъ литературъ; кромѣ того, недовольствуясь программой, одинъ изъ этихъ молодыхъ и рьяныхъ ученыхъ, читалъ студентамъ общій очеркъ исторіи философіи ¹⁾ а другой—очеркъ философіи въ искусствѣ ²⁾ Всѣ эти лекціи, вообще благотворно дѣйствовавшія на слушателей, должны были въ высшей степени привлечь и вниманіе молодого Гончарова по новости идей и самого языка. Въ ту пору еще впервые слышалась съ кафедръ рѣчь живая и смѣлая, еще впервые искусство и наука сближались съ жизнью, рутина и схоластика изгонялись изъ университетской аудиторіи, и умы слушателей освѣжались внесеніемъ здравыхъ критическихъ взглядовъ на литературу и науку, а подѣ вліяніемъ развивающагося вкуса къ изученію философіи, жизнь представлялась рядомъ стремленій къ достиженію идеаловъ добра, правды, красоты, совершенствованія и прогресса. Все это совпадало съ возникавшею тогда и въ литературѣ жизнью, внесенною, послѣ долгаго застоя, Пушкинымъ и его плеядою, и критическимъ переворотомъ, который произведенъ былъ въ журналистикѣ тѣмъ же Надеждинымъ, Полевымъ и другими, окончательно уничтожившими старую риторическую школу.

Окончивъ полный курсъ наукъ въ Московскомъ Университетѣ, подѣ непосредственнымъ вліяніемъ всѣхъ этихъ благопріятныхъ условій, воспитавшихъ и Лермонтова, и Бѣ-

линскаго, и Станкевича, и К. Аксакова и многихъ другихъ почтенныхъ русскихъ писателей и общественныхъ дѣятелей, Иванъ Александровичъ сначала отправился на родину, гдѣ и провелъ нѣсколько мѣсяцевъ, а потомъ,—въ Петербургъ. Тутъ онъ опредѣлился на службу, переводчикомъ, въ Министерство Финансовъ, и служебная формалистика стала такъ много отнимать у него времени, что только досуги могъ онъ посвящать своимъ любимымъ занятіямъ русскою и иностранною литературою. Но—„гдѣ не бываетъ наслажденій“? справедливо восклицаетъ Гоголь. „Живутъ они въ Петербургѣ, не смотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещить по улицамъ суровый, 30-ти градусный морозъ, взвизгиваетъ изъ чады сѣвера, вѣдѣма-вьюга, заметая тротуары... но привѣтливо, сѣвось летающія перекрестно охлопья снѣга, свѣтитъ вверхъ окошко, гдѣ-нибудь въ четвертомъ этажѣ; въ уютной комнаткѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчахъ, подѣ шумокъ самовара, ведется согрѣвающій и сердце, и душу разговоръ, читается свѣтлая страница вдохновеннаго Русскаго поэта, какими наградила Богъ свою Россію, и такъ возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ не водится въ другихъ земляхъ и подѣ полуденнымъ роскошнымъ небомъ“. ³⁾ Это вѣроятно испыталъ на себѣ и молодой Гончаровъ, посѣщая въ первые годы службы и петербургской жизни тѣ частные кружки, которыми было такъ богато наше общество конда 30-хъ и начала 40-хъ годовъ, кружки, въ которыхъ интересы литературные постоянно являлись на первомъ планѣ,—единственные живые и потому всѣмъ близкіе интересы тогдашняго русскаго общества... Чаше другихъ кружковъ, сколько намъ извѣстно, И. А. Гончаровъ посѣщалъ кружокъ Николая Аполлоновича ⁴⁾ и Евгениіи Александровны Майковыхъ, въ домѣ которыхъ собирались всѣ лучшія литературныя и художественныя силы того времени, и—среди нихъ—выросли двое юношей, подававшихъ большія надежды въ будущемъ. ⁵⁾ Въ томъ же кружкѣ бывалъ нѣкто

¹⁾ Давыдовъ. ²⁾ Надеждинъ. ³⁾ Сочин. и письма Гоголя. изд. 1857; IV, 409. ⁴⁾ Н. А. Майковъ—извѣстный нашъ живописецъ (ум. 1872 г.). ⁵⁾ Аполлонъ Николаевичъ Майковъ, извѣстный поэтъ нашъ, и Валентинъ Николаевичъ Майковъ погибшій, къ сожалѣнію, преждевременно, на котораго Вѣлискій указывалъ, какъ на своего преемника.

Салонницы, богатый и прекрасно образованный человек, занимавшийся воспитаніемъ молодыхъ Майковыхъ по искренней дружбѣ, связывавшей его съ родителями. Салонницы былъ страстнымъ охотникомъ до всякихъ домашнихъ торжествъ, предпріятій и затѣй, и потому, желая вѣроятно поощрить своихъ юныхъ воспитанниковъ къ занятіямъ литературою (и въ томъ, и въ другомъ замѣчалась большая склонность къ поэзіи), онъ задумалъ издавать въ домашнемъ кружкѣ Майковыхъ небольшой журналъ, принявъ на себя и переплетаніе, и переписываніе его отдѣльныхъ номеровъ¹⁾. Въ этомъ то журналѣ, появились, если не ошибаемся, первые литературные опыты Гончарова, въ видѣ двухъ небольшихъ, тщательно отдѣланныхъ эпизодическихъ рассказовъ юмористическаго содержанія²⁾. Затѣмъ, въ началѣ сороковыхъ годовъ, Гончаровъ, помѣщавшій отъ времени до времени свои переводныя статьи въ современныхъ журналахъ и постоянно трудившійся надъ пополненіемъ своего образованія, приступилъ наконецъ къ созданію своего перваго крупнаго произведенія—„Обыкновенной Исторіи“, этой скорбной повѣсти юношескихъ увлеченій, охлаждаемыхъ суровымъ опытомъ нашей тогдашней русской жизни, низводившей молодыхъ людей отъ мечтаній о прогрессѣ и совершенствованіи къ идеалу чиновничьяго формализма. Вторая часть „Обыкновенной Исторіи“, не была еще окончена авторомъ, когда первая, черезъ посредство одного пріятеля, попала въ руки Бѣлинскаго, и удостоилась съ его стороны самыхъ горячихъ похвалъ и одобреній. Онъ побуждалъ молодого писателя къ окончанію его произведенія и собирался помѣстить „Обыкновенную Исторію“ въ томъ журналѣ, который самъ думалъ издавать въ 1847 году, и который стали издавать Панаевъ и Некрасовъ; туда же перешли и всѣ статьи, собранныя Бѣлинскимъ для его предполагаемаго журнала: въ числѣ ихъ, редакторами Со-

временника приобрѣтена была отъ автора и „Обыкновенная Исторія“, напечатанная въ Современникѣ въ томъ же 1847 году.

Одновременно съ „Обыкновенной Исторіей“ въ головѣ ея автора смутно носился и другой образъ, медленно и спокойно складывался планъ и другого произведенія, окончательно упрочившаго впоследствии литературную извѣстность Гончарова. Мы говоримъ объ его „Обломовѣ“, котораго первые отрывки были помѣщены въ „Иллюстрированномъ Альбомѣ“, при Современникѣ 1838—49 г. подъ заглавіемъ: „Сонъ Обломова“, между тѣмъ какъ все произведеніе выдано было въ свѣтъ лѣтъ десять спустя³⁾.

Въ 1852 году Гончаровъ получилъ отъ морскаго министерства предложеніе отправиться въ кругосвѣтное плаваніе, въ качествѣ секретаря при адмиралѣ Путятинѣ, для заключенія торговаго трактата съ Японіей. Гончаровъ согласился на это предложеніе, и отправился кругомъ свѣта на фрегатѣ Паллада, продолжая обдумывать и обрабатывать своего „Обломова“, и набираясь въ тоже время новыхъ, свѣжихъ впечатлѣній. Результатомъ долгаго и труднаго плаванія, закончившагося еще болѣе труднымъ путешествіемъ по горамъ и степямъ Сибири, были сначала отдѣльные отрывки изъ общаго описанія всего путешествія, которые Гончаровъ, по возвращеніи, печаталъ въ разныхъ журналахъ, а потомъ и полное, высоко-художественное описаніе всего путешествія, изданное Гончаровымъ въ двухъ большихъ томахъ (въ 1856 и 1857 г.), подъ заглавіемъ „Фрегатъ Паллада“.

Но ни яркія впечатлѣнія путешествія, ни многосложныя служебныя занятія, которымъ авторъ долженъ былъ предаться по возвращеніи въ Петербургъ—ничто не могло отклонить Гончарова отъ окончанія его любимаго и давно-выношеннаго труда, и вотъ въ 1857 году, онъ отправился на воды за границу, и здѣсь, въ Карлсбадѣ, дописалъ

¹⁾ Онъ былъ на всѣ руки мастеръ: отличный каллиграфъ и переплетчикъ. Рисунки этотъ журналъ снабжалъ самъ Н. А. Майковъ и другіе. Этотъ любопытный журналъ сохранился и бережется въ семьѣ Майковыхъ, какъ святыня. ²⁾ За сообщеніе этихъ подробностей мы приносимъ глубокую благодарность Л. Н. Майкову. ³⁾ Около того же времени, т. е. въ 1848—49 гг., напечатанъ былъ въ Современникѣ Гончаровымъ небольшой, но чрезвычайно живой и забавный очеркъ Петербургскихъ чиновничьихъ нравовъ, подъ заглавіемъ: Иванъ Савичъ Поджабричъ, впоследствии перепечатанный въ одномъ изъ томовъ Сборника «Для Легкаго Чтенія».

всего „Обломова“, котораго, собственно говоря, до той поры, окончена была только первая часть. Весь романъ явился автору въ такой степени сложившимся, такъ цѣльно-созрѣвшимъ въ его сознаниі, что быстро-та написанія всего, весьма объемистаго творенія, способна была бы изумить всякаго, незнакомаго съ обычнымъ способомъ творчества Гончарова, много лѣтъ сряду обдумывающаго свои созданія и приступающаго къ написанію ихъ лишь незадолго до ихъ выпуска въ свѣтъ. Такъ было и съ Обломовымъ: почти десять лѣтъ сряду онъ составлялъ главную задачу литературной жизни автора, и почти весь (кроме первой части) былъ написанъ въ 47 дней! Гончаровъ писалъ его, не отрываясь, и такъ спѣшилъ его окончить, какъ будто не надѣялся дожить до возможности увидѣть свой трудъ въ печати!... Наконецъ, Обломовъ, давно ожидаемый публикою, явился на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“ (1858 и 1859 г.), и произвелъ чрезвычайно сильное впечатлѣніе на публику, даже въ то, богатое впечатлѣніями, время начала нынѣшняго царствованія. Больше всего поражало всѣхъ то искусство, съ которымъ авторъ умѣлъ сочетать въ превосходномъ и художественно-цѣломъ типѣ Обломова всѣ непривлекательныя стороны характера, выработаннаго неказистою русскою дѣйствительностью, барствомъ и захолустною апатіей помѣщичьяго быта, со всѣми лучшими и наиболѣе привлекательными сторонами кореннаго русскаго человѣка... Къ тому же, рядомъ съ Обломовымъ, представлявшимъ собою типъ оживляющаго прошлаго, Гончаровъ выставилъ Ольгу, другой, прекрасный типъ русской женщины, и въ лицѣ ея всѣмъ представлялось то наступающее, лучшее будущее ближайшихъ поколѣній, во главѣ которыхъ должны были явиться матерями женщины, подобныя Ольгѣ.

Затѣмъ, Гончаровъ приступилъ къ окончанію другаго большаго романа, задуманнаго имъ почти одновременно съ Обломовымъ (въ 1849 г.). Служебныя занятія и другія обязанности петербургской жизни постоянно отрывали его отъ этого литературнаго труда и не давали ему возможности сосредоточить на немъ все вниманіе... Онъ писалъ его урывками, по отдѣльнымъ главамъ, оставляя его на долго, возвращаясь опять къ

нему, и наконецъ успѣшилъ его закончить въ 1868 г.; романъ подъ заглавіемъ „Обрывъ“, вышелъ въ свѣтъ въ 1868—1869 гг., въ теченіи которыхъ онъ печатался въ „Вѣстникѣ Европы“, и потомъ отдѣльною книгою въ 1870 году.

Съ того времени Гончаровымъ былъ напечатанъ только одинъ небольшой критическій очеркъ о Горѣ отъ ума подъ заглавіемъ: „Милліонъ терзаній!“ (помѣщ. въ „Вѣстникѣ Европы“ за 1871 г.). Въ этомъ очеркѣ талантливому автору Обломова удалось бросить совершенно новый взглядъ на гениальное произведеніе Грибоедова, и указать на нѣкоторыя черты въ характерѣ Чацкаго, до того неподмѣченныя никѣмъ изъ нашихъ критиковъ.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился 28 октября 1818 года, въ Орлѣ. Онъ относится, по происхожденію, къ старинной дворянской фамиліи; изъ числа историческихъ лицъ, принадлежащихъ къ его фамиліи, особенно замѣчательны двое: тотъ Петръ Тургеневъ, который обличилъ Іже-Дмитрія, и за это обличеніе былъ въ тотъ же день казненъ на Лобномъ мѣстѣ въ Москвѣ, и тотъ Яковъ Тургеневъ, извѣстный шутъ Петра Великаго, которому въ новый 1700 годъ, пришлось обрѣзывать ножницами бороды бояръ.

Отецъ Ивана Сергѣевича, Сергѣй Николаевичъ Тургеневъ, служилъ въ Елисаветградскомъ кирасирскомъ полку, который квартировалъ тогда въ Орлѣ, и тамъ же женился на Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Сергѣй Николаевичъ вышелъ въ отставку полковникомъ и скончался въ 1835 году, когда Ивану Сергѣевичу пошелъ семнадцатый годъ; мать Ивана Сергѣевича дожила до глубокой старости и скончалась въ 1850 г. (на 70 году отъ роду).

Иванъ Сергѣевичъ—средній изъ трехъ сыновей Сергѣя Николаевича. Въ раннемъ дѣтствѣ и въ юности, жизнь его подвергалась неоднократно большимъ опасностямъ. Когда, въ 1820 году, все семейство Тургеневыхъ отправилось за границу, и посѣтило, между прочимъ Швейцарію, то четырехлѣтній Иванъ Сергѣевичъ, при осмотрѣ извѣстной Бернской медвѣжьей ямы, чуть было не провалился туда: — отецъ едва успѣлъ выта-

щить его оттуда, во-время ухватить за ногу⁴⁾.

По возвращеніи изъ этого путешествія за границу, семейство Тургеневыхъ на долго поселилось въ родовомъ своемъ имѣніи, Мценскаго уѣзда Орловской губ. Тутъ пятилѣтній Иванъ Сергѣевичъ былъ окруженъ

на Сергѣевича, страстный чтецъ и поклонникъ Хераскова, ознакомилъ своего барича съ Россіядой, которая и была одною изъ первыхъ русскихъ книгъ, прочтенныхъ Иваномъ Сергѣевичемъ.

Въ 1828 году родители Тургенева пе-



Ав. Яковлевъ.

учителями и воспитателями различныхъ націй; но въ числѣ его учителей и воспитателей не было ни одного русскаго. Первое знакомство съ русскими книгами и съ русскою поэзіею пришло къ нему прямо изъ народа:—крѣпостной человекъ матери Ива-

селились въ Москву, и въ 1834 году Иванъ Сергѣевичъ поступилъ въ московскій университетъ; но пробылъ здѣсь не долго, и на слѣдующій же годъ перешелъ въ Петербургскій, гдѣ и окончилъ курсъ по филологическому факультету, кандидатомъ.

⁴⁾ Въ другой разъ, отправляясь за-границу, уже 20-ти лѣтнимъ юношей, Иванъ Сергѣевичъ чуть не погибъ во время пожара парохода «Николай I», близъ Трапезниде.

Первые литературные опыты были однако же сдѣланы Тургеневымъ ранѣ окончаніе курса, и попали въ печать черезъ посредство Плетнева, который сумѣлъ отличить будущаго писателя въ толпѣ его товарищей. Вотъ какъ самъ Тургеневъ рассказываетъ объ этомъ въ своихъ Воспоминаніяхъ. „Въ началѣ 1837 г., я, будучи третьекурснымъ студентомъ С.-Петербургскаго университета.... представилъ на разсмотрѣніи профессора Русской Словесности, П. А. Плетнева одинъ изъ первыхъ плодовъ моей музы — какъ говорилось въ старину, — фантастическую драму въ пятистопныхъ ямбахъ, подъ заглавіемъ „Стеніо“. Въ одну изъ слѣдующихъ лекцій, П. А., не называя меня по имени, разсказалъ, съ обычнымъ своимъ благодушіемъ, это совершенно негѣлое произведение, въ которомъ, съ дѣтскою неумѣлостью, выражалось рабское подражаніе Байроновскому Манфреду. Выходя изъ зданія университета и увидѣвъ меня на улицѣ, онъ подозвалъ меня къ себѣ и отечески пожурилъ меня, при чемъ однако замѣтилъ, что во мнѣ что-то есть! Эти два слова, возбудили во мнѣ смѣлость отнести къ нему нѣсколько стихотвореній; онъ выбралъ изъ нихъ два, и, годъ спустя, напечаталъ ихъ въ „Современникѣ“, который унаслѣдовалъ отъ Пушкина. Заглавія второго не помню; но въ первомъ воспѣвался „Старый Дубъ“, и начинилось она такъ:

Маститый царь лѣсовъ кудрявой головою
Склонился старый дубъ надъ соннымъ гладию водъ
и т. д.

По окончаніи курсъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, весною 1838 года, Тургеневъ отправился „доучиваться“ въ Берлинъ. „Мнѣ было всего 19 лѣтъ“; — разсказываетъ онъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ — „объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей С.-Петербургскаго Университета не было ни одного, который-бы могъ поколебать въ мнѣ это убѣжденіе; впрочемъ они сами были имъ проникнуты; его придерживалось и министерство, въ главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ, пославшій на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты.

Въ Берлинѣ я пробылъ (въ два прѣзда) около двухъ лѣтъ. Я занимался философіей, древними языками, исторіей, и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера. Въ доказательство того, какъ недостаточно было образованіе, получаемое въ то время въ нашихъ высшихъ заведеніяхъ, приведу слѣдующій фактъ: я слушалъ въ Берлинѣ Латинскія древности у Цумпта, Исторію Греческой Литературы у Бѣка — а на дому принужденъ былъ зубрить латинскую грамматикъ и греческую, которыя зналъ плохо. И я былъ не изъ худшихъ кандидатовъ“.

Сообщая эти подробности о своемъ пребываніи въ Берлинѣ, Тургеневъ въ то же время даетъ возможность взглянуть очень глубоко въ его тогдашнее нравственное настроеніе, указываетъ на результаты, вынесенные имъ изъ пребыванія за границей, и на тотъ путь, которымъ сложились убѣжденія, руководившія въ теченіе всей жизни его литературною и общественною дѣятельностью.

„Стремленіе молодыхъ людей — моихъ сверстниковъ — за-границу (замѣчаетъ Тургеневъ въ „Воспоминаніяхъ“) напоминало исканіе славянами начальниковъ у заморскихъ варяговъ. Каждый изъ насъ точно также чувствовалъ, что его земля (я говорю не объ отечествѣ вообще, а о нравственномъ и умственномъ достоинствѣ cadaго) велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ. Могу сказать о себѣ, что лично я весьма ясно сознавалъ всѣ невыгоды подобнаго отторженія отъ родной почвы, подобнаго насильственнаго перерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣпившихъ меня къ тому быту, среди котораго я выросъ... но дѣлать было нечего. Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ — полоса помѣщичья, крѣпостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удерживать меня. Напротивъ: почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія — отпращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надобно было либо покориться и смиренно побрѣсти общей колеей, по избитой дорогѣ; либо отвергнуть разомъ, оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся“, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему

сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я бросился внизъ головою въ „Нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ—я всетаки очутился „Западникомъ“, и остался имъ навсегда“.

Изъ-за-границы Тургеневъ вернулся въ 1841 г. не прямо въ Петербургъ, а сперва въ Москву, гдѣ жила его мать. Здѣсь познакомился онъ съ славянофилами: Аксаковымъ, Хомяковымъ, Кирѣевскими. Тогда славянофильство только что нарождалось, только что начинало заявлять о своемъ существованіи — но Тургеневъ, при тѣхъ западническихъ убѣжденіяхъ, о которыхъ мы только что упоминали выше, и тогда уже отнесся къ нему отрицательно.

Должно быть, однакоже, попытки идти „общей колеей“, были сдѣланы и Тургеневымъ, потому что, по возвращеніи въ Петербургъ, мы видимъ его поступающимъ на службу: онъ, ни мало не нуждаясь въ службѣ, Богъ вѣсть почему и для чего, около года состоялъ однакоже при канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ... Но попытки эти не приводятъ ни къ чему — и не смотря на самыя неблагоприятныя условія, въ какія была поставлена наша литература въ началѣ 40-хъ годовъ, Тургеневъ вскорѣ всею душою предается литературѣ... Начало его литературнаго поприща тоже неразрывно связано съ именемъ Бѣлинскаго, какъ и все то, что сколько-нибудь выходило изъ общаго литературнаго уровня, въ періодъ дѣятельности этого замѣчательнаго критика.

„Около Пасхи 1843 года“, — пишетъ Тургеневъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ — „въ Петербургѣ произошло событіе, и само по себѣ крайне незначительное, и давнымъ давно поглощенное общимъ забвеніемъ. А именно: появилась небольшая поэма нѣкого Т. Л., подъ названіемъ „Параша“. — Этотъ Т. Л. былъ я; этой поэмой я вступилъ на литературное поприще“... „Въ день отъѣзда изъ Петербурга въ деревню я сходилъ къ Бѣлинскому (я зналъ, гдѣ онъ жилъ, но не посѣщалъ его, и всего два раза встрѣтился съ нимъ у знакомыхъ), и, не назвавшись, оставилъ его человѣку одинъ экземпляръ. Въ деревнѣ я пробылъ около двухъ мѣсяцевъ и, по-

лучивъ майскую книжку „Отечественныхъ Записокъ“, прочелъ въ ней длинную статью Бѣлинскаго о моей поэмі. Онъ такъ благосклонно отозвался обо мнѣ, такъ горячо хвалилъ меня, что, помнится, я почувствовалъ больше смущенія, чѣмъ радости. Я не „могъ по вѣрить“, и когда, въ Москвѣ, покойный И. В. Кирѣевскій подошелъ ко мнѣ съ поздравленіями, я поспѣшилъ отвязаться отъ своего дѣтища, утверждая, что сочинитель „Параша“ не я. Возвратившись въ Петербургъ, я, разумѣется, отправился къ Бѣлинскому, и знакомство наше началось“...

„Вскорѣ послѣ (начала) моего знакомства съ нимъ, его снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе одностороннее, не даютъ покоя человѣку, особенно въ молодости: философскіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души. и т. п. Не будучи знакомъ ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ (онъ даже по французски читалъ съ великимъ трудомъ) и не находя въ русскихъ книгахъ ничего, что могло-бы удовлетворить его пылчивость, Бѣлинскій поневолѣ долженъ былъ прибѣгать къ разговорамъ съ друзьями, къ продолжительнымъ толкамъ, сужденіямъ и распросамъ... Со мной онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ занимался гегелевскою философіею и былъ въ состояніи передать ему самыя свѣжіе, послѣдніе выводы. Мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и вѣрность философскихъ и метафизическихъ выводовъ, хотя ни онъ, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на нѣмецкій манеръ...“

Бывало, какъ только я приду къ нему, онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаленіе въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ встанетъ съ дивана, и, едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную накануне бесѣду“...

...„Что касается собственно до меня, то

должно сказать, что Бѣлинскій, послѣ перваго привѣтствія, сдѣланнаго моею литературной дѣятельности, весьма скоро — и совершенно справедливо, — охладѣлъ къ ней: не могъ же онъ поощрять меня въ сочиненіи тѣхъ стихотвореній и поэмъ, которымъ я тогда предавался. Впрочемъ, я скоро догадался самъ, что не предстояло никакой надобности продолжать подобныя упражненія — и возмѣнилъ твердое намѣреніе вовсе оставить литературу; только вслѣдствіе просьбы И. И. Панаева, не имѣвшаго чѣмъ заполнить отдѣлъ смѣси въ 1-мъ номерѣ „Современника“, я оставилъ ему (уѣзжая въ концѣ 1846 г. изъ Петербурга) очеркъ, озаглавленный „Хоръ и Балинычъ“. (Слова изъ Записокъ Охотника) были придуманы и прибавлены тѣмъ же И. И. Панаевымъ, съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію). Успѣхъ этого очерка ¹⁾ побудилъ меня написать другіе; и я возвратился къ литературѣ.

„Записки Охотника“ и нѣкоторая часть мелкихъ повѣстей и разсказовъ Тургенева, написанныхъ между 1844 — 1850 гг., вскорѣ доставили ему громкую литературную извѣстность, которая однакоже не могла примирить его съ Россіею конца 40-хъ годовъ: ему жилось въ ней такъ тяжело и грустно, что въ 1843 году онъ совсѣмъ было рѣшился оставить Россію и остаться навсегда за границей. Грустное чувство, которое имъ невольно овладѣвало при мысли объ этомъ рѣшеніи, отразилось и на большей части „Записокъ Охотника“ (написанныхъ за границей, преимущественно въ Парижѣ): — особенно замѣтно это настроеніе въ описаніяхъ и картинахъ природы, которую Тургеневъ не полагалъ увидѣть болѣе. Самъ Тургеневъ замѣчаетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ что „конечно не написалъ-бы „Записокъ Охотника“, если бы остался въ Россіи, „и въ этомъ ощущеніи своемъ замѣчательно сходится съ Гоголемъ, который почти въ тоже время писалъ свои лучшія страницы о Россіи, „изъ прекраснаго далека“.

Въ самомъ началѣ 50-хъ годовъ, слѣдовательно около того времени, когда талантъ Тургенева успѣлъ уже вполне развиться и

окрѣпнуть, а литературная извѣстность его упрочиться — ему пришлось, какъ Пушкину, провести два года въ деревенскомъ уединеніи, которое, по его собственному сознанию, принесло ему свою долю пользы. Поводомъ къ удаленію въ деревню была статья, написанная Тургеневымъ тотчасъ по полученіи извѣстія о смерти Гоголя. Статья эта, не пропущенная Петербургскою цензурою, было пропущена Московскою, и появилась въ Московскихъ Вѣдомостяхъ (въ мартѣ 1852 г.). Обстоятельства сложились такъ неудачно, что этотъ случайный фактъ былъ истолкованъ „какъ нарушеніе цензурныхъ правилъ и ослушаніе имъ“ — и Тургеневъ „посажень на мѣсяцъ подъ арестъ въ части, а потомъ отправленъ на жительство въ деревню, гдѣ и пробылъ два года“. „Но все къ лучшему,“ — замѣчаетъ Иванъ Сергѣевичъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“, — „пробываніе подъ арестомъ и въ деревнѣ принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно облизало меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно ускользнули бы отъ моего вниманія“.

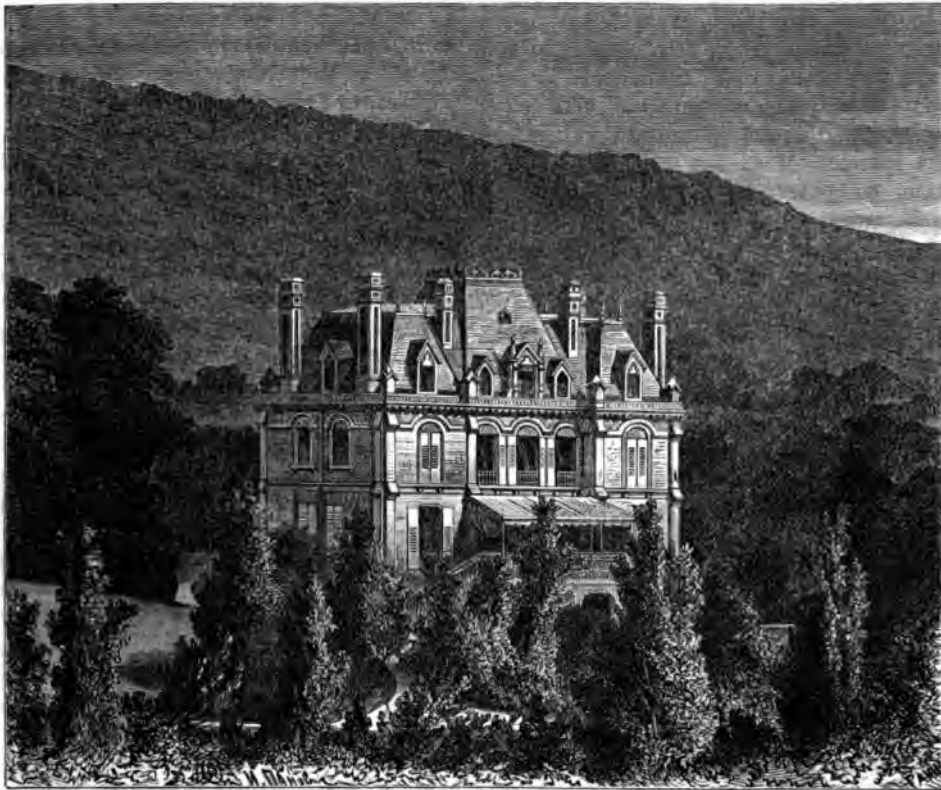
И дѣйствительно, уединеніе придавало еще болѣе зрѣлости и силы таланту Тургенева; съ половины 50-хъ годовъ и до половины 60-хъ имъ были написаны лучшія его произведенія — „Рудинъ“ (1855) „Дворянское гнѣздо“ (1858) и наконецъ „Отцы и дѣти“ (1862). Мастерски набросанные и художественно воспроизведенные типы мечтателя Рудина, Лизы и Елены доставили Тургеневу такое положеніе въ средѣ нашихъ писателей, какого немногимъ до него удавалось достигнуть. Онъ сталъ положительно идоломъ всей молодежи, которая жадно читала все, выходившее изъ подъ пера его, и — увы! — многому, написанному Тургеневымъ, придавала особое значеніе по отношенію къ той эпохѣ реформъ нынѣшняго царствованія, которая тогда только что начиналась.... Но у этого увлеченія, у этой громкой славы Тургенева явились свои, очень тягостныя терніи... Вотъ что по этому поводу разсказываетъ самъ Иванъ Сергѣевичъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“.... „Я бралъ ванны въ Вентворѣ, маленькомъ го-

¹⁾ Бѣлинскій, въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Тургеневу, писалъ ему: „Хоръ общается въ васъ замѣчательнаго писателя — въ будущемъ“.

къ Тургеневу, писалъ ему: „Хоръ общается въ

родкѣ на островѣ Вайтъ — это было въ августѣ 1860 г., — когда мнѣ пришла въ голову первая мысль „Отцовъ и Дѣтей“, этой повѣсти, по милости которой прекратилось и кажется, навсегда—благосклонное расположеніе ко мнѣ русскаго молодого поколѣнія. Не однажды слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что я, въ моихъ произведеніяхъ, „отправляюсь отъ

разившая меня личность молодого провинціальнаго врача (онъ умеръ незадолго до 1860 г.). Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось — на мои глаза — то, едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно; я, на пер-



Вилла Тургенева, въ Бадень-Баденѣ.

идей“, или „провожду идею“; иные меня за это хвалили, другіе, напротивъ, порицали; съ своей стороны я долженъ сознаться, что никогда не покушался „создавать образъ“, если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лице, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы. Точно тоже произошло и съ „Отцами и Дѣтьми“; въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна по-

выхъ порахъ, самъ не могъ хорошенько отдать себѣ въ немъ отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, какъ бы желая повѣрить правдивость собственныхъ ощущеній. Меня смущалъ слѣдующій фактъ: ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣчалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду; поневолѣ возникло сомнѣніе: ужъ не за призракомъ-ли я гонюсь“...

Но результатомъ всѣхъ этихъ исканій и сомнѣній былъ типъ Базарова, въ которомъ Тургеневъ, съ поразительною вѣрностью угадавъ „вѣянья новой эпохи“, представилъ „новаго человека въ самый моментъ его появленія“ — и представилъ критически... Типъ этотъ никѣмъ не былъ понятъ, и поднялъ страшную бурю противъ автора во всѣхъ, самыхъ противоположныхъ литературныхъ лагеряхъ.

„Я испытывалъ тогда впечатлѣнія“, — говоритъ Тургеневъ — „хотя разнородныя, по одинаково тягостныя. Я замѣчалъ холодность, доходящую до негодованія, во многихъ мнѣ близкихъ и симпатическихъ людяхъ; я получалъ поздравленія, чуть не лобызанія отъ людей противнаго мнѣ лагерь, отъ враговъ. Меня это конфузило... огорчало; но совѣсть не упрекала меня; я хорошо зналъ, что я честно отнесся къ выведенному мною типу“. Хотя въ своемъ отвѣтѣ на критики, по поводу „Отцовъ и Дѣтей“, Тургеневъ и замѣчаетъ, что „точное и сильное воспроизведеніе истины, реальности жизни—есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадаетъ съ его собственными симпатіями“—однакоже впечатлѣніе, произведенное на общество „Отцами и Дѣтьми“, различныя, болѣе или менѣе кривыя истолкованія этой повѣсти, и все то, что такъ громко и многословно писалось и высказывалось въ обществѣ по поводу новаго типа (Базарова), созданнаго Тургеневымъ, подѣйствовало на него очень неблагоприятно и, какъ кажется, въ значительной степени способствовало поселенію Ивана Сергѣевича за границей. Въ 1863 году Иванъ Сергѣевичъ купилъ себѣ участокъ земли въ Баденъ-Баденѣ, построилъ на немъ домъ, и прожилъ тамъ до 1870 г.

По окончаніи прусско-французской войны Тургеневъ покинулъ Баденъ-Баденъ, продалъ свое тамошнее владѣніе, и временно основался въ Парижѣ, откуда онъ, точно также, какъ и изъ Баденъ-Бадена, ежегодно прѣзжаетъ въ Россію.

Долговременное пребываніе Ивана Сергѣевича за-границей и его обширныя литературныя связи въ Германіи и Франціи много способствовали тому, чтобы имя его, какъ писателя, приобрѣло, въ большей части Европы, такую же громкую и почетную извѣстность, какою оно пользуется въ Россіи. Со-

чиненія его давно переведены на французскій, нѣмецкій и англійскій языки. Французы — какъ намъ самимъ довелось это слышать—говорятъ съ гордостью, что имя Тургенева на столько же принадлежитъ французской литературѣ, на сколько и русской...

Александръ Николаевичъ Островскій родился въ Москвѣ 31 марта 1823 г. Отецъ его, Николай Θεодоровичъ Островскій, потомственный дворянинъ, состоялъ на службѣ при гражданскомъ судѣ, а потомъ, покинувъ службу, занимался ходатайствомъ по частнымъ дѣламъ. Это занятіе и доставляло ему средства, по тому времени достаточныя; жилъ онъ въ Замоскворѣчѣ, въ собственномъ небольшомъ домикѣ... Но семья возрастала быстро, и семейный бытъ Николая Θεодоровича былъ весьма скромнъ. Только уже второю женитьбою, на баронессѣ Т., удалось Николаю Θεодоровичу настолько поправить свое состояніе, что онъ и многочисленную семью свою сумѣлъ поднять на ноги, и дѣтямъ своимъ могъ кое-что оставить.

Александръ Николаевичъ былъ старшимъ изъ трехъ сыновей отъ перваго брака. Воспитанія домашняго не получилъ онъ рѣшительно никакого. При дѣтяхъ Николая Θεодоровича, правда, числился въ воспитателяхъ какой-то семинаристъ, потомъ еще и какой-то малороссъ-учитель, по фамилии Тарасенко, но, собственно говоря, ни тотъ, ни другой изъ этихъ педагоговъ не оказали на развитіе будущаго драматурга никакого вліянія. Матери Островскій лишился въ раннемъ дѣтствѣ; отецъ его былъ постоянно занятъ своими дѣлами, и его дѣтямъ—какъ и большинству дѣтей, въ русскихъ семействахъ средняго класса, въ то время—приходилось вырастать на просторѣ и свободѣ, внѣ всякихъ стѣсненій и внѣ всякихъ системъ.

Дальнѣйшее воспитаніе и первоначальное образованіе пришлось получить А. Н. Островскому въ первой московской гимназіи, которая тоже, въ ту пору, немного могла ему дать свѣдѣній, тѣмъ болѣе, что и онъ, подобно множеству русскихъ даровитыхъ натуръ, принадлежаніемъ не отличался. Однакоже курсъ въ гимназіи онъ кончилъ, благополучно перешелъ потомъ въ

университетъ и поступилъ на факультетъ юридическій. Но тутъ ему курсъ кончить не удалось: вышли у него какія-то непріятности съ профессоромъ К., и онъ покинулъ университетъ, прослушавъ въ немъ только три курса. Это было, если мы не ошибаемся, въ 1843 году. Пришлось, конечно, поступить на службу, и молодой Островскій опредѣлился коллежскимъ регистраторомъ въ московскій коммерческій судъ.

Только зная всѣ эти обстоятельства, можно отчасти понять, почему именно

и дала ему возможность взглянуть на общую картину уже хорошо извѣстнаго ему быта съ новой и весьма важной точки зрѣнія. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ дѣтства и юности, проведенныхъ въ Замоскворѣчѣ, и первымъ литературнымъ опытомъ Островскаго были, весьма естественно, „Сцены изъ Замоскворѣцкой жизни“ и „Очерки Замоскворѣчья“ — помѣщенные въ 1847 году въ современныхъ журналахъ; подъ несомнѣннымъ впечатлѣніемъ службы въ коммерческомъ судѣ явилась, три



Островскій.

талантъ Островскаго проявился въ цѣломъ рядѣ произведеній, заимствованныхъ именно изъ быта купеческаго. Съ дѣтства живя въ Замоскворѣчѣ, среди сплошнаго купеческаго населенія, и въ домѣ отца постоянно встрѣчая купцовъ, приходившихъ къ нему толковать о дѣлахъ своихъ, молодой Островскій, вѣроятно, уже очень рано успѣлъ близко ознакомиться съ московскимъ купеческимъ бытомъ и глубоко вникнуть въ его различныя стороны. Служба въ коммерческомъ судѣ открыла новое поле для наблюденій

года спустя, первая и лучшая изъ комедій Островскаго: „Свои люди—сочтемся“—мрачная эпопея одного изъ множества злостныхъ банкротствъ. Эта комедія, напечатанная въ Москвитинѣ за 1850 г., обратила на себя всеобщее вниманіе: всѣ были поражены зрѣлостью таланта молодого автора и полнотою, цѣльностью его произведеній. На сцену комедія въ то время не попала, и несмотря на то, что, подобно всякому драматическому произведенію, и эта комедія Островскаго очень много теряла въ чте-

ни: — ее все читали с большим удовольствием, сознавая, что сравнивать ее можно было только с комедиями Гоголя. Важною стороною этой комедии являлось еще и то, что автору ей впервые удалось приподнять край той завѣсы, которая дотоле скрывала отъ всехъ совершенно особый, своеобразный и на-глухо замкнутый всякому наблюдению быть такого обширного и важнаго въ нашемъ обществѣ сословія, какъ купечество.. Попытка вывести на сцену этотъ новый общественный элементъ и представить его во всей полнотѣ его нравственнаго безобразія была до такой степени смѣлою, представляла собою нечто такое невиданное въ литературѣ, что многіе изъ выведенныхъ Островскимъ характеровъ показались преувеличенными, измышлениями автора, совершенно невозможными, несуществующими въ дѣйствительности. Самое окончаніе комедии „Свои люди—сочтемся“, въ которомъ плутватый зять (Подхалюзинъ), разбогатѣвшій черезъ плутни тестя (Большова), преспокойно засаживаетъ его въ яму, и потомъ обращается къ публикѣ съ приглашеніемъ зайти въ его „магазинчикъ“, увѣряя, что тамъ „и малаго ребенка въ луковницѣ не обочтутъ“—самое это окончаніе, исполнѣ характерное, органически связанное со всемъ ходомъ пьесы, многимъ показалось въ такой степени чудовищнымъ, что Островскій нашелъ себя вынужденнымъ въслѣдствіи измѣнить конецъ своей комедіи, и вставить сцену, въ которой очень некстати является добродѣтельный квартальный, непринимавшій „благодарность“ отъ Подхалюзина, и порочный зять несетъ не себѣ одинакую кару съ порочнымъ тестемъ.

Но эта комедія была только блестящимъ началомъ цѣлаго ряда прекрасныхъ произведеній Островскаго, въ которыхъ широко и сильно проявился замѣчательный талантъ молодого автора, и выказалось глубокое знаніе того міра, изъ котораго онъ почерпалъ содержаніе для своихъ комедій. Въ теченіе семи лѣтъ, послѣ первой своей комедіи, Островскій написалъ еще восемь¹⁾ большихъ комедій, напечатанныхъ въ Москвитянинѣ, въ Русской Бесѣдѣ и въ Библіо-

текѣ для чтенія (1852—1859 гг.) и, сверхъ того, печаталъ, въ тоже время, въ другихъ журналахъ отдѣльныя сцены, представляющія собою какъ-бы этюды, какъ-бы разрозненные части одной большой картины.

Въ этомъ длинномъ рядѣ произведеній, Островскій, почти вездѣ, рисуетъ очень мрачную картину семейной жизни и общественной дѣятельности того слоя купечества, въ который еще не проникли живые лучи цивилизаціи, и которому знакомы еще только очень немногія, чисто-внѣшнія проявленія ея и признаки. Мастерски рисуетъ онъ намъ картину того поразительнаго застоя и апатіи, среди котораго вырастаютъ, старѣются и коснѣютъ цѣлыя поколѣнія, не обращающія вниманія на поступательное движеніе вѣка, устроивая и располагая свою жизнь по тому же плану, по которому жили отцы и дѣды, стѣсняя ее въ такіе рамки, которыя уже рѣшительно не пригодны для современности и основывая свои узкіе идеалы на обычаяхъ и предразсудкѣ. При этомъ, по справедливому замѣчанію современнаго критика, „Островскій умѣетъ заглядывать въ глубь души человѣка, умѣетъ отличать натуру отъ всехъ извнѣ принятыхъ уродствъ и варостовъ; оттого внѣшній гнетъ, тяжесть всей обстановки, давящей человѣка, чувствуются въ его произведеніяхъ гораздо сильнѣе, чѣмъ во многихъ разсказахъ, страшно мутительныхъ по содержанію, но внѣшнею, официальною стороною совершенно заслоняющихъ внутреннюю человѣческую сторону²⁾).

Изъ всехъ натуръ, разборъ которыхъ занимается въ своихъ комедіяхъ Островскій, ему болѣе всего ярко и живо удалось, съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ, обрисовать типъ самодура, который, въ томъ или другомъ видѣ, занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ во всехъ комедіяхъ Островскаго. Ему исполнѣ принадлежитъ честь созданія этого типа въ нашей литературѣ, въ которой, до него, никогда и никто изъ нашихъ писателей не принимался за изученіе такого рода характеровъ, между тѣмъ какъ большая часть пьесъ Островска-

¹⁾ «Бѣдная Невѣста»; «Не въ свои сани не садись»; «Бѣдность не порокъ»; «Не такъ живи какъ хочется»; «Въ чужомъ пиру похмѣлье»; «Доходное мѣсто»; «Воспитанница»; «Гроза». ²⁾ Добролюбовъ, Соч. III, 26.

го основана именно на проявленіяхъ самодурства въ семейной и общественной средѣ, на изученіи тѣхъ явленій, которыя оно и тутъ, и тамъ производитъ, и на описаніи той страшной, часто вѣдомой, но всегда непримиримой борьбы, которую приходится выдерживать противъ самодурства свѣжимъ, молодымъ, недюжиннымъ натурамъ. „Комедіи Островскаго“—замѣчаетъ тотъ же критикъ— „не проникаетъ въ высшіе слои нашего общества, а ограничивается только среднимъ;... дѣятельность общественная также мало затронута въ комедіяхъ Островскаго; за то у Островскаго чрезвычайно полно и рельефно выставлены два рода отношеній—отношенія семейныя и отношенія по имуществу. Немудрено, по этому, что сюжетъ и самыя названія его пьесъ вертятся около семьи, жениха, невѣсты, богатства и бѣдности. Драматическія коллизіи и катастрофы въ пьесахъ Островскаго происходятъ вслѣдствіе столкновенія двухъ партій—старшихъ и младшихъ, богатыхъ и бѣдныхъ, своевольныхъ и безответныхъ“... Недаромъ, тотъ же талантливый критикъ, посвящая разборъ и истолкованію комедій Островскаго цѣлый рядъ замѣчательныхъ статей, — далъ имъ одно заглавіе: „Темное царство“—разумѣя подъ этимъ общимъ названіемъ всю ту среду, изъ которой Островскій почерпаетъ содержаніе своихъ произведеній.

Изъ всѣхъ комедій, написанныхъ Островскимъ до 1859 года, особенное вниманіе обратили на себя его пьесы: „Бѣдность не порокъ“, „Не въ свои сани не садись“ и, преимущественно „Гроза“, въ которой характеръ Катерины, глубоко-обдуманнѣйшій и прочувствованнѣйшій авторомъ, приводилъ всѣхъ въ неописанный восторгъ. „Характеръ Катерины— замѣчаетъ тотъ же критикъ — „какъ онъ исполненъ въ „Грозѣ“, составляетъ шагъ впередъ не только въ драматической дѣятельности Островскаго, но и во всей нашей литературѣ. Онъ соответствуетъ новой фазѣ нашей народной жизни, онъ давно требовалъ своего осуществленія въ литературѣ; около него вертѣлись наши лучшіе писатели; но они успѣли только понять его надобность и не могли уразумѣть и почувствовать его сущности: это суждѣлъ сдѣлать Островскій“¹⁾. За-

тѣмъ, разбирая всю обстановку, мрачную и тягостную, среди которой характеръ Катерины является дѣйствительно „лучомъ въ темномъ царствѣ“²⁾, критикъ говоритъ, что „русскій сильный характеръ“, на сколько онъ проявился въ „Грозѣ“, прежде всего „поражаетъ насъ своею противоположностью всякимъ самодурнымъ началамъ. Не съ инстинктомъ буйства и разрушенія, но и не съ практическою ловкостью улаживать для высокихъ цѣлей свои собственныя дѣлишки, не съ безсмысленнымъ, трескучимъ пафосомъ, но и не съ дипломатическимъ, педантскимъ расчетомъ является онъ передъ нами. Нѣтъ, онъ сосредоточенно рѣшителенъ, неуклонно вѣренъ чутью естественной правды, исполненъ вѣры въ новые идеалы, и самоотверженъ, въ томъ смыслѣ, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тѣхъ началахъ, которыя ему противны. Онъ руководится не отвлеченными принципами, не практическими соображеніями, не мгновеннымъ пафосомъ, а просто натурою, всѣмъ существомъ своимъ. Въ этой цѣльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявъ всякую внутреннюю связь, продолжаютъ держаться внѣшней, механической связью“.

Съ начала 60-хъ годовъ, Островскій значительно уклонился отъ прежняго общаго направленія своей литературной дѣятельности: онъ написалъ нѣсколько драматическихкихъ хроникъ, въ стихахъ; изъ нихъ несомнѣнно лучшею является первая въ числѣ ихъ — Козьма Захарьевичъ Мининъ-Сухорукъ. Но Островскій не произвелъ въ этомъ родѣ ничего замѣчательнаго, ничего такого, что бы хоть сколько-нибудь прибавило блеска къ его вполне заслуженной литературной славѣ. Почти тоже можно сказать и о большей части его мелкихъ и крупныхъ произведеній за послѣдніе десять лѣтъ. Изъ всей массы ихъ, весьма значительной, выдвигаются только сцены: „Шутники“, драма „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, и комедія: „Не все коту масленица“.

Въ настоящее время, Александръ Николаевичъ Островскій, уже отпраздновавшій

¹⁾ Добролюбовъ, III, 537. ²⁾ Это заглавіе Добролюбовъ и придалъ своему разбору „Грозы“.

(въ 1872 г.) двадцатипятилѣтній юбилей своей литературной дѣятельности, продолжаетъ неумолимо трудиться на литературномъ поприщѣ. По зимамъ живетъ онъ въ Москвѣ въ своемъ оригинальномъ домикѣ, у Никола въ Воробинѣ, доставшемся ему въ наслѣдство отъ отца, а лѣто проводитъ въ живописномъ селѣ Щельковѣ (Кинешемскаго уѣзда Костромской губ.), которое послѣ смерти отца, онъ приобрѣлъ совокупно съ братомъ своимъ, Михаиломъ Николаевичемъ, отъ своей мачихи. Въ заключеніе всего, что мы нашли возможнымъ сказать объ Островскомъ, считаемъ не лишнимъ привести здѣсь ту общую характеристику комедій, созданной Островскимъ, которую находимъ у Добролюбова:

„Комедія Островскаго — это не комедія интригъ и не комедія характеровъ, собственно, а нѣчто новое, чему мы дали-бы названіе „пьесъ жизни“, если-бы это не было слишкомъ обширно и потому не со-

всѣмъ опредѣленно. Мы хотимъ сказать, что у него на первомъ планѣ является всегда общаѣ, независимая ни отъ кого изъ дѣйствующихъ лицъ, обстановка жизни. Онъ не караетъ ни злодѣя, ни жертву: оба они жалки вамъ, нерѣдко оба смѣшны; но не на нихъ непосредственно обращается чувство, возбужденное въ насъ пьесою. Вы видите, что ихъ положеніе господствуетъ надъ ними, и вы вините ихъ только въ недостаткѣ эрэгій, необходимой для выхода изъ этого положенія. Такимъ образомъ и борьба, требуемая теоріею отъ драмы, совершается въ пьесахъ Островскаго не въ монологахъ дѣйствующихъ лицъ, но въ фактахъ, господствующихъ надъ ними. Часто сами лица комедій не имѣютъ много, или и вовсе никакого сознанія о смыслѣ своего положенія и своей борьбы; но за то борьба весьма отчетливо и сознательно совершается въ душѣ зрителя, который невольно возмущается противъ положенія, порождающаго такіе факты“....



ОГЛАВЛЕНИЕ.

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

ОТЪ НАЧАЛА ПИСЬМЕННОСТИ ДО ТАТАРЩИНЫ.

- Глава I. Братья-первоучители. — Болгарское вліяніе. — Кириллица и глаголица. — Письменный матеріалъ и писцы. — Древнѣйшій памятникъ русской письменности. 1—10
- Глава II. Первые шаги грамотности. — Первые опыты литературные. — Лука Жидята. — Иларіонъ. — Обзоръ твореній Θεодосія Печерскаго, Никифора и К. Туровскаго. 11—19
- Глава III. Изборники. — Монастырская литература. — Житія святыхъ и лѣтопись. — Несторъ 20—45
- Приложенія къ III главѣ.
- 1) Отрывки изъ Нестрова «житія Θεодосія, игумена Печерскаго». — Родители Θεодосія. — Дѣтство его. — Отрочество Θεодосія. — Намѣреніе посѣтить Іерусалимъ. — Труды его. — Отношеніе къ матери. — Примѣры смиренія Θεодосія во время его игуменства. — Отношенія Θεодосія къ великому князю Святославу Ярославичу. 28—34
- 2) Отрывки изъ повѣсти временныхъ лѣтъ по Лаврентьевскому списку XIV вѣка — Смерть Олега. — Мщеніе Ольги. — Печенѣжскій набѣгъ. — Единоборство Мстислава Владиміровича съ Редедю. — Битва при Лиственѣ 34—37
- 3) Отрывокъ изъ южно-русской лѣтописи, случайно занесенный въ лѣтопись Кіевскую по Лаврентьевскому списку. — Ослѣпленіе Василька 37—42
- 4) Отрывокъ южно-русской лѣтописи по ипатьевскому списку (конца XIV в. или начала XV) 42
- 5) Изъ Новгор. лѣтописи, по сп. XIV в. — Мстиславъ Удалый. — Липицкая битва. — Твердиславъ 42—45
- Глава IV. Успѣхи образованности на Руси. — Религіозное направленіе образованія. — Первые попытки создать литературу свѣтскую: поученіе Мономаха и моленіе Даніила Заточника 46—54
- Глава V. Свѣтская литература въ XI вѣкѣ. — Слово о полку Игоревѣ, какъ памятникъ дружиннаго эпоса 55—70
- Приложенія къ V главѣ.
- 1) Изъ «повѣсти временныхъ лѣтъ» по Лаврентьевскому списку. — Первый походъ князей на Половцевъ. 60—61
- 2) Отрывокъ южно-русской лѣтописи по ипатьевскому списку (конца XIV в. или начала XV). Походъ Игоря Сѣверскаго на Половцевъ. — Слово о полку Игоревѣ. (Въ переводѣ А. Н. Майкова) 61—70

ПЕРІОДЪ ВТОРОЙ.

ОТЪ ТАТАРЩИНЫ ДО ВРЕМЕНЪ ГРОЗНАГО.

- Глава VI. Татарщина. — Выгодное положеніе духовенства. — Проповѣдь; лѣтописи, сборники. — Переводы съ греческаго. — Свѣдѣнія о природѣ. — Споры «о раѣ земномъ» 71—80
- Приложеніе къ VI главѣ:
Посланіе архіепископа новгородскаго Василія ко владыкѣ тверскому Θεодору. 79—80
- Глава VII. Лѣтописныя повѣсти и сказанія. — Задонщина. 81—93

Приложения къ VII главѣ:

Пѣсня про боярина Евпатія Коловрата. (Въ изложеніи Л. Мея) 88—93

Глава VIII. XV вѣкъ. — Проповѣдь политическая. — Вассіанъ, архіепископъ ростовскій. — Полемическое направленіе духовной литературы: — Іосифъ волоцкой и Нилъ Сорскій. — Усилія Геннадія на пользу просвѣщенія. — Помощники Геннадія. 94 103

Глава IX. Монастырская литература на сѣверо-востокѣ Руси. — Житія и духовныя сказанія. — Авторы и собиратели житій; ихъ воззрѣнія и способъ изложенія матерьяла 104—115

Приложения къ IX главѣ:

Житіе Петра, Царевича Ордынского. — Муромское сказаніе о князѣ Петрѣ и супругѣ

его Февроніи 109—115

Глава X. Свѣтская литература: повѣсти и сказки. — Восточное и византійско-славянское вліяніе. — Вліяніе западное. — Пересажденіе иноземныхъ сказаній на русскую почву. 116—126

Приложения къ X главѣ:

Повѣсть о Басаргѣ купцѣ — Соломонѣ и Киговрасѣ 121—126

Глава XI. Апокрифическія сказанія и ихъ вліяніе на литературу народную: — духовные стихи и духовныя пѣсни . . . 127—139

Приложения къ XI главѣ:

Хожденіе Богородицы по мукамъ . 132—135

1) Стихъ о книгѣ Голубиной. — 2) Стихъ о Егоріи храбрѣмъ 135—139

ПЕРІОДЪ ТРЕТІЙ.

ОТЪ ВРЕМЕНЪ ГРОЗНАГО ДО ПОЛОВИНЫ XVII в.

Глава XII. Мракъ невѣжества и ереси. — Западное вліяніе: Максимъ Грекъ и его дѣятельность. — Стоглавъ, какъ результатъ дѣятельности М. Грека. — «Домострой» попа Силверста и макарьевскія «Четьи-минеи» 140—148

Глава XIII. Начало книгопечатанія въ Россіи. — Краткій обзоръ исторіи книгопечатанія въ Славянскихъ земляхъ. — Наши первопечатники — Важнѣйшіе памятники нашей печати. 148—158

Глава XIV. Свѣтская литература въ XVI вѣкѣ: Іоаннъ Грозный и его сочиненія. — Характеръ и литературная дѣятельность кн. А. М. Курбскаго; его переписка съ Грознымъ. — Первые опыты прагматической исторіи . 158—172

Приложения къ XIV главѣ:

Пѣсни объ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ:

Никитѣ Романовичу дано село Преображенское. — Матрьюкъ Темрюковичъ. 169—172

Глава XV. Зарожденіе новаго образованія на юго-западѣ Руси въ XVI в. — Важное значеніе кіевскихъ ученыхъ въ исторіи нашего просвѣщенія и литературы. — Успѣхи образованности въ XVII в.: школы и учебники 174—183

Глава XVI Невѣжество и справщики. — Первые школы въ Москвѣ. — Котошихинъ и Крижаничъ. — Никонъ. — Юго-западные ученые въ Москвѣ. — Московская славяно-греко-латинская академія. 184—200

Приложения къ XVI главѣ:

Изъ житія протопопа Аввакума (имѣя самъ написаннаго). — Ученый диспутъ въ XVII в. 169—200

ПЕРІОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ОТЪ ПОЛОВИНЫ XVII в. ДО ЭПОХИ ПРЕОБРАЗОВАНІЙ.

Глава XVII. Историческая литература на сѣверо-востокѣ Руси въ концѣ XVI и началѣ XVII в. — Новыя литературныя начала, внесенныя въ Москву кіевскими учеными. — Страсть къ виршамъ; виршеслагатели. . 201—208

Приложения къ XVII главѣ:

Вирши Симеона Полоцкаго. («Изъ Вергограда Многоцвѣтнаго»). — 1) Богъ-Всевиждѣцъ. 2) Купецтво 207—208

Глава XVIII. Мистерія въ Западной Европѣ

и въ Польшѣ. — Духовныя драмы въ Москвѣ. — Пешное дѣйство и другія. — Первые сценическія представленія на европейскій ладь. — Духовныя драмы С. Полоцкаго и Дм. Ростовскаго 209 222

Приложенія къ XIII главѣ:

Отрывокъ «Комедіи на Рождество Христово», (сочиненной св. Дмитріемъ Ростовскимъ) 219—222

Глава XIX. Повѣсть въ XIX в. — Рыцарскіе романы въ русскихъ переводахъ; смѣхотворныя повѣсти. — Попытки создать самостоятельную русскую повѣсть; два главныя

направленія. — Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ. 223—235

Приложенія къ XIX главѣ:

1) Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ, какъ Горь-Злосчастье довело молодца во мноескій чинъ. 231—235

Глава XX. Народная поэзія въ XVII вѣкѣ: былины, историческія пѣсни, духовные стихи. — Вліяніе, оказанное расколомъ на поэзію народную 237—241

Приложенія къ XX главѣ:

Историческія пѣсни и духовные стихи XVII вѣка 241—245

ПЕРІОДЪ ПЯТЫЙ.

ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНІЙ.

Глава XXI. Наука, образованіе и литература при Петрѣ I. — Усиленная типографская дѣятельность. — И. Т. Посошковъ. . . 246—256

Глава XXII. Ѳ. Прокоповичъ. — Годы ученія и странствованій. — Дѣятельность профессорская. — Сближеніе съ Петромъ. — Духовный регламентъ. — Ѳеофанъ, какъ общественный дѣятель; Ѳеофанъ, какъ ученый и литераторъ, и какъ частный человѣкъ. 257—264

Глава XXIII. Вліяніе эпохи преобразованій на общество и литературу. — Кантемиръ; его литературная, ученая и общественная дѣятельность. — Татищевъ. — Завѣщаніе сыну и ученые труды его 268—283

Глава XXIV В. К. Тредіаковскій. Біографи-

ческія подробности. — Ученые труды его. — Услуги, оказанныя русскому стихосложенію. — Личный характеръ Тредіаковскаго и отношеніе къ современникамъ . . . 284—294

Глава XXV. Значеніе Ломоносова — Біографическія свѣдѣнія о немъ. — Его дѣятельность ученая, литературная и общественная. — Ломоносовъ, какъ поэтъ и писатель; заслуги его по изученію теоріи языка и словесности 295—320

Глава XXVI. Сумароковъ — первый русскій литераторъ. — Первые драматическія произведенія его. — Основаніе русскаго театра въ Ярославлѣ и въ столицѣ. — Біографическія подробности. — Сумароковъ, какъ драматургъ и сатирикъ. 321—335

ПЕРІОДЪ ШЕСТОЙ.

ВѢКЪ ЕКАТЕРИНЫ.

Глава XXVII. Вліяніе Екатерины II на русскую литературу; ея сочувствіе современному философскому движенію умовъ на западѣ. — Литературная и педагогическая дѣятельность Екатерины; участіе въ журналахъ. — Значеніе ея вѣка. 337—351

Глава XXVIII. Фонъ-Визинъ и его отношенія къ современности. — Біографія его. — Фонъ-Визинъ и Екатерина. — Значеніе сочиненій Фонъ-Визина, какъ протеста противъ существующаго порядка вещей. — Художественность выведенныхъ имъ типовъ . . . 352—367

Глава XXIX. Державинъ, какъ «пѣвецъ

Екатерины». — Характеристика Державина. — Біографическія подробности. — Державинъ и Екатерина II. — Державинъ и Александровская эпоха. — Значеніе Державина въ исторіи нашей поэзіи. 368—385

Глава XXX. Отсутствие критики, какъ отличительная черта екатерининскаго періода литературы. — Херасковъ. — Богдановичъ. — Хемницеръ — Капнистъ. 386—405

Глава XXXI. Первые русскіе журналы. — Сатирическіе журналы екатерининскаго времени. — Н. И. Новиковъ; его литературная и общественная дѣятельность. . . 406—419

ПЕРИОДЪ СЕДЬМОЙ.

ОТЪ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА.

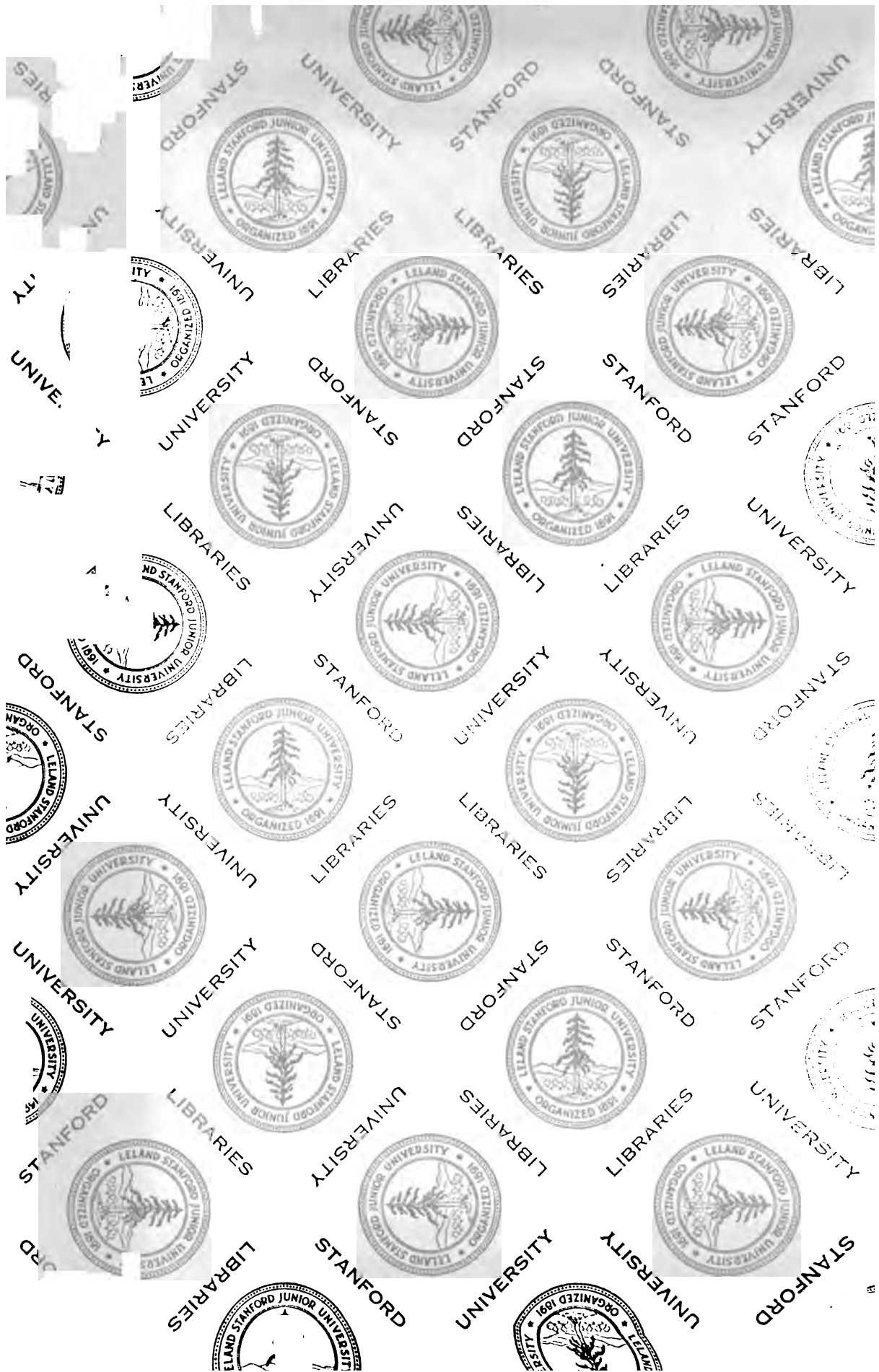
- Глава XXXII. Жизнь и деятельность Карамзина. — Биографическія подробности. — Сентиментализмъ и форма, приданная ему Карамзинымъ. Услуги, оказанныя Карамзинымъ русскому литературному языку. Карамзинъ, какъ поэтъ, журналистъ и критикъ. 420—444
- Глава XXXIII. П. И. Дмитриевъ; его литературная деятельность, взглядъ на поэзію; важное значеніе въ средѣ современниковъ. — В. А. Озеровъ; его трагедіи и несчастья. — Литературная деятельность его, какъ переходъ къ романтическому направленію. 445—458
- Глава XXXIV. В. А. Жуковский. Биографическія подробности. — Его деятельность журнальная и литературная. — Элегическое настроеніе и поводы къ нему. — Жуковский и его друзья-Арзамасцы. — Заслуги Жуковского, какъ переводчика. Батюшковъ и его отношеніе къ Жуковскому. — Вліяніе, оказанное на его поэзію эпохою подвиговъ и разочарованій. Биографическія подробности. 459—482
- Глава XXXV. Значеніе Крылова. — Биографія его. — Крыловъ, какъ сатирикъ и журналистъ. — Крыловъ и Карамзинъ. — Крыловъ, какъ писатель народный. — Значеніе морали въ басняхъ Крылова. 483—495

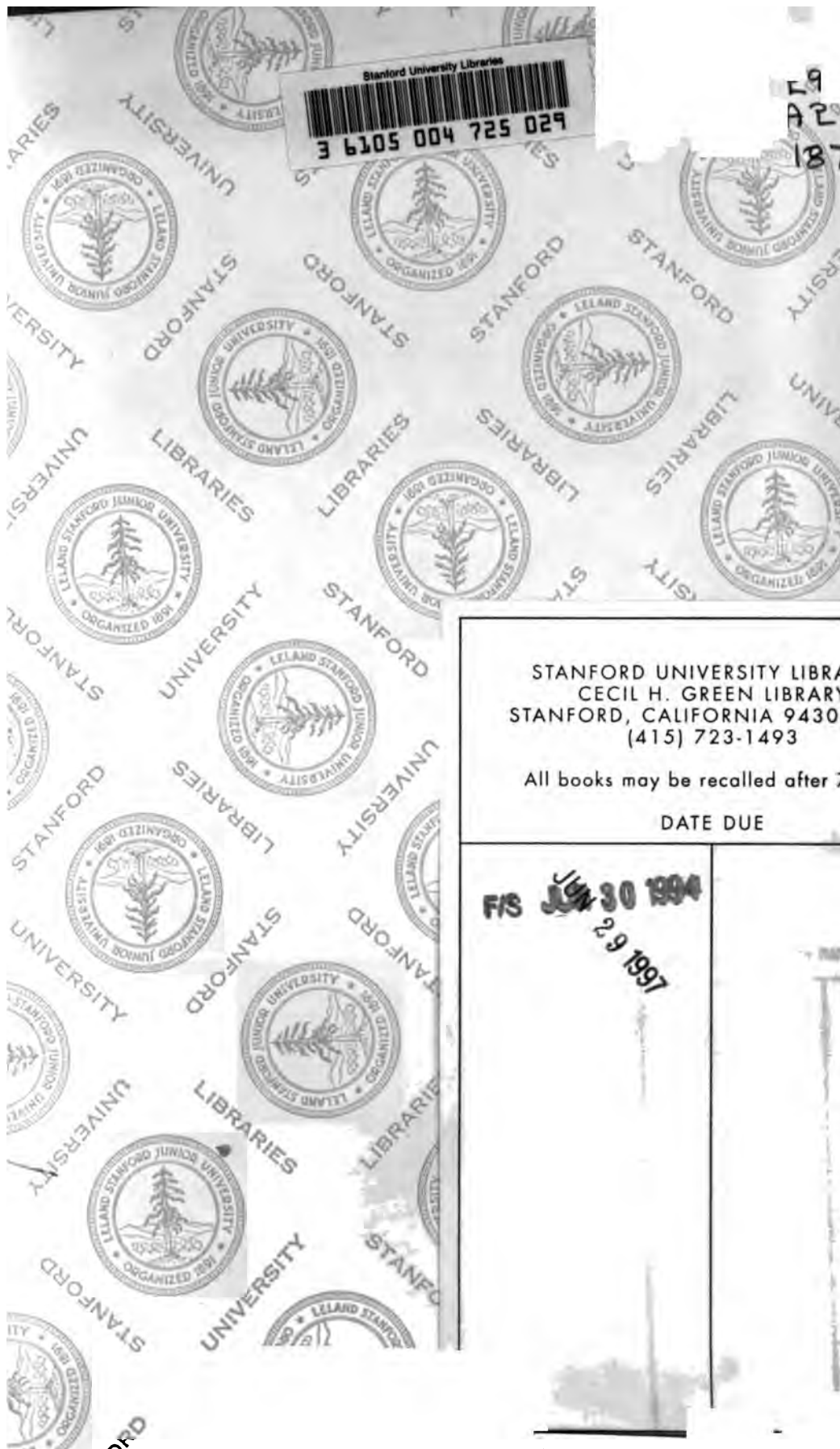
ПЕРИОДЪ ВОСЬМОЙ.

ОТЪ ПУШКИНА ДО НОВѢЙШАГО ВРЕМЕНИ.

- Глава XXXVI. А. С. Пушкинъ. — Дѣтство и воспитаніе на французскій ладъ. Пребываніе въ Лицее. — Пушкинъ и Жуковский. — Первые произведенія юноши-поэта и его изгнаніе. — Пребываніе на югѣ и байронизмъ. — Житіе въ деревнѣ: — эпоха наступленія сознательнаго творчества. — Періодъ колебаній и сомнѣній. — Пушкинъ и общество тридцатыхъ годовъ. Значеніе Пушкина, какъ поэта народного. 496—519
- Глава XXXVII. Ближайшіе послѣдователи Пушкинской школы въ поэзіи: Дельвигъ, Баратынскій и Яковлевъ. 520—533
- Глава XXXVIII. А. С. Грибоедовъ. — Гусарство и первые литературные опыты. — Служба въ миссіи и Горе отъ Ума. — Неудачи и разочарованія. — Примиреніе съ жизнью и успѣхи по службѣ. — Трагическая смерть. 534—542
- Глава XXXIX. Н. А. Полевой. — Воспоминанія Вигеля. — Дѣтство и родители. — Коммерція и ученіе. — Литературныя попытки и участіе въ журналахъ. — «Московскій Телеграфъ». Романтизмъ и философія. — Занятія исторіею. — Борьба и неудачи. — Бѣлинскій — преемникъ Полевого. 543—555
- Глава XL. Значеніе Лермонтова по отношенію къ его эпохѣ. — Биографическія подробности. Писма Лермонтова и воспоминанія о немъ. — Русскій байронизмъ и русская действительность. — Слѣды современниковъ о Лермонтовѣ. 556—568
- Глава XLI. Н. В. Гоголь. — Биографическія подробности. — Романтическое фантазерство и высокое мнѣніе Гоголя о себѣ самомъ. — Переходъ къ простому наблюденію и вѣрному изображенію жизни. — Неудачныя попытки въ области науки. — Сознательный періодъ творчества. — Вліяніе душевной болѣзни на деятельность литературную. — Жалкое положеніе Гоголя въ послѣдніе годы жизни. 569—587
- Глава XLII. В. Г. Бѣлинскій. — Дѣтство и отрочество его; учителя и ученіе. — Характеръ и направленіе умственной деятельности Бѣлинскаго. — Увлеченіе философскими теоріями и театромъ. — Три періода литературной деятельности. — Бѣлинскій, какъ истолкователь Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 588—599
- Глава XLIII. С. Т. Аксаковъ. — Два періода его литературной деятельности: подражательный и самобытный. Мастерскія описанія природы. — Положительное направленіе. 600—605
- Глава XLIV. А. В. Кольцовъ и среда, изъ которой онъ вышелъ. Впечатлѣнія юности. — Серебрянскій и Станкевичъ. Вліяніе кружка Московскихъ друзей. — Недовольство окружающими и неудача прозаганды. Значеніе поэзіи Кольцова. 606—613
- Глава XLV. Важнѣйшіе представители новѣйшей литературной школы: Гончаровъ, Тургеневъ и Осгровскій. 614—628







STANFORD UNIVERSITY LIBRARY
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7

DATE DUE

F/S JUL 30 1994
JUL 29 1997

